Институт русской и советской культуры имени Ю.М. Лотмана
Рурского университета в Бохуме

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI)

Фонд Фридриха Науманна

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
имени М.И. Рудомино

АИРО
XXI

# Stürmische Aufbrüche und enttäuschte Hoffnungen

## Russen und Deutsche in der Zwischenkriegszeit

Herausgegeben von
Karl Eimermacher und Astrid Volpert

unter Mitarbeit von
Gennadij Bordjugow

Wilhelm Fink Verlag

# РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ В XX ВЕКЕ

## Том 2

## Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы

Под редакцией
Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт

Научно-вспомогательная работа
Иван Черемушкинский

Москва
АИРО-XXI
2010

Исследовательский проект Института русской и советской культуры имени Ю. М. Лотмана Рурского университета в Бохуме (Lotman-Institut für russische und sowjetische Kultur der Ruhr-Universität Bochum) и публикация его результатов осуществлены благодаря содействию: с немецкой стороны – Министерства науки и исследований Северной Рейн-Вестфалии (Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen), Фондов Рейснера и Даймлера в составе Союза учредителей фондов для развития науки в Германии (Reissner- und Daimler-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft), Фонда Фрица Тиссена (Fritz Thyssen Stiftung), Фонда Фридриха Науманна (Friedrich-Naumann-Stiftung), а также совместной комиссии по изучению новейшей истории немецко-российских отношений при федеральном Министерстве внутренних дел Германии (Gemeinsame Kommission für die Erforschung der jüngeren Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen im Bundesministerium des Innern); с российской стороны – Научно-исследовательского центра Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI), Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Департамента по работе с территориальными палатами Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ), а также торгово-промышленных палат Белгородской, Костромской и Курской областей.

Редакция выражает искреннюю признательность за сотрудничество и неоценимую помощь:
всем российским, немецким авторам и переводчикам,
доктору *Монике Краммэ,* Министерство науки Северной Рейн-Вестфалии,
доктору *Эберхарду Курту,* Министерство внутренних дел Германии,
*Юргену Регге* и доктору *Франку Зудеру,* Фонд имени Фрица Тиссена (Кёльн),
доктору *Хайнц-Руди Шпигелю,* Фонд для немецкой науки (Эссен),
доктору *Фальку Бомсдорфу* и доктору *Саше Тамму,* Фонд Фридриха Науманна,
профессору *Екатерине Гениевой,* ВГБИЛ имени М. И. Рудомино,
доктору *Александру Рыбакову,* департамент ТПП РФ,
г-ну *Валерию Скругу,* Белгородская ТПП,
г-ну *Валентину Орлову,* Костромская ТПП,
г-ну *Николаю Тяпочкину,* Курская ТПП

Дизайн и вёрстка: *Сергей Щербина*
Корректура: *Елена Зарайская*

Россия и Германия в XX веке. В 3-х томах. Том 2: Бурные прорывы и разбитые надежды. Русские и немцы в межвоенные годы; под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт. – М.: АИРО-XXI, 2010. – 896 с. – ISBN ISBN 978-5-91022-116-5.

© Wilhelm Fink Verlag, 2005
© Авторы, 2010
© АИРО-XXI, оформление, 2010

**ISBN 978-5-91022-116-5**

# СОДЕРЖАНИЕ

*Карл Аймермахер, Астрид Фольперт*
К вопросу о контексте немецко-российских отношений в межвоенный период ..... 9

## 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПОСЛЕ 1917 ГОДА

### Пространства взаимных интересов и двусторонних оценок

*Майя Туровская*
Легко на сердце или «Kraft durch Freude». «Огонек» и «Berliner Illustrirte Zeitung» – сравнение двух журналов 30-х годов..... 12
*Эльке Зур*
Фронтовое поколение и большевизм. Эрнст Никиш и Эрнст Юнгер..... 39
*Ули Шёлер*
Демократия и диктатура пролетариата у Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина. Моменты общности и различия ..... 70
*Александр Голубев*
«Часовой, вооруженный карандашом». Германия и немцы в советской политической карикатуре (1922–1939 гг.)..... 85

### Противоречивый поиск новых ориентиров: объединение и разделение

*Людмила Томас*
Вариант Чичерина. Германия в биографии первого советского министра иностранных дел ..... 106
*Хорст Гюнтер Линке*
Общность судеб? Советский Союз в политических расчётах германских послов в Москве с 1922 по 1941 гг..... 128
*Дмитрий Соболев*
Самолетостроительная концессия Юнкерса в Филях и авиационная школа в Липецке. Из истории военно-технического сотрудничества..... 168
*Дитрих Мёллер*
Скептический революционер. Карл Радек и Германия..... 197
*Ули Шёлер*
Заграничная Делегация российской социал-демократии (меньшевики) в берлинском изгнании ..... 221
*Борис Фрезинский*
Илья Эренбург и Германия..... 235
*Маттиас Хееке*
«Россия изнутри». Туристические поездки в Советский Союз: между повседневностью и пропагандой..... 262
*Анне Хартманн*
Советский Союз: мечта или кошмар. Немецкие авторы о своей жизни в советской эмиграции ..... 293

*Татьяна Филиппова*
«Исход братьев». Переселенческое движение немцев-меннонитов из СССР в конце 1920 х годов ..... 341
*Гюнтер Агде*
Особый случай «взаимосвязанных» картин. Проект художественного фильма «поволжских» немцев 1935–36 гг. и исторические, политические и культурные «обстоятельства» его создания ..... 358
*Людмила Глухова*
От «запрещенных» до «разрешенных». Немецкоязычная литература в фондах советских библиотек и чтении между мировыми войнами ..... 390

## 2. КУЛЬТУРНОЕ ЕДИНСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ

### Окончание немецко-русского философского диалога

*Райнер Грюбель*
Чары и защита. Двойственные образы Германии в творчестве Василия Розанова ..... 417
*Галина Тиме*
Закат Европы как «центральная мысль русской философии». Полемика о Шпенглере в России начала 1920-х годов ..... 460
*Александр Хаардт*
Проблема других у Михаила Бахтина и Семена Франка. К вопросу о рецепции феноменологии Макса Шелера в России ..... 481
*Владимир Кантор*
Федор Степун. Философ между двух идеократий в России и в Германии ..... 493

### Литература, кино, политика

*Томас Тоде*
Картины новой жизни. Советские документальные фильмы в Веймарской республике ..... 518
*Евгений Марголит*
Страна-двойник. Трансформация экранного образа Германии в игровом советском кино между двумя мировыми войнами ..... 541
*Георг Вурцер*
Россия глазами Эдвина Эриха Двингера ..... 568
*Кристоф Гарстка*
«Понять глубины Востока»: «Немецкий Достоевский» в издательстве «Piper» ..... 596
*Кармен Зиппл*
Издательства и переводчики в диалоге русской и немецкой культур в период между мировыми войнами ..... 625

### Деятели искусства в эмиграции

*Ульрике Гольдшвеер*
Эмиграция как пограничный феномен. Возрождение интереса к литературе «русского зарубежья» ..... 645

*Марина Литаврина*
Театр для других – жизнь для себя: русская театральная богема в Берлине двадцатых годов ..... 664
*Ульрике Гольдшвеер*
«Хронист русского Берлина» или «очарованный странник» среди чужих: Владимир Набоков в Германии ..... 690

## 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМИ И ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДИКТАТУРЫ

*Наталия Маргулис*
Русский как таковой, немец в себе. Образы врага и друга в русской и немецкой литературе, посвященной гражданской войне 1936–1939 годов в Испании ..... 708
*Екатерина Хохлова*
От диалога к конфронтации. Кино России и Германии между двумя войнами ..... 739
*Владимир Колязин*
Херварт Вальден в стране большевиков. Документально-биографический очерк ..... 760
*Петер Дицель*
Немецкий государственный театр в Энгельсе. Эрвин Пискатор, Максим Валлентин и шельмование немецких эмигрантов как «буржуазных националистов» ..... 786
*Карола Тишлер*
Радио в оковах. Немецкое радиовещание из Москвы: от революционного воодушевления к государственной регламентации (1929–1941) ..... 817

## 4. ПЕРЕЛОМ

*Владимир Невежин*
Реакция советского общества на Пакт Риббентропа–Молотова и трансформация образа нацистской Германии в СССР (1939–1941 гг.) ..... 848

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ..... 871

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..... 886

ИЛЛЮСТРАЦИИ ..... 893

# К ВОПРОСУ О КОНТЕКСТЕ
## немецко-российских отношений в межвоенный период

*Карл Аймермахер, Астрид Фольперт*

Немецко-русские взаимоотношения между 1918 г. и нападением Гитлера на Советский Союз в 1941 г. принципиально отличаются от тех, что были во время обеих мировых войн. Если в военное время средства массовой информации противников серьезно поляризируются и пытаются в духе непримиримости воздействовать словом и зримым образом на общественное мнение, то в Германии и России, по крайней мере, после Первой мировой войны общая ситуация выглядела иначе. Это обстоятельство оказало особое влияние на взаимоотношения обеих стран и народов. Определявшееся с 1914 по 1918 г. войной формирование общественного мнения, в том числе в духе сохранения и расширения государственной власти, уступило место трезвому пониманию, что оба государства должны утвердиться, чтобы быть в состоянии играть свои вновь открытые и сформулированные роли в истории. Поэтому речь шла о том, чтобы изложить соответствующие ориентационные масштабы реорганизации отношений между государством и обществом, а также вести дискуссию о концепциях, которые охватывали характер и функции почти всех общественных сфер культуры. Необходимость этих обсуждений диктовалась тем, что из-за Октябрьской революции, с одной стороны, и военного поражения Германии, с другой, враз рухнули две великие монархии. Вставший на повестку дня мирный социально-политический перелом стал для государственного переориентирования Европы одним из величайших вызовов первой половины XX в. В обеих странах он должен был осуществляться при необычных внешне- и внутриполитических, а главное – хозяйственных и социальных условиях.

После Первой мировой войны для России (позднее СССР) и Германии начинается один из самых турбулентных периодов их новейшей истории, вылившийся в 1930-е гг. и там, и здесь, в конце концов, в жесткие диктатуры. То, о чем радостно мечтали, на что надеялись и что политически планировали в связи с началом мирной фазы после революции и Гражданской войны в России, а после окончания Первой мировой войны – в обеих странах, подверглось вскоре тяжелейшим испытаниям из-за крайне неопределенных реальных стартовых экономических и социальных условий, а также из-за радикализма социально-политических попыток переломить ситуацию.

Притягательная сила идей и планов, а также проявившиеся трудности и напряжение между вновь развивавшимися социальными концепциями и их воплощением вызвали многообразные действия, которые несмотря на большие надежды и смелые, радикальные начинания содействовали в обоих случаях отрезвляющему побочному эффекту – перманентному чувству неуверенности. Вместо спокойного строительства, рождающего преемственность, общая атмосфера была пронизана спонтанностью и очевидно бесконтрольными структурными перекройками. Поэтому почти все начатые изменения воспринимались как незавершенная борьба между движением и инерцией. Маятник качался между попытками общественного подновления старого или необходимого и смелыми экспериментами обновления. В России они сопрово-

ждались Гражданской войной, периодами голода, радикальным опрокидыванием всей социальной пирамиды, а также упорным строительством централизованных партийных и государственных органов. Партии Веймарской республики, напротив, были заняты впервые начатой реализацией демократической конституции в условиях жестких столкновений социально, политически и экономически антагонистических групп интересов. Здесь тоже вместо мира и благоразумия господствовала тревога.

Таков общий фон, на котором в России и Германии несмотря на различные конфигурации обществ временами преследовались общие политические, хозяйственные или военные интересы. Ведь только через интенсивное сотрудничество в названных областях можно было смягчить международную изоляцию обеих стран или избежать ограничений в военной сфере, наложенных по итогам Первой мировой войны. Договор в Рапалло 1922 г. предоставил для этого первые возможности.

Иначе выглядела сфера культурных отношений двух стран, включая искусство и философию. Под влиянием относительного – в сравнении с довоенным временем – вакуума в распространении информации о «другом», «чужом», а также в связи с новыми техническими и медиальными возможностями вскоре стало заметно обилие творческих акций художников, писателей, архитекторов, фотографов, а также кино- и театральных режиссеров, которые в обеих странах объединялись в многочисленные группы и союзы программного характера. Они часто искали международных контактов и, встречаясь, находили импульсы для развития собственного мира идей. При всем желании нельзя однако не заметить, что само обилие представителей творческой и научной интеллигенции одной страны, нашедших пристанище – временное или постоянное, добровольно или вынужденно – в другой стране, неизбежно создавало противоречивую атмосферу.

Несмотря на все сходство этого развития в России и Германии нужно констатировать серьезные различия между этими странами. В Советском Союзе, вопреки мнимому плюрализму инициатив художественного воплощения, развитие с самого начала шло в направлении централизованной, а с начала 1930-х гг. – огосударствленной культуры, превращенной в «служанку политики» (Александр Фадеев в «Правде» за 10 января 1931 г.). В Германии идеологически зависимая политика, вытесняющая инаковость, наступает в 1933 г. До этого имел место экономически ограниченный, но в целом открытый культурный процесс обмена между двумя странами их совместных проектов, особенно с середины 1920-х гг. Их торпедировали лишь правые и национально-консервативные немецкие силы, а также русские эмигранты. На противоположном фланге инновации художников левой ориентации стимулировали культурный обмен, хотя и здесь сходства и противоречия часто отражались в одной и той же личности или в ее произведениях.

При этом было совершенно «нормально», что в Германии левые и правые круги противостояли друг другу и внятно артикулировали свои симпатии или антипатии развитию Советского Союза: с одной стороны, звучали антибольшевистские крики правых, с другой – проявлялся устойчивый интерес левых к советскому социальному эксперименту. Все это происходило на фоне присутствия в Германии более 300.000 русских эмигрантов (на 1923 г.) и многочисленных поездок по частной инициативе левых писателей и деятелей искусства в Советский Союз. Антипатии, как и симпатии, казались пригодным инструментом, чтобы точно настроить самих себя и своих адресатов на нуждающуюся в распространении весть. И все это вело к интенсивным

взаимным анализам и оценкам, которые публиковались почти во всех печатных средствах информации. Бурные дискуссии о задачах литературы, театра, изобразительных искусств, архитектуры, кино, музыки, плаката или дизайна в XX в. тоже были выражением сложного процесса самоидентификации и одновременно взаимного интереса, вкупе с повторяющимися попытками ясно сформулировать оптимистическое видение будущего, а также и (чаще высказываемые в личном общении) опасения и надежды на то, что они не сбудутся.

Этот широкий процесс рефлексии до сих пор документирован преимущественно для немецкой стороны[1]. Хотя время сталинской и гитлеровской диктатур не смогли, как мы знаем, прервать или совсем разрушить все связи, с трудом налаженные в течение десятилетий и веков, дружелюбному взаимному восприятию и обмену был нанесен ощутимый вред еще до таких политических и военных вех как пакт 1939 г. Гитлера и Сталина или нападение Германии на Советский Союз в 1941 г. Разочарования из-за заблуждений, недоверие и страх вследствие унижений, террора и насилия запечатлелись надолго – и физически, и вплоть до влияния на язык. Наиболее пострадавшие – русские эмигранты в Германии и немецкие специалисты и российские немцы в Советском Союзе – реагировали по-разному. Российские эмигранты еврейского происхождения перекочевали в Париж или другие европейские страны и в США. Немецкие левые (все равно – евреи или нет) также покинули Германию. Многие из них надеялись найти в Советском Союзе новую родину и часто находили там судьбу, подобную той, которая ждала оставшихся в Германии противников режима.

Таким образом, 1930-е гг. – это не только время стремительных перемен, особенно в немецко-российских культурных отношениях. Во многих из этих противоречивых событий сегодня можно увидеть провозвестников величайшего крушения цивилизации, Второй мировой войны. Для большинства людей эта война вновь означала основополагающий поворот их судьбы к худшему из-за идеологических и властных интересов политики. В конце выжившим остается, как показывает дальнейшая история, начинать после катастрофы строительство обоюдных контактов прежде всего с личного опыта официальных и неофициальных контактов, нередко оставивших глубокие позитивные следы.

Разумеется, в связи с кратко очерченной общей панорамой тем и проблем собранные в этом томе, статьи о немецко-российских взаимоотношениях построены иначе, чем в первом компендиуме об обеих мировых войнах. И все же эти тома похожи тем, что они, не смотря на объем, оставляют многие вопросы открытыми для дальнейшего исследования. И все же мы надеемся, что изложенное – в совокупности – позволяет ясно увидеть общие линии развития отношений и для этого периода.

*Перевод с немецкого Игоря Нарского*

## ПРИМЕЧАНИЕ

[1] См., напр.: *Mierau F.* (Hg.) Russen in Berlin. Literatur, Malerei, Theater, Film. 1918–1933. 2. Aufl. 1991; *Schlögel K.* (Hg.) Der große Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren. 1919–1941. – München, 1994; *Schlögel K.* Berlin Ostbanhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. – Berlin, 1998; *Beyer T.* Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. – Berlin, 1987; *Raeff M.* Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939. – N. Y.– Oxford, 1990; *Antonowa I.*, *Merkert J.* (Hg.). Berlin–Moskau. 1900–1950. – Berlin, 1995; *Koenen G.*, *Kopelew L.* (Hg.) Deutschland und die Russische Revolution. 1917–1924. – München, 1998.

# 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПОСЛЕ 1917 ГОДА

## Пространства взаимных интересов и двусторонних оценок

*Майя Туровская*

### ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ или «Kraft durch Freude»[1]. «Огонек» и «Berliner Illustrirte Zeitung» – сравнение двух журналов 30-х годов

#### Смотреть, глядеть, видеть!

… На самом деле, логоцентристская эра (в передаче новостей, во всяком случае) пошла на убыль задолго до наступления эпохи, которую мы теперь называем «аудиовизуальной». С момента, когда Дагер и Ньепс обнаружили воздействие светового луча на серебро, человечество, еще не отдавая себе в этом отчета, предпочло изображение тексту. Приоритет принадлежал газете, но иллюстрированные журналы, по авторитетному мнению Жан Луи Серван-Шрайбера, заполнили две прорехи в газетной циркуляции. Их новости, не расчитанные на срочность, могли зато в багаже коммивояжера достичь «глубинки»; и, главное, они могли осуществить рекламу «на общенациональном уровне»[2].

Иллюстрированные журналы тех времен, когда передача новостей на расстояние была еще в младенческом состоянии, фактически исполняли роль будущего малого экрана и были его прямыми предшественниками. Они доставляли зримые новости на дом и делали их частью семейного и общественного обихода.

Наша тема – сравнение двух журналов: советского «Огонька» («О») и немецкого «Berliner Illustrirte Zeitung» (B. I. Z.) тридцатых годов на тематическом уровне. Это не единственный и, увы, даже не самый интересный, но исходный уровень.

Советско-германские параллели этого времени менее всего спекулятивны или поверхностны[3]. С другой стороны, российский социолог и демограф Анаторий Вишневский в своей принципальной и фундированной монографии «Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР» (М., 1998) замечает: «И географически, и исторически Россия была ближе к Германии, чем другие страны мира, постепенно втягивающиеся в модернизацию… в частности, в сходстве видения идеального бу-

*B. I. Z., 1937, № 1: «Millionen wollen sehen sehen sehen» («Миллионы хотят смотреть, смотреть, смотреть»)*

дущего. Оно было не одинаковым, а именно сходным… Модернизация не осознавалась здесь во всей ее сложности, как многосторонняя и глубинная перестройка всего социального тела, а становилась чуть ли не синонимом одного лишь промышленно-технического прогресса, который можно сочетать с сохранением социальной архаики»[4]. Многосторонний анализ – социальный, экономический, демографический – приводит к выводу о «догоняющем» типе развития обеих стран восточного региона Европы с общим по отношению к «Западу» комплексом. Социалистическая утопия советского образца, как и германская образца национал-социалистического, перестает в этом свете быть выпадением из истории, как это часто кажется, но становится одним их закономерных ее этапов. Полярность лозунгов оказывается менее существенной составляющей, нежели практика тоталитарных режимов.

На самом деле, 20–30-е годы были временем достаточно широкого тоталитарного (по Ханне Арендт) эксперимента[5]. Здесь открывается возможность для того эмпирического «сравнения диктатур», о котором говорит Schmiechen-Ackermann[6]. Именно на этом фоне России довелось совершить в ушедшем столетии свой «большой скачок» в самой консервативной, нерациональной и мучительной из форм. Пик пришелся на 30-е. Отложившись в памяти броской эмблематикой и терминологией, эта эпоха все еще остается сфинксом. Между символикой и соцреализмом все еще простирается «terra incognita» посведневности. Разумеется, иллюстрированный журнал предлагает ее в форме достаточно идеологизированной – на «буржуазный» или на «социалистический» лад. Все же текучая материя быта никогда не может быть формализирована до конца, а фотография, помимо вербального смысла, часто имеет латентное содержание, и подчас время служит проявителем не хуже химикатов.

Массовость еженедельников, их заведомая «досуговость», чтобы не сказать «развлекательность», делает их, по сравнению с ежедневной газетой, менее политизированными, более «обывательскими». Эволюция обоих изданий была весьма различна.

Первый номер журнала «Огонек» вышел в декабре 1899 года как приложение к либеральной газете «Петербургские ведомости» (изд. С. Проппер). В революционном 1917 году издание популярного еженедельника прекратилось. В 1923 году он был возобновлен по инициативе Михаила Кольцова, который и стал главным редактором советской версии «Огонька». На рубеже 30-х годов журнал издавался на плохой газетной бумаге, но нес еще на себя ожоги авангарда. Его фотографы с большей или меньшей отвагой прошли через горнило дерзких новаций Родченко – их массовая продукция держала уровень. По мере наступления «имперского» стиля, фотография успокаивается, делается более иллюстративной и «соцреалистической», верстка – менее монтажной. Журнал приобретет зримые черты соцреализма.

«B. I. Z.» был основан в 1890 году, в рамках крупнейшего издательского дома Ullstein – наступала эпоха массового читателя. На исходе Веймарских времен это был образцовый буржуазно-либеральный журнал на хорошей бумаге, в отличной полиграфии. Его жанровая фотография была традиционнее; широко представлено было американское репортажное фото. В памятном 1934 году Улльштейны вынуждены будут уступить свой семейный концерн НСДАП и отправиться в эмиграцию. Настуление нацизма, в свою очередь, переоденет B. I. Z. в тематику и стилистику а-ля Лени Рифеншталь. Со временем структура и характер обоих журналов сближаются. «Агитация за радость» правит бал. Символическими служат те же темы (авиация, Арктика). А в некоторых пунктах (например, Парижская выставка 1937 г.) случается прямое пересечение. При этом оба издания не лишены соревновательности: «любимый враг» держится в окуляре.

## Буржуазный и антибуржуазный журнал

1930-й год был одинаково рубежным для СССР и Германии. После краха Нью-Йоркской биржи (29 октября 1929 года) началась Великая депрессия, особенно страшная для Веймарской республики, отягченной последствиями мира. 14 сентября 1930 года национал-социалисты одержат свою первую победу на выборах в Рейхстаг.

В СССР завершится в основном и главном вторая Сталинская революция (коллективизация), начнутся Сталинские пятилетки и урбанизация: исход деревни в город. Последствия этой «бомбы времени» пока были неразличимы; казалось, что индустриализация сможет в кратчайшие сроки изменить страну. Понятно, что оба журнала оказались в это время перед разными задачами и разной аудиторией.

B. I. Z. был журналом развлекательным и, сколько мог, на социальные потрясения закрывал глаза. Минимум политики (Гитлер попал в кадр однажды как свидетель на процессе[7]). Звезды спорта, кино и проч. (Макс Шмелинг, Марлен Дитрих, высаживавшаяся в Голливуде, Чарльз Линдберг). Торжества и свадьбы Величеств, в том числе самых экзотических. Сенсация – вечный двигатель СМИ, хотя она еще остается функцией сюжета по преимуществу. Еще не создана сенсационная верстка послевоенных журналов, еще фотография тщится успокоить читателя.

*«…Одним из “узких” мест начинающегося строительного сезона является обеспечение индустрии квалифицированной рабочей силой…». Фотограф: А. Шайхет*

Оба журнала «населяют» разные люди. B. I. Z. – журнал о городе и для города. Классово-выдержанная массовка «О» пока деревенская по преимуществу: на страницах журнала предстает лицо крестьянской страны в момент ее исхода в город.

«О» на рубеже десятилетия куда менее развлекателен. Он не стесняется своей агитпроповской функции, и его конек – жизнь врасплох. Удельный вес фотографии в нем выше, а верстка монтажнее, чем в немецком журнале. Он пока старается, по слову Маяковского, жизнь «переделать», а не «воспевать».

Идеолог и ментор революционной фотографии Родченко[8] связывал разрушение старой фотографии с разрушенем старого мира, а новую – с борьбой «за фотографический язык для показа советской темы», с поиском точек, с каких мир «еще не привыкли видеть». Он был внимателен к почерку каждого из репортеров, перебарывал инерцию одних, учил других. Уже сам Родченко был объявлен формалистом, но еще заметна на страницах «О» его «агитация за факты,.. за репортаж»[9]. Мощный сдвиг, спровоцированный им, помогает сделать видимым сдвиг, переживаемый страной.

Знаменитая фотография: «Едут строить Москву». Крестьяне-«отходники», которым завтра придется стать индустриальными рабочими, принять в свои руки новейшие технологии, импортированные с Запада, только что сошли с поезда. Они еще не сняли лапти, везут из дома пилы – все свое «индустриальное» прошлое. Подпись императивна: «Одним из “узких” мест… является обеспечение… квалифицированной рабочей силой… Промышленное строительство может и должно быть в полной мере обеспечено рабочей силой»[10]. Едва ли какая статистика может доходчивее объяснить, в какое «узкое» место упрется «громадье планов». Слово «квалифициро-

Комиссия по чистке соваппарата ВСНХ за работой. Налево — председатель Центральной комиссии по чистке тов. Я. Х. Петерс Фот. А. Шайхета

*Эта фотография Аркадия Шайхета была опубликована в 1930 году в обоих журналах; в «Огоньке» – с подписью «Рабочий класс проверяет», в B. I. Z. – «Лицо господствующего класса»*

ванной» приходит в наглядное и кричащее противоречие с фото. Пятилетка, забывшая учесть «человеческий фактор», на страницах «О» становится очередной гражданской войной.

«Оперативная сводка с фронта пятилетки». Проходная Электрозавода эффектно оформлена в виде танка с пушкой. «Рабкоры обнаружили в трансформаторном бесплановость, разгильдяйство и вредительство»[11]. Дефицитный сварщик, вместо энтузиазма, хотел, чтобы больше платили, и был с позором изгнан. «На Красном Путиловце прорыв» (одно из любимых слов эпохи), «оппортунистическое руководство». «… В ряд стоят американские “барбосы”. Они молчат, ибо нет умелой руки, которая пустила бы их от бесконечных поломок. Только обучим рабочего – он и летит на другой завод, где больше на ликвидацию прорыва платят… В бой!»[12]. При этом люди часами стоят «в хвостах» в буфете. При этом, «на фронте продовольствия» и «на волне общественности» родилась «новая форма рабочего снабжения» – «закрытые распределители продуктов питания»[13]. На фото распределителя можно разглядеть плакат, призывающий продавца и покупателя к взаимной вежливости.

Просматривая комплекты журнала, ставшего всесоюзной стенгазетой, можно шаг за шагом проследить, как во встречном движении «верхов» и «низов», вместо цивилизации, рождается модель «мобилизационной» советской экономики с ее доминантами: «распределения» вместо торговли и поиском «вредителей» или «врагов наро-

да» вместо заботы о квалификации рабочих. Журнал публикует эффектный, на две полосы, фотомонтаж с процесса «Промпартии»: «Пролетариат советской страны судит контрреволюционеров». Выступление Государственного обвинятеля Крыленко (сверхкрупно), чтение приговора бессменным Вышинским (крупно) и непременные многоголовые общие планы митингов трудящихся[14].

Еще влиятельный в это время «международный отдел» показывает огромный митинг безработных в цирке Буша в Берлине, «шупо», оцепивших кинотеатр с нежелательным фильмом Ремарка – свидетельства «классовой борьбы»[15].

B. I. Z. глядит на восточного соседа со смешанным чувством ожидания и опасения. В объектив попадает разное – огромный новый дом в Харькове (брат дома на набережной)[16] и разрушение Храма Христа Спасителя[17]. Быт колонии общего режима и ленинский монумент из фильма Пудовкина. Среди европейских красавиц представлена русская, спортивная и стриженая. Иногда «цитируется» фотография «О». «Чистка в соваппарате ВСНХ»[18], демонстрирующая праведную пролетарскую бдительность – «рабочий класс проверяет» – получает новую подпись: «Лицо господствующего класса»[19].

И тогда на первый план выступает латентный смысл того же фото: пугающая, почти монументальная брутальность.

## Интермедия

Больше всего разводила оба издания реклама. Это может показаться частностью, но по Серван-Шрайберу, вечно проблематичная и предосудительная связь Berliner Illustrirte Zeitung с рекламой носит не прикладной (источник финансирования), а системный характер. Само происхождение подобного типа издания он относит к «мичуринскому» скрещиванию рассылаемых почтой каталогов готового платья и беллетристических сериалов[20]. Развлечение и торговля – координаты жанра.

В буржуазном B. I. Z. этот генотип проявлен в полном объеме. Реклама и романы с продолжением и рисованными иллюстрациями составляют его несущую конструкцию. Репортажная фотография (часто американская) не то, чтобы гостья, но пока еще и не хозяйка на его страницах. В «О» может показаться удивительным само присутствие рекламы. На исходе НЭПа она может служить подспорьем, но не источником финансирования. В условиях дефицита и распределения ей мало что приходится рекламировать. Свободная торговля товарами или услугами все больше уходит на теневую сторону.

К прочим дефицитам относится дефицит места. Реклама «О» невелика по объему и ассортименту, убориста, не располагает фотографией. Можно предложить в духе наших дней фрейдообразную версию, что в рекламу вытесняются – после короткого всплеска дискуссий о «свободной любви» – ставшие табу квазиэротические предметы, вроде средств от импотенции и от облысения, какие-то английские кровати, жемчуг для дам, советская парфюмерия ТЭЖЕ (последняя, впрочем, скорее всего, результат энергичности Жемчужниковой, супруги Молотова и руководительницы ТЭЖЕ). Можно предложить версию социальную. В обществе, сдвинутом со всех опор, маниакальной становится реклама всяческих «самоучителей» (вспомним пьесу Эрдмана «Самоубийца»). Как, впрочем, и другие печатные издания, иногда интересные, вроде уникальной библиотеки мемуаров, издаваемой Обществом полит-

*В. I. Z. Выбирают «королеву красоты»*

*«Огонек» изображает ударницу в процессе починки трактора*

*Реклама пылесоса Siemens*

каторжан (традиционный логоцентризм культуры в малограмотной стране). Однако никакого целостного образа – ни лысеющего импотента, читателя мемуаров, ни угреватого юнца, читателя приключенческих журналов, пудрящейся нэпманши – эта реклама не предлагает. Она «выживает» на периферии коллективного образа крестьянской страны, рванувшейся к модернизации.

Напротив, B. I. Z. предлагает образ читателя и в особенности читательницы во всех его материальных слагаемых, начиная от корсета Felina и кончая мотоциклом DRW. Ей предлагают часы Alpina, обувь от Hess, Tack, Dorndorf, платье Bleyle, чулки Elbeo, мыло Palmolive, пудру Coty. Среди кремов лидируют Mouson, Nivea. Ponds рекламируют Марлен Дитрих и Лени Рифеншталь. Не забыть супы Knorr и прочая, и прочая. Таким образом, в немецком журнале женщина выступает как «сексуальный объект», как теперь говорят, в ореоле индустрии «дамского счастья», составляющей немаловажную отрасль в любой развитой стране.

В советском издании предмет женских мечтаний вовсе не конкурс красоты, а трактор – культовый предмет ранних 30-х. Женское равноправие занимало одну из верхних строчек в «списке благодеяний» советской власти; женщина реализовывала его в самых тяжелых «мужских» профессиях: на страницах «О» женщина выступает в качестве «трудовой единицы» (Коллонтай), причем трудом в СССР называлась по преимуществу физическая работа.

Между тем, не столько полураздетые фотомодели в полукорсетах маркируют степень разрыва в образе жизни, сколько рядовая рисованная реклама пылесоса Siemens, – маленькие картинки наподобие клейм на иконах представляют почти весь набор бытовых приборов, которыми мы пользуемся по сей день. В «О» еще через десять лет предметом даже не рекламы, а обсуждения станут веник и чайник, а новинкой – медленный керогаз. Это означает, что в пору диктатуры Германия вступит будучи развитой индустриальной страной с европейским уровнем жизни, тогда как в СССР еще только начиналась урбанизация, а быт и, вообще, предполагался обобществленным: «Город (Магнитогорск – *М.Т.*) проектируется на основе полного обобществления культурно-просветительной и бытовой жизни всех трудящихся»[21].

Между тем, массовый журнал, даже буржуазный, не мог игнорировать наступившую депрессию. К 1932 г. на страницах B. I. Z. появляются женщины, озабоченные уже не корсетом Felina, а тарелкой супа[22]. Целые лагеря-времянки[23] и стойбища велосиредов безработных перед биржей труда[24] (прототипы «пролетфильмов» Филья Ютци и Брехта-Дудова). Безработные создают отряды добровольной трудовой повинности[25] (3-й Рейх не выдумает ее, а заимствует из практики, как большевики – закрытые распределители) Гинденбурга, а в массовках – избирательные кампании. Роль монтажера возьмет на себя история: на полосе встык станут пролетмитинг с Тельманом и марш наци с Гитлером[26]. Это будет апогей и эпилог буржуазной объективности.

Рузвельт (в Америке тоже идет бурная избирательная компания) снимается в кругу семьи. Восточный сосед тоже остается в окуляре, тем более, что это – единственная страна, избежавшая кризиса. Сталин, молодой и пока мало понятный, согласился позировать в Кремле немецкому репортеру[27]. Среди других высокопоставленных жен – портрет Аллилуевой[28] – оба фото в России неизвестны.

1932 год в «О» проходит под девизом: «Все своими руками, из своих материалов, своими машинами» – социализм в одной стране готовится к режиму автаркии. Журнал заполняется «портретами» вещей (будет издано даже специальное приложение

под тем же заголовком). Здесь можно найти мелочи вроде скрепок и кнопок, предметы быта – фотоаппараты и часы, патефоны и телефоны, но преобладает «тяжелая промышленность» – печатный станок «Пионер-1», тракторы и генераторы, локомотивы и самолеты. Вишневский напишет по этому поводу: «Центральным звеном модернизаторской стратегии большевиков было ускоренное превращение страны из аграрной в индустриальную… Так был задан ритм перекачивания ресурсов от потребления к накоплению… Массовый потребитель в СССР оказался отстранен от участия в формировании макроэкономических пропорций, что привело к подавлению обратных связей в экономической системе»[29]. Спускаясь с макроэкономического уровня на массовожурнальный, надо сказать, что между самой пошлой рекламой и выставкой достижений было такое же различие, как между понятиями «торговля» и «снабжение». Не говоря об ассортименте того же Siemens, дефицитный быт «коммуналки» способствовал сохранению крепостной ментальности не меньше, чем идеология. Переживая кризисы урбанизации, новый горожанин не получил главного: личной независимости.

В 1932 году победу на выборах в США одержал Рузвельт и его New Deal. В 1933-м победу на выборах в Германии – при явном попустительстве Коминтерна – одержал Гитлер. Массовый журнал, некогда либеральный в руках новых хозяев, на глазах переодевается в форму и «орабочивается». Среди портретов фюрера, всяческих знаков различия и эмблем – рисованные первомайские постеры: горделивый арийский рабочий[30], а также рабочий и капиталист, вдвоем держащие немецкую экономику[31] – символ «корпоративного государства». Военной пропаганде пока уделяется место лишь в рекламе сигарет «Trommler» и «Oberst» с соответствующими картинками.

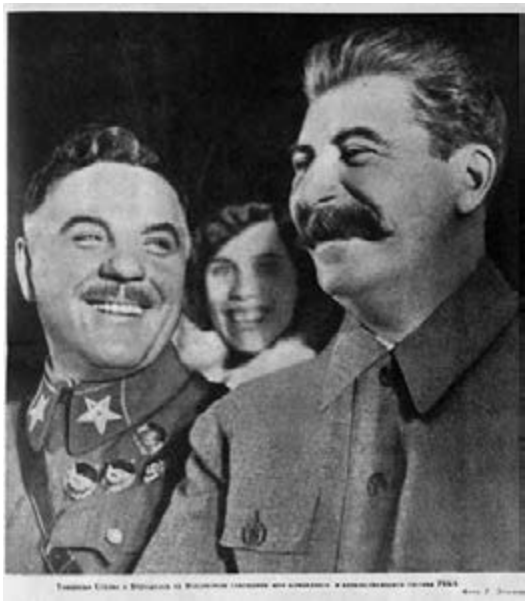
Меж тем, Россия в «О» постепенно утрачивает свое крестьянское лицо. Рядом с тракторами и индустриальными фото в 1933 г. появляются юные музыканты-лауреаты (среди них будущий великий пианист Эмиль Гиллельс), залы Библиотеки им. Ленина, парк культуры и отдыха. «Культ личности» Сталина, начавшись два года назад, становится таким же привычным, как и культ Гитлера на страницах B. I. Z.

## Дуэль диктатур

Разумеется, невозможно в небольшой статье обозреть весь корпус тем – нарастание антисемитской пропаганды, милитаризации, а затем и европейской экспансии в немецком журнале; идеологию «осажденного лагеря», пропаганду достижений социализма «в одной стране» в советском. Мы остановимся на отдельных значимых годах (1937, 1939, 1941) и на отдельных значимых темах.

К этому времени «О» стал респектабельнее, бумага – лучше, зато монтажность и острая документальность фотографии пошли на убыль; пафос репортажа со строительной площадки и задор всесоюзной стенгазеты – тоже. От крестьянской массовости он продвинулся в сторону советской – впрочем, простодушной – «буржуазности». Взамен былого боевитого интернационализма он обратил свое внимание на «национальную по форме», хотя и «социалистическую по содержанию», культуру и жизнь собственных республик.

*«Историческая встреча Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини: “дуче” и “фюрер” принимают торжественный марш воинских частей партии на Королевской площади столицы»*



*Огонек: «Товарищи Сталин и Ворошилов на Всесоюзном совещании жен командного состава РККА»*

B. I. Z., со своей стороны, несколько похудел за счет рекламы, сдал в архив буржуазную объективность, нацифицировался, сохранив рабоче-крестьянскую риторику лишь для юбилейных дат. Впрочем, успехи 4-летнего плана – vis-a-vis пятилеток – перспективны. Дефицит заставил Германию развить отрасль «эрзацев» (химию), которые в наше время составят основу промышленности.

Если советский журнал культивирует «дружбу народов», то нацистский – дружбу вождей народов. Парадная партийность или партийная парадность становится доминантой его сюжетов и стиля. Пышный визит дуче (потеряв статус «первого», он пока еще сохраняет положение «равного»). Репортаж о каудильо – в глубине кадра отчетливо виден портрет фюрера. Сталин примет к сведению щеголеватую мундирность и введет ее в СССР после войны. Пока ему импонирует имидж, афористически сформулированный для внешнего мира Барбусом: с лицом рабочего, с головой ученого, в одежде простого солдата.

Меж тем как советское издание все больше замыкается в границах «шестой части света», немецкое (коммерческое, как-никак) – старается удовлетворить всемирное любопытство своего покупателя, не пренебрегая по-прежнему ни экзотикой дальних стран, ни светской жизнью вроде коронации английского наследника, ни курьезами мировой моды, ни репортажным американским фото. В этом смысле он старается сохранить свой развлекательный потенциал и европейский тренд.

Удельный вес фотографии в B. I. Z. увеличивается, «О» же охотнее, чем прежде, допускает графику. Но из-под спуда нацистского четырехлетнего юбилея так же, как из многостраничных коллажей «О», воспевающих двацатилетие революции, все

громче звучит военная тема. Разумеется, самая «симметричная» тема в обоих режимах к этому времени перестает быть метафорой и формирует тип «политической религии»[32].

Небольшая заметка в «О» № 1 1937 года по непервостепенному поводу состоит преимущественно из эпитетов в превосходной степени: «20 декабря в Большом Кремлевском дворце, в присутствии *великого* вождя народов т. Сталина и его *славных* соратников, открылось Всесоюзное совещание жен командного… состава РККА. В зале, где *лучшие* представители… народа утверждали *великую* сталинскую конституцию, собрались *боевые* подруги… *передовые* женщины нашей *славной* КА. В выступлениях… вырисовывается *замечательный* облик женщин, *безгранично* любящих свою страну, умеющих сочетать заботу о семье с *большой* общественной работой, готовых в *любую* минуту встать рядом со своими мужьями на защиту» СССР[33].

В B. I. Z., посвященном юбилею, в фото и текстах прославлен вождь во всех его мыслимых ипостасях. «Народный канцлер облагородил германскую работу. Друг молодежи гарантировал будущее Германии. Ефрейтор мировой войны обеспечил оборону Германии. Человек из народа объединил немецкий народ. Создатель Рейха сотворил лик Германии. Борец мировой войны победил бедность. Внук крестьянина спас кормящее сословие»[34]. Это напоминает Сталина, друга детей, ученого и т. д. Обращает, однако, на себя внимание преобладание эпитета «deutsch». Если прибавить к этому бравурный комментарий к фото дуче: «Сын кузнеца кует империализм»[35], то архетип народного вождя – земного бога – можно считать сложившимся.

На фоне этого архетипического сходства в фоторепрезентации обоих вождей заметны различия, как исторического, так и личностного характера.

Фигура фюрера занимает существенную долю визуального ряда B. I. Z. Гитлер много и охотно позирует фотографам – среди рабочих, среди пимпфов, на фоне военных и партийных парадов и шествий, но журнал не дозирует и репортажную съемку – произносит ли он очередную речь, посещает ли художественную выставку, встречает ли дуче. Так же, впрочем, как он не пренебрегал кино – он постоянный и ведущий персонаж национальных масс-медиа.

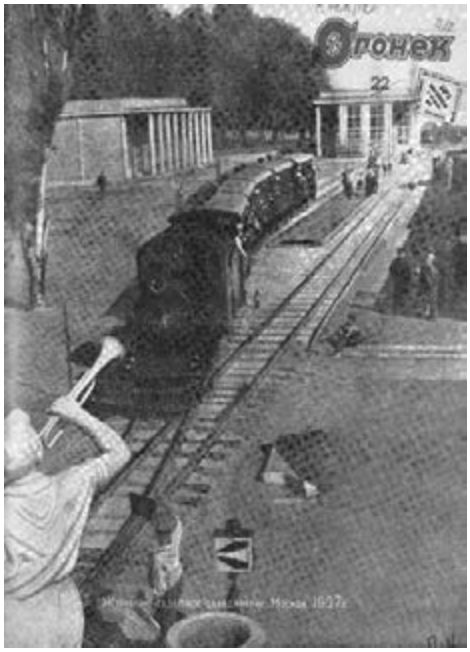
Напротив, «великий Сталин», постоянно присутствующий в словесном ряде «О», достаточно скупо представлен в иконографии – чаще официальным портретом или общим планом на мавзолее. Репортажные фото (к примеру, на том же совещании жен РККА) – строго дозированы. То же можно отнести к киносъемкам.

Здесь можно наметить несколько объяснений. Возможно, Сталин, низкорослый и рябой, был менее упоен своей внешностью и ораторским искусством, чем Гитлер – «барабанщик революции» был предтечей телевизионных карьер; тем, что сегодня называется «публичный политик». Недаром он брал уроки декламации и отрабатывал позы перед зеркалом. Зная цену «образа», он был старательным имиджмейкером.

Сталин недаром называл себя «бюрократом» и выбрал роль «серого кардинала» Политбюро, предпочитая, чтобы ранг «вождя народов» адресовали ему другие.

Это отчасти объясняется исторически: Гитлер был основоположником, Сталин – реинкарнацией Ленина, культ которого всегда держал в форме, даже фактически выместив его собою. Гитлер апеллировал к своим крестьянским «корням»; но кто бы посмел в 1937-м написать о Сталине «сын грузинского сапожника»? Он вел свое происхождение прямо от Ильича и был «Лениным сегодня». Хотя архетип «юности вождя» в изображении художников для обоих общий.

*В B. I. Z.: «Немецкая молодежь идет встречать Пасху: “Гитлерюгенд” на конном сражении под весенним небом»*




*В «Огоньке» 1937 года: «Бесплатный проезд для советских детей»*

Разумеется, многое зависело от характера (Хрущев, например, станет публичным политиком соцлагеря). Но на глубинных уровнях это связано с местной ментальностью, ощущение которой входит в профессию «вождя». Все же Германия была развитой европейской страной, в то время, как Россия, даже в модернизационном рывке, не вышла из патриархальности. Подобно Великому инквизитору Достоевского, Сталин предпочитал публичной политике чудо, тайну и авторитет (чем, кстати, отличался от Троцкого), а образу национального мессии – образ «отца народов». Не говоря о логоцентризме русской культуры, образ Сталина был куда более словесный, окруженный облаком постоянных эпитетов. Так что при всей симмериии «культов» их оформление на страницах иллюстрированных журналов было неодинаковым.

Симметрию, даже больше, чем тема молодости (она ассоциируется со словом «сталь» в «Mein Kampf» и в названии самого популярного романа «Как закалялась сталь») представляет тема детства. Пионеры в «О» и пимпфы в B. I. Z. в одинаковых галстуках (разница цвета неразличима на черно-белом фото) осуществляют свое «счастливое детство»: немецкие фехтуют, сидят перед географической картой[36], московские школьники строят авиямодели, собирают радиоприемники; опыты в электролаборатории вызывают к жизни светящийся силуэт Сталина[37]. Но и в рамках того идеологического мифа, который они иллюстрируют, ребята извлекают непосредственное удовольствие из возможностей, которые диктатуры предоставляют своей «смене». За рамкой картинки остаются еврейские дети, дети «врагов народа» и вся та организованная травля, «минутки ненависти», в которых оба режима также зеркальны.

Тема «героя» и тесно с ней связанная тема «врага» при структурном сходстве тоже обнаруживает существенную разницу.

Напомним, что в СССР 1937 год был пиком объявленного «большого террора». На страницах, однако, он отразился еще более косвенно и опосредованно, чем это было на пороге 30-х, когда процессы «вредителей» еще иллюстрировались репортажно. Знаменитые процессы 37-го с их знаменитыми обвиняемыми в кадр массового журнала вообще не попадают (хотя снимаются на пленку, как и суд над участниками покушения на Гитлера). Быть может, считается, что лица бывших вождей новой информации не несут. Или, напротив, дают избыточную информацию, способную вызвать ненужные чувства. Между тем как вербальный ряд[38] может предложить самую абсурдную информацию (например, переговоры Радека и Скольникова, по заданию Троцкого, с Гессом и обещание отдать Украину Германии, а Приморье – Японии. Или подготовка Пятаковым терактов против Сталина). Но важно даже не это, а сама риторика ненависти, элиминирующая всякое содержание: «Торговцы родиной и народной кровью, убийцы и душители рабочих, шпионы и диверсанты, троцкистские изверги дошли в своих черных предательских замыслах и действиях до такой низости, какой еще не знала история». Все эти бездоказательные инвективы подкреплялись совершенно произвольным фото: «Рабочие краснознаменного листопрокатного цеха завода “Серп и молот” голосуют за расстрел подлых бандитов-террористов»[39]. Фото демонстрирует лес рук. Хмурые лица на первом плане лишены даже той эмоциональной интенсивности, которая делала кадр «чистки» 1937-го шире его непосредственного содержания. Зато № 34 открывается богатырским портретом наркома Ежова (как известно, малорослого) и «Сказанием о батыре Ежове» акына Джамбула[40].

Стереотип освещения процессов был, таким образом, отработан. Но рационализация его не покрывает того более глубокого смысла, который имела визуальная «фигура умолчания». Он связан скорее всего с соотношением изображения и слова в советской культуре.

Известно, что в СССР практиковалась оруэлловская текущая переписка истории, сопровождаемая постоянным изъятием изображений «врагов народа». Даже в моей либеральной школе № 10 имени Фритьофа Нансена нам вменялось заклеить в учебнике истории портрет легендарного маршала Блюхера (еще недавно, кстати, возглавлявшего трибунал по делу «военного руководства»). То же самое относилось к внешнему врагу. Портреты Гитлера служили лишь моделью для бессменных карикатуристов – Бориса Ефимова и Кукриниксов. Я тщетно искала в «О» фоторепортажи о пакте между СССР и Германией 1939 г. – оказалось, соответствующий номер был вообще пропущен и сдвоен со следующим (1939, № 21–22). Фото на обложке № 24, минуя непопулярные рукопожатия, демонстрирует уже радостную встречу советских войск в Западной Белоруссии.

Стратегия B.I. Z. в этом пункте прямо противоположна. Не говоря о том, что обложка № 35 (от 1 августа 1939 года) по свежим следам помещает рукопожатие Риббентропа со Сталиным. (Дружеская улыбка вождя уж точно была бы для внутреннего употребления избыточной информацией.) Журнал дает развернутый фоторепортаж «Берлин–Москва»[41] и даже реакцию на пакт английской публики на Даунинг-стрит.

То же относится к «образу врага». Когда в 1939 году антисемитизм выйдет из тени, он широко выплеснется на страницы массового издания. Для пропаганды чаще

*Обложка B. I. Z: «После заключения Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом Сталин и министр иностранных дел фон Риббентроп протянули друг другу руку помощи»*

всего будут отбираться лица тупые, некрасивые или изможденные, что должно отталкивать читателя (с начала русской кампании военнопленным). Но на фото французских добровольцев-антифашистов – лица, которые могли бы стать прототипами звезд «новой волны» – Жана-Пьера Лео или Жана-Луи Трентиньяна. Лишь подпись: «Группа особенно типичных представителей еврейской расы охотно позирует фотографам», – направляет эмоции в нужную сторону. А большой четырехстраничный репортаж из Варшавского гетто[42] мог бы послужить документом для Нюрнберга. Как, впрочем, и фото разрушенной до основания Варшавы с верхней точки[43].

Полярная стратегия тоталитарных режимов в этом пункте позволяет сделать некоторые догадки. В «фигуре умолчания» советского журнала безусловно прагматическое лицемерие, вообще свойственное сталинскому режиму. Но под спудом этой прагматики лежит еще и ментальное различие культурной традиции. Изображение больше, чем текст, обращено к чувству, можно сказать, к предрассудку. Нацизм взывал к иррациональному отторжению «чужого» (еврей) или к иррациональному торжеству победителя (Варшава). Он не боялся коэффициента латентности. Напротив, общий логоцентризм советской культуры этой эмоциональной подвижности опасался. В щекотливых вопросах он предпочитал определенность слова («торговцы родиной», «троцкистские изверги» и проч.) Недаром музыка была фавориткой Гитлера, но на подозрении у Сталина. Словесные формулы достигали здесь, в свою очередь, иррациональности заклинания, призванного заместить реальность.

*«Огонек» сообщает о полярной зимовке летчиков, которые как сияющие победители должны были быть в первой линии большевиков*

Понятно, что, проклиная «врагов», масскультура нуждалась не только в культе вождя, но и в фигуре «героя» (эту роль играли, например, сыновья в соцреалистической модели «большой семьи», по терминологии Катерины Кларк)[44].

Культ героев, но взятых не из литературы, а «из жизни», – наиболее мистифицированная советологией, как внешней, так и внутренней, черта советской культуры (эра ТВ с ее страстью к «звездам» могла бы стать дополнением к этому культу). Но советский вариант в свете последующей мифологизации в квадрате, имеет свою специфику.

Главное искусство – литература – так и не сумела создать потребный интегральный образец. Кроме, разве, Павки Корчагина. «О» отмечает смерть автора – Николая Островского – фотографией, некрологом и стихами[45]. Все же «орлиной судьбы торжество» относится скорее к нему, нежели к герою. Или к герою, как к части биографии автора.

Массовая культура стала сама создавать героев вместо литературы, чтобы потом снова призвать их в литературу. Фигуры летчиков (по Гансу Гюнтеру) и полярников не были, однако, ни советской спецификой, ни даже тоталитарной. Авиация и Арктика, как впоследствии космос, занимали тогда вакантное место «езды в незнаемое». Но для «шестой части света» с ее бездорожьем, сверхдальние переплеты и проблематичный «севморпуть» были еще и хозяйственной, транспортной надобностью. Поэтому неудивительно, что в B. I. Z. палатки на льду – рисунки («Der Traum der Wissenschaft: die Nordpolstation»)[46], а в «О» – репортажи с реальной дрейфующей станции Папанина[47]. Сверхкрупный портрет знаменитого Шмидта, с живописной бородой, в ушанке, украсит обложку № 15.

Эффектные ракурсные «портреты» самолетов, равно как и тема авиации в будущей войне, занимают существенное место в обоих изданиях. Это тема для очерков, прогнозов, фото. И даже женщины в авиации зеркально отражают друг друга. Иное дело, что нацистскому журналу стальное лицо летчика за штурвалом понадобится в качестве символа в войну и станет маркой немецкой хроники. В советском журнале образ летчика персонифицирован, героизирован и прославлен в 30-е. Год «большого террора» дает для этого благодарный материал.

## Вставная новелла

В этом месте я позволю себе отступление, поскольку с «героями» тех лет мне довелось встретиться лично. В 70-е годы мы с Ю. Ханютиным делали на Мосфильме картину о культовом актере 30-х, Алейникове, и по этому случаю взяли интервью у живых еще «героев» той поры, в том числе у Папанина, Громова и Стаханова. Это дало нам возможность заглянуть по ту сторону подвига и узнать «как это было». Поэтому я буду пользоваться устными свидетельствами, а не опубликованными текстами, которые, как и наш фильм, прошли через цензурные фильтры.

Самым легендарным из «сталинских соколов» был Чкалов. В 1937-м он совершил перый беспосадочный перелет на американский континент через Северный полюс, и его портрет украсил обложку «О» № 18. Через месяц перелет был повторен – и превзойден – экипажем Громова, который прошел заданным курсом без отклонений и приземлился в районе Лос-Анджелеса. Это событие также было широко освещено[48]. Сама повторность этого – тогда пионерского – перелета может навести на мысль о «заказном» характере «подвига» и об «авторстве» Сталина. Меж тем, 30-е еще детонировали революционным взрывом, который всегда взывает к жизни не только террор, но и творческий потенциал нации. Люди 30-х были еще богаты инициативой и дерзостью.

В частности, инициатива перелета принадлежала Громову, который был высококультурным летчиком-испытателем. Обсудив вместе с экипажем идею перелета и проложив маршрут, он понял, что разрешение на подобную авантюру можно получить лишь на самом «верху», куда доступа у него не было. Зато было известно, что Сталин благоволит Чкалову; решено было предложить его экипажу идею парного перелета. Тактика сработала, Чкалов такое разрешение действительно получил. Но, придя на летное поле, Громов обнаружил, что «на горке» стоит только чкаловский АНТ и что ему придется лететь вторым. Правда, в отличие от первого экипажа, не долетевшего до места и приземлившегося в районе Ванкувера, Громов, Данилин и Юмашев точно выдержали курс, скорость и график (качество полета отмечал нацистский журнал) и в утешение получили престижную медаль. Фотографии ритуала встречи кортежа в Лос-Анджелесе мало чем отличаются от московских, разве что пилоты сидят на спинке открытого автомобиля. Мы спросили Громова, каково это было, быть героем в то время, и что он чувствовал. Он ответил: «Так и чувствовал – либо грудь в крестах, либо голова в кустах, все могло быть – и перелет, и арест. Повезло». Кстати, красавчику Юмашеву предложили главную роль в игровом фильме о летчике и дальнейший трехлетний контракт в Голливуде. Разумеется, «сталинскому

соколу» и в ум такое прийти не могло, максимум, что он мог – с юмором рассказать об этом на страницах «О» и снять любительский фильм о пребывании в Америке.

Можно было бы привести схожий рассказ Папанина об интригах и ходах, которые понадобились ему для разрешения на дрейфующую станцию – он-то был вхож «наверх». На самом деле, советская власть, партия и лично товарищ Сталин не были ни авторами, ни даже заказчиками «подвигов», как это часто выглядит в позднейших легендах (я бы назвала их «вторичным культом», хотя и со знаком минус). Напротив, продвижение дерзкой идеи требовало знакомств, связей, упорства, хитрости, не говоря об удаче. Зато любой успех упомянутые инстанции умели отчуждать в свою пользу, экспроприировать и присваивать, – в этом вождь напоминал гофмановского крошку Цахеса. Линдберг был прославлен, как Линдберг, но Чкалов и Громов, как «сталинские соколы».

Можно сказать шире: если в чем сталинизм преуспел надолго вперед, то в идеологическом «маркетинге» самого себя. Он почти элиминировал представление о стохастических процессах в советском обществе и представил его идеально управляемой структурой, каким оно никогда не было – «пятилетки» тому пример. (Нацизм, кстати, в том смысле достиг большего, благодаря национальной ментальности). Массовый журнал как раз и был агентом такого идеологического маркетинга.

«О» № 24 за 1937 г. открывается почти символическим фото: молодой рабочий держит глобус, можно сказать, земной шар. Сюжет, впрочем, прозаический – Стаханов сдает экзамен по географии в Промакадемию. Миф Стаханова и стахановцев – самый мифический из «героических» мифов. Ему ищут посильного объяснения. Бернис Розенталь, например, пишет: «Литература и искусство прославляли стахановцев, чьи подвиги были результатом инсценировок»[49] – само собою, для западного сознания стахановское движение вообще непостижимо, оно моделируется по «припискам» брежневских времен. Но вот в отечественном Биографическом энциклопедическом словаре К. Залесского «Империя Сталина» читаем: «По воспоминаниям работавших вместе с ним людей, система работы С. (получившего поддержку парторганов) стала заключаться в том, что на него работали несколько человек, обеспечивая ему помощь и отгрузку угля, что давало С. возможность устанавливать рекорды, превосходящие разумные размеры»[50]. Почему крестьянин-батрак, пришедший на шахту коногоном, не член партии даже, мог получить такую поддержку и помощь, остается неочевидным. Как и вообще феномен стахановского движения, о котором с 1935 года кричали все СМИ.

Нам довелось снимать Стаханова и того самого парторга шахты Центральное Ирмино, который и был автором «подвига», отцом «стахановского движения». А также говорить с верхних управленческих эшелонов Метростроя. «Загадку» Стаханова объяснил нам парторг, взявший на себя – в полном согласии с соцреалистическим каноном – роль «ментора» при будущем «герое». Дело в том, что деревенский парень, не имевший шахтерских корней, по его выражению, «знал жилу». Он не просто рубал уголек, но умел найти такое место для удара кайлом, что иногда обрушивался целый пласт. Тут уж, конечно, ему обеспечивали и помощь, и отгрузку угля. Сообразительный парторг понял, как можно использовать этот природный дар, взял инициативу в свои руки и стал в глубокой тайне готовить «рекорд», который в самом деле оказался ни с чем не сообразным: он превысил норму на 1350 %. Так Стаханов оказался «зачинщиком движения», которое вынесло его в «герои».

Разумеется, не все стахановцы отличались божьим даром, но сложившаяся с начала «индустриализации» система давала определенные возможности умельцам и честолюбцам их нового рабочего класса. Во-первых, это как раз было время ротации кадров старых партийных элит, связанных с революцией. Во-вторых, как мы видели, с «разоблачением» «спецов» индустриализация утратила и критерии качества, и принципы рентабельной организации труда – в ее «прорывах» и «авралах» всегда оставались возможности существенно повысить производительность и организацию. Наконец, стахановское движение (как ударничество и соцсоревнование) в очередной раз замещало экстрагированный монопольной экономикой стимул конкуренции. Стахановцы стали той аристократией рабочего класса, которая вовсе не специфична для СССР – специфичным было лишь ее возвышение как носителя «подвига».

«Роль личности» не занимает в советологии существенного места. Среди стахановцев были разные дюди, по-разному пережившие «выдвижение» (официальные высказывания и биографии служили житийным жанром). Больше всего пострадал при этом сам «основоположник», не готовый, а, может быть, не приспособленный для академической или руководящей карьеры. Федорова рассказывала, какой головной болью для стахановцев, готовых «выдвигаться», был на всех слетах и съездах в новой гостинице «Москва» сам Стаханов, дебоширивший, исчезавший, запивавший так, что им с Бусыгиным приходилось по ночам куда-то мчаться, брать его на поруки и т. д. Он не вписывался в поросль новой деловой рабочей элиты, а отпустить восвояси носителя «имени» никто не решался. Как ни странно, но судьба этого советского символа, улыбающегося с бесчисленных фото, сравнима с судьбой западных звезд, не выдержавших «медных труб». Стаханов, которого нам довелось снимать, был огромной и печальной человеческой руиной. В каком-то смысле жертвой сталинской эпохи – воплощением бесчеловечности ее «пролетарского гуманизма» и ржавости ее «модернизации».

В В. I. Z[51]. изобретатель знаменитой дорожной развязки «клеверный лист» Вилли Сарбах отмечен, но не прославлен, как не прославлены другие потенциальные «герои» труда. Идеального арийца предпочитали высекать в мраморе, подобно Тораку или Брекеру, а в массовом журнале рисовать в стиле постера. В качестве «героев» выступали Геринг (со львенком и дуче[52]), поскольку «вождь» был только один. Модель «большой семьи» и «сыновей» (по Кларк) в обществе куда менее традиционном и патриархальном, нежели СССР, не работала.

Наиболее асимметричным, как и прежде и даже более, чем прежде, оставался женский стереотип. Если «герой» – расовый он или классовый, мраморный или документальный – структурно выдержал одну и ту же идею превосходства данной идеологии, то женская роль на страницах массового издания по-прежнему не совпадала. Для нацизма женщина, в рамках нового, «мужского», военизированного акцента – прежде всего, потенциальная мать солдата, а, следовательно, сексуальный объект. Но, кроме того, пропагандистская функция журнала (так же, как в немецкой кинопродукции) не вытесняет развлекательную. И в этом смысле издание остается коммерческим и «буржуазным».

В советской культуре женщина по-прежнему выступает в качестве «субъекта», «рабочей единицы». Даже при «досуговом» акценте, который не чужд урбанизированному «О», он остается изданием дидактическим по преимуществу.

*«Огонек» 1939 года показывает пулеметчицу и знаменосца на мотоцикле*

*Комментарий на обложке B. I. Z.: «Балет на мотороллерах. Счастливый филиал берлинской автомобильной выставки в этом году снова стал общегерманским. Здесь ежедневно дается стартовый выстрел для авто-парада "Поцелуй путешествует вокруг света". В нем участвуют и те модели, которые с громким грохотом мчатся по всему свету»*

Пусть в мифологизированном виде Венер и Терпсихор, в виде полотен или «живых картин», «ню» занимает свое место в BIZ[53]. «О» всегда политкорректен в смысле женского равноправия. Его изобразительные символы – штурмующие небо комсомолец и комсомолка на картине Рянгиной «Все выше!»[54] и знаменитые «Рабочий и колхозница» Мухиной[55]. Шеренги стройных женских ног называются не «герлс», но «Парад физкультурников»[56]. Один и тот же сюжет женской акробатической пары в «О» будет изображать пулеметчицу и знаменосца на мотоцикле[57], а в B. I. Z. называться «Ballet auf Motorrollern»[58]. Хитом немецкого издания 1937 станет первоапрельская фотошутка – барышня в задорной шляпке с перышками, разорвавшейся на две[59]. Она найдет отклик в европейских журналах. Знаменитое фото «О» – та самая стахановка Федорова, которую мы встретили в респектабельном «руководящем» костюме – с отбойным молотком в шахте Метростроя.

## Интермедия

Реклама обоих массовых журналов изменилась, но по-прежнему маркировала разницу в уровне и образе жизни. В B. I. Z. она заметно похудела. Сигареты вернулись в свое цивильное состояние, уступив место настоящим манерам. Женская индустрия стала беднее.

*Обложка В. I. Z.: «Первый снимок новой шляпы весеннего сезона, которую ждали все женщины. Двойная шляпка. Этот новый головной убор логично развился из моды последних лет: шляпы становились все меньше, носились преимущественно сбоку, теперь можно носить две шляпки, которые надеты друг на друга»*

*Форзац «Огонька»: «Татьяна Викторовна Федорова (спереди), бригадир проходки шахты метро № 35, была выбрана местной избирательной комиссией Московского округа как кандидат в депутаты Моссовета»*

Досуг и путешествия отошли в ведение организации «Kraft durch Freude». Бытовые электроприборы усовершенствовались. Зато постулат Серван-Шрайбера о несущей конструкции романов и рекламы претерпел усушку и утруску. Партийная риторика переформировала журнал. Функция пропаганды если и не вытеснила, то потеснила развлечение, хотя европейский тренд – новинки мировой моды, курьезы международной светской жизни, сенсации кино и спорта – не ушли с его страниц.

В «О» реклама изменилась заметнее. Исчезли «родимые пятна» НЭПа, набранные убористым шрифтом. Реклама стала по преимуществу графической, государственной и даже целевой – реальным предложением товаров и услуг. В ней отразилось знаменитое сталинское «Жить стало лучше, жить стало веселей». Есть даже соответствующее выражение для середины 30-х: неонэп[60]. Распределение никуда не делось, но все же появились элементы госторговли и кое-какие товары не первого спроса. Изменилась идеология быта. Журнал отражает время не только процессов и перелетов, но и Парка культуры и отдыха, ателье индпошива, западных танцев под патефон, магазинов «Диета», гостиниц «Интурист» – своего рода советский рэгтайм. Реклама «О» – автопортрет этого времени – внутренних разрывов и зияний.

Страна дружно отметила столетие смерти Пушкина, и кондитерская фабрика «Красный Октябрь» предлагает наборы конфет «в интересном оформлении» – «Сказка Пушкина», «Пятитомник Пушкина», «Домик дедушки Крылова». Нарядная картинка ресторана вписана в изображение поезда: железнодорожники рекламируют буфеты и вагоны-рестораны. Союзтекстильшвейторг (нарисована дама в клетчатом ансамбле) предлагает натуральные ткани, а также «фотоснимки последних мод Ленинграда, Москвы, Парижа, Лондона, Вены и Нью-Йорка».

Союзювелирторг (на картинке дорежимная ваза баккара, камея, портсигар, столовые приборы) сообщает, что «значительно снижены цены на…», а также предлагает «большой выбор антикварно-художественных вещей». Союзмехторг афиширует «большой выбор манто из белки» и тоже обещает «снижение цены»…

Графики вообще стало в журнале больше, но рисованный характер рекламы приоткрывает еще одно зияние.

В B. I. Z. женскую индустрию от корсетов до бра рекламируют преимущественно фотомодели. В советском массовом журнале реклама «роскоши» анонимна, не персонифицирована, не имеет лица. Дама в манто нарисована. Пусть даже идеология допустила манто и антиквариат – предрассудок им не симпатизирует.

В популярной кинокомедии «Девушка с характером» с советской «секс-бомбой» Серовой простенький сюжет о дальневосточной Варе со зверофермы, которая отправляется в Москву искать управу на начальника, мешающего должным образом выращивать серебристых лис (крик тогдашней мировой моды), оборачивается лукавым парадоксом. В столице Варе приходится стать продавщицей, а заодно и моделью в магазине меховых изделий. Но идея «мехов», как товара, плохо укладывается в ее комсомольской голове. Вместо демонстрации мод, она соблазняет весь девичий коллектив уехать на Дальний Восток (было такое «движение хетагуровок»[61]). Трудно пердставить себе Варю (или ее зрительницу) позирующей для рекламы мехов. Идея «производства» и идея «потребления» не были связаны в самосознании общества хотя бы марксистской причинно-следственной связью. И в этом пункте ассиметрия обоих журналов достигает максимума.

Было бы очень интересно рассмотреть параллелизм не только героических, но и бытовых тем, искусства, науки. Оба издания отдавали им место и предлагали читателю немало интересного. «О» описывал, например, опыты по оживлению «изолированной головы собаки» (графика) и фото: «оживленная собака»[62]. B. I. Z. демонстрировал «сильнейшее устройство по разложению атомного ядра в мире»[63].

Были, однако, реальные события, где темы обоих журналов скрещивались напрямую. Такие, например, как испанская война, которая стала черновой репетиций мировой, или знаменитая Парижская выставка 1937 г.

Гражданская война в Испании, в репортажах по разные стороны фронта, сложит в первом приближении комплекс «бомбовых ковров» немецкой эскадрильи Кордор в «О»[64] – начало бесконечного мартиролога, собранного воедино в Нюрнберге. Эвакуация детей из Бильбао, бойцы на позициях и в быту – антифашизм, может быть, впервые объединил самосознание советского общества с Западом (Народный фронт). О теневой стороне «помощи» сталинских эмиссаров, больше всего озабоченных разгромом троцкистской фракции (ПОУП) мы узнали только в оттепель – очередная политическая «фигура умолчания».

B. I. Z. покажет «Красный Мадрид» как «город нищеты»[65], постоянный мотив диффамации врага, и, как всегда, местного «вождя» – Франко.

ОЖИВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА

*В то время как в «Огоньке» д-р Шамишов объясняет на примере собаки способность оживления организма, B. I. Z. заглядывает в странный дом в Берлин-Далем: «Сильнейшее устройство по разложению атомного ядра в мире»*

Устроители Парижской выставки, надо полагать, вполне умышленно предоставили СССР и нацистской Германии места для павильонов vis-a-vis. В этом была не только пространственная метафора, но и, возможно, подсознательная надежда на столкновение обоих режимов. Соответственно, обе диктатуры постарались выразить себя символически и сделали это с фрейдистской эмблематичностью. Нацистский павильон с завершающим имперским орлом имеет вид фаллического символа; советский служит горизонтально ориентированным постаментом для мухинских «Рабочего и колхозницы».

В том ракурсе, в котором это знаменитое сооружение было снято для B. I. Z.[66], у Мухиной угадывается намек на летящий силуэт Ники Самофракийской. Напротив, в угловом ракусе «О»[67] акцентирован соцреализм серпа и молота. Павильон выкадрован, никакой немецкий орел не виден. И даже общая панорама выставки скомпанована таким образом, что противостояние остается за рамкой кадра: знакомая визуальная «фигура умолчания» на «неприятную» тему. Немецкий журнал вернется к этому пикантному сюжету, показывая на этот раз «треугольник» со стороны павильона итальянского и отмечает, что именно эти три силуэта составляют характерную особенность всей выставки. Нацистский график сделает к этому рисованный постскриптум: в ночи уставшие рабочий и колхозница присели отдохнуть, орел же даже не заметил их вызова[68]. Жан Эффель, впрочем, прокомментирует это по-своему: орел тоже примостился на ночь в гнезде, да и фашистский всадник с конем прикорнули покемарить[69]. Так диктатуры сами объединили себя своей символикой.

*Комментарий «Огонька»: «На Парижской выставке: два символа – два мира. Мировая революция – это смысл символа советского павильона; в тишине напротив него на фасаде “Немецкого дома” стоит имперский орел как внушительный образ германской самоуверенной воли к миру»*

*Фото B. I. Z. с комментарием: «Три силуэта, которые сделали Парижскую выставку 1937 года значимым событием: важная конная статуя перед итальянским павильоном, с другой стороны – высокая башня “Немецкого дома” и напротив него – вызывающие жесты фигур советского павильона*

*Плакат к 20-й годовщине Октябрьской революции в «Огоньке» 1937 года*

*В 1941 году B. I. Z. публикует похожую афишу фильма «Sieg im Westen», сделанного главным командованием сухопутных войск*

1941 год «О» неосмотрительно начнет юмористическим рисунком младенца-Нового года, в ужасе спускающегося на парашюте в развалины старой Европы[70]. В № 5 будет напечатан очерк «В Париже» с циничным подзголовком: «Впечатления корреспондентов германских газет». Будут, конечно, и сводки с европейких фронтов, но массовый журнал останется, на удивление, занят отечественным повседневным бытом. Страницы и даже обложки займут «портреты» чайника и веника, салазок, ножниц, детских велосипедов – всего, чем так гордился год 1932-й. Но слоганы будет не так оптимистичны, как прежде: «Вдвое и втрое увеличить производство товаров широкого потребления». «Хорошо ли Вас обслуживают?» Старые болезни – дефицит и некачественность – дадут себя знать. Фото вагона-ресторана, когда-то послужившее образчиком для рисованной рекламы, окажется укором фотографии неутешительной нарпитовской реальности. Рядом с «хорошими» вещами появятся снимки «плохих» – так сказать, «черная доска» ширпотреба. Критика не отвечающая «правде жизни». Если массовый журнал считать срезом – не времени, конечно, но хотя бы эмоций времени, – то надо признать, что советский обыватель накануне роковой даты 22 июня был занят собой, своими бытовыми проблемами, в лучшем случае – лауреатами сталинских премий или выплавкой чугуна и стали. Постер солдата под знаменами и эмблемами, который в B. I. Z. появится в 1941[71], в «О» был помещен аж в юбилейном 1937-м. Понятно, что немецкий журнал в этом роковом и для Германии году был до краев заполнен военными сюжетами.

Немецкий «Натиск на Восток» русский «О» встречает текстом обращения Молотова – даже без портрета – и антинацистской карикатурой на обложке, отложенной

было на время пакта. B. I. Z., как всегда, перейдет к тактике диффамации противника – (портреты русских «Untermenschen»). Танк, погрязший в российском бездорожье, мог бы стать для Третьего Рейха memento, но не стал. Дальше начинается время военной пропаганды…

Зародившись на перекрестке рекламного каталога и романа с продолжением, массовый иллюстрированный журнал, как бы ни менялась его структура в условиях диктатур, остался тем же, чем был – романом с продолжением о жизни общества, в котором он функционирует, и рекламой его образа жизни. Документальность его при любых идеологических ауспициях, столь же несомненна, сколь и условна.

Дуэль журналов обеих «базовых» диктатур обнаруживает, куда очевиднее, чем искусство – как параллелизм, так и различия. Параллелизм на уровне сюжетов и их символики – создание образов живых богов квазирелигий; героическую риторику по оси главного вектора – милитаризации; соответствующий ей культ железа (индустриальный пейзаж, самолеты и танки); культ тела (его молодости, здоровья, силы с коннотациями того же железа). Параллелизм на уровне репрезентативного характера фотографии – преобладание парадности над репортажностью, «красоты» над выразительностью, точки съёмки «с пула», как называет Родченко, над ракурсом и «косиной»; на уровне верстки – ее монументальности, аккомпанирующей функции рекламы; обращения к сублимирующей помощи графики (постеры).

В то же время в «Berliner Illustrirte Zeitung» очевиднее, чем в искусстве, заметны черты несходства, и главная из них – исторически сложившаяся разница традиций, уровня и образа жизни. Россия избрала «прусский путь», Германия далеко ушла по пути «промышленно-технического прогресса»; и, каково бы ни было «видение идеального будущего», ее быт был европейски-буржуазным. «Догоняющая», притом монополизированная государством советская экономика ничего похожего предложить не могла.

«В конце большой войны не на живот», когда советские войска вступят на территорию Германии, молодые офицеры, воспитанные в чувстве превосходства социализма, переживут своего рода цивилизационный шок. Наручные часы и перочинные ножи, авторучки и шелковое дамское бельё, косметика и мотоциклы, не говоря об автомобилях, навсегда поразят их воображение видением другого образа жизни. Трофейный фильм «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк станет феноменом советского кино и советского самосознания.

Это в жизни. Но и на страницах хронотоп обоих журналов соизмерим, но не одинаков. Он синхронен идеологически, но несимметричен исторически.

Пропаганда в B. I. Z., начиная с образа вождя, визуализирована, визуально агрессивна, монтажна сюжетно (т. е. во времени), а не в пространстве. Его риторика потенциально телевизионна, обращена из индустриальной эпохи в сторону эпохи информационной. Независимо от поражения в войне (до тысячелетия Рейху не хватило 998 лет) расовая утопия несовместима с открытостью информационного поля.

«О» – тоже начиная с патриархального сталинского мифа – обращен не просто в логоцентрическую эру, но почти в фольклорную: и вождь, и враг имеют набор постоянных эпитетов. Его верстка иероглифичнее – и если монтажна, то пространственно. Бытовая архаика советского хронотопа – некоторая неуклюжесть, примитивность его «модернизации», помноженная на эхо авангарда в фотографии – делают его мир зрительно интереснее и обаятельнее (архаика всегда фотогеничнее буржуазности). Дидактика и умолчание – тоже черты патриархальной риторики, не дове-

ряющей многозначности фото, предпочитающей устрашать словом и утаивать неприятное изображение. «Лицемерие» – слово, которое следовало бы ввести в сталинский канон не на правах моральной категории, а на правах термина. Великая левая утопия приживается легче всего на почве патриархальности, но модернизация, даже самая консервативная, рано или поздно рушит ее изнутри.

Если идеология – сознание СМИ, то их стратегии принадлежат подсознанию традициии и культуры. Оба журнала демонстрируют два разных этапа «догоняющего развития», помноженные на географический и культурный коэффициенты. В чем-то сходные, но и глубоко различные.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Kraft durch Freude» (или KdF – «Сила через радость») – в нацистской Германии политическая организация, занимавшаяся вопросами организации и контроля досуга населения рейха в соответствии с идеологическими установками национал-социализма. «KdF» входила в состав Германского трудового фронта и функционировала в период с 1933 по 1945 год. «Легко на сердце» – популярная песня из комедии «Веселые ребята», снятой Григорием Александровым в 1934 году.

[2] *Jean-Louis Servan-Schreiber.* The Power to Inform, Media. The information business. – NY, 1974. S. 25; оригинал: Le pouvoir d'informer. – Paris, 1972.

[3] Им посвящена существенная часть новейшей обзорной работы немецкого историка V.D. Schmiechen-Ackermann: «Diktaturen im Vergleich». – Darmstadt, 2002.

[4] С. 31–32.

[5] *Schmiechen-Ackermann*. S. 56.

[6] Там же. S. 147.

[7] B. I. Z., 1930, № 25. S. 146.

[8] Александр Родченко (1891–1956) с 1925 года работал в «Огоньке».

[9] *Родченко А.* Опыты для будущего. – Грант: М., 1996. С. 282.

[10] Огонёк, 1939, № 11. С. 7.

[11] Огонёк. 1930, № 26. С. 3.

[12] Огонёк, 1930, № 26. С. 8.

[13] Огонёк, 1930, № 30. С. 3.

[14] Огонёк, 1930, № 35. С. 8–9.

[15] Огонёк, № 36. С. 11.

[16] B. I. Z., № 5. S. 166.

[17] B. I. Z., № 7. S. 244.

[18] Огонёк, 1930, № 8. С. 6.

[19] B. I. Z., 1930, № 1. S. 666.

[20] *Servan-Schreiber.* S. 25.

[21] *Луначарский А.В.*: СССР строит жизнь, достойную человека // Огонёк, 1930, № 4. С. 4.

[22] B. I. Z., 1932 № 3. S. 61.

[23] B. I. Z., 1932 № 4. S. 89.

[24] B. I. Z., 1932 № 23. S. 757.

[25] B. I. Z. 1932 № 14. S. 411.

[26] B. I. Z. 1932 № 10. S. 270–273.

[27] B. I. Z. 1932, № 9. S. 595.

[28] Надежда Сергеевна Аллилуева (1901–1932) – известна как вторая жена И.В. Сталина; родилась в семье рабочего-революционера; была сотрудницей журнала «Революция и Культура».

[29] *Вишневский*. Серп и рубль // Указ. соч. С. 53–58.

[30] B. I. Z., 1934, № 17. S. 579.

[31] B. I. Z., 1934, № 12. S. 375.

[32] *Schmiechen-Ackermann.* S. 49.

[33] B. I. Z., 1937, № 1. S. 4.

[34] Der Volkskanzler adelte deutsche Arbeit. Der Freund der Jugend sicherte Deutschlands Zukunft. Der Gefreite des Weltkriegs schuf Deutschlands Wehr. Der Mann aus dem Volk schuf die deutsche Volksgemeinschaft. Der Schöpfer des Deutschen Reichs gestaltet Deutschlands Antlitz. Der Kämpfer des Weltkriegs bekämpft die Not. Der Enkel von Bauern rettet den Nährstand // B. I. Z., 1937, № 4. S. 98–101.

[35] Der Sohn eines Schmiedes schmiedet den Imperialismus // B. I. Z., 1937, № 37. C. 1347,

[36] Adolf Hitler Schüler // B. I. Z., 1937. № 32. S. 1172–1173.

[37] Центральная детская техническая станция // Огонёк, 1937, № 8. С. 14–15.

[38] Враг пойман с поличным // Огонёк, 1937, № 4. С. 1.

[39] Огонёк, 1937, № 4, задняя сторона обложки.

[40] Джамбул Джабаев (1846–1945) – казахский народный поэт-акын. Советская пропаганда использовала его талант, и под его авторством появилось много гимнов, восхваляющих Сталина, и других произведений. В 1938 году город Мирзоян на юге Казахстана был переименован в Джамбул (сегодня – Тараз).

[41] B. I. Z., 1939, № 35. С. 148–149.

[42] B. I. Z., 1941, № 30. С. 790–793.

[43] B. I. Z., 1939, № 45. С. 1731.

[44] См. «Положительный герой как вербальная икона» в кн.: Соцреалистический канон. – Гуманитарное Агенство «Академический проект»: СПб, 2000. С. 569–584.

[45] Огонек, 1937, № 1. С. 9.

[46] B. I. Z., 1937, № 15. S. 513.

[47] См. Зимовка на полюсе // Огонек, 1937, № 14. С. 20–21.

[48] См. Огонек, 1937, № 26.

[49] Соцреалистический канон… С. 62.

[50] *Залесский К.Ф.* Империя Сталина // Вече. 2000. С. 428.

[51] B. I. Z., 1937, № 10. S. 306.

[52] B. I. Z., № 18, обл.

[53] См. B. I. Z. 1939, № 29, обложка.

[54] Огонек, 1937, № 32, обл.

[55] Огонек, 1937, № 18. С. 12.

[56] Огонек,1939, № 20–21, задн. обл.

[57] Огонек, 1939, № 16, задн. обл.

[58] B. I. Z., 1939, № 8, обл.

[59] B. I. Z., 1937, № 13, обл.

[60] См. *Роговин В*. Сталинский неонэп. – Московская типография № 4, 1994.

[61] Движение хетагуровок – группа женщин, которая последовала призыву ленинградской комсомолки Валентины Хетагуровой, офицерской жены, отправиться на освоение советского Дальнего Востока.

[62] Огонек, 1937, № 16–17. С. 26.

[63] B. I. Z., 1937, № 23. S. 834.

[64] Фашизм это смерть // Огонек, 1937, № 32. С. 16.

[65] Stadt des Elends // B. I. Z., 1937, № 90. S. 1096.

[66] B. I. Z., 1937, № 22. С. 790.

[67] Огонек, 1937, № 18. С. 12–13.

[68] B. I. Z., 1937, № 39. S. 1420–1421.

[69] См. иллюстрации в каталоге выставки «Berlin-Москва. Москва–Berlin 1900–1950», hrsg. von Irina Antonowa und Jörn Merkert. – München und NY, 1995. S. 358.

[70] Огонек, 1941, № 1, обор. обл.

[71] B. I. Z., 1941, № 10, «Sieg im Westen».

*Эльке Зур*

# ФРОНТОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ И БОЛЬШЕВИЗМ.
## Эрнст Никиш и Эрнст Юнгер

«Гештальт рабочего» – это демон.
Живой рабочий сам по себе совершенно не интересен;
Он попадает под этот гештальт только пока он является эффектом «демона»….
Он есть платонический идеальный тип;
Все эмпирические воплощения – это лишь силуэты[1].
*Эрнст Никиш, 1935*

Внутренняя духовная структура связывает фашизм с большевизмом…
*Эрнст Никиш, 1926*

В Германии XX столетия гештальт рабочего как платонический идеальный тип блуждал в головах как сторонников революционного национализма, так и интеллектуалов-коммунистов. Они мечтали о своем приходе к власти во имя безымянного, на которого Эрнст Юнгер перенес маскоподобные черты солдатского лица. Это были дети войны, чуждые жизни «революционные романтики» (Макс Вебер), мистифицирующие пролетариат и желающие использовать его как платформу для собственного возвышения[2]. Одержимые жаждой насыщенности фронтовых переживаний, они считали наступивший мир пустым. Они презирали готовую к миру бюргерскую республику как «шлюху версальской системы» и воспевали ленинское государство рабочих как истинно мужское сообщество: как *плановый ландшафт* в новопрусском стиле, который уже приближался к идеальному состоянию тотальной мобилизации в духе Юнгера.

В первые годы национал-социалистической диктатуры Эрнст Никиш[3] упорно придерживался этой рожденной в муках идеи. Его сопротивление нацизму, которое он провозгласил еще в 1932 г. в работе «Гитлер – злой рок Германии»[4], было нацелено против иррационального антибольшевизма вождя национал-социалистического движения. В Советском Союзе, объяснял он еще в 1935 г., рабочий впервые зарекомендовал себя как имперская фигура в отношении «вечных евреев» и «вечных римлян»[5]. Там он перерос печальный образ раба машин, оплакиваемый Освальдом Шпенглером в «Закате Европы»[6]. Согласно Никишу, он переступил рамки марксистско-материалистической картины истории, преодолел предписанную ему роль классового борца и превратился в символическую фигуру объединенной нации.

Казалось, большевики как аскетический авангард рабочих воплотили древнейшую мечту человечества, которую Шпенглер, при всем его культурном пессимизме, сохранил как проблеск надежды: современная, технически опытная элита «твердых, как сталь, людей расы с необычайным разумом» поднимется против отчуждения труда и разрушит господство «захватнического капитала» над производством[7].

Никиш вообразил, что эта утопия была реализована в Советском Союзе начала 1930-х гг. Он смотрел на нее глазами Эрнста Юнгера, чье произведение «Рабочий. Господство и гештальт» в 1932 г. сменило шпенглеровский «Закат Европы» в роли книги книг для юных интеллектуалов. Никиш трактовал это произведение как трансформацию большевизма в прусском стиле. В новом завещании современного национализма Юнгер нарисовал модель соответствующей индустриальной эпохе общественной пирамиды, где тотальная вера в технику выступала как парарелигиозная надстройка. Пролетариат представлял базис его планетарной империи, фундамент его *планового ландшафта*, состоящего из отштампованных атомов одинаковой формы. Согласно Никишу, *гештальт рабочего* превратился в Советском Союзе в господствующий тип. Он классифицировал его как всесторонне совершенную «конструкцию технической аппаратуры», чья индивидуальность была полностью стерта. По его мнению, самоотверженность позволяет рабочему как «имперской фигуре высшего ранга» выдвинуться в качестве двигателя истории[8]. Со временем он образует глобальную экономическую империю, которая посредством нескольких «производственных формул» может быть управляема из одного центра. «Рабочий – это первый человек, который для этого достаточно однообразен. Тотальная техника – это сила захвата мира извне; только человеку, который не привязан своей внутренней сущностью ни к одной сфере бытия, хватит “легких”, чтобы выстоять в решающей борьбе»[9]. Представление Никиша о пролетарии как управляемом извне атоме без значимых индивидуальных, семейных или профсоюзных связей перекликается с организационным принципом «демократического централизма». Этот взгляд происходил из идейного мира Эрнста Юнгера, который хотел вести рабочего «при непосредственном влиянии» духовной аристократии[10].

Уже постфактум Никиш объяснял, что переживание фронтового социализма пробудило его ностальгию по новому германскому рейху по ту сторону от капитализма, а также его симпатию к советской модели[11]. Он и Юнгер представляли себя духовными лидерами надпартийного движения *революционного национализма*. Они стали связующим звеном между боевыми бригадами бывших фронтовиков, союзными группами молодежи и кругами военных интеллектуалов, группировавшихся вокруг журналов «Действие» («Die Tat») Ганса Церера, «Поборник» («Vorkaempfer») Ганса Эбелинга, «Немецкая революция» («Deutsche Revolution») Отто Штрассера, «Социалистическая нация» («Sozialistische Nation») Карла Отто Петельса и союзной молодежной газеты «Грядущие» («Die Kommenden»), которую с 1930 г. выпускали Вернер Ласс и Эрнст Юнгер. Юнгер на глазах превратился в интеллектуального идола этой пестрой стаи революционно-национальных кругов и боевых бригад различного политического оттенка.

Они были объединены стремлением плечом к плечу с Советской Россией по примеру большевиков ринуться в сражение с буржуазно-капиталистическим господством. Они мечтали, что после этого произойдет сражение за фюрерство, и дистанцировались от НСДАП только тогда, когда Гитлер заключил союз со старыми буржуазными национальными группами и наметил свой «легальный курс». Как утверждал Никиш в 1931 г., взлет партии основывался на «большевистском психозе» и «опьянении немецких обывателей»[12]. В том числе поэтому он и его политические единомышленники противопоставили враждебному отношению к Советскому Союзу образ друга, на который они спроецировали свои утопические идеи.

Эрнст Никиш, учитель по профессии, со своим «Сопротивлением» и эконом Отто Штрассер со своим «Черным фронтом» являлись плацдармом революционно-национального антигитлеровского движения. Писатель Эрнст Юнгер держался на заднем плане как серый кардинал, но именно его произведения объединяли различные группы. В «Рабочем» он обрисовал контуры утопии, которая должна была позволить националистическим кругам вплоть до коммунистов пройти часть пути вместе. Под сенью планетарной империи пролетариата тотальная мобилизация на глобальную войну казалась совместимой с подготовкой мировой революции.

Юнгер, Никиш и Штрассер принадлежали к фронтовому поколению[13]. К ним и их сторонникам относилось замечание Макса Вебера 1918 г. по поводу радикальных писателей социал-демократии: они являются интеллектуалами и «революционными романтиками», не пригодными к нормальной профессиональной жизни и призывающими к всеобщей стачке, которую они хотят использовать как трамплин для собственного социального взлета[14]. Вебер считал подобных людей душевнобольными. Они страдали от травмы материальных битв и неустанно находились в поиске наркотика, который бы заглушил болезненный гнев по поводу проигранной войны[15].

Эти сорвиголовы жаждали интенсивности фронтового переживания и копировали пролеткульт большевиков, чтобы вести рабочие массы к новой борьбе. Карл фон Оссиецки назвал их «революционными истериками», которые апеллировали к низшим инстинктам обедневшей массы: «Постоянно блуждая в пустых формулах, никогда не углубляясь в суть и всегда оставаясь поверхностными»[16]. Генрих Штребель, пацифистски настроенный отец НСДПГ, обозначил их тягу к большевистской политике насилия как психоз – «подвид военной романтики»[17]. На основании эмпирических исследований в середине 1930-х гг. Эрих Фромм классифицировал этих бунтовщиков как особую форму авторитарного характера. С одной стороны, движимые чувством поражения и бессилия, они стремились к личной власти и геройству. С другой – они подчинялись вождю своего союза, как когда-то полководцу во время войны[18].

Вернувшихся фронтовиков, еще принадлежавших к имперскому офицерскому корпусу, гнев против старых буржуазных элит толкал к радикальной политической активности. Они обвиняли оставшихся дома в том, что те пересидели войну на своих высоких постах. Они якобы без нужды ускорили немецкую капитуляцию из страха за свои тепленькие местечки. Согласно Юнгеру, выигравшие от войны и революции, «парни самого пошлого сорта», удобно устроились у кормила республики[19].

Напротив, многие сторонники революционного национализма из интеллектуалов фронтового поколения вынуждены были с трудом пробиваться по жизни как политические писатели. Они мнили себя обделенными, и это усиливало их протест против бюргерского порядка. Эрнст Юнгер говорил о ностальгии академической молодежи по действию, жертвенности и военному стилю жизни. Один из наиболее известных инакомыслящих наблюдателей веймарской интеллектуальной сцены, «революционный пацифист» Курт Гиллер, выразил ее в следующих словах: «Не глубокое ли отвращение к “большинству” и “равенству” охватило светлейшие души нашего времени, прежде всего, нашу лучшую молодежь?»[20].

В 1931 г. в своем выступлении в поддержку регулируемой государством плановой экономики по советскому образцу Фердинанд Фрид обвинил господствующую элиту в том, что перед лицом капиталистического кризиса она проявила свою безду-

ховность и отсутствие вождя. «Ее основная деятельность исчерпывается обороной от напирающего молодого поколения, которое имеет идеи, но не имеет возможности их высказать»[21]. Это ощущение жизни амбиционного, но «лишнего» поколения интеллектуалов 30–40 лет[22] находило отдушину в гневном антиреспубликанизме. Факт истребления старых элит в Советском Союзе под лозунгом «Дорогу молодежи!» произвел на этих людей глубокое впечатление.

Вперед, к рабочему коллективу!
*Эрнст Юнгер, 1926 г.*

Автобиографические заметки Никиша после XX партсъезда КПСС свидетельствуют, что он расценивал себя неудавшимся интеллектуалом-самоучкой и непризнанным вождем. Сын бедного ремесленника, он влачил в «высшей школе» существование дискриминируемого аутсайдера, но позже сумел подняться до уровня учителя народной школы. Мещанство, чрезмерная дисциплина и муштра являлись питательной средой всякой иррациональной ненависти к бюргерству. Это чувство нашло выход во фронтовой романтике 1914 г., а позже в увлечении революцией.

Эрнста Юнгера, политического предтечу и соратника Никиша, мука гимназического существования также гнала на чужбину: сначала в Иностранный легион, затем – 19-летним добровольцем на фронт[23]. Уже будучи командиром штурмовой группы в чине лейтенанта, он командовал тысячами людей в окопах и приказывал стрелять в юных дезертиров. В 1918 г. он получил «Pour le mérite». Как известно, Юнгер так и не смог уйти от интенсивности фронтовых переживаний, хотя в старости и был вынужден признать, что собственно «рогатка», как он называл поздневильгельминистскую гимназию, подтолкнула его к военным приключениям.

«Проблема Юнгера – это проблема столетия: еще до своего первого опыта с женщинами он познакомился с войной», – записал драматург Хайнер Мюллер после визита к писателю[24].

Юнгер расценивал республику, которой он служил с 1919 по 1923 г. в статусе увешанного наградами лейтенанта, лишь как переходную стадию к следующей войне. В «Военном еженедельнике» («Militaer Wochenblatt»), официальном органе рейхсвера, он разработал стратегии будущего военного реванша, который должен был стать маневренной битвой танков и самолетов. Поэтому «солдатское сословие» больше, чем когда-либо, нуждалось во всесторонне образованной элите, «выжимке из прилежнейшей молодежи». Она должна объединить в себе «фридриховскую удаль атак» и «старопрусский дух» с железной спортивной подготовкой и техническим интеллектом[25]. Юнгер мысленно создал новый тип вождя и в 1925 г. в ежегоднике Стального шлема описал его как вечного борца: «Наша настоящая жизнь – продолжение войны другими средствами»[26]. По убеждению Юнгера, «прирожденный вождь и офицер как его выражение» не получили возможность встать во главе немецкой революции. Тогда коммунизму как пролетарскому массовому движению под руководством интеллектуальных писателей не хватило солдатского порыва, и он упустил возможность, «опираясь на Россию, привлечь значительную часть национальных сил в свой лагерь»[27].

Большевизм располагал склонными к насилию военными вождями типа Троцкого, который разрушил старую армию, чтобы чудом сотворить из ничего армию на-

родную. Под руководством прежних царских офицеров она продвинулась вплоть до польской границы и восстановила большую часть великорусской империи. Юнгер считал: если бы немецкая революция была способна к такому же «наполеоновскому интернационализму», как большевики, тогда молодые вожди националистов и тем самым ряд офицеров могли бы встать на ее сторону[28]. «Конечно, коммунизм как боевое движение нам ближе, чем демократия». В России господствует режим безусловного; там «во имя целей, с которыми можно согласиться или нет, уничтожаются целые слои населения». По мнению Юнгера, в Германии не было настоящей революции – никакого «краткого рубящего развития без оглядки на убогую судьбу отдельной личности»[29].

Тем самым он обращался к крылатым словам Артура Мёллера ван ден Брука: немецкие рабочие «упустили великий момент революции», они капитулировали вместо того, чтобы «спасти свое оружие на Востоке»[30]. Предтеча так называемой консервативной революции считал, что начавшаяся в 1914 г. интеграция немецкого пролетариата в нацию могла быть завершена только через идею мировой революции[31]. Поэтому «Новая Россия» казалась ему образцом. Там большевизм опирался на глубоко укорененные в простом народе социалистические пароли для его мобилизации против Запада. Из него было сформировано «солдатство советской власти». «Русский человек склоняется в послушной покорности перед тяжелым милитаризмом новой автократии»[32]. Так выросло консервативно-революционное национальное государство, которое было бы немыслимо без Ленина. Именно в нем Мёллер ван ден Брук видел реального политика всемирного исторического значения и тайного союзника «против Запада»[33]. Он воплощал в себе неопровержимую правду, что масса нуждается в вожде, который не предается иллюзии равенства, а создает соответствующую индустриальному времени новопрусскую иерархию[34]. Мёллер ван ден Брук исходил из консервативного сущностного родства между пруссачеством и большевизмом: оба не жаловали бюргерскую революцию и права человека. «Социализм для нас – укоренение, дифференциация, расчленение»[35].

Рассуждения Мёлера ван ден Брука и Шпенглера о «Новой России» влились в образ Советского Союза, бытовавший в рядах сторонников революционного национализма. Первоначально Шпенглер не брал большевизм в расчет, ибо рассматривал его как прикрытое социализмом вторжение западных марксистских интеллектуалов[36]. Однако его неожиданное долгожительство закрепило убеждение, что русский народ как будто поглотил марксизм, чтобы преобразовать его в соответствии с собственной сущностью[37]. При строительстве своей промышленности он использовал марксизм как оружие против индивидуалистско-капиталистического принципа выгоды, а затем трансформировал учение в религиозно окрашенный коллективизм при абсолютистском господстве государства[38]. Под впечатлением от систематического уничтожения старых элит в Советском Союзе Шпенглер в начале 1930-х гг. трактовал большевизм как жестокое междуцарствие интеллектуалов, которые использовали примитивный городской пролетариат. Он «уничтожил петровское общество, имевшее большей частью западное происхождение, и вывел на сцену буйный культ рабочего». Но теперь проявилась национальная составляющая, азиатская сущность русского народа и его государства – восточный, татарский большевизм, который вскоре избавится от своего западного поборника[39].

В середине 1920-х гг. с лозунгом «Вперед к рабочему! Долой всех ленивых заклинателей экономического миролюбия»[40] Э. Юнгер стремился мобилизовать силы

в пользу «государства фронтовиков»[41]. В нем командные посты экономики должен был занять солдатский тип вождя, который уже в коллективном переживании сражения перерос «бюргерскую идеологию» и превратился в национального социалиста[42]. Предстояло «покорить» рабочего оружием современной техники: ротационной печатной машиной, киноаппаратом и радиоприемником. Как показали прошедшие классовые бои, его «легко воодушевить». «То, что ему в чисто материальном плане мог предложить марксизм, национализм предложит и подавно»[43].

В своих политических манифестах в пользу фронтового солдатства Юнгер призывал к использованию революционного подъема масс как «инструмента и мотора». Ибо: «Любой вид подъема, который не исходит от центра городов, изначально обречен на поражение»[44]. В качестве образца здесь также выступал Ленин. Большевистский вождь сумел в нужный момент встать во главе плебейских масс, – констатировал в 1928 г. Отто Штрассер в (тогда еще) руководимых Йозефом Геббельсом «Национал-социалистических письмах» («Nationalsozialistische Briefe»). «Ленин знал, что революция нашего времени может найти себе питательную среду только в городах»[45].

Отто Штрассер (1887 г. р.) был типичным представителем фронтового поколения. В 1914 г. он добровольцем ушел на фронт, неоднократно был ранен и отмечен наградами, дослужившись до чина обер-лейтенанта. В 1919 г. в составе Фрайкора фон Эппа он сражался против Баварской советской республики.

Эрнст Никиш в то время находился по другую сторону баррикад. В 1917 г. по запросу города Аугсбурга он был отозван в тыл и назначен на должность учителя народной школы. Согласно его автобиографическим запискам, сначала он вступил в СДПГ с целью создания «государства рабочих»[46] с равнением на русский пролетариат. В 1919 г. его (скорее случайно) избрали председателем Центрального совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Баварии. После поражения Советской республики он был приговорен к двум годам крепости и отчислен со школьной службы. Демонстративно он перешел в НСДПГ и в том же году был избран в ландтаг. Партия внесла за его освобождение залог и назначила его председателем фракции и редактором своего органа «Обозрение» (Die Umschau). После распада независимых Никиш еще раз возвратился в ряды старой социал-демократии и стал заместителем руководителя СДПГ в баварском ландтаге. Он писал, что под знаком противостояния в Руре и травли «национал-большевизма» он вернулся к своей первоначальной цели – немецкому *рабочему государству*[47]. Он активно участвовал в деятельности кружка «Молодых социалистов» в Гофгейсмаре, руководил его печатными органами «Ледник» («Der Firn») и «Социалистический обзор» («Sozialistische Rundschau»).

После своего промежуточного пребывания во Фрайкоре фон Эппа Отто Штрассер также нашел свой путь к социал-демократии и сражался против Каппа. Под впечатлением от событий в Руре он вступил в НСДАП, которая в середине 1920-х гг. еще пользовалась успехом как партия революционного национализма. Тогда Карл Радек своим знаменитым некрологом в память расстрелянного по приговору военно-полевого суда главы Фрайкора Лео Шлагетера («Странник в никуда») вызвал первую национально-коммунистическую волну в Германии. Его дебаты с Мёллером ван ден Бруком об *этапе совместного пути,* в конце концов, сошли на нет. Духовный отец «нового национализма»[48] и «консервативной революции» отступил. Он обвинил коммунистов в желании отдать Германию советскому империализму[49].

В 1925 г. под знаком ориентированной на Запад внешней политики Штреземана он покончил жизнь самоубийством. В этом же году Эрнст Никиш начал свое сближение с духовной позицией большевизма, чья историческая задача, по его мнению, заключалась в строительстве «технической аппаратуры» в недоразвитой России[50]. Его программное произведение «Путь немецких рабочих к государству» было призывом к борьбе против буржуазной республики, права на личную свободу, благосостояние и счастье. Ибо «Пруссия требует самоотречения, твердости и самопожертвования, условий жизни полевого лагеря и безусловного отстаивания своих прав»[51].

В старой социал-демократической партии Саксонии (АСП), которая основывалась на «отечественной» традиции Лассаля и социал-патриотов Первой мировой войны, Никиш открыто выступил против демократии, которую он рассматривал как проявление западной оккупации. Он перенес идеи Мёллера ван ден Брука о синтезе национальной и социальной революций на обе, казалось бы, столь различные постбуржуазные диктатуры в Италии и Советской России. «Внутренняя духовная структура связывает фашизм и большевизм», – написал Никиш в 1926 г. в одном из первых номеров своего ежемесячника «Сопротивление» («Der Widerstand»). Оба общественных порядка являются «автократическими, антилиберальными, антииндивидуальными и жестокими», оба движимы «чувством противопоставления» Западу[52]. В этом смысле он выступал за «комбинацию русско-немецко-итальянского взаимодействия», которое должно подвигнуть и КПГ, и фелькишские организации к кооперации по «обработке рабочих», чтобы «разрушить уважение к демократизму и воспитывать восприимчивость к диктаторским формам»[53].

Кажется, ненависть к собственному социальному слою была негативным лейтмотивом всего его писательства, иногда до странности маниакального. Так, он не уставал оправдывать безусловную готовность большевизма к насилию по отношению к старым классам и элитам, которые якобы хотели сотрудничать с западными державами ради личной выгоды. «Русский демократ, либеральный капиталист, прозападно настроенный гражданин превратились во врагов страны, предателей народа, чье истребление было национальным долгом и необходимостью»[54].

После провала АСП на выборах в рейхстаг 1928 г. Никиш совсем отошел от партийной политики и сложил с себя обязанности редактора политического органа «Народное государство» («Der Volksstaat»). Он превратил свое Сопротивление в мост между интеллектуалами революционного национализма различной политической окраски. К числу ближайших соратников относились его друг Йозеф Дрексель и Карл Трёгер. Оба принимали участие в подавлении Баварской советской республики. Оба принадлежали к активистам, задающим тон во Фрайкоре Эппа и Союзе Оберланд. В конце 1920-х гг. они присоединились к пятистам борцам Сопротивления и придали ему парамилитаристский облик. Руководитель соединения Йозеф (Беппо) Рёмер в 1932 г. после многолетнего сотрудничества с Никишем вступил в КПГ.

Сам Никиш чувствовал себя «этической личностью», призванной вести пролетарские массы к государству, имея при этом перед глазами советский пример. Он считал, что социально-революционный пафос должен был стать источником сил национально-освободительной борьбы. Будучи углубленным в себя интеллектуалом без ораторского таланта, он, естественно, не мог прямо достичь рабочих. Поэтому он представлял себя серым кардиналом и вожаком элиты, которая на заднем плане дергала за ниточки. По мнению Курта Зонтхаймера, он подготовил почву для ран-

них предвыборных успехов НСДАП, в которую он в 1920-х гг. привел множество интеллектуалов. По мнению современников, он совершил героическую «малую работу» на идеологической почве[55]. При этом круг сопротивления Никиша в организационном плане обезоруживающим образом походил на ленинский авангард заговорщиков и строго следовал авторитарным правилам[56]. Он прилагал усилия, чтобы приобрести влияние на другие союзы национал-революционеров и участвовал в деятельности «Черного фронта»[57]. Рупор последнего – Отто Штрассер – как и Никиш, исходил из того, что при желании привлечь на свою сторону большинство национальное движение должно апеллировать к антикапиталистической ностальгии масс. «Социализм – это волшебное слово, которое, по меньшей мере, последние 80 лет постоянно приводит немецких рабочих к высоким показателям самоотверженности, к самопожертвованию»[58], – восторгался он в 1930 г. Вообще-то Штрассер мечтал о «национальном социализме» прусского покроя в духе Мёллера ван ден Брука, чей скептицизм относительно современного культа техники он разделял[59]. Для него падение царизма имело аграрные причины и было восстанием против крупного помещичьего землевладения. «Русская революция породила освобождение русских крестьян благодаря созданию собственности», – объяснял он в конце 1920-х гг. Но они смогли взяться за оружие только под сенью радикальных промышленных рабочих и под руководством радикальной марксистско-еврейской интеллигенции[60]. Теперь они исполнили свои обязанности и исторически превзошли самих себя.

В своей работе «Советская звезда закатывается» Штрассер возвел Сталина в ранг движущей силы русского крестьянства и его национальных интересов. Он разбил оппозицию во главе с Троцким, так как та боролась за пролетарскую мировую революцию, и именно поэтому с ней выражала солидарность еврейская интернациональная пресса от социал-демократической «Вперёд» («Vorwärts») до либеральной «Франкфуртской газеты» («Frankfurter Zeitung»). По мнению Штрассера, «Сталин и его сторонники» ликвидировали революцию, чтобы осуществить свое собственное историческое, даже метафизическое назначение, а именно: «освобождение русского крестьянина путем раздачи собственности и сбрасывание духовного ярма Западной Европы с – в своей глубочайшей сути, азиатской – русскости!»[61]

По отношению к принудительной коллективизации сельского хозяйства Штрассер четко сохранял дистанцию от большевизма. Его «Национал-социалистические письма», которые он после своего выхода из НСДАП летом 1930 г. назвал «зеркалом» душевного, духовного и экономического преображения Германии[62], обратились против культа машин советской пропаганды. Листок считал, что подобного рода «экспорт катехизиса» примитивен «для немецких националистов». Он указывал на душевные муки, которые сталинский претенциозный пятилетний план принес сельскому населению. «Не все, именуемое техникой, есть прогресс»[63].

По мнению Штрассера, кажущийся механистически-примитивным советский пятилетний план «построения социализма в одной стране» не мог стать образцом для немецкого народа. В духе Мёллера ван ден Брука, он должен был идти собственным путем, соответствующим его культурному возрасту и традиции[64]. Против этого тезиса выступил Бруно Фрай, австрийский редактор немецкого коммунистического листка «Утренний Берлин» («Berlin am Morgen»)[65]. Он обвинил Штрассера в псевдосоциалистической демагогии. По мнению Фрая, реплика Штрассера исчерпывалась совокупностью националистических и марксистских лозунгов. На деле же «сообщество должно было стать результатом борьбы против капитализма. Только в бесклас-

совом обществе может существовать настоящее понятие нации»[66]. Путь к нему указал Маркс посредством переноса естественнонаучного принципа причинности на общество. *Национальный социализм* Шпенглера и его духовных последователей от Гитлера до Штрассера принадлежал царству мистики[67]. Штрассер возразил, что обоснованная Альбертом Эйнштейном теория относительности лишила принцип каузальности, а вместе с ним и марксизм, претензии на всеобщность. Он есть порождение примитивно-материалистического западного учения о прогрессе а-ля Дарвин и Хеккель[68]. В целом Штрассер критиковал интернациональную претензию большевизма на господство и статус образца. Он видел перед собой немецкий социализм как утопию, выросшую, в культурно-историческом плане, из традиции прусского сословного и милитаристского государства. Он выглядел смутным и старомодным в сравнении с советской системой, которая, казалось, планомерно и без промедления форсировала технический прогресс и с ним «нового человека».

Для Карла фон Осиецкого Штрассер был «мягким интеллектуалом» и «переводчиком идей»[69], который нуждался в столь хулимой личной свободе, как в воздухе для дыхания, трогательным «Святым Георгием» и «писакой навечно исчезнувшего социального порядка»[70]. Охотно и часто используемое Штрассером и другими неоконсерваторами модное слово «органичный» происходило из романтического государственного учения Адама Мюллера. «Сегодня можно быть органичным только посредством дальнейшего развития индустриализма, как это делают русские»[71].

Как инакомыслящий, Штрассер противился идее пролетаризации крестьянства. Для Юнгера, напротив, нивелирование различий между городом и деревней было основным элементом «тотальной мобилизации» в духе высокой техники. Националисты старой школы должны перестать относиться с романтической враждебностью к машине как выражению власти холодного бюргерского национализма над кровью. Более того, она должна стать против него оружием. Кто и дальше будет сопротивляться машине, тот неизбежно будет ею уничтожен. Поэтому следовало освободить ее из лап буржуазии и поставить на службу нации[72]. Для Юнгера социализм означал оптимальное использование техники для вооружения, то есть, ее обобществление.

«Промышленный рабочий – первый и сильнейший фактор развертывания нового национализма», – заявил Юнгер в 1925 г[73]. Националистический пролеткульт, как и большевизм, нацелен на деиндивидуализацию человека массы. Юнгер постоянно осознавал это сущностное родство.

Скорее всего, именно под впечатлением от советского пятилетнего плана он провозгласил пароль: «Тотальная мобилизация!». Несмотря на мировой экономический кризис, революционные националисты должны были преодолеть свой страх перед техникой и направить ее как оружие против ее капиталистических создателей. Он считал, что Советский Союз и Италия уже находятся на пути к индустриальному «вооружению», которое охватило все сферы жизни и предусматривало «возрастающее урезание индивидуальной свободы». В этих диктатурах он видел контуры своей утопии общества, в котором «не должно существовать ничего, что не заключает в себе функцию государства». Темп конвейеров, военная дисциплина в фабричных цехах, пульс спешки в транспортных артериях, ревущие эскадрильи самолетов над центрами власти – все это было для него предвестниками «тотальной мобилизации»[74]. Она чеканила нового человека, в котором облик солдата должен стать единым целым с обликом рабочего[75].

В рецензии на опубликованные в 1930 г. мемуары Троцкого[76] Юнгер охарактеризовал стремление сталинской элиты на пути к мировому господству избавиться от своих бывших лидеров как проявление консеквентности. Основатель Красной армии и поборник перманентной революции мастерски владел стратегией и тактикой захвата и удержания власти. Он заложил основу научно-технической рационализации труда и «электрификации индустриального производства»[77]. Но теперь его время вышло. «Сила интеллекта была побеждена силой почвы»[78]. На страницах никишского «Сопротивления» в 1930 г. Юнгер допускал, что без марксистских лозунгов Троцкого русский народ не восстал бы против Запада. И здесь еще раз звучали мучительные мысли об упущенном историческом часе немцев в 1918 г. Они могли победить «весь мир», считал он, «если бы смогли объединить ведение войны с претензиями высочайшего ранга на мировую революцию»[79].

С точки зрения интеллектуалов из числа революционных националистов, революционеры-марксисты были поборниками исторической необходимости, безусловной готовности к насилию против старых общественных структур. Они могли сформироваться только в условиях демократии, даже если в России она существовала только несколько месяцев. Поэтому и Э. Никиш считал их «пригодными солдатами» первого часа, которые исполнили свой исторический долг[80]. От марксизма остался только ленинизм. «Гений политического деятеля» использовал марксизм «в национально-политических целях»[81]. После провала военного коммунизма и великого голодомора начала 1920-х гг. Ленин выдумал спасительную формулу, которая органично сплавила русский народ с техникой: «Социализм = советская власть + электрификация».

Сталин был для Никиша душеприказчиком Ленина. «При нем Россия снова стала государством, движимым исключительно национально-русскими стимулами», – писал он в своей рецензии на книгу Троцкого «Действительное положение в России». По его мнению, не имеющие родины евреи-космополиты пытались изнутри разрушить это органическое строение своим интернационалистским императивом классовой борьбы. Поэтому они должны были быть обезврежены. Их «западная формула» смешалась на определенное время с «русской вонью» и спровоцировала не сравнимую ни с чем волну насилия против «старой» буржуазии, которая ударила по ним самим[82]: «В невиданной остроты горячке произошло это самоочищение России, последние резервы бытия и самые тайные глубины были мобилизованы русским народным телом против западного яда»[83]. Так Сталин «завершил дело Ленина, изо дня в день создавая тотальное государство»[84]. В фанатичном «государственном резоне» советский диктатор проявил себя как истинный наследник Пруссии, «в нем больше духа Фридриха Великого, чем в каком-либо немецком явлении, включая “национальную оппозицию” в целом»[85]. В традиционной НННП и близких к ней массовых организациях Никишу мешал прежде всего «антибольшевистский психоз», предотвративший столь желаемый союз с Советской Россией. Он также сознавал, что революционный порыв в Германии нуждался в реальной утопии, в действительно существующем примере. Как молитву, повторял он в «Сопротивлении» свой гимн Сталину как строителю социалистического национального государства, как скрытому союзнику и победителю марксистского еврейства. При этом он плыл в идеологическом фарватере Э. Юнгера, следуя его размышлениям о технике и власти, превзойдя его только в непримиримом антисемитизме.

Никиш трактовал иллюзорное советское экономическое чудо как живое доказательство тому, что Юнгер как глашатай «современного национализма» пришел на смену романтичному культурному пессимизму Освальда Шпенглера и опроверг рационализм К. Маркса[86]. Сталинский пятилетний план доказывал, что «органическая воля гештальта» национального коллектива может покорить «уничтожающую человека технику» и поставить ее на службу масштабным задачам. Так советское государство своими показательными процессами предотвратило «вредительскую работу инженеров», которых Никиш считал последней судорогой вымирающего бюргерства[87].

Несколько недель спустя сам Сталин в своей знаменитой летней речи (шедевре политического цинизма) заклеймил «пожирательство специалистов» как «постыдное и вредительское явление» и провозгласил прекращение «уничтожения» «интеллектуалов старой школы»[88].

Тогда же Никиш стал постоянным наблюдателем и восторженным сторонником советского планового хозяйства. Оно казалось ему примером преодоленного отчуждения и вновь обретенной сознательной невинности в духе театра марионеток Клейста. Никиш характеризовал русский народ в традиции Шпенглера и неоромантиков как восточного Парсиваля индустриализации. Он еще не испорчен цивилизацией и не подчинился разрушающей эксплуататорской функции машины, напротив, он покорил ее себе.

«Возвышение органической воли гештальта над механицизмом техники сделало возможным технизацию Советского Союза в *коллективистской* форме. Тем самым было остановлено и сломлено индивидуалистское направление главного удара технического духа»[89].

Для верующих в прогресс современных националистов использование сельского хозяйства в интересах «тотальной мобилизации» выглядело исторической необходимостью. Так, некий Редерик фон Бистрам приветствовал в «Сопротивлении» принудительную коллективизацию сельского хозяйства в Советском Союзе и «уничтожение кулачества как класса». В то время как капиталистическое аграрное лобби, несмотря на голод в мире, по конъюнктурным соображениям приказало сжигать зерно, советский крестьянин шагал «рука об руку с просвещенным пролетарием», который «сначала осторожно, затем железной хваткой овладел стихией земли»[90]. При этом фон Бистрам признавал, что речь идет об «аграрной войне на уничтожение»[91]. Миллионы жертв советской принудительной коллективизации крестьян «Сопротивление» рассматривало лишь мимоходом, как гумус прогресса.

За национальным пафосом Никиша скрывалась человеческая холодность. Она проявилась в приветствии ликвидации политических и экономических вредителей в Советском Союзе. Одновременно она раскрылась в отсутствии интереса к реальным условиям существования живого рабочего, чей образ он, как духовный последователь Юнгера, в начале 1930-х гг. провозглашал в качестве будущего господина истории. Он не скрывал, что копировал коммунистический пролеткульт, который он считал гениальным открытием Ленина. Он «возвел на трон самое растоптанное создание буржуазного общества», которое теперь чувствует себя как «идеальный образ», как «тип человека, которому принадлежит будущее». Расхожими марксистскими формулами большевизм пробудил древнейший коллективный дух униженного русского народа и мобилизовал его сопротивление западному капитализму. Посредством марксизма он вверг его в постоянный технический угар, стиму-

лировавший его чувство самопожертвования[92]. Мистифицированный героизм и сознательное отрицание гуманности, отказ от жизненного счастья как постбуржуазный идеал человечества объединяли большевизм с фронтовым солдатством Юнгера, который в своих размышлениях о рабочем задавался вопросом: «На что годятся умы, которые даже не знают еще, что никакой дух не может превзойти по глубине и мудрости дух любого солдата, павшего где-то на Сомме или во Фландрии? Таков тот критерий, в котором мы нуждаемся»[93].

Без русской революции эта книга никогда бы не увидела свет

*Э. Никиш, 1932 г.*

## Рабочий Эрнста Юнгера и Советский Союз

«Возвышение гештальта рабочего до уровня планетарного типа лишает бюргера последнего уголка земли», – писал Эрнст Никиш летом 1932 г. в своей рецензии на книгу Юнгера «Рабочий». В псевдофилософских представлениях он буквально любовался уничтожением собственного класса:

«[…] по идее, он уже в определенной степени уничтожен; почти не имеет значения, заморят ли его жалкие телесные останки голодом, поставят к стенке или истребят еще как-нибудь. Рядом с гештальтом рабочего для бюргера не остается больше места; есть что-то неумолимое в том способе, которым тип [рабочего] расправляется с бюргером»[94].

Представлению Юнгера о «тотальной мобилизации» в рамках «рабочей демократии» предшествует желание тотального уничтожения старого. Крестным этой идеи являлся Жорж Сорель со своей утопией «республики производителей», которую он сформулировал в «Заметках по поводу Ленина». Этот первый гештальт вождя индустриальной эпохи был готов, согласно древним идеям государства, насильственно уничтожить все традиционные экономические и политические формы «и одновременно восстановить их в том виде, чтобы никакие капиталисты не смогли больше вклиниться между обществом и рабочим»[95].

На этой реальной утопии государства без бюргерства базировался Юнгер со своим идеалом военного планового ландшафта. Скорее всего, он подразумевал приход к власти большевиков, когда сетовал на отсутствие в Германии «молодого безоглядного фюрерства», не зараженного пока гуманистической традицией. «К сожалению, эпоха всеобщего образования лишила нас могучего резерва безграмотных»[96].

Уничтожение наследственного бюргерства и отказ от малейшей гуманистической «толерантности» были для Юнгера «первой предпосылкой органической конструкции государства». На фоне принудительной коллективизации сельского хозяйства, ранних московских показательных процессов и масштабных преследований в Советском Союзе он призывал: «[…] выжечь все те закоулки, откуда в тот момент, когда требуется наивысшая самоотдача, измена выпускает свои отряды, словно из чрева троянского коня»[97].

В то же время коммунистическая пресса триумфально демонстрировала советские гонения на мнимых врагов «рабочей власти», которые поголовно клеймились как «фашисты». Сообщения о смертных приговорах в Москве облекались в жаргон

военных сводок. «В заглавия газет проникает необузданная пропаганда крови, беспрецедентная в немецкой истории», – регистрировал Юнгер и, скорее всего, подразумевал не только национал-социалистическую прессу[98]. Ленин продемонстрировал, какая мобилизующая сила кроется в иллюзии синтеза социализма и национализма, что осознавал уже Мёллер ван ден Брук. В «Рабочем» Юнгер обходит эти два постулата. С его точки зрения, они являются средствами для достижения макиавеллистской цели, лозунгами, которые мобилизовали пролетариат на мировую войну – истинную плавильню нового пролетарского человечества, которое присвоило себе солдатский габитус 1914 г.[99].

Как и в Советском Союзе, в юнгеровской «рабочей демократии» господствовало перманентное чрезвычайное положение. Она была выстроена в виде пирамиды и напоминала летную эскадрилью. Всесильная фигура господина на одинокой вершине оставалась загадочной и размытой. Силовое поле эскадрильи образовывали лишенные индивидуальности и идеологизированные рабочие-солдаты – новые люди, похожие друг на друга как капли воды.

Это были физически и психически натренированные гештальты, безмолвные автоматы искусственного мира, которые безусловно подчинялись законам обожествленного чистого техницизма. Планетарное чувство отказа от своего «я» стоит за их постоянной готовностью убивать и позволить убить себя. Самопожертвование и сознание, что «для каждого павшего в резерве уже имеется смена», придавало их угловатым лицам маскоподобные черты[100]. Вера в то, что эти лишенные индивидуальности гештальты образуют основание общественной пирамиды, трансформировала пьянящее фронтовое переживание офицера мировой войны в мир труда, который гнал массы людей в окопы. Эпоха индивидуальности завершилась благодаря ее нивелированию. Современная техника позволила великолепно дифференцировать функциональное общество и установить над ним тотальное господство. «В XX веке ранг определяется тем объемом, в каком репрезентируется характер работы»[101].

Со своим «гештальтом рабочего» Юнгер подхватил коммунистический лейтмотив иллюстрированной прессы, определенный Зигфридом Кракауером как «орнамент массы», – пролеткульт, перенятый листками КПГ у большевистской пропаганды и имевший выражено-милитаристские черты. Они использовали аттрактивность реальной утопии Советского Союза с его мощной Красной армией и маршами вооруженных армий рабочих через монументальные города-спутники новой Москвы. Идеализированные снимки известных во всем мире русских фотографов демонстрировали стандартизированные образы пролеткульта – декорированные под орнамент массы или стилизованные под анонимных героев труда, они позировали перед гигантскими монументами техники. Казалось, они не имеют возраста и пола, их лица выглядели застывшими масками под касками или платками, их тела одинаково натренированы и одеты в униформу.

Подобные гештальты казались моделью для нарисованной Юнгером фигуры Атланта, держащего на себе социальную пирамиду постбуржуазной эпохи. Они застывали, превратившись в пролетарский тип без собственной воли, индивидуальной любознательности, романтических или родственных чувств, похожие друг на друга в своем габитусе, физиогномике и моторике. Все стремление этой новой *расы* было направлено на осуществление ее коллективной функции – постоянное совершенствование техники с целью завладеть миром в его «тотальности»[102]. За модернистской утопией органически структурированного массового общества скрывалось древнее

сознание аристократии, согласно которому преобладающее большинство людей являются лишь гештальтами, оловянными солдатиками – материалом для великих битв, в которых стремились реализовать и сохранить себя вожди. Казалось, Новая Россия реконструировала эту ностальгию по героике на соответствующей эпохе основе и усовершенствовала ее с помощью техники. В гигантских русских промышленных ландшафтах серийно чеканились люди, прессовались по «матрице», констатировал Артур Рундт в своих типичных для того времени записках путешественника в 1931 году[103]. Пирамида Юнгера базировалась на функциональных, одинаково сформированных фигурах Атлантов, которые удивительно были схожи с коммунистическим типом деиндивидуализированных новых людей в Советском Союзе.

«В то время как на низшей ступени иерархии гештальт рабочего, подобно будто бы слепой воле, подобно планетарному воздействию, захватывает и подчиняет себе единичного человека, на второй ступени он включает его в многообразие планомерно развертывающихся конструкций как носителя специфического характера работы. На последней же и высшей ступени единичный человек выступает в непосредственной связи с тотальным характером работы»[104].

Юнгер дал понять, что он считает Сталина подобной отдельной личностью: гештальт фюрера, который штамповал многомиллионный народ в современную, военно-авторитарную форму господства. Советская система казалась ему заготовкой того тотального милитаризированного государства, которым он грезил.

Там он также обнаружил примеры нового типа солдатского низшего фюрера, платоновского *стража*, которому суждено было занять командные посты промышленной экономики. Будущая аристократия мнилась Юнгеру как «Орден», который мог быть рекрутирован из участников войны, офицерских кадров и интеллектуалов среди сторонников социальной революции. Он должен был формироваться на основании принципа «селекции и отбора». Юнгер явно подразумевал гонения на старых большевиков первого часа, депортации и ликвидации оппозиционеров в Советском Союзе, когда он рисовал «рабочую демократию»[105] как соответствующую времени форму господства: «Для особого характера органической конструкции показателен тот повсюду встречающийся факт, что в какой-то момент происходит “закрытие списков” и повторяющиеся чистки, на которые партия не способна уже по самой своей сути»[106].

В Советском Союзе с уничтожением старых элит началось образование современного типа фюрера. Новый инженер стал символической фигурой «построения социализма в одной стране»[107]. Он был ребенком рабочего класса[108], идентифицировал себя с новой системой, которая позволила ему подобный социальный взлет. Государственная система воспитания сформировала его и приобщила к господствующей идеологии. Технические навыки и естественнонаучные знания нераздельно смешались в нем с господствующей идеологией. «Весь мир разрушим мы до основания, чтобы потом создать мир заново», – звучит гимн инженеров[109]. Их личность была полностью нивелирована, замечал Рундт в своей опубликованной у Ровольта книге, которая широкими кругами немецкой интеллигенции была воспринята как реакционная и антибольшевистская[110]. Отдельная личность деградирует до «сгустка» (Бухарин) аморфной массы.

«Система отслеживает все, что не позволяет индивидууму подчиниться высшему единству, и воспитывает психологию антииндивидуального для уничтожения этих препятствий»[111].

Стандартизированный инженер соответствовал современному типу вождя, «человеку расы» из набора государственной педагогики казарм, спортивных площадок и лагерных костров. Юнгер желал видеть его на ведущих позициях индустриального производства. Его размышления о воспитании перекликались с парамилитаристским стилем вождя, который в начале 1930-х гг. укрепился в советских учебных заведениях. Юнгер требовал строго схематизированного «образовательного предприятия», гарантировавшего бы «единое состояние образования», которое должно постоянно поддерживаться в форме с помощью пропаганды, организованного досуга и техники. Готовность к походам, строевым упражнениям и парамилитаристскому коллективному спорту уже заложена в молодежи. Она желает рабочей службы и «солдатской дисциплины».

«Предельное и однозначное запечатление гештальта возможно вне семьи», – писал он. «Ни у какой иной величины нет для этого такого призвания, как у государства – этой наиболее полной репрезентации гештальта»[112]. Фантазии Юнгера о коллективном «взращивании» избранных детей в *ведущую* расу казались романтичными и указывали на его антипатию к вечной *рогатке*. Вне массовых поселений, в условиях свободной великолепной природы из них должно быть создано «племя чиновников, офицеров, капитанов и прочих функционеров»[113]. Эти представления встраиваются в традицию педагогических концепций от Платона и Кампанеллы до прусских кадетских училищ. Однако Юнгер считал, что его идея вышла за рамки «фантазий о селекции и улучшении расы», которые были созданы предшествующими авторами государственных утопий. На деле же его конструкция была схожа с воспитательной моделью, реализованной А. Макаренко в образцовой колонии ОГПУ для беспризорников. После демонстрации в Берлине в 1931 г. знаменитого советского фильма «Путевка в жизнь» эта модель вызвала оживленное обсуждение[114].

Боевой летчик в костюме монтера представлял для Юнгера прототип новой расы по ту сторону от бюргерского индивидуализма. Он – интеллектуал, инженер и воин в одном лице. Усовершенствовав машину на службе нации, он превратил ее во «вторую природу» и возвратил себе свое природное изящество, которое однажды утратил в обращении с отчужденной техникой, – писал Юнгер. Этот прототип новой расы с пресловутым взглядом летчика смотрел вдаль поверх всех национальных границ и уже видел перед глазами планетарную империю. Примечательно, что вследствие запрета воздушных сил по Версальскому мирному договору, он получил свое образование не в Германии, а в Советском Союзе[115].

После перелета Линдберга через океан фигура летчика как прототип нового человека играла центральную роль в европейской литературе, например, в предисловии Андре Жида к «Ночному полету» Антуана де Сент-Экзюпери или в ранних произведениях Бертольда Брехта. Для уставших от демократии интеллектуалов она воплощала в себе прощание с бюргерско-индивидуалистской претензией на счастье и готовность к самопожертвованию ради коллективной цели – безграничного господства над природой.

Особое внимание в своем будущем плановом ландшафте Юнгер уделил роли журналиста, чьим прообразом, по всей видимости, выступил коммунистический рабочий корреспондент.

В Советском Союзе уже свершилось «осушение болота свободного мнения», которое Юнгер считал необходимым перед лицом «тотальной мобилизации»[116]. «Журналистская совесть» должна в будущем ограничиться «максимумом дескриптивной

точности» и «отточенностью стиля»: принципом *конструктивной критики и самокритики*, который был характерен для методов дисциплинирования в советском обществе[117]. Пресса, радио и кино должны быть поставлены на службу всевластной солдатской рабочей морали. Они должны были героизировать процесс производства, позитивно его отслеживать или вносить предложения по улучшению. «Как журналист перестает быть бюргерским индивидом и превращается в тип, так и пресса из органа свободного мнения превращается в орган однозначного и строгого мира работы»[118]. По мнению Юнгера, оппозиция имела бы здесь «столь же мало смысла, сколь мало она, к примеру, способна ускорить движение военного корабля»[119].

Вступлению в имперское пространство предшествует такая закалка и такие испытания в рамках плановых ландшафтов, какие сегодня еще невозможно себе представить[120], – резюмировал Юнгер в 1932 г.

«Нельзя без зачарованности наблюдать за человеком, когда, окруженный регионом хаоса, он закаляет свое оружие и сердце и когда он находит силы отвергнуть счастливый исход»[121].

Миф техники мобилизовал рабочего, заменил ему религию и придал ему ощущение себя как нового господина над миром. Одновременно она подчинила его железному закону функциональности, чего не смог добиться ни один предприниматель. Так что эпоха стачек и бойкотов также подходит к концу, как и капиталистическая конкуренция за прибыль, – писал Юнгер.

«С одной стороны, только тотальное техническое пространство создает возможность для тотального господства, с другой – только такое господство действительно способно распоряжаться техникой»[122].

Принудительная коллективизация сельского хозяйства в Советском Союзе приветствовалась в «Сопротивлении» Никиша как решающий шаг к этой выскокомодернизированной империи. Юнгер видел перед собой первые шахматные поселения в Сибири и на Урале, когда он представлял *плановый ландшафт* будущего как безграничное пространство, в котором техника полностью нивелировала индивидуальность и в личной, и в рабочей жизни[123].

Эрнст Юнгер имел в виду «освоение новых районов Сибири», а также сионистский киббуц, когда он рисовал плановый ландшафт для «тотальной мобилизации»[124].

Повседневная жизнь в городах, отчасти спроектированных немецкими архитекторами-авангардистами, подверглась значительной коллективизации и была перенесена в дома культуры, столовые, общественные кухни и государственные образовательные учреждения. Это минимизировало расходы на репродукцию рабочей силы и постоянно предоставляло людей в распоряжение государственной машины пропаганды[125]. Для Юнгера функциональный способ строительства имел лишь *характер мастерской*. Он был для него выражением переходного периода к плановым ландшафтам, которые породили бы новый монументальный стиль: пирамиды и соборы техники[126]. Поэтому в его утопии уже отражается переход советской архитектуры на тот имперский, подавляющий стиль строительства, который закрепился с 1933 г.

Перед лицом трансформирующего земной шар воздухоплавания Юнгер отказался от понимания нации как порождающего войну фактора; она была для него только техническим термином при *органическом* переформировании мира, которое могло произойти только через социальную революцию против капиталистической анархии. Для Юнгера она должна была осуществиться в грядущей мировой войне, в со-

вершенствовании техники, а также в гештальте рабочего в рамках «тотальной мобилизации»[127]. Конечную цель этой глобализирующей утопии Юнгер обозначил как «овладение пространством от полюса до полюса»[128].

Живой рабочий сам по себе совершенно не интересен
*Эрнст Никиш, 1932*

## Путешествие в Россию

«Если господство “гештальта рабочего” охватит немецкую сферу, то оно будет включать в себя территорию, простирающуюся от “Владивостока до Влиззинга”»[129]. В этом заключалась квинтессенция суждения Эрнста Никиша о постбуржуазном произведении Юнгера, которое он рассматривал как переложение большевизма на прусский лад. Без примера советского государства работа Юнгера была бы немыслима, записал он постфактум в своей автобиографии[130]. Сам Никиш в 1932 г. поехал в Советский Союз и инспектировал «большевистское жизненное пространство» глазами Юнгера. Он пришел к выводу, что там господство рабочего уже совершило «прорыв»[131].

Никиш предпринял свое путешествие в знаменитом окружении «Рабочего сообщества по изучению советской плановой экономики» (Арплан), основанного гиссенским профессором экономики Фридрихом Ленцем. Активист национал-революционного «Боевого кружка» Ганса Эбелинга уже в 1930 г. в своей работе, направленной против плана Юнга, агитировал за заключение союза с советской стороной, которую он рассматривал как образцовое господство разума[132]. В его рабочем сообществе Никиш и Юнгер время от времени встречались с интеллектуалами коммунистического толка, например, Георгом Лукачем, чей химерный «пролетарий в целом» был очень схож с *новым типом* гештальта рабочего[133].

Также в кружок входили социолог Адольф Грабовский из берлинской Высшей школы политики, специалист по истории Восточной Европы Отто Гётцш, юрист Арвид Харнак и социолог Эмиль Ледерер[134].

Осенью судьбоносного 1932 г. в «Поборнике», печатном органе Союза юных националистов, были опубликованные коллективные заметки о путешествии. Они были полны восхвалений в адрес советского планового хозяйства, воспевали готовность к общению его ведущих представителей, идеализировали великолепные приемы и импозантные монументы промышленности. Экспедиция находилась под глубоким впечатлением от «масштабного строительства», «которое основательно преобразило европейские и азиатские области СССР» и способствовало демонтажу иррационального антибольшевизма, – резюмировал листок[135].

После окончания мировой войны Адольф Грабовский выступал как эксперт по вопросам востока в национал-консервативной газете «Действие», радикально-демократической «Мировой сцене» («Die Weltbühne») и близкой к КПГ «Новой России» («Das Neue Russland»). В 1919 г. на вопрос Союза немецких ученых и художников он ответил: большевизм «имеет более чем фюрерский, активистский и аристократичный характер»[136]. Независимо от парламентских оков и без оглядки на партийные или индивидуальные интересы он может осуществить объективную всеобщую волю

нации[137]. В середине 1920-х гг. Грабовский некоторое время путешествовал по Советскому Союзу в качестве специального корреспондента либеральной «Франкфуртской газеты» и пришел к выводу, что там реализовано государственное учение Вильфредо Парето о кругообороте элит. Со сменой господствующего класса к власти пришла новая политическая аристократия, которая теперь во имя всеобщего блага осуществляет контроль над экономикой[138].

На эти идеи Грабовский опирался в ходе «страноведческого доклада», прочитанного после поездки 1932 г. в Техническом институте Штутгарта и опубликованного в научной серии[139]. Большевистская элита силой добилась того, для чего масса чересчур слаба или инертна[140]. Она схожа с «фашистами» прежде всего «в милитаристской ноте. Все, как там, так и здесь, есть фронт, все есть готовность до последнего, все есть дело и жертва»[141].

В своих записках путешественника Эрнст Никиш описывает унылость быта в милитаризированной «сфере труда» как идеальное состояние в духе «тотальной мобилизации»[142]. Он проходит серые города-спутники с их бараками-сотами, которые сделанные с высоты птичьего полета фотоснимки советской пропаганды представляли современными дворцами рабочих. Никиш наблюдает напряженные лица людей, которые в охоте за продуктами спешат через прежде великолепные московские аллеи. Он регистрирует униформированную одежду и жалкое подобие обуви; он видит пустые витрины, в которых мраморные бюсты Сталина красуются среди пары сухих морковных пучков. В окнах запустелых дворянских дворцов он обнаруживает «угрюмые лица бедняков» и удовлетворенно записывает, что *старое* бюргерство буквально исчезло с лица земли. Они потеряли свое «право на жизнь», в который раз объясняет он, так как продали свой народ Западу. Тем, что «рабочий», еще не зараженный гуманитарными цивилизаторскими размышлениями, уничтожил их под впечатлением от марксистских паролей, он спас свою страну[143], над повседневностью которой он теперь господствует.

«С такой же пробивной силой он добивается того, что в городах практически нельзя обнаружить следы других общественных слоев. Ни один социальный тип не отваживается выйти рядом с ним на свет, к ситуации приспосабливаются даже “наследники буржуазии” – сыновья и дочери “бывших людей”»[144].

В связи с этим Никиш приветствовал принудительную коллективизацию сельского хозяйства и «уничтожение кулачества как класса». «Крестьянин не вписывается в рамки рабочего государства: впоследствии он должен исчезнуть», – писал он во время наплыва на Западную Европу известий об ужасном голодоморе. Идеал *тотальной мобилизации* требовал технизированного и коллективизированного сельского хозяйства. Крестьянин, стремящийся к индивидуальной выгоде, парализует строительство и является «смертельной опасностью для рабочего государства». Поэтому он должен быть принужден принять «гештальт рабочего»[145]. «Он вновь приобретет свое право на жизнь только тем, что будет работать на общество[146], и его ценность измеряется лишь его “производительностью”»[147].

Никишу импонировала парамилитаристская организация советской рабочей жизни, которая стандартизировала образец американской тейлоровской организации. Новый человек вписывался в темп «целой системы». Растворением себя в коллективном производстве он завершал самого себя и становился идеально-типическим гештальтом. Никиш в примечательном согласии с интеллектуалами-коммунистами

считал, что свое «решение в пользу бедности и наивысшей трудовой дисциплины» рабочий принял добровольно благодаря коллективистскому производству[148].

Казалось, новый человек в Советском Союзе функционализировал и любовь, поставив ее на чисто деловой уровень. Там нет места для «гомосексуалов», – констатировал Никиш. Миф любви более не находит места в мире планового хозяйства и вездесущего государства. «Этот воздух так чист, что в итоге и отношения между мужчиной и женщиной, которые, связанные работой, стоят рядом друг с другом у конвейера, теряют свою эротику»[149]. Там, где люди скучены на нескольких квадратных метрах, а до коллективных душевых можно добраться только через холодные темные задние дворы; где господствует убогость во всех сферах жизни, а о красивых платьях и хорошей еде нечего и мечтать, чувственность вымирает. Никиш, который, как и многие мужчины фронтового поколения, воспринимал соблазнительную женственность как нечто испорченное, пережил эту унылость как спасительную. Он описывал деэротизированную повседневность в Советском Союзе как чистую и ясную. Берлин «несравненно порочнее», чем Москва или Ленинград[150].

Параноидальное отношение Никиша к другому полу, которое он разделял со многими ровесниками и представителями своего слоя, – это гневный протест против вхождения женщин в политику, описанное им как особо подлая черта буржуазности, как кастрация мужского героизма в публичной жизни. «Государство с его строгими, суровыми и твердыми требованиями никогда еще не было делом бабы», – объяснял он в своем трактате 1929 г. против «оженствления» политики[151]. Продвижение покрытых платками женщин в трудовую жизнь Советского Союза он рассматривал скорее как успокаивающий фактор в сравнении с эмансипационными устремлениями женского пола в Веймарской республике.

Рабочий, который у Юнгера подразумевался только как мужчина, в Новой России был в половом отношении нейтрален. Согласно Никишу, брак служил исключительно цели воспроизводства. «Нельзя больше причинять столько беспокойства», для «семейной романтики» в будущем *плановом ландшафте* нет ни места, ни времени[152]. Повседневная муштра детей в государственных учреждениях, массовый прием пищи в холодных столовых, исчезновение старых, нетрудоспособных людей с улиц и деприватизированное жилье в блоках, похожих на пчелиный улей – все это импонировало Никишу. Он думал, что обнаружил в Советском Союзе *мастеровой ландшафт* Юнгера, сырец, из которого будет образована новая социальная пирамида.

По мнению Никиша, Сталин идеальным образом воплощал в себе вождя. Он вездесущ: в виде бюстов или голоса из громкоговорителей и радиоприемников, улыбаясь с киноэкрана или плаката, кружась в образе летных эскадрилий над большими городами или проливаясь дождем большевистских трактатов на отдаленные деревни. Всеохватная машина пропаганды покоилась, с одной стороны, на тотальном культе вождя, с другой – на тотальном пролеткульте. Оба обуславливали друг друга. Это Никиш заметил задолго до своего путешествия в Россию[153]. Господство большевистской аристократии основывалось на умении соблазнить массы к опьянению самими собой. Она придала рабочему чувство избранности на мировое господство[154]. «Все русское существование построено по этому типу», – писал Никиш. Это выдвигает его на первый план, подтверждает его право на жизнь, прославляет его, предоставляет ему повод наслаждаться своим ведущим значением. За каждой демонстрацией общественной сути, за каждым жестом самого рабочего ощущается

жестко установленная претензия, *что он является наиболее обнадеживающим типом человека*[155].

В эру Гражданской войны пролеткульт с помощью художественного авангарда сплотил ленинскую старую гвардию вокруг демона, чье реальное ядро уже, самое позднее, с Кронштадта и исхода русской социал-демократии было практически уничтожено – вокруг фантома пролетариата. Кремлевские властители правили в новых платьях короля во имя рабочего класса, которого почти не существовало. И они проповедовали массам веру в чудеса техники, которая сформулирована в ленинской спасительной формуле о равенстве социализма сумме электричества и советской власти. Этот миф осуществился в сталинском девизе пятилетки о «построении социализма в одной стране»: план освещает путь целому народу; энергии народа хватит на выполнение этого плана. Настоящее приносится в жертву создаваемому будущему. Это самообладание напряженного героизма, которое больше не проявляет ни один народ Земли[156]. Если в чем-то возникают сомнения, ответ прост – учи Ленина. Наивная вера русских людей в иконы была перенесена на культ вождя. Это четко воспринял Никиш. Он видел также, что скупость внешнего существования перекликалась внутренним обеднением тотально функционализированного, отшлифованного машинным тактом Нового человека. Он есть более «убогий, отстающий, скромный и банальный вид человека», чем тип гуманистически образованного бюргера[157]. Все же его идеал свободы в виду конечности Земли и ее ресурсов повсеместно наталкивается на границы. Необходимость мирового государства и планетарного планового хозяйства, как их продемонстрировал Сталин, лежала для Никиша на ладони. Взятая на буксир живым советским социализмом, который есть лишь специфический русский вид национализма, Германия может освободиться из власти романтизма[158]. Видимо, в этом постулате резонировали потаенные мысли, что тем самым будет реализован прусский мужской принцип и планетарный центр переместится из Москвы в Потсдам, где Никиш предполагал сыграть роль вождя. Постфактум он объяснял: «Я был настоящим революционером, я хотел ликвидировать традиционные элиты и создать из слоя духовных людей такую элиту, которая должна была зарекомендовать себя как беззаветнейший орган массы»[159].

> Пролетарская диктатура столь же далека от просвещенной тирании, как Сталин от Перикла.
>
> *Эрнст Никиш, без даты*

## Эпилоги

«Для нас второстепенен факт, царь ли, Сталин или кто-либо другой правят в России», – заявил Юнгер в «Сопротивлении» после передачи Гинденбургом власти Гитлеру. Германия должна провести различие между «мировоззрением и политикой власти», чтобы не «повторилась констелляция, от которой сам Бисмарк в своих видениях пришел бы в ужас»[160]. Ведущие революционные националисты, которые благодаря своим связям с военной и политической элитой после передачи власти еще наслаждались определенной свободой, пытались притушить «большевистский психоз» НСДАП. Сторонники нового издания прусской политики перестраховки имелись в рядах вермахта до тех пор, пока борьба за власть между генералами не

решилась в пользу апологетов крестового похода против большевизма[161]. Эрнст Никиш увел свои круги в еще большую тень и, согласно его мемуарам, дошел до самого Муссолини, который ему якобы признался, что выступает за заключение союза со Сталиным[162].

Фридрих Ленц пытался перенести идею планового хозяйства в Третий рейх и тем самым наладить новые контакты с Москвой. Его поддержал Эрнст Юнгер в программной статье «Падение или новый порядок?», написанной для журнала «Немецкая народность» («Deutsches Volkstum») в мае 1933 г. В ней он провозглашал «новое понятие труда», как его требовала уставшая от свободы молодежь: «Строгое воспитание, порядок и подчинение, руководство и послушание, государственный авторитет, служба в солдатском духе»[163]. Четырехлетний план Геринга, который был прямо нацелен на национальную автаркию и новую мировую войну, выглядит примитивным популистским плагиатом утопии «тотальной мобилизации». Мыслительная бедность на фоне конкретной властно-экономической и оборонно-хозяйственной воли, от которой у интеллектуалов типа Юнгера и Никиша, похоже, захватило дыхание.

В сентябре 1933 г. Юнгер в последний раз попытался пробудить понимание советского планового хозяйства, даже если сам сомневался, что русский народ действительно расово пригоден и скрывает в себе подходящий «человеческий материал» для гештальта *тотального рабочего*[164]. Юнгер считал, что важнее для новой Германии был бы успех пятилетнего плана. Ибо, чтобы победить Запад, ей нужно иметь за спиной сильную Россию. При этом совершенно не важно, что Сталин проводил модернизацию во имя марксистской утопии, которая на деле давно подлежала отправке на свалку: «…в целом она есть предлог или попытка приблизить народ к тем формам власти, которых настоятельно требует историческое положение. Жертвы никогда не бывают напрасными»[165].

Из пражского изгнания «Немецкая Революция» Отто Штрассера выражала высшую похвалу «Сопротивлению», так как оно не стало встраиваться в гитлеровское государство. Одновременно Штрассер все же дистанцировался от «прусских большевиков» из окружения Эрнста Никиша и Фридриха Ленца, к которым были близки «широкие круги немецкой молодежи». По его мнению, своим признанием Советского Союза как образцовой модели социализма они вредили национальной самостоятельности Германии[166].

В 1934 г. «Сопротивление» было запрещено; Никиш сохранял свой круг еще пару лет. Его произведение «Третья имперская фигура» вышло в 1935 г., когда четырехлетний план нуждался в импорте русского зерна и сырья, и Никиш открыто представлял Советский Союз как противоположность Третьему рейху. По его мнению, там происходило становление «неслыханно нового», там власть принадлежала «гештальту рабочего как третьей имперской фигуре». В остальном же мире господствовал алчный «вечный еврей»[167]. Антисемитизм был для Никиша предлогом выступить за союз с постепенно *освободившимся от евреев* сталинским режимом. Кроме того, он воспевал Ленина как идеально-типический гештальт вождя и готового к насилию «полководца» рабочего класса[168] в борьбе против интернационального капитала. «В часы решений» его не смущали «ни еврейская, ни римская жалость». В качестве его наследника Сталин уничтожил остатки еврейского господства и достиг диктатуры рабочего на службе тотальной технической целесообразности[169].

Перед лицом ориентированной на Запад внешней политики Сталина с 1933 г. Отто Штрассер еще раз сблизился с советским режимом. «Немецкая революция», выходившая после его бегства из Германии в Праге, расценивала стратегию Народного фронта как прорыв русского национализма. Повивальной бабкой последнего газета признавала немецкого националиста генерала Людендорфа, который в 1917 г. устроил возвращение Ленина в Россию. Новый курс Кремля подготавливал почву для «будущего союза между социалистической Германией и Советским Союзом», – считал Иоганн фон Бух[170].

Тогда сторонники «Черного фронта» еще верили, что «антикапиталистическая ностальгия» вскоре совершит прорыв и приведет к падению Гитлера. Они ощущали себя представителями будущей элиты, которая придет к власти и построит собственно немецкий социализм в духе Мёллера ван ден Брука[171]. Эти люди не желали террористической партийной диктатуры по советскому образцу, но считали, что необходимо договориться со Сталиным. «Что в России может стать заменой этому режиму?»[172].

С 1936 г. А. Рудольф, публиковавший редакционные заметки в «Немецкой революции», нарисовал образ Советского Союза, распространенный среди сторонников Штрассера. Он описал его как страну, в которой абсолютной властью обладает узкий привилегированный слой. Там не может быть «напечатана ни одна неотцензурированная строка, ни одно свободное слово не может быть произнесено без опасности для жизни»; там «с раннего младенчества людям запрещены самостоятельные мысли даже в существенных вопросах, вместо этого в ранг долга возведено повторение постоянно меняющихся официальных лозунгов»[173]. После трехлетнего изгнания в Москве Рудольф не позволяет больше запугивать себя *антифашистским* императивом, который бичевал любую критику в адрес Сталина как помощь Гитлеру. Как свидетель московских показательных процессов, он описал их столь пронзительно, что «Немецкая революция» ясно отреклась от советского режима. Она констатировала «внутреннее родство между большевизмом и фашизмом». Перед лицом кровавого террористического господства сталинского слоя функционеров листок отошел от идеала диктатуры духовной аристократии, благодаря которому когда-то существовало единство в национал-революционных кругах. Он выступал за «немецкий социализм», который объединит «авторитарное руководство с демократическим контролем»[174].

Из аплодисментов коммунистов и многих немецких изгнанников буржуазного покроя Штрассер сделал вывод о моральном конце интернационального марксизма. Теперь он вновь искал политической близости с теми «морально здоровыми» кругами социал-демократии, которые открыто протестовали против массовых убийств в Советском Союзе. По его мнению, они обладали фигурами вождей, которые смогли бы стать важнейшими «активистами» немецкого социализма. «Немецкая революция» теперь призывала СДПГ отказаться от ориентированных на Москву стратегий Народного фронта.

В перспективе сближения между Сталиным и Гитлером листок трактовал «уничтожение старых большевиков» 1937 г. как мост между Москвой и Берлином. Приветствовалось избавление от последних еврейских интернационалистов и тем самым открытие пути к пониманию между Берлином и Москвой[175].

В том же году Никиш был арестован и только в 1945 г., тяжело больной, освобожден Красной армией из тюрьмы. Он пытался обрести свою политическую родину в

Восточной Германии, вступил в СЕПГ, был поборником и заместителем председателя фиктивного «Национального фронта», а также профессором Гумбольдтского университета. Он работал спичрайтером Отто Гротеволя, который абзацами цитировал Никиша в своей речи на объединительном партийном съезде СЕПГ. Никиш еще раз обратился к фантому рабочего Юнгера и от его имени требовал создания единой немецкой нации, которую он вверял защите Советского Союза против западной империалистической буржуазии[176].

В наследии Никиша находятся недатированные «Размышления к одной речи» – защитное слово в пользу единой рабочей партии в целостной Германии. По его мнению, сопротивление в кругах старой социал-демократии против объединения с КПГ исходило от тех буржуазных сил, которые уже в 1918 г. стали помехой настоящей революции. Но немецкий рабочий класс нуждается, наконец, в постбуржуазном плановом хозяйстве под руководством «демократического централизма», пусть даже для этого необходимо перешагнуть через труп СДПГ. Рабочие не нуждаются в «бюргерских, капиталистических формах жизни» демократии. Они знают, что будущее за советской моделью. Выступающие же против большевиков должны «подозреваться в реакционности»[177].

«Антирусский комплекс – это душевно-политическое заболевание бюргера», – писал Никиш в недатированном манускрипте[178]. Эта маниакальная идея происходит из страха перед революцией и знания, что «русский» в своей основе антибуржуазен. «Каждому антибольшевику, каждому врагу русских можно сказать в лицо, что он открытый или замаскированный бюргер. Каждый, кто идет на поводу антибольшевистской пропаганды, попался на буржуазную удочку»[179].

В это время на письменном столе у Никиша начинают скапливаться горы неопубликованных манускриптов, которые снова и снова ведут к кажущемуся старческой манией идеальному образу солдата-рабочего. «Необходим новый тип человека, который новым способом и на новой основе современной техники осуществит синтез между духом и мечом». Этот образ должен быть свободен от «частных привязанностей к крови и почве, собственности и традиции», в любое время готов подчинить себя высокому плану «мощной, упорядочивающей воли». «Этот тип заложен в профессионально обученных рабочих наших крупных предприятий». Некоторое время Никиш ощущал себя предводителем восточно-берлинской интеллигенции. Он отходит от Юнгера и присваивает себе его рабочего, дистанцируясь от прежнего гештальта, оставляя позади свой антисемитизм и обращаясь к марксистским корням этой фигуры. У Юнгера она являлась чисто «искусственным продуктом гордого мужского духа» и детищем мистифицированной веры в технику. Он получил свой «тип нового человека» из произведений Маркса и низвел до безвольной частички целой системы. Никиш же хотел видеть «своего нового человека» как существо из плоти и крови, как «немецкого рабочего, солдата по своим инстинктам»[180].

Этот же гештальт пережил Вторую мировую войну и у Юнгера. Если бы рабочий понимал «выражение» своего типа как выращивание «расы», то мог бы основать империю, – считал он еще в 1964 г.[181]. Его «Заметки по поводу рабочего», эпилог к размышлениям Сореля о Ленине, обличали возрождение индивидуального стремления к счастью и предупреждали от скепсиса, который есть «раковая опухоль» чистого техницизма[182]. Ибо «слепота воли относится к плану». Наследники старой касты функционеров «представляют опасность для коллектива», ищутся новые «направле-

ния», иссякает «сила для периодических чисток». «От этапа к этапу большинство обгоняет авангард»[183].

Пока был жив Сталин и поддерживал иллюзию рабочего государства с тоталитарным насилием, Никиш, кажется, был с собой и с ним в согласии, тем более, что в ранней ГДР он почитался как борец антифашистского сопротивления. «Далеко распространяется сияние этой властной советской государственной системы», – воспевал он тогда сталинский Советский Союз. «Он выглядит настолько проникающим, что весь капиталистический мир равняется на его существование: единственное содержание его политики – антибольшевизм; капиталистический мир объединяется в неплодотворном злобном «нет» против мощного «да», которое советская власть осуществляет в своем новом порядке»[184].

В 1949 г., когда геноцид массовых депортаций сталинизма еще не был завершен, Никишу было позволено еще раз посетить Москву. В одной из многих своих неопубликованных рукописей он сравнил свежие впечатления от поездки с полученными в 1932 г. Он восторгался выразительными приемами и праздниками, подготовленными ныне лично для него как для посланника Гротеволя и Пика. По его мнению, Москва похорошела, из серого рабочего пригорода превратилась в пышную метрополию интернационального пролетариата как господствующего класса будущего. «Архитекторы переживают лучшие времена», – радовался Никиш[185]. Имперские парадные улицы, блестящие магазины и монументальные жилые дворцы в помпезно украшенной зоне Кремля затмили его взгляд. Он не разглядел жилищную нужду, которая буквально взывала к небу в желто-серых городах-спутниках. Функционалистские постройки с использованием сотовых конструкций, которые когда-то являлись гордостью европейского архитектурного авангарда, снова пришли в упадок. Никиш воспринимал их с высоты птичьего полета, наслаждался шахматным порядком домов-гигантов. «Единый план определяет целостность, тем самым возникает гармоничная общая картина». Москва показалась Никишу современным сказочным городом, который совершенствовал себя в ритме техники[186]. Там «тотальная мобилизация» стала реальностью. Конвейеры определяли темп жизни метрополии. Они вели спешащие потоки людей из городских крупных фабрик через пышные улицы и бесконечные эскалаторы в бездны монументального метро вплоть до лифтов городов-спутников, которые опоясывали Москву. Для Никиша это было опьяняющее переживание. Как и в 1932 г., спешащие на поиск продуктов толпы он воспринимал как пульс времени в современном сказочном городе, чьи жители понимали существование как перманентную работу, а работу как перманентную войну. «Это чувство пронизывает весь народ»[187].

Никиш наслаждался тотально идеологизированным и униформированным рабочим как осуществлением юношеской мечты. Никто не показал ему массовых захоронений горожан и крестьян, чье уничтожение он приветствовал аплодисментами в Сопротивлении в 1930-е гг. Он хвалил чистую, *органическую* свободу в основе советского общества, которую реализовал Сталин. «Там, где эту форму настоящей, реальной демократии пытаются дискредитировать как “тоталитаризм”, раскрывают только нечистую совесть привилегированного слоя, который должен жить в страхе быть пойманным на недобросовестных сделках формальной демократии»[188].

Примечательной остается презрительная по отношению к человеку абстракция насилия в авторстве Никиша. «Советский народ не нуждается в разложившейся за-

падной цивилизации», – утверждал он, – «в своей природной человечности он сохранит себя как собственно творец культуры и ее носитель»[189].

Согласно эпигонам Никиша, он дистанцировался от ГДР после 17 июня 1953 г. Но он снова и снова возвращался на свою старую политическую родину из-за трудностей, которые препятствовали рассмотрению его заявления на возмещение в Западной Германии. В соответствии с его новой позицией, в городах рабочих обхаживает большевистская секта, которая предоставила им возможность увлечься нескончаемыми маршами и прокламациями во имя самих себя и своих вождей[190]. Тем самым она помогла прийти к власти примитивному гештальту: «славянскому и пролетарскому варвару». Но он жесток, нетерпим, негуманен, бескультурен, бессердечен, тщеславен, что привычно для массы. Так, пролетарская диктатура находится столь же далеко от просвещенной тирании, как Сталин от Перикла[191].

Возможно, гнев Никиша вырос только из личного столкновения с цензурой. Она вычеркнула главу «Евреи» из его работы «Европейский баланс», которая вышла при поддержке Отто Гротеволя и венчалась хвалой ленинского «Что делать?» Его авангарду он присудил наименование «офицерский корпус классовой борьбы»[192]. Он в срочном порядке превратил Россию в конкурентоспособную силу против «созданий западноевропейских держав»[193].

Факт расторжения Никишем соглашения с диктатурой СЕПГ вскоре после смерти Сталина объясняется также тем, что она украла у него «свободу духовного потока»[194]. Густав Хайнеманн, Карло Шмидт, Генрих Альбертц и другие знаменитые пацифисты поддержали его, когда он добивался на Западе компенсации за преследования времен национал-социализма. В середине 1960 гг. он получил единовременное возмещение в размере 35 тыс. марок. В 1965 г., несмотря на все споры, Совет мира ГДР вручил ему медаль Карла фон Осиецкого за «Заслуги в борьбе против немецкого милитаризма, фашизма и войны».

*Перевод с немецкого Оксаны Нагорной*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Ernst Niekisch:* Die dritte imperiale Figur. – Berlin 1935. S. 145f.

[2] *Max Weber:* Der Sozialismus [1918]; цит. по: Max Weber. Gesammelte politische Schriften. Hrsg. von Johannes Winckelmann. – Tübingen 1971, здесь S. 628.

[3] К биографии Эрнста Никиша (1889–1967) см.: *Birgit Rätsch-Langejürgen:* Das Prinzip Widerstand. Leben und Wirken von Ernst Niekisch. – Bonn 1997; *Sylvia Taschka:* Das Rußlandbild von Ernst Niekisch (= Erlanger Studien zur Geschichte, Bd. 5). – Erlangen und Jena 1999; *Michael Pittwald:* Ernst Niekisch. Völkischer Sozialismus, nationale Revolution, deutsches Endimperium. – Köln 2002; *Uwe Sauermann:* Ernst Niekisch und der revolutionäre Nationalismus. – München 1985.

[4] Berlin 1932; Репринт этого издания: – Koblenz 1990.

[5] *Niekisch:* Die dritte imperiale Figur (wie Anm. 1). S. 145.

[6] Ebd.. S. 143f.

[7] *Oswald Spengler:* Der Untergang des Abendlandes. Umrisse der Morphologie einer Weltgeschichte [1918, 1922]. – München 1959. S. 398.

[8] *Niekisch:* Die dritte imperiale Figur (wie Anm. 1). S. 169.

[9] Ebd. S. 168f.

[10] *Ernst Jünger:* Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt [1932]. – Stuttgart 1982. S. 258.

[11] *Ernst Niekisch:* Ursprung und Sinn der Widerstandsbewegung. [maschinenschriftliches Manuskript] o. D. In: Bundesarchiv [BA] Koblenz, Nachlaß [NL] 1280/2j. S. 6.

[12] *Spectator* [d. i. E. N.]: Stalin. In: Der Widerstand, September 1931, Nr. 9. S. 276.

[13] Понятие Детлева Пойкерта (см. прим. 22), распространенное им ко всем немцам, рожденным до 1890 г., применяется здесь ко всем участвовавшим в Первой мировой войне и подвергшимся ее влиянию.

[14] *Max Weber:* Der Sozialismus… S. 628.

[15] *Max Weber:* Deutschlands künftige Staatsform. – Frankfurt a. M. 1919. S. 107.

[16] *Carl von Ossietzky:* Das werdende Deutschland. Ein Wort an alle Schwachmütigen / Ders. Sämtliche Schriften (= Oldenburger Ausgabe). Hrsg. von Werner Boldt. 8 Bde. Reinbek bei Hamburg 1994; здесь Bd. 1. S. 108. Это произведение было впервые опубликовано в: Monatliche Mitteilungen des Deutschen Monistenbundes. Ortsgruppe Hamburg, 1. Februar 1919.

[17] *Heinrich Ströbel:* Vernunftrecht wider Faustrecht. In: WB [Weltbühne], 18. September 1919, Nr. 39. S. 341.

[18] *Erich Fromm:* Die Furcht vor der Freiheit. Stuttgart 1983. S. 197f.; впервые опубликовано под заголовком: Escape from freedom. – New York 1941.

[19] *Ernst Jünger:* Revolution und Frontsoldatentum. In: Gewissen, 31. August 1925.

[20] *Kurt Hiller:* Demokratie? Rede auf dem 1. Paneuropa-Kongreß am 5. Oktober 1926 in Wien / Ders.: Ratioaktiv. Reden 1914–1964. – Wiesbaden 1966. S. 51f.

[21] *Ferdinand Fried:* Das Ende des Kapitalismus. – Jena 1931. S. 22.

[22] *Detlev J.K.* Peukert: Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne. – Frankfurt a. M., 1987. S. 26. См. также: *Irmtraud Götz von Olenhusen:* Jugendreich, Gottesreich, Deutsches Reich. Junge Generation, Religion und Politik. 1928–1933. – Köln 1987. S. 25f. В отличие от Пойкерта, понятие «лишнее поколение» касается тех интеллектуалов, для которых после войны, революции и кризисных лет был закрыт путь нормальной карьеры и которые промышляли как публицисты и политические активисты различного оттенка – «писаки» (Макс Вебер).

[23] *Paul Noack:* Ernst Jünger. Eine Biographie. – Berlin 1998. S. 9–31.

[24] *Heiner Müller:* Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen. – Köln 1992. S. 18.

[25] *Ernst Jünger:* Skizze moderner Gefechtsführung. In: Militär-Wochenblatt, 13. November 1919 / Ders. Politische Publizistik… S. 14f.

[26] *Ernst Jünger:* Der neue Typ des Deutschen Menschen. Stahlhelm-Jahrbuch 1926 / Ders. Politische Publizisti… S. 171.

[27] *Jünger:* Revolution und Frontsoldatentum… S. 59.

[28] Ebd. S. 59f.

[29] Ebd. S. 59.

[30] *Arthur Moeller van den Bruck:* Rechenschaft über Rußland. Hrsg. von Hans Schwarz. – Berlin 1933. S. 184.

[31] *Otto-Ernst Schüddekopf:* Nationalbolschewismus in Deutschland 1918–1933. – Frankfurt a. M., Berlin und Wien 1973. S. 10. Первое издание вышло в свет под заглавием Linke Leute von rechts. Die nationalrevolutionären Minderheiten und der Kommunismus in der Weimarer Republik. – Stuttgart 1960.

[32] *Arthur Moeller van den Bruck:* Das Dritte Reich [1923]. 3. Aufl., bearbeitet von Hans Schwarz. – Hamburg 1931. S. 66f.

[33] *Arthur Moeller van den Bruck:* Wir wollen die Revolution gewinnen / Ders.: Rechenschaft über Rußland (wie Anm. 30). S. 187.

[34] *Moeller van den Bruck:* Das Dritte Reich… S. 218.

[35] *Moeller van den Bruck:* Rechenschaft über Russland… S. 70.

[36] См.: *Hans-Christof Kraus:* «Untergang des Abendlandes». Rußland im Geschichtsdenken Oswald Spenglers. In: Gerd Koenen und Lew Kopelew (Hrsg.): Deutschland und die russische Revolution. 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5 A). – München: Fink 1998. S. 277–312.

[37] Ebd. S. 302f.

[38] Ebd. S. 303f.

[39] *Oswald Spengler:* Jahre der Entscheidung. Erster Teil: Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung. – München 1933; цитата: S. 305.

[40] *Ernst Jünger:* Die nationalistische Revolution. In: Standarte. Wochenschrift des neuen Nationalismus, 20. Mai 1926 / Ders. Politische Publizistik… S. 215.

[41] *Ernst Jünger:* Schließt euch zusammen! Schlußwort. In: Standarte, 3. Juni 1926 / Ders. Politische Publizistik… S. 226.

[42] Ebd. S. 220.

[43] *Ernst Jünger:* Die Maschine. In: Die Standarte. Beiträge zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens. Sonderbeilage des Stahlhelm, 13. Dezember 1925 / Ders. Politische Publizistik… S. 162.

[44] *Ernst Jünger:* Groß-Stadt und Land. In: Deutsches Volkstum, August 1926 / Ders. Politische Publizistik… S. 234.

[45] Ebd.

[46] *Ernst Niekisch:* Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat. – Berlin 1925.

[47] *Ernst Niekisch:* Handschriftliche Notizen. O.D. In: BA Koblenz, NL 1280/2j, 17.

[48] Так назвал его экс-лейтенант и бывший руководитель школы, член НСДАП Вильгельм Корн в начале 1930-х гг. в близкой КПГ националистической газете «Ауфбрух». См.: *Wilhelm Korn:* Die sozialistische Nation. In: Aufbruch, Dezember 1931, Nr. 5. S. 13; цит. по: *Susanne Römer/Hans Coppi* [Hrsg.]: «Aufbruch». Dokumentation einer Zeitschrift zwischen den Fronten. – Koblenz 2001. S. 135. Новые или современные националисты (Эрнст Юнгер), в противоположность традиционным партиям (к примеру, НННП), представляли себя революционерами и выступали за синтез национализма и социализма. В связи с этим Мёллер ван ден Брук сформулировал расхожее понятие консервативной революции, которое, правда, ограничивалось узким политическим окружением («Ринг» Генриха фон Глейхен-Руссвурмса и кружки молодых консерваторов). См.: *Schüddekopf:* Nationalbolschewismus… S. 34–45.

[49] *Schüddekopf.* Nationalbolschewismus … S. 108–138.

[50] *Ernst Niekisch:* Der Schlüssel. Maschinenschriftliches Manuskript, 2. Dezember 1959. In: BA Koblenz, NL 1280/2j, 7.

[51] *Ernst Niekisch:* Ursprung und Sinn der Widerstandsbewegung. Maschinenschriftliches Manuskript, o. D.; ebd.. S. 22.

[52] *Ernst Niekisch:* Rußland-Italien-Deutschland. In: Der Widerstand, Juni 1926, Nr. 6. S. 55.

[53] Ebd. S. 57.

[54] Ebd.

[55] *Kurt Sontheimer:* Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. – München 1962. S. 363.

[56] См.: *Rätsch-Langejürgen:* Das Prinzip Widerstand… S. 107f.

[57] Zur Schwarzen Front vgl. Schüddekopf: Nationalbolschewismus (wie Anm. 31). S. 321–338; Ср.: *Pittwald:* Ernst Niekisch… S. 64–73

[58] Internationaler Marxismus oder Nationaler Sozialismus. Eine grundlegende Diskussion zwischen Dr. Otto Strasser, Mitglied des Vollzugsausschusses der Kampfgemeinschaft «Revolutionärer Nationalsozialisten» und Bruno Frei, Chefredakteur der kommunistischen Tageszeitung. – Berlin 1930. S. 4. – Эта брошюра содержит полную версию дебатов, состоявшихся в сентябре 1930 г. в «Национале социалист» и «Берлин ам морген».

[59] Der Fünfjahrsplan als Religion. In: Nationalsozialistische Briefe, 15. August 1930, H. 4. S. 64.

[60] См.: ebd.. S. 159.

[61] *Otto Strasser:* Der Sowjetstern geht unter. Berlin 1930; erstmals veröffentlicht in den Nationalsozialistischen Briefen, 15. Dezember 1927. S. 15.

[62] *Otto Strasser:* An unsere Leser! In: Nationalsozialistische Briefe, 15. August 1930, H. 4. S. 49.

[63] *Strasser:* Der Fünfjahrsplan… S. 64.

[64] Internationaler Marxismus… S. 6.

[65] Internationaler Marxismus…

[66] *Bruno Frei:* Erwiderung an Strasser. In: Ebd.. S. 14.

[67] *Bruno Frei:* Ein letztes Wort an Dr. Otto Strasser. In: Ebd. S. 32.

[68] *O[tto] S[trasser]:* Schlußwort. In: Ebd. 34–36.

[69] *Carl von Ossietzky:* Otto Strassers «deutscher Sozialismus». In: WB vom 16. August 1932 / Ders. Sämtliche Schriften…; здесь: Bd. 6. S. 411.

[70] Ebd. S. 416.

[71] Ebd. S. 414.
[72] *Jünger:* Die Maschine… S. 161.
[73] Ebd. S. 162.
[74] *Юнгер Э.* Тотальная мобилизация / *Он же.* Рабочий. Господство и гештальт. – СПб., 2002. С. 443–469.
[75] *Ernst Jünger:* Das große Bild des Krieges / Ders. Politische Publizistik… S. 612; первоначально опубликовано в: Das Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutscher Soldaten. Hrsg. von Ernst Jünger. – Berlin 1930.
[76] *Leo Trotzki:* Mein Leben. Versuch einer Autobiographie. – Berlin 1930.
[77] *Ernst Niekisch:* Trozkijs Erinnerungen. In: Der Widerstand, Februar 1930, H. 2; Цит. по: *Jünger.* Politische Publizistik… S. 547.
[78] Ebd. S. 552.
[79] Ebd.
[80] *Spectator* (d. i. E. N.): Stalin… S. 276.
[81] Ebd.
[82] *Ernst Niekisch:* Der Fünfjahrsplan… S. 197.
[83] Ebd.
[84] *Spectator* (d. i. E. N.): Stalin (wie Anm. 12). S. 278.
[85] Ebd. S. 279.
[86] *Ernst Niekisch:* Die dritte imperiale Figur… S. 143–146.
[87] *Ernst Niekisch:* Menschenfresser Technik. In: Der Widerstand, April 1931 / Ders.: Widerstand. Ausgewählte Aufsätze aus seinen «Blättern für sozialistische und nationalrevolutionäre Politik». Hrsg. und eingeleitet von Uwe Sauermann. – Krefeld 1982. S. 65.
[88] Цит. по: «Stalin spricht». In: Die Weltbühne vom 7. Juli 1931. S. 47. Удобный для КПГ перевод знаменитой речи опубликован в 1931 г. в Гамбурге под заголовком: Neue Lage, neue Aufgaben des wirtschaftlichen Aufbaues.
[89] *Niekisch:* Menschenfresser Technik… S. 65.
[90] *Roderich von Bistram:* Rußland: Proletariat und Erde. In: Der Widerstand, Oktober 1930, H. 10. S. 310f.
[91] Ebd. S. 311.
[92] *Ernst Niekisch:* Proletkult. In: Der Widerstand, April 1932 / Ders.: Widerstand… S. 120f.
[93] *Юнгер Э.* Рабочий. Господство и гештальт. С. 303.
[94] *Ernst Niekisch:* Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. Zu Ernst Jüngers neuem Buche. In: Der Widerstand, Oktober 1932 / Ders.: Widerstand… S. 161.
[95] *Georges Sorel:* Für Lenin. In: Ders.: Über die Gewalt. – Frankfurt a. M. 1981. S. 352, 348f.
[96] *Юнгер.* Рабочий… С. 306.
[97] Там же. С. 349.
[98] Там же. С. 370.
[99] Там же. С. 361
[100] Там же. С. 231.
[101] Там же. С. 232.
[102] Там же. С. 427 и далее.
[103] *Arthur Rundt:* Der Mensch wird umgebaut. Ein Rußlandbuch. – Berlin 1932 [1931]. S. 17.
[104] *Юнгер.* Рабочий… С. 231.
[105] Там же. С. 379.
[106] Там же. С. 379.
[107] Ср.: *Susanne Schattenberg:* Stalins Ingenieure. Lebenswelten zwischen Technik und Terror in den 1930erJahren. – München 2002. S. 11–22.
[108] При этом речь шла не о классическом пролетариате в марксистском смысле, а о крестьянском населении, которое в ходе принудительной коллективизации сельского хозяйства хлынуло в промышленные центры, а также о городской бедности.
[109] Цит. по: *Schattenberg:* Stalins Ingenieure… S. 12.
[110] *Rundt:* Der Mensch wird umgebaut… S. 16.
[111] Ebd.

[112] *Юнгер.* Рабочий… С. 406.

[113] Там же. С. 406.

[114] Ср.: Der Weg ins Leben. In: Arbeiter-Illustrierte Zeitung (AIZ), 1931, Nr. 39; *A. Rudolf:* Der Wegins Leben. In: Die Linkskurve, November 1931, Nr. 11. S. 13–15.

[115]В школе военных летчиков в Липецке в период с 1930 по 1933 гг. прошел обучение базовый состав немецкого воздушного флота. См.: *Manfred Zeidler:* Reichswehr und Rote Armee 1920–1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. – München 1994. S. 171–182. См. также статью в этом сборнике: *Дмитрий Соболев.* Самолетостроительная концессия Юнкерса в Филях и авиационная школа в Липецке. Из истории военно-технического сотрудничества.

[116] *Юнгер.* Рабочий… С. 381.

[117] Там же. С. 384.

[118] Там же. С. 385.

[119] Там же. С. 394..

[120] Там же. С. 421.

[121] Там же. С. 422.

[122] Там же. С. 266.

[123] См.: Там же. С. 321. Юнгер подчеркивает, что новый стиль архитектуры предназначен не для обезличивания, а для подчеркивания типа нового человека.

[124] Там же. С. 407.

[125] См.: *Rundt:* Der Mensch wird umgebaut… S. 15.

[126] *Юнгер.* Рабочий… С. 318–326..

[127] Там же. С. 285 и далее.

[128] Там же. С. 325.

[129] *Niekisch:* Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt… S. 164.

[130] *Ernst Niekisch:* Gewagtes Leben. Begegnungen und Begebnisse. – Köln und Berlin 1958. S. 188.

[131] *Niekisch:* Die dritte imperiale Figur… S. 144.

[132] *Schüddekopf:* Nationalbolschewismus… S. 361.

[133] Ср.: *Martin Konitzer:* Ernst Jünger. – Frankfurt a. M. und New York 1993. S. 51 f.

[134] К образу Советского Союза у Ледерера см.: *Dittmar Dahlmann:* Theorie im Handgemenge. Die Russische Revolution in der Kritik der deutschen Soziologie und Geschichtswissenschaft. In: Koenen/Kopelew (Hrsg.): Deutschland und die russische Revolution… S. 380–407. Еще в 1919 г. Ледерер характеризовал большевизм как постоянное состояние войны, как примитивное господство черни. Оно возможно только в тех странах, где рабочее движение еще не развило сознания демократии. После поездки он первоначально находился под впечатлением технического прогресса в СССР, сохранив однако скептическое отношение к выходящему за все рамки культу техники и вездесущей пропаганды. В изгнании, после заключения пакта Молотова–Рибентроппа он отказался от своего исходного тезиса и отсюда констатировал сущностное равенство большевизма и национал-социализма. В обоих случаях речь шла о тоталитарной, антицивилизационной массовой диктатуре.

[135] Arplan in der UdSSR. In: Vorkämpfer, November/Dezember 1932.

[136] См.: Der Bolschewismus und die deutschen Intellektuellen. Äußerungen auf eine Umfrage des Bundes deutscher Gelehrter und Künstler. Auf Veranlassung von Heinrich von Gleichen zusammengestellt von Annalise Schmidt. – Leipzig 1920; см. также: *Gerd Koenen:* Betrachtungen eines Unpolitischen. Thomas Mann über Rußland und den Bolschewismus. In: Koenen/Kopelew (Hrsg.): Deutschland und die russische Revolution… S. 313–379; здесь S. 335.

[137] *Adolf Grabowsky:* Wo steht Rußland? In: Frankfurter Zeitung vom 3. Juni 1924, Nr. 410.

[138] Ebd.

[139] *Adolf Grabowsky:* Das neue Rußland. In: E[rich] Wunderlich (Hrsg.): Osteuropa. Weltwirtschaftliche und weltpolitische Wandlungen (= Auslandskundliche Vorträge der Technischen Hochschule Stuttgart, Bd. 5). – Stuttgart 1933. S. 41–71.

[140] Ebd. S. 49.

[141] Ebd. S. 51.

[142] *Ernst Niekisch:* Betrachtungen zu einer Rußlandreise. In: Der Widerstand, Oktober 1932. Цит. по: Ders.: Widerstand… S. 141–157

[143] Ebd. S. 142.
[144] Ebd. S. 144.
[145] Ebd. S. 151.
[146] Ebd. S. 142.
[147] Ebd. S. 145.
[148] Ebd. S. 147
[149] Ebd. S. 145.
[150] Ebd.
[151] *Ernst Niekisch:* Verweiberung. In: Der Widerstand, Februar 1929. S. 43, 46.
[152] Ebd.
[153] *Niekisch:* Proletkult… S. 116–127.
[154] Ebd.
[155] *Niekisch:* Betrachtungen… S. 144.
[156] Ebd. S. 150f.
[157] Ebd. S. 147.
[158] Ebd. S. 155.
[159] *Ernst Niekisch:* Selbstverständigung. Maschinenschriftliches Manuskript, 23. August 1954. In: BA Koblenz 8, NL 1280/2j.
[160] *Ernst Jünger:* Ein neuer Bericht aus dem Land der Planwirtschaft. In: Der Widerstand, September 1933. Цит. по: Jünger: Politische Publizistik… S. 659.
[161] См.: *Zeidler:* Reichswehr und Rote Armee… S. 301–307.
[162] *Niekisch:* Gewagtes Leben… S. 263f
[163] *Ernst Jünger:* Untergang oder neue Ordnung. In: Deutsches Volkstum, Mai 1933. Цит. по: *Jünger:* Politische Publizistik… S. 648.
[164] *Ernst Jünger:* Ein neuer Bericht… S. 657f.
[165] Ebd. S. 658f.
[166] *Johann von Buch:* Die Außenpolitik der Schwarzen Front. In: Deutsche Revolution (Prag) vom 23. September 1934, Nr. 20.
[167] *Niekisch:* Die dritte imperiale Figur… S. 117.
[168] Ebd. S. 162f.
[169] Ebd. S. 164.
[170] *Johann von Buch:* Liquidierung der Komintern. Die Sowjetunion stößt vor – die Komintern zieht sich zurück. In: Deutsche Revolution (Prag) vom 2. September 1934, Nr. 17.
[171] *Otto Strasser:* Moskau befiehlt Kurswechsel. Bemerkungen zum 7. Kominternkongreß. In: Deutsche Revolution (Prag) [o. A.] September 1935, Nr. 16.
[172] *Joachim Scheplitz:* Abschied von Sowjetrußland? USSR kein Vorbild, aber auch kein Feind des neuen Deutschland. In: Deutsche Revolution (Prag) vom 3. Mai 1936, Nr. 15.
[173] *A. Rudolf:* Ist die USSR auf dem Weg zum Sozialismus? In: Deutsche Revolution (Prag) vom 1. November 1936, Nr. 40.
[174] 30. Juni in Moskau. In: Deutsche Revolution (Prag) vom 23. August 1936, Nr. 34.
[175] Deutschland – Rußland – Japan. In: Deutsche Revolution (Prag) vom 10. August 1937, Nr. 33. Листок обращает внимание, что и «Deutsche Volks-Zeitung» после «избавления» от Мюнценбергера начала мечтать о преимуществах германо-советского союза.
[176] *Pittwald:* Ernst Niekisch… S. 88 f.
[177] *Ernst Niekisch:* Gedanken zu einer Rede. Maschinenschriftl. Manuskript. O. D.. S. 2. In: BA Koblenz, NL 1280/3c.
[178] *Ernst Niekisch:* Der antirussische Komplex. Maschinenschriftl. Manuskript. O. D.. S. 4. In: Ebd.
[179] Ebd.
[180] *Ernst Niekisch:* Entwurf (= handschriftl. Ergänzungen zu »Geist und Schwert«). O. D.. S. 4, In: BA Koblenz NL 1280/3c.
[181] *Ernst Jünger:* Maxima – Minima. Adnoten zum «Arbeiter». Stuttgart 1983. S. 13.
[182] Ebd. S. 9.
[183] Ebd. S. 10.

[184] *Ernst Niekisch:* Stalin, 15. Dezember 1950. Maschinenschriftl. Brief. In: BA Koblenz, NL 1280/3h; abgedruckt bei Taschka: Das Rußlandbild von Ernst Niekisch… S. 108 ff.

[185] Ebd. S. 92.

[186] *Ernst Niekisch:* Eindrücke von einer Sowjetunionreise. 8. Dezember 1949. Maschinenschriftl. Manuskript. In: BA Koblenz, NL 1280, Bd. 3h, abgedruckt bei Taschka: Das Rußlandbild von Ernst Niekisch (wie Anm. 3). S. 91–98.

[187] Ebd. S. 93.

[188] Ebd. S. 97.

[189] Ebd. S. 98.

[190] *Ernst Niekisch:* Politik und Technik. 27. Februar 1954. In: BA Koblenz, NL 1280/2j, 2.

[191] *Ernst Niekisch:* Die sozialistische Idee. Maschinenschriftl. Manuskript. O.D. In: BA Koblenz, NL 1280/3c, 5.

[192] *Ernst Niekisch:* Europäische Bilanz. Potsdam 1951. S. 333.

[193] Ebd. S. 341.

[194] Ebd. S. 16.

*Ули Шёлер*

# ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА у Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина. Моменты общности и различия

Критическое рассмотрение вопросов о демократии и диктатуре пролетариата, поставленных русской революцией, невозможно без обретения ясности относительно того, как основоположники «научного социализма» Карл Маркс и Фридрих Энгельс представляли себе переход к бесклассовому обществу и каким образом «движущая сила» Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин в теории и на практике относился к этим представлениям. Слова, имеющие ключевое значение для понимания их позиции, содержатся в написанной Марксом в 1875 г. «Критике Готской программы»:

> Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*[1].

Какой же смысл вкладывали Маркс и Энгельс в это понятие – «диктатура пролетариата»?[2]

Начнем, прежде всего, с понятия диктатуры как таковой, без каких-либо дополнений. В трудах Маркса и Энгельса оно большей частью характеризует политическое классовое господство определенного института, группы или класса. В качестве носителей такой диктатуры в различных местах их работ выступает буржуазия, Национальное собрание, «le vrai peuple», т. е. истинный народ, рабочий класс или пролетариат[3].

Если при таком общем определении понятия речь идет сначала только об ориентации на носителей этого классового господства, т. е. о том, чтобы рассматривать его независимо от форм, в которых, в конечном счете, осуществлялось это классовое господство, то в другом месте имеются указания и на то, что понятие диктатуры служит также для описания определенных форм осуществления господства. Это имеет место, например, в том случае, когда Маркс во время революции 1848 г. упрекал прусского премьер-министра Кампгаузена в том, «что он не выступил диктаторски, что он не разбил тотчас же и не удалил остатков старых учреждений»[4].

Мы приблизимся к более точному пониманию того понятия, которое Маркс и Энгельс употребляли для характеристики диктатуры, если рассмотрим, чт***о*** они подразумевали под диктатурой буржуазии. Эта диктатура заключалась для них не, скажем, в полном лишении прав других слоев народа или классов, но была вполне совместима с демократической республикой, основанной на всеобщем избирательном праве[5].

В таком понимании и монархия, и демократическая республика были диктатурами старых имущих классов до тех пор, пока классовое содержание республики определялось господством буржуазии. Энгельс писал об этом: «Наконец, имущий класс господствует непосредственно при помощи всеобщего избирательного права. До тех пор, пока угнетенный класс – в данном случае, следовательно, пролетариат – еще не созрел для освобождения самого себя, он будет в большинстве своем признавать существующий общественный порядок единственно возможным»[…][6].

Следовательно, если в демократической республике продолжают существовать капиталистические производственные отношения, мы по-прежнему имеем дело с диктатурой буржуазии, т. е. экономический базис общества определяет и характер его надстройки. Исходя из этого понимания диктатуры буржуазии, мы можем констатировать, что для Маркса и Энгельса диктатура пролетариата является диалектической противоположностью буржуазной диктатуры. Так, Маркс писал в своем письме Вейдемейеру в 1852 г., что его заслугой является не открытие существования классов и классовой борьбы: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов»[7].

Уже из этой цитаты видно, что диктатура пролетариата не является самоцелью, но что Маркс и Энгельс связывают с ней определенное соотнесение с задачами. Ее более обстоятельное описание мы находим в «Коммунистическом Манифесте»:

> Мы видели уже […], что первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в господствующий класс, завоевание демократии. Пролетариат использует свое политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, централизовать все орудия производства в руках государства, т. е. пролетариата, организованного как господствующий класс, и возможно более быстро увеличить сумму производительных сил. Это может, конечно, произойти сначала лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения […][8].

На этом месте возможен ряд важных констатаций: хотя Маркс и Энгельс еще не применяют в «Манифесте» понятие «диктатура пролетариата», здесь уже названы ее существенные функции. Она будет соответствовать своей задаче только в результате ликвидации капиталистической частной собственности на средства производства и начинает в результате этого переход к отмене всех классов.

Это происходит посредством деспотического, насильственного вмешательства в право собственности, т. е. такая диктатура не связана законами старого строя. «Вы не можете сделать старые законы основой нового общественного развития, точно так же, как и эти старые законы не могли создать старых общественных отношений»[9].

Такое определение не означает, однако, что при этом речь идет о противоречии с демократией. Напротив, уже в «Манифесте», написанном в 1847–1848 гг., Маркс и Энгельс говорят о том, что организация пролетариата в господствующий класс идентична завоеванию демократии. Позже в связи с этим говорится еще содержательнее:

> Если что не подлежит никакому сомнению, так это то, что наша партия и рабочий класс могут прийти к господству только при такой политической форме, как демократическая республика. Эта последняя является даже специфической формой для диктатуры пролетариата […][10].

Это требует еще некоторых разъяснений. Мы уже видели, что Маркс и Энгельс определяли характер демократической республики в соответствии с ее классовым содержанием. Для них она, с одной стороны, была даже «*последней* формой господства буржуазии»[11], а с другой – именно «последней государственной формой буржуазного общества», в которой классовая борьба «и должна быть окончательно решена оружием»[12]. Тем самым она по своей форме не является социалистической, пока находится под господством буржуазии. Поэтому Энгельс как нельзя более категорично предупреждал от возведения чистой демократии на уровень цели. Понятие демократии изменяется с каждым «демосом». Хотя и пролетариат нуждается в демократических формах для завладения политической властью, они для него, как и все политические формы, являются только средством (на пути к социалистическому обществу[13]).

Только при таком понимании демократии как политической формы, как средства господства можно понять, почему Энгельс говорит в то же время, что – в связи не с социализмом как переходной формацией, а коммунизмом как обществом, свободным от господства – конечной политической целью является преодоление государства вообще, т. е. и демократии[14].

Следовательно, по мнению Маркса и Энгельса, дело, с одной стороны, заключалось не в том, чтобы завоевывать чистую демократию как самоцель. Эта демократия «была бы совершенно бесполезна для пролетариата, если ею не воспользоваться немедленно как средством для проведения широких мероприятий, непосредственно посягающих на частную собственность и обеспечивающих существование пролетариата»[15]. С другой стороны, напротив, это ограничение ничего не меняет в том, что диктатура пролетариата вовсе не истолковывалась в противоречии к демократии (сейчас понимаемой как господство большинства). Так, уже в «Коммунистическом Манифесте» говорилось: «Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства»[16].

В пору написания «Манифеста» Маркс и Энгельс, однако, еще считали вероятным, что и пролетарская революция как насильственное ниспровержение буржуазии[17] осуществляется лишь сознательным меньшинством в интересах огромного большинства[18]. Впоследствии анализ революционных событий 1848–1850 гг. в Европе изменил их раннее представление о большинстве или меньшинстве. Как несомненный результат этого опыта Энгельс констатировал:

> Прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых сознательным меньшинством, стоящим во главе бессознательных масс. Там, где дело идет о полном преобразовании общественного строя, массы сами должны принимать в этом участие, сами должны понимать, за что они проливают кровь и жертвуют жизнью[19].

Эта ставка на общественное большинство, которую делал Энгельс, касалась, однако, только вопроса о предпосылках успешной революции, а не ее легитимности

как таковой. Он писал там же: «Само собой разумеется, что из-за этого наши товарищи за границей ни в коем случае не отказываются от своего права на революцию. Ведь право на революцию является единственным *действительно* “историческим правом” – единственным, на котором основаны все без исключения современные государства»[20].

## Маркс и Энгельс о возможностях мирной и демократической революции

На основании изменения условий идея возможности демократического и мирного пути к социализму сильнее выдвинулась теперь в поле зрения. Уже в 1871 г. Маркс ограничивал свою перспективу революции как необходимо насильственного захвата власти пролетариатом европейским континентом[21]. Годом позже он расширил круг стран, которые, подобно Америке и Англии, при определенных условиях могут вступить на мирный путь к социализму, включив в него Голландию. В большинстве стран континента рычагом революции оставалась, однако, сила[22]. В 1878 г. он разъяснял, что в названных странах вполне мыслимо достижение этих целей мирным и даже парламентским путем:

> «Мирным» историческое развитие может оставаться лишь до тех пор, пока те, кто в данном обществе обладает властью, не станут путем насилия препятствовать этому развитию. Если бы, например, в Англии и в Соединенных Штатах большинство в парламенте или в конгрессе получил рабочий класс, то он мог бы законным путем устранить стоящие на его пути законы и учреждения, да и то лишь в той мере, в какой это вызывается общественным развитием. И все-таки «мирное» движение превратилось бы в «насильственное», столкнувшись с *сопротивлением* заинтересованных в старом порядке; а если эти последние оказываются побежденными силой…, то они восстают против «законной» силы[23].

Фридрих Энгельс позже конкретизировал условия, наличие которых было при этом необходимо, и увидел такие возможности также применительно к Франции: «Можно себе представить, что старое общество могло бы мирно врасти в новое в таких странах, где народное представительство сосредоточивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать все, что угодно, если только иметь за собой большинство народа: в демократических республиках, как Франция и Америка, в таких монархиях, как Англия[…].»[24].

С помощью формулы «можно себе представить» еще не было, конечно, ничего сказано о том, как конкретно мог бы происходить этот переход. Последние, более систематические, соображения на сей счет Фридрих Энгельс сформулировал в год своей смерти. В них было отмечено два момента, благодаря которым германское рабочее движение продвинулось вперед по сравнению со своими товарищами из других стран, служа им примером. Слабость книги Шлейфштейна (1982 г., см. прим. 2) заключается в том, что автор не рассматривает эти аспекты теории диктатуры и государства, разрабатывавшейся Марксом и Энгельсом. Во-первых, речь шла о простом существовании сильнейшей, самой дисциплинированной и быстрее всего крепнувшей социалистической партии; во-вторых, о том, что эта партия показывала това-

рищам в других странах, как надлежит пользоваться всеобщим избирательным правом. Что хотел сказать этим Энгельс? Послушаем его самого:

> Революционные рабочие романских стран привыкли считать избирательное право ловушкой, орудием правительственного обмана. В Германии дело обстояло иначе. Уже «Коммунистический манифест» провозгласил завоевание всеобщего избирательного права, завоевание демократии одной из первых и важнейших задач борющегося пролетариата…[25].

Энгельс уточняет тем самым понимание подробно цитированного выше положения[26] из «Коммунистического Манифеста», где речь идет только о завоевании демократии. При этом, конечно, *не* имелось в виду, что всеобщее избирательное право означало для него уже осуществленную или чистую демократию. Высказывание можно, конечно же, понимать лишь так, что всеобщее избирательное право является для Энгельса неотъемлемым элементом демократии, которая, однако, только в том случае станет по форме социалистической, если будет использована пролетариатом для осуществления мер, посягающих на частную собственность. Энгельс прибавляет, что немецкие рабочие превратили избирательное право из средства мелкого мошенничества, каким оно было до сих пор, в инструмент освобождения[27].

Оказалось, что государственные учреждения, где организуется господство буржуазии, представляют и другие возможности управления, с помощью которых рабочий класс мог бы бороться против самих этих государственных учреждений. С помощью участия в выборах в отдельные ландтаги, общинные советы, в выборах членов промысловых судов, у буржуазии оспаривается любой пост, в занятии которого участвовала достаточно значительная часть пролетариата. Дошло до того, что буржуазия и правительство куда больше стали бояться легального действия рабочей партии, чем нелегального, успехов на выборах, чем успехов восстания[28]. Сделанная Энгельсом новая оценка была весьма существенно связана с изменениями в другом секторе: «Не будем создавать себе на этот счет иллюзий: действительная победа восстания над войсками в уличной борьбе, то есть такая победа, какая бывает в битве между двумя армиями, составляет величайшую редкость»[29].

Условия этого стали, в том числе из-за происшедших с 1848 г. изменений военной техники и вооружения, гораздо более неблагоприятными для участников гражданских конфликтов. Будущий уличный бой сможет оказаться победным только в том случае, если эта неблагоприятная ситуация будет компенсирована другими моментами. Поэтому она реже проявляется в начале большой революции, нежели в ее дальнейшем ходе, и компенсировать ее придется, применяя бóльшие силы. Энгельс полагал возможным собрать эти бóльшие силы, завоевав значительную часть средних слоев общества – мелкую буржуазию и мелкое крестьянство. Тогда произойдет возрастание пролетариата до решающей силы в стране, перед которой всем остальным силам придется склониться, хотят они того или нет. «Способствовать, не покладая рук этому росту…, не уничтожать этот крепнущий с каждым днем ударный отряд в авангардных схватках, а сохранять его до решающего дня – вот наша главная задача»[30]. Тем самым «ирония всемирной истории ставит все вверх ногами». «Мы, “революционеры”, “ниспровергатели”, мы гораздо больше преуспеваем с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота… Против социал-демократического переворота, которому в настоящий момент идет на пользу как раз соблюдение законов, они могут пустить в ход лишь перево-

рот со стороны партий порядка, переворот, который не может произойти без нарушений законов»[31]. Энгельс обращался к ним: «Если вы, следовательно, нарушите имперскую конституцию, то социал-демократия тоже будет свободна от своих обязательств и сможет поступить по отношению к вам, как она сочтет нужным. Но что именно она сделает, – эту тайну она вряд ли поведает вам теперь»[32].

Еще четче эту последовательность мыслей об оборонительно ориентированной легальной стратегии в Германии Энгельс развил тремя годами раньше, правда, с оговоркой, чтобы война не прервала развитие. Законность, писал он, «так превосходно работает в нашу пользу, что мы были бы глупцами, если бы нарушили ее, пока дело идет таким образом. Гораздо скорее возникает вопрос, не нарушит ли эту законность именно буржуазия и ее правительство, чтобы раздавить нас при помощи силы? Поживем – увидим. А пока: “стреляйте первыми, господа буржуа!” Без сомнения, они будут стрелять первыми. … Что это даст? При помощи насилия можно задушить маленькую секту, действующую на ограниченной территории; но нет еще такой силы, которая была бы в состоянии уничтожить партию в два миллиона человек»[33].

Тем самым, принимая во внимание опыт прошедших десятилетий и изменившиеся исходные условия, Энгельс разработал, в том числе и для Германии, новую стратегию перехода к социализму, которая использовала демократические возможности достижения большинства в обществе для рабочей партии и принуждала старые партии порядка оставить путь легальности, если они захотят воспрепятствовать этому переходу. В результате этого Энгельсу казалось возможным, что в «решающий день» столкновение с более значительными силами, по-прежнему казавшееся вероятным, при поддержке большинства общества могло завершиться успешно. Подход Энгельса к вопросу о насилии ориентировался, следовательно, однозначно оборонительно, Энгельс видел решение этого вопроса на стороне буржуазии. Преимущества такого образа действий, когда имеет место стремление перейти к социализму мирным и демократическим путем, отмечал в своем «Конспекте» уже Маркс, даже если это касалось тогда только англосаксонских стран.

Следовательно, Маркс и Энгельс не давали универсального ответа на вопрос о том, каким путем достижим переход к социализму – ответ этот зависел от национальных условий. При этом важны были уровень развития производительных сил, соотношение классовых сил, масштаб сопротивления старых господствующих классов, сила государственного аппарата власти и насилия и уже сформированных демократических институтов.

Маркс и Энгельс, анализируя опыт 1871 г., подвергли дальнейшей корректировке пример Парижской Коммуны, в особенности в том, что касалось отношения к государственному аппарату. В предисловии к новому немецкому изданию «Манифеста» в связи с этим сказано: «В особенности Коммуна доказала, что “рабочий класс не может просто овладеть готовой государственной машиной и пустить её в ход для своих собственных целей”»[34].

В той мере, в какой прогресс современной промышленности развивал классовое противоречие между капиталом и трудом, государство принимало характер машины классового господства. Опираясь на мысль, которую Маркс впервые наметил в 1852 г.[35], оба теоретика революции пришли к мнению о том, что недостаточно передать бюрократически-военную машину из одних рук в другие, что она должна быть

*сломана*. В этом состоит «предварительное условие всякой действительно народной революции на континенте»[36].

Во что конкретно это вылилось, Маркс разъяснил на примере Парижской Коммуны: «Задача состояла в том, чтобы отсечь чисто угнетательские органы старой правительственной власти, ее же правомерные функции отнять у такой власти, которая претендует на то, чтобы стоять над обществом, и передать ответственным слугам общества»[37].

В деталях это означало: замену постоянного войска вооруженным народом; сменяемость в любое время городских советников, избираемых в соответствии с всеобщим избирательным правом; превращение парламентской корпорации в работающую (которой по праву должны были принадлежать и исполнительные права); выполнение общественной службы за заработную плату рабочего; слом «силы попов»; выборность, ответственность и сменяемость судей[38].

Маркс, следовательно, не ставил вопрос о немедленной отмене всех функций государства, даже если, как понимал это Фридрих Энгельс, первый акт, «в котором государство выступает действительно как представитель всего общества – взятие во владение средств производства от имени общества,– является в то же время последним самостоятельным актом его как государства»[39].

«Вмешательство государственной власти в общественные отношения, – отмечает Энгельс далее, – становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает. Государство не “отменяется”, оно отмирает»[40]. При таком определении государства как *классового государства* Парижская Коммуна для него «**уже не была** государством в собственном смысле слова»[41]. Центральное значение для Маркса и Энгельса имело, несмотря на различную нюансировку в понятийной системе, возвращение функций государства обществу.

В письме Бернштейну Энгельс избегал понятий слома, уничтожения и разрушения и еще сильнее подчеркивал аспект задачи, обращенной вперед: «Речь идет просто об указании на то, что победивший пролетариат должен заново переделать старый бюрократический, административно-централизованный государственный аппарат, прежде чем сможет использовать его для своих целей»[42].

И еще раз в письме: «…Единственная организация, которую рабочий класс застает в готовом виде после своей победы, – это именно государство. Правда, это государство требует значительных изменений, прежде чем оно сможет выполнять свои новые функции. Но разрушить его в такой момент – значило бы разрушить то единственное орудие, посредством которого победоносный рабочий класс может осуществлять только что завоеванную им власть, подавить своих врагов – капиталистов и провести то экономическое переустройство общества, без которого вся победа неминуемо закончится поражением…»[43].

Приведенное выше описание мер, перечисленных Марксом, осуществленных Коммуной и служащих прообразом, показывает, что, хотя речь и шла об общественном устройстве, существенным образом отличавшемся от обычного парламентаризма с представительной функцией и разделением властей, в основе его лежала идея, демократическая в высшей степени. Коммуна была для Маркса в значительной степени правительством рабочего класса, «открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда»[44].

То, что связь демократии и диктатуры пролетариата у Маркса и Энгельса в основном обнаруживалась в их воззрениях о Коммуне, Энгельс еще раз подчеркнул

двадцать лет спустя: «В последнее время социал-демократический филистер начинает испытывать спасительный страх при словах: диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милостивые государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата»[45].

## Диктатура пролетариата и насильственная революция у В.И. Ленина

В мышлении Ленина соотношение демократии и диктатуры пролетариата формировалось иначе, нежели у Маркса и Энгельса. Последнее понятие играет для него однозначно доминирующую роль. Его размышления в самой развитой форме содержатся в работе «Государство и революция», которую он создавал в апреле-сентябре 1917 г.

При этом следует исходить из определения задачи, которую Ленин сам себе поставил. Он видел ее в «*восстановлении* истинного учения Маркса о государстве»[46].

В той мере, в какой это удалось автору, и это можно сказать о большой части труда, нет необходимости в его новом воспроизведении. Следует выделить только те пункты, в которых Ленин развивает представления Маркса и Энгельса или отходит от них. Центральная роль, которую Ленин придает проблематике диктатуры пролетариата, проявляется со всей ясностью, если в новой главе, добавленной в 1918 г. после его полемики с Карлом Каутским, вслед за цитированным выше письмом Маркса Вейдемейеру (1852 г.), найти следующее утверждение: «Марксист лишь тот, кто *распространяет* признание борьбы классов до признания *диктатуры пролетариата*»[47].

Не ограничиваясь этой безапелляционной констатацией, Ленин развивает далее понимание диктатуры пролетариата в связи со словами Маркса об «истинно народной революции», дополняя его существенным аспектом. Как он показывает, Маркс, исходя из того факта, что на европейском континенте 1871 года ни в одной стране пролетариат не составлял большинства народа, только и мог подразумевать под народом свободный союз бедных крестьян с пролетариями. «Оба класса и составляли тогда “народ”»[48].

Что это дальнейшее развитие хода мыслей Маркса Лениным на уровне интерпретации вполне соответствовало ходу мыслей первого, находит доказательство в работе 1850 г. Маркс характеризует здесь конституционную республику как диктатуру объединенных эксплуататоров крестьян. В противовес этому социал-демократическая, красная республика – диктатура его союзников[49].

В связи с этим следует рассматривать дальнейшее развитие Лениным позиции Маркса, которое, конечно, так же могло соответствовать намерениям последнего. Ленин полагал, что, если даже переход от капитализма к коммунизму даст «громадное обилие и разнообразие политических форм, сущность будет при этом неизбежно одна: *диктатура пролетариата*»[50].

Перейдем теперь к первому основополагающему различию между воззрениями Маркса и Энгельса, с одной стороны, и Ленина – с другой. Ленин считает освобождение угнетенного класса «без насильственной революции»[51] невозможным и ссы-

лается при этом на якобы существующее «учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции»[52]. Хотя мы уже констатировали в предыдущем разделе, что такое мнение не выдерживает критики в своей исключительности, мы хотим все же обратиться к тому месту, где Ленин более детально обосновывает свою оценку.

Он приводит цитату из «Критики Эрфуртской программы» Энгельса, но затем подчеркивает, что автор «Критики» говорит: «можно себе представить» (только «представить»!) мирное развитие к социализму»[53].

О том, что эта интерпретация Ленина некорректно воспроизводит более дифференцированную оценку Марксом и Энгельсом возможностей мирного взятия власти за пределами европейского континента или в такой демократической республике, как Франция, свидетельствуют речь Маркса о Гаагском конгрессе и цитированный отрывок из его конспекта дебатов о законе против социалистов.

Удивительно, впрочем, с какой однозначностью приписывает здесь Ленин универсальный характер насильственному переходу. Он сам непосредственно после Февральской революции 1917 г. рекомендовал ориентацию на мирный путь, мирное взятие власти Советами как наиболее безболезненный путь, за который необходимо бороться со всей энергией. Еще в сентябре – начале октября 1917 г., т. е. во время работы над «Государством и революцией», Ленин опубликовал статью, в которой говорил о последнем мирном шансе революции, если большинство Советов договорится о конкретной программе. «Полная передача управления страной и хозяйством ее рабочим и крестьянам, которым никто не посмел бы сопротивляться»[54].

К тому же комплексу проблем относится воспроизведение Лениным взглядов Маркса и Энгельса относительно пользы всеобщего избирательного права для рабочего класса.

Энгельс видел в нем инструмент буржуазии, во всяком случае, критерий зрелости рабочего класса, и подчеркивал со всей определенностью, что при имеющихся условиях оно никогда и не сможет быть чем-то бóльшим. И в этом пункте Ленин лишь отчасти воспроизводит мнение Маркса и Энгельса, ибо они не остановились на таком, обращенном скорее назад, определении функции всеобщего избирательного права. Маркс писал в 1880 г., что необходимо превратить всеобщее избирательное право «из орудия обмана, каким оно было до сих пор, в орудие освобождения»[55].

Энгельс еще раз в 1895 г. прямо сослался на эти слова и добавил, что «немецкие рабочие… дали своим товарищам во всех странах новое оружие – одно из самых острых, – показав им, как нужно пользоваться всеобщим избирательным правом»[56].

И сам Маркс разъяснял эту идею, когда писал о Коммуне:

«Вместо того, чтобы один раз в три или в шесть лет решать, какой член господствующего класса должен представлять и подавлять народ в парламенте, вместо этого всеобщее избирательное право должно было служить народу, организованному в коммуны… С другой стороны, Коммуна по самому существу своему была безусловно враждебна замене всеобщего избирательного права иерархической инвеститурой»[57].

Конечно, позиции, сформулированные таким образом, следует понимать в связи с размышлениями о возможности демократического или ненасильственного перехода к социализму, имеющейся в исключительных случаях.

Самая значительная заслуга Ленина в процессе реконструкции идей Маркса и Энгельса о диктатуре пролетариата заключается, вероятно, в том, что он «профильтровал» их высказывания о необходимости разрушения (репрессивных секторов) буржуазного государственного аппарата. Этот аспект почти полностью исчез из совокупности идей социал-демократии эпохи II Интернационала. Тем не менее у Ленина имеются существенные отличия по сравнению с Марксом и Энгельсом. Прежде всего, он говорит о разрушении «всего государственного аппарата»[58], не проводя, следовательно, различий, что соответствует концентрации его внимания на репрессивных функциях этого аппарата, о чем речь пойдет ниже. В процессе обобщения своей идеи насильственной революции он последовательным образом выступает и против мысли Маркса о том, что разрушение буржуазного государственного аппарата, возможно, будет необходимым только на континенте. Это было понятно в 1871 г. Теперь же, в эпоху империализма, военно-бюрократические учреждения в Англии и Америке превратились в государственные машины, так что это ограничение больше не может иметь силы[59]. Здесь у Ленина отсутствует, однако, рассмотрение поставленного Энгельсом вопроса о возможности мирной революции во Франции – стране, которую он всё-таки длительное время вместе с Марксом считал классической страной того **тотального** государственного аппарата, который следовало разрушить.

Еще одно важное различие возникает по поводу представлений о длительности переходного периода к социализму, диктатуре пролетариата. Энгельс подразумевал под ней относительно краткий период. Он говорил о существовании «короткого, связанного с некоторыми лишениями, но, во всяком случае, очень полезного в нравственном отношении переходного времени»[60]. Сходным образом в другом месте говорится, что первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества – завладение средствами производства от имени общества – является в то же время последним самостоятельным актом его как государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает[61]. Ленин исходит, очевидно, из длительного переходного периода[62].

То, что до сих пор представляется только проблемой продолжительности переходного периода, таит в себе важные концептуальные различия. Хотя Маркс и Энгельс едва высказывались о представлявшемся им ходе «экспроприации экспроприаторов», кажется, что они, ввиду прогрессировавшего «раскола общества на немногочисленный, непомерно богатый класс и огромный неимущий класс наемных рабочих»[63], исходили лишь из относительно краткой фазы, на протяжении которой государственный аппарат в руках пролетариата должен применяться в репрессивных целях для лишения власти старых имущих классов. Рассуждения Ленина на сей счет свидетельствуют о другом понимании, но в то же время не свободны от противоречий. Поначалу он пишет, что подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наемных рабов дело настолько сравнительно легкое, простое и естественное, что оно возможно почти без «машины», «без особого аппарата»[64]. Речь идет, конечно, о чем-то большем, нежели о другом акценте, если в другом месте той же работы говорится о пролетарском государстве, что оно есть «организация для систематического *насилия* одного класса над другим, одной части населения над другою»[65], и только в коммунистическом обществе люди привыкнут к соблюдению

правил общежития «без насилия, без принуждения, без подчинения, без *особого аппарата* для принуждения, который называется государством»[66].

Одна из существенных причин для различия во взглядах Ленина и Энгельса на диктатуру пролетариата заключается в том, что их представления о пути к этой цели разнятся не только в отношении исключительности насильственного пути. Как мы видели, Энгельс, в том числе и от имени Маркса, признавал измененную позицию, в соответствии с которой время революций, осуществляемых небольшим сознательным меньшинством, прошло. Если речь идет о полном преобразовании общественного устройства, массы сами должны участвовать в этом.

Напротив, Ленин, опираясь на свои соображения о теории партии, о чем мы будем говорить лишь позже, представлял другую концепцию: «Воспитывая рабочую партию, марксизм воспитывает авангард пролетариата, способный взять власть и *вести весь народ* к социализму, направлять и организовывать новый строй»[67].

Следовательно, здесь нет больше речи о революции, осуществляемой большинством общества, напротив, разрабатывается концепция революции, совершаемой авангардной партией пролетариата. В тексте, опубликованном позже, Ленин еще раз обобщает эту последовательность мыслей. В то время как оппортунисты, включая каутскианцев, поучали, что пролетариат с помощью всеобщего избирательного права должен завоевать большинство, а затем на основании решения большинства завладеть государственной властью и только потом, на этой основе «последовательной» или «чистой» демократии, построить социализм, большевики, ссылаясь на Маркса и основываясь на опыте русской революции, противопоставляют этой позиции следующую:

> Пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать государственную власть, а потом эту государственную власть, т. е. диктатуру пролетариата, использовать как орудие *своего* класса в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся[68].

Революция, под таким знаком осуществляемая социальным меньшинством, должна была последовательно делать упор, скорее, на репрессивной стороне государственных функций, что было обусловлено не только рефлексом на устроенный подобным образом старый буржуазный государственный аппарат, но и необходимостью «приучения» широких кругов населения к правилам общежития. Менее года спустя, стало видно, как далеко Ленин отошел при этом и в отношении теоретических соображений от основной идеи об определении общественных процессов самими массами. Он не только оправдывает специфической политико-экономической необходимостью момента декрет, который наделяет руководителей предприятий диктаторскими полномочиями, но даже не усматривает в этом принципиальной несовместимости с основной идеей диктатуры пролетариата. На основании необходимого признания принуждения для переходного общества «решительно никакого принципиального противоречия между советским *(т. е.* социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет*»[69].

Из этой связи последовательно вытекает еще один пункт различий с воззрениями Маркса и Энгельса. Энгельс идентифицировал диктатуру пролетариата с демократической республикой, которую считал даже ее специфической формой. Этому соответствовало отождествление Марксом и Энгельсом Парижской коммуны, избранной на основе всеобщего избирательного права, с диктатурой пролетариата. Хотя

Ленин обстоятельно цитирует эти места и ссылается на них, делает это он снова весьма выборочно. По его словам, Энгельс лишь повторяет тем самым основную идею Маркса о том, «что демократическая республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата»[70]. Конечно, есть разница в том, отожествляется ли демократическая республика с диктатурой пролетариата или рассматривается только как предшествующая ей. Ленин обосновывает эту модификацию тем, что там, где речь идет о насильственном сломе сопротивления капиталистов, не может быть всеобщей демократии: «Демократия для гигантского большинства народа и подавление силой, т. е. исключение из демократии эксплуататоров, угнетателей народа – вот каково видоизменение демократии при *переходе* от капитализма к коммунизму»[71].

Правда, в «Государстве и революции» отсутствуют более детальные высказывания Ленина о том, какую конкретную форму должно будет принять это исключение бывших эксплуататоров из демократии. Позже он недвусмысленно подчеркивает, что не сказал в этой работе ни слова об ограничении избирательного права. «Надо заметить, что вопрос о лишении эксплуататоров избирательного права есть чисто русский вопрос, а не вопрос о диктатуре пролетариата вообще»[72].

Позиция Ленина претерпела изменения и в вопросе отношения системы Советов и диктатуры пролетариата. В конце 1918 г. он недвусмысленно отмечал, что Советы – «русская форма пролетарской диктатуры»[73]. Хотя позже Ленин подчеркивал, что каждый народ придет к социализму «по-своему»[74], но теперь он обобщал русский опыт и видел в Советах международную форму органов свержения капитализма и обеспечения пролетарской власти[75]. Эта концепция поначалу не исключает, что в рамках Советской власти разовьется многопартийная система со сменой политической власти:

> В России завоевана Советская власть, и переход правительства из рук одной советской партии в руки другой партии обеспечении без всякой революции, простым решением Советов, простым перевыбором депутатов в Советы[76].

Следовательно, путь к однопартийному господству определило в большей степени фактическое развитие событий в Советской России и в меньшей степени заранее намеченная теоретическая концепция Ленина. При этом остается все-таки открытой задняя дверь – постольку, поскольку уже тогда представлялось сомнительным, был ли Ленин еще готов признать за такой партией, как социал-демократы меньшевики во главе с Мартовым и Абрамовичем, которых он называл куклами в руках корниловцев[77], характер «советской» партии.

Ленин на этой первой фазе сразу после Октябрьской революции еще раз конкретизировал свое определение диктатуры пролетариата: «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами»[78].

И здесь обращает на себя внимание серьезное отличие. Маркс и Энгельс ориентировали на то, что старый правопорядок, защищавший буржуазную собственность, не может в период коренного общественного переустройства указывать границы дозволенного. Определение Ленина идет дальше, признавая диктатуру (во всяком случае, считающуюся необходимой на длительное время) как власть, не связанную никакими законами, т. е. и заново формирующимся или создаваемым ею самой социалистическим правопорядком.

Попытка найти общую основу для всех охарактеризованных здесь отличий концепции Ленина от концепции Маркса и Энгельса неизбежно наталкивает на следующую связь: Маркс и Энгельс исходили в своем анализе из того, что социалистическая революция будет осуществлена одновременно, по мере превращения пролетариата в однозначно сильнейший класс и в большинство народа в передовых промышленных державах, в преобладающем числе этих стран. Ленин, несмотря на его склонность к обобщению накопленных знаний, пытался перенести их идеи на ситуацию в России, где пролетариат представлял собой еще незначительное меньшинство населения и поэтому для формирования социального большинства зависел от союза с большой массой отсталого в культурном отношении бедного крестьянства. Таким образом, однако, были одновременно установлены нормативы дальнейшего развития Советской России, или, позже, Советского Союза на тот случай, если русской революции придется оставаться изолированной в международном отношении. Теоретическая концепция Ленина с логической неизбежностью указывала путь авторитарной диктатуры, диктатуры ради воспитания. *Тем самым* были расставлены, хотя и не все, но некоторые важные вехи для движения к сталинскому террору. *Тем самым* советско-русский путь, как представлявшийся Ленину, так и реально сформированный, все более отдалялся от указанной Марксом и Энгельсом перспективы – демократически-освободительной модели социализма.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Маркс К.* Критика Готской программы. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд.. Т. 19. С. 27.

[2] Из едва ли обозримой вторичной литературы ср., в частности Wolfgang Leonhard: Diktatur des Proletariats. In: Claus Dieter Kernig (Hrsg.): Marxismus im Systemvergleich. Grundbegriffe 1. Frankfurt und New York 1973, Sp. 85ff.; Josef Schleifstein: Marxismus und Staat. Zur Entwicklung der Staatsauffassung bei den marxistischen Klassikern. Frankfurt a. M. 1982; Henryk Skrzypczak: Marx. Engels. Revolution. Standortbestimmung des Marxismus der Gegenwart. B., 1968. S. 60 f.

[3] Ср., в частности, *Маркс К.* Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг., – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд. Т. 7. С. 88–89, 90–91, 94–95.

[4] *Он же.* Кризис и контрреволюция. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд.. Т. 5. С. 431.

[5] *Он же.* Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг. С. 94–95.

[6] *Энгельс Ф.* Происхождение семьи, частной собственности и государства. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд. Т. 21, с. 173.

[7] Карл Маркс – Иосифу Вейдемейеру, 5 марта 1852 г. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, Соч., 2 изд.. Т. 28. С. 427

[8] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, Соч., 2 изд. Т. 4. С. 446.

[9] *Маркс К.* Процесс против Рейнского окружного комитета демократов. – Там же. Т. 6. С. 259.

[10] *Энгельс Ф.* К критике проекта социал-демократической программы 1891 г. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, Соч., 2 изд. Т. 22. С. 237.

[11] Фридрих Энгельс – Эдуарду Бернштейну. 24 марта 1884 г. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, Соч., 2 изд.. Т. 36. С. 113.

[12] *Маркс К.* Критика Готской программы. – Там же. Т. 19. С. 28.

[13] Ср. письмо Фридриха Энгельса Фридриху Адольфу Зорге от 31 декабря 1892 г. – Там же. Т. 38. С. 479; он же Эдуарду Бернштейну. 24 марта 1884 г., там же. С. 113.

[14] *Энгельс Ф.* Предисловие к сборнику «Статьи на международные темы из «Volksstaat» (1871–1875)». – Там же. Т. 22. С. 435.

[15] *Он же.* Принципы коммунизма. – Там же. Т. 4. С. 332.

[16] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. С. 435.

[17] Там же.

[18] Ср. *Энгельс Ф.* Введение к К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г». – *Маркс К. и Энгельс Ф.*, Соч., 2 изд.. Т. 22. С. 545.

[19] Там же. С. 544.

[20] Там же. С. 545.

[21] Карл Маркс – Людвигу Кугельману, 12 апреля 1871 г. – Там же. Т. 33. С. 172.

[22] *Маркс К.* Речь о Гаагском конгрессе. – Там же. Т. 18. С. 154.

[23] *Он же.* Прения в рейхстаге о законе против социалистов. – Там же. Т. 45. С. 142.

[24] *Энгельс Ф.* К критике проекта социал-демократической программы 1891 г. С. 236–237.

[25] *Он же.* Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г». С. 539.

[26] Ср. *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. Т. 4. С. 446.

[27] При этом он мог сослаться на нечто, выраженное Марксом уже в его работе 1850 г.: «Всякая революция нуждается в банкетном вопросе. Всеобщее избирательное право – вот банкетный вопрос новой революции». – Ср. *Маркс К.* Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. С. 96

[28] Ср. *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.». С. 540.

[29] Там же.

[30] Там же. С. 546.

[31] Там же. С. 546–547.

[32] Там же. С. 547.

[33] *Энгельс Ф.* Социализм в Германии. – Там же. Т. 22. С. 253–254.

[34] *Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии. Предисловие к немецкому изданию 1872 г.. – Там же. Т. 18. С. 90; со ссылкой на: *Маркс К.* Гражданская война во Франции. Воззвание Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих. С. 17. С. 339.

[35] *Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, Соч., 2-е изд. Т. 8. С. 206. Там же идет речь о «сломе государственной машины» (С. 214).

[36] *Маркс К.* Письмо Людвигу Кугельману 12 апреля 1871 г. – Там же. Т. 33. С. 172.

[37] *Маркс К.* Гражданская война во Франции. – Там же. Т. 17. С. 344.

[38] См. там же. С. 343

[39] *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг. – Там же. Т. 20. С. 292.

[40] Там же.

[41] *Энгельс Ф.* Письмо Августу Бебелю 18–28 марта 1875 г. – Там же. Т. 19. С. 6

[42] *Энгельс Ф.* Письмо Эдуарду Бернштейну 1 января 1884 г. – Там же. Т. 36. С. 70 (выделено в тексте).

[43] *Энгельс Ф.* Письмо Филиппу Ван-Паттену 18 апреля 1883 г. – Там же. Т. 36. С. 9

[44] *Маркс К.* Гражданская война во Франции. – Там же. Т. 17. С. 345.

[45] *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». – Там же. Т. 22. С. 201.

[46] *Ленин В.И.* Государство и революция. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч.. Т. 33. С. 6.

[47] Там же. С. 34.

[48] Там же. С. 39.

[49] *Маркс К.* Классовая борьба во Франции в 1848–1850 г. С. 85–86. Позже и Энгельс говорил о необходимости завоевать средние слои, т. е. и мелкое крестьянство; ср. *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.». С. 545.

[50] *Ленин В.И.* Государство и революция. С. 35.

[51] Там же. С. 8.

[52] Там же. С. 22.

[53] Там же. С. 69.

[54] *Ленин В.И.* Один из коренных вопросов революции. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч.. Т. 34. С. 207

[55] *Маркс К.* Введение к программе Французской рабочей партии. – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, соч., 2 изд. Т. 19. С. 246.

[56] *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.». С. 539.

[57] *Маркс К.* Гражданская война во Франции. – Там же. Т. 17. С. 343.

[58] *Ленин В.И.* Государство и революция. С. 113, 117.

[59] Там же. С. 98.

[60] *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Наемный труд и капитал». – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, соч., 2 изд. Т. 22. С. 212.

[61] *Он же.* Анти-Дюринг. С. 292.

[62] *Ленин В.И.* Государство и революция. С. 38.

[63] *Энгельс Ф.* Введение к работе К. Маркса «Наемный труд и капитал». – *Маркс К.* и *Энгельс Ф.*, соч., 2 изд. Т. 22. С. 212.

[64] *Ленин В.И.* Государство и революция. С. 83.

[65] Там же.

[66] Там же. С. 189.

[67] Там же. С. 26.

[68] *Ленин В.И.* Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 40. С. 12.

[69] *Ленин В.И.* Очередные задачи Советской власти. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 36. С. 199.

[70] *Ленин В.И.* Государство и революция. С. 70

[71] Там же. С. 89.

[72] *Ленин В.И.* Пролетарская революция и ренегат Каутский. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 265.

[73] Там же. С. 267

[74] *Ленин В.И.* Детская болезнь «левизны» в коммунизме. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 41. С. 78.

[75] *Ленин В.И.* Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 79, а также речь на II Всероссийском съезде профсоюзов 20 января 1919 г. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 37. С. 452.

[76] *Ленин В.И.* От Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков). Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 35. С. 72.

[77] Там же. С. 76.

[78] *Ленин В.И.* Пролетарская революция и ренегат Каутский. С. 245.

*Александр Голубев*

# «ЧАСОВОЙ, ВООРУЖЕННЫЙ КАРАНДАШОМ». Германия и немцы в советской политической карикатуре (1922–1939 гг.)

В образном ряду, формирующем представления о внешнем мире, политическая карикатура занимает особое место. С одной стороны, она отличается, как правило, особой емкостью образа, явной эмоциональностью (с ироническим или саркастическим оттенком), и, в ее советском варианте, абсолютной идеологизированностью. С другой стороны, это часть повседневности, которая не всегда воспринималась читателями как пропаганда, выступая порой под маской «развлечения», но из-за своей распространенности и особенностей восприятия запоминалась и накладывала несомненный отпечаток на формирование образа иной страны или культуры в целом. «В листовках ли, плакатах, лубочных картинках на печатном поле газетных полос, карикатура всегда четко и ясно разрешала тот или иной политический момент даже перед теми, кто менее всего посвящен в события политического дня. Масса знакомится с политическим моментом еще до прочтения передовицы, до отдельных статей на определенную тему» – подчеркивалось в одной из брошюр того времени[1]. Еще более определенно высказался старейший советский карикатурист Борис Ефимов в своих воспоминаниях: «Образная форма карикатуры понятнее, эмоциональнее и, главное, нагляднее любой литературной формы, так как сатирический рисунок конкретизирует явления и ситуации, приближает их к глазу читателя, переводит факты с языка логических понятий на язык зрительных образов»[2].

Карикатура обладает несомненной ценностью как исторический источник, но лишь в самые последние годы в российской историографии появились работы, где она предстает именно в этом качестве[3]. Известно высказывание автора введения из «Иллюстрированной истории карикатуры с древнейших времен до наших дней», вышедшей в начале XX века: «Карикатуру можно сравнить с янтарем, который в своей золотисто-светлой массе тысячелетия хранит мельчайшие организмы во всей их целости и неприкосновенности»[4].

## Больше чем всемирная история в эпиграммах

Советская политическая карикатура[5], впрочем, гораздо больше отвечала другому определению, которое дал коминтерновец Феликс Кон во введении к одному из альбомов, изданному в 1931 г.: «Часовой, вооруженный карандашом и зорко наблюдающий за готовящим новую интервенцию классовым врагом и разоблачающим его приемы»[6].

При этом необходимо помнить, что информация о внешнем мире, доступная подавляющему большинству советских граждан, была ограничена, каналы ее поступ-

ления практически полностью контролировались властями[7]. Тем более это относится к информации визуальной – помимо немногочисленных и зачастую некачественных фотографий в газетах и журналах, источником ее могла служить лишь кинохроника, также относительно малодоступная. И поэтому любые официальные сообщения, газетные статьи или радиопередачи о современной жизни за рубежом очень часто вызывали зрительные ассоциации именно с карикатурами, которые публиковались в прессе, составляли часть привычной повседневности, и, что немаловажно, с точки зрения содержания практически повторяли основные темы и сюжеты советской пропаганды. И поэтому образ мира, в первую очередь, Запада, для значительной части советского общества приобретал явно выраженные карикатурные, гротескные черты[8]. Конечно, это в полной мере осознавалось и использовалось теми, кто занимался формированием у советских людей соответствующей картины мира[9].

Вышедшая в 1930 г. брошюра так определяла задачи советской политической карикатуры: «Существует ходкое суждение о том, что карикатура является всемирной историей в эпиграммах. Это несомненно. Но советская политическая карикатура может к этому присоединить и то, что является отличительным для характеристики рабочей карикатуры, это – обличительный жар, который вскрывает и разит капиталистический мир… Комическое в этой сатире не служит развлечением для читателя нашей прессы, а служит разоблачением, где едким смехом уничтожается притязание врага и *открывается путь к постижению истинного смысла политического события* [*курсив мой – А.Г.*]»[10].

Не случайно вводные статьи (иногда весьма развернутые) к альбомам карикатур, выходившим в 1920–30-е годы, в ряде случаев писали видные политические деятели, такие как Анатолий В. Луначарский или Феликс Кон[11]. Автором предисловий к двум изданиям карикатур Ефимова, опубликованным в 1932 и 1938 гг., был Евгений Гнедин[12]. «Если бы можно было развернуть рисунки Ефимова в виде фильма, то перед нами открылось бы чудовищное зрелище кризиса капиталистической системы, лицемерной комедии буржуазной дипломатии, зловещей трагедии подготовки империалистической войны» – писал Гнедин в 1932 г.[13]. В предисловии к альбому 1938 г., он особо подчеркивал роль включенных в него рисунков как «*политического* [*курсив документа – А.Г.*] разоблачения фашистских агрессоров и их пособников» и определял альбом как «своеобразный политический памфлет»[14].

Особенно важна была пропагандистская функция карикатуры в кризисных ситуациях. В 1934 г. в журнале «Крокодил» была опубликована подборка карикатур времен Первой мировой войны (английских, немецких, русских). В редакционном комментарии подчеркивалось: в случае новой войны этой «буржуазной отраве» будет «противопоставлено разящее оружие большевистской сатиры»[15].

Темы карикатур для газеты «Правда» (реже «Известий») иногда задавались «сверху», что же касается журналов, если верить воспоминаниям Ефимова, темы рисунков определялись редакционной коллегией. Их обычно предлагали сатирики-«темисты», темы обсуждались редакцией и только после этого за нее брался кто-то из карикатуристов. Готовая карикатура обсуждалась вновь и после необходимой доработки шла в печать. Этот процесс занимал в среднем две недели[16]. Конечно, иногда публиковались карикатуры, полученные в готовом виде от карикатуристов, не работающих в данном журнале, или даже от читателей (в «Крокодиле», например, время от времени появлялись подборки читательских карикатур), перепечатывались из иностранных журналов.

Для советской политической карикатуры было характерно обилие деталей и многочисленных подписей различного уровня – эпиграфа (часто в виде цитаты), определяющего конкретный повод для появления данной карикатуры; названия карикатуры; подписи под рисунком, чаще всего в виде прямой речи действующих лиц; поясняющие надписи на тех или иных элементах рисунка. Неслучайно читатели того времени часто в своих письмах подчеркивали, что «любят читать карикатуры»[17].

Политическая карикатура публиковалась в газетах, журналах, в том числе специальных (сатирических или юмористических). Расцвет ее приходится на 20-е годы, когда работали наиболее интересные советские карикатуристы, сложившиеся как мастера еще до революции (в основном вокруг журнала «Новый Сатирикон» – Дени, Моор, Черемных, Ганф и др.[18]), выходило множество сатирических журналов как в столице, так и в провинции, вплоть до уездных городов. Большинство из них, однако, существовали лишь несколько месяцев. Более или менее стабильными оказались (среди столичных) московские журналы «Смехач» (1924–28) и сменивший его «Чудак» (1928–30), ленинградские «Бегемот» (1924–28), «Пушка» (1926–29) и «Ревизор» (1929–30). Однако с 1930 г. количество журналов резко сокращается, вновь возникающие существуют лишь несколько месяцев. В Ленинграде с 1930 г. сатирических журналов практически не издавалось; было два или три журнала в республиках, на языках титульных наций, сохранившихся до войны. Особняком стоят специализированные журналы «Лапоть» (1924–1933), предназначенный для крестьян, и «Безбожник» (1923–1941)[19]. Политические карикатуры регулярно печатались также в «Правде», «Известиях», «Труде» (в последнем случае, однако, в основном с 1939 г.), регулярно выходили в виде альбомов видных карикатуристов[20]. Но, конечно, наиболее стабильным, популярным и многотиражным среди советских сатирических журналов был «Крокодил», который издавался в Москве с 1922 по 2000 год с периодичностью в среднем 3 раза в месяц. Именно материалы «Крокодила» в первую очередь положены в основу данного очерка.

Изучение политической карикатуры позволит лучше понять и проанализировать все зигзаги советской пропаганды в 20–30-е годы, вплоть до начала Второй мировой войны, представить их в виде сменявших друг друга образов, которые пропаганда пыталась закрепить в массовом сознании. Характерной особенностью политической карикатуры являлась повторяемость и узнаваемость нескольких «масок» – империалист (цилиндр, монокль, мешок с деньгами[21]), как правило, лишенный национальных примет, но иногда – с явным намеком на английское происхождение; военные (чаще других в форме Франции, Японии, Польши); социал-демократ; полицейский; а также несколько наиболее одиозных для советской пропаганды фигур типа Муссолини, Франко, Пилсудского и т. п. Вскоре искушенный читатель уже безо всяких подписей узнавал тех или иных персонажей, ориентируясь на привычные детали – подбородок Муссолини, монокль Остина Чемберлена, конфедератка и усы Пилсудского, пилотка с кисточкой и характерный профиль Франко…

Как отмечает современный российский исследователь, «сатира в определенной степени отфильтровывает человеческие представления, отражая значительную их часть»[22]. Это в полной мере относится к политической карикатуре. Оставляя в стороне многие нюансы, она формирует упрощенную картину реальности, опираясь при этом, однако, на уже существующие установки, представления, стереотипы.

Образ страны, нации, ее отдельных представителей, который формируется на основе самой разной, часто противоречивой информации, и сам является весьма рас-

плывчатым и противоречивым, отражающим, таким образом, неоднозначную реальность, в карикатуре подменяется маской, упрощенной до примитивизма и за редким исключением откровенно черно-белой в своих оценках. Но и эти маски (которые могут меняться, иногда почти мгновенно, исчезать и возникать вновь) тем не менее остаются важной составной частью образа, в значительной мере определяя его эмоциональную окраску.

Какие же маски характерны были для образа Германии в советской карикатуре 1920–30-х годов? Как менялось восприятие страны в целом, государства, его политики, внутренней и внешней? Какие этапы можно выделить, анализируя динамику образов Германии и немца в советской карикатуре?

Прежде всего отметим, что на протяжении всего межвоенного периода Германия привлекала особое внимание советских карикатуристов[23]. Немецкая тематика присутствует более чем в 50 % всех политических карикатур, опубликованных в эти годы в журнале «Крокодил». Конечно, в различные годы степень интереса к Германии была различной, и именно это обстоятельство (наряду, конечно, с изменениями в содержании карикатур) послужило основанием для выделения трех основных этапов, а именно 1922–1928, 1929–1932, 1933–1939 гг.

## «На немца сел верхом француз…»

Пик интереса к теме Германии в советской политической карикатуре приходится на 1923–1924 гг., что нельзя не связать с неудавшейся германской революцией 1923 г.[24]. Затем интерес к внешнему миру, и к Германии в том числе, резко снижается – в СССР назревал «великий перелом», и карикатуристы обратились, в первую очередь, к внутренним сюжетам[25].

В начале 1920-х годов чаще других встречались сюжеты, связанные с эксплуатацией Германии союзниками. Показательна, в частности, карикатура И. Малютина «Самогонный аппарат», на которой были изображены США, Англия и Франция, сосущие кровь из худой, оборванной Германии[26].

Постоянно повторялся мотив США, требующей долги с Англии, Англия, в свою очередь, требовала их с Франции, та – с Германии. «Всем Германия заплатит // Впрочем, это ведь вопрос», – гласила подпись к одной из карикатур[27].

Интерес к Германии и, в первую очередь, к ее международному положению заметно вырос в 1923 г., когда произошла оккупация Рура. Французские генералы на немецкой земле стали одним из наиболее повторяющихся (и отталкивающих) персонажей советской политической карикатуры. Они душили германского рабочего, расстреливали его, пировали за его счет. Иногда генералы были безымянными, иногда же речь шла о вполне конкретных персонажах. Например, на рисунке Моора в виде огромного паука был изображен маршал Фош, который сосал молоко, а голодному немецкому ребенку затыкал рот дулом пистолета[28]. Другим персонажем, часто встречающимся в подобном контексте, был, несомненно, президент Франции – так, огромный Р. Пуанкаре, развалившийся на массе придавленных рурских рабочих, красовался на обложке одного из номеров журнала «Красный ворон»[29].

Что же касается немцев и Германии как таковой, то на рисунках этого периода постоянно фигурировали немецкие рабочие (голодные, но готовые к борьбе за свои

права), реже истощенные женщины и дети, иногда же – традиционные германские бюргеры, изображенные, впрочем, с сочувствием. Конечно, это не относилось к немецкой буржуазии, выступавшей в качестве союзника оккупантов и готовой вместе с ними уничтожать немецкий пролетариат. Из конкретных персонажей в эти месяцы чаще других встречается промышленник Стиннес, который порой изображался в качестве реального правителя страны, действующего из-за спины сменявших друг друга кабинетов[30]. На одной из карикатур был следующий текст:

Сказав: «мне люб железный такт,
В дугу согну рабочих спины-с»,
С Пуанкаре вошел в контакт
Самодержавный немец, Стиннес.
К войне имея общий вкус,
Решили насаждать культуры.
На немца сел верхом француз[31].

Место Германии в европейской политике иллюстрировала карикатура Моора, появившаяся в начале 1923 г. На ней был изображен «Скандал на европейском базаре». Представители Социнтерна, а также Греция, Румыния, Турция, Польша, Литва с интересом смотрели, как тощий джентльмен-англичанин и здоровенная баба-Франция бьют хилую Германию в одежде немецкого крестьянина[32]. В связи с этим можно упомянуть и еще один мотив, изредка встречавшийся в политической карикатуре: Германия могла апеллировать к СССР. Реальные возможности СССР оказать такую помощь (за исключением политических, обычно чисто пропагандистских заявлений) были весьма сомнительными, тем не менее образ немецкого бюргера, который грозил пожаловаться «дяде-красноармейцу», время от времени появлялся на страницах советской сатирической печати.

Осенью 1923 г., в соответствии с обострением внутриполитической ситуации в Германии, в советской карикатуре появилась тема «немецкого Октября». Правительственный кризис, забастовки, активность коммунистической партии Германии, восстания в ряде городов – все это, казалось, оправдывало такое сравнение. Порой немецкие политические деятели, в частности рейхсканцлер Г. Штреземан[33], сравнивались с Керенским. В одной из карикатур проводились прямые параллели между сообщениями российских газет осени 1917 и немецких – осени 1923 года.

Вместе с тем проскальзывали и иные нотки, отражавшие некоторый скепсис в отношении революционного потенциала немецкого народа, которому постоянно требовались «руководящие указания» со стороны «старшего брата» – советского пролетариата; так, в одной из карикатур обыгрывалось известное замечание о том, что немецкий революционер, которому русский рабочий советует захватить вокзал, прежде всего купит перронный билет[34].

Поражение германской революции немедленно отразилось на содержании советской политической карикатуры. Редким становится образ Германии как таковой, ее место занимает германский пролетариат, обманутый своими вождями, подвергающийся репрессиям и терпящий постоянную нужду. По поводу наступления нового, 1924 года, одна из карикатур, изображающая мрачную, серую толпу голодных немцев, сопровождалась такими риторическими вопросами: «Кто обманул рабочую Германию?.. Где знамя? Где вожди?»[35].

Постоянно возникали темы, связанные с ростом продолжительности рабочего дня, арестами немецких коммунистов (в том числе депутатов рейхстага), все чаще появляются карикатуры на немецких социал-демократов. Впрочем, тема «социал-фашизма» в эти годы звучит пока приглушенно и наиболее часто встречающимся определением является «немецкий меньшевик». В карикатурах на известных немецких социал-демократов – легкое презрение, ирония; Филипп Шейдеман с вожделением смотрит на крестик, Карл Каутский, уютно свернувшись, сладко спит на томе Маркса, и т. д.[36].

Именно в эти годы зародилась (и на протяжении 1920-х годов постоянно воспроизводилась) тема реставрации монархии в Германии. Подчеркивалось, что немецкая буржуазия, чтобы избежать социалистической революции, может прибегнуть к этому последнему средству. Даже национально-социалистическое движение порой рассматривалось как одна из предпосылок восстановления монархии.

По-прежнему международная роль Германии расценивается исключительно в негативных тонах – изможденная, тощая старуха; прислуга, живущая в коридоре (очевидно, Данцигском); на одной из карикатур Германия была изображена повесившейся на дереве, символизирующем Лигу Наций[37]. Появившееся в газетах сообщение о том, что во время конференции в Локарно Г. Штреземан в гостинице играл с кошкой, тут же вызвало карикатуру Дени «Кошка играет со Штреземаном» (в роли кошки был изображен О. Чемберлен, легко узнаваемый по характерному профилю, цилиндру и моноклю.)[38]

Вообще Локарнские соглашения вызвали целый ряд карикатур, где немецкие политики изображались в роли послушных мальчиков в коротких штанишках и колпаках с кисточкой, сначала внимательно слушающих «дядю Чемберлена», а потом оказывавшихся спутанными по рукам и ногам Локарнским договором[39].

В 1925 г. у советских карикатуристов появляется новый персонаж – фельдмаршал Гинденбург, избранный в апреле новым президентом Германии. Фигура фельдмаршала в блестящем мундире (вариант – в парадном фраке и цилиндре) представляла собой благодатную тему для сравнения с плохо одетыми, изможденными германскими трудящимися, которые – по мнению авторов карикатур – ожидали весны, чтобы поесть хотя бы травы… Но в международном отношении блестящий фельдмаршал (например, на рисунке Дени «Типы мировой сцены») вдруг превращался в дряхлую «драматическую старуху»[40].

Избрание Гинденбурга вызвало в массовом сознании советского общества представления о нарастании угрозы со стороны Германии[41]. Что же касается карикатуры, то в ней впервые за эти годы появилась тема немецких «поджигателей войны». На рисунке Ю. Ганфа «Крестовый поход. Капиталисты мира против большевиков» были в ряду прочих изображены генерал Людендорф в мундире и каске, несущий флаг со свастикой, а также Вильгельм Маркс, Шейдеман, Штреземан и Фридрих Эберт с бюстом покойного Стиннеса[42].

Как уже было упомянуто, в 1927–1928 гг. интерес к внешнему миру у советских карикатуристов, как отмечалось выше, резко снижается; за эти годы в «Крокодиле» появилось менее 40 карикатур на международную тему, причем германская проблематика затрагивалась только в трех из них, что, разумеется, не позволяет делать сколько-нибудь обоснованные выводы о существующих в этой области тенденциях. Впрочем, показательна одна из этих карикатур – старушка Германия пристраивается в очередь за получением с СССР царских долгов, и, узнав, что долги возвращать не

*Виктор Дени.*
*Типы мировой сцены*

собираются, утешает себя: «Все равно постою, в хорошей очереди постоять приятно…»[43]. В этой карикатуре показательна, во-первых, ирония, направленная на очевидное стремление Германии еще больше сблизиться с европейскими державами, и, во-вторых, явная тем не менее симпатия, с которой была изображена Германия, что составляло заметный контраст с сатирическими образами других стран, стоящих в той же очереди – Америки, Франции, Польши.

В последующие годы, когда отношения между СССР и Германией становились все более прохладными, Германия оказывается в одном ряду с другими европейскими странами, и карикатурный образ ее уже не отличается добродушной иронией, свойственной «рапалльскому периоду».

## «От марксистской теории к фашистской практике»

Новый рост интереса к германской теме был связан с началом мирового экономического кризиса, политикой, направленной на ожесточенную борьбу с социал-демократией (и немецкие социал-демократы для советских сатириков оказались в этой борьбе «мишенью № 1»), и ростом фашистской опасности. Пик интереса к Германии приходится на начало 1930-х гг.[44].

«Значительная часть мероприятий, принимавших формы открытого внутриполитического террора, вплоть до расстрела демонстраций, закрытия рабочих организаций, налетов на организации компартии, – эти мероприятия проводились в самом

буквальном смысле этого слова руками социал-фашистов. В этом отношении наиболее показательным является развитие событий в Германии», – писал Е.А. Гнедин в предисловии к альбому карикатур Ефимова, изданному в 1932 г.[45].

Расстрелы рабочих демонстраций; социал-демократические вожди в полицейской форме; пулеметы, стреляющие из-под прикрытия социал-демократических изданий – темы, постоянно возникающие в советских сатирических изданиях применительно к Германии тех лет.

Характерна карикатура М. Черемных «Первомайский лозунг в социал-демократической обработке». Надпись на красном знамени (по-немецки) «Пролетарии всех стран,..» изображена на ней в виде дыр от пулемета, из которого стреляют социал-демократы[46]. Той же теме посвящен рисунок Ефимова «Печать в массы»: «социал-фашист» и полицейский стреляют по первомайской демонстрации из пулемета со щитком в виде газеты «Форвертс»[47].

Социальная политика Веймарской республики оценивалась не иначе, как резко критически, причем основная вина за это возлагалась даже не на немецких или иностранных капиталистов (которым, впрочем, тоже доставалось в советской карикатуре), а на все тех же социал-демократов. На одном из рисунков капиталист и два социал-демократа изо всех сил затягивают ремень у тощего немецкого рабочего, а третий социал-демократ советует затянуть его на шее. Одновременно социал-демократы выступают в роли «лекаря капитализма», прописывая ему компрессы Дауэса, капли Юнга, кровососные банки…[48] Находили отражение в советской карикатуре и такие сюжеты, как безработица в Германии, потеря сберегательных вкладов в результате экономического кризиса, выселение бедных семей из домов за неуплату квартирной платы и т. д.

Любимыми персонажами карикатуристов были Фридрих Цергибель и Карл Каутский[49]. Цергибель, в частности, изображается в виде лилипута, пляшущего на связанном Гулливере-рабочем; на одной из посвященных ему карикатур он старательно топчет красное знамя, на другой – в одной шеренге с папой римским и страшного вида империалистом несет лозунг, который гласит: «Террор против компартии и рабочего класса»[50]. «Социал-брехун» Каутский чаще предстает в качестве противника СССР: он получает задание «морально готовить интервенцию»; он же (в виде толстого кота в тюбетейке) не верит в строительство Сталинградского тракторного завода; он, наконец, призывает «не иметь дела с СССР»[51].

Постепенно важным мотивом политической карикатуры становится сотрудничество социал-демократов и нацистов. Они совместно душат рабочего; на рисунке «Мастера одного дела» на улице немецкого города брошен труп рабочего с ножом в спине. Нацист интересуется: «Это мы его или социал-демократы?»; социал-демократическая полиция сквозь пальцы смотрит на бомбы, найденные при обыске у нациста, и т. п[52]. Католический священник, «социал-предатель» и фашист (в баварской шляпе со свастикой) были изображены Борисом Ефимовым в качестве «ударной бригады по спасению капитализма»[53].

Пожалуй, наиболее показательно тема «социал-фашизма» была раскрыта в одной из карикатур 1932 г., на которой постепенно меняется головной убор немецкой социал-демократии – из кепки с козырьком в каску, а буквы «СД» при этом преображаются в свастику[54].

В 1932 г., когда опасность прихода нацистов к власти в Германии стала вполне реальной, акценты постепенно меняются. Теперь социал-демократы уже не столько

сообщники, сколько предшественники нацистов. В «Крокодиле» появляется серия фотомонтажей, на которых то за спиной социал-демократа вырастает огромная горилла с лицом Гитлера и флагом со свастикой, то из членского билета СДПГ появляется штурмовик с дубиной[55].

Известная теория «меньшего зла» была доходчиво изложена Ганфом в серии карикатур, появившихся летом 1932 г. По его версии, немецкие социал-демократы сначала обещали не пустить к власти правительство во главе с лидером партии Центра Генрихом Брюнингом. После прихода Брюнинга он был объявлен «меньшим злом» по сравнению с представителем правого крыла той же партии фон Папеном. Когда в июле 1932 г. фон Папен стал рейхсканцлером, теперь уже он оказался «меньшим злом» по сравнению с Гитлером[56]. Но далее следовал весьма смелый вывод: и Гитлер – «меньшее зло» по сравнению с императором Вильгельмом II (далее упоминались Людовик XI, Аттила и т. п.). Итог получался неутешительным – для пролетариата наибольшим злом оказывался сам социал-демократ[57].

Логический вывод делала карикатура «От марксистской теории к фашистской практике», в которой Каутский, строго глядя на Гитлера, виновато стоящего перед ним, отечески журит его: «У всех были ошибки…»[58].

И в эти годы ряд карикатур (иногда довольно остроумных) был посвящен международному положению Германии. То банда грабителей (имелась в виду Лозаннская конференция) из разных стран собиралась грабить немца с пустыми карманами, то потерпевшие кораблекрушение в бурном море голодным взором смотрели на тощую, съежившуюся Германию, то Германия в свою очередь в игорном доме «Европа» проигрывалась в пух и прах[59].

Любопытное предупреждение содержалось в карикатуре с мало что говорящим названием «Из африканского быта», на которой была изображена обезьяна, трясущая пальму. При этом тяжелые орехи лупили ее по голове – как пояснил автор рисунка, он имел в виду выколачивание репараций из Германии[60].

В конце 1920-х годов впервые в числе виновников будущей мировой войны, о которой все чаще писала советская пресса, был в весьма длинном ряду упомянут Адольф Гитлер – совсем еще не похожий на свои позднейшие изображения, в шляпе, с испуганным, довольно молодым лицом и щегольскими усиками с острыми кончиками[61].

Однако характерно, что Гитлер выступает, скорее, в роли последователя Версальских держав, чем их противника. Показательны две карикатуры 1931 г., принадлежащие Ефимову. На одной (с красноречивой подписью «Пай-мальчик») коленопреклоненный Гитлер с винтовкой и флажком «против СССР» вручает Франции букет цветов с надписью «За Версальский договор», на другой – он же с благодарностью принимает из рук Франции лекарство, «наружное и внутреннее», для спасения умирающей марки под названием «Единый фронт против СССР и рабочего класса»[62].

Последние номера «Крокодила» за 1932 г. не излучали особого оптимизма. Осенью появилась карикатура, на которой бывший император Вильгельм, прусский юнкер, буржуй, социал-демократ смотрели, как нацист в форме со свастикой добивает табуреткой смертельно больную конституцию Веймарской республики. А в предпоследнем номере в связи с отставкой кабинета фон Папена был опубликован мрачный фотомонтаж: сапоги со шпорами над немецким городом[63].

30 января 1933 г. президент Гинденбург назначил рейхсканцлером вождя национал-социалистов Адольфа Гитлера. Началась история Третьей империи, она же «Тысячелетний рейх».

## «Будни Третьей империи»

В 1933–1939 гг. фашистская Германия, безусловно, является «темой № 1» для советских карикатуристов. В эти годы рисунки на сюжеты, связанные с внутренней или внешней политикой рейха, составляют свыше 50 % всех политических карикатур, появившихся в «Крокодиле»[64]. Рекордными оказались 1933 и 1938 годы. Однако, если в 1933 преобладали карикатуры, связанные с внутренней жизнью Германии, то в 1938 г. на первый план, что неудивительно, выдвинулась тема фашистской агрессии, политики невмешательства, подготовки новой мировой войны.

Антифашистские мотивы присутствовали в советской карикатуре с начала 1930-х годов. Однако они явно усиливаются после прихода Гитлера к власти, тем более, что и в Германии была развернута антисоветская кампания. В декабре 1935 г. Литвинов подал на имя Сталина секретную записку, в которой предлагал «дать нашей прессе директиву об открытии систематической контркампании против германского фашизма и фашистов»[65]. Интенсивность этой кампании то ослабевала, то усиливалась в зависимости от ситуации, тем не менее именно это направление пропаганды оказало заметное воздействие на общественное сознание, что подтверждается многочисленными свидетельствами.

В статье «Агитационный плакат», опубликованной в журнале «Советское искусство» в июле 1937 г., карикатурист Дени писал: «Появляется антифашистский плакат. В художественной форме этот плакат говорит о волне мракобесия, изуверства, людоедства и об открытой подготовке фашистского военного нападения на СССР. Советский политический плакат разоблачает фашистскую интервенцию в Испании, всю фашистскую кухню войны… Однако наш плакат страдает еще многими недостатками. В нем еще недостаточно остро разоблачается расовая политика фашизма, его поход против культуры, та нищета, безработица и бескультурье, которые несет фашизм»[66].

На самом деле темы репрессий, нищеты, голода и бескультурья в Германии национал-социалистов постоянно присутствовали на страницах «Крокодила».

На первых порах, впрочем, по инерции главной мишенью оставались немецкие социал-демократы – они выражали готовность служить новым хозяевам, стоя перед ними на коленях и прося при этом «на чаек», обманывали рабочих, всячески «урезали» Маркса и подносили спички к кострам, на которых сжигались его книги, не упуская при этом случая погреть руки (в прямом смысле)[67]. На одной из карикатур Каутский выполнял давнюю мечту Г. Уэллса, высказанную им еще в брошюре 1918 г. «Россия во мгле», – брил и стриг Карла Маркса под Вилли Маркса[68].

Однако вскоре произошли события, заставившие карикатуристов надолго забыть о любимых сюжетах и персонажах – 27 февраля 1933 г. загорелся рейхстаг, вскоре, в марте 1933 г., вне закона была объявлена коммунистическая партия Германии, а в июне – социал-демократическая партия. На последнее событие «Крокодил» откликнулся так: толпа социал-демократических депутатов, чтобы попасть в рейхстаг, сдает в качестве входных свои партийные билеты; надпись – «Все билеты проданы».

С этого момента главным персонажем карикатур на германскую тему, помимо первых лиц Третьего рейха, становится штурмовик. Этот образ появляется еще в конце 1920-х годов – как правило, в кепи, небрит, зверообразен, с дубинкой и повязкой на рукаве. Любопытно, что этот образ сохраняется и после 1934 г., когда руко-

водство штурмовых отрядов было уничтожено, а сами отряды распущены. Фигура гестаповца («гестаписта», как иногда писали в те годы) появляется гораздо реже[69].

Конечно, поджог рейхстага и последовавший за ним Лейпцигский процесс не мог пройти мимо внимания карикатуристов всего мира (рисунки на эту тему публиковали Жан Эйфель и Херлоф Бидструп), в том числе, конечно, и СССР. На одной из карикатур жена штурмовика удивляется: от тебя в последнее время почему-то пахнет керосином. На другой – адвокат со свастикой и пистолетом требует от обвиняемого признания в поджоге. Уголовнику, пойманному у взломанного сейфа, предлагают на выбор два варианта – год тюрьмы или три выступления на процессе о поджоге рейхстага. Завершает эту тему карикатура, появившаяся уже в 1934 году – с берлинского аэродрома взлетает самолет, увозящий бывших обвиняемых в СССР, толстый штурмовик (очевидно, имелся в виду Геринг, хотя портретного сходства нет) печально смотрит вслед. «Обвинители улетели, обвиняемые остались» – заключает автор[70].

На одно из первых мест выходит тема репрессий. Среди наиболее часто встречающихся деталей в карикатурах тех лет на германскую тему – топор; восстановление смертной казни через обезглавливание произвело на всех сильное и тягостное впечатление. На фотомонтаже, опубликованном в 1936 г. под нейтральным названием «Коротко о Третьей империи», в пень, срез которого повторял контуры Германии, был воткнут топор со свастикой[71].

Пресловутый топор возникает порой в самых неожиданных ситуациях; так, на карикатуре «Фашистская юстиция» была изображена чернильница в виде плахи с топором, а фотомонтаж, посвященный выступлению Гитлера в недавно оккупированной Вене в 1938 г., представлял самого фюрера в виде окровавленного топора[72].

Уже в 1933 г. в карикатурах появляется новое словосочетание – «концентрационный лагерь». В концлагерь штурмовики отправляют рабочих; из лагеря иногда выпускают (уголовников прежде всего) – но и вся Германия становится огромным концлагерем (с вкраплением военных лагерей). При этом молодежь отправляется в трудовые лагеря, люди постарше – в семейные, безработные реализуют таким образом право на труд…[73] Наиболее выразительно тема концлагерей была представлена карикатурой Константина Ротова[74] «Редкое единодушие», на которой нацист в орденах гордо заявлял: «Население нашего города все в одном лагере (концентрационном)»[75].

Впрочем, фантазия карикатуристов шла дальше: на одном из рисунков штурмовик, представляя себе земной шар за решеткой, мечтал посадить все человечество – а потом выпускать поодиночке[76].

Карикатура 1934 г. с сочувствием описывала тяжелое положение берлинских дантистов, лишившихся своих пациентов – одним зубы выбили, другим они не нужны, третьи боятся рот открыть[77]. Вообще тема страха постоянно присутствует в карикатурах – люди боятся собственной тени, прихода штурмовиков. На одном из рисунков студенты предпочитают выйти из аудитории во время демонстрации внутренних органов человека – как бы ни оказаться среди экспонатов[78]. Что касается буржуазных свобод (собраний, голосования, слова, печати и др.), по мнению советских карикатуристов, в фашистской Германии место для них оставалось только на кладбище[79].

Отдельной темой была нацистская пропаганда. Карикатуристы саркастически комментировали гитлеровский «4-летний план» развития экономики (кто знает, не

вспоминали ли они при этом о другом, еще более амбициозном плане), заставляли обезьян из берлинского зоопарка смеяться над «Фелькише Беобахтер», а появившееся в немецкой печати высказывание о том, что Христос был национал-социалистом, прокомментировали следующим образом: он тоже кормил народ пятью хлебами[80].

Как ни странно, расовая политика нацистов отражалась в советской сатире лишь изредка. Конечно, читатель «Крокодила» мог, например, узнать, что Гитлера даже герб Германии, орел, не устраивает формой носа; что подлинных арийцев выращивают на специальных фермах[81]; что «проверку на чистоту расы» не прошли ни Наполеон, ни папа римский Пий, ни Спиноза; что даже сказочный принц не смог разбудить спящую красавицу – его как неарийца схватили штурмовики[82]. И тем не менее эта тема, а также тема еврейских погромов (в «Крокодиле» за все эти годы ей были посвящены лишь 3 карикатуры), оставались эпизодическими, очевидно, по политическим соображениям.

Зато благодарной темой стало положение науки и культуры в Третьей империи. В первые годы самой выигрышной являлась тема сожжения неугодных нацистам книг. Постепенно ее сменила тема безработицы среди выпускников университетов и университетских профессоров. На улицах Берлина, по мнению советских сатириков, математики чистили сапоги, инженеры и экономисты устраивались домашней прислугой, а археологи – в полном соответствии со своей научной квалификацией – успешно отыскивали пропитание на свалках[83]. Зато в университетах их заменяли штурмовики – один из них не мог вспомнить, какую именно кафедру, по музыке или хирургии, он получил, другой просил в виде исключения разрешить ему вместо музыки Мендельсона-Бартхольди сочинить теорию Эйнштейна[84]. «Закрыла» тему карикатура 1939 года, на которой штурмовик в виде обезьяны гордо стоял над трупом немецкой науки[85].

Появлялись карикатуры, посвященные тяжелому положению немецкой литературы, живописи, музеев; особенно популярна была почему-то тема бедствий немецкого театра. Впрочем, один выход для представителей немецкой интеллигенции оставался: по мнению карикатуристов, из них можно было формировать специальные воинские части[86].

Вообще тема «Пушки вместо масла» занимала видное место в советской сатире тех лет. Танки давили крестьянских свиней; пахотные земли занимали военные аэродромы; немецкому потребителю вместо хлеба предлагалось железо, вместо мяса – свинец, а вместо мозгов – чугун[87]. На карикатуре Ефимова «База фашистских вооружений» скелет в немецкой форме, с характерными усиками «а ля Гитлер», сидящий верхом на пушке, плетью голода подгонял закованную в цепи, еле бредущую под тяжестью орудия, немецкую семью – отец, мать, трое детей, бледные, истощенные…[88]

Нищета, голод, безработица в Третьей империи – вот, пожалуй, основной сюжет советских карикатур, посвященных внутренней жизни Германии, особенно во второй половине 1930-х годов. Нет необходимости перечислять многочисленные варианты этих сюжетов; «будни Третьей империи» (карикатура под таким названием изображала огромную очередь безработных) в представлении советских читателей должны были ассоциироваться с голодом, очередями, сосисками из опилок, хлебными карточками (в СССР они были отменены в 1935 году, и после этого стало возможным говорить о них применительно к Германии. Так, на карикатуре 1937 года

был изображен перегруженный пушками корабль Третьей империи под парусами из продовольственных карточек[89]). «Будущее Германии на воде и хлебе» – подчеркивала одна из последних карикатур тех лет[90].

Всего в «Крокодиле» 1933–1939 гг. было опубликовано более 200 карикатур, посвященных внутреннему положению Германии. И только три из них касались темы борьбы немецкого народа с фашистским режимом. На одной (1933 года) штурмовики с опаской поглядывали на руки рабочих, сжимающих коммунистические газеты, на другой – в ночном Берлине рабочие расклеивали «Роте Фане»[91], в третьем случае речь шла о подпольной немецкой радиостанции[92].

Последняя карикатура, посвященная жизни в Германии, появилась в «Крокодиле» в августе 1939 года. После этого немецкая тема (применительно и к внешней, и к внутренней политике) оказалась для советских карикатуристов запретной: после «пакта Риббентропа-Молотова» пропаганда обеих стран прекратила какие-либо выпады друг против друга[93].

## «На потребу богу войны»

Внешняя политика гитлеровской Германии в советской карикатуре 1930-х годов – тема вполне подходящая для отдельной большой статьи или даже монографии. Очевидно, что в данном очерке можно лишь вкратце определить основные сюжеты, характерные для советской сатиры на эту тему.

В «Крокодиле» за 1933–1939 гг. этой теме было посвящено более 200 карикатур, кроме того, подобные карикатуры регулярно публиковались в других журналах и газетах, в альбомах известных карикатуристов, таких как Ефимов или Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов) и т. д.

*Борис Ефимов.*
*Колыбель немецкого фашизма. «Добрые феи» Адольфа Гитлера*

*Борис Ефимов. Первая колония «Третьего Рейха»*

*Борис Ефимов. Бестии свободы*

На первых порах преобладала тема перевооружения Германии. Немецкие дипломаты изображались на фоне пушек, генералы просили разрешения построить уже готовые к полету бомбовозы, голубь мира в немецком варианте был приспособлен для фотографирования неприятельских позиций и разбрасывания бактерий[94]. Выход Германии из Лиги наций был расценен карикатуристами как первый шаг к войне – вслед за немецким дипломатом двинулся в путь скелет в противогазе, с винтовкой в руке[95]. Не обошлось, конечно, и без выпадов в адрес мирового империализма: в полном соответствии с официальной советской пропагандой «добрыми феями» Адольфа Гитлера объявлялись магнаты Уолл-стрита, Англии, Франции и Рура[96].

Ряд карикатур отражал наметившееся сближение Германии и Японии, которые (не без оснований) в советской пропаганде тех лет рассматривались как основные потенциальные агрессии. «Брак по любви… к чужим территориям» – так называлась карикатура Ефимова, на которой японец, с вожделением рассматривавший глобус, покрытый немецкими и японскими флажками, сжимал в объятиях огромную Германию в тевтонском рогатом шлеме, с длинной белокурой косой и… с неизбежными усиками[97].

Вскоре появились сюжеты, связанные уже с конкретными территориальными претензиями Германии – относительно Австрии или Саарского бассейна. Что же касается антисоветских заявлений гитлеровского руководства, они были прокомментированы следующим образом. Стоящий перед картой пятилетки, огромный симпатичный тевтон с мечом предостерегал противного штурмовика с дубиной: «У них есть кое-что, чего не было даже у Рима»[98].

Однако настоящей темой дня стала, конечно, немецко-итальянская интервенция в Испании. Только в «Крокодиле» появилось свыше 30 карикатур на эту тему. Вышел и специальный альбом Ефимова[99].

Немецкие «добровольцы» в Испании на фоне трупов и руин, гитлеровские генералы в штабе Франко, жертвы немецкой авиации – все эти сюжеты постоянно повторялись в советской карикатуре в 1936–1938 гг. В этой серии карикатур Гитлер и его союзник Муссолини выглядели довольно опасными и могущественными, зато генерала Франко авторы карикатур то загоняли под стол, за которым сидели немецкие «советники», то заставляли чистить сапоги Гитлеру и Муссолини, а на одном из рисунков – Франко в роли туземца в юбочке из листьев целовал сапоги немцу-колонизатору[100].

Почти столь же презрительно изображались в карикатурах на испанскую тему Великобритания, Франция и их политика невмешательства: немцы и итальянцы стригли когти британскому льву, наступали ему на хвост, а тот предлагал им одну уступку за другой.

Если Гитлер и его соратники на фоне своих испанских союзников или западноевропейских дипломатических партнеров выглядели весьма грозно, то на фоне СССР они же становились подчеркнуто жалкими, уродливыми, бессильными. Подобные карикатуры с соответствующими надписями, например, «Видит око, да зуб неймет», регулярно появлялись в «Крокодиле». У Гитлера были «коротки руки», чтобы схватить глобус с изображенным на нем СССР; фашистская свинья беспомощно ковырялась у высокого советского забора; немецкий фашист за школьной партой учит уроки истории (Ледовое побоище), географии (где находится озеро Хасан[101]), арифметики (рост производства в СССР)[102].

Постепенно, с нарастанием военной опасности, появлялось все больше и больше карикатур, разоблачающих агрессивную политику Германии. Оккупация Австрии, ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону, угрозы в адрес Чехословакии и Польши – все отражалось в советских карикатурах. Если на карикатурах 1925 г. Германия изображалась в виде приживалки в «польском коридоре», то в карикатуре 1937 г. лакеем в Данцигском коридоре оказывался уже поляк в конфедератке, а в комнатах уютно устроились хозяева-нацисты[103]. А польский министр иностранных дел Йозеф Бек, в виде собачонки, на карикатуре 1938 г. униженно ждал подачек с немецкого стола[104].

Германия на карикатурах появляется то в виде свирепого кабана (1936), то в виде паука, подбирающегося к нейтральным странам (Голландия, Бельгия, Швейцария, 1937), то в виде волка из сказки о Красной Шапочке – только Красных Шапочек на рисунке четыре, это Австрия, Венгрия, Румыния, Югославия (1937)[105].

Особый сюжет этих лет – германо-итальянское сближение, ось «Берлин–Рим». Муссолини и Гитлер фигурируют в целом ряде карикатур. На одной из них тевтон Гитлер и римлянин Муссолини куют ось для колесницы бога Марса. На другой – проект статуи германо-итальянской дружбы, изображающей Гитлера в роли всадника, а Муссолини, соответственно, лошади. И, наконец, оба союзника изображены голодными волками на европейской дороге (Муссолини, впрочем, опять не повезло – ему, по аналогии с античной легендой, досталась роль волчицы, хотя бы и капитолийской)[106].

И по-прежнему жалко и беспомощно выглядят перед лицом агрессора «мюнхенцы» – и британский лев, и Джон Буль, и Марианна, и их восточноевропейские союзники.

Последний блок сюжетов связан с агрессивными намерениями Германии относительно Чехословакии (как до, так и после подписания Мюнхенских соглашений)

и Польши. Однако карикатур на эти темы в 1939 г. постепенно становится все меньше. Предпоследняя посвящена немецким туристам в «вольном городе Данциге», любующимся пейзажами, которые, главное, хорошо пристреляны. А последняя карикатура, затрагивающая Германию, появляется уже после начала Второй мировой войны, да и та касается скорее политики Великобритании – англичане опасаются тюками с листовками, приготовленными для сбрасывания на Германию, ушибить немца[107].

* * *

Лица и маски Германии в советской политической карикатуре межвоенного периода менялись много раз. Образы союзников, грабящих Германию, сменяются портретами «социал-предателей». Затем появляются безымянные штурмовики, которые в свою очередь постепенно вытесняются хорошо узнаваемыми лицами из гитлеровского руководства (наиболее популярны, помимо фюрера, Геринг и Геббельс). Иногда по политическим соображениям карикатура слегка маскируется, хотя сохраняет узнаваемость (классический пример – рисунок Ефимова 1936 г., на котором изображен Гитлер с характерной челкой, однако вместо знаменитых усов под носом нарисована маленькая свастика; подпись, разумеется, отсутствует[108]).

Еще один образ, связанный с Германией, – немецкий рабочий, немецкая семья, реже – страдающий немецкий обыватель. В отличие от образов политиков, образ рабочего обычно был лишен каких бы то ни было индивидуальных черт, но явно симпатичен.

Время от времени, особенно в 1930-е годы, возникают образы, напоминающие о «другой Германии», – классическая немецкая культура в лице ее виднейших представителей (встречаются Гете, Гейне, Кант, Гегель и др., а также, разумеется, Карл Маркс), страдающая от преследований невежественных фашистов; мрачный, голодный, запуганный, но пытающийся выглядеть счастливым немецкий обыватель; марка, падающая под тяжестью свастики.

На протяжении всего периода *немецкий народ* при любом политическом режиме и в любом контексте изображался в качестве либо борца, либо (гораздо чаще) жертвы; маски «немец-враг» в этот период не существовало, ее с успехом заменяли такие маски, как «фашист», «социал-демократ», «буржуй».

Страна, униженная, но борющаяся; страна, преданная собственными правителями; мрачная страна, покрытая концлагерями и тюрьмами; голодающая, стоящая в очередях и одновременно вооружающаяся до зубов, – такой рисуют Германию (может быть, даже не желая этого) советские карикатуристы. Но, разглядывая карикатуры, относящиеся уже к фашистскому периоду немецкой истории, время от времени приходишь к мысли, что перед мысленным взором авторов вставала и другая страна, где, правда, не было безработицы, но была агрессивная пропаганда, грандиозные планы, очереди за самым необходимым, репрессии и концлагеря.

Теперь мы знаем, однако, что жизнь в Советском Союзе 1920–30-х годов была далеко не столь безоблачной, как рисовала советская пропаганда, литература, кинематограф, но далеко и не так страшна, как может показаться по некоторым современным публикациям. Очевидно, то же относилось и к гитлеровской Германии. Но тема данного очерка – не реальность, а образ Германии, доступный советскому человеку, и образ этот оставлял мало поводов для оптимизма.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Варшавский Л.* Наша политическая карикатура. – М., 1930. С. 9.

[2] *Ефимов Б.* Сорок лет. Записки художника-сатирика. – М., 1961. С. 90. Ефимов Борис Ефимович (1900–2008), российский график, народный художник СССР (1967), действительный член Академии художеств СССР (1975), Герой Социалистического Труда (1990). Брат М.Е. Кольцова. Автор злободневных политических, в т. ч. антифашистских, карикатур. С 1922 г. сотрудничал в газетах «Правда», «Известия», журнале «Крокодил». Лауреат Сталинских и Государственной премий (1950, 1951, 1972).

[3] См., например: *Орлов И.Б.* «Новая буржуазия» в сатире 1920-х гг. // История России XIX–XX вв.: Новые источники понимания. – М., 2001. С. 230–236; *Шаттенберг С.* Техника – политична. О новой советской культуре инженера в 30-е годы // Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистического образа жизни в России, 1920–30-е годы. – СПб, 2000. С. 193–217.

[4] *Швыров А.В.*, *Трубачев С.С.* Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней. – СПб., 1903. С. 6.

[5] Необходимо отметить, что термин «политическая карикатура» в СССР межвоенного периода применялся **исключительно** к карикатуре на международные темы. Карикатуры, посвященные внутренней жизни СССР, независимо от темы и сюжета, таковыми не считались. Порой подобная практика вызывала обоснованные возражения (см., например: *Ефимов Б.* Мне хочется рассказать… – М., 1970. С. 197), однако продолжала оставаться общепринятой. В данном очерке мы будем пользоваться именно этой терминологией.

[6] Лицо врага. Рисунки Б. Ефимова. – М., 1931. С. 3.

[7] Подробнее см.: *Голубев А.В.* «Строительство дома цензуры» (к вопросу о закрытости советского общества) // Россия и современный мир. 2000. № 3. С. 73–87.

[8] См. об этом: *Голубев А.В.*, *Яковенко И.Г.* Запад глазами русских (межвоенный период) // Россия и современный мир. 1997. № 1. С. 119–135.

[9] См.: *Голубев А.В.* Формирование образа внешнего мира в СССР. 30-е годы // Российская ментальность: методы и проблемы изучения. – М., 1999. С. 178–208.

[10] *Варшавский Л.* Указ. соч. С. 8.

[11] Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – видный революционер, публицист, литературный критик. С октября 1917 по сентябрь 1929 г. являлся народным комиссаром просвещения РСФСР. Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) – видный деятель польского и российского революционного движения, секретарь ЦК ВКП(б) Украины, один из организаторов Международной организации помощи борцам революции, в 1922–1923 гг. секретарь Исполкома Коминтерна, впоследствии заместитель председателя Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна, председатель Всесоюзного радиокомитета.

[12] Гнедин Евгений Александрович (1898–1983) – в 1922–30 гг. работал в НКИД (заведующий подотделом торговой политики, старший референт по Германии), затем был заместителем заведующего иностранного отдела «Известий». В 1935–37 гг. – первый секретарь полпредства в Берлине. В июне 1937 – мае 1939 заведовал отделом печати НКИД. В мае 1939 был арестован, находился в заключении до 1955, впоследствии был реабилитирован. В 1970-е годы получил известность как публицист и правозащитник. В 1932 г. он работал в «Известиях», и предисловие было подписано фамилией; в 1938 г. он был уже заведующим отделом печати Наркомата иностранных дел и поэтому предисловие подписал псевдонимом. См.: *Гнедин Евгений.* Катастрофа и второе рождение. Мемуарные записки. – Амстердам 1977; см. также: *Копелев Лев*. Ein trotziger Optimist – Jewgenij Gnedin. In: Lew Kopelew: Laudationes. – Göttingen 1993. S. 63–67.

[13] *Ефимов Б.* Выход будет найден. Политические карикатуры. – М.–Л., 1932. С. 5.

[14] Поджигатели войны. Карикатуры Бор. Ефимова. – М., 1938. С. 3.

[15] Крокодил. 1934. № 20–21. С. 19.

[16] *Ефимов Б.* Мне хочется рассказать… С. 198.

[17] *Ефимов Б.* Политическая карикатура. 1924–1935. – М., 1935. С. 5. Вот как описывают изнутри знавшие «редакционную кухню» 1920-х годов Илья Ильф и Евгений Петров работу художника, рисующего карикатуру на тему «Стальной шлем и общее положение Германии»: «Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел герман-

скую каску с пикой. А затем взялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово “Германия”, на витом хвосте – “Данцигский коридор”, на челюсти – “Мечты о реванше”, на ошейнике “План Дауэса” и на высунутом языке – “Штреземан”. Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал и надпись на нем не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буковками: “Французские предложения о гарантиях безопасности”. Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе премьера написал – “Пуанкаре”. Набросок был готов». См.: *Ильф И.*, *Петров Е.* Двенадцать стульев. Первый полный вариант романа. – М., 1997. С. 264–274.

[18] Бродаты Лев Григорьевич (1889–1954) – карикатурист, график, с 1918 г. работал в «Правде», с 1932 г. в «Крокодиле»; Ганф Юлий Абрамович (1898–1973) – график, народный художник России (1964), работал в газете «Правда» (с 1924), журнале «Крокодил»; Дени (Денисов) Виктор Николаевич (1893–1946) – график, заслуженный деятель искусств России (1932), один из основоположников советского политического плаката («Антанта», 1919), карикатурист; Моор (Орлов) Дмитрий Стахиевич (1883–1946) – российский график, заслуженный деятель искусств России (1932), мастер политического плаката («Ты записался добровольцем?», 1920) и сатирического рисунка; Черемных Михаил Михайлович (1890–1962) – график и карикатурист, народный художник РСФСР (1952), действительный член Академии художеств (1958), один из основателей «Окон РОСТа», «Крокодила», лауреат Сталинской премии (1942).

[19] См.: *Стыкалин С.*, *Кременская И.* Советская сатирическая печать. 1917–1963. – М., 1963.

[20] Помимо выше упомянутых, в 1920–30-е годы получили известность: Горяев Виталий Николаевич (1910–1982) – карикатурист, график, народный художник СССР (1981), лауреат Государственной премии (1967); Каневский Аминадав Моисеевич (1898–1976) – график, карикатурист, иллюстратор, народный художник СССР, член Академии художеств (1973), с 1936 г. сотрудничал в «Крокодиле»; Кукрыниксы (псевдоним по первым слогам фамилий) – творческий коллектив графиков и живописцев Куприянова Михаила Васильевича (1903–1991), Крылова Порфирия Никитича (1902–1990), Соколова Николая Александровича (1903–2000), действительные члены Академии художеств СССР (1947), народные художники СССР (1958), Герои Социалистического Труда (Куприянов – 1973, Крылов – 1972, Соколов – 1973), работали методом коллективного творчества (индивидуально – над портретами и пейзажами), лауреаты пяти Сталинских, Ленинской (1965) и Государственной премии СССР (1975); Малютин Иван Андреевич (1891–1932) – карикатурист, один из основателей «Окон РОСТА» и «Крокодила»; Пророков Борис Иванович (1911–1972) – график, карикатурист, народный художник СССР (1971), лауреат Сталинских (1950, 1952) и Ленинской (1961) премий; Ротов Константин Петрович (1902–1959) – карикатурист, много лет сотрудничал в «Крокодиле»; Семенов Иван Максимович (1906–1982) – график и карикатурист, народный художник СССР (1974), с 1935 г. сотрудник журнала «Крокодил»; Сойфертис Леонид Владимирович (1911–1996) – график, карикатурист, член-корреспондент Академии художеств СССР (1966), народный художник СССР (1990), с 1934 г. сотрудник журнала «Крокодил»; и др.

[21] Вот как характеризует советский искусствовед типичный образ капиталиста в рисунках одного из видных карикатуристов того времени: «Тип капиталистов в плакатах и журнальных рисунках Черемныха двадцатых и начала тридцатых годов, хотя и имел несколько особый оттенок, в целом мало отличался от изображения капиталиста в работах Моора, Дени и других художников. Это – жирное, хищное лицо с оскаленными клыками, толстая фигура, одетая в черный фрак и белую манишку, это – лоснящийся черный цилиндр на голове, золотые кольца на руках с отточенными, как когти зверей, ногтями. Именно таким долгое время изображали художники капиталиста, как образ хищничества, беспощадности, наглости и чревоугодия». См.: *Костин В.И.* Михаил Михайлович Черемных. Монография. – М., 1957. С. 14.

[22] *Орлов И.Б.* Указ. соч. С. 235.

[23] Всего учтено свыше 1500 политических карикатур, опубликованных в 679 номерах журнала в 1922–1939 гг. Свыше 550 из них в той или иной степени посвящены Германии.

[24] Имеется в виду в том числе «Гамбургское восстание», которое, как надеялись большевики и их немецкие коллеги, должно было по примеру России перерасти в революционное восстание по всей Германии, но оказалось неудачным.

Это можно проиллюстрировать следующим образом. В 284 номерах «Крокодила» за эти годы было опубликовано в общей сложности 493 политические карикатуры. Из них тема Германии затрагивалась в 96 карикатурах, что составляет около 20 %, однако для 1923 и 1924 гг. эта цифра выше, соответственно 25 и 30 %. (Прим. ред.)

[25] Так, в начале 1926 г. в «Крокодиле» появилась карикатура И. Малютина «Зачемберленились». Журналисты пишут только о Чемберлене, а «внутреннему врагу» живется спокойно, доказывал автор карикатуры (Крокодил. 1926. № 2. С. 3). В конце того же года на обложке одного из номеров «доктор Крокодил» советовал все тому же пресловутому Чемберлену: «Заходите в следующий номер, сейчас я занят внутренними болезнями» (1926. № 43. С. 1).

[26] Крокодил. 1922. № 2. С. 12.

[27] Там же. № 4. С. 7.

[28] Там же. 1923. № 8. С. 611. Фош Фердинанд (1851–1929) – маршал Франции, верховный главнокомандующий союзными войсками в конце первой мировой войны, сторонник жесткой политики в отношении Германии.

[29] Красный ворон. 1923. № 21. С. 1.

[30] Стиннес Гуго (1870–1924) – крупнейший немецкий промышленник, глава концерна, игравший заметную политическую роль. Его состояние оценивалось в 8–10 млрд. золотых марок.

[31] «Чтобы дожать рабочих Рура» – гласила подпись к одной из карикатур. См.: Крокодил. 1923. № 4. С. 560.

[32] Крокодил. 1923. № 5. С. 568–569.

[33] Штреземан Густав (1878–1929) – рейхсканцлер (август–ноябрь 1923), одновременно министр иностранных дел (август 1923–1929), один из основателей (1918) и лидер Немецкой народной партии. Лауреат Нобелевской премии мира (1926).

[34] См.: Крокодил. 1923. № 40. С. 1138.

[35] Там же. 1924. № 1. С. 3.

[36] См.: *Свиридова И.А.* Виктор Николаевич Дени. – М., 1958. С. 82; Правда. 1925. 15 марта. Шейдеман Филипп (1865–1939), один из лидеров Социал-демократической партии Германии, член правления партии с 1911 г. В ноябре 1918 – феврале 1919 г. один из председателей (наряду с Ф. Эбертом) Совета народных уполномоченных, в феврале – июне 1919 г. глава правительства; Каутский Карл (1854–1938), один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала, центрист. В 1883–1917 гг. редактор теоретического журнала германской социал-демократии «Нойе цайт». С 1905 г. начал выступления против радикальных марксистов (Р. Люксембург и др.). С начала Первой мировой войны занял пацифистскую позицию. Октябрьскую революцию в России встретил враждебно.

[37] Крокодил. 1925. № 38. С. 12.

[38] Политические рисунки Дени. М. – Л., 1926. С. 11.

[39] Там же. С. 13, 15.

[40] Там же. С. 51.

[41] См. об этом в очерке А.В. Голубева «Немцы-то придут с машинами или с пулеметами?.. Германия в восприятии советского общества 1920–1930-х годов» в данном издании.

[42] Крокодил. 1925. № 4. С. 8–9. Людендорф Эрих (1865–1937) – немецкий генерал, участник Капповского (1920) и «пивного» (1923) путчей; Эберт Фридрих (1871–1925) – президент Германии в 1919–25 гг., лидер Социал-демократической партии.

[43] Крокодил. 1928. № 46. С. 4.

[44] Из 310 политических карикатур германской теме было посвящено 80 карикатур или примерно 25 %.

[45] *Ефимов Б.* Выход будет найден. Политические карикатуры. М. – Л.,1932. С. 7.

[46] *Ефимов Б.Е.* Политическая карикатура. 1924–1934. – М.,1935. С. 61. Вариант этой карикатуры был опубликован в «Крокодиле» в 1931 г. (№ 13. С. 5).

[47] Крокодил. 1931. № 12. С. 1.

[48] Там же. № 17–18. С. 16; 1932. № 10. С. 1.

[49] Цергибель Карл Фридрих (1878–1961) – социал-демократический политик, полицей-президент Берлина, в 1 мае 1929 г. указал расстрелять рабочую демонстрацию («Blutmai»).

[50] Крокодил. 1929. № 19. С. 3; № 29. С. 10; *Ефимов Б.Е.* Политическая карикатура… С. 65.

[51] См.: *Ефимов Б.Е.* Политическая карикатура… С. 167; Крокодил. 1931. № 35–36. С. 2; 1933. № 13. С. 5.

[52] См.: Крокодил. 1929. № 36. С. 1; № 38. С. 1; 1931. № 7–8. С. 10.

[53] *Ефимов Б.Е.* Политическая карикатура… С. 31.

[54] Там же. 1930. № 28. С. 2.

[55] Там же. 1932. № 12. С. 6; № 20. С. 11.

[56] Брюнинг Генрих (1885–1970), немецкий политический деятель, лидер партии Центра. Рейхсканцлер в 1930–32 гг. В 1934 г. эмигрировал в США; Папен Франц, Фон (1879–1969), военный, дипломат, политический деятель, представлял правое крыло партии Центра. В июле–ноябре 1932 г. рейхсканцлер, в 1933–34 гг. вице-канцлер, затем посол в Австрии и Турции.

[57] Крокодил. 1932. № 24. С. 12.

[58] Там же. № 25–26. С. 2.

[59] См.: Крокодил. 1931. № 22. С. 1; 1932. № 4. С. 1; № 21. С. 2.

[60] Там же. 1932. № 23. С. 3.

[61] Там же. 1929. № 28. С. 4–5.

[62] *Ефимов Б.Е.* Политическая карикатура… С. 55, 53.

[63] Крокодил. 1932. № 27. С. 3; № 35. С. 7.

[64] Из 726 карикатур с Германией в той или иной мере были связаны 385.

[65] О подготовке Германии к войне. Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину. 3 декабря 1935 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 211.

[66] Цит. по: *Свиридова И.А.* Виктор Николаевич Дени. – М., 1958. С. 111.

[67] См.: Крокодил. 1933. № 5. С. 14; № 8. С. 5, 8, 12; № 10. С. 4; № 16. С. 4; № 17. С. 5.

[68] Крокодил. 1933. № 5. С. 14. Маркс Вильгельм (1863–1946), лидер партии Центра, в 1910–1930 гг. депутат рейхстага, в 1920–1927 гг. председатель фракции партии центра. В 1923–1925, 1926–1928 гг. рейхсканцлер. В 1925 г. кандидат в президенты, в 1926 г. министр юстиции.

[69] На карикатуре Б. Ефимова «Опора фашистской диктатуры», появившейся в 1938 г., маленький смешной Гитлер сидел на плечах угрожавших друг другу пистолетами гестаповца и генерала рейхсвера. Вариант этой карикатуры появился в том же году в «Крокодиле», только там опорами Гитлеру служили рейхсвер и национал-социалистическая партия. См.: Поджигатели войны. Карикатуры Б. Ефимова. – М., 1938. С. 67; Крокодил. 1938. № 4. С. 1.

[70] Крокодил. 1933. № 9. С. 1, 12; № 26. С. 4; № 32. С. 11; 1934. № 8. С. 1.

[71] Там же. 1936. № 29. С. 14.

[72] Там же. 1936. № 14. С. 16; 1938. № 10. С. 16.

[73] См.: Крокодил. 1933. № 28. С. 8; 1934. № 4. С. 5; 1936. № 5. С. 13; № 9. С. 13; № 12. С. 2, 12; № 19. С. 7; № 24. С. 15; 1939. № 13. С. 11.

[74] Сам Ротов позднее будет сидеть несколько лет в Усольлаге в Соликамске. (Прим. ред.)

[75] Крокодил. 1935. № 20. С. 1.

[76] Там же. 1933. № 30. С. 1.

[77] Там же. 1934. № 15. С. 13.

[78] Там же. 1935. № 22. С. 3.

[79] Там же. 1936. № 35. С. 13.

[80] Там же. 1935. № 25. С. 1.

[81] Как выяснилось позднее, карикатуристы не ошиблись: подобные эксперименты действительно ставились в гитлеровской Германии.

[82] Крокодил. 1934. № 7. С. 3; 1935. № 12. С. 11; № 35–36. С. 2; 1936. № 1. С. 3.

[83] Там же. 1935. № 3. С. 16; № 4. С. 16.

[84] Там же. 1933. № 33. С. 9; 1935. № 2. С. 8.

[85] Там же. 1939. № 13. С. 7.

[86] Там же. 1936. № 21. С. 1; 1939. № 7. С. 6.

[87] Там же. 1936. № 27. С. 14; 1937. № 18. С. 11; Поджигатели войны. Карикатуры Б. Ефимова. – М., 1938. С. 96.

[88] Поджигатели войны… С. 97.

[89] Крокодил. 1937. № 28. С. 9.

[90] Там же. 1939. № 20. С. 16.

[91] «Роте Фане» («Красное знамя») – немецкая газета (1918–1939), основанная Карлом Либкнехтом и Розы Люксембург, орган компартии Германии. В 1933 г. была запрещена, издавалась в подполье, затем, с 1935 г., в Праге и с 1936 по 1939 гг. в Брюсселе.

[92] Крокодил. 1933. № 29. С. 8; 1938. № 28–29. С. 3; 1939. № 12. С. 3.

[93] Подробнее об этом см.: *Невежин В.А.* Метаморфозы советской пропаганды в 1939–1941 годах // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 164–171; *Он же.* Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939–1941 гг. – М., 1997.

[94] Крокодил. 1935. № 7–8. С. 5; № 9. С. 1; № 28–29. С. 21; 1936. № 5. С. 6.

[95] Там же. 1933. № 30. С. 3.

[96] Борис Ефимов в «Известиях». Карикатуры за полвека. – М., 1969. С. 80.

[97] Поджигатели войны… С. 67.

[98] Крокодил. 1934. № 5. С. 5.

[99] Фашистские интервенты в Испании. Карикатуры Бориса Ефимова. – М., 1937.

[100] Крокодил. 1937. № 23. С. 4; 1938. № 12. С. 11; Фашистские интервенты в Испании… С. 29.

[101] В июле–августе 1938 г. на озере Хасан у советско-манчжурской границы произошли столкновения между советской и японской армиями.

[102] Крокодил. 1936. № 34. С. 13, 15; 1938. № 31. С. 4. На одном из рисунков Геббельс в образе Микки-Мауса старательно дирижировал антисоветским хором. См.: Поджигатели войны… С. 99.

[103] Крокодил. 1937. № 1. С. 7.

[104] Поджигатели войны… С. 61.

[105] Крокодил. 1936. № 35. С. 5; Поджигатели войны… С. 48, 55.

[106] Крокодил. 1937. № 26. С. 1; Поджигатели войны… С. 5, 15.

[107] Крокодил. 1939. № 22. С. 14; № 25. С. 2.

[108] Карикатура воспроизведена в его мемуарах: *Ефимов Б.* Сорок лет… С. 109.

# Противоречивый поиск новых ориентиров: объединение и разделение

*Людмила Томас*

## ВАРИАНТ ЧИЧЕРИНА. Германия в биографии первого советского министра иностранных дел

Георгий Васильевич Чичерин (1872–1936), который с 1918 до 1930 г. руководил советским Народным комиссариатом по иностранным делам (Наркоминделом), принадлежал в те годы к самым известным дипломатам Европы. С учетом временной дистанции и событий последних двух десятилетий нам становится яснее и то, какую роль этот человек сыграл в становлении советско-германских отношений.

Его личная незаурядная популярность, как и значимость проводившейся им политики, объяснялись не только его высоким дипломатическим профессионализмом, но и замечательным умением использовать преимущества своей образованности, его пристрастием к различным сферам искусства и, в немалой степени, его увлекательной биографией. Чичерин – наследник известного дворянского рода, несколько поколений которого, как с отцовской, так и с материнской стороны, дали России знаменитых государственных деятелей, дипломатов, политиков, ученых. Отец его (брат известного ученого и публициста) был дипломатом. Мать принадлежала к семье фон Мейендорфов, которая вошла в историю как европейской дипломатии, так и науки.

В личном архиве внучатой племянницы Георгия Чичерина сохранилась фотография 1895 г., на которой молодой Юрий, как его тогда звали, запечатлен в кругу ближайших родственников – матери Жоржины (по другим данным, Жоржеты) Егоровны, урожденной Мейендорф, сестры Софии, прославленного дяди Бориса Николаевича Чичерина и его жены Александры Алексеевны, урожденной Капнист. Все они, кроме дяди, были смешанного, немецко-русского происхождения. Исходя уже из этого факта, можно было бы обосновать тезис об особой предрасположенности будущего советского наркома к Германии. Но оставалось бы еще доказать, что биологические задатки действительно могли влиять на его восприятие жизни.

Эта задача здесь не ставится. Я стремилась ответить на более скромный, но увлекательный вопрос: как и почему произошла у Георгия Чичерина «встреча с Германией», какую роль она сыграла в образе его мыслей и действий, в его биографии. Речь идет и о том, какое продолжение нашли семейные традиции в его жизни, воздействовали ли они на его дела и мысли.

*Семья Чичериных в имении Покровское Тамбовской губернии. Слева направо: Георгий Васильевич, его дядя Борис Николаевич, сестра София Васильевна, Александра Алексеевна (жена Бориса Николаевича), мать Жоржина Егоровна. Снимок 1895 г.*

Важнейшим источником для данного исследования послужила весьма обширная личная и деловая переписка Чичерина, относящаяся прежде всего к периоду до и после его эмиграции[1], начавшейся в 1904 г. Этот относительно доступный для исследования корпус документов включает в себя письма из Германии, которую он (начиная с детских лет) регулярно посещал из-за необходимости лечения полиневрита и диабета. Здесь он прожил первые три года из 15 лет эмиграции. Его более поздние поездки на немецкие курорты во время работы на посту наркома совпадали, как правило, с важными деловыми встречами и переговорами. В течение последних четырех лет, продолжая находиться на этом посту, он более половины времени фактически руководил работой комиссариата из Германии, где написал также свой исследовательский этюд о Моцарте. Случай более чем поразительный в практике Советского Союза – страны с всеохватным контролем партийного аппарата и органов безопасности.

## Имена. Места. Адреса

Среди адресатов многочисленных писем Чичерина важное место занимают его ближайшие родственники, среди них дядя Борис Николаевич и его жена, а также родной брат Георгия – Николай и его супруга. По-иному важна переписка Чичерина с известным либеральным мыслителем и политиком Петром Струве[2], позволяющая проследить настроения находившихся в Берлине русских эмигрантов накануне 1905 г. – в период, когда Чичерин принял решение посвятить свою жизнь револю-

ции. Письма к товарищам по партии способствуют пониманию эволюции его воззрений в канун революционных событий. Важнейшим источником является переписка с русским поэтом Михаилом Кузминым[3], дружба с которым началась в гимназические годы и продолжалась в течение почти всей жизни Чичерина.

В письмах, относящихся к 80-м гг. XIX века, есть описания впечатлений о памятниках германской культуры, немало замечаний о литературе и музыке. Значительно позже появляются размышления, касающиеся философских, исторических и политических проблем. Обращение к известным в истории немецкой культуры и науки именам можно найти в бумагах Чичерина на всех этапах его жизненного пути. Прежде всего это касается Моцарта. В последнем письме к брату Николаю (июнь 1930 г.) Георгий вспомнил признание Бисмарка: «Я любил в жизни две вещи, политику и вино, но политику у меня отняли, а вино врачи запрещают пить!». Свое положение Чичерин оценивал более оптимистично: «У меня были революция и Моцарт, революция – настоящее, а Моцарт – предвкушение будущего, но их отнять нельзя»[4].

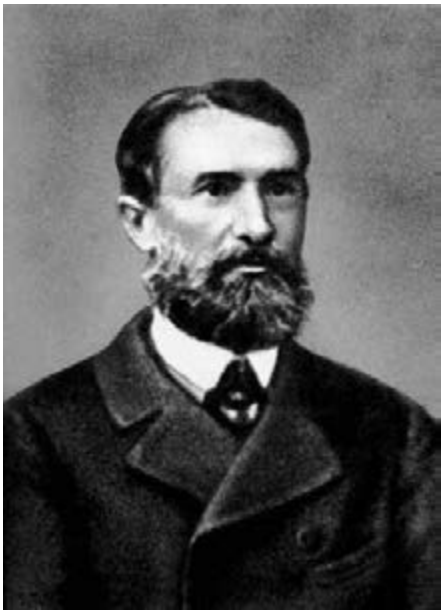
Наряду с Моцартом к деятелям немецкой культуры, побуждавшим его к восхищению и спорам, принадлежали Иоганн Вольфганг Гёте, Артур Шопенгауэр, Фридрих Ницше, а также Якоб Буркхардт и Леопольд фон Ранке. Из мест, которые Чичерин посещал в Германии, на первом месте среди обратных адресов его писем, конечно же, значились Берлин и его пригороды Целендорф и Ванзее. Курорты Бад-Вильдбад и Висбаден были связаны с лечением, а города Кёльн, Мюнхен, Нюрнберг, Альпийские горы – с его путешествиями, впечатлениями о природе, о прекрасных памятниках готического и барочного искусства, особенно архитектуры.

## Семейные традиции

Постепенно Юрий (или Юша, как его звали близкие) понял, насколько тесно история его семейства связана с историей российской и германской дипломатии. По всей вероятности, о знаменитых немецких предках из родов Штакельбергов и Мейендорфов[5], сделавших блестящую карьеру на русской внешнеполитической службе, дома вспоминали чаще, чем об удачно начавшемся и трагически окончившемся дипломатическом послужном списке его отца Василия Николаевича. Став в 20 лет секретарем российской миссии в Пьемонте, а позднее заняв пост посланника в Париже, он по личным мотивам ушел в отставку как раз тогда, когда получил назначение в русское посольство в Вашингтоне.

Блестящие годы пребывания родителей в Париже остались за пределами биографии Юрия – он родился спустя три года после возвращения семьи в Тамбов, где жил его дядя Борис Николаевич. Русская родня отца также имела, как уже было сказано, немецкую примесь, но все же в отцовской традиции доминировал русский дворянский уклад. После смерти отца в 1882 г. мать с тремя детьми жила скромно: зимой в Тамбове, летом в имении Покровское. В 1884 г. Юрий начал обучение в Тамбовской губернской гимназии. Два года спустя семья переехала в Петербург, где он был принят в четвертый класс 8-й гимназии. Пребывание в селе Караул, имении Бориса Николаевича, благотворно влияло на юношу. Большая библиотека, содержавшая множество ценных книг, картинная галерея, в которой только шедевры прославлен-

ных итальянских мастеров заполняли три зала, частые визиты известных художников и ученых, беседы, сначала с высокообразованной теткой Александрой Алексеевной, а затем и с Борисом Николаевичем – такой была атмосфера Караула.



*Василий Николаевич Чичерин*

*Жоржина Егоровна Чичерина*

Поездки в Германию, необходимые в связи с болезнями Юрия, создавали благоприятную почву для восприятия им немецкой культуры в самом широком смысле слова – культуры языка, повседневной жизни, искусства. Заграничное путешествие по окончании университета подарило ему величественный образ Кёльнского собора, который он характеризовал как «треугольник, пронзающий небо», или даже «Гегель в архитектуре».

В сохранившихся фрагментах переписки содержится немало свидетельств влияния на юношу противоречивых семейных традиций. Борис Николаевич Чичерин (1828–1904), один из самых зажиточных русских помещиков того времени, рассматривал свое имение как поле для эксперимента, в ходе которого он пытался воздействовать на социальную и правовую ситуацию в России. Его воззрения опирались не в последнюю очередь на теории философии права немецких ученых Фридриха Карла фон Савиньи и Рудольфа фон Йеринга, на их оценки роли частной собственности как важнейшей опоры общества и государства. Влияние их концепций на российскую общественную мысль XIX века до сих пор не вполне оценено.

Для своих крестьян, освобождение которых от крепостного права Борис Николаевич осуществил еще до Манифеста 1861 г., он построил школу, больницу и библиотеки. Вместе с тем, он пытался привить им уважение к праву и закону, прежде всего, к своей и чужой частной собственности. В конце 90-х гг. для него решающим стал вопрос о том, кто унаследует его Караул. Этот вопрос не ограничивался для него формальным составлением завещания, а был попыткой обобщить, сделать дос-

тупным для других свой опыт социального реформирования[6]. В 1904 г., за два года до смерти, он изложил свои цели в письме племяннику: «Все, что я для себя желаю,– писал он, – это передать полученное мною наследство человеку, который мог бы сохранить благородное семейное предание. Если бы я в тебе его нашел, я мог бы умереть спокойно»[7].

Борис Николаевич еще за несколько лет до этого письма четко определил, как он понимал верность традиции, которую связывал с представлениями о будущем страны. В своих «Воспоминаниях», которые он завещал опубликовать лишь через 30 лет после своей смерти, он ставил благополучие России в зависимость от создания в ней локальных центров или уголков, где передаются от одного поколения к другому культурные и общественные традиции. «Общество, в котором потеряно значение таких центров, утрачивает необходимое равновесие и становится жертвой колебаний и беспорядков. Я не говорю здесь о сумасшедших людях, которые отрицают собственность на землю. Они обнажают только свое непонимание основных условий человеческого общежития»[8]. Любопытно, что к таким сумасшедшим он относил своего бывшего друга Льва Толстого.

Для молодого Чичерина размышления о традициях его семьи поначалу тоже были связаны с проблемой отношения к собственности и перспективой ее сохранения. Его представления о жизненных идеалах формулировались как «служение народу», а готовность к такому служению открывала дорогу к жизни, свободной от материальных забот. Но дядя именно потому являлся ключевой фигурой такой жизненной модели, что обладал признанной способностью формировать свое окружение. Под влиянием Чичерина-старшего оказался вскоре и друг Юрия – Михаил Кузмин, вместе с которым он провел в Карауле лето 1892 г.

После смерти дяди в 1904 г. и отъезда племянника в Германию проблема отношения к семейным традициям и, в частности, наследования, приняла совершенно конкретный и категорический оборот. Крестьянские беспорядки во время революции 1905 г. были не только особенно масштабными, а и приобрели недвусмысленный характер спонтанных разбойничьих нападений, погромов и поджогов, производимых возбужденной, пьяной толпой. Вдова Бориса Николаевича вынуждена была бежать из Караула. Объятая ужасом, она описывала эти события, адресуясь своему племяннику в Берлин.

Реакция Георгия повергла ее в шоковое состояние. В двух подробных письмах, отправленных в ноябре 1905 г. из неврологического санатория в Целендорфе, он решился «раскрыть свои карты» [«offen Farbe bekennen»]. Происшедшие события представлялись ему теперь как «новый Иерусалим человечества». Он готов был бороться за провозглашенные в связи с этим новые идеалы, а опустошения в соседнем поместье Сергиевке, считал в мировом масштабе просто смешными.

Второе письмо Юрия носило уже более продуманный и аргументированный характер: «Я должен указать, что процессы развития, все завоевания истории совершаются через слезы и кровь: Июньские факты 48-го года! Мученики Коммуны […]. И теперь – рабочие, расстреливаемые черносотенцами и до последнего дыхания хрипевшие: “Долой самодержавие!”. Что касается аграрных волнений, это совсем не неожиданность. Единственным исходом было бы, если бы как можно скорее и как можно полнее достигла господства сознательная организованная революционная партия».

Племянник подключил к своей аргументации все, что ему было известно о взглядах тетушки: «Ты предпочитаешь эволюцию, хочешь, чтобы старое сохранялось и лишь постепенно переделывалось. Есть в процессе развития эпохи вулканических взрывов Titanenkämpfe [сражения титанов]. Целый новый мир титанически созревает в вулканизме революционности». За этим излиянием следовала конкретная рекомендация тетушке: «Если Караул будет разрушен, – надо смириться. И Парфенон был превращен в развалину. Если Караул сохранится, он должен быть, как дражайший памятник прекрасной эпохи, тщательно охраняем, как дом Альбрехта Дюрера в Нюрнберге»[9].

Георгий Чичерин, видимо, созрел для того, чтобы решительно порвать с семейными традициями. Жертва, которую он приносил на алтарь новых богов, состояла в его отказе и от имения Караул, и от благополучия любимой тетушки. Свое отречение от старого мира он сопроводил цитатой из первой части «Фауста» Гете:

Du gleichst dem Geist, den Du begreifst.
Nicht mir!
(В переводе Б. Л. Пастернака:
О нет, с тобою схож
лишь дух, который сам ты познаешь, –
Не я!)

Как позднее признавал Чичерин[10], его выбор в пользу революции был сделан им под влиянием встречи с Карлом Либкнехтом и другими лидерами левого крыла германской социал-демократии. Несколько ранее он сообщил тетушке, что оригинал завещания дяди Бориса хранится в сейфе Торгово-промышленного банка и что «вполне возможно, когда оно вступит в силу, собственность дворян на имения уже перестанет существовать»[11].

## Михаил Кузмин

В далекую от политики дружескую переписку Чичерина и Кузмина звук тревожных колоколов врывался дважды. Еще во время каникул летом 1890 г. Михаил с озабоченностью реагировал на заявление Юрия о том, что он посвятит жизнь служению народу, а три года спустя с беспокойством вернулся к этой теме: «Я не знаю, быть может, у меня в душе не достает чего-нибудь, но я не понимаю любви к народу… И мне завидно, пожалуй, страшно чуждо, когда ты или Елена нам говорите о любви и служении народу. Я ничего не имею ни против мужиков, даже пьяных, ни против баб, даже грязных, ни против чумазых ребят, может быть, даже скорее тебя я буду говорить и смеяться с ними. Ты бы отвернулся и подождал, когда они вымоются и протрезвятся, и стал бы их находить поэтичными»

Но для Чичерина отношение к народу было проблемой, которую он не мог сам разрешить. Обращению к ней предшествовал личный кризис, из которого оба друга пытались найти выход в совместном пристрастии к музыке и другим искусствам. Кузмин раньше, чем кто-либо другой из окружения Чичерина, осознал, что за этим

стоит позиция человека, отчаявшегося и готового к жертвенности. Позднее Чичерин и сам признавал, что его контакты с народом были проявлением «жажды какого-то экзальтированного самоуничтожения».

По настоянию друга Кузмин в 1891 г. начал учиться в консерватории. Уже тогда он сомневался в том, что их совместная любовь к Моцарту будет достаточным основанием для выбора профессии. Биографы Кузмина, среди которых нужно прежде всего назвать Н.А. Богомолова и Дж. Мальмстада[12], подчеркивают, опираясь на позднейшие высказывания поэта: именно Чичерин повлиял на изучение Кузминым итальянского языка, чтение трудов греческих и немецких философов. Как критика, так и похвала Георгием первых музыкальных и литературных опытов Кузмина неделями определяла атмосферу их обмена духовными ценностями. Речь при этом шла не только о знаниях, но и о смысле жизни, о выборе профессии, об интеллектуальном и эмоциональном единении на различных жизненных путях.

Второй протест Кузмина против выбора Чичериным своей судьбы последовал несколько лет спустя. Кузмин отказывался признавать новых друзей Чичерина из круга революционеров и быть участником встреч с ними. Общение с Кузминым позволило Чичерину понять самого себя, а именно то, что у него недостает таланта творить нечто новое на поприще искусства, именно на поприще горячо любимой им музыки. Оставался путь чиновника высокого ранга – дипломата или ученого, занимающегося историей дипломатии.

## Архивная работа в Министерстве иностранных дел

Служба Чичерина в архиве российского Министерства иностранных дел продолжалась от окончания университетского курса в 1895 г. до отъезда в эмиграцию летом 1904 г. В ходе работы над изданием, посвященным 100-летнему юбилею МИДа, он получил возможность проследить – уже на ином уровне – историю собственной семьи. Ему было поручена подготовка материалов по периоду царствования Александра II, времени, которое в начале XX века было изучено совсем недостаточно. Чичерин исследовал документы, которые до того использовались только для справок, требовавшихся политикам той поры. Он обращался подчас с запросами к оставшимся в живых свидетелям и участникам событий. Некоторые являлись его родственниками: Мейендорфы, Штакельберги, Нарышкины.

Наверное, во время работы в архиве, он впервые узнал о том, какую государственную функцию предназначал царь его дяде – Борису Николаевичу[13], а также и о том, сколь полновесной была в ходе александровских реформ роль министра иностранных дел князя А.М. Горчакова (1798–1883). Он начал исследование его биографии, в которой немалое место занимали взаимоотношения между российским и германским канцлерами. Но обширная рукопись Чичерина не увидела свет и поныне хранится в фондах Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге[14].

В этом очерке российской внешней политики представленные Горчаковым имперские интересы оценивались выше, чем его участие в коалициях различного толка –

прославянских или прогерманских. Подводя итоги политики Горчакова в 60–70-е гг. XIX века, Чичерин с восхищением писал: «Князь Горчаков считал нужным оказать Пруссии поддержку в войне против Франции. Но он все время знал, что Пруссия не останется навеки благодарным должником России. Он ставил задачей своей политики улучшение судьбы восточных христиан; но он предвидел в будущем с их стороны шатания. Многие увлекались славянской идеей. Князь Горчаков не давал себя втянуть в прямое участие… политическими действиями. Стали увлекаться течением национализма, князь Горчаков боролся с теми его проявлениями, которые считал преувеличенными. Бывали мгновения, когда в правительственной среде толкали к слишком разным действиям, способным вовлечь Россию в войну. Князь Горчаков останавливал эти порывы. Политика возможного, не идеального, трезвость – свойства его ума»[15].

Оставаться на платформе умеренного прогресса – таков был вывод о внутренней политике Горчакова, с которым Чичерин готов был тогда согласиться. А внешнеполитическая линия, о которой писал тогда Чичерин, содержала немало элементов его собственной позднейшей концепции российской внешней политики в европейском контексте. Чичерин учился у Горчакова распознавать предпосылки внешнеполитических решений и облекать их в форму соглашений и договоров. Именно в таком умении он видел особую заслугу Горчакова.

Обращает на себя внимание еще одна существенная особенность рукописи. Изложение начинается с раздела «Горчаков и Пушкин». С формальной точки зрения, это объяснялось их совместным обучением в Царскосельском лицее и последующими контактами. Но за изложением фактов скрыт концептуальный замысел Чичерина: отыскать духовную основу политики Горчакова в русском искусстве и русской литературе. С точки зрения Чичерина, творчество Пушкина было примером принадлежности России к мировой культуре, а также той особой простоты гения, которую он откроет впоследствии у Моцарта. Поэтому важнейшей чертой характеристики Горчакова как государственного деятеля было то, что он «с ранней молодости оказался в центре русского литературного движения», что он «остался литератором в душе»[16].

Рукопись о дипломатии Горчакова служила Чичерину, как это было и с его дядей, инструментом для оценки современной им российской политики, к которой оба относились критически, в особенности, к курсу правительства в отношении Финляндии и Польши. Чичерин приходит также к выводу о необходимости демократизации внешней политики, имея в виду упрощение или устранение средневековых структур, ритуалов, устаревших предписаний. Но он ни тогда, ни позже не подвергал сомнению профессионализм, являвшийся традицией российской дипломатии. Его критика направлялась против дилетантов, оказавшихся во главе монархического государственного аппарата, против прерогатив царя, против вмешательства великих князей и придворного общества в процесс принятия внешнеполитических решений. В очерке о Горчакове четко выражен интерес к параллельному развитию германской и российской политик. Но этот интерес вполне обоснован. Он не выходит за пределы анализа реальных точек соприкосновения, за пределы естественного уважения к личности Отто фон Бисмарка. Незадолго до подготовки рукописи были опубликованы мемуары «железного канцлера», которые вызвали бурный восторг барона Петра фон Мейендорфа – старшего родственника Чичерина по материнской линии.

## Эмиграция

Перед отъездом Чичерин еще успел увидеть Россию как «кипящий котел» социальных противоречий. Тем более контрастной оказалась для него идиллическая обстановка берлинского района Целендорф. О германском периоде эмиграции Чичерина известно немного. Реконструировать обстоятельства первого года его жизни в Германии можно на основании его писем, адресованных Петру Струве. Но в них отсутствуют сведения о важных контактах, которые решающим образом повлияли на эволюцию мировоззрения Чичерина. Необходимо в связи с этим упомянуть о встречах с Карлом Либкнехтом, о которых почти ничего неизвестно; о докладе Анатолия Луначарского, который, по позднейшему признанию Чичерина, открыл ему «марксистский взгляд на идеологии Востока» и, тем самым, способствовал формированию широкого подхода к мировой культуре[17].

Переписка с Петром Струве касалась других проблем, и нам не совсем ясны причины того, почему Чичерин поддерживал связи с ним в течение нескольких лет. Он использовал свои информационные каналы в России для того, чтобы ознакомить Струве с событиями начавшейся революции, но быстро заметил, что Струве проявляет интерес не столько к нему, сколько к его покойному дядюшке. Чичерин не проявил большого энтузиазма в связи с идеей Струве о помещении в журнале «Освобождение» очерка о Борисе Николаевиче. Зато был готов передать для печати его неопубликованный манускрипт 1855 г. о внешней политике России, хранившийся в имении Караул. Переписка со Струве отражает отношение Чичерина к прошлому и к своей семье в тот момент, когда назревал его отказ от семейной традиции[18].

Разрыв с теткой и отказ от перспективы владения Караулом со всеми его богатствами произошел, казалось, почти безболезненно. Но оставалась еще одна нить, которая связывала Чичерина с прошлым и которую он вовсе не хотел разрывать: Кузмин. Для историка, занимающегося биографией политика, находкой является источник, позволяющий проникнуть за пределы обычных для переписки формулировок. За год до отъезда в эмиграцию Чичерин писал, обращаясь к другу: «Ты единственный человек, кому я могу открыться, развязать оболочку. Со всеми другими людьми я говорю о разных интересующих меня вопросах политических, экономических, житейских… – только тебе одному я могу открыть святыню. Ты единственный человек в жизни, от которого меня не отделяет отчуждающая стена непонимания в основном. Als ob Dein Dasein all dem Anderen raison d'être gibt. [Как если бы твое существование придавало смысл всему остальному]»[19].

Кроме столь торжественных заверений, Чичерин здраво и трезво позаботился о том, чтобы их дружба не была предана забвению. Он вручил свояченице значительную денежную сумму с тем, чтобы та пересылала Кузмину сто рублей ежемесячно. Биографы Кузмина с удивлением отмечают, что именно в это время Кузмин погружается в глубины периода «Бури и натиска». Возможно, поддержка поэта, исходившая из далекой Германии, являлась (как и анкета, о которой речь пойдет далее) последним приветом Георгия другу, а также последней памятью о семейной традиции.

Письмо, направленное Петру Струве в начале декабря 1904 г., содержит в себе указание на характер будущей деятельности Чичерина и принятых им решений: «У меня есть сведения о том, что русское правительство действительно нуждается в деньгах. Одна из главных причин, почему правительство ищет опоры в обществе, есть нужда в деньгах. Если правительство достаточно получит денег за границей, то

оно перестанет искать опоры в обществе и тогда – конец всем. Главное – надо помешать внешнему займу. Мне кажется, надо было бы, чтобы либеральная партия, как завтрашний хозяин России, объявила, что она не будет признавать займов, заключаемых отныне помимо народных представителей. Указания на разорение России мало влияют: финансисты надеются на силу могучего экономического организма русского народа. Демонстрация против займа со стороны социал-демократов не произвела бы впечатления, ибо социал-демократия еще не завтра добьется власти, и не послезавтра»[20].

Это была, вероятно, первая попытка Чичерина вмешаться в процессы германско-российских отношений. Но пройдут еще три года до того дня, когда он будет арестован прусской полицией и выслан из Германии. Прусские полицейские направили информацию о случившемся своим коллегам в Петербург, и в дело включился российский департамент полиции. Понадобилось, как рассказывали родственники, вмешательство его тетки, фрейлины Александры Николаевны Нарышкиной, чтобы избежать экстрадиции Чичерина в Россию. В январе 1908 г. он был официально выведен из штатов Министерства иностранных дел[21].

За это время Чичерин получил возможность узнать Германию не только с точки зрения туриста, интересующегося памятниками искусства. Сохранились письма, направленные его товарищам по партии, а также брату Николаю и его жене, в которых говорится о растущем интересе к политической и экономической системе Германии. У него, в отличие от Ленина, отсутствуют восторги по поводу суперорганизации немецкой почты. Для Чичерина Германия является важной частью Европы из-за вклада в ее духовную культуру. Как, впрочем, и Россия. На практический вопрос брата, где, ввиду предстоящей революции, лучше всего хранить деньги, он советует ему приобретать ценные бумаги германских банков. «Страшно и трудно может быть только переходное время борьбы до водворения höherer Gesellschaftsform [более высокого общественного строя]. Между тем, пролетариат в Германии страшно осторожен и страшно силен. Когда он двинется, будет действительно последний момент буржуазного строя. А когда в Германии будет социализм, во всем мире будет социализм. Ряд катастроф гораздо вероятнее в России. В России ты можешь оказаться нищим – и, кто знает, сколь долго это будет тянуться – до водворения социализма? В Германии (и вообще в Западной Европе) социальный переворот может совершиться с вознаграждением: экспроприированные получат ренту. А в России провоцируемые Треповым[22] хулиганы просто сожгут банк со всеми твоими бумагами»[23].

С января 1907 г. Чичерин избирается членом, а затем и секретарем Заграничного центрального бюро РСДРП. В том же году он участвует в съезде партии в Лондоне, который в значительной степени финансировался на его деньги. Пост в Загранбюро соответствовал его амбициям и действительно был важным, поскольку, регулируя все стороны жизни политических эмигрантов, он располагал информацией о конкретных делах и настроениях в партийных организациях.

## Взгляд на Германию из Западной Европы

В последующие годы местами пребывания Чичерина стали Вена, Париж, Лилль, Брюссель и, на долгое время, Лондон. Очевидно, он не считал для себя важным, принадлежал ли он к большевикам или к меньшевикам. Он расходился во мнениях с

представителями обоих направлений и не ощущал необходимости решать раз и навсегда вопрос о партийной принадлежности. Для него было достаточно причастности к международному революционному движению, которому он был нужен, и в рядах которого ощущалось его влияние. Его воззрения на перспективы мирового развития нельзя охарактеризовать как ортодоксально марксистские в ленинском смысле. Разногласия Чичерина с признанными теоретиками большевистского и меньшевистского направлений касались, с одной стороны, представлений о современном империализме и степени революционной зрелости тогдашнего мирового рабочего движения. С другой стороны, речь шла о содержании и задачах социалистической революции. В своих прогнозах он полагался не столько на революционное нетерпение масс, сколько на расчет правящих классов, которые могли – так он считал – отказаться от войны как средства разрешения конфликтов. На горизонте рисуется, был убежден Чичерин, не столько раздел и передел мира между конкурирующими империалистическими группировками, по Ленину, а, по Каутскому, – «ультраимпериализм». Последний сделает ненужными войны и откроет пути перехода к социалистическому обществу.

При этом Чичерину не мешало то, что его воззрения на предстоящее мироустройство полностью противоречили факту развязывания мировой войны. Он мыслил категориями длительного времени. Начавшаяся война являлась для него индикатором того, что слишком рано говорить о предстоящей социалистической революции. Опираясь на исследования ситуации во всех великих державах, он посвящал свои статьи и обзоры отличиям национальных капиталистических систем. О воззрениях Чичерина после первой и накануне второй русской революции дают представление материалы коллекции Николаевского в Стэнфордском университете в США[24]. Ключевую проблему он видел в неодинаковой степени зрелости социальных институтов к моменту вступления разных стран в стадию капитализма:

> В Германии в момент вторжения капитализма еще не было изжито цеховое мелкое производство; вся современная Германия носит характер ненормально быстро разбогатевшего мещанства; в германском пролетариате развитие организации идет гораздо быстрее, чем развитие идей, потому что этот организационный процесс отчасти облегчается в нем психологическими элементами пережитков средневекового цехового сплочения; отсюда в нем умственная инертность, избыток дисциплины и субординации. То же в германском капитализме вообще. Везде, во всех странах капитализм стремится к централизации, но какой контраст между американскими трестами, борющимися против всякого давления на них сверху, и германским, опекаемым сверху нео-меркантилизмом, напоминающим mutatis mutandis методы Петра Великого!.. И в конечном счете получается феодально-завоевательный аппарат, влезший как Fremdkörper [чужеродное тело] в современное развитие, вместо англо-американского типа вполне развитого, эластичного, приспособляющегося, развязывающего все самодеятельности передового буржуазного строя. Английский тип порождает возможность войн, прусский тип порождает неизбежность войн.

Поэтому Чичерин не разделял распространенную среди социал-демократов и направленную против идеи защиты отечества спорную позицию, согласно которой для рабочего класса не имеет значения, потерпят ли в войне поражение его правительство, капиталисты его страны. Победа Германии в войне, считал Чичерин, будет означать откат демократии для всей Европы. В подтверждение своей «антигерманской»

позиции он приводил высказывания немецких идеологов о «кулачном праве» и «неофеодализме». Можно только поражаться, что человек с такими воззрениями был в 1917 г. арестован в Лондоне за якобы «прогерманскую» деятельность.

Впрочем, взгляды Чичерина не оставались неизменными в столь быстро менявшемся мире. Некоторые мнения больше не выполняли функции тактического маневра, к примеру, аргументы пацифистского характера, направленные против призыва русских эмигрантов в армии союзных государств. Соглашаясь с Каутским, Чичерин полемизировал с Лениным и Троцким по двум важнейшим позициям. Во-первых, он считал тезис о надвигающейся социалистической революции преждевременным не только для России, но и для Германии, Во-вторых, он предостерегал об опасности спонтанного, хаотического бунта пролетарских и крестьянско-солдатских масс, разжигаемого «неотроцкистами» и социалистами-революционерами. Чичерин именовал утопическими надежды на саморегулирование революционных акций. В его представлении, социализм мог стать результатом максимального раскрытия массовой инициативы – без принуждения, без казарменных начал. Путь к такой зрелости массовых движений он видел – и в России, и в Германии – в демократизации, в создании международных институтов, объединяющих все демократические силы. Организационные таланты германской социал-демократии, американский дух предпринимательства, страстные устремления русских рабочих и крестьян – все эти факторы должны определять сущность предстоящего этапа модернизации общественного миропорядка. Этот этап должен наступить после заключения мира, нога в ногу с «борьбой за демократизацию внешней политики».

Мировоззрение Чичерина не позволяло ему полностью встать на сторону Плеханова, Мартова или Ленина. В теории он был искателем-одиночкой. На практике же его активное участие в судьбах многих эмигрантов из разных стран сделало его «авторитетом» в этой среде. Возможно, что годы, проведенные в Лондоне, принадлежали, несмотря на обострившуюся болезнь, к самым продуктивным в его жизни. Он мог принимать самостоятельные решения, находившиеся в полном соответствии с его убеждениями, планами и интересами. Он мог оказывать помощь многим людям, облегчая их участь. Он мог, не будучи связанным субординацией, оценивать различные политические доктрины и сравнивать их шансы на успех.

Эти предсоветские годы испытаний помогли ему найти свое, новое место в стране, в которой за время его 14-летнего отсутствия произошло нечто большее, чем просто революционное потрясение.

Принимая во внимание стратегию большевиков, было чрезвычайно важно, что вскоре после захвата ими власти во главе внешнеполитического ведомства встал специалист, представления которого о своих задачах вели начало из двух различных источников. Во-первых, это – понимание внешнеполитических механизмов традиционной имперской политики крупных европейских держав. Во-вторых, это – приобретенная способность к непредвзятому восприятию признаков постоянных перемен мировой ситуации, к истолкованию их сущности в интересах революционной внешней политики. Чичеринское видение внешней политики базировалось на началах демократизации и растущего значения международных институтов для разрешения конфликтов. Эта модель не была реализована на практике нигде в послевоенном мире, в том числе и в советском государстве. В качестве декларации о намерениях она нашла свое воплощение в 14 пунктах президента США Вудро Вильсона (январь 1918 г.).

## Народный комиссар

До сих пор неизвестно, что побудило Чичерина, вопреки его сомнениям в успехе социалистического переворота, принять предложение Ленина и возглавить внешнеполитическое ведомство уже сформированного правительства. Был ли это Декрет о мире, который открывал перспективу демократизации внешней политики и разрыва с империализмом великих держав? Была ли это надежда на то, что, находясь на стороне Ленина, опираясь на революционное государство, можно будет форсировать новую имперскую политику – во имя мировой революции? Ответа на эти вопросы пока не существует.

Возможно, причиной решения Чичерина были как масштаб вызова, так и отсутствие подлинной альтернативы. Германия играла первостепенную роль в его деятельности на посту, который он занимал с 1918 г. Но это не имеет ничего общего ни с его прежними склонностями и опытом, ни с его прогнозами относительно специфики германского рабочего движения и слабости демократических традиций в этой стране. Переговоры в Брест-Литовске были не только в разгаре, но под руководством Троцкого зашли уже в тупиковую стадию. То, что Чичерин, один из немногих, поддержал позицию Ленина, выступившего за подписание «грабительского договора», полностью вытекало из убеждения наркома, что договор лучше, чем отсутствие договора.

Появление Чичерина на посту министра иностранных дел вызвало сенсацию в дипломатических кругах. О его дореволюционной деятельности было известно мало, так же, как и о его происхождении. Свидетельство об этой реакции содержится в опубликованных много лет спустя записках барона фон Ботмера, находившегося в Москве в апреле–августе 1918 г. в составе дипломатической миссии графа фон Мирбаха[25]. Иностранные наблюдатели разделяли следующие предположения Ботмера: сын баронессы фон Мейендорф, «в принципе приличный и доброжелательный», занял пост в правительстве Ленина, потому что понадобился человек, который «владеет формами дипломатии и сможет своим именем прикрыть настоящих политических вождей – Ленина, Радека и Льва Карахана»[26].

Негативную по отношению к Чичерину позицию занял на какое-то время полпред в Германии Адольф Абрамович Иоффе (1883–1927), который, как это следует из его переписки с Лениным, считал себя единственным авторитетом в германских делах, а влияние Чичерина на Ленина считал ошибочным и опасным[27]. О дворянском происхождении народного комиссара, разумеется, не забывали ни его друзья, ни его враги. Помнил об этом и сам Чичерин и даже порой кокетничал этим, например, в январе 1926 г., когда видный представитель ГПУ приписал наркому (по поводу ситуации на Китайско-Восточной железной дороге) имперские замашки, обычные для царских генералов[28].

В трудных обстоятельствах Чичерин не упускал возможностей продемонстрировать свое выдающееся образование, пристрастие к музыке, в особенности к немецкой классике. Существует впечатляющее свидетельство Мишеля Ански, относящееся ко времени, когда Деникин вел наступление на Москву:

> Поздним вечером я зашел в кабинет Чичерина. Он сидел на полу на корточках между двумя большущими стопками газет. «Что теперь будет, Георгий Васильевич?» – спросил я. Он посмотрел на меня, подумал и сказал: «Любое другое правительство, которое совер-

шило бы одну сотую часть наших ошибок и глупостей, было бы давно свергнуто. На нас работает сила общественной необходимости. Наши ошибки только усиливают нас». Он помолчал и вдруг сказал: «В сегодняшнем обзоре прессы я встретил имя испанского министра Салланде Салазара. Я долго рылся в словарях, чтобы узнать, как его имя надо произносить по-русски: через два эль или через эль с мягким знаком. Правильнее всего, если мы будем произносить Салланде так же, как испанское слово Valladolid». Я отправился домой и представил себе на минуту, что белые войска ворвались в столицу и окружили наркомат иностранных дел. Они нашли бы Чичерина на корточках среди его бумаг. Исполнен нетерпения, он сказал бы им – как Архимед Сиракузский: «Не трогайте мои ноты!»[29].

13 ноября 1919 г. в «Известиях» был опубликован доклад Чичерина «Два года внешней политики Советской России»[30]. В докладе предельно объективно была обрисована кризисная ситуация, в которой находилась страна. Перед лицом угрозы внешнеполитической и экономической изоляции или полного военного поражения, правительство в течение первых трех месяцев существования смогло развернуть революционно-политическое наступление. Затем наступило время лавирования и компромиссов, представлявших ответ на попытки империалистических держав, в первую очередь, Германии, положить конец существованию советских республик. Германии было уделено в докладе особое внимание. Чичерин не пересмотрел сделанные еще до революции прогнозы относительно германского рабочего класса и германской буржуазии. В заключение следовал вывод, что советская внешняя политика все в большей степени становится составной частью всемирной революции против старого мира. Этот тезис Чичерина оставался утопией – и у него, и у других ведущих советских политиков,

Берлин был в то время единственным партнером Советской России. И это – в условиях, которые едва ли могли стать хуже после 6 июля 1918 г., когда был убит глава германской дипломатической миссии граф Мирбах. Поскольку советское правительство не могло гарантировать безопасность дипломатических представителей, германская сторона потребовала ввода в российскую столицу батальона прусских солдат. После обмена нотами была достигнута договоренность об увеличении состава посольства до 300 человек, причем дополнительный персонал должен был прибыть без оружия и в гражданской одежде группами до 30 человек каждая. Из дневниковых записей барона фон Ботмера становится ясно, что вопрос о наличии униформы был весьма важным: «Появление 500 человек в стальных касках должно показать в том числе и особенно склонному к торжеству крестьянину, и всем, кто придерживается нейтралитета, что у нас достаточно силы и воли защитить свой авторитет, что Германия при таких обстоятельствах не смирится с убийством своего посланника, что она больше не доверяет правительству Советов, если такое доверие вообще существовало»[31].

Германская сторона потребовала переезда дипломатической миссии из Москвы в Петроград, а затем в Псков. «Только Чичерин, – писал Ботмер, – хотел бы проводить мирную политику, но он только исполнительный инструмент и не имеет значительного влияния»[32].

В основе постепенного сближения между Германией и Советской Россией лежали не все еще существовавшие надежды на то, что Германия даст новые импульсы мировой революции, а общие для двух стран опасения изоляции в Европе, связан-

ные с подписанием Версальского договора. Ревизия Версаля фактически лежала в основе германской внешней политики последующих лет, что на какое-то время исключало союз с какой-либо из западных держав. Существовал только один возможный союзник, стремления которого сводились к тому, чтобы избежать грозящей изоляции и ее экономических последствий, – Российская Советская республика. Чичерин не только быстро разглядел шансы, которые явила новая расстановка сил, он начал устанавливать контакты с кругами и личностями в Германии, которые могли бы в желаемом смысле оказать влияние на ее политический курс.

## Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау и политика Рапалло[33]

«Граф Брокдорф-Ранцау заложил основу для отношений между двумя державами – Германией и Россией, исходя из идеи […], что у Германии и России существуют значительные совместные интересы и необходимо поддерживать эти интересы, необходимые и тем, и другим. Сама судьба определила для Германии важность безусловного сохранения равновесия между Западом и Востоком»[34]. Такую оценку деятельности Брокдорфа-Ранцау, первого министра иностранных дел Веймарской республики, дал историк Отто Хётч, который встречался с ним как в Москве, так и в Берлине. Предрасположение Ранцау к идее равновесия Восток–Запад связано со многими моментами его биографии. Глубокие знания официальных и неофициальных основ российской политики он приобрел уже во время своей дипломатической службы в Копенгагене, утратив респект по отношению к царской дипломатии. В том, что касалось ситуации в России, он был открыт для аргументов, которые использовались противниками царского режима. Вильгельм фон Похгаммер, который был помощником министра в ходе Версальской конференции, вспоминал о дискуссии в германской делегации, во время которой Ранцау неожиданно выступил за то, чтобы «согласиться со словами Троцкого, которые тот произнес в Брест-Литовске: “Я не подписываю договор. Если вы хотите быть преступниками, будьте ими, но признайте это”»[35]. Такое немаловажное свидетельство характеризует графа Брокдорфа-Ранцау как политика, способного в трудной ситуации мыслить категориями мирового масштаба.

Было ли случайностью то, что именно этот человек в 1922 г. стал послом Германии в Москве? Ранцау был еще министром, когда встречался с Чичериным в Берлине. Об этом – фрагмент из записок Похгаммера:

> Я живо вспоминаю, как мы советовались с министром, кого еще пригласить на ужин. В конце концов, в нашем списке остались папский нунций, который как раз находился в Берлине, и банкир Гольдшмидт. Таким образом, советский министр оказывался за одним столом с представителями церкви и финансов. Мы были в затруднительном положении, потому что видели в нем не только советского министра, но также отпрыска княжеской фамилии и коллегу из времен царской дипломатии. Эту встречу нельзя было обставить как «секретную», хотя мы сознательно стремились избежать публичности. Ранцау подчеркивал, что наши пути ведут нас и в Москву, и в США. Он не был настолько неосмотрительным, чтобы игнорировать факт формирования великой державы. Ему могла уже мерещиться та поездка в Москву, которую мы совершили вместе с ним после заключения Рапалльского договора[36].

*Чичерин в поезде между Генуей и Рапалло. 1922 г.*

*Чичерин и Аго фон Мальцан, руководитель восточного департамента германского МИДа. Берлин, 1922 г.*

Запись Похгаммера, сделанная много позднее, не свободна от следов актуализации. Автор не указывает точной даты встречи. Но, несомненно, речь шла о зондаже, который происходил задолго до Рапалло, возможно, даже накануне или сразу после Версальской мирной конференции[37]. Генуэзская конференция 1922 г. и подписанный в ее кулуарах Рапалльский договор стали возможны не только благодаря впечатляющим инициативам Чичерина. Параллельно Лев Троцкий вел секретные переговоры с германской стороной о военно-техническом сотрудничестве, а Леонид Красин[38] успешно развивал экономические контакты. Тем не менее неслучайно то, что по западной версии дипломатическая подготовка такого «рывка» связана прежде всего с именем Чичерина. После сравнительно краткого пребывания на Западе, в течение которого он не только вел переговоры, но находился в больнице и перенес две операции, Чичерин вернулся на родину с жаждой деятельности.

Брокдорф-Ранцау прибыл в Москву в качестве германского посла в начале ноября 1922 г. При вручении верительных грамот он заверил председателя ВЦИКа Михаила Калинина, что сделает все, чтобы доказать, что «Рапалльский договор открыл новую эру для немецкого и русского народов». И далее: «Нерушимо веря в будущее немецкого и русского народов, без которых мир не может придти в нормальное состояние, мы переходим к мирной работе, и никто не должен нам в этом препятствовать»[39].

Оценивая жизнь и быт графа Ранцау в Москве, Хётч поражался тому, как он выдержал там так долго. Театр, балет, русская духовная жизнь, летний отдых на дачах –

все, из чего состоит повседневная жизнь, оставляло его безучастным. «Не поддерживая интенсивного общения, не признавая развлечений, не меняя характера занятий, он постоянно испытывал давление той особой атмосферы, которая царит в Москве. Его нервы были в высшей степени напряжены, он постоянно работал – преимущественно по ночам»[40].

Эта особенность тоже сближала Ранцау с Чичериным, как и другие общие для обоих привычки и вкусы. Личный контакт между ними установился как бы сам собой. Прежде всего, они были убеждены в принципиальной важности того, что было названо «духом Рапалло». 15 мая 1923 г. Чичерин направил Ранцау послание, посвященное первой годовщине договора. Год спустя Ранцау получил новое письмо, вызвавшее у него восторженную реакцию. Договор, говорилось в ответе посла, является выражением «живительной общности интересов двух народов, которым суждено поддерживать друг друга». Договор, как был убежден Брокдорф-Ранцау, будет «действовать вопреки всем нападкам и еще принесет богатые плоды, если его реализация будет соответствовать тому духу, который привел к его заключению. Гарантию этого я вижу […] прежде всего, именно в Вас»[41].

Регулярный обмен письмами, приуроченными к годовщинам Рапалло, стал привычным для обоих политиков и явно выходил за рамки официального общения. Кульминацией их деловых отношений, как и личной дружбы, стал ноябрь 1927 г. Это были не мероприятия, связанные с торжественным празднованием 10-й годовщины Октябрьской революции, а то, что 4 ноября в здании Наркоминдела состоялся прием по поводу достаточно скромного юбилея – пятилетия пребывания Брокдорф-Ранцау в Москве в качестве германского посла.

Итоги его деятельности, которые в речи на приеме подвел посол, не были пессимистичными или разочаровывающими. Он вспомнил о своем обещании, обращенном к Калинину при вручении верительных грамот, и подчеркнул, что обе стороны были едины в стремлении избежать вмешательства в их отношения какой-либо третьей стороны. Обращаясь к Чичерину, он сказал: «Уверенность в нашем деловом взаимопонимании и личной дружбе объединяет так, как это выразили Вы в столь сердечной форме»[42].

«Третья сторона», «другие», которые постоянно упоминались в выступлениях и личных письмах обоих политиков, редко назывались по именам. В большинстве случаев это происходило, когда речь шла о журналистах из Франции, Англии или Германии, распространявших слухи, за которыми предполагались тяжкие обвинения. Летом 1926 г. в «Echo de Paris» появилась статья, утверждавшая, что бросающаяся в глаза необщительность посла – признак мании преследования. Ранцау, писал репортер, страшится повторения судьбы своего предшественника Мирбаха, который был убит в Москве. Следует ждать скорой отставки Брокдорфа. В Берлине было опубликовано официальное опровержение[43].

Посол хорошо понимал смысл газетной травли. Весной 1928 г., накануне окончательного отъезда из СССР, он заявил: «Нападки, постоянно повторяющиеся и становящиеся все резче, направлены не против меня лично, а против политики, которую я представляю. У этой кампании опасные методы и средства»[44]. Причиной отзыва Ранцау послужила его болезнь, вступившая в последнюю стадию. Накануне произошел интенсивный обмен письмами с родными. Его брат-близнец постоянно направлял ему посылки с коллекционными винами из погребов семейного поместья. Чичерин вспомнил об этом в письме из берлинского санатория графу Эрнсту фон

Ранцау, когда получил от него известие о смерти брата. Дружба с покойным, написал Чичерин, «принадлежит к лучшим событиям моей жизни. Мы беседовали, вкушая штайнбурское вино из замка Аннетенхёэ, которое было общим символом изысканного искусства жизни. В пятую годовщину пребывания Вашего дорогого брата в Москве я, подводя итоги многих лет совместной с ним радостной работы, был исполнен радужных надежд. И ничто не говорило о таком внезапном исходе…»[45].

Цитируемое письмо датировано 6 ноября 1928 г. – кануном очередной годовщины Октябрьской революции. На следующий день в советском полпредстве в Берлине состоялся торжественный прием. Эрнст фон Ранцау надеялся встретить Чичерина, но тому не разрешили отлучиться из клиники. «Мое состояние постепенно улучшается», – писал он, обращаясь к графу, два месяца спустя. И в этом письме речь снова шла о совместных трудах с покойным, деятельности которого, по мысли Чичерина, суждено было стать символом[46].

## Отставка и прощания

Лишь год спустя, в январе 1930 г., Чичерин вернулся в Москву и вскоре подал прошение об отставке. Уже не первый раз он указывал на болезнь как на причину, побуждающую его покинуть пост народного комиссара, но поводами этих шагов были интриги и конфликты, прежде всего, с заместителем наркома Максимом Литвиновым[47]. Отыскать какие-либо данные о служебной деятельности Чичерина после его возвращения нам не удалось.

«Я точно игрушка, сломанная неосторожным ребенком», – так характеризовал нарком свое состояние в июле 1930 г. в письме, адресованном В.В. Куйбышеву, надеясь, что тот станет его преемником. Это письмо, в котором он открыто и подробно повествовал о том, что мешало ему в работе, не было отправлено. Как сообщила редакция журнала «Источник», опубликовавшая его лишь 65 лет спустя, Чичерин принял такое решение после того, как узнал, что наркомом станет не Куйбышев, а Литвинов[48]. Отправка письма потеряла смысл[49]. Подробное перечисление всех чинимых ему препятствий свидетельствовало о том, что нарком хорошо понимал, из какого источника исходят опасности, но поделать ничего не мог. Своим «главным врагом» он считал аппарат Коминтерна, его руководство в Москве и представительства в отдельных странах. Содержание письма опровергает широко распространенное в литературе мнение, будто с конца 1926 г. Чичерин страдал физическим и психическим истощением и не был полностью дееспособным[50].

Для историка, имеющего дело с источниками, документ, принадлежащий такому человеку, как Чичерин, дает неоценимую информацию о его внутреннем мире. В журнале, опубликовавшем указанное письмо, воспроизведена фотокопия первой страницы рукописи. Тот, кто знает прежний почерк Чичерина, понимает, что летом 1930 г. он, вопреки утверждениям, вовсе не находился при смерти. И все-таки он не противился слухам подобного рода. Начиная с 1927 г., постепенно ощущая свое бессилие, он начал сознавать безвыходность своего положения. Но он находил в себе силы, чтобы попытаться вырваться из системы диктатуры партийных бюрократов и карьеристов. Пример тому – упомянутый юбилей Брокдорфа-Ранцау. В последних записях Чичерина имеются и другие подобные примеры, которые показывают, чего

ему стоило собранно и эффективно действовать в таком окружении. Работа по ночам (что, впрочем, не было только его странностью), а в наиболее трудных ситуациях – поиск равновесия в музыке. Так, во время приема китайской делегации, устав от бесконечных приветственных речей, он сел за рояль и в течение почти часа играл Бетховена и Моцарта.

*Чичерин в 1936 г., незадолго до смерти*

Характерна история с загадочной анкетой, которую он будто бы получил из одного французского журнала, интересующегося его биографией. Впрочем, из писем Чичерина к брату Николаю можно заключить, что он сам придумал эту анкету, восстанавливая в памяти те беседы, которые вел в юности с Михаилом Кузминым. Брату было поручено доставить Кузмину заполненную анкету. Смысл послания состоял в том, что собственно ничего за прошедшие годы не изменилось, Юрий Чичерин остался таким же, как прежде. Видимо, для него было чрезвычайно важно «привести в порядок» отношения со старым другом, которые он всегда так высоко ценил. Из дневника Кузмина явствует, что еще весной 1926 г. Чичерин обратился к нему с письмом, а полгода спустя, 26 ноября посетил его в Ленинграде. В дневнике есть такая запись о встрече:

> Вдруг письмо с курьером. От Юши. Взволновало меня очень. Там есть трогательные места, и эстетический индифферентизм, конечно. Чичерин говорил по-французски и начал со слов «Mieux veut tard que jamais» – Лучше поздно, чем никогда. Беседа шла об искусстве, о дружбе, об общих воспоминаниях. Чичерин иронически высказывался о своем положении и утверждал, что в Германии Кузмина знают и ценят. Все удивлены, что я ничего у него не попросил, но я думаю, что так лучше»[51].

В ноябре 1929 г. Чичерин писал своему брату из Висбадена, что в тамошней библиотеке обнаружил томик «Александринских писем» Кузмина и что его впечатление оказалось еще сильнее, чем три десятилетия назад. В этом письме содержится также подробный конспект книги о Моцарте, а также замечание, что в висбаденской библиотеке имеется много новых книг о великом композиторе.

В одном из писем брату от 28 июля 1930 г. речь вновь зашла об упомянутой анкете и о том, что ее лучше всего передать Кузмину. А далее следовала трагическая просьба: просто «забыть о его существовании»[52].

Так начались последние шесть лет жизни Чичерина, проведенные дома в Москве, в одном из арбатских переулков, в едва ли не полной изоляции от всех и вся. Мы достоверно знаем об этом времени лишь то, что рукопись о Моцарте была его заключительным творением.

*Перевод с немецкого Александра Борозняка*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Переписка Чичерина рассматривается мной в статье: *Thomas L.* Georgij Čičerins Weg in die sowjetische Diplomatie // Zwischen Tradition und Revolution. Determinanten und Strukturen sowjetischer Außenpolitik 1917–1941. – Stuttgart, 2000. S. 31–72

[2] Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – русский философ, один из теоретиков-основателей русского либерализма. В решающей степени способствовал его организационному оформлению, сначала в рамках Союза «Освобождение» (1903), затем в рамках Конституционно-демократической партии (кадеты). В 20-е гг. считался духовным лидером русской эмиграции.

[3] Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) – поэт и писатель. Большинство его произведений издано на немецком языке, прежде всего, написанные в классическом стиле «Александрийские песни» (переводы Йоганнеса фон Гюнтера – 1920 г. и Александра Элиасберга – 1921 г.). В СССР почти не публиковался, постепенно получил признание с конца 60-х гг.

[4] *Чичерин Г.* Моцарт. Исследовательский этюд. – Л., 1979. С. 25. (Немецкое издание: *Tschitscherin G.* Mozart. Eine Studie. – Reinbek, 1990.); Сокровища душевной красоты. – М., 1988. С. 460.

[5] Самым знаменитым из предков Чичерина был Петер фон Мейендорф, оставивший заметный след в дипломатической истории периода революции 1848 г. См.: *Meyendorff P.* von. Ein russischer Diplomat an den Höfen von Berlin und Wien. Politischer und privater Briefwechsel 1826–1863. Berlin, Leipzig, 1923. Дед Юрия Егор Казимирович (Георг Вальтер Конрад) Мейендорф был известным естествоиспытателем. Высокая оценка его трудов содержится в первом томе книги Александра Гумбольдта «Центральная Азия» (Берлин, 1844). Бабушка Юрия, урожденная Штакельберг, также принадлежала к семье, которая дала немало государственных деятелей и дипломатов. Генеалогия Чичерина постоянно являлась, в том числе и в советское время, предметом публикаций, достоверность которых весьма различна. Подробнее см.: *Thomas L.* Op. cit.

[6] Важнейший труд Б.Н. Чичерина «Собственность и государство» был опубликован в Москве в 1882 г. и неоднократно переиздавался. Переизданы также «Философия права» и другие его произведения. См.: *Чичерин Б.Н.* Философия права. – СПб., 1998.

[7] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1154. Оп. 1. Д. 101.

[8] Там же. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 941.

[9] Там же. Д. 589.

[10] Чичерин Георгий Васильевич – авторизованная биография // Энциклопедический словарь Гранат. Т. 41–III. Деятели СССР и революционного движения России. – М., 1926. Кол. 215–229.

[11] ГАРФ. Ф. 1154. Оп. 1. Д. 589.

[12] *Богомолов Н. А, Мальмстад Дж.* Михаил Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. – М, 1995.

[13] Предполагалось, что Б.Н. Чичерин займет пост министра иностранных дел. Но в 1856 г. Александр II решил назначить на этот пост князя А.М. Горчакова.

[14] Российский Государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1101. Оп. 1. Д. 963, 964, 965.

[15] Там же. Д. 963.

[16] Там же. Д. 963.

[17] *Смирнов И.* «Мы все выросли на идейном искусстве, общественном, гражданском». (О письме Г. В. Чичерина А.В. Луначарскому) // Вопросы литературы. 1984. № 9. С. 137–156.

[18] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 24. Оп. 1. Д. 24.

[19] Впервые опубликовано: *Tchivichkian S.* Extraits de la correspondance Michail Kuzmin – Georgij Chicherin // Cahiers du monde russe et sovietique. Sommaire du volume XV. – Paris. 152–181.

[20] РГАСПИ. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 963.

[21] ГАРФ. Акты департамента полиции. Особый отдел. № 513. Об обстоятельствах ареста и высылки см.: *Зарницкий С.*, *Сергеев А.* Чичерин. – М., 1966. С. 30–31.

[22] Имя Трепова выступает здесь как символ подавления революционных выступлений. Генерал Ф.Ф. Трепов (1812–1889) участвовал в разгроме восстаний в Польше в 1830–1831 и в 1863 гг. В 1878 г. был застрелен революционеркой В. И. Засулич. Двое из четырех его сыновей разделяли крайне правые воззрения отца. Д.Ф. Трепов участвовал в подавлении революции 1905 г. в Москве и Петербурге.

[23] Рукописный отдел Российской Национальной Библиотеки (РО РНБ). Ф. 1030. Оп. 1. Д. 1.

[24] Hoover Institution Archives. Russian Collection. Box 243.

[25] *Ботмер К. фон.* С графом Мирбахом в Москве. Дневниковые записи и документы за период с 19 апреля по 24 августа 1918 г. – М., 1996. С. 20.

[26] Карахан Лев Михайлович был в 1918─1920 и в 1927─1934 гг. заместителем наркома иностранных дел.

[27] *Wulff D.A.* A. Joffe und die russische Außenpolitik 1918 // Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte. Bd. 1995/1–2; 1996/2.

[28] РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 379.

[29] Berliner Tageblatt. 9. VIII.1930.

[30] *Чичерин Г.В.* Статьи и речи по вопросам международной политики. – М., 1961. С. 98–124.

[31] *Ботмер Л.* фон. Указ. соч. С. 121

[32] Там же. С. 125.

[33] См.: *Scheidemann Ch.* Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau (1869–1928). Eine politische Biographie. – Frankfurt a. M., 1998.

[34] *Hoetzsch O.* Oststeuropa und Deutscher Osten. Kleine Schriften zu ihrer Geschichte. – Berlin, Königsberg, 1934.

[35] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn (PAAA). Nachlaß des Generalkonsuls Wilhelm von Pochhammer. Bd. 1. Bl. 90.

[36] Ibid. Bl. 79.

[37] Это предположение принадлежит Т. О'Коннору. См.: *O'Connor T.E.* Diplomacy and revolution. G. V. Chicherin and Soviet Foreign Affairs 1918–1930. – Ames, 1988.

[38] Красин Леонид Борисович (1870–1926) – с 1920 г. нарком внешней торговли, одновременно полпред в Англии, с 1924 г. – во Франции.

[39] Цит. по: *Hoetzsch O.* Op. cit. S. 270.

[40] Ibidem.

[41] PAAA: Nachlaß Brockdorff-Rantzau. H 226151.

[42] Ibid. H 226092.

[43] PAAA: Nachlaß Stresemann. Bd. 28.

[44] PAAA: Nachlaß Brockdorff-Rantzau. H 226046.

[45] Ibid. 14/4 Az 43 (Tschitscherin Mappe II).

[46] Ibid. H 226048.

[47] Литвинов Максим Максимович (1876–1951) – с 1918 г. член коллегии Наркоминдела, с 1921 г. заместитель наркома, в 1930–1939 гг. нарком иностранных дел СССР. В 1941–1943 гг. заместитель наркома, одновременно посол в США.

[48] Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – с 1927 г. член Политбюро ЦК ВКП(б), с 1930 г. председатель Госплана, заместитель председателя Совнаркома СССР.

[49] См.: «Диктатура Языкочешущих над Работающими». Последняя служебная записка Г.В. Чичерина, сохраненная в Архиве Президента РФ с надписью «Абсолюно конфидециально. Совершенно лично. Безусловно секретно» // Источник. 1996. № . 6. С. 100–112.

[50] См.: *Зарницкий С.*, *Сергеев А.* Указ. соч. С. 224–225.

[51] РО РНБ. Ф. 1030. Оп. 1. Д. 12.

[52] Там же. Д. 1.

*Хорст Гюнтер Линке*

# ОБЩНОСТЬ СУДЕБ? Советский Союз в политических расчётах германских послов в Москве с 1922 по 1941 гг.

16 апреля 1922 г. германский министр иностранных дел Вальтер Ратенау и народный комиссар по иностранным делам РСФСР Г.В. Чичерин во время всемирной экономической конференции в Генуе неожиданно подписали в Рапалло, где размещалась советская делегация, сепаратный договор. Сразу же после своего опубликования он вызвал длительную бурю как противоречивых, так и проникнутых ожесточённостью эмоций. Это объяснялось не столько текстом соглашения, сколько необычными обстоятельствами его подписания и предполагавшимися целями документа[1].

## Превращение Брокдорф-Ранцау из критика Рапалльского договора в поборника политики Рапалло

К числу критиков принадлежал и первый министр иностранных дел Веймарской республики граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау (1869–1928)[2]. Поначалу он высказывал недовольство «временем, местом и внешними обстоятельствами» заключения договора и считал, что члены немецкой делегации вели себя как «человек, плюющий на ковёр». За протокольной неприличностью для него скрывалась главная ошибка германской политики после Бисмарка, заключавшаяся в бесцельном лавировании, что делало ее непредсказуемой для других держав и вызывало недоверие[3]. В противоположность этому Брокдорф-Ранцау, даже после своего поражения в Версале в 1919 г., претендовал для себя на получение за границей политического кредита Германии, так как «ни на минуту не отступил от линии, на которой основывал внешнюю политику государства»[4].

Стратегические целевые установки Брокдорф-Ранцау конкретно отразились в двух тесно переплетённых друг с другом высказываниях, постоянно повторяющихся наподобие лейтмотива. Во-первых, он остался верен своему неоднократно формулировавшемуся ещё до 1918 г. взгляду, в соответствии с которым Германия должна выполнить «мировую миссию»[5], а во-вторых, после поражения в Первой мировой войне видел в Версальском мирном договоре самое большое препятствие на пути осуществления этого притязания. Отсюда, в свою очередь, вытекало его стремление сорвать «позорное дело» в целом или, по меньшей мере, пересмотреть в отдельных существенных пунктах. России всегда предназначалась в этих планах подчёркнутая, хотя и ни в коем случае не равноправная, роль, специфика которой зависела от эффективности, с которой, по мнению Брокдорф-Ранцау, могло быть оказано содействие стремлению Германии обрести статус великой и мировой державы. Если в начале войны дипломат хотел, в согласии с военным и политическим руководством,

выбить Россию из фаланги врагов посредством сепаратного мира, то, когда наметилась безуспешность этого предприятия, он изменил свои предпочтения и, начиная с конца 1915 г., настаивал на подталкивании царской империи к революции, чтобы таким образом сделать её неспособной к ведению войны и поставить в зависимость от Германии. Он настойчиво высказывался в пользу мира, навязанного в Бресте, предполагая, что Германия, в конечном счёте, сумеет добиться победы и над западными державами или, по меньшей мере, утвердить статус-кво анте[6].

Когда эта надежда не сбылась и Германия, напротив, была вынуждена признать себя побеждённой, граф, в конце 1918 г. призванный на должность министра иностранных дел, по-новому определил и функцию России для германской политики. Чтобы добиться, возможно, более мягкого мира, ориентированного на «14 пунктов» Вильсона, и, возможно, быстрее воссоздать Германию как равноправную великую державу по образцу Франции 1815 г. на основе совпадающих интересов и ценностей, он выступал теперь за проведение последовательно антибольшевистского курса, но одновременно демонстрировал готовность сразу же участвовать в возможном изменении курса союзников. Мир, с его точки зрения, недопустимо жёсткий и неприемлемый, побудил дипломата, как он уже уведомлял применительно к подобному случаю, вновь обратить взгляд на Россию. Сравнивая риск тесной связи с большевизмом для внутриполитического положения Германии и последствия репрессивной политики держав-победительниц, в особенности Франции, он делал следующий вывод:

> … ясно, что большевизм преследует в качестве неизменной цели мировую революцию, как ясно и то, что мы должны учитывать эту опасность в ходе переговоров с Советским правительством. Она, однако, представляется мне более переносимой и менее тяжёлой для немецкого народа, чем последствия унизительного рабского существования, принудить нас к которому на протяжении поколений хотят враги, стремящиеся к мести и движимые алчностью[7].

Занимая такую позицию, Брокдорф-Ранцау даже сожалел в 1922 г. о том, что уже в мае 1921 г. дело не дошло до нормализации германо-советских отношений в качестве ответа на Лондонский ультиматум держав-победительниц. Такой шаг, по его мнению, мог бы произвести впечатление на западные державы и воспрепятствовать позднейшему отторжению части Верхней Силезии[8]. Это, конечно, было не больше, чем бездоказательным предположением, и Брокдорфу-Ранцау пришлось позже на собственном опыте убедиться в том, что державы-победительницы вовсе не так легко поддавались запугиванию. Это было видно уже из того, что в особенности англичане неоднократно предупреждали французов об опасности германо-советского союза – разумеется, не в последнюю очередь для того, чтобы вознаградить свои интересы и притязания. Взволнованная реакция на «Рапалло» из лагеря союзников, прежде всего со стороны британского и французского премьер-министров, утвердила Брокдорфа-Ранцау в представлении о том, что Рапалльский договор, несмотря на считавшееся ошибочным время его подписания, может стать «поворотным пунктом» германской политики, «чтобы вообще снова достичь подобающего нам положения в мире»[9].

Между тем глубокое недоверие к целям и методам большевиков не позволяли Брокдорфу-Ранцау забыть о смелости и рискованности того шага, который пред-

ставляло собой сближение с Советской Россией. Происходит движение по «скользкому полу», констатировал он, обращаясь к президенту Эберту, чьи предубеждения против сближения с большевистской Россией были известны дипломату. Как конкретизировал Брокдорф-Ранцау свои сомнения, у Советского правительства, чтобы остаться у власти, есть две возможности: во-первых, оно может утвердиться, если получит извне очень широкую экономическую помощь. Так как Германия не в состоянии предоставить такую помощь, существует опасность, что Советское правительство может оказаться готовым, «в зависимости от своих потребностей, бросить Германию ради держав Антанты». Вторая возможность для Советского правительства остаться у власти заключается в разжигании национализма и выводимой отсюда агрессивной внешней политике, которая накладывается на внутренние проблемы. Разумеется, Германия сталкивается при этом с «опасностью быть вовлечённой из-за договора (Рапалльского. – *Х.Л.*) в политику катастроф и при военном столкновении между Востоком и Западом оказаться не только вынужденной предоставить поле битвы, но и быть уничтоженной»[10].

Президенту понравился анализ, проникнутый взвешенностью, и он предложил и без того ценимому Брокдорф-Ранцау пост посла в Москве, который тот принял при условии предоставления ему чрезвычайных особых прав, например, не закреплённой в конституции привилегии непосредственного доклада. В следующие месяцы в беседах, в том числе с рейхсканцлером и советским наркомом по иностранным делам, находившимся в Берлине, он искал возможности точнее определить свою миссию и согласовать её с прежними соображениями; при этом в особенности в отношении военного сотрудничества он обретал новые, далеко не самые приятные знания. Но и впредь многое и существенное должно было оставаться умозрительным соображением и ожидать проверки реальностью. Высшей целью дипломата оставалось умножение «мировой значимости Германии» и отмщение за «преступление Версаля»[11].

В качестве доказательства того, что в Германии существует широкий политический консенсус, он охотно цитировал слова социал-деморатического министра Ландсберга: «Наши долги союзникам не оплачиваются золотом и серебром, счёт в отношениях между нами и Антантой может быть когда-нибудь оплачен только железом»[12]. Недвусмысленно подчёркивая, что он разделяет это мнение, Брокдорф-Ранцау характеризовал сам себя как «апостола реванша», в то же время настаивая, что ковать железо следует осторожно; «борьба с негодными средствами была бы бесперспективной и представляла бы собой преступление перед народом». Равным образом он не хотел видеть борьбу суженной до неизбежной военной кампании, если и мирными средствами удавалось снова превратить Германию в уважаемое государство. Правда, он лично скептически оценивал шансы на успех последней возможности[13].

Как бы, однако, не складывалось развитие, констатировал дипломат, «единственный остающийся нам выход ведёт на Восток». При этом, конечно, следует всегда принимать во внимание то обстоятельство, что Советское правительство «совершенно бессовестное» и повернёт против нынешней Германии, ожидая от этого выгод. Возможные сравнения с 1813 г. неуместны. Если бы сегодня пришли русские, то не как союзники в освободительной борьбе против Антанты – нет, они пришли бы, чтобы «передвинуть границы Азии на Рейн»[14].

Исходя из этих рассуждений, Брокдорф-Ранцау набросал таблицу основных принципов действия, казавшихся ему способными служить, по меньшей мере, для пробы, в качестве ориентиров его деятельности на посту посла. Прежде всего, согласно аргументации дипломата, речь должна была идти о том, чтобы выиграть время и «по возможности дольше воздерживаться» от столкновения между Востоком и Западом. В то же время германской политике следовало концентрироваться, главным образом, на экономической помощи России, причём не только посредством поставки промышленной продукции и сельскохозяйственных орудий, но и с помощью активного сотрудничества рабочих, коммерсантов и лиц с высшим образованием. Цель этой активности должна была заключаться в укреплении убеждённости русских в том, что Германия необходима им для восстановления экономики России, и в том, что Россия, безусловно, заинтересована не видеть ослабления Германии. Адресатом этого послания должно было стать, с одной стороны, Советское правительство, с предполагаемым условием, что оно и без заключения формального союза «сразу же осуществит военное вмешательство, если Франция или ее политический ублюдок Польша нападут на нас»[15]. С другой стороны, следовало обратиться и к русскому народу и убедить его в том, что немецкий народ хочет помогать ему и сотрудничать с ним ради мирного развития человечества. Это можно было истолковать и как воздействие на широко обсуждавшуюся эволюцию советской системы, но Брокдорф-Ранцау заглядывал, очевидно, дальше, считая возможным даже свержение большевистского режима: он отметил со всей определённостью, что русский народ должен понять желание немецкого народа сотрудничать с ним «независимо от того или иного правительства»[16].

Что, наоборот, касалось воздействия большевистской идеологии на Германию, то Брокдорф-Ранцау полагал, что немецкий народ в большинстве своём не восприимчив к «русско-азиатскому большевизму». Если державы-победительницы ввергнут немцев в отчаяние, должен будет, однако, прийти автохтонный большевизм [17].

В целом Германия должна проводить в Москве «самостоятельную политику» и не может ни присоединиться к единому фронту капиталистических государств, которого боятся и против которого борются на советской стороне, ни, напротив, проводить политику, направленную против Запада или пригодную лишь для того, чтобы противопоставить Германию западным державам. В особенности следует направить усилия на то, чтобы Англия могла бы видеть в Германии уважаемого собеседника и партнёра, осматриваясь в поисках союзника против Франции, становившейся опасной. Не стоит препятствовать шансу пересмотра Версальского договора с помощью традиционной британской политики «balance of power» (баланса сил.– *Прим. перев.*). «Ориентация на Восток и ориентация на Запад, – резюмировал Брокдорф-Ранцау 15 августа 1922 г. своё тогдашнее мнение, – стали для германской политики после проигранной мировой войны абстрактными понятиями, перестав быть положительными возможностями. По крайней мере, они не имеют значения исключительной ориентации на определённое направление»[18].

Это стремление оставить открытой возможность того или иного выбора логически подразумевало для Брокдорфа-Ранцау также, что военное сотрудничество с Советской Россией, грешившее против Версальского договора, недопустимо; оно, по мнению графа, втянуло бы Германию в советскую «политику катастроф», одновременно сделав невозможным взаимопонимание с Англией[19].

Тем более неприятно было ему узнать в ходе своих зондажей, что такое сотрудничество давно уже подготовлялось. Рейхсканцлер Вирт дал ему понять, что со стороны Германии оно включено в программу, которая была нацелена на уничтожение Польши[20]. Для Брокдорфа-Ранцау, который хотел действовать согласно девизу «сначала строить, потом рубить», такие амбиции были, в принципе, не ошибочными, но, вероятно, ввиду тогдашнего соотношения сил, «преждевременными, опасными, бесперспективными и поэтому неудачными»[21]. Прочитай дипломат непредубеждённо записки генерала фон Секта, движущей силы контактов с Красной Армией в военной области, он, вероятно, пришёл бы к пониманию того, что и генерал мыслил перспективно[22]. Но так как Брокдорф-Ранцау и Сект враждовали друг с другом уже с дней Версальских мирных переговоров, сначала не было разъясняющего обмена мнениями; напротив, конфликт нарастал, превращаясь в словесную перепалку с переходом на личности, и заставлял различия представать более значительными, нежели они были в действительности. Брокдорф-Ранцау обвинял своего противника в проведении «отчаянной политики»[23], но подразумевал под этим не его стратегические целевые установки, а методы действия военного, которые он считал необдуманными и к тому же дилетантскими. В соответствии с этим он не отвергал, в принципе, вопрос о том, «сколь далеко мы можем заходить в области военного строительства (организация армии, реорганизация железных дорог, производство военной техники)», а хотел лишь исключения всего, что могло бы скомпрометировать германское правительство. В случае необходимости, полагал дипломат, военное строительство в указанной форме могло бы быть под его эгидой интегрировано в программу экономического восстановления России. «Я вовсе не прочь, – заверял он, указывая направление, – в качестве последнего средства провести в Москве военный зондаж, но должен сделать это сам и не потерплю никакой дополнительной акции со стороны военных»[24]. Представители рейхсвера формально признали такое соглашение, но, так как они в дальнейшем, по крайней мере, с точки зрения Брокдорфа-Ранцау, не руководствовались им, то и в будущем на повестке дня оставались внутренние столкновения вокруг формирования военного сотрудничества[25].

2 ноября 1922 г. Брокдорф-Ранцау занял должность посла в Москве. В соответствии с предварительными концептуальными соображениями, содействие экономическим отношениям с самого начала составляло важную задачу его деятельности. Уже 1 марта 1923 г. ему удалось заключить с народным комиссаром внешней торговли СССР Красиным предварительное соглашение о поставке 20 млн. пудов[26] советского зерна в обмен на частичную оплату немецкими промышленными товарами. В дальнейшем Брокдорф-Ранцау настойчиво выступал за начало переговоров об обязательном торговом договоре, которые были формально завершены только 12 октября 1925 г. Уже большой временной интервал свидетельствует о значительных трудностях, которые приходилось преодолевать. К этому следовало добавить, что торговля с Россией оценивалась как прибыльное дело отдельными германскими фирмами и отраслями экономики, но не всей экономикой Германии в целом. Такая позиция не в последнюю очередь обосновывалась жёсткой позицией Советского правительства в вопросе о монополии внешней торговли. Несмотря на тенденцию роста в сфере бизнеса с Россией в 1922–1923 гг., ни импорт, ни экспорт не достигли двух процентов общей стоимости германской внешней торговли. Тем не менее Германия, на долю которой приходилось 41,3 % советского импорта и 32,1 % советского экспорта, и тогда, и после, была крупнейшим торговым партнёром Москвы[27].

Если, сверх того, принять во внимание то обстоятельство, что Советское правительство стремилось в высокой степени использовать экономические отношения в качестве политического рычага, не допуская, конечно, политического влияния на себя через посредство экономики, то шансы Брокдорфа-Ранцау на успех и границы его расчёта обозначаются чётче. Тесные экономические отношения являлись для Советского правительства обязательной предпосылкой конструктивных политических отношений и сопровождающим их моментом. Наоборот, было иллюзорным строить расчёты на возможности влияния на политический курс Москвы с помощью экономики.

Брокдорфу-Ранцау пришлось проглотить и ещё одну горькую пилюлю. Если он хотел формировать уже начатое военное сотрудничество столь секретно и с такими ограничительными условиями, насколько возможно, и по мере сил «спрятать» его в сотрудничество экономическое, то советский режим видел в этом военном сотрудничестве, направленном против Версальского мирного договора, особенно важный залог того, что дело не дойдёт до вызывавшего вечные опасения единого фронта капиталистических государств, который мог бы увенчаться крестовым походом против Советского Союза. В соответствии с этим народный комиссар по иностранным делам Чичерин характеризовал военное сотрудничество как «кардинальную точку»[28]. Советские дипломаты противодействовали даже требованию Брокдорфа-Ранцау участвовать в военных переговорах, заявив, что такие переговоры было бы лучше вести непосредственно между военными. В прибытии первой германской военной делегации, которая во время его нахождения в должности посла вела переговоры в Москве, Брокдорф-Ранцау увидел сбывшимися свои худшие опасения. Он считает своей обязанностью, телеграфировал посол рейхсканцлеру, констатировать «невозможность согласиться ни с внешней формой, в которой осуществлялась эта миссия, ни с характером самих переговоров ввиду задач, поставленных здесь передо мной»[29]. Протест возымел действие. О переговорах второй военной делегации, прибывшей в Москву в мае 1923 г., он был информирован лучше и, в конце концов, даже содействовал направлению цели этих переговоров – производству оружия в России за счёт Германии – в многообещающее русло. Помимо непосредственной сделки он видел в этой ситуации возможность получить общий доступ к советской военной промышленности и, к тому же, способ оплаты аванса на политический счёт, реализация которого предполагалась позже, причём он думал прежде всего об обещаниях на случай польского нападения на Германию. Дабы избежать опасности компрометирующего разглашения тайны, посол добился переноса последней фазы переговоров в Германию. Таким образом, при необходимости, можно было бы представить советских партнёров по переговорам как заинтересованную сторону и просителей[30].

Иначе, нежели это оценивалось первоначально, для Брокдорфа-Ранцау складывалась и сфера его непосредственной деятельности – политико-дипломатические отношения. Уже первые впечатления и опыт оказались сбивающими с толку. Убеждённый в достоверности своих сообщений, он в конце декабря 1922 г. информировал Берлин о заверении, которое сделал ему в ответ на соответствующий вопрос Троцкий, в том, что Советская Россия не будет пассивным наблюдателем, если Франция вознамерится предпринять военную акцию против Германии, а Польша в то же время по приказанию из Парижа вторгнется в Силезию. Советское правительство, заявил Троцкий, «не может терпеть» такое польское наступление, «и вмешается»[31].

При этом очень скоро выяснилось, что еще неизвестно, ограничится ли в действительности Советское правительство в случае необходимости только словами или за ними последуют и дела. Вернер Отто фон Хентиг, недолго занимавший пост временного поверенного в делах Германии в Москве, сообщал в конце января 1923 г. об очень противоречивых заявлениях с российской стороны и подчёркивал в особенности достоверное, по его мнению, конфиденциальное заявление Троцкого. В соответствии с этим высказыванием, Советская Россия даже в случае польского нападения на неё будет реагировать строго оборонительно и намеревается в такой ситуации отвести свои вооружённые силы «на линию Смоленск – Москва». Резюмируя, Хентиг говорил об «умно рассчитанной двойной игре» Советского правительства и делал вывод:

> Россия снова оказалась многосторонним политическим протагонистом, который, меняя маску и с малой затратой сил, соответствующей внутренней ситуации, пытается насколько возможно без риска играть большую роль. Германия при этом – только объект её политики[32].

Брокдорф-Ранцау не хотел соглашаться с такой оценкой, ведь она означала бы признание того, что о постулировавшейся «общности судеб» не могло быть и речи. В то время, когда из-за французской оккупации Рура бессилие Германии в том, что касалось проведения политики силы, стало очевидно всему миру, нельзя было, с точки зрения посла, продолжать обнаружение своей слабости. Он уже ранее отмечал: «Активно проводить политику катастроф – это преступление, а пассивно позволить вогнать себя в проведение политики катастроф – преступление вдвойне, ибо оно в то же время и глупость»[33].

В соответствии с этим он пытался побудить Советское правительство принять более серьёзные обязательства в пользу Германии, угрожая в противном случае сближением с Англией, которую в Советской России считали главным врагом. Манёвр не остался без последствий. В ходе двух бесед в конце февраля и начале марта 1923 г. Чичерин привлёк посла предложением о готовности «политически сотрудничать с Германией теснее, чем с другими великими державами», но сделал оговорку о том, что «Германия, очевидно, принуждена в силу обстоятельств в большой степени считаться с Англией и Америкой, вследствие этого и Советское правительство должно ввиду имеющегося положения занять позицию, которая не могла бы быть расценена как подстрекательство к войне»[34]. Посол сразу же понял, что, собственно, хотел сказать Чичерин, а именно, что Германия, если она хочет действительно рассчитывать на поддержку Москвы, должна однозначно придать приоритет восточной ориентации своей политики. При имевшихся обстоятельствах Брокдорф-Ранцау был готов к соответствующему пересмотру своей прежней точки зрения, тем более, что его разочаровала позиция Великобритании – ведь дипломат считал невероятным, что Англия допустит занятие Рурской области Францией[35]. Хотя переговоры и не привели к соглашению обязательного характера, для заключения которого с германской стороны не были выполнены и предварительные политические условия, посол всё-таки превратил обмен мнениями в основу своей дальнейшей личной политики. Далёкое от всякого панибратства, это решение способствовало в дальнейшем доверительному, дружественному общению обоих политиков, чьё недвусмысленно аристократическое, элитарное сознание, вплоть до совпадающего, отнюдь

не буржуазного стиля жизни и работы, резко контрастировало с их непосредственным окружением, которое, со своей стороны, претендовало на то, чтобы быть «авангардом пролетариата». О том, сколь большое значение в условиях начальной эйфории придавал Брокдорф-Ранцау договорённости и какой эффективности от неё ожидал, можно увидеть из частного письма посла от 27 марта 1923 г. своему доверенному лицу Аго фон Мальцану, занимавшему с конца 1922 г. пост статс-секретаря в Министерстве иностранных дел. Брокдорф-Ранцау сообщил адресату, что он может «из Москвы успешно бороться против последствий позорного Версальского диктата и, возможно, выбросить на свалку всю эту постыдную конструкцию»[36].

Во всяком случае, теперь он обрёл ясность и в соответствии с этим ещё и формально попытался повернуть Берлин на свой пересмотренный курс. В подробной памятной записке от 7 мая 1923 г. он категорически заявил, что «не считает сегодня путь на Запад пригодным для движения как в экономическом, так и в политическом отношении без того, чтобы это не уготовало большинству немецкого народа существование рабов». Напротив, «путь на Восток… свободен»[37]. Поэтому он видел «единственную возможность освободить немецкий народ из жалкого состояния, в которое ввергла нас трагическая судьба, не в том, скажем, чтобы безоговорочно вверяться Советскому правительству, а в том, вероятно, чтобы планомерно, уверенно в себе сотрудничать с Россией в экономической и в политической области». Военное сотрудничество, переговоры о котором шли как раз в те дни, он не упоминал, вероятно, по соображениям сохранения тайны[38]. Он признавал, что не закрывает глаза на «определённые опасности», таящиеся в сотрудничестве с Советским Союзом, но «опасность заражения большевизмом», о которой так много говорят, не усилится существенным образом в результате сотрудничества с Россией. Для нации и единства государства это сотрудничество менее опасно, нежели то противозаконное и унизительное обращение, которое Германия претерпевает со стороны Антанты со времени окончания войны. Поэтому сомнения относительно дальнейшего сближения с Россией должны отступить.

«Сегодня мы зависим от России, мы были и будем в такой зависимости после проигранной мировой войны ещё длительное время, если не всегда».

Путь на Восток будет тягостен и труден; никому не следовало бы мечтать о том, что он быстро приведёт «к светлым высотам». «Но, по меньшей мере, одно несомненно, и это необходимо для немецкого народа, если он сам не хочет признать себя побеждённым. Мы можем идти по этому пути с поднятой головой и не должны по нему ползти». Брокдорф-Ранцау заканчивал выступление в защиту своей позиции выразительной констатацией:

> …трезвый, ясный расчёт и непоколебимая вера в мировую миссию немецкого народа указывает нам путь на Восток независимо от того, «симпатично» ли нам нынешнее правительство в России или нет[39].

Отклик из Берлина был столь сдержанным, что Брокдорф-Ранцау заподозрил, не может ли германская внешняя политика всё-таки ориентироваться на Англию, решительно опираясь на неё; в таком случае, подчёркивал он, «нет смысла особенно выделять здесь Рапалльский договор, общность судьбы и труда». Но при этом следовало бы ясно понимать и последствия: «Мы отдаём себя в распоряжение Англии и теряем Россию». Указывая лишь в самом общем смысле на свою личную актив-

ность, он не оставлял сомнений в том, что в такой политике «не может участвовать здесь»[40]. Мальцан ответил несколько расплывчато, что «нельзя изменять проводившуюся до сих пор политику в отношении России»[41].

С таким заявлением мог бы выступить и Густав Штреземан (1878–1929), занявший в середине августа 1923 г. пост рейхсканцлера и министра иностранных дел. Но, когда он в сентябре обнародовал решение прекратить невозможное более «пассивное сопротивление» французской оккупации Рура, это возымело в Москве фатальные последствия. Верх взяли силы, делавшие ставку прежде всего не на чем бы то ни было мотивированное сотрудничество с буржуазным правительством в Германии, а на столкновение, проникнутое духом классовой борьбы. Движимые новой тревогой по поводу угрозы капиталистического единого фронта и переоценивавшие революционный потенциал в Германии, они с помощью III Коммунистического Интернационала настаивали на быстром осуществлении переворота и захвате власти коммунистами в этой стране. «Красный Октябрь», впрочем, закончился фиаско, и Брокдорф-Ранцау столкнулся со сложной задачей: с помощью маневров вывести германо-советские отношения из тяжёлого кризиса, в котором они оказались. Он справился с вызовом, проявив большое дипломатическое мастерство. Сначала посол обратился против закулисных руководителей заговора в Москве; он в резкой форме протестовал против поддержки немецких коммунистов III Интернационалом. Он угрожал собственной отставкой и общей сменой курса германской политики, вплоть до настойчивого предупреждения – если германское правительство придёт к убеждению о невозможности лояльного взаимодействия с Советским Союзом – о реальности «крестового похода» Антанты против СССР с активным участием Германии, чего так боялись большевики[42]. В качестве надёжной гарантии будущего достойного поведения он потребовал заявления Советского правительства о том, что оно дистанцируется от подрывной политики Коммунистического Интернационала, что и произошло, с некоторыми оговорками, в середине декабря 1923 г. и снова в январе 1924 г.[43].

Посол, возможно, не предполагал, что таким образом сумеет воспрепятствовать дальнейшим актам вмешательства во внутренние дела Германии, но тем самым он поддержал своих собеседников из Наркоминдела СССР, которые выступали в пользу вновь подчёркнутого Чичериным намерения сотрудничать с германским правительством на началах согласия, преимущественно в экономической и политической сферах[44]. Кроме того, он надеялся разоружить тем самым немецких критиков Советского правительства. Прежде всего, он настойчиво демонстрировал, что Германия, невзирая на её теперешнее бессилие, не должна рассматриваться как quantité négligeable (мелочь, безделица (*франц.*) – *Прим. перев.*), с которой можно обращаться по своему усмотрению, но что она может потребовать отношения к себе как к равной великой державе. Брокдорф-Ранцау любил выражать это притязание в форме игры слов, согласно которой он хочет в Москве «вести переговоры альпари, а не как пария»[45].

Чтобы иметь возможность продолжить, по его словам, «абсолютно прямую линию, сводящуюся к сотрудничеству Германии и России», Брокдорфу-Ранцау приходилось полемизировать и с критическими выступлениями в Германии. Он сделал это в памятной записке от 4 февраля 1924 г., которую составил во время поездки из Москвы в Берлин. Дипломат признавал в документе, коммунистические заговоры последних месяцев вызывали вопрос о том, «не следует ли подвергнуть принципи-

альному пересмотру наше отношение к России». Против этого, отмечал он в частности, говорили серьёзные причины. Во-первых, всё, что было достигнуто в германо-советских отношениях в политической и экономической сферах, оказалось бы утраченным в результате переориентации; во-вторых, коммунистическая пропаганда не была заторможена, а несравненно более бесцеремонно, чем прежде, применялась бы для вмешательства во внутренние дела Германии; в-третьих, и без того слабые международные позиции Германии испытали бы существенный ущерб: Германия утратила бы, «к радости всех наших противников», не только свою последнюю опору, как бы ни оценивалась ее действенность, а Россия, как можно предвидеть, «за наш счёт» договорилась бы с Францией[46].

Послу пришлось в Берлине легче, чем он, может быть, ожидал. Политический курс на сотрудничество с Россией на основе равноправия, за проведение которого он выступал, не был поставлен под сомнение[47]. Несколькими месяцами или даже неделями позже не могло, однако, не выявиться, что это согласие было обязано не столько силе аргументации Брокдорф-Ранцау, сколько отсутствию политической альтернативы. Но это обнаружилось с принятием плана Дауэса, который сверх согласованного, казавшегося терпимым и для Германии, регулирования вопроса о репарациях прежде всего положил начало постепенной экономической и политической интеграции страны в западный мир. «Локарно» и «вступление в Лигу Наций» – таковы были лозунги важнейших этапов движения по этому пути, по которому шли выразители различных интересов и стратегий, что вновь и вновь вызывало раздражение и разочарование. Естественно, серьёзный перелом оказывал и отрицательное воздействие на германо-советские отношения, но, в зависимости от точки зрения, перспективы и восприятия оценки и выводившиеся отсюда принципы действия оказывались в высшей степени различными. Очень быстро выяснилось, что даже доверенные соратники Брокдорф-Ранцау вроде статс-секретаря Аго фон Мальцана и генерального консула Морица Шлезингера занимали более дифференцированную и самоуверенную позицию в отношении Советского Союза. По их мнению, следовало по-новому поставить вопрос о распределении ролей в германо-советских отношениях, вопрос о том, кому быть «лошадью», а кому «всадником». С их точки зрения, Германия слишком долго подчинялась и приспосабливалась; ей следует теперь брать на себя инициативу, определять правила игры, что означало, прежде всего, настойчивее ратовать за «согласие с нашими желаниями»[48].

Если Шлезингер и Мальцан хотели таким образом усилить позицию Германии в отношениях с Россией, то руководитель Восточного отдела министериальдиректор Вальрот в принципе ставил под вопрос ценность германо-советских отношений. Россия, аргументировал он в подробном «промежуточном балансе» от 15 декабря 1924 г., прежде всего из-за полностью неудавшейся экономической политики находится в состоянии серьёзного кризиса с неясным исходом; с точки зрения мировой экономики, она представляет собой в настоящее время только «карликовое государство», да и в политическом отношении она, несмотря на неоспоримые дипломатические успехи, может «считаться в лучшем случае лишь государством второго порядка»; ее «иллюзия великодержавия» не находит более опоры в нынешней ситуации. Для германо-советских отношений отсюда вытекает, что следует не отказываться от начатого при других предпосылках «Рапалльского направления», так модифицировать его, чтобы Германия не оказалась в сложном положении из-за «несомненно предстоящих с российской стороны новых испытаний рапалльской дружбы нагруз-

кой и перегрузкой»[49]. Согласно меткому комментарию Брокдорфа-Ранцау, эта запись представляет собой «не “промежуточный баланс”, а убийственный “окончательный расчёт”»[50].

Но не столько словами, сколько действиями отходили от прежней линии Рапалло, прежде всего, министр иностранных дел Густав Штреземан и его ближайший сотрудник Карл Теодор фон Шуберт, в декабре 1924 г. в качестве преемника Мальцана назначенный на пост статс-секретаря МИД. Их высшая цель заключалась в том, чтобы, используя шансы, предлагавшиеся экономической помощью США, а также политическими сигналами со стороны британского правительства, достичь прежде всего освобождения Рурской и Рейнской областей. Кроме того, предполагалось посредством умиротворённых отношений с Францией создать благоприятный климат, который позволил бы в расчёте на успех выдвигать и более далеко идущие требования пересмотра Версальского договора. Первый значительный шаг в этом направлении содержался в меморандуме от 29 сентября 1924 г., в котором германское правительство выразило готовность к вступлению в Лигу Наций. Это сближение с западными державами-победительницами было подчинено, но не принесено в жертву отношениям с Советским Союзом. Так, германское правительство фактически настаивало в своих меморандумах от 29 сентября и 12 декабря 1924 г. на праве самому определять степень своего участия в возможных санкциях в соответствии со статьёй 16 Устава Лиги Наций[51].

С советской стороны, этим оговоркам не придавалось решающего значения. Напротив, подвергалось критике то обстоятельство, что Германия, до тех пор, как и Советская Россия, клеймившая Лигу Наций как репрессивный инструмент держав-победительниц, вступила теперь в союз западного капитала, считавший своей высшей целью борьбу против социализма и его ликвидацию; в случае конфликта у Германии не будет выраженной каким бы то ни было образом свободы выбора. В соответствии с этим Советское правительство констатировало уже в формальном заявлении от 23 сентября 1924 г.:

> В результате вступления в Лигу Наций Германия присоединяется к определённой коалиции, Германия тем самым превращается в сателлита, отказывается от собственной политической линии, подчиняет свою политику политике этой коалиции. В результате этого политика Германии приходит в столкновение с политикой Рапалло. Вопреки собственному желанию, силой фактов Германия, таким образом, вовлекается в комбинации и действия, которые приведут к конфликтам с нами. Германия утратит в результате этого такие факторы, которые являются элементом силы в международных отношениях. Сама Германия опустится до уровня фактора политики силы государств Антанты[52].

Такого рода заявления Советского правительства встретили сочувственное отношение Брокдорфа-Ранцау, так как он, движимый собственными соображениями, пришёл к сходной отрицательной позиции. Он вовсе не идеализировал германо-советские отношения, а, напротив, считал, что «это не был брак по любви, и медовый месяц так и не наступил»[53]. Он, однако, давал понять также, что Германия не должна бесцеремонно обходиться с Советским Союзом, ибо она нуждается, «пусть даже до известной степени это только блеф, хотя бы в фикции сильной политической, а при определённых обстоятельствах и военной поддержки со стороны Советского Союза» для обеспечения «своего существования и своего мирового значения» и «ради того, чтобы не быть полностью выданной на милость так называемых госу-

дарств-победителей»[54]. Нельзя, напоминал он в связи с другим, прибегая к привычной терминологии, «позволить оборвать провод в Россию»[55]. Но в результате вступления Германии в Лигу Наций ее отношение к России «изменилось коренным образом, причём навсегда», резюмировал посол свои возражения 7 ноября 1925 г. Самые большие опасения вызывает то обстоятельство, что Германия выпускает из рук «козырь», которым она располагала по отношению к союзникам со времён Рапалло и который позволял ей воспользоваться возможностью более тесного, даже военного сотрудничества с Россией. Сверх того, предупреждал Брокдорф-Ранцау, Германия должна после вступления в Лигу Наций считаться с тем, что Москва в результате раскрытия недопустимого военного сотрудничества «скомпрометирует ее в самой опасной форме»[56].

Штреземан и Шуберт напрасно старались привлечь Брокдорфа-Ранцау на свою сторону. В подробной инструкции от 19 марта 1925 г. Штреземан пытался доказать, что вступление в Лигу Наций, рассматривавшееся как ещё не гарантированное, следует считать только оборонительной мерой против вызывавших опасение крайностей французской политики и не препятствующей углублению германо-русских отношений. С германской стороны, отмечал министр иностранных дел, Советское правительство может быть заверено в том, «что наше вступление не будет ни в малой степени означать принципиального поворота нашей политики». Напротив, от Советского правительства следует ожидать, что оно докажет свою подлинную заинтересованность в дружеских отношениях с Германией, приветствуя её усиление в результате освобождения из французских тисков, а не стремясь обострять внутренние немецкие трудности, чтобы форсировать революцию в Германии[57].

Брокдорф-Ранцау снабдил указание критическими примечаниями на полях[58], поначалу вообще отказался ознакомить Советское правительство с изложенным, а потом, когда ему всё-таки пришлось это сделать, дал понять Чичерину, что он хочет уйти в отставку, если его правительство не откажется от своего нового курса во внешней политике. Чичерин заключил из всего сказанного Брокдорфом-Ранцау, «что он в действительности полностью расходится со своим правительством»[59].

На деле различия между Штреземаном и Брокдорфом-Ранцау лежали, собственно, не в той или иной грани аргументации, а в принципиальном вопросе внешнеполитической концепции. Статс-секретарь Шуберт, позже характеризовавший политику Локарно как «суть нашей внешней политики»[60], способствовал со своей стороны тому, чтобы расхождения были чётко сформулированы в конфронтационном стиле. В личном письме Брокдорфу-Ранцау от 23 февраля 1925 г. он представлял отношение к России как зависимую переменную и соответствующим образом констатировал, что:

> …дело не столько в урегулировании вопроса о том, какую политику мы хотим проводить по отношению к России, сколько в решении проблемы того, как наша политика в отношении России может быть целесообразно встроена в нашу общую политику[61].

Брокдорф-Ранцау, со своей стороны, возразил с резкой отчётливостью, что для него:

> …наша политика в отношении России означает краеугольный камень нашей общей политики и что она должна не встраиваться в эту политику, а, напротив, общая политика Германии должна быть построена на ней[62].

Ввиду проявившихся таким образом расхождений в основных концептуальных вопросах, Чичерин, в качестве советского министра иностранных дел преследовавший совершенно другие стратегические цели, нежели Брокдорф-Ранцау, мог стать временным союзником для германского посла в общем стремлении, насколько возможно воспрепятствовать обоснованной договором «ориентации на Запад» германской внешней политики или, если это окажется неосуществимым, по меньшей мере, создать с помощью политико-дипломатических средств противодействия впечатление, что «ориентация на Восток» имеет ту же политическую значимость. На первый взгляд должно было создаться впечатление, что Брокдорф-Ранцау «скорее оказался представителем русской точки зрения, нежели сделал приемлемой для русских германскую»[63]. При более точной оценке возникает, конечно, и более дифференцированная картина. Посол потерпел неудачу в своих усилиях по воспрепятствованию концептуальной ориентации германской внешней политики на Запад, но он сыграл важную роль в предотвращении грозившего разрыва германо-советских отношений и в том, чтобы побудить антиподов в Москве и Берлине к компромиссному решению на началах согласия. Предпосылка этого успеха заключалась в том, что и Шуберт со Штреземаном также были политиками-реалистами, которые не руководствовались идеологически и эмоционально своим вполне существовавшим неприятием «банды в Москве», а включали собственную значимость России, – конечно, в зависимости от внутри- и внешнеполитической конъюнктуры – в свой общеполитический расчёт. «Я не слишком высоко оцениваю наши отношения с Россией. Но это всё-таки козырь в нашей игре», – отмечал сам Штреземан[64].

Конкретно можно выделить следующие этапы на отмеченном всякого рода сложностями пути к обязывающему соглашению, достигнутому в соответствии с «Берлинским договором» от 24 апреля 1926 г.:

1. Чтобы по возможности повлиять на курс германского правительства, советская сторона предложила приманку. В ходе беседы с Брокдорфом-Ранцау 4 декабря 1924 г. опытный эксперт по Германии Виктор Копп крайне расплывчато, но недвусмысленно ввёл в игру польский вопрос. Он заявил, что, если Германия не откажется от своих притязаний ни на Верхнюю Силезию, ни на «коридор», то «можно было бы осуществить общее германо-российское давление на Польшу»; прежде всего, следовало бы начать «взаимный обмен мнениями»[65]. Брокдорф-Ранцау, движимый постоянным стремлением «выбросить Версаль на свалку» и сделать это из Москвы, посоветовал руководству согласиться с данной инициативой и получил от Мальцана согласие теперь уже в уточнённой форме дать понять, «что для Германии и России решение польского вопроса заключается, вероятно, в оттеснении Польши к её этнографическим границам»[66].

Когда Брокдорф-Ранцау повёл разговор с Чичериным в ночь с 25 на 26 декабря 1924 г. так, как считал нужным, советские собеседники открыли свои собственные намерения. О Польше, заявил Чичерин, можно говорить только после достижения договорённости по общеполитическим вопросам; во-первых, германскому и Советскому правительствам следовало бы договориться не заключать политических или экономических союзов или соглашений с третьими странами, направленных против одной или другой стороны, и, во-вторых, Германия и Советский Союз должны обязаться координировать свои действия по вопросу вступления в Лигу Наций.

Два месяца спустя председатель Совета Народных Комиссаров А.И. Рыков предложил даже заключить союзный договор, в разработке которого должны были не

определенным точнее образом участвовать и военные, представленные генералом фон Сектом[67].

2. После того как германское правительство месяцами отмалчивалось относительно предложений Чичерина, Штреземан в своей инструкции Брокдорфу-Ранцау от 19 марта 1925 г. как нечто само собой разумеющееся констатировал «невозможность общих договорных соглашений с Россией». Посол расценил указание по форме и содержанию как «наглость», взвесил возможности своей отставки и поспешил в Берлин, где находился почти три месяца, чтобы добиться более благоприятных перспектив для развития германо-советских отношений[68].

3. Штреземан, который в рамках своей общей политики по внутри- и внешнеполитическим соображениям придавал большое значение хорошим отношениям с Россией, в начале 1925 г. уже по собственной инициативе повторно настаивал на ориентированной на успех интенсификации текущих переговоров о торговом договоре с Советским Союзом. Чтобы дать ещё один знак в соответствии с позицией Брокдорфа-Ранцау, он объявил в июне 1925 г. о своей готовности предпослать этому договору при его завершении в октябре 1925 г. преамбулу, которая со всей определённостью свидетельствовала бы о продолжении и углублении линии Рапалло[69].

4. Для Советского правительства германское предложение оставалось слишком необязательным. При встрече со Штреземаном непосредственно перед его отъездом на конференцию в Локарно Чичерин иронизировал по поводу предложенной версии как подходящей для «тоста» и подтрунивал, говоря, что текст можно было бы назвать «вместе с Гёте “Исповедью прекрасной души”. Кроме того, Советское правительство, чтобы поддержать своё требование более значительных и более обязывающих уступок, вновь и вновь давало понять, что может договориться с с Польшей и Францией. Со своей стороны, по окончании Локарнской конференции Брокдорф-Ранцау снова вышел на арену. Он критиковал договор как «дополнительное добровольное… признание Версальского диктата» и подчёркивал, прежде всего, что Германия тем самым выпустила из рук козырь тесных совместных действий с Россией. Так как посол видел, таким образом, своё дело оказавшимся под угрозой, если не разрушенным, он снова подал в Берлине прошение об отставке. Только когда рейхспрезидент умолил его передумать, ибо в противном случае германо-российские отношения ещё более ухудшатся, посол продемонстрировал готовность вернуться на свой пост в Москве. Он оставался, однако, до конца января 1926 г. в Берлине и поддерживал там советское стремление заключить договор о нейтралитете. Стеснённый подобным образом и, сверх того, оказавшийся под давлением со стороны сильной национальной оппозиции против Локарно, Штреземан решился сделать ещё один шаг навстречу советской стороне. Хотя Штреземан, как и прежде, отказывался соглашаться с советским предложением о заключении формального договора о нейтралитете, как несовместимого с Уставом Лиги Наций, он предлагал подписать «протокол» с точнее обозначенными соглашениями о взаимном «добропорядочном поведении» на основе Рапалльского договора[70].

5. Чичерин считал и такое решение недостаточно точным и обязательным. Когда в феврале 1926 г. оказалось, что в отношении вступления в Лигу Наций могут возникнуть трудности, и болезненно обозначилась опасность того, что Германии придётся занять место «между двумя стульями», которого она боялась, Штреземан сдал позиции. Он согласился с ориентированным на оборону договором о нейтралитете, который после намеренно затягивавшихся переговоров был подписан 24 апреля

1926 г. Уже потому, что в тексте договора, после того как один раз было принято принципиальное решение, с самого начала спорными оставались лишь отдельные, хотя и значительные, формулировки, Брокдорф-Ранцау не мог в качестве собственного вклада внести на этой фазе нечто большее, нежели настаивать на окончательном заключении соглашения. Более того, Штреземан и Шуберт уже в беседах в середине декабря 1925 и конце января 1926 гг. объяснили ему, что они не хотели выпускать из рук бразды правления. Министр иностранных дел был тем, кто вместе с советским послом подписал соглашение, вошедшее в историю под названием «Берлинский договор»[71].

Граф, всегда заботившийся о том, какое место он займёт в будущем, был бы рад, будь это соглашение названо «Договор Ранцау». Тем не менее, Штреземан поблагодарил его и оценил его вклад в создание договора. Что же касалось ценности «Берлинского договора» для германо-советских отношений, то оценка Брокдорфа-Ранцау колебалась. Если он измерял значение документа в соответствии со своей первоначальной концепцией приоритета отношений с Россией, то достигнутое должно было неизбежно казаться ему скорее скромным, а если он измерял это значение согласно реально обозначавшейся опасности разрыва германо-советских отношений под воздействием ориентации на Запад, то достигнутое вполне оказывалось «большим политическим успехом»[72].

Наряду с его участием в удавшемся заключении договора, на долю Брокдорфа-Ранцау выпал ещё один успех. В октябре 1924 г. два немецких студента, Киндерман и Вольшт, которые, безрассудно и провокационно переоценив собственные возможности, собирались предпринять исследовательскую экспедицию по Советскому Союзу, были арестованы по подозрению в шпионаже. Дело не вышло бы столь драматичным, если бы советская сторона не воспользовалась им как поводом оформить парный случай к состоявшемуся в начале 1925 г. в Лейпциге «Процессу ЧК». Там речь шла о весьма серьезных коммунистических происках, о которых советское посольство знало, пусть, даже не содействовало им. В ответ на это в Москве работник германского посольства из числа близкого окружения Брокдорфа-Ранцау, Густав Хильгер, был в рамках пропагандистской акции пригвождён к позорному столбу: утверждалось, что он якобы знал мнимые планы покушения обоих обвиняемых, а то и содействовал им. Брокдорфу-Ранцау пришлось неоднократно резко вмешиваться в события, пока ему не удалось добиться публикации формального публичного извинения перед Хильгером, а также того, что оба молодых человека, приговорённых к смертной казни, были, в конце концов, в октябре 1926 г. отпущены в Германию. Проявляя такую активность, Брокдорф-Ранцау стремился не только не допустить несправедливости, но и способствовать решению важнейшего политического вопроса о том, насколько было, вообще, возможно поддерживать корректные межгосударственные отношения с Советским Союзом. Если бы не удалось воспрепятствовать вмешательству коммунистической партии и ее органов, то Советский Союз – независимо от того, разворачивалась ли коммунистическая деятельность на национальном или международном уровне, с одобрением наркомата иностранных дел или без него – естественно, надолго отпадал в качестве предсказуемого и надёжного партнёра. Тем самым ставился под сомнение рассчитанный на сотрудничество подход Брокдорфа-Ранцау, что не только признавал сам граф, но о чём можно было узнать и из аналитических материалов Министерства иностранных дел, поступавших в особенности от руководителя Отдела Востока Вальрота[73]. Посол вёл, таким образом,

«войну на два фронта» – как против ориентации Берлина на Запад, так и против коммунистических крайностей Москвы[74]. Правда, свою возможность добиться результата он оценивал всё более скептически. В конце декабря 1926 г. посол писал Штреземану:

> … я знаю, что благосклонно названный Вашим Превосходительством успех моей деятельности здесь и близко не достигает того, чего я хотел добиться в качестве цели, принимая этот пост; я давно уже отказался лично переживать вовне видимые успехи, но хочу придерживаться уверенности в том, что моя кропотливая, в своей конечной цели ещё и сегодня непонятная работа для Германии окажется когда-то сделанной не совсем напрасно[75].

Во всяком случае, Брокдорф-Ранцау видел себя по-прежнему перед вызовом. Что касалось Берлина, послу приходилось, с одной стороны, сталкиваться со всё более скептически звучавшими записями Вальрота. Тот хотя и не желал непосредственного разрыва германо-советских отношений, но не прогнозировал им в экономическом и политическом отношении будущего, обещавшего успех, и советовал поэтому проводить более решительный курс, обращённый на Запад[76]. С другой стороны, послу не нравилось, что недостаточно информированный Штреземан показал себя, по всей видимости, более снисходительным в отношении грубых бестактностей советской стороны – вроде награждения орденом Макса Гёльца, революционера, осуждённого в Германии, – нежели сам он, Брокдорф-Ранцау[77]. Граф чувствовал себя дезавуированным, так как он опасался, что в Москве его больше не воспринимают всерьёз; в соответствии со своим самоощущением он был готов играть «трагическую», а не «комическую роль»[78]. Возможно, ещё мучительнее и оскорбительнее было для него сложившееся – и неопровергнутое – впечатление, что руководство не информировало его о значительных и тайных процессах, как, например, о продолжении и развитии военного сотрудничества. Настойчиво, но безуспешно он требовал в письме Штреземану от 12 апреля 1928 г. своего включения в соответствующие переговоры, подчеркивая в равной степени важность и рискованность военных отношений для Германии, и даже счел нужным утверждать, что на всём протяжении своей службы в Москве он «в значительной степени лично вёл» совещания, в том числе, по военным вопросам[79].

Что, с другой стороны, касалось Москвы, то послу польстило почётное празднество в честь пятилетнего юбилея его службы, состоявшееся в ноябре 1927 г.[80], но помимо этого его возмущали продолжавшиеся коммунистические злоупотребления. Они увенчались в первой половине 1928 г. так называемым Шахтинским процессом – название взято от одноимённого промышленного города в Донбассе. В результате – стремления объяснить серьёзные экономические трудности в стране тем, что внутренние и внешние враждебные силы ведут в форме саботажа совместную ожесточённую войну против Советского Союза; вместе с советскими инженерами были арестованы и преданы суду также работавшие там немецкие специалисты. Брокдорф-Ранцау столкнулся с новым и ещё более серьёзным вызовом. Сравнивая то, что он говорил теперь, с высказываниями прежних лет, мы увидим, как дипломат констатировал необходимость продолжения линии Рапалло, но это не может происходить «за счёт нашего достоинства». С большей, чем прежде, настойчивостью посол, кроме того, полагал необходимым считаться с оппозицией просоветскому курсу, росшей в Германии по идеологическим и общеполитическим соображениям. Он

снова угрожал в Москве отставкой, но и на этот раз его заявление о намерениях не подверглось решительному испытанию, так как советская сторона пошла на уступки, и немецкие обвиняемые в Шахтинском процессе были оправданы или освобождены из-под стражи[81].

Так Брокдорф-Ранцау остался, в сущности, верен своим политическим убеждениям – таким, какие он ещё раз сформулировал, в частности, в записи от 8 июля 1926 г., предназначенной для рейхспрезидента Гинденбурга:

> Моё стремление с момента принятия на себя здешнего поста было с давних пор направлено на создание с помощью тесных отношений с Советской Россией противовеса Западу, чтобы не быть, – это выражение само по себе претит мне – выданными на милость или немилость держав Антанты. Работа со здешними господами никогда не будет чистой радостью. Наше отношение с Советским Союзом было и остаётся, как я уже писал несколько лет назад, браком по принуждению; о браке по любви говорить не приходилось.
> Отношения будут всегда до определённой степени покоиться на блефе, т. е. будет полезно пробудить вовне, у наших так называемых бывших врагов, впечатление более тесной дружбы с Россией, чем та, что существует в действительности.
> С учётом бессовестности Советского правительства будет, правда, всегда трудно продолжать прясть «нить» между Берлином и Москвой – о «проводе» не приходилось больше и говорить; тем не менее хорошие отношения с Россией остаются «единственным средством», чтобы снова придать Германии «мировое значение» и сделать возможной «самостоятельную внешнюю политику»[82].

Бурные события 1927 г. в Советском Союзе оставили, однако, отчётливые следы в основополагающих внешнеполитических взглядах Брокдорфа-Ранцау. Во внешней политике, в особенности благодаря разрыву дипломатических отношений со стороны Лондона, снова стало ясно, как низко оценивался на Западе престиж Советского Союза. Во внутренней политике обострявшийся экономический кризис, борьба за власть в верхах и жёсткое осуществление диктаторского режима Сталиным всё острее ставили вопрос о будущем страны и ее репутации. Более скептически, чем прежде, посол высказывался в этих обстоятельствах о перспективах успеха своей концепции и не хотел бы даже исключать возможность её переосмысления и переоценки при необходимости. «Решающее значение для нашей политики в отношении Советского Союза, – формулировал он в памятной записке от 26 ноября 1927 г., имевшей программный характер, – по-прежнему имеет всё обостряющийся вопрос о том, будет ли политическое и экономическое развитие здесь происходить в умеренном русле и принимать формы, которые и далее сделают возможным углубление и формирование наших дружественных отношений, в высшей степени значимых как противовес безусловной зависимости от Запада, или позволит ли это развитие вообще сохранить в будущем германо-русские отношения, несмотря на их значимость для мирового авторитета Германии»[83].

Когда Брокдорф-Ранцау в июле 1928 г. вернулся в Берлин, он был уже человеком, на котором лежала печать смерти. Речь шла, однако, в первую очередь, не о его болезни, а об общеполитической ситуации, которая подвигла его к проникнутому отчаянием резюме миссии в Москве; для него оказалось «глубокой болью», писал он в последнем письме рейхспрезиденту, что «в результате его работы не удалось достичь всего, на что он надеялся и к чему стремился, принимая пост в Москве»[84]. Тем

не менее, он остался тверд в своем принципиальном стремлении. Его «последняя и уверенная надежда», просил он передать как своего рода политическое завещание советскому наркому по иностранным делам и личному другу Чичерину, заключается в том, «что немецкий и русский народы в совместном труде достигнут цели, к которой он стремился»[85].

## Воля Дирксена к сотрудничеству с Советским Союзом по «государственно-политическим соображениям»

Брокдорф-Ранцау не мог пожелать в качестве преемника лучшего защитника его стремлений, чем доверявший ему, более того, восхищавшийся им Герберт фон Дирксен (1882–1955). Кроме того, как многолетний министериальдиригент и теперешний руководитель Отдела Востока Министерства иностранных дел, Дирксен был как нельзя обстоятельнее знаком со всеми гранями политики в отношении России, включая секретные военные контакты[86].

Уже в статье «Линия Рапалло», написанной в мае 1925 г., он дал понять глубоко прочувствованную связь с Россией, выходившую, несмотря на все заверения в обратном, за пределы рационального расчёта: «Только три года – и все-таки “Линия Рапалло” стала прочной составной частью политического кредо обеих стран»[87]. Всё более скептически-отрицательное отношение его тогдашнего шефа Вальрота к Советскому Союзу, которое тот обосновывал конкретными мерами советской экономической политики, враждебными принципам рыночного хозяйства, в высшей степени ожесточило Дирксена. Памятной записке Вальрота от 20 ноября 1927 г. «Самоисключение России и последствия этого для Германии», имевшей программный характер, он, в свойственной ему манере выражаться, дал саркастический подзаголовок «Русское кладбище». Одновременно он поделился с уважаемым им Морицем Шлезингером намерением не продлевать свой трудовой договор после 1 января 1928 г., так как он «не может участвовать в политике в отношении России, проводимой отделом», и что он «вполне сыт этим»[88].

То, что он отвергал, было, собственно, не критикой в адрес современной ему советской политики, с чем выступал Вальрот. Дипломат не соглашался с выводами для германской политики, которые его начальник делал из этой критики. С точки зрения Дирксена, они были слишком поверхностными и не учитывали соответствующим образом ни исторического масштаба германо-русских отношений, ни долгосрочных перспектив на будущее. Внутренняя причина ценностной устойчивости Рапалльского договора, аргументировал он повторно, заключается, во-первых, в том, что обе страны снова опираются на «испытанные политические традиции» времён Бисмарка, а во-вторых, в пугавшем западные державы «будущем усилении Германии и России»[89]. Если Дирксен для общей германской политики выступал не за четкую ориентацию на Восток, а за «средний курс» с опорой на политику Штреземана, то для себя лично и для своей должностной позиции он видел первостепенную задачу в том, чтобы подчёркивать германскую заинтересованность в хороших отношениях с Советским Союзом[90]. Благодаря этой основной установке, подкреплявшейся словом и делом, было понятно, почему с советской стороны довольно рано дали понять, что назначение Дирксена послом приветствовалось бы в Москве [91].

*Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау (1869–1928), 1922*

*Герберт фон Дирксен (1882–1955), Мюнхен, 1929*

*Рудольф Надольный 1873–1953), 1933*

*Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург (1875–1944 казнён в тюрьме Берлин-Плётцензее), 1934*

Когда Дирксен действительно был назначен и в начале января 1929 г. занял свою новую должность, он, тем не менее, сознавал, что конструктивное продолжение политики Рапалло будет трудным делом. Уже в последние месяцы пребывания в должности Брокдорфа-Ранцау тёмные тучи бросали тень на германо-советские отношения и в следующие 18 месяцев им суждено было сгущаться и дальше. Нарас-

тавшие противоречия были по существу результатом скорее парадоксального стечения обстоятельств, которое включало и возможность быстрого ослабления напряжения с последующим улучшением отношений. Оба государства с помощью «построения социализма в одной стране», с одной стороны, и пересмотра Версальского договора путём переговоров с западными державами – с другой, преследовали, в первую очередь, цели, которые не были направлены непосредственно друг против друга. Во взаимном восприятии они, однако, так интерпретировали друг друга, будто у партнёра отсутствовало требуемое уважение, будто партнёр уклоняется от ожидаемого участия, и даже целенаправленно пытается получить преимущества за счёт другого. С германской стороны при таком подходе доминировал упрёк в том, что с прекращением новой экономической политики и переходом к форсированной индустриализации и принудительной коллективизации в рамках первого пятилетнего плана Советское правительство снова обратилось к политике, ориентированной на идеологические ценности. Во внешнеполитической сфере этому соответствовали повышение значимости Коминтерна и подрывная политика вмешательства во внутренние дела Германии. Советская сторона подозревала, что длительные германские переговоры с западными державами о военном равноправии, очистке Рейнской области и урегулировании репараций на основе плана Юнга привели объективно или даже в результате политического намерения к отходу германской политики от Советского Союза. Кризис был углублен ещё и тем, что ни одно из двух правительств не собиралось выступать с публичными декларациями доброй воли, как того требовала другая сторона. Ни Советское правительство не хотело официально дистанцироваться от политики Коминтерна, ни германское не проявило готовности к требовавшемуся публичному признанию о продолжении политики Рапалло. На таком фоне идеологический фактор, до тех пор игравший в отношениях подчинённую роль, приобретал растущее значение. Поначалу это касалось немецкой общественности и её влияния на официальную политику; после выборов в рейхстаг в сентябре 1930 г. с обозначившимся в их результате драматическим приростом количества голосов, поданных за национал-социалистов, это стало иметь силу и для советской стороны. М.М. Литвинов (1876–1951), в 1930 г. назначенный официальным преемником Чичерина, считал, что это развитие событий подтверждало и укрепляло правильность его политики коллективной безопасности[92].

С учётом этой общей картины, Дирксен к концу первого года работы послом говорил о состоянии германо-советских отношений, что они «оставляют желать чего-то лучшего», с точки зрения настроения испытывают значительные «нагрузки» и грозят «окостенеть»[93]. Это была, по сравнению с суждениями из других источников, очень сдержанная оценка, отражающая сознательное стремление не подливать дополнительно масла в огонь, а, напротив, исходя «из государственно-политических соображений», продолжать в рамках возможного рапалльскую политику дружественных отношений[94]. Дирксен обосновывал со своей точки зрения внутреннюю необходимость проведения такой политики в записи от 31 октября 1929 г. с помощью известных стержневых слов:

> Общий интерес в отношении восточно-европейской политики, в особенности по отношению к Литве и Польше, общий интерес к таким международным вопросам, как разоружение, необходимость сближения с таким почти соседним государством столь огромной площади[95].

Так как ввиду принимаемых во внимание внутри- и внешнеполитических последствий союз с СССР не рассматривался, Дирксен, как в своё время Брокдорф-Ранцау, выступал за укрепление отношений прежде всего посредством развития экономического сотрудничества, причём и он полагал, что сверх политической значимости этих отношений немецкой экономике можно будет обеспечить преимущественное положение на рынке с большими перспективами будущего[96]. Как и его предшественнику, Дирксену пришлось, однако, по крайней мере, в начале, испытать, что ошибочно предполагаемая экономическая козырная карта не сработала. Причины этого не остались скрытыми от него. Важнейшей причиной препятствий оказалась недостаточная готовность с немецкой стороны расширить кредитные рамки или застраховать их с помощью гарантий от убытков, в то время как с советской стороны добавлялись в качестве дополнительных препятствий, прежде всего, монополия внешней торговли и требование слишком долгих сроков кредита[97].

Так, в конечном счёте, только тайные военные контакты продолжали в первые месяцы 1930 г. успешно развиваться, чётко контрастируя с отношениями в остальных сферах. Намерение, выраженное рейхсканцлером Мюллером при живом согласии министерства рейхсвера на заседании кабинета 20 февраля 1930 г., – продолжать с необходимой осторожностью содействие военному сотрудничеству – было одной из отправных точек, движение от которых привело к тому, что германское правительство решилось снова уделять германо-русским отношениям больше внимания и действовать в направлении их существенного улучшения. За такой образ действий первым высказался министр иностранных дел Юлиус Курциус (1877–1948), заявивший, что интересам германской политики соответствовало бы «придерживаться старой линии, обоснованной в Рапалльском договоре». Следует, уточнил он свою позицию, «подумать только о польской проблеме, чтобы быть убеждённым в этом»[98].

Дирксен серьёзно способствовал принятию этого решения, вновь и вновь настаивая в предшествующие недели на том, чтобы не пускать дело на самотек, а «создать предпосылки положительной работы»[99]. Он подчёркивал также, что советская сторона готова к соглашению и указывал в качестве доказательства на речь Литвинова от 4 декабря 1929 г. на заседании ЦИК, в которой нарком подробно и с подчёркнутой сердечностью изобразил советско-германские отношения и оценил Рапалльский договор как документ, гарантирующий дальнейшие дружественные отношения[100]. На этой основе учёта двусторонних интересов «акция по урегулированию», начатая в марте, успешно завершилась совместным коммюнике от 13 июня 1930 г., в котором принималось во внимание самое настойчивое стремление обеих сторон; в частности, оно содержало пожелание о продолжении политики Рапалло и новый отказ от какого бы то ни было вмешательства во внутренние дела другой страны[101].

Дирксен, естественно, не скрывал радости по поводу соглашения, заключению которого он способствовал с немецкой стороны, и видел в нём хорошую основу для подъёма германо-советских отношений, причём, что решительно отличалось от воззрений руководителя Восточного отдела Министерства иностранных дел Оскара Траутмана, придерживался точки зрения, согласно которой дружественные отношения с Россией формировали козырь в отношениях с западными державами, который не стоило недооценивать[102]. Но, даже в том случае, если такая позиция была верной, она могла представлять собой в рамках общей германской политики всего лишь аргумент подчинённого значения, а то и вовсе казаться сомнительной. Генрих Брю-

нинг, ставший рейхсканцлером в марте 1930 г., считал, во всяком случае, что ни при каких обстоятельствах нельзя создавать впечатление, будто Германия, пускай и в осторожной форме, принимает решение в пользу Востока[103]. К более далеко идущим политическим соглашениям не стремился, однако, и Дирксен; скорее, он выступал, как и ранее, за интенсификацию экономических, в особенности торговых отношений. «Точка зрения, которая является для меня решающей при выступлениях за проведение активной торговой политики Германии на русском рынке, – пытался он убедить защищавшегося со скептических позиций статс-секретаря фон Бюлова, – всегда заключается в мысли о том, что Россия для нас – единственный крупный и единственный еще свободный рынок сбыта немецких товаров, а также единственная ещё свободная сфера применения наших экономических знаний. Я считаю также, что нам надо суметь обеспечить для себя эту территорию на длительный срок, в том числе и по прошествии всякого рода колебаний, обусловленных фазой революционного хода событий»[104].

Мировой экономический кризис, лишивший Германию внутренних и внешних рынков сбыта промышленных товаров, и быстрый рост численности безработных, которых уже в 1930 г. насчитывалось более трёх миллионов, были факторами, придававшими выступлениям Дирксена бóльшую пробивную силу и оттеснявшими аргументы, которые до тех пор выдвигались противниками экономических контактов с Россией: от вопроса добропорядочности до страха перед будущей советской конкуренцией. Кроме того, статья Сталина в «Правде» от 2 марта 1930 г. «Головокружение от успехов» питала надежду на отход СССР от курса на ускоренную принудительную коллективизацию, критиковавшегося как неэкономический и бесчеловечный, и даже оживила былые спекуляции о том, что Советский Союз в перспективе не сможет уйти от экономически разумных принципов рыночной экономики.

К таким выводам приходили и высокопоставленные представители немецкой промышленности, по приглашению советской стороны принявшие участие в начале 1931 г. в учебно-ознакомительной поездке по Советскому Союзу и по возвращении активно и успешно настаивавшие на кредитах и поручительствах на случай прекращения платежей, чтобы активней, чем до сих пор, войти в «русский бизнес». Дирксен гордо резюмировал в своих мемуарах, «что в течение 2–3 лет немецкие товары на сумму примерно 2 миллиарда марок были экспортированы в Россию; что Германия стояла во главе советского импорта и экспорта, имея в этих сферах примерно по 50 %; что Германия не потеряла на этих сделках ни пфеннига»[105].

По словам Дирксена, оправдалось и ожидание того, что углублённые экономические отношения окажут благоприятное воздействие на политическую сферу. Период, последовавший за визитом немецких промышленников и предоставлением долгосрочных кредитов, был в числе «самых спокойных и приятных» во время его нахождения в должности[106].

Конечно, об «общности судьбы» речь больше не шла. Оба государства были приняты в международное сообщество. Правда, это не было равнозначно общей нормализации отношений, взаимные предубеждения продолжали существовать, и именно эти предубеждения – в особенности по отношению к Польше – в существенной степени формировали в политической сфере не столь широкий, но всё же устойчивый базис германо-советской общности. Тем сильнее оказалось волнение в Министерстве иностранных дел, когда во второй половине 1931 г. стало известно, что Москва собиралась заключить с Польшей пакт о ненападении, который должен

был включать и гарантию целостности польской территории. Заявления советской стороны о том, что с этим не связана гарантия польской западной границы, публично сделанные в интервью Сталина с Эмилем Людвигом и опубликованные в ведущем партийном журнале «Большевик» № 8 от 30 апреля 1932 г., не смогли успокоить Берлин. Гарантия территориальной целостности, настаивал тогдашний руководитель Восточного отдела Рихард Мейер (1884–1956), логически касается существующих границ[107]. Он принижал значение сказанного Сталиным, давая при этом оценку, далекую от политической реальности в Советском Союзе. Он считал, что «хотя высказывания государственных деятелей, интервью и т. д. и могут интерпретировать договоры, но никогда не изменяют или не принижают значения ясных положений договоров». «Эти успокаивающие пилюли, – настаивал Мейер, – неэффективны»[108].

Дирксен смотрел на вещи спокойнее и реалистичнее. Он признавал, что формулировка оговорки о территориальной целостности «нежелательна», но обратил внимание на то, что Польша не может политически «злоупотребить» ею, так как опубликованный незадолго до этого советский договор о ненападении с Финляндией содержал «подлинное гарантийное условие». Важнее вопроса о формулировке, оценивал он далее, политические намерения, с которыми этот договор был заключён. Но в данном отношении с германской стороны можно быть совершенно успокоенным, «насколько заявления ответственных государственных деятелей вообще имеют смысл», ибо Советское правительство определённо заверило, что оно ни опосредованно, ни непосредственно не гарантирует неприкосновенность польских границ и оставляет за собой свободу рук в случае польского нападения на Германию. Посол заявил, что пришёл к «убеждению, согласно которому Советское правительство хочет и далее сохранять курс Рапалло и что оно ведёт переговоры о заключении пакта по причинам тактического характера и оборонительного свойства». Дирксен смог даже найти в советском договоре о ненападении с Польшей положительный аспект принципиального свойства; до сих пор, по его мнению, Германия из-за своих договорных обязательств перед Западом всегда должна была приносить политические и экономические авансы на «алтарь германо-русской дружбы», а теперь «мы можем потребовать от него (Советского правительства.– *Х.Л.*) доказательства приверженности курсу Рапалло»[109].

Правда, к этому времени выяснилось, что германская сторона также оказалась, в свою очередь, в положении обязанной, так как ратификация продолжения Берлинского договора, которую должен был осуществить рейхстаг, вновь и вновь откладывалась, хотя Дирксен и Н.Н. Крестинский (1883–1938), в 20-е гг. советский полпред в Берлине, а теперь первый заместитель наркома по иностранным делам СССР, подписали 24 июня 1931 г. протокол о продлении[110]. Советское правительство ещё более обеспокоило назначение Франца фон Папена рейхсканцлером в июне 1932 г., так как он, согласно, в том числе, личной оценке Дирксена, входил в число тех немецких политиков, «которые были острее всего настроены против Советского правительства и нашей прежней политики в отношении России». Разумеется, подчёркивал Дирксен, советская сторона обеспокоена и политическим сближением Папена с национал-социалистами, «внешнеполитическая программа которых неясна и представляется ориентированной антирусски, а не только антикоммунистически»[111]. Хотя барон Константин фон Нейрат (1873–1956), назначенный Папеном на пост министра иностранных дел, и заверил нового советского полпреда Л.М. Хинчука (1868–1944) сразу по представлении последнего, что Германия хочет быть приверженной

прежней политике Рапалло и лишь резче выступать против коммунистов внутри страны, но Советское правительство не обманулось[112]. Благодаря французской болтливости, оно оказалось хорошо информированным о повторных предложениях относительно Советского Союза, которые Папен распространил на Лозаннской конференции в июне 1932 г. Хотя Дирксен это и опроверг, и Литвинов не хотел бы полностью исключать, что речь идёт о французском отвлекающем манёвре с целью вбить клин между Германией и Советским Союзом, недоверие сохранилось[113].

Когда преемником Папена на посту рейхсканцлера стал генерал Шлейхер, известный советской стороне как один из инициаторов и надёжный сторонник военного сотрудничества, Литвинов, казалось, ещё раз нашёл общую основу и язык взаимопонимания[114], но приход к власти Гитлера и национал-социалистов чрезвычайно встревожили Советское правительство. Книга Гитлера «Майн кампф» с её излишне резкими выпадами и претензиями в адрес России была хорошо известна в Москве; здесь, правда, задавались вопросом о том, станет ли эта радикальная расистская программа основой правительственной политики. Теперь-то и наступила очередь Дирксена: как и на протяжении всей своей карьеры посла в Москве, но теперь, естественно, удвоив усилия, он попытался – впрочем, в полном согласии с поступавшими ему указаниями[115] – оказать «успокаивающее воздействие» на советскую сторону[116].

Напротив, посол сообщал в Берлин о советском беспокойстве и настаивал на отношениях, ориентированных на соглашение, подчёркивая, со своей стороны, что в Москве надеются на возможность продолжения существовавших до сих пор дружественных отношений с Германией, и предупреждая, в то же время, что, если Германия отвернётся от России, то предсказуемым будет постепенное соскальзывание Советского Союза во французский лагерь[117].

Предпосылки определенной разрядки ситуации, казалось, вытекали из успокоительной речи Гитлера 23 марта 1933 г., безоговорочно одобренного продления русских векселей, а также осуществлённой в начале мая ратификации продления Берлинского договора. К соответствующему выводу пришёл и Дирксен, который тогда вовсе не был сторонником НСДАП[118], в ходе своей информационной поездки в Берлин и личной аудиенции у Гитлера, во время которой тот заверил посла, что он хочет сохранения дружеских отношений с Советским Союзом, не посвящая дипломата во всего лишь тактический момент этого заявления[119]. Дирксен, как он писал позже в своих мемуарах, покинул Берлин «вполне удовлетворённым результатами моих бесед»[120].

В Москве, конечно, ориентировались не столько на немецкие заявления и символические жесты, сколько на собственный анализ международного положения, который, в свою очередь, подчёркнуто оценивался разнузданной антисоветской пропагандой и жестокими нападениями национал-социалистов на советские учреждения и граждан в Германии. Именно из-за отсутствия надёжных альтернатив Советское правительство, хотя и воздерживалось от полного разрушения мостов с Германией, всё же явно от нее дистанцировалось[121]. Так, Дирксен уже в своём сообщении от 5 мая 1933 подчёркивал, что в управляемой советской прессе совершился достойный внимания поворот в оценке Версальского договора; больше не провозглашается враждебность, но отстаивается тезис о том, что «пересмотр означает войну»[122]. В то же время Советское правительство дало понять, что Красная Армия желает ослабить свои отношения с рейхсвером[123].

Дирксен, сделавший содействие германо-русским отношениям «своего рода жизненной задачей»[124], не отказывался от борьбы; он вновь и вновь подчёркивал преимущества, которые могут извлечь из добрососедских отношений как Германия, так и Советский Союз[125]; он разработал сценарии для прояснения германо-советских отношений в положительном направлении[126] и стремился в этих рамках даже организовать встречу между заместителем наркома иностранных дел СССР Крестинским и Гитлером[127]. Всё было напрасно. Лишенный иллюзий, но всё ещё не покорившийся судьбе, посол констатировал 30 октября 1933 г. в последнем отчёте перед переводом в Токио: «Рапалльская глава завершена»[128].

## Последовательное выступление Надольного за «целевые отношения» с Москвой в качестве «опоры большой политики»

Преемником Дирксена стал признанный эксперт по России Рудольф Надольный (1873–1953), который уже рассматривался как кандидат на эту должность в 1922 и 1928 гг. и считал занятие такого поста осуществлением своих профессиональных амбиций[129]. Детальные задачи, касающиеся его деятельности в Москве, содержались в подробной «Инструкции», черновик которой, вероятно, разработал сам Надольный[130]. Согласно принципу преемственности прежней политики в отношении России, в документе подчёркивалось главенство «государственно-политических отношений» с учётом требования невмешательства и, в порядке представления цели, конкретизировалось, «что Германия снова обретает в Советском правительстве ценный фактор своей внешней политики и что Советский Союз представляет собой заслуживающую внимания сферу для деятельности германских экономических структур».

Как «чрезвычайно важная» была расценена советская поддержка германской политики в отношении Польши, имевшая место на протяжении всех этих лет. Гитлер одобрил концепцию, очевидно, потому, что она могла быть полезна для его планировавшейся политики введения в заблуждение[131].

Напротив, Надольный поначалу принял задания за чистую монету и истолковывал указания так, что германская политика в отношении России по-прежнему «двигается по пути традиции», а его задача состоит в том, чтобы уладить серьёзные, но считавшиеся устранимыми разногласия. При этом он исходил из того, что трудности шли, прежде всего, на советский счёт и их преодоление «может быть, не будет слишком сложным делом», так как Советское правительство, как он прочитал в заключительном отчёте Дирксена, со своей стороны уже дало понять, что оно заинтересовано в разумном компромиссе с Германией[132].

В Москве, однако, Надольный очень скоро узнал, что ему придётся основательно пересмотреть своё заранее сформированное мнение. Настроение в отношении Германии, констатировал посол в подробном докладе от 9 января 1934 г., «гораздо хуже», чем он ожидал. Германии не только приписывают «злую волю», но и полагают даже, что она вынашивает реальные агрессивные намерения против Советского Союза, более того, этот «действительно существующий страх» перед «германским натиском на Восток» «усилился до кошмара». Литвинов вновь и вновь указывал в

обоснование такой позиции на крайне антирусские высказывания в книге Гитлера «Майн кампф», которая по-прежнему распространялась миллионными тиражами, и, следовательно, формулировки, содержавшиеся в ней, и далее должны были считаться имевшими силу.

Не присваивая в целом оценки Литвинова, Надольный проявил всё же понимание советских опасений и, со своей стороны, не побоялся резко атаковать национал-социалистов. По его словам, в частности, традиционный принцип немецкой политики заключался в том, чтобы не позволить «оборваться проводу в Россию» и по возможности поддерживать хорошие отношения с великим соседом на Востоке. Национал-социалисты, по его словам, представляют противоположные взгляды:

> Адольф Гитлер в своей книге «Майн кампф» и Альфред Розенберг в своих речах и статьях желают и ожидают краха коммунистического режима и рекомендуют проводить по отношению к нему политику, ориентированную на катастрофу и, к тому же, ищущую по возможности территориальных, экономических и культурных преимуществ.

Надольный критиковал такую позицию как нереалистичную и не соответствовавшую государственно-политическим интересам Германии. Они же, напротив, указывают на то, что «нам необходимо сохранить Советскую Россию в её целостности как опору большой политики и сферу экономической и культурной деятельности».

В отличие от Литвинова, который в проникнутой мирными заверениями речи Гитлера от 23 марта 1933 г. прозорливо увидел лишь тактический маневр, чтобы выиграть время для наращивания военной мощи, Надольный, как ему казалось, усмотрел в этом выступлении отправные точки для существенного переосмысления позиции Гитлера и рекомендовал поэтому продолжить делать авторитетные заявления, которые должны были подчеркнуть заинтересованность в хороших и прочных отношениях с Советским Союзом и придать ей достоверность[133].

Хотя министр иностранных дел Нейрат в своём ответе от 17 января 1934 г. и выступил платонически за «дружественные отношения» с Советским Союзом, вину за нынешний кризис он возложил исключительно на Москву, сделав отсюда вывод, «что сейчас единственно возможная позиция по отношению к Советскому Союзу – прохладная спокойная сдержанность»[134]. Критику Надольного в адрес агрессивных национал-социалистских выпадов против России он проигнорировал. Сомнительность возложения вины на одну сторону, что сделал Нейрат, обнаружилась уже в последующие дни. 26 января 1934 г. между Германией и Польшей был подписан договор о ненападении и дружбе, политическая подоплёка и очевидная целевая установка которого свидетельствовали о явном отходе от прежних принципов германской восточной политики и содержали остриё, однозначно обращённое против Советского Союза.

Чтобы спасти в германо-советских отношениях то, что ещё можно было спасти, Надольный в мае 1934 г. поставил всё на карту. Он добился двух докладов у Гитлера, во время которых настойчиво выступал за урегулирование германо-советских отношений в форме интенсифицированных экономических связей и работы над Берлинским договором, чем, прежде всего, сумел заинтересовать Литвинова. Как пишет Надольный в своих воспоминаниях, Гитлер согласился с его общей, в конечном счёте, необязательной оценкой Советского Союза, отклонив, однако, соглашение, еще раз заявив, что он не хочет «иметь с этими людьми ничего общего». Тем не менее

Гитлер, в конце концов, предоставил на усмотрение посла записать его предложения и подать их в служебном порядке[135].

Сообразно этому Надольный предложил стремиться к «положительным целевым отношениям с Советским Союзом» на основе соглашения, которое должно было распространяться на три основных области:

> 1) исключение взаимных намерений угрожать существованию другого государства, нарушая его территорию или вмешиваясь в его внутренние дела; 2) обязательство не поддерживать усилий эмигрантов из другой страны, направленных против ее устоев или государственного строя и 3) обязательство не терпеть устные и письменные высказывания, направленные против устоев другого государства или его государственного строя[136].

Как можно заключить из воспоминаний Надольного в соответствии с имеющимися документами, в Министерстве иностранных дел заведующий правовым отделом Фридрих Гаус (1881–1955) и отнюдь не просоветски настроенный заведующий Восточным отделом Мейер проявили мужество – они поддержали Надольного, согласившись в собственном заключении с его предложениями. Статс-секретарь Бюлов также встал на сторону посла. Министр иностранных дел Нейрат оказался, однако, в этой ситуации исполнителем воли Гитлера. Спеша продемонстрировать служебное рвение, он отклонил предложения Надольного и тем самым принудил его либо капитулировать, либо уйти в отставку. Надольный решил сохранить верность своим убеждениям[137].

## Путь Шуленбурга в Сопротивление из-за неприятия гитлеровской «операции Барбаросса»

Его преемником стал граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург (1875– 1944), располагавший многолетним опытом консульской и дипломатической службы и зарекомендовавший себя на многих зарубежных постах, прежде всего на Ближнем Востоке, а также в Варшаве и Тбилиси[138]. Его прежняя служебная деятельность не предопределяла, однако, замещения должности посла в Москве, что в сложившейся ситуации могло бы послужить для него преимуществом. После уверенного в себе, непокорного, более того, строптивого Надольного разыскивали кандидата, который был бы столь же квалифицированным, но вёл бы себя конформистски, с политической точки зрения, и охотнее позволял бы берлинскому начальству манипулировать собой. Поначалу Шуленбург вполне соответствовал этим ожиданиям. В 1934 г. он вступил в НСДАП и демонстрировал своё намерение занять, в соответствии с указаниями, выжидательно-дистанцированную позицию, даже через несколько месяцев после вступления в должность сообщая:

> Я в принципе принял точку зрения не навязывать разговоров о политике здешним людям, не желающим этого. Мне казалось правильнее поначалу «принюхаться» друг к другу, и до времени позволить событиям развиваться своим чередом[139].

Статс-секретарь Бюлов довольно отвечал:

Теперь мы знаем, что наше посольство в Москве в хороших руках[140].

Разумеется, невозмутимость Шуленбурга нельзя было отождествлять с незаинтересованностью, а его ярко выраженная готовность покоряться и подчиняться установленному порядку кончалась там, где нарушались его принципиальные политические и моральные убеждения. Ещё не вступая в открытую оппозицию национал-социалистскому режиму, Шуленбург в конце 1937 г. впервые публично дистанцировался перед большой аудиторией от агрессивных антирусских и антисоветских речей Гитлера, которые он сам слышал на Нюрнбергском съезде НСДАП 1936 г. Как на реалистическую альтернативу, к которой следовало стремиться, он указывал на политику Бисмарка в отношении России. В этом смысле он опирался на представления своих предшественников, из которых он был лично близок при жизни с Брокдорфом-Ранцау, в то время как с Надольным продолжал поддерживать доверительные отношения и прямо-таки вызывающе регулярно встречался с ним при своих посещениях Берлина[141]. Возможность изложить свой взгляд на вещи представилась ему в связи с докладом перед Академией вермахта в Берлине. С помощью двух важнейших аргументов он доказывал необходимость улучшения отношений с Советским Союзом. Во-первых, посол напоминал о «большой роли, которую старая Россия сыграла в прусско-германской истории двух последних столетий», во-вторых, он внушал, что именно сегодня открывается дверь для взаимопонимания с Советским Союзом, так как Сталин отворачивается от коммунистической идеологии, имеющей целью мировую революцию, в пользу принципов русского государственного разума. Если Германия всё ещё рассматривается в качестве опаснейшего врага, это следует объяснить тем, что советское руководство стало жертвой собственной пропаганды. Таким образом, дипломат в это время ещё не подвергал национал-социалистскую политику в отношении России открытой критике, но требовал, тем не менее, её существенного изменения, чтобы убедить советское руководство в его предполагаемом заблуждении и суметь избежать неотвратимого столкновения[142].

Речь Шуленбурга не имела стойкого воздействия вовне, но ее можно понимать как основной стереотип его общего принципа – при предоставляющейся возможности действовать не столько требуя, сколько подталкивая и стимулируя, ради улучшения германо-советских отношений и тем самым подготовить почву для общеполитического сотрудничества. Относительно этого сотрудничества посол был убеждён, что оно, рано или поздно, возобладает как неукоснительное требование реалистической политики[143]. Шуленбург не оказал непосредственного влияния на принятое в мае 1939 г. решение Гитлера – отходя от прежней политики, распорядиться, поначалу в осторожной форме, о зондаже того, возможно ли, в какой форме и при каких условиях улучшение отношений с Советским Союзом. Тем не менее в следующие недели и месяцы он сделал всё, чтобы, с одной стороны, преодолеть доминировавшее поначалу в Москве недоверие к немецким авансам, а с другой – укрепить Берлин во мнении о необходимости сохранения начатого курса взаимопонимания. В заключении германо-советского договора о ненападении Шуленбург видел реальный шанс сохранения всеобщего мира. Он полагал, что одни Англия и Франция не будут вести войну за Польшу, защищая ее от Гитлера, а воздействуют на Варшаву в целях добиться соглашения с Берлином и согласия на пересмотр положений Версальского договора, касающихся «коридора» и Данцига[144], что одобрял и Шуленбург. Посол испытал горькое разочарование, узнав, что Гитлер хотел не мир-

ного компромисса с Польшей, а войны с ней. «Может быть, – посетовал он – “пакт Сталина–Гитлера”, заключённый 23 августа 1939 г., «вовсе и не был счастьем для Германии»[145]. Но, по крайней мере, Шуленбург и его единомышленники среди сотрудников посольства, например, Густав Хильгер, могли утешиться тем, что удалось «во всяком случае, воспрепятствовать войне с Россией»[146].

И этому мнению суждено было оказаться иллюзорным. Шуленбург был «потрясен», когда в августе 1940 г. услышал от своего бывшего личного референта Ханса Херварта фон Биттенфельда, что Гитлер отдал приказ штабу оперативного руководства вооружёнными силами разработать предварительный план нападения на Россию[147]. Убеждённые в том, что Германия должна неизбежно проиграть такую войну, ни Шуленбург, ни также посвящённый в события военный атташе генерал Кёстринг не могли, по воспоминаниям Херварта, «и представить себе, что Гитлер будет настолько безумен, чтобы нападением на Советский Союз начать готовить собственную гибель, тем более что пример Наполеона должен был служить ему предостережением»[148].

Последовавшее вскоре вслед за тем трёхнедельное пребывание в Берлине Шуленбург использовал для того, чтобы точнее прозондировать положение дел и поработать ради конструктивной, ориентированной на мир политики в отношении Советского Союза. Благодаря его тогдашнему личному референту Гебхардту фон Вальтеру до нас дошла вместе с двумя письмами Шуленбурга его датированная 10 октября 1940 г. памятная записка Хассо фон Этцдорфу, посреднику между Министерством иностранных дел и Главным командованием сухопутных войск. Центральная мысль записки состояла в следующем:

> Советский Союз ни в коем случае не решится на наступательную войну против Германии. При оборонительной войне весь народ, несомненно, поддержит правительство[149].

Этцдорф представил документ начальнику Генерального штаба Гальдеру, который, однако, вернул его назад, не воспользовавшись им в какой бы то ни было форме[150].

В своём непосредственном деле посол был более успешен, так как смог вернуться в Москву с письмом Сталину, в котором В.М. Молотов (1890–1986), с 1939 г. Народный комиссар по иностранным делам, был приглашён посетить Берлин, чтобы провести переговоры о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту от 26 сентября 1940 г. Между тем, надежды, которые связывал с этим Шуленбург, не осуществились. Посол даже не мог лично участвовать в совещаниях, состоявшихся в Берлине 12 и 13 ноября 1940 г., и информация, которую он получил, заставляла его смотреть в будущее крайне пессимистично. В действительности, как известно, Гитлер 18 декабря 1940 г. «директивой № 21» отдал приказ «завершить до 15 мая 1941 г.» приготовления к нападению на Советский Союз. Посол не был официально проинформирован о «плане Барбаросса»[151].

Ожидая, что Гитлер, в конечном счете, не сможет остаться глух к рациональным доводам, Шуленбург пытался и дальше бороться за изменения в германской политике. Когда он в феврале 1941 г. снова узнал от Ханса фон Херварта, что военные приготовления к нападению на Советский Союз уже идут в Польше полным ходом, посол решился сам сделать представление Гитлеру. Он подготовил меморандум, который во время своего последнего пребывания в Берлине в середине апреля 1941 г.

просил через статс-секретаря передать рейхсканцлеру. В нём он ещё раз попытался убедить Гитлера в мирных намерениях Москвы и предостеречь об опасностях наступательной войны против Советского Союза[152]. Той же цели служила и личная аудиенция у Гитлера, которой Шуленбург добился вопреки трудностям, отнимавшим много времени. Посол снова подчеркнул, судя по его резюмировавшим записям, свою «неспособность поверить, что Россия когда-либо нападёт на Германию». Сталин, заявил он далее, в высшей степени готов к уступкам и сотрудничеству; так, с советской стороны уже дано понять, что «в следующем году Россия могла бы поставить нам до 5 млн. т зерна»[153].

Что же должна была завоевать – такой подразумевался вывод – Германия в экономическом плане посредством войны, чего нельзя было достигнуть куда более простыми и надёжными мирными средствами, без борьбы? На возражения Гитлера, ссылавшегося на ограниченные транспортные возможности сухопутных дорог, Шуленбург ответил указанием на ещё не использованные мощности советских портов. Вслед за тем Гитлер прекратил разговор[154]. Не касаясь своих собственных мотивов ведения истребительной и захватнической войны, проникнутых принципами расисткой идеологии и экспансионизма, он, тем не менее, позволил ясно увидеть, что в принципе отвергает доводы Шуленбурга за сохранение мира с Советским Союзом. Немецкие послы, заметил он неодобрительно, «всегда против войн со странами пребывания»[155]. Почему вообще тогда Гитлер принял Шуленбурга, можно было бы заключить из его последних слов: «И вот ещё что, граф Шуленбург: войну против России я не предполагаю»[156]. Гитлер, очевидно, думал, что сумел обмануть посла и использовать его для осуществления тактики маскировки в отношении Москвы. Это, однако, ему не удалось. По возвращении в советскую столицу Шуленбург не только поставил Хильгера в известность об обманном заявлении Гитлера, но сразу же и прокомментировал его, сказав: «Он только что умышленно солгал мне!»[157]

Когда стала очевидной безуспешность и всех дальнейших усилий Шуленбурга, имевших целью переход Германии на примирительные позиции, а признаки предстоявшего немецкого нападения всё множились, посол решился вместе со своим ближайшим сотрудником и доверенным лицом Густавом Хильгером на экстраординарный шаг. В соответствии с лучшей, хотя и слишком редко проявлявшейся прусской традицией, он поставил законы совести и глубоко укоренённого патриотизма выше обязанности подчинения и повиновения, которой он на протяжении длительного срока своей службы образцово и с готовностью следовал. Оправдываясь тем, что свою задачу он видит в том, чтобы действовать ради сохранения хороших и выгодных отношений между Германией и Советским Союзом, Шуленбург попытался в ходе трех бесед 5, 9 и 12 мая 1941 г. обратить внимание своего как раз находившегося в Москве советского коллеги В.Г. Деканозова (1898–1953) на драматически обострявшуюся опасность войны – с той целью, чтобы завоевать посла для проведения быстрых дипломатических контрмер. Ссылаясь на многочисленные источники, Шуленбург указал, в частности, на то, что «слухи» о «предстоящем конфликте между Германией и Советским Союзом», насколько ему известно, исключительно германского происхождения, и Гитлер сам заявил ему, что он считает себя вынужденным принять «на восточной границе меры предосторожности». Поэтому, говорил далее посол, следует «принять слухи всерьёз». Чтобы обезвредить «взрывчатое вещество», Сталину следует «очень быстро» обратиться к Гитлеру с личным послани-

ем и предложить пресечь слухи о якобы назревающем конфликте между Германией и Советским Союзом в совместном коммюнике[158].

Такого рода предложение, как доказывает судьба «Опровержения ТАСС» от 13 июня 1941 г.[159], едва ли могло переубедить Гитлера. Роковым оказалось, однако, независимо от этого, то обстоятельство, что и Сталин не хотел отойти от своей заранее занятой позиции игнорирования предупреждений о нападении. Признание Шуленбурга от 12 мая в том, что он действует «лишь частным образом», без подстраховки со стороны своего правительства, не ставя его в известность, и потому вынужден просить «не выдавать его», не повысило, очевидно, его авторитета. Напротив, оно привело к тому, что Деканозов вообще проинформировал Молотова как своего непосредственного начальника об этом последнем разговоре только 21 мая 1941 г.

Немецкое нападение уже началось, когда ранним утром 22 июня 1941 г. посол, в соответствии с указаниями из Берлина, должен был формально известить советского наркома иностранных дел о начале военных действий. Согласно советским записям, Шуленбург использовал последнюю встречу, чтобы еще раз сделать личное заявление о том, что на протяжении всей своей службы в Москве он выступал за дружественные отношения с Советским Союзом. Решение Гитлера о войне он осудил как «неоправданное»[160].

## Итог

Если речь идёт о том, чтобы охарактеризовать германо-советские отношения в период между двумя мировыми войнами, то сразу возникает понятие «политика Рапалло». Во время холодной войны оно приводилось для того, чтобы предостеречь от одностороннего привязывания к Советскому Союзу или, напротив, выступать за «мирное сосуществование» между государствами с различным общественным строем. Это имело мало общего со сложной исторической реальностью, тем не менее возникали выборочные исторические ассоциации, которые, разумеется, заключались скорее в заявлениях о намерениях, нежели в реально разворачивающихся событиях. Несколько более конкретно: после заключения Рапалльского договора в апреле 1922 г. с германской стороны возник вопрос о том, как следует развивать отношения с Советским Союзом. В целом, хотя и по разным причинам, среди политиков и в обществе господствовало уверенное согласие относительно того, что главной целью германской внешней политики должен быть пересмотр Версальского мирного договора. К числу наиболее ревностных сторонников этого воззрения, последовательно отстаивавших его устно и письменно, принадлежал граф Ульрих Брокдорф-Ранцау. В качестве министра иностранных дел он принял условия мира, продиктованные державами-победительницами, которые считал неприемлемыми и подал в отставку, когда не смог отстоять свою позицию. Дипломат кайзеровской школы и традиции, он, несмотря на всю свою критику в адрес личной власти императора Вильгельма II, был сформирован притязанием на «мировую значимость» Германии, возведенным во время правления кайзера в ранг официальной политики. Он считал себя и в дальнейшем обязанным следовать этому стремлению и тем более страстно воспринимал «позор Версаля» и боролся против него. По необходимости этот национально-центрированный взгляд на международные отношения привёл, однако, к тому, что

дипломат был способен лишь ограниченно и предвзято воспринимать и оценивать интересы других государств, в особенности Франции, а также и Советского Союза. Отсюда объективно вытекала дилемма и личная трагичность политики Брокдорфа-Ранцау. Односторонняя радикальность и высокое профессиональное искусство, с которым он исполнял свою миссию, обнаружили вполне зримые успехи, которые, однако, никогда не были в состоянии удовлетворить ожидания своего инициатора.

Когда в 1922 г. Брокдорф-Ранцау был направлен послом в Москву, он ещё вполне оптимистически надеялся, что сумеет реализовать свои важнейшие целевые установки, если только ему будет предоставлена свобода действий. Поначалу он полагал, что сможет лучше всего послужить своим стремлениям, маневрируя между Великобританией и Россией. Когда, однако, Англия, вопреки его ожиданиям, в 1923 г. не воспротивилась занятию Рура Францией, а советский нарком иностранных дел Чичерин в то же время поставил поддержку его страны в зависимость от однозначного германского заявления о сотрудничестве с Советской Россией, посол продемонстрировал личную готовность действовать в этом смысле без подписания формального соглашения. Надежда Брокдорфа-Ранцау на то, что таким способом он нашёл основу государственно-политической «общности судеб», вскоре, однако, оказалась обманчивой. Советская внешняя политика оставалась двойственной и рассматривала установленные политические, экономические и военные контакты скорее как перестраховку для обеспечения благорасположения другой стороны, нежели как условие, заставляющее ее, со своей стороны, сдерживаться и отказаться от революционных компонентов вмешательства. Об «эволюции», на которую в перспективе рассчитывал и Брокдорф-Ранцау, тем более, не могло быть и речи. Это было убедительно доказано осенью 1923 г., когда поддерживаемые советской стороной силы вознамерились начать в Германии коммунистический переворот. С другой стороны, Густав Штреземан, с августа 1923 г. руководивший германской внешней политикой, показал себя намеренным осуществлять пересмотр Версальского договора посредством не конфронтации, а сотрудничества с западными державами-победительницами. Посредническое влияние США как инициатора плана Дауэса, переориентация французской политики при Аристиде Бриане, а также сигналы о возможности сближения, шедшие из Лондона, благоприятствовали этому курсу, который детальнее характеризовался ключевыми словами «Локарно» и «вступление в Лигу Наций».

Для Брокдорфа-Ранцау ни политика Берлина, ни политика Москвы не была, таким образом, приемлемой. Он протестовал как против советской политики вмешательства, так и против германской ориентации на Запад. Первую он осуждал потому, что она, помимо прочих значительных неблагоприятных последствий, свидетельствовала о существенной непрочности германо-советских отношений. Это противоречило намерению посла включить в игру, хотя бы как «блеф», тесное единение Германии с Россией, чтобы тем самым побудить западные державы к большим уступкам и более значительной оглядке на Германию. Против «ориентации на Запад» посол выдвигал довод, согласно которому Германии угрожает потеря опоры на Востоке, а ее вступление в Лигу Наций закрепит «второй Версаль» и страна окажется тем самым полностью во власти западных держав-победительниц. Конечно, соотношение сил было слишком неравным, чтобы Брокдорф-Ранцау смог победить в «войне на два фронта», которую он вёл. Он лично переживал это как угнетающее обстоятельство, но объективно его карьеру нельзя назвать неудачной. С одной стороны, ему удалось повысить в Берлине восприимчивость к русскому фактору в не-

мецкой политике, в результате чего из первоначально в высшей степени неопределённого заявления о намерениях вырос юридически обязательный Берлинский договор. С другой стороны, благодаря своей деятельности, бывшей предметом пристального наблюдения, и дружескому общению с Чичериным, он углублял доверие советской стороны к германской политике. Не последнюю роль в этом, похоже, сыграло то, что он поддержал сформулированную в 1920 г. теорию Ленина, согласно которой германские консервативные круги, невзирая на неприятие ими коммунистической идеологии, готовы к искреннему сотрудничеству с большевистской Россией, так как они не могут примириться с условиями Версальского мирного договора.

Герберт фон Дирксен наследовал Брокдорфу-Ранцау не только пост посла, но и ориентировался на его концептуальные соображения. Как и его наставник, он придерживался позиции, согласно которой хорошие отношения с Россией для Германии полезны и к ним стоит стремиться. В пользу этого говорили не только испытанные политические традиции и ожидавшееся будущее усиление Германии и России, но и при имеющихся обстоятельствах также то, что немецкая позиция в отношении Польши и в международных вопросах, например, разоружения, усиливалась, и тесная связь с Советским Союзом могла служить «козырем» по отношению к западным державам. Поэтому Дирксен считал «своего рода жизненной задачей» делать и поддерживать всё, что могло бы идти на пользу германо-советским отношениям. Отсюда вытекало почти с неизбежностью, что ему, как и Брокдорфу-Ранцау, пришлось вести «войну на два фронта»: против оппонентов в собственном лагере и на советской стороне. Разногласия обосновывались, однако, по крайней мере, частично, по-иному. Ни с одной стороны линию Рапалло официально не ставили под сомнение, но по мере того, как обе державы снова обретали уважение в качестве равноправных партнёров на международной арене, она теряла свою исключительность и обязательность. «Политика коллективной безопасности», начало которой положил Литвинов в качестве преемника Чичерина и которая, не в последнюю очередь, была также реакцией на убывающее доверие к немецкой надёжности, поясняет эту тенденцию уже на уровне понятий. Мировой экономический кризис, существенно усиливший немецкую заинтересованность в русском рынке, и, одновременно, растущий спрос советской стороны на немецкие товары, которые могли способствовать задуманной ускоренной индустриализации в СССР, наполнили германо-советские отношения новой жизнью и позволили Дирксену, подытоживая пройденный путь, говорить о «самом спокойном и самом приятном» периоде его пребывания в должности.

Начиная, самое позднее, с прихода к власти Гитлера, картина всё более темнела. Советское правительство было чрезвычайно встревожено ввиду крайне резких выпадов Гитлера в адрес России в «Майн кампф» и по многим позднейшим поводам и не позволяло успокоить себя послу, который обманулся начальными примирительными жестами Гитлера по отношению к Советскому Союзу. Это удалось тем легче, что, по мнению Дирксена, в двусторонних отношениях законным образом только государственно-политические соображения могут иметь бесспорно решающее значение, а идеологические представления должны быть подчинены им. Но отчуждение в германо-советских отношениях нельзя было больше скрыть. Разочарованный, посол констатировал в конце октября 1933 г. в своём заключительном отчёте из Москвы: «Рапалльская глава завершена». Не только по службе, но и по личным соображениям Дирксен искал в следующие годы новые ориентиры, причём дистанцировался всё

более от обоих диктаторских режимов – национал-социалистского и советского. По собственной оценке, он стал «западником».

В противовес этому, его преемник на посту посла в Москве Рудольф Надольный пытался не допустить полного обрыва «провода в Москву». В качестве само собой разумеющегося руководящего принципа германской политики он считал, что и далее ее правильно понятому интересу соответствует поддержание хороших отношений с Советским Союзом как условие подстраховки и гарантии национального величия. Вину за напряжённость, которую нельзя было не увидеть в германо-советских отношениях, он искал поэтому поначалу преимущественно на советской стороне. На месте службы, в Москве, Надольный, между тем, быстро откорректировал свои предположения; он пришел к пониманию советских опасений и настаивал на том, чтобы решительно освободить официальную германскую политику от подозрений в том, что она рассчитывает на окончание большевистского господства и больше не делает ставку – о чем сигнализировал и германо-польский пакт о ненападении от 26 января 1934 г. – на Советский Союз как на «прочную политическую опору». Реальный выход из кризиса в направлении развития «целевых отношений» он видел в формировании Берлинского договора посредством дополнительного соглашения, которое должно было обязательно зафиксировать двусторонний отказ от каких бы то ни было нападок на другое государство и его руководство. Советский нарком иностранных дел показал свою открытость, но в Берлине Надольному пришлось констатировать, что Гитлер отказался взять такое договорное обязательство и при этом был угоднически поддержан министром иностранных дел Нейратом. Так как посол увидел, что таким образом разрушается основа прочного улучшения отношений с Советским Союзом, он решился подать в отставку. Только после войны Надольный ещё раз заметным образом вернулся на политическую сцену, правда, не будучи в состоянии устойчиво повлиять на развитие событий с помощью собственных акцентов.

В октябре 1934 г. граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург показался политическому руководству в Берлине фигурой подходящей для занятия поста посла в Москве. Разумеется, он, как и все его предшественники, не подозревался в симпатиях к коммунизму или советскому режиму. Он, однако, пользовался заслуженной славой человека, соединявшего профессиональную компетентность с готовностью слушаться и подчиняться, а не развивать собственные инициативы и отстаивать их вопреки мнению руководства, как это делали, например, Брокдорф-Ранцау или непосредственный предшественник Шуленбурга Надольный. Кроме того, до своего назначения в Москву он мало был связан по служебной линии с Россией или Советским Союзом, и это могло только способствовать желаемым скромности и сдержанности. Оправдывая связанные с ним ожидания, Шуленбург действительно оказался в первые годы скорее незаметным представителем своей страны, выступавшим строго в рамках обязательств. Он видел свои первоочередные задачи в том, чтобы смягчить напряжённость, преобладавшую в германо-советских отношениях, установить в пределах возможного хорошие отношения с Советским Союзом и, прежде всего, помочь сохранению мира между двумя странами. Ссылаясь на Бисмарка, он выступал за то, чтобы не «позволить оборвать провод в Россию». Тем самым посол представлял такие же воззрения, что и его предшественники, но подчёркивал в этих рамках сильнее, чем Брокдорф-Ранцау и Дирксен, принципиальную ценность собственной связи с Россией. Это могло вытекать из изменившихся обстоятельств, харак-

терных для данного времени, но было также и выражением его глубокой укоренённости в прусских традициях; эти традиции равным образом формировали его представление о службе государству в том направлении, что повиновение нетождественно раболепию и что государственный разум является высшей заповедью действия. Данные максимы он считал столь само собой разумеющимися и неопровержимыми, что измерял ими и политику Гитлера, и, в результате, не только не сумел правильно оценить пакт Сталина-Гитлера, но ему и в дальнейшем было трудно понять определяющие политику замыслы Гитлера в отношении Советского Союза, коренившиеся в затаённой расовой ненависти и заносчивых мечтаниях о мировой державе. Напротив, он полагал, что, в конечном счёте, возобладают рационально рассчитанные принципы реалистической политики. Шуленбург был и с этой точки зрения близок основным политическим позициям своих предшественников.

Даже установление им предупредительного контакта с советской стороной в мае 1941 г. было, вопреки всем доводам разума, ещё продиктовано надеждой на то, что в последнюю минуту удастся воспрепятствовать войне с помощью личной договорённости между диктаторами. Наряду с политическим расчётом, Шуленбурга побудили сделать этот необычный шаг моральные и патриотические убеждения, ибо он не сомневался, что война с Советским Союзом, к тому же неспровоцированная, плюс ко всем бедам может закончиться для Германии роковым образом. Не раз в качестве исторического примера указывал он на поражение Наполеона. Начатое тем не менее 22 июня 1941 г. германское нападение на Советский Союз поставило Шуленбурга перед тяжелейшим личным испытанием. В отличие от многочисленных высокопоставленных чиновников Министерства иностранных дел, он выдержал его так, что это вызывает уважение. Перед лицом преступного немецкого ведения войны он нашёл в себе мужество принять участие в акции движения Сопротивления 20 июля 1944 года против гибельной политики партии Гитлера и оплатить эту позицию своей жизнью.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] По поводу германо-советских отношений с 1922 по 1941 гг. в целом ср. *F.A. Krummacher/Helmut Lange.* Krieg und Frieden. Geschichte der deutsch-sowjetischen Beziehungen. Von Brest-Litowsk bis zum Unternehmen Barbarossa. – München 1970; *Dietrich Geyer* (Hrsg.). Sowjetunion. Außenpolitik I, 1917–1955 (= Osteuropa-Handbuch: Sowjetunion). – Köln und Wien 1972; *Gottfried Niedhart* (Hrsg.). Der Westen und die Sowjetunion. Einstellungen und Politik gegenüber der UdSSR in Europa und in den USA seit 1917. – Paderborn 1983; Deutschland und das bolschewistische Russland von Brest-Litowsk bis 1941 (= Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises, Bd. 8). Mit Beiträgen von Jürgen Förster u. a. – Berlin 1991; *Peter Krüger.* Die Außenpolitik der Republik von Weimar. 2. Aufl. Darmstadt 1993; *Wolfgang Michalka.* Russlandbilder des Auswärtigen Amts und deutscher Diplomaten. – Das Russlandbild im Dritten Reich. Hrsg. von Hans-Erich Volkmann. 2. Aufl. – Weimar und Wien 1994. S. 79–103; *Klaus Hildebrand.* Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871–1945. – Stuttgart 1995; *Sergej Slutsch.* Deutschland und die UdSSR 1918–1939. Motive und Folgen außenpolitischer Entscheidungen. – Deutsch-russische Zeitenwende. Krieg und Frieden 1941–1995. Hrsg. von Hans-Adolf Jacobsen. Baden-Baden 1995. S. 28–90; *Б.М. Туполев* (Отв. ред.). Россия и Германия. – М., 1998; *Horst Günther Linke* (Hrsg.). Quellen zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1917–1945. – Darmstadt 1998.

[2] О Брокдорф-Ранцау ср. также *Herbert Helbig.* Die Träger der Rapallo-Politik. – Göttingen 1958; *Gustav Hilger.* Wir und der Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918–1941. Erinnerungen eines deutschen Diplomaten. – Frankfürt a. M. und Bonn 1964; *Kurt Rosenbaum.* Community of Fate. German-Soviet Diplomatic Relations 1922–1928. – Syracuse und New York 1965; *Edgar Stern-Rubarth.* Graf Brockdorff-Rantzau. Wanderer zwischen zwei Welten. – Herford und Bonn 1968; *Günter Rosenfeld.* Sowjetunion und Deutschland, 1922–1933. – Köln 1984; *Christiane Scheidemann.* Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau (1869–1928). Eine politische Biographie. – Frankfürt a. M., Berlin, Bern u. a. 1998.

[3] Ср. Akten zur deutschen Auswärtigen Politik, 1918–1945. Aus dem Archiv des Auswärtigen Amts. Serie A–D, XII, 2 (9.11.1918–22.6.1941). Göttingen, Baden-Baden 1950–1995 (im folgenden ADAP); hier: A, VI. S. 364 (№ 176).

[4] Цит. по Stern-Rubarth, op. cit.. S. 89.

[5] Ibid. S. 95 f., 98.

[6] Ср. Scheidemann, op. cit.. S. 334 ff., 345–350.

[7] Цит. по Scheidemann, op. cit.. S. 540.

[8] Ср. ibid. S. 544.

[9] ADAP, A, VI. S. 205f. (№ 99).

[10] Ibid. A, VI. S. 205 (№ 99).

[11] Ibid. S. 302 (№ 145).

[12] Ibid. A, VI. S. 314 (№ 152), 358 (№ 171).

[13] Ibid.. S. 366 (№ 176).

[14] Ibid.. S. 314 ff. (№ 152), 355–358 (№ 171), 366 (№ 176).

[15] Ibid. A, VI. S. 316 (№ 152).

[16] Ibid. S. 288 (№ 139).

[17] Ibid. S. 303 (№ 145).

[18] Ibid. S. 300–303 (№ 145).

[19] Ср. Ibid. S. 316, A. 5. S. 355–358 (№ 171).

[20] Ibid. S. 328 ff. (№ 159).

[21] Ibid. S. 355–358 (№ 171).

[22] Ср. Linke, op. cit.. S. 89–92.

[23] ADAP. A, VI. S. 356 (№ 171).

[24] ADAP. A, VI. S. 398, A. 8.

[25] Ср. *Manfred Zeidler.* Reichswehr und Rote Armee, 1920–1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. – München 1993. S. 63, 78, Anm. 52.

[26] 1 пуд = 16,38 кг

[27] Rosenfeld, op. cit.. S. 68.

[28] 28 ADAP. A, VII. S. 252 (№ 110).

[29] ADAP. A, VII. S. 269–274.

[30] Ср. Zeidler, op. cit.. S. 73–76.

[31] ADAP. A, VI. S. 591 (№ 289).

[32] Ibid. A, VII. S. 136 ff. (№ 63).

[33] Ibid. A, IV. S. 521 (№ 255).

[34] ADAP. A, VII. S. 251 (№ 110). S. 304 (№ 125).

[35] Ibid. VI. S. 315 (№ 152).

[36] Цит. по *Helbig H.*. S. 144

[37] ADAP. A, VII. S. 551 f. (№ 223).

[38] Ср. в соответствии с этим «совершенно секретное» письмо Брокдорф-Ранцау рейхсканцлеру, Москва, 23 июня 1923 г.; ADAP, A, VII. S. 613 (№ 248).

[39] ADAP. A, VII. S. 551 f. (№ 223).

[40] Ibid. A, VIII. S. 24 f. (№ 8).

[41] Ibid. S. 25, A.

[42] Ibid. S. 512 (№ 197), 548 f. (№ 211), IX, 91 (№ 39).

[43] Ibid. A, IX. S. 136–142 (№ 55).

[44] Ср. Ibid. S. 337 ff. (№ 128).

[45] Ibid. S. 141 (№ 55), 149 (№ 59). По-немецки эти слова созвучны – alpari и als Paria (*Прим. перев.*).

[46] ADAP. A, IX. S. 452–455 (№ 170, Anlage 1).

[47] Напротив, Штреземан заверял его ещё два месяца спустя в послании, которое, разумеется, не следует переоценивать, что он одного с ним мнения о том, «что Вам предстоит выполнить в Москве большую историческую миссию»; ADAP. A, X. S. 31, A. 18.

[48] Ibid. XI. S. 114–118 (№ 48); S. 199 ff.(№ 85).

[49] ADAP. A, XI. S. 602–612 (№ 239).

[50] Ibid. S. 612, A. 15.

[51] Ср. Krüger, op. cit.. S. 265 f.

[52] ADAP. A, XI. S. 217 (№ 91).

[53] Ibid. X. S. 189 (№ 75).

[54] Ibid. S. 289 f. (№ 119), XII. S. 486 (№ 192).

[55] Ibid. XI. S. 646, A. 1.

[56] ADAP. A, XIV. S. 564 (№ 222).

[57] Ibid. XII. S. 456–465, (№ 182), цитата. S. 464.

[58] Locarno-Konferenz 1925. Eine Dokumentensammlung. Hrsg. vom Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR. Berlin (Ost) 1962. S. 70–83.

[59] Документы внешней политики СССР [далее: ДВП], т. VIII. – М., 1963. С. 212.

[60] Цит. по Rosenfeld, op. cit.. S. 163.

[61] ADAP. A, XII. S. 272 (№ 112).

[62] Ibid. S. 489 (№ 192).

[63] *Herbert von Dirksen.* Moskau, Tokio, London: Erinnerungen und Betrachtungen zu 20 Jahren deutscher Außenpolitik 1919–1939. – Stuttgart 1949. S. 66.

[64] ADAP. B, XI. S. 199, A. 19.

[65] Ibid. A, XI. S. 518 (№ 212).

[66] Ibid. S. 578 (№ 230).

[67] ADAP. A, XII. S. 280 ff. (№ 115).

[68] Ср. Rosenbaum, op. cit.. S. 138–145.

[69] ADAP. A, XII. S. 144; ср. также более обширное рассмотрение в книге Martin Walsdorff. Westorientierung und Ostpolitik. Stresemanns Russlandpolitik in der Locarno-Ära. Bremen 1971.

[70] Ср. *Rosenfeld,* op. cit. S. 162–170; Rosenbaum, op. cit.. S. 193–200; ADAP. A, XIV. S. 562 ff. (№ 222).

[71] Ср. *Walsdorff,* op. cit. S. 163–181.

[72] *Rosenbaum.* op. cit. S. 218; *Scheidemann,* op. cit. S. 678 ff.; ADAP. B, II, 1. S. 98–102 (№ 41).

[73] Ср. *Rosenbaum,* op. cit. S. 146–155; ADAP. B, II, 1. S. 354 f. (№ 145).

[74] *Hilger,* op. cit. S. 131, 140–146; ADAP. B, II, 1. S. 354 f. (№ 145).

[75] Цит. по Scheidemann, op. cit. S. 684.

[76] ADAP. B, IV. S. 210 ff. (№ 91); VI. S. 314–319 (№ 143); VII. S. 282–292 (№ 120).

[77] *Hilger,* op. cit. S. 158 f.; ADAP. B, VII. S. 315 ff. (№ 131).

[78] ДВП, VIII. S. 212.

[79] ADAP. B, VIII. S. 484–487 (№ 229). – В одной из позднейших бесед с министром рейхсвера Грёнером он договорился даже до утверждения о том, «что, если военные отношения с Россией будут сохранены на протяжении этих шести лет, прежде всего я мог бы претендовать на свою заслугу в этой сфере». Ibid. IX. S. 491–495 (№ 200).

[80] *Stern-Rubarth,* op. cit. S. 125 f.; *Scheidemann,* op. cit. S. 699 f.

[81] Ср. *Hilger,* op. cit. S. 208–211; Rosenbaum op. cit.. S. 253–277; ADAP. B, IX. S. 58–61 (№ 28).

[82] ADAP. B, II, 2. S. 98–102 (№ 41).

[83] ADAP. B, VII. S. 370 (№ 150).

[84] Цит. по *Stern-Rubarth,* op. cit. S. 153.

[85] Ibid. S. 152.

[86] О Дирксене ср. также *Dirksen.* Moskau, Tokio, Berlin; Magnus Frhr. von Braun-Neucken. Herbert von Dirksen zum Gedächtnis. – Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Pr. VII (1957). S. 5–48; *Harvey Leonard Dyck.* Weimar Germany and Soviet Russia, 1926–1933. A Study in Diploma-

tic Instability. – London 1966; *Karlheinz Niclauss.* Die Sowjetunion und Hitlers Machtergreifung. Eine Studie über die deutsch-russischen Beziehungen der Jahre 1929 bis 1935. – Bonn 1966; *Wilhelm Joost.* Botschafter bei den roten Zaren. Die deutschen Missionschefs in Moskau 1918 bis 1941. Nach Geheimakten und persönlichen Aufzeichnungen. – Wien 1967. S. 195–230; Dean Scott McMurry. Deutschland und die Sowjetunion, 1933–1936. Ideologie, Machtpolitik und Wirtschaftsbeziehungen. – Köln und Wien 1979.

[87] Цит. по *Alfred Anderle.* Die deutsche Rapallo-Politik. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1922–1929. – Berlin (Ost) 1962. S. 134, A. 80.

[88] ADAP. B, VII. S. 354 f. (№ 144).

[89] Цит. по Anderle, op. cit.; ADAP. B, VI. S. 466f. (№ 213).

[90] ADAP. B, VI. S. 465–470 (№ 213).

[91] *Hilger,* op. cit. S. 213; ср. также ADAP. B, X. S. 199 (№ 76).

[92] Ср. *Dyck,* op. cit. S. 129–190, Hilger, op. cit.. S. 223.

[93] ADAP. B, XIII. S. 29 (№ 15), 467 (№ 224).

[94] Ibid. S. 29 f. (№ 15), 180 ff. (№ 87), 465–468 (№ 224); *Dirksen,* op. cit. S. 62 f.

[95] Ibid. S. 180 (№ 87).

[96] Ibid. S. 181f. (№ 87).

[97] Ibid. S. 405f. (№ 195); ср. также *Hans Jürgen Perrey.* Der Russlandausschuss der deutschen Wirtschaft. Die deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen der Zwischenkriegszeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Ost-West-Handels. – München 1985. S. 131–135.

[98] ADAP. B, XIV. S. 268–272 (№ 117).

[99] Ibid. S. 225 (№ 102).

[100] Ibid. XIII. S. 369 (№ 178).

[101] Ibid. XV. S. 182, A. 2.

[102] Ibid. B, XV. S. 202–207 (№ 89).

[103] Ibid. S. 61 (№ 23).

[104] Ibid. XVI. S. 596 (№ 234).

[105] *Dirksen,* op. cit. S. 110; более дифференцированные данные см. *Perrey,* op. cit. S. 174–202.

[106] *Dirksen,* Ibid. S. 111.

[107] Ibid. B, XIX. S. 246 ff. (№ 108).

[108] Ibid. S. 312 (№ 139).

[109] Ibid. B, XIX. S. 524–528 (№ 229).

[110] Ср. *Rosenfeld,* op. cit. S. 429 f., 453.

[111] ADAP. B, XX. S. 247 (№ 114), 540 (№ 253).

[112] Ibid. S. 248, A. 7, 539–542 (№ 253).

[113] ADAP. B, XXI. S. 312 ff. (№ 147), 482 (№ 229).

[114] Ibid. S. 481 ff. (№ 229).

[115] Ibid. C, I, 1. S. 1 (№ 1).

[116] Ibid. S. 14 (№ 6).

[117] Ibid. S. 61–64 (№ 29).

[118] По поводу его позднейшего согласия с национал-социалистской политикой в отношении Советского Союза ср. Rosenfeld, op. cit.. S. 333.

[119] Ср. *Linke,* op. cit. S. 172 ff.

[120] *Dirksen,* op. cit. S. 123.

[121] Ср. *Niclauss,* op. cit. S. 111–121.

[122] ADAP. C, I, 1. S. 382–386 (№ 212).

[123] Dirksen, op. cit.. S. 124.

[124] *Ingmar Sütterlin.* Die «Russische Abteilung» des Auswärtigen Amtes in der Weimarer Republik. – Berlin 1994. S. 220, A. 176.

[125] ADAP. C, I, 1. S. 386 (№ 212).

[126] ADAP. C, II, 1. S. 375–399 (№ 404).

[127] *Dirksen,* op. cit. S. 127 f.

[128] ADAP. C, II, 1. S. 310 (№ 171).

[129] О Надольном ср. также *Rudolf Nadolny.* Mein Beitrag. – Wiesbaden 1955; *Bernd Ruland.* Deutsche Botschaft Moskau. 50 Jahre Schicksal zwischen Ost und West. – Bayreuth 1964. S. 247–259; *Wilhelm*

*Joost,* op. cit. S. 231–273; *Klaus Meyer.* Nadolny und Russland. – Russland – Deutschland – Amerika. Festschrift für Fritz T. Epstein zum 80. Geburtstag. – Wiesbaden 1978. S. 267–278; *Günter Wollstein.* Rudolf Nadolny – Außenminister ohne Verwendung. – Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1980, N 28. S. 47–93.

[130] *Hans von Herwarth.* Zwischen Hitler und Stalin. Erlebte Zeitgeschichte 1931–1945. – Frankfürt a. M., Berlin und Wien 1982. S. 95. – В мемуарах самого Надольного соответствующее указание отсутствует.

ADAP. C, II, 1. S. 310 (№ 171), II, 2. S. 695 f. (№ 382).

[131] ADAP. C, II, 1. S. 119f.; ср. также Akten der Reichskanzlei. Die Regierung Hitler. Teil I. [12. September 1933 bis 27. August 1934: Dokumente № 207–384] Bearbeitet von Karl-Heinz Minuth. – Boppard am Rhein 1983. S. 317.

[132] ADAP. C, II, 1. S. 310 (№ 171), II, 2. S. 695 f. (№ 382).

[133] Ibid. C, II, 1. S. 310–323 (№ 171).

[134] Ibid. S. 365 ff. (№ 190).

[135] *Nadolny,* op. cit. S. 167 f.

[136] ADAP. C, II, 2. S. 844–848 (№ 476).

[137] *Nadolny,* op. cit. S. 168 f.; ADAP. C, II, 2. S. 863 f. (№ 488).

[138] О Шуленбурге ср. также *Herwarth,* op. cit.; *Günter Wollstein.* Botschafter von der Schulenburg – Überlegungen zum Problem der «Normalität» deutsch-sowjetischer Beziehungen. – Machtbewußtsein in Deutschland am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Hrsg. von Franz Knipping und Klaus-Jürgen Müller. – Paderborn 1984. S. 131–142; *Erich F. Sommer.* Botschafter Graf Schulenburg. Der letzte Vertreter des Deutschen Reiches in Moskau. – Asendorf 1987; *Sigrid Wegner-Korfes.* Botschafter Friedrich Werner Graf von der Schulenburg und die Vorbereitung von «Barbarossa». – Zwei Wege nach Moskau. Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zum «Unternehmen Barbarossa». Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Bernd Wegner. – München und Zürich 1991. S. 185–202; *Ingeborg Fleischhauer.* Diplomatischer Widerstand gegen «Unternehmen Barbarossa». Die Friedensbemühungen der Deutschen Botschaft Moskau 1939 bis 1941. – Frankfürt a. M. 1991.

[139] ADAP. C, III, 1. S. 506 (№ 265).

[140] Ibid. S. 518 (№ 271).

[141] Ср. *Joost,* op. cit. S. 275–283; *Herwarth,* op. cit. S. 97–104, 121.

[142] Ср. *Herwarth,* op. cit. S. 124–130; ADAP. D, I. S. 729 f. (№ 610).

[143] Ср. ADAP. C, IV, 1. S. 765 (№ 383), 797 (№ 404), V, 1. S. 540 (№ 347); *Herwarth,* op. cit. S. 121. – Ещё одним, не столь хорошо подтверждённым, но часто цитируемым примером стратегии Шуленбурга, заключавшейся в малых, но целенаправленных шагах, является соглашение, которое, как утверждается, Шуленбург и Литвинов заключили в октябре 1938 г. В соответствии с ним, должны были быть прекращены с обеих сторон нападки на Гитлера и Сталина в печати и радиопередачах. Ср. *Hilger,* op. cit. S. 274, *Herwarth,* Ibid. S. 162.

[144] *Wegner-Korfes,* op. cit. S. 191 f.; *Hilger,* op. cit. S. 291.

[145] Цит. по *Fleischhauer,* op. cit. S. 20 f.

[146] Ibid. S. 23; *Hilger,* op. cit. S. 291 f.

[147] *Herwarth,* op. cit. S. 206 ff.

[148] Ibid. S. 208.

[149] Цит. по *Robert Gibbons.* Opposition gegen «Barbarossa» im Herbst 1940. Eine Denkschrift aus der deutschen Botschaft in Moskau. Dokumentation. – Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 23 (1975). S. 335 ff.

[150] *Wegner-Korfes,* op. cit. S. 195 f.; *Fleischhauer,* op. cit. S. 219 f.

[151] *Fleischhauer,* op. cit. S. 254 f.; *Herwarth*, op. cit. S. 209; *Linke,* op. cit. S. 21, 225 (№ 121).

[152] *Herwarth,* op. cit. S. 214; *Hilger,* op. cit. S. 304.

[153] ADAP. D, XII, 2. S. 555ff. (№ 423).

[154] Ibid.

[155] Цит. по *Fleischhauer,* op. cit. S. 310.

[156] *Hilger,* op. cit. S. 306.

[157] Ibid.

[158] ДВП. XXIII, 2. S. 654–657, 664–667, 675ff.; ср. также *Hilger,* op. cit. S. 308.

[159] Заявление ТАСС от 14 июня 1941 г., как известно, опровергало утверждение о том, что «Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера» и «СССР будто бы отклонил эти претензии». Понятно, что таким способом предполагалось просигнализировать германским партнёрам готовность Сталина к переговорам, но Гитлер остался верен своему решению – он хотел войны. См. об этом также Linke, op. cit.. S. 22.

[160] ДВП. XXIII, 2. S. 753f.; Fleischhauer, op. cit.. S. 353 ff.

*Дмитрий Соболев*

# САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕССИЯ Юнкерса в Филях и авиационная школа в Липецке. Из истории военно-технического сотрудничества

Вопросам секретного участия Германии в развитии технического оснащения вооруженных сил Советского Союза в 20-е – начале 30-х годов посвящено немало исследований[1]. В них, как правило, рассматривается вся сфера военно-политического сотрудничества. В данной статье, написанной, в основном, на базе неизвестных ранее архивных документов, сделана попытка более детального анализа одной конкретной области довоенного советско-германского альянса, а именно – авиации.

## Изгои мирового сообщества

По окончании Первой мировой войны Россия и Германия оказались в положении изгоев мирового сообщества. После переворота, организованного большевиками в ноябре 1917 г., и последовавшего потом сепаратного мирного договора с Германией страны Антанты прервали дипломатические отношения с Советской Россией. Германия, потерпевшая поражение в войне, была принуждена подписать Версальский договор, лишивший ее части своей территории и поставивший под контроль стран-победительниц. Во избежание экспансии коммунистических идей на Запад, между Россией и Германией был создан так называемый «санитарный кордон» из получившей независимость Польши и других восточноевропейских государств.

Общим для России и Германии была не только их политическая изоляция, но и тяжелое экономическое положение. Промышленность России в результате четырех лет мировой войны, разрушительных революционных событий и последовавшей за тем гражданской войны пришла в полный упадок. Многие квалифицированные специалисты эмигрировали, некоторые были репрессированы как «контрреволюционные элементы», большинство заводов остановилось. Все это привело к резкому снижению боеспособности Красной Армии. Убедительным доказательством тому явилось поражение советских войск от поляков под Варшавой во время «освободительного» похода Красной Армии на Польшу летом 1920 г.

Промышленность Германии также находилась в тяжелом положении. Страна была истощена войной и должна была выплачивать репарации странам-победительницам. Еще хуже обстояли дела в военной области. По условиям Версальского мирного договора армия Германии не должна была превышать 100 тыс. человек, ей запрещалось иметь такие современные виды вооружений как авиация, танки, подводные лодки. Германии воспрещалось также ввозить и вывозить из страны оружие и военные материалы[2].

Все это предопределило начало кооперации Советской России и Германии в военно-промышленной области. Она была выгодна для обеих сторон, т. к. должна была помочь России укрепить свою экономику и армию, опираясь на немецкий научно-технический и военный опыт, а для Германии означало бы возможность развития военной индустрии за границей в обход запретов Версальского договора. «Мы хотим двух вещей: во-первых, усиления России в хозяйственной и политической, т. е. в военной области и, таким образом, косвенно, собственного усиления, поскольку мы укрепляем возможного будущего союзника; далее мы хотим <…> непосредственного собственного усиления, для чего поможем создать в России военную промышленность, которая может послужить нам в случае необходимости», – писал в специальном меморандуме по вопросу советско-германских отношений[3] начальник Управления сухопутных сил Рейхсвера (так назывались немецкие вооруженные силы до 1935 г.) генерал Ганс фон Сект.

Первые контакты начались вскоре после неудачной попытки большевиков осуществить развитие революционных событий в Германии в 1918–1919 гг. по российскому сценарию и поражения в польской компании 1920 г. Тогда правительству Советской России пришлось отказаться от надежд на скорую мировую революцию и перейти к политике вынужденного мирного сосуществования с капиталистическими странами.

Для взаимодействия с советским руководством в военно-промышленной сфере в начале 1921 г. в Германии была создана «Особая группа Р» («Sondergruppe R», R – сокращенно Russland, Россия) во главе с майором Фишером. Вскоре делегация этой группы посетила Россию, а в сентябре 1921 г. состоялся ответный визит советской делегации во главе с членом ЦК РКП(б) Карлом Радеком и руководителем Наркомата внешней торговли Львом Красиным.

Правовую базу политическому и экономическому сотрудничеству заложил подписанный 16 апреля 1922 г. Рапалльский мирный договор между двумя странами. В нем декларировался взаимный отказ от возмещения военных убытков, понесенных в ходе Первой мировой войны и подтверждалось возобновление дипломатических и экономических отношений между Российской Советской Федеративной Республикой и Германией. «Оба правительства будут в доброжелательном духе идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран», – отмечалось в пятой статье договора[4]. После ратификирования Рапалльского договора начальник ВВС РККА Аркадий П. Розенгольц в письме председателю РВС Льву Д. Троцкому сообщал: «Заключение русско-немецкого договора, понятно, необходимо использовать для ускорения переговоров о совместной с нами организации в России военного производства»[5].

Советское руководство имело большие планы по поводу участия немецких военных и технических специалистов в укреплении Красной Армии. Совместно с представителями Рейхсвера был выработан целый комплекс мер, касающихся участия Германии в производстве боевых самолетов, бронетанковой техники, строительства завода по изготовлению иприта, обмена опытом в сфере теории и практики военного дела. Сотрудничеству в области авиастроения придавалось особое значение – ведь это была одна из наиболее наукоемких отраслей техники, требующая применения самых передовых технологий.

## «Юнкерсы» для СССР

К началу 20-х годов положение в советском авиастроении было крайне плохим, я бы сказал – критическим. Основу ВВС Красной Армии составляло небольшое количество устаревших и изношенных самолетов периода Первой мировой войны. Опустошенные войной и революцией, лишившиеся квалифицированных инженеров авиационные заводы не могли наладить выпуск современных машин. Производительность авиапромышленности к 1920 г. снизилась в 10 раз по сравнению с уровнем 1917 г.

Поиск немецких организаций для помощи в создании советской авиапромышленности начался еще до подписания российско-германского соглашения в Рапалло. В 1921–1922 гг. велись переговоры с авиа- и моторостроительными фирмами «Юнкерс», «Саблатник», «Аэро-Унион», «Даймлер», «Аэро-Индустрия». Выбор был сделан в пользу «Юнкерса». Профессор Гуго Юнкерс (1859–1935) был первым, кто сумел наладить серийное производство металлических самолетов из легкого сплава – дюралюминия. Стремясь использовать самые передовые технические достижения при создании собственного воздушного флота, Советское правительство высказало заинтересованность в технической помощи авиационных предприятий «Юнкерса» несмотря на то, что металлические самолеты стоили в 1,5–2 раза больше, чем обычные, деревянные.

Свою роль в выборе «Юнкерса» в качестве будущего партнера сыграли и рекомендации германского военного руководства. Розенгольц, находившийся в 1922 г. в Германии, писал: «… Особая группа чрезвычайно рекомендовала заводы Юнкерса, указывая, что все работы по дальнейшему развитию военной авиации сосредоточены именно у Юнкерса»[6].

Фирма «Юнкерс», спрос на производимые пассажирские цельнометаллические самолеты которой в первые послевоенные годы был очень небольшим, также проявляла интерес к России как к источнику сбыта своей продукции. Предварительные переговоры между фирмой «Юнкерс» и советским руководством начались еще до подписания Рапалльского договора. В декабре 1921 г. в Россию прибыл директор фирмы Готтхард Заксенберг для осмотра заводов и обсуждения деталей сотрудничества с представителями правительства Троцким и Лебедевым. С немецкой помощью предполагалось построить авиационные заводы в Москве, Петрограде и на Волге, с общей производительностью 100 самолетов в месяц. Однако в связи с тем, что для этого потребовались бы слишком большие инвестиции, в качестве первого шага было решено ограничиться передачей фирме «Юнкерс» одного завода для выпуска цельнометаллических самолетов и моторов.

Выбор пал на Первый броне-танково-автомобильный завод в Филях, в то время это был пригород Москвы. Завод был основан в 1916–1917 гг. (тогда он назывался Русско-Балтийским автомобильным заводом) и предназначался для производства 1500–2000 автомобилей в год, но из-за революции и гражданской войны так и не начал выпуск продукции. Он был частично оборудован станками американского производства, были подведены отопление, водопровод, транспортные коммуникации. Однако многие сооружения и техническое оборудование требовали ремонта, т. к. завод бездействовал около пяти лет.

Весной 1922 г. был составлен предварительный проект договора между фирмой «Юнкерс» и советским правительством о передаче «Юнкерсу» в аренду завода в

Филях. Так как советская сторона была заинтересована не только в строительстве авиатехники, но и в организации добычи в РСФСР алюминия и производстве дюралюминия, чтобы создать основу для выпуска собственных металлических самолетов, эти пункты также включили в документ. Кроме того, «Юнкерсу» предлагалось наладить в нашей стране выпуск авиамоторов. Руководство фирмы, незнакомое с условиями работы в России, сначало не хотело идти на слишком большой риск, но потом согласилось на дополнительные задания. Это объяснялось тем, что германское военное руководство во главе с генералом фон Сектом в 1922 г. подписало с фирмой секретное соглашение о выдаче ей безвозмездной ссуды в качестве страховки от технического риска, связанного с организацией производства авиатехники в России. Для конспирации многие ключевые слова в тексте соглашения были зашифрованы. Так, Военное министерство Германии получило обозначение Зондергруппе (Особая группа), Российское правительство именовалось Р. Р., фирма Юнкерс – фирма NN, Дессау (город, где находились заводы Юнкерса) – Лейпциг, вместо слова «самолет» употреблялось слово «ящик» и т. д.[7].

Первую часть ссуды – 40 млн. марок – «Юнкерс» получил сразу же после подписания договора, через месяц ему было выделено еще 100 млн. на развитие самолетостроения в СССР[8]. Солидные денежные дотации военные выдавали Юнкерсу и в последующие два года. В свою очередь руководство фирмы приняло на себя обязательства прилагать все усилия для разработки военных самолетов на заводе в России, учитывая при этом пожелания не только советских заказчиков, но и немецких военных экспертов. Военные круги Германии надеялись превратить самолетостроительный завод Юнкерса в Филях в полигон для разработки немецкой авиатехники и в источник снабжения Германии в будущем военными самолетами.

Советское правительство так же, как и немецкое, возлагало большие надежды на сотрудничество с «Юнкерсом». Планировалось, что эта фирма заложит основу для развития всего комплекса авиастроения в нашей стране. В качестве поощрения «Юнкерсу» давалось право на преимущественное производство алюминия в России, на беспошлинный вывоз нефти, на организацию авиалинии Швеция–Персия через территорию РСФСР, а также на выполнение работ по аэрофотосъемке в нашей стране. Правда, в соглашении оговаривалось, что в случае войны «Юнкерс» должен предоставить в распоряжение РСФСР свои самолеты, авиаоборудование и аэродромы, с последующей компенсацией ему принесенных этим убытков[9].

К концу 1922 г. все детали сотрудничества были согласованы, и 26 ноября 1922 г. фирма «Юнкерс» и советское правительство подписали договор № 1 о выдаче «Юнкерсу» концессии на производство в СССР самолетов и моторов. Одновременно были подписаны дополнительные концессионные договоры № 2 и № 3 о воздушных сообщениях и аэрофотосъемке. 29 января 1923 г. документы ратифицировал Совет Народных Комиссаров СССР.

Так как подписанием указанных договоров Германия нарушала запрет Версальского пакта о недопустимости экспорта немецкой военной технологии в другие страны, все происходило в обстановке секретности. Об этом Розенгольц заранее, 12 ноября 1922 г., предупредил советское правительство конфиденциальным письмом: «На всякий случай напоминаю, что сведения о заключаемых концессиях с Юнкерсом ни в коем случае не должны быть опубликованы»[10].

Согласно основному договору, фирма «Юнкерс» учреждала в СССР «Концессию по производству металлических самолетов и моторов» и получила в аренду на 30 лет Русско-Балтийский завод в Филях и участок земли вблизи завода для создания

аэродрома и постройки поселка для рабочих и служащих. Кроме того, представителям фирмы выделялось в Москве два дома – № 32 на Петроградском шоссе и № 7 по Никольской улице.

По условию контракта производительность завода должна была составлять не менее 300 самолетов и 450 авиадвигателей в год, причем характеристики самолетов должны были быть не хуже, чем у новейших западных машин. Часть построенных самолетов закупалась советскими ВВС по цене средних европейских рыночных цен, остальные – «Юнкерс» мог продавать за рубеж по свободным ценам.

Для бесперебойного выпуска авиатехники немецкая сторона обязывалась уже к середине 1923 г. завезти на завод запас дюралюминия в виде слитков или готовых частей в количестве, достаточном для производства 750 самолетов и 1125 моторов, а также обеспечить завод необходимым производственным оборудованием и квалифицированными специалистами, организовать конструкторское бюро и научную лабораторию с тем, чтобы в будущем завод мог самостоятельно разрабатывать новые самолеты и моторы. Фирма «Юнкерс» должна была отчислять советскому правительству от 5 до 8 % прибыли (в зависимости от количества построенных самолетов) и обучать русских рабочих и инженеров новым методам производства. В штате завода должно было быть не менее 50 % рабочих и 10 % инженеров из России.

В связи с тем, что в качестве неофициального спонсора фирмы «Юнкерс» выступали германские военные власти, среди руководства нового предприятия преобладали немецкие военные чины. Руководителем завода был назначен бывший военный атташе при посольстве Германии в России полковник Шуберт, а его заместителем – сын военного министра Германии Геслер (он работал в СССР под чужой фамилией). Техническим директором завода в Филях стал инженер фирмы «Юнкерс» Шпале (Spahle)[11].

Первым заказом «Юнкерсу» от советских ВВС стал заказ на производство ста металлических самолетов: 70 двухместных разведчиков Ю-20 и Ю-21 и 30 одноместных истребителей Ю-22. На их выпуск фирма получила из советской казны аванс – 1,4 млн. рублей.

Вскоре после ратификации концессионного договора фирма «Юнкерс» приступила к подготовке завода к производству. Приводились в порядок системы отопления и водоснабжения, завозились стапели для сборки самолетов. Из Германии приехало несколько сотен инженеров и рабочих, многие вместе с семьями. Неподалеку от завода начали возводить рабочий поселок для немецкого персонала, планировалось даже открыть в Филях специальную школу для немецких детей. В качестве места для заводского аэродрома был выбран луг около Москвы-реки.

Однако производственная программа явно отставала от намеченного. Из 75 самолетов, которые должны были быть построены к концу января 1924 года по плану, произвели только 20, да и то в Филях в основном происходила сборка, части для самолетов по-прежнему изготавливались на заводе фирмы в Германии. Переоборудование самолетостроительных цехов было еще далеко не завершено, отсутствовали литейное и кузнечное отделения. К подготовке выпуска в СССР авиационных двигателей фирма даже не приступала. «Юнкерс» не завез запас дюралюминия, необходимый для бесперебойной работы завода в следующие годы, также не было сделано реальных шагов по совместному производству дюралюминия в СССР. Не были выполнены и обязательства по созданию самостоятельного конструкторского бюро и научно-исследовательской лаборатории на заводе в Филях, не велось обучение советских специалистов, работавших на этом заводе.

*Группа немецких инженеров у сотого самолета Ю-21 в Филях. 1921 г.*

Согласно договоренности, после освоения производства в Филях «Юнкерс» мог получить в аренду еще Русско-Балтийский завод в Петрограде. Это позволило бы фирме увеличить выпуск авиационной продукции. Однако осенью 1923 г. ее руководство категорически отказалось принять в свои руки второй завод, ссылаясь на экономические трудности и проблемы с «усвоением знаний русскими рабочими»[12].

Имелись серьезные претензии и к качеству немецких самолетов. Из-за того, что вес конструкции Ю-20 и Ю-21 оказался примерно на четверть больше расчетного, при испытаниях они показали меньшую, чем обещали, скорость. Выяснилось также, что на некоторых экземплярах Ю-20 установлены уже бывшие в употреблении двигатели, что снижало и без того невысокие летные характеристики. Из-за большого веса самолетов-разведчиков имели место случаи поломки шасси и деформации фюзеляжа во время посадки. Истребитель Ю-22 не строили, т. к. испытания опытного образца этого самолета в Германии оказались неуспешными.

Несмотря на серьезные недостатки, под давлением Михаила Фрунзе и Розенгольца самолеты у «Юнкерса» все же приняли. Это объяснялось острой нуждой ВВС РККА в самолетах. Кроме того, отказ от приемки означал бы прекращение сотрудничества с «Юнкерсом», а этого военные в то время стремились избежать.

Всего до конца 1924 г. на заводе «Юнкерс» в Филях было изготовлено (в основном – собрано из готовых частей) 20 гидросамолетов Ю-20 и 61 самолет Ю-21, а также небольшое число шестиместных пассажирских Ю-13 вместо 400 самолетов по программе договора. В 1925 г. выпустили еще несколько десятков Ю-21.

Разведчики Ю-20 до 1930 г. применялись в военно-морской авиации Балтийского и Черного морей. После этого несколько экземпляров до 1933 г. использовались для полетов на севере страны – благодаря металлической конструкции самолет хорошо подходил для эксплуатации в суровых северных широтах. В сентябре 1924 г. летчик Борис Чухновский выполнил на Ю-20 одиннадцать полетов с материка на остров Новая Земля. Это были первые в СССР полеты в Арктике.

Ю-21 из-за малой скорости и грузоподъемности как военный самолет применялся мало, его использовали, в основном, для аэрофотосъемки; он находился на вооружении Красной армии до начала 30-х годов.

Наибольшее распространение в СССР получили Ю-13 (F13, по немецкой системе обозначений). В СССР было около 70 машин этого типа. Несколько экземпляров было изготовлено немцами в Филях (там велась сборка военного варианта Ю-13 для экспорта в Персию – с пулеметной установкой за местом пилота; он мог использоваться как бомбардировщик или как военно-транспортный самолет), пять – в мастерских советского общества воздушных пассажирских перевозок «Добролет», остальные самолеты купили в Германии. В 20-е годы Ю-13 являлись основным типом самолета на советских пассажирских авиалиниях. Они начали применяться в 1922 г. для связи Москвы с Нижним Новгородом, где проходила знаменитая Всероссийская ярмарка, затем летали на маршрутах обществ «Добролет», «Укрвоздухпуть», «Сиблет», «Закавиа», «Дерулюфт». Помимо пассажирских перевозок, Ю-13 применялись в санитарной и сельскохозяйственной авиации, использовались для агитационных полетов. В 1924 г. немецкий летчик О. Виприх на Ю-13 по заданию советского командования совершал полеты в районе Хивы для воздушной разведки армии при подавлении восстания басмачей и был награжден за это именными золотыми часами.

В 1924 г. встал вопрос о новом заказе «Юнкерсу». Предложенные фирмой новые типы самолетов не удовлетворили по своим характеристикам военных, и во избежание риска было решено дать заказ на 60 разведчиков Ю-21с, являвшихся усовершенствованным вариантом построенных ранее в Филях Ю-21. Но Юнкерс заявил, что может согласиться на это только при условии более высоких закупочных цен, т. к. из-за роста производственных расходов в СССР заказ на самолеты по прежним ценам для него невыгоден.

Действительно, за время, прошедшее с момента заключения концессионного договора, стоимость рабочей силы в СССР возросла более чем в три раза, увеличилась стоимость строительных материалов, транспортных перевозок. Однако советская сторона, ссылаясь на статью договора о неизменности стоимости самолетов до выполнения концессионером полной производственной программы, настаивала на сохранении прежних цен.

Несмотря на длительные дебаты проблема оставалась нерешенной. 22 января 1925 г. Гуго Юнкерс направил в Москву в Главный комитет по концессиям (ГКК) письмо следующего содержания:

> Мне препровождены данные о результатах восьмимесячных переговоров с Управлением Военных Воздушных Сил по поводу нового заказа. По основательной проверке я совместно с моими сотрудниками пришел к убеждению, что принятие и выполнение заказа невозможно по причинам экономического характера.
>
> Ввиду общих результатов протекшей в России работы и, в особенности, бесплодности переговоров последнего года, во мне и моих сотрудниках созрело убеждение, что в настоящее время отсутствует основа для работы моих тамошних предприятий на экономических началах. Непременные предпосылки для такой работы на экономических началах обсуждались так часто, что я считаю возможным в настоящем письме не вдаваться в подробности.
>
> Считая своим долгом довести о положении вещей открыто и откровенно до сведения Главного Концессионного Комитета, остаюсь, с совершенным почтением, Гуго Юнкерс[13].

Тогда же, в начале 1925 г., немцы почти полностью остановили производство на заводе и прекратили всякие работы по его модернизации. Численность рабочих и служащих была сокращена с 1100 до 200 человек, большинство немецких специалистов уехало на родину. Встал вопрос о дальнейшей судьбе немецкой авиационной концессии.

Многие советские авиационные специалисты были против продления дальнейших контактов с «Юнкерсом», указывая на необходимость развертывания собственного металлического самолетостроения. Но руководство Военно-Воздушных Сил придерживалось иного мнения. В начале 1925 г. Розенгольц писал в Революционный Военный Совет СССР: «Несмотря на неудачу в отношении выполнения первого заказа и несмотря на невыполнение концессионером ряда существенных обстоятельств, считаю, что концессия Юнкерса имеет для Военного Ведомства серьезное значение и что необходимо принять меры к тому, чтобы по возможности концессионного договора с Юнкерсом не разрывать»[14]. При этом он указывал на тяжелое состояние, в котором по-прежнему находилась советская авиапромышленность и на сложности производства отечественного дюралюминия в промышленных масштабах.

Мнение военных оказалось решающим: 24 января 1925 г. на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о желательности сохранить немецкую авиастроительную концессию. При этом подчеркивалась необходимость принять меры для более плодотворной работы Юнкерса в СССР[15].

Весной 1925 г. для обсуждения дальнейшей судьбы концессии в Москву приехал директор фирмы Заксенберг (1891–1961). Переговоры шли трудно. Заксенберг продолжал отстаивать точку зрения Г. Юнкерса об убыточности для фирмы производства самолетов на прежних условиях, советская сторона настаивала на сохранении положений концессионного договора 1922 г. Постепенно дебаты зашли в тупик.

Одновременно с переговорами об экономических основах работы шло обсуждение нового заказа на самолеты. Конструкторы «Юнкерса» предлагали организовать в СССР производство трехмоторного металлического бомбардировщика ЮГ-1, представлявшего собой военный вариант нового пассажирского самолета Юнкерс G 23. В варианте бомбардировщика пассажирский салон самолета переделывался в отсек на 700 кг бомб, ставились более мощные двигатели. Сверху фюзеляжа устанавливались две пулеметные установки, снизу – одна, которая могла выдвигаться во время боя и затем вновь убираться в фюзеляж.

Так как советская авиация в то время не имела своих тяжелых бомбардировщиков, предложение «Юнкерса» показалось заманчивым. «До сих пор в России сконструирован один металлический самолет ЦАГИ со 100-сильным мотором… Сейчас конструируется и скоро будет выведен на разведку [испытания. – *Д.С.*] металлический бомбовоз ЦАГИ, но это все еще опыты. Вместе с тем, металлическое самолетостроение в отношении бомбовозов имеет огромное значение. Поэтому сотрудничество фирмы “Юнкерс”, мне представляется, оспариваться не может», – таково было мнение нового начальника ВВС Петра Баранова (1892–1933)[16].

В июле 1925 г. решили сделать пробный заказ на три бомбардировщика ЮГ-1. Стоимость одного самолета была оценена в 228 тыс. рублей. Несколько месяцев спустя УВВС заказало «Юнкерсу» еще 12 ЮГ-1 по цене 205 тыс. рублей за экземпляр[17].

Это активизировало ход переговоров с немцами. В дело вмешался Троцкий. В директивном письме в Главный концессионный комитет от 9 июля 1925 г. он писал:

> Ввиду состоявшегося решения о даче Юнкерсу серийного заказа на бомбовозы, необходимо немедленно приступить к переговорам с Юнкерсом о пересмотре концессионного договора…. Основной подход должен быть такой: мы рассматриваем аппарат концессионера как необходимое для нас орудие в борьбе за постоянное повышение авиационной техники. С этим должен быть сообразован весь наш подход к этому договору. Производственные интересы концессионера целиком совпадают с нашими интересами. Мы должны подходить к делу не формально, а по существу, устраняя всякие препятствия и трения и всемерно облегчая концессионеру постановку дела. В то же время мы всемерно нажимаем на концессионера, требуя от него максимума…[18].

Вскоре «Юнкерсу» был направлен новый проект концессионного договора, в котором, по сравнению с договором 1922 г., содержался целый ряд экономических уступок. В частности, СССР выделял немцам кредит в 1 млн. рублей для помощи в завершении реконструкции завода в Филях, постройки аэродрома и рабочего поселка. Кроме того, Управление Военно-Воздушных Сил обязывалось предоставлять Юнкерсу заказы на сумму не менее 10–12 млн. рублей в год, а также начислять 20 % прибыли за техническое сотрудничество. Помимо строительства в СССР немецких самолетов и моторов, по новому договору предусматривалось участие немецких специалистов в создании советских опытных военных самолетов, а также более широкое знакомство советских конструкторов и рабочих с научно-техническим опытом фирмы «Юнкерс». Немецкая сторона, в свою очередь, должна была в 1926 г. довести возможности завода до выпуска 400 металлических самолетов в год и наладить там серийное производство авиадвигателей, а к концу 1927 г. – обеспечить использование в Филях отечественного дюралюминия («кольчугалюминий»). Для постоянного обновления авиатехники «Юнкерсу» предлагалось ежегодно проектировать и строить на заводе 1–2 опытных самолета, а каждые два года – один новый авиадвигатель.

Однако и этот вариант не устроил «Юнкерс». Руководство фирмы отказывалось брать на себя конкретные обязательства по моторостроению и участию в производстве кольчугалюминия и требовало дополнительных финансовых льгот, в частности, создания Смешанного советско-германского общества для продажи гражданских товаров своего завода (помимо авиатехники «Юнкерс» производил в Германии различную бытовую технику – вентиляторы, обогреватели и т. д.). Кроме того, «Юнкерс» настаивал на полной самостоятельности своей предпринимательской деятельности в СССР и не проявлял желания участвовать в создании советских опытных самолетов. Вновь началась переписка, согласования, взаимные упреки в неуступчивости…

Тем временем наметились положительные сдвиги в развитии отечественного самолетостроения. Советским металлургам удалось наладить производство кольчугалюминия и начать выпуск изделий из этого авиационного сплава. В 1924 г. начались испытания первого советского цельнометаллического самолета АНТ-2, сконструированного Андреем Туполевым (1888–1972). Он был изготовлен целиком из отечественного дюралюминия. В 1925 г. совершил первый полет двухмоторный металлический самолет ТБ-1 (АНТ-4). По своим характеристикам он превосходил предлагавшийся «Юнкерсом» бомбардировщик ЮГ-1. Одновременно конструкторская группа Туполева завершила создание двухместного металлического самолета-разведчика Р-3 (АНТ-3), который мог летать быстрее, чем построенные в Филях машины.

Улучшилась ситуация и в области авиадвигателестроения: к середине 20-х годов в СССР было организовано серийное производство американского мотора «Либерти» мощностью 400 л. с.

Одновременно велось изучение немецкого опыта строительства металлических самолетов. В 1922 г. Борис Юрьев (1889–1957) опубликовал работу «Крылья типа “Юнкерс”». Дискуссия о достоинствах и недостатках немецких металлических конструкций велась на страницах авиационных журналов – «Вестник воздушного флота», «Техника воздушного флота» и др.

В связи с тем, что руководство фирмы «Юнкерс» ревниво оберегало от советских специалистов, работавших на заводе в Филях, свои производственные секреты, иногда приходилось прибегать к нелегальным методам. В докладе Баранова Председателю РВС Клименту Ворошилову (ноябрь 1925 г.) сообщалось:

Считаю необходимым доложить о возможности постановки производства металлических самолетов на заводе концессионера собственными силами.

I. Личный состав.

1) Главный инженер Юнкерса Шаде и его помощник Черзих состоят на службе в Авиатресте[19].

2) Группа инженеров Юнкерса в 10 чел. также.

3) Поддерживается связь с техсоставом концессионера, выехавшим в Дессау. При первой надобности они могут быть без труда привлечены для работы в СССР, о чем имеются их устные, а частью и письменные заявления.

4) Рабочая сила с возобновлением производства, ранее занятая на заводе, возвратится в значительной части, вследствие хорошей оплаты.

II. Конструкторское Бюро.

1) Бывший конструктор завода Мюнцель может быть привлечен. Связь с ним поддерживается.

2) В данное время зондируется возможность привлечения бывшего конструктора завода Дорнье, ныне работающего у Юнкерса по сбору для нас тяжелых опытных бомбовозов.

3) Для конструкторской работы может быть привлечен Туполев, инженер ЦАГИ. Может быть использован как поставщик новых конструкций опытный завод ЦАГИ.

III. Организация производства.

1) С завода Юнкерса секретным порядком были изъяты все необходимые чертежи, материалы и пр.

2) Группа русских инженеров, ранее работавших у Юнкерса, на основании этих материалов и своего опыта во всех деталях разработала организацию производства, шаблоны, станки, карточную систему учета и прохождения заказов и т. д. Этой разработкой группа инженеров была занята в течение нескольких месяцев. Результаты этой разработки отчасти использованы при ремонте Ю-20, Ю-21 и Ю-13 и при постановке в производство разведчиков ЦАГИ на заводе № 5.

3) Мы имеем все чертежи и материалы для немедленной постановки в производство Ю-20 и Ю-21, изготовлявшихся Юнкерсом, а также Ю-21с, заказ на каковой не был открыт ввиду расхождения в ценах.

4) В данное время на заводе № 5 идет приспособление (чертежи, шаблоны, инструменты и пр.) производства разведчиков ЦАГИ. Это без труда можно будет перенести на завод концессионера.

IV. По условиям личного состава, организации производства, конструкторских работ завод Юнкерса в течение двух месяцев с момента перехода его в наше распоряжение может быть подготовлен для серийного производства самолетов[20].

Все это дало основания Политбюро ВКП(б) начать свертывание сотрудничества с «Юнкерсом». В его решении от 12 ноября 1925 г. содержались следующие директивы:

– Предложить ГКК изменить так условия договора, чтобы обеспечить наиболее выгодное его прекращение.

– Поручить Дзержинскому и Ворошилову обсудить меры по расширению собственного авиационного производства, привлечь иностранных специалистов[21].

Выполняя указания партийного руководства страны, Главный концессионный комитет направил «Юнкерсу» новый вариант концессионного договора, в котором величина гарантированного годового правительственного заказа была снижена до 8 млн. рублей, сокращены сроки подготовки немцами филевского завода для серийного выпуска самолетов и моторов, указывалось на необходимость принятия концессионером мер для снижения стоимости его продукции. Казалось бы, что после этого немецкая сторона непременно должна была отказаться от подписания договора, а так как в этом случае она формально явилась бы инициатором прекращения переговоров, это давало СССР преимущества в спорах об условиях аннулирования концессионного соглашения.

Однако неожиданно немцы стали проявлять уступчивость. Как выяснилось позднее, это было вызвано тяжелой экономической ситуацией, в которую попала фирма «Юнкерс» из-за конфликта с германским правительством по финансовым вопросам.

8 февраля 1926 г. ГКК обратился в Политбюро с запросом. В нем говорилось:

… В настоящее время прибыл в Москву представитель «Юнкерса» г-н Заксенберг. В разговоре с ним создалось впечатление, что он не только готов будет подписать наш первоначальный проект договора, но, возможно, пойдет на соглашение и по ухудшенному для концессионера нами проекту. Так как в этом случае директива Политбюро о разрыве не будет выполнена, ибо затруднительно будет после соглашения с Заксенбергом опять ухудшать для концессионера наш проект договора, то необходимо указание Политбюро, как понимать его решение от 12 ноября 1925 года и нужно ли теперь еще настолько ухудшать для концессионера наш проект договора, чтобы он без сомнения оказался неприемлемым для «Юнкерса»[22].

После обсуждения вопроса с Барановым и Дзержинским, 4 марта 1926 г. Политбюро дало указание о расторжении договора с фирмой «Юнкерс». Советскую авиацию было решено развивать, полагаясь, главным образом, на собственные силы.

Это постановление явилось переломным моментом в истории отечественной авиации. Вместо строительства зарубежных самолетов и эпизодического создания собственных опытных образцов, началась планомерная и систематическая работа по развитию отечественного самолетостроения. К 1930 г. темп производства советских самолетов составлял уже более тысячи экземпляров в год.

В связи с официальным закрытием в 1927 г. немецкой концессии в Филях 15 заказанных ранее «бомбовозов» ЮГ-1 построили на заводе Юнкерса в Швеции. Для конспирации они перегонялись в СССР без вооружения, под видом пассажирских, а в Москве их переоборудовали в бомбардировщики. Так как испытания первого со-

ветского тяжелого бомбардировщика ТБ-1 затянулись, в 1927 г. УВВС приобрело еще восемь ЮГ-1. В 1930–1931 гг., после того, как был налажен серийный выпуск ТБ-1, ЮГ-1 сняли с вооружения и передали в гражданскую авиацию, где их использовали как транспортные гидросамолеты на авиалиниях вдоль Лены и других сибирских рек.

Одному из ЮГ-1 предстояло сыграть важную роль в поисках пропавшей в Арктике экспедиции У. Нобиле при аварии дирижабля «Италия». Самолет, названный «Красный медведь», находился на борту ледокола «Красин». 10 июля 1928 г. экипаж под руководством Чухновского вылетел на разведку с ледового аэродрома, сооруженного около ледокола, и обнаружил нескольких участников экспедиции – так называемую группу Мальмгрена. Ледовые торосы не позволяли произвести посадку, но Чухновский передал на борт корабля координаты потерпевших бедствие и через два дня люди были на борту «Красина». Затем пришлось спасать и экипаж ЮГ-1, потерпевшего аварию во время вынужденной посадки.

В марте 1927 г. авиационный завод в Филях вошел в состав Авиатреста под названием «Завод № 22» (ныне – Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева). За два года, пока завод не работал, часть помещений пришла в негодность, сквозь разбитую стеклянную крышу снег попал в цеха и попортил оборудование. После ремонта там начался выпуск цельнометаллических самолетов Туполева. Однако подготовка к производству на заводе отечественных металлических самолетов началась раньше: уже летом 1926 г. на предприятие прибыла группа из 40 советских специалистов для разработки технологии изготовления бомбардировщика ТБ-1. В конце 20-х и в 30-е годы на заводе велось производство одномоторных истребителей И-4 и разведчиков Р-3, бомбардировщиков ТБ-1 и ТБ-3, пассажирских самолетов АНТ-9.

Ознакомление с немецким опытом строительства металлических самолетов на заводе в Филях облегчило внедрение в серийное производство отечественных самолетов из дюралюминия. Работая вместе с немецкими самолетостроителями, наши рабочие познакомились с новыми технологическими приемами сборки летательных аппаратов, переняли западную культуру производства. Некоторые из них впоследствии стали руководящими работниками советской авиапромышленности.

Однако в целом существование концессии Юнкерса задержало развитие авиастроения в нашей стране. Надеясь на то, что немецкие специалисты создадут с СССР самолето- и двигателестроительную базу, отвечающую последним достижениям науки и техники, советское руководство не уделяло достаточного внимания работам отечественных авиаконструкторов и ученых. На оплату Юнкерсу уходило до трети средств, выделяемых на развитие авиации в СССР, ведь завод в Филях представлял собой крупное по тем временам предприятие: к началу 1925 г. там работало более тысячи человек, площадь производственных помещений составляла 15 тыс. м$^2$ (для сравнения – всего в советской авиапромышленности в 1925 г. работало 5114 человек). Но… «гора родила мышь». Когда выяснилось, что качество и количество самолетов, производимых концессией в Филях, не соответствует потребностям ВВС, а выпуск там двигателей откладывается на неопределенный срок, наша страна была вынуждена тратить деньги на закупку авиатехники за рубежом. До середины 20-х годов в Голландии, Италии, Англии, Франции и США было приобретено более 700 истребителей и разведчиков, авиадвигатели BMW, «Лорен-Дитрих», «Сидлей-Пума», «Либерти» на сумму 11 млн. рублей.

*Одно из зданий фирмы «Юнкерс» в Филях (современное фото). Фасад почти не изменился*

Итак, деятельность фирмы «Юнкерс» в СССР не оправдала ожиданий: завод в Филях не стал основой для развития в нашей стране передовой авиапромышленности. В документах 20-х годов встречаются различные объяснения этому.

Главной причиной невыполнения производственной программы по выпуску металлических самолетов в Филях и невозможности создания запасов дюралюминия для будущего производства представители немецкой фирмы называли проблему доставки дюралюминия с Дюренских металлургических заводов, расположенных в оккупированной Францией Рурской области Германии. В результате фирма, по их словам, испытывала острую нехватку в материалах для авиастроения в СССР[23].

Действительно, Франция была обеспокоена деятельностью Юнкерса в СССР и старалась ей препятствовать. В докладе в Париже французской группы представителей Антанты в Германии (1923 г.), перехваченном советской внешней разведкой, говорилось:

> Наша агентура сообщает, что из всех германских фирм в России наиболее энергично в области воздухоплавания работает Юнкерс, являющийся главным поставщиком Красного воздушного флота и его резерва – гражданского воздухоплавания. Обращая на это самое серьезное внимание своего правительства, французская миссия указывает на действенный способ уменьшить эту опасность. Аэропланы Юнкерса изготавливаются из дюралюминия, который фирма «Юнкерс» получает из оккупированной нами зоны. Следует полностью прекратить доставку этого металла в неоккупированную область Германии и таким образом вынудить сокращение производства…. По нашим сведениям, наличный запас дюралюминия у Юнкерса весьма невелик и вышеуказанные меры, если будут поддержаны союзными правительствами, нанесут значительный ущерб германо-русскому воздухоплаванию[24].

Задержку с подготовкой к производству авиационных двигателей на заводе в Филях немцы объясняли тем, что обсуждение намеченного к выпуску типа двигате-

ля слишком затянулось, и окончательное решение было принято только в конце 1923 г. Что касается неудовлетворительных летно-технических данных самолетов Ю-20 и Ю-21, то, по словам Заксенберга, эти машины являлись пробными и их следовало рассматривать не как боевые, а как учебные[25]. Между тем советское военное руководство рассчитывало на производство Юнкерсом прежде всего боевых самолетов.

Нашлись объяснения и невыполнению обязательств по организации добычи алюминия и производства дюралюминия – отсутствие в СССР подходящих для этой цели предприятий (за исключением Кольчугинского завода, руководство которого уклонялось от сотрудничества с «Юнкерсом», т. к. было занято организацией производства отечественного алюминиевого сплава).

Другой точки зрения придерживалось Объединенное главное политическое управление СССР (ОГПУ). Там считали, что руководство фирмы «Юнкерс» сознательно не выполняет договор с целью подорвать военную мощь нашей страны и создать тем самым предпосылки для ликвидации советской власти.

ОГПУ начало проявлять интерес к деятельности фирмы «Юнкерс» в СССР в конце 1923 г., когда революционные веяния в Германии сменились наступлением реакции. Среди сторонников «правых» сил были и некоторые сотрудники Юнкерса. В конце августа 1923 г. наш агент сообщал командующему ВВС РККА Розенгольцу: «В Дессау на авиационных заводах, работающих по русским заказам, состоялось соглашение между тамошними инженерами и правыми баварскими организациями, по которому в случае революционного движения в Германии, или выступления в Баварии, все готовые аппараты [самолеты. – *Д.С.*] передаются баварским правым руководителям»[26].

Новый внешнеполитический курс Германии, ориентированный на сотрудничество с Западом и подавление революционной деятельности внутри страны, вызвал охлаждение советско-германских отношений и дал повод к поиску врагов среди немецких предпринимателей в СССР. В декабре 1923 г. Феликс Дзержинский дал указание своему заместителю Вячеславу Менжинскому о необходимости иметь со стороны ОГПУ постоянный надзор за деятельностью концессионеров в нашей стране. Позднее (в 1925 г.) он писал: «У меня сложилось впечатление, что вообще Германское правительство и монархические и национальные круги ведут работу на низвержение большевизма в СССР и ориентируются на будущую монархическую Россию… Случайно ли, что концессия Юнкерса фактически почти нам ничего делового не дала?»[27].

Так как в вопросе руководителя ОГПУ ясно просматривался ожидаемый ответ, сотрудники управления быстро собрали весь мыслимый и немыслимый компромат на представителей фирмы «Юнкерс». В подготовленном ими документе сообщалось и о связях генерала фон Секта и руководителей фирмы с фашистскими и монархическими партиями, и о преднамеренном строительстве негодных в военном отношении самолетов для СССР, и о ведении шпионажа во время полетов немецких самолетов над нашей территорией, и о контрабандной деятельности сотрудников Юнкерса, и даже о том, что фирма тайно ввозит в СССР для диверсионных целей яды и отравляющие газы. На основании этого делался вывод, что фирму «Юнкерс» следует рассматривать как шпионско-контрреволюционную организацию, целью которой является развал советской авиапромышленности[28].

На мой взгляд, все эти версии несостоятельны. Летом 1923 г. немцы действительно столкнулись с ограничениями на вывоз дюралюминия из оккупированной Францией Рурской области, но никто не мешал «Юнкерсу» закупать дюралюминий за границей, как это делала, например, немецкая фирма «Дорнье». Единственным препятствием уже в конце 1923 г. начать подготовку к выпуску авиадвигателей на заводе в Филях было то, что в это время Юнкерс попросту не умел строить авиационные моторы, его фирма была в начале чисто самолетостроительным предприятием. При рассмотрении вопроса о трудностях с организацией выпуска дюралюминия на заводах в нашей стране следует иметь в виду, что «Юнкерсу» предлагалось наладить в СССР самостоятельное производство, т. е. организовать новый завод по выпуску изделий из дюралюминия.

Если говорить о выводах ОГПУ о шпионско-диверсионных целях немецкой концессии и о связях руководства фирмы с фашистскими и антисоветскими организациями, то, с современных позиций, очевидно, что они были беспочвенными. Как все предприниматели, Юнкерс заботился прежде всего о прибыли от своей деятельности в СССР, а развал советской авиапромышленности не принес бы ему никаких дивидендов. Несоответствие построенных им в Филях самолетов современным техническим требованием объясняется отсутствием опыта в создании военных самолетов – в течение нескольких лет после поражения Германии в мировой войне фирма занималась выпуском только пассажирских машин. Недовольство советской стороны выполнением этого заказа привело к задержке в выдаче немцам нового контракта и принесло Юнкерсу немалые убытки.

После прихода к власти фашизма в Германии Гуго Юнкерс подвергся нападкам из-за своих пацифистских высказываний и участия в развитии советской авиации и в конце 1933 г. был вынужден покинуть основанную им фирму[29]. Ранее из-за расхождений во внешнеполитических взглядах с германским правительством лишился своей должности и приверженец германско-советского военно-экономического сотрудничества, один из организаторов концессии Юнкерса в СССР генерал фон Сект, которого ОГПУ называло главным врагом Советской власти.

В чем же истинные причины неудачи деятельности Юнкерса в СССР, на которую наша страна возлагала такие надежды?

Несомненно, что в неуспехе концессии во многом виноват сам Гуго Юнкерс. Он оказался не вполне честным партнером. Большую часть денег, полученных от советского правительства и германского военного руководства, он, вопреки заключенным соглашениям, расходовал не на развитие производства в СССР и улучшение характеристик изготовленных в Филях самолетов, а на нужды своего самолетостроительного завода в Дессау и создание авиамоторного завода в Германии, на организацию новых коммерческих авиалиний и строительство отделений фирмы в Турции и Швеции. По данным немецкого исследователя Висмана[30], из 8 млн. золотых марок, выделенных военными кругами Германии на производство боевых самолетов в СССР, фирма «Юнкерс» инвестировала на эти цели только чуть больше 2 млн. Стремясь сохранить монополию на производство металлических самолетов и возможность диктовать цены на эту продукцию, руководство фирмы всячески затягивало организацию научно-исследовательского центра на заводе в Филях и обучение советских специалистов, уклонилось от оказания помощи в налаживании производства дюралюминия и моторов в СССР, отклонило предложение о создании вместо концессионного завода совместного советско-германского авиационного предприятия.

Определенная доля вины в низкой результативности концессионного договора лежала и на советских руководителях. Это – столь характерные для нашей страны бюрократизм и волокита в решении оперативных вопросов (с жильем для немецких специалистов в Москве, с разрешением таможенных проблем при доставке оборудования из Германии и т. д.), неуступчивость в финансовых вопросах при обсуждении их с представителями фирмы в 1924 – начале 1925 гг.

Однако главная причина расторжения концессии заключается в том, что к середине 20-х годов в результате политических и экономических изменений в СССР и Германии участие «Юнкерса» в развитии советской авиапромышленности уже не представлялось столь желательным, как несколько лет назад. В Советском Союзе появились предпосылки для самостоятельного развития авиации, которому мешало существование иностранных концессий. Германия после подписания в 1925 г. договора с западными соседями начала развивать экономические отношения с Западом и уже меньше была заинтересована в техническом сотрудничестве с Россией, в том числе и в области авиастроения. Об этом свидетельствуют строки из письма руководителя «Особой группы» Рейхсвера Г. Фишера представителю немецкого военного командования в Москве Герман фон дер Лит-Томсену, написанного в начале 1926 г.:

> … из политических соображений мы должны держаться за мысль о предприятии в Филях, но <…> технические соображения не играют для нас, однако, более той роли, какую они играли в 1922 г. Ввиду того, что мы не хотим вкладывать нового капитала в предприятие в Филях, при обсуждении различных возможностей отпадают те из них, которые означают для нас финансовое бремя[31].

Еще более неудачно закончилась попытка создания в СССР с помощью немецких инженеров завода по производству отравляющего вещества – иприта. Фирма «Штольценберг», которой Рейхсвер поручил создание такого завода и выдал на эти цели несколько десятков миллионов марок, фактически обманула и немецкое командование, и советское руководство. Поставленное «Штольценбергом» техническое оборудование не соответствовало условиям подписанного в 1923 г. договора, а методы производства иприта нашими специалистами, а впоследствии и немецкими, были признаны устаревшими и негодными. В 1927 г. соглашение с фирмой расторгли.

Закрытие предприятия «Юнкерс» и неудавшийся проект постройки с помощью немцев ипритного завода заставили руководителей Советского Союза пересмотреть свое отношение к иностранным концессиям. В дальнейшем доминирующей стала политика приобретения лицензий на производство в СССР западных образцов оружия или покупка готовой продукции. Наряду с этим все больший вес приобретало собственное военное производство.

## Секретная авиашкола

Связи с немецкими промышленными фирмами, специализирующимися на выпуске вооружений, – это лишь часть комплексной системы кооперации Германии и СССР в военно-промышленной области в 20-е годы. Значительную роль в этом сотрудни-

*Офицеры ВВС Красной Армии изучают немецкий самолет «Альбатрос» в Липецке*

честве играло взаимодействие Рейхсвера и советского военного руководства в чисто военной сфере[32]. Применительно к авиации это выражалось в создании в СССР секретной немецкой авиационной школы.

Первый шаг к появлению этой школы был сделан еще при Ленине, в 1920 г., когда немецкое руководство обратилось к правительству Советской России с предложением о создании на ее территории немецких учебных военных курсов. На заседании Политбюро, где рассматривалось это предложение, его в целом одобрили, однако, в целях конспирации подготовку немецких военных специалистов решили организовать не в Москве, а в небольших провинциальных городах России[33]. Стимулом к принятию немецкого предложения было желание большевиков перенять немецкий военный опыт и познакомиться с современной военной техникой, в том числе, с авиационной. Кроме того, советское руководство надеялось на помощь Рейхсвера в привлечении немецких промышленников к восстановлению военного потенциала России и стремилось поддерживать с ним хорошие отношения.

Организацией авиашколы занималась так называемая «Авиационная инспекция» или «Инспекция № 1», отвечающая за подготовку военных летчиков для Германии. Первые практические шаги были сделаны в 1923 г., когда немецкое военное министерство через посредника, крупного немецкого промышленника Гуго Стиннеса, купило у фирмы «Фоккер» в Голландии 50 одноместных истребителей Фоккер DXIII для будущей авиашколы. Официально заказ якобы выполнялся для ВВС Аргентины[34].

В 1924 г. в Советский Союз выехала первая группа немецких военных авиационных специалистов – Мартин Фибиг (в годы второй мировой войны – генерал люфтваффе), К. Лите, Г. Иоганненсон, Р. Хазенор и И. Шредер. Позднее к ним присоединились еще несколько человек. Некоторое время они работали по контракту консультантами в Управлении ВВС РККА и Военно-воздушной академии в Москве, затем часть группы вошла в штат немецкой авиашколы.

В качестве места для организации центра подготовки немецких военных летчиков советское правительство выделило аэродром на северо-западной окраине Липецка, на котором базировалось подразделение ВВС РККА. До 1917 г. здесь находился завод по сборке самолетов, а в 1918 г. на липецком аэродроме (бывший

ипподром) располагался отряд многомоторных самолетов «Илья Муромец», которые использовались против войск Мамонтова и Шкуро, наступавших с юга на Москву. После окончания гражданской войны в Липецке организовали высшую летную школу, но просуществовала она недолго: в 1924 г., освобождая место для немцев, ее закрыли, а личный состав и имущество разделили между другими авиашколами. В городе остался только один авиационный отряд. Сначала он входил в состав 40-й эскадрильи им. В.И. Ленина, а после ее убытия на Дальний Восток – в 38-ю отдельную авиаэскадрилью.

После осмотра немецкими представителями аэродрома и прилегающих построек 15 апреля 1925 г. в Москве представители УВВС и «Особой группы» подписали соглашение о создании авиационной школы. Советская сторона передала немцам для использования аэродром и здание бывшего завода, а также обещала помочь в строительстве дополнительных помещений, необходимых для функционирования авиашколы, и снабжении ее рабочим персоналом и горючим. Аэродром должен был использоваться совместно немецкими пилотами и летчиками советского авиаотряда. С советской стороны договор подписал командующий ВВС Баранов, с германской – полковник Лит-Томсен. Одновременно были утверждены договоры об организации на территории СССР немецкой танковой школы «Кама» и испытательного центра «Томка» по изучению возможностей боевого применения отравляющих веществ.

В связи с тем, что в Липецком авиационном учебном центре должны были проходить подготовку не только немецкие, но и советские летчики и авиамеханики, финансовые условия соглашения были весьма благоприятны для германской стороны. За пользование аэродромом и заводским помещением деньги не брались, немцы оплачивали только обслуживание, горючее и строительные работы.

Начальником Липецкой авиашколы немцы назначили майора Вальтера Штара, в годы Первой мировой войны командовавшего отрядом истребителей на германско-французском фронте. Несмотря на нелестные отзывы местного УГПУ о политическом лице этого человека («… приверженец Гинденбурга, нацист весьма крутого нрава, требователен и беспощаден. К советской власти настроен исключительно враждебно, не может переваривать русских»)[35], Штар находился на посту руководителя школы целых пять лет. Такую нехарактерную для большевиков терпимость к инакомыслящим можно объяснить только острой заинтересованностью в то время в военном сотрудничестве с Рейхсвером.

Создание школы началось со строительства складов, ангаров, жилых зданий для немецкого персонала и ряда других помещений. Этими работами занималась строительная контора, которой руководил бывший немецкий летчик-ас Э. Бориан. Были сооружены две казармы, жилой дом, несколько производственных помещений, телефонная станция. На обустройство Рейхсвер выделил немалые деньги – в переводе на советскую валюту более двух миллионов рублей.

В июне 1925 г. из германского порта Штеттин в Ленинград отправился пароход «Гуго Стиннес-IV» с упакованными в ящики истребителями Фоккер DXIII для Липецкой авиашколы. Тогда же из Германии в СССР направились первые летчики-инструкторы (в большинстве это были личные знакомые майора Штара) и летчики-курсанты.

Само собой разумеется, все делалось конспиративно. Самолеты и другое оборудование перевозились как коммерческие грузы через специально созданное акционерное общество «Метахим», а немецкие летчики направлялись в СССР под видом

сотрудников частных фирм или туристов, в гражданской одежде, с паспортами на вымышленное имя. В Липецке они ходили в гражданской одежде или носили советскую форму без знаков различия. Немецкое авиационное подразделение в советских документах фигурировало под названием «4-й авиационный отряд 38-й (позднее – 40-й) авиаэскадрильи ВВС РККА», а немецкий персонал был зашифрован словом «друзья»[36]. В германских документах организация в Липецке обозначалась как «научно-испытательная авиационная станция» или просто «станция»[37].

Нарушения секретности строго пресекались. Об этом свидетельствует следующий циркуляр РВС СССР от 8 января 1926 г.:

> По имеющимся сведениям, при приемке заграничных грузов из Ленинградской таможни наблюдаются случаи нарушения строгой конспирации. Приемщики из Липецка прибывают в военной форме и, стараясь скорее протолкнуть груз до места назначения, называют его военным, срочным и т. д., и т. п. Сообщая о вышеизложенном, прошу принять решительные меры к соблюдению строгой конспирации при приемке заграничных грузов для Липецка[38].

Первоначально немецкая авиационная школа состояла из штабной группы, возглавляемой Штаром и отдела подготовки летчиков-истребителей под руководством Карла Аугуста Шенебека (1898–1989), также известного летчика времен Первой мировой войны. Тренировки начались 15 июля 1925 г. Курс обучения летчика-истребителя был рассчитан на четыре недели интенсивных полетов, численность одной учебной группы составляла 6–7 человек. Летчики-инструкторы подбирались из числа наиболее опытных немецких пилотов времен Первой мировой войны. Обучаемыми сначала были летчики, проходившие переподготовку, затем стали поступать новобранцы. После окончания школы им присваивалось соответствующее воинское звание, без указания принадлежности к авиации.

Деятельность липецкой школы с самого начала не ограничивалась подготовкой кадров для будущих германских ВВС. Советское руководство было заинтересовано, в первую очередь, в использовании немецкого летного опыта и знакомства с немецкой авиатехникой для укрепления собственных ВВС. Уже в 1925 г. были устроены состязательные полеты немецких и советских истребителей, которые показали превосходство Фоккер D XIII перед истребителями Фоккер DXI, закупленными ВВС РККА в Голландии в 1924 г. Советским летчикам также разрешили самим испытать DXIII в полете.

Весной 1926 г. на совещании руководителей советских и германских ВВС подводили итоги первого года работы авиашколы. Присутствовавший на совещании заведующий Авиационным отделом Рейхсвера старший лейтенант Вильберг заявил о планах расширения деятельности школы истребителей и создания учебного отряда разведывательных самолетов для обучения летчиков-наблюдателей и опытов по аэрофотосъемке. Эти предложения были поддержаны советской стороной. «С нашей стороны Вы можете рассчитывать на самое полное содействие и поддержку… Все основано на идейном сотрудничестве», – заявил на совещании один из руководителей ВВС РККА военный комиссар Р.А. Муклевич[39].

Для подготовки летчиков-наблюдателей летом 1926 г. в Липецк привезли восемь немецких двухместных разведчиков Хейнкель HD 17 с двигателем «Нэпир Лайон», 450 л. с. Эти самолеты проектировались и строились фирмой «Хейнкель» по зада-

нию Рейсхвера специально для липецкой авиашколы. Эрнст Хейнкель (1888–1958) пишет в мемуарах:

> Когда я вернулся из Швеции в Варнемюнде, мне сообщили, что меня хочет видеть один посетитель. При встрече он не представился. Позже я узнал, что его фамилия Штудент. Несмотря на то, что он был одет в штатское, с первых слов его я догадался – передо мной военный. Он поставил условие, чтобы наша беседа оставалась в тайне.
> После нашего первого состоявшегося с ним разговора так и не стало ясно, кого он представляет на самом деле. Только по истечении времени я понял, кто он, и истинную причину его посещения.
> С разрешения тогдашнего правительства Рейхсвер оказывал содействие в реорганизации армии Советской России. Эта страна нуждалась в тех достижениях, которые имела Германия в техническом отношении. Авиационным отделом в Рейхсвере заведовал Вильберг. Он совершил поездку в Россию для изучения возможности обучения там летчиков на самолетах, тайно построенных в Германии.
> Для меня тогда так и осталось непонятным, почему посетитель расспрашивал о возможности создания сухопутного самолета со скоростью 220 км/ч и потолком 6000 метров, который можно было использовать в качестве ближнего разведчика. Я поинтересовался, какими финансовыми возможностями он обладает. Тот усмехнулся и заявил, что готов купить такой самолет немедленно, как только его построят. После некоторого размышления я согласился.
> Так, начиная с 1923 года, я стал участником работ по вооружению немецкой армии, которые, к изумлению судей на Нюрнбергском процессе, субсидировались самим правительством. Мой первый предназначенный для Рейхсвера самолет HD-17 пришлось строить тайно, играя в кошки-мышки с комиссией по надзору за строительством аэропланов. Эта игра была чрезвычайно опасной для меня. Я мог лишиться всего или попасть под неусыпный контроль и постоянный надзор. Во многом, наверное, мне помогла судьба[40].

В Липецк было доставлено также несколько учебных самолетов фирм «Хейнкель», «Юнкерс» и «Альбатрос» и двухместные многоцелевые военные самолеты «Альбатрос» L 76 и L 78, нелегально построенные по заданию Рейхсвера. Осенью 1926 г. немецкая авиационная школа располагала 52 самолетами. С годами авиапарк школы увеличился.

Следует, однако, сказать, что в связи со сравнительно небольшим числом учебных групп были задействованы далеко не все самолеты. По донесению старшего летчика С.Г. Короля, ответственного за связь с немецким авиаотрядом, в середине 1927 г. только 11 Фоккер DXIII использовались для обучения, остальные машины хранились в ангарах в разобранном виде[41]. Эти самолеты, по-видимому, должны были служить в качестве резерва германских ВВС на случай военных действий.

При оценке немецкого авиапарка в Липецке необходимо учитывать также весьма большие потери самолетов в результате аварий при обучении пилотов. Чаще всего они происходили при посадках. Согласно немецким документам, к концу 1929 г. из-за аварий был выведен из строя каждый седьмой Фоккер DXIII[42]. Многие из них пострадали по вине русских летчиков-курсантов. В сообщениях для УВВС РККА упоминается о шести таких случаях в 1926–1927 гг.[43]. Четыре самолета (в том числе – три двухместных) были потеряны в 1930 г. Но особая интенсивность аварий наблю-

далась летом 1933 г.: всего за 18 дней во время учебных полетов произошло шесть аварий.

Как уже говорилось, большинство аварий происходило при посадке, на небольшой скорости, поэтому обходилось без жертв. Но иногда потери все-таки были. В 1930 г. на высоте 3000 м столкнулись два немецких самолета: одноместный истребитель и двухместный разведчик. Летчики успели спастись на парашютах, но стрелок-наблюдатель Амлингер не смог покинуть самолет и погиб. Еще одно столкновение самолетов в воздухе произошло летом 1933 г., незадолго до закрытия школы. Два истребителя DXIII, пилотируемые немецкими летчиками, налетели друг на друга на высоте 700 м. Летчик одного из самолетов сразу же выбросился с парашютом и благополучно приземлился, а второй летчик, по фамилии Поль, замешкался и покинул самолет, когда до земли оставалось всего несколько десятков метров. Парашют не успел раскрыться… Гибли не только курсанты. При испытании самолета-разведчика «Альбатрос» L 76 в районе Смоленска разбился опытный немецкий летчик Эмиль Туй (1894–1930).

Тела погибших отправляли в Германию. Если о катастрофе становилось известно прессе, дело представляли как летное происшествие на спортивном самолете.

Число летчиков и обслуживающего персонала в школе неуклонно росло. В 1925 г. постоянный состав учебного центра насчитывал всего 7 немцев и около 20 русских, а через несколько лет он вырос примерно до 200 человек. В 1932 г. численность авиашколы достигла максимума – 303 человек, в том числе немцев – 43, советских военных летчиков – 26, советских рабочих, техников и служащих – 234.

Зимой, когда аэродром покрывался снегом, численный состав резко сокращался. Однако некоторые немецкие специалисты оставались в Липецке и в холодное время года. Об этом свидетельствует сообщение о доставке в Липецк из Германии в конце 1927 г. 30 пар меховых сапог, 25 меховых воротников, 50 масок для защиты лица от холода, другой теплой одежды. Зимой самолеты устанавливали на лыжи, как было принято в советских ВВС. Для поездок по заснеженным просторам немцы использовали аэросани.

По мере расширения школы усложнялась и программа обучения. Кроме тренировочных полетов летчики упражнялись в стрельбе из пулеметов по мишеням, буксируемым за самолетом, проводились учебные бои истребителей, «слепые» полеты. На полигоне, выделенном немцам на северо-западной окраине города, отрабатывалась техника бомбометания (в том числе – с пикирования) по деревянным макетам, проходили испытания новые типы прицелов. Очевидно, что в Германии, контролируемой западными союзниками, такие упражнения были бы абсолютно невозможны. Совершались полеты для тренировок в воздушной разведке и аэрофотосъемке. Было запланировано также освоение высотных полетов, однако из-за недостаточного запаса жидкого кислорода опыты ограничились выполнением упражнений на высотах 5–6 тысяч метров, где можно было еще обходиться без кислородной маски.

В 1931 г. немецкие летчики приняли участие в совместных маневрах с советской авиацией. В ходе этих учений отрабатывались действия истребителей против дневных бомбардировщиков. Кроме того, на военном полигоне под Воронежем немецкие пилоты вместе с советскими артиллеристами тренировались в корректировке артогня с воздуха.

Еще одним направлением совместной работы липецкого авиационного центра и Красной Армии было изучение возможностей применения самолетов для распыле-

ния отравляющих веществ. Как известно, Германия практиковала использование отравляющих веществ во время Первой мировой войны и неслучайно, что одним из тайных центров Рейхсвера в СССР была организация «Томка» в районе г. Вольска, предназначенная для опытов по созданию и применению отравляющих веществ. В СССР использованию авиации для химического воздействия, в том числе и военного, придавалось большое значение. Примером этому является слияние в 1925 г. двух общественных организаций «Общество друзей воздушного флота» и «Доброхим» в одну – «Авиахим».

В липецких мастерских для опытов ведения химической войны с воздуха самолеты оборудовались так называемыми выливными авиационными приборами (ВАП) – приспособлениями для распыления отравляющих веществ в полете. Эксперименты начались в 1926 г. Иосиф Уншлихт (1879–1938) докладывал Сталину:

> …Вся первая часть программы выполнена. Было произведено около 40 полетов, сопровождающихся выливанием жидкости с различных высот. Для опытов применялась жидкость, обладающая физическими свойствами, аналогичными иприту. Опыты доказали полную возможность широкого применения авиацией отравляющих веществ. По утверждению наших специалистов, на основании этих опытов можно считать установленным, что применение иприта авиацией против живых целей, для заражения местности и населенных пунктов – технически вполне возможно и имеет большую ценность[44].

В 1927 г. опыты были продолжены.

Немецкие летчики, приехавшие в Липецк, жили в специально построенной для них казарме, по их словам, весьма чистой и благоустроенной. Как правило, каждый имел свою комнату. Семейные офицеры снимали квартиры в городе. Позднее для них недалеко от аэродрома возвели трехэтажный жилой дом с коммунальными квартирами. Чтобы скрасить часы досуга, построили казино – уютный деревянный домик с садом. Правда, на первых порах не обошлось без осложнений: при досмотре у прибывших в авиашколу в начале 1927 г. немцев было конфисковано 50 колод карт и 20 комплектов игральных костей в качестве предметов, запрещенных к ввозу в СССР[45].

Странно, но, несмотря на строгие меры секретности доставки грузов и специалистов в липецкий авиацентр, в самом Липецке немцы могли без каких-либо ограничений ходить по городу, выезжали в его окрестности. Некоторые обзавелись здесь семьями. Известны также случаи, когда немецкие самолеты, доставленные в Липецк под видом коммерческого груза, распаковывались из ящиков прямо на станции и на виду у всего города перевозились на аэродром. Вероятно, советское руководство не без оснований полагало, что информация из далекой российской провинции не дойдет до международной комиссии, наблюдавшей за выполнением условий Версальского договора.

Еще более удивительно, что советские власти практически не ограничивали маршруты полетов немецких самолетов. Они летали над всей центральной черноземной областью, производили съемки Воронежа, Ельца, других населенных пунктов и железнодорожных станций; снимки обрабатывались немецким персоналом в фотолаборатории авиашколы. В августе 1928 г. трехмоторный «Юнкерс» с немецким экипажем из четырех человек совершил полет в немецкую колонию в Привол-

жье для ознакомления с жизнью колонистов. При этом производились посадки в Куйбышеве, Саратове, Казани.

Какое-то объяснение этой поразительной беспечности, хотя и не очень убедительное, можно найти в докладе руководителя армейской разведки Яна Берзина по вопросам сотрудничества РККА с Рейхсвером, подготовленном для Климента Ворошилова в конце 1928 г.:

> Нет сомнения, что все немецкие предприятия, кроме прямой своей задачи имеют также и задачу экономической, политической и военной информации (шпионаж). За это говорит хотя бы то, что наблюдающим за всеми предприятиями состоит такой махровый разведчик германского штаба, как Нидермайер. С этой стороны предприятия приносят нам определенный вред. Но этот шпионаж по всем данным не направлен по линии добычи и собирания секретных документов, а ведется путем личного наблюдения, разговоров и устных информаций. Такой шпионаж менее опасен, чем тайный, ибо не дает конкретных документальных данных, а ограничивается лишь фиксированием увиденного[46].

В 1929 г., когда сталинский режим начал первую волну репрессий против своего народа, липецкое ОГПУ, дабы показать свою бдительность, провело операцию «летчики», во время которой было схвачено девятнадцать советских граждан, связанных по работе с немецкой школой. Были ли некоторые из них действительно замешаны в шпионаже и как сложилась судьба арестованных, неизвестно.

Между тем немцы беспрепятственно продолжали подготовку пилотов. Всего за 8 лет существования авиашколы в Липецке в ней было обучено или переподготовлено 120 летчиков-истребителей для Германии (30 из них являлись участниками Первой мировой войны, 20 – бывшими летчиками гражданской авиации). Среди них – будущие асы и высокопоставленные офицеры Люфтваффе Ханс Ешонек, Шпайдель, Курт Штудент, шеф-пилот фирмы «Хейнкель» Ничке и другие. За 1927–1930 гг. было подготовлено также около 100 немецких летчиков-наблюдателей; с 1931 г. их обучение велось в Германии.

Точное число советских авиационных специалистов, прошедших обучение под руководством немецких инструкторов, установить не удалось, однако, можно предположить, что оно незначительно уступало указанным выше цифрам, т. к. известно, что только за один 1926 г. подготовку в Липецкой авиашколе прошли 16 советских летчиков-истребителей и 45 авиамехаников. Правда, курс летного обучения был весьма непродолжительный – всего 8,5 летных часов. Кроме того, при школе была создана группа из 40 квалифицированных рабочих, которые под руководством немецких инженеров знакомились с новыми приемами работ по дереву и металлу.

Подводя итоги деятельности липецкой авиашколы за 1925–1926 гг., Уншлихт писал:

> Школа своей работой дает нам: 1) капитальное оборудование культурного авиагородка; 2) возможность в 1927 г. поставить совместную работу со строевыми частями; 3) кадры хороших специалистов, механиков и рабочих; 4) учит новейшим тактическим приемам различных видов авиации; 5) испытание вооружения самолетов, фото, радио и др. вспомогательных служб дает возможность путем участия наших представителей быть в курсе новейших технических усовершенствований; 6) дает возможность подготовить наш летный состав к полетам на истребителях и, наконец; 7) дает возможность путем временного пребывания в школе наших летчиков пройти курс усовершенствования[47].

Кроме официального сотрудничества, имело место и нелегальное изучение немецкого опыта. «Одному механику я даю секретные задания», – докладывал начальству С.Г. Король[48].

Подготовка военных летчиков была только одним из направлений деятельности Рейхсвера в Липецке. В 1928 г. при авиашколе начал работу центр по испытанию немецких самолетов, нелегально построенных в Германии по заданиям Военного министерства. С 1930 г. это направление стало доминирующим – была ликвидирована группа обучения летчиков-наблюдателей, вывезен ряд двухместных самолетов, авиашкола была реорганизована в опытную станцию по испытаниям – «Вифупаст». На смену В. Штару пришел новый начальник – майор М. Мор.

Все это делалось под давлением советского военного руководства. На совещании в Наркомате обороны в марте 1931 г. Берзин докладывал:

> Ввиду того, что учебно-подготовительная работа немцев для нас интереса не представляет, УВВС было выдвинуто требование на будущее время вести в Липецке преимущественно опытно-исследовательскую работу с применением новейшей материальной части и агрегатов.
>
> Немецкая сторона приняла наше предложение и составила на 1931 г. довольно обширную и интересную программу. По этой программе в Липецк в 1931 г. прибывает 18 самолетов, в том числе 5–6 типов машин совершенно новой конструкции, с которыми мы еще не знакомы. Между прочим, в Липецк прибудет также новый 4-х моторный самолет. Будут испытываться новые образцы пулеметов, орудий и оптики.
>
> Для осуществления этой программы немцы предложили нам взять на себя часть расходов, связанных с расширением опытно-исследовательской работы. УВВС согласился взять на себя содержание части рабсилы, предоставление горючего по себестоимости и перевозку грузов по военному тарифу[49].

В 1928–1931 гг. в Липецке было испытано около 20 типов различных германских самолетов – истребителей, разведчиков, бомбардировщиков. Последние обычно прилетали в СССР под видом транспортных, а в мастерских Липецка немецкие механики устанавливали на них бомбодержатели, прицелы и пулеметы. Некоторые из испытанных самолетов так и остались экспериментальными, другие поступили позднее на вооружение германской авиации.

Кроме самолетов, на испытательной станции в Липецке проводилось изучение бомбардировочных прицелов, фотоаппаратуры для аэросъемки, авиационного стрелкового оружия, различных авиабомб (в том числе, так называемой «негасимой» химической зажигательной бомбы), бортового радиооборудования.

Кое-что из испытываемого демонстрировали советским специалистам. Но к последним достижениям военной техники немцы наших экспертов старались не допускать.

В свою очередь, немецкому персоналу липецкого центра были показаны некоторые образцы советской техники. В 1930 г. на липецком аэродроме демонстрировался авиационный пулемет ДА, только недавно начавший поступать на вооружение ВВС РККА. В том же году командиру истребительного отделения Шенебоку и инженеру Рейденбаху разрешили посетить в Москве опытный завод ЦАГИ и один из моторостроительных заводов, показали тяжелый самолет Туполева АНТ-14. Чуть позднее

немецкие летчики познакомились с разведчиком Р-5 – по их оценке «довольно неуклюжим внешне, но хорошим самолетом»[50].

Несколько раз Липецк посещали высокопоставленные немецкие чины. Дважды, в 1928 и 1930 гг., в авиашколу приезжал генеральный инспектор германских ВВС и летных школ генерал-майор Х. фон Миттельбергер. В сентябре 1928 г. Липецк посетил начальник войскового управления Рейхсвера генерал-майор Вернер фон Бломберг. В отчете об этом визите он писал: «Общее впечатление от организации учебы, а также оценка сооружений как долговременных, были великолепными»[51].

Меньше восторгов по поводу авиашколы в Липецке высказывало советское руководство. Ворошилов в беседе с представителями Рейхсвера в сентябре 1929 г. заявил: «Липецкая школа существует давно, это самое старое из учреждений [имеются в виду немецкие военные центры в СССР. – *Д.С.*], и она дала хорошие результаты для Рейхсвера, в то время как мы, к сожалению, не извлекли из ее существования никакой пользы»[52].

Как уже упоминалось, при заключении секретного договора с Рейхсвером в 1922 г. тот, в обмен на создание в СССР немецких секретных школ, обещал оказывать всяческое содействие в привлечении немецких промышленников к развитию советской военной индустрии. Однако впоследствии германское военное руководство стало уклоняться от этого обещания, мотивируя это тем, что оно не может вмешиваться в деятельность частных фирм. На самом же деле все объяснялось тем, что с середины 20-х годов Германия в своей внешней политике повернулась лицом к Западу и идея тесного союза с Советской Россией стала непопулярной.

СССР был вынужден сотрудничать с германскими авиационными фирмами самостоятельно и далеко не всегда удачно. Это вызывало растущее раздражение в правительстве. В резолюции по поводу приезда в Москву и Липецк генерал-майора Миттельбергера Ворошилов написал: «Следует выслушать Миттельбергера и никаких авансов не давать. Они чувствуют свое неудобное положение, во-первых, и пытаются словами прикрыть дела, а попутно запустить свои лапы еще дальше в нашу авиацию»[53].

Кроме того, усиливалось впечатление, что немцы скрывают свои последние технические новинки в военной области. Берзин в 1931 г. докладывал Ворошилову: «Итоги работы в Казани [там находилась немецкая танковая школа – *Д.С.*] и Липецке не совсем удовлетворяют УММ и УВВС, т. к. “друзья” слабо завозят новейшие технические объекты, подлежащие испытаниям, иногда ограничиваясь устаревшими типами (самолетами «Фоккер» Д-XIII) и не всегда откровенно делятся своими материалами и сведениями, полученными в результате исследовательских и учебно-опытных работ»[54].

Это во многом соответствовало действительности. Когда в марте 1932 г. на переговорах в Москве с Миттельбергером Яков Алкснис (1897–1938) обратился с просьбой показать в Липецке высотный самолет и авиадизели, разработанные в ОКБ Гуго Юнкерса, дать возможность познакомиться с работами фирмы «Фокке-Вульф» по вертолетам, а также продемонстрировать последние достижения в области автоматического управления самолетом и автоматического бомбометания, руководитель германских ВВС дал понять, что немцы не намерены привозить эти технические новинки в СССР. С тем же результатом закончились в ноябре 1932 г. переговоры советского и германского военного руководства о планах работы немецких военных

центров в нашей стране. Рейхсвер явно избегал показа последних авиационных достижений Германии.

В 1933 г. авиационная школа в Липецке и другие военные объекты Германии на территории Советского Союза были закрыты, немецкие военные специалисты вернулись на родину.

На первый взгляд, кажется очевидным, что решение о ликвидации баз Рейхсвера в СССР явилось следствием резкого ухудшения советско-германских отношений после назначения Гитлера главой правительства Германии. Однако это не так. Документы свидетельствуют, что вопрос о целесообразности закрытия липецкой авиашколы обсуждался руководством Рейхсвера еще в 1932 г., а официально о ее скорой ликвидации полковник Кестеринг проинформировал начальника Штаба РККА Александра Егорова 11 января 1933 г. – за 19 дней до прихода Гитлера к власти.

Формальной причиной закрытия школы называлась необходимость экономии средств. Действительно, ее содержание обходилось Рейхсверу недешево, даже несмотря на то, что советское правительство не брало денег за пользование аэродромом и прилегающими постройками: ежегодные расходы (на жилищное строительство, транспортировку самолетов и оборудования, приобретение горючего, оплату советскому персоналу и т. д.) составляли около 2 млн. марок в год.

Однако истинная причина состояла в другом. Пользуясь благосклонностью Запада, с начала 30-х годов Германия все более активно развивала вооруженные силы внутри страны и, в результате, уже не было большой необходимости в содержании объектов Рейхсвера за рубежом. Так, в летных школах Германии в начале 30-х годов ежегодно готовилось от 300 до 500 летчиков – больше, чем за все время существования «русской» авиашколы. Испытание военной авиатехники все более открыто осуществлялось внутри страны.

В первой половине 1933 г. липецкий авиацентр существовал как бы в «переходном режиме». Еще продолжалась подготовка летчиков, но ухудшения отношений между СССР и Германией, а также ставшие известными планы о закрытии школы уже заметно сказывались на ее работе. 31 марта на совещании начальников управлений Штаба РККА было принято решение максимально ограничить передвижение германских летчиков по территории СССР, сократить до минимума количество русского персонала, отказать школе в льготном воинском тарифе при перевозке грузов из Германии, запретить использование полигона для учебных стрельб и бомбометаний. Немецкий летчик-курсант Х. Хардер, обучавшийся полетам в Липецке с мая по август 1933 г., 26 июня записал в своем дневнике: «Русское правительство запретило полет самолета W 33 в Москву. Наш командир сообщил, что ситуация очень напряженная, и запретил нам критиковать русских и их решения»[55].

Выпуск 1933 г. составил всего 15 человек.

18 августа аэродром в Липецке был возвращен ВВС РККА. Несколько дней спустя в Германию вылетели базировавшиеся в Липецке самолеты с немецкими летчиками и наиболее ценным оборудованием на борту. Последние представители германских ВВС покинули Липецк 14 сентября. Нам в «наследство» достались возведенные немцами постройки, 15 уже устаревших самолетов «Фоккер DXIII», несколько автомобилей.

Сразу же после отъезда немцев, на основе липецкой авиашколы была создана Высшая военно-техническая школа ВВС РККА, позднее преобразованная в летный центр по испытаниям боевых самолетов.

Существование липецкой авиационной школы, в определенной степени, было полезно обеим сторонам, особенно в начальный период ее деятельности. Германия смогла подготовить там около 200 военных летчиков (некоторые из которых заняли потом командные посты в Люфтваффе), испытать ряд новых боевых самолетов и систем вооружения. Благодаря этому имелась возможность хоть незначительно, но поддерживать и развивать в условиях строгих ограничений на военную авиацию военно-технический потенциал, накопленный в годы Первой мировой войны.

Советская сторона получила уникальную возможность знакомиться, хотя бы отчасти, с новинками немецкого авиастроения на своей территории и изучать германский опыт боевого применения авиации. Одним из итогов этого явилось появление в 1934 г. первого в СССР наставления по технике бомбометания.

Кроме этого, по соглашению с Рейхсвером германское военное руководство в обмен на существование своих баз в СССР взяло на себя обязательство принимать высших офицеров РККА с целью повышения их квалификации и знакомства с иностранной военной техникой. В 1926–1932 гг. Германию посетили руководители советских ВВС Алкснис, Сергей Меженинов, Борис Фельдман, заместитель председателя РВС Уншлихт, начальник Штаба РККА Михаил Тухачевский и др. Во время этих визитов был осмотрен целый ряд немецких авиационных фирм и предприятий («Юнкерс», «Хейнкель», «Сименс», «Хирт», «BMW» и др.), летные школы, научные организации.

И все же не стоит преувеличивать роль липецкого центра в развитии военной авиации Германии и СССР. Основные военные программы обеих стран развивались независимо друг от друга. К 1932 г. Германия сумела подготовить в нелегальных военных авиашколах в Брауншвейге и Рехлине около 2000 будущих пилотов люфтваффе. Основные самолеты германских ВВС были созданы в Германии уже после закрытия «липецкой станции».

Доля подготовленных с помощью немцев в Липецке советских авиационных специалистов также очень невелика. Для сравнения приведем такие данные: за 1932 г. учебные центры нашей страны выпустили 1200 офицеров ВВС, а в 1933 г. – 3030.

С ликвидацией липецкого авиационного центра закончилась первая фаза сотрудничества Красной Армии и Рейхсвера в области авиации, продолжавшаяся около 10 лет. Для многих советских руководителей ВВС это сотрудничество имело трагические последствия. В годы сталинских репрессий за «дружбу» с Рейхсвером были расстреляны как «немецкие шпионы» Алкснис, Меженинов, Розенгольц, Тухачевский, Уншлихт, Фельдман и многие другие крупные военноначальники. Своими командировками в Германию и встречами с немецким генералитетом они подписали себе смертный приговор.

Пострадал и личный состав расположенного по соседству с немцами советского авиаотряда. Через восемь лет после операции «Летчики», в кровавом 1937 г., арестовали как агентов немецкой разведки командира располагавшегося в Липецке советского авиаотряда летчика-аса времен Первой мировой войны А.М. Томсона и еще семь наших сограждан. С началом войны с Германией в Липецке началась новая волна шпиономании, задержаний и расстрелов. На этот раз жертв было больше – 39 человек.

* * *

Отношение советского руководства к сотрудничеству с Германией в области вооружений было очень неоднозначным. С одной стороны, мы видим искреннюю заинтересованность военных и технических специалистов нашей страны в изучении немецкого опыта, уважительные, деловые отношения с немецкими коллегами. Вместе с тем, партийная элита и руководители органов государственной безопасности, официально поощряющие развитие военно-экономических отношений с Германией, в большинстве своем относились к контактам с явным недоверием, подозревая «иноспециалистов» в шпионаже, вредительстве, контрреволюционной деятельности. Это характерное для политического руководства СССР двуличие ярко проявило себя несколько лет спустя, когда, по решению Сталина, Советский Союз заключил ошеломивший мир договор о дружбе и сотрудничестве с вступившей на преступный путь войны гитлеровской Германией.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Захаров В.В.* Политика советского государства по отношению к Германии в военной области и ее влияние на обороноспособность СССР (1921 – июнь 1941 гг.). Дисс. на соиск. уч. степени докт. ист. наук. – М.,1993; *Дьяков Ю.Л.*, *Бушуева Т.С.* Фашистский меч ковался в СССР. – М., 1992; *Бойцов В.* Секретные лаборатории Рейхсвера в России // Армия. 1992. № 2; *Speidel H.* Reichswehr und Rote Armee // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. 1953. № 1 и др.

[2] Версальский мирный договор. – М., 1925.

[3] Цит. по: *Захаров.* С. 62.

[4] Известия № 102 (1541), 10.05.1922 г.

[5] Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 3427. Оп. 6. Д. 427. Л. 16. Переписка по делам авиастроения.

[6] Российский государственный военный архив (РВИА). Ф. 4. Оп. 14. Д. 25. Л. 64. Материалы Управления делами РВС НКО СССР.

[7] *Wissmann G.* Zur Geschichte des Unkers-Flugzeugwerks in Fili bei Moskau in der Jahren 1922 bis 1925. Dissertationsschrift A. – Dresden, 1974. S. 78.

[8] Суммы указаны в бумажных немецких марках. В связи с сильной инфляцией в Германии в то время следует иметь в виду, что 140 млн. бумажных марок равнялись примерно 1 млн. рублей золотом.

[9] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8350. Оп. 1. Д. 2109. Л. 20–33, 38–47. Материалы по делам концессий.

[10] ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 2123. Л. 277.

[11] Немецкие имена техперсонала в Филях, которые приведены в этой статье, цитируются по русским источникам; не в каждом случае удалось провести сравнение с немецким документом. Поэтому написание на русском и немецком языках может различаться. То же относится и к части текста о личном составе летной школы Липецка.

[12] ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 2112. Л. 151.

[13] ГАРФ. Д. 8350. Оп. 1. Д. 2116. Л. 121.

[14] РГВА. Ф. 33987. Оп. 2. Д. 221. Л. 62–63. Материалы 4-го управления Штаба РККА.

[15] Российский государственный архив современной политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 3. Д. 486. Протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б).

[16] ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 2110. Л. 104. Материалы по делам концессий.

[17] Как выяснилось, руководитель концессии Юнкерса на заводе в Филях Шоль, сменивший на этом посту Шуберта, давал взятки заказчикам, чтобы добиться согласия на закупку самолетов по завышенной цене; реальная стоимость ЮГ-1 была около 130 тыс. рублей. В результате судебного разбирательства был арестован ряд сотрудников Управления ВВС СССР и Авиатреста (в ча-

стности, инженер Линно). Чтобы замять скандал, немцы отстранили Шоля от должности, его заменил инженер фирмы «Юнкерс» Гейнеманн // РГВА. Ф. 4. Оп. 4. Д. 204. Л. 14, 21.

[18] ГАРФ. Ф. 8350. Оп. 1. Д. 2118. Л. 140. Материалы по делам концессий.

[19] Евгений Шаде работал в Москве на заводе № 1 в должности инженера с окладом 900 рублей в месяц. Гюнтер Черзих до 1930 г. работал в плановом отделе «Авиатреста». В Германии во время Второй мировой войны он получил чин генерала, был сотрудником Министерства авиации.

[20] РГВА. Ф. 4. Оп. 2. Д. 90. Л. 122–123. Материалы РВС НКО СССР.

[21] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 530. Протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б).

[22] РГВА. Ф. 4. Оп. 14. Д. 25. Л. 3. Материалы РВС НКО СССР.

[23] РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 6. Д. 425. Л. 76; Ф. 8367. Оп. 1. Д. 11. Л. 29–30.

[24] РГАЭ. Ф. 8367. Оп. 1. Д. 11. Л. 43. Переписка по делам авиастроения.

[25] *Wissmann.* S. 121.

[26] РГАЭ. Ф. 8367. Оп. 1. Д. 11. Л. 43.

[27] РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 317. Л. 1, 9. Переписка ОГПУ по вопросу о концессии Юнкерса.

[28] Там же. Л. 21–27.

[29] Юнкерс был принужден к передаче собственных патентов и акций Германской империи и после этого посвятил себя исследованиям по высотному строительству из металла. Заводы Юнкерса во время Второй мировой войны стали одним из крупнейших цехов по производству военных самолетов, таких как пикирующий бомбардировщик «Штука», который получил обозначение Ю-87. (*Прим. ред.*).

[30] *Wissmann.* S. 159, 233.

[31] *Дьяков Ю.Л.*, *Бушуева Т.С.* С. 140–141.

[32] См. также современную немецкую литературу: *Manfred Zeidler:* Reichswehr und Rote Armee 1920–1933. Wege und Stationen einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. – München 1993; *Otto Gröhler:* Selbstmörderische Allianz. Deutsch-Russische Militärbeziehungen. – Berlin 1992; *Friedrich von Kahlenberg, Rudolf G. Pichoja, Ludmila V. Dvojnych* (Hrsg.): Reichswehr und Rote Armee. aus den Militärarchiven Deutschlands und Russlands 1925–1933 (=Materialien aus dem Bundesarchiv), Bd. 1, Koblenz 1995; Sebastian Thöhlert: Die militärische und politische Bedeutung der Zusammenarbeit von Reichswehr und Roter Armee. – Hamburg 2002. (*Прим. ред.*)

[33] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 120. Л. 3.

[34] *Karl-Heinz Volker:* Dokumente und Dokumentarfotos zur Geschichte der Deutschen Luftwaffe. – Stuttgart, 1968. S. 68.

[35] *Ильин В.* «Ах, майн либер Августин» // Крылья Родины. 1994. № 3. С. 31

[36] РГВА. Ф. 29. Оп. 76. Д. 2521. Переписка по делам Управления ВВС РККА.

[37] *Volker.* S. 79.

[38] РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 955. Л. 39. Материалы Управления ВВС РККА.

[39] *Дьяков, Бушуева.* С. 167–169.

[40] *Хейнкель Э.* В моей стремительной жизни. – Ростов-на-Дону, 1992. С. 60.

[41] РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 955. Л. 20.

[42] *Volker.* S. 73.

[43] РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 955. Л. 26–27, 63, 67.

[44] *Дьяков, Бушуева.* С. 74.

[45] РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 955. Л. 18.

[46] Документы из военных архивов Германии и России. Сост. К. фон Йена, Н. Елисеева. С. 117.

[47] *Дьяков, Бушуева.* С. 73.

[48] РГВА. Ф. 29. Оп. 27. Д. 955. Л. 19.

[49] См. Документы из военных архивов Германии и России. С. 124–125.

[50] *Volker.* S. 83.

[51] *Бойцов В.* Секретные лаборатории Рейхсвера в России // Армия. 1992. № 2. С. 63.

[52] *Дьяков, Бушуева.* С. 101.

[53] РГВА. Ф. 4. Оп.19. Д. 10. Л. 61. Материалы Управления делами РВС НКО СССР.

[54] *Дьяков, Бушуева.* С. 200.

[55] *Volker.* S. 85.

*Дитрих Мёллер*

# СКЕПТИЧЕСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР.
## Карл Радек и Германия

К нам вернулся полузабытый персонаж, его как будто втащили в сферу гласности, и сделал это писатель. Когда в 1995 г. Стефан Гейм представил на суд публики свой роман «Радек»[1], лишь немногие читатели знали это имя, да и для них книга была, скорее, воспоминанием, реминисценцией, прежде всего, о странных поворотах в отношениях между Веймарской республикой и молодой Советской Россией. Герой романа должен был быть для широкой публики сначала вымышленной фигурой, которая только при более пристальном взгляде оказывалась исторической, да к тому же чрезвычайно многоцветной и кое на кого оказавшей зачаровывающее воздействие своими характером и деятельностью[2]. Правда, возможность Гейма извлечь эти качества из забвения по прошествии многих лет с самого начала представлялась сомнительной.

Хотя Карл Радек временами и играл важную роль, она никогда не была решающей, а он сам, большей частью, оказывался младшим командиром, пусть даже выдающимся. Да и в момент появления романа время возвращения Радека прошло, так как для анализа отношения Федеративной Республики Германия с Советским Союзом всякий раз приходилось подводить итоги 20-х и 30-х гг. И всякий раз это было время, когда «реально существующий социализм» сталкивался с требованием разыскивать в истории коммунизма более оригинальные и наделённые более богатым воображением личности, чем те, которые были наследниками Маркса и Ленина. Карл Радек принадлежал к числу таких личностей, что бы о нём ни говорили.

Оценки эти были в высшей степени различными, прямо-таки крайними. Ленин писал в ноябре 1916 Инессе Арманд: «Радек держит себя в политике как тышкианский[3] торгаш, наглый, нахальный, глупый»[4]. И далее: «Самый паршивый… из тышкианского болота не мог бы подлее торгашествовать, лакействовать и интриговать за спиной»[5]. Но всего уже через два месяца, в январе 1917 г., он, вероятно, озадачил Арманд заявлением, что у него с Радеком «*архи*дружба», правда, при условии, что «нет почвы для радековского вилянья»[6]. Несомненно, Ленин уже вскоре имел основания ценить Радека за его опыт, накопленный за границей, особенно в Германии, за его начитанность, поистине жадное поглощение и осмысление ежедневных политических и экономических информационных и аналитических материалов, за его фантазию, гибкость и, не в последнюю очередь, умение приспосабливаться. Сохранилось свидетельство Клары Цеткин о том, что он называл Радека «одарённым» и хвалил его знание «дел за границами России, прежде всего на Западе, в чём он превосходил даже его, Ленина, и других товарищей в Москве»[7]. Этому соответствовали и посты, на которые Радек назначался в Коммунистическом Интернационале (Коминтерне), в народном комиссариате иностранных дел и в Центральном Комитете Российской коммунистической партии (РКП).

*Карл Радек. Карикатура Кукрыниксов*

Оценки, данные Радеку Л.Д. Троцким, относятся ко времени его изгнания. Их следует рассматривать в высшей степени критически, так как они затронули прежде громогласного почитателя и приверженца, который, в конце концов, подчинился Сталину. Радек был для Троцкого «презренным рабом»[8], «бесхарактерным импрессионистом»[9] и человеком, чья «личная экспансивность… вошла в пословицу: он может так, но может и иначе»[10].

По мнению французского троцкиста Виктора Сержа, Радек, наряду с Лениным, Троцким и Н.И. Бухариным, принадлежал к «мозговому центру революции»: «Благодаря общему марксистскому языку и опыту европейского и американского социализма, они прекрасно понимали друг друга с полуслова, до такой степени, что, казалось, вместе думали»[11]. Такая оценка могла быть и несколько завышена, лучше придерживаться описания Радека как «блестящего публициста, в равной мере одарённого и для общего обзора, и для язвительной насмешки…, битком набитого анекдотами, часто мрачными, жестоко реалистичного».

Так же воспринимал его и немецкий коммунист Эрих Волленберг, по чьему мнению Радек был циником, в своих многочисленных беседах напоминавшим, однако, Генриха Гейне, которого охотно читал: «циником со слезящимися глазами». Правда, его способность приспосабливаться была значительной, а свои статьи и речи он, по-видимому, без какого бы то ни было угрызения совести подчинял сиюминутной линии. Может быть, Радек, как считал Волленберг, не был честен даже по отношению к самому себе[12].

Благодаря Рут Фишер, до нас дошло, наряду с многочисленными фактами из истории немецкого коммунистического движения, не одно впечатляющее описание внешности Радека. Весьма сомнительно, между тем её утверждение о том, что Радек был одержим «ненасытным честолюбием»: «Чтобы улучшить свою неудовлетворительную позицию в русской иерархии, Радек пытался стать вождём германских коммунистов»[13]. Но она писала это десятилетия спустя в американском изгнании, когда оба давно уже находились в политическом отчуждении друг к другу.

Нет, его не сжигало такое честолюбие. Он довольствовался репутацией лучшего знатока Германии и немецких левых в Москве, и для его «я» было вполне достаточно иметь возможность выступать в Германии в качестве инструктора или даже комиссара, уполномоченного Лениным. Столь же комфортно, похоже, он чувствовал себя и в роли политического разведчика и неофициального посланника. При этом Радек равным образом ошеломлял своих собеседников оригинальностью и откровенностью, с которыми он обращался с советской системой и ситуацией в России. Одним из них был немецкий дипломат Густав Хильгер. Оглядываясь на время, проведённое в Москве, он писал, что Радек пользовался там всеобщей известностью, благодаря «беспощадной критике… людей и вещей, которые ему не нравились, и своим язвительным остротам в их адрес. Его злые сарказмы ходили из уст в уста, и через какое-то время Радеку, по праву или нет, приписывались все антисоветские остроты, гулявшие по Москве»[14].

По поводу личности и деятельности Радека начала 20-х гг. важнее, однако, другое высказывание Хильгера: «Для нас же важнейшее открытие заключалось в том, что у этого профессионального революционера, этого убеждённого интернационалиста была большая слабость – Германия. Польский еврей из австрийской Галиции чувствовал себя связанным с Германией самыми прочными культурными узами и говорил по-немецки лучше, чем на любом другом иностранном языке»[15].

И в этом не было ничего удивительного. Карл Радек (настоящее имя – Карл Собельсон) родился в 1885 г. в Лемберге (традиционное австрийское и немецкое название Львова. – *Прим. перев.*), в польской Галиции, и был по происхождению евреем и подданным Австро-Венгрии[16]. Семья не принадлежала к верхнему слою местного еврейства, отец семейства был всего лишь мелким почтовым чиновником, но и в этой семье говорили по-немецки, ибо большинству львовских евреев немецкая культура была ближе польской. Ещё в большей степени, чем узкий семейный круг, мальчика подводили к немецкой литературе (и, прежде всего, к творениям эпохи Просвещения) родственники, жившие в городе Тарнов. Снова и снова перечитывал он пьесу Лессинга «Натан Мудрый». А когда, многие годы спустя, в феврале 1919 г., Радек был арестован в Берлине, у него в кармане нашли переплетённое в сафьян издание первой части «Фауста» Гёте. В своих воспоминаниях он сообщал не без кокетства, как смутила находка немецкого офицера: «В продолжение нескольких минут он вертел бессмертное сочинение Гёте, как бы ища любимые места. После вернул мне книгу… Это был молодой студентик, из университета попавший в офицеры ополчения. Видимо, любитель классической литературы. Большевиков представлял себе как бандитов. Если бы нашёл в моём кармане бомбу, он бы не удивился, но “Фауст” смешал все его представления и чувства»[17]. Виктор Серж сообщает в своих мемуарах, что 17 ноября 1927 г. он взял переплетённое в красную кожу издание «Западно-восточного дивана» Гёте из библиотеки Радека на память о дне, когда того вышвырнули из его кремлёвской квартиры[18]. Радек любил не только Гейне, но

и Клейста, и Грильпарцера – собственно, «всю немецкую литературу»[19]. Он якобы советовал при случае немецким товарищам завоевать для КПГ Эрнста Юнгера, что было бы ценнее всех новых голосов избирателей вместе взятых[20].

Ещё гимназистом Собельсон стал политически активным. Подобно многим молодым людям того же происхождения, он ориентировался на левый фланг и вступил в Польскую социалистическую партию (ППС). Когда же партия раскололась вокруг вопроса о самостоятельности Польши, он последовал не за правым крылом под руководством Юзефа Пилсудского, а присоединился к интернационалистам вокруг Юлиана Мархлевского, Розы Люксембург, Лео Тышки-Иогихеса и Адольфа Варшавского, которые, в свою очередь, установили связь с литовскими социал-демократами во главе с Феликсом Дзержинским. Личность каждого из названных, как и вообще интеллектуальный уровень польского марксистского движения, имела выдающееся значение для развития молодого человека, и от него требовали учиться. Радек вспоминал впоследствии, что ещё во время революционных волнений 1905 года в Варшаве Иогихес «заставил» его «проработать всех писателей, имена которых были едва известны»[21]. Но и без того он не был руководителем забастовок и баррикадным бойцом, его занятием уже тогда считались агитация и словесное столкновение – устное и письменное. К тому же он поменял своё имя. Уже одну из своих первых работ он подписал фамилией не «Собельсон», а «Радек», позаимствовав ее у персонажа рассказа Стефана Жеромского «Сизифов труд»[22]. С этой фамилией он и остался, став навсегда из Карла Собельсона Карлом Радеком.

Как австро-венгерская монархия в той части Польши, которой она владела, так и, тем более, царский режим в сфере своего господства оставляли польским марксистам малые возможности развития. Роза Люксембург отправилась в Швейцарию, а затем в Германию, Иогихес последовал за ней. Да и куда же ещё? Германская империя представляла собой государство с высокой степенью индустриализации и, как и Англия, казалась марксистам куда более зрелой для революции по сравнению со всеми остальными странами Европы. Германская социал-демократия была сильнейшей и наиболее влиятельной партией II Интернационала, ни в какой другой из них не было такого потенциала теоретиков и практиков. Поэтому и Радека потянуло в Германию. Он приехал туда в 1908 г. и немедленно начал искать контакт с СДПГ. Где именно, на каком из важнейших пунктов пребывания в Германии (в Берлине, Лейпциге, Бремене или Гёппингене) он вступил в партию, неясно. Больше всего времени Радек провёл в Бремене.

В старом ганзейском городе существовала радикально-интернационалистская фракция под руководством Иоганна Книфа, находившаяся в постоянном разладе с Правлением партии в Берлине. Её органом была газета «Бремер бюргерцайтунг» – никоим образом не буржуазная, несмотря на своё название, газета, в которой местные и социальные интересы докеров и рабочих верфей отражались так же, как и экономические и политические интересы коммерсантов по всему миру. Радек стал одним из её редакторов; можно предположить, что именно здесь он научился видеть мир за германскими границами, здесь была отточена его способность воспринимать взаимно переплетённые международные интересы. При этом именно окружение, в котором оказался молодой человек, заставляло его более критически смотреть на германскую социал-демократию. В действительности СДПГ уж никак не была активной революционной партией. Она боролась за демократию и социально-политические реформы, но во всем прочем довольствовалась верой в практически

неизбежное крушение капитализма и детерминированный этим переход в социализм. Радек формулировал критику и контрпозиции более радикально, чем это обычно имело место на левом фланге. По оценке Розы Люксембург, он «марает, как сапожной ваксой, и разражается умничаньем, что больше мешает, чем помогает»[23]. Его «вульгарная полемика» создаёт «впечатление стрельбы из револьвера»[24]. О самой же газете она высказалась коротко и ясно в письме Константину Цеткину: «От бременской газеты можно ожидать каких угодно неожиданностей, и в целом у нее нет большого влияния»[25]. Но газета оказалась вполне пригодной для того, чтобы придать имени Радека известность. Его «револьверный» стиль – а временами журналист скрывался под псевдонимом «парабеллум» – нравился и таким газетам, как «Ляйпцигер Фольксцайтунг», брауншвейгской «Фольксфройнд» и «Гёппингер фрайен Фольксцайтунг».

Контакт с Лениным наметился в 1910 г. Для начала Радек послал Ленину из Лейпцига несколько статей, которые, по-видимому, никогда не были опубликованы, а затем Ленин, в свою очередь, послал в Лейпциг свою статью[26] и предложил «несколько фельетонов» на эту тему для «Ляйпцигер Фольксцайтунг»[27]. Ответ Радека не сохранился, а фельетоны, о которых говорил Ленин, так никогда и не были написаны. Вскоре после этого оба познакомились на конгрессе II Интернационала в Копенгагене[28]. Немного времени спустя Радек нашёл в Ленине адвоката, хотя и не имевшего мандата и не стяжавшего успеха: Радек выступил (вместе с другими) против стиля руководства Иогихеса в СДКПиЛ, что имело для него следствием весьма мерзкие происки со стороны последнего – обвинение в воровстве в нескольких случаях и разбор дела об исключении как из польской, так и из германской партии. Посредничество Ленина[29] осталось безуспешным, и, когда Роза Люксембург после первого протеста также встала на сторону Иогихеса и правления СДПГ, Радеку пришлось отдать свой партбилет. Похоже, этот позор никогда по-настоящему не ранил его, но он вновь и вновь жаловался, что в Германии с ним поступили очень несправедливо. Можно предположить, что его озлобленность случившимся сказалась на его будущих столкновениях с германской социал-демократией. Но при этом осталось бы без внимания то обстоятельство, что Радек видел в СДПГ силу, стабилизирующую систему, а не революционную, и что именно этот опыт определил характер его речей и статей.

После спора и разрыва с Иогихесом и Люксембург прошло время. В своих воспоминаниях Радек писал, что в 1918 г. он снова встретился с Иогихесом «с известным напряжением», но «старого» не вспоминали[30]. О Розе Люксембург не было сказано ни слова. От Пауля Леви сохранилось, однако, воспоминание о том, что у неё в отношении Радека было «только одно чувство – отвращение». Ему, Леви, пришлось быть посредником, чтобы «сделать возможным, по меньшей мере, “корректный” приём» вестнику победоносной русской революции и посланнику Ленина. Роза Люксембург противилась, говоря: «Нам не нужен “комиссар по большевизму”, и пусть большевики со своей тактикой остаются дома»[31].

В 1914 г., через несколько дней после начала войны, Радек, чтобы ему не пришлось стать солдатом, уехал из Германии в Швейцарию, где он еще в 1904 г. был студентом; там нашёл убежище и Ленин. Радеку, однако, не нравилась своеобразная атмосфера жизни в изгнании без особой возможности оказывать политическое влияние. По всей вероятности, он обдумывал возвращение в Германию, чтобы, как Карл Либкнехт, действовать в качестве солдата и агитатора. Во всяком случае, Ле-

нин писал ему 4 августа 1915 г.: «А в солдаты не советую идти. Нелепо помогать врагам. Окажете услугу Шейдеманам»[32]. И Радек не уехал в Германию, он активно участвовал в Циммервальдской и Кинтальской конференциях и, хотя и стоял на стороне Ленина, но не во всем был его последователем. Германия словно оставалась его доменом; он знал общество и стереотипы поведения, характерные для этой страны, и понимал уж, конечно, умонастроения пролетариев, казавшихся столь сознательными: они хотели быть не «проклятьем заклеймёнными», а гражданами. Радек искал любую возможность установить и поддерживать контакт в Германии, по временам делая это двойственным образом. Были, например, доказаны, пусть и не до конца ясные, его связи с агентами германской военной разведки[33].

Ещё записывая свои воспоминания, Троцкий удивлялся скепсису Радека относительно вероятности германской революции: «Он стоял в немецкой партии на крайней левой… Но я с удивлением убедился в беседе, что он и не думает о возможности пролетарской революции в связи с войною и вообще в ближайшую эпоху. Нет, отвечал он, для этого производительные силы человечества, взятого в целом, еще недостаточно развиты»[34]. И, в самом деле, ни как политик, ни как партийный журналист Радек не был неисправимым оптимистом. Только один раз он в действительно эйфорическом тоне высказался о якобы сложившейся революционной ситуации; в иных случаях, если он и проявлял себя оптимистом, это следует, скорее, отнести на счет его заказчиков и господствующей линии, нежели собственных убеждений Радека. Но и при этом, большей частью, он ослаблял такие высказывания хитро сформулированными оговорками или язвительными замечаниями.

Но разве думал по-иному в то время и сам Ленин, наделенный, как предполагается, столь большим даром предвидения? Ещё в январе 1917 г. он, выступая перед молодыми рабочими в Цюрихе, сказал им, что, хотя континент и заряжен революцией, но старшее поколение – включая и его самого? – уже не увидит решающих боёв. Февральская революция в России была для него и всего его окружения полной неожиданностью. Она означала, конечно же, и избавление от эмигрантского сосуществования, предлагая возможность активного действия. Радек нашёл новую сферу деятельности. Он покинул Швейцарию вместе с Лениным и его приверженцами в знаменитом пломбированном вагоне.

Но Радеку не удалось воочию пережить Октябрьскую революцию – как подданный Австро-Венгрии, он не получил разрешения на въезд в Россию и, по указанию Ленина, остался в Стокгольме. Он приехал в Россию лишь тогда, когда уже были созданы основы нового режима. И этому режиму он на протяжении следующих двадцати лет служил в разном качестве и на самых различных постах: участника переговоров в Брест-Литовске, заведующего отделом в наркомате иностранных дел, посла (его сделали представителем Украины при германском имперском правительстве, чтобы освободить из тюрьмы в Берлине), дипломата, работавшего бок о бок с Чичериным, и шпиона, секретаря Исполкома Коминтерна и полноправного члена штаба Ленина, члена Центрального Комитета (ЦК) партии и политического комиссара в Центральном Совете российских профсоюзов, ректора университета для подготовки азиатских революционеров (Коммунистический университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена. – *Прим. перев.*), а также, возможно, «руководителя информационного бюро ЦК, т. е. личного секретариата Сталина»[35], специального посланника Сталина с миссией Пилсудскому и одного из авторов Конституции 1936 г., приписываемой Сталину, и, наконец, главного свидетеля обвинения против своих полити-

ческих друзей. Несколько раз был он ссыльным, а под конец жизни оказался осуждён как политический преступник.

Как и следовало ожидать, сразу после возвращения из Стокгольма Радек получил сферу деятельности, в существенной степени, имевшую отношение к Германии: он стал заведующим отделом Центральной Европы в наркомате иностранных дел[36]. Германия имела ключевое значение, как с точки зрения традиционных отношений с зарубежными странами, так и в контексте политики, определявшейся большевистской революционной идеологией. И, действительно, Советская Россия следовала обеим линиям: с одной стороны, она искала сотрудничества на государственном уровне и поддерживала его на возможно более широком базисе, с другой, – поддерживала всё и содействовала всему, что могло привести к дестабилизации политического и общественного строя, вплоть до революционного переворота. При этом, на долю Коммунистической партии Германии (КПГ) выпадала, конечно же, важнейшая роль. Никто другой в Москве не умел столь совершенно и виртуозно, как Карл Радек, владеть инструментарием этой двойственной политики.

Но мог ли он идентифицироваться с такой двойственной политикой безо всяких «но» и «если»? Не считал ли он, что «производительные силы человечества» еще слишком мало развиты, чтобы у революции мог бы быть шанс? Что же, и ему пришлось под влиянием русских событий пересмотреть свои взгляды. Как и для некоторых других марксистов, унаследованная теория оказалась и для него словно поставленной с ног на голову: победив в России, революция достигла сначала не государства, наиболее развитого в промышленном отношении, а как раз, наоборот, – выломала из цепи капиталистических стран ее самое слабое звено. И Радек скорректировал свою позицию. Взгляд на Германию позволил ему обнаружить моменты сходства с Россией; империя проиграла войну, а новый государственный строй был неустойчив, экономика бездействовала, люди голодали и пребывали в подавленном настроении. Германия казалась созревшей для революции, и германскому пролетариату следовало, наконец, осознать свою историческую задачу. Позже Радек признавал, что, думая таким образом, он впадал в ошибку: «Пришла мировая революция. Народная масса услышала её железную поступь. Наше одиночество кончилось». Но Ленин был, скорее, обеспокоен, он видел «вещи по-другому»: «Германия капитулирует пред Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией. Вот его разгадка. Теперь известно, что она была вполне правильной»[37].

Хотя Радек и знал Германию и её общество лучше Ленина, но тот был реалистичнее в своей оценке сопротивления высокоразвитых буржуазных государств пролетарской революции в это время. Трезвость Ленина, в сущности, шла навстречу скепсису Радека и была для него уроком. Никогда более не впадал он в такую эйфорическую ошибочную оценку, скорее его пессимизм стал проявляться в большей мере. Слова о том, что его жизненная позиция заключается в ожидании мировой революции, обошли друзей и врагов, они сердили или сбивали с толку, они успокаивали или забавляли – смотря по обстоятельствам.

Остальное доделало непосредственное переживание ситуации. По указанию Ленина Радек в декабре 1918 г. нелегально выехал в Германию, снабжённый инструкциями для работы «в тылу у врага». На возражение Радека о том, что германская революция «чересчур большое событие, чтобы ее рассматривать как диверсию в тылу противника», Ленин сказал, что события все равно «будут развиваться по внутрен-

ним законам германской революции»[38]. На месте Радек уже вскоре увидел, что в число этих законов входит и такой: революция бывает не только невозможной, но и подчас представляет собой чрезвычайно длительный процесс[39]. Едва приехав в Берлин, он услышал вместо «железной поступи» близкой революции всего лишь революционный шум немецких товарищей. «Мне стало жутко. Тон “Роте Фане”[40] был словно накануне последней битвы. Я ставлю вопрос, не взяли ли они чересчур сильного тона, не соответствующего ещё силе партии. Если бы они не перебарщивали!»[41]. Но Роза Люксембург холодно ответила на его указания и предостережения: «Когда рождается здоровый ребёнок, он кричит, а не пищит»[42]. Этим ребёнком была маленькая, только что вышедшая из Союза Спартака коммунистическая партия, и, согласно впечатлению Радека, дитя оказалось не особенно сильным: «Я не чувствовал, что здесь уже передо мною партия»[43]. О скором рождении Советской Германии тем более не могло быть и речи. Если, однако, Советской России было не суждено оставаться изолированной, следовало искать другие пути, нежели путь к пролетарской революции. И Радек искал их.

К числу странностей истории относится то обстоятельство, что он нашёл и проложил эти пути, находясь в немецкой тюрьме. Радек был арестован в Берлине 12 февраля 1919 г., через четыре недели после выписки ордера на арест. Его подозревали как руководителя коммунистов во время январских боёв; «Лига борьбы против большевизма» назначила за его поимку 10 тыс. марок – не особенно большую сумму, если учесть предположение о том, что Радек мог превратить Германию в советское государство.

В имперском правительстве полагали, что знают, кого схватили. 13 декабря 1917 г. германский посланник в Берне барон Гизберт фон Ромберг хвалил в отчёте своему рейхсканцлеру Радека как «выдающегося публициста и политика», голос которого имеет «большое значение»[44]. Посланник, несомненно, опирался на свою информацию о русской эмиграции в Швейцарии. Менее обоснованным, но выдержанным в более драматическом тоне было сообщение статс-секретаря в имперском военно-морском управлении помощнику статс-секретаря имперской канцелярии от 31 января 1918 г.: «Радек – в высшей степени опасный и бессовестный радикал, которому любое средство окажется хорошо, чтобы навредить Германии. Поэтому необходимо будет предпринять все шаги, пригодные для того, чтобы противодействовать его большому влиянию на русских государственных деятелей»[45]. Рекомендация была давно уже макулатурой в том отношении, что и сам Радек стал одним из российских государственных деятелей, пусть даже не столь высокого ранга, каким его аттестовала «Роте Фане»: «…как член Совета Народных Комиссаров» он представляет «коллективного главу государства»[46]. В Берлине также создалось впечатление, что и со стороны держав-победительниц, когда просачивались сообщения о выступлениях Радека в Германии, это вызывало нервную реакцию[47]. Сам Радек характеризовал себя в письме имперскому министру иностранных дел Мюллеру со свойственной ему смесью дерзости и иронии как «одного из вождей мирового коммунизма»[48]. Тем временем, Советское правительство радиограммой министерству иностранных дел от 5 марта назначило заключенного Радека послом Украины, чтобы защитить его дипломатическим иммунитетом.

Камера Радека в тюрьме Моабит превратилась, по его собственным словам, в политический салон[49]. Прокурор и следователь напрасно пытались доказать активное участие Радека в январских боях, и процесс против него был прекращён. Тем не ме-

нее он оставался в тюрьме, в «превентивном заключении», правда, с существенными льготами. Его навещали политики и публицисты, воротилы бизнеса и военные[50], и самым видным среди этих посетителей был Вальтер Ратенау. Ни Радек, ни Ратенау не могли себе и представить, что через три года они окажутся ещё раз связанными системой договоров, заключение которых должно будет шокировать окружающий мир – Рапалльским договором. Они не чувствовали симпатии друг к другу. Ратенау позже называл Радека «несомненно, толковым и остроумным, но нечистоплотным парнем, типичным образцом низкого еврейчика»[51]. Радек же, в свою очередь, причислял к «основным качествам» Ратенау «отсутствие всякой интуиции и болезненное самолюбие»: Ратенау говорил больше часа, «прислушиваясь к звуку собственного голоса»[52]. Оба любили поговорить.

Писатель Макс Бартель, тогда «рабочий поэт», перешедший позже в лагерь национал-социалистов, имел доступ к Радеку под видом помощника зубного врача и так обрисовал атмосферу, которую он наблюдал: «В комнате для посетителей ожидали несколько человек. А затем влетел он – г-н посол Украины. Одетый в подобие военной формы из серого сукна, он выглядел как добродушная человекообразная обезьяна. Обращала на себя внимание его борода, шкиперская бородка, обрамлявшая лицо. За большими очковыми стеклами в оправе поблёскивали тёмные глаза. Это был не заключенный, а скорее, человек, дававший аудиенцию и сознававший это… Здесь ждал известный профессор, интересовавшийся русским аграрным вопросом. Здесь – Максимилиан Харден, грозный автор передовых статей в журнале “Цукунфт”, потом английский журналист, умный и скептический, там несколько господ с коммерческими идеями, а на заднем плане рослый мужчина со спокойным лицом, в котором нельзя было не узнать офицера высокого ранга. А дальше – связной с ЦК КПГ и, наконец, элегантная дама в облачке духов»[53].

Для развития германо-советских отношений в начале 20-х гг. пребывание Радека в Моабите нельзя переоценить, как нельзя переоценить и его отношение к Германии и знание этой страны. Со времени исследовательской работы Отто-Эрнста Шюддекопфа несомненно, что в беседах с известными немцами намечались «первые серьёзные контакты немецких учреждений с новым режимом в России»[54]. По словам Шюддекопфа, Радек принимал визитёров и давал советы и указания; одному из своих посетителей, уже занимавшему видную позицию в германской политике или имевшему близкие перспективы на ее занятие, он дал такой стимул, что тот ещё много лет оказывал косвенное влияние на формирование отношений Германии с иностранными государствами[55].

Роза Люксембург, похоже, довольно рано почувствовала, какой мезальянс могла ещё приготовить история. В сентябре 1918 г. она писала: «А теперь большевикам в качестве конечной станции их тернистого пути угрожает самое ужасное: как зловещий призрак, приближается союз большевиков с Германией (…) Социалистическая революция, сидящая на немецких штыках, пролетарская диктатура под покровительством германского империализма – это было бы самое чудовищное, что мы ещё могли бы пережить»[56]. У истинной революционерки не было недостатка в фантазии – как, впрочем, и в чувстве внешнеполитического реализма. Самого союза она не увидела, но её едва ли удивило бы, что Радек стал одним из его архитекторов.

В министерстве рейхсвера, нёсшем ответственность за пребывание Радека в тюрьме, вскоре, кажется, пришли к мнению, что от него, во всяком случае, не приходится ожидать особой опасности для целостности республики. Безо всяких ограничений

он мог принимать и немецких коммунистов, и его камера стала в той же степени центром агитации и пропаганды, в какой она была политическим салоном. Радек написал множество писем и брошюр, в которых давал тактические указания и советы немецким товарищам[57]. Но и это ещё не всё: «Я заказывал всю ведущую мировую прессу, включая экономические газеты, завёл картотеку и обрабатывал все интересовавшие меня вопросы. Книги скоро составили у меня целую библиотеку, так что мне предоставили для них вторую камеру»[58]. Освобождённый почти через год, в январе 1920 г., и получивший возможность покинуть Германию, Радек вёз в «четырёх громадных чемоданах… комплекты коммунистической печати, работы Эйнштейна, неизвестные тогда в России», – писал он позже не без некоторого кокетства в своих воспоминаниях[59].

Нет, ему отнюдь не было плохо. Он мог бы сожалеть о том, что не имел возможности находиться близ рычагов власти в Москве и был исключён из процесса принятия решений, с другой стороны, однако, его должны были вполне удовлетворять разнообразные контакты и имевшиеся в Берлине гораздо лучшие возможности получения информации о Германии и зарубежных странах. Он писал своей жене о чистой камере, о достаточном питании и книгах. Он, по собственному сообщению, работал «целый день» и «восстановил» свой английский. Если бы заключение продолжалось дольше, он хотел бы «завершить книгу». И добавлял: «Для отдохновения пишу воспоминания о юности»[60].

Со своей женой Радек, между прочим, познакомился в Германии, где-то между 1908 и 1911 гг., вероятно, в левосоциалистических кругах[61]. Неизвестно ничего, кроме ее имени – Роза – и профессии – врач; Радек не упоминал её ни публично, ни в дошедших до нас частных разговорах. Некоторое представление об отношениях между супругами дают два письма: одно – ей из тюрьмы[62], другое – от неё ему во время заключения[63]. Эти послания свидетельствуют о сердечной и искренней любви, а также о политической активности. Если верить им, у супругов Радек было двое детей – сын и дочь, которая родилась во время его пребывания в тюрьме. В конце концов, похоже, их любовь и брак распались, ибо Радек решился на рискованную связь с красавицей Ларисой Рейснер, большевистской журналисткой[64], и о Розе не было больше слышно, в том числе и после смерти Рейснер в 1926 г. Судьба как Розы, так и детей осталась где-то на заднем плане. В начале 30-х годов Эрих Волленберг видел в квартире Радека девочку лет трёх, которую Радек представил как свою дочку, но с её матерью Волленберг не познакомился[65].

Опыт, накопленный в заключении, вливался не только в процесс формирования межгосударственных отношений, но и – по другому каналу – в политику Коммунистического Интернационала, основанного Россией во время отсутствия Радека. Как раз незадолго до отъезда, в хорошо обставленной комнате берлинского комиссара полиции, он «целыми группами»[66] принимал немецких товарищей: «Мы выработали тезисы Западноевропейского бюро Коминтерна о мировом положении и тактике коммунистов. Они начинались со слов, что всякая правильная тактика коммунистических партий должна исходить из предположения, что революция, даже в европейском масштабе, будет очень продолжительным процессом»[67]. Теперь это было слишком неопределённое указание времени, но в нём содержалось только то, в чём Радек чем дальше, тем больше убеждался на протяжении своего пребывания в Германии: на учредительном съезде КПГ, т. е. до ареста, он ещё полагал, что пролетарская революция будет вопросом нескольких лет. Теперь же он предполагал, что

придётся считаться с десятилетием[68] или даже с «жизнью целого поколения»[69]. А, тем временем, «в передней сидел шпик и глотал лепёшки из картофеля»[70]. Революции действительно не предвиделось.

Задержка Радека в Берлине ещё на несколько недель после его освобождения из заключения имела вескую причину, находившуюся вне юридических или полицейских соображений. Начатые германо-российские экономические переговоры нуждались, по-видимому, в новых импульсах, и как германская сторона, так и Радек были заинтересованы в их успешном завершении. Поэтому 10 января в квартире Радека, где в передней сидел шпик, появились два руководящих представителя немецкой экономики и советник министерства иностранных дел, чтобы обсудить возможности сотрудничества. При этом, для Радека играла особую роль немецкая техническая помощь. Непосредственный результат беседы был не столь уж значителен, но в долгосрочной перспективе он способствовал сближению между двумя государствами[71].

Возвращение Радека, обогащённого всем этим опытом, в конце января 1920 г. в Москву имело только одно последствие. Между Советской Россией и Германией, между изолированным и всё ещё неустойчивым новым режимом и страной, проигравшей в войне и связанной Версальским договором, между двумя потерпевшими поражение среди многочисленных государств, следовало найти модус вивенди к взаимной выгоде невзирая на различия их политической и социальной систем. Таким образом, оказывалось возможным исполнение мрачного пророчества Розы Люксембург. Речь шла сейчас о благополучии или неблагополучии молодого советского государства, и Германия могла сыграть в этом важную роль. Уже внутрироссийская дискуссия вокруг Брестского мира дала урок реальной политики: большевистский режим не ставится на карту, чтобы – может быть! – революционизировать другие страны. Для Советской России было и тогда, и теперь реальным понимание того факта, что мировая революция не наступает. Свою былую оппозицию Ленину и Брестскому миру Радек объяснял позже функционерам Коммунистического Интернационала, прибегая к наигранной ребячливости: «Мы, невинные, тогда левые и глупые коммунисты…»[72].

Для Радека не было никакого противоречия в том, что он, со своим представлением о модус вивенди с капиталистической Германией и со свойственным ему скепсисом по поводу революции, занял пост секретаря Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ), т. е. стал кем-то вроде менеджера революции. Для тех же, кто сделал его таковым, этот шаг напрашивался сам собой. Интернационал был для Ленина, прежде всего, организацией, призванной служить Советской России. Опыт и контакты Радека в Германии оказались, при этом, неоценимы, тем более, что возможности информации для советского руководства были крайне скудны ввиду его изоляции. Не в последнюю очередь под его влиянием КПГ начала в Германии агитационную кампанию, в том числе в прессе, в пользу германо-российского сотрудничества – более того, за «Союз с Советской Россией»[73]. Договор в Рапалло, подписанный 16 апреля 1922 г., мог в существовавших условиях рассматриваться едва ли не как такой союз: два объекта дискриминации среди великих держав Европы сошлись, чтобы преодолеть блокирование и ущемление их интересов.

Договор был шедевром в дипломатическом и политическом отношении, а его заключение – вершиной карьеры Радека. По инициативе министерства иностранных дел в Берлине, он 10 января 1922 г. выехал в Германию, чтобы набросать основные черты документа в беседе с руководителем отдела Востока в министерстве Аго фон

Мальцаном. Это, определенно, была миссия, отвечавшая его склонности к иронии и получению удовольствия от удачных политических шагов: под именем Константина Ромера он вёл переговоры в качестве уполномоченного Советского правительства в министерстве иностранных дел и с представителями экономических кругов, встречался с рейхсканцлером Виртом и начальником управления сухопутными войсками рейхсвера Сектом. Одновременно с этим он, под именем Карла Бремера в качестве секретаря Исполкома Коминтерна инструктировал немецких коммунистов[74]. В феврале он приезжал еще раз, с проектом протокола для подготовки соглашения в багаже[75]. В марте Радек снова ненадолго приехал в Берлин, а 1 апреля российская делегация, направлявшаяся на Генуэзскую конференцию, остановилась в имперской столице, причём нарком иностранных дел Чичерин и рейхсканцлер Вирт ещё раз говорили о договоре. И всё это осталось почти незамеченным западными державами.

Радек всегда чувствовал себя в своей стихии, «плёл ли он дипломатическую интригу или, как крот революции, прокладывал подземные ходы», – писал Исаак Дойчер в биографии Троцкого[76]. В своей стихии чувствует себя обыкновенно кто-то, способный господствовать над нею. Определённым образом заключение договора было дипломатической интригой. А в качестве крота революции Радек обладал также и идеологическими предпосылками для участия в создании таких интриг, когда он под именем «Карла Бремера» призывал немецких товарищей к проведению так называемой политики единого фронта, с помощью которой временно смягчалось противоречие между коммунистами и социал-демократами[77]. Радека даже обвиняли в том, что он, предлагая проводить такую политику, хотел сделать КПГ «безопасной насколько возможно, чтобы не нарушить политическое равновесие»[78].

Это вовсе не нелепое предположение. Приоритет в мышлении и деятельности Радека имела Германия дня сегодняшнего, а не та Германия, которая когда-нибудь, может быть, станет революционной. Современность же была представлена Виртом и Ратенау, генералами Грёнером и Сектом, воротилами бизнеса. И в этом германском государстве живы были ещё Бисмарк и его представления о союзе с Россией, хотя царская монархия рухнула и была сметена с лица земли. Радек знал о результатах деятельности «железного канцлера», он видел их в предвоенное время, а также и теперь, находясь в Берлине. Это, кстати, побудило его написать статью о Бисмарке для первой советской энциклопедии[79].

Но Рапалльский договор не стал тем, чем он обещал стать. Уже вскоре после его подписания германский посол в Москве граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау смог записать в своём дневнике то же, что отметил в 1891 г. один из его предшественников, генерал фон Швейниц, прощаясь с двором в Санкт-Петербурге: «17 лет напрасной работы. За германско-российскую дружбу!» Когда Брокдорф-Ранцау по истечении шести лет покидал Москву, он был не менее разочарован. Вожди Советской России видели в Германии вовсе не партнёра, а желали иметь в ней сателлита: нарком иностранных дел Чичерин чистосердечно объяснил немецкому журналисту Паулю Шефферу, что для России открывается возможность перемещать свой вес «между Англией и Францией, смотря по потребности, и не впадая в зависимость от одного из этих государств ввиду отсутствия твёрдых обязательств», и при этом отвел Германии роль сопровождающего[80]. Германия как объект политики России – таково, следовательно, было представление о Рапалло в концепции московского руководства.

В этом представлении германскому рейхсверу отводилась функция фактора порядка внутри страны, и ему надлежало вместе с Красной Армией придать договору

завершённость, превратив его в оборонительный и наступательный союз. Радек использовал все возможности для контактов с германскими военными. Будучи заключённым – заметим, находившимся в ведении министерства рейхсвера – он уже мог поддерживать эти контакты, а под псевдонимом Константина Рёмера, по меньшей мере, один раз встречался с Сектом в ноябре 1922 г. и ещё один раз потом. Не все эти контакты остались в тайне, и они возбудили недоверие многих немецких коммунистов[81]. Не выяснено, правда, ездил ли Радек в Берлин с «тайным предложением» советского Генерального штаба[82]. Известно, однако, о военном сотрудничестве между обоими государствами. Оно было столь тесным и до такой степени радовало московское руководство, что Радек как-то раз кичливо заявил одному немецкому посетителю: «Рейхсвер у нас в кармане!»[83] Конечно, по поводу антикоммунизма германских вооружённых сил иллюзий ни у кого не было; Радек цитировал послу Брокдорф-Ранцау генерала Секта, по словам которого «коммунистов следует крепко взять за горло, но Германия всё-таки должна идти вместе с Россией». «Мы готовы», – добавлял Радек[84]. Это было в декабре 1923 г. Только что закончившиеся события в Средней Германии и Гамбурге показали, однако, что местоимение «мы» хотя и имело силу для него и, вероятно, кое-кого ещё в Москве, но не для руководства Советской России: оно только что приняло решение о германской революции и сделало распоряжения о «немецком октябре». И это тоже было Рапалло, как его понимали в Москве – без Радека.

Ни он, ни, в ещё меньшей степени, Чичерин не хотели увидеть союз с Германией под угрозой. Это имело отнюдь не сентиментальные причины; оба при всем их сходстве не были настолько германофилами, чтобы предпочесть буржуазно-капиталистический строй пролетарско-социалистическому. Они были убеждены лишь в формулировке, прозвучавшей на IV Всемирном конгрессе Коминтерна в конце 1922 г., о том, что пребывают в «более или менее вялой эпохе мировой революции»[85]. Радек и сам, воспользовавшись ситуацией, ещё раз лишь подтвердил свою прежнюю точку зрения, в соответствии с которой «завоевание власти не стоит в порядке дня в качестве ближайшей актуальной задачи»[86].

Естественно, в связи с этим возникает вопрос о том, какова была «ближайшая актуальная задача» коммунистических партий. Ответ Радека можно было объединить в одно понятие: политика единого фронта. Конечно, она не могла прийтись по нраву убеждённым революционерам. Ведь наряду с поддержкой Советской России и её политики им приходилось заботиться преимущественно о социальных интересах рабочих, проникая, таким образом, в сферу деятельности более крупных и лучше организованных социал-демократических партий и профсоюзов, во всяком случае, в Германии. Ввиду этого, КПГ не оставалось ничего другого, как только для видимости пристать к СДПГ, чтобы, в конце концов, оттеснить её на направления, которые определяли бы коммунисты. Рассматриваемая таким образом, политика единого фронта всегда оставалась средством в руках коммунистов; и Радек действительно говорил о социал-демократах и профсоюзах как о «тех, кто пригоняет»[87]. Логическим следствием политики единого фронта был лозунг «рабочего правительства», распространявшийся с поздней осени 1921 г. 10 ноября 1921 г. согласно договорённости с Лениным Радек написал немецким коммунистам, что КПГ должна принципиально выступить за республику Советов. Но эта программа «ни словом не говорит о том, какими путями рабочий класс добьётся создания советского правительства. Советского правительства можно добиться именно в ходе революции против буржу-

азного правительства, так же, как оно может возникнуть и в ходе борьбы рабочего класса в защиту социалистического правительства, возникшего демократическим путём, если оно честно отстаивает интересы рабочего класса против капитала. Участие коммунистической партии в таком правительстве будет зависеть от конкретной ситуации»[88]. Ни Радек, ни другие не стали чётче в своих высказываниях, так что понятие «рабочего правительства» и условия участия в нём коммунистов, – а летом 1923 г. оно было расширено до понятия «рабоче-крестьянского правительства» – остались невыясненными[89]. Вероятно, эта неясность была преднамеренной; лозунги формировались для того, чтобы имитировать действия там, где не было возможности их развернуть. Несколько позже появился лишь один пример такого рода: по указанию Коминтерна из Москвы КПГ участвовала в октябре 1923 г. в земельных правительствах Саксонии и Тюрингии[90], но это осталось всего лишь кратким эпизодом.

Лозунги «единого фронта» и «рабочего правительства» вместе с их теоретическим обоснованием были важнейшим вкладом Радека в тактику Коммунистического Интернационала. И его намерениям, как и намерениям Ленина полностью соответствовала возможность использования этих лозунгов преимущественно для внешней политики Советской России. С их помощью можно было направлять и останавливать мировое коммунистическое движение, чтобы это служило на пользу Советской России. В этом, собственно, и заключалось управление мировой революцией.

11 января 1923 г. французские и бельгийские войска заняли Рурскую область. Германское правительство призвало к пассивному сопротивлению, так как в праве на военную защиту ему было отказано. Теперь оказалось, что Германия была слабейшим из двух партнёров по Рапалльскому договору; она, как сформулировал экономист Варга вместе с Н.И. Бухариным и Радеком, находилась на пути к превращению в «индустриальную колонию». Радек, который как раз тогда был в Берлине, наблюдал в самой непосредственной близости реакцию населения и проявляемые им чувства, от глубокой депрессии до всплеска национальной гордости: во время представления «Вильгельма Телля» в Берлинском государственном театре после сцены клятвы на Рютли публика поднялась с мест и, охваченная порывом, запела «Германия, Германия превыше всего».

Что было ему делать в такой ситуации? В посольстве Советского Союза на Унтер-ден-Линден он совещался с политиками и журналистами, в торгпредстве принимал представителей рейхсвера, а в редакции органа КПГ «Роте Фане» инструктировал немецких товарищей[91]. В самом начале кризиса он предлагал правительству удержать коммунистов от любого действия в Рурской области, так как это было бы только на пользу Франции[92]. В действительности, он тормозил и немецких товарищей. Пару месяцев спустя он зашифровал свои мотивы и мотивы Советской России с помощью утверждения о том, что германская буржуазия хотела капитулировать перед Францией, «пытаясь спровоцировать восстание коммунистов в Рурской области, чтобы потом с криком “Коммунисты открыли ворота Франции!” подавить коммунистов и выдать Германию империализму Антанты». С заметной, хотя и не выставляемой напоказ, скромностью он умолчал о собственной деятельности: «Благодаря хладнокровию немецких коммунистов, этот план не удался»[93]. Германия, конечно, не может попасть в полную зависимость от западных держав, это было бы во вред московской концепции государства как сателлита Советской России.

Во всяком случае, в ходе осуществления этой стратегической цели Радеку как лучшему знатоку ситуации в Германии были все средства хороши, при известных условиях, вплоть до поддержания контактов с радикально антикоммунистическими силами. Примером тому – надгробное слово Лео Шлагетеру от 21 июня 1923 г.[94], самая цитируемая и наиболее знаменитая из-за своего неожиданного характера речь Радека. Шлагетер, националистически настроенный офицер добровольческого корпуса, был после актов саботажа против оккупационных армий в Рурской области осуждён французским военным судом и расстрелян 26 мая 1923 г. Удивительно было уже то, что его память почтили не только друзья и сочувствующие, но, в конце концов, и секретарь Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала в Москве. Поистине ошеломить должна была изворотливость, с которой коммунист хотел поставить событие на службу делу, во всяком случае, на первый взгляд.

Сначала Радек назвал Шлагетера фашистом и продолжал: «Мы не сентиментальные романтики, которые над трупом забывают вражду, и не дипломаты, которые говорят: “Над гробом надо говорить хорошее или молчать”». Но вот что прозвучало затем: «Шлагетер, мужественный солдат контрреволюции, заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его». Радек недвусмысленно обратился к «кругам германских фашистов, желающих честно послужить немецкому народу»[95]. Теперь немецким национальным силам приходится решать, против кого хотят они бороться: «*Против капитала Антанты или против русского народа?* С кем они хотят объединиться? С русскими рабочими и крестьянами для совместного свержения ига антантовского капитала или с капиталом Антанты для порабощения германского и русского народов? …Они должны ответить: против кого, на чьей стороне?»[96]. Радек намеренно обращался к прусской истории, вспоминал о поражении в борьбе против Наполеона и говорил: «Когда после Иены Гнейзенау и Шарнхорст спрашивали себя, как мы можем вывести немецкий народ из его униженного состояния, то они отвечали на этот вопрос: только тем, что освободим крестьянина от крепостного рабства. Только свободная спина германского крестьянина может быть фундаментом освобождения Германии. То, что представлял собою немецкий крестьянин в начале XIX столетия, тем для судьбы немецкого народа в начале XX столетия является немецкий пролетариат. *Только в союзе с ним*, а не в борьбе против него можно освободить Германию от оков рабства»[97]. И сильнейший народ не сможет выстоять без друзей, «тем менее это может сделать народ, разбитый и окружённый врагами»[98].

Нет, произнося эту речь, Радек не закутывался в «тогу Германии», и его голос не утрачивал «сурового тона, становясь мягким, певучим, будто при пении перед возлюбленной»[99]. Он отнюдь не был сентиментальным. Он хотел дать понять, что Советская Россия наготове как мессия, который поведёт немецкий народ, «единый фронт» уже не из одних рабочих, но *«единый фронт всех трудящихся»*[100], в царство свободы. И чего только не делали в интересах этой политики! Немецкие товарищи даже получили указание вежливо обращаться с офицерами рейхсвера, должным образом хранить форму времён империи Вильгельма II и обращаться к господам со словами «ваше превосходительство»…

Им не пришлось слишком долго кланяться и сгибать других. Так называемая линия Шлагетера была ликвидирована уже по прошествии шести недель. В Германии она и без того не имела успеха, в Советской России было, однако, предпринято ра-

дикальное изменение курса – от сотрудничества между государствами до революционной конфронтации. Такой поворот должен был совершить и Радек. В качестве уполномоченного Коминтерна он был послан в Германию, чтобы теперь «сделать» революцию.

Это изменение курса было вызвано призывом руководителя КПГ Генриха Брандлера к проведению антифашистского дня 29 июля[101], и поначалу упомянутое изменение осуществлял Троцкий. Если, например, председатель Коминтерна Зиновьев и Бухарин выпустили первое, сдержанное заявление, то Троцкий через немецкого посредника сразу же вызвал Брандлера в Москву, обосновывая свой шаг тем, что в Германии сложилась революционная ситуация, и безусловно необходимо немедленное обсуждение вопроса о восстании[102]. Радек, наоборот, был категорически против интенсификации революционной кампании[103], и при этом его взгляды совпадали с позицией ещё одного члена большевистского Политбюро – Сталина. Уже 26 июля он послал руководству КПГ телеграмму, в которой, прибегая к обоснованию «мы боимся ловушки», рекомендовал не проводить 29 июля уличных демонстраций. Антифашистский день прошёл относительно спокойно. Но свержение правительства Куно 12 августа в результате всеобщей забастовки в Берлине, начатой по призыву КПГ, плюс инфляция и продолжительный хаос в Рурской области, действительно, представлялись некоторым из московских вождей революционной ситуацией.

Когда 21 августа в Москве собралось Политбюро, на обсуждении стояла проблема серьёзнейшего значения – ситуация в Германии, причём Ленин не мог участвовать в принятии решения. Комиссия, созданная в составе Зиновьева, Троцкого, Сталина, Каменева, Чичерина и Радека, сочла, «что германский пролетариат стоит непосредственно перед решающей борьбой за власть». С этим фактом приходилось считаться не только немецкой и русской партиям, но и Коминтерну в целом. «Трудящиеся массы» России должны быть подготовлены соответствующим образом, а «боевые единицы Союза» приведены «в состояние мобилизации»[104]. Орган, состоявший только из русских, воспринимал себя как политическое руководство революции в Германии. Исходя из лозунга единого фронта, отделения КПГ в Саксонии и Тюрингии должны были для начала вступить в коалиции с социал-демократами, чтобы вооружить коммунистов. В связи с этим обсуждалась также организационная и военная помощь со стороны Советской России. В начале октября представителей КПГ, находившихся в Москве, послали в Германию с поручением «сделать» революцию. Её судьба известна – под впечатлением от реальной ситуации Брандлер протрубил отбой, и только в Гамбурге дошло до кровавых уличных боёв. А когда Радек 22 октября приехал в Германию, он встал на сторону Брандлера. Если в августе он, действительно, говорил о восстании, то теперь, под непосредственным впечатлением от ситуации, снова стал верен себе.

Планирование «немецкого Октября» московским руководством возникло, несомненно, из борьбы за наследие смертельно больного Ленина. Каждый из диадохов хотел ещё раз добиться признания в качестве революционера. А когда запланированная революция потерпела неудачу, то и анализ поражения стал частью борьбы за власть. Бесспорно, Зиновьев как глава Коминтерна пережил наибольшую потерю престижа, поэтому разумелось само собой, что он пытался отвести от себя вину и ответственность, переложив их на другого. И на роль козла отпущения не было кандидатуры лучше Радека – его секретаря, *специалиста* по Германии, более того, сторонника и союзника Троцкого, вероятно, сильнейшего среди претендентов. Радек

выступал в пользу Троцкого, который в октябре 1923 г. предпринял нечто вроде объявления войны партийному аппарату, управлявшемуся Сталиным. Когда 8 января 1924 г. собрался суд остракизма Интернационала, Радек и его «правая» дружина, а именно Генрих Брандлер и Август Тальгеймер[105], были сделаны ответственными за поражение.

Радек защищался ожесточённо и не всегда искусно: в декабре он угрожал привлечь германскую и другие важнейшие европейские коммунистические партии к борьбе за власть в России на стороне Троцкого[106]. Казалось, что он, углубившись в немецкие и международные сценарии событий, утратил взгляд на ситуацию в Советском Союзе. Он был экспертом в том, что касалось прокладки подземных ходов и создания окопов, но защита этих позиций и успешное продвижение вперёд, похоже, были не его делом. Карьера Радека как менеджера революции была окончена, наблюдательному совету фирмы «Коминтерн» нужна была жертва, и её нашли в лице Радека.

Его интеллектуальной и риторической изворотливости соответствовал выданный им ещё раз на прощание лозунг о новой радикальной смене курса в тактике мирового коммунистического движения: октябрьское поражение идентично победе фашизма над Ноябрьской республикой, за что несут ответственность социал-демократические вожди[107], и с этими вождями возможна теперь только «борьба не на жизнь, а на смерть»[108]. Но Радек сразу же предсказал и утреннюю зарю после тёмной ночи реакции в Германии: «фашистская диктатура», по его словам, – «последнее и слабейшее буржуазное правительство Германии»[109]. В январе 1923 г. Радек ещё раз коснулся своего тезиса и при этом назвал социал-демократию союзником фашизма[110]. Зиновьев сразу же и, конечно, с благодарностью подхватил формулу Радека и назвал германскую социал-демократию «крылом фашизма», чтобы ещё раз подтвердить: «Это фашистская социал-демократия»[111]. Тем самым, эти двое, Радек и Зиновьев, невольно дали идеологический эскиз для обоснования роковой политики третьему, а именно Сталину, с его сформулированной позже «теорией братьев-близнецов»[112].

Создатель политики единого фронта, поборник коалиции интернационалистов, наконец, суфлёр в процессе осуществления пагубной политики Сталина по отношению к социал-демократии и национал-социализму – что за абсурдная последовательность! Она многое говорит о Радеке как тактике, заставляя, в то же время, усомниться в нём как в теоретике. Самое позднее, в 1933 г. он увидел, куда привели в Германии ошибочные оценки и тактические маневры. Непосредственно после поджога рейхстага, 27 или 28 февраля 1933 г., он сказал немецкому коммунисту Карлу Рецлаву, что нелегальная работа в стране пока безрезультатна «и никогда не оправдает жертв»[113]. Надежды социал-демократических вождей на офицеров рейхсвера бессмысленны; пока Гитлер гарантирует офицерам их существование в качестве касты, они на его стороне. Коммунистов, как и вообще левых, в Германии будут убивать сотнями тысяч. С кажущейся покорностью судьбе Радек добавил, что ни его поколение, ни поколение Рецлава больше не смогут подняться против нацистов. А потом он встал у окна своей квартиры, из которого были видны Кремль и здание Коммунистического Интернационала, и погрозил в том направлении сжатым кулаком: «Там сидят виновники, позволившие всему зайти так далеко». И после короткой паузы добавил: «А Сталин – это главный виновник». Но потом не преминул сообщить своему гостю, что Сталин ежедневно звонит ему.

В июне 1924 г. Радек последний раз выступал перед общим собранием Коминтерна – на его V Всемирном конгрессе. Но насколько же все было по-иному, в сравнении с прежними временами! Когда-то товарищи со всего мира встречали и провожали его аплодисментами. Они внимательно слушали его, ведь ему было что сказать. Они избегали необдуманных реплик, боясь его риторических ударов. Они не обращали внимания на его внешность «отвратительного гнома с густыми, вьющимися, неряшливыми чёрными волосами, всегда казавшимися непричёсанными, смеющимися близорукими глазами за толстыми стеклами очков, выпяченными влажными губами, бакенбардами, сросшимися под подбородком, и бледной нездоровой кожей»[114]. Они не смеялись ни над его клоунскими попытками подтянуть слишком широкие штаны, ни над его неожиданными жестами, ни над слишком резким голосом. Теперь же, в этот 21-й день июня 1924 года, ни одна рука не шевельнулась для аплодисментов. Его нагло прерывали. И смеялись. Пошли толки, что он уже осуждён. И лишь немногих беспокоило, мог ли он и впрямь быть виновным.

Между тем он нисколько не утратил ни своей живости ума, ни язвительности, хотя и не работал теперь на особо важных должностях. Это отражалось в «Правде» и «Известиях», для которых Радек писал о международных отношениях, и в его манере преподавания, когда он, в качестве руководителя так называемого Университета им. Сунь Ятсена, сбивал с толку или развлекал таким способом своих азиатских слушателей вместо того, чтобы сухо учить их марксистско-ленинской таблице умножения. Во внутренней политике он выступал на стороне Троцкого, против бюрократизма сталинского партийного аппарата и теории построения социализма в *одной* стране. «Они плохо читали Ленина, – говорил он, бывало, слушателям Коммунистической академии, – и если бы Владимир Ильич был жив, он сказал бы, что это щедринская идея. В “Помпадурах” Щедрина[115] есть один такой Помпадур, создающий либерализм в одном округе». Можно было бы разработать и теорию построения социализма на одной улице[116]. Ему, как и другим оппозиционерам, пришлось поплатиться за солидарность с Троцким и презрение к Сталину. 17 ноября 1927 г. Радек должен был выехать из своей квартиры во флигеле Кавалерского корпуса Московского Кремля, а вскоре и вовсе оставить Москву. За этим последовали сначала непритязательное жильё в Сибири – в Тобольской губернии, а затем в Томске. Хотя в письмах он и выступал по-прежнему за Троцкого и ругал товарищей, капитулировавших перед Сталиным, называя их приспособленцами и лжецами, он уже готовил собственную капитуляцию. Конечно, ему пришлось ещё хуже, чем когда-то в Швейцарии, где у него была лишь возможность «посмотреть на селёдку в качестве ужина»: он оказался без зарубежных газет! Вдали от Москвы, далеко от Европы, от Запада, да к тому же в тени, а не на ярко освещённой политической сцене. В сибирской беспросветности он должен был впасть в уныние, оказаться подавленным и, наконец, сломленным. Он не был героем, не был «несгибаемым» революционером. Он не мог нести судьбу отверженного, да и не хотел этого.

С присущим ему сарказмом Радек описывал Эриху Волленбергу своё поведение: между буржуазной и пролетарской революциями имеется примечательное различие. Пребывание в оппозиции во время буржуазной революции означало укорачивание на голову, а ведь без головы нельзя делать политику, хотя политика, большей частью, и делается без головы. Оппозиция во время пролетарской революции имела результатом (как можно видеть на его примере) ссылку в Сибирь и являлась весьма поучительной, позволяя изучить местности и людей, с которыми в ином случае едва ли

можно было бы познакомиться. А если становилось всё же слишком скучно, можно было подписать клочок бумаги и вернуться[117].

Может быть, он действительно верил в это; он ведь даже не подозревал, что́ ещё Сталин держал наготове для оппозиции. Но, может быть, в отношении его верно и превратившееся в клише объяснение многих раскаявшихся, бессчетным числом готовых к самообвинениям: в одиночестве ссылки и тюремной камеры они не могли устоять перед внушением мысли, согласно которой партия всегда права, партия – всё, а индивид – ничто. Когда Густав Хильгер снова встретил его в Москве в 1930 г., Радек произвёл на него совсем другое впечатление, нежели то оживлённо-ироническое, о котором рассказывал Волленберг, – он воспринимался как «человек, утративший последние остатки уверенности в себе»[118].

Его покаяние, будь то притворное или настоящее, ему не помогло. И без того он, бесцеремонный, ироничный, шокирующий и образованный, не был партнёром для Сталина. Не был он, разумеется, и конкурентом, как Троцкий, Зиновьев, Бухарин и Каменев. Но рядом со Сталиным он действовал во многом подобно параболическому отражателю, на который падал свет революции, обходя грузина. В серой посредственности сталинского руководства Радек сам был бы источником света, на который неизбежно направлялись бы взгляды публики. Более сильным личностям, таким как Ленин, Троцкий и Бухарин, не было необходимости опасаться подобной рефракции. Сталин же должен был бояться такого света. Он должен был погасить его.

Уже в 1930 г. он давал понять в письме Максиму Горькому, что ещё не разделался с бывшей оппозицией. Он писал о «логике фракционной борьбы»» и снова характеризовал Радека и других как будущих врагов; «важные разногласия» «толкнули их к борьбе»[119]. Радек ещё смог поработать вместе с Бухариным в комиссии по разработке новой Конституции, и оба, по-видимому, выполнили бóльшую часть работы. В качестве уполномоченного Сталина он ещё раз провёл переговоры в рамках дипломатической миссии, на сей раз с Пилсудским в Польше. А когда началась «большая чистка», он ещё сумел защитить некоторых, прежде всего, писателей и журналистов, от ареста тайной полицией. Но уже вскоре выяснилось, что их такая защита, скорее, дискредитировала. Сам Радек был предан суду и осуждён.

Между тем давно уже известно, что каждый из больших показательных процессов в ходе «большой чистки» был инсценировкой с ложными признаниями и ложными обвинениями, из которых всякий раз должен был возникать новый спектакль. Радек, арестованный в августе или сентябре 1936 г.[120], был обвинён Каменевым, против которого он написал статью как раз в первый день процесса над ним[121]. Когда теперь он сам стоял перед судом[122], он вёл себя не лучше. Он тоже сознавался и доносил, как того требовал от него подготовленный сценарий. Но он не всегда следовал режиссуре, иногда отступал от сценария и шёл собственным путём. Эрнсту Фишеру он показался при этом «двусмысленным трагическим клоуном, неожиданно обращающимся к публике по-немецки и по-английски, загадочно поддерживающим обвинителя»[123]. В то же время он давал понять, что весь процесс был фарсом[124]. Иногда он насмехался, адресуясь к суду, прежде всего, к обвинителю Вышинскому. А ещё он ждал. Отклоняясь от сценария, он давал чёткое указание маршалу Тухачевскому – единственному человеку, имевшему, по его мнению, ещё достаточно силы, чтобы устранить Сталина и его диктатуру, – что пришло время действовать[125]. Да, он понимал толк как в шифровке сообщений, так и в политической интриге. Вот только его не всегда понимали.

Карла Радека лишила головы, действительно, не «пролетарская революция». Он не разделил судьбу Зиновьева, Каменева, Бухарина и многих других, приговорённых к смерти. Решение, вынесенное в его адрес, гласило: десять лет лишения свободы. Но чего стоил этот относительно мягкий приговор, если он был предопределён Сталиным? Карла Радека убили в 1939 г. в исправительно-трудовом лагере на Крайнем Севере.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Stefan Heym.* Radek. – München, 1995.

[2] *Dietrich Möller*. Revolutionär, Intrigant, Diplomat. Karl Radek in Deutschland. – Köln, 1976.

[3] Лео Тышка-Иогихес, руководитель Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), член СДПГ, затем один из лидеров «Союза Спартака», убит в Берлине в 1918 г. (в действительности 10 марта 1919 г. – *Прим. перев.*)

[4] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 49. С. 320

[5] Там же. С. 332.

[6] Там же. С. 378.

[7] *Clara Zetkin.* Reminiscences of Lenin. Dealing with Lenin's views on the position of women and other questions. – London, 1929. S. 21.

[8] *Leo Trotzki.* Hande weg von Rosa Luxemburg! In: Ders. Schriften uberDeutschland (= Gesammelte Werke, Bd. 1). – Frankfurt/M., 1971. S. 328.

[9] В письме Борису Суварину. – Schriften uber Deutschland (= Gesammelte Werke, Bd. 2). Frankfurt/M. 1971. S. 748.

[10] *Троцкий Л.Д.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 2. – М.: Книга, 1990. С. 231.

[11] *Серж В.* От революции к тоталитаризму: воспоминания революционера. – М: НПЦ «Праксис», Оренбург: «Оренбургская книга», 2001. С. 164.

[12] Волленберг в беседе с автором. Эрих Волленберг (1892–1973) был одним из военных руководителей Баварской Советской республики 1919 г., в 1923 г. он возглавлял майское восстание в Бохуме и стал в 1923 г. «Главным военно-политическим руководителем Юго-Запада» КПГ; в апреле 1924 г. он отправился в «Первую немецкую военную школу при Генеральном штабе Красной Армии» в Москву и осенью 1924 стал комбригом Красной Армии. Вернувшись в Германию, он в 1930 г. занял пост главного редактора газеты «Ди роте фронт». После критики в адрес линии КПГ был отправлен в Москву и в апреле 1933 г. исключён из партии. В 1934 г. ему удалось бежать из Москвы в Прагу, позже в Париж. В 1946 г. он в качестве американского пресс-офицера вернулся в Германию и работал журналистом.

[13] *Ruth Fischer.* Stalin und der deutsche Kommunismus. – Frankfurt/M., 1948. S. 253. Р. Фишер, она же Эльфрида Гольке, урождённая Эйслер, была в числе основателей Коммунистической партии Австрии. После переселения в Германию и активного участия в деятельности КПГ она познакомилась с Радеком.

[14] *Gustav Hilger.* Wir und der Kreml. Deutsch-sowjetische Beziehungen 1918–1941. Erinnerungen eines Diplomaten. – Frankfurt/M. und Berlin, 1955. S. 78.

[15] Ibid. S. 79 f.

[16] Ср. *Warren Lerner.* Karl Radek. The Last Internationalist. – Stanford, Ca., 1970. Биография, написанная Лернером – единственное до сих пор серьёзное жизнеописание Радека.

[17] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). – «Красная Новь», 1926, № 10. С. 157.

[18] *Серж В.* Указ. соч. С. 275.

[19] *Ernst Niekisch.* Gewagtes Leben. Begegnungen und Begebnisse. – Köln und Berlin, 1958. S. 217.

[20] *Jürgen Rühle.* Literatur und Revolution. Die Schriftsteller und der Kommunismus. – Köln und Berlin, 1960. S. 238.

[21] Цит. по *Frölich.* Rosa Luxemburg. Gedanke und Tat. 3. Ausg. – Frankfurt/M., 1967. S. 29.

[22] *Warren Lerner,* op. cit. S. 5 f. и *Gustav Hilger*, op. cit. S. 180.

[23] Rosa Luxemburg. Briefe an Leo Jogiches. – Frankfurt/M. 1971. S. 283.

[24] Ibid. S. 298.

[25] Ibid. S. 336.

[26] Исторический смысл внутрипартийной борьбы в России. – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 19. С. 358–376.

[27] Там же. Т. 47. С. 274

[28] *Warren Lerner,* op. cit. S. 20.

[29] Со статьей для «Бремер бюргерцайтунг»: Rosa Luxemburg und der polnische «Parteivorstand» in den Fußstapfen Martows. Veröffentlicht von Peter Nettl. – International Review of Social History IX (1964). S. 470–482.

[30] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 149.

[31] *Paul Levi.* Zur Klarstellung. – Unser Weg, Jg. 4, H. 1/2 vom 15. Januar 1922.

[32] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 49. С. 116.

[33] *Schüddekopf O.* – E. Karl Radek in Berlin. Ein Kapitel deutsch-russischer Beziehungen im Jahre 1919. – Archiv für Sozialgeschichte. 2. Bd. – Hannover, 1962. S. 142.

[34] *Троцкий Л.Д.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 1. С. 273.

[35] *Lyman H.* Legters. Karl Radek als Sprachrohr des Bolschewismus. In: Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte, Bd. 7. – Berlin 1959. S. 304.

[36] *Günter Rosenfeld.* Sowjetrußland und Deutschland 1917–1922. – Berlin (Ost), 1960. S. 106. Л. Легтерс полагает, что Радек стал руководителем пресс-бюро; Ibid. S. 230. Верно и то, и другое, как автор узнал в 1980 г. в Москве от бывшего сотрудника Радека в пресс-бюро.

[37] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 141.

[38] Там же. С. 144.

[39] За исключением книги *Marie-Luise Goldbach*. Karl Radek und die deutsch-sowjetischen Beziehungen 1918–1923 (= Schriftenreihe des Forschungsinstituts der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bd. 97). – Bonn-Bad Godesberg, 1973, обретение этого понимания, как ни странно, датируется в историографии временем пребывания Радека в берлинской тюрьме. Даже Шюддекопф полагал ещё и после перевода воспоминаний Радека, что он начал правильно оценивать внутриполитическую ситуацию только во время заключения (*Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 101).

[40] Центральный орган КПГ.

[41] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 132.

[42] Там же.

[43] Там же. С. 152.

[44] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, 131 adh 3 Nr. 2; цит. также «Красная новь». С. 94.

[45] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, 131 adh 3 Nr. 2.

[46] Rote Fahne, 25. Februar 1919.

[47] По поводу этого комплекса ср *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 102 ff. Данное Шюддекопфом изображение пребывания Радека в столице государства перед тюремным заключением и во время его почти полно.

[48] Ibid. S. 117; письмо воспроизведено на С. 114–118.

[49] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 163 и сл.

[50] См. об этом также Goldbach, op. cit. S. 45ff.

[51] Цит. *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 88.

[52] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 165 и сл.

[53] *Max Barthel.* Kein Bedarf an Weltgeschichte. Geschichte eines Lebens. –Wiesbaden, 1950. S. 66.

[54] *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 101.

[55] Ibid. S. 109.

[56] *Rosa Luxemburg*. 11. Spartakusbrief. Lionel Kochan. Russland und die Weimarer Republik. – Düsseldorf 1955. S. 107

[57] Список см. в *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 88f.

[58] *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 146.

[59] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 172.

[60] *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 112.

[61] *Warren Lerner*, op. cit. S. 19f.

[62] Полностью см. *Schüddekopf O.* – E., op. cit. S. 111ff.

[63] Копия в политическом архиве Министерства иностранных дел: Deutschland IAAD, Bd. II, Abschrift zu AS 1714, undatiert; выдержки в книге *Dietrich Möller*. Op. cit. S. 27f.

[64] *Warren Lerner.* S. 20.

[65] Согласно информации, предоставленной автору.

[66] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 171.

[67] Там же. С. 171–172.

[68] *Karl Radek.* Die auswärtige Politik der deutschen Kommunisten und der Hamburger nationale Bolschewismus. Ders. Die Entwicklung der deutschen Revolution und die Aufgaben der Kommunistischen Partei. – Hamburg, 1920. S. 89.

[69] *Karl Radek*. Die Entwicklung der deutschen Revolution und die Aufgaben der Kommunistischen Partei. – Stuttgart–Degerloch, 1919. S. 32.

[70] *Радек К.* Ноябрь. (Страничка из воспоминаний). С. 170.

[71] Подробнее об этом см. *Goldbach,* op. cit. S. 48 ff.

[72] *Karl Radek*. Der Kampf der Kommunistischen Internationale gegen Versailles und gegen die Offensive des Kapitals. Bericht, erstattet in der Sitzung der Erweiterten Exekutive, Moskau, 15. Juni 1923. – Hamburg, 1923. S. 22.

[73] Подробнее об этом см. *Goldbach*, op. cit. S. 105 f.

[74] *Goldbach.* Ibid. S. 107 ff. Ср. также *Horst Günther Linke.* Deutsch-sowjetische Beziehungen bis Rapallo. – Köln, 1970. Линке с высокой точностью описывает переговоры Радека (S. 175–197).

[75] Текст проекта см. в Deutsch-sowjetische Beziehungen von den Verhandlungen in Brest-Litowsk bis zum Abschluß des Rapallovertrages. Dokumentensammlung. 2 Bde. Berlin (Ost) 1967 und 1972; в данном случае Bd. 2 (1919–1922). S. 559.

[76] *Isaac Deutscher.* Trotzki. Der unbewaffnete Prophet 1921–1929. – Stuttgart, 1962. S. 203.

[77] Он намекал на проведение политики единого фронта уже в письме, адресованном 7 апреля 1921 г. ЦК КПГ, хотя и в качестве «нерождённой идеи» и «чисто личных инициатив». Письмо см. в Unser Weg, Jg. 3, Heft 8/9, 1921. S. 255. Ср. об этом также Goldbach, op. cit.. S. 109 ff.

[78] См. *Kochan*, op. cit. S. 70.

[79] Большая советская энциклопедия. Т. 6. – М., 1927, колонки 422 и 423, по-немецки см. *Dietrich Möller*, op. cit. S. 275f.

[80] *Paul Scheffer.* Sieben Jahre Sowjetunion. – Leipzig, 1930. S. 436. Цитированного текста нет в новом издании 1972 г.: *Paul Scheffer.* Augenzeuge im Staate Lenins. Ein Korrespondent berichtet aus Moskau 1921–1930. – München 1972.

[81] *Fischer R.*, op. cit. S. 646.

[82] Ibid. S. 642.

[83] *Margarete Buber-Neumann.* Kriegsschauplätze der Weltrevolution. Ein Bericht aus der Praxis der Komintern 1919–1943. – Stuttgart, 1967. S. 86.

[84] *Hilger,* op. cit. S. 126.

[85] Бела Кун на IV-м Всемирном конгрессе Коминтерна. См.: Protokoll des Vierten Kongresses der Kommunistischen Internationale, Petrograd-Moskau vom 5. November bis 5. Dezember 1922. – Hamburg, 1923. S. 266.

[86] IV Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала. – М. – Петроград, 1923. С. 132–133.

[87] Карл Радек в письме в Центральный комитет КПГ от 7 апреля 1921, цит. в: *Arnold Reisberg*. Lenins Beziehungen zur deutschen Arbeiterbewegung. – Berlin(Ost), 1970. S. 453.

[88] Цит. в *Reisberg*, Ibid. S. 454. Ср. также *Karl Bremer* [т. е. Радек]. Der nahende Zusammenbruch der deutschen Bourgeoisie und die K. P.D. – Hamburg, 1921.

[89] *Karl Hernann Tjaden.* Struktur und Funktion der »KPD-Opposition» (KPO). – Meisenheim am Glan, 1964. S. 22.

[90] *August Thalheimer*. 1923: Eine verpaßte Revolution? Die deutsche Oktoberlegende und die wirkliche Geschichte von 1923. – Berlin, 1931. S. 24.

[91] *Fischer R.*, op. cit. S. 318.

[92] Об этом баварский посланник в Берлине сообщал в Мюнхен. Ср. *Hermann Weber*. Die Wandlungen des deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik. 2 Bde. – Frankfurt/M., 1969, Bd. 1. S. 48 f. Anm. 104.

[93] Protokoll der Konferenz der Erweiterten Exekutive der Kommunistischen Internationale, Moskau 12.–23. Juni. – Hamburg, 1923. S. 112 f.

[94] Ibid. S. 103–129 und 145–149 (заключительное слово); в данном случае цит. по: *Dietrich Möller*, op. cit. S. 245–249.

[95] Ibid. S. 245.

[96] Ibid. S. 247. Выделено в протоколе.

[97] Ibid. S. 248 f. Выделено в протоколе.

[98] Ibid. S. 248.

[99] *Valeriu Marcu.* Schatten der Geschichte. 15 europaische Profile. – Hamburg und Berlin 1926. S. 141.

[100] Protokoll der Konferenz der Erweiterten Exekutive. S. 248.

[101] Rote Fahne, 12. Juli 1923; в виде выдержек см. *Thalheimer*, op. cit. S. 32.

[102] Согласно информации, предоставленной автору. О том, как в Москве формировалось мнение относительно «немецкого Октября» ср. *Dietrich Möller.* Stalin und der «deutsche Oktober» 1923. – Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, NF 13 (1965), H. 2. S. 212–225.

[103] *O. Kuusinen.* Eine mißglückte Schilderung des «deutschen Oktober». In: Um den Oktober [Aufsätze von Trozkij, Kamenew, Sinowjew, Bela Kun, Stalin, Bucharin, Kuusinen]. – Hamburg 1925. S. 218.

[104] Deutscher Oktober 1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. Hrsg. von Bernhard H. Bayerlein, Leonid G. Babicenko, Fridrich I. Firsov und Aleksandr Ju. Vatlin, Bd. 3 i. d. R. Archive des Kommunismus – Pfade des XX. Jahrhunderts. – Berlin, 2003. S. 130 f. Благодаря этому комментированному сборнику документов из российских архивов, в настоящее время представлены практически все существенные решения, протоколы, заметки и высказывания по истории «немецкого Октября».

[105] До войны Август Тальгеймер принадлежал к левому крылу СДПГ и в качестве главного редактора газеты «Гёппингер фрайе фольксцайтунг» он был покровителем Радека. Бременский левый в ту пору оказался теперь правым в КПГ.

[106] *Thalheimer*, op. cit. S. 11.

[107] Уже 3 ноября 1923 г. Центральный Комитет КПГ принял 40 голосами против 13 тезисы Радека «Победа фашизма над Ноябрьской республикой». Тезисы опубликованы в «Internationale Pressekorrespondenz», Nr. 45, 10. November 1923. S. 1076 ff. Существенные фрагменты см. также в книге: *Theo Pirker*. Komintern und Faschismus. Dokumente zur Geschichte und Theorie des Faschismus 1920–1940. – Stuttgart, 1965. S. 144–148.

[108] *Pirker,* op. cit. S. 146.

[109] Ibid. S. 146.

[110] Die Lehren der deutschen Ereignisse. Das Präsidium des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale zur deutschen Frage, Januar 1924. – Hamburg, 1924. S. 18.

[111] Ibid. S. 69.

[112] *Dietrich Möller.* Stalin. S. 223.

[113] *Karl Retzlaw.* Spartakus, Aufstieg und Niedergang. Erinnerungen eines Parteiarbeiters. – Frankfurt/M., 1971. S. 358. В этой же книге приведён и следующий эпизод.

[114] *Louis Fischer.* Das Leben Lenins. – Köln und Berlin, 1964. S. 382. Фишер работал в то время корреспондентом американских газет в Москве.

[115] Помпадур – в очерке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» тип ограниченного и твердолобого провинциального властителя.

[116] В соответствии с характеристикой Сталина. – *Jossiph W.* Stalin. Werke. Bd. 8 B. 1952. S. 248 f.

[117] Согласно информации, предоставленной автору.

[118] *Hilger*, op. cit. S. 78.

[119] Сталин ответил письмом на предложение Горького сделать Радека ответственным за некоторые публицистические проекты, отклонив это предложение. Письмо цитируется в *Jürgen Rühle*, op. cit. S. 36.

[120] Точная дата неизвестна. 22 сентября называет Роберт Конквест в книге Am Anfang starb Genosse Kirow. Säberungen unter Stalin. – Düsseldorf, 1970. S. 143. *Lerner*, op. cit. S. 165 f., также пишет о сентябре. Вышинский же, обвинитель в процессе против Зиновьева, Каменева и других, сказал 21 августа, согласно отчёту по уголовному делу троцкистско-зиновьевского террористического центра 19–24 августа 1936 г., что «вчера» он начал расследование и против Радека.

[121] *Roy A. Medwedew.* Die Wahrheit ist unsere Stärke. Geschichte und Folgen des Stalinismus. – Frankfurt/M., 1973. S. 192.

[122] СССР. Верховный суд. Военная коллегия. Процесс антисоветского троцкистского центра. – М.: НКЮ Союза СССР, Юридическая литература, 1937.

[123] *Ernst Fischer.* Erinnerungen und Reflexionen. – Reinbek bei Hamburg, 1969. S. 376.

[124] Vgl. *Dietrich Möller*. Revolutionär. S. 48 ff.

[125] Ibid. S. 50 f., а также Эрих Волленберг в беседе с автором.

*Ули Шёлер*

# ЗАГРАНИЧНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ российской социал-демократии (меньшевики) в берлинском изгнании

## Путь меньшевиков в берлинское изгнание

Изгнание. Как содержание, так и реальность этого понятия в достаточной степени иллюстрируют эмоциональное взаимодействие ощущений потерянности, горечи, утраты родины и страстного желания возвратиться, неизбежно связанного с другими перечисленными чувствами. Изгнание означает неизбежную, принятую со смирением реальность бытия тех, кто проиграл в активной физической борьбе против режима и был принужден к бегству. Сколь же горьким должно было быть чувство недобровольного, вынужденного изгнания тех, кто до последнего – конечно, при острейшей критике – солидарно и с поддержкой относился к новому режиму в России, которому угрожали иностранные интервенции и внутренние гражданские войны?!

Для стоявших у власти большевиков и позднейшей марксистско-ленинской историографии, имевшей целью легитимацию режима, меньшевики[1] стали после Октябрьской революции контрреволюционерами[2], якобы поддерживавшими попытки восстаний, предпринимавшиеся белогвардейскими генералами Колчаком и Деникиным. Это не соответствовало истине. Конечно, меньшевики были в числе самых жестких критиков практики большевиков как правящей партии, их утопической экономической политики и методов господства, становившихся все более репрессивными[3]. Но, когда вопрос вставал так: сохранение результатов революционного переворота, осуществленного в октябре 1917 г., или поддержка бывших царских генералов? – руководство партии меньшевиков призывало членов своей партии вступать в Красную Армию и отражать наступление контрреволюции. Кстати, о члене руководства партии Соломоне Шварце известно, что он сражался в рядах Красной Армии. Напротив, членов партии, участвовавших в попытках восстаний, устраивавшихся частью партии эсеров, из партии исключали.

Тем не менее Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) влачила жизнь полулегальной[4]. В те времена, когда лидеры меньшевиков не находились в тюрьме, они лояльно работали в управленческих структурах Советской России, например, Ф.И. Дан был военным врачом и руководителем ведомства по закупке хирургического оборудования при Народном комиссариате здравоохранения. С 1919 по 1921 гг. Борис Николаевский возглавлял Центральный архив истории революционного движения, а А.А. Югов – Моссельпром[5].

Заверения большевиков, стоявших у власти, о том, что ограничения деятельности оппозиционных партий являются мерами чрезвычайного характера, оказались ложными. Когда под конец Гражданской войны Ленин круто повернул руль экономиче-

ской политики, реприватизировал предприятия, попытался привлечь в страну частный капитал и снова привел в движение частную торговлю, он, конечно же, не без оснований беспокоился о том, что на свободных выборах широкую поддержку в рабочем классе найдет именно та партия, которая уже не один год выступала за программу перехода на основе смешанной экономики, а именно меньшевики. Его решение гласило: либерализация экономики при одновременном наращивании притеснений и ужесточении политической диктатуры. Он не оставлял более сомнений относительно того, как собираются обращаться с людьми, которые распространяли в России взгляды Карла Каутского или Отто Бауэра: «И меньшевики, и эсеры, которые все такие вещи проповедуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи будем расстреливать… За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое»[6]. Единственная полулегальная партия, оставшаяся наряду с большевиками, меньшевики, была, таким образом, оттеснена, заняв нелегальное положение, а ее руководители принуждены к изгнанию.

Как бы парадоксально это ни звучало, Берлин был хорошо подготовлен к пребыванию Заграничного руководства меньшевиков, а оно несмотря на непредвиденное превращение партии в нелегальную – к Берлину. Ветеран партии П.Б. Аксельрод уже вскоре после Октябрьской революции выехал в Германию, жил теперь в Берлине и там взял на себя роль по информированию руководителей социал-демократических партий Запада о российских событиях. Тяжело больному председателю партии, а с конца 1917 г. и ее, несомненно, ведущей теоретической силе[7], Ю.О. Мартову был осенью 1920 г. разрешен выезд за границу с российским паспортом и деньгами, предоставленными органами власти, чтобы он мог выступить на съезде НСДПГ (Независимая социал-демократическая партия Германии возникла в апреле 1917 г. в результате раскола СДПГ. – *Прим. перев.*) в Галле. Мартова сопровождал Р.Р. Абрамович, который позже, как и первый, остался в Берлине. Кроме того, в лице А.Н. Штейна[8] в Берлине находился бывший российский партиец, уже с 1905 г. принадлежавший к социал-демократическому движению (вероятно, ранее в рядах большевиков[9]), и ему предстояло стать в высшей степени полезным для создававшегося Заграничного руководства.

Ф.И. Дан, который после смерти шурина Ю.О. Мартова в 1923 г. достиг положения бесспорного лидера партии, после своей проникнутой боевым настроем и уверенностью в себе речи, произнесенной на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 1920 г., был арестован 26 февраля 1921 г. вместе со всем центральным комитетом и несколькими другими меньшевистскими руководителями (всего в неволе оказалось несколько сот человек). Этому предшествовали события в Кронштадте, ответственность за которые большевики возлагали на меньшевистское влияние. После голодовки заключенные добились в начале 1922 г. освобождения, а самые видные из них были высланы из Советской России (правда, с советскими паспортами ограниченного срока действия, которые они до 1932 г. могли предъявлять на продление, что порождало обманчивую надежду на возвращение). В Берлине они создали руководящий орган РСДРП, названный «Заграничным руководством», хотя и действовавший только в качестве заграничного отдела партийного руководства, в то время как нелегальное Правление партии продолжало существовать в стране под председательством Г.Д. Кучина. Еще в следующем, 1923 году, циркулярное письмо ЦК РКП(б) описывало меньшевиков как «важнейшую силу на

нашей политической арене, действующую в интересах буржуазной контрреволюции»[10].

По нелегальным каналам удавалось даже вывезти из страны Кучина для участия в совещаниях в Берлине и Вене, а затем вернуть его в Россию. Политические репрессии в стране не остались, однако, без последствий. В 1925 г. меньшевики сообщали в отчете Марсельскому конгрессу Рабочего Социалистического Интернационала (РСИ), что в стране все еще поддерживается хорошо руководимый партийный аппарат, функционирующий без перерывов, имеющий контакт с многочисленными местными партийными организациями, располагающий тайной типографией (меньшевики имели традиционно сильные позиции среди рабочих-печатников) и поддерживающий регулярный обмен с заграничными партийными организациями[11]. В 1928 г. речь шла еще о десяти местных партийных организациях в России. Только в начале 30-х гг., после так называемого «процесса меньшевиков» (1931 г.)[12], предшествовавшего будущим большим сталинистским показательным процессам, государственная репрессивная политика сумела покончить со всякой нелегальной социал-демократической деятельностью[13].

Вернемся, однако, в Берлин. Не только благодаря товарищам, уже находившимся там, меньшевики, с начала 1922 г. во все большем числе прибывавшие в город, очень быстро ориентировались в обстановке. Их большая часть привыкла еще благодаря политической деятельности в царское время к смене подполья, тюрьмы, ссылки и изгнания. К тому же они, по сравнению с большинством других изгнанников, обладали важной особенностью: Заграничное руководство состояло, если не считать Бориса Николаевского, исключительно из (ассимилированных) русских евреев, в значительном большинстве блестяще владевших немецким[14]. Д. Далин и С. Шварц еще до Первой мировой войны защитили докторские диссертации в немецких университетах. Медик Федор Дан и его жена Лидия (сестра Мартова) учились в немецком университете в Дерпте (Тарту). Тот или иной из членов Заграничного руководства, принадлежащих к старшему поколению (Ю.П. Денике, которого называли также Георгом Деккером[15]), а наряду с ними и многие более молодые, быстро интегрировались в немецкую партийную организацию, принимали там на себя редакторские должности или партийные функции и публиковались под своими онемеченными фамилиями. В связи с этим особенно следует упомянуть Александра Шифрина (он же Макс Вернер), Григория Бинштока, Юдит Грюнфельд и Владимира Войтинского. К услугам же тех, чьи знания немецкого языка улучшались только с течением времени, упомянем Арона Югова или его спутницу жизни Ольгу Доманевскую; в качестве переводчика был молодой Аркадий Гурлянд, блестящий мастер политического анализа, также происходивший из России[16].

В то же время в Берлине, городе мирового значения, сложилась, вероятно, самая большая за пределами России русская колония. Из примерно двух миллионов русских, ушедших за границу с первой волной эмиграции – а среди них было особенно много так называемых «работников умственного труда», т. е. ученых, писателей, адвокатов, врачей, педагогов, актеров, художников – около 300 тыс. поселились в Берлине. Многие жили в крайней бедности, будучи вынуждены добывать средства к жизни всякого рода случайной работой[17].

Русский водитель такси стал в Берлине весьма известным типажом[18]. Разумеется, здесь сформировалась особая эмигрантская культура и собственная среда. Подобно тому, как в Берлине наших дней сложилась турецкая культура, в Берлине 20-х гг.

создалась собственная русская культура с многочисленными фирмами, книжными магазинами, лавками и издательствами. Намекая на ленинский НЭП (новую экономическую политику), Курфюрстендам прозвали «Непский проспект» (Nepp означает по-немецки ростовщичество). В начале 20-х гг. в Берлине жили многие эмигранты, создавшие себе имя и имевшие заслуги в русской литературе. Примерно из пятидесяти русских эмигрантских издательств, работавших в 1922 г. за границей, 38 входили в «Берлинское объединение русских издательств». За время с 1918 по 1928 их численность возросла даже до 185, причем некоторым была суждена лишь очень краткая жизнь. Временами в Берлине публиковалось больше русских книг, чем немецких[19].

Если, при этом, применительно к меньшевикам говорили об «эмиграции в эмиграции»[20], то это означало особую роль, которую они играли в переплетении русской эмигрантской жизни. Несмотря на преследования, которым подвергались меньшевики, у них все еще были наилучшие отношения с советским режимом и родиной. Это выражалось, в частности, и в том, что меньшевики, в отличие от большинства других эмигрантов, во время конфликтов между Советским правительством и его буржуазными оппонентами или другими европейскими странами часто вставали на сторону правительства. То один, то другой из них даже получал временную работу в советской торговой миссии в Берлине[21]. Как эсеры, так и представители прежнего царского режима делали ставку на безусловное свержение большевистского господства (позиция, которую, как мы увидим ниже, меньшевики не разделяли в такой мере) и к тому же оставили всякую надежду на возвращение домой.

Насколько меньшевики пребывали в частичной изоляции от большой русской колонии в Берлине, настолько же хорошо они одновременно интегрировались в социал-демократическое движение в Берлине, в Германии и в деятельность РСИ. Они представляли собой относительно небольшую группу: отчет 1927 г. называет 74 участника «Клуба им. Мартова»; в 1932 г. 73 человека (включая членов семей) просили французских товарищей о помощи в приобретении виз для подготовки бегства от нацистов, последовавшего в 1933 г., и переселения во Францию. Тем самым, на Берлин приходилась всё-таки наиболее крупная эмигрантская группа. Две меньшие группы, в Париже и Нью-Йорке, не могли сравниться по своему значению с берлинской[22]. Самая большая часть членов Заграничного руководства зарабатывала себе на пропитание публицистической деятельностью. Почти все социал-демократические и профсоюзные органы печати, будь то теоретические журналы, как редактировавшийся Рудольфом Гильфердингом «Гезельшафт», еженедельные или даже ежедневные газеты вроде «Форвертс», предоставляли меньшевикам большие возможности для сотрудничества и привлекали некоторых из них в качестве экспертов, чтобы получать обстоятельную информацию по проблемам Советского государства. Конечно, их статьи публиковались и в других газетах и журналах партий-членов РСИ – в немецкоязычном регионе в швейцарском «Роте Ревю», в Австрии в «Кампф» и «Арбайтерцайтунг». Аксельрод, пребывавший уже в преклонном возрасте, жил за счет продажи старых рукописей и исторических докладов о России. Традиционному распределению ролей между полами соответствовало, вероятно, то обстоятельство, что, прежде всего, женщины способствовали обеспечению средств к жизни для своей семьи с помощью других, нежели канцелярская работа, видов деятельности (имеется такая информация о Лидии Дан)[23]. Рафаил Абрамович, входивший в число лидеров основанного еще до РСДРП Еврейского рабочего союза (кратко называвшегося

«Бундом»)[24], смог использовать свое происхождение для работы корреспондентом самой большой в мире ежедневной еврейской газеты, нью-йоркской «Форвертс». Он время от времени ездил в США, собирая среди американских евреев деньги для собственной партии. С их помощью, а также благодаря финансовой поддержке немецкой и других европейских братских партий меньшевики могли развивать и сохранять свою значительную публицистическую деятельность как партии[25].

Уже в феврале 1921 г. Абрамович и Мартов благодаря формальной помощи немецкого гражданина Александра Штейна основали в Берлине русскоязычный журнал «Социалистический вестник», который выходил раз в две недели. Долгое время он входил в число наиболее информированных источников по «русским делам». Детальные сообщения о конкретных условиях жизни российского рабочего класса, а также о забастовочных выступлениях – информацию, которая в иных случаях едва ли оказывалась доступной, – давала рубрика «Из России»[26]. Хорошие связи меньшевиков на их родине, вплоть до высших эшелонов советской и партийной бюрократии, позволили печатать в журнале информацию, которую иначе нигде нельзя было прочитать. На ранней фазе (до смерти Ленина) советская торговая миссия закупала даже несколько сотен экземпляров. С помощью нелегальных курьеров журнал поначалу распространялся и в Советском Союзе. В Политбюро ЦК компартии и в руководстве Коминтерна «Социалистический вестник» входил в круг обязательного чтения. В постановлении Политбюро, принятом в конце 1926 г., он упоминается как первый среди важнейших изданий, ввоз которого разрешался еще в количестве 38 экземпляров, распределявшихся в соответствии со строгим планом распределения среди политического руководства и по немногочисленным центральным библиотекам и архивам. Специальный абонемент, предполагавший, ни много ни мало, 20 экземпляров, получила тайная политическая полиция ГПУ, чтобы таким образом выйти на след нелегальной социал-демократической деятельности в стране[27]. «Социалистический вестник» пережил различные этапы изгнания меньшевиков от Берлина через Париж (1933) до Нью-Йорка (1940) и выходил, несмотря ни на что, до 1963 г. По мере медленного умирания меньшевистской партийной организации нельзя было далее сохранять и его.

Наряду с русскоязычным «Социалистическим вестником» меньшевики выпускали и информационный бюллетень для заинтересованной немецкой публики – «Русский бюллетень» («Russische Bulletin»), позже (1924) переименованный в «РСД. Информационный бюллетень российской социал-демократии» («RSD. Mitteilungsblatt der Russischen Social-Demokratie»). Он выходил с 1922 по 1932 гг. и содержал переводы статей из «Социалистического вестника», а также собственные статьи, написанные и предназначенные для немецкоязычной публики и дебатов в Интернационале[28].

## Отношение меньшевиков к Советской России

В чем же заключалось особое отношение меньшевиков к родине и к существованию Советского правительства, считавшего себя социалистическим?[29] Краткое резюме дает нам Д. Далин в статье в «Социалистическом вестнике» от 18 мая 1926 г.: «Наша революция кровава и страшна, но это – наша собственная русская революция, и ее

следовало бы не проклинать, а корректировать»[30]. Тем самым, были точно названы важнейшие характеристики меньшевистского курса: Октябрьскую революцию принимали как необходимую и неизбежную акцию российского рабочего класса, критиковали ее кровавое и террористическое вырождение, против которого боролись, но выступали поэтому не за ее насильственное прекращение, а за ее демократическое преодоление. Это была знаменитая «линия Мартова», приверженность которой большинство партии сохраняло, как бы там ни было, до 1939–1940 гг. – ориентация на «демократическую ликвидацию большевистской диктатуры»[31].

Правда, сам Мартов сформулировал эту позицию только к концу 1918 г., после того, как он вместе с представителями других течений партии поначалу негативно охарактеризовал Октябрьский переворот, видя в нем чистой воды путч. К корректировке курса его подвигнул самокритичный анализ вопроса о том, почему рабочие и солдаты стали покидать меньшевиков, имевших прежде доминирующее влияние в рабочем классе и в Советах, и в массовом масштабе переходить к большевикам[32]. Позиция его партии, сформулированная им осенью 1918 г., гласила: «Совершённый в октябре 1917 года большевистский переворот являлся исторически необходимым, поскольку, разрывая связи между трудящимися массами и капиталистическими классами, он выражал стремление трудящихся масс подчинить направление революции всецело их интересам, без чего немыслимо было высвобождение России из тисков союзного империализма, ведение последовательной политики мира, радикальное проведение аграрной реформы и регулирование государством в интересах народных масс всей хозяйственной жизни»[33].

Если прежде меньшевики исходили из того, что в России не стояло на повестке дня ничего, кроме буржуазной революции, то теперь эта позиция была заменена теорией переходного периода, в рамках которого считался возможным и постепенный переход к социализму, соединенный с европейской революцией. В особенности Р.А. Абрамович подчеркивал вновь и вновь, что, говоря о социальном характере этой революции, в ней следует видеть, прежде всего, аграрную революцию. Надежды Ю.О. Мартова на демократические изменения большевистской диктатуры опирались поначалу и на то, что еще непосредственно после Октябрьской революции в руководстве большевиков имели место резкие столкновения вокруг будущего курса. Члены самого узкого руководящего круга: Зиновьев, Каменев, Томский, Рыков и другие, – в знак протеста подавали в отставку со своих постов, так как они опасались, что уже заметная ориентация на фактическое единовластие большевиков, осуществлявшееся группой вокруг Ленина, должно вылиться в политику террора. К этому присоединялись требования меньшевиков о создании социалистического правительства из представителей всех партий, т. е. такого, которое включало бы меньшевиков и большевиков, левых и правых эсеров. Тем самым, было бы достигнуто и самое широкое укоренение в рабочем классе и крестьянстве. Конкретные экономические требования меньшевиков на такого рода переходный период в это время (1918–1919 гг.) оказались столь конструктивными еще и потому, что окольными путями большевикам, стоявшим у власти, был сделан запрос о том, не могли бы они обстоятельно сформулировать и конкретизировать свою программу реформ. Между прочим, в разработке программы участвовал и Владимир Громан, впоследствии госплановский эксперт по планированию[34].

Надежды Мартова постигло резкое разочарование уже из-за экспансионистской ориентации части большевистского руководства, проявившейся во время польского

похода начала 1920 г. и выразившейся в постулате Троцкого о том, что решающий бой Антанте будет дан на Рейне. Мартов, как, кстати, и его товарищ по партии Пауль Ольберг, сопровождавший Карла Каутского в качестве переводчика во время его поездки в Грузию, был, в значительной степени, отрезвлен, когда Красная Армия той же весной напала на Грузию, которой правили меньшевики, и позже аннексировала ее[35]. В 1922 г. Мартов, который окончательно оставил надежду на постепенный переход от большевистской системы к демократической, увидел опасность бонапартистского завершения красной диктатуры, опасность контрреволюции внутри военного и бюрократического аппарата, созданного самими большевиками[36].

Из-за тяжелой болезни, которая в 1923 г. привела к смерти, Мартов не мог уже серьезно повлиять на позиции своей партии после советского поворота к нэпу. При этом, меньшевики именно теперь стояли перед политической дилеммой: с одной стороны, с введением нэпа в экономическом секторе был реализован целый ряд предложений, которые они пропагандировали не один год. Мартов не без оснований писал Аксельроду уже непосредственно после речи Ленина, что тот «украл» у меньшевиков их платформу[37]. С другой стороны, одновременной политической либерализации, на которую они надеялись, не последовало. Поэтому экономические позиции меньшевиков вновь и вновь колебались между положительно-критическим наблюдением за экономической либерализацией, частичной реприватизацией и допуском торговых отношений – с одной стороны, и их резкими атаками против большевистского оппортунизма и проявившегося в нэпе признания большевиков в невозможности социалистического пути Советской России – с другой. Например, Павел Ольберг осмелился еще в 1922 г. сделать вывод о том, что нэп уже теперь оказался полностью несостоятельным в своей попытке до некоторой степени повысить уровень производительных сил страны. Позже Арон Югов скорректировал эту оценку, показав, на основании официальной советской статистики, которую он оценивал скептически и осторожно, что обозначалась тенденция относительно быстрого оздоровления экономической жизни[38].

У колебаний меньшевистских оценок была еще и дополнительная, вполне рациональная причина: вопреки некоторым слишком уж гармонизирующим ретроспективным оценкам, встречающимся в наше время, период нэпа был отмечен в 20-е гг. многочисленными политическими колебаниями, разногласиями и проявлениями непостоянства[39], которые меньшевистские теоретики, прежде всего, блестящий экономист Арон Югов, осмысливали с неуступчивой строгостью. Разработанная им «Программа действий» партии 1924 г. (опубликованная по-немецки в 1925 г.) с соответствующей беспощадностью называла после трех лет нэпа негативные факторы, которые, несмотря на принципиально положительное отношение к новой экономической политике, подвергались критике: плохая, непроизводительная и дорогая промышленность, коррумпированная бюрократия, удорожание продукции из-за бюрократической организации государственной торговли и продолжение эксплуатации рабочей силы на предприятиях. Сами же меньшевики разработали целый ряд вполне конструктивных предложений, направленных на решение этих проблем и сводившихся, в частности, к усилению кооперативного сектора[40].

Но в центре меньшевистской критики стояло и другое обстоятельство: «Программа действий» применяла большую часть своей прозорливой аргументации для того, чтобы доказать, почему именно репрессивная система по-прежнему сохранявшейся террористической диктатуры должна оказать дисфункциональное, с эконо-

мической точки зрения, воздействие. Резюме гласило: «Практическое воздействие этого отступления было сведено до минимума, не сопровождаясь приспособлением политической системы к требованиям новой экономической политики… И именно из-за этого ставятся крайне узкие границы тому оживляющему воздействию, которое мог бы оказать на экономическую жизнь страны переход от утопической экономической политики коммунизма к методам новой экономической политики, более приспособленным к уровню развития страны»[41].

Конечно, партии, вытесненной в изгнание, было ясно, что перспектива больше не могла заключаться в достижении компромиссов с правящей партией большевиков. В значительной степени разделялась новая оценка, данная Мартовым. Теперь и «Директивы Заграничного руководства» говорили о необходимой борьбе против этого режима, ибо диктатура с помощью своей репрессивной системы собственноручно создает все элементы будущей контрреволюции. Но, несмотря на вырождение, – так, во всяком случае, звучало ограничение и, вместе с тем, отмежевание от всех, кто, подобно эсерам и Карлу Каутскому, ратовал за восстания, – режим все еще связан революционными узами с частью российского и международного пролетариата[42]. А. Югов, от имени большинства партии, еще точнее сформулировал, что имелось в виду: «Выход из экономического тупика будет найден только в том случае, если под воздействием постоянно растущего давления произойдут ликвидация отжившего режима диктатуры, демократизация политической системы и будет радикально изменена нынешняя утопическая экономическая политика»[43].

Мы можем указать здесь лишь на то, что меньшевистские публикации времени берлинского изгнания содержат множество интересных подходов, касающихся развития аграрного вопроса в России, положения Советов, профсоюзов и кооперативов[44], а также предлагают содержательные оценки, которые касались характеристики различных течений, формировавшихся в российском коммунистическом движении, или вопросов национально-культурной автономии[45]. Следует упомянуть также первые сравнительно-дифференцирующие (не отождествляющие) подходы с позиции теории тоталитаризма[46].

Прошли годы, пока меньшевики поняли, что личность и политика Сталина стали самыми проблематичными и откровенно террористическим вариантом, с точки зрения еще остававшихся возможностей демократического развития, а также рационального хозяйственного строительства. Многие современные наблюдатели поначалу недооценивали или ошибочно оценивали его мнимую «среднюю позицию» между левыми и правыми оппозиционерами вокруг Троцкого и Зиновьева – Каменева, с одной стороны, и Бухарина и Рыкова – с другой. Куда более опасными казались им прежняя роль Троцкого во время Гражданской войны и его теоретические подходы. Применительно ко времени пребывания меньшевиков в Берлине, можно сказать, что обе различные ориентации – относительно небольшого правого крыла и большинства центра и левых – воспроизвелись в оценке сталинского поворота 1929 г. Правое крыло усматривало в происходившем, прежде всего, новое предательство русской революции и новое насилие над марксистскими принципами, что могло завершиться только полным отходом от первоначальных целей 1917 года. Левое крыло и большинство партии полагало поначалу, что – несмотря на все ужасные, иррациональные и репрессивные сопутствующие факты – обозначится нечто вроде возможности позднейшей социалистической трансформации, конечно, при условии столь же глубокого политического преобразования[47]. Но уже не позднее

1936 г. и Федору Дану стало ясно, что Сталин представляет в Советском Союзе «контрреволюционную, антипролетарскую и антисоциалистическую тенденцию»[48].

## Меньшевики и Рабочий Социалистический Интернационал

Изображение периода берлинского изгнания меньшевиков было бы, однако, слишком поверхностным без упоминания того аспекта этих событий, который, конечно же, стоял в центре их деятельности, – влияния на деятельность международного рабочего движения и, в особенности, партий, входивших в него в немецкоязычных странах. В соответствии со своей скорее левой позицией в международном социал-демократическом спектре, меньшевики работали сначала вместе с австрийскими социал-демократами и немецкой НСДПГ внутри «Венского международного рабочего объединения», так называемого «двухсполовинного Интернационала»[49]. Несмотря на исключительно трудную для них ситуацию, стоившую гораздо больше, нежели преодоления самих себя, ибо часть их товарищей находилась в российских тюрьмах (это, конечно, имеет силу и применительно к эсерам), меньшевики входили в число самых активных поборников объединения международного пролетариата, в особенности на конференции исполнительных комитетов трех Интернационалов в апреле 1922 г. в Берлине. Центральными спорными пунктами были там московский процесс и смертные приговоры, грозившие арестованным эсерам. Жесткая позиция московского руководства, в конечном счете, сделала объединение невозможным[50].

Меньшевики шли путем, напоминавшим тот, по которому двинулась НСДПГ в Германии, которая, несмотря на по-прежнему критическое отношение к своей братской партии – социал-демократам большинства, объединилась с ними в 1922 г. Теперь обе партии входили в число членов-учредителей нового, объединенного Рабочего Социалистического Интернационала. Р.А. Абрамович был избран в его исполком. На берлинском учредительном конгрессе 1923 г. он выступал с центральной речью на тему «Советская Россия» и вместе с Ф.И. Даном принимал самое активное участие в формулировании соответствующей резолюции. Правда, на Марсельском конгрессе в 1925 г. столкновения между правым и левым течениями вокруг этого вопроса обострилась. Здесь и теперь, если не раньше, в русском вопросе непримиримо противостояли друг другу «линия Каутского» и «линия Бауэра» – полемика, которой суждено было сказаться на облике международного социализма следующих почти пятнадцати лет[51]. Карл Каутский в брошюре и ряде статей, написанных до конгресса, одобрял политику, заключавшуюся в поддержке попыток восстания в Советском Союзе. Тем самым, он оказался в одном строю с эсерами, грузинскими социал-демократами и меньшинством меньшевиков. Представление Каутского о России было, в большей степени, сформировано под воздействием его старого друга П.Б. Аксельрода[52].

Напротив, Отто Бауэр провел во время Первой мировой войны часть своего русского плена в доме семьи Дан и с тех пор был связан тесными дружескими отношениями с Мартовыми и Данами, получал от них информацию о Советской России и согласовывал с ними свою политику[53]. В конечном счете, резолюция, принятая на конгрессе, соответствовала линии Бауэра – Дана и высказывалась за ликвидацию большевистской диктатуры демократическим путем, а применительно к междуна-

родной политике выдвигала требование – «Руки прочь от Советской России», т. е. однозначно отвергала позицию Каутского. На Брюссельском конгрессе РСИ в 1928 г. меньшевики снова, существенным образом, способствовали принятию резолюции, которая, с одной стороны, не скупилась на критику в адрес Советского правительства, а с другой, – высказывалась за международное объединение пролетариата. И на конгрессе 1931 г., снова в критическом столкновении с Карлом Каутским, они добились принятия резолюции, которая сочетала критику в адрес военной политики Советского Союза с призывом к его защите от агрессии[54]. Дискуссии в рядах РСИ в 1938–1939 гг. вокруг вопросов демократии и мира, с двумя проектами резолюций от прежней группы большинства РСДРП[55], указывали, однако, уже на то, что внутрипартийное согласие в парижском изгнании начало давать трещину. Конфликтам было суждено обостряться и далее, при еще одном переселении, на этот раз в Нью-Йорк, вызванном в 1940 г. германским вторжением во Францию[56].

Это время выходит, однако, за рамки данной статьи. Взгляд на меньшевиков в берлинском изгнании открывает перед нами невероятную для эмигрантской партии живость и плодотворность деятельности. Конечно, меньшевики не выжили как партия. Трудности, связанные с опорой на их традиции в современной России, поистине необозримы. Большевизм беспощадно искоренил вместе с российским гражданским обществом и корни конкурировавших с ним демократических партий, действуя, в высшей степени, последовательно[57]. Даже в государствах Восточной Европы, включая бывшую ГДР, где продолжительность коммунистического господства была существенно меньше, оживление социал-демократического наследия – трудная задача. Тем не менее наследие меньшевиков представляет собой не только исторический интерес. Оно – по крайней мере, в качестве духовного оружия любой партии или движения, политика которых имеет целью социальную демократию – является сокровищем первостепенной важности, которое только еще предстоит заново открыть со всеми его гранями, во всем его богатстве.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В немецкоязычном регионе, к сожалению, до сих пор все еще нет обстоятельной монографии о меньшевиках. Работы, приведенные ниже, касаются, прежде всего, революционной и ранней фазы до 1922 г., но не опубликованы. Ср. Johann Heinrich Frömel: Die russische Sozialdemokratie (Menschewiki) in der Zeit nach der Oktoberrevolution bis zu ihrer endgültigen Illegalität im Jahre 1922. Magisterarbeit, Univ. Marburg 1969; Claus Thomas Reisser: Menschewismus und Revolution 1917. Probleme einer sozialdemokratischen Standortbestimmung. Phil. Diss., Univ. Tübingen 1981; Thomas Reisser: Menschewismus und Nep (1921–28). Diskussion einer demokratischen Alternative. Münster 1996. Хороший обзор состояния русскоязычных публикаций дает статья Владислава Хеделера (Wladislaw Hedeler): Von Friedhöfen und Zeitungen. Russische Veröffentlichungen über Georgi Plechanov und die Menschewiki. In: IWK [= Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung] 35 (1999), H. 3. S. 400ff. В качестве наиболее обстоятельного исследования в англосаксонском регионе см. Andre Liebich: From the Other Shore. Russian Social Democracy after 1921. Cambridge, Mass., und London 1997. Кроме того, подборка биографии прежде активных меньшевиков сохраняет значение важнейшего источника и обзорного изложения: The Mensheviks. From the Revolution of 1917 to the Second World War. Hrsg. von Leopold H. Haimson. Chicago und London 1976; ср. далее в особенности для ранней фазы Vladimir N. Brovkin: The Menshevik Opposi-

tion to the Bolshevik Regime and the Dilemma of Soviet Power, October 1917 to January 1918. Diss., Princeton Univ. 1983, и он же: The Mensheviks under Attack. The Transformation of Soviet Politics. June–September 1918. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 32 (1984). S. 378–391; Ziva Galili y Garcia: The Menshevik Revolutionäry Defensists and the Workers in the Russian Revolution of 1917. Phil. Diss., Columbia Univ. 1980; Andre Liebich: The Mensheviks and the Russian Question in the Labour and Socialist International. In: Russian Research Center Seminar Series, Harvard Univ. 1980; он же: Les Mencheviks en exil face a l'Union sovietique. Montreal 1980, а также сборник документов The Mensheviks in the Russian Revolution. Hrsg. von Abraham Ascher. London 1976 и неоднократно следовавший за ним сборник документов Sozialistische Revolution in einem unterentwickelten Land? Texte der Menschewiki zur russischen Revolution und zum Sowjetstaat aus den Jahren 1903 bis 1940. Hamburg 1981. Далее к числу недостающего в немецком исследовании относятся биографии выдающихся меньшевистских лидеров. Самые значительные работы, вышедшие в англосаксонском регионе: Israel Getzler: Martov. A Political Biography of a Russian Social Democrat. Cambridge und Melbourne 1967, и Abraham Ascher: Pavel Axelrod and the Development of Menshevism. Cambridge, Mass. 1972. Монографий о Ф.И. Дане или Р.Р. Абрамовиче до сих пор нет; по поводу Дана ср., прежде всего, издания писем: Fedor Il'ič Dan, pis'ma (1899–1946). Theodore Dan, Letters (1899–1946). Hrsg. von Boris Sapir. Amsterdam 1985; Fedor I. Dan und Otto Bauer. Briefwechsel (1934–1938). Hrsg. von Hartmut Rüdiger Peter. Frankfurt a. M. und New York 1999, и статьи Хартмута Рюдигера Петера Exil in Deutschland. Theodor Dan und die russische Sozialdemokratie 1922 bis 1933. In: Ästhetik und Kommunikation 22 (1993), H. 83. S. 98ff.; Ders.: «Brücken schlagen» – Selbstverständnis und Wirkung der Exilmenschewiki 1920–1933. In: Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941. Leben im europäischen Bürgerkrieg. Hrsg. von Karl Schlögel. Berlin 1995. S. 243–250; Ders.: Theodor Dan (1871–1947). In: Lebensbilder europäischer Sozialdemokraten des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Otfried Dankelmann. Wien 1995. S. 161ff., bzw. Andrea Panaccione: Dal menscevismo al »socialismo sintetico«. Il carteggio di Fedor Il'ič Dan. In: I Socialisti e l'Europa (= Socialismo Storia. Annali della Fondazione Giacomo Brodolini e della Fondazione di Studi Storico Filippo Turati). Milano 1989. S. 517ff. По поводу Абрамовича см., прежде всего, Andre Liebich: From the Other Shore (ebd.). S. 23ff. В Гейдельбергском университете в настоящее время идет работа над биографией Лидии Дан в качестве проекта диссертации.

[2] Не вдаваясь в прежние оценки, соответствующие авторы объявляют их сегодня «строгими марксистами»; ср., например, Georg Fülberth: Der große Versuch. Geschichte der kommunistischen Bewegung und der sozialistischen Staaten. Köln 1994. S. 20.

[3] См., в частности, только подборку вышедших на немецком и английском языках важнейших работ меньшевистских лидеров того периода: Julius Martow: Down with Executions! London 1918; Ders.: Das Problem der Internationale und die russische Revolution. Rede auf dem Parteitag in Halle. Magdeburg 1920; Ders.: The State and the Socialist Revolution. New York 1938; Raphael Abramowitsch: Die Zukunft Sowjetrußlands. Jena 1923; Ders.: Wandlungen der bolschewistischen Diktatur. Berlin 1931; Ders./W. Suchomlin/Iraklii Zereteli: Der Terror gegen die sozialistischen Parteien in Rußland und Georgien. Berlin 1925; Paul Axelrod: Die russische Revolution und die sozialistische Internationale. Aus dem literarischen Nachlaß. Jena 1932; Theodor Dan: Die Arbeiter in Sowjet-Rußland. Die Bilanz der kommunistischen Wirtschaftspolitik. Berlin 1923; Ders.: Sowjetrußland, wie es wirklich ist. Ein Leitfaden für Rußlanddelegierte. Prag 1926; Olga Domanewskaja: Agrarsozialismus in Sowjetrußland. Bringt die Kollektivisierung den Ausweg? Berlin 1931; Paul Olberg: Briefe aus Sowjet-Rußland. Stuttgart 1919; Peter Garwy: Der Rote Militarismus. Berlin 1928; Aron Jugow: Die Volkswirtschaft der Sowjetunion und ihre Probleme. Dresden 1929; Ders.: Fünfjahrplan. Berlin 1931; Salomon Schwarz: Der Arbeitslohn und die Lohnpolitik in Rußland. Jena 1924; Alexander Stein: Agrarfrage und Sozialismus. Berlin 1921.

[4] Ср. об этом очень подробно Liebich: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 70 ff.

[5] Ср.. Ders.: Eine Emigration in der Emigration: Die Menschewiki in Deutschland 1921–1933. In: Russische Emigration in Deutschland (wie Anm. 1). S. 233.

[6] *Ленин В.И.* Политический отчет ЦК XI съезду РКП(б). – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 45. С. 89.

[7] Начиная с этого времени, он формулировал важнейшие партийные документы и писал в связи с этим, в том числе по поводу международных дискуссий среди социалистов около 1920 г., наиболее проницательные теоретические статьи по проблематике демократии и диктатуры; ср. об

этом подробное изложение и анализ в Uli Schöler: «Despotischer Sozialismus» oder «Staatssklaverei»? Die theoretische Verarbeitung der sowjetrussischen Entwicklung in der Sozialdemokratie Deutschlands und Österreichs (1917 bis 1929). 2 Bde. Münster und Hamburg 1991. S. 326 ff; о Мартове см. также Boris OrLöw: Der erste Menschewik Rußlands (ein Politiker mit reinem Gewissen). Unveröffentlichtes Manuskript, Moskau 1997.

[8] Ср. о его личности Hanna Papanek: Alexander Stein (Pseudonym: Viator) 1881–1948, Socialist Activist and Writer in Russia, Germany, and Exile: Biography and Bibliography. In: IWK 30 (1994), H. 3. S. 343 ff., где впервые упоминается о его дружбе с Рафаилом Абрамовичем, восходящая еще ко времени студенчества; Ibid. S. 345; см. также Franz Osterroth: Biographisches Lexikon des Sozialismus. Bd.1: Verstorbene Persönlichkeiten. Hannover 1960. S. 300 f.

[9] Ср. Liebich: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 171. В то время, как Ханна Папанек в своем первом биографическом очерке, вообще, не останавливается на вопросе о «большевистском прошлом» своего отца – ср. Ibid. S. 345 f. –, в одной из позднейших публикаций она критически рассматривает эту информацию, передаваемую другими меньшевиками; ср. Dies.: Hatte Alexander Stein eine «bolschewistische Vergangenheit»? Fragen zur Quellenlage in der Frühzeit der Menschewiki. In: IWK 35 (1999), H. 3. S. 394 ff. Даже, если это и не должно было касаться Штейна, – целый ряд видных функционеров меньшевиков ранее находился временами на стороне большевиков; ср. Liebich (wie Anm. 1). S. 29 ff., описывающий, впрочем, в высшей степени, дифференцированно, сложный процесс формирования двух будущих основных течений и партий из «искровской» фракции, бундовцев, ликвидаторов, революционных оборонцев, интернационалистов и, в конце концов, меньшевиков и большевиков. Сложную роль во взаимоотношениях между различными крыльями партии играл и Г.В. Плеханов, умерший уже в 1918 г.; ср.. Ruth Stoljarowa/Wladislaw Hedeler: Zum 80. Todestag von Georgi Walentinowitsch Plechanow. In: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung [в дальнейшем цитируется как BzG] 40 (1998), H. 3. S. 80 ff.

[10] Цит. по Liebich: Eine Emigration (wie Anm. 5). S. 240.

[11] Ср. отчет в Zweiter Kongreß der Sozialistischen Arbeiter-Internationale in Marseille. 22. bis 27. August 1925. Berlin 1925.

[12] Ср. об этом в особенности Bruno Groppo: Le proces des »mencheviks» (Moscou, 1931) et le socialisme europeen. In: L'URSS il Mito le Masse (= Socialismo Storia. Annali…). Milano 1991. S. 352 ff.; Liebich: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 199 ff.; Der Moskauer Prozeß und die Sozialistische Arbeiter-Internationale. Berlin 1931.

[13] Социал-демократы, арестованные, подобно Дану, в 1921 г., но, в отличие от него, оставшиеся после освобождения в стране, могли, если их политическая активность не «бросалась в глаза», по меньшей мере, на фазе нэпа, относительно безнаказанно заниматься своей профессиональной деятельностью. Только с процессом меньшевиков в 1931 г., а в еще более острой форме – во второй половине 30-х гг. и для них снова возникла опасность политических репрессий, они оказались в водовороте иррациональных сталинистских преследований и наказаний; ср. описание негромкого и, в то же время, типичного дела Иосифа Рыбакова в статье Вальтрауд Байер (Waltraud Bayer): Jossif Rybakow: Das Profil eines Bürgerlichen Sammlers im roten Rußland. In: Zeitschrift für Kunstgeschichte 60 (1997), H. 3. S. 277–288; bzw. Kerstin Holm: Mäzen unter Stalin. Die Kunstsoziologie öffnet ihre russischen Archive. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 17, vom 21. Januar 1998, S. N5; см. об этом периоде в целом, а также о других, более значительных случаях Liebich: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 123ff.

[14] Ср. Ibid. S. 12.

[15] Ср. о его личности Georg Denicke: Erinnerungen und Aufsätze eines Menschewisten und Sozialdemokraten. Bonn 1980; Michael Scholing: Georg Decker (1887–1964). Für eine marxistische Realpolitik. In: Vor dem Vergessen bewahren. Lebenswege Weimarer Sozialdemokraten. Hrsg. von Peter Lösche, Michael Scholing und Franz Walter. Berlin 1988. S. 57ff.

[16] Ср. о его личности Dieter Emig/Rüdiger Zimmermann: Arkadij Gurland (1904–1979). «Praktisches Leitziel im Kampf um den Sozialismus: die Liebe zur Partei». In: Vor dem Vergessen bewahren, Ibid. S. 81ff.

[17] Это касается, впрочем, и менее знаменитых имен меньшевистской эмиграции; ср. Liebich: From the Other Shore, (wie Anm. 1). S. 102.

[18] Ср. Christoph Mick: Grauzonen der russischen Emigration: Von Rußlandexperten und Dokumentenfälschern; *Efim A.* Dinerštejn: «Feindbeobachtung». Russische Verlage in Berlin im Blick der Sowjet-

macht. Обе работы в Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941 (wie Anm. 1). S. 163 bzw. 411f.

[19] Ср. Dinerštejn, ibid.; Claudia Scandura: Die Ursachen für die Blüte und den Niedergang des russischen Verlagwesens in Berlin in den 20er Jahren. In: Russische Emigration in Deutschland (wie Anm. 1). S. 403–410; Reinhard Lauer: Insel im Meer der goldenen zwanziger Jahre. Russische Emigranten in der Weimarer Republik. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 80, vom 3. April 1996. S. 9.

[20] Ср. название у Либиха Eine Emigration (wie Anm. 5), а также его же From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 103 f.

[21] По поводу примеров см. Liebich: Eine Emigration (wie Anm. 5). S. 238 f.

[22] Ср. Ibid. S. 229 f.

[23] Ср. Hartmut Rüdiger Peter: «Brücken schlagen» (wie Anm. 1). S. 245f.; Ders.: Exil in Deutschland (wie Anm. 1). S. 99. Более точного исследования условий жизни именно женщин в берлинском изгнании меньшевиков до сих пор нет. По поводу ранней истории женщин в русской социал-демократии до 1917 г. ср. Beate Fieseler: Frauen auf dem Weg in die russische Sozialdemokratie, 1890–1917. Eine kollektive Biographie. Stuttgart 1995.

[24] Ср. о его истории Henri Minczeles: Histoire generale du Bund. Un mouvement revolutionnaire juif. Paris 1995; Arye Gelbard: Der Jüdische Arbeiter-Bund Rußlands im Revolutionsjahr 1917. Wien 1982; Mario Kessler: «Die Avantgarde der Arbeiterarmee Rußlands». 100. Jahrestag der Gründung des Jüdischen Arbeiterbundes. In: Sozialismus 25 (1998), H. 2. S. 55 f. Большинство Бунда, как и большинство НСДПГ, в 1920 г. высказалось в поддержку «21 условия» приема в Коминтерн и затем, в несколько шагов, фактически растворилась в КПСС; ср.. Minczeles, Ebd. S. 325 ff. Меньшинство продолжало работу отчасти на польской территории (как, например, Хенрик Эрлих) или работало (как Рафаил Абрамович и Марк Либер) преимущественно в структурах меньшевиков; ср.. Minczeles, Ibid. а также Kessler, Ibid. S. 56. Заграничный архив Бунда через Женеву был переправлен в 1925 г. в Берлин в здание редакции «Форвертс»; ср.. Gertrud Pickhan: Willy Brandt und der «unglückliche Zerfallsprozeß». Über das Beziehungsgeflecht zwischen Jüdischem Arbeiterbund, Sozialdemokratie und sozialistischer Jugend in den 30er Jahren. In: Frankfurter Rundschau, Nr. 301, vom 29. Januar 1997. S. 13.

[25] Liebich: Eine Emigration (wie Anm. 5). S. 232; Peter: «Brücken schlagen» (wie Anm. 1). S. 245.

[26] Andre Liebich: Why Nep Would not Work. The Menshevik View. In: L'URSS il Mito le Masse (= Socialismo Storia. Annali…). Milano 1991. S. 683 f.

[27] Dinerštejn: «Feindbeobachtung» (wie Anm. 18). S. 417 f.; Liebich: Eine Emigration (wie Anm. 5). S. 237 f.; Ders.: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 125.

[28] Хотя этот информационный бюллетень представляет собой почти незаменимую сокровищницу, в особенности для не владеющих русским языком представителей историографии немецкоязычного региона в том, что касается понимания русских проблем в период между двумя мировыми войнами, он, за некоторыми исключениями – Horst Dieter Beyerstedt: Marxistische Kritik an der Sowjetunion in der Stalin-Ära [1924–1953]. Frankfurt a. M., Bern und New York 1986; Schöler: «Despotischer Sozialismus» [wie Anm. 7]) – до сих пор почти не использовался в исторических исследованиях. Это может объясняться и тем, что ни одно учреждение или научная библиотека не располагает полным экземпляром бюллетеня за все годы. Его подбор был бы первым достойным шагом.

[29] Точнее ср. к этому разделу Schöler (wie Anm. 7). S. 609 ff; Liebich: Les Mencheviks en exil (wie Anm. 1). S. 7 ff.

[30] Цит. по Liebich: Eine Emigration (wie Anm. 5). S. 233.

[31] Касательно середины 20-х гг. ср. точнее главу в работе Шёлера (Schöler) (wie Anm. 7). S. 823 ff.

[32] Ср., кроме того, соответствующую критику со стороны товарища Мартова по партии Николая Николаевича Суханова: 1917. Tagebuch der russischen Revolution. München 1967. S. 696, а также для этой фазы в целом Johann Heinrich Frömel: Die russische Sozialdemokratie (wie Anm. 1); Reisser: Menschewismus und Revolution 1917 (wie Anm. 1).

[33] Тезисы по текущему моменту и резолюция ЦК РСДРП. – РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 58. Л. 1.

[34] Ср. Воззвание ЦК РСДРП ко всем рабочим и работницам. Что делать? 12 июля 1919 г. – РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 63. Л. 6–7 об.; Getzler: Martow (wie Anm. 1). S. 198.

[35] Ср. об этом точнее *Leopold H.* Haimson: The Mensheviks. From the Revolution … (wie Anm. 1). S. 222 f.

[36] Ср. более детально Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 500.

[37] Цит. по Liebich: Why Nep Would not Work (wie Anm. 26). S. 667.

[38] Ср.. Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 639 f.

[39] Ср. об этом подробнее Liebich: Why Nep Would not Work (wie Anm. 26). S. 668 f.; Ders.: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 107 ff.; см. также примеры у Schöler, Ibid. S. 648 f. und S. 652.

[40] Aktionsprogramm der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands. In: Der Kampf 18 (1924). S. 100 ff. und 107 ff.

[41] Ibid. S. 101.

[42] Richtlinien der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands. In: Julius Martow/Theodor Dan: Geschichte der russischen Sozialdemokratie. 1. Aufl. Berlin 1925; Nachdruck Erlangen 1973. S. 323 ff.

[43] Jugow: Die Volkswirtschaft der Sowjetunion (wie Anm. 3). S. 370 f. Напротив, правое крыло партии вокруг Петра Гарви, как и эсеры, делало ставку на насильственную перспективу смены власти; ср., в частности, Garwy: Der Rote Militarismus (wie Anm. 3). S. 34 ff.

[44] Ср. об этом Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 634 ff.

[45] Ibid. S. 852 ff. und S. 749 ff.

[46] Ср. Uli Schöler: Frühe totalitarismustheoretische Ansätze der Menschewiki im Exil. In: BzG38 (1996), H. 2. S. 32ff.

[47] Ср. точнее об этом и о последующих дебатах Andre Liebich: TheMensheviks in the Face of Stalinism. In: Ripensare il 1956 (= Socialismo Storia. Annali …). Rom 1987. S. 187; Ders.: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 182ff.

[48] Цит. по Panaccione: Dal menscevismo (wie Anm. 1). S. 535.

[49] Ср. Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 766 ff.

[50] См. об этом также Abraham Ascher: The Solovki Prisoners, the Mensheviks and the Socialist International. In: The Slavic and Eastern European Review 47 (1969), H. 8. S. 423 ff.; Wladimir Woitinski: Kommunistische Blutjustiz. Der Moskauer Prozeß der Sozialrevolutionäre und seine Opfer. Mit einem Vorwort von Karl Kautsky. Berlin 1922.

[51] Карл Каутский в такой же степени видел эти «линии»: воззрения Мартова и Бауэра, с одной стороны, Аксельрода и свои собственные – с другой; ср. Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 840 f.; см. также Abraham Ascher: Axelrod and Kautsky. In: The American Slavic and East European Review 26 (1967). S. 94 ff; по поводу дебатов в РСИ ср. также Liebich: The Mensheviks and the Russian Question (wie Anm. 1). S. 3 ff; Herbert Mayer: Die Oktoberrevolution und die internationale Sozialdemokratie (1917–1940). In: UTOPIE kreativ 8 (1997), H. 76. S. 58 ff.

[52] Ср. Ascher: Axelrod and Kautsky, Ibid. S. 94.

[53] Ср. Raimund Löw: Otto Bauer und die russische Revolution. Wien 1980. S. 10 ff. Несколько более критическую позицию по сравнению со сформированной этим автором см. в работе Henryk Skrzypczak: Menschewiki im Abseits. Ein wichtiges Buch zu einer gewichtigen Sache. In: IWK 35 (1999), H. 3. S. 388 ff.

[54] Ср. Schöler: «Despotischer Sozialismus» (wie Anm. 7). S. 804 f. und S. 822 ff.

[55] Ср. Ursula Langkau-Alex: «Der Kampf für die Demokratie und den Frieden». Die Debatte in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 1938/1939. Amsterdam 1992, но прежде всего Liebich: From the Other Shore (wie Anm. 1). S. 260 ff.

[56] Ср., в частности, Panaccione: Dal menscevismo (wie Anm. 1). S. 535 f.

[57] Ср. по поводу краха Советского Союза, в частности, Uli Schöler: Ein Gespenst verschwand in Europa. Über Marx und die sozialistische Idee nach dem Scheitern des sowjetischen Staatssozialismus. Bonn 1999.

*Борис Фрезинский*

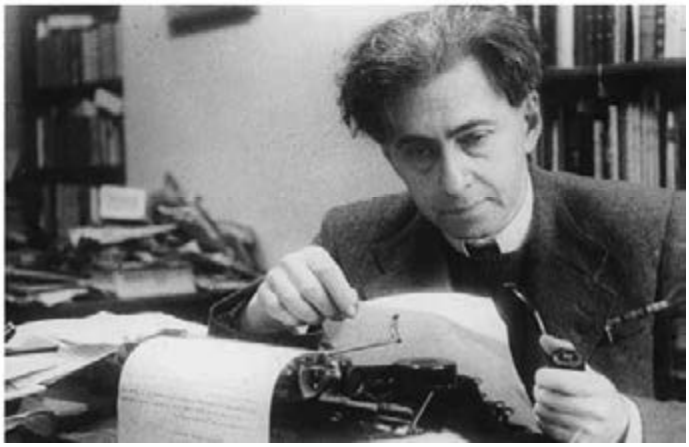
# ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ
# и Германия

Илья Эренбург знал, что про него говорят: он де обожает Францию и не любит Германию, обожает французов и не любит немцев. Беседуя в 1966 году в Москве с Генрихом Беллем, он сам заговорил на эту тему: «Меня обвиняют, что я не люблю немцев. Это неправда. Я люблю все народы. Но я не скрываю, когда вижу у них недостатки. У немцев есть национальная особенность – всё доводить до экстремальных крайностей, и добро и зло. Гитлер – это крайнее зло»[1]. Уже после смерти Эренбурга его дочь[2], когда при ней упоминали про нелюбовь Эренбурга к немцам, всегда отвечала: но моя мать – самая большая любовь отца – немка[3]. Это неизменно производило впечатление (возможно, не без фрейдистского оттенка).

Конечно, треть жизни Эренбург прожил во Франции и еще в 1945-м надеялся туда вернуться. Половина XX века прошла под знаком двух мировых войн, в которых – все, что любил Эренбург, было не на стороне Германии; его собственная позиция формулировалась при этом предельно остро.

Эренбург – сатирик, создавший запоминающиеся, саркастические образы и немцев, и французов, и англичан, и американцев, но не поэтому следует судить о роли тех или иных стран в судьбе писателя. В семи книгах воспоминаний Ильи Эренбурга – исповедальном труде его жизни, подводящем ее итоги – упоминаются 3500 имен. Среди европейцев-иностранцев первое место, понятно, за французами (474 имени), а второе, пусть и с большим отрывом, но, опережая испанцев, итальянцев, англичан, занимают немцы (161 имя). Эта статистика вполне репрезентативна…

Цель этой работы – рассказать о роли, которую играла Германия и немцы в жизни и творчестве Ильи Эренбурга[4].



*Илья Эренбург в 1924 году*

## Начало было так далеко… (1903–1915)

Первые поездки в Германию с матерью и сестрами Эренбург почти не вспоминал потом; но одно тогдашнее впечатление врезалось ему в память навсегда:

> Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на Библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:
> Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.
> Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами, попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и с душистой черемухой. Я знал, что если побежать сорвать ветку черемухи, поезд не уедет – поезд поймет, что нельзя без черемухи. Помолчал и переспросил:
> Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?
> Тогда мать, усмехнувшись, ответила:
> Здесь поезда никогда не опаздывают.
> Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я не обрадовался – нет, я испугался. Ничто в тот день не могло исцелить меня от испуга перед непостижимой точностью[5].

Этот эпизод в сознании Эренбурга вырос в некий символ, существенно скорректировавший его дальнейшие впечатления от Германии…

Мать писателя часто болела и, как все состоятельные жители тогдашней России, ездила лечиться в Германию; детей она брала с собой. Так, Илья провел лето 1903-го и 1904-го годов в Бад Эмсе. В мемуарах Эренбург мельком вспоминает, как он упорно изводил там отдыхающих, в итоге «курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня угомонить»[6].

Первую половину 1908 года юный революционер Эренбург провел в тюрьме, а затем высылался в Киев под надзор полиции. Его родителям удалось под залог выхлопотать для своего сына право уехать заграницу «лечиться» (до предстоящего суда). Он твердо выбрал Париж и вспоминал полвека спустя: «Мать плакала: ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу»[7]. Берлин стал всего лишь полустанком на пути в Париж.

Уже из Франции юный Эренбург совершил несколько поездок в Германию. Первая – летом 1909 года, в пору романа с Лизой Мовшенсон (Полонской)[8] – тоже молодой поэтессой и тоже скрывавшейся во Франции от возможного ареста в России. Они поехали в Германию, чтобы повидаться с родными, приехавшими туда на лечение. Эренбург – в Бад-Киссинген, а Полонская – в Кенигсберг. Эренбург в середине июля, повидав мать и сестер, выехал в Кенигсберг, где был представлен матери Полонской, а затем они вдвоем с Лизой совершили путешествие по Германии (с интересом осмотрели Дрезден и Мюнхен). Поразительным образом эта поездка не оставила следа ни в его работах, ни в памяти. Правда, он тогда только начинал писать стихи, искусство еще не заняло в его жизни того места, которое ему предстояло занять. Потом, в старости, Эренбург восторженно вспоминал поездки молодых лет – в Брюгге в 1910 году, в Италию в 1911-м, в Голландию в 1914-м, и, разумеется, поездки по Франции. Все это вошло в его стихи, романы, статьи. Но о Германии – ни слова, ни образа. Впрочем, в 1915 году он написал стихи, которые не были напечатаны при его жизни:

Люблю немецкий старый городок – // На площади липу, // Маленькие окна с геранями, // Над лавкой серебряный рог // И во всем этом легкий привкус // Милой романтики…[9]

– но в этой неожиданной избирательности памяти, скорей всего, проявился настрой «против» – в данном случае, против французского шовинизма.

Определенное место в мыслях Эренбурга Германия начинает занимать лишь с началом Первой мировой войны. Французская шовинистическая волна поначалу подействовала и на Эренбурга – он отправился записываться в Иностранный легион, но из-за неважного сердца получил отказ. В пору, когда многие французские друзья Эренбурга ушли на фронт, он, оставшись совершенно без средств (пересылка денежных переводов прекратилась, а вместе с нею и помощь родителей), не очень уютно себя чувствовал даже в самом космополитическом мире кафе «Ротонда».

Эренбург не сразу осознал заинтересованность в войне крупных финансовых воротил, войну, как гигантскую индустрию, исправно кормившую ее акционеров. Пока не бросались в глаза кровавые проявления войны, умело поставленная пропаганда срабатывала. Гибель Шарля Пеги[10] и его пронзительные стихи о «четырех углах родимой земли», развалины Реймского собора, следы методичных разрушений, которые несла по французской земле немецкая армия, поначалу закрывали глаза Эренбургу на более общие и, может быть, более важные вещи. Однако и тогда французская провинциальная пресса с ее анекдотическим шовинизмом неизменно вызывала у него иронию. Он открыто говорил об этом своим русским друзьям (к их кругу принадлежали, в частности, М. Волошин[11] и Б. Савинков[12]) – среди них Эренбург был самым стойким противником войны. Он писал Волошину 27 сентября 1915 года, имея в виду, что и у авторов шовинистических статей есть свои мотивы: «Столько сейчас тяжелого у каждого, что нельзя слушать ни Echo de Paris, ни Ропшиных. Может, все они честные и милые, но Иванов, Шмидт и Дуранд умирают – понимаете! Но какое счастье, что мы русские, более всех “униженные и оскорбленные”. Хоть что-то человеческое сохранилось от искры на ветру»[13].

Рассказывая Волошину о Савинкове и споря с ним, Эренбург писал: «Сначала он говорил о бошах и о своей ненависти, потом читал статьи – я ругался». С издевкой Эренбург сообщает Волошину о тоне французских газет: «Читаю “Petit Niçois”. Вчера была передовая на тему о запахах немцев. Автор уверяет, что немки издают особый невыносимый запах, что в школе парты, на которых сидели немцы, приходится сжигать».

В минуту крайнего безденежья, он шутит: «Думаю, из Парижа в отчаяньи писать хоть корреспонденции о скверном запахе молодых немок (любимая тема местной газетки)». Эренбург надеется только на то, что в ходе войны произойдет перерождение мира, и замечает: «Но одно несомненно – ни победа, ни поражение сами по себе не могут дать внутреннего перерождения. Для этого нужно еще что-то, что – не знаю. Поражение даст, может быть, “свободы” etc, но вызовет жажду победы, жажду мщения и ненависть. Россия захочет быть внешне сильной, с каждым годом все теряя свою единую и подлинную силу. Есть в этом что-то неизбежное».

В своей публицистике Эренбург был скован жесткой цензурой – его статьи из Франции постоянно корежили, но и эту слабую возможность он использовал, чтобы не ограничиваться риторикой, а вести серьезный разговор, докапываться до сути. Он различает массовую, материальную и духовную культуры:

> Казалось, народу, отягченному материальной культурой современности, особенно дорого духовное наследие прошлых веков. […] Можно колебаться в разгроме городов Реймс или Ипр, лежащих в зоне беспрерывных военных действий. Но есть факты неоспоримые и достаточно убедительные в своей простоте. Прежде всего, поджог Лувена. Европейцы 20-го века наметили по плану кварталы города, подлежащие уничтожению, они обливали воспламеняющимся составом алтарь собора и пергаменты библиотеки. Самое поразительное в этом – обдуманность, осознанность преступления. За преступлением раскаяния не последовало. Я объясняю это не прирожденными пороками немецкого народа, а той ролью «вождя», которую ему присудила история. Соборы и старинные памятники для людей этой культуры были предметами не первой необходимости, но роскоши. Изучение не означает любви. […] Археолог Мюллер может в мирное время изучать раскопки, но генерал Мюллер на войне, не задумываясь, распорядится сжечь и библиотеку, и церковь, и музей[14].

Следующие встречи были не с Германией, но с немцами – в 1918-м году на родине Эренбурга в Киеве, который Германия оккупировала. Это был всего лишь первый акт той кровавой драмы, которая называлась гражданской войной в России. Воспоминания о немецкой оккупации Киева в книге «Люди, годы, жизнь» лишены ярости («Немцы были веселы и довольны жизнью; в киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шмен-де-дам или у Вердена…»[15]), но и они окрашены будущим.

## Полюби Берлин… (1921–23)

Оказавшись весной 1921 года в Париже с советским паспортом, Эренбург вскоре был оттуда выслан; чудом ему удалось обосноваться в Брюсселе. Там он за месяц написал давно продуманный роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито». Среди удач этого романа – образ Карла Шмидта, одного из спутников главного героя, великого провокатора Хулио Хуренито. Путешествующие с ним – американец, француз, африканец, русский, итальянец, немец и еврей – типы, сатирически воплощающие определенные национальные черты. Эти черты в общем-то не были открытием Эренбурга, и вот только Карл Шмидт, который мог одновременно быть и националистом и социалистом, ибо «и те и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества»[16], был открытием, поскольку создан предвосхищая будущее – до проникновения национал-социализма в германскую жизнь; это одно из пророчеств романа.

Еще в России Эренбург познакомился с берлинским журналом «Русская книга». В Париже он завязал переписку с редактором журнала А.С. Ященко[17] и забросал его информацией о жизни писателей в России. Кроме того, Эренбург предложил журналу свои услуги в качестве автора. Предложение было принято и это по существу изменило лицо «Русской книги» (наверное, неслучайно с 1922 г. она стала называться «Новой русской книгой»). Политически Ященко в эмигрантских спорах стоял «над схваткой» – это облегчило ему контакты с Эренбургом. Участие нового автора сделало журнал в большей степени писательским. Идеологическая позиция Эренбурга, которую он пропагандировал в своих статьях (настоящие литература и искусство имеют будущее только в России), со временем способствовала расколу в рядах

берлинской эмиграции. Впрочем, до раскола еще было далеко. А тогда, в июне 1921 года, Эренбург прислал Ященко список шести своих книг, которые хотел бы издать в Берлине (пять из них вскоре действительно были изданы).

В Бельгии, где Эренбург оказался по воле случая, друзей и знакомых у него было крайне мало; не было там практически и эмигрантов из России (в письме к Ященко он жаловался 27 июня, что «абсолютно изолирован»). Скорее всего, именно от Ященко Эренбург узнал о размерах русской колонии в Германии, и у него созрело решение перебраться в Берлин.

Уже 5 сентября 1921 г. он сообщил Ященко о своих хлопотах в части получения германской визы, а 26 сентября попросил «посодействовать в получении разрешения на въезд в Германию». В письме 13 октября Эренбург сообщил, что «сегодня германский консул отправил касательно меня телеграфный запрос в МИД. Таким образом, мои судьбы решаются в Берлине и возможно скоро нам удастся лично побеседовать».

В том же месяце Эренбург был в Берлине; он поселился в пансионе на Прагерплац (через год перебрался в пансион на Траутенауштрассе).

Интенсивность берлинской жизни Эренбурга впечатляет. С конца 1921 по 1923 год Эренбург – постоянный критик журнала «Новая русская книга», постоянный докладчик и участник полемик в Доме искусств. Но главное – за это время в Берлине он издал 14 книг: романы, повести, новеллы, стихи, стихотворные пьесы, эссеистика, публицистика (половина их написана уже после переезда в Германию; большинство книг выпустило издательство «Геликон»). Отмечу, что в 1923 году в Берлине две книги Эренбурга впервые вышли по-немецки – «Хулио Хуренито» и «Трест Д.Е.» (издательство Welt-Verlag). В русской литературной хронике Берлина тех лет – весьма плотной и разнообразной – имя Эренбурга встречается повсеместно. «В Берлине существовало место, – вспоминал Эренбург, – напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели»[18]. Далее следует длинный список: 20 имен – далеко не полный перечень тех, с кем Эренбург тогда общался… Среди неназванных в том списке – впоследствии самый близкий друг Эренбурга, а тогда начинающий поэт и прозаик Овадий Савич[19], всемирно известный славист Роман Якобсон, великий польский поэт Юлиан Тувим.

Кстати о Савиче. По случаю его свадьбы Эренбург сочинил поэму, которая не сохранилась, и лишь некоторые ее строфы уцелели в памяти виновников; Альсгута Я. Савич[20] мне их читала:

Скорее прокляни Берлин,
Где зальцкартофель, пфуй и сплин,
Скорее приезжай в Париж…

В Берлине 1922 года продолжились встречи Эренбурга с Маяковским, Пастернаком, Цветаевой, Ходасевичем, Есениным, А. Белым, Шкловским, Таировым.

В 1923 году в Берлине вышла книга Шкловского «ZOO или Письма не о любви», одна из глав ее имеет такой подзаголовок: «О весне, ‚Prager Diele’, Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердцах, которые истрепываются, в то время, как с чужих губ только слезает краска…»[21]. «Прагер диле» – это нечто вроде кафе в Берлине, которое с легкой руки Эренбурга стало популярным

среди русских писателей; там он работал, встречался с друзьями и жил неподалеку. В этой главе Шкловский сказал об Эренбурге понравившиеся тому точные слова: «Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович…».

Литературная и художественная жизнь в русском Берлине были переплетены; художественные диспуты собирали подчас ту же публику, что и литературные. Эренбург оказывался вовлеченным в художественные баталии не только из-за своей дружбы с Натаном Альтманом или Эль Лисицким, но, главным образом, из-за книги «А все-таки она вертится». Этот гимн тогдашнему конструктивизму, написанный еще в Бельгии, по выходе своем вызвал яростные споры.

Среди проектов, осуществленных Эренбургом в Берлине, один имел особое значение – издание международного художественно-литературного журнала, пропагандирующего идеи конструктивизма во всех сферах искусств. 5 декабря 1921 года в Берлине Эренбург выступил в Доме искусств с докладом «Оправдание вещи», в котором развил соображения книги «А все-таки она вертится»; тогда-то он и обнаружил, что многие его идеи совпадают с замыслами художника Эль Лисицкого, к которым тот пришел незадолго до того в Москве. Эренбург и Лисицкий объединили свои усилия – эта мысль оказалась счастливой! – так был задуман журнал «Вещь».

3 марта 1922 г. Лисицкий писал Родченко[22]: «Мы наконец осуществили здесь идею – издание международного журнала современного искусства. Вокруг него объединены все, создающие новые ценности или этому созиданию помогающие»[23]. Лисицкий осуществлял художественное оформление и макетирование журнала, вместе с Эренбургом определял его художественную направленность. Эренбург был автором программных и полемических редакционных статей, определял литературную политику.

Главной задачей журнала было взаимное знакомство авангарда Запада и нового левого искусства послереволюционной России, взаимный смотр их достижений и их дальнейшее тесное сотрудничество. Журнал должен был служить своего рода мостом между Россией и Западом; в основу такого объединения были положены не политические, а эстетические (конструктивистские) установки. Журнал предполагал печатать материалы по-русски, по-французски и по-немецки.

Первый, сдвоенный, номер журнала «Вещь» вышел в свет в начале апреля, третий – 1 июня 1922 г.

Немецкая часть журнала формировалась принципиально и безотносительно к тогдашнему униженному положению Германии в Европе. В № 1–2 была объявлена публикация стихов экспрессионистского писателя и критика изобразительного искусства Карла Эйнштейна (1885–1940). Ряд материалов журнала был напечатан по-немецки (например, статья И. Глебова о С. Прокофьеве и обзорная статья «Die Ausstellungen in Russland» («Российские выставки») – хорошо информированный автор подписался Ulen – возможно, это был Лисицкий). В № 3 была напечатана в переводе на русский статья преподавателя Баухауза и градостроителя Людвига Гильсберсхеймера «Динамическая живопись» (о беспредметном кинематографе Викинга Эггелинга, 1880–1925). Отметим также помещенную в журнале информацию о первой международной выставке в Дюссельдорфе (май–июль 1922) и обзор Лисицкого «Выставки в Берлине» (подписан: Эл).

№ 3 «Вещи» оказался последним – фактически, советская власть придушила журнал, запретив его распространение в России.

Вспоминая в мемуарах свою первую – парижскую – эмиграцию, Эренбург с грустью написал об «отъединенности» эмигрантской жизни: занятые своими заботами и склоками, русские социал-демократы «не заметили» Парижа. Для Эренбурга смолоду было характерно беспокойное стремление узнать жизнь и культуру краев, куда его забросила судьба. Так, и Берлине Эренбург находил время на музеи и выставки, чтение газет, «Романишес кафе» и встречи с литераторами, художниками, политиками.

Вспоминая Берлин 1922-го года в мемуарах, Эренбург называет несколько немецких имен. Первое – поэт и эссеист Карл Эйнштейн, который за свою пьесу об Иисусе «Die schlimme Botschaft» привлекался к суду за богохульство. Эренбург посещал заседания суда и упомянул их в «Письмах из кафе»: «Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка… Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев “Ротонды”, и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи»[24].

Затем Эренбург называет известного прозаика Леонарда Франка, автора книги «Человек добр», с которым встречался и впоследствии, уже после Второй мировой войны: «Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться – и сразу исчезнет злое наваждение»[25].

Третье имя – художник Георг Гросс. Оно требует отступления.

Искусствовед М.В. Алпатов писал, что, ценя новую французскую школу живописи, Эренбург не принимал достижений немецкого экспрессионизма и школы Баухауза (Алпатов выражался академично: «грешил недооценкой»[26]). Это так; Эренбург утверждал: «Экспрессионизм – истерика» и рассказывал, поясняя свою мысль: «В галерее “Штурм” висит громадное полотно, закиданное красной краской. Называется “Симфония крови”. Критиковать? Не стоит. Просто художнику не до картин: он хотел плакать или буянить. Краски оказались под рукой. Мог оказаться револьвер – было бы хуже»[27].

Не принимая такого искусства, Эренбург не судил заглазно: с Моголи Надем он был в Баухаузе и назвал его «единственной живой художественной школой Германии»[28]; он посещал выставки Штурма на Потсдамерштрассе 184-а, писал о них, был дружен с Хервартом Вальденом, вдохновителем Штурма («В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками – их приносили из соседнего кафе»[29]).

Был еще один мотив, связывавший писателя с художественным миром Берлина. Вторая жена Эренбурга – Любовь Михайловна Козинцева[30] – художница, ученица Экстер[31] и Родченко. 10 мая 1922 г. в галерее «Штурм» была устроена первая выставка ее гуашей (совместно с немецким дадаистом Куртом Швитером). Козинцева сообщала в Москву Родченко: «Рядом с немецким экспресионизмом мои вещи имели тихий, чистоплотный вид. В газетах хвалили»[32]. Действительно, скажем, берлинский «Голос России» 4 июня 1922 г. писал о ее гуашах: «Здесь краски, а не Бог знает что, здесь рассчитано и выписано, а не намазано, здесь школа и – по сравнению с немцами – мастерство». С того года выставки Л.М. в Европе проходили ежегодно (последняя выставка ее гуашей в Берлине состоялась в марте 1929 г. в галерее М. Вассерфогеля)…

Эренбург, не любя экспрессионизм, полюбил Георга Гросса: «Германия тех лет нашла своего портретиста – Георга Гросса. […] Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки – сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. […] У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима»[33]. Это – позднее суждение, но и в 1927-м году, признавая социальную остроту рисунков Гросса, Эренбург проницательно подметил: «Однако сущность его демонологии глубже и постоянней. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальный показатель. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души»[34].

В личном архиве писателя сохранилась фотография – на обороте его рукой написано: «У Гросса. Берлин 1929». Это встреча Нового, 1930 года – вокруг стола, заставленного нарядными бутылками, – Поль Элюар, Эренбурги, артисты театра Таирова, и сам Гросс – с сигарой, смеющийся. И еще сохранился альбом рисунков Гросса, изданный в Дрездене в 1925 году. На нем четкая карандашная надпись: «Ilya Ehrenburg mit besten Grüssen aus Deutschland. Georg Grosz Berlin 11. Juli 1926».

Последний роман Эренбурга, написанный в Германии (сентябрь–ноябрь 1923 г.), – «Любовь Жанны Ней». «Я писал “Жанну Ней” в Берлине, в маленьком турецком кафе, где восточные люди суетясь сбывали друг другу доллары и девушек, – вспоминал Эренбург.– Я выбрал эту кофейню, столь непохожую на роскошные кондитерские западного Берлина, за непонятный говор, за полумрак, за угрюмость. Там каждое утро я встречался с моими героями»[35]. Действие этого одновременно сентиментального и авантюрного романа происходит в краях, которые Эренбург хорошо знал – в Восточном Крыму, Москве, Париже; последняя глава перенесена в северную окраину Берлина (к этому моменту все сюжетные линии романа уже завершены, осталось посчитаться со злодеем Халыбьевым – именно на нищей, грязной улице Клейндорф обрекает его Эренбург корчиться в заслуженных судорогах…).

Илья Эренбург жил в Берлине не безвылазно: одной только, пусть даже насыщенной, литературной жизни ему было мало. Он был путешественник по своей природе (кроме прочего, поездки обычно давали еще и материал для литературной работы). За время оседлой жизни в Германии Эренбург смог побывать в Веймаре («Я долго стоял у простого протертого кресла, на котором умер Гете», – это из веймарских впечатлений[36]), Магдебурге, в горах возле Брокена, в Хильдесгейме («Отсюда или из Нюрнберга надо начинать плавание по душе Германии»[37]), на северном побережье (здесь, во время летнего «отдыха» были написаны знаменитые «13 трубок» и книга стихов «Звериное тепло»). Немалый опыт путешественника позволял Эренбургу сравнивать впечатления; он писал о Германии:

«Как все здесь непохоже на старую Италию или даже на соседнюю Фландрию! Только тут и чувствуешь вес, вязкость, значимость земли. Умбрийские холмы слишком легко давались. Они напоминают перевернутое небо. А брюггские меланхолики, несмотря на рагу, пиво и полнотелых жен, бредили северной жидкой лазурью. Здесь, в Германии прекрасный культ уродства. Венеры Кранаха соблазнительны, как таксы. В домах, в картинах, в языке – уют, приземистость, спертость. Всюду – и в узких улицах с крюком-вывеской ростовщика, и в погребках, и в чернявости го-

тических книг, и в топорных пословицах – всюду чувствуется присутствие женского тела, пылающего очага, смерти»[38].

В блистательном «Письме из кафе» возникает образ Берлина тех лет – отталкивающий и одновременно привлекательный: «Берлин уныл, однообразен и лишен couloir locale[39]. Это его “лицо”, и за это я его люблю. Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два – и увидеть тоже самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, общипанные вечными сквозняками, и на углу сигарную лавку “Лейзер и Вольф”. Это – выставка, громадный макет, приснившийся план»[40].

Сравнив Берлин с Парижем и Лондоном, Эренбург замечает: «А Берлин – просто большой город, мыслимая столица Европы. Среди других городов это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов»[41].

Попав в немецкую столицу в тяжкое для страны время, подметив бросающееся в глаза городские контрасты (жизнь в Берлине писатель сравнивал с жизнью на вокзале), Эренбург отметил и другое: «Этот город беженцев, несмотря на все свое отчаяние, исступленно работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале, – видишь только прекрасные железнодорожные мастерские. А зачем эти люди работают и что будет завтра – они сами не знают».

И далее, обращаясь к неназванному другу, он делает существенное замечание: «Как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Не забывай, что речь идет о народе философов, социальных доктринеров, и моралистов. В маленьком кафе “Иости” за чашкой желудевого кофе посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы. Шпенглер писал свою книгу[42] здесь же, рядом, на вокзальной стойке»[43].

И поэтому он заканчивает свое послание к другу: «Я прошу, поверь мне за глаза и полюби Берлин»[44].

## Сумерки свободы (1924–1932)

К концу 1923 года рай для русских эмигрантов в Берлине закончился – марка окрепла и легко расплодившиеся русские издательства также легко позакрывались; часть эмигрантов перебралась в Париж, часть в Прагу, часть вернулась в Москву. Берлин утратил роль главного центра русской эмиграции[45].

«Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни», – вспоминал Эренбург в мемуарах[46].

Начало 1924 года Эренбург провел в России и в конце марта вернулся в Берлин. «За время моего отсутствия, – писал Эренбург прозаику Лидину[47], – русское издательское дело здесь окончательно зачахло, зато немецкое поправилось»[48]. Эренбург окончательно утвердился в мысли покинуть Германию. В начале апреля он писал друзьям, что ожидает визы и надеется уехать в Италию или в Бельгию – «о Париже и не мечтаю»[49].

15 мая Эренбург уехал из Берлина; через месяц он сообщал из Рима Лидину: «Получил французскую визу (результат выборов![50]). Победоносно выступаю в Париж»[51], – и уже 1 сентября, сравнивая обе столицы в очередном письме: «В Берлине

сейчас страшная мертвечина»[52], – хотя в конце года говоря Евгению Замятину[53] о парижской жизни, заметил: «Здесь живем как-то глуше, изолированней, нежели в Берлине».

Жизнь в немецкой столице завершилась, но в 1925–1931 годы Эренбург ежегодно по нескольку раз приезжал в Берлин – издательские и кинодела, выставки Л.М. Козинцевой, навестить Савичей, встретить Новый год, а то и просто транзит: по дороге в Прагу, Варшаву или Москву; бывал он и в Франкфурте, Штутгарте, Нюрнберге.

Особенно близкие отношения сложились в эти годы у Эренбурга с берлинским левым издательством «Малик»; именем Малик Эренбург даже назвал любимую собаку. «В Германии, – вспоминал писатель много лет спустя, – переводы моих книг выпускало издательство “Малик”. Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег…»[54].

Издательство «Малик» несомненно было левее тогдашнего Эренбурга и не все его книги готово было выпускать. Речь, конечно, не идет о каком-либо одобрении издательских планов «Малика» Коминтерном – скажем, изданный «Маликом» роман Эренбурга «Единый фронт» вообще не вышел в СССР, а «День второй» в Берлине был издан раньше, чем в Москве, – но среди напечатанных «Маликом» книг Эренбурга тем не менее не было не только «Бурной жизни Лазика Ройтшванеца», но и опубликованного в СССР романа «В Проточном переулке» – их немецкие переводы выпустили другие издательства (им. Рейн и Лист).

«Малик» начал издавать Эренбурга в 1926 г.[55] – первыми были две книжки: «Любовь Жанны Ней» (тираж дважды допечатывался и достиг рекордных для Эренбурга 21 тысячи; обычный тираж укладывался в пределах 10 тысяч) и «13 трубок». Эти книги, как и последующие, блистательно оформил брат Виланда Герцфельде – Хельмут, взявший себе псевдоним Джон Хартфильд. В СССР внимательно следили за переводами с русского в левых немецких издательствах, печатали соответствующие обзоры; в связи с изданиями Эренбурга в Германии группа пролетарских писателей «На литературном посту» высказывал опасения, что некоторые его произведения, проникнув на страницы немецкой коммунистической печати, «создадут путаницу»[56]. В 1927-м «Малик» выпустил избранные статьи Эренбурга и запрещенного в Москве «Рвача» (под названием «Михаил Лыков»), в 1929-м – «Хулио Хуренито» и «Заговор равных», в 1930-м вышла книга «10 л. с.», в 1931-м – «Единый фронт» (под названием «Священный груз»), «Фабрика снов», «Виза времени» и «Трест Д.Е.», в 1932-м – «Москва слезам не верит» и «Испания сегодня». С приходом гитлеровцев к власти издательство перебралось в Прагу и книги Эренбурга выходили там: в 1933-м – «День второй», в 1934-м – «Гражданская война в Австрии», в 1936-м – «Не переводя дыхания» и, наконец, в 1937-м – последняя книга Эренбурга в издательстве «Малик» – «No Pasarán!».

Дружеские отношения Эренбурга с Виландом Герцфельде сохранялись и после войны. В архиве Эренбурга сохранились надписи на двух книгах, подаренных ему Дж. Хартфильдом в Москве 14 декабря 1957 года[57]. В 1962 г. братья подарили Эренбургу и его жене капитальный альбом «Джон Хартфильд», выпущенный в Берлине с большой вступительной статьей Герцфельде. В конце 1967 года Виланд Герцфельде приезжал в Москву, но Эренбурга уже не было в живых; посетив его вдову, Герцфельде подарил ей русское издание своей книги воспоминания «Immergrün», изданную в Москве[58].

*Йозеф Рот, Л.М. Козинцева и Илья Эренбург, Франкфурт 1927 (слева направо)*

Не обходил Эренбург и немецкую периодику – печатался в журнале «Die Russische Rundschau» (начиная с его первого номера, вышедшего в 1925 году) и в газете «Die literarische Welt» (там, в частности была напечатана его статья памяти Есенина). Говоря о контактах с немецкими писателями, Эренбург написал после рассказа о своем разговоре с Альфредом Деблином, автором нашумевшего тогда романа «Берлин, Александерплац» в 1927 году: «Я встречаюсь здесь со многими немецкими писателями. Я плохо говорю по-немецки, но у меня с ними общий язык – это язык времени и ремесла. У меня немало друзей среди французских писателей, но я никогда себя не чувствую с ними как равный с равными. Я знаю, что в глубине души они удивлены: как это я говорю с ними о Прусте или о Валери, вместо того, чтобы предаваться джигитовке или тренькать на балалайке? В Берлине я не экзотика, не казак, который случайно знает грамоту и даже пишет романы, но современник»[59].

В 1927 году Эренбург познакомился и подружился с двумя немецкими писателями. Это драматург и поэт Эрнст Толлер и прозаик Йозеф Рот – оба они окончили жизнь в возрасте сорока пяти лет в мае 1939 года, не дожив до начала Второй мировой войны.

Знакомство с Ротом произошло в редакции газеты «Frankfurter Zeitung» – Эренбург предлагал газете свои очерки о Германии; когда вышел немецкий перевод «Рвача», газета откликнулась на него большой рецензией[60]; Рот работал корреспондентом этой газеты в Москве, потом в Париже. О Роте в мемуарах «Люди, годы, жизнь» написано очень душевно; перечитав его книги, Эренбург заново осознал их масштаб. «Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны – не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть, жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице»[61].

В монологах Рота, которые Эренбург привел в мемуарах, есть отголосок какого-то их скрытого спора, горечь и недосказанность. Сейчас опубликованы письма Рота[62] и видно, что он был умнее многих и понимал, что происходит в СССР, куда глубже других. Наверное, он говорил об этом с Эренбургом, недаром в этих разговорах он спорит не с самим Эренбургом, а с его «друзьями». Понятно, что подцензурные мемуары не позволяли Эренбургу последовательную откровенность в описании этих разговоров, но и сказанного было достаточно его внимательным читателям, чтобы о многом задуматься…

Совершенно другим был Эрнст Толлер. Его судьба привлекала Эренбурга не только трагичностью и, в противовес Роту, активностью, но и контрастностью: «Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую». Для мемуаров Эренбург перевел, несомненно, близкие ему стихи Толлера из «Книги ласточек» и написал: «Толлер сам походил на ласточку, может быть на ту “одну”, что прилетает слишком рано и не делает погоды»[63].

Что касается немецкого языка Эренбурга[64], то в сравнении с французским (на котором он говорил с русским акцентом, но словарь его, включавший всевозможные арго, впечатлял французов), он знал его неважно[65].

В начале 1927 года на берлинской киностудии УФА режиссер Георг Пабст приступил к съемкам фильма по роману Эренбурга «Любовь Жанны Ней». В феврале по приглашению Пабста Эренбург приехал в Берлин; потом он приезжал еще раз в мае, затем присутствовал на натурных съемках в Париже. В разгар съемок роман «Любовь Жанны Ней» вышел еще раз по-немецки в издательстве «Rhein Verlag» и был встречен восторженно в «Die literarische Welt». По поводу этого отклика литературовед Наум Берковский писал в статье «Советская литература в Германии»: «Не без оттенка оппозиции чрезвычайно чествуется Эренбург, тот самый, которого в СССР считают “наполовину агентом Чемберлена, на три четверти угнетателем китайского народа” и о котором польская пресса отзывается в то же время, как о “кровавом коммунисте”. Эренбург, беспартийный адогматик – сделан центром русского номера “Литерарише вельт”. Хвалебный отзыв дан только что появившейся в немецком переводе “Жанне Ней” – Эренбурга называют несравненным романистом, поэтом, исполненным глубочайших переживаний, поэтом для немногих, недоступным читательской толпе»[66].

Поскольку фильм Пабста был немой, актеров набрали разноязыких. Эренбург вспоминал: «Из актеров мне понравился Фриц Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер»[67]. Эренбург подружился с Распом; все гитлеровские годы тот сохранял подаренные ему писателем книги, фотографии – они помогли ему, когда в Германию вступила Красная Армия[68].

В очерке «Встреча автора со своими персонажами» Эренбург рассказал об атмосфере съемок фильма: «Когда я попал на фабрику “Уфы” в Бабельсберге, я увидел аркады Феодосии, заседание совета солдатских депутатов, парижские притоны, русскую гостиницу, холмы, татарские деревни, монмартрские бары… Москва здесь находится в десяти шагах от Парижа, – между ними только торчит какой-то крымский холм. Белогвардейский кабак отделен от советского трибунала одним французским вагоном. Здесь нет никакой иллюзии; обман искусства здесь откровенен и сух, но здесь не упущено ничто для поддержания иллюзии на экране»[69].

Эренбург впервые столкнулся с киноиндустрией; то, как она обращается с литературным произведением, его сильно задело. Точный к подробностям и деталям снимаемого материала, Пабст считал себя свободным в обращении с замыслом писателя – фильм, вопреки роману, имел happy end; его идеологическая направленность была изменена так, что из-за опасения реакции Москвы Эренбург вынужден был от фильма отмежеваться. Его письма протеста в редакции газет В. Герцфельде издал в виде памфлета отдельной брошюрой – но, разумеется, безрезультатно: протесты Эренбурга киностудия проигнорировала.

Разумеется, фильм Пабста прибавил известности Эренбургу в Германии, вызвал он и завистливые отклики русской эмиграции. Продолжали выходить немецкие переводы его книг; свободная немецкая критика имела возможность адекватно о них высказываться. Так, в вышедшей по-немецки книге Эренбурга «Заговор равных» (роман о Гракхе Бабефе, навеянный Эренбургу раздумьями о завершении русской революции) немецкая критика увидела «жесткую критику сталинизма и прозрение советского термидора»[70].

Эренбурга издавали едва ли не во всей Европе, но он не мог не ценить особую открытость Германии зарубежной литературе, того, что немцы «сумели обуздать свои духовные таможни»: «Знакомство с иностранной литературой стало здесь почти общим достоянием. Неизвестные вне своих стран русский Бабель, ирландец Джойс, чех Гашек здесь переведены и оценены»[71]. При этом одно противоречие бросалось ему в глаза: «Странная страна: машина в ней окружена куда большим почетом, нежели человек, но Достоевский в ней популярнее, общедоступней и Бенуа, и Лондона, и Синклера»[72]. Отношение же Эренбурга к тогдашней немецкой литературе было достаточно критичным: «Нет сейчас более безуютной литературы, нежели немецкая. Здесь забываются и временные эстетические мерки, здесь забываются и непреложные каноны искусства. Чувство социальной тревоги треплет, как лихорадка, эти страницы»[73].

В книгах, которые Эренбург писал, начиная с 1929 года, – это был новый жанр, и Эренбург потом объединил их под названием «Хроника наших дней» – он исследовал работу воротил бизнеса. Издательство «Малик» тут же издавало их переводы; не всем в Германии они приходились по душе. Об одной из этих книг, посвященной королю спичек Ивару Крейгеру, Курт Тухольский писал: «Илья Эренбург был единственным писателем, который в книге “Die heiligsten Güter” (“Святые блага”), выпущенной издательством “Малик” в Берлине, указал пальцем на Ивара Крейгера перед самым его крахом. Крупные финансисты были возмущены, они содрогались, читая его книгу: “Что может понимать в этом какой-то литератор?” И опять-таки следует подчеркнуть их глупость, близорукость, отсутствие инстинкта и неоправданное игнорирование. Раньше человеческая глупость аккумулировалась в военном сословии, теперь же – в хозяйственном… Если бы Ивар Крейгер был еврей – тогда понятно, если бы Ивар Крейгер был маленьким бухгалтером – тогда понятно. Он был, однако, крупным предпринимателем капиталистической системы…»[74].

Книгу, о которой пишет Тухольский («Единый фронт»), в Москве не издали. Этому противилась не одна только цензура – ортодоксов хватало; в 1930 году немецкий теоретик литературы, работавший в Москве, Георг Лукач писал в немецком еженедельнике «Moskauer Rundschau» о слепоте Эренбурга перед лицом самых больших событий современности: «Он видит их детали, но только детали. И потом видит их глазами лакея (здесь Лукач цитировал Гегеля: “Для камердинера нет ге-

роя” – *Б.Ф.*)… Это лакейское суждение о революции приговаривает Эренбурга при всей его одаренности к полному провалу в большом современном романе. Но именно такая невозможность обусловила успех Эренбурга в Европе и помогает ему в его дешевых успехах»[75].

Уже в статьях 1922 года Эренбург писал о немецких маргиналах. Похоже, однако, что в художественной прозе его мысль была свободнее; недаром в «Хуренито» он предсказал не только национал-социализм, но и Холокост, а в новелле «Пивная “Берлинер Киндль”» (1925) создал едва ли не мистический образ убийцы. В публицистике же Эренбург старался быть ближе к сиюминутной жизни; как и большинству читателей, ему не нравятся любые политические крайности, он от них, как теперь это называют, равно дистанцирован: «Ни у тех, ни у других нет своего собственного знамени. В дни уличных стычек мелькают международные символы – знак свастики и пятиугольная звезда. И тех и других мало. Огромное большинство берлинцев не верят в эти спасительные расписания»[76].

Но чувство тревоги все-таки не покидало его: «Да, конечно, здесь жизнь еще не налаживается, юноши склонны к неврастении, писателей новых нет, а работе трестов мешают их же кузены – французские тресты».

Германия, и, в самом деле, первой пришла к войне, но неизвестно, это ли имел в виду Эренбург. В очерках «Пять лет спустя» он писал о «голом физиологическом пафосе» нацистов, который порой превращает «сухую, мозговую, книжную страну, гордую железнодорожной сетью и густой порослью школ в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращой». Ощущение тревоги уже в 1930 году стало подавляющим: «Еще год назад Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресение на страницах книги или на экране, казалось, уже забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний» и дальше уже однозначно: «Растет ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, древнее безумие ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание… Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые»[77].

А в январе 1931-го рефреном очерка о Германии становятся слова: «Это конец». Картина страшная: «Так называемая “интеллигенция” мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фейерверк, издали – это трагедия, интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки, даже “непримиримость духа”. Вблизи это просто запах паленой шерсти и душу раздирающий писк. Стальная каска, “Красный фронт”, “раз-два” у гитлеровцев, ячейки коммунистов…»[78]. Его вывод в октябре 1931 года безнадежен: «Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, сначала мылит щеки и тщательно бреется»[79]; паритет нарушен: власть откровенно потворствует наци и преследуют коммунистов; выбор сделан… Эренбург открыто писал о трагедии германского пролетариата: «Когда он потребовал право на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть»[80]; Эренбург не назвал всех виновников этого раздробления, со временем все они были названы.

Внешне жизнь текла, однако, как обычно. 1930 и 1931 годы Эренбурги встречали в Берлине. 1930-й – у Георга Гросса (тогда-то и сделана сохранившаяся у Эренбурга фотография), 1931-й – у матери Савича и его тетки (после прихода к власти Гитлера

они уехали в Америку) Откуда мать Савича предсказывала сыну, имея в виду обоих вождей: наш и ваш снюхаются.

Савич рассказывала мне: «Новый, 1931 год, мы встречали в Берлине, у старших Савичей. Собирался круг друзей. Из Праги должен был приехать Роман Якобсон; пригласили профессора Ященко (в прошлом редактор берлинской “Новой русской книги”, он теперь зарабатывал какими-то лекциями в малых странах, кажется, в Латвии, и как раз был в Берлине). Совершенно неожиданно И.Г. заболел, и стало ясно, что Эренбурги не смогут двинуться из Парижа. Дня за два до Нового года мы собрались и отправились из Парижа в Берлин. Тридцатого неожиданно пришла телеграмма: “Venous tout, de meme”[81]. Тридцать первого, часа в четыре, когда мы все крутились по дому и, конечно же, были еще не готовы, появились Эренбурги: ЛМ в вечернем платье, ярко накрашенная для электрического освещения, и ИГ в смокинге. Им было скучно сидеть в гостинице и они пришли, не дожидаясь вечера. К встрече Нового года была закуплена масса разнообразных бумажных шапочек. ИГ выбрал себе красный цилиндр, он выглядел очень нарядно и distingue… Как все было чудесно, весело, шумно, вкусно; много разных напитков. Якобсон разошелся, целуя всех подряд, и стильный ИГ очень выгодно выделялся на его фоне…

Кто мог себе представить, что ждало Берлин через два года…».

## Антифашист № 1 (1933–1945)

30 января 1933 года Гитлер был назначен канцлером; в феврале в Германии отменили все гражданские свободы и ввели цензуру печати; 5 марта нацисты выиграли выборы в парламент; 1 апреля началось официальное преследование евреев. Германия сделала свой выбор.

9 марта Эренбург писал в Москву своему секретарю: «Немецкие события отразились и на мне. Не только погибло мое издательство, но в нем погибли пять тысяч марок – мой гонорар от американской фирмы “Юнайтед артист”, которая делает теперь “Жанну” и часть денег для меня передала “Малику”»[82].

Нацисты прибрали к рукам и те деньги Эренбурга, на которые наложил арест суд, и, поскольку эта история тоже связана с Германией, расскажем её вкратце. В берлинском журнале «Das Tagebuch (Дневник)» (1931, № 7) Эренбург опубликовал очерк «Томас Батя – король обуви»[83]. Батю очерк Эренбурга разозлил и, пригрозив редакции журнала судебным преследованием, он добился публикации своего гневного ответа Эренбургу, после чего благополучно подал на него в суд. 24 декабря 1931 года Берлинский гражданский суд (19 участок) в отсутствие обвиняемого рассмотрел иск обувного союза Бати к Эренбургу. Писатель обвинялся в том, что его статья в «Тагебух» содержала 12 необоснованных обвинений против Бати. Суд необоснованность обвинений признал и постановил взыскивать с Эренбурга судебные издержки, оплату Батей опровержений, а также 20 тысяч марок за каждую последующую публикацию очерка[84].

Вспоминая эти события, Эренбург писал: «Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мене документы, фотографии, подтверждающие достоверность моего очерка… Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти

пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а третьему рейху…»[85].

20 марта 1933 г. Эренбург публикует в «Известиях» статью «Их герой. О Хорсте Весселе». Эта статья отличается от того, что и как он писал о Германии прежде. В статьях 1922–28 годов Эренбург блистательно показывал многоаспектную социальную и интеллектуальную жизнь Германии, контрастные картины ее городов, ее литературы, ее искусства. Теперь сама эта жизнь, подчиненная расистской идеологии, внешне предельно упростилась. Эренбург мог писать о ней только со стороны, не вдаваясь в подробности. Из всего былого многообразия германских тем осталась одна – нацистское варварство; теперь Эренбург употребляет слово «они», не поясняя, имеются ли в виду нацистские громилы или все стадо: идейные и одурманенные, бездумные или даже колеблющиеся. Так, уже в первой статье Эренбург нашел ту хлесткую, убойной силы смесь сарказма и риторики, которой отмечена вся его антифашистская публицистика; он обвиняет: «Они начали с петард. Они кончают поджогами, погромами и убийствами. Они не виноваты: они делают то, что умеют. Они переименовали “дом Карла Либкнехта” в “дом Хорста Весселя”. Вот он – их герой: сутенер, виршеплет, убийца из-за угла, воспетый старым похабником. Что же, каждому – свое»[86].

Совпали собственные, оскорбленные нацистами, национальное и эстетическое чувства Эренбурга, природа его литературного дара и официальная (хотя по сути все более формальная) интернациональная советская доктрина – такого Эренбурга пока охотно печатали в СССР.

Два раза в жизни Ильи Эренбурга его публицистика приобретала набатное звучание – антибольшевистская в 1919 году и антифашистская в 1933–45 годах. Неслучайно герой романа «Хулио Хуренито», которого звали Илья Эренбург, из двух слов «да» и «нет», в отличие от всех других персонажей романа, предпочитает «нет». Именно в резком, страстном отрицании ненавистного ему сильнее всего выражался публицистический дар Ильи Эренбурга. Недаром знавшая его с юности Елизавета Полонская уже в глубокой старости назвала его в стихах «мой воинственный» – такова была особенность его человеческой натуры и, следовательно, его литературного таланта.

В апреле–мае 1933 года в Германии публикуются черные списки подлежащих сожжению книг – в них все книги Эренбурга. Гитлеровская Германия для него закрыта (он проедет через нее лишь в конце июля 1940 г., и то по фальшивым документам).

26 мая 1933 г. Эренбург пишет Юлиану Тувиму: «О Гитлере вряд ли стоит долго говорить. Это те явления, которые менее всего допускают обсуждения. Настроен я очень мрачно и кажется не без оснований. Я посылаю Вам две статьи, которые я напечатал о Гитлере и Розенберге. Если найдете нужным, можете их использовать для польской печати…»[87].

Лучшие писатели Германии эмигрировали из страны; со многими из них Эренбург виделся в Париже. Вспоминая свои литературные встречи 1933 года, Эренбург писал: «Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюб-

лялся, отчаивался, строил планы и театральных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово»[88].

В другом месте, вспоминая, как его представляли писателям, к книгам которых он относился с благоговением, Эренбург назвал несколько имен – среди них Томаса и Генриха Маннов[89].

В 1934 году в письме к Сталину Эренбург выдвинул идею широкого международного антифашистского объединения писателей[90], разумеется, включая цвет немецкой литературы, полагая, что объединение художественной интеллигенции важно не только для борьбы с европейским фашизмом, оно поможет и улучшению интеллектуального климата в СССР, потеснив ортодоксов. Парижский конгресс писателей 1935 года[91], в организации которого Эренбург играл самую деятельную роль, собрался на деньги, которые дал Сталин. Понятно, что по существу это была лишь иллюзия объединения – к началу Второй мировой войны от нее ничего не осталось. В 1935 году проницательным умам на Западе казалось, что история не оставляет иного выбора – только между одним злом и другим. Но поскольку внутреннее тождество империй зла (вуалируемой, трансформированной Сталиным, и демонстративной, построенной Гитлером) было еще далеко не очевидно, Гитлер многим казался существенно бóльшим злом. Генрих Манн писал 16 июля 1935 г. брату Томасу о работе парижского конгресса: «Речи русских – Эренбурга, Алексея Толстого[92], Кольцова[93] – были целиком посвящены защите культуры. Большего требовать нельзя»[94].

В 1934 году Эренбург написал: «Битва может быть проиграна. Война – никогда»[95]. Эти слова ему приходилось повторять в Австрии и Сааре в 1934-м, в Эльзасе в 1935-м, в Испании в гражданскую войну 1936–39 годов. В его работе фактически военного корреспондента были только два перерыва: с января по май 1938 года (когда в Москве шел процесс над Бухариным[96], и Эренбурга лишили зарубежного паспорта) и с апреля 1939 г., когда Сталин начал практическую подготовку к сговору с Гитлером, ликвидировав антифашистскую публицистику по 22 июня 1941 г., когда Гитлер напал на СССР. Оба эти периода были смертельно опасными для Эренбурга…

Будучи свидетелем вступления гитлеровских войск в Париж, Эренбург из разговоров немцев на улицах и в кафе понял, каковы их последующие военные планы. Именно это позволило ему вернуться в Москву – он снова увидел для себя «место в боевом порядке». Началась работа над романом «Падение Парижа»; главы из рукописи Эренбург читал в московских клубах, пресекая попытки немецких дипломатов присутствовать на чтениях. Вторую часть романа запретила цензура; позвонив Эренбургу, Сталин лично разрешил ее печатать.

22 июня 1941 года (дата была предсказана писателем достаточно точно[97]) начался новый, беспрецедентный этап журналистской работы Эренбурга – ставшего первым публицистом антигитлеровской коалиции. Это его звездный час. Полторы тысячи статей для центральных, фронтовых, армейских и дивизионных газет, для зарубежных агентств и зарубежной печати за годы той войны сделали имя писателя всемирно известным. Об этой его работе восторженно отзывались самые разные авторы. Хемингуэй сказал: «Я часто думал о тебе все эти годы после Испании и очень гордился той потрясающей работой, которую ты делал во время войны»[98].

В предисловии к книге Эренбурга «Россия в войне», вышедшей в Лондоне в 1943 г., Пристли пишет: «С тех пор, как я впервые увидел военные статьи Ильи Эренбурга в “Советских военных известиях”, я читаю их со все возрастающим восхищением. Эти военные статьи, как мне кажется, – лучшее, что могут дать в этом плане Объединенные Нации».

После того, как Гроссман в статье «Писатель-воин» (газета «Литература и искусство», 6 мая 1944 г.) перечислил литературные достоинства Эренбурга, он констатировал: «И все же значимость работы Эренбурга – не в литературных достоинствах его статей, памфлетов, фельетонов, очерков, а в том, что с первых дней войны Эренбург в сотнях своих стремительных статей стал глашатаем тех скромных, простых людей в выцветших от ветра и дождя гимнастерках и пилотках, которые прошли через все испытания, сохранив богатство своего не грубеющего в боях сердца, своей человеческой души, своего разума, верного правде и свету».

И чилийский поет Пабло Неруда вспоминает в предисловии к книге Эренбурга «Muerte al Invasor. Cronicas de Guerra. 1941–1943» (издана в Мехико в 1944): «На этих страницах Ильи Эренбурга нашло свое выражение все то, что у великого писателя имеется самого неумолимого и самого нежного, эта книга подобна снаряду и содержит его порох; в этом томе выражены высокие чувства и ненависть, пылкость и горечь, как это и должно быть… Эти корреспонденции Эренбурга, эти страницы описывают ад, который со свойственной ему страстностью воспроизвел бы Алигьери, и вихрь ненависти разметал бы пышную пену его терцетов, чтобы достигнуть уровня той разящей прозы, в которой смерть и надежда поднимаются, как поднимаются в растениях соки от земли до окровавленных листьев».

Одна из тем этих статей сформулирована Эренбургом предельно кратко: «Убей немца!». Адрес этого призыва абсолютно точен во времени и в пространстве – речь идет о гражданах гитлеровской Германии, с оружием в руках вступивших 22 июня 1941 года на территорию СССР с целью его порабощения и поголовного уничтожения миллионов мирных людей, в частности, за один только факт их принадлежности к неарийским народам. Победить врага, который уже захватил всю Европу (за вычетом Великобритании), можно было только не щадя собственной жизни, только напряжением всех мыслимых и немыслимых сил, когда все живут одним – уничтожить врага! Блюстители юридической чистоты текстов хотели бы, чтобы Эренбург писал «фашист» всюду, где у него было «немец». Но в конкретных обстоятельствах Отечественной войны Эренбург писал так, как он писал.

Геббельсовская пропаганда на свой лад использовала публицистику Эренбурга, старательно лепя для своей паствы образ «кровожадного сталинского еврея». В ход шло все: от сфальсифицированных призывов «насиловать немок» до плана уничтожения Европы в давнем фантастическом романе Эренбурга «Трест Д.Е.» – всего за несколько дней до крушения гитлеровского режима немецкая солдатская газета использовала такой сюжет в статье об Эренбурге «Враг без маски»[99]. В богатейшем военном архиве Ильи Эренбурга сохранилось огромное количество материалов (зачастую с грифом «секретно»), которые он в годы войны ежедневно получал из ТАССа. Это была информации из всей, включая германскую, мировой прессы, и тексты радиоперехватов основных радиопередач в Европе (в Германии и Италии, в том числе) и США (присылалось Эренбургу то, что могло быть ему полезно для работы и, конечно, все упоминания его имени). Из всех этих материалов видно, как пристально следил мир за эренбурговской публицистикой (печатавшейся и в совет-

ских изданиях, и за рубежом) и его радиовыступлениями. Едва ли не о каждом материале писателя (а это значит – почти ежедневно) германская печать и радио «информировали» граждан Германии. Всегда одинаково, как о словах «типичного представителя советских евреев, которые безгранично ненавидят Германию и немецкий народ»[100].

Разумеется, в своих статьях и выступлениях Эренбург выражал волю и еврейского народа, который гитлеровцы решили уничтожить, но – подчеркнем это – прежде всего он выражал волю всей Красной Армии, сражавшейся со смертельным врагом. Тысячи писем, которые приходили к писателю от фронтовиков[101], говорят именно об этом; разумеется, воины-евреи были горды тем, что представитель именно их народа является самым любимым на фронте советским публицистом, но большинство писавших Эренбургу, вообще, не задумывались о его национальности. Между тем систематически тиражировавшиеся в Германии фразы о кровожадном еврее Эренбурге вбивались в головы слушателей, заставляя их думать, что, если бы не призывы Эренбурга, Красная Армия не стала бы уничтожать напавших на СССР немцев.

Уже наступил 1945 год, а Геббельс все еще внушал читателям «Das Reich», что Каганович и Эренбург – «идеологические представители Сталина – виновники несчастья всего мира»[102]. Вспоминая военные годы в мемуарах «Люди, годы, жизнь», Эренбург писал: «Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада… Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили “между Одером и Рейном”, не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее близких мне поэтов – Гейне, а потому, что они были фашистами»[103]. Геббельсовская пропаганда действовала не только на германскую армию, но и на мирное население страны, соответствующим образом его оболванивая. Последствия этих систематических стараний, естественно, оказались долго действующими и трудно изживаемыми (они не изжиты и поныне).

В начале 1945 года Эренбург выехал на фронт в Восточную Пруссию. Спустя почти 20 лет он писал об этом: «По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране, красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить – мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа – в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия»[104]. Эти взвешенные (с учетом и внутренней, и внешней цензуры) слова были напечатаны в 1963 году.

А вот в феврале–марте 1945 года, сразу же по возвращении из Восточной Пруссии, Эренбург говорил об увиденном куда резче. В марте 1945 года начальнику Главного управления контрразведки СМЕРШ НКО СССР Виктору Абакумову вручили 9 доносов на Эренбурга (три – сотрудников газеты «Красная звезда», где Эренбург проработал всю войну, четыре из Военной академии им. Фрунзе, где 21 марта он читал лекцию начальствующему составу, и два – от оперуполномоченных СМЕРШ). В доносах приводились заявления, сделанные Эренбургом, о том, что советские войска политически плохо подготовлены к наступательной операции, не могут организовать порядка, в результате чего допускают самоуправство; бойцы тащат все, что им попадется под руку; происходит излишнее истребление немецкого имущества; что вторые эшелоны Красной Армии находятся на грани разложения, занимают-

ся мародерством, пьянствуют и не отказываются от «любезностей немок»; комендантами немецких городов назначают случайных лиц, не дают им никаких указаний, в результате чего они занимаются только конфискацией имущества, добывают спирт и пьянствуют; кроме того, Эренбург говорил, что упитанный и нарядный вид возвращающихся с немецкой «каторги» советских женщин делает неубедительной для бойцов всю пропаганду на этот счет». 29 марта эту информацию Абакумов доложил письменно Сталину, охарактеризовав ее как клевету на Красную Армию[105]; для большей убедительности были сообщены фамилии доносчиков.

Сталин, решая одновременно несколько политических задач, наказал Эренбурга по-своему, по-сталински. Он распорядился подготовить для «Правды» статью, в которой виновником возможных незаконных действий Красной Армии по отношению к немецкому населению объявлялся Эренбург. Так, 14 апреля 1945 года в «Правде» появилась статья «Товарищ Эренбург упрощает» за подписью начальника управления пропаганды ЦК ВКП(б) Георгия Александрова; на следующей день ее перепечатали в самой популярной у фронтовиков газете «Красная звезда», всю войну изо дня в день печатавшей Эренбурга. Статья Александрова обвиняла писателя в недифференцированном подходе к немецкому населению, в пропаганде насилия и прочем. Имя Эренбурга впервые за годы войны исчезло со страниц советской печати.

Эренбург понимал, что дело не в Александрове. 15 апреля он обратился к Сталину. «Статья в “Правде”, – писал он, – говорит, что непонятно, когда антифашист призывает к поголовному уничтожению немецкого народа. Я к этому не призывал. В те годы, когда захватчики топтали нашу землю, я писал, что нужно убивать немецких оккупантов. Но и тогда я подчеркивал, что мы не фашисты и далеки от расправы. А вернувшись из Восточной Пруссии, в нескольких статьях (“Рыцари справедливости” и др.) я подчеркивал, что мы подходим к гражданскому населению с другим мерилом, нежели гитлеровцы. Моя совесть в этом чиста»[106]. Сталин на это письмо не ответил. На фронте статья Александрова вызвала оторопь. Эренбург получил массу писем и телеграмм фронтовиков в свою поддержку. Гитлеровская пропаганда воспользовалась статьей Александрова, чтобы 17 апреля 1945 года заявить: «Илья Эренбург изолгался до того, что был изобличен во лжи своими же собственными руководителями»[107]. На Западе статья Александрова была воспринята, как сигнал об изменении политики русских в отношении Германии. «В Москве видят, – говорилось в одной шведской газете; перевод с грифом “секретно” сделал ТАСС, – что статьи, подобные эренбурговским, дают только оружие в руки геббельсовских пропагандистов, и что они затрудняют раскол между немецким народом и нацистским режимом, которого русские желают добиться. Для создания новой в отношении России, абсолютно дружественно настроенной и верной Германии важно, по мнению русских, не допустить отождествления нацистов с немецким народом»[108].

Понятно, что ни сами немцы, ни Красная Армия в силу инерции сознания не изменились в такт этому политическому ходу.

## В послевоенном мире – холодная война (1946–1967)

После войны у власти в Восточной Германии поставили людей, которых Эренбург знал и не любил и среди литературных чиновников ГДР, которых Эренбург не терпел, и советских. Еще во время войны известный дипломат Константин

*Всеволод Вишневский, Всеволод Иванов, Илья Эренбург во время Нюрнбергского процесса, 1946 г.*

Уманский[109] писал Эренбургу из Мехико об интригах тамошней немецкой писательской колонии Людвиг Ренн и др.), публично хвалившей публицистику Эренбурга, но тайком препятствовавшей ее распространению. Однако официальное участие в Движении сторонников мира (единственная возможность для Эренбурга после войны бывать на Западе) требовало его контактов и с этими людьми.

Нельзя сказать, чтобы к Аденауэру Эренбург относился сердечней; он разделял официальные и, в значительной степени, демагогические советские опасения по части милитаризации Германии и в своих статьях, понятно, поддерживал соответствующие советские инициативы. В мемуарах он признал свою долю ответственности за пропагандистское обеспечение сталинской холодной войны, но уже в годы, которые с его легкой руки во всем мире зовут «оттепелью», Эренбург был очень аккуратен в этом; так, он ни словом не осудил берлинские выступления рабочих 1953 года, и в мемуарах упоминает их сугубо дипломатично[110].

*Бернхард Келлерман и Илья Эренбург в Москве, 1950 г.*

В мемуарах бытовое благополучие Западного Берлина сталкивается с культурными интересами населения Восточного, как они, в свою очередь, сталкиваются с чиновничьей тупостью и произволом. Говоря о послевоенной немецкой литературе, Эренбург называет Брехта, Анну Зегерс и Арнольда Цвейга. Упомянув типичные западные нападки на них, он замечает: «Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс»[111]. «Некоторые критики» – это, конечно, характерный для «оттепельного» Эренбурга эвфемизм: имелись в виду партчиновники, руководившие культурой. Говоря о своем споре с этими «критиками», Эренбург посетовал, что горячился зря: «есть люди, которые умеют говорить, но не слушать»[112] – это суждение о специфике руководителей культуры при совсоциализме.

Послевоенные встречи и беседы с Брехтом Эренбургу дороги; он пишет: «Брехта я знал давно; беседовать с ним было нелегко: часто он казался отсутствующим. Такое впечатление обманывало – он слушал, многое подмечал, порой усмехался. Однако всегда его окружала атмосфера мира, в котором он жил, – не Парижа или Берлина, а некоей страны, которую я про себя называл “Брехтией”. Его фантазия, как и его философия или поэзия, была не литературным приемом, а природой: он был не просто поэтом, а поэтом неисправимым. Всегда он ходил в куртке, не завязывал галстука, курил крепкие черные сигары, держался скромно, говорил тихо, и, несмотря на все это, многие, как я, в его присутствии испытывали беспокойство. Думаю, что это происходило от чересчур интенсивной внутренней жизни молчаливого, казалось, рассеянного человека»[113].

И еще одно существенное замечание, связанное с упреком неназванного западногерманского автора: «Хитрость Брехта была хитростью ребенка и все его “расчеты” – просчетами поэта». Насчет «расчетов» и «просчетов» Эренбург, наверное, мог бы сказать так же и о себе.

Анна Зегерс, всегда защищавшая Эренбурга от наскоков на него в СССР, не забывала, как он, по существу, спас ее в оккупированном гитлеровцами Париже (используя хорошее отношение к нему советского консула, Эренбург добился нелегальной отправки Зегерс в свободную зону).

Следил Эренбург и за немецкой поэзией, причем в суждениях о стихах был достаточно широк – принимал и ветерана Стефана Хермлина (его русская книга вышла с предисловием Эренбурга) и молодого бунтаря Ганса Магнуса Энценсбергера (на ленинградском симпозиуме 1963 года Эренбург защищал его от возможных нападок все тех же «критиков»[114]).

Незадолго до смерти Эренбург принимал у себя дома Генриха Белля, его сопровождал Лев Копелев. Встреча была очень радушной и откровенной; Копелев вспоминает эпизод, рассказанный на ней Эренбургом: «Недавно я встретил молодого немца, он стал мне доказывать, что в этой войне все стороны были равно жестоки, все народы одинаково виноваты. Это совершенно неправильно. Сталин обманывал народы. Он сулил им добро, обещал все только хорошее, а действовал жестоко. Но Гитлер ведь прямо говорил, что будет завоевывать, утверждать расу господ, уничтожать евреев, подавлять, порабощать низшие расы. Так что нельзя уравнивать вины». Белль с этим согласился[115].

В 1997 г. В Берлине в Карлсхорсте была проведена полемическая выставка «Илья Эренбург и немцы»[116]. В контексте музейной экспозиции, посвященной двум европейским тоталитарным режимам XX века, выставка позволила объективно предста-

вить жизненный и литературный путь Ильи Эренбурга, его связи с Германией. Приехавший из Цюриха западногерманский издатель Хельмут Киндлер на открытии выставки напомнил собравшимся, в какой нелегкой обстановке ему приходилось в начале 1960-х годов выпускать немецкий перевод мемуаров Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Издание этой книги вызвало крайне враждебные нападки эсэсовских ветеранов и постыдную газетную кампанию в печати[117] – забыв о палачах Освенцима, требовали бойкота мемуаров; под их давлением литературные критики ограничились поверхностными суждениями и грубостью. Помню, что, говоря об этом, Киндлер не мог скрыть волнения. Он вспоминал, как Эренбург пришел к нему в издательство с переводчиком, а, когда после заключения соглашения он пригласил писателя к себе домой на ужин, Эренбург пришел один и заговорил с хозяином по-немецки. Киндлер удивился, а Эренбург объяснил: с 1941 года он никогда не говорил по-немецки, но после сегодняшней встречи решил нарушить это правило.

Другого рода трудности (не нацистские, а советские) преодолевал в ГДР литературовед Ральф Шрёдер, осуществивший уже после смерти Эренбурга выпуск его многотомных сочинений в то самое время, когда в СССР издавать Эренбурга было практически запрещено[118].

*Тема «Эренбург и Германия» все еще не принадлежит истории всецело. В 2001 году, некий «Союз немецких женщин» потребовал переименования берлинского кафе «Илья Эренбург», мотивируя свой иск фактически аргументами геббельсовской пропаганды[119]. Если нынешняя политкорректность не позволяет дамам напрямую цитировать «Das Reich» 1944 года, то использование аргументации «Soldaten Zeitung» 1962 года считается вполне допустимым. Так старые пропагандистские клише оказываются весьма долго действующими (в этом, увы, убеждает и многое в российской повседневности…).*

Горький опыт XX века в итоге создал в Европе новый климат. Этот климат позволяет нам по-новому посмотреть на многие вопросы. Возможность обсуждать литературную судьбу Ильи Эренбурга в контексте связей русских писателей с Германией – одно из последствий.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по: *Орлова Р., Копелев Л.* Мы жили в Москве. 1956–1980. – М., 1990. С. 165–166.

[2] Ирина Ильинична Эренбург (1911–1997) – литератор, переводчица.

[3] Екатерина Оттовна Шмидт (1889–1977) оставила Эренбурга в 1913 г., сохраняла с ним дружеские отношения.

[4] См. *Peter Jahn (Hrsg.).* Ilja Ehrenburg und die Deutschen. – Berlin, 1997 и *Пассет Э.* Der Feind im Bild im Spiegel. Die Deutschen und Ilja Ehrenburg («Neue Literatur». 1995, Nr. 2 S. 5–15), а также монографии: *Rubenstein J.* Tangled loyalties. The Life and the Times of Ilya Ehrenburg. – London und New York, 1996 и *Bérard Ewa*. La vie tumultueuse d'Ilya Ehrenbourg Juif, Russe et Sovietique. – Paris, 1991.

[5] *Эренбург И.* Собрание сочинений в 8 т. – М. 1991–2000. Т. 4. – М., 1991. С. 29 (при ссылке на это издание далее указываются только номер тома и страницы).

[6] 6, 354.

[7] 6, 397.

[8] Елизавета Григорьевна Полонская (урожд. Мовшенсон; 1890–1969) – поэтесса, участница литературной группы «Серапионовы братья».

[9] *Эренбург И.* Стихотворения и поэмы. Новая библиотека поэта. – СПб., 2000. С. 197.

[10] Шарль Пеги (1873–1914) – французский поэт, погибший при битве на Марне.

[11] Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) – русский поэт, с которым Эренбург познакомился и подружился в Париже.

[12] Борис Викторович Савинков (1879–1925) – эсер-террорист; литератор, публиковавшийся под псевдонимом В. Ропшин; Эренбург познакомился и подружился с ним во Франции.

[13] Переписка Эренбурга с Волошиным и Савинковым здесь и далее цитируется по: Звезда. – СПб, 1996, № 2. С. 157–201.

[14] *Эренбург И.* Каменная плоть // Биржевые ведомости. – Пг., 29 июля (11 августа) 1916.

[15] 7, 71.

[16] 1, 414.

[17] Александр Семенович Ященко (1877–1934) – юрист, литератор; письма Эренбурга к Ященко цитируются далее по: *Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О.* Русский Берлин 1921–1923. – Париж, 1983. С. 134–156.

[18] 7, 188.

[19] Овадий Герцович Савич (1896–1967) – писатель, мемуарист, переводчик испаноязычной поэзии.

[20] Альсгута (Аля) Яковлевна Савич (урожд. Мазэ; 1904 –1991) – жена О.Г. Савича; ее, записанные мною в 1980-ые годы, воспоминания ниже цитируются по правленной ею машинописи.

[21] *Шкловский В.* Жили-были. – М., 1964. С. 241.

[22] Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – художник, фотограф, дизайнер, педагог.

[23] *Родченко А.М.* Статьи. Воспоминания. Автобиографические заметки. Письма. – М., 1982. С. 115.

[24] 7, 179.

[25] 7, 181.

[26] *Алпатов М.* Воспоминания. – М., 1994. С. 220.

[27] 4, 14.

[28] 4, 25.

[29] 7, 181.

[30] Любовь Михайловна Козинцева-Эренбург (1899–1970) – художница, с 1919 г. жена Эренбурга.

[31] Александра Александровна Экстер (1884–1949) – живописец, сценограф и педагог, создатель и руководитель живописной студии в Киеве; с 1924 г. – за рубежом.

[32] *Родченко А.М.* Цит. по: Статьи. Воспоминания. С. 117.

[33] 7, 185.

[34] 4, 36.

[35] *Эренбург И.* Белый уголь или Слезы Вертера. – Л., 1928. С. 97.

[36] 4, 25.

[37] 4, 21.

[38] Там же.

[39] Местная достопримечательность (франц.).

[40] 4, 8.

[41] 4, 9.

[42] *Oswald Spengler.* Закат Европы; не без влияния этой книги Эренбург написал роман «Трест Д.Е. История гибели Европы».

[43] 4, 15.

[44] 4, 16.

[45] Интересный свод документов и материалов о «Русском Берлине» см.: «Russen in Berlin. Literatur Malerei Theater Film 1918–1933», hrsg. von Fritz Mierau. – Leipzig, 1991.

[46] 7, 223.

[47] Владимир Германович Лидин (1894–1979) – писатель, приятель Эренбурга.

[48] *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург в 1924–1931 годы. – СПб, 2000. С. 38.

[49] Там же. С. 39.

[50] В результате парламентских выборов к власти пришло правительство радикалов, признавшее СССР.

[51] *Попов В., Фрезинский Б.* Цит. соч. С. 51.

[52] Там же. С. 61.

[53] Евгений Иванович Замятин (1884–1937) – прозаик; письма Эренбурга к нему см. «Новое литературное обозрение», 1996, № 19. С. 171–185.

[54] 7, 285.

[55] См. каталог издательства: «Der Malik-Verlag 1916–1947. Ausstellung». Deutsche Akademie der Künste zu Berlin. 1967.

[56] *Габор А.* О влиянии советской литературы в Германии // На литературном посту. 1927, № 20. С. 93.

[57] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3096.

[58] *Герцфельде В.* Барвинок / Пер. К. Богатырева. – М., 1965.

[59] 4, 39–40.

[60] См.: «Печать и революция», 1928, № 1. С. 229.

[61] 7, 329–330.

[62] *Joseph Roth.* Briefe aus Deutschland. Mit unveröffentlichten Materialien. Hrsg. Und mit einem Nachwort von Ralph Schock. – Blieskastel, 1997.

[63] 7, 356. В библиотеке Эренбурга уцелели две книги Толлера: французский перевод стихотворной трагедии «Хинкеман» (На ней надпись по-французски: «Ilya Ehrenburg amicalement Ernst Toller. Berlin. 8.2.1927 – Илье Эренбургу дружески Эрнст Толлер. Берлин, 5.2.27) и русский перевод повести «Юность в Германии», изданной в Москве в 1935 году, – та же французская надпись датирована 23 июня 1936. В архиве Эренбурга сохранилась дарственная надпись Толлера по-французски и на следуюшим экземпляре его книге, подаренной в Берлине 30 сентября 1931 года: «Ilya Ehrenburg au poputchiki de la révoution actuelle, au passagér de la révolution eternelle amicaltment» («Илье Эренбургу, попутчику нынешней революции и настоящему участнику вечной революции – сердечно Эрнст Толлер»).

[64] Альсгуста Я. Савич, очень требовательная в том, что касалось знания языков, рассказывала автору этой статьи: «ИГ заменял знание немецкого языка находчивостью. Они жили тогда в Берлине. ИГ отправился за ветчиной: «Bitte, Schinken» («Пожалуйста, ветчины»). Продавщица: «Im Stück oder geschnitten?» («Куском или нарезкой?») – «Bitte, oder» («Пожалуйста, или»). Или однажды, покупая носки: «Geben Sie mit bitte etwas zum Fuß» («Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь к ногам»).

[65] Среди всевозможной лжи, распространявшейся геббельсовской пропагандой об Эренбурге, была даже такая: «Эренбург утверждает, что владеет немецким языком совершенно свободно, однако, в его произношении чувствуется еврейский акцент», – радиоперехват передачи берлинского радио 20 октября 1944 г. – РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 161.

[66] *Берковский Н.* Советская литература в Германии // Вечерняя красная газета. Ленинград, 4 мая 1927.

[67] 7, 288.

[68] См. статью А. Дымшица в книге «Воспоминания об Илье Эренбурге». – М., 1975. С. 57–58.

[69] *Эренбург И.* Белый уголь или Слезы Вертера. – Л., 1928. С. 98–99.

[70] Руль. Берлин, 19 декабря 1928.

[71] 4, 39.

[72] 4, 61.

[73] 4, 40.

[74] Напечатано под псевдонимом Peter Panter в журале «Die Weltbühne»; цитируется по выписке, сделанной для Эренбурга К. Богатыревым.

[75] Цит. по: Russen in Berlin. – Leipzig, 1991. S. 426.

[76] 4, 15–16.

[77] 4, 67–69.

[78] 4, 74.

[79] 4, 81.

[80] 4, 86.

[81] А все-таки мы едем (франц.).

[82] *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург в 1932–1935 годы. – СПб., 2001. С. 49.

[83] Очерк входил в большой цикл, составивший книгу «Хроника наших дней» – о воротилах западного бизнеса.

[84] *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург в 1924–1931 годы. С. 342.

[85] 7, 309.

[86] 4, 559–560.

[87] Советское славяноведение. 1975, № 2. С. 95.

[88] 7, 392.

[89] 7, 271.

[90] Минувшее. № 24. СПб, 1998. *Фрезинский Б.* Великая иллюзия – Париж, 1935 (Материалы к истории Международного конгресса писателей в защиту культуры) // Минувшее № 24. – СПб., 1998. С. 166–239.

[91] Первый международный конгресс писателей в защиту культуры прошел 21–25 июня 1955 года в Париже. В нем приняли участие 250 авторов из 38 стран. Ср.: *Christiane Zehl Romero*. Anna Seghers. Eine Biographie 1900–1947. – Berlin, 2000. S. 297 ff. Кроме Эренбурга в качестве инициаторов конгресса были названы Арагон, Мальро, Ж.-Р. Блок, Михаил Козлов, Йоганнес Бехер и Анна Зегерс. (*Прим. ред.*)

[92] Алексей Николаевич Толстой (1882–1945) – прозаик, поэт, драматург; общественный деятель.

[93] Михаил Ефимович Кольцов (1898–1940) – влиятельный журналист, советский организатор конгресса.

[94] Г. Манн – Т. Манн. Переписка, статьи. – М., 1988. С. 249.

[95] *Эренбург И.* Границы ночи. – М., 1934. С. 38.

[96] Николай Иванович Бухарин (1888–1938) – политический деятель, ученый-экономист, академик; гимназический друг Эренбурга; расстрелян.

[97] См. воспоминания В. Каверина в книге «Воспоминания об Эренбурге». – М., 1975. С. 42.

[98] *Хемингуэй.* Письмо Эренбургу от 16 мая 1946 г., хранится в РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 2325. Приводится в моих комментариях к мемуарам Эренбурга: Собр. соч. Т. 7. – М., 2000. С. 827.

[99] Front und Heimat. № 99. April 1945. S. 7.

[100] Беру наугад текст внутреннего вещания на Германию 20 октября 1944 г. – см. РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 161.

[101] См. РГАЛИ. Ф. 1204. Оп.2. Ед. хр. 2539–2580; в каждом деле более 100 писем в среднем – и в этих делах не вся переписка военных лет.

[102] Там же. Л. 169.

[103] 7, 669–670.

[104] 8, 86.

[105] Новое время. 1994, № 8. С. 50–51.

[106] Литературный фронт. – М., 1994. С. 156.

[107] РГАЛИ. Ф. 1204. Оп. 2. Ед. хр. 3677. Л. 200.

[108] Там же. Л. 207.

[109] Константин Александрович Уманский (1902–1945) – дипломат, посол в США и Мексике, погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах.

[110] 8, 391.

[111] 8, 291.

[112] Там же.

[113] 8, 291–292.

[114] 6, 321. На этом же симпозиуме Эренбург защищал и Кафку от тех же «критиков», пользуясь очередным эвфемизмом: «Кафка предвидел страшный мир фашизма».

[115] *Орлова Р., Копелев Л.* Цит. соч. С. 165–166.

[116] Идея проведения выставки принадлежала проф. Петеру Яну, литературная концепция Э. Пассет и Р. Петшнера. Среди обстоятельных откликов прессы на эту выставку, затрагивающих проблему «Эренбург и немцы», отмечу: «Neues Deutschland» 28.11.1997; «Berliner Zeitung» 3.12.1997; «Der Tagesspiegel» 10.12.1997; «Die Zeit» 12.12.1997; «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 15.12.1997.

[117] См., например, номера «Soldaten Zeitung» за май – июнь 1962 г.; заголовки повторяли геббельсовские: «Убийца без маски», «Величайший мастер массовых убийств во всей истории чело-

вечества». Эренбург ответил на эту травлю статьей «Сказка не про белого бычка» («Литературная газета», 25 октября 1962).

[118] Ральф Шредер (1927–2001) – славист, филолог. С 1966 года он был редактором советской литературы в восточно-берлинском издательстве Volk & Welt. Издатель многих собраний сочинений, в т. ч. Блока, Маяковского, Есенина, Бабеля, Леонова, Эренбурга, Булгакова, Платонова, Тендрякова, Трифонова. О его роли в издании 14-томного собрания сочинений Ильи Эренбурга см.: *Nyota Thun.* Ralf Schröder – Das schwierige Leben eines bedeutenden Slawisten, hrsg. von W. Beitz. – Leipzig 2003. S. 21–22 u. S. 59–60. (*Прим. ред.*)

[119] Сужу об этом по прямому российскому телерепортажу из Берлина, в котором, признаться, меня поразили не столько даже сами события, сколько абсолютно безграмотный комментарий.

*Маттиас Хееке*

# «РОССИЯ ИЗНУТРИ». Туристические поездки в Советский Союз: между повседневностью и пропагандой

В условиях революции и Гражданской войны возможность личных поездок в Советскую Россию с организованной программой была исключена. Немногочисленные западные гости, с большими трудностями прокладывавшие себе дорогу в заключенную в кольцо военной блокады страну, были, в основном, коммунистами и социалистами, которые еще надеялись, что смогут провозгласить на своих конгрессах мировую революцию. Только после завершения Гражданской войны и отхода от политики военного коммунизма возросло число журналистов, которые готовили сводки революционных потрясений для западных газет[1]. Вслед за этим медленно стало развиваться нечто вроде гражданских пассажирских перевозок, было восстановлено железнодорожное сообщение через Прибалтику, и в порт Петрограда вошли первые корабли под иностранными флагами. Этому процессу способствовали возобновление немецко-русских торговых отношений в мае 1921 г. и заключение Рапалльского договора в апреле 1922 г.

В последующие два десятилетия появились многочисленные путевые заметки о поездках за «красный» занавес. Только на немецком книжном рынке зафиксировано более 900 свидетельств 1921–1941 гг.[2]. Непреодолимая притягательная сила Советского Союза распространялась не только на коммунистов и левых интеллектуалов. В буржуазном лагере среди консерваторов, наряду с его решительными противниками, находились также круги, которые, руководствуясь экономическими и внешнеполитическими мотивами, выступали за сотрудничество с Советским Союзом и лично отслеживали положение дел в «новой России». Таким образом, поездки в Советский Союз в межвоенный период нельзя сводить к паломничествам так называемых левых fellow travellers («попутчиков»), охотно позволявших себе довериться московской пропаганде. Состав совершавших путешествие в Россию охватывал широкий спектр лиц, от постоянных членов коммунистических партий до жаждущей приключений молодежи и явных противников советской системы[3]. Их рассказы много сообщают не только о них самих – иногда больше, чем о Советской России, но и об организационной стороне поездки, прекрасно освещая многочисленные вопросы, как путешественники готовились к поездке; какие города и регионы они посещали, как долго пребывали там и в какой мере пользовались свободой передвижения; какие возможности контактов существовали между местным населением и зарубежными гостями; какие ограничения оказывали влияние на повседневную жизнь в поездке и, наконец, как обстояло дело с получением жилья, продовольствия и транспорта. Однако не все условия поездки могут быть описаны. Систематический обзор развития «туристической инфраструктуры» и интересов советских правительственных учреждений в обращении с зарубежными туристами возможно сделать, только обратившись к русским архивам[4].

После изоляции периода Гражданской войны возобновление тесных контактов с Западной Европой и Америкой первыми сделали возможным, прежде всего, гуманитарные организации, осуществлявшие помощь голодающим регионам России. После того как тяжелейшие последствия этой трагедии были преодолены, эти возникшие во время голода 1922 г. контакты заложили основу советской внешней политики в сфере культуры. Объединенное бюро информации под руководством Ольги Каменевой – жены заместителя председателя Совета народных комиссаров и сестры Троцкого – попыталось преобразовать эти новые связи в постоянный научно-культурный обмен. Бюро, преобразованное в августе 1925 г. во Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС)[5], прилагало усилия к тому, чтобы улучшить образ революционного Советского Союза, дискредитированный на Западе благодаря описаниям, прежде всего, русских и прибалтийских эмигрантов. В число задач ВОКСа и подведомственных организаций входило сопровождение иностранных путешественников, которые в середине 1920-х годов – нередко пользуясь дипломатической поддержкой – ездили по СССР с целью сбора информации. Среди них был профессор экономической географии Эрих Обст, чьи путевые заметки «Русские зарисовки», опубликованные в 1925 г., относились к наиболее читаемым и преимущественно положительно воспринятым работам о России. В них автор высказывал убеждение, основанное на опыте пятимесячной поездки, что Германия должна сохранять и развивать дружбу с Советской Россией, несмотря на противостояние с коммунистами внутри страны[6]. Побывал в России и автор бестселлеров Вальтер Блем, ставший перед Первой мировой войной миллионером благодаря трилогии о франко-германской войне 1870–1871 гг. Он попытался в ходе кругосветного путешествия 1926–1927 гг. ответить на вопрос: «Что значит быть немцем?», и первым и, по его мнению, важнейшим пунктом на этом пути поиска смысла должна была стать Советская Россия, «где с беспримерным радикализмом проводился мировоззренческий эксперимент масштабов, которых прежде нельзя было вообразить»[7]. Он хотел «сблизить» эти два связанных судьбой народа, «способствовать их взаимопониманию»[8].

ВОКС при таких поездках предоставляло переводчика, давало необходимые рекомендательные письма для провинции, организовывало экскурсии по городу и посещения заводов и социальных учреждений. Помимо этого общество организовывало доклады зарубежных гостей. Также в ВОКС продавались билеты на театральные представления в Москве, которые почти всегда были раскуплены[9]. Насколько популярны были эти билеты, можно судить по тому факту, что Вальтер Беньямин и Йозеф Рот случайно встретились там во время их пребывания в России в 1926 г.[10]. Среди ведущих немецкоязычных журналистов было вопросом репутации вести репортажи из красной республики: «Киш, по заданию “Берлинер цайтунг”, в России. Я не могу делать ничего другого, ничего меньшего», – пишет Рот в преддверии своей поездки в качестве специального корреспондента «Франкфуртер цайтунг»[11].

Чтобы помочь первым иностранным и, прежде всего, немецким путешествующим, ВОКС уже в 1925 г. издал «Путеводитель по Советскому Союзу», который в значительно расширенном виде вышел вновь в 1928 г.[12]. Путеводители в красном переплете, также как и путеводитель Бедекер, оставляли впечатление, что по комфорту путешествия по России не отличались от путешествий по Европе[13].

Однако туристов в прямом смысле слова – то есть людей, путешествующих в свое свободное время с целью образования или отдыха – до 1926 г. в Советской Рос-

сии практически не было. Первым препятствием, которое советский Наркомат по иностранным делам создавал на пути интенсивного развития туризма, была длительная, дорогостоящая и избирательная процедура выдачи виз. После военной интервенции союзников на стороне белогвардейцев во время Гражданской войны в Советской России опасались повторного влияния и неконтролируемой инфильтрации и не видели причин упразднять жесткие условия въезда, сохранившиеся со времен царской России. Уже царская Россия отличалась строгими формальностями при пересечении границы, требовавшими, в отличие от большинства других стран Европы, визы при въезде. Однако, в то время как в Российской Империи при участии английского бюро путешествий Кука имело место интенсивное развитие международного туризма, явным признаком чего являлись в том числе семь изданий путеводителя Бедекер по России, в Советской России туризм как цель путешествия сначала принимался как основание для въезда только в исключительных случаях. Не последнюю роль в этом играло и то обстоятельство, что во многих частях страны невозможно было гарантировать безопасность путешествующих, так как в начале советской власти виза действовала на всю Россию, за исключением Средней Азии и некоторых полярных островов, а не как позднее, только для отдельных городов.

Первый ощутимый импульс туризму дали визиты иностранных делегаций в СССР. ВОКС играло ведущую роль при приеме этих избранных групп, прибывавших в страну в большинстве случаев по приглашению советских учреждений. В 1925–1928 гг. только под эгидой ВОКСа было принято 55 зарубежных депутатов, включая гостей, приехавших на празднование десятилетия Революции в ноябре 1927 г. Советские профсоюзы также принимали участие в подготовке и осуществлении подобных групповых поездок, особенно когда речь шла о больших делегациях рабочих, которые неоднократно приезжали в Страну Советов, начиная с 1925 г.[14]. С развитием туризма ответственным лицам стала очевидна необходимость в надежных партнерах в туристическом секторе. Одной из первых туристических и транспортных компаний Советской России было основанное в мае 1921 г. Гамбург-Американишен Пакетфар-АГ (Хапаг) совместно с РСФСР немецко-русское транспортное общество (Дерутра)[15]. Общество, которое должно было отвечать за сообщение между немецкими и советскими портами, имело в Советской России туристическое бюро, продававшее международные билеты на железнодорожный и водный транспорт[16]. В 1926 г. советская сторона приобрела у Хапаг долю в Дерутра и передала Советскому торговому флоту (сокращенно Совторгфлот) все туристические бюро общества. Таким образом, крупнейшее мореплавательное учреждение Советской России стало ведущим в сфере туризма[17]. Генеральная репетиция приема иностранных туристов состоялась в Советской России в августе 1926 г.: впервые крупному круизному обществу из США было разрешено посещение Ленинграда и Москвы. Группа, по крайней мере, из 300 человек прибыла на пассажирском корабле «Кап Полонио». Роскошный лайнер «Гамбург-Зюд» в последующие годы стал частым гостем в ленинградском порту.

После того как на основании опыта приема первых иностранных туристических групп в 1926–1927 гг. Совторгфлот мог сообщить Наркомату по иностранным делам, что туристы «не оставляют ничего, кроме чеков в иностранной валюте», то есть не представляют идеологической опасности, в 1928 г. специально созданным «Комитетом по поддержке зарубежного туризма», с которым сотрудничало, наряду с представителями Совторгфлота и различными комиссариатами, также вездесущее

ОГПУ, было принято решение о развитии иностранного туризма, исходя, прежде всего, из экономических мотивов[18]. Ожидаемые доходы от туризма в валюте, должны были внести вклад в финансирование массово импортируемых инвестиционных и промышленных товаров[19]. Эти организации понимали, что не только в провинции, но и в Москве и Ленинграде как гостиницы, так и весь остальной сервис были значительно ниже европейских стандартов и что много времени и сил займет разработать надлежащие туристические маршруты – это было самокритичное и одновременно реалистическое подведение промежуточного итога[20].

После туристического открытия СССР к сезону 1928 г. Центральноевропейское туристическое бюро (МЕР) предложило Совторгфлоту в течение лета приблизительно каждую неделю принимать группу из 25–30 человек, которые хотели посетить Ленинград и Москву. Две или три группы по 100–150 человек планировали предпринять длительные поездки по Волге, Крыму и Кавказу[21]. В Берлине бюро Совторгфлота было расположено непосредственно при МЕР на Фридрихштрассе. Основанное где-то в конце Первой мировой войны, МЕР превратилось в крупнейшее туристическое бюро в мире и уже в 1920-е годы продавало в своих многочисленных немецких филиалах путевки в Советский Союз[22]. Совторгфлот в первый сезон предлагал сначала семь различных туристических маршрутов по европейской части России[23].

Путешествие в трех различных классах начиналось в Ленинграде и вело оттуда в Москву. Этот рассчитанный на семь дней визит в оба важнейших города страны был составной частью всех предлагаемых Совторгфлотом туров. Этот базовый вариант, который стоил в первом классе, в пересчете на немецкие деньги, 525 рейхсмарок, можно было расширить. Наряду с недельной поездкой по Волге из Нижнего Новгорода в Сталинград, предлагались различные туры через Украину в Крым и на Кавказ. Эти экскурсионные поездки по югу страны длились от одной до двух недель и стоили, включая недельный базовый тур Ленинград – Москва, от 882 до 1575 рейхсмарок. Самым дорогим из предлагавшихся туров (1680 рейхсмарок) была 24-дневная поездка из Ленинграда на Кавказ[24]. В эти высокие цены входил полный пансион, включая безалкогольные напитки, услуги гида и переводчика, вход на культурные мероприятия и расходы на билеты в пределах Советского Союза. Программа посещений была однозначно ориентирована на состоятельные слои буржуазии. В Ленинграде прежде всего показывались самые значительные, с точки зрения истории и культуры, царские дворцы. Музей революции осматривали только на четвертый день. В Москве картина была схожей: наряду с Третьяковской галереей по выбору можно было посетить Кремль или расположенную в 60 километрах от Москвы Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде (позднее Загорске). Сложные и утомительные для иностранцев походы по инстанциям брали на себя сотрудники Совторгфлота. Они заботились о регистрации в местных учреждениях, разрешении на пребывание и выездной визе. Кроме того, московское бюро предоставляло информацию о возможностях путешествий и по другим местам Советского Союза. Эти индивидуальные поездки первым классом стоили одному человеку 105 рейхсмарок в день, 52,50 рейхсмарок – вторым и 42 рейхсмарки – третьим классом. Для первой категории предусматривались отдельная комната и транспорт исключительно в первом классе. Правда, оптимистические ожидания Совторгфлота принять с начала 1929 г. до лета около 10000 иностранных туристов и экскурсантов далеко не оправ-

дались[25]. В конечном итоге, в 1928 г. всего в Советский Союз смогли приехать не более 1000 туристов[26].

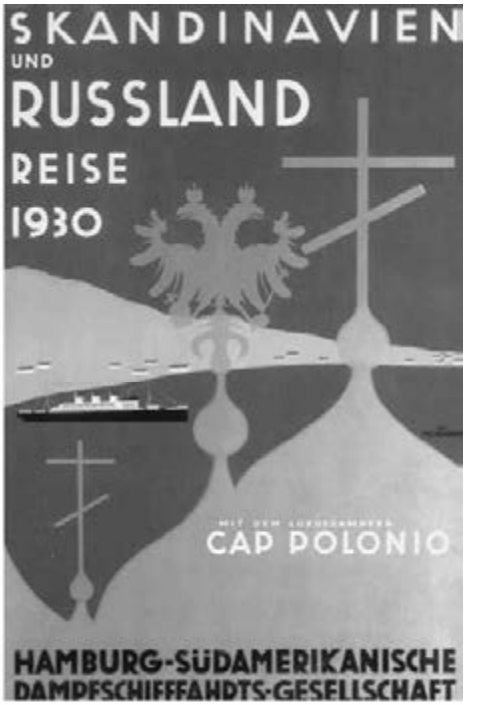
Ответственным лицам в наркомате по внешней торговле было ясно, что для значительного увеличения числа приезжающих туристов необходимо уделить большее внимание разработке функционирующей туристической инфраструктуры. С этой целью в апреле 1929 г. было учреждено туристическое предприятие «Интурист»[27]. Государственное акционерное общество «Интурист» отвечало, согласно уставу, за все, что имело отношение к передвижению иностранцев по Советскому Союзу. Совторгфлот передавал свои туристические бюро и кооперативные договоры с иностранными туристическими компаниями вновь образованному предприятию. Среди иностранных представительств особенно важны были бюро в США, Англии и Германии: там Интурист основал самостоятельные дочерние фирмы, которые имели собственную сеть филиалов. В этих трех странах в 1932 г. было забронировано около 80 % всех туров Интуриста[28].

Первое бюро Интуриста в Берлине было расположено напротив советского посольства на фешенебельной улице Унтер-ден-Линден и обустроено в современном стиле с обстановкой баухауза. Можно было не только забронировать туристические поездки целиком, но и приобрести билеты на различные варианты поездки на корабле, по железной дороге или на самолете. Можно было купить дорожные аккредитивы и чеки, а также ордера на бронирование отелей и резервирование билетов. Наконец, бюро брало на себя все формальности, касающиеся визы, включая транзитную визу, что было важным облегчением для клиентов. Одновременно представительство Интуриста было своего рода центром иностранного туризма, который давал справки и выпускал проспекты. Информационные брошюры и журналы можно было просмотреть во многих местах, а в наглядных таблицах пояснялся пятилетний план. Рекламные объявления в Германии Интурист размещал, прежде всего, в прессе советских издательств, очевидно, в том числе из материальных соображений. Советское торговое представительство в Берлине в 1930-е годы часто размещало на обложке своих публикаций объявления Интуриста. Последний постоянно рекламировал специальные поездки для врачей, техников, инженеров, учителей и студентов также в журналах «Фройнд дер Зовьетс» и «Дас нойе Руссланд»[29]. Правда, главное место в ряду рекламных изданий Интуриста занимали проспекты и брошюры. Наряду с буклетами, рекламировавшими интересные загородные места для экскурсантов, распространялись также постоянные брошюры под заголовками «На Волге», в которых отмечались красоты и достопримечательности поездки с многочисленными иллюстрациями. Хотя в брошюре, наряду с природой, превозносились также «индустриальные и культурные постройки», из 17 иллюстраций большая часть рекламировала, однако, туристический рай на «Волге-матушке»: роскошные столовые на сверкающих белых пароходах, снимки пейзажей и закатов и только одно изображение показывало иностранным туристам Сталинградский тракторный завод[30].

Для своей зарубежной рекламы Интурист использовал, правда, не только обычные печатные средства, но и фильмы. Фильм, который показал в Берлине в «Обществе друзей новой России» греческий писатель Никос Казандзакис, вызвал у публики большой интерес к поездкам в СССР[31].

Театральный деятель и руководитель Силезского евангелического комитета народного образования в Бреслау Рудольф Мирбт, который признался, что был вдохновлен на поездку в СССР броской рекламой Интуриста 1931 г., описывал формальности

MIT DEM CAP POLONIO NACH RUSSLAND
8. AUGUST VON HAMBURG ÜBER DIE SCHÖNSTEN NORWEGISCHEN FJORDE NACH LENINGRAD, MOSKAU U. ZURÜCK ÜBER STOCKHOLM, KOPENHAGEN NACH HAMBURG.
NUR 1. KLASSE
FAHRPREIS FÜR DIE 20TÄGIGE FAHRT PRO PLATZ VON RM. 900.- AN
HAMBURG-SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT
AUSKUNFT U. PROSPEKTE HIER


SKANDINAVIEN
UND
RUSSLAND
REISE
1930
CAP POLONIO
HAMBURG-SÜDAMERIKANISCHE
DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT

SOVTORGFLOT
TRAVEL-BUREAU
PARTY
TO
U·S·S·R
(RUSSIA)

BESUCHEN SIE DIE UdSSR

по заказу поездки в берлинском представительстве как «быстрые, согласно желанию и без осложнений», хотя, по его мнению, сотрудники были совершенно дезориентированы в отношении некоторых вопросов, касающихся возможностей питания и цен на поездки[32]. В 1931 г. Берлинское отделение Интуриста, используя свое монопольное положение, распространило в Германии самое большое в мире число туристических путевок в СССР (1259 заказов)[33]. Солидные судоходные компании «Хапаг» и «Гамбург-Зюд» проводили круизные путешествия в Ленинград. МЕР и другие немецкие туристические бюро ограничивались простой покупкой билетов в СССР, и даже после образования Интуриста количество покупаемых в Германии билетов оставалось очень большим, в то время как американские туристы предпочитали полное обслуживание Интуристом. От дорогостоящего содержания собственных туристических бюро Интурист отказался (временно существовали только бюро в Мюнхене и Гамбурге) в пользу договоров с немецкими туристическими компаниями. Таким образом, поездки в СССР могли быть, как это было обычно и в США, быстро заказаны в любой большой туристической компании. Наряду с собственными представительствами в Берлине, Нью-Йорке и Лондоне, Интурист располагал в 1932–1933 гг. агентствами в Париже, Брюсселе, Вене, Праге, Риме, Стокгольме, Осло, Копенгагене, Стамбуле, Тегеране, Харбине и Токио[34]. Однако, сравнивая число заказов в другие страны, специалисты скептически замечали, что пройдет еще некоторое время, прежде чем новая Россия сделает доступным для широкой публики свое «самобытное очарование»[35].

Важнейшей сферой работы Интуриста, помимо концепции экскурсионных поездок, привлечения иностранцев и заказов, была помощь зарубежным гостям в вопросах быта в ходе путешествия. В рамках этого было необходимо обеспечить транспорт, проживание, питание и сопровождение гостей в поездке. Кроме того, необходимо было найти и обучить соответствующий персонал[36]. Предложения Интуриста были дополнены другими экскурсионными маршрутами. Центральными пунктами оставались по-прежнему Москва и Ленинград, значительно отставали от них Киев и Одесса.

Классическим и одновременно самым дорогим маршрутом была экскурсионная поездка с севера на юг, которая в похожем варианте была задумана уже в прошлом веке компанией Thomas Cook & Son и в сравнимой форме организована Совторгфлотом. После посещения Москвы и Ленинграда маршрут пролегал от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги до Сталинграда или дальше, до Астрахани и Каспийского моря. Из Владикавказа или Баку через Тифлис (Тбилиси) можно было пересечь Кавказ до Черного моря. Затем ехали по черноморскому побережью до Крыма. После посещения Украины Советский Союз покидали либо через Киев железной дорогой, либо из Одессы по Черному морю. Этот тур можно было изменять во всевозможнейших вариантах. Путешествия в Среднюю Азию, напротив, появились в качестве специального предложения только в начале 1930-х годов, позднее Самарканд, Ташкент и Бухара исчезли с карты Интуриста, так как создать надлежащую инфраструктуру оказалось слишком дорогостоящим. Организованный туризм по Советскому Союзу до Второй мировой войны ограничивался транзитом на Дальний Восток по Транссибирской железной дороге и европейско-кавказской частью страны. В 1930 г. ревностные сотрудники Интуриста предлагали уже 39 различных туров, треть из которых, правда, нельзя было забронировать в первом классе, поскольку соответствующих возможностей обслуживания не существовало. С трудом обозри-

мое многообразие предложений, однако, очень ограниченно использовалось скептически настроенными иностранными гостями. При заказе, очевидно, доверяли заранее известным стандартным маршрутам.

Также дальше разрабатывалась созданная еще Совторгфлотом программа «рекомендуемых маршрутов». Эти туры не были привязаны ни к жестким срокам, ни к стандарту посещений и предусматривали минимальное число участников. Вначале программа была очень сжатой, что не отвечало пожеланиям клиентов и чего не могло себе позволить увязшее в финансовых трудностях акционерное общество «Интурист». Во всяком случае, в сезон 1933 г. предусматривалась только ежедневное экскурсионное сопровождение продолжительностью два с половиной часа. Остальное время дня турист мог организовывать сам, по желанию за дополнительную плату с сопровождением Интуриста[37]. Помимо этого представлялись «открытые туры», когда посетитель только на месте решал, куда он хочет поехать и что осмотреть. Заранее определялись только длительность пребывания, класс, которым он хотел ехать, и место, с которого бы он хотел начать путешествие по СССР[38]. Выбор маршрутов был, правда, не полностью свободным, а был привязан к местам, где Интурист располагал филиалами[39].

Для этого была, прежде всего, необходима обширная сеть представительств внутри страны, которые могли обеспечить предлагаемые услуги – бронирование билетов и номеров в отеле, продовольственное снабжение, службу перевозок, экскурсии по городу, экскурсовода и переводчика, перевозку людей и багажа. Помимо переданного Совторгфлотом главного филиала в московском роскошном отеле «Метрополь» Интурист сначала, в год своего основания (1929 г.), открыл филиалы в Ленинграде, Одессе, Харькове, Киеве и Минске. Также были открыты бюро на Кавказе – в Тифлисе, Батуми и Баку, и на пограничных станциях в Негорелом и Шепетовке[40]. К середине 1930-х годов сеть представительств внутри страны была расширена до 19 отделений. Агентства были организованы, в общей сложности, в восьми пограничных пунктах и шести других городах – отчасти сезонно[41].

Частную поездку в Советский Союз не обязательно было предпринимать через государственное туристическое бюро и после основания Интуриста. Иностранные гости могли организовывать путешествие полностью или частично по собственному сценарию. Не были обязательными услуги Интуриста и для получения въездной визы. Правда, посетители часто бронировали короткую программу, не в последнюю очередь ради того, чтобы упростить неприятную процедуру получения визы и иметь привилегированный статус «туриста». В Советском Союзе они только отчасти использовали поддержку туристического бюро. Советские учреждения были весьма заинтересованы в направлении потока туристов в нужное русло и даже снижали весьма высокий взнос за визу, если гости отдавали себя под покровительство Интуриста.

Для значительной части населения Германии поездки в СССР оставались недоступными. Цены были очень высоки для рабочих, и поэтому они составляли малую долю от приезжающих. Поездки в Москву оставались уделом, в основном, платежеспособных академических кругов. Из-за высоких расценок даже более обеспеченные гости часто заказывали путешествие третьим классом. В 1932 г. к этому добавился принудительный обмен 5 долларов в день, что превращало Советский Союз в одну из самых дорогих стран мира. Цель этого принудительного обмена — помешать нелегальному обмену валюты, с помощью которого многие туристы пытались снизить

высокие расходы на поездку. К 1934 г. на черном рынке курс доллара достиг 40 рублей[42].

Создание Интуриста совпало по времени не только с мировым экономическим кризисом, который нанес по международному туризму тяжелый удар, но и с первым пятилетним планом в Советском Союзе. Несмотря на коренные изменения плановой экономики и мировую депрессию на туристическом рынке, руководство Интуриста рассчитывало на «стремительное» развитие. Для подобных надежд было сформулировано четыре основания:

1. Ни об одной стране мира не писали так много, как о Советском Союзе. Среди всех слоев населения за границей наблюдается интерес к осуществлению плана первой пятилетки.

2. При посещении СССР большой вес имеет «политический элемент», особенно со стороны рабочих и «симпатизирующей интеллигенции».

3. СССР как новая страна на туристическом рынке предлагала для туристического мира новые перспективы: согласно законам ориентированного на моду туристического движения, туристы устремляются к новым целям, когда надоедают старые места.

4. Можно было ожидать, что многие прибывавшие в страну в качестве туристов преследовали цель найти там работу[43].

Насколько важным был «политический элемент» и среди «интуристов», показывает один из отчетов о поездке в 1932 г. После кратковременной поездки из Москвы на Кавказ сообщается: «…мы совершили теперь не туристическую поездку, а путешествие в политику»[44]. Этим суждением четко очерчивается стержневой пункт туристического движения: политический компонент нельзя было исключить, причем вне зависимости от того, чем был мотивирован путь на восток. Без сомнений, имелся живой интерес к общественным изменениям в России, которым особенно в Германии придавалось большое значение также и в свете собственной общественно-политической судьбы. Однако, помимо удовлетворения политического интереса, Интурист также прилагал усилия к тому, чтобы предложить особенно оригинальные, интересные, скорее, с туристической точки зрения, формы поездки. Исключительным предложением было путешествие на советском ледоходе «Малыгин», которое сочетало научную исследовательскую поездку с посещением мест ранних полярных экспедиций. Известный писатель и иностранный корреспондент «Франкфуртер Цайтунг» Фридрих Зибург был летом 1931 г. одним из участников этого необычного тура в вечные льды: «Подобно тому, как муравьи держат определенный тип блох, у которых они сцеживают драгоценный сок, держал Советский Союз иностранных туристов, оправдание существования которых заключалось в том, что они выделяли валюту. За валюту, в которой страна Советов нуждалась для покупки машин настоятельнее, чем в хлебе насущном, в России можно было получить все. С недавних пор даже Арктику […]»[45]

Другим вариантом был высокогорный туризм на Кавказе, предъявлявший скалолазам очень высокие физические требования. Кроме этого, Интурист прилагал усилия для организации охотничьего туризма. В цветных проспектах рекламировалась охота на медведей и волков в русских лесах в сопровождении опытных егерей. Особенно популярными в Западной Европе и США стали культурные поездки на театральные фестивали и фестивали искусств, которые с 1933 г. ежегодно проходили в Москве и Ленинграде. Однако как обстояло дело с инфраструктурой Интуриста?

В результате «хорошей пропаганды» чета Куммер, которая в 1931 г. пересекла Кавказ и Украину на перестроенном легковом автомобиле, рассчитывала, что все пройдет «гладко и удобно»: «Интурист обо всем позаботится; обеспечит проживание, питание, даже комфорт», – полагала жаждущая путешествий пара из Австрии[46]. Без сомнения, хорошее обслуживание имело ключевое значение для хорошего самочувствия туристов. Однако, особенно в смысле комфортного проживания, поначалу ощущались явные недоработки, так как многие отели после революции использовались не по назначению. Для улучшения этого неудовлетворительного положения в начале 1931 г. было основано составившее конкуренцию Интуристу акционерное общество «Отель»[47]. В Москве оно инвестировало несколько миллионов рублей в модернизацию построенных на рубеже веков роскошных отелей «Националь» и «Метрополь», которые 13 лет находились в распоряжении партийного аппарата как «дома́ Советов», использовавшиеся для работы и жилья»[48]. Основная часть иностранных туристов размещалась в это время в гостинице «Новомосковская» (сегодня «Балчуг Кемпински»). К этой гостинице, расположенной в непосредственной близости от Кремля на другой стороне Москвы-реки, Интурист надстроил два этажа. Сначала это была самая большая гостиница в Москве (400 номеров)[49]. Постоянно ухудшавшиеся в довоенное время условия размещения не удовлетворяли высоким требованиям, предъявляемым, в особенности, американцами, поэтому стала необходима модернизация с оснащением гостиницы водопроводом и ванной. Как и в остальной Европе, водопровод стал стандартом в отелях и гостиницах только в результате появления американских туристов.

Улучшение санитарных условий нашло четкое отражение в описаниях путешествующих. Однако, даже если гостиницы для официальных иностранных гостей вообще удовлетворяли всем пожеланиям, критиковались очень высокие цены. Непонимание вызывало каждый раз то обстоятельство, что, казалось бы, ориентированный на современность Советский Союз размещал своих гостей в отелях довоенного времени. Ханс Зимсен, участвовавший в 1930 г. в организованной Интуристом рекламной экскурсионной поездке как представитель «Франкфуртер Цайтунг» и живший в «Гранд-Отеле», чувствовал себя весьма неуютно в старомодном роскошном здании, где жили практически исключительно иностранцы. «Гранд-Отель считается лучшим в России отелем. Большой ящик напротив Кремля. Помпезные комнаты, великокняжеские комнаты. А между тем были революция и Гражданская война. Здесь были солдаты, рабочие, бюро, ведомства. Сейчас это снова отель. […] Хотя все, включая пальмы, “настоящее”, оно кажется поддельным, и хотя пыль сметена, все выглядит покрытым пылью. Однако лифт ходит, электрический свет горит, горячая вода льется. В комнате нет только стакана воды. “Сию минуту будет!” – говорит горничная, в роли которой выступает маленький старичок, понимающий немецкий. Старичок и стакан воды “сию минуту” не появляются, и я иду в ресторан. Зал первого класса, 1899 г. […] Гранд-Отель в основном зарезервирован для иностранцев. […] Кто сидит здесь в ресторане? Они все писатели? Охотники за концессиями, “спецы”, которые хотят заработать в России и на России, нуждающейся в их валюте и их знаниях? Во всяком случае, этот ресторанный зал – Европа, разогнанная, дешевая, убогая мишурная Европа. За этим ли я прибыл в Россию?» – разочарованно спрашивал Зимсен[50]. Его коллега, журналист Франц Альберт Крамер, предпринявший многонедельную поездку по России осенью и зимой 1932 г., не прибегая, насколько это было возможно, к помощи Интуриста, нашел ресторанный зал «Гранд-Отеля» безвкус-

но вычурным: «Все – цветущего рубежа веков, все в соответствии с трогательным в своей наивности представлением о том, что же должно понравиться этим буржуям из-за границы… […] Образ, который оставит этот чудный зал в моей памяти – это столы, официанты и пальмы. Пустые столы, официанты в парусиновых туфлях и пальмы в бумажных манжетах! Прежде всего, пустота, пустота, пустота…»[51].

Другим гостям, однако, эти отели вполне нравились: «Там можно предаваться буржуазным удовольствиям и даже танцевать джаз и пить шампанское»[52].

В начале 1930-х годов Интурист планировал построить новые здания в Тифлисе, Батуми, Баку, Кисловодске, Сталинграде, Харькове, Нижнем Новгороде, Киеве, Ростове-на-Дону, Одессе и Ялте[53]. Однако отнюдь не все замыслы могли быть немедленно реализованы. Еще в 1933 г. один итальянский журналист описывал свою гостиницу в Нижнем Новгороде, принадлежавшую Интуристу, как «настоящие развалины времен Гоголя»[54], в Тифлисе постройка нового отеля также растянулась на многие годы. В основном, за отдельными исключениями, обстановка проживания в провинции была значительно скромнее, чем в Москве и Ленинграде. Сервис Интуриста функционировал также отнюдь не всегда безупречно. Не раз бывало, что, несмотря на бронирование, все комнаты оказывались заняты, и цены за услуги, в сравнении с западноевропейскими, были крайне высоки. После передачи общества «Отель» Интуристу в феврале 1933 г. иностранных путешествующих, по крайней мере, в больших городах размещали практически без исключений в немногих избранных домах Интуриста. В 1936 г. организатор поездок располагал 28 отелями в 23 местах с приблизительно 2750 комнатами и 5000 кроватей[55].

В отношении продовольственного снабжения Интурист поначалу столкнулся со сходными проблемами. Большая часть существовавших при нэпе частных ресторанов и кафе к концу 1920-х годов, не в последнюю очередь из-за высоких налогов и административных придирок, была уже закрыта или преобразована в кооперативы и столовые. Для иностранных путешественников взамен был введен «абонемент на питание» в отеле. Тем, кто не хотел есть в своем отеле, осенью 1930 г. было трудно найти на улицах Москвы ресторан. Упомянутый выше журналист Ханс Зимсен, в итоге, протиснулся в переполненное кафе, где смог за 80 копеек заказать борщ и голубцы[56]. И коллега Людвига Ренна, коммунистически настроенный писатель Людвиг Турек, при совместном посещении ресторана в отеле Интуриста «Савой» решительно отмежевывался от обнаруженной там роскоши: «Давайте ешьте поскорее, чтобы мы могли убраться из этого стойла из сахарной глазури. Хорошо чувствовать себя здесь могут спекулянты и аристократическое отродье. Я не изображаю, что у меня отполированные ногти!»[57].

Но чувствовало ли себя комфортно в ресторанах для иностранцев «аристократическое отродье»? Рудольф Мирбт в начале 1931 г. жаловался, что расплачивающиеся чеками Интуриста гости обслуживались в московском «Гранд-Отеле» с «бессовестным равнодушием», поскольку, рассуждал Мирбт, от гостей, оплативших вперед, не следовало ждать чаевых. Он должен был дожидаться, когда подадут блюдо, в среднем около часа, правда, подчеркивал, что стол, даже по немецким меркам, был хорошим и обильным, а по русским – «невероятно хорошим»[58]. «Многие путешествующие с Интуристом были недовольны этой едой, чему не было поводов», – порицал он. Однако бросающееся в глаза лучшее обеспечение иностранных туристов в сравнении с русским населением «действовало ему на нервы». Если годом ранее Зимсен был доволен обслуживанием в маленьких ресторанчиках, теперь еда там, по

свидетельству Мирбта, была сравнима, в лучшем случае, с «бездушно приготовленными дешевыми обедами, которые раздавали нуждающимся» в Германии во время войны. Другой путешественник добавлял, что мясо было только в крупных московских отелях, причем только для «иностранной буржуазии, чтобы она не видела, как обстоит дело “снаружи”»[59]. Особенно сильные впечатления остались у супружеской четы Куммеров во время их поездки через Украину на автомобиле в конце лета 1931 г. Хотя за день было уплачено по 20 долларов, сопровождающий от Интуриста не мог гарантировать ни питания, ни проживания. В сельской местности даже по высоким ценам сложно было достать продовольствие. В итоге, они были вынуждены делиться с проводником взятыми с собой в автомобиль запасами[60].

Цены в московских отелях для иностранцев были после повышения в начале 1930-х годов неоправданно велики. Гости, не имевшие чеков Интуриста, должны были отдавать за еду, в пересчете, до 40 рейхсмарок в день[61]. За пределами Москвы и вне отелей для иностранцев расценки были несколько ниже и варьировались, в основном, от одного до двух рублей. Зимсен, посетивший в 1930 г. со своей туристической компанией также и Сталинград, нашел меню в ресторане Парка культуры недорогим и одновременно «обильным и хорошим»; блюда были приготовлены лучше, чем в известных ему московских ресторанах[62]. Артур Вилли Юст, долгие годы бывший корреспондентом «Кёльнише Цайтунг» в Москве, описывая посещение отеля «Люкс», «первого дома» в Сталинграде, подчеркивал большую разницу в ценах на еду для иностранцев и в обычных ресторанах: в отличие от дешевых столовых и кооперативных кухонь, «воскресное пиршество» в «ресторане-обдираловке» для иностранцев стоило около 20 рублей[63]. По официальному курсу, это составляло 43,20 рейхсмарки – приблизительно половину зарплаты рабочего в Германии за месяц.

При этом, сервис и качество блюд оценивалось отнюдь не одинаково. Тогда как журналист Фриц Олимски нашел еду в своем отеле в Ленинграде «хорошей буржуазной, а по русским меркам определенно роскошной», а обслуживание «вежливым и предупредительным», его впечатление от официантов в Москве в гостинице Интуриста «Новомосковская» было не таким положительным: «Когда просишь чистый стакан, они берут использованный стакан, который стоит прямо на столе, идут с ним к сервировочному столу в углу, поворачиваются и приносят уже чистый стакан. Они молниеносно быстро протерли другой стакан тряпкой»[64]. Оценки еды, подававшейся там в третьем классе, колебались от «хорошей, хотя не вполне обильной»[65] до «ни обильной, ни очень хорошей»[66]. Как рассказывал путешествующий журналист Ганс Браун, брать в Москве мясо было нельзя; он ел в течение дня только суп и рыбу, «которая всегда была свежей и вкусной»[67]. Особенно раздражающим для немецких гостей было явно очень медленное обслуживание. По свидетельству Олимски, в «Новомосковской» приходилось ждать «всегда невыносимо долго»[68], прежде чем приносили заказанное блюдо. Американские гости в 1932 г. также высказывали недовольство, что еда подавалась только через час или два после заказа. Жалобы на «недостаточный сервис»[69] сыпались градом. Также и Франц Альберт Крамер, который в том же году останавливался в «Гранд-Отеле», так описывал обслуживание: «Под пальмами стоят без дела официанты, одетые по старому обычаю в белые пиджаки и льняные фартуки, но из-под такого фартука вдруг оказывается видна пара вполне себе пролетарских ног в плохих брюках и парусиновых туфлях, и буржуазно ухоженный облик рассказывает уже совершенно другую историю: о тревогах, как не потерять место, которое приносит какие-то чаевые и, возможно, некоторые отходы с

кухни, от которых здесь во многих случаях зависит сама жизнь и существование, и так далее. Обслуживают вследствие этого с готовностью, но вяло и нерасторопно. “Сичас”, – говорят они, после чего их не видно полчаса»[70]. Ввиду сомнительного качества завтрака за три рубля Крамер заявлял, что для здоровья лучше «питаться самому»[71].

У итальянца Карло Скарфольо в 1933 г. в Ленинграде сложились похожие впечатления. Когда общество его попутчиков собралось вечером в обставленном для иностранцев ресторанном зале гостиницы «Октябрьская», сначала столы не сервировались, потому что не собралась еще вся группа: «[…] никто не получает еду, если за столом еще не все. Какое безобразие! […] Они нас считают». Сама еда была «скудной и невкусной»[72]. После возвращения из кино гостям в 11 часов вечера еще раз предложили поесть. Однако и эту вторую трапезу Скарфольо нашел «крайне жалкой: кусок плохой рыбы, кусочек плохого торта». Вода, от потребления которой отговаривал каждый знающий человек, была «уже на глаз загрязненной». Вместо этого английские путешественники удовлетворялись «очень слабым чаем без лимона». Скарфольо описывает их реакцию не без насмешки: «Лица путешественников все более вытягивались. Смеялись только консерваторы»[73]. В последующие годы особенно бросающейся в глаза остается критика официантов, как показывает описание ресторана в «Метрополе» Германа Перцгена: «Официанты носят белые пиджаки, и число их удивляет. Однако они удобно устроились. Они лишены каких бы то ни было представлений о предупредительном обслуживании. Понятия времени для них не существует. Поторопить официанта полностью противоречило бы хорошим манерам. Так получается, что в больших отелях каждый раз на еду уходит два часа»[74]. Хотя каждый из служащих там официантов, как пишет Перцген, должен был закончить курс иностранного языка, ни один из них не был в состоянии говорить на каком-либо из европейских языков[75]. Йозеф Пфитцнер, путешествовавший в июле 1936 г. с 47 гостями Интуриста из Чехии, также досадовал, что завтрак длился, как минимум, час. Обед, по свидетельству Пфитцнера, занимал, «несмотря на все старания», не менее двух часов. На ужин требовалось столько же времени, что всякий раз вызывало неудовольствие иностранных клиентов[76]. Происходивший из прибалтийских немцев директор ресторана в Ялте, в котором невнимательное и нерасторопное обслуживание вызвало горячие протесты гостей, указывал на то, что в его распоряжении находилось всего немногим более трети обученного персонала, остальные были неквалифицированными[77].

Однако имелись и другие свидетельства. Так, явно не склонная отказывать себе в удовольствиях большая группа от турбюро Хапага получила в 1935 г. в гостинице «Новомосковская» к обеду «русские блюда, хорошо приготовленные и [настолько] обильные», что с ними можно было справиться только с добавкой алкоголя. Обслуживали эту группу «в высшей степени доброжелательные и внимательные официанты», которые услужливо обещали позаботиться на следующей трапезе о «лекарствах»[78]. В 1936 г. Интурист располагал, в общей сложности, 25 ресторанами, рассчитанными на 5330 посетителей, и 14 кафе[79].

Для передвижения, по крайней мере, в крупнейших городах, Интурист выделял собственные транспортные средства. Для этой цели, наряду с несколькими моделями среднего класса, были приобретены тяжелые американские лимузины «линкольн» с восьмицилиндровыми моторами, которые должны были предоставляться в распоряжение пассажиров первого класса. Когда по случаю эти уличные крейсеры

использовались как транспорт для пассажиров низших классов, это, естественно, производило должное впечатление, так как и американский президент ездил на восьмицилиндровом «линкольне». Однако шоферы Интуриста не всегда отличались надежностью. Хотя перед всеми большими гостиницами в Москве для туристов должно было стоять наготове достаточное количество транспортных средств[80], туристы первого класса, платившие, по крайней мере, 20 долларов в день, иногда были вынуждены отказываться от машины[81]. Также и стиль вождения шоферов был, очевидно, не рассчитан на людей со слабыми нервами. Всего машинный парк насчитывал в 1936 г. 150 легковых автомобилей, 96 грузовиков и 69 автобусов[82].

Для межрегиональных передвижений иностранным туристам предлагалось государственное железнодорожное и судоходное сообщение, что создавало трудности в ходе поездки. Хотя в Советском Союзе и существовала система разделения на классы в общественном транспорте дальнего сообщения, нельзя было устранить переполненность и опоздания устаревших пассажирских поездов и кораблей. Особенно подвергалось критике несовершенство организационных структур Интуриста вне столицы. Александр Цана после первых разочарований на начальном отрезке своего путешествия по Украине испытал кульминационные трудности в Ростове-на-Дону. Оба дня пребывания там он провел – несмотря на Интурист и ВОКС – почти исключительно в организационных проблемах: после того, как его поезд прибыл в город вместо раннего утра во второй половине дня, он должен был заняться поиском комнаты в отеле, поскольку руководитель бюро Интуриста в Киеве потерял его бронь[83]. Практически весь второй день он провел в попытках приобрести билеты на поезд во Владикавказ, который в итоге опаздывал на восемь часов, причем никто не мог дать справку о длительности опоздания[84]:

> В России человек учится одной из прекраснейших человеческих добродетелей: терпению, искусству из спешащего нервного европейца превратиться во флегматичного мудреца Востока[85].

На представительство Интуриста в Ростове-на-Дону неоднократно жаловались и другие путешествующие. Супруги Куммер столкнулись в «большой комнате с креслами для дипломатов» с руководителем бюро, который не только иностранным буржуа явно давал почувствовать свое неприятие: «тучный человек с широким лицом без бороды и усов неторопливо оборачивается. Давид [русский сопровождающий] знает, как вести себя, представляет нас ему и кладет документы на стол. Руководитель бюро кричит на него, чтобы он немедленно забрал бумаги и убрался с ними в канцелярию»[86].

Когда зальцбургский журналист Франц Кроч приобретал там осенью 1931 г. билеты, ему дали неверное расписание, поскольку не заметили, что уже продолжительное время действует зимнее расписание[87]. Он, однако, не был особенно потрясен: «[…] в России подобное принадлежит к повседневным явлениям, с которыми быстро учишься считаться», – заявлял Кроч, проведший в Первую мировую войну несколько лет в русском плену[88]. Уже на пограничной станции Негорелое он получил негативный опыт общения с сотрудником Интуриста, «одним из немногих в России людей, которые обошлись со мной не особенно вежливо»: полученное там расписание также было недействительным, так что уже в Орше Кроч оказался без нужного ему для пересадки поезда[89]. В других случаях Интурист не мог обеспечить

междугородные перевозки в заказанном классе[90]. На фоне подобных проблем просто недостаточное разграничение между тремя классами воспринималось, скорее, как развлечение. В одном московском отеле питание путешествующих первым классом отличалось от второго класса только одним дополнительным салатом, и неоднократно приходилось обходиться без полагавшегося переводчика[91]. Рудольф Мирбт, которого «беспорядочность всего связанного с организацией» выводила из себя, указывал, что многие другие туристы – как, например, Франц Кроч – воспринимали подобные нестыковки как «типично русские» и мирились с ними. Сам он, напротив, полагал, что с учетом высоких цен и договорных обязательств, к защите интересов должны были быть привлечены непосредственно дипломаты[92].

При рассмотрении этих впечатлений иностранных туристов о будничной стороне поездки явной становится относительность расхожих представлений об идеально устроенных потемкинских деревнях. Если, к тому же, принять во внимание, что во время мирового экономического кризиса большая часть гостей Интуриста, в том числе многие авторы путевых заметок, путешествовали из соображений экономии третьим классом, то становится очевидным, что представление о масштабной манипуляции за хорошо организованными кулисами Интуриста в корне неверно[93]. Туристы занимали привилегированное положение, однако условия никоим образом не были лучше, чем при поездке в любую другую страну. Особенно большим было несоответствие между условиями жизни населения и стандартами продовольственного снабжения иностранных гостей:

> Насколько особое положение занимает столица [Москва] по отношению к деревне, иллюстрирует лучше всего тот гротескный факт, что рабочие, солдаты, чиновники, официанты собирают в Москве и высушивают остатки хлеба, чтобы послать родственникам-крестьянам в провинцию. В России, в первую очередь, не в городе, а именно в деревне голод становится непосредственной и всеобщей угрозой для жизни. […] Да, почти стыдно путешествовать среди этой нужды по миру, в котором участвуешь как зритель[94].

Дальнейшее развитие организованного туризма показывает, что влияние турбюро все в большей степени воспринималось туристами как ограничительное: «Везде между тобой и Россией стоит Интурист», – жаловался журналист Вальтер Аллерханд после поездки летом 1934 г.: вездесущее предприятие является «экстерриториальным делом, своего рода заповедником для иностранцев и буржуазных потребностей». Интурист выступает не только в качестве организатора, но также в роли «министерства пропаганды» и «важнейшего отделения Госбанка», – очерчивал Аллерханд функции государственного акционерного общества[95]. В то время как на этапе его создания возможны были разнообразные поездки, впоследствии постоянно возрастало число туристов, посещавших СССР только на несколько дней полностью под патронажем Интуриста, что происходило ввиду сложностей, сопровождавших будни путешествующих, и очевидной политики распределения. Во второй половине 1930-х годов средняя продолжительность пребывания туриста составляла всего около 11 дней[96]. Столь малая цифра – если учитывать размер страны – объясняется большим количеством пароходных и круизных туристов, а также туристов, совершавших «блиц-туры» в Москву и Ленинград. Поездки во внутренние области страны, на Кавказ, на Волгу, на Украину, едва ли можно было осуществить меньше, чем за три недели.

Одной из важнейших задач при туристических поездках под государственным руководством было личное сопровождение иностранных гостей, которое осуществляли переводчик и гид. Поскольку большая часть туристов не говорили по-русски, это являлось для них необходимой деталью организации. В условиях относительной свободы 1920-х гг. переводчики, часто поступавшие по рекомендации, были еще чем-то само собой разумеющимся и лишь вскользь упоминались в отчетах о поездке[97]. Помимо этих – в основном, случайно набранных – переводчиков и гидов, все больше и больше заботу о своих иностранных гостях брали на себя ВОКС, Интурист, а также иностранные отделы профсоюзов.

Путешествующим самостоятельно ВОКС по желанию предоставлял квалифицированных гидов для посещения музеев и культурных учреждений. Само немецкое посольство советовало посетить ВОКС, чтобы получить доступ во всевозможные государственные институты и по желанию получить «образованного немецкоговорящего» сопровождающего[98]. Принц Карл Роан, владелец замка и консервативный приверженец объединенной Европы, к примеру, был рад, что во время его визита в Россию в марте 1927 г. в Ленинграде ему был выделен доброжелательный переводчик, молодой человек, происходивший из старорежимной среды, который провел с ним трехчасовую экскурсию по городу[99]. Председатель Социалистического студенческого союза и кандидат в рейхстаг от СДПГ Отто Фридлендер также подчеркивал, что предоставленный ему в Москве ВОКСом переводчик обладал открытым жизнерадостным характером и не был создан для интриг. Хотя он явно прилагал все усилия, чтобы выполнить свой долг перед правительством, однако, не оставалось впечатления, что он хотел ввести в заблуждение неверным переводом или приукрашенной информацией[100]. В Ленинграде переводчик даже пригласил Фридлендера, приехавшего в Россию по заданию «Дойчен Текстиль-Цайтунг», в свою квартиру, где мать встретила обоих чаем и вареньем. Журналиста удивило, что в неофициальную атмосферу не смогли проникнуть события времени[101]. Это и другие свидетельства позволяют прийти к выводу, что во второй половине 1920-х гг. сотрудниками ВОКС отнюдь не всегда были обученные пропагандисты.

После создания Интуриста в 1929 г. было форсировано обучение новых переводчиков и иностранных гидов[102]. В основном, ими стали теперь молодые женщины. Берлинский журналист Фритц Олимски оставил свидетельства о воздействии этой отнюдь не редкой кадровой политики:

> Наша сопровождающая в Ленинграде была молодой, изящной и светловолосой, к тому же немного истощенной. Она говорила по-немецки, по-английски и, главным образом, по-французски. Было настоящим наслаждением слушать, когда она рассказывала о старых мастерах в Эрмитаже или сокровищах искусства в других царских дворцах; даже антирелигиозный музей в Исакиевском соборе она смогла сделать чуть ли не приятным, так как она была искусной мастерицей подавать коммунистические идеи как самоочевидные с таким вкусом, что на это в сущности ничего нельзя было возразить. […] Какие же все-таки мастера пропаганды советские люди. […] я думаю, мы были почти влюблены в нее[103].

Во время поездки Олимски летом 1932 г. большой похвалы удостоился и сопровождающий мужского пола. Ввиду малоприятных условий, в особенности на Украине, он подчеркивает его личный энтузиазм:

> Все это было бы еще более невыносимым, если бы не наш русский гид, который чуть ли не жертвовал собой для нас. Его звали Саша, это был просто замечательный парень и трогательно преданная душа. Когда-то фабричный рабочий, он потом учился и овладел теперь немецким настолько хорошо, что его использовали в качестве переводчика. День и ночь он неустанно заботился о нас, делал нам в дороге бутерброды, доставал нам даже на самых маленьких станциях […] горячую воду для чая, покупал нам у крестьянок молоко, огурцы и помидоры, отправлялся ради нас ночью на охоту на клопов, вооружившись электрической настольной лампой. Короче говоря, Саша был бесподобен, его нельзя было не любить; без него долгие дни, проведенные в поезде, были бы намного менее приятны[104].

В то же время бывали и случаи недовольства при контакте с сотрудниками Интуриста. Рудольф Мирбт описывает свои отношения с сопровождающими как зачастую проблематичные. Их заведомая, по его убеждению, связь с тайной полицией и слежка переводчиков друг за другом, безусловная лояльность по отношению к системе, исключавшая любое критическое высказывание и дискуссию и порождавшая бесконечные односторонние объяснения, а также постоянная боязнь, что на них могут пожаловаться, поскольку сервис не всегда соответствовал обещанному в рекламе – все эти факторы, по мнению Мирбта, создавали подчас принужденную и довольно напряженную атмосферу[105]. Итальянец Карло Скарфольо также во время своей поездки 1933 г., организованной Интуристом, чувствовал себя, скорее, стесненным указаниями гида:

> Итак, не отделяйтесь друг от друга, держитесь вместе, никогда не ходите без сопровождения! Я несу ответственность за эту группу и должен всех привезти обратно в Ленинград и т. д., и т. д.[106]

Помимо новых обученных молодых кадров долго сохранялся значительный штат сотрудников, происходивших их старых образованных элит[107]. Супругов Куммер в 1931 г. в Армении сопровождал профессор из Еревана. Он был лоялен по отношению к государству, блестяще образован и говорил на «прекрасном немецком», так как учился в Лейпциге[108]. Их сопровождающая в Тифлисе, происходившая из довоенной буржуазии, также была признана «в высшей степени приятной в обхождении» и превосходно знающей французский язык[109]. Только от политических вопросов она «в испуге уклонялась»; от предложенных на прощание чулок она с благодарностью отказалась, потому что служащим Интуриста было запрещено принимать подарки[110]. На обратном пути на машине по югу России и Украине Интурист предоставил супругам в качестве постоянного сопровождающего 19-летнего гида[111]:

> Он все время стремился оберегать нас от любопытных, но также вообще от всех людей. Чтобы не беспокоить нас, говорил он; однако, это явно делалось в соответствии с указанием препятствовать любому общению с местным населением[112].

Не все путешествующие воспринимали обслуживание сотрудников Интуриста и ВОКСа как назойливую опеку: как писал Кроч, тот, кто хотел осмотреть все «на свой страх и риск», не встретил бы препятствий[113]. Даже хотя «перед гидами, возможно, стоит задача представить иностранцам достоинства и успехи советской власти – на это указывает тот факт, что обычно они являются членами коммунистиче-

ской партии или по крайней мере комсомольцами, […] они все же достаточно тактичны, чтобы не выставлять на первый план свое мнение»[114].

Мирбт, к тому же, проводил четкое различие между персоналом Интуриста и ВОКСа, так как, в противоположность односторонним пустым пропагандистским фразам представителей Интуриста, его разговоры со служащими ВОКСа были «интеллектуальной полемикой»; в таких разговорах ему впервые стала понятна «захватывающая суть советского мышления», и «тем более опасным» представлялся ему ВОКС[115]. Сопровождение не под руководством Интуриста и ВОКСа было, в любом случае, менее пропагандистским, однако, не обязательно более информативным, как показывает пример архитектора Рудольфа Вольтера во время его пребывания в 1933 г. в Бухаре. Городскими властями ему был предоставлен гид-узбек, который говорил по-русски на таком уровне, что мог только более или менее объясниться. Он останавливался перед достопримечательностями города и говорил «с таинственным видом: “Старый, старый”»[116].

Лояльность переводчиков, часто происходивших из образованных слоев довоенного времени, объясняется, помимо прочего, сравнительно привилегированным профессиональным положением, которое они занимали. Если они не хотели потерять свое место, то должны были действовать не только как переводчики, но, прежде всего, как посредники и толкователи. В их обязанность входило предупреждать сложные и неприятные вопросы и разъяснять причины часто встречающихся проблем и недостатков. С другой стороны, переводчики вступали в личный контакт с зарубежными гостями. При этом, они сталкивались с наивностью путешественников, не понимавших, какие последствия для переводчиков или сотрудников Интуриста может иметь упоминание их имен и детальная характеристика их деятельности[117]. Известен случай 1933 г. с одним переводчиком, который вел разговоры с делегацией немецких учителей, направленные против интересов Советского Союза. Когда один из учителей опубликовал детальный рассказ о поездке, гид был обвинен в шпионаже и, в результате, приговорен к двадцати годам принудительных работ[118]. От переводчиков и служащих Интуриста, ввиду подобных устрашающих дисциплинарных мер, нельзя было ожидать открытой и критической информации.

Дальнейшее расширение Интуриста требовало обучения большего числа профессиональных гидов со знанием языков. Новые сотрудники, как правило, набирались из числа выпускников филологических вузов. Вследствие высокой текучести кадров на советских предприятиях, которая господствовала и в Интуристе, качество переводчиков не всегда могло гарантироваться, как позволяет предположить пример – впрочем, вообще очень редко звучавшей – критики в адрес одного «совершенно неприемлемого» пролетарского переводчика в Ростове-на-Дону[119]. Без сомнения, это совпало с растущей потребностью в смене поколений переводчиков. Группу итальянцев, к которой принадлежал Скарфольо, в 1933 г. в Ленинграде сопровождали «две худые, изможденные девушки с робкими, испуганными глазами», «посредственно, на начальной ступени изучения» говорившие на английском[120]. Когда два гостя однажды вечером сами ушли из кино в гостиницу, гиды Интуриста впали «в необъяснимый, превосходящий все пределы страх […] Откуда этот ужас и чего они боялись? Толпа [людей на улицах] крайне вежлива и, за исключением моментов посадки в электрички, […] лучших манер. Разумеется, бедные девушки боятся не за нас, а за себя. Должно быть, они имели четкие приказы никогда не оставлять нас одних и боялись наказания»[121].

Впервые иностранные туристы описывают своих сопровождающих как плохо одетых: «На одной из них жалкое европейское платьице – гиды Интуриста должны одеваться по-европейски – и футбольные бутсы мужского размера с выдернутыми шипами»[122]. Критика внешнего вида сотрудников Интуриста совпадает с тяжелым кризисом, в котором находилась компания, как и само государство, в 1932–1933 гг. В 1935 г. переводческая служба Интуриста, услуги которой были включены в общую цену, снова стала «хорошо продуманным элементом рекламы»; работающий там персонал был также определен молодым корреспондентом «Франкфуртер Цайтунг» Германном Перцгеном как «первоклассный»:

> В противоположность негодным официантам, это доброжелательные молодые женщины, чье общество может быть приятно иностранцу. Поскольку они проводят пропаганду с большой сдержанностью и, кроме того, подчеркнуто корректно держатся – дисциплина является железной! – им часто удается завоевать доверие[123].

Гиды составляют туристам общество и во время еды, и с ними можно без помех общаться[124]. Перцген объясняет улучшение внешнего впечатления высокими зарплатами (225 рублей в месяц, для сравнения, стенографистка в месяц получала всего 75 рублей) и другими преимуществами, как, например, возможность за рубль получить хороший обед в отеле «Интурист». Кроме того, сотрудницы Интуриста имели право на покупку определенного количества одежды в год. Тем самым, они были значительно лучше одеты, чем масса, в среднем. Помимо этого, они пользовались привилегированным правом контакта с иностранцами, что в остальных случаях было доступно лишь немногим[125].

Журналист и пропагандист национал-социализма Эрих Чех-Йохберг, приехавший в Москву в мае 1937 г., разъясняет, какое психологическое воздействие молодые сотрудницы, по всей видимости, могли оказывать на путешествующих в одиночку мужчин. Когда он вошел в бюро Интуриста в «Метрополе», вокруг него стало «светло»:

> Передо мной стоит молодая девушка, я вижу исключительно благородное лицо. Карие глаза, каштановые волосы. Подтянутая худая фигура. […] (она) говорит по-немецки с русским акцентом, который может очаровательно звучать в устах очаровательных женщин. […] Да, девушка из Интуриста приветлива. Приветлива глазами и словами, она говорит приветливее, чем молодая дама на ее месте разговаривала бы с мужчиной у нас, не переступая при этом границ. Она смотрит приветливее, чем смотрела бы дама у нас, не выходя за общепринятые рамки. Мое тщеславие предполагает «умысел», мой разум –«недостаток воспитания»[126].

Правда, отношения между переводчиками и туристами редко были безоблачными. В то время, как в 1920-е гг. для контактов была характерна обоюдная открытость, позднее манера обслуживания туристов изменилась под воздействием страхов и жалоб. Все более ощутимой становилась двойная функция деятельности переводчика и гида. С одной стороны, туристы зависели от переводчиков и гидов и охотно пользовались их услугами, с другой стороны, все в большей степени усиливалось впечатление, что их помощь одновременно обеспечивала контроль и манипуляцию иностранными гостями. С учетом существования «тайного отдела» в Интуристе, так

же, как и в ВОКСе, явно было налажено сотрудничество с наркоматом по иностранным делам и спецслужбами[127]. Стремление опекать и контролировать туристов на каждом шагу посредством умышленно неверных переводов, которые Тамара Солоневич приписывает в своих мемуарах всем советским переводчикам, напротив, не зафиксировано[128]. Не следует недооценивать насильственный процесс дисциплинирования, начиная с 1936 г., с помощью чисток, которые не обошли стороной также и ВОКС и Интурист. Многие сотрудники, в их числе и руководители обеих организаций, были «ликвидированы» в годы террора.

Обзор типичных объектов посещения в Москве показывает, что хотя существовали предприятия и учреждения, которые предпочитали показывать в первую очередь, из этого не следует, что ВОКС и Интурист открывали для посещения специально «подготовленные» учреждения, как неоднократно утверждалось уже в современной литературе. Так, австрийский коммунист Эрнст Клуге, чей горький отчет 1932 года о его профессиональной деятельности в Советском Союзе одновременно представляет собой агитационный памфлет против восточного еврейства, выразил это формулой: «Восток – мастер обмана». С его точки зрения, «подготовленные места» создавали ложную картину во время путешествий, которые в массе своей были короткими[129]: «Ни иностранные делегаты коммунистических партий», ни «участники организованных в последнее время недорогих туристических поездок» ни видели ничего от «истины и правды», чему способствовало, впрочем, и ограниченное любопытство самих туристов[130].

Однако сопровождение иностранцев не было столь одномерным, как представлено выше. Туристы также не все были столь наивными и легко поддающимися влиянию, как часто считалось. До середины 1930-х гг. они могли во многом определять места и учреждения, которые они хотели посетить, причем, по крайней мере, авторы отчетов о поездках в большинстве своем путешествовали без постоянного сопровождения ВОКСом или Интуристом. Неоднократно, по их инициативе, без предварительной заявки им с готовностью предоставляли доступ в различные учреждения. Многообразие предложений ВОКСа ни в коей мере не оставляет впечатления, что интересующимся стремились представить только сильно ограниченную картину[131]. Естественно, ВОКС постоянно оптимизировало программу посещений. Если определенное место или институт неоднократно плохо оценивался, гиды советовали вычеркнуть его из программы[132]. Московская программа Интуриста лета 1932 г., включавшая Парк культуры, Центральный дом крестьянина, студенческое общежитие в бывшем монастыре, общественную столовую, судебное заседание, загс и тюрьму[133], была, несмотря на сжатые сроки, очевидной попыткой ознакомить с советской повседневной жизнью.

В основном, туристы сознавали, что демонстрируемое им носило показательный характер. Вальтеру Блему казалось совершенно разумным, что видеть давали «естественно только то, что выступало в качестве образца: делали ли бы мы иначе в Германии?»[134] Никто не мешал осмотреть за рамками официальных экскурсий то, что вызывало интерес. Этому, как он подчеркивал, никоим образом не препятствовали. Другим также казалось самоочевидным, что русские показывали, прежде всего, то, чем могли гордиться: при этом не утверждалось, что продемонстрированные учреждения были репрезентативны[135]. Карл Роан также описывает впечатления от программы посещений:

> У многих читателей, возможно, сложилось впечатление, что я оцениваю Россию односторонне положительно. Они наверняка думают, […] что большевики – и это излюбленный аргумент в Европе – обращались со мной так умно и ловко, что я не увидел действительности, которая является, «естественно, совершенно другой»[136].

Роан говорит, что реалии современности, «ужасающе бедной», с точки зрения экономики, и отмеченной нехваткой товаров и жилья, отнюдь не осталась им незамеченной, однако, по его мнению, определяющими были возможности системы и, в меньшей мере, условия жизни того времени[137].

Пример одной только Москвы показывает, что программы посещений ВОКСа и Интуриста были разнообразными и никоим образом не ограничивались немногими целями. К тому же, без сомнения, места, которым отдавалось предпочтение, постоянно менялись. Не перечисляя их в отдельности, из отчетов о поездках по России можно заключить, что наряду с различными фабриками (отчасти еще довоенного времени) к числу наиболее часто посещаемых объектов принадлежали социальные учреждения и места лишения свободы, поскольку этот сектор советская сторона считала особенно прогрессивным. С начала насильственной индустриализации в начале 1930-х гг. за пределами Москвы в различных местах существовал ряд широкомасштабных проектов, которые особенно любили показывать посетителям, в том числе Днепрогэс (до открытия в 1932 г. Днепрострой), приобретенный у Форда автомобильный завод в Нижнем Новгороде (открыт в 1932 г.), Сталинградский тракторный завод (открыт в 1930 г.), завод сельхозмашиностроения в Ростове-на-Дону (1931 г.), Харьковский тракторный завод (1931 г.), крупные сельскохозяйственные предприятия «Гигант» и «Верблюд» на Кубани (основаны в 1929–1930 гг.), а также нефтяные месторождения Баку, которые вновь начали активно разрабатываться с конца 1920-х гг.

Однако доступ к этим престижным объектам далеко не всегда превращался в пропагандистский успех, так многочисленны были нарушения производственного процесса. В отдельных случаях посещению мешали временные организационные препятствия, которые не мог устранить и Интурист. Особенно летом 1932 г., когда продовольственная проблема во многих регионах приняла драматические формы, туристическому бюро неоднократно приходилось импровизировать. Когда одна туристическая группа посещала крестьянский рынок на Украине, торгующие там крестьянки поклонились гостям из Германии и поблагодарили, что те пришли посмотреть, как живет народ[138]. Хотя сомнительно, осознавали ли гости, в каких условиях существовала в это время часть населения, – угроза голодной катастрофы в отчетах о путешествиях 1932 г. не рассматривается, – во всяком случае, эти рынки, в таком плачевном состоянии, как они показаны у Олимски, не были жемчужинами пропаганды; одна женщина недвусмысленно обратила внимание Олимски на свою жалкую одежду[139].

Тем не менее ведущие представители Интуриста были убеждены в важности своей миссии. На заседании Союзного Совета ЦИК СССР 26 января 1933 г. один из них сообщил, что за границей уже существовали сотни книг, тысячи или даже десятки тысяч статей, написанных туристами, которые совершили путешествие в СССР; большинство авторов выступали в некотором роде как «рупоры истины о СССР»[140]. На праздновании пятилетия Интуриста годом позже развитие туризма также оценивалось как культурно-политический успех, так как не было «языка луч-

ше, чем язык туристов»; они не агитаторы, не пропагандисты и не коммунисты, которым в капиталистических странах не доверяли, не могли доверять, а люди из самых разных слоев и классов, принадлежащие к самым разным политическим и общественным направлениям[141]. Однако, принимая во внимание то, что реакция немецких туристов на недоработки государственного организатора путешествий не могла не накладывать отпечаток на общее впечатление от поездки, «язык туристов» создавал отнюдь не благоприятный образ Советского Союза, в чем стремилось убедить товарищей руководство Интуриста. Внутренние, очень самокритичные отчеты правления Интуриста также во многом написаны другим языком.

В середине 1930-х гг. участник поездки от Интуриста мог ежедневно принять участие в двух-трехчасовой программе (культпоказе) в каждом городе. Намеченные для посещения объекты предоставлялись местными представительствами Интуриста на выбор. Если отдельные гости или целые группы хотели посетить другие, в том числе и расположенные за пределами города объекты, это было возможно по особой цене. По многократным пожеланиям можно было заказать дополнительные экскурсии уже заранее в бюро за границей[142]. Когда Эрих Чех-Йохберг планировал свою программу в мае 1937 г., туристы, путешествующие в одиночку, могли посетить в Москве в числе прочего шарикоподшипниковый завод, часовой завод, детский приют, а также завод «Каучук». Однако состоялась только одна экскурсия по городу, на другие экскурсии не набралось необходимого числа участников[143]. Также и на экскурсию по городу записалось лишь небольшое число туристов. Чех-Йохберг был, таким образом, во время своего пребывания чаще предоставлен самому себе, чем ему хотелось бы. Вразрез с этим идет высказывание московской корреспондентки Гизелы Дёрн, утверждавшей, что каждого гостя окружал «непрерывный пропагандистский вопль»:

> Ему показывали великолепные заводы, школы, холодильные склады, театры, музеи, новые постройки и детские сады. Программа посещений разворачивалась перед ним в едва ли постижимой для большевистских понятий спешке. У него не было времени перевести дух и вымолвить слово[144].

Путешествующих в одиночку это не касалось. Чех-Йохберг описывает свою обзорную экскурсию по городу – как оказалось, единственное мероприятие из программы Интуриста за всю поездку – отнюдь не как отлаженную пропагандистскую инсценировку:

> Я не могу сказать, что эта обзорная экскурсия, если она имела своей целью, наконец, лично продемонстрировать нам часто упоминаемого господина Потемкина, была умело проведена. Мы погрузились в уличную трясину китайского города [имеется в виду Китай-город], проехали по Пречистенской улице с ее старыми маленькими *palais* [особняками], которые находятся в запустении, как никакие другие здания в мире, проехали на трамвае по горам и долинам к старому Новодевичьему монастырю. Мы никоим образом не могли пожаловаться на недостаток серости, грязи и наивности. Уже из машины видно было достаточно[145].

Индивидуальные туристы были, однако, во второй половине 1930-х гг. редки. Интуристу с помощью последовательной ценовой политики удалось значительно

увеличить долю более дешевых общих и групповых поездок. Однако и туристам, чьи группы пребывали в Москве всего 30 часов, оставалось достаточно времени для прогулок по городу без официального сопровождения[146]. Бросалось в глаза изменение целей поездки у этих групп. Историк Восточной Европы, преподававший в Праге, Йозеф Пфитцнер комментировал этот перенос акцентов в свойственной ему иронически-злой манере:

> После этих большевистских достопримечательностей наша программа входила в русло, знакомое еще по Ленинграду. Вследствие недостатка новых достижений и в Москве на первый план выходило древнерусское наследие[147].

Особенно четко проявлялось это смещение акцентов для групп, путешествующих на круизных кораблях, которые оставались в Москве только 30 часов. Им, наряду с боярскими палатами, собором Василия Блаженного и Третьяковской галереей, находившимися в непосредственной близости от гостиниц, показывали исключительно расположенную на окраине Москвы усадьбу и музей фарфора Кусково[148]. Пфитцнер также замечал, что исторические места использовались одновременно для того, чтобы указать на недостатки царизма в социальных вопросах. Роскошь, твердили гиды Интуриста, возникала на плечах простого народа[149]. В конечном итоге, и Пфитцнер признает, что в официальной программе посещений пропагандистские проколы случались именно за городом. Когда часть деревенского населения вышла к туристам и с восхищением рассматривала иностранную одежду, Пфитцнер удивленно спросил: «Имел ли Интурист в виду это воздействие, привозя иностранцев в Советский Союз?»[150].

Интурист, со своей стороны, был бы рад составлять более качественную программу для туристических групп, однако, иностранные представительства иногда информировали отдел обслуживания о прибытии группы крайне поздно, как жаловались в 1936 г. в московском центральном бюро. При этом, не поступало никакой информации о политической ориентации и социальном положении приезжающих[151]. Здесь также проявляется, что Интурист не мог проводить свою якобы идеально функционирующую пропаганду в желаемых масштабах.

В то время как большая часть авторов считала себя достаточно умными, чтобы разглядеть пропагандистские намерения, некоторые, такие как Рудольф Мирбт, полагали, что могут осознать в других иностранных гостях явно выраженную доверчивость и неспособность к критическому восприятию: «Это удивительное явление, суть которого я никогда не мог понять: путешествовавшие с Интуристом на самом деле принимали за чистую монету все, что им рассказывали. Всё, абсолютно всё!»[152].

В течение первых лет, когда Интуристу недоставало необходимого опыта, а также и собственных гостиниц для размещения туристов и транспортных средств, предприятие никоим образом не было в состоянии изображать социалистический рай. Однако, когда на индустриализированном Западе разразился экономический кризис и число безработных достигло рекордной высоты, сообщения об успехах промышленности в Советском Союзе казались знаком преуспевающего развития. Именно горячка пятилетнего плана – вызова экономической системе Запада – делала Советский Союз столь интересной целью поездки для лишенных иллюзий путешественников с Запада.

После прихода к власти национал-социалистов поток туристов в Москву хотя и не полностью прервался, но число путешественников из Германии резко сократилось. Так как политическая ситуация больше не благоприятствовала публицистическим рассказам о подобной поездке, на немецком книжном рынке можно найти только скудные свидетельства. В соседних европейских странах и в США, напротив, тяга к поездкам на восток не ослабевала. Железнодорожное сообщение оставалось неизменным, и авиакомпания Дерулюфт, используемая иностранными пассажирами, в 1934 г. увеличила свою пропускную способность на всех линиях, причем перелет в Москву особенно часто использовался путешествующими, едущими по стандартной программе Интуриста[153]. Только осенью 1935 г. немецкие судоходные компании получили указания свыше не приводить больше круизные корабли в Ленинград или русские черноморские порты[154].

В международной перспективе даже голод 1933 г. на Украине – который значительная часть западной общественности готова была считать пропагандистской ложью – не мог затормозить дальнейшую тенденцию роста иностранного туризма. В 1934 г. крупные западные туристические компании заключили договоры с Интуристом, и число гостей, в сравнении с предыдущим годом, удвоилось[155]. Советский Союз оказался на вершине международной популярности. Стремительный рост числа туристов прервался только с «большим террором», зловещие показательные процессы которого не остались скрытыми от западной общественности[156]. Одновременно с советской стороны началось более строгое обращение с западными посетителями. Наряду с заведомыми подозрениями в шпионаже в 1936 г. дело дошло до явных ограничений индивидуальной свободы перемещения; для каждого места, которое намечалось посетить, необходимо было подать заявку на отметку в визе, которая иногда могла быть отклонена.

В национал-социалистической Германии в это время гестапо прилагало усилия к закрытию филиалов Интуриста, предполагая, в свою очередь, что в них могли располагаться центры шпионажа. Временной низшей точкой в немецко-советских отношениях были 1936–1938 гг., когда в Испании уже велась своего рода идеологическая война чужими руками. Показательные процессы, которые разожгли в Советском Союзе ксенофобию и шпиономанию, привели к тому, что туристические контакты с Германией были практически полностью прерваны. Министерство иностранных дел Германии из соображений личной безопасности запретило даже «увеселительные поездки в СССР»[157]. Тем не менее берлинское представительство Интуриста в результате вмешательства германского министерства иностранных дел оставалось открытым вплоть до нападения на Советский Союз. Министерство аргументировало это тем, что в случае его закрытия проблема немецкой экономики – побудить «техников, монтеров и т. д. к поездке в Советский Союз» – еще более бы обострилась[158].

Ситуация коренным образом изменилась после подписания пакта между Гитлером и Сталиным и совместной оккупации Польши. Уже в 1939 г. статистика Интуриста показывает резкий рост числа немецких туристов в России, причем непропорционально высоко было число едущих первым классом, т. е. преимущественно с деловыми поездками[159]. Интенсивные попытки наладить по возможности нормальные отношения между двумя государствами сказались и в других сферах: Люфтганза и Аэрофлот возобновили совместные полеты по маршруту Берлин – Москва, который в 1937 г. был закрыт. В представительстве Интуриста на Унтер-ден-Линден демонстрировались «прекрасные картины радостной жизни» в Советском Союзе[160],

а цветной проспект 1940 г. уже показывал новые немецко-советские границы в разделенной Польше, где Интурист принимал немецких гостей.

И немцы приезжали. В военный 1940 год их было 4600 человек – максимальное число немецких туристов в Советском Союзе[161]. Эта тенденция, однако, продолжалась недолго. Когда в июне 1941 г. Германия напала на СССР, бывший коммунист, возвратившийся из Советского Союза, Карл Альбрехт открыл в покинутом помещении берлинского филиала Интуриста книжный магазин, торгующий антибольшевистской литературой. Особенно хорошо там продавался его бестселлер «Преданный социализм»[162]. Интурист в Советском Союзе занимался отныне размещением иностранных дипломатов. Только в 1955 г. он снова начал принимать зарубежные туристические группы[163].

*Перевод с немецкого Марии Гусевой*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О первых немецкоязычных путешественниках см.: Gerd Koenen: «Indien im Nebel». Die ersten Reisenden ins «neue Russland». Neun Modelle projektiver Wahrnehmung. In: Deutschland und die russische Revolution 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5A). Hrsg. von Gerd Koenen und Lew Kopelew. München: Fink 1998. S. 557–615.

[2] Wolfgang Metzger: Bibliographie deutschsprachiger Sowjetunion-Reiseberichte, – Reportagen und – Bildbände 1917–1990. Wiesbaden 1991. S. 26–96.

[3] В диссертации я анализирую около 100 немецких и австрийских отчетов о поездках в Советский Союз. См.: Matthias Heeke: Reisen zu den Sowjets. Der ausländische Tourismus in Rußland 1921–1941. Mit einem bio-bibliographischen Anhang zu 96 deutschen Reiseautoren. Münster, Hamburg und London 2003.

[4] Автор благодарит DAAD за предоставленную возможность исследовательского пребывания в Москве.

[5] (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Об организационной структуре ВОКСа см.: Edgar Lersch: Die auswärtige Kulturpolitik der Sowjetunion in ihren Auswirkungen auf Deutschland 1921–1929. Frankfurt a. M., Bern und Las Vegas 1979. S. 67–75; Josef Vogl: Zur Auslandskulturpolitik der UdSSR. Strukturelle Entwicklung, Ideologie und Praxis. In: Österreichische Osthefte 30 (1988). S. 231–235; Christoph Mick: Sowjetische Propaganda, Fünfjahrplan und deutsche Rußland-Politik 1928–1932. Stuttgart 1995. S. 180–298; Olga Saitschenko: Die Kulturpolitik der UdSSR gegenüber Deutschland in der Zeit der Weimarer Republik. In: Annäherungen an die deutsche und die russische Geschichte. Berichte des Forschungszentrums für Deutsche Geschichte in Moskau. Hrsg. von Jakow Drabkin. Köln 1996. S. 65–76.

[6] Erich Obst: Russische Skizzen. Berlin 1925. S. 16.

[7] Walter Bloem: Weltgesicht. Ein Buch von heutiger und kommender Menschheit. Leipzig und Zürich 1928. S. 5.

[8] Ebd. S. 9.

[9] Всесоюзное общество культурной связи с заграницей [В. О. К. С.] Москва, 1929. С. 18.

[10] Walter Benjamin: Moskauer Tagebuch [1927]. Aus der Handschrift hrsg. und mit Anmerkungen von Gary Smith. Mit einem Vorwort von Gershom Scholem. Frankfurt a. M. 1980. S. 46. Joseph Roth: Reise nach Rußland. Feuilletons, Reportagen, Tagebuchnotizen 1919–1930. Hrsg. und mit einem Nachwort von Klaus Westermann. Köln 1995. S. 275.

[11] С сентября 1926 г. по январь 1927 г. во «Франкфуртер Цайтунг» вышли в общей сложности 18 репортажей Рота о его поездке. Его коллега Киш стал классиком современной репортажной журналистики. См.: Egon Erwin Kisch: Zaren, Popen, Bolschewiken. Berlin 1927.

[12] Führer durch die Sowjetunion. Die fünf größten Städte der Sowjetunion: Moskau-Leningrad-Kijew-Charkow-Odessa, hg. v. der Gesellschaft für kulturelle Verbindungen der Sowjet-Union mit dem Auslan-

de unter Leitung v. O.D. Kameneva, redigiert von A. Radó, Moskau 1925; Führer durch die Sowjetunion. Gesamtausgabe, bearbeitet v. A. Radó, hg. v. d. Gesellschaft für Kulturverbindung der Sowjetunion [VOKS], Berlin 1928.

[13] Herbert und Elsbeth Weichmann: Alltag im Sowjetstaat. Macht und Mensch, Wollen und Wirklichkeit in Sowjet-Rußland. Berlin 1931. S. 9. Помимо Ленинграда и Москвы, супруги за время своей многомесячной индивидуальной поездки провели вторую половину 1930 г. на Украине и на Кавказе. Как и многие другие, они ездили на организованные ими самими экскурсии, чтобы разведать, «являются ли песни сирен далеких берегов… мелодиями мира гибели или мира нового счастья» (S. 7). Познав на собственном опыте, социал-демократы (Херберт Вайхманн после Второй мировой войны стал первым бургомистром Гамбурга) категорически не приняли «советские будни».

[14] О немецких делегациях рабочих см.: Mick, op. cit. 5. S. 75–92.

[15] В июне 1922 г. общество было переименовано в «Немецко-русское общество снабжения и транспорта».

[16] См.: Вся Москва в кармане. – М.–Л., 1926. С. 233.

[17] Derutra Sowjetunternehmen. In: Das neue Rußland 3 (1926), Nr. 9/10. S. 55.

[18] РГАЭ (Российский государственный архив экономики). Ф. 7795. Всесоюзное объединение советского торгового флота для заграничных перевозок (Совторгфлот) Наркомата водного транспорта СССР/ АО «Советский торговый флот». Оп. 1. Д. 178, l. 1, 8 и 17–20.

[19] *Иоффе А.Е.* Интернациональные, научные и культурные связи Советского Союза 1928–1932. – М., 1969. С. 184.

[20] РГАЭ. Ф. 7795. Оп. 1. Д. 178. Л. 7.

[21] Там же. Л. 10–12.

[22] РГАЭ. Ф. 7795. Оп. 1. Д. 389. Л. 151.

[23] Sovtorgflot Travel-Bureau Berlin: Party to USSR (Russia). o. O. [1928]. То обстоятельство, что проспект был издан на английском языке, а также цены в долларах явственно указывают на то, что американцы были главными клиентами берлинского бюро.

[24] Ebd. S. 28–29. Указаны цены для первого класса.

[25] Die Volkswirtschaft der UdSSR 8 (1929), H. 3. S. 59.

[26] *Иоффе.* Указ. соч. С. 184.

[27] «Интурист» – изначально аббревиатура «Государственного акционерного общества по иностранному туризму в СССР». Однако часто «интурист» расшифровывается как сокращение от «иностранный турист»

[28] ГАРФ. Ф. 9612. ВАО «Интурист» (Главное управление по иностранному туризму при совете министров СССР). Оп. 1 (1929–1964). Д. 13. Л. 22.

[29] «Друг Советов» (Freund der Sowjets) сначала носил название «Грозящая война. Политико-экономический бюллетень Международного комитета друзей Советской России» (1928–1930). Издание было продолжено под названием «Друг Советов. Иллюстрированный ежемесячник о Советском Союзе. Политико-экономический бюллетень союза друзей Советского Союза». В середине 1932 г. заглавие было изменено на «Советская Россия сегодня». Тиражи пропагандистского журнала постоянно росли и в начале 1933 г. составляли около 30000 экз. «Новая Россия» (Das neue Rußland) выходила в 1923–1933 гг. сравнительно небольшим тиражом.

[30] Auf der Wolga, hrsg. v. Intourist, Moskau [1935]. S. 23.

[31] Впоследствии лауреат Нобелевской премии по литературе Казандзакис в 1925–1928 гг. неоднократно совершал продолжительные поездки по Советскому Союзу.

[32] Rudolf Mirbt: Sowjetrussische Reiseeindrücke. München 1932. S. 4. Из-под пера Мирбта вышло детальное и критическое описание хода путешествия с Интуристом.

[33] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 10. Л. 61.

[34] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.

[35] Heinrich Hartmann: … und nun auch Rußland. In: Verkehr & Bäder 1930, Nr. 13, 26. März 1930, Bl. 1.

[36] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 9.

[37] Intourist Informations-Bulletin, Februar 1933. S. 1.

[38] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 38. Л. 6.

[39] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 38. Л. 7 сн.

[40] Intourist – Werbung. In: Das neue Rußland 6 (1929), H. 5/6. S. 97.

[41] Отделы были расположены в Баку, Батуми, Харькове, Днепрогэсе-Запорожье, Ереване, Нижнем Новгороде, Ялте, Киеве, Кисловодске, Нальчике, Новороссийске, Одессе, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Севастополе, Сочи, Сталинграде, Тифлисе; пограничные агенства находились в Белоострове, Бигоссово, Джульфе, Кингисеппе, Негорелом, Острове, Шепетовке, Тирасполе; другие агенства – в Махачкале, Минске и Владивостоке, во время судоходного сезона – в Казани, Самаре и Саратове. См.: Генеральная инструкция по обслуживанию иностранных туристов в СССР. – М., 1937. С. 146.

[42] Walther Allerhand: Rußland aus der Nähe. Leipzig und M[ährisch]-Ostrau 1935. S. 66, 69. Официальный обменный курс до 1934 г. составлял всего лишь 1,94 рубля за один доллар. В. Аллерханд, журналист, происходивший из Богемии, объехал летом 1934 г. с большой группой от Интуриста Украину и Кавказ.

[43] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 8. Л. 18–19.

[44] Hermann Ullmann: Kolonisation oder Zerstörung? Tagebuch einer russischen Reise. München 1932. S. 62. Журналист и публицист посетил в конце осени 1931 г. Москву. Ростов-на-Дону и Тифлис.

[45] Friedrich Sieburg: Die rote Arktis. «Malygins» empfindsame Reise. Frankfurt a. M. 1932. S. 18. Одним из немногочисленных путешествовавших с ним туристов был итальянский пилот в отставке Умберто Нобиле. В пути состоялась встреча с немецким дирижаблем «Граф Цепеллин».

[46] Ludwig und Elfriede Kummer: Das Land ohne Sonntag. Sowjetrußland vom Auto aus. Tagebuchblätter und Berichte. Hrsg. von Friedrich Salis-Samaden. Wien und Leipzig 1932. S. 43. Людвиг Фрайхер Куммер фон Фалькерфед и его жена Эльфрида Мария в 1931 г. предприняли путешествие по Малой Азии и Среднему Востоку на легковом автомобиле «Гудзон», перестроенном в предназначенный для жилья фургон. Из Ирана супруги предприняли кратковременную поездку на Кавказ, забронированную предварительно через Интурист. Восстание курдов в Турции принудило их к возвращению через Украину и Австрию.

[47] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.

[48] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 11. Л. 37ff, 49, 52.

[49] Das Hotelwesen in der Sowjetunion. In: Das neue Rußland 8 (1931), Nr. 6/7. S. 91.

[50] Hans Siemsen: Rußland. Ja und Nein. Berlin 1931. S. 11–12. Зимсен в своем отчете не упоминает о том, что он принадлежал к иностранным представителям прессы, которые, в числе прочего, должны были получить возможность собрать информацию о перспективах туризма в СССР. «Гранд Отель», в котором жил еще Райнер Мария Рильке во время своей поездки в Россию, был демонтирован в 1977 г.

[51] F.A. Kramer: Das rote Imperium. München 1933. S. 42–43. Иностранный корреспондент «Германии» и «Кёльнише Фольксцайтунг» в Лондоне и Париже, посвятивший свою книгу «Темному народу России», предпринял в 1932 г. многонедельную поездку по России при финансовой поддержке «Дойтч-руссише Заатбау-АГ» (Друзаг), которое не могло перевести свои рубли в конвертируемую валюту. Издательство «Кёзель-Пустет Ферлаг» на суперобложке сообщало: «Ужасающе ясная картина сегодняшнего положения вещей в большевистской России. […] Марксистское государство разрушает само себя!».

[52] Rudolf Saliger: Das Gesicht des neuen Rußlands. Reiseeindrücke. Wien 1932. S. 5. Известный венский специалист по железобетону находился в шестинедельной поездке с докладами в России по приглашению советского Общества техники и культуры.

[53] Das Hotelwesen in der Sowjetunion, op. cit. 49. S. 91; Neue Hotels für ausländische Touristen. In: Das neue Rußland 9 (1932), Nr. 7/8. S. 90.

[54] Carlo Scarfoglio: Russische Reise mit Inturist. (Aus dem Italienischen von P. Hirner). Leipzig 1942. S. 218. Скарфольо (род. в 1887 г.) - редактор, одно время он был корреспондентом «Иль Маттано», пользовался необычайно высоким авторитетом как журналист. В 1928 г. он переехал по политическим мотивам в Англию. В 1933 г. Скарфольо в течении пяти недель путешествовал с английской туристической группой в третьем классе, по маршруту, организованному Интуристом. Его отчет о поездке (Russian Tour. Firenze 1934) вышел в немецком переводе с новым предисловием автора в 1942 г.

[55] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 63. Л. 41.

[56] Siemsen, op. cit. 49. S. 18–19.

[57] Цит. по: Ludwig Renn: Rußlandfahrten. Berlin 1932. S. 102. Людвиг Ренн, ставший известным романом «Война», также, как и Людвиг Турек, многократно бывал в Советском Союзе.

[58] Mirbt, op. cit. 32. S. 20–21.

[59] Alexander Szana: Lenins Erbe. Gärende Welten. Das Antlitz des Bolschewismus. Quer durch Stalins Rußland. Bratislava 1932. S. 34–35. Alexander Szana: Lenins Erbe. Gärende Welten. Das Antlitz des Bolschewismus. Quer durch Stalins Rußland. Bratislava 1932. S. 34–35. Цана – сын писателя Бернхарда Штерна, ведущего свое происхождение из Риги, который в 1907 г. опубликовал книгу «История общественной морали в России». Учебная поездка Цаны, вероятно, привела его в летом 1931 г. в Москву, Ленинград и на Украину.

[60] Kummer, op. cit. 46. S. 207, 223, 232, 247.

[61] Fritz Olimsky: So ist Sowjet-Rußland! Ein Tatsachenbericht. Sonderabdruck aus der Berliner BörsenZeitung. o. O., o. J. [Berlin 1932]. S. 56. Корреспондент «Берлинер Бёрзенцайтунг» предпринял в августе–сентябре 1932 г. трехнедельную стандартную экскурсионную поездку с Интуристом в третьем классе. Большую часть времени, в том числе и ночью, он провел в поезде.

[62] Siemsen, op. cit. 49. S. 171. Схожие впечатления: Olimsky (ebd.). S. 70.

[63] *Artur W.* Just: Mit Ilsebill freiwillig nach Sibirien. Berlin 1932. S. 58–59. Юст, родившийся в 1896 г. в Риге, в 1926–1937 был московским корреспондентом и желанным собеседником в немецком посольстве. Несмотря на его критическую позицию, советские ведомства, отвечающие за прессу, не лишили его аккредитации. В 1937 г. он был отозван, поскольку не позволял использовать себя национал-социалистической пропаганде для агитации против Советского Союза.

[64] Olimsky, op. cit. 61. S. 49.

[65] Ebd. S. 56.

[66] Hanns Braun: Eindrücke aus Sowjetrußland. In: Deutsche Zeitung [ehemals Kunstwart], 46

(1932/33), H. 4. S. 229–237 und H. 5. S. 279–293; здесь S. 282. Журналист и эссеист Ханнс М. Браун в 1932 г. был членом группы туристов Интуриста из 100 человек.

[67] Ebd.

[68] Olimsky, op. cit. 61. S. 56.

[69] James E. Abbe: IPhotograph Russia. London, Bombay und Sydney 1935. S. 95–96. Американский фотограф, описывавший вначале свою политическую позицию как «розовую», в начале 1932 г. по заданию «Нью-Йорк Таймс» ездил в Москву, чтобы запечатлеть Сталина.

[70] Kramer, op. cit. 51. S. 42.

[71] Ebd. S. 43.

[72] Scarfoglio, op. cit. 54. S. 13.

[73] Ebd. S. 17.

[74] Hermann Pörzgen: Ein Land ohne Gott. Eindrücke einer Rußland-Reise. Frankfurt a. M. 1936. S. 71–72. Пёрцген в 1937–1941 гг. был в Москве по заданию «Франкфуртер Цайтунг». В 1956–1976 он вновь вел репортажи из Москвы в качестве корреспондента «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».

[75] Ebd. S. 72.

[76] Josef Pfitzner: Reise in ein «Paradies». Erlebtes und Erkanntes aus der Sowjetunion. Bayreuth 1942. Наряду со сравнительно нейтральными описаниями туристической инфраструктуры, Пфитцнер оперирует такими характеристиками как «евреи-пропагандисты» и «восточные люди», направленными против «неполноценного, примитивного Востока», нуждавшегося в «немецкой культурной работе» германских господ. В Интуристе, в соответствии с его изображением, доминируют евреи, причем он опускается до резких расистских антисемитских выпадов (С. 34). В дальнейшем он оправдывает завоевательную политику на Востоке, в «пространстве, являющемся судьбой немецкого народа» (С. 188), с одной стороны, «культурным превосходством германской расы», чья задача заключается в том, чтобы воспитать Восток и проникнуть в него, а с другой – «исторической обязанностью Запада» уничтожить «еврейско-большевистскую мировую угрозу» (С. 189). В 1945 г. Пфитцнер, занимавший во время протектората Рейха в Праге высокое положение в качестве функционера национал-социализма, был приговорен чехословацким народным судом к смерти как военный преступник и публично казнен.

[77] Ebd. S. 83.

[78] Karl Pagel: 30 Stunden Moskau. In: Deutsche Rundschau 62 (1936) [Bd. 248]. S. 139–146; здесь S. 142. Историк и редактор Карл Пагель в рамках круизной поездки по Балтийскому морю посетил Ленинград и Москву.

[79] ГАРФ. Ф. 9612, оп. 1. Д. 63. Л. 41.

[80] См.: Autos für Touristen vor dem Grand Hotel. In: Das neue Rußland 8 (1931), Nr. 2/3. S. 70.

[81] Mirbt, op. cit. 32. S. 2–3.

[82] *Ананьев М.А.* Международный туризм. – М., 1968. С. 190.

[83] Szana, op. cit. 59. S. 172.

[84] Ebd. S. 172–173.

[85] Ebd. S. 173.

[86] Kummer, op. cit. 60. S. 197ff.

[87] Franz Krotsch: Moskau diktiert. Reisebeobachtungen in Rußland. Graz, Berlin u. a. 1932. S. 152 ff. Самостоятельно организованная экскурсионная поездка началась в октябре 1931 г. в Ленинграде. Через Москву и Иваново-Вознесенск он приехал в Ростов-на-Дону и оттуда в Крым. На обратном пути Кроч посетил Днепрострой, Харьков и Киев.

[88] Ebd. S. 152.

[89] Ebd. S. 34–35.

[90] Mirbt, op. cit. 32. S. 2–3.

[91] Ebd.

[92] Ebd. S. 23.

[93] Sylvia Ruth Margulies: The Pilgrimage to Russia, 1925–37. PhD Wisconsin 1965. Маргулис исходит из предпосылки, что обхождение с иностранцами в Советском Союзе имело своей задачей, прежде всего, ввести их в заблуждение целенаправленной пропагандистской ложью.

[94] Kramer, op. cit. 51. S. 53–54.

[95] Allerhand, op. cit. 42. S. 64–65.

[96] ГАРФ. Ф. 9612, оп. 1. Д. 55. Л. 7.

[97] См.: Benjamin, op. cit. 10. S. 147–148; Karl Anton Rohan: Moskau. Ein Skizzenbuch aus Sowjetrußland. Karlsruhe [1927]. S. 5–6.

[98] Erich Koch-Weser: Rußland von heute. Das Reisetagebuch eines Politikers. Dresden 1928. S. 169 (Briefe von Geert Koch-Weser). Бывший вице-канцлер и председатель Немецкой Демократической партии Эрих Кох-Везер в конце лета 1927 г. посещал своего сына Геерта, проходившего практику на концессионном предприятии Друзаг на Северном Кавказе.

[99] Rohan, op. cit. 97. S. 125.

[100] Otto Friedlaender: Hammer, Sichel und Mütze. Eindrücke aus dem heutigen Rußland. Berlin 1927. S. 28.

[101] Ebd. S. 117–178.

[102] Отчетов переводчиков Интуриста об их деятельности не имеется, хотя Тамара Солоневич неоднократно может служить главным свидетелем проводимой ими политики введения в заблуждение и манипуляции. См.: Margulies, op. cit. 93. S. 7, 74, 112, 159ff., 181, 190ff.; Christiane Uhlig: Utopie oder Alptraum? Zürich 1992. S. 29–37. Солоневич, работавшая в 1926–1928 и 1931/32 гг. как переводчица при иностранном отделе Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), опубликовала в 1937 г. книгу, содержащую, наряду с детальными и заслуживающими доверия пассажами, многочисленные неточные и сомнительные моменты: Tamara Solonewitsch: Hinter den Kulissen der Sowjetpropaganda. Erlebnisse einer Frontdolmetscherin. Essen 1937.

[103] Olimsky, op. cit. 61. S. 54.

[104] Ebd. S. 65.

[105] Mirbt, op. cit. 32. S. 24–25.

[106] Scarfoglio, op. cit. 54. S. 203.

[107] Mirbt, op. cit. 32. S. 23–24.

[108] Kummer, op. cit. 46. S. 25ff.

[109] Ebd. S. 84.

[110] Ebd. S. 85.

[111] Ebd. S. 92.

[112] Ebd. S. 116.

[113] Krotsch, op. cit. 87. S. 73–74.

[114] Ebd. S. 73.

[115] Mirbt, op. cit. 32. S. 65.

[116] Rudolf Wolters: Spezialist in Sibirien. Berlin 1933. S. 162. Вольтерс был одним из многих технических специалистов, которые до 1933 г. нашли работу в Советском Союзе. После возвращения из Новосибирска, где он пробыл около года, Вольтерс стал доверенным другом своего товарища по учебе Альберта Шпеера.

[117] Супруги Куммер указывали, насколько им это было известно, полные имена всех своих сопровождающих.

[118] См.: Hans Schafranek (Hrsg.): Die Betrogenen. Österreicher als Opfer stalinschen Terrors in der Sowjetunion. Wien 1991. S. 168.

[119] См. напр.: Olimsky, op. cit. 61. S. 64.

[120] Scarfoglio, op. cit. 54. S. 9.

[121] Ebd. S. 16–17.

[122] Ebd. S. 21.

[123] Pörzgen, op. cit. 74. S. 73.

[124] Karl Pagel: Zweimal Leningrad und Moskau (1935–1959). In: Merkur 14 (1960). S. 669–679; здесь: S. 670.

[125] Pörzgen, op. cit. 74). S. 74.

[126] Эрих Чех-Йохберг, которого товарищи по партии не воспринимали как своего, считая его «рыцарем конъюнктуры», и который в 1936 г., не получив подтверждения арийского происхождения, потерял свой пост и был исключен из НСДАП, был вынужден опубликовать свои (сравнительно взвешенные, по сравнению с другими его текстами) путевые заметки в Швейцарии под псевдонимом: Ernst Clam: So lebt Russland. Eine Reise nach Sowjetrussland. Bern und Stuttgart 1937, цитата: S. 54–55.

[127] По вопросу о задаче надзора ВОКСа см.: *Голубев А.В.* «Основная цель его приезда…». Отчеты сотрудников ВОКСа о пребывании в СССР деятелей науки и культуры Великобритании 1934–1936 // Исторический архив, 1996, № 3. С. 134–150; здесь: С. 136. Доказательств этого сотрудничества, правда, ввиду его «секретного» характера, в полученных в ГАРФе архивных материалах Интуриста не обнаруживается. Ясность здесь мог бы привнести только архив специальных служб.

[128] См. сн. 103.

[129] Ernst Kluge: Die Wahrheit über Sowjetrußland und was dazu gehört. Erlebt und aufgezeichnet im Namen: unzähliger Menschenmassen, die es sagen wollen, aber es nicht vermögen. Leipzig 1932. S. 27. Происходивший из Вены техник сначала был сторонником русской революции и депутатом от коммунистов в Вене. Профессиональная деятельность привела его в 1928–1930 в Советскую Россию, где он радикальным образом отмежевался от советского коммунизма.

[130] Ebd. S. 28.

[131] См.: Rohan, op. cit. 97. S. 95–98.

[132] Mick, op. cit. 5. S. 198.

[133] Olimsky, op. cit. 61. S. 57ff.

[134] Bloem, op. cit. 7. S. 83.

[135] Wilhelm Hammelrath: Rußland. Der Aufbruch eines Volkes. Würzburg 1927. S. 14. Хаммельрат как делегат от Христианско-социальной партии был членом второй немецкой рабочей делегации летом 1926 г. Он с пониманием подчеркивает начальную стадию «подающего надежды развития, тяжелого строительства». Уже сама природа и пространства страны формировали людей, по Хаммельрату, иным образом, чем в Германии. Особенное влияние на создание идентичности молодого выступающего народа оказывало отмеченное скромностью чувство общности. Одновременно отчет пронизан усталостью от цивилизации «старой», «застывшей», «обращенной к гибели» Западной Европы: «У нас больше нет сил, которые были бы не заражены капитализмом» (С. 66).

[136] Rohan, op. cit. 97. S. 98.

[137] Ebd. S. 98–99.

[138] Braun, op. cit. 66. S. 293.

[139] Olimsky, op. cit. 61. S. 52.

[140] Ioffe, op. cit. 19. S. 184.

[141] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 20а. Л. 14 и 16.

[142] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 38. Л. 17 сн.

[143] Clam, op. cit. 126. S. 65.

[144] Gisela Döhrn: Der entzauberte Kreml. Ein politisches Tagebuch aus der Sowjet-Union. Nürnberg 1942. S. 28. В этом труде зафиксирован шовинистский и неприкрыто антисемитский отчет о пребывании корреспондентки в Советском Союзе в 1937–1941 гг. Гизела Дёрн, тогда жена московского корреспондента Германа Пёрцгена, после войны сначала издавала под псевдонимом Гизела Бонн стихотворения и переводы, а затем многочисленные публикации и телевизионные фильмы об Азии и Африке.

[145] Clam, op. cit. 126. S. 65–66.

[146] Pagel, op. cit. 78. S. 145–146.

[147] Pfitzner, op. cit. 76. S. 72.

[148] Pagel, op. cit. 78. S. 140–144.

[149] Pfitzner. S. 52.

[150] Ebd. S. 30.

[151] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 40. Л. 6–8.

[152] Mirbt, op. cit. 32. S. 22.

[153] Das Reisebüro 7 (1934), Nr. 13/14. S. 6–7.

[154] Bundesarchiv Berlin: R 9215 (Deutsche Botschaft Moskau), Nr. 333, Bl. 65. – Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda an Auswärtiges Amt, 26. Okt. 1935 (Abschrift).

[155] *Ананьев*. Указ. соч. С. 189.

[156] В 1936 г. в США и Нидерландах было аннулировано более 50 % заказанных групповых поездок. См.: ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 40. Л. 3–5. Объяснять это только ужасом от внутриполитического террора было бы недостаточно: обесценивание ведущих мировых валют – фунта стерлингов и доллара США – сделало для туристов многих стран поездки ощутимо более дорогими.

[157] Bundesarchiv Berlin: R 9215 (Deutsche Botschaft Moskau), Nr. 333, Bl. 46–47 – Auswärtiges Amt an Gestapo, 17. Mai 1938 (Abschrift).

[158] Ebd.

[159] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 71. Л. 1а–4.

[160] Konrad Bartsch: So sah ich Moskau. Breslau 1941. S. 9. Конрад Барч, племянник писателя Герхарда Гауптманна, был в то время главным редактором «Нидершлезише Тагесцайтунг». После заключения пакта между Гитлером и Сталиным журналист предпринял почти семинедельную экскурсионную поездку с Интуристом.

[161] ГАРФ. Ф. 9612. Оп. 1. Д. 71. Л. 1а-4.

[162] Karl I. Albrecht: Der verratene Sozialismus. Zehn Jahre als hoher Staatsbeamter in der Sowjetunion. Berlin und Leipzig 1938. Книга Карла Маттеуса Леу, он же Карл Й. Альбрехт, занимавшего в 1920-е годы высокие посты в советской лесной промышленности, должно быть, достигла тиража 2 миллионов экземпляров. Распространявшаяся отчасти бесплатно книга вышла в антикоминтерновском издательстве «Нибелунген».

[163] О туристических поездках из ФРГ в Советский Союз см.: Matthias Heeke: Mit Intourist durch die UdSSR. Der bundesdeutsche Sowjetunion-Tourismus. In: Goldstrand und Teutonengrill. Kultur- und Sozialgeschichte des Tourismus in Deutschland 1945 bis 1989 (= Institut für Tourismus FU Berlin, Berichte und Materialien Nr. 15). Hrsg. von Hasso Spode. Berlin 1996. S. 163–183.

*Анне Хартманн*

# СОВЕТСКИЙ СОЮЗ: МЕЧТА ИЛИ КОШМАР. Немецкие авторы о своей жизни в советской эмиграции

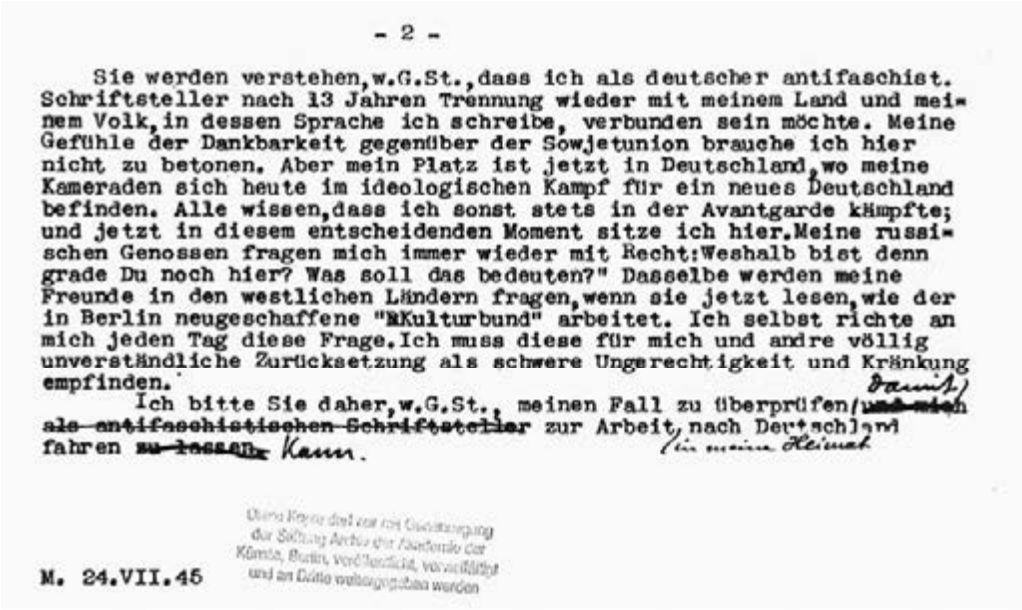
## Введение: Чужие в отечестве

«После установления в Германии фашистского варварства многие немцы нашли убежище в других странах, – писал Вилли Бредель, – но новую родину обрели только те, которые приехали в страну социализма, стали полноправными гражданами и с трудовым энтузиазмом участвуют в социалистическом строительстве»[1]. Уверения в том, что Советский Союз не только дал им прибежище, но и якобы стал для них «второй родиной» или даже «первой настоящей родиной» или, более того, «единственным, истинным отечеством», составляли кредо эмигрировавших в СССР немецких писателей и деятелей искусства. Они превозносили страну своего пребывания как Землю Обетованную: в Советском Союзе, в этой «обители прогрессивного духа», писали они, Сталиным осуществлено освобождение человека, покончено с отчуждением труда, и образцовый строй во имя всеобщего блага стал реальностью. Если в текстах эмигрантов, находившихся в других странах, рассказывалось, прежде всего, о горькой доле изгнанника на чужбине и о том, как тяжко налаживать там временную новую жизнь, то в письмах из СССР доминировали топосы, призванные показать, что авторы прибыли в ту страну, где собирались остаться, и что там сбылись их мечты.

И все же: если США германские беженцы хоть и ругали, но не спешили покидать (в 1945 г. оттуда возвратились в Германию всего два эмигранта)[2], а многие интеллектуалы предпочли остаться в Америке насовсем[3], то большинство немцев в Советском Союзе делали все, чтобы после окончания войны как можно скорее вернуться в Германию. Так, драматург Фридрих Вольф уже 24 июля 1945 г. обратился к Сталину с рассерженным письмом-жалобой после того, как его имя было вычеркнуто из списка писателей, которых предполагалось вернуть на родину[4]:

> В середине июня группа немецких антифаш[истских] писателей вернулась из Москвы в Германию. Моя партия (КПГ) в направленный в советские инстанции список включила и мое имя. Однако, к удивлению всех, я, единственный из писателей, никуда не уехал, поскольку, очевидно, какая-то вышестоящая инстанция меня не утвердила.

Вольф высказывает предположение относительно причины такого «совершенно непонятного демарша», который он воспринимает как «грубую несправедливость и оскорбление»: «Это потому, что я еврей? […] Или дело в недоверии ко мне и к моей работе? […] Или я, как антифашист, привлек к себе слишком большое внимание в Германии и за границей?»[5] Жалоба Вольфа возымела эффект: 14 сентября 1945 г.



- 2 -

Sie werden verstehen, w.G.St., dass ich als deutscher antifaschist. Schriftsteller nach 13 Jahren Trennung wieder mit meinem Land und meinem Volk, in dessen Sprache ich schreibe, verbunden sein möchte. Meine Gefühle der Dankbarkeit gegenüber der Sowjetunion brauche ich hier nicht zu betonen. Aber mein Platz ist jetzt in Deutschland, wo meine Kameraden sich heute im ideologischen Kampf für ein neues Deutschland befinden. Alle wissen, dass ich sonst stets in der Avantgarde kämpfte; und jetzt in diesem entscheidenden Moment sitze ich hier. Meine russischen Genossen fragen mich immer wieder mit Recht: Weshalb bist denn grade Du noch hier? Was soll das bedeuten?" Dasselbe werden meine Freunde in den westlichen Ländern fragen, wenn sie jetzt lesen, wie der in Berlin neugeschaffene "Kulturbund" arbeitet. Ich selbst richte an mich jeden Tag diese Frage. Ich muss diese für mich und andre völlig unverständliche Zurücksetzung als schwere Ungerechtigkeit und Kränkung empfinden.

Ich bitte Sie daher, w.G.St., meinen Fall zu überprüfen, damit ich ~~als antifaschistischer Schriftsteller~~ zur Arbeit in meine Heimat nach Deutschland fahren ~~zu lassen~~ kann.

M. 24.VII.45

*Вторая страница письма Фридриха Вольфа Сталину. Июль 1945 г.*

ему выдали разрешение на выезд в Германию[6]. Другим приходилось ждать дольше. Фрида Рубинер в марте 1946 г. требует объяснений: «*Почему* я не еду?»[7]. А Ханс Роденберг в письме к Вольфу от 24 июля 1946 г. пишет об «адском состоянии депрессии»: «Почему я все еще безо всякого толку торчу здесь и дурака валяю [“и дурака валяю” написано по-русски. – *Прим. перев.*]»[8]. Даже в его мемуарах, где все смягчено, еще чувствуется эта обида:

> Насколько я был и остаюсь верен Советскому Союзу, который стал моей второй родиной, насколько тяжело было мне то, что я не смог стать активистом первого часа и сразу, как кончилась война, вернуться с ныне легендарной группой Ульбрихта, а вместо этого вынужден был задержаться в Москве еще почти на три года[9].

Австриец Хуго Хупперт, который еще в конце 1920-х годов молодым человеком приехал жить в Советский Союз и у которого в Москве была жена, был направлен в Вену как офицер советских оккупационных войск. Когда же его в 1949 г. отозвали обратно в Россию, то это стало для него не возвращением на родину, а «низшей точкой» существования, началом «второй эмиграции»[10], которая длилась до 1956 г.

Но рано или поздно вернулись все. Среди вернувшихся поздно были Альфред Курелла (1954 г.), который побывал в 1946–1949 гг. на Кавказе – это стало осуществлением его давней мечты[11], и Франц Лешницер, чья верность «избранной родине» («Советский Союз – избранная родина» называлась его книга, опубликованная в 1963 г.) частично была вынужденной, так как очевидно никто, кроме Эриха Вайнерта, не прилагал больших усилий, чтобы добиться его репатриации. Лешницер жаловался в 1952 г., что никто из остальных его друзей «не считал нужным даже затраги-

вать этот вопрос, и именно это показывает, насколько болезненная это проблема»[12]. Лешницер переехал в ГДР в 1959 г.

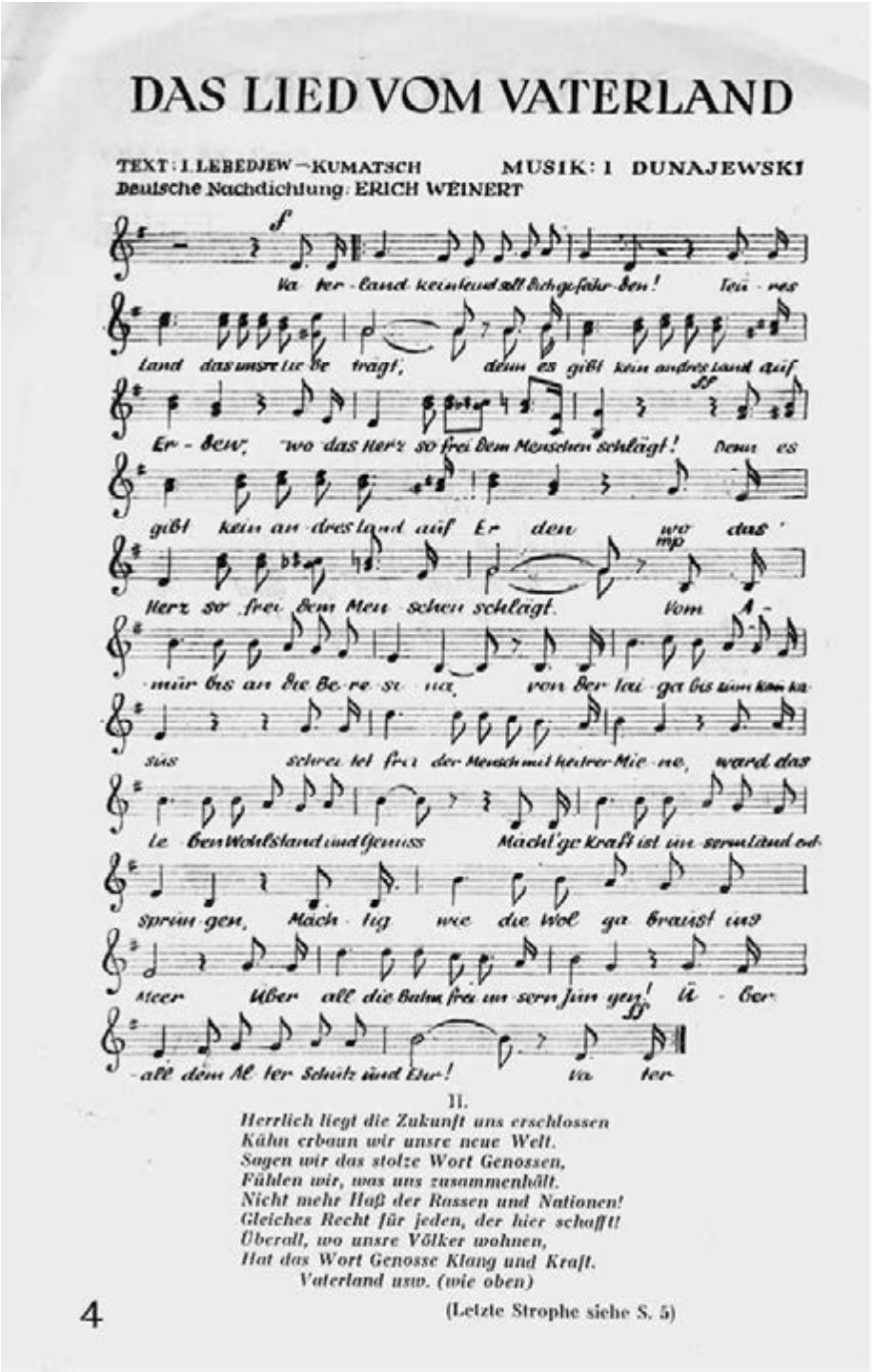
## Отсечение и вытеснение негативных воспоминаний: тексты об эмиграции

Несоответствие между «ритуализованными легендами о жизни эмигрантов в “отечестве рабочего класса”»[13] и желанием как можно быстрее покинуть эту страну, пусть даже ради того, чтобы участвовать в строительстве новой, лучшей Германии, указывает на базовое двойное табу – на противоречие между официальной пропагандой и реальной жизнью в Советском Союзе времен Сталина и на негласный «запрет» говорить о резком расхождении этих «действительностей». Тот, кто высказывался на эту тему, попадал под подозрение в пособничестве классовому врагу, исторгался из рядов строителей социализма, переставал существовать как личность и впредь считался предателем, отщепенцем, ренегатом.

По словам Иоханнеса Р. Бехера, «трагедию века» – смертельный конфликт между социалистическим желаемым и сталинским действительным – мог бы воплотить в описании только тот, кто переживал ее изнутри. Те, кто критиковал ситуацию извне, «переставали быть трагическими персонажами – именно потому, что выступали в качестве врагов; воплотить же трагичность [этого конфликта] способен только тот, кто был вовлечен в его проблематику и бился с нею так, словно трагедия воплощалась в нем самом»[14]. Однако изнутри эту трагедию воплотить было нельзя, так как цензура и самоцензура принуждали к молчанию. После XX съезда КПСС, потрясенный разоблачениями сталинских преступлений, Бехер в 4-ом томе своих «Усилий», которые он в июне 1956 г. сдал в издательство «Aufbau», указал на необходимость нарушить, наконец, это молчание. Но и он в итоге все-таки подчинился ему: в 1957 г., когда том был уже в печати, он вычеркнул из гранок соответствующие пассажи; они были опубликованы только в 1988 г. в журнале «Sinn und Form». Другие оправдывали это молчание или даже героизировали его, как, например, Анна Зегерс (сама она была в «западной» эмиграции, в Мексике). В ее романе «Доверие» (1968 г.) директор сталелитейного завода в Коссине Ульшпергер ничего не рассказывает о том времени, что провел в СССР в тюрьме и в лагере, а секретарь партийной организации предприятия в 1953 г.[15] так комментирует его молчание:

> Прошлое не мешает ему, не может помешать целиком и полностью быть с нами. Все эти годы он молчал. Правильно ли это было? Да, правильно. Нельзя ему было говорить. Многих это вконец сбило бы с толку. А с Ульшпергером что бы ни случилось, его с толку не собьешь, его доверие ничто подорвать не может[16].

В силу названных причин опыт жизни германских эмигрантов в Советском Союзе был в литературе лишь отрывочно сформулирован и проработан. Описать «“внутреннюю” географию эмиграции»[17], хотя бы в основных чертах, удается только сегодня. Большой роман о жизни немцев-эмигрантов в СССР не написан: если не считать мемуаров, есть лишь отдельные пассажи, разрозненные наброски и записи.



# DAS LIED VOM VATERLAND

TEXT: I. LEBEDJEW—KUMATSCH MUSIK: I. DUNAJEWSKI
Deutsche Nachdichtung: ERICH WEINERT

Va ter - land kein Feind soll dich gefähr - den! Teu - res
Land das unsre Lie be trägt, denn es gibt kein andres Land auf
Er - den, wo das Herz so frei dem Menschen schlägt! Denn es
gibt kein an - dres Land auf Er - den wo das
Herz so frei dem Men - schen schlägt. Vom A -
- mur bis an die Be - re - si - na, von der Tai - ga bis zum Kau - ka -
sus schrei - tet frei der Mensch mit heitrer Mie - ne, ward das
Le - ben Wohlstand und Genuss Mächt'ge Kraft ist un - sern Land ent -
sprun - gen, Mäch - tig wie die Wol - ga braust ins
Meer Über all die Bahn frei un - sern Jun - gen! Ü - ber
- all dem Al - ter Schutz und Ehr! Va - ter

II.

*Herrlich liegt die Zukunft uns erschlossen*
*Kühn erbaun wir unsre neue Welt.*
*Sagen wir das stolze Wort Genossen,*
*Fühlen wir, was uns zusammenhält.*
*Nicht mehr Haß der Rassen und Nationen!*
*Gleiches Recht für jeden, der hier schafft!*
*Überall, wo unsre Völker wohnen,*
*Hat das Wort Genosse Klang und Kraft.*
*Vaterland usw. (wie oben)*

4

(Letzte Strophe siehe S. 5)

*«Песня о Родине» Василия Лебедева-Кумача в переводе Эриха Вайнерта, опубликованная в сборнике «Песни Советской Родины» , изданной «Дойче Централ Цайтунг» в Москве*

Богатым источником, которым, однако, надо пользоваться осторожно, являются автобиографические заметки и рассказы тех, кто на краткое или долгое время оказывался в Москве и здесь зарекомендовал себя как «ренегат» (Юлиуса Гая, Густава Реглера, Эрнста Фишера, Герберта Венера, Артура Кёстлера, Рут фон Майенбург, Хильдегарда Пливье), и жертв сталинизма, которым из советских лагерей удалось попасть на Запад (Сюзанне Леонхард, Маргарете Бубер-Нейман, Вальтрауд Николас)[18]. В их текстах тон и направление повествованию задает осуществленный ими разрыв с коммунизмом: им нужно было объяснить – оправдать – и то, почему они раньше верили в коммунизм, участвовали в коммунистическом движении, и почему позднее они от него отошли. Очень часто говорится о политическом обращении[19], о некоем переживании, подобном тому, что произошло в Дамаске с Савлом и привело к его превращению в Павла. После такого опыта можно было все еще свято дорожить «чистотой учения» и только дистанцироваться от его осквернения аппаратчиками и карательными органами партии. В этих текстах, представляющих собой «смесь субъективного изложения фактов и более или менее стилизованных рассуждений о себе и о мире»[20], авторы занимались тем, что подправляли одно, спрямляли другое, меняли датировки – все ради того, чтобы заретушировать собственное неправильное поведение. Или, наоборот, запускался механизм «пророчества задним числом», чтобы доказать, что автор, собственно, уже давно был «против» и многие годы жил двойной жизнью[21]. Субъективная конструкция становится конструкцией субъекта.

То же самое, но в «зеркальном отражении», относится и к воспоминаниям тех, кто остался верен своим социалистическим убеждениям и, соответственно, выбрал своей политической родиной советскую зону оккупации, а затем ГДР (например, Альфред Курелла, Инге фон Вангенхайм, Ханс Роденберг, Труде Рихтер, Хедда Циннер и австриец Хуго Хупперт). Приверженность прежним идеалам точно так же определяла характер текстов, на этот раз, однако, в смысле неизменного воспроизводства старых политических толкований (восхваление коммунистической идеи, клятва верности делу антифашизма как смыслу жизни, оправдание недостатков как следствий внешней угрозы или «детских болезней» социализма). Тем самым, формы проявления сталинизма и структуры господства в сталинском государстве для литературы табуировались. Так, Хедда Циннер свою книгу «На красном ковре. Опыт, мысли, впечатления» (1978 г.) начинает с сообщения о том, что ей и ее мужу Фрицу Эрпенбеку предлагается вернуться в Германию. Труде Рихтер обрывает свои воспоминания «Памятная медаль» (1972 г.), не упомянув об аресте своего мужа Ганса Гюнтера, который погиб уже в 1938 г. по пути в лагерь, и о своей двадцатилетней одиссее по сталинским лагерям и ссылкам. И мемуары Хельмута Дамериуса («За десять морей к центру мира», 1977 г.) о выступлениях и поездках с агитпропгруппой «Колонне линкс» кончаются, как только рассказ хронологически доходит до момента, когда автора арестовали за то, что он якобы принадлежал к организации «Гитлерюгенд» в Советском Союзе[22]. Бернхард Райх в книге «Наперегонки со временем. Воспоминания о полувеке истории немецкого театра» (1970 г.) весьма скупо говорит о времени, проведенном им и его женой Асей Лацис[23] в заключении. Он, например, пишет, что Брехт «был очень озабочен судьбой друзей в Советском Союзе, о которых он давно ничего не слышал», или что он справлялся об Асе Лацис («Ему, наверное, уже рассказали о нашем несчастье»)[24] и старался добиться реабилитации Райха. Хуго Хупперт в написанной в 1972 г. автобиографической поэме об эмигра-

ции под названием «Голубятня»[25] упоминает имена жертв сталинизма – Херварта Вальдена, Эрнста Оттвальта и Ганса Гюнтера, – но ничего не говорит об их трагической судьбе.

И все же вытесненное из памяти прошлое предъявляло свои права. Большинство из названных авторов пересмотрели впоследствии свои прежние биографические ретроспективы и написали еще по одной книге, дополняющей первую; это, впрочем, не означает, будто «белых пятен» больше не осталось. Вот несколько примеров: Хедда Циннер[26], которая сама во времена Сталина жила в постоянной опасности, но не пострадала, в рассказе «Сильное нетерпение» (1988 г.) описывает то потрясение, которое произвел XX съезд КПСС. Сын упрекает мать в том, что она солгала, скрыв от него смерть отца в лагере: «Ты врала, мама. Твое молчание было ложью». Он даже подозревает, что она выжила благодаря тому, что была осведомительницей. Оправдания, которые приводит мать, воспроизводят старый аргумент – ссылку на классового врага:

> – Ты думаешь, мы молчали из страха? […] Бояться нам здесь уже нечего было, никто ничего серьезного нам бы не сделал, не смог бы сделать. Но подумай сам, в какую страну мы вернулись, как глубоко еще сидел фашизм во многих людях. Из-за врагов здесь и за границей, да, и за границей, […] нельзя было говорить, не повредив нашему делу[27].

Конфликт есть, но в опубликованной версии рассказа – в отличие от одного сохранившегося в архиве наброска[28] – автор уклоняется от него: Петер перебирается на Запад, попадает в среду, связанную с Фракцией Красная Армия (RAF), и умирает террористом. Мораль: он не понял разницы «между сильным нетерпением террориста и жгучим нетерпением настоящего революционера». Матери остается единственная утешительная перспектива: «Опять она с надеждой смотрела на Советский Союз. […] Она прошла путь через пустыню. Она видела, как вдали сияет Земля Обетованная»[29].

Предисловие к опубликованной годом позже книге воспоминаний Хедды Циннер «Самодопрос» (1989 г.)[30] тоже называется «Сильное нетерпение», а сам текст снова представляет собой балансирование на грани между критикой и оправданием[31]. В условиях «сталинского террора» для нее распался «мир, но не ее представление о мире»[32]:

> Я видела и пережила тяжкие вещи и старалась обнаружить то великое «вопреки всему», которое только и придает смысл ударам судьбы. Мы – мой муж Фриц Эрпенбек и я – приехали в страну Ленина с иллюзиями, которые едва ли поддаются описанию […]; мы долго пытались уберечь себя от осознания правды. А она заключалась в том, что каждый процент экономического роста должен был быть оплачен отказом людей от самого скромного благосостояния, – да, должен был, так как укрепление Советского Союза означало укрепление социализма, а от этого нельзя было отказаться, чтобы история продвинулась на шаг – всего лишь на один шаг – вперед. Мы с восторгом приветствовали каждый успех СССР, мы одобряли революционную жесткость, выстрадав понимание ее необходимости, мы не могли постичь ее вырождение в беззаконие во времена культа личности и пытались найти его непостижимый закон. Когда подвергались аресту хорошие друзья, товарищи, за невиновность которых я могла бы поручиться, мир для меня рушился, но все же мое представление о мире оставалось при мне. И когда я снова обретала способность воспринимать

> окружающий мир, я видела, что история развивается в целом согласно этому представлению; язв капитализма не становилось меньше, достижений социализма становилось больше, страна, где мы пережили так много прекрасного и так много тяжкого, превращалась в мировую державу – и в силу, обеспечивавшую мир. Да, история требует от нас порой нечеловеческого терпения[33].

В 1982 г. Хельмут Дамериус передал Вернеру Миттенцваю рукопись о годах, проведенных в тюрьме и лагере и не вошедших в ранее изданные мемуары. Книга вышла в 1990 г., через пять лет после смерти Дамериуса, под заголовком «По ложному обвинению. 18 лет в тайге и степи». Субъективное повествование получает в книге фактическую базу в виде протоколов допросов и документов из дела Дамериуса, которые приведены в изданном в 1997 г. Владимиром Колязиным томе документов из московских архивов под названием «Верните мне свободу!». Однако Дамериус умалчивает в своей книге о собственной деятельности в качестве информатора НКВД. Вместо этого он с удовлетворением пишет о том, как подозрение в осведомительстве, павшее на него, когда ночью забрали почти всех мужчин, живших в квартире «Колонне линкс», рассеялось, когда арестовали его самого[34]. Но ведь именно своей осведомительской деятельностью хвастался заключенный ГУЛАГа Хельмут Дамериус в письме Вильгельму Пику от 5 апреля 1941 г.:

> В последнее время, в 1936–1938 гг., я, выполняя общественное поручение, был секретным сотрудником Московского управления НКВД под агентурным псевдонимом Дойно. […] Следователи, которые меня допрашивали, заставляли меня побоями и угрозами подписывать протоколы с чудовищными, лживыми обвинениями. Так, следователь Митрофанов бил меня мокрым скрученным полотенцем и кулаком по наиболее чувствительным частям тела. […] Я был связан с отдельными лицами, которые подозревались в контрреволюционной деятельности, но каждый раз это происходило по прямому указанию Московского управления НКВД. Эти связи я поддерживал в соответствии с полученными от НКВД директивами, как секретный сотрудник, и о каждой такой встрече давал подробный отчет под агентурным псевдонимом Дойно[35].

Письмо это приведено в упомянутом сборнике документов «Верните мне свободу!»[36], но, как установил Райнхард Мюллер, пассажи об НКВД и пытках все же «отсутствуют из-за вмешательства цензуры»[37].

Труде Рихтер также написала вторую часть своих воспоминаний «Смерть и воскрешение» и передала их в партийный архив. Книга в новой редакции под названием «Объявлена умершей. Воспоминания» вышла в 1990 г. Изложение все еще соответствует клятве, данной мемуаристкой своему мужу Гансу Гюнтеру при его аресте: «Что бы с нами ни случилось – нашему делу мы останемся верны!» Годы в лагере и ссылке, отмеченные поддержкой и дружбой, а не бесчеловечностью и ужасом, показаны как «время созревания», возвращение в ГДР (только в 1956 г.!) – как подарок: «И тут внезапно до меня дошло, какое необыкновенно великое счастье мне выпало: в части моей страны теперь тоже строился мир человечности, и мне была дана возможность в этом помогать»[38]. Как сказал Райнер Кирш после чтения рукописи (в которой была еще и вторая часть книги, идеализирующая социализм в ГДР[39]), рассказ Труде Рихтер «потрясает»:

> Не только излагаемыми фактами, о которых здесь вряд ли кому-то известно в деталях, но еще и как документ человеческого состояния, которое мне и наверняка многим другим понятно = объяснимо, но все же с трудом укладывается в голове; я имею в виду Твое постоянное, лишь иногда, как от ушата холодной воды, «трезвеющее» под влиянием силы фактов стремление оправдывать. Правда, только это, по сути своей, на самом деле, религиозное сознание, если я правильно понимаю, и позволило Тебе все это пережить и вынести; не скажу – вынести не сломившись[40].

И в упомянутых «вторых» книгах все еще чувствуется страх, великое табу, а часто также желание придать пережитому, в соответствии с эстетическими и эпистемологическими требованиями социалистического реализма, некую гармоничную, снимающую конфликт перспективу. Молчание десятилетиями тяготело над этой главой германо-советских отношений (это относится, между прочим, и к исследованиям ученых из ГДР[41]). Оно диктовалось не только идеологическими убеждениями авторов и их оглядкой на враждебное окружение: оно было еще и политически навязано им. Тем из немецких политэмигрантов, кто в 1950-е годы хотел обратно в Германию, не разрешали выезжать в Федеративную республику или в Западный Берлин. Это, как выяснил Петер Эрлер, было результатом урока, извлеченного советскими властями из дела Сузанне и Вольфганга Леонхардов[42]. В ГДР вернувшиеся из ГУЛАГа люди материально были обеспечены хорошо – по иронии судьбы им назначали пенсию как лицам, преследовавшимся при нацизме, – им помогали интегрироваться в трудовую и общественную жизнь, они получали почетные звания и медали[43], но с них брали обязательство молчать о том, что они пережили в лагерях, и сдавать соответствующие документы на хранение в ЦК СЕПГ. «Потерянное время» не учитывалось, дискуссии об этом пресекались[44]. Одни одобряли такую политику «намеренного сокрытия преступлений сталинщины в отношении немецких эмигрантов»[45], движимые неизменной партийной сознательностью, во имя «интересов безопасности прославляемого Советского Союза» [46]; они полагали, что «люди, которые так много надежд связывали с социализмом, не вынесут правды»[47]. Характерно обоснование, которое в октябре 1989 г. привела Эрна К., отказываясь дать интервью Эльфриде Брюнинг:

> Я с 15 лет в революционном рабочем движении, и меня глубоко потрясают события последнего времени в нашей стране и в других социалистических странах. Всем искренним социалистам и коммунистам придется много потрудиться, чтобы вопреки надеждам капиталистического мира преодолеть этот кризис и укрепить веру в социализм и его историческую миссию. В этой ситуации горькие воспоминания о временах сталинизма, миновавших уже более полувека назад, хоть и не ушли из моей личной памяти, но сегодня не имеют значения и только сбивали бы население с толку[48].

Для других требование молчать было все равно, что оставаться заживо погребенными. Из-за него так и не смог почувствовать себя вернувшимся домой Додо Гараи, возвратившийся в Германию в 1955 г., и это стало, по его словам, «последней и самой глубокой трещиной в моей жизни»[49]. Третьи «оставляли за кадром» воспоминаний все, связанное с политикой, и хотели вспоминать только «светлые проявления готовности людей прийти на помощь». То, что здесь, много лет спустя, прорывалось у последних, еще оставшихся в живых, мемуаристов, относится ко всем эмигрантам: для них дело было вовсе не в том, как *представить* собственную жизнь, дело было

в *главных, определивших биографию решениях*; если бы их пришлось признать ошибочными, то и вся жизнь оказалась бы неудавшейся. Ложь о жизни бывает ее спасением. Именно это имел в виду Генрих Фогелер, некогда известный художник, когда, живя в ужаснейших условиях в Казахстане, писал своему зятю Густаву Реглеру, который хотел пригласить его в Мексику: «Не отнимай у меня веру. Иначе получится, что вся моя жизнь была бессмыслицей»[50]. И даже критически настроенным авторам, вернувшимся в ГДР, было трудно после многих лет лишений отступиться от идеала, за который они так много приняли страданий[51]. Они тоже пытались «снова и снова приводить ко взаимному соответствию в своей жизненной истории “внешнюю” пропаганду и “внутренние” мысли»[52], осуществить то, что Адорно назвал «навязанным примирением».

О чем десятилетиями говорилось лишь намеками, что оставлялось за кадром и затмевалось, становится теперь более ясным – не только благодаря написанию дополненных или исправленных автобиографий, но и потому, что архивы дают возможность познакомиться с процессом принятия политических решений, со структурами культурной деятельности, с методами работы органов безопасности. В последние годы вышло из печати много важных публикаций источников, сборников документов, дневников и писем, а также книг о повседневной жизни при Сталине.

## Переход в восприятии: от «Земли Обетованной» к «пристанищу беженцев»

Эмиграцию в Советский Союз едва ли можно понять без ее предыстории. Она началась с Октябрьской революции, которая для многих западных интеллектуалов превратила страну Советов в Землю Обетованную. Такой Советский Союз, с его жизненной силой, способностью к обновлению, был противоположностью опустошенности и декадансу Запада; он служил экраном, на который можно было проецировать мечты, не сбывшиеся в Германии. Казалось, будто страна на востоке есть та сила, которая «спасет нас от недовольства в культуре, от разлада между рациональным и эмоциональным, физическим и духовным»[53]. С этой надеждой на избавление паломники отправлялись в Москву[54].

Развивался оживленный революционный и политический туризм: из Германии в Советскую Россию – как, впрочем, и в обратном направлении тоже – отправлялись делегации и отдельные лица, рабочие и интеллектуалы, политики и спортсмены. Обязательным было последующее засвидетельствование увиденного в форме брошюр, докладов или вечеров с показом фильмов. Множество фоторепортажей формировали визуальное восприятие. «Никогда еще не было так много фотографий из Советской России и о ней, как в Берлине в 1918–1933 гг.», – писал Карл Шлёгель. И далее:

> Дело было не только и не столько в информации о далекой стране, сколько в том, что это были фотографии из «нового мира»; это была фиксация того, что должно считаться отсталым и что современным; дело было в эстетике того, что отвечало духу времени. Речь шла об установлении монополии на изображение, которой суждено было стать гораздо менее прозрачной, нежели цензура и языковые нормы, но зато чрезвычайно успешной и имевшей необыкновенно большие последствия[55].

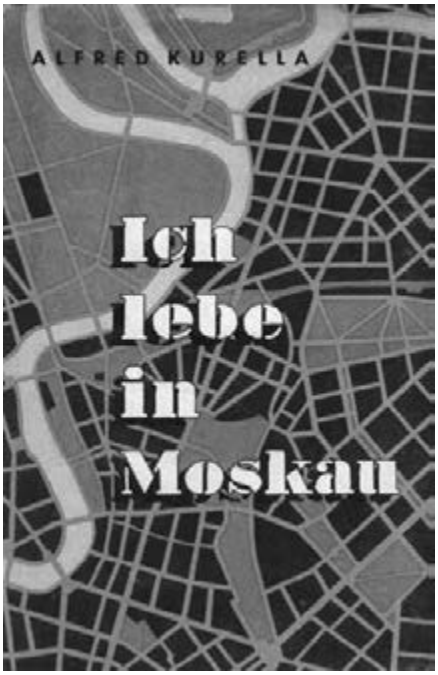
*Ворота с лозунгом «Привет трудящимся Запада» в приграничном поселке Негорелое*

Определяющими были, прежде всего, статьи, фотографии и фотомонтажи (особенно Джона Хартфилда) в «Arbeiter-Illustrierte-Zeitung» (AIZ), которая в 1930 г. выходила тиражом в 500 тыс. экземпляров в неделю и, таким образом, была вторым по величине иллюстрированным изданием в Германии. Бестселлером стал фотоальбом («книга-фильм») Эрнста Глезера и Ф.К. Вайскопфа «Государство, где нет безработных» (1931 г.), содержавший 265 фотографий сборочных цехов, плотин, коллективных хозяйств, новостроек, социальных учреждений и «новых людей» пятилетки. «Фотографии, фотографии…», – говорилось в послесловии Альфреда Куреллы:

> Поднимается огромная страна: шестая часть земной суши, субтропическая растительность, вечные льды, девственные леса, степи, «черноземье»… Пестрое смешение народов. Гигантские промышленные сооружения, электростанции, доменные печи, мосты, конвейеры. Все новое, только что построено. Сельскохозяйственные предприятия, зернохранилища, комбайны в небывалом количестве. И это тоже все новое. А, кроме того, больницы, школы, общественные парки, радиостанции, памятники, санатории. И повсюду люди, – своеобразные люди, необычные не только разнообразием рас, но, прежде всего, выражением лиц, которое говорит о чем-то новом, нам неизвестном[56].

И, наверное, именно эта игра на контрастах между изображениями плохой прежней жизни, старого, отжившего мира (оборванные, завшивленные жалкие фигуры, убогие крестьянские лачуги, утопающие в грязи деревенские улицы), который следовало разрушить, с одной стороны, и сверкающей современностью с ее пафосом будущего (доменные печи и плотины, радость урожая в колхозе, ликующие рабочие и крестьяне, улыбающиеся дети), с другой, не давала увидеть ни измотанных людей, ни катастрофу голода, сопровождавшую принудительную коллективизацию[57]. В ментальном багаже у всех, кто собирался посетить Советскую Россию, волей-неволей оказывались эти фотографии вместе с текстами того же содержания и твердым же-

ланием увидеть в Советском Союзе лучший мировой порядок и экономический строй, нежели те, которые мог предложить капитализм.




*Обложки книг Эрнста Глезера и Ф.К. Вайскопфа «Государство, где нет безработных. Три года “пятилетки”» (Берлин, 1931) и Альфреда Куреллы «Я живу в Москве» (Берлин, 1947)*

«Мировой кризис капитализма заставляет даже людей предубежденных, скептически и враждебно настроенных, задуматься о крупном и становящемся с каждым днем сильнее антагонисте частнокапиталистического общественного строя, – пишут в предисловии издатели «Государства, где нет безработных». – Никто не должен забывать, что Советский Союз после четырех лет войны и четырех лет гражданской войны совершает прыжок из периода отсталых форм производства в двадцатый век и, кроме того, берется за то, чтобы заменить анархию капиталистической экономической системы закономерностью социалистического планового хозяйства. […] Никто не должен также забывать, что высший принцип советской индустриализации гласит: не прибыль, но удовлетворение потребностей трудящегося человека»[58].

В молодом Советском Союзе культивировалось гостеприимство: созданное в 1925 г. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС), открывшее специальное бюро «культурного обслуживания» гостей, только за первые пять лет своего существования приняло по самому высокому разряду почти 7000 иностранцев[59]. Такой прием предусматривал встречу на вокзале или в порту с оркестром и цветами, ликующими, машущими флажками пионерами и речами, постоянное сопровождение переводчика, хорошие размещение и стол, торжественные банкеты, посещение драматических и оперных театров, ознакомительные поездки, посещение репрезентативных, часто специально подготовленных учреждений – детских домов, фабрик,

*Праздничное гулянье московских трудящихся на Большом Каменном мосту, 1930-е годы. (Фото: Эммануил Евзерихин)*

санаториев и т. п., – в том числе и образцовой трудкоммуны НКВД в подмосковном Болшеве.

Однако такая всеохватная забота имела и обратную сторону – доскональный контроль, – которая проявлялась, как только кто-то хотел увидеть что-то другое и уклониться от намеченного маршрута. К тому же гости страны, как правило, не знали русского языка, и лишь немногие из них понимали, что «потемкинские деревни» – это декорация. Большинство принимали представление за социалистическую действительность и заверяли подлинность увиденного (якобы аутентичным) отчетом очевидца[60].

И все-таки: Советский Союз был еще страной, открытой для гостей. В конце 1920-х – начале 1930-х годов в страну приглашали иностранных специалистов для помощи в форсированном строительстве социалистической индустрии[61]. До 1932 г. проводились – затем резко прекратились – кампании вербовки на работу, которые ввиду высокой безработицы в Германии и роста национал-социализма встречали широкий положительный отклик. СССР проявил гостеприимство и в отношении австрийских шуцбундовцев[62], которые после подавления их восстания в феврале 1934 г. искали в Советском Союзе убежище и работу[63]. 120 детей шуцбундовцев (часть их без родителей), которые в 1934 г. приехали в СССР, сначала были для советского государственного и партийного руководства предметом политического престижа, весьма ценным для пропаганды. Детей, большинство которых происходило из бедных семей, одели во все новое, отправили отдыхать в Крым и потом учили в специально организованном, сегодня уже почти легендарном «Детском доме № 6»[64].

В области культуры последней вершиной и одновременно концом фазы агитации за признание и поддержку СССР был состоявшийся в 1934 г. I съезд советских писателей[65]. Он проходил с 17 августа по 1 сентября в Москве, на нем присутствовали 600 советских делегатов, 40 зарубежных авторов и 25000 гостей, что делало его крупным, блестяще организованным событием[66]. Немецкоязычную литературу представляли такие известные авторы, как Йоханнес Р. Бехер, Вилли Бредель, Франц К. Вайскопф, Фридрих Вольф, Виланд Херцфельде, Оскар Мария Граф, Теодор Пли-

вье, Клаус Манн, Густав Реглер, Эрнст Толлер. Конечно, видя щедро расточаемое гостеприимство и тщательно подготовленные поездки, они отчасти поняли, какой мощный режиссер стоял за этим спектаклем и каких трудов стоила его постановка[67], но все отозвались о нем в хвалебных выражениях. Для Оскара Марии Графа съезд был «грандиозным обменом мнениями между интеллектуалами»[68], для Виланда Херцфельде и Ф.К. Вайскопфа – мероприятием, которому нет равного в истории. Гостей привлекало, прежде всего, то внимание, с каким в Советском Союзе относились к литературе, и то, как чествовали ее великих представителей. Такое глубокое уважение произвело впечатление именно на немецких писателей, изгнанных с родины и лишенных там всякого значения. Здесь же они чувствовали себя баловнями, почитаемыми и востребованными. Они надеялись избежать изоляции, найти читателей и позабыть культурно-политические ссоры прошлых лет под знаком народного фронта. Клаус Манн в своих «Заметках из Москвы» чуть ли не заклинает:

> Литература здесь – не декоративная виньетка на полях общества. Она – активная часть общественной жизни. […] Вопрос, который вечно страшит писателей на Западе, который часто их парализует, – горький вопрос: Для кого ты, собственно говоря, пишешь? Здесь на этот вопрос дается ответ, замечательный своей очевидностью. Здесь писатель работает, буквально, для всех: красноармеец читает, и колхозница из ударной бригады читает; рабочие обсуждают книги, книги покупают инженеры, матросы, школьники и телефонистки[69].

Посылом съезда было единение с читателем и политическая действенность, так что никто не хотел воспринимать начертанное на стене зловещее предзнаменование – лозунг социалистического реализма и высказывание Сталина о писателе как инженере человеческих душ.

Три месяца спустя, 1 декабря 1934 г., был убит секретарь Ленинградского обкома партии Киров, что послужило сигналом к ужаснейшим, длившимся годы репрессиям. Теперь широкий размах получил не только террор, но и ксенофобия. Впрочем, ни то, ни другое не было неожиданностью, так как уже до того и внутри страны, и на ее границах возводились и постепенно наращивались барьеры[70]. С момента принятия в 1925 г. решения о строительстве социализма в одной стране, вопреки демонстративному гостеприимству и наряду с ним, проводилась политика жесткого отгораживания и изоляции. С 1927 г. были ограничены командировки за границу, через два года стали карать за отклонения от предписанных маршрутов поездок. Уже в 1929 г. отказ советских граждан возвращаться на родину стал рассматриваться как переход в лагерь врага и предательство, а в 1934 г. вышло распоряжение о том, чтобы за бегство расстреливать. В середине 1930-х годов контакты с заграницей были сведены к минимуму; введение обязательной регистрации и выдача вида на жительство в визовом отделе милиции означали более строгий контроль над свободой передвижения иностранцев по стране; был ограничен международный туризм. Целая система мер фактически лишила и советских граждан свободы передвижения в собственной стране. Были выданы внутренние паспорта – правда, лишь некоторым категориям населения: остальные были записаны в «человеческий материал»[71].

Пространство замкнулось и в географическом, и в метафизическом смысле. Граница все больше и больше приобретала значение преграды между добром и злом. Пагубное начало, враждебный антимир все более однозначно и агрессивно идентифицировали с Западом. Отныне любой контакт с иностранцем мог быть опасным;

нужно было быть бдительным и разоблачать чужаков. Гости, будь то интеллектуалы, рабочие или шуцбундовцы, которых прежде так подчеркнуто хорошо принимали, теперь часто сталкивались с недоверием и враждебностью.

Таким образом, страна принципиально изменилась еще до начала большого террора. Она больше не была Землей Обетованной, градом небесным на земле, ярко сияющей красной путеводной звездой, но стала «благоразумной», рационально обоснованной альтернативой фашизму. Теперь выбор в пользу СССР определялся не сердцем и верой, как раньше, но мозгом, рассудком. Клаус Манн в своих мемуарах «Поворотный момент» резюмирует:

> Приемлемым и даже незаменимым союзником в борьбе против кровожадного атавистического иррационализма Гитлера и Розенберга мне казался воинствующий рационализм, «научно обоснованная» вера писателей-сталинистов в прогресс[72].

Иначе говоря: в 1930-е годы Москва еще оставалась прибежищем, но перестала «быть той точкой, в которой сходились все представления о лучшем мире»[73].

## Советский Союз как судьба: биографические очерки

Вопреки распространенному мнению, сплоченного сообщества правоверных, искавших в Советском Союзе убежища от национал-социализма, не было. Для одних советская виза действительно означала исполнение мечты всей жизни или, по меньшей мере, была логическим следствием предыдущей политической деятельности. Другие ехали в Советский Союз, руководствуясь не внутренним убеждением, а за недостатком альтернатив; третьи «застревали» там не по своей воле. Четвертые – как, например, Бертольт Брехт, которого, учитывая его репутацию, охотно приняли бы в СССР как эмигранта, – подозревали или слишком много знали о препонах, творческих и политических, которых пришлось бы там опасаться[74], и отклоняли приглашения[75]. Брехт пересек Советский Союз в 1941 г. только для того, чтобы (оставив в московской больнице смертельно больную Маргарету Штеффин) во Владивостоке сесть на пароход, отплывающий в Америку. Итак, предварительные познания и ожидания писателей и художников, хотя потом все они разделили жребий эмигрантов, были столь же различны, как и их дальнейшие судьбы. Вот несколько примеров.

**Хуго Хупперт** (1902–1982) приехал в Москву еще в 1928 г., так как его пригласили участвовать в подготовке полного собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса. В Советском Союзе и началось его становление как писателя. Он полностью погрузился в русский язык и в советскую действительность, переводил Маяковского, в 1930 г. стал членом ВКП(б), в 1932–1935 гг. учился в Институте красной профессуры. Немецкие эмигранты, с которыми он был связан как редактор в газете «Deutsche Zentral-Zeitung» (DZZ) и журнале «Internationale Literatur»[76], были с ним сдержанны. Причина была не только в том, что среди писателей-эмигрантов он был «литературным нулем», но и в том, что, по многим свидетельствам, с ним нелегко

*Повседневная жизнь в мундирах. Москва, 1937 г. В Центральном парке культуры и отдыха. (Фото: Эммануил Евзерихин)*

было общаться[77]; к тому же, благодаря своей успешной интеграции в советское общество, он стал чужим для эмигрантской колонии[78]. «С идеологической проницательностью ранее не замечаемого, но готового к продвижению кадра»[79] он в 1931 г. приветствовал «чистку» в Институте Маркса и Энгельса («Совершенно правильно, пройдет дезинфекция. Но на этот раз основательная».[80]). И все же попытка Хупперта дискредитировать руководство немецкой секции Союза советских писателей с помощью постоянных «сигналов» и написанной им вместе с Эрнстом Фабри полемической статьи, которая за подписью «Карл Штюрмер» появилась в «DZZ» 10 февраля 1938 г.[81], ему самому вышла боком: 16 февраля 1938 г. Хупперт за «злостные подозрения» и «лживую клевету» был исключен из состава руководства секции и редакции «Internationale Literatur»[82]. «Теперь каждый может безнаказанно называть меня вредителем, двурушником, фальсификатором», – жаловался он несколько дней спустя в письме Альфреду Курелле[83]. На рассвете 12 марта 1938 г. Хупперта арестовали, однако через 13 месяцев, после «абсолютно незаслуженных, совершенно неописуемых страданий […], с разрушенной нервной системой, полностью внутренне опустошенный и с истерзанной до полусмерти душой»[84], он был выпущен на свободу. Из-за этого – освобождение по тем временам было большой редкостью – недоверие к Хупперту, как он горько жаловался в письмах, возросло еще больше. Герберт Венер в своих записках подтверждает, что после ареста другие писатели выставляли Хупперта «воплощением всего самого грязного, враждебного Советской стране, сторонником групповщины и обвиняли в тайных связях с фашистами»[85]. И Юлиус Гай вспоминает, что никто не удивился аресту Хупперта: «Конечно, мы не знали, что стало непосредственной причиной его ареста, но при его плохом характере, его озлобленности, его извращенном мышлении от него можно было ожидать чего угодно»[86]. После освобождения Хупперт был доцентом в Институте мировой литературы, во время войны работал для Политуправления Советской Армии и был секретарем Ильи Эренбурга, в чине майора 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении Вены. Его культурно-политическая деятельность в Вене (в том числе в качестве редактора отдела культуры в газете «Österreichische Zeitung», издававшейся советской военной администрацией) была прервана, как говорилось выше, «вторич-

ной эмиграцией» в СССР, которая продлилась с 1949 по 1956 год[87]. Хупперт умер в Вене, а в ГДР его почитали как переводчика Маяковского.

**Йоханнес Р. Бехер** (1891–1958) давно обратил «на Восток взгляд, полный ожидания»[88] и горячо приветствовал Октябрьскую революцию. Молодой поэт, жаждавший верить, активно поддерживал Россию, связывая с нею надежду на то, что род людской воспрянет, а свое членство в КПГ он связывал со стремлением к стабильности в силу действия «“единой машины”, дающей чувство надежности»[89]. Защиту идентичности, личное спасение он обрел в непрерывности творчества и литературной объективизации, в процессе «становления как поэта»[90]. В 1928 г. Бехер стал одним из основателей и председателем Союза пролетарско-революционных писателей (БПРС) и его представителем в Международном объединении революционных писателей (МОРП). Начиная с 1927 г. он много раз посещал Советский Союз и, в частности, в 1930 г. принимал участие во II Международной конференции революционных писателей в Харькове. Тогда же он стал свидетелем процесса «промпартии», который явился центральным моментом действия его эпоса в стихах «Великий план» (1931 г.). Как и прежде – да и потом – Бехер в данном случае оправдывал революционную жесткость и насилие[91]. В 1933 г. он ходатайствовал о получении убежища в Советском Союзе и стал главным редактором немецкого издания журнала «Интернациональная литература». Однако он не стал окунаться в среду русского языка и русского быта и, в принципе, остался «москвичом поневоле»[92]. Его письма 1934–1935 гг. из Парижа, где он, помимо всего прочего, участвовал в подготовке Международного конгресса в защиту культуры, показывают, что по окончании конгресса он вернулся в Москву не столько по внутреннему убеждению, сколько из-за нехватки денег и отсутствия альтернативы[93]. Так, в письмах в Москву Бехер беспокоится в связи с «известными сообщениями, в которых говорится, будто у Вас писатели […] каждый день “едят друг друга на завтрак”»[94]: «Нет, здесь никому не придет в голову браться за перо, когда знаешь, что, взявшись за него, от него и погибнешь»[95]. Письма Бехера, недовольно отмечает Бредель, написаны так, «будто автор здесь никогда не был и никогда здесь не работал»[96]. После того, как Бехер в октябре 1935 г. вернулся в Москву, ему больше не позволяли по собственной инициативе покидать страну, а его спутнице жизни Лилли Корпус грозило исключение из партии. В сентябре 1936 г. следственная комиссия рекомендовала: «Поручить Отделу кадров дать сведения о нем в НКВД. Предложить руководству КПГ закрыть для него допуск к партаппарату, решить вопрос о его партийной принадлежности. Считать необходимым выезд». О Лилли Корпус в протоколе отмечено: «То же самое, что и в отношении Бехера. Предложить Отделу кадров продолжить расследование, найти личное дело и предложить руководству КПГ вывести ее из партаппарата»[97]. Как видно из справки, составленной секретной службой (около 1941 г.), угроза, нависшая над Бехером, не рассеялась и в последующие годы:

> Бехер неоднократно высказывал антисоветские настроения. Будучи редактором журнала «Интернациональная литература», противился опубликованию в нем произведений советских писателей, причем в узком кругу оценивал русскую литературу как бессодержательную. В своих произведениях пытался протащить антисоветские взгляды, как это имело место в опубликованном его стихотворении «Тассо», содержащем прямые выпады против партии. Бехер поддерживает тесные связи с рядом антисоветски настроенных немецких писателей: Габор, Гальперн, Эрпенбек и др. После заключения договора о дружбе между СССР и Германией, высказывал намерение «перебраться в Германию»[98].

Очевидно, тайная полиция умела читать внимательно. Инкриминируемое стихотворение «Тассо» из сборника «Возрождение»[99] начинается так:

Терпимый, хоть и против воли,
И равнодушно приветствуемый, и постоянно подозреваемый
Вами, спутниками, не удостоенный
Общения с вами, отделывающимися от меня скупыми словами,
Замечаемый только иногда, когда меня похвалит
Другая сторона, а потом опять
Забываемый, как будто неудобен
В такие времена поэт, устаревший
Уже давно, бесполезный фокус, вытащенный из прошлого, –
меж тем как многие другие,
Которые быстро выполняли любое поручение,
Получали почести и считались надежными:
Их вы перед всем миром сверх меры одарили
Своим доверием –
Никакого сочувствия от вас, спутники,
Не получая (терпимый, хотя и против воли),
Сотворил я свои стихи и смело плюнул
Себе под ноги, исторг из себя озлобление,
Чтобы оно не напало на меня в моем углу и
Не довело до самоубийства. […]

Поведение Бехера, который, по мнению Лукача, был «очень трусливым и впечатлительным человеком»[100], в отношении товарищей по партии и коллег по немецкой секции Союза советских писателей было амбивалентным: за одних (например, Пливье) он смело вступался, а на других (например, на Марию Остен) писал доносы. Страх и очарованность были определяющими факторами и в его отношении к Советскому Союзу, и в его творческой работе в годы эмиграции. Наверное, как ни один другой эмигрант в СССР, он страдал от «утраты прежней творческой родины» и изгнание воспринимал как «клеймо бездомного, чужака»[101]. В Советском Союзе Бехер, как утверждается, неоднократно пытался покончить с собой[102]. Осенью 1941 г. он вместе с большинством других немецких писателей был эвакуирован в Ташкент, но уже в начале 1942 г. с помощью Димитрова смог вернуться в Москву[103]. В июле 1945 г. Бехер, наконец, вернулся в Германию, где, став основателем Культурбунда за демократическое обновление Германии и первым министром культуры ГДР, сделался центральной фигурой политики в области культуры, однако, вместе с тем, он до самой своей смерти 11 октября 1958 г. остался «раздвоенным поэтом»[104].

**Херварт Вальден** (1878–1941) – «первопроходец модернизма»[105], друг и покровитель таких выдающихся художников, как Шагал, Кокошка, Клее, Марк, Файнингер, Эль Лисицкий и Кандинский, – в 1910–1932 гг. издавал в Берлине журнал о культуре и искусстве «Der Sturm», прославившийся тем, что вокруг него собрались представители раннего авангарда. Начиная с середины 1920-х годов, Вальден неоднократно подолгу бывал в СССР, которым он восторгался и за который агитировал, будучи членом Общества друзей новой России. «Прыжок из истории», надежды на который он связывал сначала с экспрессионизмом, позднее, уже на иной основе,

ожидал от коммунистической партии и молодого Советского Союза[106], который он восторженно идеализировал в своих репортажах:

> В Советской России человечность одержала победу над человечеством. […] Люди в России – это естественные люди. […] Их глаза – это глаза детей, полные нетерпения, полные удивления. Они думают как чувствуют. И когда их способ мышления охватит всю Землю целиком, то помыслы о Земле станут смыслом Земли[107].

Он даже слепо поверил в то, что «колония для преступников» и исполнение наказания – дело гуманное и нужное, с точки зрения педагогики[108]. «Идеалист» и «благородный коммунист», «который никогда не ошибался в вопросах искусства, жестоко ошибся в политике, и это имело тяжелые последствия»[109]. Потом Советский Союз уже не был для него лучшим из миров, только Москва оставалась еще «улучшенным Берлином»[110]. И все же в 1932 г. он принял предложение переселиться в Советский Союз, чтобы готовить к изданию всемирную энциклопедию современной словесности, тем более, что журнал «Der Sturm» оказался в тяжелом финансовом положении, и многие деятели искусства, прежде связанные с ним, отвернулись от своего покровителя[111]. В Москве Вальден писал для журналов «Internationale Literatur» и «Das Wort», в которых сотрудничали эмигранты, был доцентом и преподавал немецкий язык в Институте иностранных языков (здесь его учеником был Лев Копелев), давал частные уроки. Необходимость дорого платить за жилье («Одной из идей фикс этого человека было не иметь квартиры, но оставаться вечным постояльцем гостиницы»[112]) вынуждала этого своенравного, стремившегося во всем к стильности человека много и изнурительно трудиться, чтобы заработать на жизнь. Уже в 1934 г. Вальдена обвинили в левачестве, а потом в 1936 г., в ходе т. н. «дебатов об экспрессионизме», состоявшихся на страницах московского журнала «Das Wort», последовал разгром авангарда, который ударил и по Вальдену, бывшему некогда первым поборником этого движения. Новое выступление Вальдена в поддержку экспрессионизма, революционного искусства как средства самовыражения «прогрессивного человечества»[113], было не ко времени – ни политически, ни эстетически. 13 марта 1941 г. Вальден был арестован в гостинице «Метрополь»[114]. Ему инкриминировали шпионаж в пользу Германии и то, что он якобы уже во время Первой мировой войны был агентом германской разведки[115]. Против этого обвинения он решительно протестовал в заявлении на имя генерального прокурора СССР Вышинского от 10 апреля 1941 г., отметив: «Я борюсь не за свою жизнь – мне 63 года, – я борюсь за мое честное имя и честную работу в течение 40 лет»[116]. Он умер 31 октября 1941 г. в тюремной больнице в Саратове, и о нем надолго забыли. Несмотря на членство в КПГ, по сути своей это был аполитичный эмигрант, которого в том, что касается литературы и искусства, обогнало время, – и за него некому было замолвить слово.

**Фридрих Вольф** (1888–1953), который сам о себе говорил, что он «немецкий еврей, писатель, социалист», приехал в СССР как изгнанник, на которого шла охота, но с большими надеждами[117]. Врач и писатель, ставший в Германии со своим театром политической борьбы (в том числе пьесой 1929 г. «Цианистый калий», направленной против запрещения абортов[118]) нежелательным лицом, в 1933 г. через Австрию, Швейцарию и Францию бежал в СССР. Вольф и в Советском Союзе имел успех и, благодаря дружбе с Всеволодом Вишневским, в некотором смысле пользо-

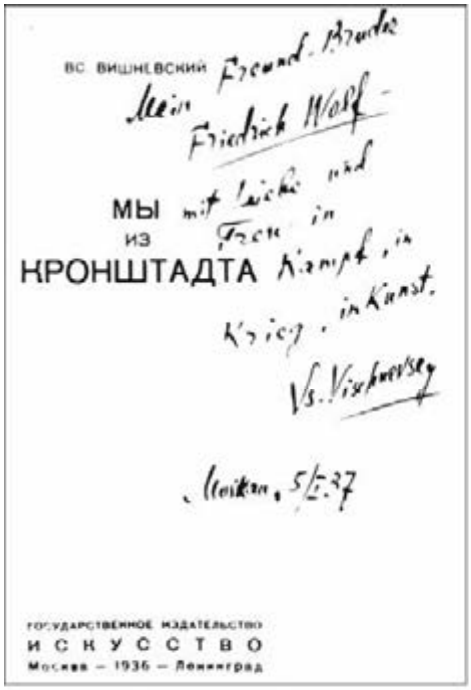
вался протекцией, однако, «творческие, политические и личные унижения»[119], с которыми он столкнулся, показали ему, что реальная советская действительность была совсем не такой, как в его мечтах о царстве справедливости на Земле. В письмах о поездке в США в 1935 г. виден плохо скрываемый восторг. Однако даже весной 1936 г. Вольф еще планировал перевезти в Советский Союз своего сына Лукаса и дать ему советское гражданство. В письмах к своей бывшей жене Кэте Вольф он превозносил свою «новую, вторую родину» как «страну, которая, единственная на всей Земле, покончила с эксплуатацией и порабощением человека человеком»: «СССР – это не вынужденное пристанище, но новая колыбель человечества»[120]. Но 25 октября 1937 г. он пишет из Энгельса, столицы Республики немцев Поволжья, своей второй жене Эльзе Вольф:

> Лотте сейчас страшно тяжело. Я виделся с ее мужем всего один день. Уже на следующий день он ушел той дорогой, которой столь многие нынче уходят. Для Л[отте] это вдвойне трудно. Если она теперь лишится своего места в издательстве, со своими двумя малютками […], но поскольку она разведена, для этого, собственно, нет никаких оснований. […] Вот такие дела! В Энгельсе все сложнее, чем может показаться. Я рад снова вернуться к Вам в Москву[121].

Лоренц Лохтхофен, редактор немецкоязычной газеты «Nachrichten» в Энгельсе, ушел дорогой в лагерь. Недолгое время спустя его жену Лотте Райс, бывшую подругу Вольфа, с которой у него была общая дочь, постигла та же участь[122]. Эльзе Вольф мужественно и альтруистично заботилась о женах и детях арестованных друзей. Так, после ареста Лотте она, недолго думая, забрала Лену из детского дома. Спецслужбы характеризовали ее так:

> Жена Вольфа антисоветски настроена, до последнего времени группировала вокруг себя разные антисоветские элементы из числа семей репрессированных органами НКВД и отдельных лиц, которые впоследствии выехали из СССР в Германию[123].

Но и сам Вольф находился под угрозой; по мнению органов, он считал, «что в СССР, якобы, никакой демократии не существует, а есть лишь насилие»[124]. Вольф подвергался и публичным нападкам. Его сотни раз шедшую с успехом пьесу «Матросы из Каттаро» вдруг сняли с репертуара, потому что она якобы была, как писали «Известия» 4 июля 1937 г., «пораженческая и политически опасная». В конце 1937 г. Вольф доверительно писал своей приятельнице Еве Сяо: «Я не буду ждать, пока меня здесь арестуют, лучше я сделаю что-нибудь полезное». Только с помощью Вильгельма Пика («Уезжай отсюда как можно скорее!»[125]) и после представления в советские инстанции обстоятельного обоснования ему позволили покинуть территорию СССР, тогда как раньше поданные им просьбы о том, чтобы его послали на войну против Франко в качестве военного врача, оставались безответными. Вольф, как и некоторые другие, предпочитал вести активную борьбу, чем без дела, подвергаясь опасности, оставаться в Советском Союзе. В середине января 1938 г. он прибыл во Францию, но оказался в «мышеловке». В Париже его арестовали как не имеющего гражданства «опасного» иностранца, и с октября 1939 г. по март 1941 г. он сидел в разных французских концлагерях. Его освободили и вернули в Советский Союз, так как ему – по инициативе Вишневского – предоставили советское


ВС. ВИШНЕВСКИЙ

МЫ
ИЗ
КРОНШТАДТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВО
Москва — 1936 — Ленинград

*Титульный лист вышедшей в 1936 г. и экранизированной пьесы Всеволода Вишневского «Мы из Кронштадта» с рукописным посвящением Фридриху Вольфу*

гражданство. Во время Второй мировой войны Вольф неустанно занимался антифашистской пропагандой, а в 1943 г. стал одним из основателей Национального комитета «Свободная Германия». Вернувшись в сентябре 1945 г. в Германию, он окунулся в работу, но испытывал все большее разочарование, отчаяние и озлобленность. Его назначение послом в Польшу (1949–1951 гг.), конечно, было почетно, но означало также отстранение от культурно-политической жизни. Он умер 5 октября 1953 г.: причиной стало, по выражению Альфреда Канторовича, «разбитое сердце»[126].

**Теодор Пливье** (1892–1955) в 1933 г. эмигрировал через Чехословакию во Францию и Швецию. В 1934 г. он – беспартийный писатель – принял приглашение и приехал на Всесоюзный съезд советских писателей[127], оказавшись, как и другие, в роли официального гостя:

> Едва мы прибыли, для нас началась лихорадочная жизнь гостей Советского Союза. Каждый день, каждый час были наполнены осмотрами родильных домов, образцовых фабрик, детских домов, дворцов и санаториев[128].

Однако после съезда и «ознакомительных поездок в Крым и на Кавказ, в Тбилиси и Баку» возвращение стало для супругов Пливье невозможным: «Гитлер лишил нас гражданства, а сроки действия наших паспортов истекли»[129]. Из-за нехватки жилья в Москве они переехали в Ленинград, где Пливье сразу после убийства Кирова стал выяснять, как можно было бы покинуть Советский Союз. Но предложение переехать в село Паульское в Республике немцев Поволжья для ведения там культурной работы срывало все планы на выезд. Супругам Пливье, конечно, повезло, что

они вовремя покинули Ленинград, точно так же, как через три года они избежали грозившего им в Паульском ареста благодаря тому, что Бехер добился, чтобы их оттуда откомандировали. «Я словно получил разрешение покинуть чумную деревню», – заявил позже Пливье по поводу своего отъезда из Паульского[130]. Осенью 1938 г. супруги прибыли в Москву, правда, на этот раз уже без торжественной встречи с цветами. По совету Бехера, они осели не в столице, а за городом и даже, проявив большой талант импровизации и ремесленную сноровку, возвели себе дачу. Из осажденной германскими войсками Москвы они уехали на «писательском поезде» сначала в Казань, потом – в Ташкент. Это была эвакуация – а не депортация, как начали было в какой-то момент опасаться пассажиры[131]. В мае 1942 г. Пливье был отправлен в «командировку в Уфу», в отведенную целиком для руководства Коминтерна гостиницу «Башкирия», где ему поручили разбирать попавшие в руки Красной Армии письма убитых или плененных немецких солдат. Этот материал послужил для Пливье толчком к написанию романа «Сталинград», над которым он работал уже в Москве, в номере гостиницы «Люкс», с одобрения руководства КПГ, полученного опять же благодаря Бехеру. Законченный в 1944 г. роман – «пожалуй, самое крупное литературное произведение из всех, созданных эмигрантами в Москве»[132], в течение короткого времени был переведен на двадцать языков, и «только в одной стране не нашлось издательства, готового его выпустить, – в Советском Союзе!»[133]. 15 мая 1945 г. Пливье вернулся в Германию с поручением организовать в Веймаре тюрингское отделение Культурбунда за демократическое обновление Германии. И все же, хотя его обхаживали и отвели ему место в президиуме Первого конгресса немецких писателей, назначенного на октябрь 1947 г., Пливье в июле того года после длительной тайной подготовки бежал на Запад. Его уговаривали вернуться по-хорошему, пытались вернуть силой: два похищения едва удалось предотвратить. С тех пор в ГДР имя Пливье было вычеркнуто отовсюду, но и в ФРГ он оставался «подозрительным чужаком»[134]. В 1952 г. он переселился в Тессин[135], где и умер в 1955 г.

## Писатели-политэмигранты

Сегодня у нас есть доказательства того, что тем, кто бежал из гитлеровской Германии, попасть в СССР было вовсе не легко. Хотя в расхваливавшейся на все лады Конституции 1936 г. и было закреплено право на убежище, разрешение на въезд выдавалось очень избирательно (особенно с осени 1936 г.) и то почти исключительно политическим беженцам, проверенным аппаратами компартий. Желающие въехать в страну должны были получить согласие партийного руководства и подвергались строгой проверке в существовавшей до 1936 г. Центральной персональной комиссии МОПР и в таких контрольных инстанциях, как представительство соответствующей партии в Исполкоме Коммунистического Интернационала и так называемый Отдел кадров Коминтерна[136]. К тому, кто покидал родину, не имея недвусмысленного согласия партии, относились как к «дезертиру с поля классовой борьбы». Кроме представителей политической и интеллектуальной коммунистической элиты, в страну пускали только тех, кому в Германии грозило тюремное заключение на большой срок или смертная казнь[137].

Политическая проверка всех политэмигрантов в Советском Союзе[138] – а в начале 1936 г. их было около 4600 человек[139] – вела к «предсказуемому результату»: некоторым эмигрантам отказывали в праве дальнейшего пребывания в СССР. Председатель КПГ Вильгельм Пик предлагал отправить обратно в Германию две трети всех эмигрантов, пусть даже некоторых из них «возможно, сначала арестуют»: «Надо надеяться, что таким образом гнойник, образовавшийся среди здешней эмиграции, будет, наконец-то, как следует вычищен и выжжен»[140]. И хотя выдворение не было столь масштабным, все же некоторые немцы – прежде всего, из числа столь ценившихся ранее иностранных «специалистов» – действительно вынуждены были вернуться в национал-социалистическую Германию или были выданы непосредственно гестапо[141]. Многие были исключены из партии. Поэтому большинство эмигрантов жили в постоянном страхе быть высланными, особенно, когда истекал срок их немецкого паспорта, и для его продления надо было обращаться в немецкое «нацистское посольство». Ведь тех, кто следовал призыву продлить там паспорт, как правило, арестовывали сразу, как только они покидали здание посольства.

С другой стороны, на иностранцев все сильнее давили, вынуждая принять советское гражданство. Это оказывалось западней, когда человек попадал в жернова террора, так как подавать прошение о выезде становилось совершенно бессмысленно, а за арестованного советского гражданина руководство компартии его бывшей родины, будь то КПГ или КПА, даже при всем желании, заступиться уже не могло. Большой террор не пощадил и политэмигрантов, а среди немцев он, наоборот, свирепствовал с особой силой: более 70 процентов членов КПГ были арестованы. Так, в отчете Пауля Йекеля ЦК КПГ говорилось, что в «провинции, например, в Энгельсе на свободе не осталось ни одного немецкого товарища»[142]. Охваченными террором оказались не только предполагаемые «враги» или «подозрительные». Во исполнение спущенных сверху директив и решений – например, «Об операции по репрессированию германских подданных, подозревавшихся в шпионаже против СССР» от 25 июля 1937 г.[143] – начались массовые аресты по спискам. Установленные разнарядки местные, особо ревностные, органы НКВД могли превышать. 12 апреля 1938 г. обвинение в шпионаже было предъявлено вообще всем немецким эмигрантам: «Не будет ни в коем случае преувеличением, если сказать, что каждый японец, живущий за границей, является шпионом, так же как и каждый немецкий гражданин, живущий за границей, является агентом гестапо»[144].

Как удалось на сегодняшний день выяснить по архивным документам, репрессии были делом не только советских секретных служб: можно говорить о «террористическом картеле»[145], в который были вовлечены и Коминтерн, и представленные в Москве коммунистические партии, одновременно и как жертвы, и как активные участники. И в отдельных биографиях часто видна эта «двойственность образа “активной жертвы” и “пожертвованного активиста”»[146]. От всех арестованных требовали признаний и имен тех, кто якобы был их соучастниками или с кем они вступали в контакт якобы с целью заговора, шпионажа или диверсий. Еще находящиеся на «свободе» близкие оказывались в полной общественной изоляции: «Они “автоматически” исключались из партии, если были ее членами, “автоматически” теряли квартиры и работу»[147]. В такой атмосфере тотальной подозрительности и недоверия и столь же постоянного страха не могли продолжаться дружеское общение, непринужденные семейные взаимоотношения: наступала «социальная смерть», о которой член КПГ Франц Шварцмюллер 23 апреля 1939 г. писал в 15-страничном письме, адресованном Сталину, Молотову, Берии, Вышинскому, Димитрову, Мануильскому и Пику:

Немецкая эмиграция здесь полностью атомизирована. Каждый живет сам по себе в своих четырех стенах, из страха, что аресты среди знакомых или где-то еще и его тоже коснутся или дискредитируют[148].

Страх заставлял затихать разговоры, будь то в легендарной гостинице Коминтерна «Люкс»[149], которая в 1931–1932 гг. еще была местом общения, будь то на производстве, в квартирах или в редакциях газет. Люди неотступно следили каждый за своим окружением на работе и дома, пытались доискаться причин новых арестов, проверяли собственное прошлое, прежние поездки, друзей, связи с нынешними «врагами народа» и «вредителями», думая, где может быть заключена опасность. Угроза, которую таил в себе контакт, вела к полному разобщению; вокруг человека, ареста которого ожидали, сейчас же «возникал вакуум. Их избегали, словно прокаженных»[150].

Спад волны террора в конце 1938 г. дал лишь короткую передышку, так как для осевших в Советском Союзе немцев ситуация снова стала опасной, когда стране стали угрожать гитлеровские армии. С началом войны возобновились репрессии против немцев и других национальных меньшинств[151], которых сделали объектом ненависти. От этого особенно страдали заключенные немецкие эмигранты – тот, кто в лагерной иерархии достиг высокого положения, снова стал парией, так как ему впредь было отказано выполнять в лагере привилегированные работы[152], – и целый народ: немцы Поволжья. В Указе Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. говорилось: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районе Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов»[153]. Автономная Республика немцев Поволжья, некогда престижный проект сталинской национальной политики, была ликвидирована.

Более миллиона немцев с Волги, из Крыма и западных областей СССР постигла судьба принудительных переселенцев, почти половина из них оказалась в Казахстане[154]. Там в июне 1942 г. недалеко от Караганды, куда его эвакуировали в сентябре 1941 г., от голода и болезней умер художник Генрих Фогелер. Его пенсию ему не выплачивали[155]. Многих депортированных немцев позже забрали в трудармию, и там они влачили жалкое существование в условиях, аналогичных лагерным[156].

В середине сентября 1941 г. прописанные в Москве немцы должны были явиться в милицию, где в их паспортах проставляли штемпели с указанием предписанного местожительства и сообщали сроки отъезда. Отправки можно было избежать только, если такая инстанция, как Коминтерн, подтверждала необходимость нахождения того или иного лица в Москве[157]. Когда в октябре 1941 г. немецкие войска стояли уже под Москвой, положение в столице стало критическим. Началось бегство населения, отчасти паническое, и в этой ситуации привилегированные эмигранты тоже были эвакуированы в установленные руководством места назначения: Коминтерн – в Уфу, Государственный радиокомитет – сначала в Свердловск, потом в Куйбышев, большинство писателей – после четырехнедельной промежуточной остановки в Казани[158] – в Ташкент, Чистополь или Алма-Ату. Теперь, когда возникла угроза оккупации города германскими войсками, люди делали все, чтобы получить место в одном из таких последних спецпоездов. В своем романе «Москва» Теодор Пливье описал, каких усилий это стоило:

> Тот, кто сел в поезд, пережил дни, полные страхов и интриг. Ему нужно было попасть в список «социально важных элементов». Список должен был быть утвержден политическим аппаратом его учреждения или организации, и почти каждый мог оказаться вычеркнутым[159].

Сильное впечатление производят и описанные Хильдегард Пливье сцены на вокзале: «На лицах людей был написан неприкрытый страх. Они предлагали тысячи рублей за одно место в поезде. […] Поезда были забронированы для привилегированных. К ним относились и мы»[160]. На каждой остановке железнодорожники патрулировали перрон, чтобы оградить пассажиров от беженцев и голодных детей, которые протискивались к поезду; но и выходить запрещалось, и даже хождения из вагона в вагон не приветствовались. Ожидая «писательского поезда», Юлиус Гай встретил на перроне режиссера Бернхарда Райха, жена которого, Ася Лацис, была уже арестована:

> Круглый штемпель в графе регистрации означал, что ему теперь назначено единственное место пребывания – город Караганда в Казахской Советской республике. Я тоже не мог ездить по своему усмотрению. Если мне скажут, наконец, куда, то никаких «но». Единственное отличие было в том, что мой маршрут определяла моя профессиональная организация – Союз писателей. А жесткий маршрут Бернхарда был предписан НКВД[161].

Однако, как 20 октября 1941 г. писал Бредель Димитрову из Казани, при этой «постыдной эвакуации из Москвы» немецкие писатели-антифашисты уезжали не только из «трусости». Они покидали Москву также и от «досады» и «разочарования», поскольку там до них никому не было дела:

> То, что сейчас происходит, равносильно полной демобилизации нашей пропаганды и нашей идеологической борьбы против фашизма, поэтому мы уезжаем. […] Печально видеть, как обращаются с живыми и, наверняка, еще очень ценными кадрами, с теми, кто не желает ничего иного, как бороться, пером или с оружием в руках[162].

Сам Бредель стремился попасть на фронт, но, несмотря на его настойчивость, решения не было, и, как писал Курелла своей жене в июле 1941 г., Бредель был практически «отцеплен от поезда»[163]. Но и сам Курелла считал, что еще не нашел места, где он смог бы принести максимальную пользу: «Мое давнее предвидение, что нас, немцев и коммунистов, не поторопятся использовать, полностью оправдалось»[164].

Едва последние поезда с эвакуированными добрались до мест назначения – люди находились в пути по 30, 40, 50 дней и больше, – удалось отвести от столицы угрозу вторжения. И с весны 1942 г. все усилия были направлены на то, чтобы уехать в противоположном направлении, назад в Москву или, по крайней мере, заняться чем-то полезным и осмысленным в одном из центров эвакуации. И опять это был сложный путь, полный бюрократических препон и тщетных усилий, опять надо было пускать в ход все средства, писать бесчисленные письма и заявления. Зачастую эта «эмиграция в квадрате»[165] вела к тому, что семьи разлучались на месяцы и годы, потому что, как правило, мужчин отзывали обратно, а женщинам и детям приходилось оставаться на месте. Письма, которыми они обменивались, – это зачастую испол-

ненные отчаяния свидетельства о разлуке и о попытках ее преодолеть. Только тогда, когда появилась возможность активно включиться в борьбу с Гитлером путем работы в Национальном комитете «Свободная Германия» или участия в других пропагандистских акциях, многие немецкие эмигранты нашли дело, приносящее удовлетворение, но далеко не все. Клара Блум жаловалась в письме Димитрову 13 апреля 1943 г.:

> И, сталкиваясь в Союзе советских писателей, на радио, в *Еврейском антифашистском комитете* даже с мелкими вопросами работы и жизни, я то и дело замечаю, что иностранцы или бывшие иностранцы, к которым Коминтерн потерял интерес, рассматриваются советскими органами как чуждый элемент. […] В разгар Отечественной войны я чувствую себя лишней, причем не по объективным, а по типично формальным причинам[166].

## Работа в сфере культуры

Предпринятая тоталитарным режимом «обработка, за счет которой каждый индивид может быть одинаково хорошо подготовлен к выполнению как роли палача, так и роли жертвы»[167], хорошо видна и на примере литературного процесса в среде немецких эмигрантов. Они были свидетелями, жертвами и более или менее добровольными исполнителями. Но, самое главное, – они боялись. В книге «Самодопрос» Хедда Циннер вспоминает:

> У нас было партийное собрание, которое произвело на нас самое что ни на есть угнетающее впечатление. Писатели, товарищи сами себя обвиняли в том, что действовали неправильно, во вред партии, утверждали, что говорили с тем или этим […] и таким образом дали повод к неправильным выводам. Мне иногда казалось, что я наблюдаю истерику или приступы нервного расстройства[168].

Впечатление нервного напряжения вплоть до срыва – в конце концов, действительно речь шла о жизни и смерти – жутким образом подтверждает стенограмма одного закрытого партсобрания немецкой секции Союза советских писателей[169] в 1936 г., которую под названием «Чистка» в 1991 г. опубликовал Райнхард Мюллер. Данный эпизод своей партийной биографии большинство немецких писателей-коммунистов потом вытеснили из памяти: показательно, что только один участник этого длившегося четыре ночи, с 4 по 8 сентября 1936 г., заседания, «ренегат» Густав Реглер, описал его потом в своих воспоминаниях. Как он пишет в «Ухе Малха»[170], интеллигенция давно уже разделяла «готовность народа принять самое беспощадное и безоглядное правосудие»:

> Эта готовность уже стала патологической. Я понял это на том писательском собрании. «Инженеры человеческих душ» превратились в живодеров, терзающих свои души. Они своим ходом шли на заклание[171].

Стенограмма, в самом деле, представляет собой страшный документ, свидетельствующий о взаимных обвинениях и дистанцировании друг от друга, об уклоняю-

щихся маневрах и агрессивных выпадах со стороны тех, кого вынудили перейти к обороне. Например, Дьёрдь Лукач сначала подвел итог достижениям журналов «Internationale Literatur» и «Das Wort», чтобы затем потребовать:

> Сегодня мы должны говорить о том, что эта работа была недостаточной для ликвидации у нас ложных теорий, идеологической путаницы, всех тех моментов, чтобы стать основой настоящей, подлинной бдительности. […] На этом заседании мы должны будем уделить очень большое внимание каждому отдельному товарищу. Мы должны это сделать, это – чрезвычайно важный вопрос, так как мы теперь должны по каждому отдельному вопросу осуществить две вещи. Во-первых, ликвидация вредителей, и кто несет ответственность за то, что эти вредители здесь работали. Во-вторых, ошибки отдельных товарищей, которых мы знаем по их прежней работе и о которых нам известно, что они допустили более или менее серьезные ошибки, но они товарищи, с которыми мы хотим работать и в будущем. Если мы теперь будем бить товарищей Габора, Гюнтера и Бехера, а мы их уже крепко побили и должны их бить, то мы не хотим терять тов. Бехера; только свою поэтическую чувствительность он должен развивать не ценой таких ошибок. […] Другая задача – обработать товарищей так, чтобы в будущем они стали полезными членами нашей организации[172].

Писатели стали объектом контроля со стороны дозорно-надзорного аппарата террористического режима сразу по нескольким статьям: во-первых, их как членов партии в ходе таких инквизиторских собраний подстрекали к экзорцистскому выискиванию ересей и уклонов; во-вторых, в то время «редакции газет и журналов, издательства, цензурные ведомства и, конечно, “министерство литературы”, т. е. Союз писателей», превратились в филиалы органов безопасности[173]. В таких условиях литературные споры становились политической войной клик и фракций, борьба направлений – борьбой на уничтожение, личная неприязнь – потенциально смертельной конфронтацией «друг – враг». В такой атмосфере рецензии могли приобретать характер доносов и показаний, а конкуренция порой превращалась во вражду, опасную для жизни.

Обстоятельства, в каких оказались тогда в СССР немецкие интеллектуалы, затмевают успехи, с гордостью и по праву описываемые в советской и восточногерманской литературе об эмиграции: «В период нацизма ни одна страна не предоставила пишущим противникам гитлеровского режима таких возможностей для творчества, как Советский Союз»[174]. Работа деятеля культуры, по словам Вайнерта, вознаграждалась «лучше […], чем где-либо в мире»: «Его творческая энергия больше не поглощалась повседневными заботами. И, прежде всего, он больше не чувствовал себя эмигрантом»[175]. Были возможности публиковаться: например, в журнале «Internationale Literatur» – органе МОРПа, в «Deutsche Zentral-Zeitung», основанной изначально, в 1926 г., как газете российских немцев[176], а также в журнале «Das Wort»[177], ответственными редакторами которого были Бертольт Брехт (в Скандинавии), Лион Фейхтвангер (во Франции) и Вилли Бредель (в Москве). Впрочем, этот журнал, задуманный как надпартийный, «дитя народного фронта», скоро стал «жертвой» показательных процессов, которые подорвали антифашистский блок[178]. Было также несколько издательств, начиная с Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР (Москва, Ленинград), «Международной книги» (Москва), Издательства иностранной литературы (Москва) и кончая Государственным изда-

тельством национальных меньшинств (Киев, Харьков) и Немецким государственным издательством (Энгельс), которые занимались публикацией книг немецких авторов. В одном только Издательском товариществе иностранных рабочих вышло 735 наименований книг и брошюр на немецком языке общим тиражом около 8 млн. экземпляров[179]. При этом, общий тираж книг, написанных эмигрантами, составил в 1933–1945 гг. два миллиона. Некоторые произведения были переведены и на русский язык. Тиражи порой бывали гигантскими. Так, Йоханнес Р. Бехер в эмиграции опубликовал 33 книги общим тиражом 250 тыс. экземпляров. Роман Бределя «Машиностроительный завод Н. и К.», переведенный и выпущенный в 1933 г. Государственным издательством, до 1936 г. вышел общим тиражом 200 тыс. экземпляров[180].

Другими сферами культурной деятельности немецких эмигрантов были Клуб иностранных рабочих в Москве, Центральная библиотека иностранной литературы, Московское радио, которое с 1929 г. вещало на немецком языке за границу, а также высшие учебные заведения и педагогические институты. Большие надежды вселила поначалу эмиграция в немецких театральных деятелей, хотя создать немецкоязычный театр эмигрантов в Москве – цель, к которой, конкурируя друг с другом, стремились Эрвин Пискатор и Густав фон Вангенхайм, – не удалось из-за отсутствия интереса к этому проекту у ответственных лиц[181]. Ведь сначала актерам и режиссерам предлагали работу сразу четыре немецкоязычных театра[182]: Немецкий театр – «Колонне линкс» под руководством Густава фон Вангенхайма; руководимый Максимом Валлентином Немецкий областной театр в Днепропетровске, задуманный как передвижная сцена, чтобы нести «культуру в деревню», колхозникам-немцам; и Немецкий государственный театр в Энгельсе, который Пискатор хотел превратить в сценическую площадку с самыми амбициозными художественными целями[183]. Однако только Немецкий театр коллективистов в Одессе спокойно работал до 1939 г., привлекая, главным образом, артистическую молодежь из российских немцев.

Студия «Межрабпом-фильм» реализовала только два проекта, сняв «Восстание рыбаков» (реж. Эрвин Пискатор) и «Борцы» (реж. Густав фон Вангенхайм).

В материальном отношении беззаботно жили только те, кто добился карьерного успеха по партийной линии. Но все, что имели эти люди: рабочие места, заказы, публикации, командировки, пребывание на курортах, – все было им назначено, предоставлено, выделено. Таким образом, в конечном счете, не от компетентности и достижений зависело, сможет ли (а если сможет, то как именно) немецкий эмигрант работать по своей профессии, удастся ли реализовать тот или иной издательский, театральный или кинематографический проект: решающую роль играли критерии, далекие от искусства. Так, Максиму Валлентину из 12 лет, проведенных им в СССР, дали работать в театре только полтора года; некоторое время в связи с выдвинутыми против него политическими обвинениями он был под подозрением и оказался «фактически бездомным бродягой»[184]. Следствием такого положения зачастую становились утрата эффективности и изматывающая работа вхолостую. Например, Юлиус Гай писал о своем застрявшем кинопроекте:

> Проходили месяцы, мы получали авансы, задатки, очень скудные, но все же они позволяли нам держаться на плаву. […] Бытовые трудности со временем отболели и забылись. Но вот бессмысленное и бесцельное прозябание – это причиняло боль и выматывало нервы. Никто не мог объяснить, почему мы работаем вхолостую. Пустая трата времени была настолько очевидна и в такой мере затрагивала всё и всех, что в этом нельзя было не усмотреть некую закономерность[185].

Такое промедление и затягивание дела имело причиной, прежде всего, то, что брать на себя ответственность было политически рискованно: ведь неизвестно было, не попадет ли в немилость уже на следующий день тот, кому ты сегодня выдашь рекомендацию. Весьма влиятельные люди в издательствах, государственных органах, редакциях, как наглядно показал в своем «Романе одного романа» Эрвин Шинко, вовсе не были «страстными и смелыми борцами»:

> Словно бы присутствует некая высшая власть, витает над ними и среди них, страшная и невидимая, высшая власть, настолько непредсказуемая и вызывающая такой ужас, что они предпочли бы не проявлять вообще никакой инициативы. Правда, ничегонеделание – это, к сожалению, тоже действие в негативном смысле, но менее рискованно ничего не делать, чем что-то делать, чем брать на себя ответственность за какие-то самостоятельные действия. Во всяком случае, тактика проволочек менее рискованна и более безопасна, причем не в относительном, а в абсолютном смысле. Нужно только придумать, как сделать, чтобы не быть главным участником того действия или бездействия, которым формально занимаешься[186].

Условия работы ухудшались на глазах, по мере того, как организации, воплощавшие в себе интернационалистские традиции коммунистического движения, в ходе внутренней и внешней изоляции страны одна за другой ликвидировались. В 1935 г. была распущена «Международная рабочая помощь», потом Международное объединение революционных писателей, «Межрабпом-фильм» и Коммунистический университет национальных меньшинств Запада, а в других международных организациях было резко сокращено число сотрудников[187]. В 1937 г. был закрыт Немецкий клуб, в начале 1938 г. – школа имени Карла Либкнехта и Международная ленинская школа. В том же году было распущено Издательское товарищество иностранных рабочих в СССР. Его преемником стало Издательство иностранной литературы, которое с 1942 г. было единственным, выпускающим книги на немецком языке. В 1939 г. перестали выходить «Deutsche Zentral-Zeitung», редакция которой уже сильно поредела из-за арестов (шесть из девяти главных редакторов были расстреляны или умерли в лагерях[188]), и «Das Wort».

## Разочарования и попытки примирения с действительностью

Даже отвлекаясь от террора, немецкие деятели культуры и писатели-коммунисты, эмигрировавшие в Советский Союз, обнаружили страну, которая не оправдала их ожиданий почти ни в чем. Большинство из них в 1920-е годы или в начале 1930-х годов уже бывали в СССР, и во время тех поездок им казалось, как писал Хельмут Дамериус, что они «прибыли в страну нашей мечты, в столь восхваляемую и любимую нами страну коммунизма. […] Все было чудесно, все было ново. […] мы были в восторге, мы были счастливы, так счастливы, как еще никогда в жизни»[189]. Только став эмигрантами и живя без торжественных приемов и привилегированного обслуживания сотрудниками ВОКСа, они *увидели*, с ужасом и растерянностью, что магазины пусты, люди плохо одеты и вынуждены стоять в очереди даже за самым необходимым[190], что кругом бродят беспризорные дети и нищие, что в стране воруют,

что рабочие живут в гораздо худших условиях, чем в капиталистических странах, и даже есть наркоманы:

> Мы никогда не слышали, никогда не знали, что в Советском Союзе есть такое. В наших программах Советский Союз всегда был побеждающей, борющейся за построение социализма, цветущей страной[191].

Чтобы приспособиться к действительности и прийти с ней в некое согласие, использовались различные способы фильтрации впечатлений. Во-первых, наблюдаемые недостатки объяснялись наследием прошлого, последствиями гражданской войны и тяжелыми условиями нового строительства или наличием враждебного окружения, и любой позитивный сдвиг принимался с благодарностью. Московское метро, Парк культуры имени Горького[192], «реконструкция» столицы или отмена хлебных карточек с 1 января 1935 г. – все это стало почти мифическими символами подъема. Во-вторых, корректировались собственные ожидания: «Наши представления были неверными, поверхностными, нереальными», – так самокритично, но весьма типично писал Дамериус[193]. Примириться с реальностью было легче – или даже вообще возможно – благодаря подчинению партийной дисциплине, принятию новых толкований и предлагаемых советской стороной способов самоопределения[194]. В 1954 г. Инге фон Вангенхайм писала:

> Мы смотрели на социализм, словно зрители в монгольском театре. Мы слишком мало знали, чтобы целиком понять значение социализма, и большинство из нас […] смастерили себе каждый как бы свой личный социализм, в соответствии с собственными желаниями и потребностями[195].

Парируя и смягчая тот «жестокий удар», который был нанесен их личному социализму реальными условиями жизни в Советском Союзе, иммигранты совершали над собой адаптационные усилия, доходившие до ментального перерождения, программу которого сформулировал Хупперт в «Сибирской команде»:

> Тот, кто […] приезжает сюда, чтобы помогать строить социализм (а социализм – это такое дело, глубинная сущность которого открывается только соратнику, но не нейтральному наблюдателю), должен буквально родиться заново, его сознание должно полностью переплавиться[196].

Гораздо тяжелее, чем материальные лишения и некоторые шокирующие наблюдения в советской повседневной жизни, были разочарования в идеологической сфере: вместо бесклассового общества, о котором мечтали, эмигранты обнаружили общество, в котором в изобилии имелись и иерархия, и зависимость, и привилегии, и огромная разница в обеспечении благами – будь то жильем, продуктами или потребительскими товарами.

> Каждая организация, каждое учреждение имеет свою систему закупок и сбыта, часто с мощной командой снабженцев, агентов, со своими прейскурантами, с множеством специальных магазинов, которые снаружи порой и не выглядят как магазины. […] Сеть распределения всех товаров была необозрима и большей частью засекречена. Решающей была официальная и неофициальная иерархия. […] Поскольку человека физически и морально

> можно было сделать нищим с помощью пары штанов, то распределение таких необходимых в повседневной жизни вещей нельзя было доверять мелкому чиновнику. Товарищ Пик, товарищ Тольятти […], товарищ Готвальд или товарищ Бела Кун […] должны были лично обстоятельно заниматься потребностями своих соратников по борьбе. И новый кормчий коммунистического Интернационала, который приехал, чтобы с помощью новых методов борьбы вести пролетариев всех стран к победе, товарищ Димитров, должен был тратить немалую часть своего времени и энергии на проверку всяческих притязаний. Там, где каждая пуговица может стать политическим вопросом, никакая проверка не кажется излишней. Правда, при таком порядке никто не имеет просто права обладать той или иной вещью на том основании, что она ему нужна. Все представляет собой подарок, награду, знак твоего места в иерархии. И результат правильных убеждений и правильных личных связей[197].

Соответственно, существовала «иерархия привилегированных, менее привилегированных, непривилегированных, обойденных, намеренно незамеченных»[198]. Таким образом, тратилась масса энергии, чтобы достать пальто, детскую коляску, жилье, а кроме того, это максимальное напряжение сил было нужно, чтобы удержаться в этой иерархии, сохранить место или подняться выше. Даже газеты нельзя было выписывать по собственному выбору: даже это «относилось к многочисленным признакам места в иерархии», которые люди носили, как погоны, и без которых можно было считать себя потерянным человеком. «Без постоянного стремления наверх и без высокого покровительства нельзя было утвердиться на своей ступени»[199].

В Москве круг общения немецких эмигрантов был весьма узок и зачастую ограничивался Коминтерном и редакциями журналов, что, конечно, вело к изоляции (или самоизоляции), но позволяло избегать столкновений с реалиями советской жизни. «В каком мире жили мы, постояльцы отеля “Люкс”?» – спрашивает Эрнст Фишер:

> Мы день за днем ездили или ходили в Коминтерн, там читали отчеты, писали отчеты, статьи, брошюры, участвовали в заседаниях, дискутировали по проблемам международной политики, мыслями своими были в Австрии, Германии, Франции, Испании, почти ничего не знали о Москве. Я жил среди иностранцев, работал среди иностранцев или с русскими, занимавшимися заграницей, а войти в контакт с русскими было нелегко. Те немногие русские, с которыми мне удалось сблизиться, были непредубежденные евреи. Только теперь, вспоминая, я осознаю, насколько я был изолирован[200].

Однако «на местах», например, в немецких поселениях и промышленных центрах, где эмигранты должны были вести культурную работу, межкультурные недоразумения проявлялись открыто. Они возникали уже хотя бы в силу происхождения этих людей, приезжих из западного мира с его совершенно иными формами и манерой общения (язык, одежда, поведение). Местные жители не имели ни малейшего представления о жизни вне границ страны, гости были в ужасе от царившей на местах «отсталости». Дневник гастрольной поездки «Колонне линкс» в Донбасс весной 1934 г., автором которого была предположительно Инге фон Вангенхайм, фиксирует такие отрицательные явления, как обветшавшие дворцы культуры, «загаженные» подмостки, «скандальное отсутствие тишины», «ничего не понимающие русские», «грубые шутки», «примитивная радость от драк, так что изображаемые истязания

доставляют им удовольствие»[201]. В опубликованных воспоминаниях всё это потом было приукрашено.

Вместо ожидаемой международной солидарности и братства эмигранты зачастую сталкивались со страхом перед иностранцами и недоверием, которые в условиях террора выливались в доносительство и обвинения во вредительстве.

Но тяжелее всего западным деятелям искусства, которые надеялись обрести в стране победоносной Октябрьской революции «неограниченные возможности воплощения своих представлений об искусстве», было выносить то, что их художественный язык, сложившийся, в основном, под влиянием искусства авангарда, в Советском Союзе 1930-х годов считался не прогрессивным, а формалистским и даже вражеским[202].

Канонизация Владимира Маяковского как «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи» вселяла надежду на реабилитацию «левого искусства», однако объявленная в начале 1936 г. кампания против «формализма и натурализма» и сопровождавшие ее дебаты (к которым относится и спор об экспрессионизме в «Das Wort») недвусмысленно продемонстрировали, какая программа лежала в основе сталинской «культурной революции»[203]. Страна идеологически отгораживалась от мира и пыталась сформировать советскую идентичность через националистический поворот к прошлому[204]. Общество, жизнь которого, согласно Сталину, становилась лучше и веселее, непрерывно чествовало само себя как финал или вершину всякого развития. Полагали, будто «победа социализма» – это конец и высшая точка всей истории, а будущее отодвигалось на неопределенное время. В ходе патриотического и историографического поворота[205] были воскрешены славянофильские концепции особого пути России или ее мессианской роли как избранной страны. Страна самовлюбленно славила свое национальное величие и героическое прошлое и открыла целую галерею доблестных богатырей, героев, бояр и царей. То, что не вписывалось в такую картину, вычеркивалось из культурной памяти.

Отныне нормой стали постулаты социалистического реализма, предписывавшие, как надо изображать и толковать мир[206]. Требовались литература и искусство, отвечающие критерию партийности, вселяющие революционный оптимизм, представляющие деятельного, не испытывающего буржуазно-декадентских отчуждения и сомнений положительного героя и, к тому же, отражающие величие и возвышенность. В результате, сформировался классицизм, который сделал культуру, говоря словами Шинко, «поразительно убогой, морально и духовно бедной, стерильной, бескровной, пустой и выхолощенной». В литературе, в театре, в кино – везде господствовала «эта беспроблемная идиотическая жизнерадостность», публике скармливали «мишуру и суррогаты вместо правды, плохие, лживые и безвкусные оперетты»[207]. Такой горький итог в 1935 г. подвел в одном письме из Нью-Йорка Фридрих Вольф: «Классика в Москве – революционный театр в Нью-Йорке»[208].

## Стратегия писательского творчества в эмиграции

«Что могло бы быть естественнее для писателя-изгнанника, чем взять в качестве темы само изгнание?», – спрашивает Вайскопф в своем программном сборнике «Под чужими небесами. Очерк немецкой литературы в изгнании 1933–1947»[209] и приво-

дит такие красноречивые примеры, как «Транзит» Анны Зегерс, «Вулкан» Клауса Манна, «Дыхание» Генриха Манна, «Триумфальную арку» и «Возлюби ближнего своего» Эриха Марии Ремарка. Вайскопф называет также два произведения, написанные в советской эмиграции, – «Эмигранты» Фрица Эрпенбека и «Двое на границе» Фридриха Вольфа; в этих текстах, правда, речь идет не о Советском Союзе, а об эмиграции в Праге и о нелегальной работе курьера-коммуниста на границе. В силу вышеуказанных политических, идеологических и творческих условий, для эмигрантов в СССР тот ход мысли, который «мог бы первым придти в голову», оказался самым трудным. Однако и молчание красноречиво, пробел – значим. Из их произведений скорее можно узнать что-то о великих исторических деятелях, чем о встречах в Москве. Существует больше текстов о странствиях Одиссея, нежели о поездках по Советскому Союзу. Гражданская война в Испании описана живее, чем повседневная жизнь в России. Вместо описания места изгнания мы находим повествование об антифашистской борьбе в Германии.

Антифашистская литература составляла ядро самосознания немецкой эмиграции в СССР, ведь этих людей изгнал из Германии Гитлер, и сопротивление, в том числе на литературной ниве, могло быть оправданием жизни и творчества в изгнании, даже если со временем становилось все труднее давать аутентичную картину жизни в Германии: она чаще всего изображалась такой, «какой она представлялась партии в 1933–1935 гг.»[210] Но антифашистская литература служила не только сохранению собственной политической идентичности, она была также убежищем от вызывавшей зачастую разочарование советской действительности. Поэтому пакт о ненападении 1939 г. между Гитлером и Сталиным у эмигрантов буквально выбил почву из-под ног.

У людей, изгнанных Гитлером, этот союз с заклятым врагом вызвал шок. Вдруг выступления против национал-социализма стали считаться недопустимыми, театральные постановки (например, «Нарушитель мира» Густава фон Вангенхайма, действие которой происходит в Австрии после ее аннексии Гитлером) снимались с репертуара[211], антифашистские фильмы (например, «Профессор Мамлок» по пьесе Фридриха Вольфа и «Семья Оппенгейм» по Лиону Фейхтвангеру) изымались из проката, публикация в «Internationale Literatur» романов с продолжением «Седьмой крест» Анны Зегерс и «Изгнание» Лиона Фейхтвангера была прервана[212]. Йоханнес Р. Бехер для своего сборника «Возрождение» (1940 г.) должен был частью сократить и изменить, частью переименовать стихи, ранее опубликованные в журналах[213]. Хуго Хупперт не без злорадства отмечает, что появилась новая необходимость: «обходиться без универсальной (и часто очень удобной) антифашистской темы»[214]. Некоторые из владевших русским языком авторов, лишившись своего прямого дела, в это время переключились на переводы. Только в связи с нападением Германии на Советский Союз в 1941 г. курс снова поменялся, и противник снова приобрел четкий профиль. Участие в пропагандистской работе – путь, который избрали многие, – конечно, не оставляло возможностей писать что-то свое, зато давало ощущение осмысленной деятельности. На вопрос о том, над каким произведением он сейчас работает, Фридрих Вольф тогда ответил: «В данный момент я не драматург, а актер в величайшей драме, какую когда-либо знала история»[215].

Противоположностью нацистской Германии и – неявно – Советскому Союзу второй половины 1930-х годов с репрессиями и террором была Гражданская война в Испании. В ней видели революционное действие вместо стагнации, репрессий и бюрократизма. Эта война была полотном, на которое проецировались мечты о свободе

и солидарности. Наконец-то снова появилась цель, за которую стоило бороться, оружием или пером.

«Там речь шла не только о свободе», – писала Маргарете Бубер-Нейман,

> там шла борьба и за нашу веру. Какой бы уже потрепанной эта вера ни была, она снова воскресала в героической борьбе интернациональных бригад в Испании. Нам даже удалось на короткое время закрыть глаза на советскую действительность[216].

«Я принимал мои “ежедневные лекарства”: сообщения из Испании», – писал Густав Реглер. Он тоже, как и Бубер-Нейман, подчеркивал, что Испания – «друг, находящийся в опасности» – давала облегчение, когда «оказалось, что Россия – выродившийся» друг: «Подобно пламени, в массах распространялось странное воодушевление, воодушевление, в котором была какая-то чрезмерность, которое, скорее, было актом освобождения от забот в собственном доме»[217]. Но Гражданская война в Испании была не только психологическим вентилем. Для некоторых она стала спасительной возможностью физического бегства из «ловушки Советского Союза».

Искреннее воодушевление, с каким поощряли на борьбу испанских республиканцев, отсутствует в опубликованных в 30–40-х гг. высказываниях о Советском Союзе, которые вообще довольно редки. Угнетающее впечатление сегодня производят тексты времен культа личности Сталина (например, «Гимн имени» Бехера или составленная Эрихом Вайнертом антология «Гению свободы. Стихи о Сталине», изданная в Киеве в 1939 г.) и апологии террора, более или менее послушно написанные некоторыми немецкими эмигрантами. Под каким давлением, с какой мотивацией они делали это, теперь во многих случаях установить уже невозможно, тем более, что позднее авторы отказывались от таких текстов: вытесняли их из памяти или отрицали свое авторство. Так, в 1937 г. драматург Юлиус Гай опубликовал в журнале «Das Wort» пьесу под названием «Танька открывает глаза»[218]. Действие разыгрывается в московской квартире эмигранта профессора Виганда; сюда проникают агенты, чтобы украсть чертежи профессора, однако, их разоблачают благодаря бдительности домработницы Татьяны, «деревенской девушки», и государственных органов. В автобиографии Ю. Гая «Год рождения 1900» об этом сказано в общих, но не очень-то самокритичных словах[219]: «Имея совершенно деформированное представление о мире, думая только о насущном и сиюминутном, движимый ложным пониманием долга, я писал плохие вещи, которые потом, к счастью, в основном были утрачены»[220]. Его вдова Ева Гай позднее утверждала, будто пьеса появилась в результате спора, что нечто подобное можно написать за три дня. «Многое в пьесе настолько утрировано, что всякому – кроме, конечно, напыщенных чиновников от культуры – было понятно, что это насмешка»[221].

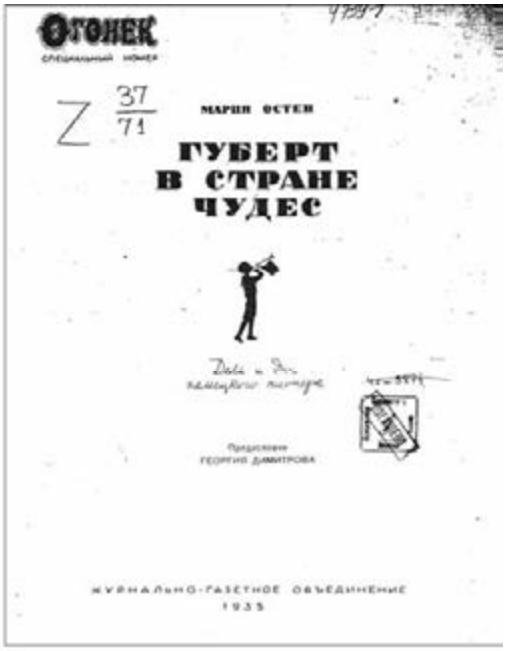
Некоторые тексты в ГДР уже давно подверглись «десталинизации», как, например, «Под красными звездами Кремля» Иоханнеса Р. Бехера, где воспевался «наиболее значительный и больше всех мною почитаемый человек». В указателе источников к изданной Архивом Иоханнеса Р. Бехера подборке «Лейте, звезды, сиянье» говорится, что текст публикуется «по фотокопии машинописной рукописи примерно 1940 г.»[222]. Это «по» – очень необычное: если сравнить публикацию с рукописью, которая хранится в архиве Института мировой литературы в Москве, то можно увидеть принципиальные исправления. Так, были сняты все упоминающие и касающиеся Сталина пассажи, как например: «В лице Сталина находит завершение политичес-

кий человек»; «Высокая степень заботы о благе человечества предполагает готовность удерживать все разрушительные силы на расстоянии от этого нового человека»[223].

У Бехера, наиболее видного писателя немецкой эмиграции, наблюдается гетерогенность: дань Советскому Союзу в форме восхваления и воспевания СССР и Сталина, с одной стороны, и меланхоличные стихи, в которых чувствуется надлом, с другой. Бехер сам указывал на эту раздвоенность: «В моей поэзии выразилось и то, и другое, преклонение перед этим человеком и ужас перед кошмаром, но при этом я не связывал одно с другим»[224]. В мрачных стихах Бехера говорится о доносах и страхе, о том, как власть мучит человека в бессонные ночи, о растерянности и одиночестве, о голоде и холоде (внутри), о том, что значит быть беззащитным перед параграфами и бюрократами. Бехер остро чувствовал опасность, и, при этом, как было сказано выше, страхи, выразившиеся в его стихах, отнюдь не всегда были надуманными.

И многочисленные проникнутые тоской по Германии стихи, написанные Бехером в советской эмиграции, в конечном счете, говорят языком неприятия. Правда, их патриотический пафос сегодня уже кажется почти невыносимым, а провозглашаемая в них вера в великую культурную нацию немцев ставит эти стихи в опасную близость с национализмом и шовинизмом[225]. Реакция Б. Брехта на националистические мотивы у этого автора была злобно-саркастической: например, статья Бехера «Германский урок» (в «Интернациональной литературе») заставила его воскликнуть: «Дайте мне плевательницу!», потому что «опять совершенно наивно принимается гитлеровский национализм; но только у Гитлера он был неправильный, а у Бехера правильный»[226]. И сонет – строгая поэтическая форма, которую Бехер предпочитал другим как «бастион против распада»[227], – чем дальше, тем больше становился «мертвой комбинацией по предписанной схеме»[228]. Ганс Гюнтер уже в 1936 г. в рецензии на сборник стихов «Искатель счастья и семь тягот» писал о том, как правильное стремление Бехера «избегать всякого подобия стихотворной агитки, всякого простого рифмования партийных лозунгов, любой ценой удержаться от того, чтобы впасть в экономизм и вульгарную социологию» привело поэта к «“абстрагированию” во многих стихах от конкретных экономических, социальных и исторических взаимосвязей *вообще*, к сведению проблем к их якобы “чисто человеческому” содержанию и к выражению чисто личных чувств, настроений и т. д.»[229]. И все-таки: написанные в советской эмиграции, многие тексты Бехера являются свидетельствами не только ложного, но и сопротивляющегося сознания. А может быть, действительно Бехер, как предполагает его биограф Йенс-Фитье Дварс, в своем романе «Прощание» (1940 г.) дал психологический портрет Сталина в образе милитариста и садиста – директора пансиона Фёрча. Директор Фёрч со своими густыми усами, колючими глазами и сухой рукой обходится без избиений, однако, подвергает своих воспитанников болезненным допросам и наслаждается их, вероятно, выдуманными признаниями, которые ему милее, чем бледная правда[230].

Названные тексты, скорее, косвенно относятся к эмиграции и повседневной жизни в Советском Союзе 1930-х – началу 1940-х годов. В общей сложности существует всего несколько книг о тогдашней советской действительности, которая для большинства эмигрантов оставалась чужой и, не в последнюю очередь, из-за языка закрытой; к тому же, ее изображение во многих смыслах было рискованным. Некоторые из таких текстов были написаны на заказ, по поручению, что предопределяло


ОГОНЕК
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

МАРИЯ ОСТЕН

ГУБЕРТ В СТРАНЕ ЧУДЕС

Предисловие ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1935

*Титульный лист книги Марии Остен «Губерт в стране чудес». Москва, 1935 г.*

«идеологическую линию». Так, немецких писателей и деятелей искусства посылали в советские индустриальные центры или в Поволжье, чтобы там вести культурную работу среди немецких специалистов и поселенцев, а также, чтобы писать репортажи о строительстве новой жизни. Адам Шаррер, живший в Спартаковском районе на Украине, в одном письме писал о том, что его гости испытали шок при виде реальных условий жизни. Но если хозяин продолжал пить свой «желудёвый кофе» из «житниц Украины», то пишущие туристы, например Эрнст Фабри, предпочли не видеть «советскую действительность за полным коровьем выменем»[231]: так было выгоднее. Публиковавшиеся тексты о немцах Поволжья, во всяком случае, были патетически-декларативными или сказочно-приукрашенными[232].

Чем дольше продолжалась эмиграция и чем больше нарастала политическая угроза, тем более выхолощенными, далекими от действительности становились тексты. Самые интересные работы о советской жизни были написаны *до* начала Большого террора, например, «Сибирская команда. Очерки из Кузбасса» Хуго Хупперта (1934 г.) и, прежде всего, появившаяся только на русском языке книга Марии Остен «Губерт в стране чудес. Дела и дни немецкого пионера» (1935 г.). В ней рассказывается о Губерте Лосте, 12-летнем сыне железнодорожника-коммуниста из Саара, которого известный журналист, редактор «Правды» и руководитель Журнально-газетного объединения (Жургаз) Михаил Кольцов и его гражданская жена, немецкая писательница Мария Остен зимой 1934 г. взяли с собой в Москву как приемного сына[233]. Его приезд был событием, широко освещавшимся в средствах массовой информации. Губерта даже приняли в Кремле и представили маршалам Тухачевскому и Буденному. Написанная при поддержке Кольцова и жены заместителя начальника ГПУ Прокофьева[234] книга Марии Остен вышла в 1935 г. как специальный номер

«Огонька» в издательстве «Жургаз». Михаил Кольцов был ответственным редактором, а иллюстрации делал, среди прочих, его брат, карикатурист Борис Ефимов. Предисловие написал Георгий Димитров, генеральный секретарь Коминтерна: таким образом, книга получила высочайшее благословение.

После гибели Кольцова – 14 декабря 1938 г. его арестовали и 2 февраля 1940 г. расстреляли – книга исчезла, и предполагаемое немецкое издание ее так никогда и не появилось. Хотя Мария Остен больше не поддерживала интимных отношений с Кольцовым, она решила спасти друга и, невзирая на предостережения знакомых, в мае 1939 г. вместе с Хосе (Юзиком) – маленьким мальчиком, которого они усыновили в Испании, – выехала из Парижа, где она работала в журнале «Das Wort», в Москву. Однако Губерт, который уже успел жениться, отказался от своих приемных родителей и указал своей приемной матери на дверь: молодые супруги не хотели иметь ничего общего с подозрительной иностранкой, имевшей, к тому же, любовную связь с арестованным врагом народа[235]. Немецкие писатели уже в ходе упоминавшегося закрытого партсобрания 1936 г. донесли на Марию Остен[236], НКВД собирало отчеты сексотов, Бехер передавал информацию о ней Пику[237]. После того как Мария Остен вернулась в Москву, КПГ сразу, уже в июле 1939 г., дистанцировалась от нее. Ее отношения с Кольцовым квалифицировали как «типичный пример использования протекции в личных корыстных целях»: «Все это произошло без ведома КПГ. И ее назначение представителем “Das Wort” произошло без ведома и согласия КПГ»[238]. Мария Остен поселилась в гостинице и, наконец, подала заявление о предоставлении советского гражданства, чтобы иметь возможность получить квартиру и работу. 24 июня 1941 г., непосредственно после вступления германских войск в Советский Союз, Марию Остен забрали из гостиницы «Метрополь» и 16 сентября 1942 г. расстреляли за «шпионаж» в тюрьме НКВД в Саратове[239]. Предательство не спасло Губерта: когда началась война, бывший любимчик советской нации был депортирован в Казахстан, где он влачил существование, работая пастухом в колхозе[240]. В 1946 г. и он был арестован и отпущен только через два года после смерти Сталина, в 1955 г. В Крыму он получил должность главного механика в одном винодельческом совхозе. Мечта всей его жизни – вернуться в Германию – не сбылась. Он умер в 1959 г. после операции по удалению аппендицита в больнице Симферополя. Ему было всего 36 лет.

Димитров, который в предисловии сначала сам себя подобающим образом представил как героя Лейпцигского процесса о поджоге рейхстага и пример для молодежи, остановился затем на отличии книги о Губерте от буржуазной литературы для детей на примере «Алисы в стране чудес», где создан фантастический мир сказочных зверей, цветов и эльфов:

> Алиса отправляется в специально выдуманный, гладенько прибранный детский рай, который является не чем иным, как искусно замаскированным скучнейшим библейским раем. Подобно райскому саду, волшебная страна, куда попала Алиса, должна отвлечь мысли детей от действительности, направить их в потусторонний, нереальный мир, где человек должен быть вознагражден за «неизбежные» страдания в «обители земной юдоли». Настоящая цель подобной буржуазной литературы – скрыть от проницательного глаза юноши-рабочего горькую действительность капиталистической эксплоатации. […] Пролетариату не нужно создавать для своей молодежи искусственных сказочных стран. Пионер Губерт, настоящий живой мальчик, едет в настоящую страну – Советский Союз, где на-

стоящие люди строят мир свободного труда и счастливой жизни. И все же страна, куда попадает пионер Губерт, – страна чудес. Он не перестает удивляться, глядя на раскрывающийся перед ним новый мир. Но Губерт не только удивляется. Он растет изо дня в день, наблюдая и учась на каждом шагу. Он сам становится новым человеком[241].

Чтобы правильно поняли: книга отнюдь не плохо написана, это «для того времени необычное и в высшей степени интересное» произведение[242]. Большой тираж был тут же распродан. Написанный от первого лица, с множеством диалогов, писем, рисунков, фотографий, оригинально построенный и оформленный рассказ о новых впечатлениях в Москве, жизнь в которой герой часто сравнивает с жизнью у себя на родине, – очень яркий и привлекательный. И все-таки из него мало что узнаешь о советской действительности 1930-х годов и повседневной жизни эмигрантов, но гораздо больше о том, какой должна была быть жизнь, о желаемом, волшебном мире пропаганды.

Только сегодня нам предстоит реконструировать – постепенно, трудно, бережно – те условия, в каких на самом деле жили и творили тогда в Советском Союзе немецкие эмигранты, и то, как их мечта о Советском Союзе превратилась в кошмар, и каковы были стратегии, с помощью которых они пытались справиться с пережитым.

*Перевод с немецкого Марианны Корчагиной и Кирилла Левинсона*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по рукописи: *Bredel W.* Wahre Heimat // Stiftung Archiv der Akademie der Künste (далее: SAdK). Berlin. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 221/1.

[2] Это было связано и с бюрократическими трудностями. Для возвращения из США, помимо всего прочего, требовались разрешение союзной администрации и разрешение на прописку. Т. е., дело «зависело отнюдь не только от намерений эмигрантов». – *Krauss M.* «Als Emigrant hat man Geduld gelernt» – Bürokratie und Remigration nach 1945 // Exil. 17 (1997). H. 2. S. 89; см. подробнее: dies. Heimkehr in ein fremdes Land. Geschichte der Remigration nach 1945. – München, 2001.

[3] См. *Stephan A.* Die deutsche Exilliteratur 1933–1945. – München, 1979. S. 79–80.

[4] Предположительно, возвращению Вольфа с этой группой воспрепятствовал Вальтер Ульбрихт. – См.: *Müller H.* Antifaschismus und Stalinismus: Zum Beispiel Friedrich Wolf // Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. 33 (1991). H. 1. S. 178.

[5] SAdK. Friedrich-Wolf-Archiv. Nr. 248.

[6] Ebd. Дополнение «и обратно» в документе зачеркнуто. 20 сентября Вольф прибыл в Берлин. 27 сентября 1945 г. «Tägliche Rundschau» сообщила о его возвращении.

[7] Фрида Рубинер – Эриху Вайнерту, 18 марта 1948 г. – SAdK. Erich-Weinert-Archiv. Nr. 270.

[8] *Rodenberg H.* Briefe aus unruhigen Jahren. – Berlin (Ost), 1985. S. 43.

[9] *Rodenberg H.* Protokoll eines Lebens. Erinnerung und Bekenntnis / Auf der Grundlage von Tonbandprotokollen bearbeitet und hrsg. von R. Richter. – Berlin (Ost), 1980. S. 145–146.

[10] *Huppert H.* Einmal Moskau und zurück. Stationen meines Lebens. – Halle und Leipzig, 1987. S. 400.

[11] См.: *Kurella A.*, Cohn-*Vossen E.* Der Traum von Ps'chu. Ein Ehe-Briefwechsel im zweiten Weltkrieg / Hrsg. von J. Koch. – Berlin und Weimar, 1984.

[12] Франц Лешницер – Эриху Вайнерту, 22 декабря 1952 г. – SAdK. Erich-Weinert-Archiv. Nr. 185.

[13] *Müller R.* Aus der Moskauer Kaderakte des parteilosen Bolschewiken Heinrich Vogeler // Exil. 15 (1995). H. 1. S. 33.

[14] *Becher J.R.* Selbstzensur // Sinn und Form. 40 (1988). H. 3. S. 545.

[15] Действие романа разворачивается на фоне восстания рабочих в ГДР 17 июня 1953 г. (*Прим. перев.*).

[16] *Seghers A.* Das Vertrauen. Roman. Darmstadt und Neuwied, 1977. S. 301. Цит. по рус. изд.: *Зегерс А.* Доверие. – М., 1969. С. 377. О «заповеди молчания» см. подробнее: *Hilzinger S.* «Ich hatte nur zu schweigen». Strategien des Bewältigens und des Verdrängens der Erfahrung Exil in der Sowjetunion am Beispiel autobiographischer Texte // Frauen und Exil. Zwischen Anpassung und Selbstbehauptung / Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung von C. – D. Dieter Krohn [u. a.] (= Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. Bd. 11). – München, 1993. S. 36–38.

[17] Об этом понятии см.: *Köpke W.* «Innere» Exilgeographie? Die Frage nach der Affinität zu Asylländern // Kulturelle Wechselbeziehungen im Exil – Exile across Cultures / Hrsg. von H.F. Pfanner. – Bonn, 1986. S. 13–24.

[18] Об этой проблематике в целом см.: Fritz-*Ullmer G.* Auseinandersetzung antifaschistischer Exil-Schriftsteller mit dem Problem des Stalinismus in Autobiographien der Nachkriegszeit. – Frankfurt/M., 1989; *Kuhn H.* Bruch mit dem Kommunismus. Über autobiographische Schriften von Ex-Kommunisten im geteilten Deutschland. – Münster, 1990; *Rohrwasser M.* Der Stalinismus und die Renegaten. Die Literatur der Exkommunisten. – Stuttgart, 1991.

[19] См.: *Critchfield R.* Einige Überlegungen zur Problematik der Exilautobiographik // Erinnerungen ans Exil – kritische Lektüre der Autobiographien nach 1933 und andere Themen. (= Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. Bd. 2) / Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung von Th. Koebner [u. a.]. – München, 1984. S. 46.

[20] *Kleinschmidt E.* Schreiben und Leben. Zur Ästhetik des Autobiographischen in der deutschen Exilliteratur // Ebd. S. 32.

[21] К такой аргументации прибегает, например, Густав Реглер (*Regler G.* Das Ohr des Malchus. Eine Lebensgeschichte. – Köln, 1958. S. 336). Его записи того времени и соответствующие сюжеты в его автобиографии, по словам М. Рорвассера, «настолько разные, что объединяет их только фамилия автора». – *Rohrwasser M.* «Die Deutschen in Verzückung». Der Moskauer Schriftstellerkongreß 1934 und seine deutschen Gäste // Exil. 10 (1990). H. 2. S. 54; см. также: *Fritz-Ullmer G.* Auseinandersetzung antifaschistischer Exil-Schriftsteller. S. 134.

[22] Об этом сфабрикованном НКВД деле, которое также может считаться примером конструирования такого типа «заговоров», см.: *Дель О.А.* От иллюзии к трагедии. Немецкие эмигранты в СССР в 30-е годы. – М., 1997; *Dehl O.*, *Mussienko N.*, *Plener U.* «Hitlerjugend» in der UdSSR? Hintergründe und Folgen einer NKWD-Fälschung 1938 // *Dehl O.* [u. a.] Verratene Ideale. Zur Geschichte deutscher Emigranten in der Sowjetunion in den 30er Jahren / Hrsg. von U. Plener. – Berlin, 2000. S. 169–276; *Schafranek H.* Kontingentierte «Volksfeinde» und «Agenturarbeit». Verfolgungsmechanismen der stalinistischen Geheimpolizei NKWD am Beispiel der fiktiven «Hitler-Jugend» in Moskau und der «antisowjetischen Gruppe von Kindern repressierter Eltern» (1940) // Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 37 (2001). H. 1. S. 1–76.

[23] Речь идет о латышском режиссере Анне Эрнестовне Лацис. (*Прим. перев.*).

[24] *Reich B.* Im Wettlauf mit der Zeit. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten deutscher Theatergeschichte. – Berlin (Ost), 1970. S. 376–377.

[25] *Huppert H.* Wolkenbahn und Erdenstraße. Gedichte und Poeme. – Halle/S., 1975. S. 381–411.

[26] О ней см.: Im Fluchtgepäck die Sprache. Deutschsprachige Schriftstellerinnen im Exil / Hrsg. von C. Schoppmann. – Berlin, 1991. S. 180–187.

[27] *Zinner H.* Die große Ungeduld. Erzählung. – Berlin (Ost), 1988. S. 9, 12.

[28] Du hast gelogen, Mutter. – SAdK. Hedda-Zinner-Archiv. Nr. 107.

[29] *Zinner H.* Die große Ungeduld. S. 127–128.

[30] Х. Циннер приступила к работе над книгой уже в начале 1970-х годов, но на время прервала ее после того, как «один дружелюбный товарищ» осведомился о ней. – См.: Dialog Hedda Zinner / *Andreas W. Mytze* // Denunziation und Verrat. Die 30er Jahre in der Sowjetunion. (= Europäische Ideen. H. 79) / Hrsg. von A.W. Mytze. – Berlin, 1992. S. 30.

[31] «Расплывчатости становится больше по мере того, как автор все ближе подходит к “белым пятнам”, которые “защищаются” цензурой и самоцензурой». – *Hilzinger S.* «Ich hatte nur zu schweigen». S. 40.

[32] *Schoppmann C.* (Hrsg.). Im Fluchtgepäck die Sprache. S. 180.

[33] *Zinner H.* Selbstbefragung. – Berlin (Ost), 1989. S. 5–6.

[34] *Damerius H.* Unter falscher Anschuldigung. 18 Jahre in Taiga und Steppe. – Berlin und Weimar, 1990. S. 14–15.

[35] *Müller R.* «Schrecken ohne Ende». Eingaben deutscher NKWD-Häftlinge und ihrer Verwandten an Stalin, Jeshow u. a. // Exil. 17 (1997). H. 2. S. 84. Письмо приведено также в книге О. Деля «Verratene Ideale» на страницах 264–266. Там же на страницах 267–268 приведена «Справка Отдела кадров ИККИ о Гельмуте Дамериусе от 4 мая 1941 г., а также документ «Вильгельм Пик государственному прокурору СССР Бочкову: ходатайство за Гельмута Дамериуса от 27 мая 1941 г. (С. 268–269).

[36] «Верните мне свободу!» Деятели литературы и искусства России и Германии – жертвы сталинского террора. Мемориальный сборник документов из архивов бывшего КГБ / Отв. ред. В.Ф. Колязин. – М., 1997. С. 214–215.

[37] *Müller R.* «Schrecken ohne Ende». S. 88.

[38] *Richter T.* Totgesagt. Erinnerungen. – Halle und Leipzig, 1990. S. 287, 455.

[39] Эрвин и Ева Штриттматтер, Райнер Кирш и Марианна Ланге пытались отговорить Труде Рихтер от публикации этой части. – См.: *Hilzinger S.* «Ich hatte nur zu schweigen». S. 43.

[40] Райнер Кирш Труде Рихтер, 8 марта 1980 г. – Цит. по: Ebd. S. 43–44.

[41] Ср., например, книгу, считавшуюся в ГДР основополагающей работой по этой теме: *Jarmatz K.*, *Barck S.*, *Diezel P.* Exil in der UdSSR (= Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil 1933–1945. Bd. 1). – Leipzig, 1979. См. также критику этой работы в *Trapp F.* Bloße Irrtümer oder absichtsvolle Fehler? // Exil. 2 (1982). H. 3. S. 75–83.

[42] *Erler P.* Die Rückführung deutscher Opfer des Stalinismus aus der UdSSR und ihre Eingliederung in das gesellschaftliche Leben der SBZ/DDR. Eine Bestandsaufnahme // Kommunisten verfolgen Kommunisten. Stalinistischer Terror und «Säuberungen» in den kommunistischen Parteien Europas in den dreißiger Jahren / Hrsg. von H. Weber und D. Staritz. – Berlin, 1993. S. 429.

[43] Правда, Додо Гараи в письме Альфреду Курелле 18 мая 1963 г. писала о своих «бесконечных, почти отчаянных попытках найти место в нашей республике». Dodo Garai – Alfred Kurella. Ein Briefwechsel // Sinn und Form. 42 (1990). H. 4. S. 740.

[44] *Mittenzwei W.* Lebenslauf und Geschichtsverlauf. Skizze zum Porträt eines Mannes vor dem Hintergrund des Jahrhunderts // *Damerius H.* Unter falscher Anschuldigung. S. 357.

[45] *Erler P.* Die Rückführung deutscher Opfer… S. 434.

[46] *Stark M.* Deutsche Exilantinnen im GULAG. Alltag des Überlebens // Sprache – Identität – Kultur. (= Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch. Bd. 17) / Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung von C. – D. Dieter Krohn [u. a.]. – München, 1999. S. 57.

[47] *Mittenzwei W.* Lebenslauf und Geschichtsverlauf. S. 364.

[48] *Brüning E.* Lästige Zeugen? Tonbandgespräche mit Opfern der Stalinzeit. – Halle und Leipzig, [ca. 1990]. S. 153–154. Позднее *Эрна К.* изменила свою позицию. См.: «Wenn Du willst Deine Ruhe haben, schweige». Deutsche Frauenbiographien des Stalinismus / Hrsg. von M. Stark. – Essen, 1991. S. 8–9, 81–154.

[49] Додо Гараи – Альфреду Курелле, 1 июля 1963 г. // Dodo Garai – Alfred Kurella. S. 747.

[50] Цит. по: Exil in der Sowjetunion. (= Europäische Ideen. H. 14/15) / Hrsg. von A.W. Mytze. – Berlin, 1976. S. 33.

[51] См.: *Müller H.* «Ich warte nicht, bis man mich hier verhaftet». Das Moskauer Exil der Familie Friedrich Wolf // Deutschland und Rußland. (= Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte. Bd. 24) / Hrsg. im Auftrag des Instituts für deutsche Geschichte von D. Diner und F. Stern. – Gerlingen, 1995. S. 197.

[52] *Müller R.* Einleitung // *Lukács G.*, *Becher J.R.*, *Wolf F.* [u. a.] Die Säuberung. Moskau 1936: Stenogramm einer geschlossenen Parteiversammlung / Hrsg. von R. Müller. – Reinbek bei Hamburg, 1991. S. 25.

[53] *Schlögel K.* Moskau lesen. – Berlin, 1984. S. 198.

[54] Об этом увлечении Россией и проективных представлениях о ней см. особенно: *Hollander P.* Political Pilgrims. Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba 1928–1978. – New York and Oxford, 1981; *Furler B.* Augen-Schein. Deutschsprachige Reportagen über Sowjetrußland 1917–1939. – Frankfurt/M., 1987; *Koenen G.* Die großen Gesänge. Lenin, Stalin, Mao Tse-tung: Führer-

kulte und Heldenmythen des 20. Jahrhunderts. 2. korrigierte Aufl. – Frankfurt/M., 1992; Ders. «Indien im Nebel«. Die ersten Reisenden ins «neue Rußland«. Neun Modelle projektiver Wahrnehmung // Deutschland und die Russische Revolution 1917–1924. – München 1998 (= West-östliche Spiegelungen: Bd. 5 A.) / Hrsg. von G. Koenen und L. Kopelew. S. 557–616 – рус. изд.: *Кёнен Г.* «Индия в тумане». Первые поездки в «новую Россию». Девять моделей восприятия // Германия и русская революция 1917–1924 / Изд. Г. Кёнена и Л. Копелева / Пер. с нем. под ред. Я. Драбкина. Т. 5–2. – М., 2007. С. 525–583.

[55] *Schlögel K.* Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. – Berlin, 1998. S. 140.

[56] *Kurella A.* Was ist und was will der Fünfjahresplan? // Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre «Fünfjahresplan» / Hrsg. von E. Glaeser und F.C. Weiskopf. – Berlin, 1931. S. 187.

[57] См.: *Schlögel K.* Berlin Ostbahnhof Europas. S. 140.

[58] *Glaeser E.* und *Weiskopf F.C.* (Hrsg.). Der Staat ohne Arbeitslose. S. V.

[59] См.: Mick Ch. Sowjetische Propaganda, Fünfjahrplan und deutsche Rußlandpolitik 1928–1932. – Stuttgart, 1995. S. 198. О создании ВОКСа и его деятельности в начале его существования см. также: Ebd. S. 180–182.

[60] Некоторые отказывались это делать. Так, Людвиг Маркузе выразился в том смысле, что он охотно написал бы о Советском Союзе, «но как я должен это делать, если у меня нет возможности увидеть то, с чем я очень хотел бы познакомиться». – Людвиг Маркузе – Вилли Бределю, 29 декабря 1936 г. // SAdK. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 3576. См. также: *Marcuse L.* Mein zwanzigstes Jahrhundert. Auf dem Weg zu einer Autobiographie. – Zürich, 1975. S. 225, 231.

[61] См.: *Mensing W.* (in Zusammenarbeit mit *Erler P.*) Von der Ruhr in den GULag. Opfer des Stalinschen Massenterrors aus dem Ruhrgebiet. – Essen, 2001. S. 25. Об экономической эмиграции см. также: *Дель О.А.* От иллюзии к трагедии. С. 22–67; *Dehl O.A.* [u. a.] Verratene Ideale. S. 30–70; *Журавлев С.В.* Маленькие люди и большая история. Иностранцы московского электрозавода в советском обществе. – М., 2000.

[62] Шуцбунд – в 1920–1930-х годах военизированная организация Социал-демократической рабочей партии Австрии, созданная в 1923 г. для обороны от военизированных отрядов христианско-социалистических организаций, поддерживавших правительство. В феврале 1934 г., после вооруженных столкновений с полицией и войсками, остатки разгромленных отрядов шуцбундовцев нашли убежище в других странах, в том числе и в СССР (*Прим. перев.*).

[63] См.: Österreicher im Exil. Sowjetunion 1934–1945. Eine Dokumentation / Hrsg. vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Einleitung, Auswahl und Bearbeitung: B. McLoughlin, H. Schafranek. – Wien, 1999. S. 17–416.

[64] См.: Ebd. S. 418–553; *Schafranek H.* [unter Mitarb. von *Mussijenko N.*]. Kinderheim Nr. 6. Österreichische und deutsche Kinder im sowjetischen Exil. – Wien, 1998.

[65] Об этом конгрессе см. в особенности *Rohrwasser M.* «Die Deutschen in Verzückung«; *Benz W.* Der Moskauer Schriftstellerkongreß 1934. Literarische und politische Erinnerungen // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 48 (2000). H. 7. S. 624–632.

[66] См.: *Jarmatz K.*, *Barck S.*, *Diezel P.* Exil in der UdSSR. S. 39.

[67] Так, Клаус Манн отметил: «Около двух недель я провел в московском отеле “Метрополь” и увидел от жизни Советской России не больше и не меньше, чем позволили нам увидеть наши сопровождающие». – *Mann K.* Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. – Reinbek bei Hamburg, 1991. S. 330.

[68] *Graf O.M.* Reise nach Sowjetrußland 1934 / Hrsg. von R. Recknagel. – Berlin (Ost), 1977. S. 48.

[69] *Mann K.* Notizen in Moskau // Sozialistische Realismuskonzeptionen. Dokumente zum 1. Allunionskongreß der Sowjetschriftsteller / Hrsg. von H. – J. Schmitt und G. Schramm. – Frankfurt/M., 1974. S. 407, 409.

[70] См. подробнее: *Паперный В.* Культура два. – М., 1996. С. 77–82; *Tischler C.* Flucht in die Verfolgung. Deutsche Emigranten im sowjetischen Exil 1933 bis 1945. – Münster, 1996. S. 87–88.

[71] *Koenen G.* Utopie der Säuberung. Was war der Kommunismus? – Berlin, 1998. S. 179.

[72] *Mann K.* Der Wendepunkt. S. 332.

[73] *Schlögel K.* Moskau lesen. S. 201.

[74] НКВД действительно подозревал Брехта в троцкизме. – См.: *Колязин В.Ф.* Бертольт Брехт в визире тайной полиции Сталина // Независимая газета. 9 мая 1997.

[75] Отношение Брехта к Советскому Союзу было амбивалентным; эта страна была для него гарантом борьбы против Гитлера, но его представления о коммунизме были принципиально иными. Аресты художников и интеллектуалов, с которыми он дружил (например, Каролы Неер, Сергея Третьякова и Михаила Кольцова) Брехт комментировал с озабоченностью, но публично за них не вступался. – См.: *Rohrwasser M.*, *Wizisla E.* Zwei unbekannte Briefe Brechts aus der Emigration // Sinn und Form. 47 (1995). H. 5. S. 672–677.

[76] Журнал «Internationale Literatur» издавался на русском, французском, английском и немецком языках, и содержание этих изданий сильно различалось. Здесь цитируется исключительно немецкоязычная версия, называвшаяся «Internationale Literatur», с 1937 г. – «Internationale Literatur. Deutsche Blätter».

[77] Письма Хупперта полны жалоб, едких упреков и слезливых инсинуаций. Характерно, например, его письмо Пастернаку от 18 января 1941 г., в котором он упрекает поэта в том, что тот не отреагировал на посланное стихотворение и просьбу его перевести, а в частной беседе якобы сказал, что у Хупперта мания величия: «Я не могу скрыть от Вас, что Вы глубоко меня оскорбили своим совершенно неожиданным бестактным поведением» (SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 97). В ответном письме от 8 мая 1941 г. Пастернак расставляет все факты по своим местам и вежливо, но определенно выражает протест против «аффектации и неестественности» письма Хупперта (SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 31).

[78] См.: *Holzner J.* Geglückte Integration in der UdSSR – gestörte Integration in Österreich. Anmerkungen zu Hugo Huppert // Leben im Exil. Probleme der Integration deutscher Flüchtlinge im Ausland 1933–1945 / Hrsg. von W. Frühwald und W. Schieder. – Hamburg, 1981. S. 123; *Walter H.* – A. Deutsche Exilliteratur 1933–1950. Bd. 2: Europäisches Appeasement und überseeische Asylpraxis. – Stuttgart, 1984. S. 210–211.

[79] *Müller R.* «Das große Reinemachen» 1931. Die «Säuberung» des Marx-Engels-Instituts im Moskauer Tagebuch Hugo Hupperts // Stalinismus und das Ende der ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe (1931–1941). Dokumente über die politische Säuberung des Marx-Engels-Instituts 1931 und zur Durchsetzung der Stalin'schen Linie am vereinigten Marx-Engels-Lenin-Institut beim ZK der KPdSU aus dem Russischen Staatlichen Archiv für Sozial- und Politikgeschichte Moskau / Hrsg. von C. – E. Vollgraf [u. a.] – Berlin und Hamburg, 2001. S. 350.

[80] На дверях Института висела табличка «Институт закрыт на дезинфекцию до 20 февраля». – См.: SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 69/2. См. также его одобрительные высказывания о «процессах вредителей» в его статье «Итоги и перспективы литературного процесса в СССР. (К I пленуму советских писателей)» // Internationale Literatur. 3 (1933). H. 1. S. 97–109, особ. С. 99; см. далее его дневниковые записи о показательных процессах и стихотворение «Голосование» // Deutsche Zentral-Zeitung. 1. Februar 1937. (В этом стихотворении Хупперт выразил свое согласие с процессами. – Примечание переводчика).

[81] См.: *Walter H.-A.* Deutsche Exilliteratur 1933–1950. Bd. 2. S. 238.

[82] См.: *Müller R.* «Das große Reinemachen». S. 353.

[83] Хуго Хупперт – Альфреду Курелле, 22 февраля 1938 г. // SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 97.

[84] Хуго Хупперт – Дьёрдю Лукачу, 26 мая 1941 г. // SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 97.

[85] *Wehner H.* Zeugnis. Persönliche Notizen 1929–1942 / Hrsg. von G. Jahn. – Halle und Leipzig, 1990. S. 212.

[86] *Hay J.* Geboren 1900. Erinnerungen. – Reinbek bei Hamburg, 1971. S. 228.

[87] Рейнхард Мюллер в качестве основания называет: «Отношения Хупперта с женщиной родом из Югославии, которая к тому же, будучи "перемещенным лицом", не имела гражданства, навлекали на него подозрения, делая его – по крайней мере, в глазах армейского начальства в Вене – потенциальным "титоистом", а в Москве – "космополитом"» // *Müller R.* «Das große Reinemachen». S. 354.

[88] *Rohrwasser M.* Das rettende Rußland. Erweckungserlebnisse des jungen *Johannes R.* Becher // *Koenen G.*, *Kopelew L.* (Hrsg.). Deutschland und die russische Revolution. S. 467. Цит. по рус. изд.: *Рорвассер М.* Спасительная Россия. Пробуждение молодого *Йоханнеса Р.* Бехера // Германия и русская революция / Изд. Г. Кёнена и Л. Копелева / Пер. с нем. под ред. Я. Драбкина. С. 448.

[89] *Rohrwasser M.* Der Weg nach oben. *Johannes R.* Becher. Politiken des Schreibens. – Basel und Frankfurt/M., 1980. S. 300.

[90] См.: Ebd. S. 293; *Роррассер М.* Спасительная Россия.

[91] См.: *Mieth M.* «Der Mensch, der nicht geschunden wird, wird nicht erzogen». *Johannes R.* Becher und die Gewalt des Stalinismus // Weimarer Beiträge. 37 (1991). H. 5. S. 764–772, особ. С. 765–766.

[92] *Dwars J.* – F. Abgrund des Widerspruchs. Das Leben des *Johannes R.* Becher. – Berlin, 1998. S. 475.

[93] Так, Бехер писал Вайнерту 25 апреля 1935 г., что они готовят Всемирный конгресс и при этом не знают, «откуда нам взять деньги, чтобы наклеить марку на письмо». – SAdK. Erich-Weinert-Archiv. Nr. 12. На трудное материальное положение Бехер жалуется во многих письмах.

[94] Бехер – «дорогим друзьям», 16 марта 1935 г. // SAdK. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 3289/6.

[95] Бехер – Карлу [Шмюкле], 11 марта 1935 г. // SAdK. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 3289/4. Это письмо не включено в издание писем Бехера – ср. *Johannes R.* Becher: Briefe: 1909–1958 / Hrsg. von R. Harder. – Berlin und Weimar, 1993.

[96] Письмо 9 декабря 1934 г. // Центральный партийный архив в Москве. Копия: SAdK. ZPM/F/19.

[97] Протокол № 9 (27–29 сентября 1936 г.) заседания комиссии Москвина. Цит. по: *Müller R.* (unter Mitwirkung von *Mussijenko N.*) «Wir kommen alle dran». Säuberungen unter den deutschen Politemigranten in der Sowjetunion (1934–1938) // Terror. Stalinistische Parteisäuberungen 1936–1953 / Hrsg. von H. Weber und U. Mählert. Paderborn [u. a.] 1998. S. 140. Утверждается, что после подписания пакта Гитлера – Сталина Лукачу и Бехеру сообщили, «что их не выдадут гестапо, «а подвергнут “внутренней ликвидации”» // *Dwars J.-F.* Abgrund des Widerspruchs. S. 437.

[98] *Колязин В.Ф.* «Верните мне свободу!». С. 362.

[99] *Becher J.R.* Wiedergeburt. Dichtungen. – Moskau, 1940. S. 167–170.

[100] *Lukács G.* Gelebtes Denken. Autobiographie im Dialog / Hrsg. von I. Eörsi. – Frankfurt/M., 1981. S. 180.

[101] *Kleinschmidt E.* Exil als Schreiberfahrung. Bedingungen deutscher Exilliteratur 1933–1945 // Exil. 2 (1982). H. 2. S. 33.

[102] См.: *Mayenburg R.* von. Blaues Blut und rote Fahnen. Ein Leben unter vielen Namen. – Wien und München, 1977. S. 281. 7 сентября 1942 г. Димитров записал в дневнике: «Немецкий писатель Бехер предпринял попытку самоубийства (вскрыл себе артерии). Его жизнь вне опасности. Меры по лечению приняты». – *Dimitroff G.* Tagebücher 1933–1943 / Hrsg. von B.H. Bayerlein. – Berlin, 2000. S. 588–589. См. также: Письмо Бехера с извинениями и благодарностью от 20 сентября 1942 г. – Ebd. S. 597.

[103] См.: Ebd. S. 478 – запись от 24 января 1942 г.: «Звонил в Ташкент (Юсупову); он должен отослать в Москву немецкого писателя Бехера […]».

[104] См.: Der gespaltene Dichter *Johannes R.* Becher. Gedichte, Briefe, Dokumente 1945–1958 / Hrsg. von C. Gansel. – Berlin, 1991.

[105] См.: Herwarth Walden 1878–1941. Wegbereiter der Moderne / Hrsg. von F. Müllhaupt. – Berlin 1991.

[106] *Mülhaupt F.* Herwarth Walden. Die Kunstwende // Ebd. S. 21.

[107] *Walden H.* Zum Film «Potemkin» // Der Sturm. 17 (1926). [ND Liechtenstein 1970]. S. 101. См.: *Финкельдей Б.* Лучший из миров. Херварт Вальден и Советский Союз. Текстовый коллаж // *Антонова И.*, *Меркерт Й.* Москва – Берлин 1900–1950. – М., 1996. С. 53. См. также: *Brühl G.* Walden, Herwarth // Lexikon sozialistischer Literatur. Ihre Geschichte in Deutschland bis 1945 / Hrsg. von S. Barck, S. Schlenstedt [u. a.]. – Stuttgart und Weimar, 1994. S. 508.

[108] См.: *Walden H.* Sowjet-Russland. Verbrecher Kolonie. Die Kommune der OGPU // Der Sturm. 18 (1927/28). [ND Liechtenstein 1970]. S. 106–107.

[109] *Walden N.* Herwarth Walden. Ein Lebensbild. – Berlin und Mainz, 1963. S. 34.

[110] См.: *Финкельдей Б.* Лучший из миров. С. 53.

[111] См.: Там же. С. 54; *Walden N.* Herwarth Walden. S. 33.

[112] *Huppert H.* Einmal Moskau und zurück. S. 233.

[113] *Walden H.* Vulgär-Expressionismus // Die Expressionismusdebatte. Materialien zu einer marxistischen Realismuskonzeption / Hrsg. von H. – J. Schmitt. – Frankfurt/M., 1976. S. 89.

[114] *Walden S.* Nachricht über meinen Vater // *Mytze W.* (Hrsg.). Exil in der Sowjetunion. S. 14–15.

[115] См. досье на Вальдена в: *Колязин В.Ф.* «Верните мне свободу!». С. 241–282.

[116] Цит. по: *Müller R.* «Schrecken ohne Ende». S. 82–83.

[117] О биографии Вольфа см.: *Müller H.* Friedrich Wolf – Weltbürger aus Neuwied. Selbstzeugnisse in Lyrik und Prosa, Dokumente und Dokumentarisches, Bilder und Briefe. – Neuwied, 1988; ders.: Wer war Wolf? Friedrich Wolf in Selbstzeugnissen, Bilddokumenten und Erinnerungen. – Köln, 1988; ders.: Antifaschismus und Stalinismus; ders.: «Ich warte nicht, bis man mich hier verhaftet».

[118] В 1936 г., в Москве Вольф должен был защищать закон, запрещающий прерывание беременности. См.: *Wolf F.* Der Paragraph 218 und der proletarische Staat // Deutsche Zentral-Zeitung. 30. Mai 1936.

[119] *Müller H.* Antifaschismus und Stalinismus. S. 167.

[120] Письмо от 5 мая 1936 г. // *Wolf F.* Briefwechsel. Eine Auswahl / Hrsg. von E. Wolf und W. Pollatschek. – Berlin und Weimar, 1968. S. 161–162.

[121] Abschied und Willkommen. Briefe aus dem Exil 1933–1945 / Hrsg. von H. Haarmann unter Mitarbeit von T. Teuber. – Berlin, 2000. S. 137–138.

[122] См.: Фридрих Вольф – Курту Трепте, 28 мая 1938 г. // Ebd. S. 158–159.

[123] *Колязин В.Ф.* «Верните мне свободу!» С. 362.

[124] Там же.

[125] *Müller H.* Antifaschismus und Stalinismus. S. 173–174; ders.: «Ich warte nicht, bis man mich hier verhaftet». S. 207–208.

[126] *Kantorowicz A.* Deutsches Tagebuch. Erster Teil. Berlin, 1978. S. 28. Канторович отмечает, что и для Вольфа, и для Вайнерта существовали табу, которые не позволяли свободно говорить о времени, проведенном в Советском Союзе.

[127] О нюансах в деле его приглашения в СССР см. *Wilde H.* Theodor Plievier. Nullpunkt der Freiheit. – München, Wien und Basel, 1965. S. 319–320.

[128] *Plievier H.* Ein Leben gelebt und verloren. – Gütersloh, 1966. S. 12.

[129] Ebd. S. 15. Когда Пливье приехал в Советский Союз, его германский паспорт был уже недействителен. Заявления о выдаче французского паспорта для иностранцев и нансеновского паспорта были поданы, но документы не были вовремя оформлены. См.: *Wilde H.* Theodor Plievier. S. 341.

[130] Ebd. S. 367–368.

[131] См.: Ebd. S. 385.

[132] *Рорвассер М.* Теодор Пливье (1892–1955 гг.) // *Антонова И., Меркерт Й.* Москва – Берлин. С. 335.

[133] *Wilde H.* Theodor Plievier. S. 405.

[134] *Рорвассер М.* Теодор Пливье (1892–1955 гг.)

[135] Кантон в Швейцарии. (Примечание переводчика).

[136] *Schafranek H.* Sowjetunion // Handbuch der deutschsprachigen Emigration 1933–1945 / Hrsg. von C. – D. Krohn [u. a.] in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Exilforschung. – Darmstadt, 1998. S. 384–396, 384.

[137] Решение Секретариата о политической эмиграции от 7 марта 1936 г. см.: *Huber P.* Komintern-organe als Vorreiter der Repression // Exil. 13 (1993). H. 2. S. 78. Ср. *Tischler C.* Flucht. S. 19, 96f. Например, Лилли Корпус даже много лет спустя, в 1946 г., вынуждена была самокритично поминать как свою грубую политическую ошибку то, что она «уехала из Германии, не получив специального разрешения от партии». Лилли Корпус – Вильгельму Пику, 19 января 1946 г. – SAdK, Johannes R. Becher-Archiv, Nr. 1417.

[138] «Кажущиеся нормальными» проверки членов партии плавно переходили в «чистки» и террор. См.: *Müller R.* «Wir kommen alle dran». S. 123.

[139] См.: *Schafranek H.* Sowjetunion. S. 384.

[140] Вильгельм Пик – Вильгельму Флорину, 23 августа 1936. – IfGA: ZPA I 2/3/250. Цит. по: In den Fängen des NKWD. Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR / Hrsg. vom Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung. – Berlin, 1991. S. 276, 280.

[141] См.: *Schafranek H.* Zwischen NKWD und Gestapo. Die Auslieferung deutscher und östereichischer Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazideutschland 1937–1941. – Frankfurt a. M., 1990; *Scherbakowa I.* Das Schicksal der vom NKWD zwischen 1936 und 1941 an Deutschland ausgelieferten deutschen Emigranten, rekonstruiert anhand von Akten aus dem Moskauer KGB-Archiv // *Weber H.* / *Staritz D.* (Hrsg.) Kommunisten verfolgen Kommunisten. S. 265–274.

[142] Bericht von Paul Jäkel an das ZK der KPD. – RCChIDNI 495/292/101. Цит. по: *Müller R.* Terror und Exil. Anmerkungen und Forschungsperspektiven // Opfer wofür? Deutsche Emigranten in Moskau – ihr Leben und Schicksal. Heinrich Vogeler und seine Gesinnungsgenossen im Moskauer Exil / Hrsg. von E. Meyer-Stiens. [Lilienthal], 1996. S. 21–23; см. также: *Tischler C.* Flucht. S. 108–109.

[143] Оперативный приказ НКВД № 00439 от 25 июля 1937 г. // Österreicher im Exil. S. 286–287; *Dehl O.* [u. a.] Verratene Ideale. S. 109–110; *Müller R.* «Wir kommen alle dran». S. 163–164. Сначала в приказе речь шла об «аресте всех немцев, занятых на военном производстве», но потом он был направлен против всех немцев.

[144] Journal de Moscou. Цит. по: *Вдовин А.И.* Русские в XX веке. – М., 2004. С. 126. Эти погромные настроения коснулись и других национальных «контингентов» – например, поляков, корейцев, латышей, эстонцев, финнов, греков, китайцев, иранцев и румын (ср. ebd. S. 156.).

[145] *Bayerlein B.H.* Vom Geflecht des Terrors und zum Kartell des Todes? Erste Einblicke in die Mechanismen und Strukturen von Komintern und KpdSU im Kontext des stalinistischen Terrors anhand der Bestände im Moskauer Komintern-Archiv // *Weber H.* und *Staritz D.* (Hrsg.) Kommunisten verfolgen Kommunisten. S. 121; см. также: *Huber P.* Kominternorgane als Vorreiter der Repression.

[146] *Müller R.* Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung. – Hamburg, 2001. S. 36, 38.

[147] WalterH. – A. Deutsche Exilliteratur. Bd. 2. S. 235.

[148] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 139. Л. 4.

[149] Ср. *Mayenburg R.* von Hotel Lux. München, 1978; *Unfried B.* Les passants de l'hôtel Lux // Moscou 1918–1941. De «l'homme nouveau» au bonheur totalitaire / Ed. C. Gousseff. – Paris, 1993. P. 242–257.

[150] См.: Buber-*Neumann M.* Von Potsdam nach Moskau. Stationen eines Irrweges. – Stuttgart, 1957. S. 454; ср. *Wehner H.* Zeugnis. S. 189–190.

[151] Ср. Указание № 221 НКВД СССР и Генерального прокурора СССР об арестах в случае начала войны, 22 июня 1941 г // Österreicher im Exil. Sowjetunion 1934–1945. S. 303.

[152] Ср. Österreicher im Exil. Sowjetunion 1934–1945. S. 633.

[153] Цит. по: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956 / Hrsg. von A. Eisfeld und V. Herdt. Köln, 1996. S. 54; см. также: Депортации народов СССР. Часть 2: Депортации немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942). – М., 1995. С. 72–73.

[154] См. *Tischler C.* Flucht. S. 178–179; *Кригер В.* Патриоты или предатели? Политические и уголовные процессы против российских немцев в 1942–1946 годах // Родина. № 10, 2002. С. 96–97.

[155] См.: *Müller R.* Aus der Moskauer Kaderakte.

[156] См.: *Вашкау Н.Э.* Без вины виноватые. Российские немцы на спецпоселении и в трудармии // Родина. № 10, 2002. С. 99–104.

[157] См.: *Tischler C.* Flucht. S. 181.

[158] О тихом героизме писателей, которые в Казани неделями жили на чемоданах, пишет Инге фон Вангенхайм: *Wangenheim I.* von. Wovon wir nicht schreiben // Dies. Die tickende Bratpfanne. Kunst und Künstler aus meinem Stundenbuch. – Rudolstadt, 1977. S. 241–246. Гораздо менее патетично описывается вынужденное пребывание в Казани в романе Пливье «Москва»: *Plievier Th*. Moskau. – München, 1952. S. 484–489.

[159] *Plievier Th.* Moskau. S. 440.

[160] *Plievier H.* Ein Leben gelebt. S. 218.

[161] *Hay J.* Geboren 1900. S. 246.

[162] SAdK. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 3118/1. И в последних исследованиях выражается сомнение, «было ли стремление эвакуировать в те дни всех эмигрантов связано с соображениями их безопасности или же главную роль играл параноидальный страх, что они могут оказаться «нацистскими агентами»»: Österreicher im Exil. S. 634–635.

[163] Альфред Курелла – Эльфриде Кон-Фоссен, 8 августа 1941 г. // SAdK. Alfred-Kurella-Archiv. Nr. 1522; см. также: *Kurella A.*, Cohn-*Vossen E.* Der Traum von Ps'chu. S. 62.

[164] Альфред Курелла – Эльфриде Кон-Фоссен, 19 июля 1941 г. из Москвы // SAdK. Alfred-Kurella-Archiv. Nr. 1522.

[165] *Huppert H.* Schach dem Doppelgänger. Anläufe der Reifezeit. – Halle und Leipzig, 1979. S. 58.

[166] Цит. по: Österreicher im Exil. S. 678–679. Дамериус даже несколько десятилетий спустя горько сетовал на то, что «нацистским солдатам» уделялось большое внимание, а «арестованные

товарищи» были позабыты и не привлекались к агитационно-пропагандистской работе среди военнопленных. См. *Damerius H.* Unter falscher Anschuldigung. S. 260.

[167] *Arendt H.* Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. – Frankfurt/M., 1955. S. 738.

[168] *Zinner H.* Selbstbefragung. S. 104. Правда, в 1930-е годы она печатала в «Internationale Literatur» стихи, в которых восхваляла жизнь без страха в Советском Союзе в противоположность угнетению в капиталистическом мире. – см., например, *Zinner H.* Moskau, Frühling 1936 // Internationale Literatur. 6 (1936). H. 5. S. 55.

[169] Об этой немецкой секции см. *Pike D.* Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil 1933–1945. – Frankfurt/M. 1981. S. 179–216.

[170] Малх (царь; см. Евангелие от Иоанна, XVIII, 10), слуга первосвященника, которому апостол Петр урезал правое ухо в саду Гефсиманском, которое, однако, немедленно чудесным образом было исцелено Спасителем. См.: Иллюстрированная полная, популярная библейская энциклопедия в 4-х выпусках. – М., 1891. С. 448.

[171] *Regler G.* Das Ohr des Malchus. S. 347. Правда, в то время Реглер, который сам участвовал в подготовке статей о показательных процессах, с энтузиазмом поддерживал чистки – ср. *Müller R.* Wort-Delirium. Kampagnen von Komintern und KPD gegen Kritiker der Moskauer Schauprozesse // Le milieu intellectuel de gauche en Allemagne, sa presse et ses réseaux (1890–1960) / Hrsg. von M. Grunewald in Zusammenarbeit mit H.M. Bock. – Bern 2002. S. 523–556, 532f. Тогдашние знакомые и соратники единодушно описывали Реглера как «правоверного члена партии» (Альфред Канторович), «прямо-таки гротескного в своем усердии» (Оскар Мария Граф) и исполненного «воинственной, ревностной веры» (Клаус Манн). Между тем Реглер в своем романе «Посев» («Die Saat», 1936) писал о политических «недомоганиях» и критиковал СССР (замаскированный под «Швейцарию») за то, что тот, сосредоточившись на построении «социализма в одной отдельно взятой стране», не выполнял своего долга международной солидарности. См. *Walter H.-A.* Von der Freiheit eines kommunistischen Christenmenschen oder Gustav Reglers «Saat» – ein Exilroman in der Sklavensprache. – Frankfurt/M., 1991. S. 175–200. О противоречиях в творчестве Реглера в 30-е годы см. также *Scholdt G.* Gustav Regler. Odysseus im Labyrinth der Ideologien. Eine Biographie in Dokumenten. (= Schriften der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. Bd. 4). – St. Ingbert, 1998. S. 137–180.

[172] *Lukács G.*, *Becher J.R.*, *Wolf F.* Die Säuberung. S. 196–197. Сам Лукач был арестован в июне 1941 г., но через три месяца его отпустили. См. также: *Müller R.* «Glück in dieser Katastrophenzeit!» Georg Lukács in der Lubjanka // Mittelweg. 36, 9 (2000). H. 4. S. 28–48; Беседы на Лубянке. Следственное дело Дьёрдя Лукача. Материалы к биографии / Ред. В. Середа и А. Стикалин. 2-е, исправленное и дополненное изд. – М., 2001.

[173] *Schentalinski W.* Das auferstandene Wort. Verfolgte russische Schriftsteller in ihren letzten Briefen, Gedichten und Aufzeichnungen. Aus den Archiven sowjetischer Geheimdienste. – Bergisch Gladbach, 1996. S. 320.

[174] *Willmann H.* Eine Heimstätte der freien deutschen Literatur // Im Zeichen des roten Sterns. Erinnerungen an die Traditionen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. – Berlin (Ost), 1975. S. 116. Целая «сеть средств массовой информации и других институтов» давала эмигрантам «не просто занятие», а «возможность осмысленного, заполнявшего их дела». – *Jarmatz K.*, *Barck S.*, *Diezel P.* Exil in der UdSSR. S. 146.

[175] *Weinert E.* Rufe in die Nacht. Gedichte aus der Fremde. 1933 bis 1943. – Berlin (Ost), [1947]. S. 20.

[176] Ср. *Dehl O.* Zur Geschichte der DZZ, ihrer Chefredakteure und Mitarbeiter // *Dehl O.* [u. a.] Verratene Ideale. S. 279–314; *Barck S.* Eine unbekannte Bibliographie der DZZ. Zur Ambivalenz einer kulturhistorischen Quelle // ebd. S. 315–323; Bibliographie der literarisch-publizistischen Beiträge deutschsprachiger Autoren in der Deutschen Zentral-Zeitung (DZZ) 1933–1939 // ebd. S. 325–364.

[177] О журналах «Internationale Literatur» и «Das Wort» см. *Huß-Michel A.* Die Moskauer Zeitschriften «Internationale Literatur» und «Das Wort» während der Exil-Volksfront (1936–1939). Eine vergleichende Analyse. – Frankfurt/M. [u. a.] 1987; *Walter H.* – A. Deutsche Exilliteratur 1933–1950. Bd. 7: *Exilpresse I.* Darmstadt und Neuwied 1974. S. 171–240, 297–359; Lexikon sozialistischer Literatur / Hrsg. von S. Barck, S. Schlenstedt [u. a.]. S. 215–219, 535–538.

[178] Ср. *Pike D.* Deutsche Schriftsteller. S. 233, 286–290.

[179] См.: Bibliographie deutschsprachiger Veröffentlichungen der «Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter in der UdSSR» Moskau, Leningrad. – Berlin, 1992; Lexikon sozialistischer Literatur / Hrsg. von S. Barck, S. Schlenstedt [u. a.]. S. 487–488.

[180] См.: Vier Jahre zeitgenössische deutsche Literatur in russischer Übersetzung (1933–1936) // Das Wort. 2 (1937). H. 4–5. S. 207–208; *Stephan A.* Die deutsche Exilliteratur. S. 70.

[181] См.: *Trapp F.* Zur Vorgeschichte des Engels-Projekts. Bemühungen um die Errichtung eines deutschen Theaters in Moskau 1933/34 // Exil. 1 (1981). H. 1. S. 23–40; *Unfried B.* Kommunistische Künstler in der Sowjetunion der dreißiger Jahre: Kulturelle Mißverständnisse und Konkurenz // Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung (2000/2001). S. 132–133.

[182] См.: *Pike D.* Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil 1933–1945. – Frankfurt/M., 1981. S. 197–204.

[183] См.: *Haarmann H.*, *Schirmer L.*, *Walach D.* Das «Engels»-Projekt. Ein antifaschistisches Theater deutscher Emigranten in der UdSSR (1936–1941). – Worms, 1975; *Diezel P.* Exiltheater in der Sowjetunion 1932–1937. – Berlin (Ost), 1978; *Дицель П.* «Отцеплен». Эрвин Пискатор и Немецкий государственный театр // Родина. (2002), № 10. С. 86–88.

[184] См.: *Diezel P.* «dieses Land können wir nur von aussen verteidigen. hier brauchen sie uns nicht…» Maxim Vallentin und das deutschsprachige Theater im sowjetischen Exil. // «hier brauchen sie uns nicht». Maxim Vallentin und das deutschsprachige Exiltheater in der Sowjetunion 1935–1937. Briefe und Dokumente / Hrsg. von P. Diezel. – Berlin, 2000. S. 50–51.

[185] *Hay J.* Geboren 1900. S. 208.

[186] *Sinkó E.* Roman eines Romans. Moskauer Tagebuch. – Köln, 1962. S. 94.

[187] См.: *Tischler C.* Flucht in die Verfolgung. S. 91–92.

[188] См.: *Dehl O.* Zur Geschichte der DZZ. S. 295.

[189] *Damerius H.* Über zehn Meere zum Mittelpunkt der Welt. Erinnerungen an die «Kolonne Links». – Berlin (Ost), 1977. S. 201, 203.

[190] См.: *Wangenheim I.* von. Auf weitem Feld. Erinnerungen einer jungen Frau. – Berlin (Ost), 1954. S. 91.

[191] *Damerius H.* Über zehn Meere zum Mittelpunkt der Welt. S. 304.

[192] Ср., например, Stach ein brief aus der sowjetunion // Internationale Literatur. 2 (1932). H. 3. S. 134–137.

[193] *Damerius H.* Über zehn Meere zum Mittelpunkt der Welt. S. 314–315.

[194] См.: *Studer B.*, *Unfried B.* «Das Private ist öffentlich». Mittel und Formen stalinistischer Identitätsbildung // Historische Anthropologie. 7 (1999). S. 83–108; *Studer B.*, *Unfried B.* Der stalinistische Parteikader. Identitätsstiftende Praktiken und Diskurse in der Sowjetunion der dreißiger Jahre. – Köln [u. a.], 2001.

[195] *Wangenheim I.* von. Auf weitem Feld. S. 89. См. также: *Trapp F.* Inge von Wangenheim – Porträt einer «literarischen Stalinistin» // Jahrhundertschicksale. Frauen im sowjetischen Exil / Hrsg. von S. Barck [u. a.]. Berlin, 2003. S. 150–161.

[196] *Huppert H.* Sibirische Mannschaft. Ein Skizzenbuch aus dem Kusbass. – Zürich, 1934. S. 181.

[197] *Hay J.* Geboren 1900. S. 188–189.

[198] *Mayenburg R.* von. Hotel Lux. S. 241.

[199] *Hay J.* Geboren 1900. S. 204, 205.

[200] *Fischer E.* Erinnerungen und Reflexionen. – Frankfurt/M., 1994. S. 395.

[201] Reisetagebuch der Tournee der deutschen Theatertruppe «Kolonne Links» in den Donbass, 28.3. bis 5.5.1934, Nachlaß Wangenheim. Цит. по: *Unfried B.* Kommunistische Künstler in der Sowjetunion der dreißiger Jahre. S. 131.

[202] См.: Ebd. S. 129.

[203] См.: *Максименков Л.В.* Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция 1936–1938. – М., 1997.

[204] Ср. пророческие аналитические замечания Н. Тимашева *Timasheff N.S.* The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia [1946]. – N. Y., 1972.

[205] О замершем времени и об обращенности общества к прошлому в период сталинизма см. *Паперный В.* Культура два. С. 41–60. Ср. также *Terz A.* [*Sinjavskij A.*] Was ist der sozialistische Rea-

lismus? // ders. Der Prozeß beginnt und andere Prosa. – Frankfurt/M. und Hamburg, 1966. S. 120–155, особ. S. 124.

[206] Ср. *Günther H.* Die Verstaatlichung der Literatur. Entstehung und Funktionsweise des sozialistisch-realistischen Kanons in der sowjetischen Literatur der 30er Jahre. – Stuttgart, 1984.

[207] *Sinkó E.* Roman eines Romans. S. 99, 101.

[208] Фридрих Вольф – Эльзе Вольф, 31 марта 1935 г. – SAdK. Friedrich-Wolf-Archiv. Nr. 280.

[209] Berlin, 1947. S. 83.

[210] *Pike D.* Deutsche Schriftsteller im sowjetischen Exil. S. 318, 322–337.

[211] Ср. *Wangenheim I.* von. Schauplätze. Bilder eines Lebens. Rudolstadt (1983), [2]1986. S. 46.

[212] Ср. *Walter H.-A.* Deutsche Exilliteratur. Bd. 4. S. 212; *Stephan A.* Die deutsche Exilliteratur. S. 69; *Müller H.* Antifaschismus und Stalinismus. S. 178.

[213] Ср. *Stein E.* Anmerkungen // *Becher J.R.* Gesammelte Werke. Bd. 4: Gedichte 1936–1941 // Hrsg. vom Johannes-R. – Becher-Archiv der Akademie der Künste der Deutschen Demokratischen Republik. – Berlin und Weimar 1966. S. 903f.

[214] Хуго Хупперт – Борису Абрамовичу, 22 ноября 1940 г. – SAdK. Hugo-Huppert-Archiv. Nr. 97.

[215] Цит по: *Müller H.* Wer war Wolf? S. 184.

[216] *Buber-Neumann M.* Von Potsdam nach Moskau. S. 442.

[217] *Regler G.* Das Ohr des Malchus. S. 352, 359, 344.

[218] Das Wort. 2 (1937). H. 11. S. 59–107. *Mennemeier F.N.* / *Trapp F.* Deutsche Exildramatik 1933 bis 1950. – München, 1980. Особ. S. 80–82.

[219] О «трудностях с правдой» в автобиографии Хая см. *Walter H.-A.* Die Grenze des Erinnerungsvermögens. Kritische Anmerkungen zur Autobiographie von Julius Hay // Frankfurter Hefte (1972). H. 2. S. 107–116; *Kröhnke K.* Aspekte der politischen und literarischen, Verarbeitung' der Moskauer Prozesse: Befindlichkeiten, Propaganden, Apologie, Selbstkritik // *Weber H.* und *Staritz D.* (Hrsg.) Kommunisten verfolgen Kommunisten. S. 303–317.

[220] *Hay J.* Geboren 1900. S. 224.

[221] Цит. по: *Mennemeier F.N.*, *Trapp F.* Deutsche Exildramatik. S. 309.

[222] *Becher J.R.* Sterne unendliches Glühen. Die Sowjetunion im Dichten und Denken eines Deutschen. Bd. 2. – Berlin (Ost), 1960. S. 227.

[223] Институт мировой литературы. Ф. 167. Оп. 1. Д. 10. Л. 2, 8.

[224] *Becher J.R.* Selbstzensur. S. 544.

[225] См.: *Schröder J.* Deutschland als Gedicht. Über berühmte und berüchtigte Deutschland-Gedichte aus fünf Jahrhunderten in fünfzehn Lektionen. – Freiburg i. Br., 2000. S. 301–302.

[226] Запись 10 ноября 1943 г. // *Brecht B.* Arbeitsjournal. Bd. 2: 1942 bis 1955. – Frankfurt/M., 1974. S. 408.

[227] *Becher J.R.* Der Glücksucher und die sieben Lasten. Eine Voranzeige // Internationale Literatur. 7 (1937). H. 9. S. 111–115.

[228] *Dwars J.* – F. Abgrund des Widerspruchs. S. 445.

[229] Цит. по: *Becher J.R.* Gesammelte Werke. Bd. 4: Gedichte 1936–1941. S. 873–874.

[230] См.: *Dwars J.-F.* Abgrund des Widerspruchs. S. 456–462.

[231] Адам Шаррер – Вилли Бределю, 1 августа и 14 сентября 1935 г. – SAdK. Willi-Bredel-Archiv. Nr. 3776.

[232] См.: *Huppert H.* An den außerordentlichen X. Sowjetkongreß der ASSRdWD // Internationale Literatur. 7 (1937). H. 7. S. 80–84; Die freien Deutschen an der Wolga // Das Wort. 2 (1937). H. 7. S. 98–102; Plievier Th. Rote Wolga-Heimat // Internationale Literatur. 7 (1937). H. 11. S. 95–98; *Hay J.* Johannes des Johannes Bartel // Internationale Literatur. 8 (1938). H. 4. S. 29–50; *Erpenbeck F.* Märchen vom Hans im Glück // Internationale Literatur. 9 (1939). H. 11. S. 38–51.

[233] О жизни Губерта Лосте см.: *Leonhard W.* Die Revolution entläßt ihre Kinder. – Köln, 1987. S. 150–152; El-*Akramy U.* Transit Moskau. Margarete Steffin und Maria Osten. – Hamburg, 1998. S. 125–141, 268–269, 304–305, 329–330. В *Pike D.* Deutsche Schriftsteller. S. 453–454 фамилия мальчика ошибочно указана как Лотсе.

[234] См. манускрипт, любезно предоставленный мне Р. Мюллером: *Müller R.* Maria im Wunderland. Exposé für einen TV-oder Kinofilm. S. 3.

[235] См.: *Ефимов Б.* Мой век. Москва, 1998. С. 191. О попытке добиться освобождения Кольцова через Г. Димитрова см. *Он же.* Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. – М., 2000. С. 321.

[236] Ср. *Lukács G.* / *Becher J.R.* / *Wolf R.* [u. a.]. Die Säuberung. Особ. S. 276 и сл.

[237] См.: *Dwars J.-F.* Abgrund des Widerspruchs. S. 439.

[238] Sitzung der Kleinen Kommission: Stellungnahme zur Angelegenheit Maria Osten, 2. Juni und 3. Juli 1939. – IFGA, ZPA I 2/3/83. Цит. по: In den Fängen des NKWD. S. 345.

[239] Протоколы допросов и приказ о расстреле от 8 августа 1942 г. приведены в кн.: *Фрадкин В.А.* Дело Кольцова. – М., 2002. С. 171–194; *Колязин В.Ф.* «Верните мне свободу!» С. 283–302.

[240] Согласно В.А. Фрадкину, Губерта арестовали 23 июня 1941 г., и он почти 15 лет провел в лагере. См.: *Фрадкин В.А.* Дело Кольцова. С. 166.

[241] *Остен М.* Губерт в стране чудес. Дела и дни немецкого пионера. – М., 1935. С. 4.

[242] *Фрадкин В.А.* Дело Кольцова. С. 165.

*Татьяна Филиппова*

# «ИСХОД БРАТЬЕВ». Переселенческое движение немцев-меннонитов из СССР в конце 1920-х годов

В разгар весны 1929 года обитатели традиционных дачных мест ближнего Подмосковья – Клязьмы, Пушкина, Тарасовки, Лосиноостровской – стали свидетелями странной картины. Множество одетых в черное людей – мужчин и женщин, стариков и детей – скопились на железнодорожных станциях, в ряде мест перегородив своей массой пути, парализуя движение поездов. Выходцы из Крыма и Украины, Поволжья и Сибири, Оренбуржья и Закавказья, Казахстана и Северного Кавказа, они сидели в молчании, не допуская беспорядков, ничего не прося и не требуя ни от местных жителей, ни от местных властей… Последние же, напротив, потеряв надежду чего-либо добиться от странных пришельцев, настоятельно, но тщетно добивались инструкций «сверху».

Но и для центральной власти ситуация оказалась чрезвычайной.

Информация о том, что скопившиеся под Москвою семьи – немцы-меннониты, снявшиеся с привычных мест обитания в России, чтобы эмигрировать за рубеж, – мало что проясняла тогда. Ведь эмиграционное движение советских немцев с той или иной степенью интенсивности продолжалось на протяжении всех лет существования советской власти, а потому стало явлением довольно привычным. Но ситуация весны – лета 1929 года оказалась качественно иной – по масштабу, настрою участников, характеру их устремлений и методам протеста. Коммунистическое советское руководство столкнулось с явлением, поставившим его в административный тупик. Привычный набор административных и следственно-репрессивных методов оказывался не только непродуктивным, но и находящимся как бы вне сферы решения проблемы – в иной, слишком материальной реальности по отношении к духовному миру меннонитов. Меж тем как именно этот мир, мир напряженного религиозного переживания, диктовал им их поведение в мире материальном.

## Меннониты в России

Чтобы разобраться в этом феномене, обратимся к предыстории вопроса. Меннониты были первой протестантской деноминацией, распространившейся в России. Основателем этого направления в протестантизме стал Менно Симонс (1496–1561 или 1492–1559), бывший католический приходской священник во Фрисляндии, в 1536 году порвавший с Римско-католической церковью. В течение четверти века он воссоздавал и реорганизовывал разгромленные в религиозных войнах анабаптистские общины в Голландии и на прилегающих территориях. В своем основном труде под названием «Фундамент истинно христианской веры», а также в своей практической деятельности он придерживался принципа сознательного крещения (или крещения

по вере) во взрослом возрасте, отстаивал самостоятельность отдельных общин, основой социального поведения которых должно было стать, согласно его учению, непротивление силой властям и отказ верующих от участия в государственном управлении. Главные постулаты меннонитства – личная вера, сильные хилиастические настроения, означавшие скорое ожидание Второго Пришествия, выборность церковнослужителей – дополнялись особым духовным климатом в общинах, где вместо причащения существовал архаичный обряд хлебопреломления, а строгая замкнутость и дисциплина соседствовали с представлениями о духовном братстве единоверцев. Практиковался даже раннехристианский обычай взаимного омовения ног.

В конце шестнадцатого века меннониты переселяются в Пруссию, а с 1788 года – по приглашению императрицы Екатерины Великой – начинают перебираться в Россию, получают там социально-экономические льготы и закрепляются для начала в Таврической губернии и азиатской части страны. В 1860 году в российской меннонитской среде происходит раскол: выделяются так называемые «братские меннониты», близкие в своей религиозной практике к баптистам (в их среде, в частности, крещение обливанием заменяется крещением погружением).

Первый исход меннонитов из России (1873–1882 года) оказывается непосредственным образом связанным с эпохой либеральных реформ: введение воинской повинности, заменившей прежние рекрутские наборы, поставило представителей этой секты перед необходимостью службы в армии, что было абсолютно недопустимо с позиций их религиозной морали. Однако часть меннонитов все же осталась на прежних местах.

Забегая вперед, дабы вписать сюжет данной работы в общую историческую перспективу проблемы, отметим, что ряд меннонитских общин до сих пор проживает на территории бывшей империи Романовых – в России и Казахстане. Всего же в мире (по наиболее авторитетным данным) в начале 1980-х годов насчитывалось около 1,4 млн. меннонитов (в США – 431 тыс., в Канаде – 1333 тыс., в Нидерландах – 33 тыс., в Германии – 18 тыс.)[1]. Небезынтересно и такое уточнение, касающееся этнорелигиозной идентификации этого протестантского течения. В иерархическом самосознании российских немцев определение «меннониты» стоит в ряду со «швабами», «австрийцами», «баварцами». Как представляется, это подчеркивает не столько этническую компоненту, сколько, прежде всего, некую «особость», «отдельность» данной категории немецких переселенцев, которые по изначальному субстрату представляли собой причудливую смесь потомков голландцев, фламандцев, фризов и нижних саксонцев.

## Волны эмиграции

Тектонический сдвиг 1917 года, разрушивший прежнюю российскую государственность и приведший к гражданской войне, голоду и разрухе, не мог не сказаться даже на таком закрытом для внешнего мира и существующем по собственным законам явлении, как меннонитство. В мае 1923 года советское правительство разрешает немцам, как и другим пострадавшим от «стихийных бедствий», выехать за границу к родственникам. Уже в этой волне эмиграции ядро составляли меннониты. Однако этот уточняющий ситуацию факт ускользал пока от внимания властей, занятых спешной работой по части строительства новой государственности.

В 1925–1927 годах эмиграционная волна российских немцев пошла на убыль. Одной из важнейших причин этого было быстрое восстановление их хозяйства благодаря немецкой расторопности и временному «попустительству» местных властей. В результате, «микроэкономические» показатели немецкой аграрной предприимчивости в концу 1920-х годов оказались весьма впечатляющими. На одно немецкое хозяйство приходилось более 422 рублей товарной продукции, тогда как в других хозяйствах эта цифра не превышала 271 рубля. Корова породы «Красная немка» (!) в Оренбургском округе давала товарного молока до 740 кг в год, тогда как по округу этот показатель составлял 521 кг. Примечательны были и данные из иной сферы. Так, на социально-культурные нужды немецкая семья тратила вдвое больше средств, чем другие народности в тех же регионах. К примеру, одна больница обслуживала 5500 немцев в районах их расселения, тогда как, в целом, по округу на одну больницу приходилось по 29,7 тыс. прочих жителей[2].

С 1924 года начала свое существование Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья. Так, советскими немцами была обретена пусть и квази-, но все-таки государственность, позволявшая этому народу хоть в какой-то мере – на уровне советизированной республиканской автономии – реализовать свои недюжинные оргспособности и сохранившееся национальное самосознание.

В январе 1925 года в Москве прошел Первый Всесоюзный съезд меннонитско-евангелистских общин, на котором присутствовали представители ста тысяч меннонитов, проживавших тогда в СССР. Съезд сформулировал и выдвинул в обращении к Председателю ЦИК СССР Михаилу Калинину ряд требований, которые, в случае их выполнения, могли бы на будущее снять проблему эмиграции этой категории немцев. Среди этих требований были: землеустройство безземельных крестьян, права на самоуправление и религиозное обучение, разрешение альтернативной службы. Самым удивительным оказалось то, что высшие советские и партийные органы в лице ЦИК СССР и специального совещания по работе среди меннонитов при Отделе по агитации и печати ЦК ВКП(б) согласились с большинством этих весьма серьезных по тогдашним меркам требований (28 октября 1925 года). Но «органы» не были бы «органами», если одновременно не намечали бы ряд параллельных мер. 4 ноября 1925 года, по инициативе Лазаря Кагановича (тогда – руководителя ЦК Коммунистической партии большевиков Украины, с 1929 года – Секретаря ЦК ВКП(б)), было упразднено находившееся в Харькове центральное правление Союза потомков голландских выходцев в УССР, среди которых часть была этническими немцами-меннонитами. Постановления меннонитского съезда также остались лишь на бумаге. Такая, мягко говоря, амбивалентность политического курса власти в отношении этой категории населения не могла не породить серьезных проблем в самом ближайшем будущем. Что и не замедлило произойти.

Курс на «ускоренную коллективизацию» крестьянских хозяйств, взятый партией большевиков на XV съезде ВКП(б) в 1927 году, означал начало новой крупномасштабной драмы советской истории. Каток «чрезвычайщины» – репрессивных мер государства в отношении «сельской буржуазии», так называемых «кулаков», а затем и «середняков» – не мог не вызвать ответной реакции, достигшей, в итоге, накала очередной гражданской войны. А что же немецкое крестьянство? Данные свидетельствуют о том, что градус социального и имущественного расслоения здесь был достаточно высок. Так, в наиболее характерных в этом смысле Славгородском и Оренбургском округах Сибирского края, в богатых немецких хозяйствах (по боль-

шей части, меннонитских), было по 80–120 десятин земли, в середняцких – по 40–60, в бедняцких – 20 и меньше. Казалось бы, объективные предпосылки для «обострения классовой борьбы» были налицо. Тогда как субъективных – не было. Попытки властей расколоть немецкое крестьянство успеха не имели[3]. Советские немцы не выразили особого желания проявлять «классовую сознательность», избивая преуспевающих соотечественников. Фактор религиозно-культурной традиции оказался наиболее сильным средством внутреннего сплочения немцев, в особенности – меннонитов.

Однако внутренний настрой и социальные ориентиры в этой среде начинали радикальным образом меняться. Ситуация, сложившаяся в связи с масштабами насильственной коллективизации, бросала им качественно иной, чем прежде, вызов. Каким же был по форме и содержанию ответ немцев-меннонитов на этот вызов, а также какой была реакция официальных властей на это явление?[4].

## Колхозное строительство и немецкие колонии

1929 год был отмечен обострением ситуации во всех без исключения немецких колониях. Однако обострение это проявлялось, как уже было отмечено, не в усилении классовой борьбы, а в нарастающем противостоянии напору коллективизации. Данные по итогам «Обследования хозяйственного и культурного строительства в немецких колония», проведенного по распоряжению Секретариата ЦК ВКП(б) весной 1929 года, выявили любопытную особенность этого противостояния. Информсводки и секретные сообщения о «террористической деятельности кулаков» на территории республики немцев Поволжья давали неправдоподобно малую (по сравнению в другими районами) статистику терактов: всего пять случаев, из них одно покушение на представителя власти, два поджога, угроз и хулиганства – два. При этом – ни одного «избиения», ни одного конкретного «случая агитации», ни одного «кирпича в окно»[5].

Несмотря на это внешнее спокойствие, власти ощущали главное – вполне сформировавшееся, но не доходящее до открытого волеизъявления, желание немецких колонистов покинуть «страну рабочих и крестьян». Период избирательной кампании по выборам в местные Советы центральная власть решила использовать для проведения «широкой разъяснительной работы среди немецких бедняков и середняков по разоблачению антисоветской сущности кулацко-поповской агитации за эмиграцию». Что обещалось немецким крестьянам? В сущности, то же, что и всем другим: колхозы-гиганты (но они не были эффективны для налаженного хозяйства колонистов), машинотракторные станции (но техникой их обеспечить не спешили), специальные виды сельской кооперации (но собственные формы социальной и производственной организации у немцев были и так вполне отлаженными)[6].

Надо ли уточнять, что реакция немецких крестьян на подобное творчество властей была весьма прохладной. Впрочем, ряд немецких общин – штундисты, баптисты – активней отреагировали на предвыборную агитацию. В информсводках с мест с тревогой и недоумением упоминается о том, что сектанты на своих собраниях выносили резолюции: «Послать брата во Христе в гущу нечестивых» или «послать своего в совет неправедных». А в Ягодно-Польском районе Саратовского округа на

своем съезде штундисты со всей России и вовсе поставили вопрос о перевыборах Советов, не устраивавших их своим составом[7]. Но то – штундисты. Для меннонитов же любая форма соучастия и даже контактов с государственной властью была недопустима.

Характерно, что пока государство не форсировало колхозное строительство в немецких селах, действуя до поры убеждением, в среде меннонитов довольно терпимо смотрели на перспективу такой организации. «Раз правительство приказывает идти в колхоз, мы это сделаем, потому что в Библии сказано: “выполняй распоряжения власти”»[8]. Но когда государство стало насильственными методами осуществлять свою политику, навязывая к тому же режим классового противостояния, значительная часть меннонитов ответила на это сборами в дорогу. Тогда-то, когда поток эмигрантов уже стал покидать родные места, Центральный Комитет ВКП(б), ощущая недостаточность информсводок и секретных донесений с мест, и распорядился провести серьезное исследование положения в немецких колониях. Вести его было получено И.Ф. Гебгарту, секретарю Центрального бюро Немецкой секции при Отделе по агитации, пропаганде и печати ЦК ВКП(б), старому немецкому коммунисту, человеку умному и опытному, но поневоле скованному марксистско-ленинской фразеологией. Результаты обследования – при всей своей противоречивости – настолько интересны, что заслуживают подробного рассмотрения. Власти неожиданно для себя обнаружили, что темпы кооперирования в немецких колониях в конце 20-х годов были довольно сносными: коллективизация бедняцких и середняцких хозяйств выросла с 4 процентов в 1926–1927 годах до 14 процентов в 1928–1929. Высок был процент кооперирования немецких крестьянских хозяйств и по линии потребкооперации (85 процентов), и по линии кредитной кооперации (65 процентов). Увеличивались и доходы немецкого населения, о чем свидетельствует абсолютный рост середняцкой группы. По части «аграрно-культурных мероприятий» немцев также не надо было подгонять: они охотно организовывали и шли в различные кружки, участвовали в художественной самодеятельности. Но, уточним, делали это сами, без участия и контроля со стороны советских и партийных эмиссаров[9].

Нарисовав эту в общем-то благополучную картину, коммунист Гебгарт со всей партийной принципиальностью переходит к перечислению имеющихся недостатков. Характерно, что большинство из них он усматривает в факторах внешнего порядка. К ним он относит прежде всего «недостаточное внимание и руководство работой среди немецкого крестьянства со стороны краевых, областных и особенно окружных партийных, советских и хозяйственных организаций». Переложив основную тяжесть вины на низовые органы, он вскрывает и причины недочетов. Неправильная оценка хозяйственного положения немецких колоний (как сплошь кулацких) привела в ряде районов к недопустимым перегибам, выразившимся в переобложении колоний, в повышенном проценте индивидуального обложения, в лишении избирательных прав до 12 процентов населения, а также «в нарушении революционной законности». (Очевидно, последняя у старого коммуниста все еще ассоциировалась с социальной справедливостью.)

В конце своего доклада Гебгарт осторожно и не слишком определенно отмечает, что, наряду с аккуратным выполнением немецкими сельсоветами и массами немецкого крестьянства «всех государственных обязательств», отмечается «чрезвычайно слабое развитие советской общественности». Отдельный пункт предложений касал-

ся необходимости разоблачения подрывной деятельности собственно меннонитов. Свойственная их среде религиозная этика духовного братства и равенства – вне зависимости от имущественного положения – вызывала особое подозрение у властей. Они, меннониты, и виделись агентами «затушевывания классовой борьбы» на селе: «Для того, чтобы закрепить свое влияние среди бедноты и середняков, кулачество и духовенство привлекает бедноту в советы церковных общин […], выбирает середняков в качестве проповедников у меннонитов, мол, “мы все равны”»[10].

Судя по тексту предложений ЦК ВКП(б) по устранению недочетов в немецких колониях, высшее партийное руководство не совсем удовлетворила умеренность и некоторая абстрактность оценок Гебгарта. Партийной властью среди мер борьбы предполагалось «парализовать обособленность немцев», «усилить борьбу с попытками немецкого кулачества и духовенства вызвать эмиграционное движение немецких крестьян их СССР»[11]. Конфронтационный настрой ЦК подпитывался донесениями с мест. Среди передаваемых в информсводках слухов, циркулировавших в немецкой среде, были и такие: «Германское правительство и Лига Наций заставят советское правительство нас выпустить. Ими собираются большие деньги для оказания помощи меннонитам. Меннонитами заинтересован германский рейхстаг, а советское правительство начало их отправку за границу, скоро уедем»[12].

В результате И. Гебгарт, ставший главным специалистом по немецкому вопросу, вынужден написать докладную записку в ЦК более конкретного и жесткого содержания. В ней он сообщает о том, что в немецких поселениях «отсутствует подготовка низовых советских работников-немцев», что под видом кружков кройки и шиться, а также хорового пения «немецкое духовенство и кулачество развертывает в колониях на идеологическом фронте значительную массовую работу среди отдельных слоев населения». С Гебгарта требуют факты касательно содержания менонитской оппозиционности и он цитирует лозунги «кулачества и духовенства»: «Советская власть разоряет немецкие хозяйства…», «Советская власть заставляет меннонитскую молодежь служить в армии…», «Наших проповедников лишают права голоса»…». (Надо ли говорить, что приведенные высказывания звучали не как лозунги агитации, а, скорее, как жалобы на притеснения.). Добавлялись и новые сведения относительно волны эмиграционного движения: «форменное бегство» немецких крестьян, в том числе середняков и бедняков, из Ванновского района Армавирского округа через персидскую границу, без паспортов, а также начавшееся эмиграционное движение среди немцев на Волыни.

Гебгарт делал идеологически выдержанный вывод о «консолидации кулацко-поповского блока»: кулачество-де направляет свою «растущую политическую активность», главным образом, на «организацию кулацко-религиозного блока», на борьбу на идеологическом фронте в школах и среди молодежи и на организацию эмигрантского движения[13].

Партийное руководство наконец-то получило то, что хотело: документ с информацией о подрывной деятельности классово враждебных советскому государству элементов, написанный, к тому же, идеологически выдержанным языком. Попытки анализа глубинных причин роста эмиграционных настроений у немцев остались попросту невостребованными. Вот тогда-то, упустив и время, и инициативу, и возможность серьезного социального осмысления немецкой проблемы, власть, продолжавшая политику «чрезвычайных мер», столкнулась с толпами меннонитских семей, блокировавших железнодорожное движение под Москвой.

## Гуманитарная катастрофа

К примеру, на одном только северном направлении за лето 1929 года скопилось свыше четырехсот семей немецких колонистов количеством более полутора тысяч человек. В октябре к ним прибавилось еще сто семей. По донесениям, подавляющее большинство среди них составляли «лишенцы-кулаки и зажиточные крестьяне под руководством меннонитских проповедников»[14]. Их посещали иностранные корреспонденты, представители германского посольства раздавали им деньги. Часть из них удалось позднее переправить через Ригу в Германию, главным образом, в Гамбург.

Но это было только начало. С весны 1929 по весну 1930 года эмиграционное движение немцев – в основном, меннонитов – приняло беспрецедентный размах, а среди эмигрировавших вслед за зажиточными семьями потянулись люди среднего достатка и даже бедняки[15].

К концу октября 1929 года на станции Клязьма высадилось, расположившись табором, еще сто меннонитских семейств, и продолжилась интермедия с посещениями корреспондентов, раздачей денег представителями посольства и безнадежными попытками местных властей уговорить переселенцев вернуться обратно. Ситуация продолжала накаляться, поскольку с мест приходили сообщения о готовящихся отъездах масс немецких колонистов. Куда? По слухам – в Канаду, Америку, реже – в Германию[16]. Сам феномен спонтанной массовой эмиграции как факт неповиновения «рабоче-крестьянской власти», грозящий к тому же международным скандалом и срывом очередной посевной, вызвал шквал запросов и ответных докладных записок на имя председателя ОГПУ Генриха Ягоды, начальника отдела контрразведки ОГПУ Л. Ольского и Секретаря ЦК ВКП(б) Л. Кагановича. Однако сведения, содержащиеся в этих документах, не добавляли ничего нового к уже известному и лишь, в большей степени, пестрили упоминаниями о «классовых врагах», «кулацко-поповской агитации» и произведенных арестах с формулировкой «изоляция агитаторов».

Из бюллетеня ТАСС «не для печати» с обзором германской прессы за октябрь 1929 года, подготовленным специально для Секретариата ЦК, партийные власти также узнавали неприятные для себя вещи – о возмущении практически всех политических сил Германии положением переселенцев и отношением советских властей к немецкой эмиграции. При этом, уточнялось, что возмущение германской стороны в тот момент вызывали не столько запреты на пути эмиграции, сколько намерение советского правительства «сплавить» переселенцев как можно скорее и желательно не за свой счет. «Чтобы принять такое большое число людей, – приводилась в бюллетене цитата из “Берлинер Тагеблатт” за 13 октября 1929 года, – нужно время и спокойная подготовка. Мир ждет, что советское правительство признает свой долг сделать все необходимое, дабы нищета эмигрантов не превратилась в катастрофу»[17].

Похоже, бедных меннонитов, с их спонтанным, но упорным желанием избежать ужасов коллективизации, никто особенно не ждал за рубежом. И все же возмущение Запада скандальной ситуацией с переселенцами не могла не беспокоить и Кремль, и Лубянку. На тексте одной из докладных записок в ЦК, рядом с сообщением о том, что лагеря переселенцев посещаются представителями германского посольства, и что около трехсот человек немцев-меннонитов, застрявших под Москвой, собираются «демонстративно идти к т. Калинину», рукою Генриха Ягоды на полях приписано: «Тов. Молотову: Предлагаю выслать обратно на места». И далее – рукою Вячеслава Молотова (Секретаря ЦК ВКП(б), с 1930 года – Председателя СНК СССР) в ответ: «Кажется, дело серьезное, надо обсудить. В. Молотов»[18].

Однако события опережали любые обсуждения и решения. За осенние месяцы количество находящихся под Москвой переселенцев выросло с пяти до пятнадцати тысяч человек. Антисанитарные условия проживания, (когда в помещении, рассчитанном на 5–6 человек, располагаются 30–40), опасность пожаров из-за скверно работающих печек (а температура за окном часто опускалась до минусовых отметок), паралич работы советских и партийных органов на местах – вот как, в самом общем виде, выглядела эта ситуация.

Шквальный рост числа немцев, желающих покинуть СССР, привел к тому, что решение ЦК ВКП(б) и ЦИК Союза о выдаче разрешений им на выезд просто технически не могло быть своевременно осуществлено. За лето – осень 1929 года удалось отправить за рубеж всего 800 человек, так как канадское, а затем и германское правительство отказались принять всех желающих эмигрантов-немцев из СССР. С особой тревогой в сводках сообщалось о том, что германская фашистская печать активно обсуждает вопрос «организации помощи своим братьям по расе» через германский Красный Крест и Институт заграничных немцев, а также о том, что ряд политических сил в Германии разрабатывают проект переселения советских немцев в Восточную Пруссию. В этих чрезвычайных условиях, требовавших от властей, казалось бы, особых мер и особой расторопности, государственные органы (по информации той же сводки) ограничивались привычными репрессивными мерами. (О чем еще могли «договориться» Молотов с Ягодой?!). Мало того, что подмосковные деревни все более походили на лагеря беженцев; бывало, за одну ночь арестовывалось по пятьсот семейств на основании отсутствия у них… прописки!

Сарказм ситуации проявлялся в том, что арестованных (по причине их экстраординарного для местных пенитенциарных учреждений количества) вынуждены были помещать в лучшие помещения на местах. Так, в деревне Клязьма арестованных мужчин содержали в здании сельсовета, а женщин с детьми – в клубе и «красном уголке». Среди арестованных имелись бедняки и середняки, что затрудняло агитационно-разъяснительную работу в направлении организации поездки немецких крестьян. Из этого делается вывод-рекомендация для ОГПУ по мере возможности учитывать при аресте и других административных мерах (которые, несомненно, нужно продолжать) социальный состав.

В той же Клязьме состоялось специальное собрание представителей немцев-переселенцев «для обсуждения создавшегося положения в виду невозможности выезда за границу». Лишь сто семейств сразу изъявили желания ехать обратно. Остальные после ряда колебаний, вместо постановления, в качестве подведения итогов собрания, выдвинули два важнейших для себя вопроса: «что мы будем делать на месте до нового урожая?», и «будут ли приняты меры против перегибов на селе?». Немецкая секция АППО ЦК ВКП(б) выдвинула ряд предложений, весьма разумных и умеренных для того жестокого, «чрезвычайного» времени. Прежде всего, она настаивала на организации правительственной комиссии для серьезного обследования положения на местах (и не только в секретно-агентурном порядке). Затем предлагалось материально обеспечить бедняков и середняков, изъявивших желание вернуться. И, наконец, подчеркивалась целесообразность освещения в советской печати данной проблемы[19].

Однако и в эти осенние месяцы беспокойство властей и привычный для них набор агитационно-репрессивных мер ни в коей мере не повлиял на решение немцев покинуть СССР. Более того, все новые районы их расселения захлестывала эмигра-

ционная стихия. Проблема «немецкого исхода» обострилась в Сибири, Казахстане, на Урале и Украине. «Движение среди немцев за выезд за пределы СССР» уже охватывало более 20.000 человек. Ни агитационные рейды немецких коммунистов по немецким селам, ни посылка туда «ударных бригад» пропагандистов, ни разъяснительные публикации в издаваемых в СССР для немцев газетах не смогли изменить эмиграционных настроений[20].

Какие же выводы делали высшие партийные власти? Их было два: «1) организовать отправку находящихся под Москвой семей обратно (с учетом их настроений это можно было осуществить только принудительно), и 2) не допускать приезда в СССР специальной комиссии канадских врачей с целью отбора эмигрантов, так как она несомненно (! – *Т.Ф.*) будет отбирать только здоровых, а больных и нетрудоспособных оставлять в СССР»[21]. Похоже, страна «освобожденного труда» активно не хотела терять здоровую, толковую рабочую силу и, при этом, содержать социальный «балласт». Из дальнейших решений власти становится понятным: очевидный факт нерешаемости проблемы немецкой эмиграции в рамках обычного набора партийно-государственных мер. Она трактовалась высшей советской бюрократией как признак присутствия «внешнего врага», его подрывной деятельности. Мол, не средства негодны, а классовый враг силен. Распоряжения об арестах зачинщиков на местах и о выявлении «зарубежных подстрекателей» становились и принимались все чаще. Главным противником, наряду с «кулацко-поповским» блоком, в меннонитских поселениях становятся «заграничные агенты». А потому в массовом порядке следуют указания о принятии мер по «изоляции действительных организаторов и вдохновителей» переселения[22].

В многочисленных секретных докладных записках на имя Г. Ягоды, Л. Кагановича и В. Молотова, лично занимавшихся проблемой немецкой переселенческой волны, сообщается, прежде всего, об арестах «организаторов и руководителей эмигрантского движения – кулаков, попов и лиц, связанных с заграничными организациями, занимающимися вербовкой к эмиграции немцев-колонистов из СССР»[23].

Возымели ли действие репрессии против действительных и мнимых инициаторов эмиграции? Судя по данным с мест, нет. К концу осени в дорогу собрались еще восемьсот семейств из Оренбургского округа, главным образом, – меннонитских крестьян; в Крыму готовы были отправиться в Москву свыше ста семейств, из АССР немцев Поволжья – около ста семейств. По Средне-Волжскому краю, Украине, Казахстану и Сибири конкретных цифр нет, но было известно, что в массе своей у немцев (особенно меннонитов) «настроение боевое» – в смысле, что они решительно настроены покинуть СССР. Однако не менее решительно были настроены и власти: на одном из документов, сообщающем о том, что на хуторе Нейбрунер (АССР немцев Поволжья) пятьдесят семейств готовятся к отъезду, рукой Ягоды на полях лаконично написано: «Произведены аресты»[24].

Перелома в ситуации с наступлением зимы не произошло. Немецкие крестьяне упорно стремились покинуть СССР, власти столь же упорно стремились их удержать. И то, и другое не имело особого успеха. Очевидно, что даже бдительным органам охраны государственного порядка стало ясно, что проблема не исчерпывается подрывной деятельностью эмиссаров из-за рубежа. Слишком масштабен и спонтанен был сам процесс, слишком очевидно было внутреннее сходство реагирования немецких крестьян-меннонитов (разного достатка и разных местностей) на тот пресс государственного принуждения, который с конца 20-х стал все сильнее давить на

советское село. В подобных случаях партийное руководство всегда назначало специальные комиссии для инспектирования дел на местах. Так произошло и на этот раз. В декабре 1929–1930 годов в ряд районов немецких поселений были направлены представители Центра, чтобы выяснить динамику ситуации и проследить за тем, как выполняются местной властью многочисленные распоряжения власти по борьбе с «переселенческими настроениями» и по «предупреждению эмиграционного движения»[25].

Собранные сведения говорили сами за себя, опровергая все классовые теории заодно с партийной стратегией «развертывания классовой борьбы». Так, по Славгородскому округу выезжало 8.214 человек, или 25,6 процента от всего немецкого населения (в основном, как и прежде, меннониты), из коих зажиточных крестьян – 29 процентов, бедняков – 14,6, середняков – 56,4 процента. По Оренбургскому округу выезжало 1523 человека или 11 процентов от всего немецкого населения. Из них кулаков – 20 процентов, бедняков – 44,8, а середняков – 35,2 процента. Очевидно, что в числе выехавших преобладала бедняцко-середняцкая масса. Более того, эмиграцией оказались захвачены и некоторые батраки, рабочие маслосыроваренных заводов, члены и даже председатели сельских Советов (не из тех ли «братьев», которых посылали «на совет нечестивых?), работники кооперации, двенадцать сельхозартелей в полном составе и даже четыре члена партии! Экономический результат не замедлил проявиться: половина всех хозяйств в Славгородском округе и тридцать процентов в Оренбургском полностью разорились[26].

Более подробно стало известно о мерах борьбы, применявшихся партийными и советскими органами против переселенческого движения. Среди них наиболее частые: запрещение выдачи железнодорожных билетов, принудительный возврат эмигрантов в свои поселения (всего по двум округам – три тысячи человек), арест активных агитаторов за эмиграцию (в Оренбургском округе – 25 человек, в Славгородском – 29). Отсутствие каких-либо упоминаний о конкретных методах и формах «разъяснительной работы» свидетельствует, скорее всего, о том, что этот пункт был приобщен к общему списку мер в ритуально-идеологических целях. Главными же способами приостановить эмиграцию были все-таки меры административно-репрессивного порядка.

Дело в том, что приостановить это движение к февралю 1930 года все-таки удалось. По части силового воздействия на граждан советской власти опыта было не занимать. Инструктор ЦК Козлов даже призывал ЦК не успокаиваться: «Эмиграционные настроения, готовность к выезду до сих пор не ликвидированы и даже заметно усиление их в связи с отправкой некоторой части меннонитов за границу». Очевидно, слухи об отправке из-под Москвы в Германию первых восьмиста меннонитских семейств быстро распространялись в среде советских немцев, зовя в дорогу. Инициативное ядро эмиграции. Меннониты были первыми и среди тех, кому удалось проделать свой путь Исхода. Да и остававшиеся пока на местах вызывали беспокойство у партийного инструктора. Он подчеркивал, что именно в меннонитских колониях «большинство бедняков и середняков в вопросах эмиграции держат единый фронт с кулаком». Далее приводится наиболее типичное высказывание меннонитов, не раз звучавшее во время бесед московского посланца с местными жителями: «Все равно весной уедем все. Если билетов не дадите, пешком пойдем». Некоторые даже отказывались от какой-либо материальной помощи со стороны государства. Так, бедняцкое собрание поселка Мирное Славгородского округа постановило: «Все равно весной уедем в Америку, а потому никакой помощи не принимать».

Для сравнения отметим, что, по наблюдениям Козлова, в среде немцев-католиков и протестантов «удалось большую часть бедноты привлечь на свою сторону»[27]. С представителями этих конфессий все было гораздо яснее: зажиточные поселенцы жестко, в понятных для большевиков формах, выступали против коллективизации, а потому четко подпадали под репрессивный каток советских законов. Их же бедняки проявляли меньше социальной солидарности со своей зажиточной верхушкой и потому становились более легким объектом манипуляций со стороны власти. С меннонитами все было гораздо сложнее. Они хотели уйти и только уйти. И, как видим, чего-то уже в этом смысле добились.

Упорное желание меннонитов уехать «любой ценой» обратило на себя особое внимание германского правительства. В декабре 1929 года германский консул, находящийся в Сибири, объезжая немецкие колонии Славгородского округа, сделал заявление о желании помочь меннонитам независимо от их социального положения и особенно кулакам, которым советская власть помогать не может[28]. Вопрос об обещанной консулом помощи дальше, судя по документам, не всплывал[29].

Партийные эмиссары донесли до Кремля следующий вывод: не жесткий курс центра на ускоренную коллективизацию, не воинствующий атеизм государственной идеологии, не «извращения политики партии на местах» и даже не «ошибки местных органов», а злонамеренное использование всех этих обстоятельств «поповско-кулацким блоком» в своей агитации за эмиграцию привело к кризису 1929 года. Меннониты же как идеологическое звено этого «блока» оказываются, таким образом, основными виновниками переселенческого всплеска[30]. Для подтверждения акцент делался на таком перечне высказываний:

(Сначала бедняки:)

«Пятилетка есть насильственная коллективизация крестьянских хозяйств.»

«Нас заставят быть рабами, а мы этого не хотим и в коллектив не пойдем.»

«Немцы-меннониты по своей природе – собственники, их в коллектив и на быках не затащишь.»

«Дальше жить в СССР нельзя: нет свободы совести, печати, идут гонения на религию.»

«Скажешь правду – арестовывают.»

«Партия после смерти Ленина ведет неправильную политику.»

«Бухарин прав, требуя свободы для всех крестьян.»

«Немцы едут в Америку потому, что там есть частная собственность, здесь же частной собственности приходит конец, а меннонит расстаться с ней не может.»

«Меннонит всегда воспитывался в духе частной собственности, даже в паспортах раньше писали: дано такому-то поселянину-собственнику, именно собственнику, а не гражданину.»

«Сегодняшний середняк завтра может стать зажиточным, а его за это стригут налогами.»

(Далее – середняки:)

«Проповедников вы лишили права голоса.»

«Наших проповедников вы арестовываете, несмотря на то, что по закону церковь отделена от государства.»

«Всех, признавших социализм, будут штемпелевать цифрой 666 и только эти штемпелеванные будут иметь право покупать и продавать.»

(Теперь – кулаки:)

«Нам развивать свое хозяйство дальше нельзя, дорога в колхоз нам закрыта.»

«Мы не так глупы, чтобы устраивать бунты и восстания.»

«У нас есть другой выход: свернем полностью наше хозяйство и уедем отсюда в Канаду, там мы сумеем хозяйствовать, как хозяйствовали раньше»[31].

Однако партийные эмиссары не могли замолчать то, что конкретно довело меннонитов до эмиграции. Оказывается, к концу 20-х годов в плане местной инициативы осуществлялся призыв меннонитов в армию и на трудовые работы. Вдвое увеличилось количество лишенных избирательных прав. В селах меннонитов увольнялись учителя «за воспитание детей в религиозном духе». Ряд воскресных школ религиозного обучения был закрыт. (До 1926 года с подобными гонениями на свою религию меннониты не сталкивались.) С 1927 года от меннонитов стали упорно требовать вступления в партию и комсомол! Не более, чем казус воспринимается факт о том, что две женщины-меннонитки (на всю Сибирь) вступили в партию, но что «влияние их ячейки на массы ничтожно». «Перегибы и извращения при хлебозаготовках» тоже, судя по фактам, не прибавили немцам оптимизма в оценке перспектив, которые им сулило развитие советской власти[32].

Социальные особенности поведения меннонитов, конечно, были связаны с их религиозными особенностями. Эмиссарами это объяснялось политическим и хозяйственным влиянием кулаков на середняцко-бедняцкую часть меннонитов (ведь для всех них богатство – от Бога!). В результате, в немецкой деревне до сих пор «нет ярко выраженной классовой борьбы, несмотря на эксплуатацию бедноты и хозяйственное неравенство». «Оно затушевывается их религиозными взглядами, мол, “мы все братья перед Богом, все равны, ибо Бог волен дать богатство тому, кто его заслуживает”.»[33]. Не без внимания осталось то, что в эмиграции бедняка и середняка «сыграли громадную роль религиозный фанатизм меннонитов, родственные связи и особенности меннонитской секты», что у значительной части отъезжающих имеются родственники в Америке, и получаемые от них письма «используются в агитации за эмиграцию, что психологическое единство общины подкрепляет внеклассовую солидарность: “Удар по кулаку поднимает в защиту и бедняка, – мол, раз все едут, поеду и я, не могу оставаться здесь”, – заявляет бедняк»[34].

Что предлагали партийные эмиссары своему руководству? Тот же Козлов предлагал: «пойти на создание небольших колхозов в рамках национальных сельсоветов» (но для властей такая мера представлялась половинчатой и паллиативной); «произвести перевыборы в сельсоветы под лозунгом борьбы с эмиграцией и очищения их от кулацких элементов» (но сам же автор отмечал, что избранный в совет бедняк единодушен с кулаком); «сохранить до лета запрещение выезда за границу, иначе весной масса снова потянется и посевная кампания будет сорвана» (но запреты, во-первых, как показали события прошедшей осени, плохо действовали, а, во-вторых, не решали проблему, а загоняли ее вглубь); «решить вопрос о подготовке партийных кадров на местах» (но эти кадры никогда не стали бы для меннонита более авторитетными, чем свой проповедник)»[35].

Осторожность и, в общем-то, беспредметность этих предложений было нетрудно понять: не эмиссарам было определять новый курс партийных и советских органов против ускользающих от советского воздействия меннонитских колонистов. Но как понять те оргвыводы, которые сделало из этого весьма толкового доклада партийное руководство? Начнем по порядку. Доклады с мест были встречены с интересом и вниманием, обсуждались пять дней, в итоге же,.. Судите сами. После многочислен-

ных поправок и сокращений текста резолюции, окончательное редактирование которой было поручено Л. Кагановичу, главный пункт среди утвержденных мероприятий звучал так: «Предложить ОГПУ принять ряд мер в отношении злостных руководителей контрреволюционной работы в немецких районах»[36].

В секретном приложении к тому же тексту были и такие пункты: приступить к решительному улучшению работы, «уделяя больше внимания классовой политике»; превратить весеннюю посевную кампанию в массовое мероприятие «по подъему сельского хозяйства»; с февраля – марта 1930 года провести перевыборы во всех общественных организациях в колонистских поселениях; направить двести человек партийцев-немцев в соответствующие районы; в ближайшее время перевести делопроизводство в поселениях на родной язык, организовав сеть соответствующих курсов[37]. Лишь этот последний пункт, в отличие от предыдущих, выглядел более или менее разумно, поскольку для многих немцев текст государственных постановлений и особенно лексика партийного «новояза» были и впрямь малодоступны. Тут без спецкурсов и впрямь было не обойтись – с учетом потока директив из центра, а также намеченной массированной контрпропаганды в среде колонистов.

Посмотрим, какое же окончательное определение феномену меннонитской эмиграции 1929–1930 годов дает резолюция ЦК, наиболее серьезный за тот период документ, созданный в самых информированных верхах советской государственности. В переселенческом движении называются две основы: «сопротивление немецкого кулачества начавшей проводиться в немецкой деревне социалистической перестройке сельского хозяйства» и «попытка зарубежной буржуазии (в особенности, германской) организовать немецких крестьян для отпора социалистическому наступлению»[38].

Понятно, что для таких умозаключений и формулировок вовсе не требовалось столь предметное и обстоятельное обследование ситуации в немецких поселениях. «Враг» партийному руководству был известен a priori.

В который раз стало ясно, что весь ход обсуждения проблемы на протяжении долгих месяцев, все многочисленные тексты резолюций по проблеме эмиграции немцев оказывались гораздо беспредметней даже весьма умеренных и осторожных, но более прагматичных и аналитичных предложений партийных посланцев Гебгарта и Козлова.

Не слишком удачные поиски «заграничных агентов», якобы подстрекавших немцев эмигрировать, ограничились туманными упоминаниями об арестах «злонамеренных». Ни конкретных фамилий, ни конкретных районов, в которых это имело бы место, не называлось. За завесой разговоров о кознях «мирового капитала», стоял более реальных страх: угроза срыва в немецких районах очередной весенней посевной. За счет кого бы тогда решалась на местах проблема хлебозаготовок?

Однако фактор посевной неожиданным образом сыграл на руку властям. С некоторым удивлением власти обнаруживают, что к весне 1930 года переселенческое движение постепенно спадает. Причини тому – несколько. После того, как наиболее активной части немцев-меннонитов удалось уехать из СССР в Германию, а оставшиеся под Москвой вдоволь помучились в сельсоветах и «красных уголках», так и не дождавшись обещанной помощи из-за рубежа, – часть переселенцев возвращается в недавно покинутые места. Сугубо земная проблема посевной по-своему была значима и для меннонитов. Для них, потерявших надежду уйти из «страны нечестивых», оставалась важная задача, значение которой подкреплялось их религиозной

этикой: ответственность за выживание общины, ответственность перед хозяйством и землей, как материальным благом, ниспосланным Господом. А поэтому надо было сеять зерно и растить урожай, находя лишь в собственной душе и поддержке братьев по общине силы, чтобы хотя бы внутренне противостоять безбожной власти.

Часть немцев-меннонитов, как уже было упомянуто ранее, через персидскую границу покидает Советский Союз, перебираясь далее в Америку и Канаду. Цифры – касательно вернувшихся и уехавших – в документах этого комплекса не упоминаются. (Статистические данные в связи с переселенческим движением вообще даются в документах весьма хаотично, часто противореча друг другу, и присутствуют, скорее, как иллюстрации, а не результат социологического анализа.) И вообще, судя по последовавшей деловой переписке и документации, судьбы вернувшихся не слишком волновали «органы». Если что их и беспокоило, так это возможность того, что пример немцев окажется заразительным для других поселенцев, когда-то нашедших себе новую родину на территории Российской Империи, а потом – и СССР.

Своеобразным завершением годового обсуждения в верхах эпопеи немецкого исхода (а заодно – и завершением исследуемого комплекса архивных источников) становится докладная записка в Секретариат ЦК от 4 апреля 1930 года, подготовленная все тем же И. Гебгартом. Вся она посвящена вопросам выполнения февральских 1930 года постановлений ЦК ВКП(б) о работе среди немецкого населения, а главное – мерам борьбы с эмиграционным движением среди немцев, поляков, греков, чехов и др. И хотя из тех же документов явствует, что отток представителей этих народов из тогдашнего Советского Союза не превышал обычных показателей, страх властей столкнуться еще раз с ситуацией шквальной эмиграции был все же ощутим в верхах. Надо ли уточнять, что и в этот раз набор предлагаемых коммунистическим руководством средств для предотвращения возможной эмиграции был до боли знаком: усиление роли партактива на местах, усиление разъяснительной работы, ужесточение борьбы с кулацким влиянием и тому подобное…[39].

* * *

Итак, всплеск спонтанной эмиграции части немецкого населения из СССР на рубеже 1920–1930-х годов, обозначивший феномен меннонитства, остался позади. Но было ли это следствием решения проблемы властями? Определенно – нет. Проблема была не решена, а снята (в тогдашнем ее виде) самим временем, логикой хозяйственной жизни, внутренним развитием меннонитства. Советские, партийные органы вкупе с ОГПУ проявили полную неспособность не только выстроить какую-либо политику в этом вопросе, но даже приблизиться к пониманию поведения религиозно мыслящего, традиционного сообщества людей, в своей социальной практике строго придерживающихся этических норм религиозной веры.

Полагаю, сейчас не имеет смысла повторяться на тему зверств советского тоталитаризма в отношении «провинившихся» народов. Репрессии коммунистического режима по этнонациональному признаку – увы! – хорошо известны современному читателю. В ситуации с меннонитским исходом (вернее – его попыткой) нас интересует и поражает другое: экзистенциальная глубина конфликта двух типов сознания – религиозного космоса общины единомышленников, закрытого для внешнего мира и открытого лишь служению Богу, и явного, свирепого оптимизма коммунистического сознания, любой ценой подчиняющего себе земное пространство.

Особенности социального уклада меннонитов воспринимались кремлевскими властями как подозрительные, опасные странности, ибо эти люди невольно для себя бросали вызов «самому святому» для коммуниста – классовой теории Маркса-Энгельса-Ленина. Правительство же, тщетно связывая преодоление переселенческих настроений с провоцированием классовых баталий в немецких поселениях, само себя загоняло в ловушку. Необычность ситуации требовала нестандартных методов решения; но на них власть – в лице высших партийных, советских и репрессивных органов – оказалась неспособной.

Анализ архивных источников поражает своей внутренней разнородностью и противоречивостью: интереснейшие фактические материалы и наблюдения, сделанные на богатом местном материале, – с одной стороны, и злые, скучные резолюции, тупые распоряжения об арестах – с другой. Чего же именно не смогло освоить комсознание цековцев в тогдашнем феномене меннонитства? Этнопсихологические особенности (высокий уровень национального самосознания, хозяйственная этика) немецких поселенцев в сочетании с особым мироощущением меннонитов (недопустимость как участия в государственной власти, так и борьбы с нею) наложились в тот момент на сильнейшую травму сознания, нанесенную им насильственной коллективизацией, откровенными и агрессивными попытками «сверху» манипулировать их общественным поведением. Однако стремление их переселиться, «уйти от мира зла» было не формой географического эскиепизма, а проявлением верности изначальному религиозному постулату.

Меннониты живут под знаком постоянного Исхода, становящегося для них временами «уходом» – на новое место, в иные земли. В сущности, вся жизнь для них – путь к «земле обетованной», вынужденное кочевье бесприютной души в «мире дольнем». И в этом смысле Америка или Канада были для них, скорее, высокими образами земного инобытия, а не банальной эмигрантской мечтой о «капиталистическом рае». Исход завершается лишь с достижением «мира горнего». В отличие от иудеев, православных, католиков и протестантов, способных выносить за жизненно-бытовые скобки свои духовные проблемы, меннониты не разделяют земную и духовную жизнь, стремясь воплотить свой религиозный идеал поведения «здесь и сейчас». Метаистория длится для этих людей, она для них реальна и движет ими. Меннониты ярко продемонстрировали феномен «пересаженной культуры», сохранившей важнейший – религиозный – компонент своей идентичности. Лишь в ее рамках возможно понимание природы их реагирования на вызовы меняющейся реальности.

В какой-то мере, это роднит меннонитов с традиционным православным сознанием русских старообрядцев. И те, и другие при решении важнейших проблем общины включают в этот процесс трактовку понятий справедливости, правоты, смысла жизни, а потому в обыденной жизни проявляют себя мистичней католиков, романтичней протестантов и – что особенно важно – гораздо менее управляемы извне.

Выходя за хронологические рамка темы, отметим, что со временем, после всплеска эмиграционной волны и ухода наиболее инициативных меннонитов из СССР, в оставшихся общинах подспудно начали происходить сложные эндемические процессы, вызванные дальнейшим взаимодействием русской почвы, инородного субстрата и реальности «победившего в основном социализма». В середине 1940-х годов по инициативе Сталина был образовал «Союз евангельских христиан-баптистов», в который вошли многие протестантские деноминации. Большая часть меннонитов присоединилась к Союзу. Целью их присоединения была легализация их религиоз-

ной жизни со стороны государства. Продолжающие существовать в России и поныне, меннонитские организации столь же закрыты для внешнего мира, что и раньше и, по наблюдению специалистов, переживают упадок.

Бурный апогей их советской истории в 1929 году, когда странные тихие люди в черном, появившись на подмосковных станциях, заставили целый год волноваться и Кремль, и Лубянку, остался позади. Он не изменил радикально положения советских меннонитов – и аресты, и идеологическое давление уже не были для них новостью. Но кто теперь узнает, какой душевный подъем и боль пережили «братья» – те, кто ушел, и те, кто вернулся – во время того Исхода, разделившего их земные пути?

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Gotten Ph.-L.* The History of the Mennonites, 4th ed. – Newport, 1987. P. 6.

[2] *Кошелева Л.П., Роговая Л.А., Бордюгов Г.А.* Эмиграционное движение советских немцев в конце 20-х годов. // Свободная мысль. № 12, 1993. С. 93.

[3] Историография проблемы спонтанного эмиграционного движения немцев-меннонитов в 1929–1930 годах в точном смысле отсутствует. Существует лишь краткий, но весьма профессиональный комментарий к публикации в журнале «Свободная мысль» ряда архивных документов по исследуемой теме, в которых меннонитская проблема вскользь упоминается как один из факторов более широкой темы переселенческого движения (см. сноску 2).

Тем не менее автор приносит свою благодарность авторам указанной публикации – Г.А. Бордюгову, Л.П. Кошелевой и Л.А. Роговой за исследовательскую идею и помощь в архивной работе. Автор также благодарит религиоведа С.Г. Антоненко за консультации по богословским проблемам меннонитства. В целом же, на сегодняшний день в науке существуют – независимо друг от друга – два пласта исследовательской литературы, посвященных соответственно конфессиональной истории мирового меннонитства и социально-политической истории переселенческого движения советских немцев. Избранный нами ракурс проблемы – при всей своей узкой предметности – позволяет увидеть особое измерение темы: пределы внутренней свободы традиционно мыслящей личности в условиях формирования тоталитарного режима, ненасильственное сопротивление религиозного сознания «новому порядку» репрессивной государственности.

В Российском Государственном архиве социально-политической истории (далее — РГАСПИ) отложился отдельным комплексом ряд интереснейших документов, касающихся переселенческого движения немцев-меннонитов из СССР в 1929–1930 годах. Этот комплекс и является источниковой базой данной работы. Среди груды делопроизводственной документации, формальной переписки и многочисленных редакций бюрократических резолюций встречаются яркие материалы и очень «живые» свидетельства. Именно они позволяют автору, не претендуя на полноту решения исследовательской задачи, в общих чертах высветить феномен меннонитского Исхода.

[4] *Кошелева Л.П., Роговая Л.А., Бордюгов Г.А.* Эмиграционное движение советских немцев в конце 20-х годов. С. 93–94.

[5] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 719. Л. 61. Сведения о террористической деятельности кулаков. Информсводки и секретные сообщения с мест.

[6] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 717. Л. 57 об. Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) «Об итогах обследования хозяйственного и культурного строительства в немецких колониях» от 5 апреля 1929 г.

[7] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 717. Л. 62. Приложение № 4. Духовенство и сектанты в выборах в Советы. Из документов Центризбиркома.

[8] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 822. Л. 33. Докладная записка по вопросу о выполнении Постановления ЦК ВКП(б) от 6 февраля 1930 г.

[9] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 717. Л. 57. Протокол № 111 заседания Секретариата ЦК от 5 апреля 1929 г.

[10] Там же. Л. 57 об, 65 об.

[11] Там же. Л. 58.

[12] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 822. Л. 11. Из докладной записки ответственного инструктора ЦК ВКП(б) Г. Козлова от 2 февраля 1930 г.

[13] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 717. Л. 67. Из докладной записки секретаря Центрального бюро Немецкой секции Отдела по агитации, пропаганде и печати (АППО) ЦК ВКП(б) в Секретариат ЦК ВКП(б).

[14] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 787. Л. 43. Из докладной записки заместителю председателя ОГПУ Г.Г. Ягоде [не позднее 16 октября 1929 г.].

[15] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 717. Л. 65об.; Оп. 85. Д. 357. Л. 1; Оп. 113. Д. 786. Л. 44–46.

[16] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 822. Л. 13.

[17] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 357. Из бюллетеня ТАСС (не для печати).

[18] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 787. Л. 43. Зампред ОГПУ тов. Ягода. Докладная записка. Сов. секретно.

[19] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 357. Л. 1. Информсводка об эмиграции немецких крестьян из СССР от 17 ноября 1929 г.

[20] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 791. Л. 105–106.

[21] Там же. Л. 106.

[22] Там же. Л. 107.

[23] Там же. Л. 109–110.

[24] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 791. Л. 107. Материалы к протоколу № 162 заседания Секретариата ЦК ВКП(б) от 26 октября 1929 г.; Л. 108–109. Докладная записка Секретарю ЦК ВКП(б) т. Кагановичу; Л. 109–110. Об эмиграционном движении немцев-колонистов. Тов. Молотову лично. 5 ноября 1929 г.

[25] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 791. Л. 105–107, Приложение № 13 к протоколу № 162 заседания Секретариата ЦК ВКП(б); Л. 109–110, Об эмиграционном движении немцев-колонистов. Тов. Молотову. Лично.

[26] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 822. Л. 11. Доклад ответственного инструктора ЦК ВКП(б) Г. Козлова на Оргбюро ЦК ВКП(б) от 2 февраля 1930 г. «Об итогах обследования эмигрантского движения немцев в Славгородском и Оренбургском округах и работы партийных организаций среди них».

[27] Там же. Л. 11.

[28] Там же. Л. 12, 12 об.

[29] Там же. Л. 10.

[30] Там же. Л. 12 об.

[31] Там же. Л. 13.

[32] Там же. Л. 15.

[33] Там же. Л. 16.

[34] Там же. Л. 16 об.

[35] Там же. Л. 18, 18 об., 19.

[36] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 113. Д. 822. Л. 2. Материалы к протоколу № 181 заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) от 6 февраля 1930 г. Об эмиграционном движении среди немецких крестьян.

[37] Там же. Л. 3–4. Приложение № 3 к протоколу № 181. Об эмиграционном движении среди немцев-крестьян и об итогах проверки выполнения директив ЦК от 12 сентября и 26 октября 1929 г.

[38] Там же. Л. 3, 7.

[39] Там же. Л. 29–45. Докладная записка в Секретариат ЦК ВКП(б) от 4 апреля 1930 г.

*Гюнтер Агде*

# ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ «взаимосвязанных» картин. Проект художественного фильма «поволжских» немцев 1935–36 гг. и исторические, политические и культурные «обстоятельства» его создания

## Истоки

Предтечей этого эпизода были сообщения московских газет о немецком художественном фильме, появившиеся осенью 1935 года. Премьера этого фильма только что состоялась в национал-социалистическом Берлине: «Friesennot» («Страдания фризов»). Этот фильм, как сообщала правительственная газета «Известия», был направлен «непосредственно против СССР, его народов и Красной Армии»[1], а с экрана «раздавались открытые агитационные призывы к интервенции и войне»[2].

Эти приговоры фильму обозначили точку отсчета агрессивного публицистического наступления советской прессы на массированную антисоветскую пропаганду, которую предпринял национал-социалистический режим в Германии с помощью нескольких художественных фильмов.

Выходившая в Москве «Deutsche Zentral-Zeitung» (DZZ) перепечатала заметку «Известий» о «Страданиях фризов» и, таким образом, довела ее до сведения общественности в Республике немцев Поволжья[3]. Тем самым DZZ взяла на себя особую политическую задачу, она действовала как орган Центрального бюро немецкой секции ЦК ВКП(б) – высшей партийной инстанции советских граждан-немцев.

Политическая атака на национал-социалистический фильм переросла в дальнейшем в многократно усиленную, перекрестную кампанию, явившуюся согласованной акцией Москвы и республики немцев Поволжья, стратегия которой была изложена и распространялась среди общественности на страницах DZZ и находилась под ее контролем.

Изначально бывшая общесоюзной, полемика вокруг вышеназванного фильма и проповедовавшейся им внешнеполитической концепции национал-социалистического режима вскоре перебазировалась на периферию, развиваясь отныне в локальном сообществе поволжских немцев. Все последующие усилия, направленные на то, чтобы с помощью «контр-фильма» ответить на национал-социалистическую пропаганду, остались за пределами республики немцев Поволжья без внимания общества[4].

Инициатива и начальная фаза кампании: представитель группы из пяти успешных немецких крестьян Адольф Денинг[5] использовал подходящий момент, чтобы превратить шумиху вокруг «Страданий фризов» в прессе в привлекающий внимание медийный процесс. Вместе со своими коллегами Тирбахом и Шефером он публично

# Gegen die faschistischen Verleumder

## *Deutsche Kollektivbauern über „Friesennot"*

**In der DZZ vom 28. ds. Mts. brachten wir einen Artikel über den faschistischen Hetzfilm „Friesennot", der augenblicklich in Berlin läuft. Wolgadeutsche Combineführer, zur Zeit in Moskau, haben diesen Artikel gelesen und teilten im folgenden ihre Meinung über den verlogenen Inhalt des Filmes mit.**

**„ICH WAR SELBST ROTARMIST"**

„Das, was von der Roten Armee in dem Film gezeigt wird, ist eine ganz gemeine Verleumdung. Ich war selbst in der Roten Armee von 1928 bis 1930. Wir haben zu den Bauern in freundschaftlichem, brüderlichem Verhältnis gestanden. Überall wo wir hinkamen, ob es russische oder deutsche Dörfer waren, wurden wir mit Liebe aufgenommen. Wir haben den Kollektivbauern bei der Ernte geholfen, an den Abenden wurde in den Dörfern musiziert und getanzt und die Mädchen haben mit uns Rotarmisten besonders gern getanzt.

Wie in diesem Film die Rote Armee dargestellt wird, so sind in Wirklichkeit die Armeen in den kapitalistischen Ländern und so war die Zarenarmee. Mein Onkel, der im imperialistischen Krieg Soldat war, hat uns viel davon erzählt.

Bei uns in der Roten Arbeiter- und Bauernarmee gibt es keine Saufereien, ich bin dort zu einem kulturellen Menschen erzogen worden. Erst in der Roten Armee habe ich richtig schreiben und lesen und auch die russische Sprache gelernt. Ich bin auch dort als Traktorist ausgebildet worden.

Die Faschisten verleumden unsere Rote Armee, weil sie genau wissen, dass unsere Armee der unüberwindliche Schutz unserer Sowjetheimat ist. Jeder Arbeiter und Bauer in der Sowjetunion weiss, wieviel Wertvolles wir der Roten Armee zu verdanken haben und ich denke, dass die Werktätigen in den kapitalistischen Ländern dem faschistischen Lügenfilm keinen Glauben schenken werden."

*Christian Thürbach*

**EIN WIRKLICHER WOLGAFILM IST NOTWENDIG**

„Als ich diesen Artikel gelesen habe, musste ich daran denken, wie in diesem Jahre Rotarmisten in unserem Dorf Zürich 2. waren. Sie kamen um den Kollektivbauern bei der Ernte zu helfen und sie haben wirklich tüchtig gearbeitet. Es war eine lustige Zeit. Nach der Arbeit veranstalteten die Rotarmisten Massenspiele, es wurde getanzt und als sie wieder wegfuhren, wollten die Kollektivbauern sie am liebsten ganz nicht weglassen.

Was die Faschisten in ihrem Film zeigen, ist eine dumme Lüge. Man sollte einen wirklichen Wolgafilm machen, der die Wahrheit zeigt, wie wir Wolgadeutschen ein glückliches und freies Leben führen. Und diesen Film soll man auch ins Ausland bringen, damit alle sich davon überzeugen können, wie gut es uns geht."

*G. Schäfer*

**BRÜDERLICH VERBUNDEN MIT ALLEN SOWJETVÖLKERN**

„Ich bin ganz empört über diesen Hetzfilm. Die Wirklichkeit ist gerade umgekehrt, wie die Faschisten es zeigen. Die Rote Armee unterdrückt die Bauern nicht, sondern bringt im Gegenteil Kultur ins Dorf. Ein solches Dorf wie in diesem Film, das von der Sowjetmacht nichts weiss, wo die Kulaken noch herrschen, gibt es in der ganzen Sowjetunion nicht, natürlich auch nicht an der Wolga. In unsern Dörfern sind die Mehrzahl der Bevölkerung Kollektivbauern und sie sind der Sowjetmacht ganz ergeben. Wir haben die Kulaken vertrieben. In unserm Dorf Mariental haben wir aus der Kirche einen Kulturpalast gemacht, wir haben dort einen Saal, der 400 bis 500 Personen fasst, eine Drehbühne und ein Tonfilmkino.

Eine freche Lüge ist es auch, wenn dieser Film behauptet, dass zwischen Deutschen und Russen in der Sowjetunion irgendwelche Gegensätze bestehen. Ich bin augenblicklich hier in Moskau z. B. mit Russen zusammen und fühle mich wie zu Hause. Bei uns gibt es keinen Rassen- und Nationalhass. Wir Wolgadeutschen sind brüderlich verbunden mit allen Sowjetvölkern."

*A. Deming*

*Страница из выходившей в Москве газеты «Deutsche Zentral-Zeitung» от 2 декабря 1935 г. с отзывами на фильм «Страдания фризов», премьера которого состоялась тремя неделями ранее в Берлине*

выступил с критикой фильма и заключенных в нем намерений. Все трое приписали картине стремление распространить ложь о жизни в республике немцев Поволжья. А Денинг, кроме того, в своей речи на немецком языке, с которой он выступил на конференции стахановцев 1 декабря 1935 г. в Москве, предложил снять фильм о жизни в республике немцев Поволжья. Его подчеркнуто дружеская публичная встреча со Сталиным, состоявшаяся в конце конференции, стала поводом для пропагандистского тиражирования и была демагогически напыщенно представлена в прессе[6]. Таким образом, он и DZZ получили возможность считать, что их намерения одобрены самим Сталиным. «Правдивый фильм» должен был стать ответом на лживую национал-социалистическую картину и одновременно показать жизнь в республике немцев Поволжья[7].

При этом, никто не видел национал-социалистического фильма; «Страданий фризов» не показывали в Советском Союзе ни широкой публике, ни узкому кругу. Все последующие действующие лица и актеры кампании реагировали (словесно) на словесный же процесс и аргументировали исключительно в рамках идеологии, не обладая знаниями по существу обсуждавшегося предмета. Кроме того, они, в значительной степени, следовали агитационному образцу, широко использовавшемуся тогда в советской медийной политике.

Требование Денинга соответствовало советскому пониманию искусства, а именно, тезису о том, что любое искусство, в конечном итоге, является оружием на службе идеологии. В том числе, и «новые фильмы, которые прославляют величие исторических событий в борьбе за власть рабочих и крестьян Советского Союза, которые мобилизуют на выполнение новых задач, а также будут памятником как достижениям, так и трудностям социалистического строительства»[8], как это сформулировал Сталин в своем приветственном слове 15-му съезду советской кинематографии. А ответ на это соответствовал желанию Денинга: «Мы еще больше заострим наше оружие, чтобы нанести классовому врагу смертельный удар, мы мобилизуем все наши силы против империализма и его агентов, против врагов СССР – против всех, кто отважится поднять руку на СССР»[9].

Для исполнения заказа по организации контратаки на фильм «Страдания фризов», казалось, наилучшим образом подходили немецкие деятели искусства, эмигрировавшие в Советский Союз, – благодаря их реноме, опыту в области творческой деятельности, политическому ангажементу и знанию Германии. В дальнейшем инициатива и перешла к ним.

Они опубликовали нарицательную концепцию, которая отвечала господствовавшему пониманию искусства. В своем «фильме» они хотели «показать трудящимся всего мира, как немецкие колхозники живут в Советском Союзе», хотели обрисовать «достоверные факты о жизни, работе и растущем благосостоянии в немецкой коллективизированной деревне на Волге», хотели «показать доказательства успехов в строительстве нашей социалистической Родины» и надеялись, что «правда произведения искусства также победно может проложить дорогу, как это уже сделали факты нашей действительности»[10]. Примечательно, что это решительная декларация о намерениях не содержала никаких подобострастных реверансов в сторону Сталина.

Из 35 подписантов – исключительно немецких эмигрантов, поставивших свои подписи в алфавитном порядке, – 11 были актерами, 9 – писателями и 14 – журналистами (в том числе и сотрудниками DZZ), переводчиками и функционерами. Не участвовали в акции немецкие политики-эмигранты. Также не было среди подписантов

# Ein Film der Wahrheit

„Wir schlagen vor, einen Film bei uns zu drehen, der zeigt, wie wir leben, um die Lügen zu entkräften, die in den faschistischen Blättern über uns gedruckt werden. Dieser Film muss gedreht werden, ein Film, der besagt, wie wir jetzt zum Unterschiede von dem, was jetzt im faschistischen Deutschland vor sich geht, frei leben".

**(Aus der Rede des wolgadeutschen Genossen Denig in der Beratung der besten Combineführer der Sowjetunion am 1. Dezember.)**

Die in der Sowjetunion lebenden deutschen Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, Dramatiker und Komponisten haben die Anregung des Genossen Dening vernommen. Wir Künstler, lieber Genosse Dening, haben deinen ehrenvollen Ruf sehr gut verstanden und auch die Grösse der Aufgabe, die mit der Schaffung eines solchen Filmes vor uns steht.

Wir wollen allen Werktätigen der ganzen Welt durch dieses Filmwerk zeigen, wie die deutschen Kollektivbauern in der Sowjetunion leben. Durch die wahrheitsgetreue Schilderung der Tatsachen über Leben und Arbeit und den wachsenden Wohlstand im deutschen Kollektivdorf an der Wolga, werden wir die verlogenen faschistischen Machwerken von der Art der „Friesennot" entlarven und beweisen, dass die Brüder in Not nicht bei uns in der Sowjetunion sitzen.

Mit dem Blick des Kollektivbauern, der sieht, welche Saat er wirft, und welche Ernte sie brachte, wollen wir, wie Genosse Dening, dass ihre Fülle bekannt wird, der Reichtum der Äcker, die in alter Zeit den Ausbeutern, Grundbesitzern, Kulaken ihre Früchte brachten, während die Werktätigen selbst zum Darben verurteilt waren. Wir wollen zeigen, wie die sozialistische Arbeit die hundertjährige Plage der Wolgasteppen, die Dürre, besiegt. Wir wollen die neuen Menschen zeigen, die Träger der wirtschaftlichen und kulturellen Umgestaltung des alten Dorfes, die Überwinder der Rückständigkeit und Ausbeutung, die das Wort des Genossen Stalin „Kader entscheiden alles" verwirklicht haben.

Wir wollen die deutsche Wolgarepublik in der Wirklichkeit als das Land zeigen, das nur durch seine Befreiung aus kapitalistischem und nationalem Joch, die Vorbedingungen seiner jetzigen Errungenschaften schuf.

Mit unserem Wolgafilm wollen wir den Wahrheitsbeweis antreten für die Aufbauerfolge unserer sozialistischen Heimat und zugleich gegen die verleumderischen Lügenkampagnen, die die Faschisten in ihren neuesten Filmen für die angeblichen „Brüder in Not" führen.

Brüder in Not — sind unsere Brüder drüben in Deutschland, in einem unfreien Lande, abhängig vom Grosskapital und Grossgrundbesitz, die unter Hypotheken und Steuern ihre kleine Landwirtschaft mühsam aufrecht erhalten, solange der Gerichtsvollzieher diese „Freiheit" gewährt. Brüder in Not sind jene, die in den Konzentrationslagern von den braunen „Brüdern" unter unvorstellbaren Qualen gefangengehalten werden.

Gestützt auf euch, Genosse Dening und alle Kollektivbauern und Kollektivbäuerinnen eurer autonomen und freien, deutschen sozialistischen Republik an der Wolga, auf euren Sieg wird die Wahrheit des Kunstwerkes sich ebenso siegreich Bahn brechen, wie dies die Tatsachen der Wirklichkeit getan haben.

Der Film, den wir beschlossen haben, mit allen unseren Kräften, — sofort in Angriff zu nehmen, muss in kürzester Zeit hergestellt werden.

Wir wollen dass diese Arbeit das Stalinsche Wort verdient: „Arbeit ist eine Sache der Ehre und des Ruhmes."—

**Johannes R. Becher, Willi Bredel, Ernst Busch, Fritz Erpenbeck, Ernst Fabri, Louiserose Fournes, Alexander Granach, Heinz Greif, Julius Hay, Hans Hanska, Ernst Held, Gerhard Hinz, Albert Hotopp, Hugo Huppert, Franz Leschnitzer, Liebermann, Lotte Lähinger, Jack Nawrey, Carola Neher, Maria Osten, Ernst Ottwalt, Artur Pieck, Erwin Piscator, Theodor Plivier, Bernhard Reich, Hans Rodenberg, Adam Scharrer, Bruno Schmitzdorf, Karl Schnückle, Maxim Vallentin, Fritz Voss, Gustav Wangenheim, Friedrich Wolf, Erich Weinert, Hedda Zinner.**

*10 декабря 1935 г. DZZ объявила о начале контрпроекта под названием «Фильм правды». Многочисленные немецкие художники-эмигранты приветствовали это намерение*

и художников республики немцев Поволжья. Неделю спустя дирекция фирмы «Межрабпом-фильм»[11] опубликовала свое решение: «предпринять все необходимые шаги для создания фильма немцев Поволжья», так как «справедливое и своевременное желание многих (! – *Г.А.*) товарищей немцев Поволжья, рабочих и колхозников … должно – так скоро, как это возможно – исполниться»[12]. Фирма представила предложение Денинга и намерения немецких эмигрантских деятелей искусства как массовую инициативу.

Проект быстро обрел форму – в отчете правительства республики немцев Поволжья Центральному Исполнительному комитету СССР было решительно заявлено: «Мы надеемся, что это обещание [фильм – *Г.А.*] будет выполнено в ближайшее время»[13]. По этому поводу даже состоялся прием представителей республики немцев Поволжья у главы советского государства Михаила Калинина. Тем самым, была официально заложена база для реализации проекта. Как Денинг изначально представлял себе, что его намерения получили санкцию Сталина, так и встреча Калинина с ведущими политическими фигурами республики поволжских немцев и их выступление перед «центром» рассматривалась как подтверждение этой санкции[14].

Затем два высших политических фукнционера республики немцев Поволжья – Адам Вельш и Евгений Фрешер – встретились с авторами проекта фильма и его модераторами в DZZ. При этом также были обсуждены внутренние проблемы перспективной концепции творческой работы, которая была четко сформулирована и зафиксирована четыре недели спустя на следующей встрече того же состава.

Вторая фаза: проект фильма сопровождался подготовкой общественного мнения и агитацией; DZZ сообщала заранее, какие шаги предпринимали авторы, объединенные в «сценарную бригаду» для осуществления плана. Сутью газетного форума было приглашение всех читателей (и тем самым, без сомнения, всех поволжских немцев) поучаствовать в развитии проекта, высказывая свои мнения и предложения. Как это было обычно для Советского Союза рассматриваемого периода, сформировали мобильный, обозримый и контролируемый коллектив и назвали его техническим термином, обычным для промышленности. «Сценарная бригада» состояла из Эрвина Пискатора, опытного театрального режиссера с международным признанием, президента находившегося в Москве Международного революционного театрального союза (IRTB), которому «Межрабпом-фильм» поручил руководство проектом; из Юлиуса Гая, венгерско-немецкого драматурга, который имел сенсационный успех у театральной публики в Германии незадолго до установления национал-социалистического режима; из служащего «Межрабпом-фильма» Йозефа Ленгуэля, наполовину венгра, наполовину немца, вошедшего в «бригаду» в качестве советника по драматургии, который должен был следить за соблюдением требований фирмы и осуществлять контроль за политической «правильностью» работы. Пискатор снял свой первый художественный фильм «Восстание рыбаков» («Aufstand der Fischer») в 1934 г. У Гая и Ленгуэля совсем не было опыта работы в области кинопроизводства.

Учитывая политическую ангажированность проекта, можно утверждать, что политический состав «сценарной бригады» был согласован с руководством КПГ, находившимся в эмиграции в Москве.

## Структура проекта

К началу второй фазы пропагандистской акции обозначились две стратегии по реализации замысла фильма: творческая и пропагандистски-агитаторская. Обе стратегии развивались параллельно. В сценарии и в готовом фильме они должны были объединиться.

Творческая стратегия предполагала рассказать в жанре художественного фильма о «в высшей степени интересной жизни немецкого населения нашей страны»[15]. В этом нашли свое яркое выражение профиль и намерения задействованных в проекте деятелей искусства. Пропагандистски-агитационная стратегия представляла собой памфлет: фильм должен был стать ответом на «фашистские клеветнические выпады», в особенности против Красной Армии[16].

Публичные саморепрезентации сценарной бригады давали возможность представить эти две стратегии сбалансированными. Гай косвенным образом указал на то, что хотел бы видеть пропагандистскую линию на втором плане, подчеркнув, что нельзя «жертвовать художественными принципами», и фильм должен быть чем-то большим, нежели «только ответом» на национал-социалистический фильм и на «всю лживую антисоветскую травлю со стороны немецкого фашизма». Вся команда, в целом, сформулировала свои намерения в следующем кредо: фильм должен быть «художественным фильмом о социалистической действительности», «реалистическим фильмом, чья единственная цель – показ правды». В конечном итоге, команда объединила эстетическую и политическую стороны своих намерений в рабочей гипотезе: «Правда – это сегодняшняя жизнь и – если нам удастся это показать – она также прекрасна, как эта жизнь»[17]. Баланс стратегий был также результатом умелого размещения в DZZ материалов об атакуемом фильме «Страдания фризов», напоминавших удары с флангов. В газете сообщалось, что в национал-социалистической Германии фильм не имел успеха у зрителей и поэтому был снят с проката, кроме того, в Германской империи, вследствие экономической политики национал-социалистов, день ото дня возрастали бедность и страх крестьян за собственное существование.

Третья фаза: пропагандистски-агитационный вариант постепенно стал брать верх в пропагандистской игре DZZ: «Красная Армия – наш друг и помощник: немецкие колхозники о фашистском фильме “Страдания фризов”»[18] – так DZZ назвала организованную ею акцию читательских писем в газету. Заказной характер этой акции вряд ли был тайной для самих читателей. Безоговорочное усиление советских вооруженных сил отныне стало единственной целью пропаганды, в том числе и в задуманном фильме[19]. Тем самым, творческий вариант проекта оказался в кризисе, а точнее, он был намеренно приведен к этому кризису. И этот кризис был прелюдией к провалу проекта[20].

Конструирование пропагандистской кампании и манипулятивное руководство ею открывают нам политическую «позиционную войну» в обличье проекта фильма. Антиподы – фильм «Страдания фризов» и его запроектированный «противник» – «Фильм правды» – обозначают полюсы медиального и политического «поля», составные части которого взаимосвязаны друг с другом. Проект фильма поволжских немцев не был реализован. Детальная, 32-страничная машинописная копия[21], благодаря проработке сцен и персонажей, позволяет составить подробное представление о намерениях, на чем мы остановимся ниже. Прежде, однако, необходимо уделить внимание еще одной культурной программе республики немцев Поволжья, без которой невозможно оценить замысел фильма.

## Массовая культура – фаворит

Параллельно с пропагандой и подготовкой проекта «Фильма правды» DZZ сопровождала и модерировала еще одну программу, которая при помощи формирования общественного мнения и позитивного агитационного стимулирования ориентировала на традиционные ценности культуры и образования. Эта концепция была, очевидно, нацелена на нечто большее, нежели такой специфический жанровый продукт, как художественный фильм, и не предполагала создания какого-либо «достижения культуры». Хотя она и должна была выполнить миссию ответа на национал-социалистическую политическую кампанию в поддержку «голодающих поволжских “братьев по нужде”», в ней не нашлось места проекту фильма. Современная масс-медийная концепция (в контексте собственно поволжского фильма) заменялась и углублялась популярной концепцией массовой культуры. Две линии оказались разнонаправленными, а проекты – на разных полюсах.

Во втором проекте также оказались задействованными немецкие эмигранты из числа деятелей искусства: редакция DZZ отправила писателей Эриха Вайнерта, Эрнста Оттвальта и Александра (Лайоша) Барта в многонедельное путешествие по Украине; там они посетили, прежде всего, три немецких области. Общественности были неизвестны подробности путешествия, например, его отдельные этапы, но в конце были описаны его результаты[22]. Через некоторое время акция повторилась; в этот раз в путешествие отправились в качестве делегатов главный редактор Юлия Анненкова, функционер КПГ Рудольф Керн, репортер DZZ Джек Нори, писательница Мария Остен и певец Эрнст Буш; из первого состава поехал только Эрих Вайнерт. Расширение состава делегации вдвое подчеркивало значение именно этой концепции. Обе экскурсии завершились с одинаковыми результатами. Правда, вторая группа многократно усилила публичный резонанс от их достижений благодаря длительному радиовещанию через московскую станцию радио Коминтерна (ИНО-радио)[23] и нескольким статьям в DZZ[24], на которые поволжские власти немедленно и с энтузиазмом отвечали.

Обе писательские экскурсии были организованы, прежде всего, в интересах литературных кружков молодых поволжских немцев, пробовавших себя на литературном поприще, и любительских театральных кружков. Участники поездок наблюдали также за культурными проявлениями повседневной жизни, такими как жизненные стандарты, организация свободного времени, школьное образование и аспекты массовой культуры, в особенности библиотеки. Электрификация, радиовещание и прокат кинофильмов они не упоминали. Тем самым, массовая культура описывалась в целом и исчерпывающе как популярная стратегия.

Кризис проекта фильма (а вместе с тем и медиальной стратегии), в конечном итоге, усилил популярную стратегию. С энтузиазмом приветствовался также решительный политический акцент, а именно, строгая ориентация на Красную Армию: «Наши (т. е. немцев Поволжья) полки будут воспитывать новых выдающихся борцов Красной Армии для дела защиты нашего Отечества – Советского Союза», – телеграфировало в Москву, редакции DZZ, правительство республики немцев Поволжья, ранее так усиленно поддерживавшее проект фильма, в знак благодарности за организацию радиовещания[25]. Эта телеграмма стала заключительным актом и в упомянутой выше акции читательских писем. Этот решительный поворот обозначил окончание масс-медийного варианта.

## Экскурс: Национал-социалистические художественные фильмы как «инструменты» внешней политики

В довоенный период тема «немцы за границей» неоднократно оказывалась в центре внимания национал-социалистической киноиндустрии и, тем самым, медиально формулировала внешнеполитическую цель молодого режима. Она обрамляла нараставшую активность различных сил национал-социалистического режима, прежде всего, действовавшего с 1908 г. «Союза за германство за границей» (Verein fur das Deutschtum im Ausland), который с 1938 г. получил новое «говорящее» название «Народный союз за германство за границей» (Volksbund fur das Deutschtum im Ausland)[26]. Именно это объединение организовало в 1933–34 гг. спекулятивную кампанию «Братья в нужде» в форме акции помощи поволжским немцам, чтобы за счет пересылки продуктовых посылок и денег смягчить последствия голода в республике немцев Поволжья, явившегося результатом раскулачивания и коллективизации. Советское правительство с гневом отказалось от помощи, в том числе и из-за ее пропагандистского «оформления», его примеру последовали и политические силы автономной республики. Советские руководители увидели в акции «Братья в нужде» вмешательство «вражеской» пропаганды во внутренние дела и насквозь лживое мероприятие; они не терпели никакого иного мнения, кроме своего собственного. Напротив, они утверждали, что всем, кто живет в Советском Союзе, а значит и поволжским немцам, a priori живется хорошо. Именно потому, что они живут в Советском Союзе, нет причин для того, чтобы они хотели поменять свой статус.

Так как советское киноискусство никак не тематизировало эту дискуссионную проблему в художественном фильме, проект «Фильм правды» давал для этого хорошую возможность.

Национал-социалистическая кинопродукция Германии постоянно окрашивала тему «немцы за границей» в аннексионистские тона. Немцев за границей, а значит, и в советской автономной республике, необходимо вернуть «домой», «назад, в рейх». Примером тому могут служить: «Изгнанники» («Fluechtlinge», 1933 г., режиссер Густав Усицки), «Человек хочет в Германию» («Ein Mann will nach Deutschland», 1934 г., режиссер Пауль Вегенер). Эти «патриотические приключенческие фильмы»[27] были с драматургической точки зрения сделаны под главного актера-звезду, который оживлял и развивал полную событий фабулу. Идейно-политическая подоплека появляется, в лучшем случае, на заднем плане. В процессе создания фильма о «пути домой» актеры лишь номинально играли роли поволжских немцев или других немцев, временно и не по своей воле оказавшихся за границей. Географическая и политическая локализация фигур оставалась, тем не менее, непостоянной единицей. В «Изгнанниках», к тому же, прорыв группы поволжских немцев из Харбина в Германию был живо и эмоционально показан как военная акция, которая удалась лишь благодаря тому, что сильная личность предводителя (звезда УФА Ханс Альберс) объединяет разнородную группу, которая, в конечном итоге, решительно и с риском реализует поставленную цель[28].

Фильм «Страдания фризов»[29] давал собственную интерпретацию жизни поволжских немцев и, исходя из логики повествования, формулировал вариант «пути домой»: притеснение крестьян Советами настолько велико, что их выживание зависит от вооруженного прорыва на родину – таков неизбежный финал[30]. Тем самым, фильм напрямую усиленно обслуживал внешнеполитические цели национал-социа-

лизма[31]; в нем несомненно присутствовали антисоветские тенденции, заслужившие порицания в уже упоминавшейся заметке в прессе, ставшей началом описываемых событий. Актуальная национал-социалистическая кинокритика также признала это: «[…] фильм, который однозначно проповедует следующее мировоззрение – мировоззрение сегодняшней Германии»[32]. Фильм называли «мощным выражением национал-социалистических устремлений»[33]. И именно на это должен был стать ответом «Фильм правды».

## Проекты художественного комбината в Энгельсе и фильм

Проект «Фильм правды» быстро показал себя как проект особого значения для массово-политической инфраструктуры республики немцев Поволжья, тем более, что его побочным эффектом оказались события, которые вышли далеко за узкие рамки проекта фильма.

Когда команда сценаристов во второй фазе кампании, организованной вокруг проекта, несколько недель пребывала на месте событий для сбора материалов, два наиболее влиятельных партийных и правительственных функционера автономной республики Евгений Фрешер и Адам Вельш попросили в Энгельсе Пискатора посодействовать улучшению работы местных театров[34]. Исходя из этого, Пискатор сформулировал концепцию театрального комбината с различными направлениями, который предполагалось создать в столице республики немцев Поволжья – г. Энгельс. Концепция базировалась на трех столпах: строительство и формирование театров высокого уровня, образование творческого персонала и собственная кинопродукция.

В эмигрантской историографии этот план стал известен как так называемый «Энгельс-проект», и его значение для эмигрантских театров неоднократно описывалось. Однако при этом третий «столп» – кинопродукция – стабильно не удостаивался внимания[35]. Сам Пискатор считал обязательным, чтобы «план» был осуществлен во всей его «целостности», «так как в случае, если отдельные детали плана не осуществятся, это сделает невозможным реализацию других частей или осложнит ее»[36]. Он довольно ловко встроил Коминтерн, организацию мирового коммунистического движения, центральный орган которой находился в Москве, в концепцию как инстанцию, ответственную за проект, и тем самым предложил своим заказчикам в Энгельсе надрегионального и мощного партнера[37].

Для реализации третьего «столпа» своего проекта Пискатор хотел забрать производство немецкого фильма у организации «Межрабпом-фильм» в Москве и перенести его в Энгельс: «На кинофабрике, которая должна быть создана, […] мощностью в 4–5 фильмов в год»[38] должны были сниматься «хорошие, художественно ценные фильмы», а точнее, «4 поволжско-немецких антифашистских фильма», и для этого необходимо учредить «небольшую кинофабрику поволжских немцев» с «собственной администрацией». А также: «Студия и прочие помещения должны быть построены недалеко от города Энгельс»[39]. Свой «Фильм правды», который может рассматриваться как пилотный проект, он не упоминал в концепции, так как он с полной уверенностью рассчитывал, что он будет реализован прежде, чем ведомства автономной республики одобрят план комбината. Примечательно, что Пискатору импонировало изготовление художественных фильмов, и он игнорировал производ-

ство документальных фильмов и новостных еженедельников. Также бросается в глаза, что в его приложенном к концепции инвестиционном и финансовом плане были рассчитаны точные цифры для театров, но не для двух других «столпов» – образования и кинопроизводства. Его замечания по поводу строительства студии и прочих помещений для кинопроизводства были более чем лаконичными.

Кризис проекта «Фильм правды» перекликался с кризисом проекта комбината и, наоборот, кризис плана комбината внес свой вклад в кризис проекта фильма.

## Экскурс: кино в республике немцев Поволжья

До описываемых событий не существовало художественных фильмов, снятых в республике немцев Поволжья, которые можно было бы посмотреть вечером на досуге. Документальные киносюжеты из жизни немцев Поволжья тоже снимались редко и так же редко появлялись в советских еженедельниках «Кинохроники». Лишь немногие фильмы о культуре или природе этнографического характера, снятые, прежде всего, на «Межрабпом-фильме», информировали о республике и ее людях[40]. Не было и местной киностудии соответствующего уровня. Фирма «Немкино» («Немецкое кино») являлась филиалом московской организации «Кинохроника», а также занималась прокатом. Проект Пискатора, предполагавший самостоятельное кинопроизводство в республике немцев Поволжья, был нацелен, несмотря на скромность годичных планов производства, на достижение существенного качественного скачка. Этот скачок должен был повлиять также на дистрибуцию фильмов. На вопрос о том, «почему при реализации этого проекта [театрального комбината – *Г.А.*] столь важна, основополагающа по своему значению, связь с фильмом», Пискатор отвечал с большой претензией: фильмы будущей фирмы должны прокатываться и продаваться в масштабе «всего союза и даже мира»[41]. Он учитывал также значительное обратное воздействие будущего производства художественных фильмов республики немцев Поволжья на региональный прокат фильмов.

Публичная коммуникация населения в преимущественно земледельческой, мелкокрестьянской инфраструктуре республики немцев Поволжья определялась специфическим сочетанием сети радиовещания (с многочисленными общественными радиоточками и немногочисленными частными радиоприемниками при существовании единой, идеологически цельной программы центрального радиовещания), газет (также пропагандистски ориентированных и вывешивавшихся на специальных досках и стендах для коллективного чтения), а также библиотек, изб-читален, клубов. Кинематограф как самое современное медийное средство (первые показы приходятся на 1924 г.) изменил расстановку сил в этом «ансамбле»; кино было особенно привлекательным и стремительно развивалось: в 1927 г. было лишь 3 кинотеатра, в 1928 г. – уже 16[42], в 1932 г. – 36[43], в 1936 г. – 62[44], а в 1938 г. – 52 кинотеатра[45] (данные, конечно, не учитывают разницу между стационарными кинотеатрами и кинопередвижками, нет также сведений о репертуаре, количестве показов и количестве зрительских мест[46]). Сеансы передвижных киноустановок часто использовались в школах как дополнение к занятиям.

Две особенности одновременно определяли развитие кинодела в республике немцев Поволжья: В Советском Союзе произошел переход от немого к звуковому

кино. Обе формы долгое время существовали параллельно, хотя количество немых фильмов постепенно уменьшалось, а звуковых – увеличивалось. Интенсивность этого процесса зависела от финансовых возможностей правительства: значительные инвестиции в звуковой кинопрокат, амортизация которых была длительной, требовали опережающего финансирования. Относительно небольшие коммуны в республике немцев Поволжья осторожно относились к кредитам. Из 900 звуковых кинотеатров, строительство которых было намечено в Советском Союзе на 1935 г., лишь 4 приходилось на республику немцев Поволжья. (В апреле 1935 г. Совет народных комиссаров республики немцев Поволжья объявил звуковой кинотеатр, т. е. проекторы, громкоговоритель и экран, второй премией за раннее окончание сева!). Длительный переход от немого к звуковому кино в СССР, вызванный техническими проблемами, тормозил «кинофикацию»[47], т. е. желанное обеспечение населения регулярными кинопросмотрами в масштабах всего Союза, а значит, и в республике немцев Поволжья.

Прокатные учреждения еще долго предлагали немые кинофильмы наряду со звуковыми. В целом, показы фильмов в республике немцев Поволжья зависели от монополии советских прокатных фирм. Вследствие отбора фильмов прокат функционировал также как изощренный инструмент влияния и как своеобразная цензура. Немые фильмы сопровождались комментариями, для неграмотных написанные по-русски и переведенные на немецкий язык комментарии зачитывались вслух. При этом киномеханик, показывавший фильм, часто выступал в роли лектора-пропагандиста[48].

В республике немцев Поволжья действовали немногочисленные стационарные кинотеатры – первые были открыты в 1935 г. Среди них был и кинотеатр в деревне Высокополье, где под него была переоборудована церковь.

В первую очередь, применялись передвижные проекционные установки (передвижки) – мобильные, непривязанные к месту аппараты (часто вместе с экраном), и, если это было возможно, звуковая аппаратура, которая должна была работать в примитивных условиях и при часто возникавших технических проблемах. Из-за весьма различного уровня электрификации республики мобильные кинотеатры использовали для обеспечения электроэнергией во время показов собственные динамомашины[49].

Передвижки путешествовали, как правило, по географически удобно и близко расположенным местам, если там были подходящие для показа фильмов помещения. Все эти обстоятельства, связанные с техническими проблемами, требовали изменений в масштабах всей республики и вынуждали к проведению глубокой модернизации.

Представления Пискатора, которые нашли отражение в его проекте «Фильм правды» и были связаны с «третьим столпом» в его плане театрального комбината, должны были, наряду с реализацией политических целей и вследствие этого, обеспечить прорыв в неизведанное пространство средств массовой информации и ускорить подключение республики немцев Поволжья к использованию самого современного для своего времени и мобильного массмедийного средства – кино, сделав его доступным для населения. Связанные с этим инновативные подвижки должны были вывести республику на уровень европейских стандартов, в массовом масштабе создать возможности для демонстрации кинофильмов и, тем самым, обеспечить доступность кино для широких слоев населения. И, наоборот, с помощью кинофикации

можно было усилить идеологическое влияние московского центра на население республики немцев Поволжья.

## Кинопроизводственная фирма «Межрабпом-фильм» и подготовка проекта

Если немного отвлечься от политических и внутрисоветских идеологических компонентов, то проект и его громкая общественная пропаганда были особенно выгодны кинопроизводственной фирме «Межрабпом-фильм»[50]. Не напрасно она публично и весьма энергично заявила о своей поддержке. Хотя позднее все же предпочла отойти на задний план[51].

*Фирменный знак кинопроизводственного объединения «Межрабпом-фильм» в Москве: стилизованная кинолента (с перфорацией), обвитая вокруг логотипа «Межрабпом-фильм»*

«Межабпом-фильм» – смешанное немецко-русское акционерное общество – с 1932–33 гг. декларировало интернациональную тематику как основную для своей кинопродукции: в фильмах должна была усиленно отражаться классовая борьба в западноевропейских странах. Однако политические изменения в Европе, в особенности приход нацистов к власти в Германии в 1933 г., существенно помешали этим планам, так как теперь значительный рынок, а именно рынок Германии, был более недоступен для кинопроката фильмов, и значительные доходы (в валюте!) оказались безвозвратно утерянными. Вследствие этого тематические планы киностудии подверглись корректировке. Проект художественного фильма немцев Поволжья мог придать временно неопределенным тематическим планам студии привлекательность, показав ранее не реализованные в фильмах и к тому же крайне привлекательные для ненемецкого пространства (читай, рынка) аспекты. Значение этого, к тому же, должно было усилиться благодаря известности участников проекта и их общественной ангажированности. Пропагандистские мотивы проекта, учитывая его внешнеполитическую направленность, были поддержаны «московским руководством»: национал-социалистическая пропаганда могла (и должна!) была разоблачаться в мировом масштабе как ложь, и должно было демонстрироваться значение перехода

поволжских немцев на сторону социализма, представленное силами местных (аутентичных) актеров и свидетелей.

Кроме того, «Межрабпом-фильм» мог внести собственный вклад в общесоюзную, хорошо спланированную кампанию, сопровождавшую средствами кино обсуждение проекта новой советской конституции. Согласно этой конституции, впоследствии названной «сталинской», национальные меньшинства должны были окончательно «эмансипироваться». Палитра советских художественных фильмов того времени, посвященных отдельным национальным меньшинствам[52], могла быть дополнена привлекательным вариантом о «поволжских немцах». К тому же проект, благодаря тематической эксклюзивности, должен был заново зафиксировать особое положение «Межрабпом-фильма» в рамках советской киноиндустрии: вследствие участия иностранного капитала и большой известности в западноевропейском кинопроизводстве, фирма выглядела экзотично на фоне советского киноландшафта и достаточно упорно и долго противостояла централизующим устремлениям государственных московских инстанций, в особенности Главного управления кинофикации (ГУКФ) и финансовых ведомств, которые хотели единолично распоряжаться прибылями от проката фильмов за границей.

Пискатор и его единомышленники использовали фирму как защитное прикрытие. Они хотели и могли преодолеть проблему своих застопорившихся переговоров по поводу ангажемента и репертуара для своего проекта эмигрантского театра[53] с помощью «Межрабпом-фильма», при поддержке которого они надеялись временно привлекать кандидатов на участие в театральных постановках к работе в близкой отрасли.

В конечном итоге, некоторые эмигрировавшие в Советский Союз немецкие писатели могли набираться опыта при работе над киносценариями и расширять свои литературные возможности. Во всяком случае, «Межрабпом-фильм» представлял собой молодую советскую кинопроизводственную фирму, которая, благодаря инновативным подходам к своим кинофильмам, уже в 20-е гг. в масштабах всей Европы оказала наиболее глубокое влияние на художественный язык современного кино и внесла свой вклад в его международную известность.

Проект был подчеркнуто ориентирован на звуковое кино, и звук в кино – т. е., диалоги, музыка и шумовые эффекты в их комбинации – образовал самое современное техническое киносредство, которое повлекло за собой существенные изменения в эстетической сфере. Так как переход от немого кино к звуковому был в Советском Союзе в самом разгаре, новые художественные возможности, связанные со звуком, выступали как обогащение современного киноязыка и находились на стадии экспериментального апробирования. «Межрабпом-фильм» достаточно рано выступил в качестве пионера в этой области. Здесь был снят первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» (1931 г., режиссер Николай Экк). Фирма получила звуковую кинолабораторию, которая щедро финансировалась государством. Пискатор мог использовать собственный опыт, полученный при работе над «Восстанием рыбаков», а также опираться на опыт своего коллеги-режиссера (и противника концепции театрального комбината) Густава фон Вангенхайма, который свой фильм «Борцы» снял на двух языках.

С другой стороны, сценарный отдел фирмы, который должен был взять на себя работу над сценарием фильма поволжских немцев и в который направлялись все проекты по этому фильму, был центром как политико-идеологической индоктрина-

ции, как это показывает взгляд на работу над сценарием, так и инстанцией тончайших форм цензуры и предварительной цензуры. Кроме этой сети контролирующих и влияющих органов, оказывавших воздействие на проект еще до начала съемок, необходимо принять во внимание внешне неприметное, но всеобъемлющее политическое влияние советской киноцензуры (осуществлявшееся через ГУКФ) и Коминтерна, которому «Межрабпом-фильм» было подчинен как элемент организации «Международная рабочая помощь». Таким образом, при рассмотрении проекта необходимо учитывать эти по-разному называвшиеся и проявлявшиеся на практике влияния.

## Начало работы над сценарием

Ведущими авторами были Эрвин Пискатор[54] и Юлиус Гай. Пискатор добровольно поставил себя в условия цейтнота: он хотел закончить сценарий к 15 марта 1936 г., а фильм снять до 7 ноября 1936 г., когда, в день Великой Октябрьской социалистической революции, должна была состояться его премьера. В связи с этим оставалось лишь 7 месяцев для съемок и монтажа – условия весьма жесткие даже по меркам западноевропейского кинопроизводства. Он взял на себя такие обязательства, так как знал, что в советских условиях ориентация на юбилей могла ускорить проект и мобилизовать работавшие над ним институты. К тому же, он воспринял первоначальную сильную поддержку своего проекта, написанного в г. Энгельс, как серьезный импульс. И, в конечном итоге, он хотел доказать «Межрабпом-фильму», что он дисциплинированный работник: за два года до этого при работе над «Восстанием рыбаков» у Пискатора были конфликты с фирмой, упрекавшей его в расточительности и незнании меры[55]. Юлиус Гай придерживался планирования, которое разработал Пискатор.

На временной основе к работе над проектом привлекались немецкий писатель Теодор Пливер, хорошо знакомый с Пискатором по Берлину в доэмигрантский период благодаря совместной работе в театре, и Адам Шаррер. Оба были опытными беллетристами. В эмиграции они жили в республике немцев Поволжья. Пливер – в Паульском, Шаррер – в Кляйнлибентале под Одессой[56]. Короткое время в проекте был задействован и немецкий журналист Лео Ланиа, также знакомый с Пискатором еще по Берлину. Пливер и Ланиа были «центрированы» на Пискатора: они считались опытными в плане организации драматургической работы, например, сбора материалов для театральной постановки и в деле монтажа сцен сюжета. Шаррер считался приверженцем эпического стиля с точным описанием среды и личностей из крестьянской жизни. Но ни один из трех не имел опыта работы в кино. Причины, по которым они вошли в проект, а затем покинули его, были различными. Нестабильность авторского состава, таким образом, довольно рано сигнализировала о серьезных трудностях, которые испытывало предприятие, нацеленное на создание из тезисов, заранее заданных и подчиненных определенной идее, чувственной киноистории. Важные кинематографические работники, такие как оператор, композитор и сценограф не были привлечены к работе над сценарием. Сообразительный Пискатор с самого начала известил о том, какие актеры будут играть роли в будущем фильме. Типаж и актерское мастерство его кандидатов должны были оказать влияние на поиск

истории и ее литературное решение, а также сценаристское видение той или иной роли. Здесь особым образом проявил себя его театральный опыт. Так как он не делал секрета из своих идей, оживленные дискуссии сопровождали впоследствии работу по соединению различных частей проекта и обеспечили сбор устного материала в московской колонии эмигрантов[57]. Одновременно проект в международном масштабе стал магнитом, который своими осмысленными и благородными задачами притягивал антифашистскую культурную эмиграцию – потерявших родину или изгнанных из Германии немецких художников[58].

Актер Александр Гранах до 1933 г. был в Германии звездой театральной сцены и кино, а теперь оказался в эмиграции и заключил контракт с «Межрабпом-фильмом». Он сам вызвался сыграть одну из ролей в фильме, а своей подруге, Лотте Ливен, жившей в Берлине, пообещал в письме уже в декабре 1935 г. роль «крестьянки из поволжских немцев»[59]. Ханни Роденберг, жена одного из руководителей «Межрабпом-фильма», Ханса Роденберга, и Карола Неер уже заключили договоры на съемки в фильме. И другие актеры рассчитывали получить роли в проекте: Эрнст Буш, Хайнрих Грайф, Лотте Лебингер, а также талантливые любители из эмигрантской агитационно-пропагандистской группы «Колонне линкс» Бруно Шмидтсдорф и Фридрих (Фриц) Фосс – все они играли в фильме «Борцы».

Вряд ли кто-нибудь из них разглядел пропагандистскую «сеть» и политический фон кампании вокруг фильма, хотя все они, благодаря своему профессиональному честолюбию, содействовали осуществлению проекта в его сущности и целенаправленности.

Исследовательская поездка Пискатора, Гая и Ленгуэля в республику немцев Поволжья в январе 1936 г. была для бригады сценаристов первым и важнейшим рабочим этапом. Эту работу невозможно реконструировать в деталях, однако, об этом путешествии сохранились сведения в двух различных источниках: драматург Ленгуэль написал и разместил (конечно, не без согласования с головной организацией «Межрабпом-фильма» в Москве) актуальные сообщения в прессе о ходе работ DZZ, а соавтор Юлиус Гай вспоминал о путешествии в своих мемуарах[60]. Они рассказывали о различных эпизодах. Если объединить, при условии критического взгляда[61], оба рассказа, то качество сообщенного позволяет сделать далеко идущие выводы о методе работы. Исследовательское путешествие позволяет охарактеризовать начальный метод работы над проектом. В понимании бригады, это была работа по поручению: была задана тема, сформулированы идеологические намерения. Из этого необходимо было сделать экранную киноисторию. Биографический и исторический материал нужно было на месте проверить на предмет возможности изложения его в киноверсии. Подход, когда своего рода эмпирическое исследование при помощи знакомства с реалиями жизни ложилось в основу сценария, был необычен для Пискатора и Гая, и находился в диаметральной противоположности к их более ранней творческой продукции, вышедшей до 1933 г. в Германии. Гай для всех своих театральных постановок сначала находил творческую идею, которую затем наполнял жизненным материалом (в том числе и автобиографическим), распределял между актерами и доводил до совершенства в процессе драматургической работы по всем правилам традиционной аристотелевской драматургии с экспозицией, конфликтом и развязкой, со сценами/актами, концовками актов и всей пьесы[62]. Пискатор также в своих постановках пьес других авторов, которые он делал в Берлине, как для театров, так и в кино, часто «вмешивался» в фабулу произведения и украшал его дейст-

вие и драматургию театральными приемами, не изменяя при этом тематическую субстанцию пьесы. Его первый фильм «Восстание рыбаков» также восходил к предварительно обработанному материалу: он сохранил центральную фабулу новеллы Зегерс и изменил только акценты (конечно, значительно)[63]. Так как ни один из трех сценаристов не располагал знаниями о республике немцев Поволжья, представителями партийного и государственного руководства в Энгельсе им были предоставлены собеседники и сопровождающие, так что имела место, как писал Гай, «определенная селекция материала, систему которой я до сегодняшнего дня не могу понять»[64]. Официальное сообщение, которое исходило от «особой комиссии»[65], придало встречам с немцами Поволжья атмосферу свиданий с контролерами, так как их собеседники со всей очевидностью были настроены на то, чтобы сообщать только факты, приятные для официальных властей, и выражать соответствующее мнение, при чем правдивые высказывания уходили на задний план. Вспоминая, Гай сделал вывод: «Нет ничего удивительного в том, что нас принимали за следственную комиссию, которая неизвестно что разыскивала»[66]. Прежде всего, однако, было дело: «Мы собирали в городах и деревнях мужчин, женщин, молодых и старых. Каждый, кто хотел, мог прийти. […]Тогда мы их расспрашивали о жизни, их прошлом, их желаниях и надеждах»[67].

Адам Вельш, председатель Совета народных комиссаров республики немцев Поволжья, рассказал им эпизоды из собственной жизни, которые были столь «интересными и наполненными драматизмом, что уже сейчас могли рассматриваться как существенное тематическое ядро сценария»[68]. И, в действительности, в более поздней рукописи в образе Штальбаума можно найти события и характерные черты, которые могут быть выведены из биографии Вельша.

Пискатор, Гай и Ленгуэль изучали исторический и архивный материал в местном музее (об этих собраниях и выставках неизвестно ничего конкретного) и в биографиях, встречались с редакцией немецкоязычной газеты «Nachrichten» («Известия») и с членами местного союза писателей. Встречи привносили личностную окраску и детали, но подлинного сотрудничества в работе над проектом фильма все же не получилось[69].

В деревне Мариенталь они посетили номинального инициатора их проекта, 29-летнего комбайнера и недавнего лауреата сталинской премии Адольфа Денинга, который как раз пошел в среднюю школу[70]. От него и его коллег они смогли узнать об особенностях социалистического соревнования среди поволжских немцев за наиболее быструю механизированную уборку урожая (комбайнами), которое они использовали для финала кинопроекта. Денинг показал им местную коневодческую ферму и познакомил их с вдовой Зандер, чей муж «в 1931 г. был убит кулацкой контрреволюцией», рассказал им «некоторые конкретные истории из времени коллективизации». А «товарищ Зандер», как оказалось, – «одна из старейших и лучших колхозниц в республике немцев Поволжья, которая сегодня стала контролером качества на коллективных полях»[71]. В образе Клары в рукописи можно узнать детали биографии этой женщины. С другой стороны, Гай вспоминал: «Иные, в особенности пожилые люди, начинали рассказывать бесконечные истории, неизвестно от кого защищаясь, но одновременно и остро споря, хотя так и оставалось неизвестно, с кем. Одна древняя старуха рассказала таинственно, возбужденно, плача и смеясь, вырывая на себе волосы и потрясая кулаком хорошо реконструируемую историю, которая уходила корнями в гражданскую войну. При этом я не знал, лгала ли старуха или

другие, которые ее снова и снова прерывали на непонятном мне диалекте и придавали рассказу новые повороты»[72]. Они посетили табачную фабрику в Марксштадте и школу-интернат для трактористок. От последнего визита в рукописи сохранилась только небольшая иллюстрированная сцена «Жилая комната шести доярок».

Гай весело описывает в воспоминаниях характерную ситуацию встречи с поволжскими немцами: на вопросы Пискатора и Гая о личной жизни девушки отвечали общими фразами и нелепыми газетными заголовками. Как предполагали оба, опрашиваемые чувствовали себя неловко и предпочитали отмолчаться. Все же оба, будучи опытными и наблюдательными режиссерами, смогли и в этих случаях добыть материал, рассказывавший о действительном положении вещей[73], хотя, конечно, не каждая встреча может быть «раскодирована» при помощи рукописи сценария.

Новизна творческого метода Пискатора и Гая, проявившаяся в исследовательской поездке, представляла собой для обоих творческий вызов особого, прежде всего, честолюбивого свойства. Это эмпирическое познание основы перекликалось с сущностной характеристикой советского понимания заказа в искусстве. Конечно, в подходе Пискатора и Гая уже была заложена тенденция, которая предсказывает позднейший кризис проекта. Чем больше они узнавали действительную жизнь поволжских немцев – пусть даже «отредактированную», правду, добываемую только в беседах и через посещение городов и деревень – и пытались приспособить узнанное к своему кинопроекту, тем больше они отдалялись от того, что предполагали пропагандистские интенции начальной кампании. Их «открытие действительности» приводило их все больше и больше «к жизни» и удаляло «от пропаганды» и от агитационных мотивов кампании. В конечном итоге, полнота биографического материала взяла верх над политическим памфлетом. «Контр»-направленность всей акции – а именно, намерение создать противоположность фильму «Страдания фризов», привело к крушению проекта.

## «Страдания фризов» и «Фильм правды» в сравнении

Фильм «Страдания фризов» был снят по одноименной новелле Вернера Кортвиха[74], которая имела в Германии большой резонанс и разошлась большим тиражом: в одном варианте, как с претензией оформленное, рассчитанное на библиофилов издание лейципгского книжного магазина «Инзель-Бюхерай», а в другом – как собственное издание престижной серии «Пояснения к классикам», в которой, в других случаях, издавались исключительно произведения немецкой классики, интерпретированные в строго национал-социалистическом духе[75]. Изменения, внесенные в сценарий фильма, свидетельствовали о явно выраженной концентрации на таких антисоветских тенденциях, которые соответствовали внешнеполитической концепции всей команды создателей национал-социалистического художественного фильма. Оригинальная новелла была в фильме воспроизведена последовательно, подробно и без прикрас. В драматургическом плане фильм следует за структурой новеллы-оригинала: «ужасное происшествие» потрясает безупречное целое и, в конечном итоге, взрывает его – советская власть, явившаяся в облике солдат, узурпирует деревню и разрушает ее живой организм.

Действие начала фильма разворачивается в начале 30-х годов в маленькой, удаленной деревне поволжских немцев, которая не поддерживает сколько-нибудь значительных контактов со своим окружением (государством, страной).

Совместное существование крестьян определяется земледелием и скотоводством и наглядно представлено на уровне отдельно взятых личностей: в фильме показаны классические семьи, состоящие из отца, матери и детей, в которых доминирует глава семьи и все работают на хозяйственном дворе или в коровнике. Сумма семей образует деревню как живой, безупречный, саморегулирующийся и самоснабжающийся организм, который самодостаточен и существует за счет строго патриархальной, долгие годы неизменной иерархии: деревенские старейшины унаследовали их статус от дедов и по положению и личностным качествам – естественные вожди общины и одновременно их духовные главы. Внутреннюю общность закрепляет кровное родство, наследственные отношения и раса. (Художественный прием, когда основным действующим лицом был сделан конкретный немецкий род – а именно исключительно фризы, был последовательно воплощен в фильме).

Тот, кто приходит со стороны, считается чужим, разбойником, который разрушает пронизанную религиозными мотивами гармонию и суровую жизнь (точнее: выживание). Этот аспект мощно акцентируется в экспозиции фильма, значение этого усиливается при помощи киносредств: повседневная жизнь (домашнее хозяйство, уход за животными) и общение жителей деревни наглядно демонстрируют, как хрупка, казалось бы, безупречная самодостаточность деревенского организма. Уравновешенное, спокойное, скорее удобное обращение жителей деревни друг с другом (которое можно наблюдать, благодаря их точной передаче актерами, вплоть до языка тела) и их лаконичные деловые диалоги предлагают картину долго создававшейся, стабильной, понятной каждому общей атмосферы жизни. В эту канву вмонтировано, как полный напряженного действия контраст, внезапное, массивное вмешательство приходящих извне чужаков: советская власть в образе Красной Армии, с военными, самолетами, оружием, полевыми картами. Пропасть между безупречным покоем деревенской повседневности и враждебной суматохой агрессора создает большой эмоциональный взрыв – эффектное начало фильма, которое одновременно закладывает настроение для восприятия дальнейшего действия. Индивидуальность персонажей расцветает в процессе того, как они реагируют на страшное событие.

В непосредственной связи с этим событием развиваются и конфликты. Каждый из затронутых жителей деревни относится к провокациям и унижениям со стороны агрессоров по-разному, и все же их поведение похоже, так как они естественным образом сохраняют свое единство благодаря старинным, стабильным нормам общинной этики и общему прошлому. Акции агрессора и реакция любого крестьянина переносят структуру новеллы в действие фильма. Тем самым, оказывается невозможным любое иное, кроме эпического, развитие персональных линий.

Создатели фильма умело помещают в действие драматургически решенное предзнаменование будущего «ужасного события» – нападения Красной Армии на деревню – и, тем самым, пластично подтверждают особость этой деревенской целостности: когда-то предавший деревню житель возвращается назад к своему народу и пытается ассимилироваться. Но деревня не принимает его, так как он добровольно покинул общество, и он трагически погибает.

Между тем притеснения со стороны «чужих» усиливаются. Унижения крестьян и оскорбления их молельного дома (центрального здания в деревне), личные оскорб-

ления и, наконец, насилие развиваются по законам традиционной драматургии, вплоть до того момента, когда это становится для крестьян невыносимым, и достигают апогея в насильственной, кровавой битве: агрессор уничтожен, выжившие жители деревни покидают ее, чтобы найти где-нибудь другое место и воссоздать там их совместную жизнь, пронизанную столькими страданиями.

Жители деревни – исключительно немцы, в частности фризы, что подчеркивается особыми средствами: имена звучат по-фризски (северогермански). Повседневный язык остается, конечно, разговорным немецким, без использования диалекта. Советские завоеватели, солдаты Красной Армии (в новелле это были казаки), говорят на ломаном немецком. Дикция актеров подчеркивает идиоматику («каркающие» звуки, сильное раскатистое «р»). Такая работа с языком направляет внимание и симпатию зрителей на сторону общины крестьян. Квазинационалистические акценты расставляются при помощи визуальных средств: у немецких крестьян – простые прически и почти старинная одежда, с одним нарочитым исключением: юной блондинкой (которая представлена как трагическая фигура)[76]. Деревенская архитектура – деревянные здания, а также молельный дом как духовный центр общины, указывают на солидное собственное строительство и столетнее использование зданий, также как и мебели. Если агрессор это портит или разрушает, то он уничтожает видимое выражение растущего «осознания своего народа» этой деревенской общины. Резная простота и солидность, подчеркивающая безупречность деревенского «организма» в фильме, удачно показывается благодаря работе света и движению камеры. Контрастное, черно-белое решение фильма и замечательная зернистость эмульсии пленки также вносят свой вклад. С другой стороны, географическая и фольклорная фиксация не имеет драматургических последствий: специфически фризское не порождает никакого импульса для разворачивающегося действия.

Обусловленная драматургически герметичная закрытость деревни исключает внутренние различия политической природы: нет никаких инакомыслящих, никаких бунтовщиков, нарушителей спокойствия, отклоняющихся или даже коммунистов. Альтернатива этой деревенской жизни нигде не просматривается. Избегание всего политического разрешает строгую концентрацию на конфликте между деревней и советскими войсками. Этот конфликт нарочито заостряется и – по всем правилам новеллистской структуры – по нарастающей доводится до экзистенциального конфликта и разрешается при помощи действенного финала. Драматургический лейтмотив дает возможность дальнейшей дифференциации фабулы в пользу деревни (и проблематики немцев Поволжья в национал-социалистическом смысле), а также позволяет обыграть параллельные варианты: богатому своим разнообразием ансамблю персонажей деревенских жителей как гомогенной группе противостоит один человек. Вражеская, разрушительная сила извне персонифицируется в одном единственном персонаже – в комиссаре (в новелле это инспектор), который командует военными, вооруженном посланце советской власти. (Солдаты, сопровождающие этого офицера, образуют «благородных» статистов и воплощают плохие стороны новой власти: мародерствуют, пьянствуют, насилуют, воруют и т. д.). Базовая структура линеарного противопоставления (персонаж положительный – персонаж отрицательный) сводится к наиболее простой драматургической формуле, при этом достаточно ограничивая композицию, но одновременно и бесконечно заостряя ее: «один против многих» или, vice versa, «деревня против зла». В результате это дает киноверсии особые шансы, которые оба актера – Фридрих Кейслер (глава деревенской общины

Юрген Вагнер) и Валерий Инкижинов (комиссар Чернов) – великолепно использовали для демонстрации своего актерского таланта[77].

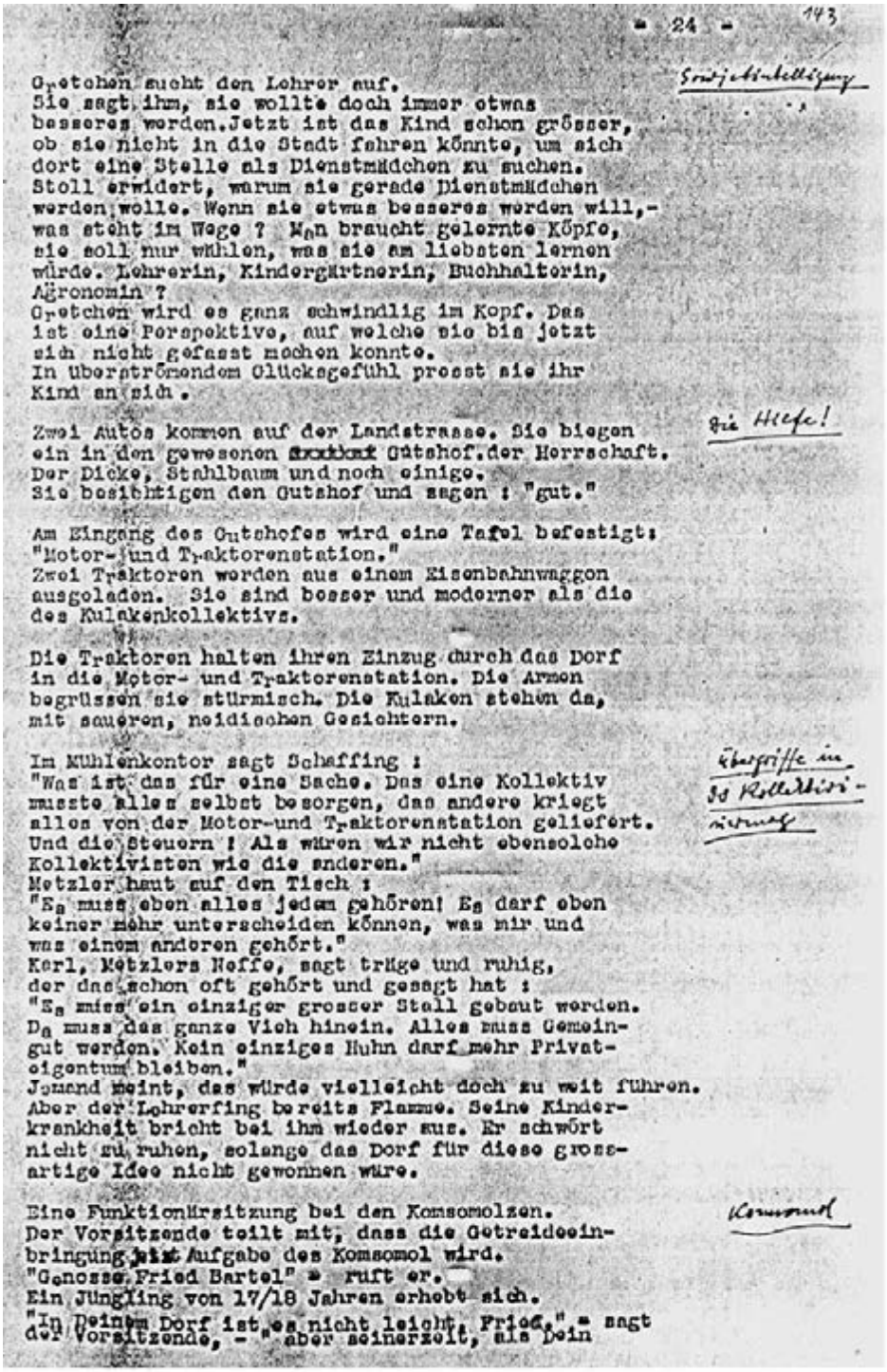
При помощи киносредств интересно решена проблема связи законченных по своей сути групповых акций, которые мимолетом, но весьма выпукло моделируют неповторимость обоих протагонистов и визуально их подчеркивают: таинственно-сумрачные передвижения крестьян и уродливое буйство солдат в деревенском молельном доме. Фильм внушает, что для настоящего немца пробой является его отношение к врагу. (Действительные современные проблемы поволжских немцев – например, коллективизация, отношение к коммунистической партии или партийные чистки – тем самым могли игнорироваться).

Уже упоминавшиеся «Пояснения к классикам» резюмировали – немного витиевато, но точно: «Можно понять, что материал и форма рассказа “Страдания фризов” привлекла создателя фильма, пробудила в нем желание […] сочувствия судьбе родственных по крови фризов»[78].

Кинопроект «Фильм правды» сохранился лишь как рукопись сценария. В ней отсутствует титульный лист, так что состав авторов остается неясным. Историк эмиграции Петер Дицель приписывает рукопись Пискатору и обосновывает это тем, что почерк, которым внесены корректура (по большей части опечаток) и заметки на полях, принадлежит Пискатору[79].

Спустя несколько месяцев после развала проекта и ликвидации предполагавшейся фирмы, которая должна была снимать фильм, Юлиус Гай оценивал проект как импровизацию, очерк, возникший за пять дней, целью которого было служить «базой для творческой дискуссии и заложить основы для фильма»[80]. А еще 35 лет спустя он вспоминал о собственном сценарии – не о сценарии Пискатора, а о сценарии, в который Пискатор вмешался[81]. Если сравнить, с одной стороны, драматургические техники (сценографию, наброски персонажей) и текстовую стилистику (например, достаточно амбициозное, с точки зрения литературной, использование глаголов) театральных пьес Гая и рукопись, а, с другой стороны, театральные тексты Пискатора (например, его постановку «Войны и мира» Толстого или «Швейка» Гашека) с тем же документом, то можно – на мой взгляд, без сомнений, – приписать рукопись Гаю. Этот способ «стилистической экстраполяции» является в высшей степени подходящим, хотя и не может быть окончательным доказательством авторства. Поэтому ниже автор будет рассматриваться как анонимный персонаж.

Для кинопроекта поволжских немцев «Фильм правды» характерен эпический стиль повествования, которое разделено на большие главы[82]. Их нумерация следует за содержательными частями истории, а не является делением по актам фильма. В примечательной связи с этим на рукописи можно найти заметки на полях[83] двух видов: одни – идеологические лозунги тогдашней советской пропаганды («правящие слои и их отношение к национальному вопросу»[84], «радикализм», «детская болезнь»[85] и т. д.), другие – варианты названия глав, такие как «Голод»[86], «Последний урок для учителя»[87] и т. д. Они производят впечатление списка тем, которые должны воплотиться в фильме и совершенно открыто дают далекому от фильма читателю сценария однозначные политические установки или указания. Они не имеют значения для кинопроцесса, как, например, предложения по тексту для вклеек. Такие заметки едва ли отвечают и тогдашним стандартам написания сценариев. Какая-то система в этих заметках или их порядке не просматривается. Тем не менее они могут рассматриваться, по крайней мере, как временные рабочие заметки для дальнейшей



- 24 - 143

Gretchen sucht den Lehrer auf.
Sie sagt ihm, sie wollte doch immer etwas besseres werden. Jetzt ist das Kind schon grösser, ob sie nicht in die Stadt fahren könnte, um sich dort eine Stelle als Dienstmädchen zu suchen.
Stoll erwidert, warum sie gerade Dienstmädchen werden wolle. Wenn sie etwas besseres werden will, - was steht im Wege ? Man braucht gelernte Köpfe, sie soll nur wählen, was sie am liebsten lernen würde. Lehrerin, Kindergärtnerin, Buchhalterin, Agronomin ?
Gretchen wird es ganz schwindlig im Kopf. Das ist eine Perspektive, auf welche sie bis jetzt sich nicht gefasst machen konnte.
In überströmendem Glücksgefühl presst sie ihr Kind an sich.

Zwei Autos kommen auf der Landstrasse. Sie biegen ein in den gewesenen ~~Gutshof~~ Gutshof der Herrschaft.
Der Dicke, Stahlbaum und noch einige.
Sie besichtigen den Gutshof und sagen : "gut."

Am Eingang des Gutshofes wird eine Tafel befestigt:
"Motor- und Traktorenstation."
Zwei Traktoren werden aus einem Eisenbahnwaggon ausgeladen. Sie sind besser und moderner als die des Kulakenkollektivs.

Die Traktoren halten ihren Einzug durch das Dorf in die Motor- und Traktorenstation. Die Armen begrüssen sie stürmisch. Die Kulaken stehen da, mit sauren, neidischen Gesichtern.

Im Mühlenkontor sagt Schaffing :
"Was ist das für eine Sache. Das eine Kollektiv musste alles selbst besorgen, das andere kriegt alles von der Motor-und Traktorenstation geliefert. Und die Steuern ! Als wären wir nicht ebensolche Kollektivisten wie die anderen."
Metzler haut auf den Tisch :
"Es muss eben alles jedem gehören! Es darf eben keiner mehr unterscheiden können, was mir und was einem anderen gehört."
Karl, Metzlers Neffe, sagt trüge und ruhig, der das schon oft gehört und gesagt hat :
"Es muss ein einziger grosser Stall gebaut werden. Da muss das ganze Vieh hinein. Alles muss Gemeingut werden. Kein einziges Huhn darf mehr Privateigentum bleiben."
Jemand meint, das würde vielleicht doch zu weit führen. Aber der Lehrerfing bereits Flamme. Seine Kinderkrankheit bricht bei ihm wieder aus. Er schwört nicht zu ruhen, solange das Dorf für diese grossartige Idee nicht gewonnen wäre.

Eine Funktionärsitzung bei den Komsomolzen.
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Getreideeinbringung ~~jetzt~~ Aufgabe des Komsomol wird.
"Genosse Fried Bartel" - ruft er.
Ein Jüngling von 17/18 Jahren erhebt sich.
"In Deinem Dorf ist es nicht leicht, Fried," - sagt der Vorsitzende, - "aber seinerzeit, als Dein

*Фрагмент рукописи сценария с собственноручными пометками Пискатора. Хранится в фонде Артура Пика*

переработки сценария. Характеры персонажей развиваются последовательно на протяжении длительного периода, исключительно в результате их индивидуальной конфронтации с социальными противоречиями и с изменениями их социального окружения (государством, в центре которого расположена их страна): отношения собственности, война, законы, налоги. Диалогическая композиция отличает каждую сцену: ответ на вопрос «кто против кого или против чего? И почему?». Психологические особенности персонажей объясняются их социальными связями и линеарной коммуникацией с соседом. Так, действие фильма рисует процесс социализации поволжских немцев через их советизацию, которая тогда понималась как революционное изменение. Симптоматичным для этого иллюстративного характера является персонаж «старого киргиза», который проходит через весь фильм: он постоянно выступает на стороне эксплуатируемых, незаметно и как бы естественно он всегда присутствует и всегда виден в кадре, когда действующими лицами являются бедные. Он одновременно неграмотный, без собственной биографии и семьи, проходит и сопровождает размашистую кривую развития и в конце фильма получает специальность шофера (для тех условий – весьма высокую квалификацию). Тем самым, он создает своего рода этническую контрастную фигуру и является персональным комментатором событий.

Таким же образом решен и персонаж «толстого капрала»: из мятежного солдата-фронтовика царской армии в период Первой мировой войны он, благодаря Октябрьской революции 1917 года, превращается в советского функционера высокого ранга, который из столицы может помогать своим бывшим фронтовым товарищам и новоявленным коммунистам в республике немцев Поволжья. Стабилизация власти Советов, в результате, приводила к постепенной ассимиляции поволжских немцев: они превращались, в соответствии с рукописью, в «нормальных» советских граждан, которые, в определенном смысле, лишь случайно говорят по-немецки.

Языковая проблема решается в рукописи строго в соответствии с намерениями проекта «Фильм правды»: все персонажи говорят друг с другом по-немецки, а точнее, на литературном немецком, грамматически нормально и без каких-либо примесей идеоматических выражений, то же касается и русских, а точнее, говорящих по-русски функционеров извне. Этот прием подчеркивал ценность немецкого языка как способа общения, равноправного с другими языками на территории Советского Союза, что было инициировано еще пионером проекта Адольфом Денингом на встрече со Сталиным[88].

Немецкий, как повседневный язык общения, тематизируется в рукописи многократно и – при тогдашнем понимании истории его авторами, а также официальной доктриной – историзируется. Еще до Октябрьской революции и до образования автономной республики поволжских немцев двуязычие было спорной проблемой. Один выступающий дискриминировал язык другого: «[учитель] Штолль подчеркивает свою немецкую национальность, [торговец] Шаффинг и его семья горды своим русским, слова из которого они постоянно вставляют в свою немецкую речь» [89]. Два солдата-поволжских немца (периода Первой мировой войны) не знают русского. Переводчик… русский, который говорит на ломаном немецком, помогает вести разговор»[90]. И: русский лейтенант царской армии ругается, когда оба солдата хотят послать домой почтовые открытки, написанные по-немецки, «хотя все думают, что в русской армии можно писать письма на всей сотне языков»[91]. И, наконец: служанка «работает только в кухне, так как она недостаточно хорошо знает русский, чтобы ее

можно было допустить в жилые комнаты»[92]. Вследствие советизации республики немцев Поволжья, когда национальный вопрос официально был «разрешен», язык больше не представлял собой проблемы – так подразумевается в рукописи: отныне говорили только по-немецки.

Во время своего исследовательского путешествия в 1936 г. Гай и Пискатор, конечно, заметили, что немецкий разговорный язык в республике немцев Поволжья был пронизан многочисленными диалектами и устаревшими выражениями настолько, что иногда становился трудным для понимания. В интересах их дела и с прицелом на новую художественную форму – звуковой фильм – они решили использовать в фильме только строго литературный немецкий, поэтому в рукописи не найдешь разговорных оборотов речи. Только один раз немецкий язык оказывается дискриминированным и крайне политизированным: в одном из крестьянских домов, принадлежавшем поволжскому немцу, по радио слышны речи национал-социалистических политиков шовинистического содержания: «Кровожадная речь из Германии»[93], сообщает комментарий, и через небольшой промежуток: «Немецкое радио все болтает. Штолль говорит людям поблизости: “Ах, выключите же, наконец, этот глупый аппарат!”»[94].

Предложения по поводу обращения с языками, просматривающиеся в рукописи, противоречат сами себе, незаметно для авторов, в изображении фигуры старого киргиза: в соответствии с логикой фабулы он должен был, собственно, говорить на киргизском или ломаном немецком или ломаном русском, но он говорит бегло по-немецки (лишь изредка он выражает себя при помощи жестов или мимики). Затем он учится читать и писать на немецком и лишь в конце фильма использует собственный язык – киргизский. При помощи этого поворота идея доминирования одного языка за счет киносредств ставится под вопрос и разрушается. И здесь неразрешенным остается вопрос, насколько при сценической реализации проекта актеры смогли бы модифицировать текстуальное обращение с языком.

Сюжет фильма структурирован при помощи деления на отдельные, следующие друг за другом эпизоды, в которых принимают участие все основные персонажи: один эпизод является суммой предыдущих. Вместо одного центрального конфликта традиционного образца на различных этапах развития сюжета представлен ряд небольших определенных конфликтов, так сказать, один мини-конфликт в эпизоде, который каждый раз является «только» результатом противоречия между исторически «верным» развитием и индивидуальной позицией.

Эта структура «отдельных шагов» и эпический характер всего действия пробуждают впечатление равномерности событий, одного медленного потока рассказа, который иногда ассоциируется с иллюстративным рядом. Отказ от принципа центрального конфликта только способствует этому впечатлению, к которому все же необходимо отнестись с осторожностью, учитывая рабочий и промежуточный характер рукописи сценария. Превращение сценария в фильм могло именно здесь при помощи киносредств – например, за счет различного темпа отдельных сцен или при помощи своего рода техники стаккато при монтаже – привнести различные нюансы. Одновременно сценарий предполагает временные «прыжки», которые, кроме того, доказывают относительность кинодейства: в одной из сцен принимается решение о строительстве более вместительного хлева, в следующей здание уже готово.

Некоторые из персонажей – коммунисты, или становятся членами партии на протяжении фильма. В конце фильма все жители или становятся сознательными совет-

скими гражданами, или исчезают из сценария (а значит, и из жизни). Логика действия и интенции фильма стремятся к внедрению идеи конформизма по отношению к системе. В результате оказалось возможным полностью избежать показа таких проблем как партийные чистки и другие актуальные внутрисоветские проблемы, касавшиеся в том числе и республики немцев Поволжья.

В прямой зависимости от стиля основные персонажи сценария нарисованы в соответствии с социологической схемой. Каждый персонаж представляет определенную социальную силу или слой. Социальное разделение в месте, где происходит действие, также выводится из взаимоотношений собственности и передается прямолинейно, так что только классовые отношения демонстрируют основу развития и, тем самым, фильм.

С этой схемой ассоциируются и многозначительные имена главных персонажей (то есть, роли): наиболее решительного коммуниста зовут Штальбаум, простого крестьянина – Бартель, мелкого буржуа – Метцлер, купца – Шаффинг. Другим выражением схематизации является анонимность некоторых персонажей: старый киргиз, священник. Священник, правда, показан как служитель евангелической церкви, но его религия не имеет никакого значения для профиля фигуры или действия[95]. Обобщение при помощи действующего лица, отвечавшее советскому пониманию общества и классов, было также подчеркнуто генеалогически: социальную эстафету «наследуют» от истинных, классовых, революционных «дел» своих родителей сын такого-то или дочь такого-то и продолжают это дело и убеждения. (Здесь фатальным образом также тематизируется примитивное понимание принципов наследования в социал-дарвинистком смысле).

По ходу развития сюжета авторы отмечают весьма существенные, формирующие фильм компоненты. Новое киносредство – звук – они воплощают в форме звуков (звон колоколов, треск пулеметов) и музыки (свадебный вальс, песня о родине[96]). Другая музыка в фильме, например, фоновая и создающая настроение, не была замечена. Авторы предлагали сопроводить фильм «говорящей» символикой, которая бы возникала в кадре наряду со звуком. Знаки, гербы и надписи на зданиях меняются как сигналы изменений времени и ценностей в жизни общества: усадьба имения превращается в машинно-тракторную станцию (МТС), церковь – в дом культуры. Съемки с близкого расстояния превращают реквизит в предметы драматургического значения: инструменты, такие как перочинный нож и ключи от сарая, предметы повседневности, такие как тесто и хлеб. Движения камеры, длинные эпизоды панорамирования и съемки общим планом были предусмотрены для появления и исчезновения персонажей, для свободной природы, пейзажей и полей. Эти предложения, отмеченные в сценарии и характеризующие язык фильма, были сделаны в соответствии с тогдашним профессиональным стандартом написания сценариев и должны пониматься как прямые требования, предъявляемые для практической реализации в сценографии фильма.

(Движения камеры должны были, понятным образом, остаться без указания скорости). Смену внутреннего/внешнего взгляда на место действия как драматургический момент ритмизации невозможно реконструировать на основе рукописи сценария. Одновременно авторы предлагали правила монтажа и нарезки: много раз два больших, параллельно протекавших события (сцены) были разделены и их отдельные фрагменты так вмонтированы друг в друга, что проявлялись взаимные отношения, ассоциации, а также контрасты. В смешении с темпом тех самых сцен можно

обнаружить уже на стадии сценария основную динамику всего комплекса сцен: веселая свадьба на природе против контрреволюционного восстания, поход Клары через покрытую льдом Волгу против рождения теленка, сильный пожар в хлеву против смерти Метцлера от удушья («вражеской смерти»). И, наконец, сценарий перенимает декорации и метафоры тогдашнего образного языка советских игровых фильмов: ледоход и плывущие льдины на огромной реке (конечно, на Волге), конные атаки. Прочая специфика фильма не указана: длительность сцен, особенности работы со светом, смена кадров, а также неподвижные точки, которые поддерживают динамизацию. Конечно: так как сценарий не был реализован, невозможно проверить, насколько подходящими были эти словесные предложения.

Сравнение национал-социалистического фильма «Страданий фризов» и проекта поволжских немцев «Фильм правды» показывает: оба фильма имеют дело с одинаковым по содержанию базовым материалом и, как следствие, с одинаковым набором персонажей: население и внутренняя структура деревни поволжских немцев. Элементы фильмов вполне поддаются сравнению, оба фильма применяют понятные декорации и типажи из арсенала кинодраматургии и киноязыка, который в середине 30-х гг. практиковался в Европе: введение конфликта, конструкции персонаж-контрперсонаж, аксессуары любовных историй, экшн, семейные и поколенческие топосы.

Политическая конфигурация советской кампании в республике немцев Поволжья вокруг кинопроекта породила возвратный тип взаимоотношений с фильмом-противоположностью в плане фабулы, показа характеров и кинопредложениях. Взаимосвязаны и стилистические особенности жанра: новеллистический или эпический способ изложения. Язык применялся по тогдашним правилам создания звуковых фильмов и вне зависимости от реальной ситуации.

## В конце: бессилие фактов – всесилие политики

Рукопись сценария не отражала пропагандистских намерений, которые стали ясны во второй половине кампании вокруг кинопроекта: требовавшаяся решительная защита Красной Армии отсутствовала. Также сценарий не содержал никаких «зачатков» фабулы, которые могли бы быть развиты впоследствии в нужном направлении. Отсюда кризис проекта стал неизбежным.

Пискатор использовал хаотичную и подверженную постоянным сменам персонала работу авторов, а также неясные договорные отношения с кинопроизводственной фирмой как повод для того, чтобы, выходя за рамки своей компетенции, организовать дискуссию по поводу проекта в инстанции, ответственной за него (а, по его мнению, и за проект), а именно – в немецкой секции советского Союза писателей[97]. Секция выразила готовность заняться делом и «изучить претензии к предыдущему либретто[98], чтобы избежать позднее тех же ошибок»[99], а также обсудить рукопись и обстоятельства заключения контракта[100].

И все же этому обсуждению помешало другое событие: четыре недели спустя, 6 июня 1936 г. была ликвидирована фирма «Межрабпом-фильм», буквально за ночь, все планы эмигрантов по созданию фильма потерпели крушение[101], и лишь немногие фильмы, съемки которых были перенесены на следующий год, были завершены.

*Следы существования «Межрабпом-фильма» в Москве (на 2001 г.). Слева – бывшее звуковое ателье в Лиховском переулке, перестроенное из бывшей церкви. После ликвидации «Межрабпом-фильма» здесь долгое время размещалась советская студия документального кино. Справа – бывшее ателье немых фильмов, одно из первых советских зданий из железобетона, ул. Тверская-Ямская, 1*

Тем самым, центральный советский Исполнительный комитет избавился от неудобной и громоздкой кинопроизводственной фирмы (и ее планов!), которая долгое время сопротивлялась попыткам централизации со стороны московских плановых органов. Руководитель Главного управления кинофикации, человек, фактически уничтоживший «Межрабпом-фильм», – Борис Шумяцкий – действовал в этом случае согласно со Сталиным[102]. Тем же решением был окончательно аннулирован кинопроект поволжских немцев. На следующий год – в 1937-м – с большой пропагандистской шумихой была провозглашена конституция республики немцев Поволжья, которая предполагала бессрочное право на землю. Юлиус Гай был единственным из команды сценаристов, кто высказался по этому поводу с энтузиазмом и в общих словах. Кинопроект так и не был никогда осуществлен… А вместе с ним канула в лету и кампания полемики по поводу национал-социалистического фильма и вспомогательной акцией «Братья в нужде».

Незаметно победила сталинизация. Предвестники большого террора довершили дело.

*Перевод с немецкого Ольги Никоновой*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Bucharzew Dm.* Ein antisowjetischer Lugenfilm, Gemeine Schmahungen auf der Filmleinwand des Dritten Reiches// Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ). 28. November, 1935; перевод был опубликован в «Известиях» 26 ноября 1935 г.

[2] Дела и дни коричневой кинематографии // Искусство кино. 1936. № 12. Цитируется по: Die ungewohnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolschewiki. Hrsg. von Oksana Bulgakowa. – Berlin 1995. S. 75.

[3] Автономная Советская Социалистическая республика немцев Поволжья (АССР НП), далее – республика немцев Поволжья.

[4] Так, руководитель Главного управления советской кино- и фотопромышленности (ГУКФ) Борис Шумяцкий многократно и горячо выступал против национал-социалистической «киностратегии», но ни разу не упомянул запланированную «контр-атаку» при помощи фильма. См.: *Шумяцкий Б.* Кинематография миллионов. – М., 1936. С. 325. *Он же.* Доклад и заключительное слово на 7-й Всесоюзной производственно-тематической конференции, проходившей с 13 по 15 декабря 1935 г. Опубликовано в: Советская кинематография – сегодня и завтра. Москва, 1936.

[5] Все пятеро получили Ордена Ленина. О Денинге см.: Немцы России. Энциклопедия. Т. 1 (А-И). – М., 1999. С. 690.

[6] Еще никогда события в республике немцев Поволжья, ее люди и достижения не преподносились всей советской стране с такой помпой и не воспринимались со столь положительными откликами.

[7] Проект советского фильма, посвященного той же теме, под названием «Человек нашел свою родину» (Ein Mensch fand seine Heimat) был представлен общественности летом 1935 г. Чтение сценария состоялось в г. Энгельс и было встречено бурными аплодисментами. Автор сценария Солоницкий показал, как сообщала DZZ 21 июня 1935 г., «борьбу поволжско-немецких коллективистов за благополучную жизнь, их большую любовь к великому социалистическому Отечеству, их преданность коммунистической партии». Предполагалось, что режиссером фильма станет украинец Марк Донской, а съемки начнутся летом. Однако идея не была реализована. Какой-либо связи с проектом «Фильм правды» не прослеживается.

[8] См. DZZ от 12 января 1935 г. Сталин собственноручно правил черновик этого выступления, усилив при этом именно пропагандистские акценты, а эстетические отодвинув на второй план. См.: Eberhard Nembach: Stalins Filmpolitik. Der Umbau der sowjetischen Filmindustrie 1929 bis 1938. – Sankt Augustin 2001. S. 84ff.

[9] An das Zentral-Komitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki), Gen. J.W. Stalin. См.: DZZ. 1935. 12. Januar.

[10] Цитируется по статье «Ein Film der Wahrheit», подписанной 35 немецкими деятелями искусства. См.: DZZ.1935. 10. Dezember.

[11] «Межрабпомфильм» – учрежденное в 1924 г. акционерное общество по производству и прокату фильмов. Фирма получила свое название благодаря вхождению в организацию «Международная рабочая помощь» (IAH) – сокращенно Межрабпом.

[12] Цитируется по: Ein Film der Wahrheit. См.: DZZ. 17. Dezember, 1935.

[13] Там же.

[14] См.: DZZ. 21. Dezember, 1935.

[15] Цитируется по: Die Wolgadeutsche Republik berichtet [dem Zentralen Exekutiv-Komitee ZEK der UdSSR]. См.: DZZ. 17. Dezember, 1935.

[16] См.: Gegen die faschistischen Verleumder// DZZ. 2. Dezember, 1935.

[17] J. Lengyel: Der Film der Wahrheit. См.: DZZ. 4. Januar, 1936.

[18] Так называлась статья Р. Госсмана в DZZ от 17 января 1936 г.

[19] Это проявилось в массированной милитаризации словаря; см., например, приветственный адрес немцев Поволжья Ворошилову к 18-му юбилею Красной Армии в DZZ от 23 февраля 1936 г.

[20] Главный редактор DZZ и активная сторонница проекта Юлия Анненкова жаловалась на затяжку с созданием фильма о поволжской республике, см.: Julia Annenkowa: Forderungen, die befriedigt werden mussen// DZZ.16. – Maerz, 1936.

[21] Машинописная копия находится в фонде Артура Пика (Arthur Pieck); Bundesarchiv Berlin/SAPMO, NY 4130.

[22] Erich Weinert, Ernst Ottwalt, Alexander Barta, Deutsche am Dnjepr. См.: DZZ. 24. Dezember, 1935.

[23] См.: DZZ. 3. Maerz, 1936.

[24] См.: DZZ. 16, 18. Maerz, 1936.

[25] См.: Ein Rot Front aus Engels. Опубл. в DZZ 5 марта 1936 г. Телеграмму подписали Вельш и Люфт (Luft), заменивший Фрешера. Фрешер, между тем был направлен на работу в партийную организацию Саратова. Эта замена стала решительным толчком к чисткам партийной верхушки в республике немцев Поволжья. См.: Christoph Gassenschmidt: Von derRevolution und der Partei getauscht. Die Autonome Sozialistische Republik der Wolgadeutschen 1924–1941. – Bonn 1999. S. 43ff.

[26] См.: Rudolf Luther: Blau oder Braun? Der Volksbund fur das Deutschtum im Ausland (VDA) im NS-Staat 1933– 937. – Neumunster 1999.

[27] Klaus Kreimeier: Die Ufa-Story, Geschichte eines Filmkonzerns. – Muenchen und Wien 1992. S. 324.

[28] В соответствии с решением военного ведомства союзников, эти фильмы были запрещены к показу в Германии. См.: Alfred Bauer: Deutscher Spielfilm-Almanach 1929–1950. – Muenchen 1976. S. 186, 232, 284.

[29] Режиссер фильма Вилли (Вильгельм) Краузе (Krause) (премьера его состоялась 19 ноября 1935 г. в Берлине) был известен под псевдонимом Петер Хаген (Peter Hagen) и являлся одним из высших функционеров национал-социалистического режима: редактор партийного органа национал-социалистов «Ангрифф» («Angriff»), с 1934 г. – кинодраматург, чье значение министерство Геббельса по народному просвещению и пропаганде при пояснении размеров жалованья Краузе и непосредственно перед началом съемок «Страданий фризов» обосновывает так: «Культурное значение фильма и его постоянно растущее цитирование в средствах пропаганды, обучения и воспитания в духе национал-социалистического мировоззрения и понимания государства делают задачи, поставленные перед кинодраматургом рейха, в художественном и политическом смысле особенно многосторонними и ответственными». Цит. по: Bundesarchiv Berlin, ehemals bdc, RKK, Personalakte Krause. После фильма «Страдания фризов» Хаген/ Краузе снял еще художественные фильмы «Часовой» («Nachtwache», 1936 г.) и «Баллада» («Ballade», 1938 г.); К тому же, он был задействован как соавтор в художественных фильмах «Танец на вулкане» («Tanz auf dem Vulkan», 1938 г.) и «Родственники тоже люди» («Verwandte sind auch Menschen», 1939 г.). Гестапо заверяло его, что он – один из самых «энергичных членов НСДАП». Цит. по: Bundesarchiv Berlin, ehemals bdc, Personalakte Krause.

[30] Характерное для современников описание фабулы фильма, с точки зрения национал-социалистов, можно найти в книге Йозефа Вульфа. См.: *Joseph Wulf.* Theater und Film im Dritten Reich. – Frankfurt a. M., Berlin, Wien 1983. S. 375f. На упомянутых страницах книги находятся многочисленные отклики зрителей, свидетельствующие об инструментализации фильма национал-социалистической пропагандой. Ульрих фон дер Остен исследует фильм на предмет содержания в нем основных компонентов национал-социалистической идеологии. См.: Ulrich von der Osten: Fuhrerwille, Rassenreinheit, Lebensraum. Опубликовано в: Ulrich von der Osten: NS-Filme im Kontext sehen! «Staatspolitisch besonders wertvolle Filme» der Jahre 1934–1938 (= Diskurs Film: Bibliothek, Bd. 13). – Muenchen 1998. S. 27, 123ff., 224ff. Вульф и фон дер Остен не выявляют никакой связи с проектом фильма немцев Поволжья.

[31] Национал-социалистическая инструментализация фильма была рассчитана на длительный период. Он был охарактеризован как «государственно-политически и художественно особенно ценный». К тому же, прокатом фильма занимались не только прокатные фирмы, как это обычно бывало, но и отдел имперской пропаганды НСДАП. Многочисленные случаи изменения названия фильма при показах более позднего времени говорят сами за себя: так, его называли также «Деревня в красном урагане» («Dorf im roten Sturm») и «Рвущие на части волки» («Reißende Wolfe»). Когда после начала войны фильм вновь был запущен в прокат и его показывали в кинотеатрах Германии, а также территорий, оккупированных вермахтом, министерство имперской безопасности «предлагало» всем своим ведомствам «в рамках отчетов о показах фильма» сообщать о том, как публика принимает фильм, который «за несколько лет до этого показывался и сейчас вновь поступил в прокат в больших количествах» для демонстрации «по-возможности» вместе с военным обозрением. Цит. по: Bundesarchiv (Barch) Berlin R 58/990, Bl. 134.

[32] [Anonym:] Ein wegweisender Film. См.: Der Film, 23. November 1935.

[33] [Anonym:] Ein Anfang, der verpflichtet. См.: Das schwarze Korps, 26. November 1935.

[34] Тем самым, обсуждение концепции, начатое в декабре 1935 г. в Москве, было окончательно закреплено.

[35] См.: Hermann Haarmann/Lothar Schirmer/Dagmar Walach: Das «Engels«-Projekt. Ein antifaschistisches Theater deutscher Emigranten in der UdSSR (1936–1941). – Worms 1975. См. Также в этом издании: Peter Diezel: Deutsches Staatstheater Engels – Erwin Piscator, Maxim Vallentin und die Verleumdung der deutschen Emigranten als «bourgeoise Nationalisten«; S. 987–1020.

[36] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 27 и др.

[37] Там же. Л. 37–40.

[38] Там же. Л. 27.

[39] Там же. Л. 27 и др.

[40] Осенью 1933 г. Главный репертуарный комитет – государственная инстанция, занимавшаяся вопросами дистрибуции фильмов за счет определения количества копий, провел чистку архивов. Под нее попал и Межрабпом-фильм. Вследствие этой чистки, копии многих фильмов были уничтожены, среди них были и сюжеты еженедельников и фильмы на темы из жизни немцев Поволжья, которые были сняты до осени 1933 г. См. об этом: *Янгиров М.* Неигровое кино Межрабпом-Русь, Межрабпом-фильм // Киноведческие записки. 1997. № 33. С. 54 и др. В документальном фильме «Гелобтес Ланд, гехастес Ланд» («Благословенная страна, ненавидимая страна») Йохена Трауптмана (Trauptmann) (канал «Арте», 2002) показываются фрагменты некоторых жанровых сцен из жизни немцев Поволжья, которые, очевидно, были найдены в московских архивах и относятся к советским еженедельникам конца 20-х гг.

[41] РГАСПИ. См. прим. 36.

[42] См.: Gassenschmidt. S. 132 (как в прим. 25).

[43] См.: Jean-Francois Bourret: Les Allemands de la Volga. Histoire culturelle d'une minorite, 1763–1941. – Lyon 1986. S. 452.

[44] См.: Gassenschmidt. S. 132 (как в прим. 25).

[45] Большая советская энциклопедия. – М., 1939.

[46] См.: *Герман Аркадий.* Немецкая автономия на Волге 1918–1941. В 2-х тт. – Саратов, 1992–1994. Здесь: том 2 (Автономная республика). С. 216 и 258.

[47] Кинофикация – советский terminus technicus того периода.

[48] См.: Bourret. S. 452 (прим. 43).

[49] Гуго Хупперт (Hugo Huppert), который периодически наблюдал это развитие из Москвы, жаловался в апреле 1935 г., что 25 таких передвижных кинотеатров не функционируют из-за отсутствия динамомашин или плохо обученного персонала. См.: DZZ от 6 апреля 1935 г.

[50] Об истории Межрабпом-фильма см.: Oksana Bulgakowa: Der Fall Meshrabpom. In: Die ungewohnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse (прим. 2). S. 185ff.; Wolfgang Muhl-Benninghaus: Deutsch-russische Filmbeziehungen in der Weimarer Republik// Positionen deutscher Filmgeschichte. 100 Jahre Kinematographie: Strukturen, Diskurse, Kontexte (= Diskurs Film, 8). Hrsg. von Michael Schaudig. Munchen 1996. S. 91ff.; *Оксана Булгакова*. Пролетарская киноутопия на Масловке или экспорт «Руси» в Берлин // Киноведческие записки. 1997. № 3.

[51] В отличие от DZZ, малотиражка Межрабпом-фильма «Красный фильм» (Rot-Film) не публиковала никаких известий о ходе работы.

[52] См. художественные фильмы «Последний табор» (1936, режиссеры Моисей Гольдблатт и Евгений Шнайдер) о социализации цыганского рода на Украине и «Искатели счастья» (режиссер Владимир Корш-Саблин) о судьбах евреев в Биробиджане, столице автономной еврейской области.

[53] См.: Haarmann и др. (прим. 35). Петер Дицель (Peter Diezel) включил проект в общую антифашистскую работу, проводившихся в театрах немецкими эмигрантами в Советском Союзе и, тем самым, получил новые исследовательские результаты. См.: Peter Diezel (Hrsg.): «hier brauchen sie uns nicht«. Maxim Vallentin und das deutschsprachige Exiltheater in der Sowjetunion 1935–1937. – Berlin 2000, а также Gassenschmidt (прим. 25). О театральной работе в СССР с точки зрения актера см.: Erwin Geschonneck: Meine unruhigen Jahre. Hrsg. und mit einem Nachwort von Gunter Agde. – Berlin (Ost) 1984.

[54] Взгляд на планы Пискатора по съемкам фильма со стороны поволжского немца (из саратовских архивных дел) описывает Е.М. Ерина. См.: *Ерина Е.М.* Очерки истории культуры Немецкой автономии на Волге. – Саратов, 1995. С. 48,52.

[55] Претензии не были несправедливыми. См. письмо директора Межрабпом-фильма Самсонова от 28 августа 1935 г. Димитрову (Коминтерн), озаглавленное «Докладная записка о работе в Межрабпом-фильме режиссера Пискатора». См.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 1075. Л. 10 и др.

[56] Шаррер даже после своего окончательного ухода считал проект «чрезвычайно важным»; см.: Adam Scharrer: Brief an Lajos Barta vom 12. Marz 1936// Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 631. Оп. 12. Д. 182. Л. 26.

[57] Среди 35-ти, подписавших призывы к началу проекта, были 11 актеров, 8 из которых обладали опытом работы в кино.

[58] Именно так убеждал Пискатор принять участие в проекте среди прочих Вольфганга Лангхоффа (Wolfgang Langhoff), Леонарда Штекеля (Leonhard Steckel) и его жену Йо Михали (Jo Mihaly) в Цюрихе.

[59] Письма к Лотте Ливен-Штифель, здесь см. № 255 от 24 декабря 1935 г. См.: Nachla. Alexander Granach, Stiftung Archiv der Akademie der Kunste Berlin.

[60] *Hay Julius*. Geboren 1900. Erinnerungen. – Reinbek, 1971.

[61] Так Гай вспоминает о товарище Ольберге, так как ему понравилось это имя, как о народном комиссаре сельского хозяйства. См.: Hay (ebd.). S. 198. Тем не менее функционера с таким именем не было. В действительности существовал Кристиан Ольберг (Christian Olberg) – руководитель немецкого государственного издательства в г. Энгельс.

[62] Гай в своей автобиографии замечательно описал этот процесс, от рождения идеи до готовой пьесы, на примере собственных театральных постановок.

[63] Сценарий он написал совместно с известным московским киносценаристом Георгием Гребнером, одним из ведущих сценаристов Межрабпом-фильма, который также был автором сценариев для «Саламандры» («Salamander«, 1928 г., совместно с Анатолием Луначарским, режиссер Григорий Рошаль, немецко-советское производство) и «Гибель сенсаций» («Untergang der Sensationen», 1935 г., режиссер Александр Андриевский). Об изменениях, внесенных в решение отдельных персонажей фильма «Восстание рыбаков» см.: Simone Schofer: Zwei Aufstände – Niederlage und Sieg, Die Erzählung und der Film // Filme fur die Volksfront. Erwin Piscator, Gustav von Wangenheim, Friedrich Wolf Antifaschistische Filmemacher im sowjetischen Exil. Hrsg. von Rainhard May und Hendrick Jackson. – Berlin 2001. S. 112ff.

[64] Hay (прим.60). S. 198.

[65]Film der Wahrheit, Drehbuch-Brigade in der Wolgarepublik. См.: DZZ,12. Januar 1936.

[66]Hay (прим.60). S. 198.

[67] Там же.

[68] Там же.

[69] Автор из поволжских немцев Андреас Закс (Andreas Sacks) и эмигрировавший немецкий журналист и функционер Карл Вайхер (Karl Weicher), вдохновленные встречей с бригадой сценаристов, написали «Праздничную пьесу государственного театра республики немцев Поволжья к 15-летнему юбилею немецкой поволжской автономии» под заголовком «Франц Крафт, 8 картин из жизни и борьбы поволжских немцев». Пьеса перекликается своеобразно с интенциями кинопроекта и полемизирует с национал-социалистическим фильмом «Страдания фризов»: «Мы не позволим фашистам оболгать нашу республику немцев Поволжья», – значится в тексте. Цитируется по: Meir Buchsweiler/Annelore Engel-Brauschmidt/Clemens Heithus: Bibliographie der sowjetdeutschen Literatur von den Anfängen bis 1941. Ein Verzeichnis der in Buchform erschienenen sowjetdeutschen Publikationen. – Koln, Wien 1990. S. 7.

[70] См.: Combineführer erhalten Mittelschulbildung // DZZ, 22. Dezember 1935.

[71]Film der Wahrheit, Drehbuch-Brigade in der Wolgarepublik (прим.65).

[72]Hay (прим.60). S. 198.

[73] Там же. S. 199.

[74] Werner Kortwich: Friesennot. – Leipzig 1933. Произведение появилось также как походное издание изд-ва «Инзельферлаг» и в последний раз было опубликовано в Германии в 1952 г. Кортвих работал также над фильмом как ассистент режиссера.

[75] Albert Meerkatz: Erläuterungen zu Werner Kortwichs «Friesennot». – Leipzig 1940.

[76] Этот образ воплотила жена режиссера Джесси Вирог.

[77] Валерий Инкижинов сыграл главную роль в классическом произведении советского революционного киноискусства – в фильме Пудовкина «Sturm uber Asien» («Потомок Чингис-хана», 1928) – и приобрел в Германии широкую популярность. Инкижинов еще до 1933 г. эмигрировал в Германию, поддержал национал-социалистический режим, а позднее уехал во Францию. После

1945 г. он также играл роли в западногерманских игровых фильмах, в том числе «Врач Сталинграда» («Der Arzt von Stalingrad», 1958, режиссер Геза Радваный (Geza Radvanyi)), при этом очень часто делалась ставка лишь на внешние данные актера и в меньшей степени уделялось внимание его актерским данным: высокий, сильный, наголо выбритый, монгольские черты лица, акцент. В критических статьях по поводу «Страданий фризов», опубликованных в журнале «Искусство кино» в 1936 г., он был назван ренегатом. См.: Die ungewohnlichen Abenteuer des Doktor Mabuse (прим. 2). S. 75.

[78] Meerkatz (см. прим. 75). S. 60.

[79] Peter Diezel: Exiltheater in der Sowjetunion 1932–1937. – Berlin (Ost) 1978. S. 193ff.

[80] См.: *Georg Lukacs/Johannes R.* Becher/Friedrich Wolf: Die Sauberung. Moskau 1936: Stenogramm einer geschlossenen Parteiversammlung. Hrsg. von Reinhard Muller. – Reinbek 1991. S. 449.

[81] См.: Hay (см. прим. 60). S. 194ff., 206ff.

[82] Петер Дицель предлагает краткое содержание сценария в: Diezel: Exiltheater (см. прим. 79). S. 195ff.

[83] Большая часть заметок сделана рукой Пискатора, некоторые напечатаны на машинке.

[84] 32-страничная рукопись сценария «Фильм правды» в фонде Артура Пика (см. прим. 21), Bl. 122.

[85] Там же. Bl. 133, намек на работу Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

[86] Там же, Bl. 137.

[87] Там же, Bl. 149.

[88] «Свое выступление я произнес по-немецки, но к товарищу Ворошилову я обратился по-русски. На это он сказал товарищу Сталину: «Как хорошо он может говорить по-русски». Товарищ Сталин ответил: «Очень хорошо, но он должен говорить по-немецки». Я сказал: «В Красной Армии я выучил русский». Цит. по: Wir waren bei unserem Stalin// DZZ, 3. Dezember 1935.

[89] Фонд Артура Пика (см. прим. 21), Bl. 122.

[90] Там же. Bl. 123f.

[91] Там же, Bl. 124.

[92] Там же.

[93] Там же, Bl. 149.

[94] Там же, Bl. 150.

[95] Этот – впрочем, весьма удачный художественный прием позволил авторам обойти противоречия и весьма сложные тогдашние отношения между советской властью и религиозными группировками, например, меннонитами, а также ожесточенные антирелигиозные кампании в республике немцев Поволжья. Для фильма оказалось важным лишь указание на определенный тип (на священника), которое было сделано по принципам драматургии передвижных декораций. См. об этом: Benjamin Pinkus/Ingeborg Fleischhauer: Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert. – Baden-Baden 1987. S. 110ff.

[96] Спустя два года после проекта «Фильм правды», к 20-му юбилею Октябрьской революции, Теодор Пливье опубликовал в «Internationale Literatur, Deutsche Blatter» (Nr. 11/1937) четыре песни из его баллады, написанной для сценария («Будет рождена республика» «Es wird eine Republik geboren«), среди которых была и песня, названная «Песней о родине» (»Heimatlied«). Можно предположить, хотя и невозможно доказать, что Пливье эту песню действительно написал первоначально для кинопроекта, но после его краха использовал отдельно и без указания на фильм.

[97] Erwin Piscator: Brief an die Auslandische Kommission der Sowjetschriftsteller, Deutsche Kommission, vom 10. April 1936; РГАЛИ. Ф. 631, оп. 12. Д. 157. Л. 30 и др.

[98] Имевший тогда хождение технический термин для обозначения киносценария.

[99] Willi Bredel: Brief an die Direktion von Meshrabpom-Film, vom 5. Mai 1936; RGALI, f. 631, op. 12, d. 157, Bl. 43.

[100] Секция уже совершала такие действия успешно, когда за год до описываемых событий вмешалась в ожесточенный спор между авторами Йорисом Ивенсом, Альфредом Куреллой и Густавом фон Вангенхаймом по поводу гонорара и указания в титрах фильма Вангенхайма «Борцы»(1936). См.: РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 12. Д. 157. Л. 76, а также Gunter Agde: Kampfer, Biographie eines Films und seiner Macher. – Berlin 2001. S. 14ff.

[101] Наряду с Пискатором планировали съемки фильмов Ханс Роденберг, Густав фон Вангенхайм и Александр Гранах.

[102] Посмотрев на внутреннем показе художественный фильм Пискатора «Восстание рыбаков» 14 мая 1934 г. Сталин выразил Шумяцкому свое возмущение фильмом и демонстративно подчеркнул, что Шумяцкий и ГУКФ ответственны за всю советскую кинопродукцию. См.: Gunter Agde: Stalin meets Piscator. In: Filmblatt 5 (2000), Nr. 13. S. 39ff.

*Людмила Глухова*

# ОТ «ЗАПРЕЩЕННЫХ» ДО «РАЗРЕШЕННЫХ». Немецкоязычная литература в фондах советских библиотек и чтении[1] между мировыми войнами

В середине 30-х годов авторы учебника «Современная литература» формулировали «общие задачи и пути развития литературы в эпоху культурной революции» таким образом: «После Октября руководящая роль переходит к новому классу – пролетариату, под руководством коммунистической партии победоносно строящему социалистическое общество. В соответствии с этим новые и широкие задачи встают (…) перед художественной литературой. Ей принадлежит значительная и ответственная роль в деле создания нового общественного строя, свободного от эксплуатации и угнетения». (…) Она «реально помогает социалистическому строительству, становится мощным оружием в борьбе рабочего класса против остатков капитализма и буржуазных отношений в нашей стране. Воспитательное значение литературы как орудия воздействия на сознание многомиллионных масс трудящихся огромно»[2].

Роль немецкой литературы в начале двадцатых годов оценивалась достаточно высоко. «Русские читатели нуждаются в немецкой книге. Частично она переводится, и эту работу следовало бы усилить, выбрать есть из чего. Но вместе с тем необходимо позаботиться об организации планомерного приобретения немецкой книги. Если русская книга во многих книгохранилищах получается исчерпывающе, необходимо того же добиться для немецкой книги, сосредотачиваемой если и не в одной библиотеке целиком, то, во всяком случае, так, чтобы читатель знал, в каких библиотеках приобретаются определенные книги»[3].

Что же стоит за термином «определенные книги»? Вслед за руководителями государства, «бойцы культурного фронта» искренне считали, что нет беспартийной литературы и беспартийных литераторов, что «право на жизнь»[4] имеют только «социально близкие» – единомышленники, разделяющие марксистскую идеологию.

Литературная политика новой власти была достаточно четко сформулирована в статье, опубликованной через полгода после заключения Версальского мирного договора: «Уничтожена власть капитала над печатью. Нет больше “свободы печати”, как называлась в капиталистическом обществе “свобода” – подкуп печати капиталом. Печать получила действительную свободу от капитала, она стала государственной, стала выражением воли государства трудящихся, воли рабочих и крестьян. Естественно, что капитал, лишившись своих экономических и политических позиций в России, должен был быть вытеснен и из области интеллектуального производства, из издательства книг и брошюр. Государство берет в свои руки все воспитание трудящихся, рабоче-крестьянская власть берет на себя дело их политического просвещения, она берет на себя и удовлетворение их духовных потребностей. Национализируется печать, национализируется издательское дело, национализируются театры»[5].

В процитированной нами статье символично все – и то, что она открывала первый номер нового критико-библиографического журнала, и то, что этот журнал назывался «Книга и революция». Теперь и на долгие годы вперед то, что в дореволюционное время носило характер нравоучения, стало диктатом, нарушение которого имели всем известные последствия.

В статье есть и такие слова: «Печатание книг, продуктов духовного творчества, находилось в руках издателя, руководившегося в своей работе отнюдь не заботами о высших запросах духа, а требованиями рынка. Не интересы культуры, а прибыль, потворство улице, угождение рыночному спросу, который был спросом господствующих классов буржуа,– вот что определяло работу издательств. Известно, до какой глубины падения довело господство капитала периодическую прессу Запада»[6]. Сейчас трудно судить о том, что стояло за этими словами – искренняя убежденность в своей правоте или циничная конъюнктура?

Для нас интересно то, что резкая критика в адрес издательств и писателей Запада иллюстрируется примерами, взятыми из литературной жизни и издательской политики Германии. Автор вводит термин «система развращения читателей», якобы характеризующий издательскую политику этой страны: «Известно, какое распространение получила в последнее время развращающая литература различного рода: порнографическая, сыщицкая и разбойничья. Изданием такой литературы занимаются в Германии 52 фирмы; она продается в 800 книжных магазинах, в писчебумажных, табачных лавочках и при посредстве 30-ти тысяч книгонош, проникающих во все закоулки»[7].

Общественность Германии, как утверждает автор, пробовала бороться «с этим злом». Такие попытки были предприняты в Дортмунде в 1909 г. на съезде Общества народного образования, где констатировали заполнение германских книжных рынков «сенсационной и бульварной литературой, оказывающей гибельное влияние на литературные вкусы среднего читателя, до учащихся включительно. В конце того же года в Германии основалось женское общество для борьбы с грязью и развратом, распространяемыми посредством литературы. В Гамбурге с той же целью организовалось «Немецкое общество памяти писателей», культурные общества в Берлине, Мюнхене, Кельне, Лейпциге, Висбадене». Однако, по мнению автора, при буржуазном строе эффективная борьба со зловредными книгами невозможна. С одной стороны, «писатель попадает тем в бóльшую зависимость от издателя, чем весь темп жизни при капитализме с его погоней за наживой ведет к понижению спроса на серьезную книгу», с другой, «современный человек более и более отвращается от серьезного чтения к легкому и от книги к газете (…), книги теперь читают только профессора, маниаки, отшельники и находящиеся в одиночном заключении»[8].

В Советской России проблема решалась совершенно иначе. «Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка…»[9] состоял в большинстве из книг на русском языке, напечатанных в Германии эмигрантскими издательствами и попавших тем или иным путем в Россию. Так просто было «очистить» библиотеки и книжный рынок от действительно опасных для советской власти книг, если изъятию подлежат *все без исключения книги, изданные в Берлине, Лейпциге, Вене, Гамбурге и Дрездене.* В число зловредных книг попали не только «порнографическая, сыщицкая и разбойничья литература». В одном ряду находятся, например, «Фаворитка Рока» («Die Favoritin des Schicksals», 1993 в берлинском издательстве «Нева» издана Лидией Рындиной), все романы Петра Краснова[10],

«В дни торжества Сатаны» («Die Triumphzüge des Satans», в 1922 году изданный в берлинском издательстве) Вячеслава Куликовского, «Декамерон» Боккачо, «Тролли и люди» Сельмы Лагерлеф, «Кармен» и «На чужой стороне» Проспера Мериме, «Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса и многое другое.

При этом, повсеместно звучало утверждение, что в России издателей не интересует прибыль, следовательно, нет нужды следовать за модой, плановое ведение издательского дела позволит печатать нужные книги в нужном количестве и это, несомненно, поднимет массы на высший уровень духовного развития.

Однако даже самые ярые противники буржуазной морали и литературы отмечали: «само собою понятно, что Издательство [имеется ввиду становящееся идеологическим монополистом Государственное Издательство – *Л.Г.*] не может дать хода работам только коммунистов, потому что, с одной стороны, коммунисты не так богаты литературными силами, с другой, – их лучшие представители заняты повседневной работой»[11]. Приходилось использовать старую беллетристику, тщательно продумывая при этом, «как превратить ее в орудие социального воздействия, как сделать ее действительно интересной для чтения из целой книги выбрать способное организовать психику читателя»[12].

По мнению работников Госиздата, следовало позаботиться об удовлетворении потребностей читателя в художественном чтении, «давая в первую голову такие произведения, которые рисуют эпохи великих исторических переворотов, критические эпохи народной жизни – лучшие произведения революционной литературы». Поэтому Издательство вынуждено было обращаться к переводам книг, вышедших за границей. «Оно сделает достоянием русского народа продукты духовного творчества других наций, как в области общественной науки, так и в области литературы»[13].

Предполагалось, что издательство не допустит выпуска макулатуры, что свет увидят только «достойные того издания». И, тем самым, будет положен конец наводнению книжного рынка «произведениями бездарностей, что имело место при капитализме. (…) Естественно, надо стараться, чтобы эти издания были даны в хороших переводах, ибо теперь, когда у нас так мало бумаги, когда столько трудов стоит издание любой листовки, любой брошюры, преступлением явится расточительство народных средств на никому не нужные вещи».

Но этим прекрасным планам не суждено было сбыться. В двадцатые годы литературная жизнь находилась под ощутимым влиянием политических и теоретических установок РАППа[14]. По существу они монополизировали право на отбор и оценку переводной литературы, принизив роль профессионального мастерства, противопоставив ему идеологическую «правильность» и злободневность. Культурная революция, идея построения нового мира в химически чистом виде в силу односторонней установки имела закономерным результатом появление произведений, нетребовательных к художественной форме и недооценивавших вековые моральные ценности. Это привело к тому, что издательства перестали выпускать классику, и книжный рынок заполнился низкопробной «пролетарской» литературой и произведениями нужной тематики, написанными профессионально, но не очень художественно. 23 апреля 1932 года было опубликовано Постановление ЦК ВКП(б) о перестройке литературно-художественных организаций, ликвидировавшее Ассоциацию пролетарских писателей под лозунгом объединения всех писателей, поддерживающих платформу советской власти. Точку в этой борьбе поставил I Всероссийский съезд советских писателей (1934). Вместе с рапповскими догмами из литературы ушли

вульгарно-социологические построения и недооценка традиционной литературы для детей и взрослых.

## Немецкоязычная литература в фондах советских библиотек

Советское правительство уделяло громадное значение организации библиотек, комплектованию и пропаганде книг, находящихся в библиотеках. Характерно, что уже 7 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР ставил на вид Комиссариату Народного Просвещения «недостаточность его забот о правильной постановке библиотечного дела в России». Чтобы следить за исполнением директив и указов партии, Комитет Народного просвещения (Наркомпрос) должен был два раза в месяц давать отчет в Совнарком о том, «что практически сделано им в этой области»[15].

В июле 1924 года на Всесоюзном библиотечном съезде Лев Троцкий выдвинул идею о необходимости формирования «бибсоветов» (библиотечных советов). Совет формировался из представителей комитетов ВКП(б), ВЛКСМ, женотделов, культкомиссий и пр., председателем бибсовета не должен был быть библиотекарь. Являясь органом коллективного управления библиотекой, бибсоветы должны были осуществлять контроль над всей их деятельностью и, по существу, разрушили традиционные общественные библиотеки изнутри.

Сеть библиотек, возникших в 1920-е годы, большей частью комплектовалась за счет книг, реквизированных в помещичьих усадьбах и домах интеллигенции. «В целом ряде губерний, уездов, волостей, где помещалось то или иное богатое имение, бывшие господа положения, имея средства, свободное время и т. д. собрали в свои руки “дворянские гнезда”, колоссальное количество принадлежащих народу ценностей, как то… большие и ценные по содержанию библиотеки. (…) Все это накопленное добро ныне советским правительством объявлено народным достоянием, которое Народный Комиссариат по просвещению собирает, систематизирует и распределяет для народного пользования, организуя народные библиотеки. (…)»[16].

Реквизиция общественных и частных библиотек отдельными лицами или учреждениями вне контроля Библиотечного Отдела при Наркомпросе считалась недопустимой и рассматривалась как нарушение революционного правопорядка. Между прочим, такая забота о народной собственности была продиктована не столько соображениями заботы о сохранности народного достояния, сколько тем обстоятельством, что борцы за права народа боялись книг, содержащихся в библиотеках. Прежде чем допустить народ до пользования тем, что ему теперь принадлежало, следовало тщательно вычистить оттуда все, что было народу вредно читать[17].

По мнению партийных начальников, фонды дореволюционных библиотек были *совсем не пригодны для рабочих, крестьян, красноармейцев.* «…Все бывшие пришкольные библиотеки [скомплектованы] из книг, одобренных министерством и изданных специально для чтения народа, – жалуется М. Смушкова, председатель Центральной библиотечной комиссии. – Ясно, что кампания по изъятию не оставит камня на камне в волостной библиотеке»[18].

Как проходила «чистка» библиотечных фондов? Профессиональный журнал, который теперь стал называться «Красный библиотекарь», начал печатать «Пример-

ные списки книг к инструкции по очистке библиотек». В первом же списке немецкая литература заняла вполне почетное место[19].

Изъятию подлежали «уголовные романы» Георге Ф. Борна; несколько сборников сказок братьев Гримм, изданных в Берлине; «весь» Захер-Мазох; несколько произведений Франца Гофмана, в том числе «Занесенные снегом» («Im Schnee begraben») и «На Дальнем Севере» («Hoch im Norden»); опубликованные в Германии русские переводы романа Бернгарда Келлермана – «9 ноября» и «Туннель»; там же изданная русская версия сборника эссе Генриха Манна «Сила и человек»; и все сочинения Грегора Самарова[20]. Следовало удалить из библиотек все романы и повести, выходившие приложениями к журналу «Родина» и к газете «Свет», вне зависимости от того, кем они написаны, допустимыми считались только произведения немецкого писателя Макса Кретцера (1854–1914) «Обманутая» (Die Betrogenen), «Золотой мешок»[21] и т. д[22].

Включение в Списки книг перечисленных выше авторов служило сигналом для издательств – в 1920-е годы они печатались крайне редко или не печатались вообще, и в библиотеках их практически не было. Изданные ранее «плохие» книги библиотечные комиссии изымали в процессе чисток и, доказывая свою правоту, всячески унижали читателей – любителей литературы такого рода. «Красный библиотекарь» называет их «буржуазной полуинтеллегенцией» и городским мещанством, «обывателями». «Это – люди, которые отнеслись к революции враждебно, ничего не поняли в ней и не участвовали, – почти с ненавистью пишет авторитетный для своего времени идеолог библиотечного дела Н. Фридьева. – Они стараются быть по возможности вне жизни, или в оппозиции ей. Все современное, настоящее вызывает у них раздражение. Живут они тенями прошлого, выискивая их и в жизни, и в НЭПе, и в литературе. Читают почти исключительно беллетристику, – и беллетристику с особым уклоном. В книгах ищут любовь во всех ее разновидностях, любят старые исторические романы, высокопоставленных, сиятельных героев (графов, князей), обстановочность, безыдейность и мистику. Это – библиотечные гробокопатели, книжные гиены. Если вы еще не произвели чистки беллетристики в вашей библиотеке, – положитесь на их чутье ко всякой мертвечине: они просят именно те книги, которые необходимо изъять»[23].

Под категорию книг, которые необходимо изъять, вполне подходит и немецкая литература, переведенная в начале века и кое-где сохранившаяся в библиотеках. Фридьева делится таким наблюдением: если чистка библиотечных фондов уже осуществлена, читатели сетуют на то, что в библиотеке не осталось хороших книг, смотрят на год издания, они уверены, чем книга старее, тем лучше: «Все советское их отталкивает. (…) Даже старые вещи, переизданные после Октября, вызывают у них скептическое отношение»[24].

Вспомним вольное обращение с Шиллером в полковом театре, многочисленные переделки классических текстов, о которых речь пойдет ниже и, восемьдесят лет спустя, разделим недоверие читателей к послереволюционным изданиям. Другое дело – рабочая молодежь в возрасте 15–20 лет. Они спрашивают «произведения Горького, Войнич, “Бессознательным путем” Бессалько[25], “Спартак” Дживаньоли[26], Герминию цур Мюллен[27], все вещи Джека Лондона, романы Синклера, Келлермана, Золя, Гюго – вот, что читает рабочая молодежь из беллетристики…»[28].

В 1929 году вышло Постановление ЦК ВКП(б) «Об улучшении библиотечной работы», в котором было предложено «провести просмотр книжного состава биб-

лиотек и очистить его от идеологически вредной, устарелой и неподходящей к данному типу библиотек литературы»[29]. По результатам этого постановления была подготовлена инструкция о просмотре и изъятии книг из детских библиотек. В списки детских книг, изданных в период с 1926 по 1929 год и подлежащих изъятию из библиотек, вошел «Ученый спор» (Der weise Schuhu) Вильгельма Буша; в списке детских книг, не рекомендованных к закупке в детские библиотеки, попали также его стихи «Воронье гнездо» и «Муха»[30]. В 1929–1930 годах «Красный библиотекарь» 13 раз публиковал «Списки книг, не рекомендуемых для массовых библиотек» и «Списки книг, не рекомендуемых для закупки в массовые библиотеки». Такие действия, естественно, привели к абсурду, что использовалось в борьбе с троцкизмом и «рапповским уклоном», хотя библиотекари лишь выполняли указания вышестоящих органов. В некоторых библиотеках организовали такой просмотр книжного состава, который привел к обезличиванию и уничтожению богатейших книжных фондов.

Опустошение книжных фондов шло не только по линии изъятия книг из библиотек, но и по линии выделения части книг в особые фонды, из которых книги выдавались только по усмотрению библиотекаря. Вся литература, выделенная в эти фонды, изымалась из общих каталогов, и читатель не знал о ее существовании в библиотеке. В разных местах эти фонды называются по-особому… Западная областная библиотека додумалась организовать у себя помимо специального фонда фонд «МНД» (массам не давать!!!)[31]. Действительно, изымались или прятались книги, попавшие под малейшее подозрение библиотекарей. Некоторые Областные библиотеки в дополнение к существовавшим инструкциям составляли свои дополнительные списки на изъятие. Так, в Москве включили в списки художественной литературы, подлежащей изъятию, произведения Гауптмана, Гофмана, Генриха Манна. Библиотека им. Пушкина Бауманского района в Москве изъяла Шиллера.

К счастью, на этот раз вакханалия запретов длилась недолго. Во второй половине 1932 года выходит ряд постановлений, направленных «против извращений в чистке библиотечных фондов». В постановлении Коллегии Наркомпроса отмечалось, что в организации и ходе просмотра книжного фонда библиотек отделами народного образования и библиотеками допущен ряд грубейших ошибок и извращений, что помогало правым оппортунистам тормозить строительство советской, пролетарской социалистической культуры[32]. Одной из таких ошибок было бездумное изъятие иностранной литературы, например, всех без исключения книг автора, тогда как удалены должны были быть произведения плохо переведенные.

В тридцатые годы работа в библиотеках сменила направление: от аспекта «не давать» перешли к определению того, что «надо рекомендовать». В 1933 году вышло Постановление ЦК ВКП(б) «Об улучшении дела самообразования», в котором Наркомпросу было предложено начать издание в помощь библиотекам тематических указателей литературы («Круги чтения») и «сборников программ для систематического чтения, рассчитанных на различные слои и различный уровень читателей»[33]. На Наркомпрос возлагалась обязанность рассматривать и утверждать эти программы.

По данным, опубликованным в указателях Н.И. Мацуева «Художественная литература русская и переводная», в 1917–1925 гг. были изданы книги 84 немецкоязычных авторов (из Германии и Австрии), больше, чем англоязычных (Англия и США), но меньше, чем французской литературы. В период с 1926 по 1928 год – 48 авторов, с 1928 по 1932 год – 86 немецкоязычных авторов, с 1933 по 1937 – 82 автора.

Мы бы разделили эти книги на три группы: классика (в представлении русских читателей), книги авторов, получивших признание в конце XIX – начале XX века и книги «пролетарских» писателей, социально значимых, с точки зрения руководителей чтения.

С 1917 по 1932 гг. книги Гейне[34] издавались 9 раз, Гофмана[35] – 6, Гете[36] – 5, Шиллера[37] – 2.

Интерес к творчеству Генриха Гейне был продиктован идеологическими соображениями. В большой, обстоятельной статье, посвященной ему в Большой Советской Энциклопедии[38], говорится о новом осмыслении его творчества. Если раньше Гейне воспринимали как лирического поэта, то теперь стало ясно, насколько он близок к «современному революционному сознанию». В его «капризном и сложном творчестве» вычленялись «смутные социалистические идеи, революционная ирония и сарказм, свободомыслие, протесты против догматической религиозности». Этот подход объясняет выбор произведений для изданий: помимо старых переводов, осуществленных до революции, был издан диспут-памфлет «Чей Бог настоящий?» и «Сатиры», констатируется начало работы «по реставрации подлинного Гейне». В статье осуждается «литературно-реакционное» осмысление творчества «злобного поэта» Тютчевым, Фетом, Аполлоном Григорьевым, а также пародии на переводы Гейне А.К. Толстого, публикующиеся в сборниках «Козьмы Пруткова».

Отмечается интерес к поэту, возникший «в более широких читательских слоях». Проверить это утверждение невозможно, вполне вероятно, что авторы статьи выдают желаемое за действительность. Русская публика всегда предпочитала жанр романа всему остальному. Поэзия всегда читалась лишь единицами. Напомним слова из отчета Уральской Товарищеской библиотеки (1902 год): «…большой популярностью пользуются модные и вообще современные писатели; классики в пренебрежении. Между тем мы не думаем, чтобы, например, Гейне, обернувшийся [имеется в виду количество выдач книг в библиотеке] всего один раз (12-й том), был очень знаком нашей публике»[39].

Несильно от этой ситуации отличался конец 20-х годов, когда вышеупомянутая статья была опубликована в Большой Советской Энциклопедии. В то время был проведен ряд социологических исследований, посвященных изучению читательских предпочтений «широких слоев» в московских рабочих библиотеках. В этих материалах отмечается, что: «Иностранные классики, как Шиллер, Шекспир, Гейне, Гете мало читаются. Стихи и пьесы вообще слабо читаются, а эти к тому же относятся к таким отдаленным временам»[40]. В рамках этого исследования был составлен список произведений мировой литературы, которые – в русском переводе – чаще всего читают рабочие. Далее цитируем (С. 64): «На стр. 69 приводятся данные о наиболее читаемых произведениях переводной литературы в среде взрослых рабочих. В списке – 21 произведение (учитываются книги, выданные более 80 раз). Роман Келлермана “Туннель” стоит на шестом месте, “Братья Шелленберг” – на 16-м. Произведений Гейне среди пользующихся популярностью книг нет».

То, что интерес к Гейне был продиктован идеологическими соображениями, мы можем подтвердить следующим обстоятельством: только в течение пяти лет (1928–1932) неоднократно появлялись статьи, тенденциозно трактующие творчество Гейне[41].

С 1933 по 1937 год неоднократно издавались новые переводы произведений поэта. С 1935 года в очень престижном издательстве «Academia» выходит 12-томное

собрание сочинений Гейне под редакцией литературоведа и знатока иностранной литературы Наума Берковского, которому тогда было 34 года. Оно не утратило свою художественную и научную значимость до сих пор[42].

В конце XIX века в России творчество автора из Кенигсберга Э.Т.А. Гофмана было достаточно долго недооценено читающей публикой, считающей его несерьезным писателем, сказки которого представляют интерес лишь для детей. Одна из героинь романа Ивана Гончарова «Обрыв» Марфинька разговаривает со своим двоюродным братом Райским о книгах, которые она любит читать. Среди других она называет «Кота Мура», «Братья Серапионы», «Песочный человек» Э.Т.А. Гофмана, – «это больше всего люблю». Незамедлительно следует реплика: «Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?..».

Совершенно по-другому к творчеству Э.Т.А. Гофмана стали относиться в России в двадцатые годы XX века. Этому, безусловно, способствовали молодые писатели из Петербурга (М. Слонимский, Всев. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин и др.), в 1921 году образовавшие группу «Серапионовы братья». Они не случайно использовали название одноименной книги Э.Т.А. Гофмана – его творчество на долгие годы стало для советских писателей и интеллигенции символом дистанцирования от реальной жизни, умения противостоять пошлости не только власти, но и общественного мнения. В манифесте Серапионовых братьев объявлялось: «Искусству нужна идеология художественная, а не тенденциозная, подобно тому, как государственной власти нужна агитация открытая, а не замаскированная плохой литературой»[43]. В тридцатые годы Гофмана издают реже, однако он возвращается в детскую литературу: в новых переводах выходят сказки «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» и «Щелкунчик и мышиный король» с прекрасными иллюстрациями Константина Рудакова.

В тридцатые годы выходило большое количество книг и статей филологов, литературных критиков, журналистов о творчестве Гете, Гейне, Шиллера, в библиотеках регулярно проводились мероприятия (выставки и литературные вечера), посвященные пропаганде их творчества.

Большая Советская Энциклопедия констатирует в конце двадцатых годов «повышение интереса к Гете, главным образом в кругах академических», высказывается осторожное предположение, что этот интерес «приобретает и более широкое распространение». В 1929 году при Госиздате была образована особая редакционная комиссия в составе Луначарского, М.Н. Розанова и Л.Б. Каменева для подготовки собрания сочинений в 12 томах, куда должны были войти основные художественные и автобиографические произведения. Окончательный объем собрания сочинений составил 13 томов, и оно было завершено в 1948 году, значительно позднее намеченного срока, так как во время войны 1941–1945 гг. издание было временно приостановлено. В рассматриваемый период в библиотеках были, в основном, дореволюционные собрания сочинений Гете, изданные Николаем Гербелем в издательстве Стасульевича[44], сборники стихотворений и переизданный в 1922 году роман «Страдания юного Вертера»[45] и др. Рекомендательный указатель «Книги для рабочих библиотек» произведения Гете не включал. «Спутник читателя» Я. Кипермана[46] предлагал «хорошо развитым» и «высокоразвитым» читателям сборник «Поэзия и Правда. Из моей жизни» (Пг.–М. 1923) и «Страдания юного Вертера». В тридцатые годы помимо переиздания «Страданий молодого Вертера», трижды издавался «Фауст» (дважды в Гослитиздате (1936 и 1939) и один раз в издательстве «Academia» (1937)).

Творчеству Фридриха Шиллера в двадцатые годы, как отмечалось в БСЭ, уделялось значительно меньше внимания. К концу двадцатых годов он перестал олицетворять в глазах тех, кто формировал культурную политику, революционную патетику, столь необходимую массам. Высоко оценивался вклад Шиллера в мировую литературу, но автор статьи отмечает: «Классовая сущность царства эстетической видимости Шиллера лежит в иллюзорных исканиях изолированной маленькой группы бюргерской интеллигенции в эпоху, когда широкие массы немецкого бюргерства еще не пробудились к политической жизни»[47]. Несмотря на этот факт, издательство «Academia» с 1936 года начало выпускать в свет 8-томное собрание сочинений, прерванное в годы войны.

Из авторов, ставших популярными в России в начале XX века, в двадцатые годы чаще других издавались и, следовательно, попадали в библиотеки Генрих Манн, Келлерман, Герхарт Гауптман. Любопытно отметить смещение акцентов в оценке творчества при аннотировании и рецензировании книг этих писателей. Главное в их творчестве – это сейчас идеологическая позиция, так называемое отношение к классовой борьбе, то, что мягче говоря описывается «социальной близостью».

Так, например, в «Указателе книг для рабочих библиотек» аннотация на книгу Манна «Обездоленные» («Die Armen») звучала следующим образом: «Молодой рабочий Бальфур вступает в борьбу с капиталистом Геслингем за наследственное право рабочих на фабрику и всей прилегающей к ней территории. Государственная власть и все буржуазное общество на стороне капиталиста и помогают ему в борьбе с рабочими. Последние терпят поражение. Яркие картины нравов немецкого буржуазного общества, быта рабочих и их борьбы»[48].

Журнал «Красный библиотекарь» в разделе «Свод рецензий» приводил выдержки из публикаций в газетах и библиографических журналах. Составители этого свода все-таки пытались в силу сложившихся до революции традиций отмечать художественные достоинства произведений. Так, об «Обездоленных» Манна перепечатывались выдержки из рецензии, опубликованной в газете «Известия» (1923, № 221): «Как немногие в русской литературе, сумел изобразить класс бедняков, угнетенных и обездоленных – пролетариат – с большой художественной правдой. В романе необычайно правдиво и увлекательно рассказывается столкновение капиталиста и “верноподданного” – Геслинга с рабочим Бальрихом (…) увлекательная фабула блестяще реализована… Типы Манна живы и ярки, язык прекрасный. Перевод сделан добросовестно. Книге предпослано основательное предисловие Гиммельфарба, развернувшееся в небольшую монографию Г. Манна».

Наряду с этим приводились выдержки из рецензии, опубликованной в «Книгоноше»[49]: «В “Обездоленных” выведены господствующие классы, обслуживающая их интеллигенция и, главным образом, рабочие, выявлены быт, психология и идеология этих классов». [50]

В тридцатые годы в библиотеки попадали «Молодость короля Генриха IV» в переводе С. Сац, напечатанная в журнале «Интернациональная литература» в 1937 году «Юность короля Генриха IV» в переводе Е. Садовского. Выходили и другие произведения писателя – «Верноподданный» (в другом переводе «Учитель Унрат или конец одного тирана»), но наибольшим спросом в массовых библиотеках пользовался цикл романов о короле Генрихе.

Отношение к творчеству Томаса Манна было более сложным. Его много критиковали. С одной стороны, с начала тридцатых годов выходило Собрание сочинений

Томаса Манна под общей редакцией В. Зоргенфрея. С другой стороны, на произведения, публикуемые в этом собрании сочинений, выходили жесткие рецензии. «В буржуазной литературе – пишет критик В. Гурвич, – можно отметить ряд произведений, отличающихся подчеркнутой отделкой формы и очевидной бледности и ничтожности содержания… В этих произведениях как будто бы нет прямой идеологической направленности, идейного, общественно-политического смысла. Этим, однако, не создается аполитичности литературного произведения: удаление политики из литературы есть особая политика – стремление господствующего класса отвлечь широкую читательскую массу от острых политических вопросов современности… В этой плоскости и написал в 1924 году свою книгу “Волшебная гора” прославленный писатель Томас Манн» Он «наводит микроскопы изобразительного искусства на мельчайшие чувствованьица и переживаньица»[51].

Со второй половины тридцатых годов литературная критика становится более позитивной, подчеркивается реализм в творчестве писателя. Во многом это происходит из-за антифашистской позиции писателя, проявлявшейся и за пределами литературы. В его произведениях, по мнению известного критика Андрея Тарасенкова, звучит «страстная отповедь ханжеству, постному лицемерию, мистике, религии, идеализму… тонкость литературного анализа сочетается … у Томаса Манна с очень широкими, но тем не менее исторически верными, проницательными обобщениями… Блеск ума и литературного таланта… сочетается с верой в демократию, в прогресс, в человечество, светлого большого гуманиста»[52]. В библиотеках произведения Томаса Манна пользовались большим спросом у технической и гуманитарной интеллигенции, «интеллигенция в первом поколении» и рабочие знали его меньше.

Творчество братьев Маннов в тридцатые годы в библиотеках широко использовалось в мероприятиях антифашистской направленности. Одна из статей, опубликованных в журнале «Книга и пролетарская революция» так и называлась: «Генрих Манн на фронте борьбы с фашизмом»[53].

В центре внимания библиотечной прессы в двадцатые годы были также произведения Келлермана. Его издавали много, разные издательства, в разных переводах. Только в период с 1917 по 1925 год, по данным Н. Мацуева, его издавали 11 раз, вдвое чаще, чем Гете. Каждое издание сопровождалось рецензиями в профессиональной печати и литературно-художественных журналах: «Печать и революция», «Бюллетень книги», «Книгоноша», «Вестник книги», «Фабрично-Заводская Профсоюзная библиотека», «Красная Новь», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «Казанский библиофил» и многие другие. Его романы рекомендовались и юношеству, и взрослым читателям, входили во все перечисленные выше указатели литературы.

В список «Литературы для рабочей и крестьянской молодежи», напечатанный в «Книгоношей», включена повесть Келлермана «Шахта “Дядя Том”». Эта книга была выпущена издательством «Новая Москва» в серии «Библиотека рабоче-крестьянской молодежи» под общей редакцией МК РЛКСМ «на потребу юного массового читателя, с очевидной целью дать ему чтение, воспитывающее со стороны идеологической и развивающее литературный вкус и художественное чутье»[54]. Однако, по мнению рецензента, «литературное обрамление… настолько бесцветно, небрежно и малоценно, что их можно поставить почти на грани голой агитки»[55].

Отношение к творчеству Келлермана литературных критиков было противоречивым. Так, «Красный библиотекарь», печатая «Каталог наиболее читаемых книг (сводка данных по 100 красноармейским библиотекам)», который, по мнению соста-

вителей, «может быть использован при комплектовании коллективных абонементов, а также частично как репертуар для громкого чтения, поскольку вышеперечисленные книги приобрели массовую обращаемость», включает сюда три романа Келлермана, написанные под влиянием Енса Петера Якобсена и Кнута Гамсуна: «Туннель» (1913) и «Море» (1910), а также позже запрещенный нацистами «9 ноября» (1920). По мнению другого рецензента, роману «Море» «совершенно чужд социальный момент – индивидуальность, любовь, море, природа. Как художественное произведение книга очень интересна»[56]. Так же противоречивы рецензии на наиболее популярный роман «Туннель», который принес его автору сенсационный мировой успех: «В романе резко подчеркивается социальная проблема классовой борьбы и эксплуатации труда капиталом… Фабула интересна. Написана с большим литературным талантом (…) напряженность действия, общий широкий захват сохраняет за романом право на внимание, несмотря на его несколько слащавую романтику и художественные промахи»[57].

Отзыв библиотекарей также неоднозначен. С одной стороны, роман «9 ноября» полезен, так как изображает Германскую революцию 1918 г. – «картины разложения буржуазного общества под влиянием войны». Однако «…форма изложения затрудняет чтение книги. Хорошо ознакомить читателя-массовика хотя бы с некоторыми отрывками…». Вместе с тем, «…в сокращенном иллюстрированном издании (“Красная Новь”, 1923) произведение теряет значительную долю своей художественной ценности». После этих рассуждений библиотекарь решается рекомендовать роман «более или менее подготовленным»[58].

В 1923 году в московских библиотеках был проведен анкетный опрос «для исследования степени знакомства рабочей читающей молодежи с иностранными авторами». Опрос был организован ЦК РЛКСМ по методике, разработанной крупнейшим социологом-библиотековедом Евгением Медынским. Опрос показал, что среди книг иностранных писателей, «пользующихся повышенной читаемостью», роман «Туннель» занимает четвертое место у работающих на предприятиях (после Лондона, Золя и Синклера) и третье место у учащихся (после Золя и Лондона)[59]. Однако ни, в общем, благожелательная оценка критики, ни «повышенная читаемость» романов Келлермана в среде учащейся и рабочей молодежи не помешала руководству отдать приказ об изъятии романов «Туннель» и «9 ноября» из всех библиотек, обслуживающих массового читателя[60].

С начала тридцатых годов становятся чрезвычайно популярными антифашистские произведения и историческая беллетристика Лиона Фейхтвангера. В 1928 году вышел роман «Еврей Зюсс», в 1935 году были опубликованы исторические романы «Успех», «Семья Оппенгейм» и «Безобразная герцогиня». Позднее в репертуар чтения русских вошли его романы «Иудейская война» и «Лже-Нерон». Книги и статьи о жизни и творчестве Фейхтвангера издавались около тридцати раз. О нем писали известные и популярные в то время журналисты и литературоведы: Я. Эйдельман, Н. Мацуев и др. В редакционной статье «О работе библиотек в помощь изучению Сталинской Конституции и положении о выборах в Верховный Совет СССР» журнал «Красный библиотекарь» предлагает использовать отрывки из романа Фейхтвангера «Семья Оппенгейм» для читок-бесед по пропаганде 123-й статьи Конституции (на тему «Равноправие всех национальностей и расовое положение евреев в фашистской Германии»)[61].

В 1929 году сразу в двух издательствах («Земля и Фабрика», серия «Дешевая библиотека», и «Федерация») вышел в свет первый роман Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». Вначале руководители чтения не обратили на него особого внимания. Ежемесячный рекомендательный тематический бюллетень «В помощь библиотеке при комплектовании и работе с читателем» ограничился краткой аннотацией, поместив ее в раздел «Империалистическая война»: «Эпизоды фронтовой жизни во время мировой войны и переживания ее участников… Поколение двадцатилетних, у которых война “смыла” всю предыдущую жизнь и юность; товарищеское чувство солдат, крепнущее в обстановке войны»[62]. Роман рекомендовался «вполне подготовленным читателям, привыкшим к чтению серьезной книги, со средним образованием». Ее следовало приобретать в крупные городские, районные или уездные библиотеки, в которых «кроме массового, есть значительная группа более квалифицированных читателей», а также в рабочие библиотеки, небольшие подрайонные [библиотеки-филиалы] и городские передвижки. В 1931 году Киперман включил роман Ремарка во второе издание «Спутника читателя». Он приводит список рецензий, появившихся за этот период в литературно-художественных и библиотековедческих изданиях[63]. В 1936 году в Гослитиздате вышел роман «Возвращение», в котором миф о «фронтовом товариществе» транслируется в мирную жизнь. По сей день Ремарк – один из наиболее популярных и любимых немецких писателей у русских читателей[64]. В предисловии к книге «Станция на горизонте», вышедшей в 2000 году, о Ремарке говорится как об одном из самых влиятельных немецких прозаиков XX столетия[65].

Также произведения литературных экспрессионистов Артура Шницлера, Стефана Цвейга, Леонарда Франка и других продолжают печататься большими тиражами в двадцатые годы. Здесь, кажется, совпали вкусы библиотекарей и интеллигентной публики. Книги этих писателей пользовались популярностью особенно у уездных барышень. Библиотечная печать пытается оправдать свои симпатии, акцентируя внимание на напряженности повествования, утонченном психологическом анализе, действенной, богатой событиями интриге. Однако приходилось считаться с тем, что эти писатели «не возвышаются до широких социальных обобщений и значительной идейной глубины». Поэтому критики говорят о социальной заостренности творчества этих писателей и их оппозиционности по отношению к мелкобуржуазной среде.

Любопытно посмотреть, какие доводы и аргументы находят рецензенты, отстаивая право библиотек на обладание книгой Франка «Человек добр». Писатель «говорит о войне, но не так, как о ней возвещают победные реляции и бойкие разбойники пера и печати, не так, как ее изображают батальные живописцы – Франк выводит перед нами длинную галерею жертв войны… Отдельные эпизоды связаны довольно внешним образом во что-то вроде утопической повести, которая отнюдь не отличается яркостью красок и оригинальностью. Но там, где автор подходит вплотную к живому человеческому страданию, там язык его становится выразителен, там он находит новые и яркие образы»[66]. В другом месте отмечено: «Автор проникнут толстовскими настроениями, но его талантливые рассказы вскрывают весь кошмарный ужас недавней бойни, почему книгу и следует иметь во всех библиотеках»[67].

Еще один рецензент пишет: «Рассказы Ф. из эпохи мировой войны – прежде всего рассказы агитационные. Их пафос – в борьбе с прусской системой государственности и ее милитаризма, метод их построения – цепь доказательств, где образы имеют скорее подсобный характер наглядного агитационного материала… Основ-

ная тема агитации: человек по существу добр, война для него состояние невменяемости, созданное ложной системой представления о народе, патриотизме, государстве… В отделе литературы, направленной против милитаризма, рассказы занимают соответствующее почетное место»[68].

В «Книгоноше» отмечено: «Франк – сильный, темпераментный художник. Он обнажает бесчеловечную сущность войны, умело сплетая в один клубок психологию человека и натуралистические детали военных будней… Но значение книги не в критике и, особенно, не в ее непротивленческой проповеди любви, которая, конечно, не выдерживает сама никакой критики, а в тех ярких, захватывающих страницах, где он описал психологию изнывающих от войны людей и повседневную действительность истерзанной страны»[69].

В 1928 году издается значимый рассказ Франка о возвращении на родину: «Карл и Анна», в 1929-м следует роман «Оксенфуртский мужской квартет» и наконец, в 1933-м – «Из трех миллионов трое», описание неудачных попыток безработных мещан преодолеть свои несчастья. В библиотеках России всегда существовали поклонники творчества Франка, но широкой популярностью он никогда не пользовался.

Стефана Цвейга всегда издавали много, часто, большими тиражами. В какой-то мере это объяснялось тем, что социальная близость Цвейга, по мнению критики, не вызывала сомнений: в течение многих лет он «был постоянным и открытым защитником Советского Союза»[70]. В конце 1920-х – начале 1930-х годов выходило первое собрание его сочинений, в 1936 г. издавался сборник его новелл. Киперман восемь раз включает в свой указатель «Спутник читателя» рассказы и повести Цвейга: в разделы биографической литературы (о Гете, Достоевском, Байроне), а также в разделы «Любовь» и «Половой вопрос». По его мнению, произведения писателя следовало рекомендовать подготовленным читателям. Еженедельный бюллетень критики, библиографии, библиотековедения и книгоиздательского дела «Книгоноша» был более жестким: «…Цвейг занимается разработкой эротической темы. Решительно он специализировался в этом малоцелесообразном жанре. Свое неплохое мастерство он растрачивает на оформление щекотливых безделушек… книга Цвейга приготовлена, конечно, в расчете на желудки нашего нэпманствующего мещанства. Кому еще она придется по вкусу?»[71].

Пожоже, такой же жесткой была критика рассказов Артура Шницлера, про его «Маски и чувства» отмечалось: «Книга полна ходульного напыщенного символизма… Из шести рассказов, помещенных в книге, ни один не способен остановить на себе внимания. Напыщенные пошлости в выражениях, шаблоны в выборе тем и сюжетов»[72]. В «Спутнике читателя» Кипермана новелла «Возвращение Казановы на родину» находится в разделе «Авантюристы» и рекомендуется для подготовленных читателей. В тридцатые годы произведения Шницлера перестали издавать. Неоднозначная позиция критики в оценке произведений немецких и австрийских писателей проявляется особенно наглядно в статье «А. Шницлер». В ней, рядом с позитивными оценками («известный австро-немецкий писатель и драматург»), присутствует негатив: «примкнул к декадентам, проповедовавшим уход от действительности…». И так на протяжении всей статьи. «В ранних произведениях явно проявляется культ фаталистического подчинения минутному чувству, преходящему впечатлению, случаю. Жизнь трактуется писателем как игра, мечта; искусство, особенно сценическое, ставится выше жизни»… Творчество писателя отличается «умеренной критикой высшего буржуазного общества. Отдельные вылазки робкой критики капитализма

не разрывают прочной связи Шницлера с загнивающей буржуазией и ее индивидуалистической философией. Эти связи стали еще теснее в послевоенный период, когда буржуазии предстояли решающие бои с пролетариатом»[73].

Дальше творчество Шницлера в его последнем периоде отразило бы упадочнические, мистические искания буржуазной интеллигенции. «Глашатай идей Фрейда, Шницлер отдался изображению тончайших психологических процессов… Его манера характеризуется изящной простотой письма и тонкостью психологического рисунка в особенности в изображении и анализе разнообразной гаммы сентиментально-эротических переживаний». Две последние фразы говорят о раздвоенности чувств анонимного автора статьи, не смирившегося до конца с отказом от прежних кумиров. Впрочем, возможно, что пассажи о загнивающей буржуазии принадлежат редактору статьи? Как бы то ни было, бодрым строителям социализма было не по пути с писателем, больше всего на свете интересующимся тончайшими психологическими процессами.

Читающая публика попытки такого рода, конечно, не имела в виду. Особенно женщины интересовались Шницлером, Яковом Вассерманом, Цвейгом, так как их произведения в большинстве своем удовлетворяли тематический запрос «про любовь» (а этой теме практически не уделялось никакого внимания в литературе). Но именно этот интерес казался руководителям чтения ненужным, пошлым, даже вредным. Характерный пример – отношение к мелодраматическому роману Георга Германна[74] «Барышня Геберт» (Jettchen Gerbert, 1906, russ. Erstausgabe 1925), рекомендованного для хорошо развитых, со школьной подготовкой, систематически читающих газеты, журналы, художественную и научно-популярную литературу читателей. Роман из жизни немецко-еврейского бюргерства середины XIX века. «На фоне внимательно и подробно описанного мещанского быта очень растянуто повествуется о любви красивой еврейки Кетхен к бедному немецкому юноше… Автор – типичный маленький писатель и тему свою развертывает бледно и нечетко. Бытовые изображения расплывчаты, действующие лица – безжизненны, интрига не увлекает. Серая, скучная книга, оставляющая впечатление полной ненужности»[75]. Со второй половины двадцатых годов произведения Германна стали издаваться реже и в тридцатые годы он вообще ушел из чтения.

Впрочем, рецензии при всей их резкости не несли на себе печать окончательного приговора, как это демонстрирует «Карьера Глазера» Людвига Виндера[76]. Книгу можно отнести к жанру «*роман о газете»,* в котором описывается любовная история редактора крупной столичной газеты. «Лишь с большим трудом можно одолеть многочисленные страницы, посвященные любовным переживаниям редактора… (и нудно, и глупо все это описано), а также беспардонным восхвалениям этого героя…, но зато с большим интересом прочитываются главы о работе редакционного аппарата, о технике газетного дела, о конкуренции со смежными изданиями, о закулисных махинациях буржуазной газеты… Читатель вводится этим романом в лабораторию желтой прессы. Ознакомиться с этим и интересно, и поучительно. К сожалению, все непосредственно относящееся к газете приходится вылавливать из очень пространного, бездарно и неряшливо написанного романа, посвященного газете только на одну четверть. Ненужного и неприятного балласта здесь очень много… *Широкому читателю рекомендовать ее затрудняемся.* [выделено – *Л.Г.*]»[77].

Чаще аннотации и рецензии были не столь жесткими, доводом служили такие, например, аргументы: «Роман несколько растянут… При скудости нашей беллетри-

стической литературы и обилии бульварной “художественной”, выбрасываемой частным рынком, – роман этот заслуживает внимания»[78]. После ухода со сцены литературных критиков рапповского толка такого рода реплики исчезли совсем.

Взамен популярных романов Фридриха Шпильгагена и Грегора Самарова, любовных романов Ежени Марлитт и Элизабет Вернер в двадцатые годы, рабочим, крестьянам и красноармейцам предлагались Эрих Гризар[79], Герминия цур Мюллен, Эгон Эрвин Киш, Теодор Герцк, Вильгельм Либкнехт, Макс Гельц[80], Венцель Голек[81], Агате Линднер[82], Пиер Хамп. Их имена были практически новыми для русской публики: Четко обосновывалась позиция авторов рецензий, почему одни книги должны быть в библиотеках, а другие приобретать не следует.

Чаще других в двадцатые годы публиковались Макс Бартель[83] («За решеткой», «Машина смерти», «Площадь народной мести», «Завоюем мир»); Эрнст Толлер («Человек-масса»[84], «Эуген несчастный», «Освобожденный Вотан»); рассказы и новеллы Карла Штернгейма; а также романы и рассказы Франца Юнга[85] («Пролетарии», «Красная неделя», «Завоевание машин», «Рабочий поселок», «История одной фабрики»). Мотивируя столь пристальное внимание к творчеству именно этих писателей, литературные критики находят такие аргументы: «Искусство Юнга родилось в бурную эпоху глубочайших социальных потрясений… оно было столь современным и столь тесно связанным с конкретным революционным делом, что насквозь пропиталось требованиями момента… Он мог мыслить только художественными схемами и различал только передвигающиеся, маневрирующие в борьбе классовые отряды…»; «Революционная борьба немецкого пролетариата нашла своих певцов и изобразителей. Среди них имя Макса Бертеля – одно из самых примечательных…»[86].

Рецензии на книги этих авторов печатали уже названные журналы. Они стали характерным показателем позиции к этой инолитературе. В примере цитируются комментарии к роману Юнга «Красная неделя»: «Маленькая книжечка повествует о кровавых событиях, разыгравшихся в одном из небольших заводских поселков в Германии. Действие происходит в наши дни. В ближайшем городе идет вооруженная борьба за власть, и в эту борьбу постепенно втягиваются рабочие поселка. Они полны воодушевления, надежды, что борьба принесет им избавление от рабского положения, – они полны решительности и веры, но, как только правительственный кризис разрешился, новая власть тотчас же издала приказ повсюду восстановить силой оружия порядок и в первую очередь ударила по рабочим. Книга прочтется, особенно рабочим, с большим интересом. Написана она просто, без патетических речей ораторов и теоретически-агитационных рассуждений о капитализме и социализме. …Герой – сама масса, и действует она не в романтически-героической обстановке, а в обычной. …Рекомендуем его для библиотек, обслуживающих широкие массы»[87].

Его же роман «Завоевание машин» – «книга производит бодрящее впечатление и зовет на борьбу»[88].

«Автобиографический рассказ немецкого рабочего. Рост классового сознания. Преследование правительством Вильгельма II за принадлежность к профессиональному союзу»[89]. Эти слова написаны о повести Альберта Рудольфа «Как у меня выросли крылья». Она выходила в переводе Д.А. Слонима в серии «Современная иностранная литература».

В 1888 году В. Либкнехт выпустил в Цюрихе роман Цорса «Рыцари труда» («Ritter der Arbeit») с собственным послесловием. На русском языке, в сокращенной

ВЦСПС версии, это выглядит так: «В чрезвычайно простой и правдивой форме перед читателем развертываются картины быта и общественной деятельности американских рабочих». Здесь стоит упомянуть, что речь идет об отце Карла Либкнехта[90].

После 1925 года эти авторы издавались значительно реже, а Франца Юнга вообще перестали переводить и печатать.

Журнальные рецензии могли и служить сигналом для изъятия книг. Например, крайне отрицательной была оценка книги вестфальского рабочего Эриха Гризара «Бьется сердце земли» (deutsch: Leipzig 1923): «…С большим разочарованием прочитывается книга. Идеология Гризара[91] – бесформенна до крайности. Мысли удручают своей шаблонностью. Язык – бесцветен… Пишет обо всем с одинаковой слащавостью, расплывчато, серо… Какие-то бесцветные излияния… Проблему классовой борьбы Гризар одевает в костюм пустоватой романтики. Он топит ее в напыщенной ходульной фразеологии… Книга неинтересная и вовсе не нуждавшаяся в переводе на русский язык»[92].

Там же помещена краткая рецензия на роман Теодора Грецка[93] «Заброшенный в будущее» (первая публикация: Berlin, 1895): «Профессор [имеется в виду сам Т. Грецка – *Л.Г.*] явно тяготеет к буржуазным общественным формам, у него – чрезвычайно бедная фантазия и очень скверный язык. Все эти обстоятельства… делают его [роман – *Л.Г.*] неинтересным и ненужным. Роман скучен и читается с натугой. Не следовало издавать этой безнадежно устаревшей и бедной книги»[94].

## Переводчики и переводы

Особое внимание при рецензировании и аннотировании в библиотечной прессе обращалось на работу переводчиков. Если рецензенты не имели претензий к качеству перевода, они, как правило, ограничивались репликами: «перевод хороший», «перевод недурной», «перевод сделан добросовестно», или вообще ничего не говорили об этом. Совсем по-другому звучали отзывы на некачественный, с точки зрения рецензента, перевод. Тут они не скупились на резкие слова и оценки. Например, так был оценен перевод Марка Кантора (Г. Гейне «Диспут – Чей Бог настоящий»): «Большинство наших переводчиков, как известно, плохо знает иностранные языки, с которых переводит, а М. Кантор вдобавок мало знаком с языком, на который взялся переводить, и не склонен, вообще, считаться с подлинником, который на каждом шагу извращает без надобности…. Несомненная вульгарность сатиры Гейне искуплена столь же несомненным остроумием, – а бездарный переводчик сумел сделать пьесу гораздо грубее, но не перенял гейневского юмора. Комментарий, действительно, “особый” в смысле особой безграмотности… Из нескольких русских переводов “Диспута” этот самый скверный, и всего хуже в нем не внешние недостатки, а низменное и пошлое отношение переводчика к предмету…»[95].

Нельзя обойти вниманием еще одну сторону работы с иностранной литературой, характерную для 1920-х годов. Продолжая традиции русских просветителей выступать посредниками между писателем и «простым» народом и пересказывать, «облегчая» трудные, по их мнению тексты, Надежда Крупская, с 1920 г. руководительница Главлитпросвета и с 1929 г. заместитель наркома образования, настаивает на необходимости переделки книг француза Жюля Верна, произведения которого на-

писаны «с точки зрения… буржуазии… Переделывая эти книжки, надо все это [буржуазное – *Л.Г.*] выбросить»[96]. Встречаются также советы приспосабливать «дурную» литературу в целях «нашего современного воспитания», направленного на создание здравомыслящего трудящегося, лишенного всяких старых предрассудков. Такая практика применялась и по отношению к переводам немецкой литературы. По мнению ученых-библиотековедов двадцатых годов, позитивный опыт был накоплен «Крестьянской серией “Изба-читальня”». Эта серия «состоит из переделок иностранных революционных романов. Мысль верная, оригиналы слишком объемисты и требуют хорошего знакомства с историей Европы. В переделке можно их сократить, можно ввести незаметно пояснения и замечания для удобства понимания незнакомым с историей читателям. Выбор романов очень удачен: роман Э. Францоза “Борьба за право”, Р. Швейхеля “За свободу”… отражают революционную борьбу крестьянства разных стран со своими вековечными врагами – феодалами-помещиками. Тема близка и для нашего крестьянского читателя, а незнакомству с местами действия, с общей обстановкой борьбы, помогают удачные переделки В.В. Муйжеля, Э. Пименовой и П. Константинова, вводящих в текст много разъяснений. И все-таки, следовало бы Госиздату воспользоваться интересной фабулой и поместить до или после текста романов небольшие очерки, излагающие историю соответствующей страны. Это имело бы большую образовательную ценность для деревни. Как уже говорилось, внешность этих книжек при недорогой цене (20 коп. черв. золотом) – очень хороша. Серия все же доступна для более подготовленного и серьезного читателя. Можно только порадоваться за деревню – ее очередь настала – книги уже есть и для нее и неплохие. Остается протолкнуть их по назначению…»[97].

Более осторожен в оценке переделок-пересказов чужих текстов литературный критик И. Модзалевский: «Давным-давно известно, что успешная литературная переделка крупных, большей частью, классических произведений художественной литературы требует от автора переделки большого художественного чутья, литературного мастерства и удается лишь в том случае, если сохраняет в себе характерные особенности оригинала. В противном случае, переделка превращается в ученический пересказ “своими словами” голого остова, сюжета, лишенного действенной силы истинно-художественного произведения… «ни вкуса нашего не радуя, ни глаз»»[98].

Совершенно иначе оценивали переводы и переводчиков в тридцатые годы. Именно тогда выкристаллизовались черты русской школы переводчиков, снискавшей ей мировую славу: тщательный отбор произведений для перевода, максимальное приближение к смыслу и художественным особенностям оригинала, уважительное отношение к автору и переводимому материалу. Любопытно, что переделки текста, которых стало намного меньше, почти полностью касались произведений для детей. Пропуски в текстах, появление другой смысловой нагрузки здесь также имеют политический оттенок, но он значительно более оправдан и даже спустя семь десятилетий, с нашей точки зрения, имел право на существование. Приведем только один пример, перевод-пересказ Даниилом Хармсом веселых рассказов в картинках Вильгельма Буша о двух собачках («Плих и Плюх» М. – Л. Детгиз. 1937). Сравним его с переводом К. Льдова («Плиш и Плюм» Пг. 1923)[99]. Хармс не только исключил из перевода пятую антисемитскую главу о столкновении собачек с евреем Айзиком Шифельсоном, он в корне изменил причины и следствия исправления мальчиков и собак. У Буша и К. Льдова, мальчики, отданные в школу, где их пороли за любую провинность, стали покорными и послушными:

*Оригинал:*
Nunmehr – so sprach er [Lehrer Bokelmann] in guter Ruh –
«meine lieben Knaben, was sagt ihr dazu?
seid ihr zufrieden und sind wir einig?»
«jawohl, Herr Bokelmann!» riefen sie schleunig.

*Перевод Льдова:*
Едва учитель кончил сечь
Иную братья держат речь:
«– Мы рады вам ответить да!
И будем слушаться всегда».

Такие же методы они применяют, воспитывая щенков, и тоже добиваются успеха. У Хармса все совершенно иначе:

Если кто не знал урока,
Не умел спрягать глагол,
Бокельман того жестоко
Тонкой розгою порол.
Впрочем, это очень мало
Иль совсем не помогало,
Потому что от битья
Умным сделаться нельзя.
……..
Стали оба мальчугана
Обучать своих собак
Всем наукам Бокельмана.
Били, били, били, били,
Били палками собак,
А собаки громко выли,
Но не слушались никак.
«Нет, – подумали друзья, –
Так собак учить нельзя!
Палкой делу не помочь!
Мы бросаем палки прочь».
И собаки в самом деле
Поумнели в две недели.

Прекрасные переводы-переделки детской литературы, сделанные Маршаком, Хармсом, Чуковским, стали впоследствии каноническими и переиздавались множество раз огромными тиражами.

## Немецкая литература для детей и юношества в фондах библиотек и чтении россиян

В двадцатые годы наиболее пристальное внимание уделялось комплектованию фондов библиотек детской литературой. После мертвого периода первых годов революции книжный рынок детской литературы испытывает с конца 1922 г. резкий подъем.

В течение 1923 года вышло более 500 книг для детей. По качеству своему и степени пригодности для детей они были весьма разнородны. Новые произведения на современную тему появлялись редко. Рецензентская комиссия отдела детского чтения при институте методов внешкольной работы пришла к выводу, что издательства «либо переиздают, не мудрствуя лукаво, старые книжки, либо переделывают их. А то пишут новую книжку с новой фабулой, пристегивая к ней один из злободневных лозунгов, но форма, литературная манера остаются старыми»[100].

Требования к отбору литературы в библиотеки, обслуживающие детей, были четко сформулированы: книги должны быть художественны, детям интересны и доступны, и изданы с учетом специфики возрастной группы, на которую ориентированы. Поскольку старые детские книги могли удовлетворить руководителей детского чтения и, как они считали, «нашего современного ребенка разве лишь в виде редкого исключения, а новых книг, новых по содержанию, новых по духу», почти не было, невольно пришлось с новых позиций обратиться к анализу того, что уже существовало[101].

На страницах профессиональной периодики велись дискуссии о воспитательном значении сказок. Резко негативное отношение к ним характерно для Крупской. «Есть сказки, которые спутывают действительность с фантазией… во многих сказках есть такие моменты, которые открывают двери для всякой мистики… Ведь в сказках бывает так много недоговоренного, намеков, и то, на что намекается… на деле является самой ядовитой и вредной пищей для детского ума»[102].

«Книгоношей» отмечалось: «…Преподносить пролетарскому ребенку все старые суеверия, всю старую мораль, пригодную для буржуазного строя, не только смешно, но прямо преступно»[103].

В центре внимания оказались сказки братьев Гримм. Вот несколько примеров из библиотечной прессы: Сборник сказок, составленный и переведенный Н. Жбановой – «Ведьмы, волшебники, гномы, олицетворение стихийных сил природы, – словом, все чудеса в корыте, как на подбор. Высшее блаженство для пария сделаться зятем короля». Сказка «Столик, накройся» «…полна мечтами о мещанском благополучии. Ничего умного, нового и свежего маленьким читателям она не дает – приучит их только мечтать о волшебном столе или осле. Рекомендовать подобные сказки мы не можем». «Белоснежка и Розочка» – «для наших детей такие сказки не нужны и даже вредны». «Волк и семеро козлят» – жестокая, глупая сказка о волке… такие сказки не могут быть рекомендуемы». «“Красную шапочку” – «безусловно надо выкинуть из обихода детей, так как она полна сентиментальности, глупости и жестокости»[104].

Составители примерного каталога детских книг для рабочих библиотек в предисловии к разделу разъясняют свою скептичную позицию: «Сказка – родная сестра религии. Как то, так и другое появилось, главным образом, из непонимания и неумения объяснить многие явления природы… Теперь, когда мы умеем научно объяснять многие и многие непонятные ранее явления природы, теперь не нужна нам и сказка, которая затуманивает сознание ребенка, приучает его смотреть не в корень вещей, а прикрываться сентиментальным покровом духов, чертей, богов и др. сказочных существ. …Настоящая же современная нам среда так далека по своим культурным достижениям от той, в которой жили наши дикие предки, что она почти совсем перевертывает все понятия ребенка об отношениях в мире различных сил природы. Сказки со своим материалом могут задержать это правильное миропонимание и породить смуту в представлениях ребенка. Поэтому, особенно осторожными надо быть

со всеми рекомендациями сказок, хотя бы и народных, отражающих народный быт, если этот быт наполнен чертями, русалками, лешими и другими непонятными и фантастическими героями. Не менее вредны эти сказки и с другой – психологической стороны: они порождают страх, а страх, мы знаем, порождает, в свою очередь, раболепство, преклонение перед непонятным. Страх сковывает сознание, лишает инициативы исследования непонятного предмета и воспитывает раба… Довольно с нас пережитков рабской психологии. Теперь нам надо воспитывать борцов, исследователей и наблюдателей природы. И здесь сказка нам мешает, и с этой стороны сказка нам не нужна. … еще одно обстоятельство, которое мы должны учесть, разбирая сказку – это те наслоения в сказке, которые дало классовое неравенство. … Теперь эти сказки должны стать лишь историческим материалом для этнографов и историков культуры и быта, а не настольной детской книгой. Наш ребенок живет в совершенно другой обстановке и других условиях, и ему прекрасные цари, царицы, царские дочки и сынки, наливные яблочки и поющие дудочки не нужны. ….. *нашим детям нужны* "*правдивые*" *сказки…* Мы придерживались при выборе материала, главным образом, следующих принципов: выбирать сказки, в которых отсутствовал бы элемент жестокости, мистики, стремления к мещанскому благополучию и чудесного, далекого от жизни волшебства. Таким образом, в наших списках нет ни сказок Гримма [так в тексте – *Л.Г.*], которые являются прямо-таки апофеозом мещанства, ни многих сказок Андерсена, проникнутых мистикой, ни французских сказок Перро, переполненных ненужными жестокостями, ни красивых, но слишком религиозных сказок-сказаний Лагерлёф, ни других подобных этим»[105].

«Подобными этим» оказались сказки Музеуса, Вильгельма Гауфа, Гете, Э.Т.А. Гофмана, Густава Шваба, те самые, на чтении которых выросло не одно поколение русских детей. Если с 1918 по 1923 сказки братьев Гримм издавались 6 раз, то с 1924 по 1929 – ни разу; сказки Гауфа в 1923 году издавались дважды, после 1923 – ни разу; сказки Музеуса в последний раз изданные в 1918 году, больше для детей не издавались ни разу. Ни разу в двадцатые – тридцатые годы не издавались сказки для детей Э.Т.А. Гофмана, «Рейнике Лис» Гете, «Волшебный рог мальчика» Арнима Иоахим. Фон и Брентано фон Клеменс, «Мифы классической древности» и «Роберт-Дьявол» Шваба. По существу, они ушли из детского чтения.

Редким исключением из этого правила служит «сказка о Бароне Мюнхгаузене»[106]. В 1923 г. в издательстве «Новая Москва» была опубликована сказка Мунд-Похгаммер (псевдоним, наст. имя Pochhammer, Эдмунд фон) «Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена, рассказанные им в кругу своих друзей». Книга получила положительную рецензию в журнале «Красный библиотекарь», на тех же самых страницах, где ругали сказки братьев Гримм: «Герой этой книги – ротмистр ганноверской и русской службы. Мюнхгаузен, говорилось в рецензии, – известен всему миру и его имя стало нарицательным для людей, выдающих плоды своей досужей фантазии за действительность. До сего времени на русском языке эта книга издавалась лубочно и аляповато. В новом издании эта книга, благодаря хорошему переводу и полному собранию приключений, приобретает литературный интерес…»[107]. Может быть, эта книга и получила бы известность у русских читателей, но в 1923 году в издательстве «Всемирная литература» вышли «Удивительные приключения, путешествия и военные подвиги барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе в пересказе для детей Корнея Чуковского, перевод был осуществлен с английского языка. Авторитет Чуковского[108] в сочетании с действительно удачным вариантом пере-

делки для детей сразу же стал каноническим, успеху способствовали и великолепные иллюстрации Доре.

С 1928 по 1940 год несколько в другой редакции, под названием «Приключения Мюнхаузена» или «Приключения барона Мюнхаузена», пересказ Чуковского издавался 7 раз в Детгизе, Госиздате, издательстве «Молодая гвардия» огромными тиражами. В другом переводе (в обработке И. Ренца) книга Распе появилась лишь однажды в 1927 году. В издательстве «Библиотека “Огонька”» и в библиотеках встречалась редко.

Однако, повторимся, отношение к произведению Распе Чуковского было лишь исключением, сказки для детей в их традиционном виде находились под запретом.

Само собой разумеется, что, отторгнув их, составители оказались в затруднительном положении, в чем и поспешили признаться. В результате, кроме Распе, немецкая литературная сказка в двадцатые годы была представлена только одним именем – творчеством Герминии цур Мюллен. Ее сказки – «Почему?» и «Батрак»[109]; «Что узнал Петя»[110]; «Воробей-путешественник и розовый куст»[111]; «Цветы королевского сада» (1924); «Про негритенка и его собаку» (1924) – с точки зрения составительницы рекомендательного указателя, новы по своему содержанию. Они рисуют, главным образом, «все те недоумения и недоразумения, которые получаются из тех классовых различий, в которых живет капиталистическое общество. Неравенство, эксплуатация, несправедливость – вот основной мотив сказок. По содержанию это все очень интересно, но, к сожалению, выражено это уже очень не художественно. Искусственность сквозит во всем. Может быть, тут вина переводчиков, может быть, самой составительницы, но слог и стиль сказок труден детям. Сказки могут служить образцовым материалом для рассказывания. Живая речь рассказчика сгладит всю натянутость сказки и даст нужное изложение нужного содержания. По вопросам, затронутым в сказках, их надо рекомендовать. Но, конечно особенную ценность они имеют в капиталистических странах, там это определенно агитационный материал. Для наших малюток он немного устарел, но все же имеет историческое значение. Работать с этими сказками – необходимо»[112].

В двадцатые годы творчество Цур Мюллен было представлено и романом «Спартаковцы»[113]. Впервые опубликованный в 1922 году, он настойчиво рекомендовался для пропаганды в молодежной аудитории. «Сюжет взят из жизни современной Германии. Описывается образование и рост революционного кружка спартаковской молодежи; тупой и самодовольный патриотизм косных немецких буржуа является тем фоном, на котором особенно красиво вырисовываются фигуры молодых революционеров, вдохновляемых примером России. …Книга, безусловно, создает у читателя революционное настроение; однако, это настроение будет чисто индивидуалистическим и “интеллигентским”. В сущности, даже самое спартаковское движение изображено у Герминии цур Мюллен почти как чисто интеллигентское. Выдвигая лозунг революционной романтики, мы не должны возвращаться к старым образцам индивидуалистической романтики “Овода”, “Спартаковцы” же отчасти возвращают нас к ним»[114].

В том же ряду стоит повесть для детей и юношества «История одной работницы» Аделаиды Попп, изданная в 1918 и 1923 гг., сборник рассказов «Маленькие спартаковцы» Э. Гарда, «Юность в кандалах» К. Кунарта (Школьная библиотека. 1938)[115], «Губерт в стране чудес» Марии Остен[116] (М. «Огонек». Специальный номер. 1935).

* * *

Двадцатые и тридцатые годы были очень сложными в жизни России: коренным образом изменился государственный строй и, соответственно, идеология. Но во все периоды руководители государства придавали огромное значение художественной литературе как средству воздействия на массы и как средству их воспитания. Поэтому шел строжайший отбор произведений, в том числе и иностранных авторов, которые могли и должны были читать трудящиеся. Идеологи, формирующие политику государства, были уверены: от того, что читает народ, зависит, как он думает и поступает.

В двадцатые годы преимущество отдавалось литературе, «правдиво» отражающей революционную действительность, воспитывающей массы в коммунистическом духе. После 1932 года политика партии и правительства по отношению к литературе вернулась к традиционным ценностям, в первую очередь, это проявилось в смене отношения к классике отечественной и зарубежной. Но, несмотря ни на что, и в двадцатые, и в тридцатые годы издатели, переводчики и читатели продолжали интересоваться немецкой художественной литературой и высоко ценить ее.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Октябрьская революция 1917 года была ознаменована выходом России из Антанты. «Империалистическая» война с Германией тут же перешла в войну «гражданскую». Позднее других европейских стран Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, таким образом, период «между войнами» длился с 1918 по 1941 год.

[2] *Поляк Л.М.*, *Тагер Е.Б.* Современная литература. Учебник для 10-го класса средней школы. Изд. 2-е. – М.: Учпедгиз, 1935. С. 92.

[3] В Историческом музее в Москве с 3 сентября по 24 октября 1923 г. демонстрировалась немецкая книга, изданная с 1914 по 1923 год. О ней некто А. Эй-ц рассказал в «Красном Библиотекаре» (1923, № 2–3. С. 136–138) в статье «Выставка немецкой книги».

[4] Великолепный анализ последствия введения этого термина в повседневную жизнь литераторов и издательств дал Пантелеймон Романов в повести и написанной на ее основе пьесе, которые так и назывались – «Право на жизнь». 2 тир. – М., 1928.

[5] *Быстрянский В.* Государственное Издательство и его задачи // Книга и революция. 1920, № 1. С. 2.

[6] Там же.

[7] Там же.

[8] Там же. С. 3.

[9] Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка КССР. Оренбург, 1924. Этот каталог, к сожалению, переполнен многочисленными опечатками, и первоисточник иностранных произведений не всегда представлен.

[10] Петр Краснов (1869–1947) – прозаик, профессор и военный, в 1919 году эмигрировал в Германию. О жизни и работе см.: Русские писатели XX века. Биографический словарь. – М., 2000. С. 373–375.

[11] Руководящий каталог. С. 4.

[12] Там же.

[13] Там же.

[14] РАПП – Российская Ассоциация Пролетарско-революционных Писателей (1925–1932). Ср.: Karl Eimermacher: Die sowjetische Literaturpolitik 1917–1932. Von der Vielfalt zur Bolschewisierung der Literatur. – Bochum, 1994.

[15] *Крупская Н.К.* Что писал и говорил Ленин о библиотеках. Изд. 5-е, доп. – М., 1955. С. 29.

[16] Меры против расхищения художественных ценностей [1918] (От Всероссийской Чрезвычайной комиссии. Председатель Комиссии Петерс). Цит. по: Сборник декретов и постановлений Рабочего и Крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 1-й. – М., 1919. С. 129.

[17] Одна из наиболее одиозных книг, анализирующих вкусы читателей, изданная в 1880 году, так и называлась: «Что читает народ и что следовало бы ему читать», автор Кардо-Сысоев. И вот теперь библиографы и библиотековеды получили право не только диктовать народу, что следует ему читать, но и самым суровым образом карать тех, кто с ними не согласен.

[18] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 25. Полностью текст инструкции по изъятию литературы см. в приложении – С. 35.

[19] Красный библиотекарь. 1924. № 1 (4). С. 137–140.

[20] Под этим псевдонимом публиковался Оскар Мединг (1829–1903), чиновник и дипломат в Пруссии, позже – в Ганновере, который использовал свои разносторонние знания в книгах, описывая Бисмарка, Наполеона и других «высокопоставленных» персон как участников тривиальных любовных историй. (*Прим. ред.*)

[21] Название «Der Goldsack» в немецком варианте не встречается. Речь могла идти о двухтомном романе «Der Millionenbauer», выпущенном в 1891 году.

[22] Те же книги вошли в 1924 г. в вышедший в Оренбурге «Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка КССР», изданный Кирглавполитпросветом (Киргизское Главное Политикопросветительное учреждение),

[23] *Фридьева Н.* Современные запросы городского читателя и активность библиотеки. (Наблюдения и опыт городской районной библиотеки) // Красный библиотекарь. 1924. № 1. С. 53.

[24] Там же.

[25] Павел Карпович Бессалко (1887–1920) – русский автор, живший в Вене и во Франции; в эмиграции был знаком с Лениным. «Бессознательный путь» считается автобиографическим романом.

[26] St. Petersburg 1906; ursprünglich: Raffaelo Giovagnioli: Spartaco. 2 Bde. Rom 1875; dt.: Spartacus, Feldherr der Sklaven. 1874.

[27] Герминия цур Мюллен (1883–1951) – прозаик, автор детских книг и переводчик (также с русского языка). В 1908–1912 гг. была замужем за лифляндским помещиком Виктором цур Мюлленом; после Первой мировой войны выступала как член КПГ, приветствовала Октябрьскую революцию. Потом присоединилась к пролетарско-революционерскому литературному течению. В 1938 году эмигрировала в Чехословакию, в 1939 – в Англию. Автор таких произведений, как: «Пролетарские сказки» («Proletarischen Märchen» – «Was Peterchens Freunde erzählen«, 1921; «Das Schloß der Wahrheit«, 1924), иллюстрированные Георгом Гросцем (George Grosz) и Джоном Хартфильдом (John Heartfield), роман «Наши дочки – нацистки» («Unsere Töchter, die Nazinen» 1935), поднимающий тему угрозы фашизма для молодежи. (*Прим. ред.*)

[28] Фридьева (см. сн. 23). С. 52.

[29] Цит. по: «Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917–1959 гг.). – Л., 1960. С. 96–98.

[30] В помощь библиотеке при комплектовании и работе с читателями. – М., 1930. № 4. С. 9; 22.

[31] *Рабинович Л.* Об извращениях в просмотре книжного состава библиотек // Красный библиотекарь. 1932. № 7. С. 22–23.

[32] Красный библиотекарь. 1932. № 8–9. С. 6.

[33] Цит. по «Материалы к истории библиотечного дела в СССР (1917–1959 гг.). – Л., 1960. С. 107.

[34] Речь идет о четырех томах избранных стихотворений, среди которых том с предисловием П.С. Когана. (Ред., вступит. статья и примеч. Зоргенфрея М. «Академия». 1931. 682 с.) и также: «Диспут – Чей Бог настоящий?» пер. Марк Кантор, с примечаниями и особенным комментарием. М. 1919. Вторая публикация произведения, пер. А. Дейч, иллюстр. Д. Моор, издано в московском издательстве «Безбожник».

[35] Гофман: Собрание сочинений. Серапионовы братья Т. 1–2. Пер. З.А. Вершининой. – М.: Недра, 1929. 342 с. и 291 с. Т. 7. «Ночные рассказы». Пер. З.А. Вершининой. – М.: Недра, 1930. 447 с.; «Дон Жуан. Кавалер Глюк» Два рассказа из очерков в манере Калло. Пер. С.С. Игнатова. – М.: Геликон, 1918. 36 с.; «Двойники» Пер. Вяч. Иванова. – Пг.: Петрополис, 1922. 80 с.; «Кремонская скрипка» Предисл. З.Н. Иртеньева. – М.: Созвездие, 1922. 48 с.; «Музыкальные новеллы».

Пер. П.О. Морозова. Ред. и предисловие Е.М. Браудо. – Пг.: Гиз, 1922. 109 с.; «Повелитель блох» Пер. М. Петровского. Предисл. П.К. Губера. – Л.: Академия, 1929. 262 с.

[36] От Гете изданы «Поэзия и Правда. Из моей жизни» (Пг. – М., 1923, переведено Н. Холодковским, с предисловием и комментариями Е. Браудо); «Фауст» в переводе В. Брюсова, под. ред. А. Луначарского. – М. –Л., 1928; Лирика, в переводе русских поэтов, введение В. Гиммельфарб, – М.–Л., 1931; из Собр. соч. В 13-и т. Под ред. Луначарского и М. Розанова том 1 (Лирика). Т. 2 (юные пьесы и эпические поэмы), 1932.

[37] Кроме Собр. соч. Т. 2. с пьесами «Коварство и любовь» (пер. М. Михайлова) и «Дон Карлос» (пер. М. Достоевского). – М. –Л.: ГИХЛ, 1931 были изданы: «Вильгельм Телль». – Пг.: Гиз, 1922. 20 и «Коварство и любовь. Карл Моор». Тексты и комментарии. – М.–Л.: Гиз, 1927. 165 с.

[38] БСЭ. Т. 15. М. 1929. Ст. 21–38. (Авторы статьи: П.С. Коган, Е.Ф. Книпович, В.К. Иков, С.А. Макашин.

[39] Архив РАН. Ф. 158. Оп. 4. Ед. хр. № 13. Л. 193.

[40] Что читает рабочая молодежь. По материалам выборочного исследования московских рабочих библиотек. – М., 1930. С. 64.

[41] См. например: Е. Книпович (один из авторов статьи в БСЭ): «Генрих Гейне и Карл Маркс» («Красная Новь». 1930. № 8. С. 165–180), «Гейне – политический лирик» (РАПП. 1931. № 2. С. 56–63), «Гейне как политический лирик» (М. Фед. 1932. 141 с.); Ф. Шиллер: «Гейне и рабочий класс» («На литературном посту». 1931 № 5. С. 7–12); Н.И. Бухарин: «Гейне и коммунизм» («Литературная газета». 1931. № 25. С. 3); А. Дейч: «Гейне и Маркс» (М.: «Огонек», 1931. 44 с.) и др.

[42] Генрих Гейне: Полное собрание сочинений в 12 томах, под ред. Н. Берковского, М.А. Лифшица и И.К. Луполла. – М., 1935.

[43] «Жизнь искусства», 1922, № 13, 28 марта.

[44] Собр. соч. Гете в переводах русских писателей, изд. Н.В. Гербель. СПб 1878–79. См. также: Annelore Engel-Braunschmidt: Deutsche Dichter in Russland im 19. Jahrhundert: N.V. Gerbel's «Deutsche Dichter in Biografien und Probe» als Zentrum der Kenntnis und Verbreitung deutscher Dichtung. – München 1973.

[45] Гёте: Страдания молодого Вертера. – Пг.– М.: изд. Всемирная Литература, 1922.

[46] Речь идет об известном в России издании «Спутник читателя». Предметно-тематический указатель художественной литературы русской и переводной, изданной за революционное десятилетие. Составит. Я.Е. Киперман при участии М.А. Брискмана, И.Д. Данилевского, Б.Ф. Лаврова, Н.И. Мордовченко, Р.Г. Персиц. – Л.: Прибой, 1929. 520 с.

[47] БСЭ. Т. 62. – М., 1933. С. 390–398.

[48] Указатель книг для рабочих библиотек. С краткими пояснениями содержания каждой книги. Сост. С. Анциферов, Н. Бузиньер, Ф. Доблер, Б. Мартов, В. Невский, В. Ревзина, Д. Розанов, А. Рендель, Н. Херсонская и др. – М.: ВЦСПС, 1924. С. 311; 348. Аннотация на повесть Г. Манна напечатана в разделе «Жизнь рабочих и классовая борьба», подраздел «За границей. Для начинающих и средне подготовленных читателей». Аннотация на роман «Верноподанный»: «Талантливая сатира на немецкое буржуазное общество – с его безграничным уважением перед всякой властью…» печатается в разделе «Буржуазия. Купечество. Мещанство», подраздел «За границей. Для средне подготовленных и подготовленных читателей».

[49] Еженедельная газета-бюллетень бюро партийных издательств СССР, выходящая с 1922 года.

[50] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 33.

[51] *Гурвич В.* «О Волшебной горе Томаса Манна» // Книга и пролетарская революция. 1935. № 7. С. 92.

[52] Книга и революция. 1939. № 1. С. 103; 105.

[53] Книга и пролетарская революция. 1937. № 7. С. 102–103.

[54] Книгоноша, 1925, № 8. С. 2.

[55] Там же.

[56] Книгоноша, 1923, № 3.

[57] Цит. по: «Красный библиотекарь». 1923. № 2–3. С. 32.

[58] Живая библиография // Красный библиотекарь. 1924. № 7. С. 72.

[59] *Медынский Е.* Читающая рабочая молодежь г. Москвы // Красный библиотекарь. 1924. № 8. С. 38–45.

[60] Руководящий каталог по изъятию всех видов литературы из библиотек, читален и книжного рынка К.С.С.Р. – Оренбург, 1924. С. 36.

[61] Красный библиотекарь. 1937. № 10. С. 7.

[62] В помощь библиотеке при комплектовании и работе с читателями. – М., 1930. № 5. С. 59.

[63] Статьи публиковались в газетах и журналах «Звезда», «Молодая гвардия», «На литературном посту», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни», «Книга и революция», «Печать и революция», газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета». Список внушительный и состоит из 16 названий.

[64] См. Thomas Schneider: Winzig schwarze Punkte. Bemerkungen zur Darstellung «des Russen» in der deutschen Prosa zum Ersten Weltkrieg. In: Karl Eimermacher/Astrid Volpert (Hrsg.): Verführungen der Gewalt. Russen und Deutsche im Ersten und Zweiten Weltkrieg (=West-östliche Spiegelungen Neue Folge, Bd. 1) München 2005. S. 551–552; und Valentin Michalkowitsch: Die Sechziger und das Phänomen des sowjetischen Remarquismus, in: Karl Eimermacher/Astrid Volpert (Hrsg.): Tauwetter, Eiszeit und gelenkte Dialoge. Russen und Deutsche nach 1945 (=West-östliche Spiegelungen Neue Folge, Bd. 3) München 2006. S. 1189–1208.

[65] *Ремарк Э.М.* Станция на горизонте. – М., 2000. С. 5. О «волне Ремарка» среди русских читателей в послевоенное время ср.: Lew Kopelew: Erich Maria Remarques Wiederkehr. In: Ders. Laudationes. – Göttingen 1993. S. 103–109.

[66] Книга и Революция. 1923. № 1. С. 58.

[67] Известия. 1923. № 136.

[68] Печать и Революция. 1923. № 5. С. 300.

[69] Книгоноша. 1923. № 89. С. 14.

[70] БСЭ. 1934. Т. 60. Ст. 312–314.

[71] Книгоноша. 1925. № 8. С. 18.

[72] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 38.

[73] БСЭ. М.1933. Столбцы. С. 568–569.

[74] Георг Германн Борхардт (1871–1943) – сначала купец и чиновник, позже – журналист и издатель работ по истории искусства, таких как «Geschichte der deutschen Karikatur im 19. Jahrhundert» и «Max Liebermann«; с приходом нацистов бежал в Голландию, где был арестован и депортирован в Освенцим. (*Прим. ред.*)

[75] Там же. № 10. С. 18.

[76] В оригинале – «Die rasende Rotationsmaschine» («Неукротимая ротационная машина»), пер. с нем. Г.И. Гордона. ГИЗ. – М.–Л., 1926. 230 с.

Людвиг Виндер (1889–1946) – немецкий писатель, драматург, лирик и эссеист из Пражского кружка, также публиковавшийся под псевдонимом G.A. List. Был знаком с Кишем и Вайскопфом, в 1939 году эмигрировал в Англию. «Неукротимая ротационная машина» была первой работой Виндера в прозе. Он сатирически изображает путь галицского карьериста, который с помощью крупного капитала основал газету в Вене и после ее банкротства разорился. (*Прим. ред.*)

[77] Книгоноша. 1926. № 33. С. 25.

[78] Там же. 1924. № 17. С. 7. Имеется в виду роман Зденко-фон-Крафта «Баррикады».

[79] Эрих Гризар (1898–1955) – писатель, происходивший из рабочей семьи с социал-демократическими убеждениями, жившей в Рурской области. О своих тяжелых переживаниях в окопах на Первой мировой войне написал первые стихотворения, репортажи и рассказы. В 20-е годы занимался темами труда и работы на фабриках. (*Прим. ред.*)

[80] Макс Гёльц (1889–1933) – немецкий революционер, общественный повстанец, руководитель вооружённых рабочих отрядов. Член КПГ с 1919 года. В 1921 был осужден на пожизненное заключение за участие в восстаниях против Круппа и Лютвица в 1920 году, а также за участие в мартовских боях 1921 года в Средней Германии. В 1923 году стал первым немцем, награжденным в Советском Союзе Орденом Красного Знамени. После амнистии в 1928 году Гёльц жил в СССР, где скончался 16 сентября 1933 года при до сих пор не выясненных обстоятельствах. В 1929 году его воспоминания, опубликованные издательством Malik, появились также на русском. (*Прим. ред.*)

[81] Венцель Голек, первоначально Пауль Гёре (1864–1928) – теолог, затем – политик, член СДПГ. Статс-секретарь в Веймарской республике, издатель автобиографии и биографий членов пролетариата. (*Прим. ред.*)

[82] Агата Линдер-Вельк (1892–1974) – писатель, супруга севернонемецкого писателя-новеллиста и драматурга Эма Велька.

[83] Макс Бартель (1893–1975) – немецкий писатель, в 20-х годах посетивший Советский Союз, но после ставший сторонником нацистов. Об образе России Бартеля ср. с главой: «Max Barthels Liebes – und Abenteuerreisen durchs rote Russland» in Gerd Koenen: Indien im Nebel. Die ersten Reisenden ins «neue Russland». Neun Modelle projektiver Wahrnehmung. In: Ders./Lew Kopelew (Hrsg.): Deutschland und die russische Revolution. 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5A). München 1998. S. 571–578. Также: «За решеткой» («Das vergitterte Land»), «Машина смерти» (источником могло являться: «Die Knochenmühle«, Berlin 1924), «Площадь народной мести» («Der Platz der Volksrache»), «Завоюем мир» («Lasset uns die Welt gewinnen»). (*Прим. ред.*)

[84] Подзаголовок – «драма на тему социальной революции XX столетия».

[85] Ср. с главой: «Franz Jung in Russland – auf der Suche nach den «Quellen der Revolutionswucht». Gerd Koenen: Indien im Nebel. S. 563–567.

[86] *Гаген.* Из современной немецкой литературы // Книгоноша. 1926. № 46–47. С. 3–4.

[87] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 38.

[88] Указатель книг для рабочих библиотек. 1924 (см. сн. 51). С. 504.

[89] Там же. С. 498.

[90] Там же.

[91] Ср.: Josef Jansen: Erich Grisar (1898–1955). In: Literatur von nebenan. Hrsg. von Bernd Kortländer 1925. Bielefeld 1995. S. 114–119. (*Прим. ред.*)

[92] Книгоноша. 1925. № 39–40. С. 21.

[93] Теодор Герцка (1845–1924) – австрийский политико-эконом и публицист, утопист. Его роман «Фрейланд» («Freiland. Ein soziales Zukunftsbild», Leipzig 1890) стал бестселлером в Германии – к 1896 году он был издан 10 раз. (*Прим. ред.*)

[94] Книгоноша. 1925. № 39–40. С. 21.

[95] Книга и революция. 1920. № 2. С. 53.

[96] *Крупская Н.К.* Об учебнике и детской книге для I ступени // *Крупская Н.К.* Педагогические соч. в 6 т. т. Т. 3. – М., 1979. С. 78.

[97] Красный билиотекарь, 1923, № 2–3. С. 34. Ошибка в цитате – следует читать не Э., а К. Францоз.

[98] Книгоноша. 1925. № 1. С. 2.

[99] Цит.: по *Льдов К.* Плиш и Плюм (Две собачки). Веселые рассказы и рис. В. Буша. – Пг., 1923. и *Хармс Д.* Полное собр. соч. Т. 3. С. 97–98.

[100] *Желобовский* [без инициалов] Работа над детской книгой // Красный библиотекарь. 1924. № 10–11. С. 188–190.

[101] Указатель книг для рабочих библиотек… С. 375.

[102] *Крупская Н.К.* Об учебнике и детской книге для I ступени // *Крупская Н.К.* Педагогические соч. в 6 тт. Т. 3. – М., 1979. С. 81.

[103] Книгоноша. 1924. № 23.

[104] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 147

[105] Указатель книг для рабочих библиотек. 1924. С. 375.

[106] Сказки о Мюнхгаузене были впервые опубликованы в Берлине в 1781 году в «Путеводителе для весёлых людей» («Vade Mecum für lustige Leute»). Рудольф Распе (1736–1794) продолжил эту публикацию, превратив ее в цельное произведение, и в 1785 году, снова анонимно, опубликовал свою работу якобы в Лондоне. Готтфрид Август Бюргер (1747–1794) ознакомился с этой книгой, перевел ее и переработал в произведение, которое было опубликовано в такой форме в 1876 году (и в 1888 году с 5 новыми историями). По сей день содержание перерабатывается различными авторами. (*Прим. ред.*)

[107] Красный библиотекарь. 1923. № 2–3. С. 34.

[108] См. *Раиса Орлова, Лев Копелев*. Мы жили в Москве. – München–Hamburg, 1987. S. 281.

[109] Авторизированный перевод с рукописи. М. 1923.

[110] «Was Peterchens Freunde erzählen»; по-русски «Что расказывали Пете его друзья». Сказки. Рисунки А. Хвостов (2 тираж). – Харьков, 1923. См. и «Что рассказывали Пете его друзья», перевод Е.М. Левин. Ред. Г.В. Гимельфарб, рисунки Георге Гросс. – Харьков, 1925.

[111] Воробей-путешественник и Розовый куст. Сказки. Рисунки художника И.И. Пичугина. – М., 1923. Сказка была опубликована год спустя в издательстве «Красная новь» в переработке М. Переплетчиковой: «Про храброго воробья и его товарищей». Полную информацию о русскоязычных изданиях работ цур Мюллен см.: Hermynia zur Mühlen: Der Spatz. Märchen. Berlin (Ost) 1984. S. 228–229.

[112] Указатель книг для рабочих библиотек. С. 387–388.

[113] Произведение, переведенное Остерманом, на русском имеет различный объем: в 1922 году – 135 страниц, в 1923–115 страниц.

[114] Бюллетень книги, 1922, № 7–8. С. 91.

[115] «G(H)ard» и «Kunard» не были найдены в немецком первоисточнике.

[116] Мария Остен (настоящая фамилия Грессхёнер, 1908–1942) – с 1928 года работала в берлинском издательстве Malik. До знакомства с Михаилом Козловым в 1932 году, была замужем за режиссером Щербаковым. Как знак своей привязанности к Советскому Союзу она выбрала псевдоним Остен. Работала журналисткой в Москве, Германии, Испании и Франции. После нападения Гитлера на СССР была расстреляна НКВД в 1942 году.

# 2. КУЛЬТУРНОЕ ЕДИНСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ

## Окончание немецко-русского философского диалога

*Райнер Грюбель*

## ЧАРЫ И ЗАЩИТА. Двойственные образы Германии в творчестве Василия Розанова[1]

### 1. Взгляд Розанова на немецкое как на чужое: предпосылки

#### *1.1. Многообразие, многозначность и смутность образов Германии*

Образ Германии, сформированный Розановым, многолик, как и каждый из его важных проектов. Прежде всего он двойствен – «загрунтован» привлекательностью и отторжением. С самого начала Розанов набрасывал Германию как противоположность России. Многое из того, что мешало ему в Российской Империи, в Германской он находил достойным похвалы, и почти всего, что он любил в родном краю, недоставало ему в контрастировавшей стране на Западе. Розановские образы России во многих местах представляют собой, по сути дела, неопределенные или определенные контрпроекты по отношению к Германии.

С того времени, как родоплеменная жизнь с возможностью взаимных знакомств сменилась разнообразной в количественном отношении и обширной организационной формой, в которой это «мы», основанное на знании, было заменено другими способами конституирования, форма культуры как веры (religio), а затем и биологическое явление происхождения (natio) оказались возведенными в ранг признака, формирующего идентичность[2]. В XIX веке, наряду с обострением биологической идентификации в результате прогресса биологической науки в сфере учения о наследственности, а также распространения полученных данных на изучение расовой принадлежности, была предпринята попытка поставить единство этнически определяемых культур на материальные или социальные основы (климат, ландшафт, общество). Так, индивид мог вывести свою идентичность из принадлежности к расе или «культурной нации», классу или землячеству, отличавшимся отчетливыми признаками от других рас, культурных наций, классов и/или землячеств. «Мы» в меньшей степени определяется положительными свойствами его носителей, нежели отрицательным отношением к отличным свойствам других, прежде всего, наделенным ценностью иного уровня.

При непредвзятом подходе образы Германии, созданные Розановым, предстают размытыми и синкретическими. Они едва ли отличаются от регулярно называемого

«Германией» политического образования и живших в нем или вне его германских людей, хотя русский язык держит для них наготове слово «немцы» с совершенно другой этимологией. Опираясь на русское название страны, которое применяется к явлениям, происходившим от глубокой мифической древности до современности, Розанов едва проводит какое бы то ни было различие между культурным регионом современности и предшествующими ему историческими ступенями. Германии противопоставляется как Романия, так и Славия.

Для Розанова культурное и политическое образования современности являются формами проявления возможностей этноса, дающих себя знать издавна. Тот, кто производит сравнение, даже не отличает, как правило, Германскую империю от ее немецкоязычных соседей; он не колеблясь помещает явления не немецкоязычной Швейцарии, как то, реформатора Кальвина и кальвинизм, в поле зрения протестантизма при культурном знаменателе немецкого[3]. Но и в Прибалтике, особенно в Латвии, многое, не без исторической причины, казалось Розанову «немецким».

Этот недостаток исторической и географической остроты настройки у бывшего учителя географии и истории покоился не на незнании, а на стремлении, констатируя многочисленные отличающиеся от «русского» «германские» факты и свойства, удостовериться в особенностях собственной культуры, своих земляков и, в конце концов, собственной личности. Вполне в соответствии с этимологией обобщающего обозначения германцев как «немцев» (немых, т.е. тех, кто не говорит на русском / славянских языках), обозначения «Германия» и «германский»[4] с помощью переноса значения слова нередко служили наименованию всего нерусского, иностранного и чужого. «Германские впечатления» – так Розанов хотел назвать свои репортажи о двух посещениях Германии[5]. Они противостоят «Итальянским впечатлениям», противопоставляя культурную форму Апенинского полуострова немецкой и в ценностном отношении[6].

Против этого нечеткого разделения между сферами сравнения мы будем стремиться, по причинам эвристического свойства, отделить восприятие и изображение Розановым форм проявления германского как культурного единства, то есть «германской культуры», от черт характера «немцев», а их, в свою очередь, от политического образования под названием «Германская империя». При этом следует допустить, что такое разделение нередко представляется искусственным с учетом изложенного предмета, оценки Розановым «германского».

Разработанные Розановым проекты Англии и Франции, Швеции и Польши[7], Китая[8] и Америки уступают, при сравнении, образу Германии по объему и убедительности. Это объясняется поначалу более сильным присутствием немцев в России, географической близостью империи Бисмарка к царской империи и значимостью одного государства для другого. Интенсивность их взаимного трения была связана также с силой притяжения немецкоязычных, прежде всего философских, религиозных и художественных ценностей для философов, критиков религии и писателей, тем более что они часто дополняют в своей характеристике русские взгляды. В конце концов, и происхождение членов царского дома из Германии, как и два посещения Германии Розановым, сыграли свою двойственную роль в формировании его интереса к западной соседке. Заслуживает внимания и выбор Германии в качестве цели двух заграничных поездок Розанова, которых было общим числом три.

Немало было случаев, когда немецкие элементы служили Розанову в качестве катализаторов для реформирования русской культуры. Его реформаторское рвение –

часть компенсации сначала несостоявшегося, а затем замедлившегося, отчасти снова отмененного, русского Возрождения, если мы вообще хотим признать для России периодизацию европейских культур, а тем самым и модель «нового времени». В лице Гоголя Розанов усматривал родившегося едва за полвека до себя поборника средневековья, а во Флоренском – рядом с собой и лишь четвертью века моложе себя пророка возвращения в раннюю эру нового времени. Историческая современность привлекала их менее всего.

Розанов хотел реформировать Россию, модернизировать ее, раскрывая в то же время основу прежних (не связанных с определенным временем) культур Ветхого Завета и Египта. В качестве романтика и модернизатора, архаиста и новатора он стремился и Россию объявить устаревшей. При этом трюке Германия как опора пришлась ему кстати. Россия была, по его мнению, «самая консервативная страна, – оттого она и самая радикальная»[9].

Внимание Розанова к немецкому чужому было превзойдено лишь интересом к египетскому и иудейскому, которые на многих фазах его писательской деятельности куда сильнее пленяли мышление философа. Прежде всего, эмоциональное участие в иудейском и страстное стремление к древнеегипетскому несравненно сильнее обхождения с Германией, германским и немцами, бывшего, скорее, рассудочным. С евреями Розанова связывает не желающая прекращаться ненависть-любовь, с египтянами – постоянно растущее восхищение[10]. Для образа же Германии характерен средний уровень тепла, признание смешивается с пренебрежением, по временам возрастая до противоположности между восхищением и презрением, чтобы снова снизиться до трезвого равнодушия.

В отличие от представлений Розанова о «евреях», – а представления эти являют различные, контрастные по отношению к «русскому», образы, в проекте, касающемся немцев, едва ли можно увидеть долгосрочные тенденции развития или внезапные скачки. Конечно, ход Первой мировой войны и революций 1917 г. сопровождается как оживлением антипатии к Германии, так и уважения к ней, вопреки воле автора, но, в отличие от образа евреев, мы не найдем внезапного и резкого перехода от любви к ненависти или даже позднего возвращения к восхвалению, проникнутому покаянными тонами.

Трещина между прежним и теперешним лишь постепенно формируется в творчестве Розанова (по модели оппозиции между Веймаром и Пруссией, сформулированной г-жой де Сталь) при взгляде на немецкое как на противоречие между культурой времени Гёте и вильгельмовской Германии. Так как еврейское и немецкое являются общим альтернативным фоном для воспринятого и представляемого, как отвергаемого, так и желаемого образа России, то Розанов неоднократно называл одним духом немцев и евреев «другими» – будь то в качестве примеров или персонажей ужасных картин.

### *1.2. Еврейское и немецкое или все же еврейское и русское?*

Тесное сближение Розановым образов немцев и евреев приходится сначала на 1907 г. и соответствует его либеральной переориентации после революции 1905 г. В его путевых заметках «Русский Нил» оно достигает высшей точки как торжественная оценка еврейско-протестантского движения – общины «Израиль Нового Завета».

Русский путешественник познакомился на волжском пароходе с сыном основателя этого движения Иосифом Рабиновичем (1837–1899)[11].

Ожиданию спасения русского народа от связи с еврейским суждено было, однако, продержаться едва четыре года. В ходе проходившего с 1911 по 1913 гг. процесса Бейлиса, который, подобно делу Дрейфуса во Франции, как обнажил антисемитизм в России, так и разжег его, Розанов находился на стороне русских националистов, взваливавших на Бейлиса вину за убийство русского мальчика Андрея Ющинского. Хотя судебный процесс и доказал в 1913 г. невиновность еврея, Розанов никогда не отказывался от своего противоположного убеждения[12].

Когда в 1913 г. Розанов констатировал в дневниковых заметках «Перед Сахарной», что греки и римляне, в сущности, отец, только «жидова» – вечная мать, и в этом заключается источник еврейского могущества и значительности, он подспудно сблизил евреев с русскими, чью женственность он не уставал подчеркивать[13].

Уже во время Первой мировой войны Розанов снова объединил немцев и евреев в образ общего врага; именно они – внешний и наиболее ожесточенный противник России[14]. Под 18 июля 1915 г. он констатирует, что евреи доминируют в торговле консервами, а немцы господствуют в русских городах. Стереотип перемещен в негативное с поворотом к антисемитизму и вступлением в Первую мировую войну. Речь больше не идет о совместимости стилей жизни – рассматривается вопрос о виновниках снижения благосостояния и недостатков снабжения.

### *1.3. Национальные стереотипы и их дискурсная форма*

Здесь не место для принципиального обсуждения культурной проблематики повседневных или научно обобщенных характеристик чуж(естранн)ого как разного образа мыслей и ведущихся об этом спорных дискуссий; исследователи стереотипов и идеальных образов других личностей в подсознании данной личности уделяют этому кругу вопросов внимание в течение ряда лет с достаточной широтой и нарастающей глубиной. Во всяком случае, человек открывает свою особенность, как представляется, посредством определения специфики другого, и в чем более общей форме мы характеризуем чужого, тем более определенными представляются нам собственные контуры. Нас занимает нечто иное, а именно представление России о самой себе, поскольку оно проявляется как противоположность Германии, а также образ нас, немцев, который создал себе Розанов и в котором он, большей частью, по неведению, набрасывает портрет, противоположный своей собственной личности. Мы не намерены решать, реконструируем ли мы таким образом лишь исторический стереотип очень деятельного наблюдателя Германии в конце XIX – начале XX вв. или укажем и на собственные недостатки.

Взаимное определение культурной значимости России и Германии как двух сфер развития культуры основывается на их положении в центре и на границе. Критик культуры Розанов, добравшийся из северо-восточной провинции до Москвы, а потом попавший в Петербург, всегда отвергал западный взгляд на Россию как на европейскую периферию, но также и представление о ней как о части Азии. Иначе, нежели для символиста Блока и футуриста Велимира Хлебникова, Россия лежит для Розанова в *центре* Европы, выполняя функцию моста в Азию. С его точки зрения, *именно* в России принимается решение о будущем Европы. В соответствии с этим,

немецкая культура оказывается на краю; ее место в историческом прошлом, примерно в эпохе Реформации, или в географическом отдалении. По мнению Розанова, с немецкой точки зрения, Россия и Германия меняются местами.

Постижение назначения отдельных народов предлагало возможность посредством смешения их задач открывать новые предпосылки осуществления этнических предназначений. При этом, Розанов никогда не думал о государственном регулировании национальной принадлежности супругов, например, в проведении демографической политики, совершенно расходясь в том с национал-социализмом. Все государственно-политические соображения были ему чужды, более того, в высшей степени ненавистны[15]. Вместо этого он выступал за идею ответственности индивида как личности. Наконец, идея этнического смешения, которое он приветствует применительно к русским и евреям, противостоит той идее чистоты, которая доминировала в расовой политике.

### *1.4. Навязывание своей воли посредством формирования метонимической очевидности*

В основном процессе определения чужого Розанов следует своему обычному способу действия. Он выбирает, как правило, отдельный, доступный чувственному опыту случай, на основании которого считывается характер всех случаев, или выхватывает ту часть целого, на которой проявляется характер целого. Мы можем назвать этот способ «формированием метонимической очевидности». Так, на примере униформы кучера главного вокзала Риги Розанов показывает свойства характера немцев. Хотя это искусство физиологического рассмотрения совпадает с убеждением Лафатера в том, что во внешности (воспринимаемой Розановым физиономически) можно увидеть и внутренний мир, внешний облик, на который обращает наше внимание русский путешественник, диаметрально противоположен тому, о котором говорил Лафатер[16]. В соответствии с семиотическим фундаментализмом Лафатера, речь идет о внешнем виде человека, определяющемся наследственностью, наглядно представляющем характер. Тело (вопреки христианской модели противоположности между душой и телом) является адекватным выражением внутреннего мира человека, облик тела соответствует душевной структуре. Напротив, у Розанова речь идет о семиотике поведения: здесь выбор одежды, ношение формы – выражение характера личности. К тому же, это характерное поведение, в силу рассуждения от отдельного случая к общему, свойственно народу, к которому относится носящий форму. Этот дискурс знания предполагает этническую психологию Вундта без ее подробного рассмотрения[17].

Русским Розанов отводит не периферийную, а центральную позицию между проявившейся во Франции, четко разделенной и упорядоченной Европой, с одной стороны, и темной, беспорядочной и заскорузлой Азией – с другой. Принципиальная позиция Розанова по отношению к французам определена симпатией; он говорит даже о «симпатии крови» (109), связывающей русских и французов. От Метерлинка, которого Розанов воспринимал как часть французской культуры, он получил существенные импульсы для прощания с позитивистским разделением между телом и духом. Напротив, к немцам он относился, во всяком случае, по-деловому, что исключало эмоциональный подход, прежде всего, слезы сопереживания.

Розанов отдавал себе в этом отчет: соприкосновение с чужим изменяет собственный взгляд. Он признается: «(…) за границею я везде чувствовал большой подъем национального чувства (…)» (433). Представляется невероятным, что в России начала XX века он, как литератор, мог быть убежден в том, что христианская литература существует только в России. В «Post scriptum» к циклу «Итальянские впечатления» он признает:

> Не выезжав никогда из России, я со словом «русский» и «русизм» сливал понятия: «христианин», «верующий», «христианство», «вера». Перевалив через Альпы, я прямо изумился увиденному. «А! Так вот как еще можно верить, думать, молиться, созерцать – оставаясь христианином; а когда так можно, то еще можно и по-третьему», – подумал я. (233)

В 1910 г. Розанов хвалил новую подвижность молодой русской интеллигенции, ее готовность поехать за границу (631). По сравнению с его собственным обучением на цветных картинках, это – прыжок из искусственности в действительность. В то же время, он сетует на то, что Пушкину так и не дали возможности выехать из России (322). Для сравнения Розанов вспоминает современника поэта, Александра Гумбольдта, которого путешествие по Южной Америке вдохновило на написание «Космоса». В России вместо вдохновения господствует «дикая азиатчина» (323); отношение здесь к человеческой душе напоминает об императорах Нероне и Диоклетиане. Пока русская культура остается лишенной вдохновляющего опыта заграницы, эта культура угнетаема. Переживания, испытанные за границей, вызвали восклицание: «Странная Русь» (633). Собственное – это-то и есть подлинно чужое.

### *1.5. Географическое многообразие и историческое единство*

Двойной взгляд Розанова на различные народы и, тем самым, на Германию и Россию как противоположность Германии был связан с двумя областями деятельности, которые он преподавал одиннадцать лет – географией и историей. Преподавал он неохотно и мало был пригоден для этой профессии, но тем четче в его отношении к миру проявлялся этот двойной взгляд. В качестве географа Розанов видел и описывал мировое целое, в деятельности историка, для которого главной была, прежде всего, «отечественная» история, все сосредоточивалось на России[18].

Подчеркнутую в пушкинской речи Ф.М. Достоевского специфику русского народа, – а она заключается в восприятии всего чужого – Розанов реализует в виде глобальной регистрации, которая охватывает Африку, Америку, Азию и Европу. Все значимые для него явления этих континентов он включает в русскую историографию, которая всегда была для него объяснением настоящего. Так, его взгляд мечется между синхронией географического и диахронией исторического, подчеркивая историчность описательной географии и превращая ее в геоисторию, а историю, путем подчеркивания географического аспекта, превращая в этнографию. Историография служит определению собственного места, собственной личности[19].

Европейская ориентация России, начавшаяся с Ивана Грозного, усилившаяся в царствование Петра I, а завершение нашедшая в указе императрицы Екатерины, в котором Россия фигурировала как «европейская страна», и в идентификации Европы и Просвещения, в русском романтизме превратилась в проект нации как индиви-

дуальной личности. Идея оригинальности национального сознания как высшей ценности трансформируется у М.Ю. Лермонтова в проект своеобразия России в двойной ее противоположности: Западу с ведущим принципом стремления к счастью, и Азии, где основной принцип – требование покоя[20]. Согласно Лотману, поручик Вулич в «Фаталисте»[21] воплощает «южное», свойственное исламу представление о кисмет – предопределении, а Печорин – «западную» идею европеизированной России: опора личности на свободную волю, индивидуальность и рациональный критицизм. Сомнение как ведущий принцип вызывает у Печорина колебание между южным и западным убеждениями. Оттого у Лермонтова Польша как конкретный Запад направлена на Кавказ, конкретный Восток, со своими вариантами Грузии и Крыма. В то время как на идеологическом уровне развивается жесткое противоречие между западничеством и славянофильством, литература Пушкина, Лермонтова и Достоевского показывает третью возможность посредничества между Западом и Югом/Востоком.

Напротив, Розанов видел для России шанс исторического единства ее (географической) многонациональности в возрождении идеи Москвы как «третьего Рима». Такое государство должно отвернуться от цели национально обоснованной империи, осуществляющей русификацию, и вернуться к культурно обоснованной империи. Фундамент Российской Империи должен быть не столько политическим, сколько моральным:

> Почему не стать России на вселенскую почву, не помечтать, как некогда она мечтала в Москве, о «третьем Риме» в себе, т.е. о третьей во времени, а сейчас первой и единственной правде?[22]

## 2. Встреча с «немецким» в детские, школьные и университетские годы: принятие и критика

Розанов соприкасался с немецким на всем протяжении своей жизни – от детского чтения до позднего творчества. Детство и юность в 60-е и 70-е гг. познакомили, однако, его, росшего в русской провинции, не столько с Германией и немцами, сколько с «немецким». Напротив, фазы учащавшихся встреч с «немецким» образуют учеба в Москве 80-х гг., поездка в отпуск летом 1899 г. в Латвию, а также две поездки в Германию ранней весной 1905 г. (Берлин-Дрезден-Мюнхен, Швейцария-Вена) и летом 1910 г. (Бад Наухайм, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Берлин). Детские и школьные годы, проведенные в восточных провинциальных городах Ветлуге, Костроме, Симбирске и Нижнем Новгороде (1856-1877), не оставили в памяти Розанова следов от встреч с немцами. Школьник, а потом студент непредвзято воспринимал немецкую культуру. Одно из первых переживаний от чтения, оказавшего особое влияние на рано осиротевшего и росшего в бедности мальчика и подростка, было переведенное на русский язык научно-популярное немецкое изложение истории античности. На протяжении пяти лет, сообщал он позже[23], его сопровождала в качестве единственного чтения первая часть дидактических «Очерков из истории и народных сказаний в пяти главных частях Земли» Августа Вильгельма Грубе[24]. Когда

в 1918 г. Голлербах работал над биографией Розанова, тот, кому оставалось до смерти всего полгода, так описывал свое раннее чтение детской книги Грубе:

> Первые книги прочитанные: «Путешествие Телемака» […] и главное, самое главное: часть 1-ая «Очерков из истории и народных сказаний» (Грубе?), начиная: Финикияне. Сезострис. Суд над мертвыми. Алиас и Кир. Фемистокл. Поход аргонавтов. Леонид и Фермопилы. Греков и римлян *до поступления в гимназию* я знал как «пять пальцев» и *совершенно с ними сроднился*, благодаря этой переводно-немецкой книжке.
> Она была без переплета, но вся цела, и лет 5 была единственным моим чтением. Это *единственное* чтение, легшее на душу *одиночным*, не *рассеянным* впечатлением, страшно сохранило, сберегло душу. Оцеломудрило ее. *Эта книга была моим Ангелом-хранителем*. Вечная благодарность прелестному Грубе[25].

Здесь детский интерес Розанова к истории ранних высокоразвитых культур был пробужден изложением, созданным с немецкой точки зрения. И, вероятно, эта ранняя встреча со всемирной историей, отмеченная смешением популярного просвещения и спадавшей романтики, привила Розанову склонность к протестантизму, которую ему никогда не суждено было утратить. В этой склонности он не отдавал себе отчета, даже изучая в Московском университете культуру и историю протестантизма. Православная традиция приносит в жертву литургии безусловную веру своему суждению о текстах, в том числе о священных книгах. Напротив, Розанов при всем глубоком уважении к ритуалам сохранил убежденность в необходимости собственного суждения. Чтение статьи Фердинанда Лассаля «Железный закон» произвело на юношу, как он неоднократно подтверждал, глубокое впечатление:

> […] в ней объяснялось, почему фабриканты, даже при желании поднять заработную плату, не могут этого сделать, что законом конкуренции они сдерживаются от всякой попытки в этом направлении и, когда упорствуют в ней – погибают[26].

Пораженный несостоятельностью Бога и неизбежностью революции, он после этого чтения пустился бегом по набережной Волги в Нижнем Новгороде[27]. Движение вдоль русской реки должно было до некоторой степени компенсировать несправедливость русской истории, раскрытую немцем.

Розанов читал также переведенные в 1863 г. на русский язык и вышедшие в 1867 г. вторым изданием «Физиологические письма»[28] немецкого материалиста Карла Фогта, как и «Географическую историю человека и четвероногих животных»[29] Эрнста Августа Вильгельма фон Циммермана (1743–1815). В ходе учебы у него, однако, сформировалось критическое отношение не только к материализму, но и к немецкому примеру. Оно вылилось в начале 80-х гг. в попытку создать в форме философского труда «О понимании»[30] русскую философию, превосходившую Канта, Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра. Неудача книги, не в последнюю очередь, объясняется этим невысказанным стремлением – превзойти. Вполне возможно, что причина обретения духовного расстояния от Германии заключается в принятии, к сожалению, не документированном, критики Шопенгауэра Владимиром Соловьевым.

В начале учебы студент читал первый том «Истории Рима» Моммзена и делал из него выписки. Здесь еще отражается вера в значение немецкой науки. Вскоре в облике бездарного преподавателя Шварца он, однако, встречает «сухую немецкую мо-

чалку»[31], которая немилосердно обрабатывает спины русских студентов. Педагог пытался вдолбить в их головы грамматические формы древнегреческих текстов. Этой одержимости деталями Розанов безотчетно сопротивлялся, пропуская лекции. Миф о немецкой науке был лишен очарования.

Раннее свидетельство растущего отдаления Розанова от Европы, а тем самым, и от Германии – его статья «Европейская культура и наше к ней отношение» (1891)[32]. Здесь он проясняет свою связь со славянофилами (особенно с Николаем Данилевским и Константином Аксаковым, но, прежде всего, с Константином Леонтьевым, а также Николаем Страховым[33]) и свое отвержение западничества. Заявленная цель Розанова состоит в том, чтобы выявить «положение своего народа в истории», не проявляя враждебности к Европе[34]. По прошествии пятнадцати столетий значимой истории континент вступил в конце XIX века в такую фазу, в которой он считает своей задачей технические выдумки «усовершенствования», отрицая, тем самым, свое прежнее развитие. Речь идет не о том, чтобы исполнить танец победителей на развалинах культурных сокровищ Европы – нет, «[...] унося ее неоцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории». Россия призвана превзойти (Западную) Европу, взять на себя ее задачу. Передача эстафеты аналогична идее смены иудаизма христианством.

## 3. Превзойти немецкую философию

В шкафах бывшего гербария Московского университета, там, где теперь преподавалось античное искусство, Розанов обнаружил в один прекрасный день собрание сочинений Шеллинга[35]. Он благоразумно умолчал в своих воспоминаниях о том, в какой мере, изучая философию, познакомился с Кантом и Гегелем. Даже если Шопенгауэр и не должен был входить в его учебный план, от его внимания едва ли могло, вероятно, ускользнуть изложение взглядов Шопенгауэра Дмитрием Цертелевым, вышедшее в Петербурге в 1880 г. к столетию философа («Философия Шопенгауэра»), как и изложение жизни и труда Шопенгауэра усилиями Московского психологического общества («Артур Шопенгауэр. Очерки его жизни и учения»), а также принятие и критика Шопенгауэра молодым доцентом Соловьевым, который только тремя годами был старше Розанова.

Хотя первая книга Розанова, обстоятельное философское исследование «О понимании», в его разграничении устойчивого («существующего») с преходящим («являющимся») близка противоположению сущности и явления Гегелем, мы едва ли находим в ней свидетельства занятий Розанова немецкой философией. Со времени деятельности кружка Станкевича и магистерской диссертации Чернышевского Гегель был в России настолько известен, что едва ли какой-либо критик и компетентный читатель книги проглядел бы эту концептуальную близость[36]. В то время как Страхов неблагоприятно отзывался о «не особенно строгом и ясном повторении категорий Гегеля» (Там же, с. 112), Соловьев сделал полемический вывод, говоря, что Розанов, не читая Гегеля, пришел к тем же выводам, которые сделал и Гегель. По мнению Соловьева, этого делать не стоило – проще было бы изучить немецкий язык.

И, тем не менее, в отличие от Гёте и Шиллера, Якоба и Вильгельма Гриммов, Александра и Вильгельма Гумбольдтов, Лютера и Лессинга, а также Карла фон Савиньи, Гегель *нигде* не упомянут в этой толстой книге[37].

Один-единственный раз появляются в ней и имена Канта, Шеллинга и Шопенгауэра, да и английскому эмпиризму Юма (два упоминания) или утилитаризму Гоббса и Милля (по одному упоминанию) приходится немногим лучше при дерзкой попытке Розанова уличить русскую официальную философию в отсутствии у нее практического значения и превзойти немецкую критику эмпиризма.

Значимость натурфилософии Шеллинга для мышления Розанова доказывает и его письмо Эриху Голлербаху от 29 августа 1918 г. Он говорит о «гениальном Шеллинге с “natur philosophie”»[38] (sic!). Наблюдаемую гимназистом в Симбирске трещину в исторической жизни русской души, принесшую с собой грубость и отвержение всех внешних форм, включая и риторику, этот «белый нигилизм» он объясняет тогдашней отповедью русскому романтику Василию Жуковскому и немецкому идеалисту Шеллингу:

> Свирепая ненависть к «идеализму» и «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно «идеализм»-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которою пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем бездуховным и иногда безжалостным, жестоким[39].

Философия природы, идентичности и откровения Шеллинга вызвала в России большее воздействие, чем на родине философа: она стояла у колыбели русского славянофильства. Русское шеллингианство, которое было представлено как Д.М. Велланским, «любомудрами», так и Киреевским, Чаадаевым, Фетом и Аполлоном Григорьевым, а также, впоследствии, Соловьевым, предлагала фон, от которого могли оттолкнуться позитивизм и материализм. Затем с 40-х гг. открылась альтернатива – наследование Шеллингу или Гегелю.

Перемещение акцента с мышления на созерцание биографически обосновывается у Розанова прощанием с философией, но оно, конечно, располагается и на фоне его, к сожалению, в значительной мере скрытого, принятия Шопенгауэра. Тем не менее Розанов признавал, что прочитал до половины первую страницу главного труда Шопенгауэра:

> Из Шопенгауэра (пер. Страхова) я прочел тоже только первую полвину первой страницы (заплатив 3 руб.): но на ней-то *первою строкою* и стоит это: *«Мир есть мое представление»*[40].

Противопоставление у Шопенгауэра мира как воли и мира как представления дает Розанову предпосылку для восприятия и обоснование недостатка собственной инициативы. Он признает: «Не будь Шопенгауэра, мне, может, было бы стыдно: а как есть Шопенгауэр, то мне «слава Богу»[41]. В то же время это философски оправдывает для него предпочтение русской созерцательной бездеятельности по сравнению с немецкой активностью, что Гончаров воплощает в противопоставлении Обломова Штольцу. Розанов стилизовал самого себя как «вечного Обломова»[42].

Сокрыто и принятие Розановым Ницше[43]. В сноске к книге «Легенда о великом инквизиторе» он при взгляде на социальную оппозицию между элитарным сознани-

ем и солидарностью, между требованием устранения слабых и тезисом, согласно которому гении излишни, причислял немецкого философа к первому варианту[44]. Один раз создатель «Заратустры» и «Антихриста», с которым критик Христа Розанов должен был чувствовать себя в родстве, предстает как проявление перехода немецкого «гения» в «сумасшествие»[45], с точки зрения русского, свидетельствующее о культурном истощении Европы. Он – пример упадочничества в образе выходящей из берегов «религии своего *я*»[46]. Еще в 1901 г. Розанов отвергает изречение Ницше о том, что христианская нравственность является моралью рабов[47]. Никогда не сформировалась такая властительная аристократия, как у «кротких» христиан. Возникновение и история авторитета в христианстве вообще еще не написаны. Но в 1903 г. он уже с восторгом по адресу Ветхого Завета подчеркивает, что там служитель Божий еще не становился «сверхчеловеком»[48], и критик не утаивает, при этом, своего нерасположения к главному понятию Ницше.

И затем Ницше снова служит Розанову доказательством тезиса о том, что «русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям»[49], как невеста или жена – мужчине. Ревность слышится в жалобе Розанова на принятие Ницше в России: «Его Заратустру цитировали как любимые стихотворения, как гонящую сон заветную сказку […]»[50]; услышать такой отклик не довелось даже Пушкину. Наконец, в 1910 г. Розанов объявляет без сожаления, что интеллигентная молодежь в ходе своих путешествий в Северную Африку будет после Ницше поклоняться новым духовным героям (632).

Еще в 1910 г. немецкие философы были Розанову куда ближе, чем Достоевский[51]. Вот только эстетика Ницше оставалась ограниченной книгами там, где Леонтьев принес красоту в жизнь. В «Уединенном»[52] Розанов противопоставляет западной философии человека, который хочет выпороть, – русскую «философию выпоротого человека». Примеры первой дают, по его словам, «Манфред» Байрона и Ницше, второй – максима Толстого «Непротивление злу». Наконец, Розанов, оскорбленный критикой Дмитрия Мережковского в свой адрес, заявляет, что тот в качестве разрушителя христианства равен Ницше[53].

Только в «Опавших листьях», где Розанов проклинает превращение «Антихриста» в шаблон, он выносит скрытое положительное суждение о Ницше[54]. Но, учитывая неуплату долгов собственным должникам, он осуждает ссылку на «По ту сторону добра и зла»[55]. Отказ от морали идет на пользу одному лишь субъекту действия, но не его жертве. Розанов протестует против любого сравнения его мышления с мышлением немецкого философа (снова имея в виду Мережковского[56]): «С Ницше… никакого сходства!»[57] И опять он обращается к фигуре превосходства (теперь назван по имени и Леонтьев): «По сложности и количеству мыслей (точек зрения, узора мысленной ткани) я считаю себя *первым*»[58]. Защита снова внушена конкуренцией с немецким философом.

## 4. Форма – то, во что постоянно одеты немцы: Рига, 1899 г.

Летом 1899 г. Розанов предпринял поездку в Латвию, которая завершилась путевыми заметками «В Прибалтике». «Нужно посмотреть, что там за немцы такие и как они живут?» – вопрос, мотивировавший путешествие, утвердительный же руково-

дящий принцип таков: «Нужно посмотреть на немцев»[59]. Это соображение оказывается в содержательной, с культурно-географической точки зрения, оппозиции к прошлогоднему опыту, приобретенному на Кавказе.

«Смотрение», а не разговор – вот основной способ действия путешествующего, и он оценивает первое физиологическое впечатление как то, которое «улавливает главную новизну в стране или местности» (45). Таким образом, чуждость растворяется в эстетической модели: то, что действует как самое новое, и есть самое чуждое. Такую новизну в рассматриваемом случае образует ношение формы кучером на вокзале в Риге. Следует объяснить, отчего «немцы есть, были и частью остаются чуть ли не коренным служилым сословием в России». Сообщение о том, что кучера сами и изобрели эту форму, подтверждает странствующему приобретенный им чувственный опыт. Ношение формы – это прочное самовыражение «немцев и латышей» (46). Отношения между русскими и немцами – это отношения социальной иерархии.

С социальным стереотипом немца – служилого человека – согласуется тезис Розанова о том, что немцы могут эмоционально возбуждать вместо «любви» только «уважение». Напротив, кавказцы, чьи края он посетил в прошлом году, никогда не вызывали у него уважения, вместо этого эмоционально завоевав его. Если Розанов делает из своих впечатлений вывод о том, что «немец» как тип (как «собирательный человек», по его выражению) «грубее русского», он снова дает эстетическую оценку. На том же аксиоматическом уровне восприятия отношение между представителями разных народов включается в метонимический образ их любимых напитков: они относятся друг к другу как «острая рюмка водки, живущая у вас внутри», «и кружка пива, только приятно полощущаяся в животе». Это сравнение Розанов доводит до превосходной степени: нет более «острой, наркотической, артистической нации, чем русские». Да, Россия станет, если бы на это был способен ницшеанский культ Диониса, воспроизводящий уподобление вкусового ощущения упоению и артистичности, «народом-артистом» (47). Здесь Розанов ссылается на русского Льва Толстого, для которого народ был величайшим художником. Эта артистичность для Розанова, в отличие от Толстого, символизирует не коллективность, не желаемое растворение индивида в сообществе, а ту индивидуальность, которая с необходимостью исчезает при «гуртовой работе» кучеров.

На грузинской горе Казбек Розанов придал поездке в экипаже, явно подражаая созданному Гоголем образу России – тройки, взмывающей в воздух, значение образа будущего (41). Спуск делает возможным продолжение счастья от того, что нарастает скорость и поднимаются крутые склоны рядом с экипажем:

> Все это сообщает езде характер воздушного движения, как бы вы чертите по каменной стене и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего сурового; да и не нужно сурового; вы так радостно приветствуете Азию; новая часть света, наконец – не Европа.

Верблюд, которого он охотнее всего хочет выпустить на свободу[60], вызывает удивление, точно чудо света, да и двухколесной кавказской повозке (арбе) придается эстетическое очарование новизны. И еще раз юг, как в иных случаях для русских Сибирь, а для американцев Дикий Запад – «“новый свет”, по крайней мере, для природного костромича и вечного северянина» (41). В принципе, Розанов понимал и Россию как северную страну, на что он даже пытался пролить свет в 1909 г., говоря о воздействии литературы на психологию террора:

> Наш северный, холодный, промозглый туман. В конце концов на самую литературу нашу действует этот ужасный север, скудо-солнечность, короткость дня зимой… Сырость, тьма, холод, пески, сосна … Брр …[61].

Розанов цитирует ходячее мнение о «чистоте» из оценки немцами самих себя или оценки их другими, сообщая, что люди, встреченные на рынке, показались ему необычайно чистыми. Заимствование из учения Толстого об искусстве оказывается явным там, где Розанов перенимает эстетическую модель воздействия при заражении, прибегая к тезису о том, что можно заразиться Востоком, но не немцем (47). У немца (в смысле культуры) можно, хочется и следует «перенимать». Присвоение нацелено, если речь идет о собственности, на правооснование, которое выбирает не из гигиены (чистоты), а из отношений по поводу владения. Следует констатировать положительное воздействие усвоения норм поведения, названных немецкими.

Розанов более оригинален, когда он с помощью вывода по аналогии воображает также проступки и преступления немцев как заторможенные и затрудненные в исполнении, а не как у русских – ужасные и тем самым выдающиеся. Ему кажется, что все в собственной стране имеет большие размеры – жестокости преступления соответствует гениальность, соломонова мудрость и артистичность «русского». Немец – это сгорбленный мелкий буржуа, русский, напротив, – великий преступник, великий философ или великий художник. Но и представление Розанова о самом себе образуют, по меньшей мере, высокого уровня философствование и высокая художественность, а, живя в незаконном браке, он и сам был правонарушителем…

Розанов отделяет русских как создателей интересных новостей (например, в результате преступлений) от немцев – на основании эстетической категории. Интересное создано основной категорией эстетического, предложенной Чернышевским[62]. Здесь Розанов изобретает сцену (48 и сл.), характеризующую «немца» как идеальный тип источника скуки и твердого приверженца правил, который носит форму и после работы[63]:

> Надел форму и сидит себе. – «Да о чем ты думаешь, немец этакий?» – «А ни о чем не думаю, смотрю на вечер». – «Может быть, восхищаешься?» – «Нет, восхищаться я буду, придя домой и начав, в четыре руки с женой, разыгрывать Шумана (48-49).

Даже немецкая наука стала для Розанова скучным предметом, но в этой скуке и восприятии немцами самих себя как ученых есть «что-то святое» (49). Эта в высшей степени положительная оценка следует из поразившего Розанова соседства их с удивившими его староверами (приверженцами Федосея Васильева), чей ритуал он впервые наблюдает здесь. Они научились немецкому языку и перемешались с немцами. Розанов оценивает их как русский эквивалент очаровавшего его протестантизма.

## 5. Другое свое – поездка в Германию в 1905 г.

### *5.1. Против черной религии*

Летом 1905 г. Розанов со своей женой, падчерицей Александрой Будягиной, а также дочерьми Верой, Варварой и Татьяной предпринял первую поездку в Германию. Их путь вел из Берлина через Дрезден и Нюрнберг в Мюнхен, а потом в Швейцарию.

По возвращении посетили Вену. Столетием раньше для Карамзина обязательными остановками еще были Кёнигсберг (Кант), Веймар (Гёте) и Базель (Лафатер).

В первом эссе, посвященном «Сикстинской мадонне» в Зеленом своде Дрезденской галереи, Розанов задается вопросом, что хотел сказать Рафаэль, написав эту картину, которую почитал Достоевский, и находит явленное ею послание трагическим, ибо картину он истолковывает как икону (284 и сл.). Лицо Младенца, точно предчувствующего раннюю смерть, зрелее лица матери: Рафаэль посадил голову Зевса на тело Купидона (286). При всем признании искусства Рафаэля сохраняется тон защиты, вызванный смертью, финалом, которому дается отрицательная оценка.

В основе второго эссе под названием «Капище Молоха» – взгляд на готический собор в Нюрнберге. Здесь Розанова приводит в восторг стиль, прежде всего, стиль «вечной любви» (288), в котором он отказывает современным зданиям. Когда он оказался «глубоко взволнован (289), такое возбуждение чувства имело для него силу вершины возможного эстетического воздействия:

> Ничего подобного я не видел раньше. Йоты этого впечатления не делает св. Стефан в Вене, которого я так торопился осматривать. Видел я и св. Марка в Венеции, и св. Петра в Риме, наконец, – знаменитый готический собор в Нюрнберге. Ничего же подобного по силе, по страху, по серьезности! (289)

Редко когда двойственность переживания чужого мира проявляется у Розанова столь внезапно, как при созерцании этой немецкой церкви. Темное здание вызывает в русском наблюдателе, в целом, впечатление о «казарме сатаны» (291)[64]. Напротив, необходимо *белое* христианство, которое вместо отчаяния распространяет радость, показывая не распятого, а воскресшего Христа.

Следующее за тем суждение о том, что католицизм страшен, ибо он осудил Галилея и боролся против Ньютона, напоминает скорее рождение из головы, нежели описание непосредственного впечатления. Католицизм глух к человеку и человечеству. Собственная программа Розанова, – программа жизнеутверждающей религии – просматривается из путевых заметок там, где он требует противопоставить почитаемому католицизмом «черному Богу» «белого Бога». Тем не менее он признает, что и протестантизм с православием не достигли этой цели.

Розанов отвечает и на вопрос о том, почему именно в Баварии образовался такой центр темной религии. Вот каково объяснение: здесь-то и располагается граница с протестантизмом, поэтому католические принципы выражены особенно интенсивно. Конечно, не победа над католицизмом означает торжество белой религии, а повседневность, ибо эта победа совершенно пуста – она ведь приходит именно из пустоты. На чужбине представление реформатора Розанова о самом себе обретает контуры, благодаря критике католицизма и протестантизма.

### *5.2. Климат и семейное законодательство – генераторы альтернативной социальной психологии*

Социально-психологические противоположности в поведении русских и немцев Розанов объясняет, прежде всего, климатическими различиями (крёстный отец этой позиции – Конт). Безветрию, наблюдавшемуся во время поездки в Берлин, Дрезден,

Мюнхен и Нюрнберг, он противопоставляет свой опыт постоянного ветра в Костромской, Симбирской, Нижегородской, Московской и Петербургской губерниях[65]. Отсутствие ветра, к чему он позже присоединяет отсутствие дождя и холода, объясняет ему и жизнь немцев на улице. Русские, напротив, избегают общественных мест (294). Отсюда следует то «товарищество» (295) между немцами и та жизнь внутри союзов, которой лишена Россия.

Розанов объясняет ошибочно предполагаемое (и отнюдь не соответствующее реальной ситуации) устранение проституции, «добропорядочность нравов» в западных городах введением института гражданского брака (297). В России, где брак подлежал церковной юрисдикции, семья рассматривается как церковное учреждение, «что-то среднее между «столоначальничеством» консистории и полицейским участком». Семья находится под наблюдением полиции, и женщинам может быть даже отказано в праве покидать город.

В данном случае Розанов использует экран заграницы, прежде всего, представляющийся ему положительным общественный порядок для того, чтобы снова потребовать изменения русского семейного законодательства. Брачное право, находившееся в компетенции церкви, воспрепятствовало разводу Розанова с его первой женой, Аполлинарией Сусловой, и сделало его второй, счастливый, «брак» незаконным. Посещение заграницы служит материалом для обоснования выдвинутого выше требования о введении гражданского брака и в России: речь идет не столько о немецкой ситуации, сколько об улучшении русской.

### *5.3. Критика эстетики повседневного на примере художественных музеев*

Сообщение о посещении Мюнхенской пинакотеки Розанов использует для критики основной концепции музейной выставки картин вообще. Он подчеркивает, что приехал в города Дрезден и Мюнхен именно для посещения картинных галерей, и показывает себя мало-помалу шокированным множеством предметов великолепного искусства. Это нагромождение прекрасного и великого, по мнению посетителя галерей, – варварство:

> Какое это варварское, чуланное отношение к искусству. Красива должна быть жизнь, и памятники великого искусства минувших веков должны быть раскиданы по всей стране, в ее храмах, дворцах, театрах […], но непременно везде и на глазах народа, трудящегося и веселящегося, – *ему* в веселье, на утешение и на питание! (299)

Конечно, прежде всего, это эхо русского движения «Искусство в народ», направленного против академической изолированности, но почему Розанов заставляет его прозвучать именно в связи со своими посещениями немецких музеев? Его сбивает с толку и возмущает, что берлинцам неведом путь в Национальную галерею, даже если они находятся поблизости от здания. И из-за этого незнания именно здесь его посещает хорошо обоснованное сомнение в понятии «национальная галерея». Вместе с тем, он вверяется своему чутью, знакомясь с местными чувственно воспринимаемыми явлениями: чистота как дрезденской воды, так и мюнхенского воздуха поражают его больше, чем передаваемая, независимая от местонахождения красота рассмотренных картин.

Предпосылка восприятия искусства для Розанова – высокий уровень инновационной эстетики, при наличии которой картина потрясает созерцающего в его бытийных основах:

> Особенного впечатления, поразившего душу и изменившего ее (как это должны бы и, конечно, могут делать великие памятники искусства), я не пережил (299).

Неожиданно для себя Розанов рассматривает здесь оригиналы Корреджо, которые он любил со времени студенчества и уже тогда приобретал их гравюры и репродукции, без какого бы то ни было потрясения. В качестве возможной причины этого он приводит характерное для туристов отсутствие и у себя самого специальных знаний. Мастерству десяти-пятнадцати европейских художественных экспертов, которые могут посещать все большие художественные выставки, нельзя приносить в жертву стремление простых людей – соприкасаться с искусством в своей повседневной жизни.

Розанов сожалеет об отсутствии на Мюнхенской международной выставке статуй и картин отдела русского искусства, но в то же время признает, что русские не могут ничего противопоставить портретам кисти Ленбаха. По его мнению, этот недостаток вырастает не столько из искусства, сколько из действительности: рядом с портретируемыми Бисмарком и Моммзеном, наслаждающимися своим признанием, он не может поставить никого равноценного, кто мог бы быть в России моделью для портретиста (305).

### *5.4. Спартанское сидение Кальвина – метонимическая реликвия*

Сиденье Кальвина в женевской церкви с его простотой, строгостью и жесткостью для Розанова – выражение «стиля души» (312 и сл.) Кальвина. Да, это

> «смиренное» и до ужаса строгое сиденьице, деревянное, старое, потемневшее, страшно узенькое, только-только вот сесть, «уместиться», с высокой, узкой прямой спинкой, жесткое […], легкое (313)

годится для портрета Кальвина, оно превращается для Розанова в образ Кальвина. Замена реформатора скамьей как предметом напоминания трижды мотивирована в фигуре возрастания: подобие (до того они похожи), слияние (до того слитны) и идентичность (суть одно). Сиденье метонимически воплощает место оценки и мышления, является местом казни и средоточием мысли, откуда исходило учение Кальвина: «Вот он откуда судил мир и выдумал свое *Предопределение*» (313). Изначально магический, знаковый характер реликвии выведен к метонимии; сиденье не само по себе «судит» и «измышляет», при взгляде на него можно увидеть суд и мысль сидевшего на нем. От магической культурной практики реликвии остается сохраненным представление о прошедшей действенной силе. Вот только оно переводится в требующее истолкования контактное отношение. Иначе, чем в метонимических выражениях «престол» (для господства) или «кафедра» (для истины), следует читать само место соприкосновения[66].

Путешественник выражает самоидентификацию с предметом памяти в искушении сесть на спартанский стул Кальвина, занять его позицию. Он признает, что в

юности почитал Кальвина, объединявшего в себе прагматика Лютера и теоретика Меланхтона (309). Так как Розанов отожествляет себя с реформатором, то его характеристики превращаются в признаки собственной личности: «Горькая судьба» до переезда в Цюрих (и соответственно Санкт-Петербург), «огненный характер» и «колоссальный ум, ум с idée fixe, ум-систематик» (309). Таким образом. сожжение в 1653 г. бывшего соратника Кальвина, антитринитария Мигеля Сервета, ответственность за которое ложится и на реформатора, становится положительным свидетельством решительности характера!

Розанов отдает должное, с философской и эстетической позиций, учению о предопределении, приближающемуся к его различию между действующим божественным определением («destinatio») и ложными человеческими целями («metae»). Кальвинисты, по его мнению, – единственные протестанты с метафизикой; их проекту церкви присущ трагический характер: «Церковь» несчастных и праведных людей, праведных – от несчастия: что может быть трагичнее!!»[67] Розанов характеризует помещение церкви Кальвина отсутствием Мадонны и распятого Христа, – и то, и другое для него точки концентрации, а также эстетические и моральные фундаменты католицизма – в хвалебной ценностной перспективе как «обыкновенно» и «просто» (313).

Свою критику Кальвина Розанов помещает в конец этой части путевых заметок. Она нацелена на пессимистически-мизантропическую принципиальную позицию реформатора и на то, что он упускает из виду радостные элементы Ветхого Завета. Здесь Кальвин, по словам Розанова, пребывал в европейской традиции чтения Библии. Но и в этом месте эстетика побеждает содержание: «А история, как и торговка, выкрикает: «Новенького! Новенького!»[68].

### *5.5 Пастор – «возможный “гегемон” Европы»?*

Двойственность созданного Розановым образа Германии проявляется резче всего в его изображении современной роли Германии в Европе, в центре которой находится Берлин. Он начинает со взгляда на привлекательность немцев как спутников жизни. Хотя он сам никогда не женился бы на немке или не посоветовал этого другу – немецкие женщины скучны. Неслучайно в мировой культуре нет сюжета, когда женщина иной, не немецкой национальности, оставляет своего мужа ради немца. Между тем своим детям он предложил бы охотнее всего немцев в качестве супруг(ов) – они надежны. Мука, соединенная с шуткой, им неведома. Таким образом, решающим критерием снова оказывается эстетика.

Созерцая германский порядок и довольство, именно в Берлине странствующий обнаруживает преимущества русского характера:

> Удивительно, никогда я так внутренно не плакал над несчастным русским характером, как здесь, среди этого довольства и благоустройства, так не растеривался при мысли об этом характере, как здесь, и нигде, однако, так ярко не чувствовал, до чего, при всем безобразии, русские – духовнее, талантливее, даже исторически как-то развитее и зрелее добрых своих соседей-буршей. (320 и сл.)

Здесь Розанов сам объясняет свой способ оценки на одном примере (321). Он видит в Зоологическом саду три скамьи, полностью занятые студентами, примерно

двадцатью человеками, на лицах которых ничего нельзя прочитать. Исходя из невозможности читать физиономии, он делает вывод о глупости, серости и бесцветности тех, кому эти лица принадлежат. Черты лица говорят ему о мертвых душах. Конечно, читаемость физиономий зависит от той меры, в какой с ними знаком читатель. Его тезис о том, что в России чего-то подобного нет (321), оставляет без внимания различную степень его знания русских и немецких мин. Он игнорирует то обстоятельство, что умонастроения различны и в той мере, в какой они мимически «выдают» душевные процессы. Но воспринятое впечатление лучше всего соответствует (пред)убеждению относительно исчерпанности европейской и свежести русской цивилизации[69].

В Германии Розанов обретает убежденность в том, что современное отрицательное положение России преодолимо. Для того, однако, чтобы стать идеальной нацией, у русского народа отсутствуют свойства немцев:

> […] если бы нам немножко немецкой нравственной серьезности, не патетической, но ровной и спокойной, – какая бы нация вышла на востоке Европы, какая судьба! (321)

В качестве высшего проявления этого немецкого свойства Розанову представляется образ протестантского пастора. Роль духовного лица в немецкой культуре укрепляет Розанова в убежденности в политической безобидности Германии. Эта оценка основывается на его мнении, согласно которому Германия переживает вообще счастливейший период своего бытия (имеется в виду вильгельмовское время), сравнимое с римской эпохой после Пунических войн. Розанов, с одной стороны, осознает, что его выступление в пользу Германии не совмещается с тогдашней русской точкой зрения на положение России в Европе, и поэтому подчеркнуто произносит свой приговор «в сторону», словно адресуясь в будущее. Он учитывает как свою русскую газетную публикацию, так и возможных будущих читателей. С другой стороны, он хотя и знает, что полабские славяне средневековья погибли под господством немцев, но, исходя из своего этнического натурализма, ищет вину за это у самих славян: «Они никак не умели сами просуществовать» (317). В целом, он делает вывод из истории Средних веков, что немцы *не* агрессивны. Его главные аргументы касаются сепаратизма Германии и ее исторического опоздания. Россия, по его словам, окрепла уже во времена Ивана Грозного, а Германия словно нагоняет только теперь.

В 1905 г. Розанов (России противостояли в конфликте Япония и Англия) призывает не бояться войны с немцами, так как немцы даже в случае своей победы не будут стремиться аннексировать соседние территории, а «немец en masse» «“простак” в политике» (317). Завоевать немцев в качестве друзей стоит не ради, скажем, кайзера Вильгельма, но ради того «чистоплотного» (317) бюргера немецкого, которому ничего не надо, кроме своего выдохшегося пива и своей «Amalchen». Розанов рекомендует в связи с этим не расторгать союз с Германией, даже если партнер в случае конфликта предъявит чрезмерные требования.

Германия, по мнению Розанова, обязана своей победой над Францией в 1870–1871 гг. своим учителям, точнее, распространявшимися ими «вторичными» добродетелями – волей к труду и любовью к порядку. Не зная, как нам кажется, Макса Вебера с его теорией о кальвинизме как предпосылкой капитализма, он воспринимает Реформацию как то духовное средоточие Германии, которому служит и кото-

рое объясняет также немецкая наука. Против этих ходячих уже в XIX в. стереотипов оценки немцев, которые он с оттенком иронии аттестует как искренние, Розанов снова выдвигает эстетическую оговорку:

> Как и германская цивилизация, эта «честная немецкая культура» потускнеет как сальная свеча, если (чего может и никогда не быть) появится когда-нибудь истинно прекрасное, истинно изящное в человеческом духе, в формах бытового, художественного, религиозного, но в основе всего – именно бытового творчества. (318)

Не только чувственный пример, но и аргументированное доказательство снова дают для Розанова культура восприятия алкоголя и климат. Немецкое пиво, в отличие от вина, определяющего итальянскую культуру, по его мнению, не является напитком солнца. Да и немецкая наука для него – «ангел… однако же, ангел какой-то бескрылый» (325). Здесь Розанов снова прибегает к эстетической критике: жизнь выдающихся умов Германии лишена всякой эстетики, обращена внутрь, а не вовне, и в ней нет – будто она была создана в погребе – света и блеска. В отличие от «истории Возрождения наук и искусств в Италии», которая может претендовать на высокий интерес к себе, «история немецкой науки в XVI веке» была скорее утомительной: у нее нет «романтики», «игры» и «поэзии». Культура для Розанова и в международном масштабе – всецело эстетический процесс, и он оценивает ее, в первую очередь, в соответствии с эстетическими масштабами. Искусство и литература экспрессионизма и дадаизма от внимания Розанова, очевидно, ускользнули.

## 6. Вторая поездка в Германию: эстетический смысл и неосознанная вражда

### *6.1. Начало поездки: Aisthesis чужого*

В начале второй поездки в Германию, целью которой было, прежде всего, пребывание спутницы жизни Розанова на курорте, имело место наблюдение за пограничными столбами, с которых он считывал свойства характеров сталкивающихся наций: немецкий четырехугольный столб в своей прямолинейности, чистоте и отсутствии запаха – представитель «немецкого духа» (448). При такой чистоте даже немецким воздухом «легко дышать»!

### *6.2. Фридберг – у немецкой колыбели русской царицы*

Во время второго пребывания в Германии Розанов посещает замок Фридберг, место, где выросла немка по происхождению, супруга русского царя Александра, названная при крещении Алисой. Он встречает смотрителя замка по фамилии Обст, когда-то носившего царицу на руках. Его впечатляют простота и скромность обстановки в замке. Здание производило на округу угрожающее впечатление, напоминая о войне, изнутри же оно идиллично и символизирует мир. Розанов читает название места (Фридберг – мирная гора) как этику его предназначения. Это имя, конечно же, и невысказанное предзнаменование для царской политики.

Политических вопросов Розанов в своих вторых путевых заметках касается лишь мимоходом. Интересно, однако, его указание о том, что сельскохозяйственные рабочие, прежние крепостные, работают здесь лучше, чем их несвободные предки. Вопрос о том, к лучшему или к худшему оказались общественные изменения, в данном случае, отмена крепостного права, он с журналистской ловкостью оставляет открытым: «[…] как изменилось все… к худшему? К лучшему? Итоги истории знает только будущее» (459).

Связь с оценкой Розановым придворной культуры позволяет предположить рассуждение, опирающееся на описание памятника, посвященного изобретателю углекислых ванн для страдающих заболеваниями сердца Фридриху В. Бенеке. Розанов взволнован тем обстоятельством, что скульптура стоит на неподобающем месте в траве и воплощает, таким образом, характер германского: «Глупо, плоско и совершенно же “по-германски”» (461). Как и в России, в Германии приходит в упадок (изысканная?) способность что-либо воплощать, вместо этого словно представлен «германский душевный склад» (462). Он видит обе культуры в упадке: в движении от искренности символического овладения – я показываю лишь то, что я есть – к формальностям символического представительства – я есть лишь то, что я показываю.

### *6.3. В чужой Германии и все же на Родине*

Как может путешествующий – здесь Розанов пишет определенно «Дневник туриста» – на чужбине быть дома? Русскую православную церковь в Бад Наухайм он воспринимает как элемент русской культуры в чужом, немецком окружении. Не здание и не музыка, и уж, тем более не проповедь внушают чувство пребывания у себя. Это чувство внушает ему, как и Гоголю, русская православная литургия, которая и формирует отечественное ядро русского. Она нашла свое средоточие в душе Розанова в свете свеч, которые зажигали посетители богослужения.

На немецком здании бывшей прежде католической церкви Розанов недосчитывается привычных золотых или зеленых куполов. Сложенная из природного камня, она неуместного серого цвета. В соответствии с православной традицией, музыкальных инструментов нет, пение чисто литургическое. Священник выступает не как проповедник, не в качестве истолкователя слова Божия, как в протестантских церквах, а как служитель Божий: он совершает богослужение. Его облачение широко и придает тем самым его литургическим движениям «оттенок великолепия» (464). Все в литургии «говорило […] о власти, силе, достоинстве …» (464).

Розанов подчеркивает, что он вошел в церковь как ее собственник; здесь происходит нечто, свойственное ему, и становится, как и названные моменты биографии, составной частью собственной личности:

> И все такое наше… костромское, московское, нижегородское, петербургское … Просто точно «опять на родине». Да ведь и в самом деле так! (465)

Не дипломатические посланники, а священник, дьячок и молящиеся в храме представляют собственную страну на чужбине.

Розанов представляет себе усиление присутствия своего в дальней дали: в эту церковь, как и во все церкви за границей, должен быть принесен огонь неугасимой

лампады из Москвы. Постепенное нарастание чувства участия сделало бы свет из Первопрестольной присутствующим во всем мире, предложило бы русским возможность на чужбине быть дома. В силу подчинения церкви за границей Московскому патриархату жизнь русских по ту сторону границ оказывается теснее связанной с родиной: «[…] вся «заграница» почувствовала бы иное, услышав голос из Москвы или о Москве» (466).

Неслучайно Розанов заканчивает этот рассказ о посещении церкви поцелуем, прикосновением к изображению той святой Ольги – варяжской германки Хельги, которая стала своей в культуре Руси. Он увенчивает запись в дневнике библейским пафосом, будто принятие русского в германское есть возвращение в Ветхий Завет:

> Немного в стороне, на аналое, тоже в золотом облачении, лежал чудный, очень большой образ св. Ольги. Чудное, тонкое письмо. Лицо одухотворенное, идейное, – и святой, и дикой (по тому первобытному времени), и княжеской красоты. Тонкие губы, мудрый взгляд.
> Я приложился.
> Все хорошо, что хорошо. (468)

### *6.4. Опера Вагнера: возвышенное «Deutsche Kunst» для всех европейцев*

«В театре “Deutsche Kunst”» – так озаглавлено описание четырехдневного посещения Розановым «Кольца Нибелунгов». Грусть, тоска и «страшное разочарование» (469) охватили его после четвертого представления в Принц-Регент-Театре. Он объясняет испытанные им чувства навеянными последней частью трагическими величинами: «неизбежностью» и «ответственностью» – ответственностью перед Богом и судьбой. Музыка Вагнера будит в публике нечто угрожающее и ужасное, нечто засыпанное и забытое повседневностью: «Я – человек» (470). С этим пониманием Вагнер подавляет возникающую в повседневной жизни личную гордость. Возвышенное в совокупном искусстве Вагнера – то, что одновременно очаровывает Розанова и вызывает в нем отвращение. И он принимает эту склонность к двойственно возвышенному как характеристику немецкого народа.

Розанов отыскивает в Вагнере черту «страшной моральной серьезности» (470), линию «германского духа», связывающую его с Кантом, но и с католическим (sic!) мифом о Граале. Фланируя по Мюнхену, он мучился вопросом, почему Россия никогда не породила такой легенды, как о Святом Граале, одновременно «непонятной, притягательной, очаровывающей, и, главное, – воспитывающей (470 и сл.).

В своей основе кельтская легенда о Граале – по Розанову – элемент немецкой не книжной, а народной культуры, сравнимый с русскими народными песнями, которым, однако, вследствие их краткости и ясности, недостает дали, загадочности и приманки для подвига. У русского фольклора, думает он, нет и той запутанности, которая приглашает всю жизнь размышлять над ней. Из этого понимания вырастает жалоба при взгляде на русских: «[…] мы народ не мыслителей (471)», дополняющая в этот раз изречение Жана Поля о немцах как о «народе поэтов и мыслителей».

В сравнении с соловьиным пением итальянской оперы, Розанов характеризует возвышенное, внушающее ужас в музыке Вагнера как «религиозное» (471), а тип Вагнера как религиозный и философский. При этом, он следует натуралистической идентификационной эстетике в стиле Станиславского; он безоговорочно приравни-

вает певцов к изображенным героям и хвалит движение сценического неба, которое зритель хотя и не может воспринять, но которое соответствует природе (477). Природа, если не сам Бог, – вот уместный зритель происходящего на сцене[70].

Там, где Розанов превозносит равноценность всех мест в этом театре по отношению к сцене и пунктуальность при начале спектакля, он и его читатели, конечно, держат в памяти русскую социальную иерархию лож: в Мюнхене опоздавший, невзирая на ранг, должен ждать, чтобы войти до антракта. Он хвалит техническое совершенство освещения, особенную «заботливость» (477), утверждая, что только немцы на нее и способны.

В заключение своей рецензии Розанов подчеркивает «космополитический характер представлений» «цикла Вагнера» и других циклов, которые, вследствие международного состава публики, «доставляют наслаждение и вместе воспитывают все европейское общество» (478). Первоначальные грусть и депрессия русского критика по поводу опер Вагнера, «немецкого искусства» и немецкой утонченности улетучились – он написал рецензию душой благодаря мосту европейской культуры.

### *6.5. Гёте: осуществление не только немецких возможностей*

«В домике Гёте» – так приглашающее и интимно озаглавил Розанов описание своего посещения дома Гёте во Франкфурте. Читатель этого десятистраничного эссе будет, однако, в некоторой степени разочарован, так же, как и путешественник Розанов при осмотре внушительного здания. Между осмотром дома снаружи и входом внутрь турист установил недельную паузу. Она должна была не только пойти на пользу чистоте впечатления, но и послужить, вероятно, его подготовке.

Розанов использовал это время для размышления о роли Гёте в Германии и пришел к удивительному выводу: «Выньте “Гёте” из Германии – одного человека из целой страны, – и она вся вдруг потеряет значительную связь своего сияния» (484). Эту операцию – извлечение Гёте из германского контекста – Розанов совершает в данной превосходной работе. Чем больше он хвалит Гёте, тем бледнее становится немецкая культура без своего якобы единственного и неповторимого гения! Розанову удается такой фокус благодаря тому, что он поначалу превращает Гёте в единственную вершину культуры в Германии, а затем «регистрирует» его. Англия же, считает он, достаточно богата и без Шекспира, обладая Бэконом, Мильтоном и Байроном. Германия знает, наряду с Гёте, только Лютера и Бисмарка, причем оба не считаются, потому что второй был политиком, а первый религиозным реформатором. Канта бывший философ отвергает, указывая на то, что он не был характерен для немецкого общества; его, пишет он, понимали только Фихте и Шеллинг. Розанов вводит здесь достойный внимания критерий успеха при оценке интеграции художника в его культурную среду.

Вторым шагом Розанов устраняет обычное для его времени совмещение культурных границ германицев эпохи Римской империи с Германией более поздней поры. Он устанавливает границу многозначного русского понятия «Германия» на основе не языковой культуры, а биологической расы. Шекспир, Байрон, Мильтон *и* Гёте становятся «выразителями «германской массы» в ее идеальных возможностях…» (485). Кант же, Фихте и Шеллинг исключаются из Германии благодаря успешному стремлению не обращать на них внимания. Только Гёте не застигает эта

волна пренебрежения; о Шиллере, которого почитал Достоевский, и о Гейне (которого он сам очень уважал) Розанов на этом месте утмалчивает…

Связывая гармонию, разум и мудрость, Розанов набрасывает теперь именно в лице Гёте идеальный образ духовного человека, которого уравновешенность и спокойствие так отличают от деловитости немцев, столь часто вызывающей нарекания:

> Вот эта *живая органическая его цельность, полнота* способностей и направлений в нем и есть самая главная, ему исключительно присущая… Ибо ни на какой другой человеческой личности народы, страны и века не могли бы остановиться, сказав: «Я удовлетворен», – с тем покоем, твердостью и уверенностью, как на Гёте. (486)

Отличая Гёте от Мильтона («правдолюбца и поэта»), Шекспира («великого сердцеведа»), Пушкина («эха всех звуков, красок и цветов»), и Толстого («живописателя людей, вечно чего-то ищущего и ненаходящего») спокойствием его рассудка, Розанов подспудно превращает поэта в автора «мировой литературы», которую сам Гёте и обосновал как понятие, более того, неповторимой *мировой культуры*. Только мир Гёте и связывает, по мнению Розанова, научное качество с поэтическим там, где мир Бэкона хотя и научен, но непоэтичен, мир Толстого совершенно ненаучен, а Пушкин держался очень далеко от науки. Как при обсуждении воздействия Вагнера, так и разрешение противоречия своего, русского, и чужого, немецкого, в оценке деятельности Гёте приводит к появлению третьего – мировой культуры.

Для Розанова Гёте, как связанный с народом, так и интеллектуальный, христианский и языческий, «как бы вышел из *всех* цивилизаций» (487). Он – поэт международный sui generis. Неудивительно, что при таких масштабах личности немецкое представление Гёте, мирового автора, должно разочаровать.

Если сравнить эссе Розанова о Гёте с его написанной в 1908 г. статьей о Лермонтове под аналогичным названием «В домике Лермонтова в Пятигорске», то различие особенно резко бросается в глаза. Там лишь в начале идет речь о международной общности, когда описывается появление русских туристов в Берлине, Вене и Интерлакене и делается вывод: «Ну пока еще немцы собираются культурно завоевать нас, мы их уже завоевали» (433).

Из русского знания Европы, в соответствии с которым ее деяния, проявляющиеся в искусстве Шекспира, в мышлении Ньютона, в гениальности Гёте и в безумии Ницше, более не могут возрасти и продолжаются лишь бездарным умножением, должно последовать понимание того, что прежние мысли – это не сегодняшние, и пришла очередь России.

Перед лицом поражения в русско-японской войне (1904–1905 гг.), которая нанесла тяжелый удар русскому чувству самоуважения и престижу страны, Розанов вспоминает девиз Карамзина, согласно которому величие народа проявляется как раз в его несчастии[71]. Он видит преимущество войны, о которой сожалеет, в том, что Россия не войдет в будущем в считавшуюся возможной конфронтацию с Германией столь же неподготовленной, как это было в японскую кампанию. В конце концов, по его мнению, революция 1905 г. покончила с русским нигилизмом.

Розанов последовательно показывает Лермонтова как русского автора, и (хотя Соловьев уже сравнивал его с Ницше) меряет его только русскими авторами – прежде всего, Пушкиным и Гоголем. Кавказ, где Лермонтов служил в армии и погиб на дуэли, для Розанова, несомненно, часть России (439). При осмотре дома Лермонтова

в Пятигорске он устанавливает связь со своим родным домом в Костроме, объясняя Костромой висящую там икону Федоровской Божьей Матери, как и ее владельца, нынешнего жильца. Розанов сравнивает даже окна дома Лермонтова с маленькой светлой комнатой дома в Костроме, «светелкой» (441).

При описании дома, где родился Гёте, заметно особое внимание ко второму этажу. А этот этаж – «как бы *интимный и личный* в жизни семьи Гёте» (490). Созерцателя сбивает с толку пустота спальни, в которой появился на свет маленький Вольфганг. По недовольному мнению Розанова, эта комната могла бы сохраняться в неизменности или, по меньшей мере, быть заново обставленной. Чайная комната матери Гёте чарует его, и он говорит, что происходившее там по субботам чаепитие «так же уютно, семейно и тепло, как и у нас “в канун праздника”» (491). Он с участием описывает комнату с секретером, книги и кукольный театр Гёте как место счастливого действия.

В словах о мебели в комнате Гёте и его матери на крошечное мгновение проявляется постоянно скрываемое отожествление наблюдающего с жителем дома:

> Деревянный стол перед письменным столом, как и комод в «чайной фрау Гёте» и вообще вся мебель – деревянная, толстая, широкая, где возможно – «пузатых», выпуклых форм… И, глядя на нее, без труда, немного укорачиваешь и обделываешь мысленно мебель в «мамашиных комнатах» раннего детства и тогда узнаешь в ней все «родное», «былое»[72]. (493)

В масках Гёте Розанов обнаруживает «римский очерк лица» (493), который никоим образом не уподобляется «до чрезвычайности германскому, вульгарно-германскому» (493) бюсту отца. Если говорить о сходстве нарисованного портрета Гёте с изображениями матери, то на ее скульптуре тоже бросаются в глаза отличия от сына: «Тут во “фрау Гёте” узнаешь типичную немку, зажиточного, спокойного вида, твердую, уверенную, превосходную хозяйку и домоводку прежде и превыше всего» (493 и сл.).

Откуда же происходит Вольфганг, если он так мало похож на своих родителей? «Из небес» (494), со всей серьезностью отвечает Розанов. Ненаследственное, проявившееся как рок, как преступление, развилось в нем, породив «гений, осветивший всю землю». И заканчивает автор снова религиозной формулой: «Благословенно его имя… благословенно для всех народов». Внешний облик наблюдателя выражает священное в писании.

### *6.6. Трещина между духовным Вчера и бездуховным Сегодня*

В мюнхенской гостинице «Christliches Hospiz» («Христианский приют». – *Прим. перев.*) Розанов сталкивается с «цветом» германского образованного общества (481) и дивится красоте лиц этих людей. Это художники, музыканты, профессора, которые, заехав под скромный кров, всегда пребывают в движении. «Лень» и «дурная мысль» (480) также отходят от них, как и «сентиментальность и истерика (наше образование), злоба или затаенная насмешка (тоже наше образование)» (481).

Красота этих лиц напоминает ему о древней Греции, которую он надеется встретить в христианизированном образе. Лишенное высокомерия скромное поведение, простая одежда, равномерно высокий уровень образования, независимо от величины

кошелька, внушают ему иллюзию пребывания в Элладе Перикла и Аспазии, философа Анаксагора и спорящего с ним Сократа. В гостинице на Матильденштрассе, недалеко от главного вокзала, немецкой станции, уже в своей эллинизации отсылающей в античность с культурно-исторической точки зрения, Розанов обретает в Германии Грецию, изобретенную собственно немцами!

Если в Бад Наухайме Розанов наталкивается на богатство в сочетании с ленью, и ему не нравится благосостояние, выставляемое здесь напоказ наподобие текстильных изделий, то его еще сильнее отталкивают физиономии берлинцев, красноватый цвет кожи которых он объясняет употреблением пива.

> Самый цвет их, в общем здоровый, – не имеет решительности… Что-то красноватое, но с прослойками белого или с проступающим сквозь кожу белым… Бык, но «с малокровием» …Ужасно странно (495).

Хотя, в отличие от первой поездки, Розанов обнаруживает этим летом у берлинских студентов «лица с душой» (495), в Берлине ему снова бросается в глаза многое отрицательное в Германии. Ему не хватает стиля немецкого Юга, и столицу он описывает иначе, чем Мюнхен, на фоне культурно-политической современности. Он хвалит памятник братьям Гумбольдт перед зданием университета, вклад наук в объединение Германии, чтобы сразу же отличить Германию от предписанной «железным канцлером» Бисмарком «стальной империи», под тяжелыми доспехами которой «задохлись музы» (497).

Розанов не может раскрыть связи между «временем Гумбольдтов» и берлинской современностью с ее «тупыми и вместе счастливыми лицами», с отсутствием всякой мысли на лицах мужчин, утроба которых наполнена пивом. Его тревожит расширение Пруссии. Там, где все люди нуждались в братьях Гумбольдт, где им нужны были Моммзен и Гельмгольц, Розанов не видит потребности в огромной Пруссии:

> Проснулись пруссаки в «великую империю», которой трепещут французы и побаиваются англичане… Но, Боже, – что из этого? Кому это нужно?(497)

Ожидание Розанова, что из «пивной Германии» (497) не выйдет никакого нового Рима, и что, когда огромная глиняная бесформенная масса повалится наземь, музы в Германии воссияют в новом свете, к сожалению, не исполнилось.

### *6.7. Римский военный лагерь в Германии и все-таки вне ее*

Пророческим образом Розанов к критике Пруссии при взгляде на Берлин присоединяет заметки «В военном лагере римлян». Он, вероятно, не ощущал провидческой силы прозаической секвенции. Мог ли он сопоставить с «молитвой» и «наслаждением», «жертвой» и «игрой», наследием греков, сохраненным в мелодии цитры и мраморных статуях, а также с псалмами евреев наследие римлян в прозе (501) и соответствующую ему цивилизацию, без осознания прозаичности собственной речи?

Не римское упадочничество, а *virtus romana* (римская доблесть) с его цивилизаторским связыванием силы в договоре, обузданием противоречия деспотизма и пением под арфу воплощают для Розанова *castra romanorum* (лагерь римлян). Отсюда

исходит защита слабого и подавление сильного, государственность «в ее полном *гении*» (501). О нее ударяется дикая, необузданная, варварская, «пришедшая из Азии» (499) Германия, «со страшными топорами на длинных древках, с дубинами, стрелами и луками» (499). Только в Германии и становится ясно, что в каждом римском гражданине кроется Фауст или Мефистофель. За *civitas romana* следуют только «этнографические группы» и победоносные завоеватели. Стоя у военного лагеря римлян под Бад Хомбургом, Розанов поет песнь скорби по крушению Римской империи.

Если Розанов сравнивает четырехугольный план древнеримского укрепления Заальбург на лимесе с изображением архитектурного плана Константинополя, которое он знает по изображению на монете, и устанавливает соответствие римского лагеря в Германии с «Urbs nova» Константина Великого, становится ясно: при описании в центре его внимания легенда, связанная с основанием Российской империи. В соответствии с утверждением Филофея, Москва как «Третий Рим» вступила во владение наследием Византии. Розанов видит в «коре» (498) Римской империи метафизическую глубинную границу русского. Эти узы, хотя они нигде и не упоминаются, постоянно присутствуют: генеалогия мотивирует связь воды Заальбургского источника с крещением русских в Днепре и малой ценностью деяний Лютера и Гегеля:

> Но римляне, хранители цивилизации тех давних веков, именно отсюда черпали и пили воду: ведь это было тысячею лет раньше, чем Владимир Святой крестил русских в новую веру! Вот они, колодцы, старейшие, чем вся Германия! Какие новенькие перед ними Гегель и даже Лютер, и даже сам седой легендарный Карл Великий! (502)

Победу культа Митры, чествовавшегося и в Заальбурге, с его покоренным быком (покоренной половой силой, 504), над культом Юпитера Розанов истолковывает как триумф монашеского аскетизма над радостью жизни, против чего он боролся. Разрушение действительности мечтой и идеалом, природы – деяниями культуры противоречит природе, науке и данной иудео-христианским Богом заповеди плодородия, а эквивалент этого разрушения в победе христианства над иудаизмом. В России этому соответствует скопчество, секта кастратов, одновременно манившая и пугавшая Розанова, с их прыжком из радости жизни в аскезу.

### *6.8. Немецкое и еврейское – в отчуждающем восприятии*

«Полупонятные руины» – так называет Розанов описание своего посещения церкви Либфрауэнкирхе и заложенной в 1260 г. подземной еврейской ванны («миква», 511) в гессенском Фридберге. При этом, большая раннеготическая церковь с тремя нефами, возведенная в 1260–1410 гг., в эпоху Гогенштауфенов, во Фридберге, никоим образом не руина, а почти целое, только без башен, здание, которое использовалось до начала XX в. в качестве протестантского храма. Слово «руины» в названии могло служить намеком на романтические ожидания, и уж наверняка оно связано с истолкованием готики Розановым. Он отвергает ходячую интерпретацию архитектуры, стремящейся ввысь, как «устремление души кверху» (508) в пользу «близкого к народу» понимания готики как строительного искусства «“готов”, варваров или полуварваров» (508). Устремление души у аскетов на созерцательном Востоке было не меньше, чем у аскетов на практическом Западе, но там оно привело к возведению куполов.

Розанов оправдывает свое описание церкви исключительно «химерами, волками, гадами», «демонами» и «грехами», окружавшими ее «купола» (508). Он допускает знание того, что речь идет об изгнанных духах, но ссылается на восприятие чужака, которому кажется, будто в католической церкви молятся демонам. Верующих русских такие изображения должны пугать, ведь они в своих церквах находят на соответствующих местах статуи святых.

Перед лицом «полупонятного» Розанов отдает наивному, физиологическому впечатлению от чужого, полупониманию, отраженному, в конечном счете, и в заглавии, превосходство перед западным (само)истолкованием. В дьявольских фигурах над всем высоким искусством интерпретации торжествует варварство готов. Чуждый взгляд отвергает, тем самым, истолкование, которое спасает рассматриваемый предмет, но вводит в заблуждение: с помощью готики верх в католицизме взяли варвары. Поэтому Розанов не удостаивает взглядом или словом ни замечательный позднеготический ковчежец, ни знаменитую скульптуру Фридбергской Мадонны (1270–1280), которые должны были занимать его, обвиняющего Христа в безрадостности и отсутствии чувства юмора, уже из-за смеющегося младенца Иисуса. Здесь посторонний взгляд предпочел не увидеть открывшегося ему.

Подобно тому, как протестантская церковь Либфрауэнкирхе становится в глазах Розанова руиной готически-варварского католицизма, он воспринимает и средневековую еврейскую ванну во Фридберге как реликт иудаизма[73]. Розанов просит некую еврейку отвести его в ванну, находящуюся на 23,5 м ниже поверхности земли, «в древнее святилище своего народа, полного смысла которого и сама, вероятно, не знала». Он рассказывает, что ванну, в отличие от сказанного еврейкой, изначально посещали не только женщины, но и мужчины. К тому же, он указывает на продолжение еврейской миквы, очищающего погружения, в ритуале христианского крещения. Подобно археологу, раскапывающему засыпанные остатки старых культур, Розанов дополняет руины доступных явлений культуры их забытыми значениями. Такая археографическая работа, по мнению Розанова, более чем для христиан, необходима для евреев, скрывающих свои святыни.

Розанову, спускавшемуся по лестнице, ванна кажется из-за недостатка света и воздуха ужасной «преисподней» (510). Представление о том, как здесь поколения женщин совершали ритуальное омовение; как живые, идя в ванну, мысленно встречались с омывавшимися здесь прежде, рождает у него тонкое наблюдение: «Страшная встреча жизни и смерти» (511).

## 7. *Parva miracula ethnica* – «мужественные немцы» растворяются в «женственной России»

В романе Достоевского «Подросток» немец с говорящей фамилией Крафт (сила), ставший русским, стреляется, потому что «[…] русские – порода людей второстепенная, на основании френологии, краниологии и даже математики, и что […] в качестве русского совсем не стоит жить»[74]. Эту сцену в июне 1911 г. журналист Т. Ардов (В.Г. Тардов) обсудил в своей статье «Судьбы России», включенной в его серию статей о современной и будущей России[75]. Розанов воспользовался этой статьей как поводом для того, чтобы высказаться о месте русифицированных немецких интеллектуалов в русской культуре и об отношении между «немецким» и «русским» (344 и сл.).

Там, где вторжение норманнов в Англию принесло с собой кровь, ужас и подавление, призвание варягов в Россию совершилось мирно и закончилось отказом *пришельцев* от их культуры и языка, их интеграцией в русский народ. Между мужчиной и женщиной, между мужскими и женскими племенами происходит «святое взаимокормление» (354), которое историки упускали из виду, так как они рассматривали историю только как борьбу за власть. «Германской», так сказать мужественной, историографии противопоставляет альтернативную, женственную, «русскую»[76].

На этой основе Розанов набрасывает проект совершенно другого будущего развития Европы, а именно проникновение русских идей в европейскую культуру; это приведет к отказу от таких западных свойств, как гордость, стремление к обладанию и господство (355). В то время, как русские, соприкасаясь с Западом, сохраняли свои (положительно оцениваемые Розановым) «женские» свойства, влечение к русскому на Западе всегда имело следствием отказ от собственной (негативной) идентичности. Русские воспринимают чуждое тело, но дух – никогда, в то время как чужеземцы воспринимали именно русский дух.

Более точное прочтение показывает, что Розанов поначалу отожествляет суждение Крафта о русских с (временным и условным) убеждением Достоевского (344), чтобы затем присоединиться к высказанному в романе Достоевского «Бесы» мнению о том, что Россия – единственный «богоносец»[77] современного мира. И он вводит в игру образ «кроткой Татьяны», антагонистки Евгения Онегина, которую Достоевский «бросил всем» на Пушкинском празднике (348).

Вопреки распространявшимся им слухам о пренебрежительном отношении к славянским нациям со стороны «германских» императоров Вильгельма и Франца-Иосифа, Розанов приводит (351 и сл.), прибегая к аналогичной стратегии дискурса, в качестве примера воспоминание Бисмарка из времен его дипломатической службы в Петербурге (351 и сл.)[78]. Во время медвежьей охоты посол Пруссии заблудился из-за метели и уже считал себя погибшим. «Ничего! – крикнул с облучка русский мужик. – Ничего, выберемся!» Еще в бытность канцлером Бисмарку полюбилось восклицать в безнадежных ситуациях «ничего». Так он и усвоил русскую жизненную позицию.

Истолкование Розановым этого междометия, употребляемого в качестве сказуемого, соответствует его собственному, в конечном счете, фаталистическому коренному убеждению, его этическому натурализму[79]. Он облекает этот натурализм в форму поучительного высказывания, произнесенного в стиле устного крестьянского рассказа:

> Не пришел *час гибели* – и не погибнем. А пришел этот час, то как ни кудахтай – не выберешься[80].

Из этой основной позиции Бисмарк сделал вывод о женственности русского характера и объявил своей целью объединение женственных русских с мужественными немцами[81]:

> Все русские *женственны*. И в сочетании с *мужественным* германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории. (Там же).

Розанов противостоит этой целевой установке, противопоставляя повседневному образу неудобного западного сапога удобную в ношении русскую домашнюю туф-

лю, твердому западному камню – мягкую, но более действенную русскую воду. Он называет имена Владимира Даля, Александра Гильфердинга и Владимира Саблера в качестве доказательств интеграции немцев в русскую жизнь. Лютеранин датского происхождения Даль, врач, работавший в провинции, а также в одном из министерств в Санкт-Петербурге, собирал русские пословицы и обороты речи[82] и, наконец, всю русскую речь[83]. Саблер (1847–1929), член Государственного совета и религиозный публицист, стал энтузиастом русского консисторского делопроизводства и дослужился до обер-прокурора Синода. Также А.Ф. Гильфердинг (1831–1872), русский историк и фольклорист, и А.Х. Востоков (настоящая фамилия Остенек, 1781–1864), филолог и поэт, по Розанову, работают в России в полном соответствии с ценностями русской культуры:

> «Женственная душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцвечивая. Решительно, они работают по формам, по приемам лучше русских[84].

Таким образом, в первые годы второго десятилетия Розанов реагирует на стереотипы о женской России и мужественной Германии не с помощью, скажем, опровержения их, а подтверждая эти стереотипы. Вот только для него, в отличие от стереотипа, женственный принцип является превосходящим, так как он вбирает в себя мужской и, тем самым, одерживает победу.

## 8. Проникнутое запахами: русские для немцев, что женщина для мужчины

Для Розанова отношение мужчины к женщине отмечено одновременным притяжением женского запаха и его неприятием. Хотя его и отталкивает испарение тела женщины (особенно ее половых органов), он все же чувствует себя неизбежно притянутым к ней. В этом-то, по его мнению, и кроется тайна любви. Нос становится самым интенсивным органом чувств, центром восприятия склонности и нерасположения, любви и ненависти.

В конце декабря 1912 г. Розанов вслед за приведенной сентенцией об эфирной феминизации мужчины запахом женщины в своем гендерном дискурсе снова отмечает данный Бисмарком образ немцев и русских как аналогию мужчины и женщины.

> И Бисмарк, сказавший, что «тевтоны – муж, а славяне – жена» (и якобы «удобрение для германской культуры»), ничего другого не сказал, как что некогда Германия зальется русской вонью, русским болотом, русской мутью, русским кабаком[85].

Образ, выраженный словами «зальется […] русской вонью», основывается на оргазмической сексуальности и вновь совершает переход от текучести к эфирному. На основе своего витализма Розанов заменяет позитивистскую механику скорее физиологической, нежели психологической эфирностью: Германская империя наполнится русской атмосферой.

На этом основании Розанов предвидит как комментатор будущей политической истории: принятие на себе господства в России домом Гогенцоллернов приведет к его русификации. Он снова подает овладение в образе истечения, на сей раз в будничном образе плевка:

> Розанов с удовольствием поставит калоши на трон Гогенцоллернов, и, сплюнув на сторону горностаеву мантию, все покроет своим халатом[86].

Розанов может сообщить о случае, когда немецкий ученый муж подчинился русской жене при надевании калош[87]. Правда, она приняла германское гражданство, но он остался в России. Два других немца, занимающих высокое положение и зажиточных, снова («опять какая покорность немцев русским бабам!»[88]) подчинились своим «талантливым» русским женам. Из-за запаха!

Розанов превращает оседающий в обороте речи – «я не могу тебя разнюхать» – чувственный опыт в этническую эмпатию. Эта фраза заканчивается в «Опавших листьях» словами: «А все запах»[89].

## 9. Образ врага – Германии – в Первую мировую войну: война делает из русских солдат мужчин и ввергает наблюдателя в феминистическое упоение

Германия как политическое явление для Розанова, прежде всего, – созданная Бисмарком Германская империя, сам Бисмарк – единственный высоко ценимый им германский политик, если вообще не единственный, на которого он обращал внимание. По отношению к германскому императору, русский наблюдатель занимает гораздо более дистанцированную позицию.

Розанов не предвидел Первую мировую войну, но сразу же придал ей принципиальное значение. Для него это была «не простая война; не политическая война», а «борьба двух миров между собой[90]. Она представлялась ему конфликтом славянского и германского духа и в то же время процессом воспитания России. Поэтому Розанов называет свою книгу «Война 1914 года и русское возрождение». Он приветствует обретение прежней силы русским национальным сознанием, и занимающей нигилистические позиции литературе, в которой только болтают, он противопоставляет действующую «железную армию». Война дает ему доказательство убедительности славянофильской позиции. Западники, по его мнению, злоупотребляли «народом только как веществом для принятия западной цивилизации»[91].

Розанов заканчивает свою книгу о войне достойным внимания описанием того, как он воспринял прохождение мимо него русской конной армии. Наблюдатель захвачен сопереживанием высокой степени к конным солдатам, «мужественную» силу которых он принимает в себя с «женским взглядом». Русские солдаты обретают при этой встрече функцию «мужественных немцев», а наблюдатель – роль «женственных русских»:

> Я все робко смотрел, – прямо перед собою – на эту нескончаемо идущую вереницу тяжелых всадников, из которых каждый был так огромен сравнительно со мною!… Малейшая

неправильность движения – и я раздавлен. […] И, между тем, чувство своей подавленности более и более входило в меня. Я чувствовал себя обвеянным чужою силою, – до того огромною, что мое «я» как бы уносилось пушинкою в вихрь этой огромности и этого множества. […] Когда я вдруг начал чувствовать, что не только «боюсь» (это определенное чувство было), но, – и обворожен ими, зачарован странным очарованием, которое только один раз, вот *этот*, испытал в жизни[92].

Это изображение движущейся армии напоминает воодушевление Маринетти динамикой и войной, но отличается от футуристического торжества по поводу войны перспективностью художественного подхода и анализом собственного восприятия. Розанов обрисовывает отказ наблюдателя от собственной точки зрения, «заразительную» силу массового движения, в котором «я» становится частью события. Он прикладывает палец к невралгической точке смешения из страха и восхищения, которое выступает как новая форма возвышенного и в котором участвует неподвижный наблюдатель.

Розанов замечает также, что это внешнее событие, в связи с которым он, используя понятие «мужественность» для обозначения смелости, обращается к слову «муж», касается внутренней организации наблюдателя, превращающегося из наблюдателя в участника. Он доказывает это изменение с помощью разоблачительного в психологическом отношении образа влюбленности, к тому же влюбленности молодой женщины, девушки. Эстетическое поначалу отношение зрителя к рассматриваемому предмету становится жизненно важным:

Произошло странное явление: преувеличенная *мужественность* того, что было предо мною, – как бы изменило структуру моей организации и отбросило, опрокинуло эту организацию – в женскую. Я почувствовал необыкновенную нежность, истому и сонливость во всем существе. […] Сердце упало во мне – любовью… […] Этот колосс физиологии, колосс жизни и, должно быть, источников жизни вызвал во мне чисто женственное ощущение безвольности, покорности и ненасытного желания «побыть вблизи», видеть, не спускать глаз… Определенно – это было начало влюбления девушки[93].

Розанов, для самого себя постоянно претендующий на нерешительность, малодушие, даже трусость, благодаря наблюдению, реальному созерцанию армии конников, проходящей торжественным маршем, метонимически соприкасается со смелостью, храбростью и мужественностью. Утверждая: «Сила – вот одна красота в мире»[94], – он бессознательно смиряется с точкой зрения враждебной культуры, культуры Ницше![95]

При сопоставлении противников Розанов не следует, к примеру, линии пактов о союзе, а вполне в духе славянофильства сопоставляет Россию со всем Западом и, тем самым, с ее партнерами по союзу: вся западная политическая история «представляет собою *насилие сильного над слабым*»[96]. Розанов искажает историю, неявно противопоставляя многочисленные российские завоевания и поведение русских армий с XVII по XX вв. в отношении многочисленных покоренных народов как нейтрализацию политики насилия и диктата, которую проводили страны Запада[97]. Поведение казацких полков в Восточной Пруссии в начале войны и беспощадная русификация Галиции военной зимой 1914–1915 гг. с жестокой депортацией украинской интеллигенции, требовавшей автономии, звучали насмешкой над тем, что

говорил Розанов. Он больше не боится пробуждать затаенные неприязненные чувства к Германии или укреплять их.

Обращаясь к сообщениям о немецких зверствах, Розанов объясняет жестокость немцев[98] внутренней сухостью и протестантской привычкой к рассуждению, у которой, в отличие от русского православия, отсутствует идеал святого: «Немцы суть общественно-воспитанные люди […], но они не суть нравственно-воспитанные люди и религиозно-воспитанные люди» (81). Германской жажде войны он полемически противопоставляет «особенную мягкость славянской породы»» (76). Он оценивает эту уступчивость не как слабость, а как религиозную силу христианского милосердия. Немецкому убеждению в том, что в лютеранской церкви у них «*правильная* церковь», Розанов противопоставляет не менее самоуверенное знание русских: «Мы, русские, имеем *святую* церковь» (78). Замена религиозной святости правильностью знания (т.е. веры теологией), по его убеждению, неизбежно ведет у немцев к тому огрублению, говоря о котором, Розанов, в конце концов, высказывает сожаление в адрес противника: «Они – несчастны. Несчастны религиозно» (88).

В книге «В чаду войны» (1916 г.) Розанов, в основном, продолжил свою аргументацию, но четче очертил ее. Письмо Павла Флоренского дает ему возможность пластично изобразить христианскую позицию русских солдат как «христолюбивого воинства», пребывающего в крестовом походе против неверных. Здесь Розанов встает на защиту русских офицеров, которых ему после революций пришлось объявить первыми жертвами новейшей истории.

Германский император во время Первой мировой войны для Розанова – символ последствий той технической модернизации, оборотную сторону которой образует нарастание душевной глухоты. В 1915 г. в «Мимолетном» он приписывает Вильгельму роковую роль, ибо его планы не приведены в соответствие с покорностью божественной воле. И вот смертный приговор Розанова политику:

> Вильгельм, – которому «все удивляются», и собственно потому, что он не совсем хорошо рассчитал и попал (по-видимому) в неудачу, иначе у него лизали бы ноги, – на самом деле в бездушии и безмыслии своем выразил и Эйфелеву башню, и паровозы, и телефон, и электрическое пошлое освещение, «без огонька», и новую агрикультуру, все, все, все…[99].

В то время как в романе Шпильгагена «Гуттенберг» (с Ф. Лассалем в качестве главного героя) для Розанова отражается разнонаправленность целей Германии с ее Божественным назначением[100], от русского царя он ожидает, что тот будет действовать в согласии с современным развиитем и применительно к индустрии.

Свою статью, посвященную наступлению нового, 1917 года, Розанов открывает утверждением о том, что «бесчеловечие» германского кайзера возложило на образованное человечество Европы тяжелое ярмо. Конечно, он, при этом, имеет в виду и самого себя. Ввиду неблагоприятного положения на фронте, он призывает кайзера Вильгельма к «благородству» и «великодушию»[101], добродетелям, отсутствующим у него, а Россию к смелости, но, прежде всего, к гражданскому мужеству. Тем самым, он требует от матушки России «мужского» поведения!

Розанов объясняет угрожающее положение России тем обстоятельством, что в лице Германии оригинал напал на Россию, на подражание. Эпигонство свидетельствует о бездарности: он убежден, что наука, литература и философия в России германизированы, во всех специальностях и на всех кафедрах они представляют собой не

что иное, как библиографию немецкой. Если он пишет, что оригинальной русской мысли в России приходилось гораздо труднее, на нее просто не обращали внимания, то он, вероятно, имеет в виду и свою книгу «О понимании». И министерства всего лишь подражали германской политике, а в школах господствовали шаблоны, взятые из Германии[102]; это господство немцев было бы «великолепной»[103] подготовкой России к войне.

Розанов призывает русских встать на свои ноги – в работе, в мысли, в характере и достоинстве. Что необходимо русскому человеку – это просто гордость. Несколько позже, и, тем самым, доказываются его менявшиеся настроения, он пишет в статье, первоначально называвшейся «У немца в калоше», что истинная культура создана Лютерами и Гёте, между тем как Россия создала лишь «Записки сумасшедшего»[104]. Немцы вместе с евреями служат общим образом врага, поскольку Розанов[105] выставляет носителями социализма именно немецких евреев (в данном случае Лассаля и Маркса)[106].

## 10. После 1917 года: взлет и падение. Победители и побежденные меняются местами

После Февральской революции Розанов поначалу, в высшей степени, оптимистически оценивал положение и перспективы России: во всемирном сопоставлении Россия, как молодая республика, превзошла торговую компанию USA и прошла мимо пережитков Французской республики[107]. В «Республике 1917 года»[108] Россия, по его словам, после тысячелетнего существования переживает вторую молодость, более свежую, чем новгородская свобода. С виталистических позиций он рассматривает отмену Керенским смертной казни как знак молодой силы русского государства, ибо «Когда же дети убивают?»[109]

Поворот в ходе военных действий, мнимая игра военного счастья, на деле же превосходство в снаряжении и живой силе, с торжеством воспринимается как точка перехода божественного предназначения. Германия полвека не осознавала свое назначение, стремилась к ложным целям. Так как немцы следовали воле к господству над Европой, используя ложные средства, то их предвидимое поражение оправдано и с моральной точки зрения:

> Склоняются весы политических судеб Германии… Кто мог ожидать, думать, гадать? Война, к которой Германия 48 лет подготовлялась, в то же время усыпляя своих соседей, – кончается не в ее пользу. Есть *справедливость в небе*. Небеса не люты, не беспощадны – одно можно сказать[110].

Розанов выдвигает и еще более далеко идущее моральное обвинение, когда он в один ряд с целенаправленной немецкой инфильтрацией России социализмом ставит и изобретение немцами в мирное время удушающего газа. Он доказывает свою позицию с помощью библейского вердикта об убийстве Каином его брата и присоединяет к сказанному наводящий вопрос о том, не стоит ли на повестке дня полная переоценка исторической роли Германии в самом широком смысле.

Розанов пробуждает к новой жизни старые предубеждения против немецкой культуры, умаляя значение «прекрасных цветов» ее философии[111]. Против имен Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, по его мнению, французские, английские, итальянские и русские философские труды сначала не смогли утвердиться. Если же присмотреться внимательнее, то у немцев, между тем рядом с великолепной песнью эллинов и готовностью отдать жизнь за собственную философию (Сократ, Джордано Бруно, Галилей) проявляется лишь схоластическое мышление. Бледная, бескровная и безжизненная, их философия накапливала главы, тома и труды, не наполняя пространство печатных страниц возгласом или хотя бы внутренним участием[112].

После своего переезда летом 1917 г. из Петербурга в Сергиев Посад, вызванного экономической необходимостью, но, прежде всего, после Октябрьской революции надежда Розанова на будущее России уступает место отчаянию. Глядя назад, он теперь истолковывает и Февральскую революцию как угрозу России. Напротив, Германия снова поднимается до уровня превосходящего противника. «Приказ № 1» Петроградского Совета от 1 марта 1917 г., предоставлявший солдатам права граждан и лишавший офицеров обращения «Ваше благородие», был, по его мнению, написан в Берлине[113]. Германское правительство, считает он, хорошо изучило русскую литературу и предоставило победить Россию ее собственной литературой. Правда, миф об уничтожении России ее собственной литературой ставит Розанова в затруднительное положение, так как он сам есть часть этой литературы; он словно объясняет свои экономические затруднения собственной виной.

Оценки положения России, колеблющиеся вместе с событиями, перемежаются у Розанова с оценками прочных свойств русских людей и русской души. В письме П.Б. Струве от февраля 1918 г. он вновь подчеркивает, что ему было всегда «совершенно ясно, что русский человек, русская душа – абсолютно анархична; что она – мечтательна, фантастична, поэтому и практически ни к черту не годится»[114].

«Спасения России от подлых качеств русского человека»[115] Розанов ожидал от благородного поведения германского кайзера по отношению к русскому царю. Переживавший в этом письме за шансы публикации, критик обращается к немцу по происхождению («кровь, порода») Петру Струве, который в своей книге «Patriotica» (1911) переоценил положительные свойства русских. Розанов осуждает эгоизм русских, в которых нет ничего, кроме частных и личных интересов, жажд и влечений.

Розанов вновь противопоставляет русский народ, которому он отказывает во всяком чувстве собственности, одновременно еврейскому и немецкому, сформировавшим понимание собственности. Именно немец, заработавший свою собственность, по убеждению Розанова, чувствует себя внутренне обязанным ей. Недостаточное чувство собственности, по мнению Розанова, который сам, несмотря на значительные доходы, никогда не хотел владеть чем-то большим, нежели своей библиотекой и коллекцией монет, имело следствием решение русских в пользу социализма. «Берлинский Маркс»[116] – это троянский конь прусского социализма. Он же сам, признается Розанов Струве, любит этот несчастный русский народ, который теперь погряз в парламентаризме и социализме, не зная, на что пошел.

В письме Голлербаху от 7 июня 1919 г. Розанов снова оказывается во власти ходячих стереотипов, говоря, что «пустая и болтливая Россия» побеждена «трудолюбивой» Германией[117]. Виновниками Розанов объявляет ту «социал-демократическую сволочь», против которой Достоевский боролся в «Записках из подполья», в «Преступлении и наказании», в «Бесах», а также в «Братьях Карамазовых». Уже Томас

Карлейль вышел на бой против «механической мельницы» социал-демократических принципов. Целые семьи, как, например, Бакунины (речь идет о романе Корнилова «Семья Бакуниных». – *Прим. перев.*), оказывались размолоты ими, а тот, кто восставал против них, был обречен, тем самым, на провинциальное существование:

> «Выехать в столицу» и в *«столичную штучку»*, – это и значило попасть в соц.-демокр. течение, приобщиться к соц.-демокр. газете[118].

Розанов продолжает плести свой миф о немецком заговоре против России: Германская империя вложила половину контрибуции с Франции в сумме пять миллиардов золотых марок в создание промышленности, а другую половину – в будущую победу над Россией. Он уверен, что германская и российская социал-демократии совместно финансировали свою прессу германским государством[119]. Со времени студенческих лет он был убежден в том, что Бисмарк в свое время вел тайные переговоры с Лассалем. Социализм, в постоянном согласии с договоренностью между партией и рейхсканцлером, завоевал и кафедры немецких университетов.

В качестве основного зла Розанову представляется не столько победа Германии над Россией, сколько выступление социализма как «новой *религии*», *идущей* «на смену *христианству*»[120]. Перед лицом проигравшего христианства он снова возлагает надежду на «гениальный иудаизм», на библейских пророков, Ветхий Завет, особенно же на книги Иова и Руфь. Обращаясь к ним, он уверен, что не имеет дела с рекламой берлинской государственной полиции.

Задаваясь вопросом, возвращающимся к своим истокам, о том, что могло бы стать с Европой благодаря Шеллингу, Фихте и Гегелю и после них, *не* сбейся она на путь социал-демократии, Розанов не проводит в дальнейшем различия между социал-демократией и социализмом, между меньшевиками и большевиками. И, вопреки скепсису начала лета 1917 г., он допускает представление о возможной положительной европейской культуре на основе немецкого идеализма. Он снова удостоверяет ошибочные действия Германии – на сей раз речь идет об использовании социалистической идеологии для разрушения России.

В одной из своих последних статей Розанов взирает в 1918 г. «С вершины тысячелетней пирамиды» на всемирную историю. Убежденный в победе Германии, он спрашивает, чем западный сосед превзошел Россию. Его ответ ошеломляет: «Благородством»[121]. Он вводит в игру социальную особенность Германии, роль Ганзы как опоры против немецкой аристократии. Русским, в отличие от немцев, не удалось четко отграничить друг от друга свои социальные слои и сбалансировать их, с точки зрения осуществления власти. Москва, по его убеждению, не следовала, как Киев, за Византией, ни подобно Новгороду, за германским прообразом, решившись в пользу коллективного стереотипа Золотой Орды.

Самую последнюю причину упадка России Розанов теперь усматривает в этически ошибочных действиях русских семинаристов, т.е. поколения его отца; они ввергли на протяжении XIX века свою страну в такое положение, что хоть караул кричи. Русская пирамида низверглась по моральным причинам. Эта аргументация сводится к критике модернизации, вероятно, даже преждевременной и необдуманной модернизации России. В этом направлении указывает тезис Розанова о том, что изображенные Гёте в «Германе и Доротее» простые, не особенно умные дети Германии просто ждали – и преуспели.

В русской литературе Розанов встречает нечто двойственно гениальное, нечто «гениально-*урожденное*»[122]. Хотя она не уступала по красоте и достоинству даже греческой литературе с Гомером, итальянской с Данте, английской с Шекспиром, но именно эта литература, вознесшая Россию на небо, и стала разрушительницей Российской Империи:

Ты был небесен только в слове
И – это небо тебя раздавило[123].

Первородный грех разрушения культуры и жизни Розанов вновь и вновь обнаруживает со второго десятилетия XIX в. в немецком изобретении – книгопечатании. Гуттенберг, создав книгопечатание, сделал жизнь невозможной[124]:

После книгопечатания любовь стала невозможной.
Какая же любовь «с книгою»?

Но Розанов знает, что и его собственные доходы покоятся именно на искусстве печати: «Гуттенберг, м.б., и “не хорошо” изобрел. Но для меня он “очень хорошо” изобрел». Розанов мог, вероятно, приписать себе в качестве греха извлечение выгоды из злого немецкого деяния.

Во второй корзине «Опавших листьев» Розанов еще раз объясняет упадок литературы с XVIII столетия – в качестве положительных исключений он подчеркнуто называет здесь Гёте и Шиллера – падением писателей. Он предвещает к концу XX века конец книгопечатания, расчет с «германским изобретением»[125].

## 11. Перспектива: чужой в собственной стране

Перед тем, кто окинет взглядом созданные Розановым меняющиеся образы немцев, Германии и немецкого[126], возникнет несколько настойчивых вопросов. Первый касается того обстоятельства, почему Розанов проглядел большинство немцев в России, прежде всего немецких колонистов, с которыми он должен был встретиться во время своей поездки по Волге в низовьях реки. Для него имели первостепенное значение не немцы сами по себе – важна была немецкая судьба, которую он не видел воплощенной в формах крестьянской жизни и, как клеймо, на которой виделась ему мировая война с ее отношением к русской доле. Немецкий народ характеризуется для него общением с неважным, второстепенным, особенно тем, что лишено чувств. Понятно, что, напротив, русских (и его самого, в том числе!) характеризуют сила чувств и обращение взгляда на главное, на существенное. Наряду с вопросом о признании эмоциональности[127], который Розанов уже в своем труде «О понимании» превратил в исходный момент своего понятия культуры, возникает суждение о ценности предметов, с которыми общаются народы[128].

Подобно тому, как Розанов, сравнивая русских с немцами, обретает мир со своим народом, оказывается в состоянии стать членом сообщества «русских», ему удается включить «немцев» в картину европейского, противопоставляя их американцам, точнее, жителям Соединенных Штатов. Здесь европейцы, «европейство»[129] превра-

щаются в гуманистическую противоположность меркантильному, по его мнению, характеру американцев и воплощенному в нем «американизму».

В вышедшем 2 апреля 1904 г., т.е. во время русско-японской войны, комментарии, который приравнивает японцев к американцам в том, что касается технического прогресса, обоим народам припоминается отсутствие культуры. Культура понимается в данном случае как процесс долговременного развития, охватывающий шотландскую школу философии, Канта, Шеллинга, Гегеля, а также Гомера, Данте, Шекспира, Мильтона, Байрона, Жуковского и Гюго, русские иконы и мадонну Рафаэля в качестве канонических примеров. Американский и японский народы контрастируют с этой общеевропейской гуманистической культурой, обращающей на себя внимание своим суждением о Гёте и Вагнере, ибо им недостает трех культуротворческих принципов – «воображения», «творческой фантазии» и «чувства ответственности» (там же, с. 166). Раздраженный японскими победами, Розанов в пылу полемики характеризует японских врагов как «крыс и мышей», которые, хотя и могут кусаться, но ведут жизнь, отрицательную во всемирном смысле. В войне, разрушительной для идеала человечности, сознание борьбы за культуру человечества может укрепить силы, невзирая на собственные потери.

Розанов не обретает, однако, устойчивой точки зрения на мировую культуру. Коль скоро он обращает взгляд на отдельные европейские народы, умонастроения народов резко сталкиваются друг с другом. В «Мимолетном» он набрасывает занимательный виталистический паноптикум первоначальной жизни, если угодно, первичных европейских форм жизни. В то время как его характеристика французов и англичан еще снабжена осторожными вопросительными знаками, то относительно немцев Розанов уверен: «У француза – самолюбие и самовлюбленность (?). У англичанина – конкуренция (?). У немца – размышление о выеденном яйце»[130]. Немцы для Розанова – те, кто размышляет о несущественном. Снижение ценности содержания мышления обесценивает и мышление немцев, и, тем самым, «немецкое».

Для русских, согласно Розанову, Гоголь разработал в качестве первоначальной жизни бездушие, неодухотворенность. При этом писатель – только другая русская первоначальная форма бытия, перешедшая в одухотворенность, более того, душевность, как ее воплощал Сергий Радонежский. Святой прославляется здесь, прежде всего, как основатель монастырских пустыней, а тем самым, и русского движения к заселению пустошей, которое внесло существенный вклад в «мирное расширение» России на восток.

Немецкой деловитости миф Розанова о народах противопоставляет преимущественно русское отношение к покою[131]. Русские одобрительно мирятся с возможностью стоять вне истории, вне ответственности и даже вне времени. Бабье лето, когда сохраняется летняя погода, а жара спадает – вот их время. Оно приятно, и в этой приятности длительного и кроется русская консервативная позиция. Такое представление о себе в контексте обломовщины увенчивается возгласом Розанова: «Ой-ой-ой – да ведь и суть русской культуры – лень. Сам же ее люблю»[132].

Оставим под конец на миг точку зрения Розанова и зададимся вопросом, с каким немецким автором русский наиболее вероятно сравнится. Это, конечно, Генрих Гейне, которого он, несмотря на свой нараставший с 1911 г. антисемитизм, всегда уважал. Розанов сказал в 1910 г., в частности, о Генрихе Гейне, что такие, как он, в отличие от Бакунина, «ходят на цепочке перед Богом»[133]. Но это касается и самого Розанова, который писал под сходным экономическим давлением и нашел сравнимо

ужасный конец. И это, конечно же, имеет силу еще и потому, что он чувствовал себя в своей стране, как иностранец: «Точно я *иностранец* – во всяком месте, во всяком часе, где бы ни был, когда бы ни был»[134].

Взгляд Розанова на Германию, немцев и немецкое был всегда связан с поиском собственной идентичности[135]. На чужбине, прежде всего, в Германии, он был другим – был русским, в России он видел себя как иностранца.

При этом, его неосуществленное стремление заключалось в том, чтобы соединить всех через все границы:

> «Иностранец»… «*Где* ушибемся, там и *болит*»: не от этого ли я так бесконечно люблю человеческую *связанность*, людей в *связанности*, во взаимном *милованиии, ласкании*. Здесь мой пафос к ним, так сказать, валит все заборы; ничего я так не ненавижу, ничему так не враждебен, как всему, что *разделяет* людей, что мешает им *слиться*, соединиться, стать *«в одно»*, надолго, на время – я даже не знаю вопроса. Конечно – лучше на вечность […][136].

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ср. о концепции национального у Розанова: *Райнер Грюбель.* Концепция русской литературы как национального явления в творчестве В.В. Розанова // Наследие В.В. Розанова и современность. Материалы международной конференции. – М., 2009. С. 25–33.

[2] Ср. о концепции национального у Розанова: *Райнер Грюбель.* Концепция русской литературы как национального явления в творчестве В.В. Розанова // Наследие В.В. Розанова и современность. Материалы международной конференции. – М., 2009. С. 25–33.

[3] Розанов знал, что Кальвин происходил из французской культуры, но победа протестантизма в германских культурах сделала и его «германским» явлением. Это черта исторического витализма Розанова: каждое явление, в конечном счете, относится к той сфере, в которой оно утвердилось.

[4] Ср. идентификация Розановым нерусского человека с немцем в русской литературе до Достоевского: Ведь, в сущности, все – и Тургенев, и Гончаров, даже Пушкин – писали «немецкого человека» или «вообще человека», а *русского* («с походочкой» и мерзавца, но и ангела) – написал впервые Достоевский. – *Розанов В.В.* Собрание сочинений. – М., 1992–2002; в данном случае Т. 2. – М., 1994. С. 303. С 1992 г. в Москве издается большое собрание сочинений Розанова, до 2009 вышло 26 томов. В дальнейшем это издание цитируется как Собрание сочинений с указанием томов и страниц.

[5] *Розанов В.В.* Иная земля, иное небо… Полное собрание путевых очерков 1899–1913 гг.. – М., 1994. С. 685. В дальнейшем указания на источник из этого тома только посредством указания страницы.

[6] Первая часть «Германских впечатлений» («Сикстинская Мадонна»») была первоначально составной частью тома «Итальянские впечатления». Противоположность между Италией и Германией исчезает, если обе нации сопоставляются с Россией. Сначала в Италии, затем в Австрии и Германии Розанова восхищает «деликатность» (С. 632 и сл.), противопоставляемая русской «угрюмости» с ее «Богом неудач». Готовность помочь, с которой ему показывали дорогу во Флоренции и Вене, расположенность, пережитая в Бад Наухайме, служат примерами цивилизаторской добродетели, которую он в качестве примера ставит в упрек русской «грубости».

[7] Розанов сожалел в 1898 г. меньше о несправедливости, чем о риске, связанном с присоединением половины Польши: «Польша (…) политически сама разрушилась». – Ср. *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Собрание сочинений. Т. 7. – М., 1996. С. 316. Ошибку русификации завоеванных регионов Розанов видит как промах чисто морального свойства: «Мы наступаем на нравы, на язык, иногда и хоть чуть-чуть – на веру: нам отвечают “полити-

кой". Мы узурпируем, на что не вправе; и у нас узурпируют то, на что, в свою очередь, нет у них права» (С. 317).

[8] Китай для Розанова – нечто совершенно иное: «С ним у нас никакого родства, ин единой нити реальной связи». – *Розанов В.В.* Мимолетное. – М., 1994. С. 332.

[9] *Розанов В.В.* Легенда… С. 585.

[10] Ср. по поводу образа Египта у Розанова *Rainer Grübel.* An den Grenzen der Moderne. – München, 2003. Kap. 14. S. 559–596.

[11] *Розанов В.В.* Русский Нил // *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. – М., 1990. С. 575 и сл.

[12] Важное значение для позиции имеют два мотива Розанова. Во-первых, его единственный сын Василий (Вася) был именно в возрасте убитого. Во-вторых ему, вступившему в пятый десяток, было заметно труднее публиковаться в других газетах, кроме *«Нового времени»*. Так как многие органы печати находились в руках евреев, он считал, что здесь ему угрожает заговор евреев против русских.

[13] *Розанов В.В.* Религия, философия, культура. – М., 1992. С. 321.

[14] *Розанов В.В.* В темных религиозных лучах. С. 237.

[15] Поэтому мало смысла в определении Розанова как «представителя префашистского модерна (например, *Karl Schlögel.* Vasilij V. Rozanov. Der präfaschistische Moderne. – Ders.: Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne. Petersburg 1909–1921. – Berlin, 1988. S. 125–152). Сопоставление «префашистского черносотенца» с «эсером» (S. 126) делает классификацию сомнительной. «Решительным анти-интеллектуалом» (S. 125) Розанов был бы только в том случае, будь утопизм неотъемлемой составной частью интеллектуального бытия. Защищая возможность, Розанов отвергает всякую историческую необходимость.

[16] Физиогномика Лафатера интересна в данном случае и потому, что она формировала важнейший вопрос другого русского, путешествовавшего по Европе – Карамзина.

[17] Во введении к русскому изданию сочинений Метерлинка Розанов приводит Вундта в 1907 г. в списке из десяти имен, простирающемся от Милля до Тэна и представляющего собой его устаревший канон чтения. – в Ср. *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. Собрание сочинений. Т. 4. С. 240.

[18] Ср. о Розанове-историке: *Райнер Грюбель.* Розанов как историк России. Между спасением и концом мира // M. Weinstein (ed.) La geste russe. Comment les Russes écrivent-ils l'histoire au XXe siècle. – Aix en Provence, 2002. С. 122–149.

[19] Иначе поступал Чехов, который соединял русскую внутреннюю и нерусскую внешнюю позицию в своей художественной прозе. Ср. *Лотман Ю.М.* «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова // *Лотман Ю.М.* О русской литературе. – СПб., 1997. С. 747.

[20] Ср. *Лотман Ю.М.* «Фаталист». Там же. С. 605 и сл.

[21] Рассказ «Фаталист» – часть романа Лермонтова «Герой нашего времени» (1840).

[22] *Розанов В.В.* Легенда. С. 318.

[23] Ср. *Э(рих Ф.) Голлербах.* В.В. Розанов. Жизнь и творчество (1922). – М., 1991. С. 7.

[24] Август Вильгельм Грубе (1816–1884) создал в качестве частного учителя и писателя, выступавшего на педагогические темы, многочисленные произведения для детей и юношества, посвященные географии, этнографии и истории.

[25] Письмо Розанова к Э. Голлербаху. Берлин, 1922. С. 69; Ср. *Розанов В.В.* Сочинения. – Л., 1990. С. 553.

[26] *Розанов В.В.* О себе и жизни своей. – М., 1990. С. 688. Речь идет о написанном Лассалем «Открытом ответном письме Центральному Комитету Всеобщего германского рабочего конгресса в Лейпциге». Zürich, 1863.

[27] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 392.

[28] *Karl Voigt.* Physiologische Briefe für Gebildete aller Stände. – Stuttgart und Tübingen, 1847 (entstanden 1845/46).

[29] 3 Bde. Leipzig 1778–1783; русский перевод: Мир до сотворения человека. 2-е изд., 1865.

[30] *Розанов В.В.* О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. – М., 1886; вновь – СПб., 1994.

[31] *Розанов В.В.* Из дел нашей школы // Новое слово. 1910. № 8. С. 25 и сл.

[32] *Розанов В.В.* Европейская культура и наше к ней отношение // *Розанов В.В.* Легенда… С. 178–185.

[33] *Розанов В.В.* Европейская культура и наше к ней отношение // *Розанов В.В.* Легенда… С. 232.

[34] Там же. С. 184.

[35] *Розанов В.В.* Еще о комитетах грамотности // Новое время. 11 января 1895.

[36] Ср. *Сукач В.Г.* Жизнь Василия Розанова «как она есть» // Москва. 1991 и 1992; в данном случае 1992, № 2. С. 111 и сл.

[37] Чижевский называет тезис Розанова в соответствии с которым он, когда писал «О понимании», не знал Гегеля, «скорее всего литературным кокетством». –*Чижевский Дмитрий.* Несколько слов о мыслителе и писателе Розанове // *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе. – München, 1970. S. IX.

[38] *Голлербах Э.Ф.* Указ. соч. С. 95.

[39] *Розанов В.В.* Русский Нил // *Розанов В.В. Иная земля*. С. 368.

[40] *Розанов В.В.* О себе. С. 124.

[41] Там же. С. 125.

[42] Там же. С. 124.

[43] Знакомство с Ницше восходит, вероятно, к статье В.П. Преображенского «Фридрих Ницше: критика морали альтруизма» // Вопросы философии и психологии XV (1892). С. 115–160. Идейные миры Розанова и Ницше сравнивает С.Н. Носов в книге «В.В. Розанов Эстетика свободы». – СПб., Дюссельдорф, 1993. С. 168–185. Правда, его противопоставление Ницше как провозвестника произвола, и Розанова, защитника свободы, не убеждает ввиду учения Розанова о предопределении.

[44] *Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе. Опыт критического комментария. – СПб., 1906. С. 133.

[45] В письме П.П. Перцову от декабря 1896 г. Розанов характеризует безумие Ницше как кару за его слова «Бог умер». Ср. *Розанов В.В.* Мысли о литературе. – М., 1989. С. 505.

[46] Там же. С. 214 и сл.

[47] *Розанов В.В.* Около церковных стен. – М., 1995. С. 160.

[48] Там же. С. 412.

[49] *Розанов В.В.* Среди художников. – М., 1991. С. 58. В 1899 г. Розанов констатирует, что он заразился Леонтьевым, как другие заражаются Ницше. Ср. *Розанов В.В.* Легенда… С. 344.

[50] «Его Заратустру цитировали как любимые стихотворения, как гонящую сон заветную сказку (…)». *Розанов В.В.* Мимолетное. Собрание сочинений. Т. 2. С. 354.

[51] *Розанов В.В.* Легенда… С. 555.

[52] *Розанов В.В.* О себе. С. 76.

[53] Там же. С. 87 и сл.

[54] Там же. С. 219 и сл.

[55] Там же. С. 234 и сл.

[56] *Мережковский Дмитрий.* Революция и религия // Дмитрий Мережковский. Полное собрание сочинений. Т. 13. – М., 1914. С. 71–81.

[57] *Розанов В.В.* О себе. С. 379.

[58] Там же.

[59] *Розанов В.В.* В Прибалтике // *Розанов В.В.* Иная земля. С. 45. Все ссылки в тексте этой главы относятся к названной статье.

[60] Ср. предание о Ницше, обнимавшем извозчичью лошадь (*Werner Ross.* Der ängstliche Adler. Friedrich Nietzsches Leben. München 1990. S. 785).

[61] *Розанов В.В.* Легенда…. С. 548. О самодефиниции русских как северян ср. *Otto Boele*. The North Russian romantic literature. (= Studies in Slavic literature and poetics Nr. 26). – Amsterdam u.a. 1996. S. 26.

[62]Ср.16-й тезис диссертации Н.Г. Чернышевского «Эстетическое отношение искусства к действительности» // Н.Г. Чернышевский. Избранные эстетические произведения. 2-е изд. – М., 1978. С. 172.

[63] Тем самым, Розанов отвергает и восхвалявшееся Гоголем отречение в образе немецкого пиетизма, в особенности же в трудах Юнг-Штиллинга.

[64] Этой отрицательной оценке противоречит относящееся к 1908 г. положительное указание на мистерии в Обераммергау. Ср. *Розанов В.В.* Среди художников. – М., 1994. С. 274 и сл.

[65] Думал ли при этом Розанов о созданной Ипполитом Тэном модели культуры, которая преподавалась ему в университете, установить не удалось. Ср. новую работу, касающуюся характеро-

логии, обоснованной климатологическими соображениями: *Franz K. Stanzel.* Europäer. Ein imagologischer Essay. – Heidelberg, 1997.

[66] Из архитектуры дома с его внутренним двором Розанов делает вывод о форме мышления Кальвина (С. 315). Эту концентрацию на внутреннем он толкует как субъективизм.

[67] «Церковь» несчастных и праведных людей, праведных – от несчастия: что может быть трагичнее!!» С. 311.

[68] «А история, как и торговка, выкрикает: “Новенького! Новенького!”» С. 315.

[69] Это, конечно, стереотип, который Розанов позаимствовал у Шпенглера.

[70] Ср. о розановской концепции драмы и театра: *Руднев* Павел. Театральные взгляды Василия Розанова. – М., 2003.

[71] *Карамзин Н.М.* О любви к отечеству и народной гордости // Н.М. Карамзин. Избранные статьи и письма. – М., 1982. С. 94.

[72] Кажется, что образ Гёте совпадает с идеальным и желанным образом собственной личности Розанова. Ср. о концепции авторства у Розанова: *Райнер Грюбель*. Автор как противо-герой и противо-образ. Метонимия письма и видение конца искусства у Василия Розанова / В. Маркович и В. Шмид (ред.). Автор и текст. – СПб., 1996. С. 334–386.

[73] В 1885 г. среди 502 жителей Фридберга насчитывалось 408 евреев (*Meyers Konversationslexikon.* Bd. 6, 4. Aufl. – Leipzig und Wien, 1890. S. 64).

[74] *Достоевский Ф.М.* Подросток // Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. – Л., 1972–1990; Т. XIII. С. 135.

[75] Перепечатано в: *Ардов Т.* Судьбы России. – М., 1918.

[76] В этом месте Розанов употребляет название.

[77] *Достоевский Ф.М.* Бесы // Ф.М. Достоевский. Полное собрание сочинений. – Л., 1974. Т. X. С. 196 и сл. Представление о жителях России как о народе Божьем переносит на русских ви́дение шотландским историком и философом Томасом Карлейлем жителей Великобритании как героического народа и народа Божия.

[78] Ср. Мемуары князя Бисмарка. – СПб., 1899. С. 47 и сл.

[79] *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. С. 349 и сл.

[80] Там же. С. 352.

[81] Розанов полемически образует слово «граф» от глагола «грабить». Там же.

[82] *Даль В. Пословицы русского народа*. 2 т. – СПб., 1861–1862.

[83] *Даль В.* Толковый словарь живаго великорусскаго языка. 4 т. – СПб., 1863–1866.

[84] *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. С. 363.

[85] *Розанов В.В.* О себе. С. 569.

[86] Там же.

[87] Там же.

[88] «Опять какая глубокая покорность немцев русским бабам!» – Там же. С. 570

[89] «А все запах». – Там же.

[90] *Розанов В.В.* Война 1914 года и русское возрождение. – СПб., 1915. С. 5.

[91] Там же. С. 47.

[92] Там же. С. 230 и сл.

[93] Там же. С. 231 и сл.

[94] Там же. С. 233.

[95] Ср. по поводу примата силы над правдой: *Friedrich Nietzsche.* Kritische Studienausgabe. – Berlin 1980, Bd. 2. S. 482; об исключительности силы в письме Г. Кёзелицу от 20 марта 1882 г. – *Friedrich Nietzsche*. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe in 8 Bänden. Hrsg. von Giorgio Colli u.a. – München, 1986; hier Bd. 6. S. 183.

[96] *Розанов В.В.* Война 1914 года... С. 48.

[97] Напротив, в воспоминаниях, опубликованных в 1913 г., он пишет: «У (Д.И.) Менделеева (“К познанию России”) я прочитал цифры расширения территории России (…); на протяжении срока моей жизни, то есть за те 50 лет, какие я осознанно гляжу вокруг себя, Россия разрослась в такой ужасной мере, так прибавила в земельной собственности и прочем, что в это едва ли можно поверить. Россия растет ужасно, а мы не воспринимаем этого вследствие нашего мрачного настроения». – *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. – СПб., 1913. С. 316.

[98] В 1903 г. Розанов приводил менее жестокое ведение войны Фридрихом Великим по сравнению с действиями Наполеона в противовес тезису Бокля о том, что развитие военной техники уменьшает жестокость войны. Ср. *Розанов В.В.* О писательстве и писателях. С. 161.

[99] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 114.

[100] Там же. С. 395.

[101] Там же. С. 337.

[102] Немецкий язык он называет здесь (вслед за бабушкой) «неуклюжим, отвратительным». – *Розанов В.В.* Черный огонь. – Париж, 1991. С. 195.

[103] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 338.

[104] Розанов имеет в виду Гоголя, произведение которого он вскоре оценивает положительно. – *Розанов В.В.* Черный огонь. С. 235.

[105] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 29.

[106] Ср. об этом *Розанов В.В.* Когда начальство ушло… // Собрание сочинений. Т. 9. С. 268–276. Розанов очень рано отвергал политэкономию Маркса, так как она «и вообще немецкая школа социализма» (276) требует «капиталистического порядка», не поддававшегося перенесению на Россию вследствие ее географической протяженности и не предлагает прогресса по сравнению с социализмом Фурье и Сен-Симона. Пророчески звучит его сомнение: «Трудно представить себе, что в конце концов “катедер-социалисты” в один прекрасный день побегут на улицу и “передадут средства производства самим производителям”» (276). В труде «ученого» и «капиталиста» Маркса, да и, вообще, немецкого теоретического социализма это учение постигло окаменение, так как его подлинная сторона не в этой «науке», а в «великодушии» (С. 176).

[107] Этот непрерывный мотив предполагаемо «опоздавших» культур находит свое выражение в программе «обгона» сравнимой культуры (сравнимых культур).

[108] *Розанов В.В.* Черный огонь. С. 172.

[109] Там же. С. 177. Радость Розанова в связи с отменой смертной казни свидетельствует против его склонности к тоталитаризму. (С. 378)

[110] *Розанов В.В.* Черный огонь. С. 249

[111] Там же. С. 250.

[112] Абстрактный вопрос Канта «Как могут быть синтетические суждения a priori?» Розанов парирует своей «философией жизни», удивляясь: «Как может быть жизнь благородна и в зависимости *от одного этого* – счастлива (…)». *Розанов В.В.* О себе. С. 242.

[113] *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. – М., 2000. С. 42.

[114] *Розанов В.В*. О себе. С. 680.

[115] Там же.

[116] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 409.

[117] Приговор Розанова «(…) это было очевидно с самого начала войны, кто победит (…)» // *Розанов В.В.* Сочинения. – Л., 1990. С. 545. Хотя Розанов и противоречит своей собственной оценке, сделанной в начале войны, его способ переживания доказывает: в принципе, все ясно с самого начала; обобщения представляют собой только заблуждения при восприятии и/или ошибки интерпретации.

[118] Там же. С. 543.

[119] Этот миф был внушен сообщением об организации германским Генеральным штабом приезда Ленина через Германию в 1917 г.; *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 404**.**

[120] *Розанов В.В.* Сочинения. – Л., С. 544.

[121] *Розанов В.В.* Сочинения. – М., 1990. С. 463.

[122] Там же.

[123] Там же. С. 464. Дополняя аргумент о разрушении русской действительности литературой, Розанов в притче «Как падала и упала Россия» объясняет падение России ее пренебрежением к практическому началу, в данном случае к нефти, которую скупал и скупил Нобель, и переоценкой эстетического, в данном случае применительно к Станиславскому. – О себе. С. 646.

[124] *Розанов В.В.* О себе. С. 173; Ср. также: «Как будто этот проклятый Гуттенберг облизал своим медным языком всех писателей, и они все обездушились “в печати” (…)» (39); «Литература родилась “про себя” (молча) и для себя; и уже потом стала печататься. Но это – одна *техника*». (72); «Техника, присоединившись к душе, дала ей всемогущество. Но она же ее и раздавила(… (218) –

Печать и Гуттенберг (…))»; «Вольно же было Гуттенбергу изобретать свою машинку. С тех пор и началось “стеснение свободы мысли”, которая на самом деле состоит в “не хотим слушать” (237); «Новая (после средневековой) литература до известной степени погибла в своей излишней видности; и после изобретения книгопечатания вообще никто не умел и не был в силах преодолеть Гуттенберга» (249); «Это все Мефистофель-Гутенберг устроил. Черная память» (430); Ср. также С. 516). Еще в 1898 г. Розанов оплакивал «бедного Гуттенберга»; Ср. *Розанов В.В.* В мире неясного и нерешенного. Из восточных мотивов // Собрание сочинений. Т. 6. С. 55. В 1911 г. он с похвалой характеризует Белинского как «русского Гуттенберга». – Ср. *Розанов В.В.* О писательстве… С. 511. В то же время он находит в произведениях критика нечто от реформаторов Лютера и Кальвина. Суждение Розанова об изобретателе книгопечатания двойственно и в 10-е годы. Положительный ответ на вопрос о том, станут ли его читать в будущем, он комментирует следующим образом: «Это Гуттенберг на что-нибудь пригодится». – Ср. *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 63.

[125] *Розанов В.В.* О себе. С. 516.

[126] Двойственный образ Германии в творчестве Розанова совпадает с противоречивым взглядом славянофилов на западного соседа. Ср. об этом: *Marina Glazkova*. The Image ofthe West in the Teaching of Russian Slavophiles: Structure and Functions // Lászlo Kontler (Hrsg.): Pride and prejudice. National stereotypes in 19 and 20 century Europe East to West. – Budapest, 1995. P. 25.

[127] К этому относится и согласие Розанова с положением Тютчева «Умом Россию не понять». – Ср. *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 97.

[128] *Розанов В.В.* Легенда… С. 403.

[129] *Розанов В.В.* Американизм и американцы // *Розанов В.В.* О писательстве. С. 165.

[130] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 145.

[131] Мотив покоя, на который опирается (повторное) «открытие медлительности» Стеном Надольным, обнаруживается не только в пиетизме, но и в восторженном отношении немецких романтиков к Востоку. Он был передан в Россию, например, Уваровым. Ср. *Зорин А.* Идеология «православия – самодержавия – народности»: Опыт реконструкции // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 71–104.

[132] *Розанов В.В.* Мимолетное. С. 103.

[133] *Розанов В.В.* О себе. С. 202.

[134] Там же. С. 90.

[135] Он и здесь согласен со славянофилами, в общем, использовавшими свой образ Запада как генативный фон для определения специфики собственной нации; ср. *Glazkova M.* The Image of the West. S. 27.

[136] *Розанов В.В.* О себе. С. 90.

*Галина Тиме*

# ЗАКАТ ЕВРОПЫ
## как «центральная мысль русской философии»[1]. Полемика о Шпенглере в России начала 1920-х годов

Первая мировая война, обозначившая Россию и Германию как основных противников, одновременно парадоксальным образом способствовала их взаимному *духовному* притяжению. Это остро подметил Николай Бердяев в своей книге «Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности», которая вышла в Москве в 1918 году и включила в себя очерки, написанные как в период войны, так и в послевоенное время. По мнению философа, именно мировая война подобно «девятому валу» «смывает» все социальные и национальные догмы и стереотипы, приобщая народы к общему, «космическому» мироощущению[2]. Война, по Бердяеву, не только приводит Восток и Запад в «чрезвычайно близкое соприкосновение», но и провоцирует «конец Европы, как монолита культуры»[3]. «Высвобождение самобытной русской энергии»[4], которое также связывалось философом с мировой войной, во многом предопределило и русскую революцию 1917 года, и последовавшие в 1920-е годы исторические катаклизмы.

Начало 1920-х годов – уникальное время в истории духовной жизни России. Это был короткий период, когда старые ценности еще не были полностью отвергнуты, а рождение новых пока не сопровождалось массовыми гражданскими репрессиями. Именно в это время, после революции и гражданской войны, в стране начался процесс *новой мировоззренческой и культурной самоидентификации*. Закономерно возникавшая полемика между старым и новым еще могла вестись относительно свободно, оставаясь, при этом, *внутри*российской дискуссией, дискуссией *соотечественников*, пытавшихся осмыслить произошедшее со страной. Для начала 1920-х годов характерен глубокий интерес к русскому духовному феномену, к его самобытности и его отличию от западного. На таком фоне идеи Освальда Шпенглера о *закате Европы*, получившие распространение в России как раз в это время, обретали особую остроту и актуальность.

Следует сразу отметить, что русский перевод названия книги Шпенглера «Untergang des Abendlandes» – «Закат Европы» – вступал в противоречие с мировоззренческими понятиями ее автора, который считал само понятие *Европа* несуществующим в историко-культурном смысле. Тем не менее именно этот перевод оказался практически безальтернативным, что свидетельствовало, вероятно, не просто об удачно найденном художественно-языковом эквиваленте, но об интуитивно угаданном и важном для русской мысли аспекте содержания произведения Шпенглера. «Есть давнишняя традиционно-русская мечта о прекращении истории в западном значении слова /…/, – писал Осип Мандельштам. – Это мечта о всеобщем духовном разоружении, после которого наступит некоторое состояние, именуемое *миром*»[5].

Первый том труда Шпенглера под названием «Закат Европы» появился в России в 1923 году[6]. Но уже годом ранее отдельными изданиями были напечатаны по-русски отрывки из этого объемного трактата[7], а также переведены на русский язык и

*Гравюра Владимира Зуева к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»*

изданы работа Шпенглера «Pessimismus»[8], где автор давал пояснения к неверно толкуемому, по его мнению, первому тому, и брошюра «Preuβentum und Sozialismus»[9], которая воспринималась как «эскиз» ко второму тому.

Замысел «Заката Европы» возник у Шпенглера еще в 1911 году, а с 1918 года, с момента выхода из печати первого тома, его сочинение стало, пожалуй, самой популярной книгой в Германии, а затем и в России. С 1918 по 1922 год, когда стали появляться русские переводы из первого тома «Заката Европы», книга выдержала в Европе более тридцати изданий. Такой небывалый успех объяснялся, однако, не только всеобщим ощущением исторического и духовного кризиса, «мрачным предчувствием мировой катастрофы», но и тем обстоятельством, что концепция Шпенглера стала неким «собирательным стеклом для идей /…/ современников»[10]. Ее «узнаваемость» порой оказывала автору плохую услугу. Трудно назвать какое-либо другое сочинение в истории европейской мысли, которое выдержало бы подобное количество обвинений в псевдонаучности, плагиате, даже в шарлатанстве, и одновременно получило бы столь бесспорное признание как гениальное предвидение и пророчество[11].

## Русские «шпенглеристы» и их противники

В начале 1920-х годов, когда дискуссия «вокруг Шпенглера» в Германии еще продолжалась[12], в России она только вступила в свою начальную, но самую активную стадию, хотя многие русские критики, несомненно, читали Шпенглера в оригинале и были знакомы с его идеями еще до появления первых русских переводов. Однако именно в 1922–1923 годах появились книги и публикации Евгения Брауде, Бориса

Вышеславцева, Виктора Лазарева[13], коллективный сборник статей «Освальд Шпенглер и Закат Европы», а также подборки статей в журналах «Русская новь» и «Под знаменем марксизма».

Авторы коллективного труда «Освальд Шпенглер и Закат Европы», – Николай Бердяев («Предсмертные мысли Фауста»), Яков Букшпан («Непреодоленный рационализм»), Федор Степун («Освальд Шпенглер и Закат Европы») и Семён Франк («Кризис западной культуры»)[14] – рассматривали «Закат Европы», в первую очередь, в качестве философского произведения, продолжавшего и одновременно нарушавшего традиции немецкой мысли, живой нитью связанные с русскими мировоззренческими проблемами. Сборник успел увидеть свет в Москве, однако, его авторы, по воле советской власти, вскоре были высланы из России наряду с другими инакомыслящими на знаменитом «философском пароходе».

Их оппоненты – Карл Грасис, В. Базаров и Сергей Бобров – участники «парламента мнений», увидевшего свет в революционном журнале «Красная новь»[15], – представляли различные точки зрения. Если Грасис ощутил в «Закате Европы» «глубокую реакцию старого мира против нарождающегося нового»[16], то Базаров подчеркивал, что не следует смешивать *теорию* Шпенглера с политическими взглядами и призывал воспринимать его труд как «художественное произведение», превосходно запечатлевшее «существеннейший кусок конкретной истории наших дней»[17]. Наиболее резко и саркастично выступивший Бобров увидел в построениях Шпенглера лишь ловкость «философского шулера», хотя и признался, что сам его не читал, а судит по уже появившимся русским откликам[18]. (Весьма характерный подход, предвещающий грядущие «методы» советской «критики»!)

Различных по своим убеждениям представителей «парламента мнений» связывала одна общая особенность: они обсуждали не только и столько идеи самого Шпенглера, сколько мировоззренческую позицию создателей книги «Освальд Шпенглер и Закат Европы». Полемика о Шпенглере постепенно превращалась в факт *собственно русской* духовной и идеологической жизни. Проблемы, обсуждаемые «парламентом», говорят сами за себя: «Вехисты[19] о Шпенглере» (Грасис); «Освальд Шпенглер и его критики» (Базаров); «Контуженный разум» (Бобров). То же можно сказать и о более идеологически окрашенных критических выступлениях в первых номерах журнала «Под знаменем марксизма» за 1922 год: «Гибель Европы или торжество империализма?» (Абрам Деборин) и «Наши российские шпенглеристы» (В. Ваганян)[20].

Для этого существовала и объективная причина: Бердяев, Степун, Букшпан и Франк принадлежали к первопроходцам, читавшим Шпенглера в оригинале – в немецких изданиях, вышедших в Мюнхене в 1920 году, на что и была сделана соответствующая ссылка в предисловии к сборнику. Это обстоятельство особо подчеркнул переводчик Шпенглера П. Попов в своем вступительном слове к переведенной им брошюре «Пессимизм ли это?»: в связи с отсутствием полного русского перевода «Заката Европы» – утверждал он – «большинство русской публики судит о взглядах Шпенглера по изложению четырех авторов»[21]. Но здесь была важна и другая, субъективная предпосылка: сама идея *Заката Европы* традиционно несла в себе для русской мысли множество самых противоречивых мировоззренческих и идеологических значений, связанных со сложным отношением к Западу. Вольно или невольно Шпенглер затронул одну из самых чувствительных струн русской души, тайно меч-

тавшей, как писал Мандельштам, о «прекращении истории в западном значении слова».

После революции 1917 года в России эта тема, конечно же, не исчезла из русского мировоззрения, хотя всё чаще приобретала еще более противоречивое, окрашенное политическими интересами значение. Идеологические выпады русских марксистов против чисто философского толкования Шпенглера были во многом инспирированы резкой реакцией Ленина в статье «К десятилетнему юбилею *Правды*» (1922), где вождь революционной России назвал всех, «способных восторгаться (или хотя бы заниматься)» Шпенглером, – «образованными мещанами» – «*шпенглерятами*», которые «хныкают» по поводу послевоенного упадка старой, то есть, «буржуазной» Европы. Для Ленина, как для революционера-интернационалиста, была неприемлема мысль о том, что подобные теории как бы исключают из «революционных сил» пролетариат Европы и Америки[22].

Именно в этом ключе выступили в журнале «Под знаменем марксизма» Деборин и Ваганян, рассматривая «закат Европы» в качестве «предсмертной агонии» капитализма, совсем не страшной для пролетариата, призванного создать собственную, новую культуру. Успех Шпенглера Деборин объяснял, в первую очередь, пессимизмом послевоенных настроений[23], а Ваганян видел его причину в «слепом, не осознанном предчувствии мировой революции и гибели культуры банкиров, лавочников и рантье»[24].

Таким образом, критика идей Шпенглера как бы приводила его идеологических оппонентов к подтверждению теории о *двух культурах*, существующих в любом классовом обществе, хотя нельзя не заметить, что в данном случае невольно обозначился и еще один важный ее аспект: новая революционная (а значит – народная!) *русская* культура словно противопоставлялась буржуазной культуре *западного* образца. Что же касалось «болтливого Н. Бердяева» и «замысловатого С. Франка», то их, по мнению Ваганяна, объединяла с другими «шпенглеристами», прежде всего, иллюзорная уверенность в том, что наступает «эпоха исканий бога, эпоха романтизма и идеализма»[25].

Именно упрек в индивидуализме, личном богоискательстве прозвучал в статье К. Грасиса «Вехисты о Шпенглере», представленной в журнале «Красная новь». Упоминание о философском сборнике «Вехи» (1909), участниками которого были новоявленные «шпенглеристы» начала 1920-х годов Бердяев и Франк, было далеко не случайным. В стремлении обозначить «общую платформу» «Вех», при всем различии мировоззрений авторов сборника, Семён Франк еще в 1909 году особо подчеркивал *первенство внутренней духовной основы жизни* и религиозных исканий личности по отношению к внешним, в том числе, *политическим* формам человеческого существования[26]. Это позволило Ленину назвать «Вехи» «*энциклопедией либерального ренегатства*», созданной с целью «восстановить религиозное миросозерцание»[27].

В свете данной Лениным политической оценки весьма примечательна попытка К. Грасиса – автора статьи о русских «вехистах»-«шпенглеристах» доказать *западное* происхождение их мировоззрения (среди «учителей» упоминались, в частности, Бабёф, Сен-Симон, Прудон) и одновременно – подчеркнуть их «запоздалое славянофильство». Указывая на вклад Шпенглера в «открытии славянофильских идей на Западе», Грасис заключал: теперь «наши модернизированные попы могут дерзать водрузить свое знамя 1909 года на пепелищах Европы»[28].

Следует заметить, что еще в 1915 году, в то время, когда Шпенглер работал над первым томом «Заката Европы», русский философ Владимир Эрн, автор известной книги «Борьба за Логос» (1911), опубликовал произведение с характерным названием: «Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия», где обозначил славянофильство в качестве *духа* самой «внезапно заговорившей жизни». По мнению Эрна, «старая антитеза *Россия и Европа* вдребезги разбивается настоящей войной»[29]. Как уже упоминалось, в подобном ключе мыслил в это время и Бердяев. А Базаров, возразивший Деборину по поводу того, что успех «Заката Европы» якобы объясняется общим послевоенным настроением упадка, не только подчеркнул возникновение замысла этого произведения задолго до войны, но и отметил: все противники Шпенглера, независимо от философских и политических взглядов, принадлежат к «палладинам вечной истины, мировой эволюции и непрерывного прогресса»[30].

Таким образом, Шпенглер со своим пророчеством о «закате Европы» совершенно закономерно оказался в эпицентре давней, противоречивой, порой парадоксальной русской полемики. Российские большевики – революционеры-марксисты, логические последователи западных учений, отрицая русские истоки мировоззрения своих идеологических оппонентов – индивидуалистически настроенных «шпенглеристов», одновременно называли их «славянофилами». Это определение, конечно, было не совсем корректно уже хотя бы потому, что русские славянофилы, как известно, проповедовали не личное, а именно «хоровое», коллективное начало в обществе. И именно Шпенглер во втором томе «Заката Европы», вышедшем в Германии в 1923 году, дал объяснение сути русского *большевизма*, исходя из традиционного, глубоко противоречивого, с оттенком мистической религиозности, отношения России к Западу и западной мысли.

Второй том шпенглеровского трактата еще не мог быть известен в России 1922 года, а когда появился, то был запрещен властями, причем, не столько по политическим причинам, сколько за «насаждение» религиозного отношения к жизни[31]. Однако его концепция во многом прочитывалась в других, уже вышедших, трудах. Связывая явление большевизма с русским западничеством, с петровской реформой, Шпенглер отмечал в большевизме как ненависть к Европе, так и невозможность освободиться от ее влияния. Противоречивость русского духа персонифицировалась для Шпенглера в высоких его представителях: «отце большевизма» Льве Толстом («Vater des Bolschewismus») и «святом» Федоре Достоевском («Ein Heiliger»). Считая Достоевского выразителем *исконно* русского сознания, немецкий мыслитель делал вывод, что оно воспринимает и консерватизм, и революционность в качестве *западных* явлений: «Для него [Достоевского] между консервативным и революционным нет вообще никакого различия: и то, и то – западное»[32].

Как же толковали Шпенглера авторы *философского* сборника, посвященного «Закату Европы», о котором Борис Вышеславцев, приверженец православной идеи «ума, погруженного в сердце», писал: «Основная идея Шпенглера есть центральная мысль и глубочайшее переживание русской философии»? Отчего многие русские оппоненты как будто делали их «ответственными» за идеи немецкого «пессимиста» и спорили с ними порой больше, нежели с самим Шпенглером?

Первое, что следует подчеркнуть: Николай Бердяев, Фёдор Степун, Семён Франк и Яков Букшпан восприняли «Закат Европы» в свете *русской литературно-философской традиции*, которая в новой, революционной России толковалась ее идеоло-

гами как явление чуждой, «буржуазной» культуры. Для российских «шпенглеристов» особенно привлекательной, в духе давнего предпочтения русской мыслью шеллингианства, романтической философии откровения и философского мистицизма, представлялась гениальная *интуиция* Шпенглера, произведение которого казалось им грандиозной «философской симфонией» (Букшпан, 73), созданием «большого артиста» (Степун, 5). Несмотря на существенные критические замечания, касающиеся *неоригинальности* «Заката Европы» именно с точки зрения российского читателя, хорошо знакомого с идеями славянофилов, Николая Данилевского, Николая Страхова, Константина Леонтьева, Владимира Соловьева о неизбежной гибели культуры Запада, душа которого постепенно «убывает»[33], сочинение Шпенглера было принято русской философской мыслью как «новое в европейской душе переживание», оригинальное «не как мысль, но как звук» (Степун, 30).

Это представляется тем более примечательным, что от внимания «шпенглеристов» всё-таки не ускользнули ни «германский национализм и империализм», связанный с обозначенной «волей к мировому могуществу», ни «духовное уродство» Шпенглера, выразившееся, по их мнению, в полном отсутствии у него христианского религиозного чувства (Бердяев, 72, 60). Как ни парадоксально это может показаться на первый взгляд, но именно Николай Бердяев, подчеркнувший такие особенности «Заката Европы», завершил свою статью словами: «Это – нашего стиля книга» (Бердяев, 72), а Фёдор Степун, беспристрастно проанализировав ее достоинства и недостатки, заметил в своей «передаче» содержания не менее объективные «следы любви» к ее автору (Степун, 27). Обнаружив готовность принять произведение Шпенглера *в целом*, в качестве своего рода *мифа*, русские мыслители признали в его «интуиции» близкий российской ментальности духовный потенциал, способный снять или хотя бы смягчить некое философское и мировоззренческое противостояние, десятилетиями существовавшее между двумя «метафизическими народами»[34].

## «Закат Европы» как «предсмертные мысли Фауста»

«Сумерки Европы – вот чувство, от которого нельзя отделаться», – писал Николай Бердяев в 1918 году[35]. Спустя четыре года в статье «Предсмертные мысли Фауста» он развил обозначенную самим Шпенглером идею о связи его труда с мировоззрением Гете.

Ощущение гетевского «импульса», охотно воспринятого русскими «шпенглеристами» в пророчестве о гибели западноевропейской, по определению автора, *фаустовской* культуры, лишь на первый взгляд может показаться надуманным или обманчивым. И дело здесь не только в прямых указаниях Шпенглера на Гете, и даже не в гениальности Гете, как феномене, закономерно вобравшем в себя всю противоречивость бытия. Сам *мировоззренческий принцип*, ставший одним из важнейших новаторств автора «Заката Европы», удивительным образом совпал с сутью размышлений его русских критиков над *определением гениальности* Гете.

Как известно, Шпенглер отказался от «птолемеевской» картины мира (то есть, в данном случае – от европоцентризма) в пользу «коперниковского» и, по его мнению, более истинного, многостороннего видения. Ф. Степун в своей аналитической

статье «Освальд Шпенглер и Закат Европы» попытался обозначить один из важнейших признаков ускользающей от определений гетевской гениальности именно в отсутствии «*постоянного* наблюдательного пункта», в удивительном даре видеть каждое явление «из сердца самого явления». «Того, что дано Гете, хочет Шпенглер», – заключил русский мыслитель, подчеркнув, тем самым, некоторое несовпадение грандиозного замысла и его воплощения (Степун, 28–29).

Позднее, в 1923 году, эту мысль заострил Томас Манн в известной статье «Über die Lehre Spenglers», где объявил Шпенглера снобом и предателем человеческого духа, так как, не обладая, подобно Гете, естественным благородством природного существа, он осмелился выступить против человека на стороне природы[36]. В том же году Н. Коялович в статье «Обессмысливание смысла истории», сравнивая произведение Шпенглера с книгой Герберта С. Уэллса о «международной катастрофе 1914 года», подчеркнул «предательство» немецкого прорицателя по отношению к западной культуре. Почти дословно перекликаясь с Т. Манном, Коялович подчеркивал, что Шпенглер «ко всему готов» и ему «ничего не жаль»[37].

Тем не менее гению Гете, восприятие которого в России в разные периоды было столь различным и противоречивым (от резкого отрицания «олимпийского» безразличия «поэта-эгоиста» до восторженного признания создателя гениального искусства, способного примирить идеал с действительностью), теперь было суждено послужить делу философского взаимопонимания. Ведь, по определению Степуна, «гениальность» самого автора «Заката Европы» была «жива» именно противоречиями его мысли (Степун, 16).

Впрочем, роль Гете как посредника между немецким философским рационализмом и его толкованием в России была далеко не нова. Достаточно вспомнить, что русские гегельянцы предпочитали постигать «Феноменологию духа» Гегеля, обращаясь к гетевской трагедии «Фауст», по преимуществу – к ее второй части[38].

Шпенглер пошел по этому пути дальше, объявив *самого* Гете великим философом, место которого в западноевропейской метафизике всё еще остаётся непонятым, так как он, к сожалению, не придал своей философии законченного системного характера. По мнению автора «Заката Европы», «вся философия» его книги была предвосхищена и выражена в изречении Гете, записанном Иоганном Петром Эккерманом 13 февраля 1829 года: *«Божество действенно в живом, а не в мертвом. Оно в становящемся и изменяющемся, а не в ставшем и оцепенелом. Поэтому разум в своем устремлении к Божественному имеет дело исключительно со становящимся и живым, рассудок же со ставшим и оцепеневшим в целях использования его*»[39].

Ассоциируя разум с божественным началом в человеке, с живой природой, а значит, и с самой жизнью, а рассудок – с началом неживым и утилитарным, Шпенглер, вслед за Гете, противопоставил их друг другу. Такая точка зрения соприкоснулась с одной из главных тенденций русской мысли, которая, по наблюдению В.В. Зеньковского, обнаруживая тенденцию к отождествлению кантовских категорий `Verstand` (логический разум) и `Vernunft` (рассудок), противополагала рассудочному знанию «всецелый разум», во многом идентичный вере[40]. Заключение Зеньковского покажется еще больше относящимся к проблематике «Заката Европы», если напомнить, что Шпенглер, вопреки общепринятому мнению, противопоставил Гете как философа именно Канту, причем в том смысле, в каком Платон обычно противопоставлялся Аристотелю (1, 91).

Положенное в основу «Заката Европы» противопоставление культуры и цивилизации как «живого тела душевности и его мумии» (1, 460) восходило, по мнению Шпенглера, к гетевскому противополаганию живого и мертвого, становящегося и застывшего. Если продолжить этот логический ряд, то шпенглеровские «антиподы» Гете – Кант и Платон – Аристотель приведут к самой сути различия между русским, византийско-православным и западноевропейским, по преимуществу, протестантским мироощущениями. С одной стороны, Платон и *Гете*, Логос и «живое тело душевности», культура и вера; с другой – Аристотель и Кант, «мертвящий» рассудок и деяние (Tat), цивилизация и безверие.

Вместе с тем Шпенглер, отвергая понятие *Европа* в качестве культурного понятия и предпочитая термин *Запад* как антипод Востоку (Okzident – Orient), вступал в противоречие и с русским западничеством: он решительно отвергал какую-либо культурную принадлежность России к Европе. Шпенглер подчеркивал якобы характерное для русских ощущение «враждебности» Запада, более того, «апокалипсическую ненависть ко всему, что не есть Россия», в том числе и к Европе. Таким образом, автор «Заката Европы» как бы попытался понять Россию «изнутри», особенно резко выделяя в ней не те общие черты, которые сближали ее с Западом, а напротив, то самобытное, оригинальное, что *отличало* ее от Запада. Однако Шпенглер утверждал гетевский взгляд на мир в качестве *метода* своего философского сочинения именно в стремлении увидеть всякое явление «из сердца самого явления». Следуя такому посылу, Шпенглер, в перечислении своих предшественников, поставил на первое место Гете (философский интуитивизм и примененный по отношению к феноменам истории «метод созерцания в объективности») (Степун, 26), а уже затем упомянул Ницше (постановка вопросов в свете «декаданса» и «восхождения нигилизма»).

Среди восьми отдельных, самодостаточных типов культур: египетской, индийской, вавилонской, китайской, аполлоновской (греко-римской), магической (византийско-арабской), культуры майя – Шпенглера особенно интересовала культура *фаустовская*, так как, в отличие от остальных, уже погибших, перешедших в цивилизацию, западноевропейская культура пребывала, по его мнению, в стадии «заката». Несмотря на содержащийся в книге намек на возможность возникновения из мирового «хаоса перводушевности» нового типа культуры, условно названной *русско-сибирской*, на некий свет с Востока (ex Oriente lux), то есть своего рода признание силы русского духовного потенциала, философская критика Шпенглера в России отмечала, что «гетевский» замысел новой философии или, точнее, *морфологии* культуры не удался. Причина этого виделась в том, что автор, будучи релятивистом, игнорировал общее движение исторического процесса, само «абсолютное и вечное живое единство бытия и жизни» (Франк, 39).

«Основная интуиция Гете, к которой Шпенглер, по его собственным уверениям, примыкает – интуиция, для которой “всё преходящее есть только символ” и всё историческое и космическое волнение есть “вечный покой в Боге” – эта интуиция остается лишь замышленной, но не осуществленной у Шпенглера», – заключил Франк в статье «Кризис западной культуры» (там же). Две гетевские «интуиции», которые С. Франк отметил в качестве особенно важных для концепции автора «Заката Европы» и на которые последний, действительно, пытался опереться в своих построениях, весьма показательны. Первая, происходящая из второй части «Фауста», в начале XX века стала девизом русского символизма, нового искусства, для которого «жи-

вое единство бытия и жизни» существовало, в значительной мере, как творческая и *жизне*творческая проблема. Что же касается второй гетевской «интуиции», то она выражена в последней строке стихотворения Гете, начинающегося словами: «Wenn im Unendlichen Dasselbe / Sich wiederholend ewig fliesst» («Когда в Бескрайнем, повторяясь / Течет поток извечных вод»), – взятого Шпенглером целиком в качестве эпиграфа к своей книге. В ее контексте две «интуиции» Гете явно сталкиваются; Гете у Шпенглера как бы оказывается в плену декаданса – «главной темы» Ницше, второго из названных самим автором «Заката Европы» его предшественников. Вопреки первоначальным намерениям Шпенглера, Гете у него очутился, говоря фигурально, на *«закате»* Европы, а «вечный в Господе покой», царящий в гетевской природе, обернулся покоем *сознательного* умирания.

Парадоксальность позиции Шпенглера заключалась именно в том, что он был готов сразиться *за* Гете *против* Ницше, в то время как сам, человек определенной эпохи, был явно подвластен настроению упадка. Здесь обнаруживалось еще одно противоречие его концепции культуры, весьма важное для русского восприятия. «Если у Гете Шпенглер заимствовал метод, то Ницше дал ему главную тему /…/ тему цивилизации и гибели, – писал Фёдор Степун. – Но если отношение Шпенглера к Гете есть положительная зависимость, то с Ницше Шпенглер глубоко связан формулой противоположности, /…/ формулой противоборства. Оба чувствуют, что корабль гибнет, но Ницше жаждет спасения, а Шпенглер ждет гибели…» (Степун, 29). «Положительная зависимость» от Гете, стремление остаться верным гетевскому *объективному созерцанию* явлений истории, которые уподоблялись явлениям природы, привела шпенглеровскую мысль не только к констатации уже начавшегося, по его мнению, процесса гибели фаустовской культуры, вступившей в стадию *ставшего*, то есть цивилизации, но и к утверждению, что этому следует подчиниться как неизбежности и пережить с достоинством осведомленного, мудрого и жизненно активного человека. Подобная «олимпийская» невозмутимость декадента-гетеанца снова подставила его под удар со стороны русской философской критики.

«История не переносит того равнодушно справедливого к себе отношения, которое не оскорбляет природы; потому она и отомстила Шпенглеру тем, что обязала его к глубоко минорной транскрипции светоносного гетеанства», – проницательно заметил Фёдор Степун (Степун, 28–29). Но если Томас Манн, как уже упоминалось, увидел в Шпенглере только самодовольного и равнодушного сноба, без всяких оснований назвавшего своими предшественниками Гете и Ницше, то русская критика почувствовала в авторе «Заката Европы» человека, одаренного талантом *переживать* все свои мысли, как откровения и передавать это чувство читателю[41]. Степун охарактеризовал влияние Гете в качестве очень глубоко *пережитого* Шпенглером воздействия (Степун, 27).

Уже сама способность к *переживанию мысли* импонировала русским философам как связанная с российской тенденцией к *личной* и *личностной* оценке тех или иных систем и теорий[42]. По всей видимости, именно поэтому русская мысль угадала в Шпенглере человека необычайно страстного, пусть проповедующего спокойное подчинение исторической необходимости, которую он не всегда удачно выводил из гетевского понимания абсолютной целесообразности самой природы, но, как подобает настоящему романтику, внутренне противящегося такому подчинению. «В лице современной цивилизации Шпенглер любит какой-то страстный предсмертный порыв европейской культуры /…/ Как всякий романтик, Шпенглер любит смерть,

как эстетическое a priori жизни. В этом смысле он любит цивилизацию, как скорбное a priori культуры», – писал Степун. Несомненное присутствие тайного романтического чувства любви к угасающей европейской культуре в «человеке цивилизации», который «не хочет быть романтиком», явно импонировало русской мысли, так как свидетельствовало о его неравнодушии к судьбе культуры, а значит, и к духовному началу в человеке (Степун, 31). Николай Бердяев видел своеобразие Шпенглера именно в том, что он явился первым «человеком цивилизации», который обладал необыкновенной чуткостью к культурам прошлого и столь «печальным сознанием» неотвратимости заката старой культуры (Бердяев, 67). Но в таком случае само появление пророчества о *закате Европы* свидетельствовало не столько о гибели, сколько о «торжестве творческой воли»[43], а сам Шпенглер представал уже в качестве человека старой европейской культуры – *умирающего Фауста* (Бердяев, 67).

Ассоциация, возникшая у Бердяева относительно личности самого автора «Заката Европы», акцентирует не только очередной аспект своеобразного гетеанства Шпенглера, но и важнейший принцип его морфологии культуры в целом. «Фауст – это портрет целой культуры», – писал Шпенглер, подчеркивая при этом, что многовековой устремленностью всей западной (фаустовской) культуры было создание *автопортрета* (1, 165). Наличие *биографии* у каждой культуры свидетельствовало, по Шпенглеру, о биологической природе ее существа, переживающего рождение, расцвет, старость и умирание, и одновременно утверждало ее особое свойство *персонализм.*

Именно в выдвижении на первый план личности и ее судьбы русский критик «Заката Европы» был склонен увидеть не только возможное оправдание «парадоксалиста» Шпенглера, бросившего дерзкий вызов современной науке своей «принципиально провозглашенной антинаучностью философского мышления» (Степун, 5), но и дать его труду довольно высокую оценку. «Перед тем как обвинять Шпенглера в ненаучности и дилетантизме, – писал Фёдор Степун, – надлежит продумать следующее: для Шпенглера нет фактов вне связи с его новым внутренним опытом /…/ Это новое шпенглеровское расположение не субъективно, но только *персоналистично*. Это значит, что объективность этого расположения /…/ всё-таки гарантирована духовною подлинностью внутреннего опыта Шпенглера. Это значит, что /…/ научные неверности шпенглеровской концепции должны быть поняты и оправданы в ней как гностически точные символы» (Степун, 32). С такой точки зрения, сам автор «Заката Европы», впрочем, как и всякий иной европеец или человек, чувствующий себя таковым, своей собственной личностью и биографией мог являть собою «гностически точный» символ *заката одного европейца*. Это впечатление подтверждается и личными ощущениями русских современников Шпенглера. «Катастрофа Европы и взрыв моей личности – то же событие…» – писал Андрей Белый в книге «Возвращение на Родину»[44].

Персонализм, как общая направленность философского мышления посленицшеанского периода, приобретавший в русской философии этическое содержание, а также «антинаучность» Шпенглера, явно соприкоснувшаяся с ее традиционным антирационалистическим принципом русской мысли в целом, определенно импонировали российским мыслителям. Семён Франк, увидевший здесь «ценный замысел философии жизни», подчеркнул, что само впечатление от «духовной личности» автора убеждает в *закате* или, во всяком случае, в кризисе западной культуры (Франк, 35). На этом намеченном русской мыслью уровне восприятия, можно признать даже

известную «конгениальность» Гете и Шпенглера, которому несомненно удалось стать совершенно органичной частью феномена, постигаемого при помощи *интуиции* и *метода*, обозначенных им как *гетевские.* Ведь сам Гете считал свой творческий дар частью природы. Что касается *формы* сочинения Шпенглера, то она, отражая очень личное-биографическое, почти исповедальное и вместе с тем пророческое содержание, столь привлекательное для русского читателя, одновременно соответствовала признакам «совершенной книги», которые были определены Ницше[45].

*Биография*, *судьба* и *автопортрет* европейца вообще и автора «Заката Европы» в частности словно сфокусировались в образе Фауста, несущем в себе как символическое, так и частное, конкретное значение. Имя средневекового чернокнижника, давшее в произведении Шпенглера название всей западноевропейской культуре, было, в первую очередь, именем *гетевского* героя со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. «Так Фауст первой части трагедии, страстный исследователь в уединении полуночи, совершенно последовательно превращается в Фауста второй части и нового столетия, в тип чисто практической, дальнозоркой, направленной к внешнему деятельности. Здесь Гёте психологически предвосхитил все будущее Западной Европы. Это – цивилизация вместо культуры, внешний механизм вместо внутреннего организма, интеллект в качестве душевной окаменелости вместо самой угасшей души». (1, 462). А ведь именно *гетевский* Фауст в течение многих десятилетий оставался в России ключевой фигурой в осмыслении феномена Запада и западного человека.

## «Славянофил от Пруссии» и проблемы русского фаустизма

Николай Бердяев в статье «Предсмертные мысли Фауста» подчеркнул особую роль Мефистофеля в «угасании» фаустовской души, которая, по его мнению, была постепенно «изъедена» мефистофелевским началом, и ее «бесконечные стремления» иссякли в осушении болот, материальном устроении земли и материальном господстве над миром. «Так кончаются в XIX и XX веке искания человека новой истории», – заключил русский философ (Бердяев, 55). В суждениях Бердяева слышатся отголоски проблем, занимавших русскую мысль XIX – начала XX веков при оценке образа Фауста, история которого обычно воспринималась как «автобиография» самого Гете.

Можно привести достаточно доводов, опровергающих подобное понимание роли Гете, но, несомненно, что не только Бердяев, но и сам Шпенглер, определяя место немецкого гения в таком мировоззренческом контексте, руководствовался, по преимуществу, *интуитивной* логикой, узнаваемой и наиболее органичной именно для русской мысли. И, действительно, русские мыслители словно почувствовали в «звуке» немецкой «философской симфонии» даже принадлежность к известному *хоровому началу* – важнейшему феномену в мировоззрении русского славянофильства. Именно о нем, а не только о «славянофильствующем» времени, рассуждали российские «шпенглеристы».

Указывая на близость концепции Шпенглера взглядам славянофилов, Семён Франк заметил, что «всякая настоящая, проникающая вглубь интуиция никогда не бывает абсолютно оригинальным достижением одного ума…» (Франк, 50). Здесь было подмечено и одно из важнейших противоречий Шпенглера, который любит

духовную культуру Европы (Франк, 49), но одновременно проповедует «вывернутое наизнанку славянофильство» (Бердяев, 71) и вообще «по-славянски судит о России» (Букшпан, 90). Таким образом, русские «шпенглеристы» увидели и обозначили в мировоззрении автора «Заката Европы» характерно *русское* противоречие, в котором запутались их оппоненты-марксисты, неохотно высказывавшиеся по поводу *западного* происхождении собственной идеологии и пытавшиеся завуалировать его интернациональными задачами мирового пролетариата.

Довольно глубокое проникновение Шпенглера в «русскую тему» до сегодняшнего дня представляет собой загадку. Известен интерес Шпенглера к русскому языку, которым он пытался овладеть еще в студенческие годы, а также стремление читать в оригинале произведения Достоевского, Л. Толстого и Ивана Тургенева. Сведения об этом, а также об общении Шпенглера с русскими студентами содержатся в его переписке 1915 года[46]. Живое общение вполне могло служить для немецкого мыслителя ценным источником дополнительной информации о России, однако весьма сомнительно, что ко времени работы над первым томом «Заката Европы» он сам мог прочесть в оригинале произведение Данилевского «Россия и Европа» (1869)[47]. Оно было напечатано в Германии в переводе на немецкий язык лишь в 1920 году[48], а немецкий двухтомник, содержащий работы Константина Аксакова, Алексея Хомякова, Константина Леонтьева, Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Бердяева и многих других, появился и того позже[49].

Несмотря на это, работы русских славянофилов, и в особенности, книга «почвенника» Данилевского, с ее «биологической» концепцией возникновения и умирания культур, их изолированности и абсолютной самоценности, долгое время считались источником, из которого «славянофил от Пруссии» заимствовал свои идеи. Особенно этот вопрос занимал его *идеологических* противников в России, которые, подобно Абраму Деборину, автору статьи «Гибель Европы или торжество империализма?» одновременно пытались доказать, что и сам Данилевский, «украл» свою теорию у Генриха Рюккерта, из его труда «Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung» (1857)[50]. Следует, однако, отметить, что «биологический» взгляд на мир культуры и духовной жизни человека нашел отражение в начале 1900-х годов в творчестве знаменитого русского медика и мыслителя Ильи Мечникова. Его вышедшие во Франции, на французском языке книги «Этюды о человеческой природе» и «Этюды об оптимизме» были довольно популярны в Европе, хотя и критически восприняты в самой России[51].

Впрочем, стремление подчеркнуть *западные* истоки не только идей Шпенглера, но и взглядов русских «шпенглеристов», оставаясь идеологическим, не слишком противоречило действительности. Как известно, русские славянофилы, по меткому замечанию Александра Герцена, «выйдя из Гегеля», «западной наукой дошли до своих национальных теорий»[52] и, при этом, навсегда сохранили свой «германский комплекс»[53]. Указывал на близость Шпенглера Гегелю и Деборин, по сути, обвинивший автора «Заката Европы» в двойном плагиате. Вместе с тем, революционеры-марксисты, вычислившие из учения Гегеля «алгебру революции»[54], и здесь старались не подчеркивать собственного идейного «родства» с Западом, еще раз невольно демонстрируя подмеченные Шпенглером свойства русской ментальности.

И действительно, *русские* фаусты, в отличие от их немецкого прообраза, в результате *умственных* исканий истины и высшего смысла, как правило, впадали в смертный грех уныния, а их союз с чертом оборачивался разрушением личности

и даже преступлением против человечества. Фаустовский импульс вызвал к жизни в русской литературе целую галерею образов «страдающего эгоиста»: пушкинский Фауст, жалующийся «бесу» на скуку и просящий для развлечения утопить в море корабль; Иван Карамазов Достоевского, невольно превращающийся в *теоретического* вдохновителя убийства собственного отца и теряющий, при этом, рассудок; наконец, «падший Фауст» Максима Горького – Клим Самгин, ничтожный духовный мещанин со столь мелкою душой, что она даже не нужна черту – герой словно полностью поглощен им и сам становится «мелким бесом»[55]. Уже в 1907 году «мелкий бес» стал главным героем одноименного романа Фёдора Сологуба.

Еще Иван Тургенев, называвший себя «заклятым гетеанцем» и также внесший свой вклад в изображение русских «лишних людей» с «фаустовскими» чертами, в своей ранней рецензии на перевод трагедии Гете задал очень симптоматичный русский вопрос: как можно остаться, подобно Гете, абсолютно, словно из «одного куска», цельной личностью и, при этом, «не разрушаясь, даже не страдая, вынести в себе Мефистофеля»?[56] В дальнейшем русском восприятии Мефистофель (Дьявол) часто воплощал в себе не только цинизм отвлеченного разума и мещанство практического жизнеустройства, но даже идентифицировался с самим Фаустом. Знаменитое гетевское изречение «Am Anfang war die Tat» («В начале было деяние») – вызывало протест. «Я /…/ выбираю не Деяние, а слово», – кратко обобщил своё мироощущение Максимилиан Волошин[57]. Само пренебрежение Логосом, словом, мыслью *сердечной* воспринималось как начало связи с чертом. «Германия пошла за Фаустом, Россия – за Гретхен, – писал Сергей Соловьев в книге “Гете и христианство”. – Правда Фауста никогда не будет правдой Гретхен»[58]. Борьба против рационализма, «сросшегося» с цивилизацией, порой отождествлялась русской мыслью с борьбой за Россию, именно как за Логос. «Культура поглощается прогрессом материальной цивилизации», – писал Владимир Эрн в книге «Борьба за Логос» (1911), характеризуя цивилизацию в качестве *законного и необходимого детища рационализма*[59].

Гетевская примиренность, своеобразное «партнерство» Фауста и Мефистофеля именно *на русский лад* чудесным образом явилось лишь в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (черновое название «*Фауст* и Маргарита»), который создавался автором в 1920-е годы. *Фауст* Булгакова утверждал главенство слова и духа, примат сердца над разумом. Он чужд материальных интересов. Его отказ от деяния обусловлен *этически*. Вместе с тем, дьявол Воланд в романе Булгакова – довольно симпатичное существо, которое, действительно, «вершит добро, всему желая зла»[60]. Неслучайно именно эту характеристику, противоречащую Достоевскому[61] и данную самому себе *гетевским* Мефистофелем, автор «Мастера и Маргариты» выбрал в качестве эпиграфа к своему произведению, где с наибольшей наглядностью отразилась многозначность фаустовского импульса в русской философской и художественной мысли.

Именно в образе Фауста она увидит не только «святого» мыслителя, но и революционера-социалиста, как это сделал и Шпенглер, противопоставив Достоевского и Толстого. Так, уже в 1918 году появилась пьеса Анатолия Луначарского, первого наркома просвещения большевистской России, под названием «Фауст и город», где был создан образ Фауста-вождя, призванного народом к неограниченной власти в знак преклонения перед его мудростью и способностью к великим деяниям. Произведение Луначарского словно предвосхитило множество не только литературных и

*Владимир Зуев. «Полет 2», 2001. Гравюра к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова*

философских, но и конкретно-исторических, политических аллюзий. Именно в этом ключе будет рассматривать Фауста уже в начале 1930-х годов один из виднейших мыслителей советской России Николай Бухарин, который увидит в гетевском «Фаусте» *апофеозу коллективного труда* и возможность «слияния» творящего индивидуума с обществом[62]. Подобное толкование «Фауста» станет наиболее расхожим в советское время[63].

В целом, однако, нельзя не заметить, что русское противополагание «фаустовского» разума *и* деяния – Логосу соответствовало шпенглеровскому противостоянию цивилизации и культуры. Но автор «Заката Европы» все-таки оставался для русских мыслителей рационалистом, хотя и рационалистом-романтиком, не очень охотно подчинявшимся законам здравого смысла. В этом отношении характерно само название статьи Якова Букшпана о «Закате Европы» – «Непреодоленный рационализм». Шпенглер действительно давал повод говорить о наметившейся в «Закате Европы» противоречивой тенденции к преодолению рационализма, ощутимой более в области *интуиций* автора, нежели в самом ходе его рассуждений.

С понятием цивилизации, или *ставшего*, лишившегося живой жизни души, у Шпенглера ассоциировались «застывшие» законы, формулы и числа. «Неподвижные формы отрицают жизнь. Формулы и символы вводят неподвижность в картину природы. Числа убивают», – утверждал он (1, 126). Именно здесь Букшпан почувствовал не просто противоречивость личности немецкого философа, но и ту «смиренную» гордыню разума, которая провоцирует, говоря словами Достоевского, возникновение «подпольного» сознания. «Шпенглер признает примат жизни над разумом, утверждает как бы смирение человеческого разума, но это смирение из тех, которые паче гордости, – писал Букшпан, – Оно полно величайшего самоутверждения» (Букшпан, 94). Далее, ссылаясь на известную книгу Г.К. Честерсона «Ортодоксия» (1908), русский философ акцентировал внимание на «извращенном» характере сми-

рения в современном человеке, «слишком умственно скромном, чтобы верить в таблицу умножения» (Букшпан, 95). В восприятии Букшпана, Шпенглер предстал в качестве носителя своего рода «подпольного» сознания[64].

Ассоциация с героем Достоевского, которого Шпенглер считал исконно русским человеком, выразителем глубинной сути русской души, может показаться здесь не совсем случайной, если вспомнить о поистине символической роли «мертвой» цифровой формулы *дважды два четыре* в русском осмыслении рациональных теорий. В «Записках из подполья» Достоевский как раз связал «формулу» *дважды два четыре* с определением прогресса, понимаемого в виде рационально поставленной цели развития человечества. «… может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать – самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не что иное, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти», – рассуждал «подпольный» герой Достоевского[65].

Шпенглер, изрекший: «Числа убивают», – словно еще раз продемонстрировал верность гетевскому методу – попал в «сердце самого явления», в данном случае – русского феномена «подпольного» сознания. По мнению Шпенглера, каждый истинно русский человек по своей глубинной душевной сути – *Достоевский* (2, 199). Он живет в метафизическом измерении, обладает всечеловеческой сущностью и находится под магической властью «третьего христианства», незнакомого фаустовской душе.

Подобно тому, как в начале века Дмитрий Мережковский в эссе «Лев Толстой и Достоевский» (1900) противопоставил Толстого («ясновидца плоти») и Достоевского («ясновидца духа»), Шпенглер развел их как *социалиста* и *святого*, олицетворявших соответственно прошлую и грядущую Россию (2, 200). Таким образом, Толстой, как «социалист» оказался, хотя бы формально, но в одной когорте с «социалистом» Фаустом из второй части гетевской трагедии, то есть в сфере жизнеустройства и цивилизации; в то время как в духовном феномене Достоевского, а значит, в самой русской «перводушевности», угадывался потенциал для рождения новой культуры. Этот смутный намек Шпенглера на будущность России нашел отклик у Бердяева, который чувствовал в феномене России скрытую тайну, связанную с ее великим предназначением и с неминуемым кризисом европейской культуры (Бердяев, 72).

Вместе с тем, традиционное «противопоставление русского, самобытного, духовного, культурного – всему западному, шаблонному, материальному, цивилизованному» всегда давало в России, «духовную опору для практического ничегонеделания» (Букшпан, 85). Тема личного поступка, *деяния* в восприятии русской мысли начала XX века часто ассоциировалась с именем Гете. Именно в гетевском «Фаусте» прозвучала мысль если не о святости, то, во всяком случае, о *праве на спасение души* человека, который «вечно трудится, стремясь». «А мы, не трудящиеся, не стремящиеся, чем спасемся? Праздностью, неделанием, обломовщиной? /…/ Бездельники – безбожники, сколько бы ни говорили о Боге. Вот страшный и спасительный урок, который дает нам Гете», – писал в 1915 году Мережковский[66].

И все-таки «деяния» Фауста из второй части гетевской трагедии, героя цивилизации, воспринимались русскими читателями «Заката Европы», как правило, с заметным разочарованием: работа «по осушению болот» ассоциировалась с умиранием,

как с *вырождением* истинно фаустовского духовного начала, с потерей его высокого предназначения (Бердяев, 68). И это соответствовало не только традиции русской мысли в ее отрицании «эгалитарного прогресса» и «серого рабочего человека» (К. Леонтьев), а также непосредственно гетевскому изображению старого ослепшего Фауста, принимавшего стук лопат, рывших ему могилу, за шум великой стройки. Это отвечало самому духу книги Шпенглера, противопоставившего культуру и цивилизацию как «живое тело душевности и его мумию», как высокое деяние (Tat) и работу (Arbeit) (1, 460).

Важно, что «внутреннее безразличие», свойственное добросовестному, но не вдохновленному высокой целью исполнению работы, он связал с «моралью здравого смысла», которую назвал «плебейской» (там же). Понятие «плебейской» морали, ассоциировавшейся более с «прописями», нежели с трудным духовным процессом рождения нравственного чувства, с моралью *трагической* (1, 553), снова возвращает к Достоевскому, к его пониманию *золотой посредственности* – качеству, необходимому для существования в «муравейнике» общества здравого смысла.

## Полемика о «Закате Европы» в процессе новой русской самоидентификации

Наблюдения над противоречивыми, порой причудливыми пересечениями шпенглеровской мысли со многими глубинными, даже сокровенными течениями в русской философии, образно осмысляющей мир (среди них – одно из самых острых ощущений – «сумерки Европы») – можно было бы продолжить. Но важнее другое: сами эти пересечения и созвучия как бы позволили Шпенглеру взглянуть на мир глазами Достоевского (пусть результатом этого стало еще более резко подчеркнутое различие между Россией и Западом). Противопоставив Гете – Канту, он стремился подчеркнуть преемственную, по его мнению, связь Гете с Платоном, обозначить глубинную связь немецкого гения не только с категорией разума, но и с Логосом. Как автор философского трактата, написанного с литературной легкостью, даже обладающего художественными достоинствами, Шпенглер получил особенное признание именно в России, где основным типом философа издавна был *поэт*-мыслитель. Поэтом-мыслителем являлся и сам Гете, которого Шпенглер провозгласил своим учителем. Гетевский Фауст, ставший «героем» «Заката Европы» уже в качестве *символа* западного человека, многие десятилетия был одной из ключевых фигур в русском осмыслении мира.

Несмотря на порой жесткую критику Шпенглера, связанную с «неоригинальностью» его идей, «игнорированием» исторического процесса и христианского религиозного чувства, «остаточный рационализм» и милитаристские тенденции, русские «шпенглеристы» обнаружили в его мировоззрении черты, близкие глубинным особенностям русского мышления. Интуитивный и противоречивый, более художественный, нежели логический характер его построений, способность к *переживанию* мысли, соприкосновение с феноменом «подпольного сознания», противопоставлявшего общим рациональным законам непредсказуемость конкретной, *живой* жизни, – всё это было отмечено русскими философами, как совершенно *новое в европейской душе* переживание.

Самый пик полемики о Шпенглере пришелся в России на начало 1920-х годов – время *новой мировоззренческой и культурной самоидентификации* России. Российские «шпенглеристы» – на деле – представители русской, связанной с православием литературно-философской традиции (Бердяев, Вышеславцев, Степун, Франк и др.) – философы, получившие образование и признанные в Европе, но воспринимавшиеся в постреволюционной стране в качестве «образованных мещан» и «запоздалых славянофилов», превратились в мишень идеологической полемики вокруг Шпенглера. Труд Шпенглера, который, с одной стороны, сфокусировал в себе многие противоречия русского мировоззрения, связанные с издавна противоречивым отношением к Западу, а с другой стороны – обнаружил качества, близкие русскому философствованию и ментальности, – закономерно явился как мощным *поводом*, так и своего рода *фактом* этой полемики. Ведь *закат Европы* был, говоря словами Осипа Мандельштама, тайной, «традиционно-русской» мечтой.

Полемика революционных идеологов с русскими философами, по сути дела, коренилась всё в том же извечном противостоянии и взаимном притяжении между Россией и Западом. Она в принципе не могла закончиться обретением общей «истины», поэтому была прекращена силовым путем. Сам факт высылки философских оппонентов из России в конце 1922 года на «философском пароходе» свидетельствовал о завершении дискуссии явно не в пользу идеологов революции, которые смогли противопоставить аргументам силу не убеждения, но принуждения. Собственно говоря, споры о Шпенглере, *напрямую* связанные с ним и его творчеством, на этом оборвались. В советской России Шпенглер вскоре оказался среди нежелательных авторов, а позднее, получив, подобно Ницше, клеймо «идеолога фашизма», на десятилетия практически попал под запрет.

Однако споры о Шпенглере явно послужили импульсом для дальнейших размышлений высланных на «философском пароходе» русских мыслителей о духовном феномене России и ее отличии от Европы. Период после Первой мировой войны и русской революции воспринимался современниками как время небывалого прежде духовного сближения Запада и Востока; размышления русских философов о самобытности России, о духовных истоках русской революции нередко оставались *пошпенглеровски* противоречивыми.

Уже находясь в эмиграции, в 1924 году, Николай Бердяев выпустил первую созданную за границей книгу «Новое средневековье. Размышление о судьбе России», где возвестил конец гуманистической эпохи, рожденной Ренессансом, и провозгласил мессианскую роль России в «конце новой истории», возможную благодаря небывалому «соприкосновению» прежде изолированных друг от друга Запада и Востока. Позднее в своих знаменитых трудах «История и смысл русского коммунизма» (1937) и «Русская идея» (1946) Бердяев во многом исходил из шпенглеровской идеи *апокалиптического бунта* русских умов против античности, который, в его толковании, был обусловлен характерным для России преобладанием гуманитаризма (человечности) над «ренессансным» гуманизмом европейского образца.

Борис Вышеславцев, считая понятие *сердце* центральным в православной философии, в поздних работах эмигрантского периода противопоставлял духовное начало в человеке, как божественную его сущность, – бездуховности материального прогресса («Философская нищета марксизма» /1952/; «Кризис индустриальной культуры» /1953/; «Вечное в русской философии» /1955/). Фёдор Степун, наделявший категорию *переживания* онтологическим, бытийным смыслом, утверждавший философст-

вование как *творчество*, которое сродни литературному, видел в современном ему мире революционных бурь и материальной цивилизации духовную опустошенность, даже издевательство над «святым образом человека» («Облик России и лицо революции» /1934/; «Большевизм и христианское существование» /1959/).

Эмигрировав в Германию, Семён Франк выпустил ряд работ, также, в известном смысле, развивавших отдельные аспекты споров вокруг Шпенглера: «Большевизм и коммунизм как духовные явления» (1925), «Сущность и ведущие мотивы русской философии» (1925), «Русское мировоззрение» (1926) и др. Определяя русскую философию как *сверхнаучное интуитивное учение о мировозрении*, Франк одновременно рассматривал русскую революцию в качестве *итога* четырехвекового духовно-исторического движения *западного* человека.

Оставшиеся в России идеологические оппоненты вынужденных эмигрантов, вспоминали Шпенглера, главным образом, как представителя чуждого западного мировоззрения, но вместе с тем, и как противника «прогресса». Луначарский в статье «Г.В. Плеханов как литературный критик» (1930), признавая, что Плеханов «считался также с теорией возрастов, которая сейчас в некоторой степени возрождается в сочинениях Шпенглера», подчеркнул американское, по его мнению, происхождение этой идеи. «Мы совершенно отбрасываем всякие теории циклов а-ля Шпенглер… – продолжал Луначарский. – Нет, прогресс человечества есть настоящее шествие вперед»[67]. Нельзя не заметить, что здесь, как в теории о двух культурах, словно подразумевается наличие *двух типов* «прогресса» – буржуазного (западного) и революционного. Субъективное ощущение «заката Европы» не покидало даже временных эмигрантов из советской России. В феврале 1925 года Горький писал Михаилу Пришвину из Сорренто: «… *закат Европы*, на мой взгляд – факт неустранимый, хотя, конечно, закатывается она не по Шпенглеру. Устали здесь люди, живут – несерьезно, а как-то – без главного. Особенно ясна эта усталость и в отсутствии “главного” в литературе, в живописи, вообще – в искусстве /…/ Разумеется, у Вас на Руси – житие, да и вообще Русь “моложе”, от молодости и дурит во многом»[68].

Если Шпенглер и судил о России отчасти «по-славянски», то его русские оппоненты, видя мир во многом *по-шпенглеровски*, парадоксальным образом, нередко отрицали его идеи. В споре о Шпенглере российских религиозных философов и революционных идеологов наглядно проявилось как противостояние, так и неразрывное единство двух, обозначенных самим автором «Заката Европы», явлений русского духа: *«святость»* и *большевизм*. «Закат Европы» не только вместил в себя противоречия «русской идеи», но и *отразил* ее с противоречивостью, свойственной самобытной русской мысли. Поэтому не только полемика о Шпенглере начала 1920-х годов, но и сам «Закат Европы» стали органичной частью русской духовной жизни, особенно в период между двумя мировыми войнами. Вышеславцев действительно имел основание заявить: «Основная идея Шпенглера есть центральная мысль и глубочайшее переживание русской философии».

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Так это сформулировал философ и религиозный мыслитель Борис Вышеславцев (1877–1954), высланный из Советского Союза в 1922 году и после этого проживавший в Париже.

[2] *Бердяев Н.* Космическое и социологическое мироощущение // *Бердяев Н.* Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М., 1918. С. 143–144.

[3] *Бердяев Н.* Конец Европы // Там же. С. 119.

[4] *Бердяев Н.* О власти пространства над русской душой // Там же. С. 68.

[5] *Мандельштам О.* Чаадаев // *Мандельштам О.* О поэзии. 1928. С. 76.

[6] *Шпенглер О.* Закат Европы. Пер. Н. Горелина. С предисл. А. Деборина. Т. 1. – М.–Пг., 1923; отдельным изданием вышли фрагменты из первого тома о «причинности и судьбе»: *Шпенглер О.* Закат Европы. Пер. под ред. А. Франковского. Т. 1. – Пг., 1923.

[7] *Шпенглер О.* Философия будущего. – Иваново-Вознесенск. 1922. Переводчик не указан.

[8] *Шпенглер О.* Пессимизм? Пер. и предисл. Г. Генкеля. – Пг., 1922; *Шпенглер О.* Пессимизм ли это? Пер. и предисл. П. Попова. – М., 1922.

[9] *Шпенглер О.* Пруссачество и социализм. – Пг., 1922. Переводчик не указан.

[10] *Евг. Б. (Брауде Е.М)* Освальд Шпенглер и «Крушение западной культуры» // Парфенон. Сб. 1. – СПб., 1922. С. 27.

[11] См. об этом: *Свасьян К.А.* Освальд Шпенглер и его реквием Западу // *Шпенглер О.* Закат Европы. Т. 1. – М., 1993. С. 74–86. Кроме Гете и Ницше, сам Шпенглер относил к своим предшественникам А. Шопенгауэра, Р. Вагнера, Е. Дюринга, К. Маркса, Г. Ибсена, А. Стринберга, Б. Шоу. Его критики, как правило, называли еще А. Бергсона, Д. Вико, В. Воррингера, Г. Риккерта, а также русских авторов, о чем и пойдет речь в данной статье.

[12] *Schroeter M.* Streit um Spengler. Kritik seiner Kritiker. München 1922; см. также: Hans-Christof Kraus: «Untergang des Abendlandes». Russland im Geschichtsdenken Oswald Spenglers. – in: Deutschland und die Russische Revolution 1917–1924. Hrsg. *Von G.* Koenen und L. Kopelew. (=West-östliche Spiegelungen. Reihe A.B. 5). S. 278 f

[13] См. Указ. соч. Е. Брауде, а также: *Вышеславцев Б.* Закат Европы (об Освальде Шпенглере) // Феникс. Кн. 1. – М., 1922; *Лазарев В.* Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. – М., 1922.

[14] Освальд Шпенглер и Закат Европы. – М., 1922. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием фамилии автора и номера страницы.

[15] Красная новь, 1922, № 2 (6).

[16] Там же. С. 204.

[17] Там же. С. 212–213.

[18] Там же. С. 232, 240.

[19] Ср.: Karl Schlögel: Russische Wegzeichen. In: Vechi – Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz. Essays von Nikolaj Berdjajew, Sergej Bulgakow, Michail Gerschenson, Alexander sgojew, Bogdan Kistjakowskij, Pjotr Struwe und Semjon Frank. Eingeleitet und aus dem Russischen übersetzt von Karl Schlögel. Frankfurt a. M. 1990. S. 5–44.

[20] Под знаменем марксизма, 1922, № 1/2.

[21] См.: *Попов П.* Предисловие // *Шпенглер О.* Пессимизм ли это? С. 6.

[22] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 45. – М., 1964. С. 174, 176.

[23] Под знаменем марксизма. С. 8.

[24] Там же. С. 29.

[25] Там же. С. 30, 31.

[26] *Франк С.Л.* Мережковский о «Вехах» // *Франк С.Л.* Русское мировоззрение. – СПб., 1996. С. 553.

[27] *Ленин В.И.* Т. 19. С. 168–169.

[28] Красная новь. С. 207, 199.

[29] *Эрн В.Ф.* Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия // *Эрн В.Ф.* Сочинения. – М., 1991. С. 372.

[30] Красная новь. С. 229.

[31] См. указ. соч.: *Kraus S.* 302.

[32] Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Том 2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1998. С. 199.

[33] В.В. Зеньковский подробно проследил эти настроения русской мысли в своей книге «Русские мыслители и Европа», вышедшей из печати в Европе в начале 1920-х годов. Ср.: *Зеньковский В.В.* Русские мыслители и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. – М., 1997. С. 44 и след.

[34] Определение Г. Рормозера из его статьи «К вопросу о будущем России» (Вопросы философии 1993, № 4), где речь идет о «загадочном родстве» между немцами и русскими, как народами, которых особенно волнует «вопрос о политическом и социальном воплощении /…/ сверхиндивидуального смысла в своей истории». (С. 22).

[35] *Бердяев Н.А.* Конец Европы // *Бердяев Н.* Судьба России. С. 122.

[36] *Mann Th.* Gesammelte Werke in 12. Banden. B. 10. – Oldenburg, 1960. S. 178–179.

[37] *Коялович Н.* Обессмысливание смысла истории (Уэллс и Шпенглер) // Книга и революция, 1923. № 3(27). С. 5.

[38] См. об этом: *Тиме Г.А.* Немецкая литературно-философская мысль XVIII–XIX веков в контексте творчества И.С. Тургенева (Генетические и типологические аспекты). (Vortrage und Abhandlungen zur Slavistik. B. 31. Hrsg. von P. Thiergen). – München, 1997. S. 14–15 f

[39] Закат Европы. Том 1. Образ и действительность. / Авт. вступит, статьи А.П. Дубнов, авт. комментариев Ю.П. Бубенков и А.П. Дубнов. – Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская фирма, 1993. С. 91. Далее ссылки на это издание и издание, указанное в сноске 32 (том 2), даются в тексте с указанием номера тома и страницы.

[40] Ср. *Зеньковский В.В.* История русской философии. Т. 1–2. Т. 1. – Париж, 1989. С. 200 и след.

[41] См.: *Вышеславцев Б.* Указ. соч. С. 115.

[42] Ср., например, особую чувствительность к мысли, которую отмечал у себя В.Г. Белинский (*Белинский В.Г.* Собр. соч. Т. 11. – М., 1956. С. 282); А.И. Герцен подчеркивал в «Былом и думах», что мыслящий русский человек непременно должен пережить «Феноменологию» Гегеля (*Герцен А.И.* Т. 9. С. 23).

[43] См.: *Лазарев В.Н.* Указ. соч. С. 153.

[44] *Белый А.* Возвращение на Родину. – М., 1922. С. 31.

[45] Наблюдение относительно сходства между «совершенной книгой» Ф. Ницше и «Закатом Европы» О. Шпенглера принадлежит С. Аверинцеву (*Аверинцев С.* «Морфология культуры» Освальда Шпенглера // Вопросы литературы. 1968. № 1. С. 139).

[46] Ср.: *Spengler O.* Briefe. 1913–1936. – München, 1963. S. 37–38, 41, 45, 55. См. также: *Kraus.* S. 291–292.

[47] Там же. S. 280–281.

[48] *Danilewskij N.* Russland und Europa. übersetzt von K. Noetzel. – Stuttgart, 1920.

[49] Das östliche Christentum. Bde 1–2. – München, 1924, 1925.

[50] Под знаменем марксизма. С. 21–25.

[51] Metchnikoff Elie Études sur la nature humaine. – Paris, 1903. (Рец.: *Оболенский Л.* Неудачная попытка построить этику и политику на биологии // Русская мысль. 1903. Кн. 9. С. 139–166); Metchnikoff Elie Essais optimistes. – Paris 1907. (Отзыв: *Толстой К.* Корни беспросветного пессимизма. «Оптимистическая» философия проф. И.И. Мечникова. – СПб., 1909. С. 193).

[52] *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 2. – М., 1954. С. 392.

[53] См. об этом: *Песков А.М.* Германский комплекс славянофилов // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 105–108 и след. На эту тему Ф. Степун писал еще в 1910 году в статье «Немецкий романтизм и русское славянофильство» (Русская мысль, 1910. № 3. С. 65–91).

[54] *Герцен А.И.* Т. 9. С. 23.

[55] Тема «русского Фауста» в ее философском значении остается привлекательной и для современных российских исследователей. Ср.: *Старосельская Н.Д.* Русский Фауст // Вопросы философии, 1983, № 9. С. 92–101; *Якушева Г.В.* Фауст и Мефистофель в литературе XX века // Гетевские чтения. – М., 1991. С. 165–192; *Щенников Д.* Иван Карамазов – русский Фауст // Достоевский в конце XX века. – М., 1996. С. 298–310 и мн. др.

[56] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. Сочинения. Т. 1. – М., 1978. С. 204, 206.

[57] *Волошин М.* Horomedon // Золотое руно. 1909. № 11–12. С. 59–60.

[58] *Соловьев С.* Гете и христианство. Сергиев Посад, 1917. С. 57. Ср.: *Зеньковский В.В.* Русские мыслители и Европа. С. 109–112.

[59] *Эрн И.Ф.* Нечто о Логосе, русской философии и научности // *Эрн В.Ф.* Сочинения. С. 80.

[60] Подробно см.: *Якушева Г.В.* Фауст и Мефистофель вчера и сегодня. – М., 1998. С. 99 и след.

[61] «Я часть той части целого, которая вечно хочет, жаждет, алчет добра, а в результате его деяний – одно лишь злое», – констатировал Достоевский в Записной тетради в 1876–1877 годах (*Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 24. – Л., 1982. С. 287–288).

[62] *Бухарин Н.И.* Гете и его историческое значение // Гетевские чтения. С. 252.

[63] См. об этом: *Данилевский Р.Ю.* Пушкин и Гете. Сравнительное исследование. – СПб., 1999. С. 204–205.

[64] Глубокое проникновение «русского духа» в немецкое сознание – именно через феномен Достоевского – с особой остротой отметил Герман Гессе в книге «Blick ins Chaos» (1921), которую Букшпан упоминает в своей статье. В эту книгу вошло философское эссе «Die Brüder Karamasoff oder Untergang Europas. Einfülle bei der Lektüre Dostojewskis» (1919), где явление заката Европы связывалось, в первую очередь, с проникновением в души европейцев русского хаоса.

[65] *Достоевский Ф.М.* Т. 5 С. 118–119.

[66] *Мережковский Д.С.* Гете // *Мережковский Д.С.* Было и будет. Дневник 1910–14. – Пг., 1915. С. 67–68.

[67] *Луначарский А.В.* Г.В. Плеханов как литературный критик // *Луначарский Г.В.* Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 8. – М., 1967. С. 238, 258.

[68] *Горький А.М.* Собр. соч. в 30-ти томах. Т. 29. – М., 1955. С. 426–427.

*Александр Хаардт*

# ПРОБЛЕМА ДРУГИХ у Михаила Бахтина и Семена Франка. К вопросу о рецепции феноменологии Макса Шелера в России[1]

Задающий вопрос о «других» ставит себя – как одного из участников межличностных отношений – в центр того сплетения связей, которое он пытается реконструировать, исходя из своей индивидуальной и, как кажется, неизменной перспективы. Проблему других верно понимает, однако, лишь тот, кто не довольствуется статусом одного среди других, кто ставит в большей степени себя самого на центральное место спрашивающего и снижает его – как всех других субъектов – до простых других. Это феноменологический подход к постановке проблемы другого; Михаил Бахтин[2], мастер смены перспектив, кажется созданным для него.

Бахтин, действительно, анализировал отношение к другому с совершенно различных позиций – с позиции теории литературы, философии языка, истории культуры и других[3], – прежде всего, в двух ранних текстах, созданных между 1918 и 1924 гг., которые были опубликованы после его смерти под названиями «Автор и его герой в эстетической деятельности» и «К философии действия»[4]. Это фрагментарно сохранившиеся части исследования в рамках неизвестного целого. В них рассматриваются, с одной стороны, кажущиеся далеко отстоящими друг от друга вопросы эстетического и, соответственно, внутренне литературного отношения автора к вымышленным фигурам его повествования, с другой – коммуникативные отношения ответственно действующего субъекта в контексте жизненного мира.

Эти обе формы отношений не следует относить только к сфере искусства и моралистически или практически понимаемой жизни. Внутри самого жизненного мира начинается эстетизированное дистанцирование от другого, вступающее в конфликт с его притязанием быть признанным как личность. В этом смысле в повседневную жизнь преобразуется внутрилитературное отношение, когда получают воплощение отношения между субъектами в повествованиях, посредством которых каждый пытается стать автором своей жизни и жизни других. С моей точки зрения, другой, при этом, является, прежде всего, тем анонимным свидетелем, который стремится придать завершенность и закончить мою ориентированную на открытое будущее и, таким образом, незаконченную жизнь, причем я в принципе в состоянии обороняться от этого. Иным образом обстоит дело в литературном тексте, где автор является для своих героев своего рода потенцированным другим, который знает абсолютно все об их личном отношении к себе и к миру и не оставляет им возможности защищаться от завершающего вмешательства автора.

Подход, с помощью которого Бахтин анализирует межличностные отношения в обоих вышеназванных ранних текстах, сам он обозначает как феноменологическое описание переживания[5]. В дальнейшем моя цель заключается, в первую очередь, в том, чтобы осветить понимание феноменологии, лежащее в основе его работ. Вы-

яснится, что мы можем говорить об антикартезианской феноменологии в стиле Макса Шелера, отличной от трансцендентально-идеалистической феноменологии среднего периода творчества Гуссерля.

Далее будет обозначена центральная мысль Бахтина относительно интерсубъективности в эстетической и этической сфере, причем я ограничиваюсь анализом ранних работ исследователя. При попытке скоординировать индивидуальные перспективы встречающихся друг с другом проявятся систематические сложности, которые Бахтин смог решить только в средний период своего творчества – здесь я имею в виду в особенности его книгу о Достоевском[6]. В завершение я хочу соотнести Бахтина с другим представителем русского феноменологического движения в русском языковом пространстве, для которого теория другого Макса Шелера также имела большое значение, – с Семеном Людвиговичем Франком, чьи взгляды будут рассмотрены на примере его систематической главной работы «Непостижимое» (1939)[7]. В сопоставлении с мышлением Франка, отмеченным сильным воздействием традиции античного неоплатонизма, выявится своеобразие подхода Бахтина к проблеме другого: его последовательная привязка к перспективе отдельного индивида и сознательный отказ от перехода во всеобъемлющую внешнюю перспективу метафизики всеединства.

## «Феноменология мира поступка» Бахтина и феноменология поступка Шелера

Проблема другого, понимаемая с точки зрения жизненного мира и эстетики, связана с всеобъемлющим проектом философии действия Бахтина. Она должна занять место *prima philosophia*, причем по-новому ставится античный, платоновско-аристотелевский вопрос о единстве бытия в многообразии различных форм бытия. Задача первофилософии – открыть «бытие-событие»[8] таким, каким оно предстает перед индивидом как ответственно действующим в его безусловной единственности. Это событийно понимаемый мир, мир поступка, в отношении которого Бахтин категорически утверждает, что он может быть описан только феноменологически[9].

Чтобы прояснить, что следует понимать под «феноменологией мира поступка», необходимо уточнить понятие «поступка» у Бахтина. Действие как интенционально направленное, завершающееся изменениями внешнего мира отношение, представляет собой только один из вариантов поступка – наряду с мышлением, чувствованием, эстетическим созерцанием и т. д. Для «поступка» Бахтин использует также, очевидно, хорошо знакомое ему из феноменологии Гуссерля и Шелера понятие «акт», которое, будучи понято как интенционально направленное исполнение события, охватывает большую часть видов *поступка*. Совершенные акты на основании их интенциональности выполняют также в точности ту функцию, которую Бахтин предназначал для своего понятия поступка, а именно создают мост между некогда единичным, помещенным в историческое время исполнением события и его смысловым содержанием в различных культурных сферах права, морали, искусства и т. д.

Понимание феноменологии Бахтиным соответствует ближе всего пониманию Эдмунда Гуссерля, которое нашло отражение в рано ставшей известной в России

работе «Логические исследования» (1900/1901)[10], и применяющемуся в них методу коррелятивного описания интенциональных переживаний. В постоянной смене перспектив – будь то переход с собственной точки зрения к углу зрения другого, от морально-практической к когнитивной или эстетической позиции – Бахтин классифицирует данное в настоящем горизонте как *intentum* интенциональности, которую он шаблонно обозначает и интерпретирует как «эмоционально-волевую направленность»[11]. Полностью в соответствии с феноменологическим девизом: «к вещам самим по себе, таким, какими они являются, прочь от голых слов, априорных суждений и теорий» – из теоретических обобщений и конструкций снова и снова извлекается то, что действительно должно проявляться в переживании. По Бахтину, характерно для этого то, что описывающий покидает свою уникальную, привязанную к определенной пространством и временем подвижной точке, перспективистскую позицию и конструирует, исходя из неличностной внешней перспективы общий для всех субъектов мир – единый мир познания[12].

Как и большинство русских феноменологов 1910-х и 1920-х годов, Бахтин отстраняется от трансцендентально-идеалистического поворота Гуссерля, который демонстрируется в первой книге «Идей к чистой феноменологии» (1913). Речь у него не идет о том, чтобы с помощью ряда феноменологических редукций получить точку чистого, т. е. освобожденного от эмпирически случайных элементов, трансцендентального сознания. Скорее, должно быть описано то, что проявляется с точки зрения моего телесно-конкретного, расположенного во времени и пространстве Я, которое претендует на центральное положение по отношению к миру и всем «другим».

С этой позиции, скептической в отношении трансцендентально-идеалистической, картезиански определенной феноменологии, написан и наиболее значимый ранний текст по проблеме феноменологии и интерсубъективности: «К феноменологии и теории чувств симпатии и о любви и ненависти» 1913 г. (десятью годами позднее текст вышел под заглавием «Суть и формы симпатии» в значительно расширенной редакции)[13]. Книга является антикартезианской в двух смыслах: во-первых, оспаривается, что я сам в состоянии хорошо видеть свои *cogitationes* и соответственно свои интенциональные переживания. На примере моральных оценок Шелер попытался в своей отмеченной влиянием Ницше книге «Вражда в структуре моралей»[14] показать недостаточную открытость собственного переживания. С другой стороны, Шелер подчеркивает значение физических выразительных движений для артикуляции и осознания собственных переживаний и, тем самым, обходит декартовский дуализм тела и души. Мои переживания получают форму и определенность только в направленном на (потенциального) другого мимическом, жестикулярном или словесном выражении. То, какие переживания достигают сознания как выразимые и формулируемые, в определенной мере зависит от другого, от интернализированных норм и знаковых систем тогдашнего общества, все мысли, которые стали центральными у Бахтина, особенно в его работе, опубликованной под именем его ученика Валентина Николаевича Волошинова «Марксизм и философия языка»[15].

К числу бросающихся в глаза параллелей между феноменологией интерсубъективности Бахтина и Шелера принадлежит также и чередование стилей речи теории субъективности и онтологии. С одной стороны, Бахтин обозначает точку субъективности индивида как «чистое самосознание» – именно тогда, когда должны быть от-

вергнуты все приносимые ему извне взгляды; также он характеризует ее как «я-для-себя», как «живущее и переживающее свою жизнь сознание»[16]; с другой стороны, речь идет о «еще-не-бытии»[17] или также «здесь-и-теперь-бытии»[18] действующего и – возможно, под влиянием Къеркегора[19] – о моем собственном существовании и существовании другого[20].

Термины «бытие» и «событие», а также «событие бытия», занимающие в концепции *prima philosophia* Бахтина как философии действия центральное место, ориентированы на связи, которые лежат в основе противоречия между субъектом и объектом, однако, также на разграничение культурных целостностей в многообразии субъектов и соответственно носителей функций там, например, где речь идет об уникальной позиции собственного Я в бытии или о всеобъемлющем событии в искусстве[21], обнаженными моментами которого оказываются художник, герой его работы и реципиент. Терминологическая изюминка в разговоре о событии заключается иногда в том, что русское слово «событие» может быть также прочитано как «со-бытие», намекая на то, что всеобъемлющее событие, в котором принимает участие индивид, ставит его в связь с другим или с другими[22].

В свете удивительных параллелей между написанными в 1918–1924 гг. текстами Бахтина «К философии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельности» и работой Шелера «Феноменология чувств симпатии» 1913 г. встает вопрос о действительном знании и оценке Бахтиным трудов Шелера. В работах 1920-х годов ссылки на Шелера впервые появляются только в книге о Достоевском 1929 г., а также в двух вышедших под именем В.Н. Волошинова сочинениях «Фрейдизм» (1927) и «Марксизм и философия языка» (1929). В книге о «Фрейдизме» Шелер назван «самым влиятельным из современных немецких философов» и «главным представителем феноменологического направления»[23]. Здесь Бахтин сообщает также об отдельной главе, посвященной немецкому философу, в рамках задуманной работы «О сегодняшнем западном философском мышлении»[24], а в книге о Достоевском Шелеру приписывается заслуга начать «на почве идеализма» принципиальную критику монологизма, характерного в особенности для неокантианства[25]. В этой связи Бахтин упоминает работы Шелера «Формализм в этике и материальная этика ценностей» (2-ое изд., 1921 г.), «О вечном в человеке» (1921), а также книгу о чувствах симпатии (1913). Примечательно также, что в середине 1920-х годов Бахтин выступил в Ленинграде с двумя докладами о Шелере, один из которых был посвящен понятию «исповедь», которая, по Шелеру, есть «раскрытие себя перед другим, делающее социальным («словом») то, что стремилось к своему асоциальному внесловесному пределу («грех») и было изолированным, неизжитым, чужеродным телом во внутренней жизни человека»[26]. Особенно интересны для характеристики понимания Бахтиным Шелера его выписки из «Сути и форм симпатии» Шелера (в 3-ем издании 1926 г.), которые были недавно изданы во втором томе критического издания Бахтина с рецензиями Брайана Пула и В.Л. Махлина[27]. Правда, они подготавливались впервые в рамках работы над книгой о Достоевском еще примерно в 1927–1928 гг. Учитывая, что во «Фрейдизме» Бахтин тем не менее однажды указывает на первое издание «Феноменологии и теории чувств симпатии» 1913 г., по крайней мере, вероятно, что он ранее уже занимался этой книгой, которая, возможно, была известна ему при работе над текстами «К философии поступка» и «Автор и герой в эстетической деятельности».

## Бахтин об отношении к другому в мире жизни и поэзии

Другой – это, прежде всего, тот, кто знает обо мне по-другому и больше, чем я сам знаю о себе. Он знает, например, мое самопроизвольное выражение лица, что мне принципиально недоступно, или видит предметы моего окружения, которые остаются для меня в течение разговора невидимыми. И наоборот, я отдаю себе отчет, что обладаю принципиально большим и иным восприятием и знанием о другом, чем он сам знает и воспринимает себя. Его и мое поле зрения и горизонт никогда не совпадают; если бы они совпадали, мы были бы одним лицом. Таким образом, в отличие от картезианской феноменологии, сформулированной Гуссерлем, у Бахтина в центре оказывается не привилегированный доступ Я к себе в чистой очевидности данных переживаний, а превосходство в знании другого, которое проистекает из его внешней перспективы зрения. Несмотря на это, мне самому, моему бытию-для-себя, может быть приписано только то, что я сам приписываю себе, то есть предполагаемый и предвосхищаемый взгляд извне другого лишь в той мере, в какой я усваиваю его, перевожу его на язык собственного сознания и, тем самым, пытаюсь преодолеть, процесс поиска себя, который принципиально не может быть завершен.

Если исходить из анализа Гуссерлем интерсубъективности, описание Бахтина начинается на относительно поздней стадии построения чужого восприятия. Кажется, существование другого, также как и понятность его переживаний без обсуждения принимается в качестве предпосылки. При более внимательном чтении, однако, оказывается, что под другим, обладающим превосходством в знании, изначально подразумевается отнюдь не встречающийся в действительности другой: указание на возможного, соответственно, мнимого другого выступает, скорее, в качестве предпосылки для подобных встреч. В поразительном предвосхищении феноменологии чужого взгляда Жана-Поля Сартра[28] другой, таким образом, действует здесь изначально как возможная, принимаемая мной самим внешняя перспектива, которая оказывается формирующей мое отношение к себе и к миру. Правда, Бахтин, в меньшей мере, интересуется тем содержанием чужого взгляда, которое принципиально доступно и дано в наглядном исполнении и мне – например, скрытой в данный момент обратной стороной имеющегося передо мной объекта, которую, однако, можно увидеть, переменив позицию. В большей степени его внимание концентрируется на аспектах моей личности, которые я никогда не смогу узнать и испытать так, как другой. В отношении собственной телесности это совокупность феноменов выражения в сфере мимики и жестикуляции, в отношении телесно конкретизируемой жизни сознания – ее внешние границы – рождение и смерть. Они, по Бахтину, не являются событиями, которые я мог бы испытать в течение моей жизни, в определенном смысле изнутри. Я сознаю эти границы моей жизни только через опыт рождения и смерти другого, тем самым, только жизнь получает для меня в некотором роде завершенный образ.

Так же только в общении с другим я прихожу к выводу, что собственная мимика, которой я интенционально связан со своим визави, недоступна и должна оставаться недоступной мне самому. Наглядное впечатление о собственной мимике не передают ни кинестетические ощущения – например, напряжение и расслабление лицевых мышц, – ни взгляд в зеркало, всегда сталкивающийся с инсценированным, своеобразно чуждым лицом. Со своим зеркальным отражением я никогда не нахожусь наедине: суждение возможного другого определяет как принятое выражение лица, так и мое оценивающее восприятие, то есть взгляд – в большинстве случаев скептический – из зеркала.

Писательское отношение автора к своему герою, которое Бахтин рассматривает в своей работе «Автор и герой в эстетической деятельности»[29], основывается на эстетизации чужого опыта, на способности поставить другого на позицию зрителя напротив самого себя. Само по себе это наблюдение, структурируя определенным образом то, на что смотрят, является своего рода действием, высвобождающим явления из их прагматических взаимосвязей и включающим их в совокупность некоего образа; таким образом, оно заканчивает их и придает им завершенность. Решающим для эстетизации какого-то человека является двойная способность вжиться в него и держаться от него на расстоянии, и при этом связать его прочувствованный внутренний взгляд с теми аспектами личности, которые не видны ему самому и которые могу осмыслить только я как стоящий вовне.

Если эстетизация другого происходит, прежде всего, с пространственной дистанции, то эстетизация собственных переживаний – с временно́й. В воспоминании об исчезающей и исчезнувшей жизни она склоняется к тому, чтобы завершить и придать себе завершенность как жизни вспоминаемой. Увиденная глазами другого, моя жизнь превращается в литературно оформленное повествование.

То, что таким образом преобразуется в эстетический феномен, – повседневное исполнение жизни, которое Бахтин характеризует как бытие-вне-себя в двух аспектах: в интенциональных переживаниях я с эмоциональной и волевой стороны связан с встречающим меня в мире, причем собственное переживание не является содержанием сознания, то есть остается незамеченным. Одновременно в стремлениях и надеждах я связываю себя с открытым будущим, из которого меня настигает безоговорочное, в конечном счете, невыполнимое требование:

> Я в себе самом всегда живу перед лицом предъявленного ко мне абсолютного требования-задания, и к нему не может быть только постепенного, частичного, относительного приближения. Требование: живи так, чтобы каждый данный момент твоей жизни мог быть и завершающим, последним моментом, а в то же время и начальным моментом новой жизни, – это требование для меня принципиально невыполнимо […][30]

Преобразование литературой и искусством такого рода жизни, к которой предъявляются чрезмерные требования, означает преодоление ее двойного бытия-вне-себя – преданного забвению самим собой бытия вещей и бытия, ориентированного на будущее, которое каждый раз обесценивает настоящее своим категорическим невыполнимым требованием. Отношению другого к своему визави в повседневной жизни на литературном уровне соответствует отношение автора к своему герою. Там, в повседневности, фиктивный, возможный другой был «необоснованным» автором моей жизни, чьими глазами, как говорит Бахтин, я могу видеть не мое истинное лицо, а только мою маску. В отношении же героя как вымышленной фигуры литературного текста действуют другие законы:

> […] жизнь, освобожденная от когтей предстоящего, будущего […], становится эмоционально измеримой, музыкально выразительной, довлеет себе в ее сплошной наличности[31].

Видеть себя глазами другого в искусстве и вне искусства означает совершенно различные вещи: с точки зрения художника, из этого проистекает завершение художественно представляемой личности, чья ритмизированная жизнь приобретает эсте-

тическую значимость. Напротив, при повседневной встрече другой только дает мне увидеть мою маску, он изменяет мое видение меня самого, мое видение того, каков я в действительности или каким должен быть. Заданное другим определение, будь оно хвалебным, порицательным или нейтрально окрашенным, в любом случае означает отчуждение моего бытия. Именно тогда, когда в оценке возможным другим я воспринимаюсь таким, каким являюсь на самом деле, эта оценка не попадает в цель и не постигает меня как живое исполнение себя, поскольку я проектирую себя в своих будущих возможностях и в этом отношении нахожусь за пределами какой бы то ни было фактически постигаемой определенности.

Бахтин каждый раз описывает эту потерю себя также онтологическим языком: в то время, как я из открытого будущего пытаюсь определить себя как ответственно действующего, это участие теряется, когда я, попадая в зависимость от других и, соответственно, их видения меня, поступаюсь собой. Только на основании моего собственного отношения к будущему, исходя из сознания, что моя жизнь сама протекает событийно насыщенно, поскольку в ней всегда возможно начать с начала, я постигаю событийную наполненность и открытость бытия.

Здесь перед Бахтиным встает ребром вопрос интерсубъективности – относящийся в чистом виде к сфере жизненного мира: как возможно еще интерсубъективное понимание, если существует бесконечное множество событийно понимаемых миров, в которых живут бесконечно много ответственных действующих, каждый из которых неповторимым способом участвует в бытии?[32] И с какой позиции следует еще связывать друг с другом эти индивидуальные способы исполнения бытия? Ни в коем случае не с точки зрения самого бытия, поскольку оно проявляется только во временно́м удалении, в течение всей жизни отдельного человека. Значит, только через отраженное восприятие этого отдельного человека. Однако, каким образом таковое должно быть возможно, Бахтин до этого момента не мог показать; другой все же всегда представляется мне – также как и я другому – только под маской, которая скрывает незавершенность, не-с-собой-одним-бытие и самостоятельность субъективности другого. Только позднее, во второй половине 1920-х годов, Бахтину удастся представить такую связь с другим, при которой он может восприниматься в своей инаковости и самостоятельности по отношению ко мне. Как вовлеченная и вовлекающая меня в личную встречу, открытость и незавершенность его исполнения жизни сохраняется, как Бахтин продемонстрировал это на примере полифонического мира романов Достоевского[33].

## Отношение к другому у С.Л. Франка – соединение феноменологии и метафизики

Феноменологическое движение в России, представители которого продуктивным образом развили феноменологию Гуссерля, берет начало с выхода в 1914 г. работы Густава Шпета «Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы»[34]. Горизонт восприятия, исходя из которого Шпет принимает в этом тексте феноменологию Гуссерля раннего и среднего периодов творчества и в дальнейшем конкретизирует ее в свете теории искусства и философии языка, образует традицию русского ренессанса метафизики рубежа веков. Его представители – В.С. Соловьев,

С.Н. Трубецкой и другие – предприняли попытку обращения к началу европейской философии в античной Греции, особенно к Платону, однако, также и к Аристотелю. При этом, к доминирующим в Западной Европе с середины XIX в. философским течениям – сначала позитивизму, затем неокантианству – предъявлялся упрек, что они забыли сформулированные в греческой античности основные вопросы philosophia perennis о сущем как таковом и его последней основе. Принципу субъективности Нового времени, образцово сформулированному Декартом, противопоставляется неоплатоновская мысль о всеединстве – преимущественно в ее развитии греческой патристикой[35].

Феноменологически ориентированная философия Франка[36] также понимает себя как продолжение этого метафизического ренессанса, причем особое положение Франка внутри русской феноменологии следует видеть, прежде всего, в том, что внутри нормативной и для него традиции мышления христианско-платонического всеединства он выделяет Николая Кузанского как мыслителя, который объединил «в грандиозной форме… духовные достижения античности и средневековья с основополагающими замыслами нового времени»[37]. Требование Николая Кузанского *docta ignorantia*, также как и связанную с ним основную мысль *coincidentia oppositorum* Франк перенимает в качестве стержневой точки зрения в своем главном философском труде «Непостижимое». Франк написал эту работу в середине 1930-х годов на немецком языке в Берлине, куда в 1922 г. ему, тогда профессору философии в Москве, пришлось эмигрировать из Советского Союза. Вынужденный вновь эмигрировать в 1937 г. из-за своего еврейского происхождения, Франк опубликовал «Непостижимое» в Париже в расширенной русской редакции. Труд образует систематический обзор его прежних работ по теории знания, философской антропологии и философии общества, причем общими для разных аналитических подходов становятся теологические и религиозно-философские проблемы. Франк ставит перед собой задачу рационально общепонятно показать, что понятийно-аналитическая экспликация каждой области человеческого опыта достигает границы там, где соответствующая область – будь то область объективирующего познания вещей, самопознания, познания постороннего или, наконец, познания Бога – появляется в своем непостижимом.

Важнейшие источники инспирации в отношении проблемы другого у Франка находятся в немецкоязычной среде: в социологии Георга Зиммеля, точнее, в его теории социальных форм отношений (на рубеже веков Франк недолгое время также учился у Зиммеля), в персоналистском мышлении Мартина Бубера и Фердинанда Эбнера и в уже упоминавшейся работе Макса Шелера о «Сущности и формах симпатии». Франк был, кстати, первым русским философом, разбиравшим книгу Шелера о формализме, с первой частью которой он познакомился во время исследовательской поездки в Мюнхен в 1913 – 1914 гг. и которая стала предметом обсуждения в его новаторской работе о «Предмете знания»[38].

Применяемый Франком при анализе личных отношений «феноменологически-онтологический» метод также, очевидно, ориентируется на Шелера[39]. При этом, я исхожу из того образа, в котором другой предстает передо мной и в котором я познаю себя в отношении другого, причем путеводную нить описания образует языковая артикуляция этого познания. Франк также обозначает используемый им метод как трансцендентальный. Он не довольствуется описанием категориальной структуры области бытия, в большей степени эта структура должна реконструироваться и объясняться в своем генезисе. Для отношения «я-ты» это означает, что речь идет не

просто о том, чтобы отделить друг от друга и связать друг с другом обозначаемые как «я есть» и «ты есть» образы бытия, а в том, чтобы показать, как только при личной встрече конституируются сознающее себя самого «я» и одновременно другой как встречающий меня «ты».

В качестве исходной точки своего анализа Франк выбирает освобожденную в ходе мыслительного эксперимента от ее социальных связей субъективность индивида, который еще не знает никакого другого, от которого он мог бы отмежеваться, и, таким образом, пребывает наедине со своим миром как миром всеобъемлющим. Франк обозначает эту область как «непосредственное самобытие». Это собственная, еще не центрированная на Я жизнь сознания. Она является жизнью «для себя» в двух смыслах: она определенна, сознает себя – ее бытие еще до какой-либо ясной рефлексии над собой является самоочевидным бытием. И – она еще не является жизнью «для другого», она еще не осознает себя как возможного визави другого. Непосредственное самобытие включает в себя, некоторым образом, целое носителя бытия, поскольку оно именно имеет возможность сделать каждого носителя бытия, каждую сферу предметов объектом своего теоретического интереса, так же как и своих практических интенций. Несмотря на всеохватывающий, в определенном смысле, характер освобожденной из своего социального контекста субъективности, Франк подчеркивает ее несовершенство, необходимость в дополнении и обосновании.

Открытость-самому-себе другого, по Франку, заключает в себе в высшей степени амбивалентный опыт – если, с одной стороны, она означает, что присущая непосредственному самобытию тенденция к расширению и обоснованию в другом исполняется в определенном роде во встрече с «ты» как внутренне родственным мне, то, с другой стороны, одновременно воспринимается, однако, равной мне инстанцией как угроза, как ограничение собственной, изначально представляющейся неограниченной, сферы влияния. Эта угроза обусловливает возвращение в собственный внутренний мир, становление рефлексии собственной, ориентированной вовне, деятельности и, тем самым, формированию сознающего себя субъекта.

> В первую очередь и в своей первичной непосредственности «ты» является мне и переживается мною скорее как нечто чуждое, жуткое, угрожающее – нечто, что я ощущаю жутким и угрожающим именно потому, что оно лежит как бы на одном уровне, в одной области бытия со мной самим [...] в качестве «второго я», которое, [противоречит] единственности моего «я»[40].

Таким образом, Франку удается показать отношение к другому как *coincidentia oppositorum*, «совпадение противоположностей», поскольку другой выступает как угрожающее alter ego, равно как и визави, к которому я стремлюсь, где неразрывно связаны друг с другом сознание расхождения и сопротивления, с одной стороны, и изменчивая взаимообусловленность моей самости и другого – с другой.

Бахтин в ранний период творчества также разрабатывал проблему амбивалентности познания постороннего; однако, поскольку он в то время, в отличие от Франка, еще не интегрировал в свою феноменологию интерсубъективных отношений концепт Бубера – концепт визави, который обращается ко мне и к которому обращаюсь я (это произойдет только позднее, в его книге о Достоевском), позитивное внимание, которое я получаю со стороны другого, он может описать только как попечительски-объективирующее, отчуждающее мое самобытие действие.

Параллели с феноменологией познания постороннего Бахтина лежат в основном на методологическом уровне: Франка и Бахтина связывает методика феноменологически-онтологического, антикартезианского и тем не менее трансцендентального анализа межличностных отношений, разработанная ими независимо друг от друга и в каждом случае в привязке к феноменологии поступка Шелера. Понимаемая таким образом феноменология познания себя и постороннего находится для обоих в горизонте *prima philosophia*, которая стремится в условиях современности по-новому поставить античный вопрос о единстве бытия в многообразии его форм. Однако, тогда как Бахтин последовательно придерживается точки зрения о субъективности индивида, осознаваемой им самим, и всегда описывает всеобъемлющее событие бытия исходя из единственного и неповторимого образа, которым действующий участвует в нем, Франк всегда меняет на горизонте меня и других, меня и охватывающую всех других перспективу всеединства.

Уже «непосредственное», то есть не опосредованное еще никакой межличностной связью, самосознание интерпретируется Франком как сознающее себя становящееся универсальное всеединство, и, как следствие, отношение «я-ты» возводится к всеобъемлющему мы-сознанию и, тем самым, включается в полицентрическое «царство духов». При этом, в конечном итоге, неоплатоническая, истолкованная в христианском ключе мысль о том, что самопознание является переходной ступенью к углубленному познанию Бога, образует широкий контекст анализа Франком структуры отношения «я-ты».

Несомненно, также и у Бахтина есть намеки на отношение к Богу как другому моей самости (возможно, он даже подлинный автор моей жизни?[41]), однако, подобные рассуждения формулируются не исходя из инспирированной неоплатонизмом перспективы всеединства, а с точки зрения конечной, стремящейся к отношению с Богом субъективности.

*Перевод с немецкого Марии Гусевой и Аллы Вайсбанд*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Переработанная и расширенная редакция доклада, сделанного на открытии IX Международного конгресса бахтиноведов 25 июля 1999 г. в Свободном университете Берлина.

[2] Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – русский философ, теоретик культуры и литературы, который в ходе волны чисток 1929 г. был арестован и в 1930–1936 гг. находился в ссылке в Кустанае (Казахстан). Только в конце 1950-х гг. стало известно колоссальное значение его работ.

[3] См.: *Michael Holquist*. Dialogism. Bakhtin and his world. – London – New York, 1990.

[4] *Бахтин М.М.* Автор и герой в эстетической деятельности // *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. Т. 1. – М., 2003. С. 69–263. (Рукопись была впервые опубликована в 1979 г.) *Он же*. К философии поступка // Там же. С. 7–68. (Рукопись впервые опубликована в 1986 г.) Переводы М.М. Бахтина на английский язык: *M.M. Bakhtin*. Art and Answerability. – Austin, 1990; *Idem*. Toward a Philosophy ofthe Act. Translation and Notes by Vadim Liapunov. Ed. by V. Liapunov and Michael Holquist. – Austin, 1995. К первым двум текстам имеются в высшей степени содержательные комментарии Н.К. Бонецкой в книге: Бахтинология. Исследования, переводы, публикации. – СПб., 1995. С. 238–287.

[5] *Бахтин М.М.* Автор и герой… С. 178.

[6] Появившаяся в 1929 г. в первой редакции книга «Проблемы творчества Достоевского» (Ленинград), в 1963 г. в расширенном виде вышла в Москве под заголовком «Проблемы поэтики Дос-

тоевского» См. особенно недавно вышедшее комментированное первое издание книги о Достоевском: *Бахтин М.М.* Собрание Сочинений. – М., 1996. Здесь: Т. 2 (2000). С. 6–175; 431–543. Немецкий перевод: *Michail Bachtin*. Probleme der Poetik Dostoevskijs. Aus dem Russischen von Adelheid Schramm. – München, 1971.

[7] *Франк С.Л.* Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – Париж, 1939. Переиздание: *Он же.* Сочинения. – М., 1990. С. 181-559. См. также итальянский, английский и немецкий переводы: Verso una filosofia della religione. Übersetzt von Pietro Modesto. – Milano, 1977; *S.L. Frank*. The unknowable. An ontological introduction to the philosophy of religion. Übersetzt von Boris Jakim. – London, 1983; *Semen L. Frank*. Das Unergründliche. Ontologische Einführung in die Philosophie der Religion. Hrsg. und eingeleitet von Alexander Haardt. Aus dem Russischen übersetzt von Alexander Haardt in Zusammenarbeit mit Vera Ammer u.a. – Freiburg und München, 1995.

[8] Ср.: *Бахтин.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 22.

[9] Там же. С. 31.

[10] *Edmund Husserl. Logische Untersuchungen.* 2 Bde. – Halle, 1900 und 1901. Первый том «Логических исследований» Гуссерля вышел в русском переводе в 1909 г. в Петербурге. К вопросу о рецепции Гуссерля в России до 1930 г. см.: *Alexander Haardt*. Husserl in Rußland. Phänomenologie der Sprache und Kunst bei Gustav Špet und Aleksej Losev. – München, 1993.

[11] *Бахтин.* Автор и герой… С. 170.

[12] Там же. С. 105.

[13] *Max Scheler*. Wesen und Formen der Sympathie. Studienausgabe. Hrsg. von Manfred S. Frings. – Bonn, 1985.

[14] *Max Scheler*. Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. – Frankfurt a.M., 1978. Первое издание вышло в 1912 г. в Лейпциге под заглавием «О вражде и моральной оценке» (Über Ressentiment und moralisches Werturteil).

[15] *Волошинов В.Н.* Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. – Л., [1929]. Немецкий перевод: Marxismus und Sprachphilosophie. Grundlegende Probleme der soziologischen Methode in der Sprachwissenschaft. Hrsg. und eingeleitet von Samuel M. Weber. – Frankfurt a.M. u.a. 1975.

[16] *Бахтин.* Автор и герой… С. 175.

[17] Там же. С. 196.

[18] Там же. С. 120.

[19] Об отношении Бахтина к Къеркегору см.: *Щитцова Т.В.* К истокам экзистенциальной онтологии: Паскаль, Къеркегор, Бахтин. – Минск, 1999.

[20] *Бахтин.* Автор и герой… С. 180.

[21] Там же. С. 159, 245.

[22] К вопросу о близости ранней философии Бахтина к экзистенциальной онтологии Хайдеггера см.: *Tatjana Ščitcova*. Die Beziehung zum Anderen in Martin Heideggers Sein und Zeit und in der Ereignisphilosophie Michail Bachtins // Phänomenologische Forschungen 2003. S. 331–339.

[23] *Волошинов В.Н.* Фрейдизм. Критический очерк // *Бахтин М.М.* Тетралогия. – М., 1998. С. 5–106. Здесь: С. 13.

[24] См.: там же.

[25] См.: *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского // *Он же.* Собрание сочинений. Т. 2. С.5-175. Здесь: С. 60. Во 2-м издании 1963 г. эта ссылка на Шелера отсутствует.

[26] *Бахтин.* Собрание сочинений. Т. 2. С. 469.

[27] Эта ссылка взята из протокола допроса ОГПУ от 28 декабря 1928 г. Бахтин. Собрание сочинений. Т. 2. С.656–693.

[28] *Jean-Paul Sartre*. L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique. – Paris, 1943, S. 310–364. Немецкий перевод: *Jean-Paul Sartre*. Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, hrsg. v. T. König, deutsch v. H. Schöneberg und T. König. – Reinbek 1993. S. 405–632.

[29] См. прим. 4.

[30] *Бахтин.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 114.

[31] Там же. С. 182.

[32] *Бахтин.* Автор и герой. С. 42

[33] В отношении оставшегося за рамками данной работы вопроса о рецепции Шелера Бахтиным в книге о Достоевском см.: *Brian Poole*. From Phenomenology to Dialogue: Max Scheler's Phenome-

nological Tradition and Mikhail Bakhtin's Development from Toward a Philosophy of the Act to his Study of Dostoevsky // Ken Hirschkop/David Shepherd (Hrsg.): Bakhtin and Cultural Theory. 2. erweiterte und überarbeitete Aufl. – Manchester, 2001, S. 109–135.

[34] *Шпет Г.* Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. – М., 1914. Переизд.: – Томск, 1996. См. также: Gustav Shpet: Appearance and Sense. Phenomenology as the Fundamental Science and its Problems. Übersetzt von Th. Nemeth. – Dordrecht u.a. 1991.

[35] См.: *Haardt*. Husserl in Rußland (см. прим. 11), S. 24–33.

[36] Всеобъемлющее изложение жизни и творчества Франка представлено в работе: *Philip Boobbyer*. S. L. Frank. The Life and Work ofA Russian Philosopher 1877–1950. – Athens (Ohio), 1995.

[37] *Франк.* Непостижимое. С. 24.

[38] *Франк С.Л.* Предмет знания. – Пг., 1915. С. 80. Ср. тж. немецкий перевод: *Simon L. Frank*. Der Gegenstand des Wissens. Grundlagen und Grenzen der begrifflichen Erkenntnis (= Werke in acht Bänden; Bd. 1). Aus dem Russischen übertragen von Vera Ammer. – Freiburg und München, 2000.

[39] В отношении вопроса об оценке Франком Шелера, особенно его антропологического метода см.: *Франк С.Л.* Немецкая литература по философской антропологии // Путь, 1929, № 15. С. 127–134.

[40] *Франк.* Непостижимое. С. 239.

[41] В отношении трактовки отношения к Богу согласно модели «автор-герой» см. доклад Бахтина «Проблема обоснованного покоя» июля 1924 г., сохранившийся в конспекте Л.В. Пумпянского: М.М. Бахтин как философ. / Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. – М., 1992. С. 234. Ср. также: *Alexandar Mihailovic*. Corporeal Words. Mikhail Bakhtin's Theology of Discourse. – Evanston, 1997.

*Владимир Кантор*

# ФЕДОР СТЕПУН.
# Философ между двух идеократий в России и в Германии

Наша идеократическая эпоха снова волнуется основной идеей европейской культуры, идеей христианства. То, что мир сейчас не столько входит в Разум христианской Истины, сколько сходит на ней с ума, этого положения не отменяет.

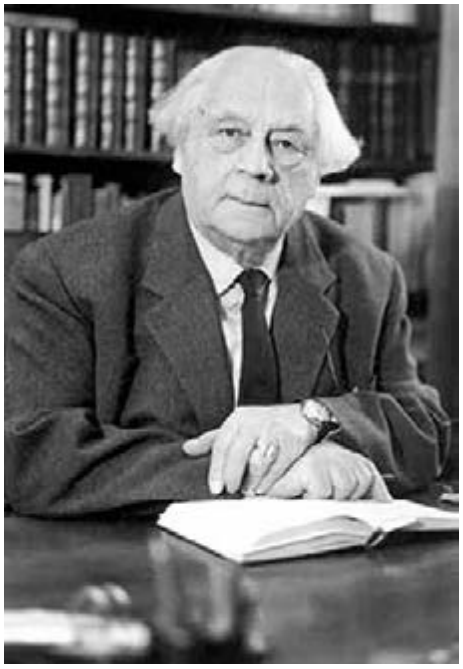
*Ф.А. Степун. Христианство и политика*

## Предварительные замечания

В русской эмигрантской философии Федор Августович Степун (1884–1965) был, так сказать, последним из могикан. Он успел увидеть закат сталинизма, эпоху хрущевской оттепели и ее крах. Всю жизнь он сохранял надежду на демократические изменения в России. На Родине, любимой им «из не очень прекрасного далека» (российская катастрофа была, по мысли Степуна, *общеевропейской* – мысль, подтвержденная опытом: после большевистской революции философ пережил еще и немецкий нацизм). Ушедший из жизни последним из своих знаменитых современников, он только сейчас приходит к нам.

Почему так случилось? Конечно, господин Случай, но еще и то обстоятельство, что последние тридцать лет своей жизни Степун выпускал книги своих историософских и культурологических текстов, прежде всего, на немецком языке[1]. Молодое поколение эмиграции, удивляясь, «почему хорошо известный не только старшему поколению русской эмиграции, но и немецкому культурному миру писатель, философ и социолог Степун остался в стороне от более или менее всемирной известности», полагало, что причина в «культурной изоляции от остального мира Германии, в которой после высылки из Советской России обосновался <...> Ф.А. Степун»[2].

На русском языке выходили его статьи в разных эмигрантских журналах, вышли книги воспоминаний, но представление о Степуне-мыслителе имели, прежде всего, немцы. С полным на то основанием. Георгий Федотов на первую историософскую книгу своего сотоварища по изданию «Новый Град», вышедшую на немецком языке, откликнулся следующими словами: «Тем из наших читателей, кто знает лишь русского Степуна, скажем, что, по-видимому, немецкий язык дает полную меру всех возможностей его стиля. Этот пьянящий кубок, где философские абстракции играют и искрятся с легкостью, не отнимающей ничего у глубокой, порой трагической серьезности, только и возможен для языка Гете и Ницше. Степун владеет им, как артист и как мыслитель»[3].



*Федор Августович Степун (1884–1965) в свои последние годы жизни*

*Мемориальная доска Степуна у его дома в Мюнхене, 2004 г.*

В глазах многих ставший знаменитым немецким писателем, «равным по рангу таким духовным выразителям эпохи, как “соразмерные” ему Пауль Тиллих, Мартин Бубер, Романо Гвардини, Пауль Хекер и др.»[4], он писал, прежде всего, о России, хотя *немецкий* опыт был также его постоянной проблемой, более того, основой для его *российских* размышлений.

На кончину Степуна откликнулось около полусотни немецких журналов и газет. Для немцев он был воплощением, можно даже сказать, символом свободной русской мысли, писателем и философом, который не отказался от своей культуры, не растворился в западноевропейской жизни, а остался русским, но – русским постпетровской эпохи.

Находясь на Западе, он чувствовал себя внутри родственного ему культурного пространства. По словам его ученика, «для Степуна, Россия – это Восточная Европа, а не Западная Азия, или даже Евразия. Хотя он находился в известное время под сильным влиянием историософских построений Освальда Шпенглера, о котором написал замечательную статью, Степун всегда отвергал представление немецкого мыслителя о том, что русский дух в своих корнях абсолютно противоположен европейскому. Не принял Степун и идеологии евразийцев[5], несмотря на то, что некоторые их идеи произвели на него сильное впечатление. По всему своему существу он был от головы до ног олицетворением того не очень распространенного человеческого типа, который называется *русским европейцем* – «определение, в котором прилагательное столь же важно, как и существительное»[6].

Разумеется, тип этот был уже распространен в русской культуре: отсчет можно вести от Пушкина, вспомнить и Чаадаева, и Тургенева, и Чехова, очень много людей

этого типа оказалось в эмиграции – как забыть Бунина, Милюкова, Федотова, Вейдле!.. Их положение среди эмигрантов из большевистской России – подыгрывавших большевикам евразийцев, ничему не научившихся оголтелых монархистов, винивших в российской катастрофе, прежде всего, Европу, – было, быть может, особенно сложным. А в их любимой Европе наступал на демократию фашизм. В передовой статье первого номера «Нового Града» (1931) Федотов писал: «Уже репетируются грандиозные спектакли уничтожения городов газовыми и воздушными атаками. Народы вооружаются под убаюкивающие речи о мире дипломатов и филантропов. Все знают, что в будущей войне будут истребляться не армии, а народы. Женщины и дети теряют свою привилегию на жизнь. Разрушение материальных очагов и памятников культуры будет первою целью войны. <...> Путешествие по мирной Европе стало труднее, чем в средние века. “Европейский концерт”, “республика ученых” и “corpus christianum” кажутся разрушенными до основания. <...> В Европе насилие, – в России кровавый террор. В Европе покушения на свободу, – в России каторжная тюрьма для всех. <...> Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы – прежде всего свободы духа»[7].

На что они рассчитывали? Голос их не был слышен – ни в Европе, ни тем более в России. В буржуазной Европе, среди русских эмигрантов, по преимуществу, монархистов, они оставались социалистами, но в отличие от западноевропейских просоветских левых они утверждали христианство как основу европейской цивилизации. И в ответ на заявления о закате демократической эпохи – веру в возможность демократии на основе христианства. Имеет смысл поставить рядом два высказывания Степуна (не раз, при том, говорившего о беспомощности демократии в России и Германии): «Я определенно и до конца отклоняю всякую *идеократию* коммунистического, фашистского, расистского или евразийского толка; т.е. всякое насилование народной жизни. <...> Я глубоко убежден, что “идейно выдыхающийся” сейчас демократический парламентаризм Европы все же таит в себе более глубокую идею, чем пресловутая идеократия. Пусть современный западно-европейский парламентаризм представляет собою *вырождение свободы*, пусть современный буржуазный демократизм все больше и больше скатывается к мещанству. Идущий ему на смену идеократизм много хуже, ибо представляет собою *нарождение насилия* и явно тяготеет к большевицкому сатанизму»[8]. Противостоит же этому сатанизму «*Божье утверждение свободного человека, как религиозной основы истории*. Демократия – не что иное как политическая проэкция этой верховной гуманистической веры четырех последних веков. Вместе со всей культурой гуманизма она утверждает *лицо* человека как верховную ценность жизни и форму автономии, как форму богопослушного делания»[9].

Но в эти годы о *лице*, о человеке думали все меньше и меньше. Мрачные фантасмагории Кафки о человеке, уничтожаемом всем составом угаданного писателем народившегося нового мира, – точный портрет эпохи. Но если Кафка – это сейсмограф XX века, фиксатор ситуации, то русские мыслители-эмигранты пытались *понять причину*, из-за которой «в преисподнюю небытия» (Степун) обрушилась Россия, а за ней и другие европейские страны. И не просто понять, но и *найти некую интеллектуальную защиту* против ужаса, поднимавшегося из этой преисподней, из этой пропасти, из этого провала. Однако повторим вопрос: на что они рассчитывали?

В программной статье (предисловие к первому номеру «Логоса», совместно с С. Гессеном) Степун писал, что философии необходимо предоставить «полную сво-

боду саморазвития и самоопределения, ибо философия – нежнейший цветок научного духа, и она особенно нуждается в бескорыстности ее задач»[10], только тогда она разовьет в себе и культуре освобождающие силы. Утверждение философии как *надидеологической*, в том числе *и надконфессиональной,* сферы деятельности было безусловной заслугой оставшихся философами и в эмиграции Бердяева, Франка, Степуна, Федотова.

Современники-соизгнанники писали, что, конечно же, Степун – «убежденный христианин; он принадлежит к православной Церкви, но православие является для него одной из форм вселенского христианства. С некоторым приближением можно сказать, что православие является для него – «вероисповеданием», а не «Церковью». А Церковь – шире вероисповедания. В этом смысле он остается верным заветам Владимира Соловьева, который всегда боролся против провинциализма “греко-российства” и в своем искании вселенского христианства предвосхитил современные движения экуменизма»[11].

Не менее существенно, что они сохранили сам стиль российского философствования, хотя и попытались в чем-то изменить традиционно-российский принцип подхода к действительности. Стиль русской философии виден в ее общественном бытовании – в том, что, по самой своей сути, она была частью российской литературы. Принцип – дело иное. Когда Степун говорил о необходимости немецкой школы для русских философов, как когда-то школы античной философии для западноевропейских мыслителей, он вовсе не имел в виду, что русская мысль должна утратить свою самобытность. Речь шла о внесении рацио, который, по Степуну, вырывает мысль из хаоса жизни, чтобы противостоять хаосу России – не более того: «Основные принципы русской философии никогда не выковывались на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр внутренних переживаний»[12].

Нынешние отечественные любомудры, претендующие на понимание философии как строгой науки, говорят о «нефилософичности русской философии», упрекая при этом именно Степуна, что он не дал отечественному любомудрию того, что вроде бы мог дать – оригинальной философской системы, наподобие западноевропейской. В этом упреке, однако, проясняется его *философский масштаб*: «Ф.А. Степун <...> мог бы стать “русским Витгенштейном” или “Хайдеггером”, но стал лишь “немецким Степановым”. <...> Школы он там не создал, последователей не взрастил»[13]. Но школы не создали ни Бердяев, ни Франк, ни Шестов, ни Федотов, ни даже самый академичный Лосский. Стиль российского философствования как раз предполагает, с одной стороны, общение, с другой – экзистенциальное соло. «В противоположность немецкой философии 19-го века, русская мысль представляет собою не цикл замкнутых систем, а цепь вот уже целое столетие не прерывающихся разговоров, причем разговоров в сущности на одну и ту же тему»[14]. И в этой цепи он остался не «немецким Степановым», а «русским Степуном».

Для русских мыслителей, «русских европейцев», высланных или вынужденно эмигрировавших в первые годы большевизма, было ясно два обстоятельства: 1. *Винить в происшедшем можно только себя* (Степун в первые же годы эмиграции писал: «Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как не в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах»[15]). 2. *Но понимать нашу сопричастность общеевропейскому катаклизму* (после прихода Гитлера к власти, когда катастрофа настигла и Германию, Федотов резюмировал:

«Еще обвал – и большая, живая страна, выносившая на своих плечах около половины культуры Запада, провалилась, если не в небытие, то за пределы нашего исторического времени. В другой век. В другую историю – древнюю, среднюю или ультрасовременную? Во всяком случае, в тот век, где меряют достоинство человека чистотою крови, где метят евреев желтым крестом... где жгут ведьм и еретиков. <...> Вот уже третье предостережение. Первой провалилась Россия. За ней Италия. Теперь Германия. Провалилась уже половина Европы. Половина ли только? Большая часть Европы уже под водами, а мы, уцелевшие, на крайнем Западе, смотрим на волнующуюся бездну, подступающую к нам, готовую слизнуть остатки материка»[16]). А стало быть, специфику наших грехов и бед надо искать в контексте общеевропейской судьбы. Впрочем, еще любимый Степуном Ф. Шлегель как-то заметил, что «французскую революцию можно рассматривать <...>, как почти универсальное землетрясение, <...> как революцию по преимуществу. <...> Но можно рассматривать ее и как средоточие и вершину французского национального характера, где сконцентрированы все его парадоксы». В этом двуедином подходе и заключен подлинно «исторический взгляд»[17].

## Кто же Степун?
## (дайджест биографии)

Начну с того, что Степун был абсолютно адекватен своей эпохе, ее духу, ее пристрастиям, ее слабостям, ее поискам, ее заблуждениям и откровениям. Он был не больше, но и нисколько не меньше эпохи, а потому говорил с ней (и о ней) на равных. Отвечая артистическому и философическому пафосу «серебряного века» (все поэты еще и мыслители, а мыслители тяготеют к литературе), он выступил на духовном поприще не только как мыслитель, прошедший школу неокантианства, усвоивший уроки Эдмунда Гуссерля, не только как социолог, прекрасно знавший и учитывавший идеи Макса Вебера, Питирима Сорокина и Георга Зиммеля, но и как публицистический бытописатель («Из писем прапорщика-артиллериста»), романист (роман «Николай Переслегин»), как тонкий литературный критик и театрал. Разумеется, такой человек способен вникнуть в разные смыслы времени и сказать *свое.*

Не менее существенно и то, что, говоря свое, он не указывал эпохе, как ей жить. А указывали все: символисты, акмеисты, футуристы, «знаньевцы», социалисты разнообразных толков (эсеры, меньшевики, большевики), кадеты, октябристы, монархисты, неофиты православия... Время между «Февралем» и «Октябрем», когда ему пришлось выступить в роли «указчика», он вспоминал как самое неподлинное для себя: «Неустанно носясь по фронту, защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков, я впервые за всю свою жизнь не чувствовал себя тем, кем я на самом деле был. <...> Время величайшего напряжения и даже расцвета моей жизни осталось у меня в памяти временем предельного ущемления моего “я”»[18]. По своему психологическому складу, Степун был скорее аналитик и наблюдатель.

Но поразительно то, что при таком складе ума и характера, он *сменил в жизни невероятное количество ролей,* порой играя их одновременно. Родился (1884) и вырос в деревне, проведя почти *помещичье детство.* Можно назвать его – по чисто

профессиональному признаку – *философом* и *писателем.* Но еще и *боевым офицером, артиллеристом,* участвовавшим в Первой мировой. А до войны объездил почти всю Россию как *профессиональный лектор.* В течение своей жизни *издавал* или *редактировал* разнообразные журналы («Логос», «Шиповник», «Современные записки», «Новый град»). Как *политический деятель* был не много не мало – начальником Политуправления при военном министерстве во Временном правительстве. В 1918–1919-е голодные годы *работал крестьянской работой,* чтоб не умереть. С 1919 г. по протекции Луначарского стал руководителем Государственного показательного театра, выступая в качестве *режиссера, актера* и *театрального теоретика.* Этот свой опыт он, кстати, зафиксировал в книге «Основные проблемы театра» (Берлин, 1923). Изведал горький хлеб *эмигранта,* в 1922 г. высланный из страны – среди прочих российских мыслителей и писателей – по личному распоряжению Ленина. В эмиграции он получил *профессорскую кафедру* в Дрездене, но в 1937 г. нацисты лишили его права преподавать, и только после войны он был приглашен профессором в Мюнхенский университет на специально для него созданную кафедру истории русской духовности. Он читал лекции и по-прежнему печатался в русских и немецких журналах как *литературный критик* и *публицист-историософ.* И, наконец, его последняя роль – роль *мемуариста,* причем, надо сказать, одного из самых блестящих в нашей письменной истории.

Как несложно заметить, его жизнь и творческая биография разделяются практически на две равные половины (с 1884 по 1922-й и с 1922 по 1965-й). На жизнь российского мыслителя, который мог выезжать за рубеж, путешествовать по миру, но чувствовать, что у него есть свой дом. И на жизнь российского мыслителя, изгнанного из дома, уже чувствовавшего не любовь и тепло родного очага.

Вторая половина его жизни была, по сути дела, посвящена осмысливанию того, что произошло и что он сам и его современники говорили и думали, в первую – доэмигрантскую – эпоху его жизни.

## Первая половина его жизни

Ее можно определить как столкновение русских интуиций со строгими принципами немецкой философии. Родители Степуна были выходцами из Пруссии, людьми весьма обеспеченными, поэтому поездка в Германию для получения высшего образования стала для их сына более чем естественной. Таким образом, Степун очутился в Гейдельберге учеником Виндельбанда. Писал диссертацию по историософии Владимира Соловьева. Учеба и работа над диссертацией были напряженные. И именно там, в Гейдельберге, он в первый раз ощутил важность *разграничения* душевных воспарений-излияний (привычных для россиянина) и религиозно-интеллектуального творчества.

Степун задал Виндельбанду вопрос: как, по его мнению, думает сам Господь Бог; будучи высшим единством мира, он ведь никак не может иметь трех разных ответов на один и тот же вопрос. Немецкий профессор на задор российского юнца ответил сдержанно, мягко, но твердо, что у него, конечно, «есть свой ответ, но это уже его “частная метафизика”»[19]. Это было хорошим уроком для русского любомудра. Уроком, запомнившимся на всю жизнь, что философия не есть исповедь, тем более не

есть исповедание веры, она – наука, строгая наука, ставящая разум преградой бурям бессознательного, таящимся в человеке.

Традиция христианского рационализма в России существовала. Стоит вспомнить хотя бы слова Чаадаева, что христианство было «плодом Высшего Разума»[20], что поэтому «только христианское общество действительно руководимо интересами мысли и души» и «в этом и состоит способность к усовершенствованию новых народов, в этом и заключается тайна их цивилизации»[21]. «Басманный мыслитель» надеялся, что и в России «пришло время говорить простым языком разума. Нельзя уже более ограничиваться слепой верой, упованием сердца; пора обратиться прямо к мысли»[22]. Однако его упования остались тщетными. В русской философии, в конечном счете, победила славянофильская «туземная школа», как ее называл Чаадаев, проклявшая «самодвижущийся нож разума»[23].

Если не говорить здесь о секуляризованном рационализме бывшего семинариста Чернышевского, то из русских религиозных философов традицию Чаадаева (после Вл. Соловьева) подхватил именно Степун. Свое понимание важности рацио Степун осознал как принципиальное для превращения российского любомудрия в подлинную философию. Степун полагал, что только строго научная философия способна защитить истинное христианство, отказавшись от возвеличения обрядоверия как смысла веры, от амальгамы христианства и язычества, к которой тяготело (по Флоренскому) православие. Позднее он вспоминал: «Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтой послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма»[24].

Предпосылки русской философии этот «неозападник» (по определению Г. Флоровского), тем не менее увидел в славянофильстве, ибо оно выросло в школе немецкого романтизма (об этом одна из первых его статей[25]), чему романтик Степун не мог не сочувствовать. О близости философа романтизму писали многие. И справедливо. Для псевдонима своей книги «Из писем прапорщика-артиллериста» (Н. Лугин!) он взял имя героя романтического лермонтовского рассказа «Штосс». По мнению Дмитрия Чижевского, который сравнил принцип контрапункта в этой книге Степуна и в романе Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» («Lebensansichten des Katers Murr»), даже в этих очерках о военном быте Степун остался верным романтической стилистике написания романа[26].

Он писал о Фридрихе Шлегеле, перевел его роман «Люцинда», да и собственный его роман «Николай Переслегин» своей автобиографической смелостью был бесспорно обязан «Люцинде» Шлегеля, а сюжетно отчасти пьесе «Росмерсхольм» Ибсена, тоже своеобразного «рационального» романтика. Но, признавая за славянофилами оригинальность творчества, связывая эту оригинальность (как и сами славянофилы) с религиозным опытом русского народа, он тем не менее уже в 1913 г. утверждал,

«что вся эта оригинальность *до дна* исчерпывается *психическим самочувствием славянофилов* и не переходит в *логическую самостоятельность их философского творчества*»[27].

Философия русских романтиков явилась «началом насилующим и порабощающим», поскольку была «всецело пленена жизнью. У нее заимствовала она свое основное понятие иррационального единства»[28]. Для Степуна в этом было явное проявление варварства, которое впоследствии увидел он и в евразийстве. Для него Россия была частью Европы, но по-прежнему, как и во времена Новгородско-Киевской Руси, – форпостом, отделявшим цивилизованное пространство от степных варваров. Но, как и свойственно жителям фронтира, как, скажем, казакам, описанным Л. Толстым, русские люди подвергались влиянию нецивилизованных, стихийных сил, не всегда осознавая свою роль защитников цивилизации. Столь же пограничной явилась в мир и отечественная философия. Своей враждой к форме и строгости суждений, антиличностным пафосом, усвоенным у Степи, и той же Степью укрепленной иррациональной стихийностью русское сознание провоцировало превращение на отечественной почве любой европейской идеи в свою противоположность. И при отказе от рацио, от разума, «сознательно стремясь к синтезу, русская мысль бессознательно двигалась в направлении к хаосу и, сама хаотичная, ввергала в него, поскольку ею владела, и всю остальную культуру России»[29].

Поэтому борьба за философию стала для Степуна борьбой за русскую культуру, в конечном счете – за Россию, ибо он опасался, что русская философия окажется не защитой от хаоса, а тем самым «слабым звеном», ухватившись за которое можно ввергнуть всю страну в «преисподнюю небытия»[30]. Выученик неокантианцев, пытавшихся преодолеть почвенничество и этатизм немецкой философии, он, разумеется, заявил о необходимости для русской мысли школы Канта: «Если, с одной стороны, есть доля правды в том, что кантианством жить нельзя, то, с другой стороны, такая же правда и в том, что и без Канта жизнь невозможна (конечно, только в том случае, если мы согласимся с тем, что *жить* означает для философа не просто жить, но *жить мыслию,* то есть *мыслить*). Если верно то, что в кантианстве нет откровения, то ведь верно и то, что у Канта гениальная логическая совесть. А можно ли верить в откровение, которое в принципе отрицает совесть? Что же представляет собою совесть, как не *минимум откровения*? Рано или поздно, но жажда откровения, принципиально враждующая с совестью, должна неизбежно привести к откровенной логической бессовестности, т.е. к уничтожению всякой философии»[31].

Надо сказать, это был явный период неприятия Канта в русской, особенно *православно* и в духе *российского марксизма* ориентированной философии. В «Философии свободы» (1911) ставший православным мыслителем бывший марксист Бердяев грубо недвусмыслен: «Гениальный образец чисто полицейской философии дал Кант»[32]. Владимир Эрн (как и Бердяев, автор православно-славянофильского издательства «Путь»), отвечая на редакционно-программную статью «Логоса», просто называл Канта высшим выразителем «меонизма»[33] (т.е. тяги к небытию) западной мысли и культуры. А «сердечный друг» Эрна Павел Флоренский вполне богословски-академически, тем не менее резко противопоставил Канта Богопознанию: «Вспомним тот “*Столп Злобы Богопротивныя”*, на котором почивает антирелигиозная мысль нашего времени. <...> Конечно, вы догадываетесь, что имеется в виду Кант»[34]. В конце концов, не этатист Гегель, а отстаивавший самоцельность человеческой личности Кант был объявлен православной философией идеологом немецко-

го милитаризма (в статье В.Ф. Эрна «От Канта к Круппу»). На самом деле, отказ от идей рационализма вел к оправданию язычества, как, по словам Бердяева, *весьма важной составляющей* православной церкви, что «приняла в себя всю великую правду язычества – землю и реалистическое чувство земли»[35]. Неслучайно Владимир Ильич Ленин, откровенный враг христианства и идеолог «неоязычества» (С. Булгаков), в эти годы столь же категорически требовал («Материализм и эмпириокритицизм», 1909) «отмежеваться самым решительным и бесповоротным образом от фидеизма и от агностицизма, от философского идеализма и от софистики последователей Юма и Канта»[36].

Судьбу философского спора в каком-то смысле разрешила сама история. Разразилась первая мировая (или, как ее назвал народ, «германская») война. Без громких слов «философ-неозападник» Степун ушел в действующую армию (прапорщик-артиллерист!) на германский фронт. Любовь к Канту не означала нелюбви к России, напротив. Зато антихристианин и неоязычник Ленин выступил за поражение России в войне. В том же духе отличилась и славянофильская партия. Словно забыв, что строитель Санкт-Петербурга был победителем шведов (т.е. тех же германцев), а его дочь Елизавета победила Германию, превратив самого Канта в российского подданного[37], славянофилы добились символического отказа от петровского наследия. Произошло, говоря словами Степуна, «бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград»[38]. Это как бы государственно утвердило ту путаницу и неразбериху понятий, которая и без того правила в стране свой бал. Народ с удивлением видел, что, оказывается, всё возможно, «всё позволено». Имя Степуна в эти годы приобрело не только философскую и литературную, но публицистически-политическую известность. В этом немалую роль сыграли его письма с германского фронта («Из писем прапорщика-артиллериста»). Скажем, даже журнал «Северные записки», вспоминал Гессен, «очень скоро стал популярен, особенно после публикации в нем “Писем капитана артиллерии” (так у Гессена. – *В.К.*) Ф.А. Степуна»[39]. Волей-неволей он вовлекается в политическую борьбу, пытаясь отстоять идею демократического представительства. Становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. Ему кажется, что наступила в России эпоха устроения правового демократического общества. Но идея демократии есть идея рационально организованной жизни. А все прошлое воспитание русской культуры (и левых, и правых) было направлено против подобного рационализма. В России разгорается и торжествует хаос.

Впрочем, аналогичный кризис рационализма переживала в тот момент и Западная Европа. Артур Кёстлер написал в своей автобиографии: «Я родился в тот момент (1905 г. – *В.К.*), когда над веком разума закатилось солнце»[40]. И вправду – недалеко уже было до фашизма и национал-социализма. Гуссерль именно в закате разума увидел первопричину европейского кризиса: «Чтобы постичь противоестественность современного “кризиса”, нужно выработать *понятие Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума;* нужно показать, как европейский “мир” был рожден из идеи разума, т.е. из духа философии. Затем “кризис” может быть объяснен как *кажущееся крушение рационализма*. Причина затруднений рациональной культуры заключается, как было сказано, не в сущности самого рационализма, но лишь в его *овнешнении,* в его извращении “натурализмом”. <...> Есть два выхода из кризиса европейского существования: закат Европы в отчуждении ее рационального жизненного смысла, ненависть к духу и впадение в варварство, или

же возрождение Европы в духе философии благодаря окончательно преодолевающему натурализм героизму разума»[41]. И возникает вопрос, что происходит, если действительность неразумна?

В этом контексте стоит вспомнить старый спор русских мыслителей о поразившей их формуле Гегеля, что «все разумное действительно, а все действительное разумно». Искренний и истовый Белинский сразу же восславил николаевский режим, потому что это была самая что ни на есть, на его взгляд, действительность, а стало быть, она была разумной. Споры продолжались до тех пор, пока Герцен не понял и не разъяснил хитроумие формулы, заметив, что не всякая действительность действительна, т.е. находится в пространстве разума. Страна настолько действительна, насколько разумна. За пределами разума начинается хаос, *внеисторическое существование* и «тьма кромешная». И если Россия не разумна, она и не действительна, ибо находится вне сферы исторических законов. И с этой недействительностью, неразумностью надо бороться. К несчастью, Герцен в своей борьбе стал опираться на мистически понятые идеи общинности, как специфической российской сути, неподвластной западноевропейским рациональным расчислениям. Волей-неволей он сошелся идейно со своими прежними оппонентами – славянофилами, даже превзошел их, увидев *в отсталости* России ее великое преимущество, позволяющее обогнать Запад.

А Россия и, в самом деле, оказалась первопроходцем в этом кризисе, в этой катастрофе. Россия и русский иррационализм мышления и самопонимания оказались тем самым «слабым звеном в цепи», за которое ухватился Ленин, чтобы свалить буржуазную Европу. И свалил, но прежде свалил Россию – в сатанизм и «в преисподнюю небытия» (Степун), в пространство той самой меоничности, которая приписывалась сугубо западной жизни.

В стране взяли власть большевики. И возобладала под видом рационализма абсолютная иррациональность жизни: «С первых же дней их (большевиков – *В.К.*) воцарения в России все начинает двоиться и жить какою-то особенной, химерической жизнью. Требование мира вводится в армию как подготовка к гражданской войне. Под маской братания с врагом ведется явное подстрекательство к избиению своих офицеров. Страстная борьба против смертной казни сочетается с полной внутренней готовностью на ее применение. <...> Всюду и везде явный дьяволизм.

Учредительное собрание собирается в целях его разгона; в Бресте прекращается война, но не заключается мира; капиталистический котел снова затапливается в “нэпе”, но только для того, как писал Ленин, чтобы доварить в нем классовое сознание недоваренного пролетариата»[42]. Именно о подобной двойной системе политического и культурного сознания впоследствии писал Дж. Оруэлл («1984»).

Интересно, что Степун, боевой офицер, прошедший всю германскую, очевидный противник большевиков, видный деятель Временного правительства, не ушел в Добровольческую армию или еще куда-то бороться с «дьяволизмом». Но именно потому и не ушел на борьбу (в страхе смерти его не упрекнуть), что увидел не случайную победу враждебной политической партии, а сущностный срыв всего народа, которому большевики лишь потворствовали, да который провоцировали: «Большевизм совсем не большевики, но нечто гораздо более сложное и прежде всего гораздо более *свое,* чем они. Было ясно, что большевизм – это географическая бескрайность и психологическая безмерность России. Это русские “мозги набекрень” и “исповедь горячего сердца вверх пятами”; это исконное русское “ничего не хочу и ничего не

желаю”, это дикое “улюлюканье” наших борзятников, но и культурный нигилизм Толстого во имя последней правды и смрадное богоискательство героев Достоевского. Было ясно, что большевизм – одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь, [но] и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчетливые эксплуататоры и потакатели большевизма. Вооруженная борьба против них всегда казалась бессмысленной – и бесцельной, ибо дело было все время не в них, но в <...> стихии *русского безудержа*»[43].

Степун уехал в имение жены, где, образовав «семейную трудовую коммуну», он и его близкие жили крестьянским трудом, а сам Степун еще работал и как театральный режиссер. Но так уж видно было на роду ему написано – снова влезть в некую политическую акцию, непроизвольно, как жертва, но жертва, невольно спровоцировавшая нападение на себя и себе подобных. Деятельность Степуна оказалась той первопричиной, что побудила Ленина задуматься о высылке на Запад российской духовной элиты.

Поводом для иррациональной ярости вождя послужила книга о Шпенглере, написанная четырьмя русскими мыслителями. Шпенглера же принес российской философской публике Степун. Впрочем, предоставим слово документам. Сначала воспоминания самого Степуна: «Дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше неизвестного философа Освальда Шпенглера, предсказывающая близкую гибель европейской культуры. <...> Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том “Заката Европы”. Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном заседании Религиозно-философской академии. <...> Прочитанный мной доклад собрал много публики и имел очень большой успех. <...> Книга Шпенглера <...> с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей. В сборнике приняли участие: Бердяев, Франк, Букшпан и я. По духу сборник получился на редкость цельный. Ценя большую эрудицию новоявленного немецкого философа, его художественно-проникновенное описание культурных эпох и его пророческую тревогу за Европу, мы все согласно отрицали его биологически-законоверческий подход к историософским вопросам и его вытекающую из этого подхода мысль, будто бы каждая культура, наподобие растительного организма, переживает свою весну, лето, осень и зиму»[44].

Имеет смысл привести и отрывок из «Предисловия» к сборнику: «Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера “Untergang des Abendlandes” *не объединен общностью миросозерцания его участников* (курсив мой. – *В.К.*). Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы – о духовной культуре и ее современном кризисе. <...> Главная задача сборника – ввести читателя в мир идей Шпенглера. <...> Таким образом – по заданию сборника – читатель из четырех обзоров должен получить достаточно полное представление об этой, несомненно, выдающейся книге, составившей культурное событие в Германии. *Москва, декабрь 1921*»[45].

Сборник, культуртрегерский по своему пафосу, вызвал неожиданную для их авторов реакцию вождя большевиков:

> Н.П. Горбунову. С е к р е т н о. 5. III. 1922 г.
>
> т. Горбунов. О прилагаемой книге я хотел поговорить с Уншлихтом. По-моему, это похоже на «литературное прикрытие белогвардейской организации». Поговорите с Уншлихтом не по телефону, и пусть он мне напишет *секретно* (курсив мой. – *В.К.*), а книгу вернет. Ленин[46]

В результате секретных переговоров между вождем и «опричниками-чекистами» (Степун) был выработан план о высылке российских интеллектуалов на Запад[47]. Так антишпенглеровский сборник совершенно иррациональным образом «вывез» его авторов в Европу из «скифского пожарища».

## Вторая половина жизненного пути

Началась новая жизнь, решение тяжелых бытовых проблем и попытка сформулировать внутреннюю сущность большевиков, найти им по возможности точное обозначение. Степун предложил свое: «Марксисты-имяславцы».

«Самая страшная и нравственно неприемлемая сторона большевицкой революции, – утверждал он, – это гнусный, политический размен религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса. В результате бессмысленный срыв разумного социалистического дела обезумевшею сектою марксистов-имяславцев»[48].

А кто мог им противостоять, кто мог понять, что, в сущности, произошло с Россией; и откуда и о чем был ее бред и ее бунт? – задавал вопрос Степун. Дело не в марксизме, как научной теории. Для Степуна совершенно ясно, что к научному марксизму происшедшее в России не имеет ни малейшего отношения. Неслучайно не раз он противопоставлял *коммунистический рационализм* и *большевистское безумие*. А дело было в том, что русская религиозная философия совпала в своих интуициях с атеистическим бунтом. Мало общей с Лениным нелюбви к Канту, в самом Ленине и в большевизме коренилось нечто, отвечающее программным требованиям националистической православной философии. Социалистическое дело – разумно, считает Степун, а здесь произошло противное разуму: «Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи сходит с ума сам разум»[49]. И Ленин не был ученым, каким, безусловно, был Маркс, Ленин «был характерно русским *изувером науковерия*»[50].

Более того, его «наукообразный рационализм», как и у Штейнера, подпитывался религиозными силами России, которые не стали здесь пока до конца фактом христианской культуры. И русская религиозная философия этому не способствовала, ища *христианский смысл бытия* в мифологических интуициях народного язычества. В русской душе, считал Степун, нет духовной устойчивости, но отчетливо прослеживается тесная связь «русской религиозности с некультурностью России. Нельзя, конечно, говорить ни об убожестве, ни о варварстве русской философии, но нечто аналогичное убожеству русского пейзажа и варварству русского хозяйства в русской философии все же есть. Эта аналогия, думается мне, заключается в отрицательном отношении к началу формы и дифференциации. В специфически русской религиозной философии есть та же самая неряшливость, что и в русском земельном хозяйствовании»[51].

Ленин оказался истинным имяславцем, отказавшимся от Марксовой науки, но превратившим имя Маркса в сгусток революционной энергии. Стоит вдуматься в характеристику Степуном Ленина, чтобы осознать, почему в революционном бреду Россия твердила имя немца Маркса, не восприняв абсолютно его рационализма. «Догматик и изувер, фанатик и начетчик»,– так называл Степун вождя Октябрьской

революции, поясняя далее, что «он, несмотря на весь свой интернационализм, гораздо органичнее вписывается в духовный пейзаж исторической России, чем многие, хорошо понимавшие реальные нужды России общественно-политические деятели. В душе этого вульгарного материалиста и злостного безбожника жило что-то древнерусское, что не только от Стеньки Разина, но, быть может, и от протопопа Аввакума. В формальной структуре и эмоциональном тембре его сознания было, как это ни странно сказать, нечто определенно религиозное. Он весь был нелепым марксистским негативом национально-религиозной России». В этом, считал Степун, – все значение Ленина и вся его единственность. И главное заключается в том, «что в нем до конца раскрылась греховная сторона русской революции: ее Богоотступничество»[52].

Поэтому в России произошла невероятная вещь: народ, не теряя, так сказать, «психологического стиля своей религиозности», т.е. сочетания фанатизма, двоеверия, обрядоверия, подкрепленного невежеством и неумением разумно подойти к церковным догматам, изменил вдруг вектор своей веры. Отдал эту веру большевикам – атеистам и безбожникам. И потому, как пишет Степун, «все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики»[53].

Но не была ли беда России в том, что она приняла западные идеи и устроила на своей территории некоторым образом полигон для их испытания, а все жители России оказались лишь подопытными кроликами, не нашедшими противоядия от западноевропейских микробов?

То есть перед нами все тот же навязчивый вопрос: *кто виноват в наших бедах*? С историософской точки зрения вопрос бессмысленный, ибо можно говорить лишь о взаимосвязи и взаимозависимости явлений и их последствий. Если большевистская революция была результатом западных влияний, то последствием Октября (вопреки Волошину) была страшная европейская *революция справа – национал-социализм*. «Возникновение на Западе фашизма, – замечал Бердяев, – который стал возможен только благодаря русскому коммунизму, которого не было бы без Ленина, подтвердило многие мои мысли. Вся западная история между двумя войнами определилась страхом коммунизма»[54].

И все же вопрос был актуален. *Какова же роль западноевропейских идей в русской истории?* Для Федотова было понятно, что вся история России – это бег наперегонки освобождающего пафоса европеизации и всеразрушительного московского бунта. То есть бунт – это реакция национального организма на чуждые идеи. И русские романтики-почвенники – апологеты Московского царства – суть вольные или невольные вдохновители этого бунта. Поначалу Степун близок этой идее: «Если в Европе победила тема критицизма, то в России победила (говоря в западноевропейских терминах) тема устремленной к патристике романтики»[55]. Но вот выясняется, что и в более западной, чем Россия, Европе тоже побеждают романтизм и почвенничество. Причем почвенничество не заимствованное. Если считать славянофилов перелагателями немецкой романтической философии, то в Германии романтики свои, а результат – тот же: «Очевидны связи национал-социализма с классиками романтизма. Современно-немецкая теория “крови и почвы” так же связана с народнически-этнографическими писаниями Гердера, Гаманна и “отца гимнастов Яна”, как идея тоталитарной государственности с религиозно-социальными учениями перешедшего в католичество Мюллера и полумистического социалиста Фихте. Странно

сказать, но даже в писаниях такого набожного мистика и подлинного поэта, как Новалис, нередко встречаются места, звучащие прямыми предсказаниями совершающихся ныне процессов»[56].

Значит дело в качестве идей? Но и сам Степун – романтик. Однако убежденный демократ, парламентарист, враг тоталитаризма.

Существенно, что Степун был романтик, *вернувшийся к Канту*. А беда русских славянофилов-наследников немецкого романтизма – была, по мнению Степуна, в том, «что с чисто философской точки зрения славянофилы не углубили и не продумали *заново* учения о положительном всеединстве», ибо «они не прошли через Канта. Как бы ни относиться к Канту, его громадной нравственной ответственности и остроты его логического анализа отрицать нельзя. <...> С момента своего зарождения школа славянофилов по отношению к Канту только и занималась тем, что произвольно искажала его мысль и легкомысленно полемизировала с создаваемою этим искажением карикатурою на нее. <...> Для всех них Кант был, в сущности, всегда только одною из больших почтовых станций на широком тракте рационализма. <...> В этом невнимании к самоотверженному голосу логической совести 19-го столетия кроется причина того, почему славянофилы *с чисто философской точки зрения* остались всего только *статистами западного романтизма*»[57]. При этом, замечает Степун, славянофилы безответственно превратили Запад в страну рационализма, а Россию решительно возвысили над ним, как единственную страну целостного переживания жизни и подлинной религиозности. Но в начале XX века произошла давно предвещавшаяся катастрофическая смена интеллектуальных парадигм.

В прологе к поэме «Возмездие» (1911), поэме о России, но целиком построенной на реминисценциях западноевропейского романтизма – от вагнеровских «Нибелунгов» до ибсеновского «Бранда», – Блок провозглашал:

И в каждом сердце, в мысли каждой –
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там – пожар[58].

Если Гуссерль говорил, что сам дух Европы, рожденный творческим усилием рационализма, явно отлетел от нее, то с тем большей легкостью Россия отказалась от разума (ведь «как встарь, повита даль туманом»), когда и на Западе рационализм переживал кризис. Степун, правда, считал, что рационализм на Западе всегда подпитывался тайными токами мистики, что все крупнейшие рационалисты Запада (Кузанский, Гегель и т. д.) несли в себе заряд мистики. Хотя ясно и то, что западные мистики испытывали уважение к рацио и умели облечь в рациональные формы свои прозрения (Бёме, Сведенборг и др.). Трагедия XX века была в том, что иррационализм вырвался наружу и поставил под вопрос само существование разума. Таковым оказался результат восстания масс, которое пророчил еще Шпенглер и констатировал Ортега-и-Гассет, масс, по сути своей не способных жить разумом. В результате иррационализм восторжествовал, ибо им стали пользоваться политические партии.

Западное средневековье, хотя лелеяло и растило в себе христианское мировоззрение, еще сохраняло черты язычества, особенно в народном сознании. Тоталитарные режимы в сущности возродили племенные, враждебные разуму языческие идеи дохристианской варварской почвы.

В 1930 г. Томас Манн в речи «Призыв к разуму» фиксировал: «Иррационализм <...> поднял на щит животворные силы бессознательного, <...> силы, творящие смутное, темное, он отверг дух, считая его убивающим жизнь, <...> и в противовес ему восхваляет как истину жизни тьму души, материнско-нутряное, священно плодоносящий внутренний мир. Из этой религиозности в почитании природы, в сущности своей склонной к безудержному, к вакхической необузданности, многое воспринято национал-социализмом наших дней»[59].

И речь могла идти о том, что не только Россию, но и саму Европу необходимо было спасать.

В русской революции следование западноевропейскому разуму было лишь маской. Степун одним из первых показал систему двоемыслия в Советской России, когда говорят одно, а делают другое, – агитируют за мир, готовясь к войне, выступают против смертной казни, вводя в бытовой обиход массовые казни и т.п. Но что самое страшное – эту систему начинает принимать и обыватель, делая ее мерой своего жизнеповедения. Степун назвал это явление «оборотничеством». Вот таким оборотничеством было и поклонение большевиков разуму. Разум сошел с ума. В первой же статье изгнанный из большевистской России философ ошеломленно вопрошает: «Кто знает в наши дни твердую норму разума? Я уверен – никто. И даже больше. Я уверен, что только в сотрудничестве с безумием может человеческий разум разгадать все, что сейчас происходит в душе и сознании человечества; только обезумевший разум сейчас подлинно разум, а разум разумный так – слепота, пустота, глупость»[60].

Как могла Россия оказаться впереди Запада на пути кризиса западного рационализма? Дело в том, что у нее не было никакой защиты от иррационализма. Степун иронически успокаивал философов-соотечественников: «Конечно же, человеческий разум не дьявол, за которого его все еще любит иногда выдавать русская религиозная философская мысль; он очень милый, ясноглазый, хотя и несколько рахитический ребенок, поставленный Богом охранять вход в святилище жизни и истины. Заниматься после Канта и Гегеля тертулиановским детоубийством нет никакого основания. Можно всегда сказать младенцу ласковое слово и переступить порог»[61].

Степун видел предпосылки российской катастрофы в «ускоренных ритмах интеллигентских чаяний по отношению к медленным ритмам громадной страны». Он иронизировал: «Начиная с Герцена, из сознания русской интеллигенции не исчезает мысль, что мы обгоним Европу, потому что мы отсталая страна»[62].

Этот обгон и совершили большевики. Сорвавшись в пропасть и повлекши за собой другие народы, Россия и не догадывалась о происходившем в Западной Европе кризисе рационализма. Ухвативши «последние слова» Европы, большевики кинулись их исполнять с иррациональным неистовством варваров, нисколько не учитывая опыт весьма сложного развития западной мысли. Размышляя о победившем русском нигилизме, видя в нем, при этом, тесную связь с «общечеловеческим развитием нового времени», русские мыслители-эмигранты пытались объяснить ее. Сошлюсь на С. Франка: «Россия никогда не видала ни ренессанса, ни реформации, ни даже рационализма и просветительства в том глубоком и спонтанном смысле, какой но-

сили эти движения на Западе; в России не было и господства либерально-буржуазной демократии, завершением которой и вместе с тем протестом против которой является социализм. Но и Россия не осталась чужда тому духовному процессу, который образует содержание новой истории; только в ней до последнего момента он действовал слабее, затрагивая лишь более поверхностные слои ее бытия, и оставил в ней нерастраченный запас свежих духовных сил. Но именно потому, что в России все же был заброшен фермент того же процесса брожения, что вместе с тем русский духовный организм не приобрел того иммунитета, который выработался на Западе за долгие века болезненного его переживания, последний кризис, к которому он приводит, должен был со страшной силой и с исключительной показательностью развиться именно в России»[63].

Но в самой России судьба рационалистических концепций оказалась плачевной. Уже среди первых книг, попавших в подготовленный Крупской индекс запрещенных, были и труды Платона, Канта, Декарта, моралиста Л. Толстого (статьи по этике и о патриотизме) и пр.[64]. И, разумеется, все работы христианских мыслителей.

Открытие же русской эмиграции, русских европейцев, открытие, важное как для России, так и для Запада, заключалось в утверждении, что *демократия немыслима без христианской основы*.

Заметим, что это был период крушения демократических структур по всей Европе. Держатся Скандинавия и Швейцария, но, сетовал Федотов (еще до гитлеровского переворота), Германия обречена, скоро рухнет Франция, и тогда только английская демократия в одиночку будет пытаться противостоять диктаторским и идеократическим режимам. А США слишком далеко. Возникло ощущение, что, быть может, никуда не деться, что такая эпоха наступает. И, быть может, она рано или поздно приведет к добру. К месту и не к месту поминали Гёте и фразу Мефистофеля, что он часть той силы, что вечно хочет зла, но творит лишь благо. Значит ли, иронизировал Степун, что «фактически творящий добро черт – становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом»[65]. И уже в 1928 году твердо и убежденно писал: «Против становящегося ныне модным убеждения, будто всякий полосатый черт лучше облезлого, затхлого парламентаризма и всякая яркая идеократическая выдумка лучше и выше демократической идеи, необходима недвусмысленно откровенная защита буржуазных ценностей и добродетелей: самозаконной нравственности правового государства, демократического парламентаризма, социальной справедливости и т.д., и т.д.»[66].

А то, что в России утвердился сатанинский режим, он говорил и писал сразу после Октября. Сатанинский, т.е. антихристианский. Самое любопытное, однако, что многие деятели русской культуры из оставшихся на Родине, чтобы духовно выжить в стране «кромешников», попытались угадать в разбушевавшейся пугачевско-разбойной стихии космические и христианские ритмы. Блоку, как полагал Степун, это желание увидеть в черте добро внушил «более чем *соблазнительный* (курсив мой. – *В.К.*) образ красноармейцев-апостолов, невидимо предводительствуемых Христом»[67]. А соблазн – это прерогатива дьявола (на языке Блока – «томящегося жаждой дракона»), насмехающегося над божественной попыткой разумного устроения мира.

Характерно, что власть, организованная в духе кафкианских, орруэловских или булгаковских фантасмагорий, вела активную борьбу как с демократией, так и с христианством. Это не случайно, ибо хотя христианство содержит в себе мистику, оно отнюдь к ней не сводится. В седьмом «Философическом письме» Чаадаев проро-

чествовал: «Для совершенного возрождения, в согласии с разумом Откровения, нам не хватает еще какого-то огромного испытания, какого-то сильного искупления, вполне прочувствованного всем христианским миром и всеми испытанного, как великая физическая катастрофа, на всем пространстве мира»[68]. Ожидаемое наступило. Но Блок пытался *вопреки разуму Откровения* мистически прозревать за злом и катастрофами революции великую мистерию Богоявления. И это привело его к приятию большевизма, а потом к прозрению, трагическому молчанию и смерти.

Спасая идею христианской демократии, русские эмигранты, в конечном счете, выступали за спасение основ европейской (*русской + западноевропейской*) культуры, основанной, говоря словами Чаадаева, на «разуме Откровения».

Но почему актуализировался вопрос об оживлении христианской основы демократии? Существенно это стало потому, что демократия начала XX века утратила высшую санкцию на свое существование. Конечно, она есть продукт рациональной организации общества, учета всех сил, а диктатура, тоталитаризм по определению иррациональны, ибо живут вне закона. Конечно же, в борьбе с демократией тоталитаризм поневоле отрицает христианство, как несущее в себе элемент закона, договора (как Ветхий, так и Новый завет, есть по существу договор с Богом). Но было нечто более важное, что тоталитарные режимы перехватили у демократии, – *контакт с высшими ценностями*. Тот же Степун увидел: большевики и национал-социалисты прикоснулись к вечным истинам, о которых забыла демократия. «Большевики победили демократию потому, что в распоряжении демократии была всего только революционная программа, а у большевиков – миф о революции; потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков – о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они всего только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею *встретились*, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая связь большевизма с верой и вечностью чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях»[69].

В этом мире, чтобы отстоять демократические принципы, надо было переосмыслить их. Поэтому новоградцы (Степун, Федотов) говорили о *неодемократии*. «Принципиальное утверждение демократии, – писал Степун, – не означает, однако, для человека “Нового Града” безоговорочного признания всех форм демократического самоуправления. *Новоградский человек не либерал.* В эпохи, когда парламентарно-демократическая механика (защищаемая ныне в Германии страстнее всего непримиримым врагом демократии – Гитлером) начинает угрожать реальной свободе и подлинной демократии, человек “Нового Града” не задумается прибегнуть к силе и насилию. Как рыцарь свободы, он не будет назначать парламентских выборов, видя, что по ней уже стреляют»[70]. Что, конечно, не исключало сочувствия всем формам существующей демократии. Опасаясь Гитлера, предупреждая, что он может демократическим путем прийти к установлению диктатуры, они, не колеблясь ни минуты, выразили сочувствие побежденным демократам: «С самого начала нами были твердо заняты определенно демократические, вернее, неодемократические позиции, – писал в 1933 г. после победы нацистов Степун. – Сокрушительный удар, нанесенный национал-социалистами германской социал-демократии, не может не ощущаться нами, как удар по нашему делу»[71].

В эти годы он становится для русской эмиграции признанным *консультантом по Германии*. В «Современных записках» и «Новом Граде» он написал несколько ста-

тей, специально посвященных немецким проблемам[72], не считая постоянных и привычных для него сопоставлений немецкой и российской мысли. Проблемы Германии не могли не волновать изгнанную из своей страны русскую интеллигенцию. Слишком много общего с большевизмом находили эмигранты в поднимавшемся национал-социализме. Россия и Германия слишком тесно сплелись в этих двух революциях – от поддержки Германией большевиков до поддержки нацистов Сталиным. Степун заметил, что и сами нацисты видят эту близость. Он фиксирует идеи Геббельса о том, что «Советская Россия самою судьбою намечена в союзницы Германии в ее страстной борьбе с дьявольским смрадом разлагающегося Запада. Кратчайший путь национал-социализма в царство свободы ведет через Советскую Россию, в которой «еврейское учение Карла Маркса» уже давно принесено в жертву красному империализму, новой форме исконного русского «панславизма»[73].

Содержание *немецких статей* Степуна самое простое: обзоры современной немецкой литературы (о Ремарке, Юнгере, Ренне и т.п.), анализ политических событий (выборы президента и т.п.). Но второй смысл – сравнение двух стран с такой похожей судьбой: слабость демократии, вождизм, умелая спекуляция тоталитарных партий на трудностях военной и послевоенной разрухи. И, прежде всего, отказ от рационализма и подыгрывание иррациональным инстинктам масс: «Как всегда бывает в катастрофические эпохи, в катастрофические для Германии послевоенные годы стали отовсюду собираться, подыматься и *требовать выхода в реальную жизнь иррациональные глубины народной души* (курсив мой – *В.К.*). Углубилась, осложнилась, но и затуманилась религиозная жизнь. Богословская мысль выдвинулась на первое место, философия забогословствовала, отказавшись от своих критических позиций»[74]. Перекличка с предреволюционной российской ситуацией очевидная.

Замечая, что, несмотря на самообольщение молодых национал-социалистов о возврате страны в Средневековье (христианское, по своей сути), на самом деле, Германия прыгнула в новое варварство, Степун пишет, что *идеократический монтаж Гитлера* с утверждением свастики вместо креста, германской крови вместо крови крестной, ненавистью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа Лессинга и Гете» *родился «не в немецкой голове, а в некрещеном германском кулаке»*[75]. Философское богословствование, лишенное критической силы рационализма, по Степуну, не есть препятствие для падения христианства. А отсюда, как и в случае падения краткосрочной российской демократии, ставится проблема «как-то обновить и углубить формы современной демократии»[76].

В чем же явная для Степуна причина поражений современной демократии? А в том, что свободы «в смысле высшей духовной реальности» современная демократия не защищает. «То, что она защищает, есть не *свобода-истина, а свобода борьбы всех истин* друг против друга; точнее, не истин (истина едина и в ней прекращается всякая борьба), а всех правд и правильностей, полу-правд и полуправильностей, неправд и ложностей»[77]. Истину он понимал как истину евангельскую, которую надо познать, и она сделает человека свободным. «Дикий» капитализм еще раньше, чем большевики, достойные его выученики, отказался от христианства. Поэтому кризис капитализма сливается в Европе с кризисом демократии.

Говоря словами Степуна, ради оправдания большевизма здесь происходит «политический размен религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса». И даже не во имя Маркса, а во имя явного Антихриста – Сталина, которого уже и некоторые эмигранты (из-за его сходства с Грозным) гото-

вы признать православным скорее, чем «Владимира Соловьева, всегда защищавшего <...> не только христианский универсализм, но и демократическое свободолюбие»[78].

Говоря, что в России наступил подлинный сатанизм, Степун готов был согласиться, что «некоторые (весьма отрицательные) свойства большевицкой психологии окажутся в исторической перспективе прямыми причинами возрождения русской государственности»[79]. Но даже готовые идти на компромисс деятели культуры, верившие, что черт (т.е. зло), в конечном счете, может послужить благу, признавали, что режим этот не божеского, а дьявольского происхождения. Именно такое парадоксальное подтверждение дехристианизации страны показано в романе о визите дьявола в Советскую Россию. В гениальном сочинении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Христос уже не Иисус, а Иешуа Га Ноцри, он просто добрый человек, хотя как-то и связан с высшими силами мироздания, и ему симпатизирует дьявол. Более того нам дается и блистательно написанное жизнеописание Христа, но... в представлении дьявола, так сказать, евангелие от Воланда. *В этой стране* (отныне его епархии) *только в памяти дьявола остается образ Христа*. Народ же полностью дехристианизирован.

Оправдание Христа через дьявола – предел духовного падения культуры. У Степуна были свои объяснения произошедшей катастрофы. Началось с Запада, который испытал явный кризис христианства (Ницше как симптом), но, быть может, и преодолел бы его, если бы некоторые разрушительно-атеистические идеи не подхватила Россия. В результате, произошел распад российского национального сознания, ибо им не было усвоено на уровне, так сказать, «физиологии культуры», абсолютное, т.е., по Степуну, религиозное значение культурных ценностей и благ, что сказалось во всех сферах жизни, ибо «отсутствию сельскохозяйственных машин соответствует отрицание методов и преемственно усовершенствуемых навыков мысли»[80]. Оказалось, что народу на культуру наплевать.

Но почему «закат России» наступил раньше «заката Запада», обещанного Шпенглером? Степун из статьи в статью утверждает: потому, что большевизм насаждает все ухваченное им с Запада с той силой веры, которой Запад уже лишен. Культурное бессилие русской религиозности на поверку оказалось страшной разрушительной силой. Он формулировал: «Элементарно лубочную и новоявленную идеологию Р.К.П. надо строго отличать от сложного, древнего и типично русского явления большевизма. Характеристики этого большевизма в нескольких словах не осилишь. Главное же, что нужно понять, это то, что он является последним словом трагического пересечения *только еще восходившей к своей собственной культуре русской религиозности с только что порвавшей со своими религиозными корнями западноевропейской культурой*. Культурное бессилие русской религиозности слилось в нем воедино с безрелигиозностью западноевропейской культуры. В результате случилось религиозное утверждение западноевропейской атеистической цивилизации, т.е. тот типичный и в точном смысле этого слова сатанинский антитеизм, который является невидимою для самих большевиков осью всего их дела»[81].

Спасение демократии и свободы личности в одном – в придании культурным ценностям религиозной санкции. Но для этого и Церковь должна быть свободна, а не раздираться конфессиональными ссорами, тем более не пачкаться сервильным угождением сильным мира сего. А чувствующим себя христианами главное – «*не предавать религиозного смысла свободы*»[82].

Жить во имя религиозной свободы – это как раз и значит сохранять чувство своего человеческого достоинства, не давая опустить себя до уровня скота, вола подъяремного. Но понятно, что почти невозможно сохранить чувство свободы при тоталитарно-фашистском режиме. Нужна демократия. Есть ли шанс восстановить ее в России – стране православной? Можно ли открыть глубинный смысл православия, не ограничиваясь обрядами и умением затеплить свечечку перед лампадкой (чему умилялись российские православные философы), как возможной силы для становления свободы и демократии? Ведь Степун человек действия, идеи. По словам уже цитированного нами Льва Зандера, «можно поэтому сказать, что Ф.А. является христианином “убежденным”, а не “бытовым”; и это обстоятельство имеет в его творчестве очень большое значение. Ибо *он внес в свое христианское миросозерцание ту честность мысли и ту бескомпромиссность нравственной воли, которые так сильны в кантианстве всех оттенков* (курсив мой. – *В.К.*). И это придает его писаниям и словам совершенно особую силу и значительность: слова у него не расходятся с делом; и компромиссов (которые часто шокируют нас в “бытовом исповедничестве”) он не допускает. Христианство для него – не система теоретических истин и не институт Церкви, а жизнь, существование (слово это не передает характера термина Existenz, каковым он пользуется, противополагая безбожие христианству)»[83].

Как и Федотов[84], Степун ищет пути, которые позволили бы не просто оживить православие в России, но сделать его основой демократических изменений. Иными словами, решить вопрос «о возможной роли православия в судьбе пореволюционной России»[85]. Ведь он не раз говорил, что Россия может ждать от своих изгнанных мыслителей не организации вооруженной интервенции, а той идеологии, которая позволит ей существовать достойно. Так способно ли на это православие? Он предлагает следующее рассуждение. Даже «оставляя в стороне историю демократии, нельзя не видеть, что ее основной принцип – *принцип защиты свободы мнения как формы коллективного искания освобождающей истины* – должен быть близок духу христианской политики. Конечно, *верховная* Истина в христианстве дана. Но в своем нераскрытом виде она недостаточна для разрешения конкретных, культурно-политических и социальных вопросов. <...> В католичестве это раскрытие совершается под знаком догмата о непогрешимости. Православие этого догмата не знает. Миросозерцательное раскрытие верховной Истины христианства возможно в православии <...> лишь на путях личного религиозного творчества. Пути эти неизбежно приводят к многообразию христианских миросозерцаний, а тем самым и к многообразию решений тех или иных социально-политических вопросов»[86]. А уж «многообразие политических миросозерцаний само требует демократической, а не диктаториально-фашистской организации политической жизни»[87].

Это был идейный шанс. Но не туда смотрела Клио. Роль творцов идей, определявших судьбу человечества, досталась большевизму и фашизму. Русские европейцы, видевшие крах родившегося пять столетий назад в Возрождении христианского гуманизма, чувствовавшие надвигающееся новое Средневековье, вполне отдававшие себе отчет в неподлинности, игровом характере «серебряного века», который двусмысленно именовали «русским возрождением», но который привел к тоталитарному срыву[88], пытались найти идеологию, чтобы сызнова пробудить пафос подлинно всеевропейского Возрождения. Задача по-своему грандиозная. Но решать ее приходилось в ужасе войны и гибели людей, в зареве пожаров от горевших домов и книг, в очевидной перенасыщенности интеллектуального пространства смыслами,

которым уже никто не верил. Они попали в ситуацию, как называл ее Степун, «никем почти не осознаваемой *метафизической инфляции*»[89].

## Эпилог

Их слов не слышали. Более того, издатели «Нового Града» Бунаков-Фондаминский и мать Мария погибли в нацистских концлагерях, Федотову удалось эмигрировать в США, а Степун в 1937 году был лишен нацистами профессорской кафедры в Дрезденской высшей школе и права на преподавание «за русофильство и жидофильство», но как ариец и антибольшевик уцелел. В фашистско-немецком хозяйстве всякая деталька могла пригодиться: Степуна не трогали. Дом его был разбомблен, он скитался по Германии в поисках заработка.

После разгрома гитлеризма он получает кафедру в Мюнхене. Если для своих российских соплеменников он выступал как представитель германской культуры, то перед немцами он выступил проповедником и толкователем культуры русской. Таков был внутренний пафос его жизненного и духовного существования. Его книги о России вызывали волны восторга и внимания.

Скажем, если говорить о наиболее, быть может, популярной среди немцев книге Степуна («Большевизм и христианская экзистенция»), которая вышла на немецком в конце пятидесятых, но как бы суммировала его прежние идеи, то она им, похоже, задумывалась как утверждение своих мыслей о России в Германии[90]. И его ожидания оправдались. Немецкие критики вычленили сразу важнейшую тему мыслителя: «Принадлежит Россия к Европе или к Азии? Вопрос, которому Степун придает такое большое значение, считая, что защита Европы от советского коммунизма возможна только при условии, что на Россию будут смотреть не как на азиатский аванпост в Европе, а как на европейский в Азии»[91]. Автор рецензии на книгу покорен и самой личностью Степуна, он «связывает представление о яркой индивидуальности с именем семидесятипятилетнего автора, возглавляющего кафедру истории русской духовности в мюнхенском университете»[92].

Именно тема этой книги звучала и в посмертных некрологах: «Волевым актом он из своей собственной ситуации как из некоей модели сделал историософские выводы и отправился на поиски Европы, в которой Восток и Запад находятся в одном ранге и в сущности должны быть представлены как однородные части, – Европы, где Россия была форпостом против Азии, а не азиатским клином, вбитым в Европу»[93].

Стоит привести об этой книге слова уже цитировавшегося здесь религиозного деятеля и близкого знакомого Степуна – Л.А. Зандера: «Христианин, ученый, художник, политический деятель, борец за правду – все эти стихии Ф.А. Степуна слиты воедино в его книге о большевизме и христианской жизни. К сожалению, книга эта вышла только по-немецки, и только несколько ее глав были напечатаны в русских повременных изданиях. <...> На первый взгляд, кажется, что его книга состоит из независимых один от другого этюдов. Более вдумчивое отношение к ней показывает однако единство замысла и внутреннюю связь затронутых автором вопросов. Это единство в значительной мере определяется самочувствием и самосознанием автора: 1) как русского европейца, 2) как христианина, 3) как ответственного за свои

слова и выводы ученого»[94]. Книга представила читателям – усталого, умудренного, но верного своим выстраданным идеям мыслителя.

А затем Степун глубоко уходит в прошлое, пытаясь понять свой век и причины его катастрофы. Душой и памятью он снова жил в России, писал свои блистательные мемуары, давшие ему многократно повторенное всеми журналами и газетами имя «философа-художника». Писал в основном по-немецки, но после публикации на немецком языке трехтомных мемуаров сам сделал русский двухтомник (под названием «Бывшее и несбывшееся») и сумел его опубликовать.

Эта книга своими идеями еще раз подтвердила его право на пребывание среди избранных умов Европы. Такое избранничество решается не прижизненной сумасшедшей славой (политической или шоу-мейкерской), а сложным переплетением культурных и исторических потребностей, которые сохраняют подлинные, экзистенциально пережитые идеи. И мыслителю, быть может, достаточно, что он произнес свое Слово[95].

Степун был столь же блестящ, как Герцен, и внешне его судьба напоминала герценовскую, но, по сути, по позиции – его полный антипод. В отличие от революционного мыслителя прошлого века, мечтавшего, чтобы Россия обогнала Европу и показала ей пример, Степун говорил о возможном единстве Восточной и Западной Европы на основе христиански-человеческих, демократических норм общежития. Эти его стремления понятны нам сейчас. И более чем понятны. Их воплощение необходимо, чтобы избежать новой катастрофы. Но по-прежнему остается нерешенным вопрос, сможет ли наконец наша действительность стать разумной, т.е. и, в самом деле, действительностью, а не очередным фантомом.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Fjodor Stepun.:* Theater und Kino. – Berlin, 1932; Ders.: Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. – Berlin/Leipzig: Gotthelf-Verlag, 1934; *Англ. перевод*: The Russian Soul and Revolution. – New York, 1935; Ders.: Der Bolschewismus und die christliche Existenz. – München: Kosel Verlag 1959; 2. erweiterte Auflage 1962; Ders.: Dostojewskij und Tolstoj: Christentum und soziale Revolution. – München, 1961; Ders.: Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus: Solowjew, Berdjajew, Iwanow, Belyi, Block. – München, 1964.

[2] *Полторацкий Н.* Философ-артист. // Возрождение. 1951. № 16. С.174.

[3] *Федотов Г.П.* (рец.). Fedor Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Berlin/Leipzig 1934 // Новый Град. – Париж, 1934. № 9. С. 95. (*Подпись – Г.Ф.*).

[4] *Helmut Kuhn*. Fedor Stepun. // Stimmen der Zeit. 176, Bd. 1965. Nr. 86. S. 148.

[5] Степун едва ли не первый заметил, что евразийская программа «дает достаточные основания к определению евразийства как *русского фашизма*». Ср. *Степун Ф.* Евразийский временник (*рец.*) // Современные записки. – Париж. 1924. Кн. 21. С. 404.

[6] *Штаммлер А.В.* Ф.А. Степун // Русская религиозно-философская мысль XX века. Сборник статей под редакцией Н.П. Полторацкого. – Питсбург, 1975. С. 329.

[7] *Федотов Г.П.* Новый Град // *Его же.* Россия, Европа и мы. – Paris. YMCA-PRESS. 1973. С. 136, 137, 139. Соиздателями журнала были И. Бунаков-Фондаминский, Ф. Степун и Г. Федотов.

[8] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк X. Демократия и идеократия; буржуазная и социалистическая структура сознания; марксистская идеология как вырождение социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиозное бытие России // *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОСПЭН, 2000. С. 354. (курсив Ф. Степуна).

[9] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк V // Там же. С. 272 (курсив Ф. Степуна).

[10] [*Гессен С., Степун Ф.*] От редакции // Сочинения. С. 794.

[11] *Зандер Л.* О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах // Мосты. 1963. № 10. С. 324.

[12] [*Гессен С., Степун Ф.*] От редакции // Сочинения. С. 791.

[13] *Чубаров И.М.* Зачалось и быть могло, но стать не возмогло (предисловие к «Жизни и творчеству» Ф.А. Степуна) // Логос. 1991. №1. С. 96.

[14] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк VIII. (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция) // Сочинения. С. 327.

[15] Там же. Очерк IV // Там же. С. 242.

[16] *Федотов Г.* Демократия спит // Новый Град. 1933. № 7. С. 25.

[17] *Шлегель Фридрих.* Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т. 1. – М., 1983. С.313.

[18] *Степун Федор.* Бывшее и несбывшееся. (I – II). – London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1990. Т. II. С. 19.

[19] Там же. Т. I. С. 105.

[20] *Чаадаев П.Я.* Сочинения. – М., 1989. С. 457.

[21] Там же. С.106.

[22] Там же. С. 133.

[23] *Киреевский И.В.* Критика и эстетика. – М., 1979. С. 251.

[24] *Степун Федор.* Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 280.

[25] *Степун Федор.* Немецкий романтизм и русское славянофильство // Русская мысль. 1910. № 3. Март. С. 65–91.

[26] *Чижевский Д.И.* Ф. Степун: Из писем прапорщика-артиллериста. Прага 1926. // Современные записки (Париж) 1928, т. 34, с. 511. Рецензия под инициалами П.П.

[27] *Степун Федор.* Прошлое и будущее славянофильства // Сочинения. С. 836 (курсив Ф. Степуна).

[28] [*Гессен С., Степун Ф.*] От редакции // Там же. С. 792.

[29] Там же. С. 791.

[30] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IV // Там же. С. 248.

[31] *Степун Федор.* Прошлое и будущее славянофильства // Там же. С. 834 (курсив Ф. Степуна).

[32] *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. С.19.

[33] «Ratio в своем последовательном завоевании европейской мысли приводит, таким образом, к пышному, яркому расцвету универсального *меонизма*. Этот расцветший в Беркли и Юме меонизм принципиально и окончательно закрепляется в трансцендентализме Канта». Цит. по: *Эрн В.Ф.* Нечто о Логосе, русской философии и научности // *Эрн В.Ф.* Сочинения. – М., 1991. С. 77–78).

[34] *Флоренский П.А.* Разум и диалектика // *Флоренский П.А.* Соч. В 4-х т. Т. 2. – М., 1996. С. 135.

[35] *Бердяев Н.А.* Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. С. 34.

[36] *Ленин В.И.* Материализм и эмпериокритицизм. Собр. соч. Т. 18. С. 138.

[37] «Всесветлейшая, великодержавнейшая императрица, самодержица всех россиян, всемилостивейшая императрица и великая жена! <...> Всемилостивейшее расположение Вашего Импер. Величества оказывать наукам высочайшее покровительство и благосклонное попечительство побуждают меня верноподданнейше просить Ваше Импер. Величество соблаговолить милостиво определить меня на вакантный пост ординарного правительства. <...> Вашего Импер. Величества верноподданнейший раб Иммануил Кант. Кенигсберг, 14 декабря 1758 г.». // *Кант И.* Трактаты и письма. – М., 1980. С. 505.

[38] *Степун Ф. (Н. Лугин).* Из писем прапорщика-артиллериста. – М., 1918. С. 9.

[39] *Гессен С.И.* Мое жизнеописание // Вопросы философии. 1994. №7–8. С. 159. Превращению журнального текста в книжный содействовал Мих. Гершензон. См. об этом: Vorwort in: Stepun Fedor. Als ich russischer Offizier war. München Kosel Verlag. 1963. S. 7.

[40] *Koestler A.* Arrow in the blue: an autobiography. – New-York, 1952. P. 9.

[41] *Гуссерль Э.* Кризис европейского человечества и философия // Вопросы философии. 1986. № 3. С. 115.

[42] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IV // *Степун.* Сочинения. С. 249-250.

[43] Там же. Очерк I // Сочинения. С. 205 (Курсив Ф. Степуна, выделено мной. – *В.К.*).

[44] *Степун Федор.* Бывшее и несбывшееся. Т. II. С. 275–279.

[45] Освальд Шпенглер и Закат Европы. – М.: Берег, 1922. С. 5.

[46] *Ленин В.И.* Полное Собр. соч. Т. 54. С. 198.

[47] Подробнее об этом см.: *Коган Л.А.* «Выслать за границу безжалостно» (Новое об изгнании духовной элиты) // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 61–84.

[48] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк VIII. (Национально-религиозные основы большевизма: пейзаж, крестьянство, философия, интеллигенция) // Сочинения. С. 328–329.

[49] *Степун Ф.* Религиозный смысл революции // Там же. С. 386.

[50] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IX (Национально-религиозные основы большевизма: большевизм и Россия, большевизм и социализм; социалистическая идея и социалистическая идеология; Маркс, Бланки, Бакунин, Ткачев, Нечаев, Ленин) // Там же. С. 347 (курсив Степуна).

[51] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк VIII // Там же. С. 327.

[52] Там же. Очерк IX // Там же. С. 344.

[53] Там же. Очерк IV // Там же. С. 349.

[54] *Бердяев Н.А.* Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – М., 1991. С. 231.

[55] Степун Ф. Мысли о России. Очерк VIII // *Степун.* Сочинения. С. 326.

[56] *Степун Федор.* Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 147.

[57] *Степун Ф.* Прошлое и будущее славянофильства // Сочинения. С. 834–835 (курсив Степуна). – Интересно, что еще в 1913 г. об этом же, как о главной русской философско-культурной проблеме, написал в книге «Россия и Европа» Масарик: «Русские не поняли Канта потому, что им гораздо ближе мифологическое начало, чем европейцам: по примеру Европы русские научились отрицать миф, то есть теологию, но не сумели научиться критике его. <...> Здесь причина того, что отрицатели в России – всегда верующие. Образованный русский, отказавшись от своей детской веры, тут же воспринимает другую веру: он верит в Фейербаха, в Фогта, в Дарвина, в материализм и атеизм. <...> Во всем ощущается недостаток критицизма». – *Масарик Т.Г.* Эссе о русской литературе // Вопросы литературы. 1991. № 8. С. 212).

[58] *Блок А.* Поэзия, драмы, проза / Сост. А.М. Турков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2001. С. 271.

[59] *Манн Т.* Немецкая речь. Призыв к разуму // *Манн Т.* О немцах и евреях. – Jerusalem, 1990. Библиотека-Алия. С. 123–124.

[60] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк I // *Степун.* Сочинения. С. 201.

[61] Там же. Очерк IV // Там же. С. 241.

[62] Там же. Очерк VIII // Там же. С. 334.

[63] *Франк С.Л.* Религиозно-исторический смысл русской революции // *Франк С.Л.* Русское мировоззрение. – СПб., 1996. С. 130.

[64] См. брошюру «Всем Губ. и Уполитросветам, Облитам, Гублитам и Отделам ГПУ. Инструкция о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы». – М., 1923.

[65] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IV // *Степун.* Сочинения. С. 239.

[66] Там же. Очерк X (Демократия и идеократия; буржуазия и социалистическая структурв сознания; марксистская идеология как вырождение социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиозное бытие России) // Там же. С. 355.

[67] *Степун Федор.* Бывшее и несбывшееся. Т. I. С. 280.

[68] *Чаадаев П.Я.* Сочинения. С. 130–131.

[69] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк X // Степун, Сочинения. С. 371–372 (курсив Степуна).

[70] *Степун Ф.* О человеке «Нового Града» // Там же. С. 452.

[71] *Степун Ф.* Германия «проснулась» // Там же. С. 482.

[72] Германия // Современные записки. 1930. Кн. 42. С. 413–427; Письмо из Германии. Формы немецкого советофильства // Современные записки. 1930. Кн. 44. С. 448–463. (*Подп. – Николай Луганов*); Письмо из Германии. (Национал-социалисты) // Современные записки. – Париж. 1931. Кн. 45 (XLV). С. 446–474. (*Подп.: Николай Луганов*) и др.

[73] *Степун Ф.* Письмо из Германии. (Национал-социалисты) // Сочинения. С. 890.

[74] *Степун Ф.* Германия «проснулась» // Там же. С. 484.

[75] *Степун Ф.* Письмо из Германии. (Национал-социалисты). С. 900 (курсив мой. – *В.К.*).

[76] Там же. С. 902.

[77] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк X. С. 356.

[78] *Степун Ф.* Задачи эмиграции // Сочинения. С. 438.

[79] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк IV. С. 240.

[80] *Степун Ф.* Мысли о России. Очерк VIII // Сочинения. С. 327.

[81] *Степун Федор.* Путь творческой революции // Там же. С. 429 (курсив Степуна).

[82] *Степун Ф.* Задачи эмиграции // Там же. С. 441 (курсив Степуна).

[83] *Зандер Л.* О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах. С.324.

[84] *Федотов Г.А.* Основы кристианской демократии // Тяжба по России. – Париж, 1982.

[85] *Степун Ф.* Христианство и политика // *Степун.* Сочинения. С. 400.

[86] *Степун Ф.* О человеке «Нового Града». С. 451 (курсив Степуна).

[87] Там же.

[88] См. об этом: *Кантор В.К.* Артистическая эпоха и ее последствия (По страницам Федора Степуна) // Вопросы литературы. 1997. №2. С.124–166. То же: В кн. *Кантор Владимир.* «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историософские очерки. – М.: РОССПЭН, 1997. С. 416–467.

[89] *Степун Федор.* Путь творческой революции. С. 430 (курсив Степуна).

[90] Первое издание книги на немецком языке вышло: Der Bolschewismus und die christliche Existenz. – München, 1959. Успех книги способствовал выходу второго издания в 1962 г.

[91] *Carl Rainer.* Rußland – asiatischer Vorposten in Europa? // Der Tagesspiegel. Berlin. 13.5.1959.

[92] Там же.

[93] *Valentin Polkuch.* Die Finsternis will nicht weichen. Fedor Stepun zum Gedenken // Die Welt. Hamburg. 26. Februar. 1965.

[94] *Зандер Л.* О Ф.А. Степуне и о некоторых его книгах. С. 334

[95] И после своего ухода на пенсию Степун не прекращал свою деятельность. В одном письме философскому факультету он пишет: «Der Lehrstuhl für Russische Geistesgeschichte an der Philosophischen Fakultät ist kein überflüssiger Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Ich gehe von Ihrer Zustimmung aus, dass der Lehrstuhl auch nach meinem endgültigen Ausscheiden wieder besetzt werden sollte. Die Geschichte der russischen Kirche und der russischen Frömmigkeit, die Geschichte der russischen Philosophie, die innerhalb der allgemeinen Geschichte der Philosophie n deutscher Sprache nirgends in entsprechendem Maße gelehrt wird, die Geschichte der öffentlichen Meinung in Russland und die Geschichte der sozialpolischen Lehren kann und darf ebenso wie vieles andere nicht von den deutschen Universitäten ignoriert werden». Archiv der Ludwigs-Maximilian-Universität München ON 14.

# Литература, кино, политика

*Томас Тоде*

## КАРТИНЫ НОВОЙ ЖИЗНИ. Советские документальные фильмы в Веймарской республике

### Фильмы «Международной рабочей помощи»

Первыми советскими фильмами, показанными в Германии после революции, были короткие документальные ленты, которые должны были оказать на левых значительное влияние в плане оценки кино как средства информации. Организацией ввоза и проката этих лент занималась организация «Международная рабочая помощь» (Межрабпом, МРП), созданная 21 сентября 1921 г. для поддержки молодого еще Советского государства. С лета 1921 г. Поволжье страдало от сильнейшего голода, который, по официальным оценкам, унес жизни почти пяти миллионов человек. Для сбора пожертвований МРП широко использовала кино. Вилли Мюнценберг, руководитель акции и секретарь этой организации вспоминал:

> Первыми фильмами, которые показала МРП, были «Вниз по Волге» и «Голод в Советской России», которые были сняты осенью 1921 г. в России и в 1922 г. показаны миллионам рабочих почти во всех европейских странах, Северной Америке и Аргентине[1].

Несмотря на подробное исследование Роланда Косандея, в Германии названные фильмы не удалось ни обнаружить, ни идентифицировать[2]. В списки немецкой цензуры было внесено единственное соответствующее название, полнометражный фильм «Картины голодающих областей на Волге» (1922 г.). Он был представлен 3 марта 1922 г. фирмой «Badischen Filmfabrik und Kopierwerke AG», которая специализировалась на фильмах о путешествиях и туризме, а здесь выступила как подставное лицо (еще не внесенной в торговые реестры) МРП. Опубликованная вскоре после этого в «Rote Fahne», центральном органе КПГ, критика описывает, какой шок вызвал этот фильм-катастрофа:

> Наконец первый, давно объявленный фильм о России […]: он произвел глубокое впечатление, и к концу, когда кадры становились все более горестными – но это были еще не самые страшные кадры – у некоторых глаза наполнились слезами, и на выходе все лица были очень серьезными[3].

Кроме этого, в фильме показана и «созидательная и культурно-просветительская работа» в Советском Союзе, идущая, несмотря на международную блокаду и гражданскую войну. В информационном бюллетене МРП устроителям просмотров рекомендовалось позаботиться о подготовке зрителей и подведении итогов:

*Голодающие дети. 1921 г. Возможно, это кадр из фильма «Картины голодающих областей на Волге»*

При показах этого фильма каждый раз должен быть задействован политический докладчик. Имперский комитет предлагает демонстрацию фильмов о сегодняшней жизни в России, для чего предоставляет «наряду с пропагандистскими материалами и референтов»[4].

Именно последнее привлекло внимание политической полиции. Иногда возникало обратное соотношение между агитацией средствами кино и пожертвованиями, как, например, на фирме Шерль, коллектив которой дал пожертвования, а ее производственный совет в ответ попросил «показать рабочим и служащим фильм о России, который дал бы ясную картину о ее современном положении»[5]. Это могло свидетельствовать о растущем значении информационного кино для общественности. Показ фильма имел большой успех: за первые годы для России собрали свыше миллиарда марок, которые включали не только продовольственную, но также экономическую помощь[6].

Эффективность документального кино в ходе гуманитарной акции – в этом исследователи согласны[7] – придало мобилизующим инициативам МРП высокую динамику, что превратило ее в одну из самых крупных (в 1925 г. 15 млн членов по всему миру) рабочих организаций 1920-х годов. Уже скоро она расширила поле деятельности. В рамках Межрабпома Мюнценберг создал газетный концерн с многочисленными изданиями, а также киностудию. «22 сентября 1922 г. в торговый реестр Берлин-Центр была внесена новая фирма “Промышленно-торговое акционерное общество, Международная рабочая помощь Советской России”»[8]. Эта фирма позволила МРП выступить в качестве хозяйственного субъекта. Ее штаб-квартира находилась в Берлине, но через филиалы она действовала, прежде всего, в Европе, а также в Северной и Южной Америке. Благодаря соглашениям с советскими киноорганизациями, она стала фактически монополистом в сфере импорта кино из СССР. Официально ее представляло постоянно находившееся в Берлине и Нью-Йорке акционерное общество «Немецко-американское кино-объединение АГ»[9]. Власти видели в этом лишь маскировку, которую разглядел некий административный орган, просто сравнив адреса: «Название общества призвано скрывать эту русскую большевистскую пропагандистскую деятельность, но характерно, что находится оно на Унтер Линден, 11»[10].

Рабочее движение, по своей теории и практике, всегда было интернациональным. Поэтому для создателей советских пропагандистских фильмов речь шла не об «экспорте» революции, но о солидарности с самостоятельными революционными движениями вне Советской России. Германия и Берлин всегда играли главную роль в представлениях о том, как должна распространяться по миру коммунистическая революция. К тому же, Берлин был финансовой метрополией со связями по всему миру и потому центром работы МРП. До середины 1920-х годов с помощью созданного в рамках Промышленно-торгового акционерного общества «Киноведомства для Советской России» были импортированы и показаны в Германии почти два десятка, в основном, короткометражных, но и среднеметражных документальных фильмов, среди них «Пять лет Советской России»(Киноправда № 13, 1922 г.) Дзиги Вертова и его же «Красная армия» (или, возможно, «Красные маневры»), «Мать и дитя в Советской России», «Конгресс народов Востока в Баку» и «Похороны Ленина» (1924 г.) Григория Болтянского, Александра Разумного, Юрия Желябужского и др. (монтировал этот фильм Дзига Вертов). Все эти фильмы были показаны анонимно, т. е. как актуальная хроника без указания авторов.

Я хотел бы остановиться на двух фильмах. «Пять лет Советской России» сильнее, чем фильм о голоде, показывает перемены в СССР в политической, военной и экономической сферах. Рецензент о содержании фильма пишет:

> Сам фильм в 3 частях рассказывает об армейской жизни в Москве и Петербурге. Показывает по одному большому параду в этих городах – много солдат, военно-морской флот, кавалерия, артиллерия, танки, привязные аэростаты, все выглядит красиво. Другие кадры показывают массовые митинги на улицах и площадях и работу IV конгресса III Интернационала в 1922 г., при этом очень хорошо крупным планом схвачены лидеры III Интернационала[11].

Если судить по этой рецензии и по рецензии в «Rote Fahne» от 22 декабря 1922 г., речь, без сомнения, идет о «Киноправде № 13» Дзиги Вертова, надписи для которой делал прекрасный художник и фотограф Александр Родченко. Фильм иллюстрирует речь Троцкого на конгрессе Коминтерна, в которой говорилось о созидательной работе последних пяти лет. Особенность ленты – «открытый» монтаж, смелая компоновка, соединяющая пространство и время: гробы национальных героев опускают в могилы (снято в 1918 г. в Астрахани), могилы засыпают (Кронштадт 1921 г.), пушки салютуют (Петроград 1920 г.), в честь мертвых, в их вечную память снимают шапки (Москва 1922 г.). Ставший в то время актуальным курс на «механизацию» демонстрируется кадрами, вызывающими восхищение успехами техники.

Немецкая цензура допустила фильм к показу, только удалив три надписи, одна из которых, а именно «Фанфары играют гимн революции, Интернационал», вызвала особое возмущение:

> Слова и ожидаемая музыка приведут к тому, что часть публики запоет Интернационал, а другая ее часть будет протестовать против этой песни, что может привести к нарушению общественного порядка[12].

Возражение, хотя оно потом с формально-юридическим обоснованием (поскольку оно касалось лишь одного специального музыкального сопровождения) было

*Ленин – редкие документальные кадры появлялись в разных фильмах*

снято вышестоящей проверяющей инстанцией, тем не менее дает точную картину распространенной практики демонстрации кино, целенаправленно побуждавшей всем вместе петь Интернационал. Другое обоснование для выпуска картины на экраны без купюр весьма показательно для еще наивного понимания «кино на основе фактов», так как его пропагандистский характер отрицается со ссылкой на жанр:

> Фильм не «поставлен», т. е. не сделан актерами под руководством режиссера, а все вместе снято в центре фактических событий. Что же касается содержания, то надо констатировать, что компоновка этих кадров внешне далека от пропагандистской тенденции. […] Так как эти кадры, как и лежащие в их основе факты, говорят сами за себя […], верные бесстрастной и неопровержимой фотографической последовательности изображения[13].

Обычно такие протоколы предназначенны для внутреннего пользования, а этот был опубликован в «Film-Kurier» 13 марта 1923 г. Идущий почти 50 минут фильм, если верить восторженной левой партийной прессе, привлек большое внимание рабочих: «Везде, где шел этот фильм, он вызывал удивление и восхищение. Его посмотрели уже тысячи людей, и на всех он произвел глубокое впечатление»[14]. Но так можно было сказать обо всех фильмах из Советского Союза, потому что они несли информацию из первых рук о ходе революционных преобразований.

Как свидетельствуют многочисленные рецензии, еще более волнующей была картина «Похороны Ленина»:

> На фильме «Ленин» невообразимая печаль московской улицы охватывала зал, волновала тысячи немецких пролетариев, смотревших его. Песни, исполняемые массами пролетариев, и русский траурный марш усиливали само по себе потрясающее воздействие картины до состояния душевной боли и скорби по великому вождю, посвятившему жизнь великому пролетарскому делу[15].

Речь идет о немецкой редакции созданного коллективом авторов и смонтированного, очевидно, Дзигой Вертовым фильма «Похороны В.И. Ленина»[16]. Его премьера

в Германии состоялась 10 сентября 1924 г. в Лейпциге, за четыре дня до премьеры в Берлине. Мюнценберг лично сказал вступительное слово, в котором затронул не только представляемый фильм и аспекты жизни Ленина, но и актуальную на тот день проблему – «план Дауэса»[17]. Таким образом, премьера картины дала повод для партийно-политической агитации. Документальные кадры этой ленты позднее были включены Яковом Протазановым в довольно успешную игровую картину о Ленине «Его призыв» (1925 г.), очевидно, чтобы придать действию большую достоверность.

## Борьба за собственное кинопроизводство

В рядах организованного рабочего движения Германии все чаще возникала вдохновленная советским примером дискуссия о собственном кинопроизводстве. Актер Рольф (Йозеф) Гертнер, который уже в 1919 г. был членом Комиссии по социализации театров и кино в Баварской Советской республике, в 1922 г. создал в Нюрнберге «Общество советского кино за пролетарскую культуру ГмбХ» с целью мобилизации против националистической травли. Гертнер хотел делать научно-популярное кино, или культурфильмы, открывать свои кинотеатры и тем самым содействовать развитию пролетарского искусства кинематографии[18]. Однако, по данным цензурных списков в Ежегоднике киноиндустрии, он не снял ни одного фильма. В период инфляции капитала в 20 тысяч рейхсмарок, одной кинокамеры и одного кинопроектора было явно мало.

Тогда же, т. е. непосредственно в связи с показом советских фильмов о голоде, разворачиваются оживленные дебаты о кино. Еще в июне 1922 г. «Rote Fahne» повторила давнюю, относящуюся к предвоенному времени, мысль о том, что инициатива создания несущего идеи эмансипации учебного кино «останется невостребованной до победы социализма и у нас»[19]. В августе и октябре 1922 г. та же газета критиковала планы ориентированного на социал-демократию Всеобщего объединения немецких профсоюзов (АДГБ) создать кинотеатр для рабочих, задачей которого стал бы отбор подходящих фильмов из имеющейся продукции и их показ[20]. Бела Балаш поставил точку в критике этого якобы реформистского проекта: «Следовательно, народный кинотеатр не может довольствоваться “отбором” уже имеющихся буржуазных фильмов, потому что здесь просто нечего выбирать»[21]. При этом, он делает радикальный вывод: «Мы должны организовать наши собственные кинофабрики, которые будут делать наши фильмы».

Против предложения Балаша сначала возразила «Rote Fahne»[22], еще более недвусмысленно высказался функционер КПГ Эдвин Хёрнле:

> Техническое производство кинофильмов требует больших капиталовложений. Киноиндустрия повсюду находится в руках небольшого числа могущественных и хорошо организованных капиталистических кампаний. До завоевания власти классово сознательный пролетариат может сложить свои рабочие пфенниги и снять тот или иной фильм с пролетарским содержанием, но нельзя и помыслить, чтобы конкурировать с буржуазным кино[23].

Хёрнле, таким образом, повторяет аргументы деятеля КПГ Клары Цеткин и даже осторожно нападает на левое документальное кино:

> Итак, мы не можем довольствоваться бытующим до сих пор методом съемок кино о демонстрациях, съездах, парадах Красной армии, спортивных мероприятиях, а также отдельными более или менее удачными фильмами из жизни революционных рабочих, о их Советах, фабриках, детских домах[24].

Хёрнле делает уступку только для «целенаправленной просветительской и воспитательной работы», производства актуального информационного кино, пролетарского учебного кино. Его контрпредложение заключалось в том, чтобы импортировать советские игровые фильмы, так как только они «захватывающие» и «страстные» и могли бы «по силе воздействия» конкурировать с буржуазным кинематографом. Скептическое отношение высоких партийных кадров к использованию документального кино весьма примечательно. Оно заложило основание многолетней практики коммунистических функционеров, направленной на прокат советского игрового кино (и некоторых научно-популярных фильмов) и финансирование собственной скромной кинодокументалистики.

Промышленно-торговое акционерное общество в 1922–1924 гг. выпустило всего шесть лент: четыре короткометражки, одну средне- и одну полнометражную. Короткометражные фильмы «Забота о детях в России»[25] (Германия, 1923 г.) и «Международная рабочая помощь»[26] (Германия, 1924 г.) рассказывали о деятельности МРП в России, картина «Знамя Баку» (Германия, 1923 г., запрещена) показывала посещение советскими посланниками VIII съезда КПГ, а «Голод в Германии» (Германия, 1924 г.) – фильм, снятый, как говорили, по особому желанию Ленина, – трактовал голод как следствие инфляции. Особенно трогательными были кадры, показывающие пункты раздачи еды МРП: изможденные старики, а также дети с кастрюльками в руках, обвиняя, смотрят прямо в камеру. Из котлов им разливают горячий айнтопф[27], они едят за столами, рядом проверяют членские книжки и удостоверения, а перед входом ждет очередь других нуждающихся. Холодный, безыскусный протокол. В отзывах на уже упомянутый короткометражный фильм «Международная рабочая помощь» некоммунистическая пресса обратила внимание на «технически весьма несовершенные съемки»[28]. В своей принципиальной статье Балаш уже в октябре 1922 г. указал на то, что коммунистическое движение срочно нуждается в кадрах специалистов для кино.

В центре среднеметражной картины «Последний путь посланника Воровского» (Германия, 1923 г.) – проводы убитого в Лозанне советского дипломата, соратника Ленина, Вацлава Воровского. Советский поверенный в делах на переговорах о признании турецкого национального государства, 10 мая 1923 г. он был застрелен Морисом Конради, швейцарцем русского происхождения. Когда его тело перевозили в Москву, надо было сделать пересадку в Берлине, и тысячи рабочих ночью с горящими факелами сопровождали гроб с одного вокзала на другой. Затем эпизоды прибытия в Москву и погребения на Красной площади переводят ленту в уже устоявшийся жанр фильма о похоронах. Напротив, «Май народов» (Германия, 1923 г.), единственная полнометражная лента, выпущенная Промышленно-торговым акционерным обществом, представляет собой нарезку кадров первомайских демонстраций и митингов рабочих в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Стокгольме, Цюрихе, Копенгагене, Праге, Петербурге и Москве. Эти первые фильмы, сделанные Межрабпомом, и русский импорт, согласно Мюнценбергу, собрали по всему миру 25 млн. зрителей[29]. Но снятые сюжеты (о деятельности МРП) были совершенно такими же, как и в первых советских фильмах, и подражали им.

*Кадр из фильма В. Пудовкина «Механика головного мозга»*

По иронии судьбы, постепенный рост собственной кинопродукции МРП был вызван принятием в 1924 г. германским правительством протекционистского постановления о распределении долей: зарубежные фильмы для проката могли импортироваться только теми фирмами, которые делали кино и в Германии. «Это право предоставлялось немецким прокатчикам только в соотношении один к одному, так что на один немецкий фильм мог быть ввезен один зарубежный»[30]. Межрабпом должна была доставать для себя советские картины (к тому же, в финансовом отношении прибыльные) «в обход, пользуясь студией, производившей буржуазное кино»[31], поскольку ее собственных производственных мощностей не хватало. Для ленты «Лицо Красной России» (Германия, 1925 г.) сначала оживили Немецко-американский киносоюз[32], который смог предъявить два коротких, незначительных научно-популярных фильма, снятых, очевидно, только для того, чтобы соответствовать распоряжению правительства. С весны 1925 г. маленькое частное предприятие «Дека-Компани Шатц и К°» по поручению МРП делает шесть фильмов: «Первомайский праздник коммунистов в Берлине в 1925 г.» (Германия, 1925 г.), «Последний путь Мархлевского (Карского)» (Германия, 1925 г.), «Освящение знамени Союза красных фронтовиков Берлина» (Германия, 1925 г.), «Мопр» (Германия, 1925 г.), «Антивоенные митинги рабочих Центральной Германии» (Германия, 1925 г.) и «Красная троица в Берлине» (Германия, 1926 г.). Четыре из этих работ – это просто «фильмы – демонстрации», которые в последующие годы оформятся как самостоятельный жанр рабочего кино в Германии. «Мопр» – портрет Международной организации помощи борцам революции, а «Последний путь Мархлевского (Карского)» рассказывает о похоронах умершего в Италии рабочего лидера Юлиана Мархлевского на кладбище Берлин – Лихтенберг 5 апреля 1925 г., рядом с могилами Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

Следующей реакцией на протекционистские меры Германии стало создание собственной киностудии МРП, местом пребывания которой, соответственно, был выбран Советский Союз. МРП в равных долях объединилась с кинопроизводственным

товариществом «Русь», которое, в основном, оставалось частным предприятием, а 1 октября 1924 г. основала «Межрабпом – Русь», переименованное в 1928 г. в «Межрабпом-фильм»[33]. Фирма выпустила много имевших коммерческий успех игровых фильмов, но еще большее количество документальных. Из более чем 240 документальных фильмов этой студии в Германии были показаны только три (чрезвычайно популярных): «Механика головного мозга» (1926 г.) Всеволода Пудовкина о теории рефлексов Павлова и оба экспедиционных фильма Владимира Шнейдорова «Памир – подножье смерти» (1929 г.) и «Йемен» (1930 г.). Очевидно, руководство студии решило, что документальные сюжеты должны сниматься в соответствующих странах, на месте, а требующие больших капитальных вложений игровые фильмы – в России, где рынок им гарантирован, кроме того, такие картины с самого начала были задуманы для распространения за рубежом.

## Образец «кино русских»

«Политическое кино» родилось в 1920-е годы в революционной России. Сразу вспоминаются фильмы Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и др. Но и в том, что касалось революционизирования кино non-fiction, решающие импульсы исходили из России. В течение 1920-х годов левые в Германии все больше проникались тем, что технические средства могут «документально» запечатлеть реальность, т. е. придать кинокадрам и фотографиям характер документа, и, тем самым, послужить аргументом в политической борьбе. В генезисе таких представлений о документальном кино существенную роль играл пример «руссенфильм – кино русских». Ярко выраженная социальная активность и художественная эстетика русского документального фильма задавала новые параметры и потому оправдывала его новое понятийное содержание. В Германии такие авторские полнометражные документальные ленты появились лишь в конце 1920-х годов. Их представляли на торжественных премьерах, часто в присутствии режиссера, и сопровождались они докладами и дискуссиями. Короче: они становились общественным событием. По оценкам, в Германии с 1922 по 1931 год было показано почти 65 советских игровых фильмов и от 200 до 300 документальных: «Что касается документального кино, то речь идет о 15 процентах полнометражных, а в основном о более коротких лентах, из которых многие можно назвать научно-популярными, или хроникальными»[34]. Большинство было реализовано компаниями «Прометеус» и «Вельтфильм». Наряду с этим, советское торговое представительство давало лицензии некоторым коммерческим прокатным фирмам, поскольку они, занимая определенное место в монополизированной киносети, могли гарантировать более широкое распространение картин. Так, «Дерусса» (Немецко-российский киноальянс) выпустил в прокат «Сердце Азии – Афганистан» Владимира Ерофеева и «Человека с киноаппаратом» Вертова, а студия «Натурфильм» Губерта Шонгера – «Лесных людей» Александра Литвинова. Но порой даже солидные фирмы терпели неудачи, пытаясь распространять советское кино, как это, например, случилось у «Национаь-Фильм АГ» с фильмом Вертова «Одиннадцатый» (1928 г.), премьера которого, назначенная на 11 июля 1929 г., не состоялась из-за обвинения в плагиате («дело Блюма»), а когда в 1931 г. фильм снова попытались показать, он был запрещен цензурой[35].

*Титульный лист журнала «Film und Volk» с анонсом кинокартины «Турксиб» (февраль 1930 г.)*

Советское кино – это кино, широко использующее монтаж, авторское кино. И то, и другое видно на примере первого значительного документального фильма, показанного в Германии, – «Шанхайский документ» Якова Блиоха (1928 г.). Сначала показаны шанхайский порт и жизнь в китайских и европейских кварталах города. Тяжелый труд грузчиков-кули противопоставляется ничегонеделанью европейцев-собственников и представителей китайских элит: усталый кули заглядывает через забор и видит европейскую буржуазию, плескающуюся в бассейне, пьющую коктейли; вращение колес его тележки переходит во вращение пластинок танцующих бездельников, приводимая в движение кули мельница превращается в карусель со смеющимися детьми европейцев; следующие кадры – тяжкий труд китайских детей и женщин на шелкопрядильных фабриках и в пропитанных ядовитым фосфором помещениях спичечных фабрик. Демпингового заработка едва хватает, чтобы влачить жалкое существование. В городе все кипит, и улицы заполняются революционерами со знаменами, захватившими город в марте 1927 г. Европейцы окапываются в своих анклавах за мешками с песком, вызывают боевые корабли, регулярные войска и танки. Южная армия Гоминдана под командованием Чан Кайши входит в город, жестоко подавляет восстание рабочих и бывших до того его союзниками китайских коммунистов. В европейских концессиях казнят закованных в цепи пленных. Таким образом, в конце фильма Чан Кайши предстает предателем китайской революции[36].

*«Шанхайский документ» Я. Блиоха (СССР, 1928 г.)*

Показательно, как автор забывает о деликатной роли Советского Союза и его финансовой и военной поддержке Чан Кайши и, путем утверждения о его «предательстве», фактическое поражение делает моральной победой коммунистического рабочего движения.

Эпохальным этот фильм делают политически сдержанный параллельный монтаж, аналитический взгляд камеры и однозначная политико-публицистическая позиция автора. Он настаивает на том, и не в последнюю очередь самим названием ленты, что речь идет о «документах», свидетельствующих об угнетении и эксплуатации. Как признавали в рецензиях современники, произошел резкий и окончательный разрыв с принятой до того в кино о путешествиях глянцевой идиллией: «Культурфильм должен приобрести ценность документа. Но эта документальность, конечно, не может не иметь политического привкуса»[37]. Параллельный монтаж Блиоха сводит вместе кадры, которые сами по себе не связаны ни в пространстве, ни во времени, но обретают эту связь только на монтажном столе. Именно в силу того, что зритель это видит, в конечном счете, тематизируется и проблематизируется то, что речь идет об «интерпретации» видимого мира, причем с точки зрения социализма: «коммунистическая расшифровка мира»[38]. Тонкое различие между (оправданной) партийностью и пропагандой возникает там, где за изображением угадывается человек, выступающий как судья. Раскрывая собственную стратегию изображения, предмет теряет, но само изображение становится более достоверным. Таким образом, аутентичность – это не некое механическое явление природы, не данная заранее особенность картинки, но ее надо понимать как форму и результат медийного изображения.

Фильм получил значительный резонанс в прессе того времени, при этом буржуазные газеты давали политически уклончивые оценки показанного: «Действительно ли немногие чужестранцы, которые осели на побережье, несут ответственность за бедственное положение 400-миллионного народа на бесконечном пространстве?»[39] Цензура ленту одобрила сразу: ведь речь идет об эксплуатации в других странах и другими нациями. Рецензенты-коммунисты предполагали, что здесь свою роль сыграло и злорадство по поводу трудностей, переживаемых европейскими (и японскими) колониальными властями. Несмотря на то, что картину разрешили показывать

*«Турксиб» В. Турина (СССР, 1929 г.)*

по всей стране, она была запрещена в Штутгарте, и это вызвало сильные протесты, вплоть до парламента[40].

Неожиданные последствия показа «Шанхайского документа» также делают очевидным, что это авторское кино: Союз народного кино[41] выпустил его на экран как первый «собственный» фильм, как образец для дальнейшей программы кинопроизводства. Было сказано, что сняли его под руководством публициста и синолога Фридриха Линхарда (= Карл Шульц), что монтировал его Альбрехт Виктор Блюм, а титры и надписи сделал Франц Хёллеринг[42]. На самом деле, все это относилось к (слегка сокращенной) немецкой редакции картины. Настоящий режиссер, Яков Блиох, выразил свое возмущение в прессе и потребовал восстановления истины[43]. Особое внимание к авторству до этого было характерно, скорее, для игрового, нежели для документального кино. Этот наложивший отпечаток на весь жанр фильм, пусть со скандалом, поставил проблему принципов авторского кино.

Дзига Вертов в 1929 г. пережил нечто подобное, когда в ходе поездки с лекциями в немецких киноклубах показывал отрывки из своего фильма «Одиннадцатый», а его обвинили в плагиате. Дело в том, что в конце 1928 г. Альбрехт Виктор Блюм составил заключительный пассаж компиляции «В тени машины», в основном, из кадров, взятых из «Одиннадцатого» Вертова и «Звенигоры» Довженко, сделав их известными в Берлине. Вертов в прессе настаивал на восстановлении справедливости, хотя советское представительство, по политическим причинам, хотело замять дело. Он подходил к вопросу совершенно в духе буржуазного гражданского кодекса, как к краже интеллектуальной собственности. Блюм заявил, будто его заказчик «Вельтфильм» помешал ему указать источники, так как согласно правительственному указу «в короткометражном фильме, заявленном как немецкая продукция, нельзя использовать ни метра зарубежного материала»[44].

Со своей стороны, Вертов игнорировал то, что в этом деле об использовании чужих архивных съемок речь шла о концепции развития пролетарского кино в Германии, и Блюм работал в духе оперативной кино- и контрпропаганды, как к этому стремилась МРП[45]. Мюнценберг лично позаботился о том, чтобы он получил материал еще не известных украинских киносъемок. У этой концепции была идеологическая и финансовая подоплека, так как, согласно Лео Ланиа, соавтору Блюма, она

давала возможность «малыми средствами, пользуясь имеющимися фильмами или их кусками до основания реформировать жанр кинохроники»[46]. Истории с Блиохом и Вертовым позволили выявить своеобразие советского кино, а именно то, что речь шла об авторском кино. Даже тогда, когда советские чиновники от кино мешали работе режиссера, унижали его и принуждали к конформизму, картина всегда оставалась его картиной. Под влиянием «кино русских» и в Германии документальное кино постепенно было признано авторским и соответствующим образом рекламировалось.

Основным организационным звеном в пропаганде русского документального кино был соответствующий отдел советского торгового представительства в Берлине. В 1925–1926 гг. им руководил журналист Владимир Ерофеев, который затем оставил карьеру в сфере управления кинематографией, чтобы стать режиссером-документалистом. Две его ленты позднее были показаны и в Германии: кинопутешествие «Сердце Азии – Афганистан» (1929 г.) и звуковой фильм о фольклорном фестивале «Олимпиада искусств» (1930 г.)[47]. В связи с этим надо упомянуть, что Ерофеев и для своей страны был посредником в культурном обмене, будучи одним из важнейших участников в деле распространения в СССР почерпнутой в Германии концепции культурфильма[48]. Это началось уже в 1923 г. с показа имевшей в России большой успех полнометражной немецкой картины «Основы теории относительности Эйнштейна» (1922 г.)[49], после чего импорт научно-популярных фильмов из Германии постоянно рос[50]. Модель последовательно перенимали для собственного кинопроизводства, многие понятия даже вошли в специальную лексику, вплоть до названия специализированной киностудии: «Культкино»[51].

Но и от отдела кино советского торгового представительства в Берлине все время исходили существенные для Германии импульсы. В 1928–1929 гг. там работала референтом театральный режиссер из Латвии Ася Лацис. Она вдохновила на культурный прорыв в Россию не только Брехта, Беньямина и Бехера, но и деятелей кино из объединения «Новый Франкфурт»[52], которые создали свой киноклуб, где показывали также и советские фильмы, а некоторые из них, например Элла Бергман-Михель и Пауль Зелигман, даже сами стали снимать документальные ленты[53].

Когда Ася Лацис в мае 1929 г. захотела протежировать в Германии «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова, Вальтер Беньямин посоветовал ей сначала показать картину Зигфриду Кракауэру[54]. Сжатая рецензия Кракауэра во «Frankfurter Zeitung» определила в дальнейшем заметный успех этой ленты среди немецкой интеллигенции и включила ее в актуальные тогда дебаты о приемах кинодокументалистики:

> Наверное, о чем-то подобном думал Рутман, снимая “Берлин – симфония большого города”[55]. Но в то время как его ассоциации остаются чисто формальными – кажется, он и в своих звуковых видовых фильмах довольствуется внешними, невнятными связями, – Вертов с помощью монтажа выявляет смысл связей между фрагментами действительности. Рутман дает видеоряд, сосуществование; Вертов, изображая, интерпретирует его[56].

Интерпретация через изображение, эта формула предполагает позицию, которая должна быть одновременно и политической, и социальной. Это то новое, что Кракауэр увидел в фильме Вертова. Его кадры показывают то, чего нет в обычных кадрах кинохроники, а именно картину наполненной смыслом истории человека.

В виртуозно смонтированных лентах настоящим героем фильма является камера. Мы чувствуем, как ей хочется бродить по улицам, как она, безнадзорная и любопытная, разбирается в самых разных проявлениях жизни новой России: ее глаз видит, как рождается ребенок, лошадь бежит рысью в замедленной съемке или мчится машина скорой помощи. Она исследует, как поезд выглядит снизу, когда он проезжает над ней, или как так колдует китайский маг, что у детей захватывает дыхание. Фильм излучает молодость, озорство и радость, и, не в последнюю очередь, благодаря удивительным сюжетам (например, сцены с магом), напоминающим о беззаботном детстве. Неслучайно Вертов во врезках все время показывает детей, на лицах которых читается искреннее любопытство. Режиссеру удается так показать повседневную жизнь, что у зрителя возникает впечатление, будто он видит все «в первый раз». Вертов создает шедевр, идентифицируя «предрассветные сумерки» впервые обращенного внимания с общественным прорывом русской революции. В то же время он постоянно ставит вопрос о соотношении воспринятого, снятого и действительного.

В ходе европейского показа картины в 1929 г. Вертов сделал множество докладов в Германии, сопровождая их демонстрацией отрывков из более ранних работ, таких как «Ленинская киноправда» (1925 г.), «Шестая часть мира» (1926 г.), «Одиннадцатый» (1928 г.) и «Киноглаз» (1924 г.). Для этого он специально сделал два демонстрационных фильма, каждый по четверти часа, которые, прежде всего, должны впечатлить техникой монтажа – это «Образец монтажа Дзиги Вертова» (цензура: 28 мая 1929 г., 301 м) и «Дзига Вертов о своей работе кинорежиссера» (цензура: 28 мая 1929 г., 294 м).

Негласными руководителями этой поездки были супруги Лисицкие. Русский художник, типограф и оформитель выставок Эль Лисицкий и его жена, немка Софи Кюпперс, дружили с Вертовым. Они использовали свои контакты в среде творческой интеллигенции Германии, чтобы открыть русскому режиссеру возможность выступить с лекциями и докладами до официального запуска фильма в прокат. Уже в преддверии Софи Кюпперс написала много статей о его методе «кино-глаз», и таким образом, Вертов ей был обязан, например, ставшим распространенным понятием «ошеломляющая жизнь» – перевод его девиза «Жизнь врасплох». Супруги Лисицкие особенно восторгались его многократной экспозицией: «Благодаря синхронной многокамерной съемке он добивается изображения, которое, в силу одновременности разных передвижений, невиданно обогащает зрительное восприятие»[57]. Как упоминает Вертов, дискуссии после просмотров имели место, правда, не столько с рабочими, сколько в кругу «работников искусств». Влияние фильмов и лекций на интеллектуалов Веймарской республики и, прежде всего, на кинематографистов, нельзя недооценивать. Напротив, в рабочей среде мелькающие «операторские эффекты» и «турбулентная последовательность кадров» в «Человеке с киноаппаратом» встречали порой даже резкую критику[58].

Вообще, 1929 г. для советского документального кино был годом прорыва. В мае в Германию приехали документалисты Эсфирь Шуб, Дзига Вертов и Владимир Ерофеев. Компилятивная лента Шуб «Россия Николая II и Льва Толстого» (1928 г.) была показана на специальных просмотрах в помещениях «Вельтфильм» и в рамках выставки «Кино и фотография» в Штутгарте[59]. На этой нарушившей все традиции выставке непосредственно соприкоснулись искусство политического кино из России

*Немецкая афиша фильма «Человек с киноаппаратом»*

и западноевропейская авангардистская кинематография. В оформленном Элем Лисицким советском павильоне были представлены не только обычные фотографии, но и увеличенные фотограммы, в том числе из документальных фильмов Вертова, Шуб и Михаила Кауфмана, кадры которых были расположены как на киноленте. К тому же, там бесконечной чередой с помощью проекторов-дуоскопов показывали отрывки из важнейших советских картин, таких как «Звенигора» и «Арсенал» Довженко, «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом» Вертова. Решение этого выставочного модуля Эль Лисицкий поручил своему другу Вертову[60].

Наконец, параллельно с выставкой в одном из кинотеатров Штутгарта проходила организованная художником и экспериментатором кино Гансом Рихтером (1888–1976 гг.) ретроспектива, в рамках которой были представлены многие советские игровые фильмы, а 20 июня – программа с отрывками из работ Вертова, Шуб, Кауфмана, Шнейдерова и Пудовкина. Такие ролики с образцами лучших лент, частью, были сделаны специально: «Человек с киноаппаратом» (цензура: 17 июня 1929 г., 346 м), «Отрывки из фильмов режиссера Пудовкина, характеризующие метод его монтажа» (цензура: 17 июня 1929 г., 123 м).

## Советские экспедиционные фильмы

В кинотеатрах Германии большой успех имели также советские экспедиционные фильмы – поджанр советского документального кино, отличающийся пристрастием к экзотике, приключениям и далеким краям. Лента Шнейдорова «Великий перелет» (1925 г.) – это сенсационный отчет о первом крупном международном перелете Москва – Улан-Батор – Пекин – Токио, который только в экзотической Монголии и Китае выходит за рамки строго хронологического, поэтапного описания. Его же «Памир – подножье смерти» вместе с первой советско-немецкой экспедицией штурмует вершины еще не изведанных гор Памира, а портрет страны «Йемен» (1930 г.) вторгается даже на Аравийский полуостров. Лента Сергея и Георгия Васильевых «Подвиг во льдах» (1928 г.) повествует о спасении экспедиции Нобиле, а уже упомянутый фильм Литвинова «Лесные люди» (1928/29 гг.) отправляет зрителей в непроходимые тропические дебри Приамурья, к находящемуся на грани вымирания народу удэге, показывает танцы шаманов и навещает известного исследователя Дальнего Востока В. Арсеньева и его проводника Сунцай Геойка. «Курс норд» (1929 г.) чествует арктическую экспедицию ледокола «Седов», а «Сердце Азии – Афганистан» Владимира Ерофеева на примере судьбы машиниста локомотива показывает социальное развитие Афганистана.

И все же, несомненно, самым значительным экспедиционным фильмом, показанным в Германии, был «Турксиб» (1929 г.) Виктора Турина. В этой картине речь идет об освоении степей и пустынь Казахстана в ходе строительства железной дороги Туркестан – Сибирь. Сопротивление природы должно быть преодолено: раскаленные пески пустынь, жестокая засуха и безжалостные песчаные бури в Туркестане, заледенелый снег, стужа и страшная грязь после оттепели в Сибири. В ленте много производящих большое впечатление кадров идущего поезда (оператор Борис Францисон, работавший также с Вертовым) и чудесная встреча, когда группа геодезистов из Москвы неожиданно наталкивается на местных кочевников. Азиаты кажутся москвичам странными, но жители степи испытывают гораздо большее отчуждение в отношении научных сотрудников в страшных очках от пыли. В фильме удалось точно изобразить это взаимное прощупывание. Поезд – это, конечно, метафора революции: маховые колеса локомотива передают силу, и поезд движется все быстрее и быстрее, пока его уже больше нельзя остановить. Но, как точно отмечает Хартмут Битомски, в кадрах просматриваются и другие политические оценки:

> В «Турксибе» пастухи устраивают гонки наперегонки с поездом на только что построенной железной дороге. Люди скачут на лошадях, ослах, верблюдах и быках, чтобы догнать локомотив. В конце они уже бегут пешие. Они не могут догнать поезд. Это безуспешная погоня, люди из прошлого и новое время[61].

В итоге, «новое видение» советского кино нацелено на то, чтобы содействовать рождению нового человека. Кто не идет в ногу со временем, тот отстает.

В Германии этот свежий, сделанный с юмором фильм пользовался неизменным успехом у публики. Так, в гамбургском Обществе познавательного кино «Урания» после 26 показов он считался «вершиной сезона»[62]. Ключ к пониманию такой популярности – его ясная и простая структура, ведь, как полагал сам Турин, самый большой недостаток многих до сих пор снимавшихся научно-популярных картин в том, что в

*Михаил Кауфман в фильме «Человек с киноаппаратом» (1928/29 гг.)*

них отсутствует четко выраженная и, одновременно, киногеничная тема[63]. Изюминка ленты заключена в том, что зритель идентифицирует захватывающий темп идущего поезда с бурным созиданием нового мирового и общественного порядка. Железная дорога перевозит не просто протагонистов, но их видение новой жизни в новом обществе. Советское кино всегда было киноутопией, показывающей конструкцию новой жизни и нового человека, преимущественно в игровом кино, но также и в документальном. Официальная эстетическая доктрина несколько позже стала определяться как (социалистический) реализм, однако, если и было кино, показывавшее не столько реальную, сколько воображаемую страну, то это советское кино.

Очень верно было сказано, что Сергей Эйзенштейн рассматривал кино, прежде всего, как синтез старых искусств и никогда не понимал, что оно, как ни одно другое искусство до того, несет в себе действительность, хранит ее и свидетельствует о ней. Но в советском кинематографе всегда было «кино восприятия и наблюдения», как, например, «Человек с киноаппаратом» Вертова и «Турксиб» Турина. Эти фильмы выступали за радость открытия, за любовь к зрелищу, аттракцион. Они провозглашали и олицетворяли любопытство, аллегорическим образом которого стал снятый Вертовым крупным планом глаз. В Германии это наблюдающее кино русских быстро нашло сторонников и подражателей, таких как Ганс Рихтер, Вильфрид Басе, Ласло Мохой-Надь и Элла Бергман-Михель. Неслучайно все они дружили с Вертовым. Рихтер даже снабдил свою вышедшую летом 1929 г. книгу «Противники кино сегодня – друзья кино завтра» многочисленными фотограммами из «Человека с киноаппаратом»[64].

Нельзя не сказать, что такое развитие имело международный масштаб, и фильмы Вертова оказали большое влияние на голландских и французских кинодокументалистов, таких как Йорис Ивенс, Жан Виго, Борис Кауфман и Жан Лодс. Ивенс говорил: «Человеческое в моих фильмах идет от Вертова и Пудовкина, от Эйзенштейна. В Советском Союзе меня ткнули носом в человека»[65]. Но и «Турксиб» Турина оказал глубокое воздействие на кинематографистов во всем мире, в том числе, по их

собственному признанию, на документалистов Джона Грирсона, Бэзила Райта, Генри Шторка, Иржи Вайса, Ричарда Лекока[66]. Примечательно, что оба фильма повлияли, прежде всего, на леволиберальных, буржуазных деятелей кино, а на кинематографистов, работавших на коммунистических студиях «Прометеус» и «Вельтфильм» – лишь ограниченно. Для повседневной политической борьбы с классовым противником поэтические ленты Вертова и Турина были недостаточно боевыми и убедительными и поэтому оценивались партийной печатью, в лучшем случае, как взгляд на жизнь большого города и на масштабный проект образцовой страны – Советского Союза.

В начале 1930-х годов в Германии были показаны и другие значительные советские документальные ленты, например, городская симфония «Москва» (1927 г.) Михаила Кауфмана (брата Вертова) и Ильи Копалина, правда, в сокращенной немецкой редакции. Напротив, критика обратила большое внимание и хвалила картину Кауфмана «Весной» (1929 г.), которая показывает борьбу людей со снеготаянием и где в кадрах повседневной жизни чувствуется пульс пробуждающейся природы[67]. Яков Посельский в ленте «Всесоюзная спартакиада» (1928 г.) прославляет грандиозный спортивный праздник, проведенный в Москве в августе 1928 г.[68]. В январе 1931 г. Посельский заснял проходивший в Москве процесс против обвиненной в контрреволюционной деятельности группы инженеров, так называемой «промпартии». Этот материал появился в Германии в коммунистической хронике «Welt und Arbeit» (№ 4–7), но уже скоро его показывали как короткометражный фильм «Процесс против промпартии», вероятно, идентичный «Процессу промпартии» (1931 г.) Посельского. «Совхоз Гигант» (1929 г.) Лидии Степановой дает портрет образцового предприятия первой пятилетки на Кавказе: крупнейший производитель зерна в мире. Андрей Винницкий в фильме «Сухумский питомник обезьян» (1929 г.) популярно рассказывает о научных экспериментах по изучению мыслительных способностей, причем в Германии он вышел как звуковое кино, с текстом и музыкой. Картина Эсфирь Шуб «Сегодня» (1929/30 гг.) построена на полемичном параллельном монтаже двух миров, на сравнении СССР с капиталистическими странами, в том числе и с США. Симфония труда Дзиги Вертова «Энтузиазм», или «Симфония Донбасса» (1930 г.) – это первый и, в то же время, последний звуковой документальный фильм, который был импортирован до банкротства фирм «Прометеус» и «Вельтфильм» в январе 1932 г.

## О понятии «документальное кино»

Еще более существенное влияние русское документальное кино оказало на теорию. Собственную теорию документального кино впервые предложил Дзига Вертов в 1920-е годы, а в 1929–1931 гг. в своих лекциях и статьях он познакомил с ней и Германию. К этому времени качественное отставание западного познавательного кино от советской кинодокументалистики было очевидным. Зигфрид Кракауэр констатирует:

> Понятно, что европейские “культурфильмы” не могут быть такими же целеустремленными и цельными, как учат русские. Но они не должны быть такими скучными и бессодер-

жательными, какими они являются в действительности. Они постоянно далеко обходят нашу жизнь и бегут в края, знание которых нам абсолютно ничего не дает[69].

Кракауэр жалуется, прежде всего, на то, что отечественной кинопродукции недостает социального сознания, профессионализма и общественно значимых тем. Если пойти еще дальше, то можно сделать вывод, что немецкий культурфильм олицетворяет разновидность кино non-fiction, но не является документальным в сегодняшнем критическом смысле. Это современное понятие, «документальное кино», на самом деле, возникло в конце 1920-х годов в Германии под впечатлением от советских фильмов.

В истории кинематографа слишком легко договорились считать Джона Грирсона, мэтра британских кинодокументалистов, главным проводником концепции и понятия «documentary», которое он впервые применил в 1926 г. в рецензии на фильм Роберта Флаэрти «Моана» (США, 1923/25 гг.)[70]. Правда, сам он позже указывал на французские корни этого определения[71]. На самом деле, в 1920-е – 1930-е годы о документальных фильмах школы Грирсона и, соответственно, об английском понятии для такого кино не слыхали ни в Советском Союзе, ни в Германии, и появились они там только после Второй мировой войны. Тем не менее понятие «документальный фильм» (или «документальное кино») появляется и в Советском Союзе, и в Германии в середине 1920-х годов и до конца десятилетия приживается наряду с уже существующим понятием «культурфильм».

В случае СССР доказано, что новое определение жанра было взято из французского языка. Понятие «документальный фильм» распространилось, прежде всего, благодаря критикам Николаю Лебедеву и Владимиру Ерофееву. В своих корреспонденциях августа 1926 г. они впервые стали употреблять его, не забыв упомянуть о его широком использовании во Франции[72]. Затем Ерофеев 10 декабря 1926 г. в своей речи, посвященной познавательному кино, перед Ассоциацией революционных кинематографистов (АРК)[73] сказал о «неигровом и документальном кино». Распространенное до того в русском языке неудобное определение «неигровой фильм» с течением времени исчезло. И в Германии термин «документальный» в отдельных случаях возникал в связи с кино уже середины 1920-х годов. Так, за антивоенным фильмом Курта Бернхардта «Безымянные герои» (Австрия, 1924 г.), в который были включены съемки империалистической бойни, была признана «документальная ценность»[74], а в 1928 г. Ганс Фельд в связи с портретом художника Ганса Кюрлиса размышлял о «задачах познавательного кино как кинодокумента»[75]. Но только в конце 1920-х годов, под влиянием нового советского кино, из кругов левой интеллигенции понятие вошло в профессиональную лексику. Это можно проследить по высказываниям в прессе.

В 1928 г. в ходе дебатов вокруг «Шанхайского документа» Блиоха Манфред Георг заявил, что научно-популярное кино должно иметь ценность документа, пусть даже отражающего политическую позицию[76]. Дзига Вертов озаглавил свою статью в «Film-Kurier» (1 июня 1929 г.) «Документальный [sic!] фильм – эксперимент», причем определение буквально дословно было перенесено из русского языка[77]. В том же номере Альбрехт Виктор Блюм, активно работавший на «Прометеусе» и «Вельтфильм», под заголовком «Документальное и художественное кино» дал принципиальную дефиницию жанра. Однако дальнейшее распространение понятие получает в сообщениях о кино на выставке «Кино и фотография» в Штутгарте летом 1929 г.

*«Что видит Кино-Глаз» – фотомонтаж Вертова к «Человеку с киноаппаратом», сделанный им в 1929 г. для своего турне по Германии*

Если берлинский корреспондент Эндор Красна-Краус просто пишет о фильмах, «которые можно было бы назвать документальным кино»[78], то рецензент «Schwaebische Tagwacht» в лапидарном стиле констатирует: «Если в документальных фильмах голландцев отсутствует напряжение, то у русских его в избытке»[79]. Творческие объединения, например, «Новый Франкфурт», обсуждали тему в статьях[80], на кинопросмотрах и в ходе серии докладов, с которыми выступали такие специалисты, как Йорис Ивенс («Документальный фильм», 3 мая 1931 г.), Дзига Вертов («От киноглаза к радио-глазу», 4 октября 1931 г.) и Пауль Зелигман («Конец документального кино», 19 октября 1931 г.). В других статьях новое понятие жанра также пытались наполнить содержанием. Так, Йорис Ивенс видит особенность документального кино, между прочим, и в том, что оно не постановочное[81], а Вильфрид Басе подчеркивает, что в документальном кино все зависит от того, чтобы не насиловать его объекты[82]. Молодое поколение кинодеятелей сознательно подхватило понятие, чтобы дистанцироваться от старого, как бы полученного ими по наследству, «культурфильма». Нельзя не сказать и о том, что в Германии с середины 1920-х годов почву для нового понимания «документальности» готовило движение «Новая вещественность»[83]. В театре понятие подхватил Эрвин Пискатор, в фотографии – Ласло Мохой-Надь, но обоих всегда вдохновляло кино.

## Эпилог: в фарватере «кино русских»

Сначала советское документальное и игровое кино вдохновляло политически ангажированных кинематографистов. Продукция фирм КПГ «Прометеус» и «Вельтфильм» показывала преимущественно демонстрации, партийные съезды и автопортреты организаций. Но под русским влиянием вдруг могли появляться фильмы, имевшие явно социально-критическую направленность. Впервые возникли сюжеты, посвященные досугу рабочих, условиям труда и быта, протесту против скверной ситуации с жильем и работой. Сюда относятся «Хлеб насущный (Голод в Вальденбурге)» (1929 г.) Пиля Ютци и Лео Ланиа, «Кровавый май» (1929 г.) и «Счет смерти» (1930 г.) Ютци, «В тени машины» (1928 г.) Альбрехта Виктора Блюма и Лео Ланиа, «Руки» (1931 г.) Блюма и его же «В тени метрополии» (1930 г.), «Проблема времени. Как живет рабочий» (1930 г.) Златана Дудова. Из фильмов, близких СДПГ, следует назвать «Твоя судьба!» (1928 г.) Эрнё Метцнера и «Два мира» (1930 г.) Вернера Хохбаума. Эти фильмы, на самом деле, можно охарактеризовать как документальные, в сегодняшнем, критическом смысле слова. В то же время, в авторском кино появились такие личности, как Ютци, Блюм и Хохбаум.

Кроме того, в конце 1920-х годов многие представители авангардистского кино обратились к социальному документальному фильму. Их ленты в гораздо большей степени, чем фильмы, сделанные под патронажем политических партий, основывались на наблюдении и открытиях, как это было у Вертова, Турина и Блиоха. Сюда можно причислить «Инфляцию» (1928 г.), «Симфонию гонок» (1928 г.) и «Новую квартиру» (1930 г.) Ганса Рихтера, «Впечатления о большом городе» (1929 г.) Алекса Штрассера, «Берлинский рынок» (1929 г.) Вильфрида Басе, его же «Красный рупор» (1931 г.), «Где живут старые люди?» (1931 г.), «Безработные готовят для безработных» (1932 г.) и «Летающие торговцы» (1932 г.) Эллы Бергман-Михель, «Город мира в переходные годы» (1931 г.) Генриха Хаузера, «Впечатления о старом порте Марселя» (1929/32 гг.), «Берлинский натюрморт» (1932 г.) и «Цыгане большого города» (1932 г.) Ласло Мохой-Надя, «Александерплатц, захваченная врасплох» (1932 г.) Петера Певаса. Эти фильмы вдохновлялись советским документальным кино конца 1920-х годов, в котором политическая позиция не противоречила фотографическому качеству и эстетике. Немецкие кинематографисты были захвачены и виртуозной техникой монтажа, и социальным звучанием советского кино. «Политическое кино, – будет позднее анализировать Ганс Рихтер, – родилось в революционной России в 1919–1925 гг. из потрясшего всех глубокого общественного преобразования»[84].

*Перевод с немецкого Марианны Корчагиной*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Münzenberg W.* Erobert den Film! Winke aus der Praxis für die Praxis proletarischer Filmpropaganda. – Berlin, 1925. Цит. по: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Dokumente und Materialien zur Entwicklung der Filmpolitik der revolutionären Arbeiterbewegung und zu den Aufgaben einer sozialistischen Filmkunst in Deutschland. Bd. 1. – Berlin (Ost), 1978. S. 55–63.

[2] *Cosandey R.* Eloquence du visible: La famine en Russie 1921–1923, une filmographie documentée // Archives (Perpignan). 1998, Nr. 75/76. S. 28. Некоторые исследователи предполагают, что речь

идет о картинах «Голод … голод … голод» (1921 г.) Владимира Гардина и Всеволода Пудовкина и «Голод и борьба с ним» (1922 г.) Николая Салтыкова. См. напр.: Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolscheviki. – Berlin, 1995. S. 277.

[3] Die Rote Fahne. Nr. 152, 30. März 1922.

[4] Цит. по: Revolutionärer Film in Deutschland (1918–1933). Über revolutionäre Filmpraxis in der Weimarer Republik, sozialistische Filmkritik, aktuelle Filmübersicht. Dokumentation. – Berlin, 1996. S. 9.

[5] Für die Russlandhilfe // Film-Kurier. Nr. 220, 6. Oktober 1922.

[6] Ebd.

[7] См. напр.: *May R.* Filme für die Volksfront. – Berlin, 2001. S. 32–34; *Döge U.* Willi Münzenberg // CineGraph. Lexikon zum deutschsprachigen Film.

[8] Film-Kurier. Nr. 220, 6. Oktober 1922.

[9] См.: Film-Kurier. Nr. 226, 13. Oktober 1922; Nr. 261, 30. November 1922; Nr. 63, 15. März 1923; Lichtbild-Bühne. 6. Januar 1923.

[10] Цит. по: Filmwissenschaftliche Mitteilungen. 3 (1967). S. 916.

[11] Цит. по: Filmwissenschaftliche Mitteilungen. 3 (1967). S. 916.

[12] Ebd. S. 919.

[13] Ebd. S. 923–924.

[14] Gothaer Volksblatt. Nr. 90, 18. April 1923.

[15] Так писала «Rote Fahne» 12 сентября 1924 г. Цит. по: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 1. S. 310–312.

[16] Подробнее см.: *Tode Th., Gramatke A.* Dziga Vertov: Tagebücher / Arbeitshefte. – Konstanz, 2000. S. 220–221.

[17] Международный экспертный комитет под руководством Чарльза Дауэса 9 апреля 1924 г. опубликовал новый план финансирования, который поставил репарационные платежи Германии исключительно в зависимость от ее экономической эффективности.

[18] *Tümmler K.* Traditionen des sozialistischen Films in Deutschland // Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Nr. 6 (1969). S. 994.

[19] Цит. по: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 1. S. 35.

[20] Rote Fahne. 8. August 1922. Rote Fahne. 3. Oktober 1922.

[21] Цит. по: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 1. S. 36.

[22] Rote Fahne. 13. November 1922.

[23] Цит. по: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 1. S. 47–51.

[24] Ebd.

[25] Подробнее см.: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 2. S. 207.

[26] Подробнее см.: *Münzenberg W.* Op. cit. S. 20. А также: Film-Kurier. 15. September 1924; Rote Fahne. 17. September 1924.

[27] Густой суп, заменяющий первое и второе блюдо

[28] Film-Kurier. 15. September 1924.

[29] *Münzenberg W.* Op. cit. S. 21.

[30] Цит. по: Filmwissenschaftliche Mitteilungen. 3 (1967). S. 926.

[31] *Münzenberg W.* Op. cit. S. 13.

[32] Подробнее см.: Film-Kurier. 22. September 1925.

[33] Об истории студии см.: Film und Volk. Nr. 4, Mai 1929.

[34] См.: Der Kulturfilm-Katalog 1929–1930. Издание торгового представительства СССР в Германии.

[35] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Д. 412. О запрете фильма см.: Film-Atelier. Nr. 9, Mai 1931.

[36] Подробнее см.: *Cull N.J.*, *Waldron A.* Shanghai Document – «Shankhaiskii Dokument» (1928): Soviet film propaganda an the Shanghai rising of 1927 // Historical Journal of Film, Radio and Televison. Nr. 3, 1996. S. 309–331. Правда, описанная там копия из Библиотеки конгресса в Вашингтоне в некоторых деталях отличается от оригинального монтажа. Архив получил копию в 1990 г. из Госфильмофонда. Есть и другие версии.

[37] Film und Volk. Nr. 1, November 1928. S. 4.

[38] *Wertow D.* Schriften zum Film. – München, 1973. S. 112.

[39] Film-Kurier. 10. Novenber 1928.

[40] См.: Film und revolutionäre Arbeiterbewegung in Deutschland 1918–1932. Bd. 2. S. 275–283.

[41] Союз народного кино занимался пропагандой достижений революционного кинематографа. В его правление входили Г. Манн, Э. Пискатор, Б. Балаш, К. Кольвиц, В. Рутман, Пабст и др.

[42] Lichtbild-Bühne. Nr. 271, 10. November 1928.

[43] См. напр.: Close Up. Nr. 2, Februar 1929. S. 76–77.

[44] Цит. по: *Tode Th., Gramatke A.* Dziga Vertov… S. 25.

[45] См.: *Tode Th.* Filmische Gegeninformation. Einige Schlaglichter aus der Filmgeschichte // *Raunig G.* (Hrsg.). Bildräume und Raumbilder Repräsentationskritik in Film und Aktivismus. – Wien, 2004. S. 147–149.

[46] Film und Volk. Nr. 3, April 1929. S. 1.

[47] О В. Ерофееве см.: *Дерябин А.* (отв. ред.). Владимир Алексеевич Ерофеев (1898–1940). – М., 1998. Тексты Ерофеева о научно-популярном кино см. в: Киноведческие записки. № 58. – М., 2002. С. 276–285.

[48] Подробнее см. статьи Ханса-Иохима Шлегеля и Николая Лебедева в: Киноведческие записки. № 58. – М., 2002.

[49] См.: *Братолюбов С.* На заре советской кинематографии. – Л., 1976. С. 70.

[50] О киноэкспорте из Германии см.: Film-Kurier. 14. April 1923.

[51] Научно-популярное, или познавательное кино, по-немецки Kulturfilm.

[52] В 1932 г. график и оформитель Роберт Михель вместе со своей женой кинодокументалистом Эллой Бергман-Михель создал союз «Новый Франкфурт», объединивший авангардистов – художников, графиков, архитекторов, озабоченных решением проблемы отношений «человек – машина». (*Прим. перев.*).

[53] См. мою статью об Элле Бергман-Михель в: CineGraph. Lexikon zum deutschsprachigen Film, а также статьи о советском и документальном кино в: Das Neue Frankfurt. Nr. 4, 1929; Nr. 1, 8, 11, 1930.

[54] См.: *Lacis A.* Revolutionär im Beruf. Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator. – München, 1971. S. 62–63.

[55] В советском прокате «Симфония большого города». (*Прим. перев.*).

[56] *Kracauer S.* Der Mann mit dem Kinoapparat // Frankfurter Zeitung. Nr. 369, 19. Mai 1929.

[57] Цит. по: *Mierau F.* (Hrsg.). Russen in Berlin. Literatur, Malerei, Theater, Film 1918–1933. – Leipzig, 1991. S. 507.

[58] См.: Film-Kurier. Nr. 51, 2. März 1931; Rote Fahne. 5. Juli 1929.

[59] См.: *Schub E.* Die Fahrt nach Berlin 1929 // Sowjetischer Dokumentarfilm. Berlin (Ost), 1967. S/202–204; Close Up. Nr. 6, Dezember 1929. S. 460–461.

[60] См.: *Tode Th.* Ein Russe projiziert in die Planetariumskuppel: Dsiga Wertows Reise nach Deutschland 1929 // Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolscheviki. S. 151; Internationale Ausstellung des Deutschen Werkbundes Film und Foto. Ausstellungskatalog. – Stuttgart, 1929.

[61] *Bitomsky H.* Nanooks Lächeln // *Blümlinger Ch., Wulff C.* (Hrsg.). Schreiben, Bilder, Sprechen. Texte zum essayistischen Film. – Wien, 1992. S. 185.

[62] См. рецензии: Rote Fahne. 29. Dezember 1929 und 7. Februar 1930; Film und Volk. Nr. 2, Februar 1930. S. 25–27; Sozialistische Film-Kritik. Nr. 2, 7. März 1930 und Nr. 6, 23. Mai 1930; Arbeiterbühne und Film. Nr. 10, Oktober 1930. S. 25.

[63] Цит. по: Filmwissenschaftliche Mitteilungen. Nr. 3 1967. S. 1084–1086.

[64] О влиянии Вертова см.: *Tode Th.* Ein Russe projiziert in die Planetariumskuppel…; ders.: Ein Russe auf dem Eiffelturm. Wertow in Paris // *Drubek-Meyer N.*, *Muraschov J.* (Hrsg.). Apparat und Rhapsodie. Zu Filmen des DsigaVertov. – Frankfurt/M., 2000. S. 43–71.

[65] Цит. по: *Lataster P.* Gespräch mit Joris Ivens // Berliner Begegnungen. S. 128.

[66] О влиянии Турина см.: *Leyda J.* Internationale Filmschaffende über sowjetische Dokumentarfilme // Sowjetischer Dokumentarfilm. 1967. S. 63–64.

[67] См. отзывы: Film-Kurier. 5. Januar 1931; Lichtbildbühne. 5. Januar 1931; Arbeiterbühne und Film. Nr. 2, Februar 1931. S. 30.

[68] Film und Volk. Nr. 8, Oktober 1929. S. 14; Arbeiterbьhne und Film. Nr. 10, Oktober 1930. S. 31.

[69] *Kracauer S.* Kino. Essays, Studien, Glossen zum Film. – Frankfurt/M., 1974. S. 108.

[70] New-York Sun. 8. February 1926.

[71] «Французы первыми стали пользоваться этим выражением, но понимали под ним только “экспедиционные фильмы”». Цит. по: Grierson und der Dokumentarfilm. – Gütersloh, 1947. S. 116.

[72] См.: архив Музея кино в Москве. Фонд Н. Лебедева.

[73] Ассоциация революционных кинематографистов (АРК) – объединение советских кинематографистов в 1924–1935 гг., с 1929 г. – Ассоциация работников революционной кинематографии (АРРК). Основана в Москве по инициативе группы деятелей кино и литераторов (А.Д. Анощенко, М.Е. Кольцов, Л.В. Кулешов, Н.И. Лебедев, С.М. Эйзенштейн, В.И. Пудовкин и др.).

[74] См.: Rote Fahne. 24. Oktober 1925; в Германии фильм сначала шел под названием «Пехотинец Шольц».

[75] Film-Kurier. 7. April 1928.

[76] Film und Volk. Nr. 1, November 1928.

[77] Немецкий заголовок «Der dokumentale Film» повторяет русское «документальный фильм». – *Прим. перев.* В отдельных случаях такая форма определения употреблялась и позже, например, в журнале «Arbeiterbühne und Film» за декабрь 1930 г. на странице 24.

[78] Close Up. Nr. 6, Dezember 1929.

[79] Schwäbische Tagwacht. 24. Juni 1929.

[80] См. напр.: *Ganter J.* Der dokumentarische Film // Das Neue Frankfurt. Nr. 8, 1930.

[81] Film-Kurier. Nr. 63, 14 März 1931.

[82] Film für Alle. Nr. 1, Januar 1932.

[83] «Новая вещественность» («Neue Sachlichkeit», или магический реализм) – течение в немецкой живописи 1920-х годов. Художники, работавшие в этом стиле, например, А. Канольдт и Г. Шримпф, отражали бездушие буржуазного мира, а О. Дикс и Ж. Гросс использовали его для создания гротескных социально-критических образов.

[84] Цит. по: *Witte K.* (Hrsg.). Theorie des Kinos. Ideologiekritik der Traumfabrik. – Frankfurt/M., 1972. S. 61–63.

*Евгений Марголит*

# СТРАНА-ДВОЙНИК. Трансформация экранного образа Германии в игровом советском кино между двумя мировыми войнами

Нередко обращаясь к тем или иным советским фильмам о жизни за рубежом историки советского игрового кино ни в России, ни на Западе, к сожалению, никогда не занимались непосредственной систематизацией и типологией того тематического раздела советской кинопродукции, который был посвящен зарубежному материалу. Между тем фильмы на этом материале в 20–30-е годы, вплоть до начала Второй мировой войны, составляют не менее 20 % от общего числа продукции, создававшейся в СССР. И это, разумеется, совершенно неслучайно. Повышенный интерес к зарубежному материалу напрямую связан с сущностными чертами феномена советского кино тех лет, с целым комплексом причин как эстетического, так и идеологического характера. С одной стороны – видоизменяясь, продолжает оставаться актуальной вплоть до нападения Гитлера на СССР идея мировой революции, что ярко отразится на всем протяжении рассматриваемого периода. С другой – укрепление основ государственности прямо связано с темой враждебного капиталистического окружения и неизбежности войны с ним, в результате которой и должна, в конце концов, победить мировая революция. Наконец, интенсивные поиски в области непосредственно киноязыка, особенно характерные для 20-х – начала 30-х годов, побуждают советских кинематографистов обращаться к художественному опыту наиболее передовых кинематографий и, тем самым, – к материалу их *эстетической* реальности.

Разносторонность комплекса перечисленных причин наглядно отражается в предпочтениях при выборе конкретного географического материала. Наиболее распространенным местом действия в фильмах подобного рода между двумя мировыми войнами оказываются: США, Польша и Германия.

Эстетический аспект обращения советских кинематографистов к зарубежному материалу наиболее явственно отразился в фильмах, действие которых разворачивается в Америке. Отделенная от Советского Союза океаном, Америка в равной степени оказывается как воплощением развитого капиталистического общества с пресловутыми «обнаженными классовыми противоречиями», так и индустриально-технической утопией, с которой многие деятели культуры в России с начала XX века связывали надежды на кардинальное обновление общества, ускорение темпов его развития. Неслучайно к американскому материалу в первую очередь обращаются творцы и теоретики «монтажного метода» в советском кино (причем, называя этот монтаж «американским») – Лев Кулешов и ученики его мастерской в Москве, Семен Тимошенко в Ленинграде. Причем избирается по преимуществу авантюрно-фантастический или просто авантюрный жанр, требующий максимально ускоренного ритма, так что современная техника оказывается здесь решающим средством – как сюжетным, так и собственно эстетическим. Излюбленный мотив – борьба за сверхсовре-

менное оружие, с помощью которого капиталисты хотят покорить Советскую Россию. С помощью зарубежных рабочих (мотив, обязательный для всех фильмов на этом материале на всем протяжении рассматриваемого периода) Советский Союз достойно отражает удар и приходит на помощь восставшим братьям по классу. Такова сюжетная модель таких характерных для середины 20-х годов работ, как «Луч смерти» (1925) Л. Кулешова или «Наполеон-газ» (1925) С. Тимошенко.

Сразу укажем, что именно в этих фильмах на американском материале, а вовсе не в фильмах о Германии, впервые в советском кино появляется персонаж, именуемый «фашист». Это примечательная подробность. Она свидетельствует о том, что действительная сущность фашистской идеологии, ее специфика с самого начала оказалась как бы «не в фокусе», и так будет продолжаться фактически до июня 1941 года. «Фашизм» в представлении советского киноискусства не более чем воплощение крайне реакционных – то есть радикально антисоветских – сил капиталистического общества. Это представители аристократии, военных кругов и духовенства, представленные с оттенком чисто жанровой инфернальности.

Превалирование американского материала (конечно же, в наивысшей степени условно «американского») в группе фильмов зарубежной тематики характерно для 20-х годов прежде всего как эпохи освоения специфики киноязыка. С начала 30-х количество таких фильмов неуклонно снижается. Если с 1924 по 1931 год было снято около 20 фильмов, действие которых разворачивается в Америке, то за последующее десятилетие – в 2 раза меньше, не более десяти.

Идеологический, агитационно-пропагандистский аспект фильмов зарубежной тематики наиболее полно воплощен в фильмах на материале современной Польши как пограничного с Советским Союзом враждебного капиталистического государства. Именно враждебное противостояние Польши, имеющее в русской истории давние корни, здесь подчеркивается, переводясь в план не национального, а классового противостояния[1]. Нам здесь важен центральный для этих фильмов мотив границы. Конкретная государственная граница – понятие пространственное – одновременно предстает в этих фильмах границей между прошлым и будущим, границей эпох – как понятие временное. На территориях бывшей Российской Империи, принадлежащих теперь независимой Польше, продолжается прошлое, в то время как рядом, в нескольких километрах, строится идеальный мир будущего, которое неизбежно наступит для всего зарубежного, и в том числе для польского, пролетариата. Именно на границе развертывается подавляющее большинство картин на этом материале, а наиболее заметная из них так и называется – «Граница» (1935). Естественно, что апофеозом сюжета оказывается, как правило, уход главного героя в СССР – то есть в будущее – еще один ведущий мотив для всех без исключения фильмов на зарубежном материале.

## 1924–1934. Германия – «красный фронт»

Фильмы на материале современной Германии занимают в ряду фильмов зарубежной тематики особое место. Обострение социальных противоречий после поражения Германии в Первой мировой войне превратило ее в арену классовых сражений и в результате – в центр европейского рабочего движения. Ситуация в Германии вос-

принималась советским руководством и подавалась официальной советской пропагандой как наглядное доказательство тезиса о неизбежности мировой революции. В официальном советском восприятии Германия представала выразительным аналогом России накануне пролетарской революции. Германия, можно утверждать с некоторой долей допущения, превращалась в своего рода двойник пролетарской России, в силу неопровержимой, как казалось, общности судеб двух революций – русской и германской.

Отсюда мотив прямых аналогий, распространяющийся в 20-е годы и в советской прессе, и в искусстве, начиная, например, с повторяющегося утверждения: «Гамбург – германский Питер»[2] до знаменитых кадров из фильма Фридриха Эрмлера «Обломок империи» (1929), где русский и немецкий солдат Первой мировой, столкнувшись на поле боя, обнаруживают, что у них одно лицо (обоих персонажей сыграл один и тот же советский актер Федор Никитин, популярный в те годы в Германии).

Все это накладывалось на давний взаимный интерес обеих культур, помноженный на тесное экономическое сотрудничество вообще в этот период, и сотрудничество в области кинопроизводства в частности. Это одна из важнейших особенностей фильмов на немецком материале, присущая всей группе на протяжении исследуемого периода, вплоть до Второй мировой войны.

Советско-германские кинематографические связи подробно исследованы, прежде всего, на материале деятельности «Межрабпомфильма» и его дочерних студий в Германии[3]. Однако ими она далеко не исчерпывается. На протяжении нашего исследования мы то и дело будем встречаться с участием деятелей немецкой культуры – не только актеров и режиссеров, он и операторов, художников, прозаиков, драматургов – в создании советских фильмов на немецком материале.

Показателен в этом смысле наиболее значительный, итоговый для воплощения этого материала в советском кино середины 20-х годов снятый на Одесской студии «ВУФКУ» фильм «Гамбург» (1926), посвященный вооруженному выступлению гамбургских рабочих в 1923 году.

«Если бы на этой картине не было марки “ВУФКУ”, мы были бы твердо уверены, что она сделана в Германии, что это немецкий боевик, и написали бы о немецкой технике»[4] – этот отзыв московского журнала «Кино-фронт» типичен для отзывов прессы о «Гамбурге», где едва ли не в каждой статье отмечалась тщательность проработки антуража, типажей и прочего.

Это неудивительно. «Гамбург» стал режиссерским дебютом Владимира Баллюзека, в качестве художника работавшего в кино с середины 10-х годов преимущественно с Яковом Протазановым (в частности, на знаменитой «Пиковой даме»). Баллюзек учился живописи именно в Германии, куда эмигрировал после событий русской революции 1905 года – с реалиями немецкого быта, как и с немецкой художественной традицией, он был знаком не понаслышке. Воспользовавшись своими немецкими связями, он пригласил из Германии в качестве «художника-архитектора» (так было указано в титрах) Генриха Байзенгерца (Heinrich Beisenherz), выстроившего на Одесской киностудии целые кварталы из фанеры, точно воспроизводившие топографию «немецкого Питера», что пресса подчеркивала особенно восхищенно. Снимали фильм активно работающие на «ВУФКУ» в период немого кино немецкие операторы Иосиф Рон и Михаэль Гольдт. Наконец, большая часть исполнителей ролей в фильме была подобрана по принципу так называемого «типажа» из участников Интернационального клуба, учащихся немецкой секции Одесской партийной

школы и немецких колонистов: в окрестностях Одессы было в то время немало поселений немцев, переселившихся, в основном, по религиозным мотивам в Россию в конце XVIII века.

Что до литературной основы фильма, то историки кино отсылают к книге очерков известной коммунистической журналистки эпохи гражданской войны Ларисы Рейснер[5] «Гамбург на баррикадах». Однако жесткая фабула в авантюрном духе принадлежит сценаристам картины – одесскому журналисту Семену Шрейберу и известному в будущем украинскому прозаику Юрию Яновскому, которые, в свою очередь, использовали сюжетные мотивы пьес известного в те годы немецкого драматурга-экспрессиониста Карла Витфогеля[6]. Эту подробность стоит оговорить особо, ибо именно Витфогелю принадлежит мотив, который в разных модификациях окажется чрезвычайно распространенным в советских игровых фильмах о Германии на рубеже 20–30-х годов. Речь идет о добровольном возвращении революционера, бегущего из тюрьмы, обратно на суд, чтобы разоблачить на судебной речи «палачей рабочего класса». К сюжету Витфогеля кино СССР вернется в звуковом фильме «Беглец» (1932); вариацию на него легко можно усмотреть и в «Дезертире» Пудовкина[7].

Об итоговом же для данного периода характере «Гамбурга» можно говорить потому, что «по горячим следам» гамбургского восстания в 1924 году советское кино выпустило сразу две игровые картины – «Красный тыл» и «Побежденные сегодня». Обе они не сохранились, а о второй, к тому же, не дошло почти никаких сведений, поскольку она была снята отделением студии «Пролеткино» в Саратове силами местных актеров-любителей. Многозначительно, однако, место создания фильма: здесь была организована республика немцев Поволжья на основе опять-таки немецких поселений. Несколько лет спустя Саратовское отделение «Пролеткино» преобразуется в «Немкино» и выпустит ряд фильмов (включая и игровые[8]) из жизни немцев Поволжья. Тем самым, скромная полулюбительская короткометражная (3 части) картина положит начало практике участия в фильмах рассматриваемой группы местного немецкого населения. Вслед за Одессой ее будет развивать «Ленфильм»: в начале 30-х старые петербургские немцы станут участниками фильмов «Фриц Бауэр» (1930) и «Утирайте слезы» (1932).

«Красный тыл», поставленный московским отделением «Пролеткино», пропагандировал деятельность МОПРа (Международного общества помощи рабочим), центр которого находился в Германии. Судя по аннотации в справочнике Госфильмофонда СССР «Советские художественные фильмы» и отзывам прессы, это – типичный фильм на иностранном материале середины 20-х годов со множеством авантюрных перипетий: героиня – коммунистка (ее играла актриса Ольга Третьякова – жена известного драматурга, друга и переводчика Бертольта Брехта Сергея Третьякова) – занимается переправкой в Советский Союз товарищей по партии, проявляя при этом, чудеса изобретательности и конспирации. Рудименты авантюрного сюжета, который критикам «Гамбурга» будет представляться два года спустя наиболее архаичным моментом фильма, носит в «Красном тыле» самодовлеющий характер. Авторы (режиссером картины был плодовитый постановщик немого кино с большим партийным стажем Дмитрий Бассалыго) и не ставили задачи воспроизведения реалий – а тем более атмосферы, как это будет в «Гамбурге» – современного немецкого быта. Но здесь как раз, так же, как и в «Луче смерти» или «Наполеон-газе» фигурируют «фашисты», о которых в «Гамбурге» речи не идет, поскольку в событиях 1923 года национал-социалисты себя никак не проявляли.

Между тем в «Гамбурге» впервые возникает тема предательской роли правых социал-демократов: один из персонажей фильма проходит путь от предательства идейного до прямого сотрудничества с полицией в качестве платного агента. Так, в советском кино возникает постоянный персонаж в фильмах о Германии – «социал-предатель», который вплоть до второй половины 30-х годов будет выступать в качестве главного противника героев, в полном согласии с советскими официальными идеологическими установками. Постепенно подобный персонаж оформляется в фигуру, аналогичную «меньшевику» из советских фильмов о русской революции, где на протяжении десятилетий этот персонаж будет оказываться прямым пособником полицейского дореволюционного режима в борьбе с истинными революционерами – большевиками.

Проведение прямых аналогий с русской революцией в фильмах о Германии этим не исчерпывается. Еще одно распространенное сравнение в откликах на «Гамбург» – с «Броненосцем “Потемкин”». И речь не только о весьма выразительных массовых сценах. Так, проводящий подобную параллель рецензент газеты «Труд» пишет несколькими строками ниже: «Гамбургская драма производит сильное впечатление. В ней хорошо передано то сгущение героических и трагических чувств, которое присуще восстаниям, заканчивающимся поражением»[9]. Тем самым, гамбургское восстание рассматривается как некая параллель событиям русской революции 1905 года, которую Ленин назвал «генеральной репетицией» Октябрьского переворота.

Принцип прямых аналогий с предельной полнотой отражен в фильме «Города и годы» – наиболее значительной после «Гамбурга» работы на немецком материале в советском немом кино. Здесь этот принцип заложен непосредственно на уровне сюжетной структуры в литературном первоисточнике – написанном в первой половине 20-х годов романе советского писателя, члена заметной литературной группы «Серапионовы братья», Константина Федина, посвященном событиям Первой мировой войны и революции в России и Германии, причем, действие разворачивалось по принципу параллельного монтажа в двух странах одновременно. Откровенно кинематографический характер построения сюжета романа остро ощутил режиссер экранизации Евгений Червяков, один из наиболее ярких представителей советского киноавангарда в Ленинграде 20-х годов.

Между тем работа над фильмом была завершена в конце 1930 года. В промежутке между 1926-м и 1930-м годом немецкая тема почти исчезает из тематических планов советских киностудий, уступая ведущее место не только американской и польской, но и французской (в этот период появляется, в частности, несколько фильмов, посвященных событиям Парижской Коммуны 1871 года). Парадокс ситуации состоит в том, что это происходит на фоне интенсивно и разнообразно развивающихся советско-германских связей, успешного опыта совместных кинопостановок (одной из них в 1928 году и стала «Саламандра» – единственный в этом промежутке фильм на немецком материале, к которому мы еще обратимся) и обмена творческими кадрами. Однако здесь, на наш взгляд, и кроется объяснение столь неожиданной ситуации – в ней отразилась относительная стабилизация экономики, а вместе с ней и общественной жизни Германии, продолжавшаяся вплоть до 1929 года, когда разразился кризис, обозначивший начало эпохи Великой Депрессии.

Переходный характер новой ситуации выразительно сказался на фильме «Города и годы». Эта работа должна была стать очередной совместной советско-германской постановкой (немецкую сторону представляла берлинская фирма «Дерусса»), одна-

ко, в окончательном варианте работу над фильмом вел только «Ленфильм». Официальной причиной назывались административные недоразумения, чуть ли не финансовые махинации, но так или иначе речь идет о последнем в 20-е годы совместном проекте, работа над которым была доведена до стадии съемочного периода. Группа успела провести ряд съемок в Германии (впрочем, подавляющее большинство из них не вошло в окончательный вариант фильма) и снять в одной из главных ролей немецкого офицера-аристократа выдающегося актера немецкого кино 20-х годов Бернгарда Гетцке (до этого Гетцке уже снялся в «Саламандре»).

Переходный характер фильма выразился и в выборе времени действия: в 1930–1932 годах советское кино, все чаще обращаясь к немецкому материалу, на первых порах предпочитает начало 20-х годов; излюбленным материалом остаются гамбургское восстание («Фриц Бауэр»), восстание горняков Рура в 1920 году («Друзья совести»). Однако трагедийный пафос, который советская пресса середины 20-х приветствует в «Гамбурге» как нечто вполне естественное, судя по приводившемуся выше отзыву, официальная идеология в начале 30-х воспринимает совершенно иначе, что сказалось непосредственно на судьбе следующих фильмов.

Нет сомнения, что впечатления от Германии 1930 года сильно повлияли на интонацию фильма Е. Червякова. Один из самых впечатляющих мотивов киноверсии «Города и годы» – образ толпы, теряющей человеческий облик в шовинистическом угаре, оказался намного более выразительным, чем образ революционной массы, что было тотчас же отмечено и киноруководством, и официальной критикой как крупный идейный просчет режиссера.

Внутреннее родство с главным героем романа и фильма – русским художником, интеллигентом-идеалистом, как ни открещивались от него авторы романа и создатели фильма, здесь проявилось совершенно отчетливо, и тотчас было поставлено создателям в вину. Червяков оказался одним из немногих – если не единственным – среди авторов советских игровых фильмов на немецком материале, кто ощутил действительный характер и масштабы пугающего феномена немецкого фашизма. Неслучайно он на протяжении нескольких лет после постановки «Городов и годов» добивался разрешения снять фильм по сценарию «Боги на протезах» – портрет буржуазного общества, больного идеей «сверхчеловека». Столь же неслучайно и то, что реализовать этот замысел художнику так и не позволили.

Судьба фильма «Друзья совести» (рабочие названия – «Восстание в Руре», «Пылающий Рур»), снимавшегося на «Межрабпомфильме», в 1932 году оказалась и вовсе катастрофической. Он был запрещен к показу Главреперткомом РСФСР со следующей формулировкой: «…запретить как дающую мрачную пессимистическую оценку борьбы русского пролетариата в 1920 году, обессмысливающую революционное движение путем подчеркивания его стихийной стороны, и как чисто формалистическое произведение, совершенно недоступное для массового зрителя»[10]. Фильм не сохранился, и это чрезвычайно печально, если учесть, что постановщиком его был актер и режиссер театра и кино Константин Эггерт, один их наиболее коммерчески успешных режиссеров «Межрабпомфильма», в чьем знаменитом боевике 1925 года «Медвежья свадьба» сказалось явное влияние именно немецких ранних фильмов ужасов (героем «Медвежьей свадьбы» – вольного переложения известной новеллы Проспера Мериме «Локис» – в исполнении самого Эггерта был граф-вампир).

Отныне на протяжении всего последующего десятилетия будет постоянно прослеживаться тенденция в рассматриваемой группе фильмов к снятию трагедийной личностной коллизии с целью полного соответствия идеологической схеме. На рубеже 30-х годов эта ситуация усугубляется тем обстоятельством, что партийный аппарат впервые в эти годы пытается взять на себя руководство кинематографом и внедряет в качестве ведущего жанра модель так называемого «агитпропфильма» (агитационно-пропагандистского фильма), представляющего собой иллюстрацию набора основных пропагандистских лозунгов средствами документального и игрового кинематографа. Оголенный схематизм конструкции фильмов подобного рода очевиден. Он быстро доказал свою несостоятельность, однако отпечаток, который эта модель наложила на фильмы зарубежной тематики, сказался особенно явственно, тем более, что именно в начале 30-х выпуск фильмов на зарубежном материале резко возрастает – и, прежде всего, за счет фильмов о современной Германии. Так, например, если за период 1932–1935 годов фильмов на американском материале произведено семь, на польском – только четыре, то на материале современной Германии – пятнадцать[11].

Подавляющее большинство рассматриваемых нами фильмов этого периода сделано по общей схеме. Основой сюжета становится забастовка рабочих. Пролетариям противостоит, с одной стороны, репрессивная система полицейского государства, с другой, – предательская политика его неизменных по этой схеме приспешников: социал-демократов. Социал-демократы в советских фильмах, продолжая традицию, начатую еще в «Гамбурге», всеми силами стремятся отвлечь пролетариат от продолжения – разумеется, победоносного – классовой борьбы, будучи подкуплены полицейским режимом. В финале рабочие убеждаются, что социал-демократы – предатели общего пролетарского дела и рабочему классу с ними не по пути. Действие неизменно завершается грандиозной демонстрацией-шествием. По этой схеме сделаны бесследно потерянные и забытые «Атака» (1932) – одесский фильм о горняках Рура, «Солнце всходит на западе» (1932) – один из первых звуковых фильмов производства «Межрабпомфильм», ленинградский фильм «Для вас найдется работа» (1932); эти же мотивы используются в заметных для своего времени картинах Всеволода Пудовкина «Дезертир» (1933), Ивана Пырьева «Конвейер смерти» (1933), Маргариты Барской «Рваные башмаки» (1933).

Крайне показательно, что разоблачение социал-демократов как «социал-предателей» фактически вытесняет из фильмов этого периода тему борьбы с фашизмом. Более того: именно социал-демократы нередко именуются в официальной пропагандистской лексике той поры «социал-фашистами». Дело доходит до казусов: так, центральная газета «Правда» весной 1934 года в положительной в целом рецензии на фильм В. Пудовкина «Дезертир» с некоторым недоумением отмечает, что о фашизме в картине вообще не упоминается[12]. Разумеется, одна из существенных причин такого положения заключается в том, что ряд производственных сложностей (прежде всего – освоение звуковой аппаратуры: «Дезертир» был первой звуковой работой Пудовкина) и болезнь режиссера затянули работу над картиной на полтора года. Но главная причина состояла, несомненно, в том, что фашизм, действительно, не умещался в основную сюжетную схему. Аналогичная история происходит и с «Конвейером смерти»: сценарий, сданный в производство в начале 1932 года, подвергался неоднократным переделкам, из-за чего съемки постоянно останавливались. Но лишь в июле 1933 года, через полгода после прихода к власти Гитлера, Кинокомиссия ЦК партии принимает решение ввести в снимающийся фильм тему фашизма[13].

*Сцена из фильма «Рваные башмаки» Маргариты Барской (1933)*

Сегодня впечатляет не только жесткость и умозрительность, но и полная отвлеченность этой схемы от действительных политических реалий жизни Германии. В требованиях, предъявляемых киноруководством к кинематографическому материалу, настаивается на необходимости отразить тезис о том, что Германия находится накануне победоносной пролетарской революции. Именно отсюда и идет активное неприятие сложных драматических коллизий, повлиявшее, как указывалось выше, на судьбу таких картин начала 30-х как «Города и годы» и «Друзья совести».

Показательный пример – судьба «Конвейера смерти». Первоначальный вариант сценария (авторы – Виктор Гусев, будущий сценарист колхозных комедий Пырьева, и Михаил Ромм – в дальнейшем один из ведущих режиссеров, постановщик фильма «Обыкновенный фашизм») назывался «Товар площадей», и главной героиней его была девушка, которая, потеряв работу, шла на панель. Заключение бригады АРРК (Ассоциация работников революционной кинематографии) гласило: «Сценарий отрицает капитализм, но не утверждает сколько-нибудь убедительно прекращения господства буржуазии и установления диктатуры пролетариата. В результате мы имеем в сценарии критику современного капитализма преимущественно с мелкобуржуазных гуманистических позиций. Фильм, поставленный по этому сценарию… скорее будет распространять настроения отчаяния, безысходности, уныния и пессимизма»[14].

В конечном варианте оказывалось три подруги, линия бывшей главной героини оттеснялась на периферию фильма, а на передний план выдвигалась активная комсомолка, успешно борющаяся с капитализмом.

Не менее показательна и центральная коллизия «Дезертира». Сюжет иностранного специалиста – рабочего или инженера – в период кризиса приезжающего на работу в СССР и активно включающегося, в конце концов, в построение социализма очень широко распространен в советском кино начала 30-х годов. Как правило, герой в финале принимал решение остаться в СССР навсегда: это означало окончательный переход его на коммунистические позиции. Но в «Дезертире» торжествует зеркально перевернутое отражение этой схемы. Герой – гамбургский докер, уезжающий в СССР в разгар забастовки – впоследствии осознает свой поступок как дезертирство и возвращается в Германию, чтобы довести революционную борьбу до победы, которая вот-вот наступит. Принцип аналогий торжествует и здесь – особенно в подчеркнутом параллелизме монтажа кадров рабочих демонстраций в Германии и Советской России.

Только в 1935 году появится фильм «Новая родина» – фактически последняя работа, отыгрывающая эту сюжетную схему иностранного специалиста в СССР, где немецкий инженер будет поставлен перед выбором: возвращаться в Германию, где к власти пришел фашизм, или остаться в Советском Союзе. Однако здесь все сводится, в конечном счете, к козням антагониста, пытающегося вернуть героя в Германию с помощью распространения ложных слухов о неверности работающей вместе с ним в СССР жены. Даже для критики 1935 года эта коллизия выглядела надуманной.

Еще одну важную деталь в связи со сказанным выше следует отметить. В 1931–1933 годах выходит ряд игровых фильмов на тему будущей войны, предвосхищающий известную серию так называемых «оборонных» фильмов 1936–1939 годов. Но если после 1936 года в будущем враге подчеркнуто легко узнается Германия (а ближе к 1939 году она прямо называется в тексте фильмов), то в 1931–1933 годах будущий противник подчеркнуто абстрактен. Он, скорее, по косвенным признакам, ассоциируется со странами Антанты в период гражданской войны. Только в двух фильмах о гражданской войне – материал для этого периода не самый актуальный – украинской картине «Молодость» (1934) и белорусской «Совершеннолетие» (1935) – затронута тема немецкой оккупации Украины и Белоруссии после подписания Брестского мира. Однако мотив оккупации проходит фоном для традиционного сюжета борьбы с белогвардейцами (которые в этот период в действительности еще не оформились в качестве армии), что выглядит разительным контрастом с фильмами о гражданской войне конца 30-х – особенно такими, как «Щорс» (1938) Александра Довженко или «Всадники» (1939) Игоря Савченко, где тема немецкой оккупации является одной из ведущих[15].

Очевидно, сила иллюзий в официальной советской идеологии по поводу готовности германского пролетариата к революции была столь велика, что руководство СССР до середины 30-х годов придерживается выжидательной, по сути, позиции относительно национал-социалистского режима. Предполагается, что приход Гитлера к власти окончательно обострит социальные противоречия, усилит нищету и безработицу, и вскоре режим рухнет под натиском пролетариата[16]. Во многом, поэтому, фильмы о догитлеровской Германии, выходившие после января 1933 года, не воспринимались как устаревшие – ситуация вовсе не полагалась кардинально изменившейся.

Впрочем, вплоть до начала войны официальная идеология так и не решится признать, что Третьему Рейху удастся специфическим путем решить все эти проблемы и укрепить в массах авторитет национал-социалистского режима. И в 1938 году в

*Немецкая афиша фильма Густава Вангенхайма «Борцы», снятого трестом «Росснабфильм»*

брошюре, посвященной выпуску в прокат экранизации романа Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм», зрителю внушается: «Приход Гитлера к власти – это усиление эксплуатации, рост безработицы, массовых болезней, детской смертности, голода. Фашизм – это беспросветный гнет и политическое бесправие масс»[17]. Вплоть до начала гитлеровской агрессии против СССР Германия в советском кино будет оставаться ареной борьбы репрессивного полицейского государства с пролетариатом, объединившимся в единый фронт против фашизма с разветвленной сетью подпольных организаций. «Борьба продолжается» – символическое для фильмов о Германии название картины 1938 года.

Очевидно, и немецкие левые художники не представляли себе масштабов происходящей катастрофы в полном объеме, если судить по фильмам, снятым в этот период на советских студиях театральными режиссерами Германии – Эрнстом Пискатором («Восстание рыбаков» по рассказу Анны Зегерс) и Густавом Вангенхаймом («Борцы»[18]).

Применительно к «Восстанию рыбаков», это можно было бы объяснить снова-таки затянувшимся почти на три года процессом создания картины: начатая еще в 1931 году работа была завершена лишь в 1934-м. Уже на последних этапах создания в сюжет был введен мотив провокационного поджога, вызывавший ассоциации с поджогом рейхстага. Но «Борцы» Вангенхайма создавались в 1935–1936-м (кстати, сюжет с поджогом рейхстага и процессом Димитрова, роль которого исполнял известный немецкий актер Александр Гранах, стал здесь кульминацией), немалая часть съемочной группы была непосредственным свидетелем происходившего в Германии (так, среди исполнителей был публицист Грегор Гог, который, перед своей эмиграцией в Советский Союз, был издателем газет «Bruderschaft der Vagabunden» и «Der Kunde»). Между тем описываемая нами схема фактически полностью проявляет себя и в этих работах. Единственный принципиально новый момент – снятие темы предательской роли социал-демократов. В плане эстетическом никаких изменений не происходит.

В этом плане примечательно и тяготение к решению темы современной Германии средствами монтажной историко-революционной эпопеи – традиция, берущая начало, как отмечалось, еще в «Гамбурге». «Восстание рыбаков» откровенно продолжает ее, как, впрочем, и «Дезертир», и, судя по описаниям, «Друзья совести». Несомненно, что здесь также проявляет себя принцип аналогии. Но происходит это в тот момент, когда художественный потенциал этой эстетики фактически исчерпан и требует преодоления. Отсюда парадоксальная ситуация, когда работы всемирно признанных художников-новаторов, какими являлись в этот период Пудовкин и Пискатор, производят впечатление откровенной архаики. Это было отмечено, в частности, в полемике, развернутой вокруг «Восстания рыбаков» газетой «Кино», где на откровенный схематизм конструкции указывал, в частности, ведущий теоретик ЛЕФа (организованного Маяковским в 20-е годы творческого объединения «Левый фронт искусства»), кинокритик и сценарист Осип Брик[19].

Наглядность схематизма побуждала художников к поискам средств его преодоления. Причем обращение к авантюрному жанру, столь популярному у советских кинематографистов при обращении к американскому материалу, здесь крайне редки. Попытки ленинградского режиссера Владимира Лебедева-Шмидтгофа ввести его элементы в свой фильм «Гайль, Москау» (1932) вызывает в критике реакцию, близкую к скандалу.

Наиболее плодотворной оказывается традиция создания фильмов с героями-детьми, начатая фильмом «Фриц Бауэр» (1930) ленинградского режиссера Владимира Петрова. В будущем постановщик исторических масштабных батальных эпопей «Петр I», «Кутузов», «Сталинградская битва» Петров в эти годы снимает ряд фильмов о детях, у него складывается постоянный коллектив, в том числе и юных исполнителей. Преломление все той же схемы в детских играх дает очень выразительный, *остраняющий* (по терминологии известного теоретика кино и литературы Виктора Шкловского) ситуацию эффект. В общей сложности в первой половине 30-х выходит не менее пяти фильмов данной группы, построенных на этом принципе: к «Фрицу Бауэру» добавляются «Утирайте слезы» (1932), «Гарри занимается политикой» (1933), «Рваные башмаки» (1933), «Карл Бруннер» (1936). Сюда же можно добавить фильм о старшеклассниках предгитлеровской Германии «Карьера Рудди» (1934) по сценарию, написанному оператором «Дезертира» Анатолием Головней – по своим германским впечатлениям, полученным во время съемочной экспедиции, совместно с постановщиком – режиссером детского кино Владимиром Немоляевым[20].

Наиболее значительным из этих фильмов, без исключения доброжелательно встреченных критикой, был, конечно же, фильм «Рваные башмаки» – звуковой фильм энтузиаста детского кино в СССР Маргариты Барской. Фильм был построен на очень точно направляемых режиссером детских игровых импровизациях (в съемках участвовало более полусотни детей от трех до пяти лет). В этих играх знакомые зрителю коллизии не просто отражались, но и преображались, одновременно обостряя и преодолевая трагический их характер.

Подчеркнем, что с самого возникновения этой традиции (притом что в основе и «Фрица Бауэра» и «Утирайте слезы» лежали пьесы для д е т с к о г о театра) создатели фильмов ориентировались более на взрослую аудиторию, чем на детскую – декларировали ли они это, как в «Фрице Бауэре», или нет. Отсюда парадоксальный эффект: «Рваные башмаки» оказываются уникальной по трагической остроте картиной в ряду фильмов на немецком материале первой половины 30-х годов. Фильм за-

вершался гибелью трехлетнего ребенка – одного из главных героев картины – от случайной пули во время разгона рабочей демонстрации, причем подружка-сверстница героя, не понимая сути происходящего, пыталась его растормошить. Некоторый отчасти экспрессионистский надрыв сцены снимается безупречной органикой детской игры.

Завершал этот ряд снятый в Одессе режиссером детского кино Алексеем Маслюковым по сценарию венгерского кинописателя Белы Балаша фильм «Карл Бруннер» (1936), явно перекликающийся с «Фрицем Бауэром». Снова герой – сын подпольщика (в данном случае – подпольщицы), за которым охотится полиция, чтобы с помощью ребенка обнаружить родителей. Снова по замыслу сценариста фильм должен был быть рассчитан преимущественно на взрослую аудиторию. Балашу, очевидно, важно было передать через состояние ребенка, для которого родной город, в один момент после ареста матери, оказывается чужим и страшным; передать состояние, охватившее Германию после прихода фашистов к власти. С этой целью сценарист вводит в сюжет очень выразительные сны ребенка, в которых смешиваются страх преследования и тоска по матери. Эти эпизоды были сняты, но не вошли в окончательный вариант: по приказанию руководства киностудии и были изъяты по обвинению в «формализме и экспрессионизме».

Напомним, что в этот период уже разворачивается активная кампания по борьбе с «формализмом» в искусстве – то есть борьба за единый унифицированный художественный стиль. «По варианту, выпущенному на экран, зритель не может себе представить всей гнетущей атмосферы в Германии. Сцены страдания и отчаяния народа показались руководству студии “слишком страшными”, и оно потребовало их изъять»,[21] – сообщала газета «Кино» в декабре 1936 года. Этот материал, сохранивший для нас описание уничтоженных сцен первоначальной редакции фильма, был единственным в своем роде: остальные отклики на фильм носили, в основном, комплиментарный характер. Совершенно очевидно, что, таким образом, фильм приводился в полное соответствие с требованиями, предъявляемыми фильмам данной группы в первой половине 30-х годов.

Куда важнее для нас в аспекте преодоления схемы обвинение в «экспрессионизме», предъявленное эпизодами, изъятыми из окончательного – прокатного – варианта «Карла Бруннера». Речь идет о придании достоверности заведомо схематичному, отвлеченному материалу. Если в воспроизведении реалий быта Германии авторы «Гамбурга», «Городов и годов», «Дезертира» могли опираться так или иначе на собственный опыт, если в 20-е годы устанавливается традиция использования в фильмах о Германии типажа местных жителей немецкой национальности (она успешно продолжается ленинградцами в «Фрице Бауэре» и «Утирайте слезы»), то, в основном, у большинства авторов в дальнейшем главным источником служат образцы современного немецкого искусства.

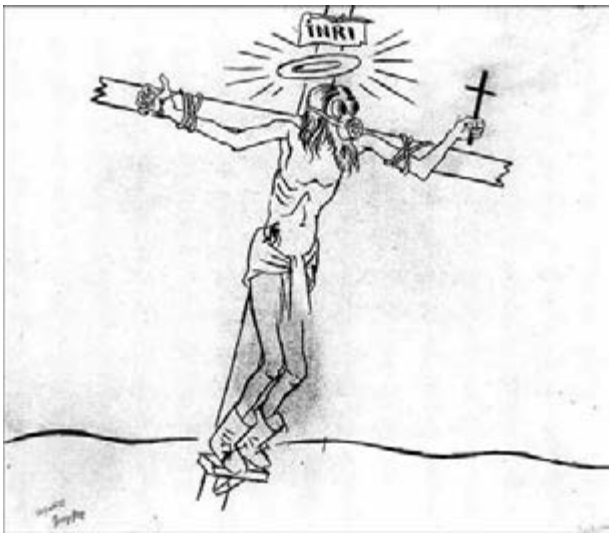
Естественно, что, в первую очередь, возникает вопрос: как отразился в советском кино той поры опыт немецкого кинематографа, занимавшего в 20-е годы наряду с американским ведущее место в мировом кинопроцессе?

Влияние американского кино, особенно его опытов в области монтажа, представители советского киноавангарда признавали охотно, и поэтому оно неоднократно описано историками кино разных стран. Отношение же к немецкому кино – в первую очередь, к киноэкспрессионизму в советской кинематографической среде, особенно у режиссеров и критиков, было настороженным: ни по мироощущению, ни по

тематике, близким себе немецкое кино они не ощущали: достаточно вспомнить, например, дискуссию первой половины 20-х годов в кинематографических кругах по поводу «Кабинета доктора Калигари». Отсюда, между прочим, настороженное отношение к уже упоминавшемуся советско-германскому фильму 1928 года «Саламандра», поставленному будущим режиссером «Семьи Оппенгейм» Григорием Рошалем: история немецкого биолога-материалиста, затравленного за свои взгляды буржуазным обществом и находящего новую родину в СССР (предтеча многочисленных фильмов с подобным сюжетом в начале 30-х), была старательно воспроизведена в стилистике немецкого «каммершпиля», что и вызвало полемику вокруг картины в критике.

Между тем в среде художников и операторов отношение к опыту современного немецкого изобразительного искусства, особенно экспрессионизма, было куда более сложным. Яркий пример тому – творчество операторов знаменитой ленинградской школы, куда входили великий Андрей Московин, впоследствии снявший эйзенштейновского «Ивана Грозного», Евгений Михайлов, Вячеслав Горданов, работавший с В. Петровым на «Фрице Бауэре» и «Беглеце», (1932), также посвященном современной Германии. Именно Горданов в своих мемуарах[22] сообщает, что с опытом немецкого изобразительного искусства они впервые столкнулись через термин «экспрессионизм». Так, еще в 1923 году молодые экспериментаторы назвали свои опыты в области «романтической фотографии». Непосредственно же образцы современного изобразительного искусства дошли, вспоминает Горданов, много позднее – к концу работы над «Фрицем Бауэром», а фильмы экспрессионистского направления они не видели. Между тем оператор признает, что в экспрессионистской графике, прежде всего в творчестве Кете Кольвиц, они открыли много принципиально близкого своему методу. Следовательно, речь может идти не о подражании или заимствовании, но, в первую очередь, об общей ситуации, активизирующей в разных странах поиски в одном и том же направлении. Неслучайно крупный ленинградский искусствовед, теоретик кино и сценарист Адриан Пиотровский (1898–1938) еще в 1929 году с полной уверенностью говорил о методе ленинградской операторской школы как «экспрессионистском» и был чрезвычайно удивлен, по воспоминаниям Горданова, узнав, что с образцами современного немецкого изобразительного искусства они практически незнакомы[23]. То есть эстетика материала здесь была – что сказалось особенно на «Фрице Бауэре» – счастливо угадана.

Опыт непосредственно киноэкспрессионизма последовательно изучался другой крупной операторской школой – украинской, основателем которой в середине 20-х годов стал педагог и теоретик операторского мастерства Алексей Калюжный. По воспоминаниям одного из его учеников оператора Николая Кульчицкого, записанным мною летом 1990 года, примеры из немецких экспрессионистских фильмов были основным материалом его лекций. Влияние экспрессионизма сказалось на творчество крупнейшего украинского оператора Даниила Демуцкого – в связи с «Арсеналом» Александра Довженко (в частности, с эпизодами Первой мировой войны) на это уже в момент выхода фильма указывал, например, Сергей Третьяков, прекрасный знаток немецкого авангарда[24]. Показательно, что единственным безусловным достоинством упомянутого выше «Хрустального дворца» оказалась выполненная в стилистике немецкого экспрессионизма операторская работа Юрия Екельчика – дальнейшем снявшего столь значительные фильмы «Строгий юноша» (1936) Абрама Роома и «Щорс» (1938) Александра Довженко.



*«Христос в противогазе» Георга Гросса, опубликованный издательством «Malik» в 1928 году. Изображение стало «уликой» на первом «деле о богохульстве» в Веймарской республике*

Даже московских кинематографистов, последовательно ориентировавшихся на опыт американского кино, прежде всего, не миновало увлечение немецким экспрессионизмом. В период работы над его «Дезертиром» переживает, по свидетельству коллег, например, такой убежденный реалист как оператор Пудовкина А. Головня[25].

Наиболее же парадоксальным и ярким примером в этом ряду может служить раннее творчество режиссера Ивана Пырьева – в будущем одновременно создателя традиций колхозных комедий-пасторалей в стилистике народного примитива и экранизаций романов Федора Достоевского. Упоминавшийся уже «Конвейер смерти» крупный и авторитетный специалист по советскому кино Майя Туровская определяет как «почти энциклопедическую по охвату переработку всех тем немецкого экрана от “каммершпиля” до пролетарского кино»[26].

Результат, полученный Пырьевым (напомним, что многочисленные переделки, внесенные в сценарий по требованию цензуры, превратили его в типичную социологическую схему), можно считать общим, итоговым для попыток подобного рода. В очень точно уловившей особенности дарования Пырьева рецензии (а по сути – мини-исследовании) на «Конвейер смерти», красноречиво озаглавленной «Варварский талант», Бела Балаш, недавно приехавший в СССР из Германии, писал: «Нет, это не социалистический реализм. И не действительность капиталистического мира. Да и вообще она (картина – *Е.М.*) не носит характера какой-нибудь действительности. Прекрасные и волнующие кадры “Конвейера смерти” похожи на пылкий лихорадочный сон наивного человека, который слышал кое-что об этой действительности… В этом фильме сцены захватывающей правды. В этом фильме – сцены смехотворной лживости. Сцены глубокого социального значения. Сцены ребячливой поверхностности. Художественной тонкости и невыносимо тяжеловесные преувеличения…»[27].

Этот текст человека, не только прекрасно знающего Германию и немецкое кино (в качестве сценариста и режиссера Балаш успел плодотворно поработать в немецком кинематографе), но и одного из первых классиков теории киноискусства, может быть с полным правом отнесен ко всей рассматриваемой нами группе фильмов, осо-

бенно если воспринимать ее, эту группу, как единое целое, своего рода единый фильм, тем более учитывая тщательно соблюдаемую идеологическую общность модели, по которой строились игровые советские фильмы о Германии.

Однако эта заведомая, намеренная отвлеченность от многообразия коллизий окружающей действительности относится не только к рассматриваемой нами группе фильмов. Балаш уловил одну из важнейших сущностных черт, присущих советскому кино в целом. Речь о том, что подлинным предметом советского кино являлась не окружающая реальность, но идеальное будущее, построение которого было объявлено главной задачей советского народа, а в более широком временном охвате – и всего человечества. Еще в 1925 году эту сущностную черту советского кино проницательно отметил его внимательный зритель – московский корреспондент «Берлинер Тагеблат» Пауль Шеффер, писавший в заметке от 23 мая 1925 года: «в этой стране фильм, изготовленный государством (советским – *Е.М.*), служит для отображения еще не существующего мира и как предписание житейских правил в таком идеальном совершенстве, что они, возможно, никогда не начнут выполняться: всё пролетарско-коммунистическое в таком мире должно быть хорошим, а всё буржуазное – ужасным. Таким образом, с помощью кино государство берет реванш за медлительность, с которой реальность отражает его намерения и, добавим в его оправдание, может их отразить»[28].

Любые современные коллизии в советском кино как раз и рассматриваются обязательно с точки зрения неизбежно грядущего идеального мира. Разница материала – лишь в степени приближенности к нему. Соотнесение же с идеалом – обязательно и вменяется системой в обязанность художнику. Поэтому историческое, национальное, культурное своеобразие материала этим кинематографом, по сути, не принимается в расчет. Куда более существенным представляется предполагаемое сходство, близость социальных моделей. Чем более явственным оно выглядит, тем наглядней и проявляет себя принцип аналогий, как это и произошло в случае с материалом Германии.

## 1936–1939. Германия – мир-антипод

Вот почему при резкой и достаточно неожиданной для советского руководства смене политической ситуации в Германии идеологический принцип подачи этого материала в советском кино фактически не меняет своей сути. Механизм достаточно существенных качественных изменений в советских фильмах о Германии второй половины 30-х годов лежит в иной плоскости и связан прежде всего – как это ни парадоксально на первый взгляд – с изменениями, происходящими в это время не в Германии, но в Советском Союзе.

Речь идет о том, что в этот период завершает в основных чертах свое формирование система сталинского государства – именно завершение формирования системы и означал, в первую очередь, торжественный акт принятия новой Конституции СССР в декабре 1936 года. Соответственно отныне современная советская реальность объявляется уже воплощенным – «в основных чертах» – идеалом, а антитеза этого идеала обретает столь же завершенные черты.

В период своего становления, в 20-е годы советское общество избирает в качестве такой антитезы дореволюционную царскую Россию как арену непрестанной борьбы угнетенных с угнетателями. Соответственно, эта схема накладывалась на современные капиталистические страны, и граница между ними воспринималась, прежде всего, как временная – между прошлым и будущим. Когда же, сформировавшись и подчинив себе все стороны жизни общества, советское государство объявляет основную цель – построение идеального общества – достигнутой, а современность – воплощенным идеалом, этим самым оно, в первую очередь, отменяет движение во времени, и граница неизбежно становится понятием пространственным. Поэтому отныне антитезой оказывается враждебное капиталистическое окружение, а государственная граница – в равной степени, реальностью и символом преграды между двумя не просто антагонистичными, но именно антитетичными мирами. Отныне граница, через которую положительные герои-революционеры из капиталистических стран попадали в СССР как в «светлое будущее всего человечества», и это был предварительный результат их самоотверженной революционной борьбы, оказывается на замке («Граница на замке» – распространенный лозунг тех лет, давший название типичному фильму 1937 года, где население пограничного района вместе с пограничниками ловит диверсанта, заброшенного именно из Германии.).

Отсюда враждебный мир-антитеза выстраивается на советском экране как перевернутый двойник мира идеального. Если советская действительность – мир вечного праздника и соответственно вечного солнечного дня, то враждебный мир – мир вечной ночи, или же мир мрачных подземелий в полном соответствии с традиционными мифологическими конструкциями. «С одной стороны – мир солдатчины, казармы, голода, вечной каторги. С другой – мир расцвета человеческой личности, сознательного подвига, великой советской демократии» – так перед выходом «Болотного солдата» формулировал эту эстетику автор фильма Александр Мачерет[29]. Те персонажи, которые в идеальной советской действительности пользуются наибольшим уважением и популярностью – передовые труженики, активные пролетарии-коммунисты, наконец, чудаковатые, но благородные ученые, всегда готовые оказать помощь человеку – во враждебном антитетическом мире неизменно преследуемы и гонимы.

В качестве ученых в рассматриваемой группе фильмов выступают преимущественно медики-евреи – в «Профессоре Мамлоке», «Болотных солдатах», «Семье Оппенгейм». С ними в эту группу фильмов входит тема фашизма как расизма, в предшествующий период затронутая лишь в фильме 1934 года «Карьера Рудди». В фильмах 30-х годов на советском материале герой-еврей – достаточно частый персонаж второго ряда – несколько эксцентричный и безусловно положительный, равно как и чудаковатый научный работник. Наконец, идеальный советский мир чтит и защищает мировое культурное наследие, в то время как антитетический мир фашизма решительно отвергает его: так в одном из кадров фильма «Болотные солдаты» возникает памятник Гёте с завязанными глазами, а в «Семье Оппенгейм» учитель-фашист раздраженно поворачивает к стене лицом бюст Вольтера. И прежде всего – фашизм это милитаристская машина, готовая вторгнуться в пределы идеального мира.

Государственное самоопределение невозможно вне противопоставления себя враждебному окружению. Тезис о грядущей войне как преддверии мировой революции никогда не сходил в СССР с повестки дня: фильмы на эту тему создавались, как отмечалось, и в середине 20-х, и в начале 30-х. Но не случайно такое место в текущем кинопроцессе, такое внимание к себе они получают лишь во второй половине 30-х:

для своей полноты образ идеального государства нуждается в образе государства враждебного – агрессора. Тогда по логике антитезы два мира противостоят друг другу как мир жизни – миру смерти. В ряду фильмов о будущей войне с Германией (их в период с 1936 по 1939 создано около десятка) этот мотив проявлен особенно наглядно. В большинстве фильмов враг воплощен в образе безликого военного механизма: зачастую со свастикой самолета, танка, подводной лодки: отсутствие лица – знак смерти («Родина зовет», «Четвертый перископ» и самый известный фильм из этого ряда – «Если завтра война»)[30]. Примечательна и сама топография: неприступный замок-крепость над обрывом («Танкисты») или подземная крепость, где сосредоточены вражеские силы («Эскадрилья № 5») – прямые ассоциации с царством смерти, равно как и сражение с врагом на дне моря, где советская подводная лодка инсценирует свою гибель, чтоб в решающий момент нанести удар и с победой всплыть на поверхность родных вод («Моряки», «Четвертый перископ»). Все эти мотивы так или иначе варьируют центральный мотив Германии как царства ночи. «Ночь над Германией», «мгла средневековья» и т. д. и т. п. – постоянные языковые клише советской прессы тех лет – находят в кинематографическом образе Германии второй половины 30-х свое буквальное воплощение.

Между тем, согласно логике мифологической схемы (а она здесь откровенно превалирует), граница между двумя мирами незыблема. В таком контексте новый смысл приобретает известный тезис, на иллюстрировании которого неизбежно строятся все без исключения фильмы этого ряда – «Чужой земли не хотим, но и своей ни пяди не отдадим».

Здесь нужно отметить, что все фильмы этого периода, посвященные современной Германии, все так же строятся на сюжете борьбы немецкого пролетариата с режимом – теперь фашистским. Борьба эта по-прежнему массовая, постоянно ширящаяся и безупречно организованная. Однако, в отличие от фильмов предшествующего периода, теперь для ее успешного завершения необходим ответный удар СССР в ответ на агрессию фашистского режима. Только в результате этой агрессии СССР и пролетариат вражеской державы, объединив свои усилия в одновременном ударе, одержат решающую и окончательную победу. Таким образом, война теперь необходима для достижения победы пролетариата, который и нанесет решающий удар внутри страны, объединившись в конечном результате с Советским Союзом в единую державу. «Эх, посмотреть бы на Советский Союз после большой войны республик этак из сорока!» – мечтательно восклицал один из главных персонажей кино предвоенной эпохи Петр Шахов в знаменитом фильме «Великий гражданин» (1937–1939).

То есть силы жизни скрыто присутствуют в самом этом антитетичном мире, и задача идеального советского мира состоит в том, чтобы вызвать их действие. Неслучайно в одной из речей Сталина (уже в дни войны!) возникает сравнение германского тыла с «вулканом, готовым взорваться»[31]. Именно поэтому официальное советское сознание отказывается принимать фашизм как трагедию: здесь действуют совершенно иные мировоззренческие параметры и основанные на них идеологические схемы.

Однако необходимо указать на очень важную для этого периода тенденцию, объективно противоречащую этой общей установке. Суть ее состоит в том, что, по сравнению с фильмами рассматриваемой группы, созданными в первой половине 30-х годов, в кино предвоенной поры на материале современной Германии усилива-

ется опора на личные впечатления. Выражается это достаточно разнообразно. Так, очевидно стремление кинематографистов в качестве литературной основы обращаться к современной немецкой литературе. Если до той поры подобное обращение носит заведомо эпизодический характер (обращение к одному и тому же сюжетному мотиву Карла А. Витфогеля в «Гамбурге» и «Беглеце» и прозе Анны Зегерс в «Восстании рыбаков» исчерпывает список), то теперь основой фильма становятся пьесы драматурга Фридриха Вольфа «Профессор Мамлок» и «Троянский конь» (фильм вышел под названием «Борьба продолжается», 1938), роман Лиона Фейхтвангера «Семья Оппенгейм», уже в период войны завершает экранизация эпизодов политического обозрения Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей Империи» (фильм получил название «Убийцы выходят на дорогу», 1942). Наконец окончательное название фильма, снятого по оригинальному сценарию Юрия Олеши «Вальтер» – «Болотные солдаты» (1938) – отсылало, по наблюдениям прессы тех лет, к одноименной книге очерков немецкого публициста Вольфганга Лангхофа[32].

С другой стороны среди участников работы над фильмами встречаем имена эмигрантов из Германии: «Профессор Мамлок» стал успешным режиссерским дебютом в советском кино многолетнего ассистента Г.-В. Пабста Герберта Раппопорта (в дальнейшем одного из ведущих режиссеров «Ленфильма»). Художником «Болотных солдат» стал другой эмигрант – Артур Бергер[33]. За плечами режиссера «Семьи Оппенгейм» Григория Рошаля – опыт первой советско-германской постановки «Саламандра». Исполнитель одной из главных ролей в «Болотных солдатах» – звезда немого советского кино Иван Коваль-Самборский – на рубеже 20–30-х годов постоянно снимался на немецких студиях и вернулся в СССР сразу же после прихода к власти Гитлера. На личные впечатления от Германии начала первой мировой войны считает необходимым сослаться в период работы над теми же «Болотными солдатами» их постановщик Александр Мачерет. Сценарную разработку «Троянского коня» совместно с автором пьесы Ф. Вольфом осуществляет режиссер Александр Разумный, поставивший несколько фильмов на немецких студиях в середине 20-х годов. Непосредственное участие авторов литературных первоисточников в работе над сценариями также следует отметить: помимо Ф. Вольфа, чье имя стояло в титрах фильма «Профессор Мамлок» и «Борьба продолжается», в прессе отмечалось, что сценарий «Семья Оппенгейм», например, авторизован Л. Фейхтвангером во время его приезда в СССР.

Однако же роль личного опыта создателей всем этим не исчерпывалась. Он в эти годы проявляется в совершенно неожиданном, парадоксальном аспекте. Дело в том, что, создавая образ системы т о т а л и т а р н о й, с ее атмосферой постоянной всеобщей слежки, страха доноса за неосторожно сказанное слово, угрозы быть внезапно арестованным и отправленным в концентрационный лагерь, авторы фильмов неизбежно сталкивались с реалиями, слишком хорошо известными любому советскому гражданину тех лет в его собственном повседневном быту.

Так, мотив города, вымирающего с наступлением ночи; людей, с замиранием сердца прислушивающихся к шуму машин и ночным стукам в дверь; зловещий блеск черных автомобилей и сапог штурмовиков под фонарем, начиная с «Карла Бруннера» с навязчивым постоянством переходит из фильма в фильм.

Причем, повторим еще раз, на уровне драматургии происходит постоянное снятие или хотя бы микширование, смягчение трагедийных коллизий. Так дописывается в фильме сюжет самой известной пьесы Ф. Вольфа «Профессор Мамлок»: история

*Сцена из снятого в 1938 году фильма Герберта Раппопорта об истории врача-еврея – «Профессор Мамлок»*

врача-еврея, затравленного нацистами и кончающего жизнь самоубийством превращается в еще одну версию сюжета о прозрении далекого от политики человека, становящегося в ряды активных сознательных борцов с фашизмом и жертвующих жизнью во имя победы дела сына-коммуниста[34]. Аналогичное явление наблюдаем и в киноверсии «Семья Оппенгейм», где такой же путь проделывает один из членов семьи – снова врач, и снова еврей – в отличие от своего литературного прототипа, сходящего с ума в концлагере. Не менее показательны трансформации, происходящие с замыслом А. Мачерета и Ю. Олеши по пути от литературного сценария «Вальтер» к фильму «Болотные солдаты». По первоначальной версии это была история также далекого от политики молодого рабочего, по чистой случайности попадающего в концлагерь, где его принимают за руководителя коммунистического подполья – сюжет, перекликающийся в некоторых чертах со знаменитой картиной великого итальянского режиссера Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере» (1959). Эта версия была снята уже к концу 1937 года и могла стать первым фильмом из перечисленного ряда, но не была принята киноруководством. От авторов потребовали усилить роль друга героя – убежденного коммуниста. В период переделок картины был репрессирован игравший главную роль И. Коваль-Самборский, и в окончательном варианте его герой отошел на второй план, получил сомнительное социальное происхождение и оказался готов к предательству. Главным героем стал сознательный друг-коммунист, бегущий из концлагеря и налаживающий подпольную работу, а вся картина приобрела откровенный привкус авантюрного жанра, не свойственного до тех пор фильмам на немецком материале, но теперь все более распространяющегося.

Между тем основная нагрузка, в конечном счете, ложилась уже не столько на сценарно-драматургическую основу, сколько на создававшуюся, прежде всего, отчасти как бы поверх фабулы изобразительными средствами. атмосферу И, например, декорации концлагеря в «Болотных солдатах», созданные А. Бергером по фотографиям концлагеря в Дахау, что особо отмечалось в прессе, оказывались по меньшей мере столь же значимыми и впечатляющими, как и разворачивающиеся на их фоне сюжетные коллизии. Пожалуй, для современного восприятия наивность драматургии даже обостряет эту выразительность, эмоциональную подлинность ат-

мосферы, как происходит, например, в наиболее наивной, чисто авантюрной по сюжету картине «Борьба продолжается», где героическая деятельность разветвленной сети подпольщиков составляет сюжет картины, между тем как пресловутая атмосфера мрака и угрозы, возникая в первых же кадрах, становится действительным лейтмотивом фильма.

То есть, самым важным в этих фильмах становится не то, о чем говорит советское кино, а то, о чем оно невольно проговаривается: в представлениях о фашистском режиме в Германии отражается реальность сталинского режима предвоенных лет.

## «Убийцы выходят на дорогу» – запрещенная разгадка

Практически на этом рассматриваемую группу фильмов можно было бы счесть исчерпанной. После подписания пресловутого пакта Риббентропа–Молотова производство фильмов на материале Германии было прекращено, а подавляющее большинство уже демонстрировавшихся фильмов данной тематики – снято с экрана (включая и «Александра Невского» Сергея Эйзенштейна, удостоенного, тем не менее, накануне войны, в 1941-м году, только что учрежденной Сталинской премии). Впрочем, в первые же недели войны все эти фильмы вновь были выпущены на экраны СССР массовым тиражом.

Однако к лету 1942-го года на Центральной Объединенной киностудии (ЦОКС) в Алма-Ате был поставлен фильм, представляющий собой своего рода послесловие к теме, уникальное по итоговой полноте. Это – «Убийцы выходят на дорогу» В. Пудовкина.

В основу фильма было положено политическое обозрение Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей Империи», написанное, в основном, перед Второй мировой войной, во второй половине 30-х годов, и переведенное на русский язык и частично изданное в СССР в первые же месяцы после вступления в войну с Гитлером в 1941-м году. Из несвязанных между собой фабульно 24-х сцен, вошедших в окончательный вариант пьесы, авторы фильма (сценарий Пудовкин писал совместно с кинодраматургом Мануэлем Большинцовым, одним из сценаристов уже упомянутого «Великого гражданина») использовали пять: сцену первую – «Единство», третью – «Меловой крест», десятую – «Шпион», семнадцатую – «Зимняя помощь» и двадцать третью – «Работодатели», завершив сценарий специально написанным эпилогом, где штурмовики из сцены «Единство», использованной как своеобразный пролог к фильму, оказывались в необозримых заснеженных пространствах России.

Новеллистическая структура фильма отсылает, на первый взгляд, к «Боевым киносборникам» – основной продукции советских киностудий в первый период войны – вплоть до конца 1942 года. Однако художественная ценность этих киноальманахов, где все новеллы снимались разными режиссерами, а затем объединялись в единый фильм, весьма условна. В фильме же Пудовкина впечатляет, прежде всего, последовательность и единство художественной концепции авторов. Эффект этого произведения заключается в том, что, принадлежа по стилистике совершенно явно к фильмам о Германии второй половины 30-х годов, оно обретает несравненно большую цельность благодаря исчезновению неизбежного в предвоенный период мотива

коммунистического подполья. Атмосфера, выразительность которой подчеркивалась в предыдущей главе, становится в фильме Пудовкина, по сути, главным героем. Как ни уходили авторы фильма от названия первоисточника (в сценарной версии «Убийцы выходят на дорогу» назывались «Школой подлости»), но слова «страх» и «отчаяние» явно оказались ключевыми для определения сути атмосферы их фильма.

Изобразительно фашизм воплощался тут через замкнутые затемненные пространства (художником фильма был работавший на «Болотных солдатах» А. Бергер). Замкнутое пространство отчетливо выступало здесь символом несвободы. Из тьмы, залегавшей по его углам, и появлялись фашисты как материализация страха. Их же, в свою очередь, приводило в ужас разомкнутое пространство. Эта тема возникала уже в прологе фильма и мощно завершалась в эпилоге, где оккупантов, оказавшихся посреди заснеженных русских полей, убивал именно ужас перед ее необозримыми просторами.

Драматургически же изъятие темы коммунистического подполья и шире – главного героя-идеолога, формулирующего основные лозунги-постулаты, приводило к столь же интересным последствиям. Сквозной темой, проходящей через все отобранные для фильма эпизоды, становилась как раз потеря человеком свободы слова. Страх наказания за неосторожно – то есть свободно – произнесенное слово и был тут главным, а отчаяние порождалось невозможностью его произнести. Эта тема шла по нарастающей, завершаясь в сюжете предфинальной новеллы отчаянным, почти истерическим криком жены рабочего, получающей известие о гибели брата в концлагере.

Таким образом, на месте сугубо классовых, идеологических ценностей оказывались ценности традиционно гуманистические – именно те, которые, прежде всего, в действительности и попираются всяким тоталитарным режимом. Эти принципиальные изменения очень выразительно сказались на подборе актеров, совершенно парадоксальном. Так, роль одного из штурмовиков в прологе и эпилоге фильма исполнил Олег Жаков, игравший главных героев-коммунистов в «Болотных солдатах» и «Профессоре Мамлоке», а роль Рабочего, которому в диалоге с провокатором-штурмовиком никак не удается скрыть свое органическое неприятие фашистского режима, блистательно сыграл Михаил Астангов, начинавший с роли учителя-фашиста в «Семье Оппенгейм» и переигравший на протяжении десятилетия целый ряд фашистов вплоть до Гитлера.

Психологическая точность всех без исключения актерских работ довершает выразительность – и узнаваемость – атмосферы фильма, поскольку каждому из исполнителей разыгрываемые на экране ситуации были прекрасно известны в их повседневной жизни. Коллизии с провокаторами, ловящими людей на неосторожно сказанном слове, с детьми, доносящими на своих родителей, с теми, наконец, кто всеми силами скрывал наличие репрессированных родственников – все это было трагической повседневностью как гитлеровского, так и сталинского государства.

Принцип аналогий сработал здесь в последний раз – и самым парадоксальным, непредвиденным образом. Действительной антитезой экранному образу идеального социалистического общества оказалась его собственная повседневная реальность. По всей видимости, именно эта вопиющая узнаваемость ситуаций и определила судьбу фильма: после завершения он был запрещен. Документов, формулирующих причины запрета, разыскать не удалось.

То есть в экранном образе Германии с изумлением и ужасом узнала себя в конце концов заэкранная реальность сталинской эпохи. Выявление смысла, причин этого пугающего сходства стало одной из главных задач произведений советского искусства о гитлеровском фашизме в шестидесятые годы – от фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм» до романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Но этот сюжет принадлежит уже следующей эпохе.

## Фильмография к статье Е. Марголита «Страна-двойник»

1. «КРАСНЫЙ ТЫЛ» 2600 м «Пролеткино» (Москва), 1924.
Автор сценария – Б. Булатов, режиссер – Д. Бассалыго, оператор – В. Добржанский, художник – Е. Иванов-Барков.
В ролях: О. Третьякова, М. Гаркави, Е. Лепковский, Е. Егорова, Г. Левкоев.
Фильм не сохранился.

2. «ПОБЕЖДЕННЫЕ СЕГОДНЯ» 800 м «Пролеткино» (Саратов), 1924.
Режиссер и оператор – А. Булдаков.
В ролях: студийцы Саратовской студии.
Фильм не сохранился.

3. «ГАМБУРГ» («Во имя демократии», «Красное братство», «История одного побега»). 2470 м ВУФКУ (Одесса)
Авторы сценария – С. Шрейбер, Ю. Яновский; режиссер – В. Баллюзек, операторы – И. Рона, М. Гольдт; художник – Г. Байзенгерц.
В ролях: Г. Спранце, Я. Рейнич, К. Западная, И. Замычковский, К. Гарин.
Фильм не сохранился.

4. «САЛАМАНДРА» 1860 м «Межрабпомфильм» и «Прометеус-фильм» (Берлин), 1928.
Авторы сценария – А. Луначарский, Г. Гребнер; режиссер – Г. Рошаль, сорежиссер – М. Доллер, оператор – Л. Форестье, художники – В. Егоров, В. Хмелева.
В ролях: Б. Гетцке, Н. Розенель, Э. Темари, Н. Хмелев, В. Фогель, С. Комаров, А. Луначарский.

5. «УБИТЫЙ ЖИВ» 540 м «Совкино» (Ленинград), 1929.
Автор сценария – Д. Толмачев, режиссеры – Ю. Гольцев, Д. Толмачев, операторы – В. Беляев, В. Симбирцев.
В ролях: С. Минин, И. Черняк, В. Шупов.
Фильм не сохранился.

6. «ГОРОДА И ГОДЫ» 2571 м «Союзкино» (Ленинград), 1930.
Авторы сценария – Н. Зархи, Е. Червяков; режиссер – Е. Червяков, операторы – С. Беляев, Е. Сигаев; художник – С. Мейнкин.
В ролях: Б. Гетцке, И. Чувелев, Г. Мичурин, С. Магарилл, А. Костричкин, Д. Гутман, Е. Червяков, В. Гардин.
Фильм сохранился не полностью.

7. «ФРИЦ БАУЭР» 1843 м «Совкино» (Ленинград), 1930.
Автор сценария и режиссер – В. Петров, оператор – В. Горданов, художники – Н. Суворов, П. Бетаки.
В ролях: Б. Ридерер, К. Симанович, Ф. Гилязова (дети), Ф. Нейбахер, В. Вейтцель, О. Брауэр, Г. Фрикен, И. Ганзен.
Фильм не сохранился.

8. «АТАКА» («Шахта “Мария”) 2416 м «Украинфильм» (Одесса), 1932.
Авторы сценария – С. Лазурин, Г. Тасин; режиссер – Г. Тасин, оператор – М. Бельский, художники – В. Мюллер, С. Худяков.
В ролях: М. Ляров, Ю. Чернышев, А. Бучма, В. Лисовский, З. Корнева, С. Петров.
Фильм не сохранился.

9. «БЕГЛЕЦ» 100 м «Союзкино» (Ленинград), 1932.
Авторы сценария – М. Блейман, В. Петров; режиссер – В. Петров, оператор – В. Горданов, художник – Н. Суворов, композитор – В. Желобинский.
В ролях: Г. Мичурин, Б. Ридерер, В. Висковский, А. Костричкин.
Фильм не сохранился.

10. «ГАЙЛЬ, МОСКАУ» 2400 м «Союзкино» (Ленинград), 1932.
Автор сценария – А. Устинович, режиссер – В. Лебедев-Шмидтгоф, операторы – А. Москвин, П. Посыпкин, художник – К. Бондаренко, композитор – Н. Тимофеев.
В ролях: И. Мартин, А. Афиногенов, М. Каюмов, К. Дмитриев, Н. Тидеман, С. Магарилл.
Фильм не сохранился.

11. «ДЛЯ ВАС НАЙДЕТСЯ РАБОТА» 2900 м «Союзкино» (Ленинград), 1932.
Авторы сценария – И. Прут, И. Трауберг; режиссер – И. Трауберг, операторы – В. Горданов, В. Яковлев, художник – Н. Суворов, композитор – В. Богданов-Березовский.
В ролях: М. Штраух, С. Магарилл, Ф. Никитин, Ф. Нейбахер, К. Назаренко.
Фильм не сохранился.

12. «ДРУЗЬЯ СОВЕСТИ» («Восстание в РУРе», «Пылающий РУР») 2100 м «Межрабпомфильм», 1932.
Авторы сценария – О. Леонидов, Л. Глазычев; режиссер – К. Эггерт, оператор – Л. Форестье, художники – Л. Блатова, М. Никитина, И. Никитченко, П. Митякин.
В ролях: В. Алехина, Т. Гурецкая, Н. Акимов, М. Горичева, К. Зубов, М. Нароков, К. Эггерт.
На экран не выпущен.
Фильм не сохранился.

13. «СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НА ЗАПАДЕ» 1703 м «Межрабпомфильм», 1932.
Автор сценария – С. Скытев, режиссер – П. Пашков, оператор – Я. Толчан, художник – Ю. Пименов, композиторы – М. Гнесин, И. Шишов.
В ролях: М. Тарханов, Н. Рыбников, М. Болдуман, М. Астангов, С. Ценин.
Фильм не сохранился.

14. «УТИРАЙТЕ СЛЕЗЫ» («УС») 1850 м «Росфильм» (Ленинград), 1932.
Авторы сценария – Б. Зон, А. Бруштейн; режиссер – П. Кириллов, оператор – В. Левитин, художник – П. Бетаки.
В ролях: Н. Турункен, Л. Каулик, В. Гардин, М. Симакова, Е. Карцева.
Фильм не сохранился.

15. «ГАРРИ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИТИКОЙ» («Всегда готов») 2075 м «Росфильм» (Москва), 1933.
Авторы сценария – В. Туркин, М. Калугин, Б. Шелонцев; режиссер – Б. Шелонцев, оператор – Я. Лейбов, художник – В. Баллюзек.
В ролях: М. Шелонцев, К. Гаврилов, Л. Лосев (дети), И. Штраух, И. Бобров, А. Панкрышев, К. Градополов.
Фильм сохранился не полностью.

16. «ДЕЗЕРТИР» («Теплоход “Пятилетка”») 2818 м «Межрабпомфильм», 1933.
Авторы сценария – Н. Агаджанова-Шутко, М. Красноставский, А. Лазебников; режиссер – В. Пудовкин, оператор – А. Головня, художник – С. Козловский, композитор – Ю. Шапорин.

В ролях: Б. Ливанов, В. Ковригин, А. Чистяков, Т. Макарова, Д. Консовский, О. Тилле, П. Гольм, Ю. Глизер, М. Штраух, С. Герасимов.

17. «КОНВЕЙЕР СМЕРТИ» («Товар площадей») 2800 м «Союзфильм» (Москва), 1933.
Авторы сценария – В. Гусев, М. Ромм, И. Пырьев; режиссер – И. Пырьев, оператор – М. Гиндин, художники – В. Егоров, Н. Савицкий; композиторы – С. Ряузов, Н. Крюков.
В ролях: А. Войцик, В. Полонская, Т. Макарова, В. Шаховской, П. Савин, М. Болдуман, М. Астангов.

18. «РВАНЫЕ БАШМАКИ» 2400 м «Межрабпомфильм», 1933.
Автор сценария и режиссер – М. Барская, операторы – Г. Бобров, С. Геворкян, художник – В. Егоров, композитор – В. Шебалин.
В ролях: В. Алехина, М. Климов, И. Новосельцев, А. Чекулаева, К. Половикова.

19. «ВОССТАНИЕ РЫБАКОВ» 2670 м «Межрабпомфильм», 1934.
Автор сценария – Г. Гребнер, режиссер – Э. Пискатор, сорежиссер – М. Доллер, операторы – П. Ермолов, М. Кириллов; художник – В. Каплуновский, композиторы – Ф. Сабо, Н. Чемберджи, В. Фере.
В ролях: А. Дикий, Д. Консовский, Н. Гладков, Ю. Глизер, В. Янукова, В. Ковригин, С. Мартинсон, К. Эггерт.

20. «КАРЬЕРА РУДДИ» («Золотая медаль») 2438 м «Межрабпомфильм», 1934.
Авторы сценария – А. Головня, В. Немоляев; режиссер – В. Немоляев, оператор – А. Петров, художник – С. Козловский, композитор – Н. Крюков.
В ролях: Д. Консовский, С. Слетов, В. Янукова, Д. Сагал, П. Гольм, С. Минин.

21. «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ» («Доминус вобискум») 2502 м «Украинфильм» (Киев), 1934.
Авторы сценария – Л. Мур, Г. Гричер-Чериковер, режиссер – Г. Гричер-Чериковер, оператор – Ю. Екельчик, художник – М. Уманский, композиторы – И. Бэлза, Б. Лятошинский.
В ролях: С. Шагайда, И. Володко, П. Киянский, Г. Терехов, Г. Гричер-Чериковер.

22. «БОРЦЫ» 2306 м «РотФронт», 1936.
Автор сценария и режиссер – Г. Вангенхайм, оператор – Б. Монастырский, художник – Т. Отто, композитор – Г. Гауске.
В ролях: А. Гранах, Б. Шмицдорф, Л. Лебингер, Г. Гог, Г. Грайф, И. Франке, Р. Треш.

23. «КАРЛ БРУННЕР» («Держись, Карлуша») 2164 м «Украинфильм» (Одесса), 1936.
Автор сценария – Б. Балаш, режиссер – А. Маслюков, сорежиссер – М. Маевская, оператор – Е. Славинский, художники – В. Каплуновский, С. Худяков, М. Сучатова; композитор – Ю. Милютин.
В ролях: Л. Фесечко, В. Бондарь, И. Чепати, Л. Шахова, Л. Киркопуло (дети), А. Чекулаева, Е. Тяпкина, М. Иванов, С. Половцев.

24. «БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ» («Вальтер», «Лагерь на болоте») 1958 м «Мосфильм», 1938.
Авторы сценария – Ю. Олеша, А. Мачерет; режиссер – А. Мачерет, оператор – Е. Андриканис, художники – А. Бергер, А. Вайсфельд; композитор – Л. Шварц.
В ролях: С. Межинский, О. Жаков, И. Коваль-Самборский, В. Ванин, С. Широкова, А. Зражевский, И. Доронин, А. Консовский.

25. «БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ» («Троянский конь») 2673 м «Союздетфильм», 1938.
Авторы сценария – Ф. Вольф, А. Разумный; режиссер – В. Журавлев, оператор – Ю. Фогельман, художники – А. Бергер, С. Козловский, композитор – Т. Хренников.
В ролях: А. Зражевский, П. Соболевский, К. Градополов, А. Комолова, С. Ценин, П. Савин.

26. «ПРОФЕССОР МАМЛОК» («Накануне») 2867 м «Ленфильм»,1938.
Авторы сценария – Ф. Вольф, А. Минкин, Г. Раппопорт; режиссеры – А. Минкин, Г. Раппопорт; оператор – Г. Филатов, художник – П. Бетаки, композиторы – Ю. Кочуров, Н. Тимофеев.

В ролях: С. Межинский, О. Жаков, Н. Шатерникова, В. Меркурьев, И. Зонне, Б. Светлов, В. Честноков, Ю. Толубеев, П. Кириллов, Н. Фаусек, Б. Шлихтинг.

27. «СЕМЬЯ ОППЕНГЕЙМ» 2823 м «Мосфильм», 1938.
Автор сценария – С. Рошаль, режиссер – Г. Рошаль, оператор – Л. Косматов, художник – И. Шпинель, композитор – Н. Крюков.
В ролях: В. Балашов, М. Астангов, И. Толчанов, А. Войцик, С. Михоэлс, Н. Плотников, О. Абдулов, С. Мартинсон, Н. Боголюбов.

28. «ТАНКИСТЫ» 2425 м «Ленфильм», 1939.
Авторы сценария – З. Драпкин, Р. Майман, Г. Сильвестров; режиссеры – З. Драпкин, Р. Майман; операторы – А. Сигаев, М. Магид; художники – П. Якимов, Д. Рудой; композиторы – бр. Покрасс.

29. «ЭСКАДРИЛЬЯ № 5» («Война начинается») 2458 м Киевская киностудия, 1939.
Автор сценария – И. Прут, режиссер – А. Роом, операторы – Н. Топчий, А. Пищиков; художники – А. Бобровников, М. Солоха; композитор – К. Данькевич.
В ролях: К. Гарин, Б. Безгин, Ю. Шумский, С. Альтовская, С. Ценин, В. Громов.

30. «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДОРОГУ» («Школа подлости») 1970 м ЦОКС (Алма-Ата), 1942.
Авторы сценария – М. Большинцов, В. Пудовкин; режиссер – В. Пудовкин (при участии Ю. Тарича), операторы – Б. Волчек, Э. Савельева; художник – А. Бергер, композитор – Н. Крюков.
В ролях: М. Астангов, Б. Блинов, С. Магарилл, А. Виолинов, О. Жизнева, А. Войцик, О. Жаков, А. Данилова.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Напомним, что фильмы на польском материале возникают в советском кино раньше прочих в этой группе – в эпоху гражданской войны в виде агитфильмов, посвященных польской кампании 1920 года, завершившейся поражением советских войск – и оттенок агитационной плакатности в них сохраняется постоянно.

[2] *Гамбург Л.А.* Новая картина ВУФКУ // Пролетарий (Одесса). 8 сентября 1926 года.

[3] См. *Булгакова О.* «Пролетарская киноутопия на Масловке или Экспорт “Руси” в Берлин» – «Киноведческие записки» (М.) № 33. С. 37, а также: *Хохлова Е.* Межрабпомфильм – между искусством и политикой – «Москва-Берлин». – М., 1996. С. 193.

[4] *Уразов И.* 60 часов «Гамбурга» // Кино-фронт (М.). 4–5/26.

[5] Лариса Рейснер (1895–1926) – родилась в Санкт-Петербурге, где училась в Психоневрологическом институте, потом училась во Франции и Германии, где, кроме языков, изучала историю западноевропейской культуры. «Европейская журналистка» считается мастером художественного репортажа. Ср.: *Рейснер Л.* Гамбург на баррикадах. Предисловие К. Радека. – М., 1925. (*Прим. ред.*)

[6] Имеется в виду социолог и синолог Карл Август Витфогель (1896–1988), который в 20-е годы своими политическими пьесами поддерживал коммунистическое рабочее движение. После эмиграции в США, во время холодной войны, стал антикоммунистом. (*Прим. ред.*)

[7] Любопытно, что в рецензии авторитетного критика Прим (Иван Анисимов) в газете «Вечерняя Москва» от 2 сентября 1926 года читаем: «Мы не ставим уже в театре пьес Толлера или Витфогеля… Мы не хотим более отвлеченного схематизма, голого пафоса – нам нужны насыщенные конкретикой, живые изображения». Будущий член-корреспондент АН СССР в области литературоведения предугадал ситуацию, что называется «с точностью до наоборот».

[8] Ср.: Günter Agde: Reziproke Bilder. Ein wolgadeutsches Filmprojekt (1935/36) und seine historischen, politischen und kulturellen Verpflechtungen.

[9] *Н.В.* Кино «Гамбург» // Труд. 27 августа 1926 года.

[10] *Марголит Е., Шмыров В.* Изъятое кино. – М., 1996. С. 30.

[11] Причем, подчеркнем еще раз: мы отбираем для исследования только те фильмы, действие которых, по крайней мере, включает в себя эпизоды жизни за рубежом. Поэтому многочисленных фильмов, где фигурируют иностранцы только на советской территории, мы касаемся эпизодически. Соответственно, в поле нашего зрения не входят и такие примечательные фильмы на материале Первой мировой войны, как, например, «Первый взвод», «Снайпер» или великая «Окраина».

[12] *Динамов С.* За сюжетность искусства // Правда. 16 апреля 1934 года.

[13] Название каждой картины утверждается комиссией Оргбюро… // Киноведческие записки. Вып. 31. – М., 1996. С. 113.

[14] *Д.Е.* Товар площадей // Кино. 24 марта 1934 года.

[15] Наиболее показательный пример в этом отношении находим мы не в игровом кино, но в анимации. В 1934 году был снят анимационный фильм «Вор», известный историкам кино как один из образцов работы с рисованным звуком. Автором сценария был эмигрировавший в Советский Союз незадолго до прихода Гитлера к власти венгерский и немецкий кинематографист Бела Балаш. Сюжет фильма – история пионера и его собаки, которые борются с наглой свиньей, тайком проникшей в колхозный огород. Незатейливая история с расчетом на детскую аудиторию – отличный материал для эксперимента. Однако недавно известный русский исследователь кино Александр Дерябин обнаружил в архиве кино-фотодокументов в Красногорске первый вариант фильма, где свинья появляется со свастикой на боку. Соответственно, весь фильм был задуман как плакат-аллегория о готовности советской страны дать отпор фашистскому агрессору. Примечательна здесь и перекличка со знаменитым строем «псов-рыцарей» в «Александре Невском» Сергея Эйзенштейна, который именовался именно «свинья»: более чем возможный намек на фашистскую Германию не был пропущен советской цензурой.

[16] Впрочем, эти иллюзии разделяло большинство советского общества. Пророческий рассказ Андрея Платонова «Мусорный ветер» (1934) – исключение из правил. Правилом же может служить реакция Максима Горького, ценившего талант писателя, но отказавшего в публикации рассказа из-за его чрезмерной, на горьковский взгляд, гиперболичности. В том же ряду стоит реакция крупного литературоведа, прозаика и переводчика Гейне Юрия Тынянова, в 1934 году спрашивавшего, по свидетельству Ильи Эренбурга: «Может быть в Германии все-таки чудовищного вида революция?».

[17] *Яковлева А.* Семья Оппенгейм. – М., 1938. С. 4.

[18] Фильм «Борцы» в течение многих лет считался пропавшим и только в 1963 году, после нахождения фрагментов в советских архивах, мог быть восстановлен немецкими и русскими специалистами. См.: *Renate Waack.* Bedeutende antifaschistische Filme und die Mitwirkung deutscher Schauspieler im sowjetischen Film. In: Exil in der UdSSR. – Leipzig, 1979. S. 50–527. (*Прим. ред.*)

[19] *Брик О.* Плоды сепаратизма // Кино. 22 мая 1934 года; Кино. 22 октября 1934 года. В том же номере газеты «Кино» поддерживающая Брика в оценке фильма Л. Войтоловская возводит архаичность его эстетики и традиции немецких театрально-агитационных обозрений групп «Аларм» и «Колонне линкс», гастролировавших в СССР на рубеже 20–30-х гг. См. также: *Agde*. Zwischen Hoffnung und Illusion. S. 73, f. (*Прим. ред.*)

[20] *Немоляев В.* Вспоминая Головню // Жизнь в кино. – М., 1994. С. 132–135.

[21] *Устинов В.* То, чего не увидел зритель // Кино. 22 декабря 1936 года.

[22] Кинооператор Вячеслав Горданов. – Л., 1973. С. 62–64.

[23] Пожалуй, единственным широко известным в СССР той поры немецким художником был Георг Гросс. Его знаменитый рисунок распятого Христа в противогазе, сделанный для одного из спектаклей Пискатора (см. с. 554), не раз цитировался в советском кинематографе конца 20-х – начала 30-х годов. Так, в упоминавшемся уже эпизоде из «Обломка империи» русский и немецкий солдаты-двойники сталкиваются друг с другом именно у подножья распятия в противогазе. В малоудачном украинском фильме «Хрустальный дворец», также на материале Германии, этот образ непосредственно введен в сюжет: главный герой – скульптор, создающий статую Христа в противогазе. Ср.: *Jeanpaul Goergen.* Filmisch sei der Strich klar, einfach. George Grosz und der Film. In: George Grosz. Berlin–New York. Ausstellungskatalog. – Berlin, 1995. S. 215–218. (*Прим. ред.*)

[24] *Третьяков С.* Арсенал // Кино и культура. № 3, 1929 год.

[25] *Ромм М.* Устные рассказы. – М., 1989. С. 88–89.

[26] *Туровская М.* И. А. Пырьев и его музыкальные комедии. К проблеме жанра // Киноведческие записки. Вып. 1. С. 119.

[27] *Балаш Б.* Варварский талант // Кино. 22 ноября 1933 года.

[28] *Шеффер П.* Кино в Москве только пропаганда // Киноведческие записки. Вып. 6. С. 83. *Achtung.* Die Redaktion zitiert nach der genaueren deutschen Ausgabe Paul Scheffer: Kunst und Propaganda: die Filmgesellschaft Kuleschow. In: Ders.: Augenzeuge im Staate Lenins. Ein Korrespondent berichtet aus Moskau 1921–1930. – München, 1997. S. 205–208; *Zitat.* S. 207.

[29] *Мачерет А.* Фашизм – это война // Кино. 29 июля 1938 года.

[30] Примечательно, что в первом фильме, где агрессором выступает фашистская Германия, – «Родина зовет» А. Мачерета – фашизм представлен в виде эскадрильи самолетов со свастикой на хвосте, несущих смерть (своеобразная вариация на тему «полета валькирий»). Этот подчеркнутой безликости смерти противопоставлен главный герой – отважный победоносньй советский летчик, причем рабочее название фильма в высшей степени красноречиво – «Лицо героя».

[31] *Сталин И.* О Великой Отечественной Войне Советского Союза. – М., 1951. С. 31.

[32] Вольфганг Лангхоф (1901–1966) – немецкий актер и режиссер, после 1945 года также главный режиссер в Цюрихе, Дюссельдорфе и Берлине. Из-за коммунистических убеждений и агитации в 1933–34 годах он отбывал срок в концлагере Эстервеген, свои впечатления он описал в 1935 году в «Болотных солдатах» («Die Moorsoldaten»). (*Прим. ред.*)

[33] Ср.: *Jasmin Arnold.* Die Revolution frisst ihre Kinder. Deutsches Filmexil in der UdSSR. – Marburg, 2003.

[34] В немецкой киноверсии пьесы, поставленной на студии «ДЕФА» в 1961 году сыном драматурга Конрадом Вольфом, возвращен первоначальный вариант ее финала.

*Георг Вурцер*

# РОССИЯ ГЛАЗАМИ
## Эдвина Эриха Двингера

Эдвин Эрих Двингер (1898–1981) своей семейной историей и биографией был предопределен к особому пониманию России. Он родился в семье немецкого военно-морского инженера, ставшего позже офицером флота, и русской женщины, родители которой в 1868 г. переселились в Киль[1]. С началом Первой мировой войны он, шестнадцатилетний, добровольно поступил в драгуны и в 1915 г., в первые дни своего пребывания на фронте, был тяжело ранен и оказался в русском плену. После пребывания в московском госпитале он попал сначала в лагерь Тоцкое, условия в котором описал в романе «Армия за колючей проволокой», затем в Иркутск. После сезонной работы в качестве сельскохозяйственного рабочего его перевели в лагерь Даурия на русско-монгольской границе. В 1918 г. он бежал оттуда и, обнаруженный офицерами, придерживавшимися антибольшевистских взглядов, присоединился к белым вооруженным силам – по его собственным словам, чтобы избежать расстрела. Он участвовал в наступлении этих войск до областей к западу от Урала, а потом в их напоминавшем бегство отступлении вдоль Транссибирской магистрали. На восточном берегу замерзшего озера Байкал его часть была настигнута советскими войсками[2]. Ему удалось укрыться в иркутском лагере под видом военнопленного. Отсюда он бежал и с немалыми трудностями добрался до Германии[3].

Из России Двингер вернулся тяжело больным. Врачи давали ему еще всего лишь два года жизни[4]. Он уехал в Альгей, приобрел поблизости от туберкулезного санатория небольшой крестьянский двор и занимался сельским хозяйством[5]. Уже в плену Двингер начал писать – стихи, а затем драмы[6]. После возвращения на родину он опубликовал в 1920 г. автобиографический роман «Большая могила». До 1929 г. последовали романы «Корсаков»[7] и «Последняя жертва», вызвавшие лишь небольшой отклик читающей публики и критиков. Большой писательский успех пришел только с «Немецкой страстью» – окрашенной автобиографическими тонами трилогией романов о русском плене (отдельные названия: «Армия за колючей проволокой», 1929, «Между белыми и красными», 1930, «Мы зовем Германию», 1932).

В годы национал-социализма Двингер достиг большого почета. Уже в 1933 г. он стал членом секции поэзии Прусской академии искусств, а в 1935 г. получил литературную премию, названную в честь фаворита Гитлера Дитриха Эккарта. Он стал сенатором по вопросам культуры и сиял «на каждом писательском заседании “Тысячелетнего” (рейха. – *Прим. перев.*) в торжественном тщеславии»[8]. Теперь он получал годовой доход, во много раз превышающий прежний[9], и «попал в немецкую писательскую верхушку, если говорить о доходах»[10]. В 1938 г. Двингер был произведен в оберштурмфюреры СС, правда, как он подчеркивал в 1967 г., только за свои «заслуги в кавалерии»[11]. Пользуясь своим званием офицера СС, он помогал жертвам национал-социализма[12]. После 1933 г. работы Двингера были внесены в «Основной список произведений, рекомендованных Имперским ведомством по содействию гер-

манской литературе»[13]. Его книги, появившиеся до 1933 г., пережили накануне Второй мировой войны целый ряд переизданий и лишь теперь, годы спустя после их появления на рынке, достигли своих наиболее успешных продаж. Кроме того, Двингер опубликовал и другие произведения на разные темы, к примеру, роман «Последние всадники» (1935) – мистифицированное изображение добровольческих корпусов в 1920–1921 гг., «И Бог молчит?» (1936) – основанное якобы на фактических данных сообщение об отрезвлении идеалистически настроенного немецкого коммуниста в пораженном голодом районе Украины во время насильственной коллективизации в СССР, «Испанские силуэты» (1937) – дневник событий на белом фронте во время Гражданской войны в Испании, а также «На полпути» (1939) – роман о напоминавших гражданскую войну боях в Германии после Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны Двингер в качестве зондерфюрера СС участвовал в немецком нападении на Советский Союз. Его переживания отразились в якобы базирующемся на дневниковых записях романе «Свидание с Советской Россией» (1942). Для Двингера, отобранного Гиммлером на время после занятия Москвы в качестве его личного референта по Востоку[14] и уже заранее оснащенного широкими полномочиями, в оккупированной России не было препятствий[15].

О его дальнейшей деятельности в биографии писателя говорится слишком уж благожелательно, что он, находясь на Востоке, «быстро стал противником национал-социалистской политики в отношении России». Он пытался продемонстрировать «свои взгляды в памятных записках, с тем лишь, однако, результатом, что был отослан домой»[16]. Вальтер Штрик-Штрикфельдт, одна из ключевых фигур в окружении Власова, подтверждает, что Двингер превратился «в поборника русского освободительного движения»[17]. Сам Двингер характеризовал в 1966 г. свою прежнюю политическую позицию как антитоталитарную. С его точки зрения, нацизм по природе своей – это коричневый большевизм[18]. Он уже довольно давно считал, что Гитлер должен уйти и еще до прихода НСДАП к власти вместе с братом Отто Штрассера Грегором планировал устранение Гитлера[19]. Он сообщал, что в июле 1943 г. обсуждал с графом фон дер Шуленбургом покушение на Гитлера[20] и предлагал себя в качестве пропагандиста на случай переворота. Он потому лишь не участвовал в подготовке покушения, что находился под домашним арестом и мог поставить под угрозу все предприятие[21]. Он никогда не приукрашивал войну, никогда не написал ни одной нацистской книги[22]. Он всегда вставлял во все свои памятные записки по одной фразе, прославлявшей национал-социализм – только ради соблюдения формы[23]. В его 20 книгах нет ни одного дурного слова о евреях[24]. Вопреки сказанному можно констатировать, что его роман «На полпути» (1939 г.) включает множество антисемитских выпадов, которые ранее у Двингера нельзя было встретить. В беседе он заявил, что национал-социалисты ему «трижды милее большевиков»[25].

Окончание войны писатель пережил в своем имении в Альгое, откуда 12 мая 1945 г. вступившие американские войска отправили его для интернирования в лагерь Людвигсбург[26]. Он жаловался на плохое обращение заокеанской охраны с интернированными[27], тогда как сам получил от американцев поручение написать памятную записку об отношении Советского Союза к США и обладал существенными привилегиями[28]. Книги Двингера были включены в составленный американской военной администрацией список закрываемых для общественного чтения произведений, состоявшего лишь из 1000 названий (в отличие от русского списка, который насчитывал 15.000 томов)[29]. Комиссия по денацификации в Фюссене охарактеризо-

вала его как «попутчика»[30]. Хотя после войны он опубликовал еще целый ряд больших книг, выдержанных в привычном стиле, автор не мог уже опираться на свои прежние успехи[31]. В книге «12 бесед» (1966) он не особенно убедительно пытается представить себя «борцом Сопротивления. Хотя он определенно дистанцировался от национал-социализма, но не от борьбы против коммунизма, окрашенной национализмом»[32]. Вышедшие в 1967 г. в авторитетном научном журнале «Остойропа» («Восточная Европа») его воспоминания об Октябрьской революции вызвали среди специалистов бурю возмущения. Сам он не видел необходимости оправдываться[33]. Обращение с собою средств массовой информации он характеризовал как «гангстерство, переложенное на нашу публицистику»[34]. Несмотря на все нападки, Двингер и после Второй мировой войны продолжал пользоваться спросом[35]. 17 ноября 1981 г. он умер в городе Гмунд-на-Тегернзее[36]. В целом, его более чем 30 романов достигли общего тиража в 2 млн. экземпляров и были переведены на 14 языков[37]. Он рассматривался даже в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе[38].

Двингера можно причислить к группе писателей-приверженцев «солдатского национализма», которые в Веймарской республике занимали правый фланг литературной сцены. «Почти мономанически солдатский национализм объясняет любую проблематику военными переживаниями и полагает, что уже нашел практиковавшиеся в этих переживаниях идеальные решения общественных проблем, и теперь данные решения следует лишь перенести на мирные условия»[39]. В соответствующих романах «[…] “люди-господа” противостоят “недочеловекам”. Сколь благородны, мужественны и смелы одни, столь же низки, жестоки и отвратительны другие. Обе стороны равным образом применяют насилие»[40].

По вопросу о позиции писателя в отношении национал-социализма в исследовании жизни и творчества Двингера встречаются различные оценки. По оценке молодого докторанта Акселя Вальтера Клесгеса, который, очевидно, позволил ослепить себя личным обаянием Двингера, признававшимся многими современниками, он был решительным националистом, полагавшим, что Германия призвана породить фюрера, вождя, который мог бы устранить коммунистическую опасность. Но Гитлера он не считал таким фюрером[41]. Напротив, историк литературы Ханс Заркович в конце 80-х гг. кратко выразился по поводу автобиографически окрашенного романа «Мы зовем Германию»: «В этом романе, вызывающем ожесточенные споры, он косвенно признал себя сторонником национал-социалистского государства, которому после 1933 г. служил в качестве ревностного пропагандиста…»[42].

Специалист по истории Восточной Европы Карл Шлёгель в одной из своих статей следующим образом оценивает стиль Двингера: «[…] его искусство рассказчика терпит крах не только при столкновении с величием сюжета, ужаса происходящего, трагедий и низостей, превосходящих человеческий разум, но и из-за предвзятости, вытекающей из его политических решений»[43]. По поводу политической роли Двингера он отмечает: «Двингер не только мощный рупор вовсе не лишенного влияния в межвоенное время течения национал-большевизма, он прямо-таки призывает третий рейх. Он был не попутчиком, а предшественником. Он жаждал того, чего не было, – национал-социализма с человеческим лицом»[44].

В более раннем исследовании указывается на русские корни матери и на внутреннюю противоречивость, вызванную в психологии Двингера его немецко-русским происхождением. Стоит подробнее процитировать место из работы Клесгеса, основанное на личных данных Двингера:

> Свадьба германского морского офицера, состоявшего на императорской и королевской службе, с дочерью русских иммигрантов, не вызвала открытых симпатий в общественных кругах военно-морского флота. Поэтому позже, когда 23 апреля 1898 г. в Киле родился Эдвин Эрих, молодая г-жа Двингер решила уберечь сына от возможных впоследствии неприятностей, с самого начала воспитывая его как «немецкого мальчика». Хотя мать по желанию своего мужа и намеревалась говорить с мальчиком только по-немецки, не всегда было возможно выполнить это намерение. Когда муж надолго отлучался из дома, не оставалось ничего другого, как время от времени говорить по-русски, особенно если мать и сын общались с русскими дедушкой и бабушкой, что напоминало им об общей родине. Неизбежным также было ознакомление ребенка по прошествии ряда лет с русским языком и обретение определенных знаний культуры и форм жизни России. Эта двойственность в воспитании мальчика пустила столь сильные корни, что, хотя Эдвин Эрих Двингер и был всегда горд своей немецкой национальностью, он никогда не мог и не хотел утрачивать наследие своей матери. Много лет спустя, когда ему в качестве военнопленного пришлось провести не один год в русских лагерях, его длительный интерес к России и его знания русского человека оказались вознагражденными и во многих случаях помогали улучшить его положение[45].

В дальнейшем следует показать, как эта двойственность: с одной стороны, упрямое подчеркивание «превосходящей» немецкой самобытности, с другой – немалая очарованность русским, – пронизывают все его творчество.

## Россия в произведениях Двингера

Литературная деятельность Двингера подразделяется на пять составных частей: 1. Первое автобиографическое произведение «Большая могила» (1920 г.), 2. Ранние романы «Корсаков», «Последняя жертва» и «12 разбойников» (завершен в 1927, опубликован в 1931 гг.), 3. Автобиографическая сибирская трилогия «Немецкая страсть» с отдельными томами «Армия за колючей проволокой», «Между белыми и красными» и «Мы зовем Германию», 4. Время третьего рейха (здесь исследуются только книги, касающиеся России) и 5. Обширное литературное творчество в Федеративной республике, которое, однако, здесь должно остаться за скобками.

### *Первое произведение*

Уже в 1920 г. вышел его автобиографический роман «Большая могила», в значительной степени оставленный без внимания критикой и читающей публикой. В нем автор выступает под именем Эдвина Регнида (при прочтении справа налево: Д[в]ингер). Главный персонаж, Регнид, возвращается в 1919 г. из русского плена на родину. Разговоры в этой книге, которые и составляют ее ядро, концентрируются на вопросе о будущем, ожидающем его после возвращения домой. Еще отсутствуют описания перенесенных страданий, характерные для романа «Армия» (1929 г.). В этом произведении раннего периода творчества герой прямо из московского госпиталя попадает в Даурию, где существуют сносные условия, и не переживает «Ада

Тоцкого», как названа книга с фрагментами из «Армии за колючей проволокой»[46]. В противоположность произведениям «Сибирской трилогии» драматизм заключается не столько во внешних условиях жизни, описании жестокостей со стороны русских, сколько в поиске смысла жизни. До известной степени раннее произведение ставит под вопрос многое из того, что позднейшие работы Двингера выставляли напоказ, говоря о мнимой аутентичности, так что приходится исходить из предположения о том, что многие из сцен, якобы характеризующих русских, вымышлены или списаны у других авторов.

В начале романа Двингер характеризует естественный основной тон русской жизни, ассоциирующийся со здоровой архаикой, крестьянским началом, бессознательной дикостью, но еще и с идиллическими моментами: «Сибирская земля тиха. Чудесно тиха. Как пение ее боязливых девушек и сильных парней…» (с. 9). Он часто описывает русских положительным образом, например, как людей, любящих свою родину[47]. Точно так же он размышляет о том, как хорошо заботились в госпитале о больных: «Ведь многие в русском народе остались мягкими и добрыми» (с. 171). В некоторых местах он очень положительно описывает депортированных русских. Например, он так характеризует случайного знакомого из трактира: «Это широкая, мощная фигура. Только спина немного согнута и голова, обрамленная седыми кудрями, наклонена вперед, будто на этой шее лежало давящее бремя. Но у незнакомца соразмерное красивое лицо с тонкими чертами и большими темными глазами» (с. 158).

Здесь различим момент, типичный для результатов всей литературной деятельности Двингера (и тривиальной литературы вообще): Характер человека становится виден уже по его внешнему виду. Стилистическая фигура хорошего, простого – и, конечно, настроенного против большевиков – русского возвращается во все его романы. Но природный порядок распался из-за войны. Следствие заключается в том, что Сибирь стала для пленных местом страданий (с. 17, 149, 206 и сл.), несвободы, сценой невероятных жестокостей и смерти (с. 17, 149, 206 и сл., 236 и сл. и др.). Так, он комментирует манеру часовых заставлять пленных в качестве придирки стоять часами: «Но они (пленные. – *Г.В.*] понимают, что это по-русски» (с. 22).

В этой смуте поляризуются добро и зло: к группам, вызывающим отвращение, относятся казаки и часовые в лагере (с. 12, 23), а также большевики. Особенно раздражен рассказчик численностью «столь неполноценных в духовном отношении людей, которая характерна для широкой массы большевистских разбойничьих банд» (с. 64). Большевики – «рабы своих стремлений и жадности» (с. 225). Немецкая нация «не вступит на путь безумия, по которому идет обманутая Россия» (с. 163). Уже здесь вырисовывается пропагандировавшаяся им впоследствии столь страстно миссия германского, «цивилизованного» национал-социализма.

В его романе большевики жестоко убивают своих раненных пленников и насилуют дочь коменданта лагеря (с. 167 и сл., 172 и сл., 197 и сл.). Напротив, русские офицеры, занимающие антибольшевистские позиции, изображены сплошь положительно (с. 109). Белые, расстрелянные красными, умирают «гордо и спокойно» (с. 173).

Высказывания Двингера о России и русских в этом раннем произведении отнюдь не однозначны. Правда, заключение содержит четкое предупреждение о том, сколь опасным может стать для стойкого немца слишком глубокое проникновение в русскую ситуацию. Военнопленный офицер, оставшийся в России и женившийся на русской, производит впечатление опустившегося: «[…] на койке сидит на корточках

Вальтер Вагнер. Он нем и неподвижен. Грязная русская крестьянская одежда еле-еле прикрывает его худое тело, утратившее всю свою силу и гордый облик, и устало обмякшее. А в чертах его лица читается выражение сверхчеловеческого страдания» (с. 250).

Его жена ненавидит его, и он отравляет ее, а потом себя. С учетом семейной истории Двингера, который, очевидно, никогда не смог преодолеть намерения «не быть настоящим немцем», это примечательное образное изображение.

### *«Корсаков»*

В ранних романах Двингера на переднем плане в качестве положительных героев – русские, женщины или мужчины. В то же время они, в той или иной степени, носители антибольшевистской пропаганды. Действие «Корсакова» (1926) происходит в Германии. Русский князь решается вести жизнь охотника в лесу, чтобы обрести душевное излечение. В соответствии с желанием Двингера стать «немецким Гамсуном», встречаются многочисленные пространные описания охоты и природы. Рассказчик, от лица которого ведется повествование, влюбляется в женщину, но она его обманывает и, забеременев от другого, убивает. В конце концов, он становится монахом.

Князь – симпатичная идентификационная фигура. Русские изображены как сплошь положительные, хотя и трудные для постижения люди. Образ России определяется на основании свойств характера князя и общих высказываний о России. Герой тоскует по родине; он обрисован как мягкосердечный (с. 32, 62), но в то же время ведóм «дикой кровью» (с. 123, 154) и сильными эмоциями (с. 114 и сл., 147). Когда его неверная подруга хочет возобновить отношения с ним, «по мне беспрепятственно и неудержимо прошла самая тяжелая часть наследственности моего грубого и дикого народа, чего я уже давно боялся» (с. 235). И снова, хотя теперь только мимоходом, жестокости большевиков вплетаются в события: именно они убили жену и детей князя и разрушили его имение. Католический священник говорит князю, что русский народ – один из лучших (с. 238), при этом, однако, не становится ясным, на чем основывается эта оценка… Так образ России в этом раннем произведении Двингера оказывается написанным хотя и неоднозначно, но преимущественно благожелательно: даже если Россия и представляет собой сейчас страну разбойников и убийц, там есть хорошие люди, верящие в идеалы. Но слышится и мотив, со времени перевода произведений Достоевского формировавший немецкие стереотипы России и монотонно повторяющийся почти во всех произведениях Двингера. Речь идет о якобы «карамазовской природе» русского, о колебании между крайностями.

### *«12 разбойников»*

В романе «12 разбойников» Двингер опирается на характеристику России и русских, данную в «Корсакове». Русский герой, на сей раз не тот, от имени которого ведется рассказ, измучен крайним душевным состоянием. Здесь, однако, на переднем плане больше не стоит пропаганда против большевизма и провозглашение собственного политического послания.

Но «12 разбойников» были завершены уже в 1927 г. Так как роман появился на рынке только в 1931 г., после выхода двух первых томов сибирской трилогии, удостоившихся восторженного приема, критика, в отличие от других ранних работ, обратила на него пристальное внимание. Часто отмечается, что эта книга по сравнению с захватывающими произведениями Двингера о плене, написанными позже, но раньше опубликованными, не характеризуется прочностью и отмечена воздействием незрелой сентиментальности[48]. Это история бывшего красного комиссара, который вынес многочисленные смертные приговоры, затем нравственно возродился и ведет в Германии жизнь рыбака, близкую к природе. Там он встречает женщину, которая хочет обратить его к жизни в крупном городе. В конце концов, он бежит, бросая жену и ребенка.

Вновь и вновь включаются воспоминания героя о времени его комиссарства, например, о том, как он отдавал приказы о расстреле или выступал на собраниях. Герой, переживший нравственное возрождение, подробно объясняет свою политическую точку зрения, и это объяснение в едва модифицированной форме повторяется во многих произведениях Двингера, почему, вероятно, может рассматриваться и как мнение самого автора. Боясь насилия и желая сохранения индивидуальности, он отвергает коммунизм. Но он чувствует себя еще более отдаленным от циничных капиталистов. Русская буржуазия угнетала народ, но ее бы не свергли, не будь она прогнившей. Герой оправдывает насилие, применявшееся в ходе русской революции тем, что только таким способом можно было быстро покончить с жестоким царским режимом. Напротив, явно антибольшевистским настроением проникнут эпизод, ведущий к нравственному возрождению героя, причем Двингер воспроизводит здесь часто пересказываемую историю[49]: В отсутствие губернатора, оказавшегося позже героем Двингера, комиссар приказывает убить в Крыму царских офицеров, попарно связав их и подвесив к ногам стальной груз. Затем связанных бросили в воду.

И в этом раннем произведении положительный герой – русский, причем проявляются уже многие стереотипы, создаваемые позже для характеристики страны и людей: насилие, пьянство и колебание между крайностями. Изменения «простого русского» в условиях большевистского режима, которого Двингер первоначально прославлял как добросердечного, автор рассматривает как тему всех своих книг о России.

### *Сибирская трилогия*

Автобиографическая «Сибирская трилогия», или «Немецкая страсть», выдержанная в стиле рассказа от первого лица, рассматривает в первом томе, «Армия за колючей проволокой» (1929), ход пленения Двингера и его переживания в плену – до попытки побега в 1918 г.; во втором – «Между белыми и красными» (1930) – речь идет о его участии в Гражданской войне; а в третьем – «Мы зовем Германию» (1932) – о возвращении его товарищей к гражданской жизни в Германии, сотрясаемой кризисом. Акценты в образе России, сформированном в томах сибирской трилогии, сильно различаются. В противоположность ранним романам, русские не являются больше положительными идентификационными фигурами, напротив, они выступают в самых разных типизациях.

Здесь узнаваем стиль, который будет характеризовать все его дальнейшие произведения. Двингер принимает облик хрониста. При этом, документальное повество-

вание оживляется беседами, эпизодами и т. д. Описание шокирующих жестокостей быстро сменяется остроумными анекдотами[50]. Часто описание жестокости имеет и сексуальную ноту[51]. Еще в 1967 г. автор обостряет историю своих переживаний в ходе русской революции с помощью жестокой сцены: старая женщина стреляет в член русского офицера, во время агонии пришедший в состояние эрекции[52]. Сексуальность представляется в произведениях Двингера противоречиво: с одной стороны, романтические мечтания поры полового созревания, любопытство к женщине, неутолимое стремление к нежности[53], с другой – проникнутое отрицательным отношением описание мужской и женской проституции в лагере военнопленных и во время Гражданской войны, а также истории о гомосексуализме (который он осуждал самым резким образом) и онанизме[54].

В противоположность притязанию хрониста, Двингер, однако, не ограничивается только документированием событий, напротив, он пытается передать и политическое послание. Даже если в некоторых местах и выражена тоска по миру, основная идея его произведений заключается в том, что индивид должен принести себя в жертву более высокому целому и обязан идти на войну за народ и Отечество[55]. По мнению Двингера, и военнопленные должны там, где они оказались, бороться за родину[56]. О своей политической позиции по отношению к борющемуся национализму и антибольшевизму он недвусмысленно дает понять в ходе бесед, якобы цитируемых как записи из его дневников. В каждой из его книг «Немецкой страсти» выступают различные фигуры, символизирующие всякий раз определенное политическое течение или понимание мира. Сначала в плену это бравый вахмистр Шнарренберг, похожий на медведя крестьянин Подбельский, которого называют «Под», и Брюннингхаус по прозвищу «Брюнн», болеющий сифилисом и выражающий пацифистские и большевистские взгляды. Когда Двингер перебирается в офицерский лагерь, там снова возникают, в другой одежде, соответствующие фигуры.

В романе «Между белыми и красными» различные персонажи воплощают основные течения современного русского общества. В соответствии со своей ролью хрониста, Двингер якобы объективно протоколирует мнения, сталкивающиеся друг с другом; в действительности же быстро становится очевидным, на чьей стороне его симпатии. Его отрицательные образы, например, русские охранники в плену, обрисованные жестокими в своей детской наивности, или товарищи, выражающие пацифистские, антиавторитаристские и демократические мнения, описываются как отталкивающие уже по своему внешнему виду. К тому же они представлены в качестве морально неполноценных. Однозначно положительно нарисованную фигуру представляет добродушный крестьянин «Под», символизирующий романтизированную автором естественную неиспорченность, противопоставляемую гнилости цивилизации. Этот признак сближает Двингера с национал-социалистской идеологией «крови и почвы», даже если он всегда оспаривал такое сродство, да и вообще политические намерения[57].

Современные рецензенты часто не понимали реакционную тенденцию произведений Двингера. В качестве примера можно процитировать успешного романиста и пацифистски настроенного политического публициста Отто Флаке, который с восторгом встретил «Армию» и «Между белыми и красными»:

> Тому, кто рекомендует книги, следует быть осторожным с употреблением превосходной степени […]. Тем не менее, один раз и я воспользуюсь этим правом: ни одна книга о войне

> не произвела на меня более сильного впечатления, чем два тома, опубликованные Эдвином Эрихом Двингером под названиями «Армия за колючей проволокой» и «Между белыми и красными» в издательстве «Ойген Дидерихс». Впечатление непреходяще, и я убежден, что на протяжении еще многих десятилетий ни одно обсуждение войны, как к ней ни относись, с одобрением или неприятием, не будет возможно, если не знать изображения, предложенного Двингером[58].

Вот как Флаке представляет образ России, предложенный Двингером, в «Армии» и «Между белыми и красными»:

> Самый интересный пункт – это славянская доля его души, позволившая автору понять русскую природу. Довольно рано он осознал оба ее полюса и всю широту, лежащую между ними, между жестокостью и самоуничижением. Один полюс соответствует татарам, другой – святому. В Германии до войны, когда читали Достоевского, большой модой стало восторгаться этим расстоянием между двумя крайними позициями, и было довольно бесперспективно выдвигать возражения[59].

Вилли А. Кох заметил в 1938 г. в аристократическом и очень близком режиму журнале «Дойчес Адельсблатт»: «Это произведение […] вероятно, уже сегодня следует в содержательном отношении со всей ясностью и однозначностью признать одним из наиболее сильнодействующих в борьбе против азиатского нигилизма и большевизма…»[60]. После Второй мировой войны «Армия за колючей проволокой» и «Между белыми и красными» переиздавались, и новые издания были положительно оценены критикой[61].

«Армия за колючей проволокой» (1929), как и «Большая могила» (1920), рассматривает плен Двингера в России якобы на основе аутентичных дневниковых записей рассказчика, от лица которого ведется повествование, но, при этом, теперь разливается настоящий поток жестокости и страдания. Русских снова представляют как народ крайностей. Если, однако, в ранних романах трещина проходит через отдельные личности главных фигур, в основной своей тенденции обрисованных положительно, то теперь русским, наделенным только хорошими свойствами, противостоят русские же с одними лишь плохими свойствами.

Издатель Ойген Дидерихс недвусмысленно поручил Двингеру написать нечто контрастирующее с романом Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» (Берлин, 1928) в применении к Восточному фронту[62]. Всего за несколько месяцев он завершил «Армию»[63]. Целевую группу представляли «маленькие люди», поэтому Двингер должен был предлагать то, что соответствовало их опыту и потребностям[64]. Выступление против войны было, однако, «в конечном счете, чисто поверхностной и оппортунистической уступкой его по сути дела уставшим от войны читателям»[65]. Благодаря книге «Армия за колючей проволокой» на долю Двингера как автора выпал первый успех. Общий тираж к 1950 г. достиг 260.000 экземпляров, и был сделан перевод на десять языков[66].

В книге рассказывается окрашенная автобиографическими тонами история немецкого солдата с момента его пленения в России в 1915 г. до попытки побега в 1918 г. Хотя четкие высказывания о России и не являются сплошь негативными, она все же – место непостижимой жестокости, внутренней расшатанности. Двингер взывает здесь к товариществу в условиях плена, который он описывает как нечто более

экстремальное по сравнению с фронтовыми переживаниями. Место окопа занимают теперь эпидемии и постоянная угроза со стороны русских охранников.

Стиль, заложенный в «Армии», Двингер применял в качестве своего писательского шаблона на протяжении последующих 25 лет[67]. В бесчисленных вариантах читателю демонстрируются известные стереотипы.

Современная критика от национально настроенных кругов до журнала «Нойе блеттер фюр ден зоциалисмус» воспринимала роман сплошь положительно[68]. Не было неожиданностью эхо в публицистике правой ориентации. Эрнст Юнгер, духовный вождь кружка писателей «солдатского национализма» и известный автор книг о Первой мировой войне, следующим образом высказывался об «Армии»: «Книгу Двингера следовало бы прочитать каждому, кто хочет быть осведомленным о двойственном лице современной цивилизации. Она входит в число книг, написанных кровью»[69]. В профашистском журнале «Айзерне блеттер» Т. Энгельман отмечает, что чувство товарищества в высшем смысле озаряет дневник «подобно свежему водному потоку, мчащемуся по ландшафту, который осквернен человеческой рукой»[70]. Рецензент выразительно описывает это товарищество, игнорирующее границы происхождения, возраста, профессии и образования, и рекомендует его современной ему Германии. Газета «Дойче альгемайне цайтунг», точно так же придерживавшаяся национал-социалистской ориентации, сравнивала, как и многие другие, произведение Двингера с «Записками из мертвого дома» Достоевского[71]. Для литературного и театрального критика из газеты крупной буржуазии «Берлинер бёрзенцайтунг» Вильгельма Вештеккера, тогда еще занимавшего либеральные позиции, а в 1938 г. выступившего с национал-социалистской теорией эстетики, Двингер общительнее, при всей чувствительности внутренне жестче, с более сильным характером и бóльшим поэтическим талантом, чем Ремарк[72]. Вештеккер философствует и о русском характере: «Жестокость русских истязателей – загадка для всех […] в характере русских есть что-то дикое и не знающее удержу, что всегда остается для немцев жутким и зловещим. Каждый охотно играет дьявола, каждый хотел бы властвовать в одиночку, властвовать беспощадно»[73]. Неожиданна похвала известного научного журнала «Остойропа», который пишет об «исключительном достижении»[74], и социал-демократических «Нойе блеттер фюр ден зоциалисмус», отмечавших: «Не без оснований ее (книгу “Армия за колючей проволокой”. – *Г.В.*) по содержательному значению и силе изображения сравнивали с “Мертвым домом” Достоевского»[75]. Известный повествованиями о плене писатель Брем, во времена существования Остгау одна из виднейших фигур национал-социалистской культурной сцены, замечает по прочтении книги: «Я ее читал, впрочем, нет, я ее не читал, я брел, шатаясь, полз, бросался из стороны в сторону, ковылял, еле переводя дух, через книгу…»[76]. «Армию» с воодушевлением встретили и за границей[77]. Рецензент в уважаемом литературном приложении к газете «Таймс» («The Times Literary Supplement») даже сделал бы высказывания Двингера основой для обвинения царского режима перед международным судом, если бы этот режим еще существовал[78]. Только во Франции проявились сомнения. В критической статье Л. Беранже в научном журнале иезуитов прозвучало, например: «Мы не можем удержаться от возмущения при столь значительном легкомыслии. Ведь ужасы, о которых рассказывают немецкие добровольцы той войны, не учат нас ничему…»[79]. Он упрекает Двингера в том, что тот обрисовывал жестокости плена только ради себя самого.

Если Двингер в «Армии» пишет о России, то она, главным образом – место невообразимой жестокости, начинающейся уже при характеристике условий в московском госпитале (например, с. 40, 47f., 55). Говоря об этих жестокостях, следует назвать, в первую очередь, условия в лагере Тоцкое, причем, особенно впечатляюще изображена эпидемия тифа в этом лагере (с. 100–129, 145). Автор дает точные описания физического и психического разрушения пленных, страданий и смерти товарищей, рассказывает, как трупы, сложенные в штабеля, лежали в разные местах, как их обгладывали крысы, а в бараках скапливались экскременты (с. 117, 123 и сл.). Из рассказов товарищей Двингера читатель узнает об ужасах в других лагерях (например, с. 155–158; 172, 177 и сл.; 276 и сл.; 285). Болезни распространялись и в Даурии, последнем русском лагере, в котором находился автор[80] (с. 181; 292–295).

Правда, немецкие военнопленные, описанные в романе, обрели в России не только отрицательный опыт. Условия сельскохозяйственных работ были очень хорошими, прежде всего, пленные пользовались свободой. Встречи с русскими заканчивались по-разному, даже казаков автор не изображает однозначно отрицательно. Среди санитаров в московском госпитале «[…] люди разного склада, некоторые добры и любезны, а иные жестоки и грубы» (с. 23). О причинах, по которым нельзя было практиковать пленным врачам, размышляет один из товарищей автора: «Никто об этом толком не знает, – сказал он вполголоса. – Но думают, из-за того, что у нас, по сравнению с русскими, слишком мало инвалидов. И слишком мало убитых…» (с. 53). О русском гражданском населении рассказывается и кое-что положительное: во время марша на сборный пункт Угрешская часовой жестоко избивает героя. Прохожие вступаются за пленного (с. 69). Часовые грубы и жестоки и при транспортировке пленных по железной дороге вглубь России (с. 78, 83). В Нижнем Новгороде, который служит в качестве пересыльного лагеря, некоторые прохожие конфузились, видя лохмотья пленных, а другие угрожали им (с. 84). Как особенно жестокого Двингер характеризует коменданта Тоцкого, которого называет «змеей». Он отказывал пленным в какой бы то ни было помощи, в том числе и после того, как разразилась эпидемия тифа. Немецкий врач, намекая на цвет кожи коменданта, называет его «… азиатом, обработанным известью» (с. 96). На упреки по поводу смертности пленных комендант отвечает: «На фронте умирают еще больше!» (с. 109). Этому извергу Двингер противопоставляет казачьего капитана, которого наделяет исключительно положительными свойствами (с. 98, 100, 115–118). В Даурии, последнем лагере Двингера, прежде всего Вереникин, адъютант коменданта лагеря, неуклюжий медведь, описан диким и непредсказуемым. Он относится к немцу очень дружественно, когда слышит, что его мать – русская (с. 205, 276).

Очень подробно и почти сплошь положительно описывает Двингер свои встречи с русскими женщинами, большей частью выступающими в качестве идеализированных утешительниц. На фронте ему подала напиться русская девушка: «Повсюду есть люди! – подумал я. Что-то доброе, мягкое тронуло меня, влило новую силу в мое тело. Я буду видеть ее пред собой в смертный час…» (с. 11 и сл.). В госпитале о нем особенно заботились разные сестры. Изящная блондинка на ночь поцеловала его в лоб и сказала, что надо спать. «Чудо ли, что я ее почитаю?» (с. 28). Особый свет на мораль русских должна пролить история пленного, который во время сельскохозяйственных работ «сделал ребенка» крестьянке и теперь спасался бегством от ее мужа. Наконец его нашел крестьянин, «… мощный, богатырского вида громила». Вот какова была его реакция на встречу с пленным:

Массивный крестьянин начинает двигаться, подбегает к нему, подняв руки. «Так это ты, – спрашивает он – ты? Я уж какую неделю хожу-хожу, чтобы тебя найти! Уж и не знаю, как тебя благодарить за все то, что ты для меня и моего двора сделал! Коровы хорошо доиться стали, свиньи поросятся, четыре теленка уродились… да знаешь ли, братец, мальчишка – просто любо-дорого какой!» (с. 164)[81].

В этой книге мало что сказано о России и русских, в целом. В начале плена есть ощущение попадания «в новый, чужой, непонятный мир» (с. 10). «Она нас размелет, эта темная земля! Так мы все думаем» (с. 10). В связи с жестоким немецким погромом один из пленных задается вопросом: «Но как же это – ведь русские так благочестивы, так добродушны?» (с. 46). Товарищ указывает на подстрекательство со стороны газет. Русская сестра так выражает эту мысль, часто повторяющуюся у Двингера: «Он ведь не зол, русский человек… Он только ленив – ленив, подстрекаем и равнодушен! А мы во всем отстали и намного, так вот оно обстоит…» (с. 58). Тот, от имени которого ведется рассказ, пользуется разным поведением часовых при обоих комендантах лагеря в Тоцком как поводом для размышления о крайностях в русском характере: «Этот народ добр охотно и по своей воле… Да, он добр в глубине души, в своей сердцевине! И он зол только тогда, когда его подстрекают или если начальство приказывает ему быть злым. Что далеко за примерами ходить… При змее эти солдаты были азиатами и зверьми, а при капитане стали безвредными и добродушными людьми! […] И потому, что этот народ еще молод, ему, как ребенку, нужен более, чем что-либо еще, хороший пример. Только где он? И потому, что он так молод, он так силен в своей любви и своей ненависти» (с. 138; см. также с. 148, 153 и сл., 161).

Этому противостоят отрицательные высказывания других фигур. Один из товарищей героя полагает, что «Россия… была и останется царством произвола – что сегодня, что триста лет назад!» (с. 62), и вот как комментировал «Под» упрек в том, что жена коменданта обманывала при обмене денег на сборном пункте Угрешская: «Действительно по-русски, разве нет?» (с. 71). В другом месте автор высказывается относительно русского пьянства (с. 202). Немецкий офицер замечает по поводу его рассказа о плохом обращении в Омске: «[…] такое может быть только в России» (с. 285). О большевиках Двингер пишет, что «их азиатская идеология, их безграничная жестокость» превратили их «в странные и почти непостижимые существа» (с. 239). Следовательно, образ России, нарисованный Двингером в «Армии», не един. Он состоит из ряда повторяющихся стереотипов.

Ситуацию в страшном лагере Тоцкое Двингер описывает на страницах «Армии за колючей проволокой» таким образом, что возникает подозрение, не списал ли он многие свои переживания с весьма распространенного в свое время образцового произведения Эльзы Брандштрём «Среди военнопленных в России и Сибири»[82]. История пленного, который на сельскохозяйственных работах стал причиной беременности жены хозяина, убежал от него и которого тот, в конце концов, нашел, почти дословно совпадает с соответствующим местом в работе Брандштрём[83]. В романе Двингера всплывает и история турок, забытых в закрытом вагоне на запасном пути и там и умерших (с. 229), часто распространявшаяся в воспоминаниях о пережитом бывших пленных[84].

Представляется загадочным, как современный критик, от которого рецензент книги Двингера мог ожидать прочтения «Среди военнопленных в России и Сиби-

ри», упустил из виду частично дословные совпадения «Армии за колючей проволокой» с книгой Брандштрём. Выдержанная в остальном в эйфорических тонах статья Ф. Фусса о Двингере поневоле дает доказательство того, что данные, приведенные этим автором в «Армии», не соответствуют действительности[85].

«Между белыми и красными» (1930) было самым успешным произведением Двингера общим тиражом в 750.000 экземпляров до 1954 г.[86]. В романе, снова основанном якобы на дневниковых записях, взгляд на происходящее изменяется коренным образом: тот, от имени кого ведется рассказ, теперь находится в группе русских офицеров как «товарищ среди товарищей». Тенденция изложения остается, однако, той же: русские – народ крайностей. Правда, теперь в связи с этим на переднем плане пропаганда против большевизма[87].

Тот, от имени кого ведется рассказ, описывает, как он, схваченный при побеге из лагеря военнопленных, поневоле присоединяется к белым. С белой армией он доходит до другой стороны Уральских гор, а затем участвует в ее подобном бегству отступлении на Восток. Настигнутому большевиками, ему снова удалось скрыться среди пленных и, в конце концов, удачно бежать в Германию. Окружавшие Двингера русские товарищи, белые офицеры, изображены подобно гравюре на дереве – как только добрые или только злые, но часто с очень большой любовью, как, например, командир.

И применительно к произведению «Между белыми и красными» имело силу следующее положение: «Критика друзей и врагов, справа и слева, была единодушно положительной»[88]. В критических статьях часто цитировались большие выдержки из «Между белыми и красными», а нередко приводился и краткий очерк истории Гражданской войны в Сибири. При этом, редко забывали подчеркнуть вину союзников в поражении белых, которую Двингер столь обильно обрисовывает в «Между белыми и красными». Воодушевление немецкой критики доказывается многочисленными ссылками[89]. Дворянско-правоконсервативный писатель Рек-Маллечевен, который поначалу положительно относился к национал-социалистам, но позже был убит ими в Дахау и, благодаря своему «Дневнику отчаявшегося», посмертно обрел большую славу, отмечает газета «Дойче альгемайне цайтунг»:

> Редкий немец понимал русского так глубоко и так перспективно, как Двингер. Редко кто из нас, крайне контрреволюционный офицер, так остерегался превращения из-за большевизма в атеросклеротического реакционера, редко кто столь сильно понял то, что Россия завтрашнего дня сможет сказать миру[90].

Это произведение встретило согласие и в периодике левой ориентации, хотя и с небольшими ограничениями. На страницах «Роте фане» Хайнц Гроссе высоко оценивал роман Двингера[91]. В книге, вопреки воле автора, выражается могучая идея большевизма, единственная причина непреодолимой боевой силы Красной Армии. Книга нашла очень положительный прием и за границей[92].

Литературные критики заканчивающегося XX века рассматривают книгу критически, но одновременно подчеркивают и ее воздействие на самые широкие читательские слои. По мнению Хельмута Мюссенера, она может претендовать на «почти ключевую роль в духовно-политическом противоборстве 1930–1933 гг.»[93]. Пропагандировавшаяся Двингером концепция «немецкой мировой революции», т. е. национально ориентированного немецкого большевизма между Востоком и За-

падом имела тогда много приверженцев[94]. Филолог Виктория Хертлинг говорит о псевдореализме Двингера: «Враждебная пропаганда против левых […] служит, в конечном счете, подготовке и легитимации военной конфронтации как цели»[95]. Двингер нарисовал среди русских несколько положительных фигур. «К этим “человеческим” типам русских относятся и все те в их среде, кто говорили по-немецки, из-за чего они, разумеется, отличались от остального необразованного “сброда”»[96]. «Вообще у Двингера “немецкое” всегда является синонимом всего основательного, чистого, аккуратного и изобретательного»[97].

Автор-рассказчик встречает русских в разных ситуациях и описывает их согласно своему архаизирующему мышлению в крайностях в резких контрастах. Русские женщины на стороне белых выступают в виде проституток, им противостоит сестра милосердия, просветленная до уподобления мадонне. Рассказывая о казаках, он также подчеркивает контрасты: его герои частью склонны к насилию и жестокости, частью же проникнуты идеями верности и чувством юмора.

Существенное значение для характеристики русских в «Между белыми и красными» имеет описание круга белых офицеров, товарищем которых был и фенрих Двингер с момента своего перехода на сторону антибольшевистских вооруженных сил. Нюансы описываются редко, все люди – стереотипы во плоти. В роли вождя выступает Вереникин, которого читатель хорошо знает уже по «Армии». Он описан как человек с мягкой сердцевиной и очень грубой оболочкой. Он может быть и жестоким. Например, он расстреливает казака из своего подразделения за то, что тот изнасиловал крестьянку (с. 436). Товарищем, какого поискать, был Конгрин, которого звали Костей: «Конгрин принес бутылку шнапса и всерьез взялся за нее. “Мы, русские, должны пить, так как не можем бодрствовать!” – сказал он извиняющимся тоном. У него было симпатичное солдатское лицо, всегда как бы цветущее, к тому же мальчишеские движения, напоминавшие жеребенка» (с. 68). Вот как характеризует себя новый доброволец, Илья: «К тому же я не силен, нет, к сожалению, несколько изнеженный…» (с. 88). Илья знакомит героя со своим другом, бывшим монахом по имени Лука, которого называют «батюшкой», Двингер стилизует его в святого (и антибольшевистского агитатора) (с. 98). Лука изводит себя в служении раненым. «Но в его глазах горит точно пламя из трещины в мертвой земле, с чистотой, ставшей уже неземной. Это его глубочайшая жизнь» (с. 314). В эту группу входит далее дикий Петров, выглядящий так, «точно он хочет схватить кого-то за горло» (с. 155). Из мести за пытки, которым большевики подвергли его товарища, затем убив пленного, он забивает насмерть раненого красноармейца (с. 152 и сл.). Но когда пленный красный выдает себя на очной ставке с маленькой дочкой, он приказывает отпустить пленного, хотя и долго противится этому (с. 179). Подводя итог, Двингер следующим образом оценивает Петрова: «При этом он настоящий русский постольку, поскольку у него, конечно же, хорошее ядро, жаль только, давно утонувшее в водке» (с. 124). Коварный Доданов, грызущий ногти и вообще производящий крайне отталкивающее впечатление, путается с продажными женщинами и, в конце концов, дезертирует. На Пасху два денщика устраивают для своих настоящий пир (с. 137 и сл.). Тот, от имени которого ведется рассказ, ударяется в мечтания: «Ничто не показывает доброе и богатое в этом народе лучше, чем его пасхальный праздник. Я люблю его! Несмотря ни на что…» (с. 138).

О сторонах, участвующих в Гражданской войне, Двингер судит на удивление дифференцированно. Он критически рассматривает не только красных, но и белых.

Часто заходит речь о благополучии тыла белой армии, о дряблости русской буржуазии. Можно встретить и сожаления по поводу жестокости белых командиров в Гражданской войне. Лука считает, что старую Россию следует преодолеть, что она погрязла в поклонении благосостоянию, а души более не имеют ценности (с. 135). Рассказчика мучают сомнения относительно роли белогвардейцев: «У меня нет ясного ви́дения. Я не понимаю, кто прав – белые или красные» (с. 243). Один крестьянин из русских немцев объясняет общую симпатию к большевизму ошибками белых (с. 308 и сл.). Но вразумительно описывается и жалкое состояние тех, кто бежал от большевиков. В одном месте рассказчик ломает голову над смыслом ужасных событий:

> В чем провинились эти люди, чем виновата эта страна, что им приходится так поплатиться? […] А если она и вправду была так разъедена, что ей пришлось разрушиться – то не хотел ли Бог пощадить Содом, в стенах которого жили всего лишь пять праведников? А я-то знаю куда больше пяти! (с. 442).

Автор-рассказчик восхищается духом самопожертвования, присущим красным, и сомневается в способности белых на такие поступки. Он считает красных солдат «великолепным материалом» (с. 487) и, прощаясь, желает им осуществления их стремления – создать мир без эксплуатируемых и зиждущийся на справедливости (с. 487 и сл.).

Критическое рассмотрение большевизма – центральная задача книги. Наводящие на размышление, а порой и положительные замечания о большевиках уготовали Двингеру репутацию объективного наблюдателя. В действительности же он ведет страстную пропаганду против коммунизма, что ему удается завуалировать с помощью искусного приема: он вкладывает свои собственные убеждения в уста батюшке Луке. Подобных по обстоятельности высказываний *за* большевизм в книге больше не найти. Тот, от чьего имени ведется повествование, рассуждает в начале своего пребывания у белых: несчастье России в том, что осуществление попытки создать коммунистический государственный строй попало из рук экспериментировавших в руки верующих. Так из научного эксперимента возникла догма, отказаться от которой можно только ценой смерти. (с. 70 и сл.). Вот с какими словами батюшка Лука обращается к своим слушателям: «… Враг наш не равенство обладания всем созданным на земле, но равенство в духовном!» (с. 101). Индивидуализму духовного лица противостоит коллективизм, «механизм, американизм, конструктивизм, короче говоря, массовый человек!» (с. 101). Белогвардейцы должны защищать культуру, снова стать крестоносцами. Большевики собираются «создать чудовищную азиатско-большевистскую крепость». Альтернатива снова звучит так: «Христианство или гуннское господство – Запад или Восток» (с. 192). Но: «Человек не выдержит долгого уподобления зверю – а чем иным является материализм, как не животным существованием, животной жизнью?» (с. 249; см. также S. 404 и сл.). Цитируются слова, якобы принадлежащие Ленину: «И если при этом погибнет девяносто процентов нашего народа, для оставшихся будет создан рай!» (с. 413).

Но завершается книга признанием автора: «Я люблю тебя, Россия! – думаю я, прощаясь. – Несмотря ни на что… И никогда, никогда не забуду я твой запах, это странное смешение влажной овечьей шерсти, свежего ржаного хлеба и грубой юфтевой кожи… И буду, возможно, всегда тосковать по тебе» (с. 501). Бросается в глаза чувственный характер этой любви, свойственный по отношению к живым существам.

## Времена национал-социализма

### *«Последние всадники»*

Этот роман, в котором Двингер расстался со стилем рассказчика от первого лица, сильнее, чем его более ранние произведения, определен политическими соображениями и предписаниями. Русские снова представлены, как в «Между белыми и красными»: здесь хорошие, хотя и жестокие и спивающиеся белые, там плохие красные, – однако положительных замечаний по поводу красных больше нет, антибольшевистская пропаганда осуществляется открыто. К тому же, пропагандируется национал-социализм, пусть даже неявно. Русские снова изображаются противоречиво, хотя теперь не столько потому, что к этому ведет их «народный характер», а из-за того, что они являются для Германии как союзниками против западных держав, так и потенциальными противниками в захватнической войне на Востоке. Личная двойственность Двингера дает здесь подходящий фон. Добровольческие корпуса – это новые крестоносцы, которые должны принести на Восток христианский Запад, преследуя при этом и национально-немецкие цели.

«Последние всадники» (1935)[98] – это героизирующий эпос о борьбе добровольческих корпусов в Прибалтике. По стилю книга – типичное произведение Двингера: бросающиеся в глаза неровные характеры, многочисленные философские разговоры, словотворчество. В унифицированной тем временем немецкой критике произведение почти ежедневно хвалили[99]. Одобрительный отклик оно нашло также в Швейцарии и Австрии[100].

Среди русских, борющихся на стороне добровольческих корпусов, представлены портреты носителей симпатичных и отталкивающих народных характеров: к примеру, у возницы Кольцова «внешность старого святого с иконы – его прекрасное крестьянское лицо обрамляла вьющаяся борода, а его детские глаза отличались редкой силы голубизной» (с. 48). Другой возница, Щепак, «выглядел, напротив, высохшим амулетом из корней […] но его голос от изрядных доз крепкого спиртного […] до такой степени потерял человеческий тембр, что, когда он говорил, это напоминало карканье вороны» (с. 48/9). Солдаты белого военачальника Бермонт-Авалова и сам их предводитель обрисованы, главным образом, положительно (с. 252). Платов, бывший большевистский командир, перебежавший в добровольческий корпус, восклицает, обращаясь к ликующей толпе солдат-фрайкоровцев: «У России и Германии, у обеих, общий враг – западная Антанта! У России и Германии, у обеих, одна болезнь – красная революция! У России и Германии, у обеих, одна надежда – их вечный союз!» (с. 316). Эта формула включает собственное кредо Двингера. У Авалова было свое большое выступление в отношении англичан, действовавших в Прибалтике в 1919–1920 гг.: «Россия потеряла море крови, борясь на стороне Антанты, а теперь Антанта посылает России непригодное оружие, ибо не хочет победы России, желая оставить ее бессильной» (с. 322–326). Затем последовало торжественное братание Авалова с добровольческим корпусом, который присоединился к нему, сжегшему за собой все мосты, с торжественной клятвой «Единое войско… единый дух… единое сердце…» (с. 329).

Настоящим ядром книги является антибольшевистская пропаганда. Двингер снова вкладывает в уста своему главному герою собственные взгляды на большевизм. Красный командир, перебежавший на сторону добровольческого корпуса, полагает,

что он чувствует в большевизме «чудовищное проявление первобытно-животного, разжигаемое с помощью безмерной демагогии» (с. 177). Бывший красный командир боится, что Ленин превратил большевизм в эрзац-религию, которой верующие придерживаются и в том случае, если они отвергают ее извращения (с. 299). Русский народ не плох из-за того, что его лихорадит кровожадностью (с. 376). Возвращается обоснование успеха большевизма из «Мы зовем Германию»: русский еще сильнее немца верит, что у его народа великая миссия на Земле, что он призван оздоровить мир (с. 177). Большевизм характеризуется почти непобедимой рациональной волей к уничтожению (с. 178). Большевики обманули народ, они не дали ему земли, возник новый высший слой, перед которым раболепствует новая масса (с. 376 и сл.). Солдат добровольческого корпуса сожалеет о том, что у людей нет ничего такого, что позволило бы рабочим распознать ложность марксизма. Но национальное дезавуируется изолгавшейся прессой, а социальное – коррупционной беззаботностью собственных партийных функционеров. Товарищ призывает к обновлению обоих начал под знаком свастики (с. 203).

### *«И Бог молчит?»*

«И Бог молчит?» – это пропагандистское сочинение, в котором Двингер самыми черными красками рисует современность в сталинском Советском Союзе. Он отказался от собственных идей о «национальном большевизме». Он, правда, пока очень сдержанно, объявляет себя сторонником национал-социализма. Если раньше писатель благожелательно описывал антибольшевистских белых, то теперь хороший русский перестал существовать в Советском Союзе, и перед Двингером стоит лишь только вопрос о том, как удалось коммунизму испортить характер русского народа.

В этом романе Двингер показывает себя писателем, который гибко приспосабливается к меняющейся конъюнктуре. Очень помогает в этом его двойственный образ русского. Автору надо только всякий раз заново устанавливать соотношение между известными составными частями и прибавлять известные стереотипные свойства тех, кому они как раз «причитаются» в соответствии с политическими установками – понятно, всегда в узнаваемом соединении.

История, выдаваемая за достоверное сообщение, рассказывает о молодом немецком коммунисте, эмигрировавшем в 1933 г. в Россию и поначалу позволившему себя ослепить потемкинским деревням советской элиты. Видя голод на Украине, он отворачивается от большевизма. Книга, очень антибольшевистская, а в своей посылке и антисемитская, завершается выступлением в пользу национал-социализма.

Унифицированная пресса осыпала произведение эпитетами в превосходной степени. «Ди бюхерай», выходивший в Лейпциге официальный журнал Имперского ведомства библиотечного дела, дает такую оценку: «Содержательная книга, образная и простая… оружие в борьбе против всемирного врага…»[101]. Христианская пресса восприняла название как вызов. Ханс Р. Мюллер очень обстоятельно разбирает произведение Двингера в протестантском журнале «Цайтвенде». Бог немотствует, он молчит. Но молчит он с тем только, кто не может услышать послания Божия, и страдание есть последствие отделения такого человека от Бога. По мнению рецензента, Двингер ничего не знает об этом, потому-то Бог ничего и не дает ему[102].

Уже первые наблюдения в стране его грез заставляют призадуматься убежденного немецкого коммуниста. Он воспринимает буйные поступки коммунистических

функционеров во время праздника как вызывающее поведение не вполне взрослых грубиянов, как предательство большевистской идеи (с. 14, а также с. 45). Его отталкивает навязчивая размалеванность русских женщин, но он поначалу находит извинение в том, что русские – молодой народ, еще не владеющий тонкими нюансами более старых цивилизаций (с. 20). Красный директор вписывает большевизм в традицию русского мышления. Русские никогда не удовольствуются малым: «[…] некогда мы были народом-посланником Божьим, сегодня мы посланы Лениным […] остается русская миссия в мире…» (с. 38). Конечная цель заключается в том, чтобы мир стал коммунистическим, а русские руководили им (с. 38).

Бывшее помещичье имение, которое коммунист посещает по приказанию инженера, пребывает в полном упадке. Во время революции красные расстреляли племенных животных на конном заводе, как и графское семейство – «[…] и тех, и других, вероятно, по одной и той же причине – из ненависти простых и низких к благородному, из ненависти темного к свету!» (с. 63). На вокзал, на который немец когда-то прибыл в качестве военнопленного, отправленного на сельскохозяйственные работы, он впервые сталкивается с голодом (с. 84 и сл.). Двингер с садистской точностью описывает физический облик голодающих – это постоянная характеристика его стиля. Деревня российских немцев, в которой немец работал в бытность свою военнопленным, словно вымерла (с. 89 и сл.). Дети его бывшего работодателя отмечены печатью голода (с. 91). Крестьянин рассказывает, в какие бедствия ввергла их советская власть (с. 94). Чекисты, по его словам, это нелюди, они реквизировали и у голодающих, убивали матерей на глазах детей (с. 94 и сл.). Повсюду господствует упадок, а молодежь стала или комсомольцами, доносящими на своих родителей, или «хулиганами»-грабителями. Девушки превратились в объект свободной охоты, в дичь, а кто отвергнет домогательства, прослывет плохой коммунисткой (с. 97). Для Двингера, склонявшегося к описанию животного начала в его самых отталкивающих проявлениях, типичны и такого рода намеки. Большевизм нарисован как система, дающая привилегии тем, кто у власти, (с. 114, 128), оскверняющая детей (с. 146 и сл.) и внесшая ложь в историю (с. 130). Коммунист размышляет о том, что весь способ общения, свойственный русскому народу, «принял невообразимую жестокость» (с. 148). Господствуют кощунственная брань, варварская невежливость, самое что ни на есть эгоистическое себялюбие. «И это, может быть, величайший ваш грех, о вы, русские большевики всех уровней – что вы столь жестоко губили народ, настолько огрубили его, до самой глубины души, что он на столетия останется утратившим всю подлинную культуру» (с. 148). По-видимому, характер народа сломан навсегда. Политика Сталина смертоносна и абстрактна. Напротив, национал-социализм – «не сконструированная система, а мировоззрение на основе теплой жизни…» (с. 152). Так как противостоять этому столетию может только тотальное государство (с. 153), то для героя Двингера существует лишь альтернатива «фашизм или коммунизм». Ввиду недостатков советской системы – изложенных более чем на ста страницах – герой Двингера безоговорочно признает себя сторонником национал-социализма.

### *«Свидание с Советской Россией»*

В своих трех произведениях, опубликованных в «третьем рейхе»: «На полпути» (1939), «Смерть в Польше» (1940) и «Свидание с Советской Россией» (1942), –

Двингер окончательно проявляет себя чистой воды оппортунистом, гибко приспосабливающимся к меняющейся политической конъюнктуре.

Роман «На полпути» опирается на рассказ в «Последних всадниках» (1935). Речь в нем идет об участии добровольческого корпуса из Мансфельда в Капповском путче и последовавших затем боях в Рурской области, сходных с гражданской войной. По сравнению с «Последними всадниками», изображение русского не изменилось. Обращают на себя внимание в этом произведении злобные антисемитские высказывания (например, С. 196 и сл.).

Основанная якобы на фактических данных «Смерть в Польше» вышла в свет в 1940 г. в краткий период сближения между сталинским Советским Союзом и фашистской Германией. В соответствии с изменившейся политической конъюнктурой, меняется и изображение России. Двингер рисует резню поляками немцев в Бромберге (польское название Быдгощ) после начала Второй мировой войны как централизованно контролировавшееся осуществление давно существовавших проскрипций. Якобы в строгом соответствии с фактами (S. 5) обрисовываются почти невообразимые жестокости поляков в отношении немцев. Ветеран Гражданской войны в России считает, что так, как поляки обращались с немцами, и красные никогда не истязали пленных белых. По его словам, там, если кого нужно было расстрелять, расстреливали без мучений; терзали тех, кто до Октябрьской революции терзал сам.

Завершением служит выступление в пользу германо-русского союза. Обе нации молоды, будущее принадлежит им. Вторая мировая война – это восстание бедных народов против богатых, борьба за справедливое распределение благ. Советский Союз и Германия ставятся рядом друг с другом в качестве естественных союзников.

В «Свидании с Советской Россией» (1942) Двингер совершает новый поворот, радикальнее которого вряд ли что было возможно. В этой книге он на основе мнимых дневниковых записей описывает переживания первого дня похода в Россию, в котором он принимал участие в качестве зондерфюрера (офицера по особым поручениям) рейхсфюрера СС, чтобы собирать материал для своей позднейшей деятельности в качестве консультанта Гиммлера. Описываются нападение, а позже некоторые бои, но главную часть составляют его впечатления от только что завоеванных советских территорий, прежде всего, многочисленные встречи с советским населением. Эти «записи» представляют собой подстрекательскую листовку против Советского Союза, проникнутую национал-социалистскими мыслительными стереотипами. Тот, от имени кого ведется рассказ, едва находит «настоящих русских», так как биологическая субстанция русского народа разрушена его гибридизацией с монголами.

В этом произведении Двингер обретает лицо пропагандиста национал-социалистской завоевательной политики на Востоке. В полном противоречии со своими якобы дружественными по отношению к России докладными записками он описывает современных ему жителей России (он не может больше найти «русских») как озверевших, напоминающих термитов, гибридизированных существ. Русскому надлежит пребывать под ярмом, и ясно, что оно должно быть немецким.

На первом месте в этой книге стоит русский солдат. Перед нападением рассказчик предсказывает: русский солдат настолько проникнут фанатизмом, что станет сопротивляться немцам как ожесточенный боец (с. 20). Он восхищается храбростью и находчивостью советских солдат. Первая встреча с русскими пленными вызывает в нем знакомые и незнакомые ассоциации:

> Вдруг вокруг меня возник запах, который я не забывал двадцать лет – тот странный запах старой кожи, что смешивался с кисловатым запахом хлеба. Чувствовался и аромат старого табака, совсем такой, который неотделим от настоящего русского, но в то же время я ощущал и что-то новое, что не проявлялось никогда раньше, по крайней мере, с такой силой: я могу охарактеризовать это только как дикий запах, запах со столь сильным испарением дикости, которое в подобной степени встречается и у цыган, но которое я всегда особенно замечал у монголов […].
>
> Я не заблуждался, так как, оглядевшись чуть более трезво, впервые осознанно вобрал в себя лица этих пленных: они ведь больше не были русскими, которых я так хорошо знал. Разве были это те, подобные медведям, сверхчеловеки, светлые глаза которых смотрели с выражением преданности из буйных зарослей волос? То, что обступило меня здесь, как-то злобно косясь, представляло собой исхудавшее людское смешение, которое можно было обозначить разве что словом «убогий» – выражением, которое для моего восприятия до тех пор было неприменимо в отношении русских! Господь всемилостивый, думал я в ужасе, неужели это изменение зашло уже столь далеко, что охватило и их биологическую сущность? (с. 56/7; в том же смысле с. 73).

Русские пленные затравлены и оказывают своим немецким караульным пассивное сопротивление. Автор, ведущий рассказ, «ощущает, что попал в кучу злобных термитов, и сбившиеся в нее действуют, как эти животные, безо всякого мозга, повинуясь разве что темному бессознательному инстинкту…» (с. 57 и сл.). Эти действия, размышляет автор, будут движимы идеалистической идеей, если «примитивный русский» (с. 73) захочет ее осуществить. Западному культурному человеку останется только борьба не на жизнь, а на смерть. Это огромная историческая миссия Германии: Россия должна в результате победы немцев стать европейской страной, в противном случае, вся Европа станет большевистской (с. 74). Не остается ничего другого, как полностью уничтожать комсомольцев. Таков тяжелый вывод для каждого, кто когда-то любил этот народ, но он в высшем смысле слова справедлив. Русские уничтожили свой высший слой, который был проникнут нордической кровью и, следовательно, мог обеспечить в культурном отношении поддержку существующего государственного порядка; остаток был сознательно подвергнут монгольской инфильтрации, ему «с помощью этого смешения была бессердечно придана сила удара» (с. 230), на манер войска Чингисхана сметавшая все на своем пути. «Все равно, были ли это татары, Петр или Сталин – народ рожден для ярма, вероятно, он должен получить ярмо, достойное человека, но в то же время такое, которое в будущем убережет мир от опасностей, постоянно таящихся в его сущности» (с. 230). Подготовку войны с Советской Россией, убеждение немецкого народа в ее неизбежности Двингер характеризует как «смысл творческого дела всей моей жизни» (с. 40).

В романах, вышедших в Федеративной республике, Двингер снова опирается на старые стереотипы, прослеживающиеся в «Последних всадниках» и «На полпути». При показе образа русского человека господствует примитивное изображение с помощью одних контрастов: с одной стороны – русский, занимающий антибольшевистские позиции, с добрым сердцем, если даже и жестокий и внутренне разрывающийся между крайностями, с другой – злой насквозь коммунист, озверевший безликий массовый человек. Следовательно, для характеристики обеих сторон Двингер применяет ходячие стереотипы, которыми пользовались в 20–30-х гг. правоконсер-

вативные круги. Это постоянная позиция во всем его творчестве, если отвлечься от положительно – по оппортунистическим причинам – нарисованного образа коммунизма в романе «Смерть в Польше». Такие стереотипы можно найти уже в его первом автобиографическом произведении «Большая могила» (1920 г.) Другие его ранние романы несут на себе отпечаток лишенного какой-либо критики увлечения Россией, даже если он в то же время и осуществляет антибольшевистскую пропаганду. В «Сибирской трилогии» подход меняется, теперь он видит «русского» критичнее, хотя и здесь временами демонстрирует понимание коммунистической точки зрения и симпатию к ней, что было по достоинству оценено рецензентами из левого лагеря. С 1933 г. его антикоммунизм возрос до бредовых степеней, так что он не мог больше увидеть в большевиках что бы то ни было положительное. Они обрекли добросердечный русский народ на гибель, обманывали и подстрекали его и, как, в конце концов, писал Двингер в 1942 г., превратили его в гибрид и, тем самым, сгубили на все времена. В романе «Это случилось в 1965 году», опубликованном в 1957 г., писатель с удовольствием описывает уничтожение Советского Союза в атомной войне. При этом Двингер тонко умеет ввести своего читателя в русский мир. Стилистическое средство, которым он пользуется, заключается в применении во всех его романах русских слов без перевода, но их значение становится ясным из контекста, так что читатель может чувствовать себя посвященным, знающим.

Специалист по истории Восточной Европы Карл Шлёгель так высказался по поводу образа России, созданного Двингером:

> Он [Двингер. – *Г.В.*] как специалист по Востоку стал влиятельной фигурой в духовном «хозяйстве» немцев. Его произведения вращаются вокруг одной-единственной темы – Россия. Россию, из которой происходила его мать, он должен был любить и одновременно презирать. «Россия» у Двингера – это экранная поверхность для проецирования всех мечтаний и кошмаров немцев, ввергнутых в водовороты двадцатого столетия. Его произведения с их навязчивым вращением вокруг России являются в то же время своего рода отчужденным монологом немцев о самих себе[103].

В заключение можно сказать, что Двингер в своих произведениях о России подхватил ходячие правоконсервативные стереотипы, которые не были существенно смягчены ни его семейными корнями, ни личным опытом. Таким образом, он оказывается дитятей своего поколения и своей среды, который скорее подтвердил существовавшие предрассудки, нежели сам формировал новые. Его влияние, однако, в том числе на формулирование национал-социалистского образа России путем вульгаризации ходячих стереотипов России, не следует недооценивать, ввиду его большого воздействия на самые широкие слои населения.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Axel Walter Claesges.* Edwin Erich Dwinger. Ein Leben in Tagebüchern. Phil. Diss. Ann Arbor, Michigan 1969 (Mikrofilm-Ausgabe). S. 4 f.

[2] 7 марта 1920 г. Красная Армия вступила в Иркутск, см. Большая советская энциклопедия, 2-е изд.. Т. 18. – М., 1953. С. 441.

[3] Эта информация основывается на данных Двингера в автобиографических книгах «Армия за колючей проволокой» и «Между белыми и красными» и была воспринята во всех изложениях его биографии; см., например: *Claesges.* Op. cit., *Robert Wistrich.* Wer war wer im Dritten Reich. München 1983. S. 60f. Найдены, однако, некоторые указания, дающие повод поставить под сомнение правильность автобиографии Двингера (см. ниже). Edwin Erich Dwinger. – Dichter schreiben über sich selbst. Jena 1940. S. 31; *Hans Härlen*. Begegnungen mit Edwin Erich Dwinger. – Klingsor: Siebenbürgische Zeitschrift 10 (1933). S. 63; *Waldemar Oehlke.* Deutsche Literatur der Gegenwart [1942]. Новая публикация в Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (Microfiche-Edition).

[4] Hrsg. von Willy Gorzney. München, London, New York und Paris 1989 ff., Fiche 301. S. 193. Клесгес конкретизирует это: «Хотя Эдвин Двингер никогда не упоминал об этом в своих книгах, в русском плену он заразился туберкулезом, который уже на прогрессирующей стадии удалось излечить только благодаря самому заботливому уходу». – *Claesges.* Op. cit.. S. 131. *Dwinger.* Dichter schreiben über sich selbst. S. 31; L.W. Hellwig/E. Ruckhaber. Persönlichkeiten der Gegenwart [1940]. Новая публикация в Deutsches Biographisches Archiv. Neue Folge bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts (Ibid.), Fiche 301. S. 189. Dwinger. Dichter schreiben über sich selbst,. S. 31.

[5] *Edwin Erich Dwinger.* Korsakoff. Lübeck und Jena 1926; Новое издание под названием Hanka: Roman eines Jägers. Freiburg i. Br. 1953 und Wels 1953.

[6] *Angelus Hartkopf.* ›Mitläufer‹ Erich Edwin Dwinger [sic!]. – Aufbau 4 (1948). S. 807f. Историк литературы, а позже редактор либерального еженедельника «Ди Цайт» Дитрих Штроманн, напротив, ставит под сомнение значение Двингера: он растворился в массе и получил лишь одну премию, в то время как другие награждались дважды или чаще. – *Dietrich Strothmann.* Nationalsozialistische Literaturpolitik: Ein Beitrag zur Publizistik im Dritten Reich. 2., verbesserte Aufl. Bonn 1963. S. 103. Данные Двингера, согласно которым его произведения сжигались в 1933 г., очевидно, не соответствуют действительности. Ср. *Edwin Erich Dwinger.* Die 12 Gespräche. Velbert und Kettwig 1966. S. 161. В литературе не нашлось ни одного основания для этого, совсем напротив, в воззвании студентов из Грайфсвальда, инициировавших в этом городе сожжение книг, среди авторов, рекомендованных для чтения под девизом «За немецкий дух», перечисляется и имя Двингера. См. «Greifswalder Zeitung» vom 25. März 1933, abgedruckt in Gerhard Sauder (Hrsg.): Die Bücherverbrennung: Zum 10. Mai 1933. München und Wien 1983. S. 232.

[7] *Edwin Erich Dwinger.* Korsakoff. Lübeck und Jena 1926; Новое издание под названием Hanka: Roman eines Jägers. Freiburg i. Br. 1953 und Wels 1953.

[8] *Dwinger*. Die 12 Gespräche. S. 163f., 185f. Напротив, звание имперского сенатора по вопросом культуры было только пустым титулом, сенат заседал лишь один раз и не имел влияния; siehe Ibid. S. 164.

[9] Если в 1929 г. он получил годовой гонорар в сумме 9.710 рейхсмарок, а в 1930 г. лишь 8.485 марок, то в 1936 г. ему выплатили 127.857, а в 1937 гг. даже 179.352 рейсхмарок; см. *Ulf Diederichs.* Verleger im Schatten: Der Eugen Diederichs Verlag 1929 bis 1949. Teil 1. – Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 166. Jg., 17. September 1999, S. B 90–B115; S. B104. Ibid. S. B104. *Claesges.* Op. cit.. S. 195.

[10] *Diederichs.* Op. cit, S. B 99; Dietrich Harth. Literatur unterm NS-Diktat. – Joachim-Felix Leonhard (Hrsg.): Bücherverbrennung: Zensur, Verbot. Vernichtung unter dem Nationalsozialismus in Heidelberg. Heidelberg 1983. S. 88; Strothmann. Op. cit.. S. 105; Wistrich. Op. cit.,. S. 60.

[11] *Dwinger.* Die 12 12 Gespräche. S. 21.

[12] *Dwinger.* Die 12 Gespräche. S. 163f., 185f. Напротив, звание имперского сенатора по вопросом культуры было только пустым титулом, сенат заседал лишь один раз и не имел влияние; см. Ibid. S. 164.

[13] *Diederichs.* Op. cit., S. B 99; Dietrich Harth. Literatur unterm NS-Diktat. – Joachim-Felix Leonhard (Hrsg.). Bücherverbrennung: Zensur, Verbot. Vernichtung unter dem Nationalsozialismus in Heidelberg. Heidelberg, 1983. S. 88; Strothmann. Op. cit.. S. 105; Wistrich. Op. cit.,. S. 60.

[14] *Dwinger.* Die 12 Gespräche. S. 21.

[15] Ibid. S. 22.

[16] Munzinger-Archiv. Свою якобы неустрашимую борьбу против «примитивного формирования точки зрения господства» (S. 26) Двингер обрисовывает в романе «Генерал Власов. Трагедия нашего времени» (Франкфурт-на-Майне, 1951), в котором он под именем писателя Герберта Холь-

штейна выводит свое второе я; см. также *Claesges.* Op. cit.. S. 206f. Предубеждения Двингера против расовой политики национал-социалистов подтверждает также Роберт Вистрих, историк из Иенского университета, которого нельзя заподозрить в симпатии к Двингеру – см. *Robert Wistrich.* Op. cit.. S. 61, также *Diederichs*. Op. cit.,, S. B105.

[17] *Wilfried Strik-Strikfeldt.* Gegen Stalin und Hitler: General Wlassow und die russische Freiheitsbewegung. Mainz 1970. S. 124. О беседе Двингера с Власовым он замечает: «Принимавший его Двингер выступал с резкой критикой в адрес нацистского режима …». – Ibid. S. 155. В «12 беседах» (1966) Двингер подробно, приводя большие выдержки из своих памятных записок, описывает, как он выступал за гуманное и равноправное отношение к России. Из-за этих дружественных России памятных записок он был помещен обергруппенфюрером СС Бергером под домашний арест и наказан запретом на публикации. См. *Dwinger.* Die 12 Gespräche. S. 67 und 132. Исследующий с необычной основательностью потомок издателя Ульф Дидерихс замечает об этом: «Переписка, проведенная в 1943–1945 гг. по этому делу между Главным управлением СС, Главным административным управлением СС, Главным управлением имперской безопасности и личным штабом рейхсфюрера СС допускают заключение, в соответствии с которым Двингер хотя и был наказан и подвергнут цензурным ограничениям, но не получил, во что он хотел заставить поверить, запрет на литературную деятельность или ограничения на выступления по радио».

[18] *Diederichs*. Op. cit., S. B105; см. также *Viktor Klemperer.* Die Sprache des Dritten Reiches [1947]. S. 20, цит. по Diederichs. Op. cit.,, S. B114, Fußnote 77

[19] Ibid. S. 137f., 177..

[20] Ibid. S. 140; siehe auch S. 41.

[21] Ibid. S. 141 f.

[22] Ibid. S. 233.

[23] Ibid. S. 215 f.

[24] Ibid. S. 237.

[25] Ibid. S. 220.

[26] *Claesges.* Op. cit.. S. 208.

[27] *Dwinger*. Die 12 Gespräche. S. 173f., 182.

[28] Ibid. S. 193.

[29] См. Liste der 1000. Ungezeichneter Artikel. – Die Neue Zeitung, München 12. Juli 1946. Перепечатано в: *Thomas Friedrich*. Das Vorspiel: Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933: Verlauf, Folgen, Nachwirkungen: Eine Dokumentation. Berlin 1983. S. 129.

[30] *Walter Delabar.* Dammbrüche und Untergänge: Edwin Erich Dwinger. Wenn die Dämme brechen (1950) und General Wlassow. – Von Böll bis Buchheim: Deutsche Kriegsprosa nach 1945 (= Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, Bd. 42). Amsterdam 1997. S. 138.

[31] См. *Charlotte Reinke.* Dammrutsch des Geschmacks. – Die Literatur, Nr. 7, 16. Juni 1952. S. 5 (Рецензия на книгу Двингера «Когда рушатся дамбы…Гибель Восточной Пруссии», Freiburg i. Br. 1950). Вистрих высказывается по поводу позднейшей работы Двингера: «Утопический военный роман Двингера “Это случилось в 1965 году” (1957), изображающий атомную войну, в свое время вызвал волнение и принес автору упрек в том, что он с садистским удовольствием наслаждается, расписывая ужасы мирового ядерного пожара». – *Wistrich.* Op. cit.. S. 61. См. также *Delabar* (wie Anm. 3). S. 144, сноска 43.

[32] *Hans Sarkowicz.* Dwinger, Edwin Erich. – Literatur-Lexikon. Hrsg. von Walther Killy. Gütersloh 1989, Bd. 3. S. 135f.

[33] *Dwinger*. Die 12 Gespräche. S. 227. После войны Двингер подвергался и жесткой критике личного свойства: в 1948 г. в основанном Иоганнесом Р. Бехером журнале «Ауфбау» Ангелус Харткопф охарактеризовал Двингера как «воспитателя и носителя национализма, подстрекателя против восточного духа, подготовителя и действующее лицо национал-социалистского “ренессанса”, ведущего молодежь к “героическому” идеалу. В лице и работах этого человека объединяется все, что дало немецкому национализму его отталкивающие и отвратительные черты, то высокомерное и “элегантное” варварство, которое сделало нас презираемыми во всем мире (надо хотя бы раз услышать, как Двингер читает из своих произведений, чтобы почти с физической болью ощутить манерное, отвратительное в этом человеке), те ужасные черты, в которых чувство национальной неполноценности после Версаля компенсировалось “героизмом”, а затем логически

и неизбежно в ходе кризиса германской республики, осознанно осуществленного с холодным цинизмом, на законных основаниях влилось в национал-социализм и здесь достигло, наконец, стадии огромных оргий и вакханалий, в которых, пламенея, рассыпался целый континент». *Hartkopf.* Op. cit.. S. 807.

[34] *Dwinger.* Die 12 Gespräche. S. 229.

[35] *Claesges.* Op. cit.. S. 3.

[36] О биографии Двингера ср., кроме названных трудов, *Paul Fechter*. Geschichte der deutschen Literatur. Gütersloh 1952. S. 595f.; *Wilhelm Koch.* Deutsches Literatur-Lexikon. 2., vollständig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Bern 1949, Bd. 1. S. 391; *Ders*. Deutsches LiteraturLexikon. Fortgeführt von Bruno Berger. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Bern und München 1971, Bd. III. S. 703f.; *Franz Lennartz.* Deutsche Schriftsteller der Gegenwart. 11., erweiterte Aufl. Stuttgart 1978. S. 171f.

[37] Уже в 1930 г. в Тель-Авиве вышло издание «Армии за колючей проволокой» на иврите; см. The National Union Catalogue. Pr-1956 Imprints. Mansell 1971, Vol. 153. S. 525. По собственным данным Двингера, государственное издательство в Москве опубликовало в начале 30-х гг. русское издание «Между белыми и красными»; см. *Dwinger*. Die 12 Gespräche. S. 160. В качестве гонорара ему была предложена поездка по Советскому Союзу, которой, однако, воспрепятствовал приход Гитлера к власти; см. Ibid. S. 160f.

[38] *Karl Schlögel*. Sibirien ist eine deutsche Seelenlandschaft: Rußland als Projektionsfläche deutscher Träume und Albträume im zwanzigsten Jahrhundert: Die Romane von Edwin Erich Dwinger. – Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. Mai 1998. S. 44.

[39] *Karl Prümm.* Die Literatur des Soldatischen Nationalismus der 20er Jahre (1918–1933). Kronberg 1974. S. 8.

[40] *Udo Rauchfleisch*. Allgegenwart von Gewalt. Göttingen 1992. S. 132.

[41] *Claesges.* Op. cit.. S. 181 f.

[42] *Hans Sarkowicz.* Dwinger, Edwin Erich. S. 135. Преподающий в Швеции германист и антифашист без всяких «но» и «если» Хельмут Мюссенер указывает в том же смысле, что не удивительно, если «Двингер, прототип рекламировавшегося национального революционера, в 1933 г. признал себя сторонником “новой Германии” Адольфа Гитлера и стал одним из самых успешных ее пропагандистов»; *Helmut Müssener.* Edwin Erich Dwingers Roman Zwischen Weiss und Rot – Die russische Tragödieals deutsches Trauerspiel. – Wulf Köpke/Michael Winkler (Hrsg.). (= Studien zur Literatur der Moderne. Herausgegeben von Helmut Koopmann, Bd. 12). Bonn 1984. S. 128.

[43] *Schlögel.* Op. cit.

[44] Ibid.

[45] *Claesges*. Op. cit., S.. S. 5f.

[46] *Edwin Erich Dwinger.* In der Hölle von Totzkoje: Aus sibirischer Kriegsgefangenschaft. (Auszüge aus Die Armee hinter Stacheldraht. Auswahl und Durchsicht besorgte Hans Boß.) Frankfurt a. M. [1934] (Kranz-Bücherei Nr. 190).

[47] Так, он заставляет некоего высланного сказать: «Мы, русские, очень привязаны к нашей земле, к родине своей, как ни один народ в мире». – Ibid. S. 159.

[48] *Hans Sachoczewer*. Die zwölf Räuber. – Literatur der Zeit. Beiblatt zum Berliner Tageblatt von Sonntag, dem 6. März 1932; *Ernst Wiechert.* Rezension. – Die Literatur 34 (1931/32). S. 523f.. S. 524. Напротив, на страницах «Нойе Литератур», приложения к «Литераришен Центральблатт», историк литературы, а позже издатель Достоевского Артур Лютер замечает в положительном тоне: «Герой, ищущий покаяния за преступления, которые он совершил в качестве коммунистического комиссара, хочет в быстротекущем разглядеть вечное, еще раз пройти путем становления человека». «Отдельные фазы этой отчаянной борьбы показаны с такой проникновенностью и силой убеждения, которые можно найти не в столь уж многих новых повествовательных произведениях. При этом здесь нет пустого пафоса, абстрактного философствования, повествование исходит из непосредственного переживания и поэтому по-человечески захватывающе». – *Arthur Luther.* Rezension. – Die Neue Literatur 33 (1932). S. 268; см. также *Otto Flake.* Tolstoijanismus. – Literaturblatt der Frankfurter Zeitung. Sonntag 24.1.1932, 65. Jahrgang, Nr. 4; *E.K. Rezension.* – Der Tag vom 23. Januar 1932; *Rezension.* – Boeckenschouw (Amsterdam) 26 (1932/33). S. 211 f.

[49] Das Heer auf dem Meeresgrunde. – Bohemia, Abend-Ausgabe Nr. 215, 6. August 1918 (оригинал в Gadzina Polska).

[50] Например, *Edwin Erich Dwinger*. Die Armee hinter Stacheldraht. Jena 1929. S. 91.

[51] *Z.B. Ders*. Wir rufen Deutschland. Jena 1932. S. 100.

[52] *Siehe Ders*. Wie ich die Revolution erlebte. – Osteuropa 17 (1967). S. 624.

[53] *Ders.* Die Armee. S. 17, 144, 302.

[54] *Beispielsweise Ders.* Zwischen Weiß und Rot. Jena 1930. S. 388.

[55] *Ders.* Die Armee. S. 142, 144, 218.

[56] Ibid. S. 110 f.

[57] См. *Härlen*. Begegnungen. S. 65f.

[58] *Otto Flake.* Sieben Biographien. – Die Neue Rundschau, Bd. 1, 42. Jg. (1931) der «Freien Bühne». S. 834; см. также *Paul Cremers.* Dichter zu Hause: Ein Besuch bei Edwin Erich Dwinger II. – Rheinisch-Westfälische Zeitung, Nr. 296, 14. Juni 1936. S. 6.; G. Der Bürgerkrieg in Sibirien. – Deutsches Volkstum 34 (1932). S. 280f.; *Eberhard Meckel.* Edwin Erich Dwinger. – Leipziger Neueste Nachrichten vom 5. März 1933; *W. L.* E.E. Dwinger. – Osteuropa 7 (1932/33). S. 618f.

[59] *Flake.* Sieben Biographien. S. 844.

[60] *Willy A. Koch.* Erich Edwin Dwinger [sic!]: Dank und Hoffnung! – Deutsches Adelsblatt 56 (1938). S. 696f., hier S. 697.

[61] См. рецензии, цитированные в *Dwinger.* Die 12 Gespräche. S. 248. Последний раз в 2001 г. издательство «Stocker» в Граце и Штутгарте представило переиздание романа «Между белыми и красными».

[62] *Claesges.* Op. cit.. S. 154. Двингер якобы не относился к произведению Ремарка только отрицательно. Херлен сообщает: «О книге Ремарка он сказал несколько слов, свидетельствовавших о его глубоком понимании всего страдания и всего человеческого». – Härlen. Op. cit.. S. 62.

[63] *Claesges.* Op. cit.. S. 144.

[64] *Viktoria Hertling*. Quer durch: Von Dwinger bis Kisch: Berichte und Reportagen über die Sowjetunion aus der Epoche der Weimarer Republik (= Hochschulschriften, Literaturwissenschaft, 55). Königstein 1982. S. 18.

[65] Ibid. S. 19.

[66] *Strothmann.* Op. cit.. S. 421, Anm. 180. В сравнении с этим антивоенный роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» уже в год своего выхода (1929), был продан в количестве 900.000 экземпляров. См. Reinhard Oberschelp (hrsg.). Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttum (GV) 1911–1965. München 1977, Bd. 106 (Reich-Rh). S. 360. Роман Ремарка занимает в списке бестселлеров Ричардса на 1915–1940 гг. 3-е место, «Между белыми и красными» Двингера только 96-е, его же «Армия за колючей проволокой» –114-е. Siehe Donald Ray Richards. The German Bestseller in the 20th Century. A complete Bibliography and Analysis 1915–1940 (= German Studies in America, hrsg. von Heinrich Meyer, Nr. 2). Bern 1968. S. 55, 59, 60.

[67] *Hertling.* Op. cit.. S. 19.

[68] *Paul Alverdes.* Neue Bücher vom Krieg. III. Folge, 43 (1929/30), 1. Hälfte. S. 130–133; *Otto Fränkl.* Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Das Goetheanum: Internationale Wochenschrift für Anthroposopie und Dreigliederung 9 (1930). S. 31; *F. Fuss.* Begegnungen mit Edwin Erich Dwinger. – Die Propyläen 29 (1932). S. 411; Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Hannoverscher Kurier vom 13. Oktober 1929; *Alfred Kantorowicz.* Edwin Erich Dwinger: Zwischen Weißund Rot. – Die Tat: Monatsschrift zur Gestaltung neuer Wirklichkeit 22 (1930/31). S. 713; die «Münchener Neueste Nachrichten“, zitiert nach Dwinger. Auf halbem Wege. Jena 1939; *E. Neuner*. Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Japanisch-Deutsche Zeitschrift NF 2 (1930). S. 73f.; *Oehlke*. Op. cit.. S. 193; *Johannes Peters.* Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Die Bücherwelt: Zeitschrift des Borromäusvereins 27 (1930). S. 69f.; *Rang.* Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Hefte für Büchereiwesen XIV (1930). S. 51f.; R.M. Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Deutsche Blätter in Polen 6 (1929). S. 618; *Johannes Sieber.* Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Die schöne Literatur 30 (1929). S. 532f.; Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Tübinger Chronik vom 5. November 1929.

[69] *Ernst Jünger.* Das Sibirische Tagebuch. –Tägliche Unterhaltungs-Beilage der Magedeburgischen Zeitung, Mittwoch, 30. Oktober 1929; см. также *F. Lehman*. Allerlei KriegsBücher. – Deutschlands Erneuerung: Monatsschrift für das deutsche Volk XIII (1929). S. 731–734. Ders

[70] *Th. Engelmann*. Kriegsgefangene in Sibirien: Zu E.E. Dwingers sibirischem Tagebuch. – Eiserne Blätter 13 (1931). S. 362. В «Штандарте» критик, скрывшийся под инициалами WW., отметил: «Из

всех книг, написанных о времени с 1914 по 1918 гг., это – самая волнующая»; WW. Neue Bücher, Dwinger Edwin Erich, Die Armee hinter Stacheldraht. – Standarte 4 (1929). S. 917–919, hier S. 917.

[71] Цит. в Edwin Erich Dwinger. Die 12 Räuber. Jena 1931; см. также там же критику в «Райниш-Вестфелише Цайтунг».

[72] См. *Wilhelm Westecker*. Die Armee hinter Stacheldraht. Das sibirische Tagebuch Edwin Erich Dwingers. – Kunst, Welt, Wissen: Unterhaltungs-Beilage der Berliner Börsen-Zeitung vom 27. November 1932; Ders. Die sibirische Tragödie. – Berliner Börsenzeitung vom 14. Oktober 1930.

[73] *Westecker*. Die Armee hinter Stacheldraht (Ibid.). В «Кёнигсбергер Альгемайнен Цайтунг» от 15 сентября 1929 г. можно прочитать: «Дневник, в обработке которого проявилось значительное искусство изображения и анализа состояния души», описывает, на какие бесчестные поступки, на какую подлость способен враг. «Русский считается добросердечным, но такое добродушие, не регулируемое внутренним чувством приличия, может, как правило, если оно раздражается или подзадоривается, слишком легко неистово превратиться в свою противоположность». – S-m: Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. blindwütig Königsberger Allgemeine Zeitung vom 15. September 1929; см. также Helene Voigt-Diederichs: Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Niederdeutsche Heimatblätter 6 (1929). S. 448; Fr.: Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 50 (1930). S. 802f.

[74] *W.L*. Op. cit.. S. 618.

[75] Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht und Zwischen Weiß und Rot. – Neue Blätter für den Sozialismus 2 (1931). S. 472.

[76] *Bruno Brehm.* Edwin Erich Dwinger. – Die neue Literatur 32 (1931). S. 426.

[77] См. Rezension zu Bag Fangelejrens Pigtrad [dänische Ausgabe von Die Armee hinter Stacheldraht]. – Bogens Verden 18 (1936). S. 25; *Aug. van Cauwelaert*. Oorlogsliteratuur. – Dietsche warande in Belfort 30 (1930). S. 71–74; *Leutnant Müller*. Rezension zu Die Armee hinter Stacheldraht. – Allgemeine Schweizerische Militärzeitung 76 (1930). S. 57.

[78] Behind Barbed Wire (рецензия на английское издание «Армии за колючей проволокой»: The Army Behind Barbed Wire). – The Times Literary Supplement, Thursday, September 25,1930. S. 748. Столь же положительно писал леволиберальный нью-йоркский журнал «Нейшн». Он поставил «Армию за колючей проволокой» как «более аутентичную, более страшную, с точки зрения предмета описания, и гораздо более художественную в литературном отношении» выше всемирно известной тогда книги о войне – романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен»; *James B. Wharton*. Prisoner of War (рецензия на американское издание «Армии за колючей проволокой»: Prisoner of War. A Siberian Diary). – The Nation: A Weekly Journal Devoted to Politics, Literature, Science, Drama, Music, Art, Industry (New York), Vol. 131, July 2, 1930 to December, 31, 1930, 17. 12. 1930. S. 683f.

[79] *Л. Беранже*. Рецензия на «Армию за колючей проволокой», французское издание (Mon Journal de Siberie. Dans les camps de prisonniers, Paris 1930). – Etudes par les peres de la compagnie de Jesus (Paris), Annee 68, Tome 208, Juillet-Aoыt-Septembre 1931. S. 247f. Перевод Г(еорга) В(урцера), оригинал: «Mais nous ne pouvons nous defendre d'une revolte contre tant d'inconscience. Car les horreurs racontees par l'engage volontaire allemand ne nous apprennent rien.» Еще дальше шла критика Э. Лалоя в «Меркюр де Франс»: «Двингер, вероятно, не знал о немецких жестокостях или систематически забывал о них. Изображению ужасов Тоцкого, где 17.000 из 24.000 пленных умерли от дизентерии, он противопоставил немецкий лагерь, где в 1915 г. 1.500 из 1.800 заключенных французов оказались жертвой тифа»; *Эмиль Лалой.* Рецензия на «Армию за колючей проволокой» (французское издание). – Mercure de France, (Serie Moderne), (Paris), Tome 224, 15.11.–15.12.1930. S. 496 ff.)

[80] Двингер упомянул только в 1967 г., что это была Даурия, раньше он называл лагерь «Борзя». Dwinger. Wie ich die Revolution erlebte.

[81] Ниже обсуждается достоверность этого эпизода.

[82] Об изображении эпидемии тифа в Тоцком см. *Dwinger.* Die Armee (wie Anm. 50). S. 105ff., Elsa Brändström. Unter Kriegsgefangenen in Rußland und Sibirien. Berlin 1922 (многочисленные новые издания). S. 47f. См. о других повестях, например, Dwinger. Die Armee (Ibid.). S. 113, Brändström (Ibid.). S. 43; Dwinger. Die Armee (Ibid.). S. 289, Brändström (Ibid.). S. 45.

[83] *Brändström* (Ibid.). S. 58.

[84] *Brändström* (Ibid.). S. 22; *Leopold Ehrenstein.* Der Fall der Festung Przemysl: Der sibirische Engel Elsa Brandström. Bearbeitet von Emil Portisch. Bratislava 1937. S. 38; *Max Frensdorf.* Rassija: Erinnerungen aus russischer Gefangenschaft. Eisenach 1934. S. 89; *Anton Hittmair.* Dreieinhalb Jahre in russischer Gefangenschaft. Innsbruck 1918. S. 3; *Helene Hoerschelmann*. Vier Jahre in russischen Ketten. München 1921. S. 75; *Franz Maske.* Schicksale rasen: Meine Weltkriegs-Odyssee in Rußland, Sibirien und Persien. Stuttgart 1931. S. 176f.; *Julius Meier-Graefe*. Der Tscheinik. Berlin 1918. S. 74; *Yücel Yanigdagÿ.* Ottoman Prisoners of War in Russia 1914–1922. – Journal of Contemporary History 34 (1999). S. 71 f.; *Hans Zuchhold.* Aus der Hölle empor: Erlebnisse eines aus russischer Kriegsgefangenschaft Ausgetauschten. Berlin 1917. S. 63f.

[85] В соответствии с утверждением Двингера в «Армии», он только осенью 1917 г. прибыл в Даурию (которую скрывает под псевдонимом Борзя) вслед за тем, как после пребывания в госпитале в Москве находился сначала в тифозном лагере Тоцкое, затем в Иркутске, а после этого летом 1917 г. был занят на сельскохозяйственных работах. Напротив, Фусс пишет: «Это было весной 1916 г., в восточносибирском лагере военнопленных Даурия. […] В один прекрасный день туда пришел транспорт “новичков”– отчасти с фронта, частью из госпиталей внутри России. Среди вновь прибывших обращал на себя внимание совсем молодой фанен-юнкер (прапорщик. – *Прим. перев.*). Он был вряд ли старше 17 лет и ковылял, опираясь на палку. […] Его звали Эдвином Эрихом Двингером, он был добровольцем-кавалеристом и только-только выздоровел после тяжелого ранения». – *Fuss.* Op. cit.. S. 411.

[86] *Oberschelp.* Op. cit., Bd. 29 (Dr-Dz). S. 484ff.

[87] Двингер, однако, снова элегантно скрывает эту тенденцию за своей ролью хрониста. Так, даже занимавший решительно антинационалистическую позицию литературовед Хельмут Мюссенер подчеркивает пацифистское воздействие Двингера, см. *Müssener.* Edwin Erich Dwingers Roman Zwischen Weiss und Rot. S. 131 f. Мюссенер находит и еще более сильные слова похвалы для «Между белыми и красными», говоря, что «это единственная в немецкоязычной беллетристике книга, серьезно занимавшаяся событиями русской Октябрьской революции, пытавшаяся оценить ее последствия для Европы и мира и к тому же или тем не менее достигшая массового тиража»; роман изобразил большевиков поистине как образцовых; см. Ibid. S. 133ff.

[88] Ibid. S. 127.

[89] См. *Paul Alverdes.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Der Kunstwart: Monatshefte für Kunst, Literatur und Leben 44 (1930/31). S. 336f.; B.K. Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Deutsche Welt: Zeitschrift für das Deutschtum im Auslande 8 (1931). S. 438f.; *Johannes Boldt.* Edwin Erich Dwinger: Zwischen Weiß und Rot. – Der Kreis 7 (1930). S. 659ff.; G.: Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Deutsches Volkstum: Monatsschrift für das deutsche Geistesleben 2 (1931). S. 938–45; *Kantorowicz.* Op. cit.,; Dr. L. Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Deutschlands Erneuerung 14 (1930). S. 700f.; *R. von Mach*. Die russische Tragödie. – Kölnische Zeitung vom 28. Dezember 1930; *A[ugust] M[esser].* Der Sinn des Weltkriegs. – Philosophie und Leben 7 (1931). S. 199–202; *Richard Neumann.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Deutsche Blätter für erzieherischen Unterricht 58 (1931). S. 96; *Hermann Ott.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Eiserne Blätter 13 (1931). S. 763f.; *Will Vesper.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Die schöne Literatur 31 (1930). S. 97 f.; *Westecker*. Die sibirische Tragödie (wie Anm. 72); *Wilhelm Wibbeling.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Neuwerk. Ein Dienst am Werdenden 13 (1931). S. 308–313; *Werner Wirths.* Die russische Tragödie 1919/20. – Deutsche Rundschau 57 (1931). S. 140f.; *W.L.* Op. cit.; Die mitschuldig sind an Rußlands Unglück: Zu Edwin Erich Dwingers Buch Zwischen Weiß und Rot. – Reichspost vom 1. November 1930; Werbetext in Dwinger. Die 12 Räuber. S. 231.

[90] *Fritz Reck-Malleczewen.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Deutsche Allgemeine Zeitung vom 17. Dezember 1930; см. также *Annemarie Meiner*. Die russische Tragödie 1919–1920. – Das deutsche Buch 11 (1931). S. 40.

[91] *H. Grosse*. Dwinger. Zwischen Weiß und Rot: Ein ehemaliger weißer Offizier über den Zusammenbruch der Koltschak-Armee. – Die Rote Fahne Berlin 1931, Nr. 90. В журнале «Линкскурве» (орган Союза пролетарско-революционых писателей Германии. – *Прим. перев.*) Курт Клебер высказывается о Двингере очень критически. Он характеризует Двингера как «смесь из души, отечества и слишком большой дозы душевных комплексов». – *Kurt Kläber.* Rezension zu Zwischen Weiß und Rot. – Die Linkskurve 3 (1931). S. 24.

[92] См. Rezension zu Tusschen wit en rood (нидерландское издание «Между белыми и красными»). – Boeckenschouw (Amsterdam), 27 (1933/34). S. 277f. Даже во Франции, где раздавались громкие критические голоса по поводу «Армии», «Между белыми и красными» удостоился похвалы без какой бы то ни было критики; см. *Louis Jalabert.* Rezension zu Entre les Rouges et les Blancs (1919–1920) (французское издание «Между белыми и красными»). – Etudes par les peres de la compagnie de Jesus 69 (1932). S. 503; *Emile Laloy.* Rezension zu Entre les Rouges et les Blancs (1919–1920). – Mercure de France, t. 237, juillet/aout 1932. S. 747–752.

[93] *Müssener.* Op. cit.. S. 129.

[94] См. там же. С. 131.

[95] *Hertling.* Op. cit.. S. 19.

[96] Ibid. S. 21.

[97] Ibid. S. 22.

[98] Уже раньше, в 1934 г., появилась пьеса «Последняя мечта. Немецкая трагедия», Йена, 1934, которая отчасти дословно предвосхищала действие «Последних всадников».

[99] См. *Braune*. Rezension zu Die letzten Reiter. – Deutschlands Erneuerung 20 (1936). S. 574; NS-Kurier, цитируется по Dwinger. Und Gott schweigt? Jena 1936. S. 159; Rezension zu Die letzten Reiter. – Die Bücherei: Zeitschrift der Reichsstelle für volkstümliches Büchereiwesen 4 (1937). S. 105; *Walter Linden.* Sonderbericht: Neue Werke der Weltkriegsdichtung. – Zeitschrift für Deutschkunde 50 (1936). S. 661f.; *Herbert Scheffler*. Rezension zu Die letzten Reiter. – Die Literatur: Monatsschaft für Literaturfreunde 38 (1935/36). S. 178. Напротив, в научном журнале «Остойропа» произведение освещается критически. Можно прислушаться к описанию Двингером событий в Прибалтике. «И, тем не менее, книга оборачивается определенным разочарованием. Мешают некоторые ошибки в обрисовывании деталей, не особенно существенные, но все же вызывающие раздражение. Трагизм краха балтийского похода как “последней мечты» находит благодаря Двингеру глубоко взволнованное и волнующее изложение, но оно будит желание обстоятельного истолкования этой драмы»; Hp. Rezension zu Die letzten Reiter. – Osteuropa: Zeitschrift für die gesamten Fragen des europäischen Ostens 10 (1934/35). S. 254.

[100] Siehe H.B. Rezension zu Die letzten Reiter. – Lebendige Dichtung (Wien) 1 (1935). S. 63; Hans A. Wyss Erich Dwingers [sic!] Letzte Reiter. – Nationale Hefte: Schweizer Monatsschrift 2 (1935/36). S. 454 ff.

[101] Rezension. – Die Bücherei. 4 (1937). S. 104; см. также *Hans Gille*. Rezension. – Vergangenheit und Gegenwart: Zeitschrift für Geschichtsunterricht und politische Erziehung 27(1937). S. 287f.; *Hans Härlen*. Rezension. – Die Neue Literatur 37 (1936). S. 710; *Karl Josef Keller.* Rezension. – Deutscher Glaube: Zeitschrift für arteigene Lebensgestaltung, Weltschau und Frömmigkeit 4 (1937). S. 277f.; *Herbert Scheffler*. Rezension. – Die Literatur: Monatsschrift für Literaturfreunde 39 (1936/37). S. 313; *Christian Tränckner.* Rezension. – Die christliche Welt 50 (1936), Sp. 1097.

[102] См. *Hans R. Müller.* Rezension. – Zeitwende 14 (1937). S. 504f.; в том же ключе *Richard Otto.* Rezension. – Theologisches Literaturblatt 58 (1937), Sp. 286f. Критически выдержана и рецензия на датское издание «И Бог молчит?» в Bogens Verden 19 (1937). S. 364: «Описание Двингером жестокостей, голодной смерти, пыток и издевательств, вопиющих к небу о мести, фантастически преувеличены, уже в предисловии очевиден агитаторский замысел книги».

[103] *Schlögel.* Op. cit.

*Кристоф Гарстка*

# «ПОНЯТЬ ГЛУБИНЫ ВОСТОКА»: «Немецкий Достоевский» в издательстве «Piper»[1]

В своем эссе 1922 г. российский поэт Осип Мальдештам жаловался на принципиально ошибочное, по его мнению, восприятие произведений Достоевского на его родине: «Достоевский – отличное застольное чтение, если не сейчас, то в очень недалеком будущем, когда вместо того, чтобы плакать и умиляться над ним, как горничные умиляются над Бальзаком и отличными бульварными романами, будут воспринимать его чисто литературно, и тогда в первый раз прочтут и поймут»[2]. Наблюдения Мандельштама верны – по крайней мере, в своих выводах – и в отношении феномена «немецкой инфляции Достоевского» в 1920-е гг[3]. В Германии Достоевский, вслед за изданием его сочинений, был сначала тоже оценен и признан не сообразно его литературному значению. Однако само по себе это утверждение не является оригинальным: давно доказано, что творчество иностранного писателя слишком часто служит ключом к разгадке чужого национального характера[4]. И все же немецкий читатель того времени увидел в Достоевском не «только» чрезвычайно убедительного интерпретатора мистической, варварской или даже хаотичной русской души. Немецкая критика в большей степени была отмечена описаниями потрясающего читательского переживания, определяющего развитие того или иного собственного, сугубо личного мировоззрения. Это обстоятельство метко обобщено Геригком в его новом исследовании истории воздействия Достоевского в немецком языковом пространстве: «Ансамбль его виртуозно используемых средств власти (макиавеллистской поэтики. – *К.Г.*) совершенно определенно обусловил принадлежность Достоевского к тем фигурам нашей духовной истории, которые обладают свойством выступать катализатором поисков себя для каждого, кто с ними сталкивается»[5]. Немецкие читатели в 1920-е гг. рассматривали русского писателя не только как толкователя чужой культуры или художника, но, в первую очередь, как вдохновляющего политика, консервативного критика культуры и гениального психолога.

Его массовое распространение и чрезвычайная популярность в то время в значительной степени связаны с деятельностью издательства, которое возникло за восемь лет до начала Первой мировой войны. В его работе приняли участие немцы, русские и российские немцы, встретившиеся в Париже. Под руководством издателя Мёллера ван ден Брука и при участии Дмитрия Мережковского с 1906 по 1919 г. в основанном Райнхардом Пипером незадолго до того одноименном мюнхенском издательстве вышло 22 тома «Собрания сочинений» Федора Михайловича Достоевского в переводе Э.К. Разин. Это издание можно назвать «проектом века» – и не только из-за его долгой и успешной коммерческой истории. До сего дня продаются тома в версии, полностью переработанной Э.К. Разин после Второй мировой войны, хотя и без введений Мёллера и Мережковского. Хотя вскоре немецкие переводы (появлявшиеся на свет с 1846 г.) начали выходить и в других издательствах, пиперовский Достоевский оставался тем не менее главным рекомендуемым источником.

Правда, экономический успех пришел к этому изданию лишь сразу после Первой мировой войны. В своих воспоминаниях Райнхард Пипер рассказывает, что первые тиражи – от 3 до 10 тысяч экземпляров – лежали, «как свинец», на полках книготорговцев. Примерно с 1917 г. цифры продаж вдруг взлетели, проданные до 1922 г. 179 тыс. экземпляров составили рекорд[6]. Произведения Достоевского принадлежали к числу бестселлеров все годы существования Веймарской республики, и лишь с приходом национал-социалистов к власти его популярность, если измерять ее цифрами сбыта, существенно пошла на убыль. После ужасного опыта проигранной войны и насильственных, но, в конечном счете, непонятных событий русской революции 1917 г. Достоевский превзошел в среде немецких читателей ранее более известных русских авторов, например, Тургенева и Толстого. С этого момента он считался ключевой фигурой для расшифровывания «русскости» – не только в отношении царского прошлого, но точно так же и для советского будущего. Одновременно имя Достоевского присутствовало в бесчисленных дискуссиях политического, теологического, философского и психологического свойства, которые имели к России отдаленное отношение – или вовсе никакого. Таким образом, вполне оправдан обзор Достоевского в издательстве «Piper» в хронологических границах 1920-х – 1930-х гг., с неизбежными экскурсами за пределы этих временных рамок. Тем более, если учесть, что в описанной Геригком рецепции, означавшей, в первую очередь, поиски себя, необузданные фантастические спекуляции не сдерживались в то время литературоведческими знаниями.

Так, в 1930 г. авторитетный славист Макс Васмер жаловался на «дилетантское» изучение Толстого и Достоевского и призывал ученых к более интенсивному участию в нем[7]. На позднее подключение ученых существенно повлияли издававшиеся с 1925 г. – также в издательстве «Piper» – тома, в которых было представлено наследие Достоевского. Эти восемь томов наследия с комментариями издал, однако, не кто-то из ответственных за все издание, а историк культуры и литературы, знаток России Рене Фюлёп-Миллер при участии Фридриха Экштайна. Перевод большей частью осуществила Вера Митрофанов-Демелич. Отчасти авантюрным способом Пипер и Фюлёп-Миллер добились права на «единственное авторизованное издание» наследия и для перевода на иностранные языки. После смерти в 1918 г. второй жены Достоевского материал, систематически собранный и подготовленный именитыми русскими исследователями, по инициативе Луначарского, был опубликован в Советском Союзе лишь в отрывках. После нескольких длительных поездок по стране, отмеченной гражданской войной и нэпом, Фюлёп-Миллер, в конце концов, получил от Государственного литературного издательства СССР права на первую и единственную иностранную публикацию. Пипер уплатил 30 тыс. золотых марок, чтобы этот материал мог выйти в его издательстве[8]. По причине низкого интереса читателей, за исключением профессиональных кругов, к этим томам, а также из-за публикации, вопреки соглашению, всех материалов к 1930 г. в России, тем самым, аннулировавшей «эксклюзивные права», эта инвестиция оказалось ошибкой. Тем не менее роскошно оформленные тома – восемь вместо запланированных двенадцати – с многочисленными иллюстрациями, воспроизведенными автографами и с комментариями значительных русских ученых, принадлежат к ценнейшим источникам немецкого исследования Достоевского. Рукописи с длинными – в страницы – списками синонимов и отточенные наброски и штудии Достоевского к своим произведениям опровергают клише, согласно которому русский писатель был не в состоянии формально обработать свои гениальные мысли, будучи скорее беззаботным графоманом.

Но до тех пор, пока в распоряжении читателей имелись только романы и рассказы Достоевского, а академическое исследование демонстрировало явную сдержанность, многочисленные персоны из различных сфер культуры возвещали о своих переживаниях и выводах, сделанных при чтении его произведений. Таким образом, в дискурсе немецких интеллектуалов жизнь и творчество русского писателя служили в то время инспирирующим источником для культурно-критического, националистического и, в целом, антидемократического движения, обозначающегося собирательным термином «консервативная революция»[9]. Одной из центральных фигур этого движения был немецкий издатель Достоевского Артур Мёллер ван ден Брук. После войны он участвовал в младоконсервативной организации, которая в память об июньском (1919 г.) Версальском «мирном диктате» именовалась «Июньским клубом» и позиционировала себя в качестве верхушечного союза «круга Ринга», аморфного объединения консервативных и надпартийных группировок, общность которых состояла преимущественно в позиции протеста: в радикальном неприятии нового конституционного порядка в Германии. Мёллер был действующим в тени «серым кардиналом» и духовным наставником этого движения. Он изложил свои политические взгляды в многочисленных статьях в журнале «Das Gewissen» («Совесть»), рупоре движения Ринга, но, прежде всего, – в книге с дурной репутацией «Третий рейх» (1923–1926). Они отличались ненавистью к западно-либеральному пониманию демократии и были наполнены шовинистической химерой превосходства «германской расы». То, что выражается в этих политических произведениях послевоенного времени, можно обнаружить также в комментариях к изданию Достоевского. В многочисленных предисловиях и введениях, которые предваряют отдельные тома, Мёллер очертил весьма специфический образ русского писателя, который отражает исключительно его собственное неоконсервативное мировоззрение[10]. Рене Веллек так квалифицирует его подход:

> Однако все издание «Piper Verlag» в Мюнхене, с предисловиями Артура Мёллера ван ден Брука и других апокалиптических интерпретаторов русской души, больше отражает искаженный образ автора, чем знания текста[11].

В обращении к Достоевскому Мёллер не руководствовался ни интересом к русской культуре и литературе, ни, тем более, особой симпатией к русскому народу. Его действительная позиция ясно обозначена в «Третьем рейхе». В нем он квалифицирует большевизм как «подлинно русское явление», которое наконец-то вновь направит движение русских на восток, т. е., в понимании Мёллера, к хаосу. Тем самым якобы решается проблема «жизненного пространства» для немецкого народа. Книга отмечена ненавистью и намерением пробудить «контрнастроения», которые должны привести к борьбе за корпоративно организованную третью империю. В этом обнажается взгляд Мёллера на Россию в целом и на Достоевского в особенности. Мёллер ни в коем случае не русофил. В Достоевском его восхищает не писатель, а политический мыслитель, который первым так безоговорочно подчеркнул превосходство своего собственного народа. На эту позицию глашатая в отношении немцев претендует Мёллер. «Миф о Востоке» задуман как призыв к немецкому народу, так как ненависть к Западу и его базовая духовная позиция ведут Мёллера к утверждению якобы необходимого для немецкого народа варварства – того варварства, образец которого он надеется найти на Востоке.

В качестве участников пиперовского издания также называют Дмитрия Мережковского и, иногда, Дмитрия Философова. Но Мережковские (знаменитый «триумвират», состоявший из Дмитрия Сергеевича, его жены Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Владимировича Философова) прибыли в Париж в то время (март 1906 г.), когда издание давно было спроектировано. Контакт с сестрами Керрик и с Мёллером, скорее всего, был слабым. Зинаида Гиппиус в своих воспоминаниях о парижском времени нигде не упоминает о нем, и Лесс Керрик тоже редко и, скорее, мимолетно упоминает о Мережковских. Дмитрий Мережковский поучаствовал в издании всего четырьмя введениями. Его активное сотрудничество ограничивалось временем жизни в Париже (1906–1908 гг.). Можно предположить, что имя невероятно популярного тогда в Германии русского писателя и религиозного философа было сознательно использовано, исходя из соображений финансовой рентабельности издания, но львиная доля работы по осуществлению проекта до 1919 г. и позднее при подготовке тиражей 1920-х гг. лежала на сестрах Керрик и Мёллере ван ден Бруке.

## II

И все же, как сыну королевско-прусского советника по строительству, родившемуся в Золингене в 1876 г., вышвырнутому из гимназии до ее окончания и ни слова не говорившему по-русски, в начале XX в. в Париже пришла в голову мысль познакомить широкую немецкую читающую публику с произведениями именно этого «трудного русского» (Зигмунд Фрейд)?

В своих воспоминаниях Пипер рассказывает, что до 1906 г. Достоевского в Германии практически не знали, и своим немногочисленным читателям он казался «слишком ужасным»[12]. В действительности же, литературные работы Достоевского еще до пиперовского издания имелись почти в полном объеме в переводах на немецкий – правда, в различных издательствах и разного качества. Натуралистичная критика была сосредоточена, в основном, на романе «Преступление и наказание»[13], а также на рассказе «Бедные люди», явно тесно связанном с ним точным описанием среды, жестким реализмом и откровенным социальным обвинением, и на осмыслении каторжного опыта в «Записках из мертвого дома». Но Мёллера именно эти аспекты творчества русского писателя не интересовали, несмотря на то, что сам он в Берлине рубежа веков был типичным представителем богемы и завсегдатаем литературных кафе с постоянными денежными проблемами, а затем жил в Париже почти как клошар. С 1896 г. самоучка Мёллер в разных журналах регулярно публиковал эссе и критику, преимущественно по литературным проблемам современности. Основополагающее влияние произвольно интерпретированной философии жизни Ницше ощущается в них так же явно, как и очевидная и характерная аполитичность. Однако она никоим образом не означала полного отказа от реального окружения, который можно было бы назвать декадентским, и бегства в «искусственные миры и раи». В большей степени, можно говорить о попытке «эстетической оппозиции», которая, однако, ставила целью тотальное общественное переустройство в широком культурном масштабе, а не только в масштабе актуальной политики[14].

Чтобы коротко и упрощенно обрисовать, скорее, типичные для того времени, чем оригинальные представления Мёллера непосредственно накануне проекта Достоев-

ского, нужно, в первую очередь, указать на его твердое убеждение в скором наступлении «германского доминирования в мире». Он воодушевлен новым политическим значением Германии в мире после основания империи, в футуристическом духе упивается техническими возможностями современности, но одновременно точно так же горд культурными достижениями немцев в их истории и уникальным духовным развитием Германии. Впрочем, в актуальной ситуации вильгельмовской эпохи он усматривает опасность духовной усталости, которая якобы проистекает из самодовольной надменности и самолюбования. Свежей силе «молодого» немецкого народа грозит ослабление, поэтому она должна быть укреплена критикой внимательных и зорких современников. Истощению в обеспеченном лишь материально благополучии следует противостоять с помощью новых, иррациональных и даже варварских импульсов. Отсюда исходит обращение к Востоку и, прежде всего, к русскому народу как «главному носителю восточной мысли». Мёллер приписывает каждому народу типичную «ценность», под которой он понимает определенную, часто стереотипную, духовную позицию. Немцев якобы отличают огромная духовная креативность и творческая сила. Эти ценности, однако, еще не приведены в согласие путем цивилизования внешнего порядка, последовавшего за основанием империи. Синтез предстоит в недалеком будущем. Он возвестит эпоху немецкого господства в мире. Русским он приписывает глубокую, непосредственную религиозность и способность к мистическому познанию бога. Но их путь к соединению этой мысли с требованиями современного мира еще очень долог. Пребывая в твердом убеждении, что немецкая культура вскоре будет определять мировую культуру, и одновременно сознавая недостатки, которые в настоящее время еще присущи немецкой культуре, Мёллер взирает на Россию, в «простом народе» которой он усматривает особые черты «самого младшего народа», дух первопроходцев, безмерную силу и энергию без критической саморефлексии, примитивную чувственность и, в качестве специфики, почвенную религиозность.

В представлениях Мёллера о динамичном протекании истории, оформившихся особенно благодаря чтению трудов Гобино и Хьюстона Стюарта Чемберлена, различие между «молодыми» и «старыми» народами приобретает важное, категориальное качество. После того как «старая» романская культура отжила свое, ведущей, «руководящей культурой» в мире должна стать, несомненно, «молодая» германская. В этом он противоречит тезису Мережковского, представленному в его книге «Толстой и Достоевский как люди и художники», вышедшей в немецком переводе в 1903 г. Русский писатель, по мнению Мёллера, якобы указывает в ней, что в синтезе противоположных религиозностей двух писателей-гигантов заложен шанс на ведущую позицию русской духовности в мире. На это Мёллер отвечает в 1904 г. критикой в «Журнале литературы»:

> Мы, обитатели несчастного, но реалистичного Запада, знаем, конечно, что в таком патриотизме заложена правда, которую мы еще ощутим. Только время для этого еще не скоро придет. Центр европейского равновесия явно все больше смещается, в том числе в духовном отношении, с Запада на Восток и когда-нибудь полностью переместится в Россию, поэтому, с этой точки зрения, страной наших ожиданий… действительно является Россия. <…> Но пока германство должно выполнить свою всемирно-историческую задачу и создать германскую культуру, что в течение двух тысяч лет мешало сделать романство, в настоящее время постепенно отступающее. Да, когда она будет создана и когда придет мо-

мент и для ее крушения – может быть, от рук славянства – тогда пусть придет славянство, а с ним и славянская культура. Но не случайно же Ницше, этот провозвестник следующей великой культуры, родился в Германии.

Таким образом, Мёллер в это время хочет поставить Ницше на место Достоевского. Русский писатель представляется ему пока переходной фигурой между архаической, близкой к природе, морально чистой религиозностью, лучше всего воплощающей русский дух в лице Толстого, и позицией более рационального общеевропейского духа, якобы характерного для высокоразвитых культурных наций.

По мере того как вызревают представления Мёллера об истории народов как о динамическом биологическом процессе, Достоевский приобретает все большее значение и становится из второстепенной фигуры первым представителем провозглашенной новой эпохи в России. Хотя исторический процесс, по мнению Мёллера, протекает неизбежно и не зависимо от чьих-либо влияний, прорыв целого народа в новую эпоху проявляется раньше, а именно в лице отдельных личностей, в первую очередь – художников, философов и политиков. После длительной работы Мёллер в 1906 г. изложил эти мысли в книге «Современники»[15]. На этот раз место Достевского в русской истории определяется как гораздо более значительное, чем двумя годами раньше. Русские, согласно Мёллеру, имеют склонность к священнической аскезе, к квиетизму и поэтому нуждаются в энергичных героях. Их-то впервые в русской литературе Достоевский и выдвинул на первый план. В его произведениях «впервые славянская мистика в судорогах [повенчалась] [с] современной цивилизацией»[16]. Русская душа, наконец, пробудилась из состояния «экстаза» самодостаточности и обратила внимание на течение современной жизни. Тем самым, впервые в истории русской мысли, Достоевский показал полюс, противоположный первоначальному складу характера и указал русскому народу на его путь к руководящей культуре, открывающей дорогу в мир, то есть направление к будущему синтезу. Достоевский, таким образом, стал для Мёллера главным аргументом в пользу его культурно-исторических теорий еще до действительного начала издания его произведений в Германии. Так как недоучившийся гимназист совсем не говорил по-русски и очень плохо – по-французски, он к тому же еще не читал большинство произведений Достоевского. Лишь благодаря посреднической работе обеих балтийских немок, сестер Люси и Лесс Керрик, самозваный интерпретатор мировой истории познакомился с жизнью и творчеством великого русского писателя.

В конце 1902 г. Мёллер без каких-либо средств поспешно переехал в Париж, оставив в Берлине свою беременную первую жену Хедду, которая позже вышла замуж за драматурга Герберта Ойленберга. Во французской столице Мёллер в следующем году познакомился сперва со старшей из сестер Керрик, Люси, на которой он женился вскоре после своего развода. Именно она решительно подтолкнула его к идее издания полного собрания сочинений Достоевского на немецком языке. В разгар Второй мировой войны Лесс Керрик ответила на запрос Райнхарда Пипера о происхождении издания, предварительно коротко объяснив мюнхенскому издателю представления Мёллера из «Современников», следующим образом:

Во время разговоров и дебатов после обедов по четвергам, на журфиксах в доме мадам Лабард <…> о возможностях доказать истинность этого нового представления об истории моя сестра называла Достоевского в качестве доказательства в отношении России. Она по-

знакомилась с ним еще в Петербурге, где только что окончила консерваторию. В тамошнем интернате ее однокашницы, конечно, зачитывались Достоевским и спорили о нем, как это принято в России. Поэтому она уже тогда имела представление о значении Достоевского для России. А Мёллербрук знал о Достоевском из Берлина (через Ницше и молодых писателей вокруг Конрада Анзорге, Пшибышевского и Лу Андре-Саломе). Так из разговоров о планах Мёллербрука, о «ценностях народов» и т. д. родилась необходимость сперва познакомиться с совокупностью сочинений Достоевского. Может быть, на французском языке? Тут-то и был подхвачено предложение моей сестры издать Достоевского по-немецки. К четверговому кругу принадлежали и молодые писатели, в том числе балтийские немцы, которые более или менее пописывали, писали картины и рисовали. Но для Мёллербрука, который был помешан на своей работе, в первую очередь важно было добыть необходимый доказательный материал для своих гипотез. Ведь для него самого едва знакомые, а для широкой публики и вовсе не знакомые вещи нельзя было ни приводить в качестве доказательств, ни использовать как инструмент для этих нематериальных операций. <…> Теперь по поводу Вашего второго вопроса: почему обратились именно в Ваше издательство? Вы тогда еще были связаны с издательством Георга Мюллера, которое было известно благодаря изданию хороших романов, но сами Вы были еще молодым издателем, то есть была перспектива длительного сотрудничества. Кроме того, Вы уже издали произведения, которые выказывали Вашу решимость к новой точке зрения, ко всему молодому, свежему, в том числе мужество взглянуть на старое свежим взглядом и по-новому воспринять его[17].

Лесс Керрик ясно показывает, что Достоевский в этих кругах, например, среди немецко-балтийских писателей, обсуждался не в связи с его литературными достоинствами. Он проверялся на предмет идеологической убедительности, чтобы служить в качестве источника ключевых понятий для абсолютно далеких от литературы целей. Так же ясно она подчеркивает: Мёллер «был помешан на своей работе» и в поисках «необходимого доказательного материала для своих гипотез» обратил внимание на русского писателя.

Пиперово издание Достоевского должно было, таким образом, подтвердить историческую теорию его издателя, с которой опосредованно был связан шовинистический тезис о скором наступлении эпохи немецкого превосходства в мире. Мёллер мыслил, как позднее выразилась Люси Керрик, «уже тогда, в Париже 1905 г., в категориях ценностей народов и в таком духе запланировал предисловия к Достоевскому» (PA). Люси ссылается на большой проект, к которому Мёллер приступил одновременно с издательским. Он хотел, исходя из своего деления народов на «старые» и «молодые», опубликовать многотомное произведение, в котором он намеревался определить для каждого народа его специфический стиль в отношении «расового» развития, развития идей и их отражения во всех видах искусства. К разделу «Старые народы», в котором был реализован только один том – «Итальянская красота», – должны были принадлежать еще «Французское сомнение» и «Английский разум», к «Молодым народам» – «Немецкое мировоззрение», «Американская воля» и «Русская душа». Принадлежавшая Гердеру мысль о самостоятельно развивающихся народных стилях здесь, под влиянием социал-дарвинистских представлений и псевдоисторико-медицинских исследований XIX в., превратилась в пренебрежительную расовую историю. Введения к изданию Достоевского разрабатывались с учетом этого «проекта народных ценностей». Они стремятся показать немецкому читателю

существенную черту русского народа. При этом, Достоевский является ключевой фигурой. Так, в 1906 г. во введении к «Бесам» говорится:

> В центре русской литературы стоит *Достоевский*. Если русская литература есть великое русское явление, то Достоевский – величайший русский. Он – главный гений России: гений в высочайшем смысле – человек, равного которому никогда не появлялось на свет. В Достоевском русский народный характер стал воплощенным мировоззрением, словом и языком, а дело его жизни превратилось в целостный великий эпос.

Характерно, что за этим следует критика Толстого как «выражения славянского покоя»[18].

## III

Интенсивная работа Мёллера над введениями к изданию трудов Достоевского протекала в две фазы. Еще в Париже он написал, в общей сложности, семь больших статей, предпосланных отдельным томам первого издания. В конце и сразу после Первой мировой войны он переработал их для переизданий: осуществил перестановки или создал совершенно новые тексты, с тенденцией к переходу от широких сущностных обзоров к более конкретному анализу современных революционных событий в России. Превращение Мёллера из культурно-критического литератора эстетической оппозиции в отношении вильгельмовской эпохи в политизирующего консервативного революционера в более или менее активной оппозиции к Веймарской республике отражается в его предисловиях к Достоевскому. Идеолог Достоевский, каким тот, прежде всего, выступает в «Дневнике писателя», становится все более важен для Мёллера, так что он не только использует тезисы русского писателя для своих собственных аргументов, но и равняется на него как на образец в стиле, позиции и письме. Для второго издания «Политических трудов» (1917) он пишет введение, которое содержит центральные тезисы его собственной идеологии и с помощью которого он, в пропагандистской манере[19], пытается активно повлиять на будущую политику русского государства.

Но вначале нищий самоучка в Париже вознамерился объяснить немцам с помощью Достоевского русскую душу, чтобы таким образом популяризовать ключевые мысли собственного, еще не вызревшего мировоззрения. Его главный тезис базируется на научно-популярном клише об абсолютно пассивном и летаргическом русском характере. Во введении к «Раскольникову» («Преступление и наказание») он формулирует его в крайне презрительных выражениях. Русские якобы не способны ни к каким творческим достижениям, их история не что иное, как «история зависимости», они «несомненно народ толпы, народ с коллективным, недифференцированным мышлением, в котором в наименьшей степени выработалась духовная деятельность воли, инициативы, энергии» (1908, 1, XIII). Но из тысячелетних страданий и терпения выросла подлинная ценность русских, глубокая душевность:

> … Это славянство было очень душевно. Его история зависимости одновременно была историей страданий. И многолетние страдания не только унизили и покорили его, но и сде-

> лали неслыханно глубоким. <…> В своих пределах славяне стали тем, чем они сегодня являются: самым религиозным народом Европы. <…> Только благодаря славянам религиозность снова превратилась в мистику (там же. XIV – XV).

Мёллер не утруждает себя дифференцированным рассмотрением славянских народов: русские как главные представители славянства одновременно наиболее ярко выражают общие характерные черты всех славян. Со времен Петра I, продолжает Мёллер в своем введении, европейская современность насильственно вводилась в России. Но понадобилось еще почти 150 лет, пока русский дух в лице Достоевского занялся этой проблемой, исходя из своей естественнейшей позиции, и разработал собственные подходы к ее решению. Грубые, явно расистские представления Мёллера, которые широко распространялись и в послевоенных изданиях, свидетельствуют о дилетантском и псевдонаучном рассмотрении России и ее литературы, которое тем не менее находило отклик в Германии, поскольку обслуживало представления о собственном превосходстве.

Более выразительны добавления и новые редакции Мёллера в послевоенных изданиях, так как они указывают на изменившееся положение обоих государств в мировой истории. В них можно обнаружить особое выражение немецко-русских отношений, желательных для немецкого национально-консервативного мировоззрения. Представители этой позиции, руководствуясь общим непониманием новой политической ситуации в России, после поражения в войне и версальского «диктата» указывали на «общность судеб» обоих народов, направленную против ненавистного Запада. В послевоенных изданиях попытка анахронического описания русского характера уступает у Мёллера место рассмотрению актуальных тем, прямо вторгающихся в актуальные политические вопросы. «Пояснения» к произведениям Достоевского теперь полностью исчезают, как и прежние редкие отсылки к отдельным героям или эпизодам романов. Достоевский представляет интерес лишь как идеолог. При этом, жизнь и творчество отождествляются и рассматриваются как целостное *политическое* высказывание. Характерно в связи с этим предельно краткое, но остро сформулированное «Введение в издание» 1922 г. к первому тому:

> Нам в Германии нужна безусловная русская духовность. Мы нуждаемся в ней как в противовесе западничеству, влияниям которого были подвержены и мы, точно так же, как и Россия, и они завели нас туда, где мы теперь находимся. После того как мы взирали на Запад, пока не попали в зависимость от него, мы взираем теперь на Восток в поисках независимости. <…> Взгляд на Восток расширяет наш кругозор на полмира (1922, 1, V).

Германия и Россия, завершает свою мысль Мёллер, разделяют общую судьбу. Он может опереться, при этом, на высказывание Достоевского из «Дневника писателя», включенное в «Политические труды» (Band 13, 1907, 2. 1917). Там, под заголовком «Католический заговор»[20], Достоевский пишет об опасности, грозящей Германии от «воинственного Рима» и его союзников: «В самом деле, кто главнейший союзник Германии? Разумеется, Россия!»[21] (1917, 13, 122). Между тем, Мёллер поменял роли: не русский политизирующий писатель должен напомнить Германии о ее подлинном предопределении, а немецкий литератор должен вернуть русских, выбравших ошибочный союз, к их подлинному назначению, засвидетельствованному их великим писателем. Это открытие обосновывает взгляд Мёллера на Россию после

войны как на союзника в борьбе против Запада, под которым подразумеваются старые, «отжившие свой век» романские народы и «выродившиеся» германцы – англичане, которые своей цивилизацией, возникшей исключительно из внешних, материальных основ, препятствуют законному развитию великих «внутренних культур» молодых народов России и Германии.

При этом, Мелер, в общем и целом, игнорирует большевистский переворот. Революция 1917 г. якобы только вызвала неизбежный крах прогнившей системы, навязанной России Западом. Большевизм, считает он, – это лишь закономерный нарост западного материализма, который в России деградировал до извращенных заговоров. Здесь он следует мнению Достоевского, который в «Бесах» создает гротескную карикатуру на европеизированных русских. Мёллер больше не пытается объяснить немцам русский характер с помощью Достоевского, а стремится вернуть «заблудших» русских к их подлинному назначению. При этом, общий менталитет жертвы и чувство, что они использованы или застигнуты врасплох Западом, выступают основой для совместных действий. Кроме того, несмотря на всю горячо доказываемую общность, собственный национальный интерес имеет абсолютный приоритет. Оба народа якобы были повергнуты в хаос западными державами: немцы – с помощью «навязанной» войны, русские – импортом материалистических мыслей. Однако этот хаос, фаза глубочайшего страдания, необходимы, чтобы с помощью обращения к специфическим возможностям народов подняться к новому величию[22].

Вот тут-то и разоблачает себя шовинистическое коварство Мёллера, который, со ссылкой на Достоевского, пытается в стиле эгоистической кабинетной политики в мировом масштабе определить области интересов и сферы влияний. В начале уже упоминавшегося второго введения к «Политическим произведениям» («Политические предпосылки идей Достоевского») Мёллер пишет: «Русская политика вновь и вновь возвращалась к своей основной византийской идее» (1917, 13, VII). Последующий анализ русской истории, на самом деле, является сомнительной системой доказательств, с помощью которой русским должен быть указан их путь на восток. Примитивная историческая диалектика исходит из предположения о византийских, т. е., в интерпретации Мёллера, ориентальных корней всей русской истории. «Петровская ошибка», обращение к Западу, якобы была хотя и необходимой, но все же несущей страдания антитезой исходному русскому предопределению. Россия, по его мнению, после большевистской революции оказалась в фазе крайнего отклонения от этого предопределения. Но если бы Константинополь вновь стал духовной целью русских устремлений, она могла бы совершить шаг к синтезу и, в конечном счете, овладеть фактической политической властью в этом регионе. Мёллер хочет показать, что Достоевский понял чужеродность западной системы, но вместе с тем обнаружил, что она действует как катализатор, способный вывести Россию из оцепенения на путь религиозно окрашенной человечности. Только таким образом русский писатель мог стать образцом для «консервативного революционера», который пропускает старое через горнило нового, чтобы обеспечить его действенность на более высоком уровне.

Особенность формулировки «византийской идеи» как фундаментальной русской миссии состояла в невысказанном требовании к России отказаться от европейских интересов. Здесь Мёллер также мог обратиться к цитате из «Записок писателя» (1877 г.) Достоевского, опубликованной в «Политических трудах»:

> Что Германии делить с нами? объект ее – все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать предводительницею его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего (17, 13, 489)[23].

Это требование Мёллер воспринял дословно и развил. Под «Востоком» он понимал поворот России к Азии, вплоть до Индии и Сибири, где «пионерский дух» молодого народа в американском стиле мог бы проявиться лучше всего (см. введение к тому 18, «Из мертвого дома» (1908 г.), «Заметки о сибирских возможностях», сохраненные в послевоенном издании). «Немецкая Европа» должна была соответственно простираться на польские, украинские и, прежде всего, на балтийские области. Военное поражение и обостряющиеся кризисы в Германии и России Мёллер оценивает как последний взлет старых народов, которые шагают навстречу своей гибели и от влияния которых обе «державы будущего» должны освободиться.

Введения Мёллера к изданию Достоевского в большей степени говорят об их авторе и актуальной ситуации, чем о произведениях русского писателя. В его оценке личности Достоевского выкристаллизовывается идеальная концепция биографии консервативного революционера. Перед смертью Мёллер метко обобщает ее в своих последних высказываниях о Достоевском: «Достоевский – пример гения, который разделил мысли о миссии своего народа»[24]. При этом, пишущий политик и идеолог для него становился все более важным, чем страна, из которой он происходил. Русская политика, государственность и общество часто изображались Мёллером весьма презрительно. Высокомерие и твердая убежденность в собственном расовом превосходстве ощущаются повсюду. Особенно явственно это в самой известной публикации Мёллера, которая до сих пор ассоциируется с его именем. Это политическое программное сочинение «Третий рейх» (1923). Обозначение нацистского государства как «третьего рейха» (например, самим Гитлером на Нюрнбергском партийном съезде 1 сентября 1933 г.), было официально запрещено правительством 10 июля 1939 г., после того как тезисы Мёллера в 1930-е гг. заново обсуждались и были отвергнуты нацистскими идеологами. По поводу нового издания книги Мёллера Геббельс в 1933 г. писал: «Я приветствую распространение произведения, столь значительного для идейной истории НСДАП». Но одновременно, во время приватного чествования нового издания, осуществленного Люси, вдовой Мёллера, он высказался, что сегодня Мёллер уже устарел. Она раздраженно возразила на это министру пропаганды: «Напротив, он только еще начинает [действовать]» (NK-DLA). И все же нацисты, особенно Альфред Розенберг, отвергли размышления Мёллера. В первую очередь, его «восточная идеология» не соответствовала действовавшим установкам. В своей официальной критике тезисов Мёллера в 1939 г. Хельмут Редель обрушился на его тесную связь с Достоевским, которая привязывала его «все более к этой переходной стране и переходному народу»[25]. По этому поводу Лесс Керрик пишет сестре 3 марта 1934 г.: «Если нацисты не понимают Меля (Мёллера ван ден Брука. – *К. Г.*), то и Мель был, возможно, еще более несправедлив: почему он не выражался яснее? Почему не писал понятнее?» (NK-DLA).

В «Третьем рейхе» Мёллер вновь обращается к идеям о России, почерпнутым у Достоевского. Однако создание советского государства вынуждает его к переоценке большевизма. Теперь это «подлинное русское явление», поскольку оно – тут Мёллер оказывается пленником собственной аргументации – наконец-то вновь направляет

натиск русских в Азию, в хаос[26]. Совершенно неприкрыто он высказывает теперь требование, которое в предисловиях к Достоевскому формулировались в закамуфлированном виде: Германия должна действовать в восточных областях как упорядочивающая сила. Таким образом, Мёллера ни в коем случае нельзя назвать «русофилом». Его интерес к России вырос из ненависти к рационалистическому самосознанию Запада, к Просвещению и позитивистской воли к познанию, выраженным в идеях либерализма и в материалистических утопиях. В этом Мёллер усматривает опасность отчуждения человека от его непосредственного предназначения, выраженного в народном характере, которое туманно описано им как «внутренняя ценность». В русском народе он видит выработку этой ценности следующим образом:

> История русского народа была историей страдания. И страдание сделало его не только покорным. Оно сделало его глубоким. Российский гений – это гений души[27].

В текстах Мёллера Достоевский служил источником ключевых понятий для построения младоконсервативной теории, с помощью которой немецкое политическое превосходство в мире можно было бы доказать и после военного поражения. То, что русского писателя можно было эксплуатировать для этих целей, достойно отдельного исследования.

## IV

Хотя деятельность Мёллера ван ден Брука в качестве издателя Достоевского заключалась в окончательном редактировании немецких текстов, в процессе самого перевода он не участвовал. Не говоря ни слова по-русски, он был не в состоянии вносить многие мелкие разъяснения, которые были необходимы для немецкого читателя, не знакомого с русским обществом 1840–1880-х гг. Так, Лесс Керрик пишет Пиперу в 1946 г.: «По поводу Вашего вопроса о знаниях Мёллером России: лишь осенью 1912 г. он съездил из Прибалтики в Петербург (и в Финляндию). До этого он знал Россию в основном по рассказам моей сестры. <…> Москвы не знали оба» ((NK-DLA).

Необходимую переводческую работу выполняли, таким образом, обе сестры Люси и Лесс Керрик, причем на долю Лесс со временем падала все большая часть ее. Во всех пиперовских изданиях под титулом значится: «Переведено Э.К. Разин». Это имя стало одним из самых засекреченных псевдонимов в истории немецкой литературы. Обозначая вначале коллектив, состоящий из обеих сестер, Мёллера и, короткое время, Мережковского, позже, после смерти Мёллера в 1925 г., он принадлежит только Лесс Керрик. Она была почти болезненно нелюдима и постоянно озабочена тем, чтобы не попадать в поле зрения общественности. Характерны частые указания в конце ее писем с просьбами о строгом соблюдении такта: «Прошу сохранить это целиком и полностью только между нами». Когда в 1960 г. Немецкая академия языка и литературы наградила Э.К. Разин премией за качество перевода издававшегося с 1952 г. полного собрания сочинений, академией было сообщено только, что речь идет о женщине, которая выполняет эту работу, начиная с первого издания 1906 г. Вернер Бергенгрюн, также балтийский немец по происхождению и переводчик среди прочего «Преступления и наказания», а также «Войны и мира» Толстого

читал свое «Обращение к лауреату», не называя его имени. Ответная речь была прочитана д-ром Баумгартом, главным редактором издательства «Piper», поскольку лауреат якобы «был болен»[28]. Лишь после смерти переводчицы в 1966 г. издательство раскрыло этот псевдоним.

При этом Лесс Керрик была высокообразованной, самостоятельно мыслящей и необычайно компетентной личностью и переводчицей, особенно в том, что касалось немецко-российских отношений. В рукописи ее благодарственной речи в адрес академии редактор-докладчик опустил несколько мест, которые доказывают тонкое чутье Керрик касательно немецко-российских взаимоотношений, но во время горячей фазы «холодной войны» они казались неуместными. Так, она писала:

> В 1920-х – 1930-х гг. было опасным заблуждением, дорого обошедшимся Германии, успокаивать себя и весь мир сентенцией о том, что вся русская революция 1917 г. была «только еврейской властью», от которой необходимо освободить русский народ. И точно так же сегодня опасным заблуждением является мнение, что мы здесь превзошли «русскую идеологию», на том основании, что диалектический материализм давно преодолен. Речь идет, однако, не о словах и «идеологиях», а о чем-то значительно более элементарном, перед которым меткие лозунги и все философии так же бесполезны, как деревянные путевые указатели или надутые ветром баннеры в качестве защиты от медленно приближающегося потока лавы (PA).

Элизабет Керрик, сократившая свое имя до Лесс, родилась 5 января 1886 г. в Пернау (Эстляндия) и умерла в 1966 г. в Мюнхене. Ее старшая сестра Люси родилась в 1877 г. и умерла в 1965 г. Они происходили из купеческой семьи балтийских немцев. Их родители и после войны остались в Эстонии и умерли там. В Дерпте (позднее Тарту) Лесс изучала философию и историю литературы. Она имела выдающиеся способности к изучению языков, наряду с немецким и русским она владела английским, французским, финским и эстонским. В 1903 г. ее сестра отправилась в Париж, где познакомилась с Мёллером ван ден Бруком. Когда будущая супружеская пара решилась на издание сочинений Достоевского, Люси уговорила своего отца отпустить в Париж младшую сестру, чтобы помочь им в осуществлении проекта. Так Лесс оказалась участницей этого дела, из которого она больше не смогла выйти. Эти события она лапидарно комментирует в 1961 г.: «Точно так же через нее (Люси. – *К.Г.*) я познакомилась с Мёллербруком и попала в ад Дост.[оевского]» (NK-DLA). Еще незадолго до смерти она занималась переработкой собственных переводов. Некоторые пассажи из ее писем отражают часто амбивалентное отношение переводчицы к автору. Сперва приведем выдержку из письма Райнхарду Пиперу от 13 апреля 1927 г.:

> Я могу сказать только следующее: для перевода Достоевского необходимы 1) химик, который найдет подходящие слова, 2) инженер, который возьмется за реконструкцию предложений, 3) художник, который организует «воздействие», обратит внимание на звучание, ритм и т. д. и, наконец, 4) критик, знаток немецкого языка, который сможет судить о том, какие риски и новообразования могут быть допущены, а какие нет (NK-DLA).

А вот выдержка от 19 сентября 1959 г.:

Я так растерзана Достоевским, так измучена … его проблемами, что малейшее физическое соприкосновение немедленно ведет к целой цепной реакции нервного срыва (PA).

Наконец, выжержка из письма от 11 мая 1960 г. к д-ру Баумгарту:

Над своей «моногамией» я могу лишь смеяться. В отношении Досто[евского] я столь же объективна, как естествоиспытатель перед микроскопом. Его не должно трогать, что мышь, например, ему симпатичнее, чем лягушка. Но, конечно же, я не могу ни говорить, ни показывать, как часто этот тип был мне ненавистен. Там не было ничего от «самоотверженности» и милой преданности: только принуждение и – ну да, лишь затем обнаруживался «смысл» (PA).

Оживленная переписка с издательским домом Пипера доказывает, что Лесс Керрик в течение 60 лет постоянно работала над переводом произведений Достоевского на немецкий язык. Поэтому к критике ее работы, которую высказал в 1996 г. Карл-Маркус Гаусс в связи с новым переводом романов Достоевского, следует относиться дифференцированно. Гаусс посмеивается над «утонченно воспитанной дамой из Балтляндии», чьи переводы «постоянно пытаются улучшить и возвысить зачастую грубый оригинал, чтобы он подходил и для чайного салона чувствительных дам»[29]. «Воспитанность» наверняка подходящее слово для описания благовоспитанной дочери из приличной буржуазной семьи. Забавное и, одновременно, небезынтересное указание на это можно найти в одном из ее писем Мёллеру от 12 мая 1922 г., в котором речь шла о позднее обнаруженной главе «У Тихона» из «Бесов», содержащей ужасную и пользующуюся дурной славой исповедь Ставрогина священнику Тихону (она вышла отдельным изданием под названием «Исповедь Ставрогина» в 1922 г. у Пипера в переводе Э.К. Разин). Керрик пишет зятю по этому поводу:

Я хочу сообщить Вам только для ориентировки, что я исхожу из слов Тихона на с. 44 – и тогда не остается *ничего* неприятного. Но Пипер и Элиасберг[30] рассчитывают, конечно, на коммерческую ценность эротического! Тьфу! Нет, «беса» в Ставрогине следует рассматривать как третье лицо, между более важными Матрешей и Тихоном: как огонь между двумя скалами, между высоким, ясным, всезнающим духом (Тихон) и глубоким, чистым, исключительно инстинктивным чувством (NK-DLA).

Лесс Керрик имеет в виду оценки Тихона, которые тот дает после прочтения записи Ставрогина и в которых он объясняет намек на истязание ребенка Ставрогиным его глубоким отчаянием и нарушением душевного состояния, не приукрашивая самого дела. Кроме того, она усматривает значение этого места для расстановки фигур в романе Достоевского и для его архитектоники. Тем самым, она далеко выходит за расхожие вульгарные интерпретации, которые, например, приписывали самому Достоевскому жестокое обращение с ребенком. Из этой цитаты уже ясно, что Лесс Керрик пытается с совершенно иной позиции, чем Мёллер, интерпретировать работы Достоевского. В этом писателе она преимущественно видела гениального философа и психолога, который в своем литературном творчестве изложил основополагающие знания человеческих качеств. Ее вовсе не интересовал поиск специфически русского, из которого можно было бы делать выводы о национальном характере или даже о государственной политике. Она прилагает усилия к объяснению изображенного общечеловеческого круга проблем, который был изложен не «гени-

альным русским», а значительным писателем. Отказ от «эротического», возможно, был обусловлен «чопорностью и приличиями утонченных дам за чаем», однако, точно так же в нем явственна борьба против тенденции абсолютизировать, в поисках сенсации, *секс и детектив* в творчестве и жизни Достоевского.

К тому же, Лесс Керрик доподлинно знала о сложностях перевода «заикающегося» Достоевского. Проблематичным оказалось сотрудничество с Мёллером, который без знания русского оригинала «улучшил» и «пригладил» многие места на немецком согласно своему чувству стиля. Об этом Керрик пишет Пиперу 20 марта 1952 г. по поводу переиздания:

> Перевод «Бр.[атьев] Карам.[азовых]» был сделан с мая по декабрь 1907 г.! Корректура была прочитана другими, не знающими русского текста. Поэтому многие слова при «приглаживании» были потеряны <…>. В «Идиоте» язык тоже был «причесан». Поэтому многое читается слишком гладко. Достоевский отнюдь не гладок! При сличении с оригиналом предложения за предложением я натыкаюсь на места, которые искусно построены стилистически и передают примерно то же самое, что Дост.[оевский] лепетал гораздо менее искусно (примерно так…), и это создает проблему: оставить «приглаженное» так и только подправить местами? Или пересмотреть все *основательно*? (PA).

Даже если Гаусс теперь полагает, что Пиперово издание давно «созрело для сдачи в архив», не следует просто забыть его переводчицу, которая всю свою жизнь совершала компетентную и самоотверженную посредническую работу между Россией и Германией.

Сотрудничество с сестрой и особенно с зятем протекало для Лесс Керрик вовсе не гармонично. До 1914 г. она чаще всего еще сопровождала обоих в путешествиях. Она также надолго оставалась в Эстляндии, но в 1914 г. сознательно решила остаться в Германии, не принимая немецкого гражданства, и, таким образом, в 1917 г. оказалась без гражданства.

В то время, как Мёллеры после 1918 г. остались в Берлине, она переехала в Мюнхен, и общение по поводу дальнейшей работы над изданием проходило, в основном, с помощью писем. При этом, вскоре возник спор о тантьеме – Мёллеры обращались с ней, несшей основной груз переводческой работы, как с «мелкой сотрудницей», – а также по поводу интерпретации творчества и жизни Достоевского. Мёллер, как уже упоминалось, изображал Достоевского как парадный пример консервативного мыслителя, пропагандирующего подлинные качества своего народа, рожденные из традиции, и сделал его образцом для самого себя. Предмет спора состоял в том, как русский писатель, исходя из своих политических убеждений, относится к героям своих произведений, прежде всего, к самозваным сверхчеловекам и якобы революционерам. Лесс Керрик не желала верить, что он их напрочь отвергает или только использует, чтобы продемонстрировать опасность переноса западного мышления на русскую духовность. В 1919–1920 гг. спор между Мёллером и Лесс достиг апогея. 4 апреля 1919 г. она составила для себя «документ», в котором, наряду с деловыми расхождениями, читается раздраженность в отношениях между зятем и свояченицей:

> Документ для очистки моей совести сейчас и потом.
>
> Сим господин Мёллер ван ден Брук удостоверяет, что он не желает воспринимать моих попыток доказать, что Достоевский не был «консерватором», или что Достоевский не

> «понял неполноценность революционного человека (все равно чью)», а, напротив, горячо приветствует этого революционного человека, «переходящего границы» (в «Раскольникове») как близнеца «нового человека», который «родился уже сегодня». Это происходит, по-видимому, не только из-за изначального бессознательного чувства превосходства господина Мёллера ван ден Брука в отношении того, что я, наверное, *могла бы* сообщить, но и вследствие внутренней склонности господина Мёллера ван ден Брука, который, в отличие от меня, не наблюдает дыхание изначальной гармонии в качестве пассивного (или объективного) зрителя, а пытается помочь достижению гармонии в качестве активного (или субъективного) деятеля (NK-DLA).

Раздраженный тон ясно показывает, что спор шел не только о «консерватизме» Достоевского. Саму Лесс Керрик уже в силу происхождения и воспитания ни в коем случае нельзя назвать революционеркой, верящей в идеи социализма. Она сама определяла себя как консерватор, понимая под консерватизмом, как она писала в связи с этим, свойство «сохранять то, что этого достойно». При этом, она добавляет фразу, которая демонстрирует различие между своими и Мёллеровыми представлениями: «Это не мелочный спор, а различие между жизнью и идеологией». А в другом месте становится очевидным, что Керрик не думает всерьез, что Достоевский видит в Раскольникове, Ставрогине или Верховенском «близнеца нового человека» и «горячо приветствует его». Скорее, можно предположить, что она последовательно отвергает позиции Мёллера, его расизм, мистицизм и странные немецко-национальные утопии. Уже в 1961 г. она выступает против намерения сестры переиздать произведения Мёллера и пишет в письме д-ру Баумгарту:

> Теперь о моей сестре. <…> она музыкант, окончила Петербургскую консерваторию, и в вопросах искусства она и сегодня разбирается достаточно живо и точно. Но… по историческим проблемам ей лучше бы не высказываться. А теперь она думает, что обязана довести до конца «дело» Мёллера. Но то, что она понимает под этим, … «сверхпатриотизм» или как мне еще это называть? – это его болезненно-шовинистические труды последних лет, примерно за 1919–1924 гг. (PA).

Лесс Керрик не хотела допустить, чтобы высоко ценимый ею русский писатель эксплуатировался для этой «болезненно-шовинистической» бессмыслицы. К тому же, «маленькая, пугливая свояченица, привлеченная, собственно говоря, только для канцелярской работы»[31], должна была страдать от высокомерия и самоуверенности своего зятя. В середине 1920 г. она сама прекратила спор, смирившись с тем, что Мёллер в этом пункте неисправим. Она писала ему 27 июля 1920 г.:

> Если я и пишу Вам сейчас об этом пару слов, то вовсе не в надежде быть услышанной или понятой. Ведь об эту злонамеренную предвзятость все *должно* разбиваться. <…> То, что Вы в спокойно-деловом тоне говорите о моем нынешнем представлении о консерватизме, к сожалению, является не взрывом темперамента, боль которого многое бы объяснила. Сейчас я желаю не “заключения дипломатических отношений”, как это обычно называется в отношениях между государствами, а зафиксировать только *для себя*, не для Вас, потому что я уже достаточно часто говорила Вам, что я не хочу еще раз удариться душой о Вашу бесчестную слепую ненависть (NK-DLA).

## V

В последующее время отношения вновь нормализовались, прежде всего, наверное, потому, что Лесс Керрик обладала выраженным семейным сознанием и, по крайней мере, в этом пункте всегда была готова создавать «гармонию в качестве активного деятеля». Однако она на протяжении всей своей жизни оставалась незамужней. Лишь один-единственный раз, во время Первой мировой войны, она испытала глубокое, но несчастное чувство любви – к Эрнсту Барлаху. В 1922 г., после долгих лет молчания, Лесс попыталась восстановить контакт. В черновике письма скульптору и писателю от 8 сентября 1922 г. она описывает смертельный страх, который она испытала, когда крестьянка, гадавшая ей по руке, воскликнула: «Девушка, девушка, долго ни за что не проживете!» Затем она признается ему: «Я тогда по-настоящему любила Вас. Только я и сама этого не знала». Однако сначала нужно сказать несколько слов о Барлахе, который был причудливым образом связан с трио издателей Достоевского, а также о его отношении к России и к издательству «Piper».

Лесс Керрик познакомилась в 1914 г. с тогда уже известным скульптором и драматургом благодаря Мёллеру. Мёллер ван ден Брук в 1909 г. на год отправился путешествовать по Италии и там встретился со своим другом Теодором Дойблером и Эрнстом Барлахом. Последний получил престижную премию Вилла-Романа, учрежденную Максом Клингером, и право в течение года бесплатно жить и работать во флорентийском Доме художников. Образ и характер Дойблера произвели на Барлаха сильное впечатление, и он хотел непременно написать портрет писателя, работавшего в это время над огромной поэмой «Северный свет». Но и с Мёллером Барлах быстро установил тесные отношения и позднее называл его другом. Его художественное становление было в решающей степени определено двухмесячной поездкой 1906 г. в Россию к брату, который жил в царской империи, поэтому он часто дискутировал с Мёллером и его супругой, балтийской немкой Люси, на русские темы. Они совместно совершили пешее путешествие по Тоскане. Мёллер помогал Дойблеру работать над объемной стихотворной поэмой «Северный свет» (окончена в 1910 г.), а Барлах пару раз спас обоих из затруднительной финансовой ситуации. Барлах был тесно связан с Райнхардом Пипером, которого знал еще по тем временам, когда будущий издатель был подручным в берлинском книжном магазине. Из этой дружбы выросла большая переписка, которая представляет собой уникальный источник для понимания характера художника и одновременно – впечатляющий документ по текущей истории и истории культуры 1906–1938 гг[32]. Барлах весело рассказывал, например, своему другу-издателю, что после его пребывания в России и в связи с русскими темами в его творчестве в Германии его считают российским евреем: «Самая свежая новость, которую хочу рассказать в шутку, та, что меня теперь все считают русским евреем. Имя, русские сюжеты, участие в берлинском Сецессионе – какие могут быть сомнения?» (5.11.912; 109). В те времена художник еще мог воспринимать этот слух как «шутку», но после войны и особенно в первые годы нацистского режима ему сильно достанется во время развернутой против него антисемитской травли.

Пипер хотел уговорить Барлаха сделать иллюстрации к произведениям Достоевского, так как планировал специальные иллюстрированные выпуски его рассказов. Но Барлах отказался. Он не нашел правильного подхода к творчеству русского писателя и сообщал Пиперу: «Что касается нашего намерения, Достоевским я не стану

заниматься (за исключением виньеток и т. п.). Я начал читать, но настолько растерян, что не могу выразить словами, что же я собственно прочитал» (13.2.1910; 76). А еще через несколько недель он писал: «Таким образом, к Достоевскому я не пробился. И я должен сказать (я интенсивно размышлял об этом), такие вещи являются чисто внутренними приключениями, и не могут стать объектом изобразительного искусства. К тому же, я не встретился с разным русским, крестьяне и простой народ у него (Достоевского. – *К.Г.*) представлены мимоходом. Я несколько побаиваюсь этой задачи» (1.4.1910; 77–78). Для осуществления своего замысла Пипер привлек позднее к сотрудничеству других художников[33].

Живущему в Германии россиянину, философу с ученой степенью и историку Борису Пинесу, Барлах в 1926 г. подробно рассказал о своем отношении к России и вытекающих отсюда влияниях на его творчество. В письме, отправленном из Гюстрова 26 января того года, он подспудно критиковал недифференцированный и стереотипный образ России у немцев того времени и совершенно трезво взвешивал пользу, которую он, художник, тесно связанный с Северной Германией, получил от встречи с Россией. Барлах писал:

> О моей русской «позиции» я должен все же попытаться дать некоторые разъяснения. В целом – с этого я должен начать – меня каждый раз бросает в жар, когда я вижу, что понятие «русский» со мной связывают люди, которые о русском знают не больше меня. Хотя у меня есть некоторые представления, но что это значит, что я 2 (два!) месяца – правда, в состоянии неслыханного волнения – бродил по городам, степям и селам Донецкой области (1906)! «Тяга к безграничному», глубочайшая тоска «страдающего я» по экстазу – в общем, Вы знаете, что бы я ему мог перечислить – все это литература!
>
> Вы, как русский, можете, конечно, высказаться и решить, живет ли во мне нечто, что можно истолковать как имеющее отношение к Востоку – к соседнему Востоку. Я, действительно, ощутил там жизнь, которая встретилась мне в соответствующей форме и в которой содержалась любая возможность, глубина, созидание, развращенность, кошмарнейшие ужасы. И я без оглядки ринулся в это море форм. Я задействовал свою внутреннюю готовность, свое состояние духа, так как все это уже было во мне, и все это, наверное, очень русское, а также очень немецкое и общечеловеческое. Позднее я сознательно сказал себе: в немецкой жизни суть спрятана в привычную форму, и эта форма для меня непригодна. Тем временем, все эти руководящие установки стали сомнительны, потому что впоследствии я нашел почти все, чем мне мог служить внешний мир, здесь, в Германии, в сельской местности, на побережье, в маленьком городке. Чичерин (советский нарком иностранных дел в 1918–1930 гг. – *К.Г.*) недавно сказал знакомым: кажется, я люблю Россию, но не знаю ее. Мне в связи с этим остается помалкивать: разве могу я утверждать, что знаю Россию после двухмесячного пребывания там? Но то, что я вынес оттуда, я видел там, проникнутый не «любовью», а счастьем без рефлексий.
>
> Под «любовью» г-н Ч., вероятно, понимает следующее: позицию, выбор, положительное суждение, предрасположение и т. д. Не знаю, можете ли Вы из этого извлечь что-то, что объяснит Вам, почему я, будучи укорененным на родине, нашел источник в России?!»[34].

Итак, Барлах изображает себя, несмотря на многочисленные «русские» сюжеты своих скульптурных работ, отнюдь не знатоком России, а точно различает между объективными данностями страны, о которой он понятия не имеет, и своим творческим взглядом на мир других форм, который его воодушевил и которому он беспри-

страстно позволил влиять на себя. Русский опыт, подтвердит он позднее, окончательно помог ему придать пластическое выражение его творческой воле. В своем «Русском дневнике» (изданном посмертно в 1940 г.) он признается в огромном впечатлении, которое произвела на него кажущаяся бесконечной страна. Люди показались ему частью природы, и так он и изображал их в своих русских фигурах, созданных в 1907 и 1908 гг.

После возвращения Барлаха из Флоренции связь с четой Мёллер ван ден Брук сохранилась. Хотя Барлах хотел избежать берлинской суеты и поселился в мекленбургском Гюстрове, они часто посещали друг друга и состояли в оживленной переписке. Лишь после мировой войны, когда Мёллер начал интенсивнее развивать свои произвольные национально-консервативные идеи, их отношения охладели. После смерти Мёллера (то, что это было самоубийство, первоначально скрывалось) в 1925 г. Барлах писал Пиперу, который попросил о некрологе в честь издателя Достоевского:

> Мне тоже ничего не известно о подробностях смерти Мёллера в. д. Брука. Не сердитесь на меня за то, что я не хочу писать Вам что-нибудь о нем, длинное или короткое, в «Пиперовский курьер». Это особая ситуация, состоять в дружбе, знакомстве, слегка дистанцироваться и остаться в недоумении по поводу его желаний и замыслов последних лет. Тут нужно, наконец, знать что-то наверняка и сформулировать то, что в разговорах осталось бессвязным. Я почитал М.-Б. как характер. Его радостная уверенность, его оптимизм, его беспроблемность всегда действивали как отстраняющий жест: «мы расстаемся». То, что в спокойные часы я с сердечным участием и белой завистью узнавал в нем, при более внимательном рассмотрении мне пришлось отклонить с сомнениями и сожалением. Но вновь и вновь узнавался чистый характер, и оживала симпатия к человеку, располагающему к доверию (15.6.1925. S. 206–207).

Теодор Дойблер, которого Пипер попросил о статье в честь Мёллера после отказа Барлаха, также не откликнулся. Так что издателю Достоевского после его смерти не было оказано почестей издательством «Piper».

Когда в 1914 г. Барлах в очередной раз гостил у Мёллеров, он познакомился с Лесс Керрик, которую опасности войны вынудили переселиться с балтийской родины сначала к сестре в Берлин. В своем гюстровском дневнике Барлах так описывает их первую встречу:

> У Мёллеров-Брук была полунемая, красноречиво молчаливая святая, которая может себе позволить не говорить и тем не менее занимает больше, чем все великолепие мира. Ну, понятно, Барлах, когда знаешь, кто перевел Достоевского, не стоит сотрясать воздух… А когда все смеялись, смеялась и она, но прятала лицо со стыдливостью, доставившей мне горькое удовольствие[35].

Барлах, конечно же, был подробно информирован о подоплеке издания Достоевского и еще тремя годами раньше дал понять Мёллеру, что хочет наконец познакомиться с его свояченицей. До конца 1915 г., когда 45-летний художник был призван на военное обучение в качестве ландштурмана, они часто встречались, хотя дело не дошло до открытой связи. В «Дневнике» Барлах продолжает:

> А теперь о другой, святой… Она ответила – напуганная, растерянная и благодарная, такая чужая в этом мире, такая потерянная и робкая, что это могло растрогать. Сама душа, сам дух, само чувство, полная противоположность той (Люси Мёллер ван ден Брук. – *К.Г.*). Здоровая, но это какое-то потустороннее здоровье, избегающее солнечного света… Но она святая! Все в ней дышит отречением, склонность к добру растворяет ее, плоть и вес покинули ее[36].

Наконец, он глазами скульптора создает портрет переводчицы Достоевского, который, между прочим, объясняет, почему они не сблизились.

> Но что может сказать этот вечер по сравнению со следующим днем! После обеда я застал святую дома одну… Мне кажется, я не был благонамеренным, но благонамеренными были мои глаза и чувства. У нее добрые глаза, лоб честен и чист, рот горько-сладок. Больно и приятно смотреть на него, но, мне кажется, я не смог бы смоделировать и хорошо слепить его. Ее нос заострен, не исключено, что она своего рода ведьма, но не блоксбергская ведьма. Все равно, я мог смотреть и не принуждал себя воспринимать прекрасный лик как воплощенный дух и творить глазами. Мне кажется, у меня никогда не будет такой женщины, которая мне бы подошла: женственные для меня слишком бездуховны, и духовные – недостаточно женственны. Я почитаю святую, но она не будит во мне вожделения, это исключается, действуя благотворно и даруя освобождение[37].

Из времени их тесного общения сохранились два длинных письма Барлаха к Лесс Керрик. Оба они принадлежат к наиболее показательным высказываниям художника и свидетельствуют, что разговоры с переводчицей Достоевского не сводились к утонченной салонной болтовне. Она имела привычку втягивать своего собеседника в богатую мыслями, волнующую дискуссию. В отношении Достоевского Барлах признается, что его подход к его произведениям – чисто интуитивный и он не хочет углубляться. 23 сентября 1915 г. он пишет:

> Могу я еще раз вернуться к этой теме? Достоевский – я вижу образы и развитие чудесных происшествий, невежда ли я, если скажу что наблюдение за этим достаточно для меня? Он может оставить себе скрытые значения (возможно, наверное), я не хочу их открывать, или я должен это делать? Я знаю или догадываюсь о том, о чем и так знал: грешники и проклятые в такой же степени святые, как и сами святые, между ними нет различий, мы проклятые, изгнанники, преступники в этой жизни[38].

Письма Лесс Керрик Барлаху, как и почти вся адресованная художнику корреспонденция, была им уничтожена в 1930-е гг. И все же в наследии Лесс Керрик имеются многие наброски и заметки к письмам. Они позволяют увидеть пылкую возбужденность, в которой она сразу же после встреч с художником испытывала потребность поделиться мыслями, рожденными в их разговорах. В одном из таких набросков она удивительно наглядно показывает жизнь балтийских немцев в царской империи. Одновременно она чувствует конец этого образа жизни, приближающийся вследствие войны, и перспективы революционных изменений в России. Поэтому описание 29-летней женщины проникнуто ностальгической грустью. 7 октября 1915 г. она пишет Барлаху:

<…>Я выросла в Прибалтике (долго объяснять, что это значит). Понятия «немецкий» и «Германия» имеют там привкус… я не знаю, как это выразить. Здесь и музыка, и поэзия, и философия, и любовь к отечеству, и воодушевление, и заграница, и все, что так или иначе велико и духовно, возвышенно и прекрасно, что является Божьим откровением на земле – т. е. обобщением всего этого… Это говорит не моя сентиментальность, о нет, это… – или все же отчасти настроение старой девы? Это единственное, что у меня есть и что я всюду могу взять с собой. Наверное, нигде в мире нет такого количества старых дев, как у нас, но они занимают там совершенно иное место, может быть, потому, что там еще так много патриотизма и что женщина там – в отличие от Финляндии, Швеции и даже России – в общественной трудовой жизни является почти неизвестным явлением. Она «остается дома», становится учительницей – не в русской гимназии, а частной учительницей, дает уроки музыки, языков, литературы, истории или рукоделия, или, как домашняя учительница – всего сразу. В эту атмосферу еще вторгается русская гимназия со всем своим интеллектуализмом, с логарифмами, логикой, софистикой, космографией, химией и… мозговой эквилибристикой – русские охотно доводят все до крайностей. Но я хочу сказать: то, что для русских женщин часто становится злым роком – исключительно абстрактное знание – балтийским женщинам нисколько не вредит именно потому, что они живут в этом другом… настроении. Но как долго это еще сохранится? Долго ли еще? Вот что страшно! (NK-DLA).

В другой записке Барлаху 1922 г. Лесс Керрик признается, как сильно она страдает после этого душевного обмена мнениями от его внезапной «нелюбезности». Действительно, густровский художник был в этом пункте последователен, о «прошедших историях» он больше не хотел вспоминать. Так, например, Пипер в 1923 г. сообщил ему о визите к Лесс Керрик в Мюнхен:

Между прочим, фройляйн Керрик недавно попросила у меня свои драмы. Она работает над большой книгой под названием «Бумаги о Достоевском», в которой изображен целый мир. Она решительно уникальный и заслуживающий уважения человек. Я был как-то раз с моей женой и Мартином (сын Пипера. – *К.Г.*) в ее крошечной квартирке в Нимфенбурге, и она развлекала Мартина тем, что построила «Венецию» из песка, воды и щепочек в раковине умывальника (15.12.1923).

В длинном ответном письме Пиперу Барлах ни словом не упоминает о когда-то столь близкой ему персоне.

## VI

В письме Пипера содержится все же одно интересное указание: Лесс Керрик намеревалась упорядочить и издать свои объемные записи, мысли и идеи о Достоевском, которые она сперва записывала в связи со своей переводческой работой. В отдельных томах собрания сочинений, перед или после длинных введений Мёллера или Мережковского, часто печатались более краткие предварительные замечания, подписанные «Э. К. Р.», которые выгодно отличались от мистических или шовинистических текстов Мёллера объективным и информативным характером. Так, в «Пред-

варительных замечаниях» к тому 22 собрания сочинений, «Маленький герой. Четыре новеллы» (1. изд. 1913 г., «Предварительные замечания» впервые появилось в издании 1922 г.) Керрик вначале объясняет, например, внутреннюю связь между рассказами, написанными в течение примерно 30 лет. Она хочет побудить читателя не воспринимать, казалось бы, ясную тематику только как социальное обличение. Так, она пишет, указывая на неприятие Достоевским идей критика естественной школы, Белинского, о рассказе «Неточка Незванова»: русский писатель показывает, «что боль и дурное в человеке вызывает не только материальная бедность, и, следовательно, их не искоренить с помощью перераспределения материальных средств, как в своем невежестве фанатично верили те идеалисты» (ebd. VI). Здесь она парафразирует собственное высказывание Достоевского из «Дневника писателя» за 1873 г. Еще в речи лауреата перед Немецкой академией она сопротивлялась вульгарно-социологическим интерпретациям творчества Достоевского, распространявшим миф о материально необеспеченном писателе, который стал «поэтом бедняков». В 1960 г. она писала: «Под влиянием известного большого эссе Стефана Цвейга о Достоевском[39] было широко распространено представление о том, что Достоевский был только “поэтом бедных”, и это предположение – после Стефана Цвейга – даже объяснялось тем, что “сам он родился и вырос в бедности”. Это совершенно неверно» (PA).

Затем следует подробная история жизни Достоевского и его семейного окружения, из которой вытекает вопрос: «Но позволительно ли на основании первых произведений 1845–1849 гг. называть его (Достоевского. – *К.Г.*) “поэтом бедных”? Социалистом в привычном смысле слова? Обвинителем из сострадания к живущим в *материальной* нужде? При всем сочувствии отдельным страдающим существам *на какой угодно социальной ступени,* Достоевский все же не следовал разделению людей на “богатых” и “бедных”, а разделял их на основании значительно более тонких особенностей» (PA).

Лесс Керрик пыталась, со своей стороны, обозначить эти «тонкие особенности». Однако, прежде всего, она была вынуждена опровергать ошибочные интерпретации. Едва ли о жизни кого-либо из значительных писателей ходило так много неверных мифов, как о Достоевском. Его считали извращенным растлителем детей, фанатично больным игроком, нищим обитателем мансарды. Это – и предполагаемая разнородность его творчества – вели к тому, что группировки с самыми различными мировоззрениями хотели присвоить себе писателя. Переводчица боролась с такими попытками присвоения в двух направлениях. С одной стороны, она выступала против мнения, что Достоевский, как заступник за угнетенных и страдающих от нужды «бедных людей», был апологетом социализма. Это мнение вновь стало популярным в Германии после большевистского переворота в России. Еще в 1916 г. Отто Кауз высказал эту мысль о Достоевском в своем изданном как раз у Пипера «Опыте»: для Кауза Достоевский – ни в коем случае не реакционный националист или религиозный ревнитель. В нем он видит скорее скрытого марксиста, «героя социальных боев девятнадцатого века» и утверждает: «Мы не можем более точно назвать регулятивную идею в мировоззрении Достоевского, следуя его необходимости, а не случайности, чем коммунизм. А его активную борьбу мы не можем понимать иначе, чем отчаянную борьбу против поднимающейся буржуазии»[40]. С другой стороны, Лесс Керрик выступает и против мнений, подобных мнению своего зятя, который считал, что творчество Достоевского следует интерпретировать в контексте его презрения к

западным идеям и веры в исконно русскую народную силу и, таким образом, превратить в образец консервативно-национальной большой политики.

Сама Лесс Керрик отвергала идеологические интерпретации творчества русского писателя. Судя по ее заметкам, она старалась решить «проблему Достоевского» с помощью психологического подхода. Ядро ее понимания составлял тезис, что Достоевский в своем творчестве исследовал вопрос, как зло может возникать в этом мире. Чтобы изобразить это, он создавал пары противоположных фигур, на основе которых читатель мог бы постичь свободный выбор индивидуума в принятии решения за или против зла. Эти противники могли различаться происхождением, возрастом, материальной обеспеченностью и т. д., но на их свободный выбор в пользу или против зла эти обстоятельства, в конечном счете, не оказывали влияния. В этой ситуации Лесс Керри рассчитывала в начале 1920-х гг. на помощь Освальда Шпенглера, надеясь на его поддержку в систематизации своих мыслей. В конце войны, вскоре после ее переезда в Мюнхен, она лично познакомилась с Шпенглером. Только что вышедший первый том его «Заката Европы» (1918/19) ею изучался и обсуждался. Так, в ее архиве сохранилась 14-страничная неопубликованная статья, в которой она растолковывает тезисы книги. Она обнаружила симпатию Шпенглера к России и полагала, что нашла в его концепции глубокое понимание комплекса проблем. В начале 1922 г. она написала Мёллеру большое письмо, в котором сообщила о своих надеждах в связи со Шпенглером:

> Что касается этого вечного Ш. (Шпенглера. – *К.Г.*): в нем я вижу своего рода жизненный вопрос, не этот ли человек сможет наконец раскрыть проблему Достоевского!!! Ах, если бы!! Боже мой, тогда мне не пришлось бы больше биться! Занималась бы дословным переводом! <…> Посмотрите-ка, Мёллерчик, этот человек «сомневающейся нации» сразу бы понял, что я [имею в виду] своим «Раскольниковым-Икаром». И смог бы, как никто иной, убедительно построить систему «противников» для всех людей, в то время как я могла бы ограничиться лепетанием афоризмов и изображениями весов, которые всегда сохраняют у Достоевского баланс: он называет это «контрапунктик» – вот это слово! Мое выражение «противники» подразумевает всех этих Девушкина – Быкова, Фому Фомича – Оберста, Версилова – Макара Долгорукого и т. д. вплоть до грандиозной пирамиды в «Карамазовых»… Достоевский никогда не говорит, как Завет (Старый и Новый): «Благословенно лишь то да се», а всегда ставит перед развилкой, со *свободным* выбором слева и справа… Только Шпенглер, гениальный математик, мог прояснить весь этот «контрапунктик»… Драмы Достоевского – это мужские драмы. Противоположные типы – мужчины. В то время как женщины постоянно одно и то же, от ляльки до бабушки. Это всегда *простое* трезвучие до-ре-ми: дитя, женщина, мать. А женщина – только возлюбленная, пока не станет матерью, и дитя, пока не вырастет. Только у Дост.[оевского] этот процесс рано обрывается. Настасья Филипповна – как Аглая, Лиза Прохлакова – как Грушенька, Даша – как Лиза Тушина, Софья Мармеладова и Дуня Раскольникова – в качестве матерей их было бы невозможно различить… Бедный Мёллер! Видят ли Ваши глаза после 10 страниц этих каракуль? И вот еще: Лиза Тушина и Дарья Павловна в «Бесах» – это *не* противоположности, но также и созвучие. То, что они делают, они делают, если выразиться старомодно, из «гордости». Точнее, из серьезного позыва к долгу. Из любви к закону. Неписанному закону. Из чувства достоинства или благообразия, того, что придает человеку «благородство». Назовем это для краткости *порывом* русской женщины (NK-DLA).

В начале 1920-х гг. Шпенглер и Лесс Керрик находились в тесном контакте и по случаю встреч и в письмах делились информацией о своей работе. Историк культуры просил переводчицу просматривать свои рукописи, причем, он, конечно же, особенно ценил ее советы по поводу своих взглядов на Россию. Шпенглер еще в студенческую пору был очарован Россией и учил язык[41]. Его и Мёллеровы тезисы о России соприкасались постольку, поскольку оба исходили из предстоящей великой русской эпохи, которая, однако, наступит *после того, как* Германия утратит ведущие позиции, которые ей еще предстоит завоевать. Но по своему самосознанию Шпенглер, как и Лесс Керрик, скорее принадлежал к «пассивным наблюдателям», чем к «активным деятелям», если воспользоваться формулировками Керрик из ее «Документа» (см. выше), т. е. он, прежде всего, хотел понять и описать скрытую закономерность в ходе истории. 14 июля 1915 г. Шпенглер пишет своему другу Гансу Клёресу:

> Посылаю Вам Достоевского из особых соображений. В своих подлинных романах он – наполовину парижский декадент, так как общественная Россия есть подгнившая копия Западной Европы. Поэтому он поучителен; он оставляет Золя далеко позади. <…> Но я ценю *другого* Достоевского, мистика, большого ребенка, которого Вы найдете в этой книге при внимательном чтении. В этом он равен старейшим немецким поэтам эпохи Каролингов («Песнь о Хильдебранде»); он эпичен, интуитивен, невероятно глубок. В нем знакомишься с новой народностью («Россия» – неподходящее слово для обозначения этого), которая созревает в земле за Москвой и в следующем тысячелетии, когда великое время для нас, немцев, пройдет, создаст новую культуру с самых азов, как мы около 1000 г. начинали с романского стиля, миннезанга и примитивной живописи то новое, что теперь вянет и последнюю стадию которого мы, немцы, сегодня инаугурируем. Все это я нахожу в Достоевском; я знаю, что большинство этого не найдет у него, но в Вас я верю[42].

Таким образом, и у Шпенглера писатель большого города Достоевский в значительно большей степени, чем Толстой, выступает в качестве провозвестника «истинной» русскости, которая, благодаря внутреннему мистико-религиозному качеству готовится оказать решающее влияние на мировую историю. О том, насколько эта мысль после проигранной войны была распространена не только среди консервативных немецких интеллектуалов, но и среди образованных слоев, в целом, свидетельствует письмо висбаденского профессора медицины Генриха Фогта, состоявшего в это время в эпизодической переписке с Шпенглером. Его письмо Шпенглеру демонстрирует, наряду с влиянием «Заката Европы», прямое воздействие Мёллеровских текстов к изданию Достоевского на его читателей, так как цитаты, приписываемые Фогтом русскому писателю, происходят из предисловий Мёллера. 27 октября 1920 г. Фогт пишет Шпенглеру:

> Под впечатлением от русской литературы, истории и от путешествий по России мне в течение многих лет видится, что будущая эпоха будет славянской. В то время, как на «гнилом Западе» Ницше, Стриндберг, Ибсен, Шоу проповедуют от лица ненавистников или искусных реконструкторов гибнущего мира, появляется Достоевский, чей звук, у нас почти не оцененный, настроен на пророчество Востока. Он – глашатай возникающего народа, грядущего времени: «Свет воссияет с Востока», «благословенный народ славян будет но-

> сителем будущего», – такие вести обильно встречаются в его текстах. Нет нужды говорить, что мне видится наступление русско-славянской эпохи *не* в облике большевизма: это – переходная стадия, которая даст толчок развитию совершенно иного рода. С точки зрения мировой истории, славянство едва ли преодолело свое «средневековье». Мне всегда было трудно выделить чисто русское. В литературе, но и в других искусствах, а также в религиозной сфере (в ней, пожалуй, в наименьшей степени) оно завуалировано двумя моментами: [во-первых] влиянием Запада, под которое полностью подпали одаренные литераторы и композиторы, например, Тургенев, а также Чайковский и пр. Годы заключения Достоевского – 1846–57 [sic!] имеют всемирно-историческое значение постольку, поскольку они сделали его совершенно автохтонным. Во-вторых, собственно духовно русское скрыто политико-тенденциозным – искусство было рупором политических устремлений… Существенная черта русскости может корениться, по моему мнению, в его глубокой предрасположенности к душевному. Достоевский, пожалуй, непревзойден в том, что сегодня называют «психологической литературой». Из этой предрасположенности вытекает, по-моему, странная утонченность и склонность к предвидению, которую также показывает Достоевский, но которая свойственна многим русским. Также этим объясняется совершенно особое свойство славянского чувства природы (лирика Пушкина, народные песни)[43].

Как и Фогт, Шпенглер увидел в большевизме сугубо «переходное явление». По его мнению, революция освободила азиатскую Россию от западного стиля жизни, насильственно введенного Петром I. Но это было не более чем исправлением ошибочного развития, начиная с XVIII в. Подлинная русскость, воплощенная в Достоевском, еще совсем не смогла развиться, ей будет принадлежать будущее. Во втором томе «Заката Европы» об этом говорится вслед за характеристикой большевиков, как рожденных из петровской системы, чуждых русскому характеру интеллектуальных исполнителей этой европейской системы:

> Настоящий русский – это ученик Достоевского, хотя он его не читает, хотя бы *потому*, что он вообще не умеет читать. Он сам – плоть от плоти Достоевского. Если бы большевики, которые увидели во Христе одного из своих, обычного социал-революционера, не были так узколобы, они бы увидели в Достоевском своего настоящего врага. Революции придала мощь не ненависть интеллигенции. Это сделал народ, *без ненависти*, а из стремления излечиться от болезни, он разрушил западный мир с помощью его отбросов, чтобы потом отправить вслед за ним и их. Это был негородской народ, который стремится к своей собственной форме жизни, своей собственной религии, своей собственной будущей истории. Христианство Толстого было заблуждением. Он говорил о Христе, а подразумевал Маркса. Христианству Достоевского принадлежит будущее тысячелетие»[44].

Лесс Керрик, при всем ее восхищении аналитическими способностями Шпенглера, испытывала трудности в связи с его обращением к Достоевскому как провозвестнику нового русского христианства. Небольшие конспекты разговоров из ее наследия показывают, что она даже вела со Шпенглером жаркие словесные баталии по этому поводу. В такой же степени, как она была воодушевлена методом Шпенглера применительно к изучению истории, она отвергала его пессимистические выводы относительно западного культурного развития. Она укоряла его за то, что он в этом отношении «не римлянин». Абсолютно не согласна она была с размышлениями о

том, что немцы должны учиться у почвенной, духовной культуры русских. Она корила его: «Вы верите, что немецкий народ, немецкость можно спасти с помощью русскости, но я не нахожу ни одного немецкого слова, которое бы соответствовало этому духу» (NK-DLA).

Несмотря на разногласия по этому поводу, Лесс Керрик послала Шпенглеру свои записи, которые еще находились в разрозненном виде, и попросила его высказать свое суждение. Он ответил ей письмом от 14 сентября 1922 г.:

> Глубокоуважаемая фройляйн! Пару дней назад я вновь принялся за Ваши бумаги о Достоевском и порадовался тому, как много Вы извлекли из этих вещей. Мысль обосновать проблему русскости идеей отца кажется мне самой удачной из всего, что тут есть… Теперь, заново перечитав все это, я горю желанием увидеть его обработанным и опубликованным. Насколько я знаю литературу о России, с этими страницами ничто не может сравниться. А так как я знаю, как необходимо наконец-то понять глубины Востока, хочу предложить Вам подумать об издании книги о русских (например, «Душа России»). Если я могу Вам в этом помочь, охотно сделаю это (NK-DLA).

К сожалению, рукописи Керрик, которые так хвалил Шпенглер, в ее архиве не обнаружены. Кажется, насколько можно судить по имеющимся записям, она воспользовалась напутствием Шпенглера и хотела, не ограничивая свой план публикации только Достоевским, попытаться с помощью писателя исследовать и представить «русскую душу». Но и на этом она не останавливалась, а хотела, под впечатлением от изданного в 1922 г. второго тома «Заката Европы» и исправленной версии первого, превратить свои работы в широкое исследование о «психологии истории человечества». Она непрестанно работала над этим проектом, так и не доведя его до конца. При посредничестве Шпенглера Лесс Керрик установила контакт с мюнхенским издательством C.H. Beck, в которое она посылала все новые части своей работы. Еще в 1952 г., через 18 лет после смерти Шпенглера, она снабдила одну из таких посылок в издательство коротким сообщением, характеризующим ее исследования:

> Задним числом я смогла установить, что мои исследовательские гипотезы уже неоднократно намечались Бердяевым, Острогорским и Ростовцевым. Но в России они витали в воздухе, начиная еще с «Записок из подземного царства» [sic!] (1864). Это особый способ видеть историю в движении, видеть жизнь как процесс сгорания (NK-DLA).

Работая для издательства «Piper» над совершенно новой редакцией перевода Достоевского, она в то же время была убеждена, что «скоро» увидит опубликованным свой главный труд. В 1961 г. она писала Гансу Йоахиму Швирскотту, работавшему над исследованием о Мёллере ван ден Бруке[45] и попросившему его свояченицу о помощи:

> Так как я смогу опубликовать свою главную работу лишь через полтора – два года, и она для меня несравненно важнее чем все эти переводы, я не хочу, чтобы меня заранее пометили ярлыком «переводчица Дост.[оевского]». Прошу оставить это между нами! (NK-DLA).

Но эта публикация так никогда и не появилась, и Лесс Керрик, она же Э.К. Разин, осталась известной потомкам только благодаря ее работе в качестве переводчицы Достоевского, длившейся целую жизнь.

*Перевод с немецкого Игоря Нарского*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Данная статья основана на результатах моего исследования «Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag 1906–1919» (Frankfurt a. M., 1998). В дальнейшем я ссылаюсь на приведенную там подробную библиографию к пиперовскому изданию и его контексту, дополненную здесь лишь новыми изданиями. В этой работе использовались архивные материалы издательства «Piper». Тем временем его документы были переданы Немецкому литературному архиву в Марбахе на Некаре. Там впервые можно было познакомиться с полным наследием переводчицы пиперовского издания Э.К. Разин, она же Элизабет Керрик. Почерпнутые из него знания впервые представлены во второй части, дополняя прежние тезисы. В связи с этим я хотел бы поблагодарить Немецкий литературный архив, особенно г-на д-ра Ульриха фон Бюллова, за благожелательную поддержку.

[2] *Мандельштам Осип.* Литературная Москва. Рождение фабулы // Собрание соч. в двух томах. Том 2: Стихотворения. Проза. – New York: Inter-Language Literary Associates, 1966. С. 375.

[3] Это понятие принадлежит Соне Ланес. См.: *Lanes S.* Deutsche Dostojevskij-Inflation // Slavische Rundschau 3 (1931). S. 196 ff.

[4] См., напр.: *Stanzel F.K.* Europäer. Ein imagologischer Essay. Heidelberg, 1997; *Dyserinck H.*, *Syndram K.U.* (Hg.) Europa und das nationale Selbstverständnis. Imagologische Probleme in Literatur, Kunst und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. – Bonn, 1988.

[5] *Gerigk H.-J.* Dostojewskij, der «vertrackte Russe». Die Geschichte seiner Wirkung im deutschen Sprachraum vom Fin de siècle bis heute. – Tübingen, 2000. S. 11.

[6] См.: *Piper R.* Vormittag. Erinnerungen eines Verlegers. – München, 1947. S. 411.

[7] Цит. по: *Zeil W.* Slawistik in Deutschland. Forschungen und Informationen über die Sprachen, Literaturen und Volkskulturen slawischer Völker bis 1945. – Köln u. a., 1994. S. 294–295.

[8] В 1952 г. в журнале «Monat» Фюлеп-Миллер опубликовал забавную и увлекательную статью, в которой описал свое волнующее путешествие по молодой советской республике. См.: Der Narr im Frack. Auf den Spuren von Dostojewskijs nachgelassenen Schriften / Der Monat. 4 (1952). H. 46. S. 395–400.

[9] Наряду с основополагающими для этой тематики работами Курта Зонтхаймера, Фрица Штерна, Армина Молера, Йоахима Петцольда, Дэниса Гелделя и Штефена Бройера (см. сноску 1) здесь следует упомянуть новую работу Бертольда Петцинаса, а также исследовательский реферат Антье Бюссген. См.: *Petzinas B.* Erziehung zum deutschen Lebensstil. Ursprung und Entwicklung des jungkonservativen «Ring»-Kreises 1918–1933. – Berlin, 2000; *Büssgen A.* Intellektuelle in der Weimarer Republik / J. Schlich (Hg.) Intellektuelle im 20. Jahrhundert in Deutschland. – Tübingen, 2000.

[10] См.: *Hielscher K.* Dostojewskijs antiwestliche Zivilisationkritik und die deutsche Konservative Revolution / R. Neuhauser. Polyfunktion und Metaparodie. Aufsätze zum 175. Geburtstag Fëdor Michajlovič Dostojevskijs. – Dresden; München, 1998. S. 271–288.

[11] *Wellek R.* (Ed.) Dostoevsky. A Collection of Critical Essays. – Eaglewood Cliff, 1962. P. 9–10.

[12] См.: *Piper* (прим. 6). S. 407–408.

[13] Первоначально он появился на немецком языке под названием «Раскольников», лишь в 1921 г. – в переводе Элиасберга под названием, близким к оригиналу.

[14] См.: *Petzina* (прим. 9). S. 19–24.

[15] *Moeller van den Bruck A.* Die Zeitgenossen. Die Geister – Die Menschen. – Minden, 1906.

[16] Ebd. S. 84.

[17] Письмо от 5 октября 1943 г. Наследие Элизабет Керрик. Немецкий литературный архив в Марбахе на Некаре. В дальнейшем NK-DLA. Документы, которые еще не поступили в Марбах,

связаны с послевоенным изданием Достоевского (с 1952 г.), полностью переработанным Элизабет Керрик. Они пока находятся в издательском доме Пипера в Мюнхене и в дальнейшем обозначаются аббревиатурой PA (Archiv des Piper-Verlags). Все выделения в цитатах соответствуют оригиналу.

[18] Введение к «Бесам». – Мюнхен, 1906. (Bd. 5. S. VIII). В дальнейшем цитаты будут снабжены указанием в тексте на год, том и страницу.

[19] После того как Мёллер в 1916 г. добровольно записался в ландштурманы, он вскоре был уволен в запас из-за «слабых нервов». Благодаря многочисленным рекомендациям ему удалось войти во вновь созданный отдел пропаганды Верховного командования, руководителем которого был Людендорф. Вместе с другими писателями и представителями культуры, в том числе Вальдемаром Бонзельсом, Гербертом Ойленбергом, Гансом Гримом и Фридрихом Гундольфом, он занимался просмотром немецкоязычных публикаций на предмет их использования в пропагандистских целях в прессе нейтральных государств.

[20] В русском оригинале эссе называется «То, да не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три месяца назад». – *Прим. перев.*

[21] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 26. – Л., 1984. С. 14.

[22] Представление об «общности судеб» немецкого и русского народов типично для целой группы консервативных мыслителей Веймарской республики. Дональд О'Сулливан называет их «консервативными друзьями» Советской империи и причисляет к ним, помимо других, Шпенглера и Юнгера. Впрочем, О'Сулливан подчеркивает характерное для них основополагающее убеждение, что несмотря на все заверения в дружбе русские были для них «низким народом», и речь, в конечном счете, шла только о властных позициях собственной нации. См.: *Donald O'Sullivan D.* Furcht und Faszination. Deutsche und britische Rußlandbilder 1921–1933. – Köln u. a., 1996.

[23] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. в 30 тт. Т. 26. С. 91.

[24] *Moeller van den Bruck A.* Rechenschaft über Russland. Hg. von Hans Schwarz. – Berlin, 1933. S. 179 (впервые опубликовано в «Альманахе» Пипера к 25-летию существования издательства в 1924 г.).

[25] См.: *Roedel H.* Rasse, Raum und Reich bei Moeller van den Bruck. Versuch einer Abgrenzung zum Nationalsozialismus. – Berlin, 1939. S. 18.

[26] Идейная связь Азии и хаоса с позицией России как посредника между европейским порядком /цивилизацией и азиатским варварством было популярным общим местом не только в то время. Симптоматично, что Герман Гессе назвал свой сборник статей о Достоевском «Взгляд в хаос» (Берн, 1920). В нем Гессе пишет: «Во всем, что касается пассивных, азиатских, в настоящий момент мало ценимых в мире добродетелей, русские снова станут нашими учителями, вплоть до практической политики. Потому что однажды вновь приблизится и другой полюс – та духовная культура, которая отказывается от действия во имя терпения, снова приобретет значение. В этом искусстве, в котором европейцы всегда оставались детьми, русские еще надолго останутся посредниками между нами и праматерью-Азией» (*Hesse H.* Blick in Chaos. – Bern, 1920. S. 682). О Гессе и Достоевском см.: *Cadot M.* Einige Bemerkungen zu Hermann Hesses Deutung der Brüder Karamasow / «Die Brüder Karamasow». Dostojewskijs letzter Roman in heutiger Sicht. Hg. von Horst-Jurgen Gerigk. – Dresden, 1997. S. 105–120.

[27] *Moeller van den Bruck A.* Rechenschaft über Russland (как сноска 21). S. 184.

[28] Обе речи были опубликованы. См.: Jahrbuch 1960 der Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtung. – Heidelberg; Darmstadt, 1961. S. 33–36 и 37–42, причем объемистая речь Керрик была сокращена редактором.

[29] *Gauss K.M.* Sprung in die Unruhe // Die Presse. 7. September 1996.

[30] Александр Элиасберг был российским немцем. Рожденный в 1878 г. в Минске, он приехал в Германию (в Мюнхен) лишь в 1902 г., где он трудился над распространением русской литературы и помимо прочего работал в издательстве «Piper». Интересны его отношения с Томасом Манном, который, благодаря Элиасбергу, приобрел значительные знания о русской литературе. Оба находились в постоянном контакте до ранней смерти Элиасберга в Берлине в 1924 г. Переводческая деятельность Элиасберга удивительно обширна. Помимо многочисленных произведений, вышедших у Пипера, следует отметить еще опубликованный в 1921–1924 гг. в мюнхенском издательстве «Musarion» четырехтомный полный перевод «Дневника писателя» Достоевского, а также его работы для проекта «Русская библиотека» в мюнхенском издательстве «Drei Masken» («Три маски»).

[31] Так выразился Мёллер в письме Райнхарду Пиперу от 8 мая 1920 г., когда шли переговоры о тантьеме за переиздание (PA).

[32] См.: Ernst Barlach – Reinhard Piper. Briefwechsel 1900–1938. Hg. und erläutert von Wolfgang Tarnowski. – München; Zürich, 1997. В дальнейшем цитаты помечены в тексте датой и номером страницы.

[33] В издательстве «Piper» вышли специальными выпусками «Двойник» с 60-ю иллюстрациями Альфреда Кубина (1913), «Глупая история» с литографиями Рудольфа Гроссмана (1918), а также «Записки из мертвого дома» с 50-ю рисунками Вальтера Беккера в гравюрах по дереву Альберта Фальшеера (1927).

[34] *Barlach E.* Die Briefe 1888–1938. Hg. v. Friedrich Dross. 2 Bde. – München, 1969; здесь Bd. 2 (1925–1938). Brief Nr. 647.

[35] *Barlach E.* Gustrower Tagebuch 1914–1917. – München, 1981. S. 87.

[36] Ebd. S. 204.

[37] Ebd. S. 293–294.

[38] *Barlach E.* Die Briefe (см. сноску 31). Цит. по: Bd. 1 (1888–1924). Письма к Керрик № 326 и 327. Цитата из № 326. S. 447.

[39] Керрик ссылается здесь на собрание эссе С. Цвейга: Drei Meister. Balzac – Dickens – Dostojewski. – Leipzig, 1920, в котором Цвейг описывает жизнь Достоевского как христианскую историю страстей.

[40] *Kaus O.* Dostojewski. Zur Kritik der Persönlichkeit. Ein Versuch. – München, 1916. S. 85.

[41] Об этом см. введение Ксении Вернер: Briefwechsel zwischen Oswald Spengler und Wolfgang E. Groeger über russische Literatur, Zeitgeschichte und soziale Fragen. – Hamburg, 1987. Там же имеются другие данные об отношении Шпенглера к России и к ее воздействию на него.

[42] *Spengler O.* Briefe 1913–1936. In Zusammenarbeit mit Manfred Schroter herausgegeben von Anton M. Koktanek. – München, 1963. S. 44–45.

[43] Ebd. S. 170–171.

[44] *Spengler O.* Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Ungekürzte Sonderausgabe in einem Band. – München, 1981. S. 794.

[45] Оно было опубликовано в 1962 г. под названием «Arthur Moeller van den Bruck und der revolutionare Nationalismus in der Weimarer Republik».

*Кармен Зиппл*

# ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПЕРЕВОДЧИКИ
## в диалоге русской и немецкой культур в период между мировыми войнами

### Взгляд на Восток

Русская беллетристика, как и переводная литература о России в широком смысле, имела после 1917 г. повышенный спрос на немецком книжном рынке; это можно со всей ясностью установить на основе предпринятой Гердом Кёненом впечатляющей «попытки общей библиографии литературы о России и большевизме в 1917–1924 гг.» под названием «Взгляд на Восток»[1].

За названиями, приведёнными в этой работе, стоит творческая энергия авторов, редакторов, переводчиков и издателей, а также, бесспорно, широкий интерес читающей публики к теме «Россия», к её истории, её литературе, её людям, её «душе» – следовательно, продолжение того «культа русских», существование которого уже в 1902 г. отметил рецензент в журнале «Монатсблеттер фюр дойче литератур»[2]. Один из тех «издателей-культуртрегеров»[3], способствовавших такому развитию событий, Райнхард Пипер, в своих воспоминаниях об издании полного собрания сочинений Достоевского (1906–1919 гг.) констатирует улучшение сбыта русской книги только в связи с Первой мировой войной, «когда духовное столкновение с русскими стало неизбежным». И одновременно он видит конец этого развития:

> Во время Второй мировой войны Достоевский был запрещён так же, как и вся русская, а наряду с ней и современная английская, французская и американская литература![4].

Годы после окончания Первой мировой войны до 1924 г. характеризуются как «кульминация литературного восторга в отношении России». «В настоящее время восторг от русской литературы – мода дня, господствующая надо всем», – пишет Йозеф Фробергер в журнале «Бюхервельт». – Переводчики и издатели, лихорадочно работая над переводом и напечатанием этих шедевров литературы, взяли на себя огромный труд»[5]. Обобщение результатов этого труда мы встречаем в обзоре Артура Лютера «Русская литература в Германии» в первом номере журнала «Руссише рундшау» за 1925 г.; Лютер также восхищается «огромным количеством переводов с русского языка» и работ «о русской литературе, русской духовной жизни, русской душе, русском характере», указывая одновременно на необходимость процесса литературного посредничества:

> И в этом заключается также право на существование такого журнала, каким должно быть «Руссише рундшау». Оно хочет посредничать. Мы зависим от России, а Россия – от нас. Нам следует познакомиться друг с другом. А для этого едва ли есть средство лучше художественной литературы, в которой живёт душа народа[6].

Цезура в этом «подъёме интереса к России»[7] обосновывается, с одной стороны, экономическими факторами: «усмирением» инфляции в Германии в 1923–1924 гг. и вытекавшим отсюда удорожанием книжного производства, а с другой – нарастанием идеологической составляющей в издательских программах, ориентацией на «народные» интересы в правом и на «пролетарско-революционные» в левом спектре[8]. После 1933 г. положение на книжном рынке стало более определённым: унификация в соответствии с национал-социалистическими представлениями о политике в области культуры, запрет «враждебной народу и нежелательной литературы», аризация издательств и издательских программ должны были привести к «народному обновлению литературы», что с 1939 г. ещё ужесточалось в «условиях военной экономики»[9].

## Миссионеры в области культуры

Литературное открытие России приходится на период между началом XX в. и Первой мировой войной, о чем также свидетельствует продукция издателей-культуртрегеров, продолжавшаяся и в межвоенный период[10]. Крупные проекты, например, «Полное собрание сочинений» Льва Толстого в издательстве «Ойген Дидерихс» (1901–1911 гг. в 33 томах, «Собрание сочинений» 1910–1912 гг. в 35 томах)[11] или «Полное собрание сочинений» Достоевского в издательстве «Р. Пипер и К°» (1906–1919 гг. в 23 томах), осуществлялись в рамках «культурной миссии» не только издателями, но также и редакторами и переводчиками, которые видели в посредничестве свою задачу. В первом случае речь идёт о Рафаэле Лёвенфельде (1854–1910)[12], во втором – об Артуре Мёллере ван ден Бруке (1876–1925) и Дмитрии Мережковском (1866–1941) в качестве редакторов. Сходную ситуацию мы видим, если говорить о русских программах, например, в издательствах «С. Фишер», «К.Х. Бек», «Альберт Ланген» и «Георг Мюллер», которые здесь можно рассматривать в качестве примера. При этом, избирается не классическое литературоведческое направление, когда исследуется деятельность и влияние отдельных русских авторов в пространстве немецкого языка[13], но имеет значение как раз те начинания, которые исходили от издателей и переводчиков как институтов культурного посредничества и воплощались в соответствующих издательских программах.

В группе переводчиков обращает на себя внимание в связи с этим значительное число «переходящих через культурные границы», например, тех немцев, которые родились на русской территории, позже обосновались в Германии и стали здесь переводчиками, редакторами, издателями, писателями и специалистами в области гуманитарных наук. Специфическое воздействие, которое оказали на них элементы как русской, так и немецкой культуры, и их компетенция в языке превращали этих людей в идеальных, а также идеалистически настроенных посредников между обеими культурами. В качестве примера следует назвать российских немцев Августа Шольца и Артура Лютера, санкт-петербургских немцев Райнхольда фон Вальтера и Генри фон Хайзелера, прибалтийского немца Иоганнеса фон Гюнтера. В их число входил и игравший выдающуюся роль Александр Элиасберг, восточноевропейский еврей, родным языком которого был русский.

Издательство Ойгена Дидерихса, основанное в 1896 г. во Флоренции, а с 1904 г. находившееся в Йене, вначале считало себя издательством «неоромантики» и стремилось быть «покровителем и организатором литературных и мировоззренческих взлётов своего времени»[14]. В период, предшествовавший Первой мировой войне, центр тяжести его деятельности лежал на религиозном обновлении, а в последующие годы оно стало издательством «германского культурного обновления»[15]. Между прочим, рекламой оказалось для Дидерихса не только то, что в его издательстве впервые был представлен *полный* перевод произведений Толстого, но и судебные последствия этого издания. Издатель и редактор были в 1902 г. обвинены в Лейпциге, «согласно § 166 Уголовного кодекса, в публичном оскорблении одной из христианских церквей» (что в Германии при императоре Вильгельме II жестоко преследовалось, не учитывая в данном случае русский контекст критики Толстого), но затем оправданы[16]. Наряду с этим впечатляющим предприятием, которое представляло немецкому читателю – в отличие от русского – одновременно Толстого-писателя и критика современного ему общества[17], в издательстве Ойгена Дидерихса вышли и произведения А.П. Чехова (в переводе Владимира Чумикова), и Максима Горького (в переводе Михаила Феофанова)[18]. В 1913 г. в этом издательстве вышел двухтомный труд Томаша Гаррига Масарика «К русской философии истории и религии. Социологические очерки», носивший контртитул «Россия и Европа. Исследования духовных течений в России. Первая серия». С 1914 г. в разделе «Формирование жизни посредством веры (религиозная культура)» публиковались работы религиозного философа Владимира Соловьёва (в переводе Харри Кёлера), позже переиздававшиеся в штутгартском издательстве «Дер комменде таг»: «Духовные основы жизни» (1914), «Оправдание добра» (1916); «Россия и Европа» (1917)[19].

В противоположность этому, русская издательская программа издательства «Р. Пипер и К°» отличалась большей широтой и более новаторским характером, одновременно концентрируясь на нескольких немногих авторах. Так, вскоре после наступления нового века, лишь через два года после основания издательства в 1904 г., Райнхард Пипер положил начало предприятию, подобного по своей монументальности изданию Толстого у Дидерихса – *полному* собранию сочинений Достоевского. В качестве редакторов выступали, как уже говорилось, Артур Мёллер ван ден Брук, живший в Париже, и Дмитрий Мережковский. Перевод издания осуществляла происходившая из Прибалтики Элизабет Керрик, выступавшая под псевдонимом Э.К. Разин. Это издание, охватывавшее 23 тома, удалось завершить до 1914 г.[20]. Правда, Райнхард Пипер отмечает в своих воспоминаниях, что оно не стало для издательства «прибыльным делом», в противоположность, например, другому новому переводу – трилогии Дмитрия Мережковского «Христос и антихрист» (эти романы перевёл Александр Элиасберг):

> Это новое издание стало среди уже имеющегося тем «добытчиком», которым издательство сумело воспользоваться как нельзя лучше – добытчиком лучшим, чем все его «открытия»[21].

В дополнение к собранию сочинений Достоевского издательство выпустило в 1913 г. также письма этого автора, а в 1923 г. под названием «Фрагменты, варианты и приложения к большому изданию» – том «Петербургские сновидения», оба в переводе Элиасберга, и в его же переводе увидело свет в 1920 г. исследование лите-

ратурного критика А.Л. Волынского (1863–1926) «Царство Карамазовых»[22]. Из-под пера Мережковского, которого в альманахе «Десять лет издательской работы» (1914 г.) охарактеризовали как «наиболее значительного в нынешнем поколении писателей России», в издательстве «Пипер» до 1938 г. вышло в целом десять книг, в большинстве случаев, «перед выходом русского издания на немецком языке»[23]. Россия не присоединилась к Бернской конвенции 1886 г., в соответствии с которой авторское право на литературное произведение защищалось не только в стране, где оно было создано, но и во всех государствах-участницах конвенции. Следовательно, могло быть одновременно несколько переводов русского произведения. Иное положение складывалось в том случае, если перевод делался с русского оригинала рукописи, так что издание выходило сначала, например, в Германии, до появления оригинального издания, и, тем самым, подлежало воздействию немецкого авторского права. Переводчики прилагали очень большие усилия, чтобы получить от автора разрешение на приписку «Единственный авторизованный перевод» или «Переведено с оригинальной рукописи»[24].

## Александр Элиасберг – «отличный посредник»

Переводчиком произведений Мережковского для издательства «Р. Пипер и К°» был Александр Элиасберг (1878–1924). Родившийся в Минске в состоятельной еврейской семье, Элиасберг после изучения естественных наук в Москве избрал примерно в 1906 г. своим пристанищем «блистающий» Мюнхен и продолжал здесь работать для распространения русского модернизма, в среду которого он вошёл в Москве[25]. Его переводческим дебютом стала антология современной русской поэзии, вышедшая в издательстве Пипера уже в 1907 г., – «Русская лирика современности». Наряду с подробным введением, в ней были тексты ведущих поэтов русского модернизма – Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Ивана Бунина, Зинаиды Гиппиус, Николая Минского и Фёдора Сологуба. В 1915 г. также в издательстве Пипера вышла книга Элиасберга «Русское искусство. К характеристике русской национальности». В годы, предшествующие Первой мировой войне, и после нее он перевёл для издательства следующие произведения Мережковского: трилогию «Христос и антихрист», состоящую из исторических романов «Юлиан Отступник», «Леонардо да Винчи» и «Пётр и Алексей»; ещё один исторический роман «Александр I»; религиозно-философские труды «Вечные странники», «От войны до революции. Невоенный дневник», «На пути в Эммаус», а также том под названием «Царь и революция», в который входили эссе Мережковского, его жены Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Философова (уже в 1908 г.). Кроме того, Элиасберг перевёл статью Мережковского в сборнике «Достоевский. Три эссе Германа Бара, Дмитрия Мережковского, Отто Юлиуса Бирнбаума», который издательство бесплатно предоставляло в 1914 г. в качестве рекламной брошюры, а также очерк Мережковского «Моя жизнь», вышедший в «Альманахе издательства “Р. Пипер и К°”. Мюнхен 1904–1914». Тем самым, Элиасберг, благодаря своей переводческой деятельности, стал для Томаса Манна «отличным посредником», в особенности это касалось произведений Дмитрия Мережковского – религиозного философа русского символизма и поэта, жившего с 1919 г. в эмиграции. Мережковский, по мнению немецкого писа-

теля, был «самым глубоким европейским критиком со времени Ницше»[26], а «в истории формирования Томаса Манна, может быть, важнейшим посредником в его отношениях с русской духовностью и русской поэзией»[27].

Элиасбергу было суждено в ходе своей дальнейшей деятельности представить вниманию читателей широкомасштабный корпус переводов, охватывавший как русскую классику (Пушкин, Гоголь, Лесков, Достоевский, Лев Толстой), так и современную прозу (Алексей Ремизов, Михаил Кузмин, Фёдор Сологуб, Дмитрий Мережковский, Алексей Толстой) в отдельных изданиях и полных собраниях сочинений, а также в антологиях (в частности, «Великие русские» (1910 г.), «Русские любовные новеллы» (1919 г.), «Современный русский писатель-новеллист» (1920 г.), «Русский христианин» (1922 г.)).

Но успех и авторитет не смогли защитить «отличного посредника» – еврея из Восточной Европы, ставшего после 1917 г. человеком без гражданства, – от политических репрессий и в мюнхенском районе Швабинг. Его жена, художница Зинаида Васильева, позволила спровоцировать себя на антинемецкое высказывание, вслед за чем последовал донос на неё властям и приговор: тюремное заключение. Александр Элиасберг был, несмотря на ходатайства, вместе со своей семьёй в 1923 г. выслан из Баварии. Томас Манн напишет ему в Берлин:

> Ваши заслуги как посредника между двумя культурами, как человека, который перевел на немецкий язык столь много духовных работ, вышедших из-под пера русских авторов, велики, и даже благодаря Вашей политической позиции, которая всегда была не только лояльной, но и возглашала подлинную, поистине любовную связь Вашего мышления и чувствования с немецким чувствованием и мышлением, Вы заслужили такое отношение к себе, что в нашей среде Вас не просто терпят, но и ценят и уважают[28].

Александр Элиасберг умер на следующий год, в возрасте всего лишь 46 лет, и не последнюю роль здесь сыграли последствия этого надлома в его жизни.

## Апокалиптическая Россия

Элиасберг опубликовал также в Мюнхене, в имевшем немалые традиции издательстве «К.Х. Бек», свой перевод ещё одного современного романа, темой которого была революция. «Хождение по мукам» А.Н. Толстого вышло в свет в 1922 г., ещё до возвращения «красного графа» в Советский Союз в 1923 г. С 1919 г. Толстой жил сначала в Париже, а затем в Берлине; активность Элиасберга была обращена к литератору-эмигранту и его «незаурядному таланту рассказчика с необычайным стремлением к сочинительству»[29]. Издательство «К.Х. Бек», несмотря на возросший после 1918 г. интерес к «загадочной России», тем не менее оказывало предпочтение произведениям классической русской литературы. Здесь были опубликованы рассказы и повести А.С. Пушкина в переводе балтийского немца Иоганнеса фон Гюнтера (3 тома, 1924–1925[30]), а также возникшее при участии фон Гюнтера девятитомное издание (1924–1927) произведений Н.С. Лескова[31] – первое немецкое полное собрание сочинений русского литератора, умершего в 1895 г., который писал, прежде всего, на религиозные темы. Главным редактором был Райнхольд фон Вальтер (1882–

1965), кроме того, в издании принимали участие Генри фон Хайзелер (1875–1928) и Эрих Мюллер (1897–1980), подготовивший также подробную брошюру, с помощью которой издательство рекламировало своё издание – «Николай Лесков и его произведения. Оценки и документы наряду с портретом писателя» (1926)[32]. Вальтер и Хайзелер, оба петербургские немцы, еще в начале века приехали в Мюнхен учиться, и их литературная деятельность была прервана Первой мировой войной. Райнхольд фон Вальтер, после 1909 г. снова работавший в России учителем гимназии, вернулся в 1918 г. в Германию, где стал писателем и переводчиком, а позже преподавателем русского языка в Кёльнском университете. Генри фон Хайзелера, поэта из круга Стефана Георге, начало Первой мировой войны застигло в 1914 г. в России, куда он приехал из-за смерти отца, и его призвали в русскую армию. В 1918–1921 гг. ему пришлось служить в Красной Армии, пока в 1922 г. не удалось совершить рискованный побег назад в Германию[33]. В вышедшем в 1963 г. юбилейном сборнике, посвящённом 200-летию издательства, Генрих Бек следующим образом подвёл итоги этому развитию русской издательской программы в 20-е гг.:

> Русские романы переживали высокую конъюнктуру, которой способствовали беженцы из Прибалтики и бывшие военнопленные, вернувшиеся домой из Сибири. И издательство «Бек» позволило этой волне увлечь себя. К сожалению, она слишком быстро снова опала в границах эпохи, оказавшейся столь недолговечной. Тем не менее издательство обязано этой волне несколькими ценными переводными работами[34].

Кульминацию этой эпохи представляет собой трёхтомная антология «Россия в поэтических документах», совместно составленная в 1924 г. Элиасбергом и фон Гюнтером. Согласно характеристике, данной Генрихом Беком, в ней «в избранных фрагментах произведений превосходных русских писателей наглядно показана вся социальная история предреволюционной России»[35]. Элиасберг опубликовал в 1921 г. в издательстве «К.Х. Бек» свою «Историю русской литературы в портретах» с предисловием Дмитрия Мережковского, которая вышла в свет вторым изданием в 1925 г. Артур Лютер, сам выдающийся представитель мира русско-немецких культурных контактов, следующим образом охарактеризовал этот труд своего уважаемого коллеги-переводчика:

> Эта новая история русской литературы находится в сознательном противоречии со всей существовавшей до сих пор историей русской литературы. Она ориентируется не на социальное, а на эстетическое начало и оценивает отдельных поэтов и писателей исключительно в соответствии с их *художественным* значением. Эта точка зрения, которая кажется само собой разумеющейся, до сих пор никогда не соблюдалась по отношению к русской литературе; ведь вследствие существующих в России своеобразных политических отношений одна только художественная литература и предоставляла возможность пропагандировать также социальные и политические идеи, так что в России взгляды литератора всегда означали нечто большее, нежели только дарование, и так называемая литературная критика всегда была, начиная с Белинского в 40-е годы XIX в. до Михайловского на рубеже веков, лишь замаскированной публицистикой. Немецкие историки литературы переняли для русской литературы схему русской же литературы. Элиасберг же решительно отходит от неё и показывает русских поэтов и писателей в такой группировке и освещёнными таким образом, как это стало обычным для молодого поколения в России.

> Это удалось ему тем легче, что он сам жил в России среди этого поколения и, следовательно, знает свой материал и владеет им совершенно по-иному, нежели те, которые наблюдают за духовной жизнью России «сквозь очки, а сами от неё так далеки» и тем не менее полагают, что в состоянии правильно оценить её. Поэтому многие из его оценок произведут ошеломляющее воздействие и часто покажутся более самостоятельными, чем они являются на деле […].

Наряду с данными особенностями, Лютер указывает ещё и на значение истории литературы именно в контексте нынешнего восторга, который вызывает Россия:

> Сегодня с русского языка переводится невероятно много, и переводчик с издателем превозносят как откровение каждую новую книгу; читатель, желающий создать действительный образ русской литературы, больше не ориентируется в завалах. Ему нужен надёжный путеводитель. Как раз таким и может быть история литературы Элиасберга[36].

«Книги для введения в сущность русского», как указывалось в подзаголовке, вышедшие в издательстве «К.Х. Бек» в условиях упомянутой «высокой конъюнктуры», были представлены в 1924 г. в собственном каталоге «Апокалиптическая Россия», программная установка которого подчёркивалась вводными словами Освальда Шпенглера о «русской душе». В этом контексте рассматривается и двухтомный сборник документов «Восточное христианство», подготовленный Николаем Бубновым и Хансом Эренбергом (Том 1: Политика (1923); том 2: Философия (1925)):

> Издатели этих двух томов под названием «*Восточное христианство*» сослужили большую службу, сделав доступными всем друзьям русской художественной жизни, от которых закрыты оригиналы, несколько важнейших, до сих пор ещё не переведённых первоисточников, дающих целостную картину восточного христианства[37].

Труд Н.А. Бердяева – «наиболее значительного представителя современного религиозно-философского движения в России» (ibid.) – «Мировоззрение Достоевского» характеризуется в одной из критических статей, цитировавшихся в этом каталоге, как «символ современной России, потрясённой до глубины души судьбами великого исторического кризиса». Книгу перевёл Вольфганг Э. Грёгер, об издании которого «Былины: героический эпос русских» с предисловием Освальда Шпенглера[38] также было объявлено.

Далее в каталоге говорится:

> Русский человек до сих пор – хаос. Мы видим это не только на примере образов, созданных русскими писателями и поэтами, мы видим это из русской истории по сегодняшний день.

Анонсируется, например, роман Отто фон Таубе о Распутине (1923), с его «доведённой до осязаемости атмосферой хаотического русского душевного устройства». Вот что говорится в заключение об этой книге: «Крах этого мира не вызывает удивления, и за изображением этого крушения следят с сочувствием и страхом». Столь же мало удивляет включение труда Ханса Мюлештайна, озаглавленного «Россия и психомахия Европы. Попытка осознания связи мирового религиозного и политического кризиса» (1925) в каталог работ об «апокалиптической России».

## «Литература в вечернем свете»

В издательской программе Самуэля Фишера, считавшего себя «покровителем модернизма», классики XIX в. – Достоевский и Толстой – также поначалу определяли характер переводной литературы в сфере русской словесности, где посредничество осуществлял переводчик Август Шольц (1857–1923)[39]. Возобновили эту русскую книгоиздательскую «традицию» у С. Фишера только в середине 1920-х годов, выпустив теперь книги трёх современных авторов: Ивана Бунина, Алексея Ремизова и Ивана Шмелёва. Все трое были писателями-эмигрантами: Бунин жил с 1920 г. во Франции, Ремизов в 1921–1923 гг. в Берлине, а затем в Париже, Шмелёв с 1923 г. во Франции. Пять из шести их книг, вышедших между 1922 и 1927 гг. в издательстве С. Фишера, были переведены с русского Кетэ Розенберг (1883–1960), двоюродной сестрой Кати Манн: «Господин из Сан-Франциско» (1922) и «Митина любовь» (1925) Бунина, «Человек из ресторана» (1927) и «Солнце мертвых» (1925) Шмелёва, «В синем поле» (1924) Ремизова. Роман Шмелёва «Неупиваемая чаша» вышел в 1926 г. в переводе Ханса Руоффа (1893–1985), немца, родившегося в Москве, который в 1914 г. приехал в Дрезден, а с 1920 г. работал в Мюнхене переводчиком. В истории издательства «С. Фишер», написанной в 1970 г., говорится, что благодаря этим трём авторам издательству было суждено снискать «успех, основанный лишь на уважении к их именам», и объясняется это следующим образом:

> То была литература в вечернем свете, угасавшая медленно, но верно, умиравшая литература, даже если язык, лишённый корней, мог ещё годами и даже десятилетиями черпать из запаса переживаний[40].

Это в высшей степени примечательная оценка в том смысле, что названные авторы уж никак не относились к «угасающим», а составляли цвет русской прозы XX века – впечатляющим доказательством чему, в случае с Буниным, является присуждение в 1933 г. автору-изгнаннику Нобелевской премии по литературе. Тематическая обусловленность этой оценки – взгляд на конец литературы старой России с уверенностью в создании новой, советской литературы – разъясняет, в то же время, и ее функцию сохранения культурной памяти, которую выполняла также и переводная литература, особенно для русской эмиграции.

## «И здесь ретроспективные издательские тенденции»

Издатели-культуртрегеры Альберт Ланген и Георг Мюллер шли перед объединением их издательств в 1931 г. разными путями в той области, которая касалась русской темы. Общим для них было, однако, привлечение переводчиков, в биографиях которых имелась специфическая российская составляющая, для создания издательской программы литературы из России и о России.

Если говорить об издательстве Альберта Лангена – а самому издателю «русский характер был не столь уж близок», – то в нём с 1896 г. работал Корфиц Хольм, родившийся в 1872 г. в Риге:

> В первые годы, когда принимались решения в этом направлении, ему [Лангену. – *Прим. перев.*] хотелось бы исходить, скорее, из темы, чем из русского автора. Художника уровня

> А.П. Чехова раскрыл ему ближайший и вернейший сотрудник Корфиц Хольм, который, происходя из Прибалтики, применил своё выдающееся дарование переводчика с русского языка. Так Чехов, сатирически изображавший мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую среду, вошёл в издательство благодаря многочисленным сборникам рассказов[41].

К Чехову присоединились Андреев, Толстой, Горький, Достоевский и Гоголь, преимущественно в переводах Хольма, как часть «Малой библиотеки Лангена». Правда, книгам было суждено «лишь гораздо позже принести успех издательству»[42].

После ранней смерти Лангена в 1909 г. Хольм стал попечителем, а с 1919 г. и одним из собственников издательства; после слияния с издательством Георга Мюллера в 1932 г. он был одним из коммерческих директоров. У Мюллера, ещё при его жизни, особенно в 1916–1918 гг., усилиями Иоганнеса фон Гюнтера (1886–1973), тоже балтийского немца, в издательской программе появились несколько названий на тему России. Гюнтер входит в число важнейших посредников между русской и немецкой литературами в XX столетии. Родившийся в Митаве (ныне Елгава. – *Прим. перев.*), он в период между 1906 и 1914 гг. в качестве члена редколлегии журнала «Аполлон» (Санкт-Петербург) сам участвовал в культурных процессах русского модернизма в Санкт-Петербурге и Москве, что засвидетельствовано в его мемуарах «Жизнь под восточным ветром. Между Петербургом и Мюнхеном» (Мюнхен, 1969); после 1914 г. Гюнтер был в Германии переводчиком, историком литературы и редактором антологий. Его переводческие работы охватывают как русских классиков, так и авторов русского модернизма[43]. Гюнтер впервые обратился к Мюллеру в 1910 г. с планом большого издания русский литературы, которому с русской стороны оказывали содействие великий князь Константин Романов и Российская Академия наук, но который впоследствии не был реализован:

> Наш первый разговор продолжался едва ли более часа. Была достигнута договорённость о восьмитомном издании Пушкина […]. Кроме того, Мюллер попросил меня всякий раз давать распоряжения о переводах русских авторов только после обсуждения с ним[44].

В серии «Русские классики» издательства Георга Мюллера вышли сначала произведения Пушкина, Тургенева и Гоголя. Таким образом, и здесь снова наблюдаются[45], прежде всего, «ретроспективные издательские тенденции»[46]. В 1923 г. Гюнтер предложил трёхтомное издание Лескова; отдельные тома назывались «Древнехристианские легенды», «Александрит» и «Старинные психопаты». В рубрике «Современные русские» вышли произведения Михаила Арцыбашева, Андрея Белого, Валерия Брюсова, Всеволода Гаршина, Александра Куприна, Михаила Кузмина, Михаила Пришвина и Фёдора Сологуба, что также было результатом его посредничества[47].

## Мюнхен под восточным ветром

В Мюнхене обратили на себя внимание ещё три небольшие издательства с русским программным сектором: «Драй Маскен Ферлаг», «Орхис-Ферлаг» и «Музарион-Ферлаг»[48].

Die Russische Bibliothek
des Drei Masken Verlages

Russischen Bibliothek

*«Русская библиотека» мюнхенского издательства «Драй Маскен» (слева) и обложка романа Льва Толстого «Казаки», вышедшего в этой серии*

В издательстве «Драй Маскен» выходила «Русская библиотека», в рекламном проспекте которой концепция и исходные предпосылки формулировались именно с актуальной отсылкой на возросший в Германии интерес к русской книге («жадность, с которой сейчас повсюду в Германии ищут и читают книги русских литераторов»). Несмотря на ссылку на 50-летнюю традицию перевода русских писателей на немецкий язык, в программе этой «Русской библиотеки» снова прозвучала тема экзотики, заключавшаяся в том, что «это мастерское искусство повествования имеет своим предметом всё ещё совершенно чуждый нам мир и раскрывает всё новые таинственные глубины человеческой души»[49]. В качестве причины для издания серии были названы «всеобщая потребность в хороших русских книгах, дающих не только чисто художественную информацию, но и рассказывающих о сущности России и русского человека». Установка, в целом, формулировалась следующим образом:

> Наш план заключается в том, чтобы в этой библиотеке в образцовых переводах объединить все книги русских литераторов, представляющие какую-либо существенную сторону жизни России, так что эта библиотека в своей совокупности даст целостный образ русского человека, его души и его искусства.

Честолюбивый проект, осуществленный благодаря переводу и выбору Иоганнеса фон Гюнтера и Александра Элиасберга, в результате имел десять названий. Фон Гюн-

тер перевёл следующие тома: «Юмористические рассказы» А.П. Чехова (1923); «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова (1923); «Магические рассказы» В.Ф. Одоевского (1923); «Казаки» Л.Н. Толстого (1923) и «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева (1922). В переводе Александра Элиасберга здесь вышли «Петербургские повести» Н.В. Гоголя (1922), «Русский говорит» С.З. Федорченко (1923); «Русские женщины» А.М. Ремизова (1923); антологии «Русский христианин» (1922) и «Избранные труды Достоевского» (1923). Таким образом, эти десять томов «целостного собрания», которое должно было дать существенную информацию о культурной и духовной жизни «русских», «в соответствии с потребностью Запада в душевной безграничности, эпическом мастерстве и покое Востока», как говорилось в сводном указателе издательства «Драй Маскен» за 1925 г. Четыре антологии, составленные Гюнтером для «Русской библиотеки», были призваны отражать типическое в русской культуре. Как пишет Гюнтер в своём послесловии к третьей антологии – «Русским историям о преступниках» (1922), вышедшим после «Русских историй о привидениях» и «Русских историй о животных»:

> Я надеюсь, что это собрание, если оно когда-нибудь будет полным, даст целостную картину не только русской лирической прозы, но и всей русской жизни, способа переживания и мышления, и будет способствовать тому, чтобы рассказать Западу о загадочном облике восточного брата и, может быть, даже познакомить с ним.

При выборе произведений обращает, однако, на себя внимание то обстоятельство, что за ставшими уже классическими рассказами от Пушкина до Чехова в конце антологий следовали, чаще всего, ещё четыре современных автора: Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, Михаил Пришвин и Алексей Ремизов. Гюнтер уже пытался поместить их в книгах, увидевших свет у Георга Мюллера. Теперь же, включив эти имена в свои антологии, он вышел за пределы эпохи, что, в свою очередь, прокладывало путь «канонизации» этих модернистов. Сходный процесс можно увидеть применительно к серии «Русский человек» издательства «Орхис» и публикациям издательства «Музарион», одним из основателей которого был в 1919 г. Иоганнес фон Гюнтер. Напротив, политизирующее воздействие оказывала публикация романов эмигрантских авторов – Ивана Наживина, Марка Алданова и Михаила Осоргина, а также нескольких сопряжённых с Россией книг из серии «Библиотека издательства “Драй Маскен” по политике и истории»[50].

Если говорить именно о названных небольших издательствах, то обращает на себя внимание замечательное оформление книг. В качестве примера можно упомянуть поэму А.С. Пушкина «Медный всадник», которая вышла в издательстве «Орхис» в 1922 г. в переводе Гюнтера с иллюстрациями Александра Бенуа, и в том же году в берлинском издательстве «Нева» – в переводе Вольфганга Э. Грёгера, с рисунком на переплёте и гравюрами на дереве работы Василия Масютина[51]. Осуществив эти издания, представляющие интерес для библиофилов, издательства действовали в соответствии с тенденциями того времени, согласно которым, как писал Генрих Бек, «к числу необычных характеристик времени инфляции […] относился и хороший в ту пору сбыт роскошных изданий. Многие люди полагали, что сумеют таким образом приобрести за свои не Бог весть какие деньги подлинную ценность. В той мере, в какой они руководствовались подлинной любовью к книге, они едва ли обманывались»[52].

DER
EHERNE REITER
EIN EPISCHES GEDICHT
VON
ALEXANDER
PUSCHKIN
ÜBERTRAGEN
VON WOLFGANG E. GROEGER
ILLUSTRIERT VON
W. N. MASJUTIN
NEWA VERLAG · BERLIN

*Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» в берлинском издательстве «Нева» 1922 г., иллюстрации Василия Масютина*

ALEXANDER PUSCHKIN
DER REITER AUS ERZ
MDCCCCXXII
ORCHIS · VERLAG · MÜNCHEN

*Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» в издательстве «Орхис» (Мюнхен) с иллюстрациями Александра Бенуа*

## «Мы не товарищи, а братья»

Инфляция в Германии достигла высшей точки в 1923 г., в связи с чем именно здесь явно подешевело производство книг – и это был один из факторов, способствовавших большему объёму «русского» в немецких издательствах[53]. В ежемесячнике новинок немецких издателей «Дас дойче бух» в 1923 г. по поручению Биржевого союза «Немецкого общества внешней книжной торговли» вышел специальный номер «Россия». Две центральные статьи в нём принадлежали Артуру Лютеру (1876–1955), деятельность которого в дальнейшем достигла большего успеха в роли посредника между русской и немецкой культурами. Он родился в 1876 г. в Орле в семье учителя гимназии и в 1886–1894 гг. обучался в местной гимназии. Затем Лютер изучал славистику, германистику и всеобщую историю литературы в Москве, Берлине, Мюнхене, Гейдельберге и Лейпциге. С 1900 г. он преподавал в разных высших учебных заведениях Москвы; в 1903 г. Лютер был преподавателем всеобщей истории литературы на Высших женских курсах. После защиты в 1912 г. докторской диссертации в Московском университете он стал там лектором по германистике. В 1914 г. Лютера во время отпускной поездки в Германию застигло начало Первой мировой войны, и до выхода на пенсию в 1944 г. он был библиотекарем Немецкой библиотеки в Лейпциге[54]. В упоминавшемся специальном номере «Россия» ему принадлежит обзор «Русская литература в Германии», где в порядке обобщения о развитии событий до 1923 г. сказано следующее:

> Никогда ещё немецкий книжный рынок не был так, как сегодня, наводнён переводами с русского языка. Если раньше только отдельные великие русские имена привлекали внимание немецких любителей литературы: Тургенев, Толстой, Достоевский, а позже Чехов и Горький, – то теперь, как представляется, стремление немецких читателей направлено на то, чтобы познакомиться со всей русской литературой, создать картину её общего развития и понять на этой основе сущность русского характера. Русские внезапно смогли сказать нам необычайно много – не просто потому, что мы ощущаем своё родство с ними по судьбе, не просто потому, что часто встречается представление, согласно которому только тесное сотрудничество с Россией может помочь нам выбраться из переживаемых политических и социальных бедствий, но и потому, что в переживаниях русской души мы открыли многое, что непосредственно захватывает нас, что соответствует нашему непосредственному переживанию. Сегодня русские больше не воздействуют на нас с экзотической привлекательностью, как ещё двадцать или тридцать лет назад, нет, мы обретаем в них часть нашего «я». […] Этим объясняется и растущее число попыток сделать доступной немецкому читателю новую и новейшую, а также более старую, классическую русскую литературу. Сегодня, прежде всего, из новой литературы больше не выхватывают без разбора первое и лучшее, а ищут характерное, действительно значительное[55].

В специальном номере содержится также библиография, в которую Артур Лютер включил «подборку из немецкой литературы о России 1919–1923 гг.»[56]. В одной лишь рубрике «Произведения русских писателей» он приводит в общей сложности 133 названия книг, вышедших в 47 различных издательствах. Только в четырёх из этих 47 издательств увидели свет более 20 книг: это уже упоминавшиеся «Драй Маскен», «Музарион», «Орхис» и «Нева».

Издательская деятельность, относящаяся к русской литературе в немецких переводах, с установкой на новые издания «классических» авторов, как мы уже видели, свидетельствует, прежде всего, о «ретроспективных тенденциях»[57]. Напротив, современные авторы, писавшие на русском языке, лишь постепенно и в гораздо меньшем числе находили путь в издательские программы. Особый интерес был проявлен, при этом, к воспоминаниям о пережитом во время революции и мемуарам. Воспоминания казачьего генерала П.Н. Краснова считаются одной из наиболее читаемых русских книг времён Веймарской республики[58]. Под названием «От двуглавого орла к красному знамени (1894–1921)» они выходили в свет в различных издательствах и каждый раз многочисленными тиражами, например, в издательстве «Гретляйн» (Лейпциг/Цюрих), где в 1927–1929 гг. также работал редактором и Иоганнес фон Гюнтер. В зальцбургском издательстве «Пустет» описание пережитого Алей Рахмановой (Галиной Николаевной фон Хойер, урождённой Дюрягиной, 1898–1991), с 1925 г. жившей в эмиграции в Австрии, а с 1945 г. в Швейцарии, только в период между 1930 и 1933 гг. вышло тремя изданиями. Ее воспоминания в форме дневника, опубликованные в виде трилогии под названием «Симфония жизни» («Студенты, любовь, ЧК и смерть»; «Браки в красном урагане»; «Молочница в Отакринге», последняя часть переиздана в 1999 и 2003 гг. венским издательством «Амальтея» из-за спроса, высокого и по сей день), переведены на 21 язык и достигли общего тиража более чем два миллиона экземпляров[59].

Произведения советских авторов принимали в тех издательствах, которых обязывала к этому идеологическая заинтересованность, и, в первую очередь, здесь следует назвать издательство «Малик»[60]. Оно было основано в 1917 г. в берлинском районе Халлензее Виландом Герцфельде, его братом Хельмутом, который позже назвал себя Джоном Хартфильдом, и Георгом Гроссом. Издательство придерживалось сначала социал-демократической, а затем коммунистической ориентации относительно официального курса советской политики в области культуры. Писатель Герцфельде и художники Хартфильд и Гросс не разработали чёткой партийно-политической программы, а публиковали новую советскую литературу, в том числе произведения Владимира Маяковского, Мариэтты Шагинян, Исаака Бабеля, Константина Федина и Ильи Эренбурга. Книги выходили в авангардистском оформлении, которое ещё и сегодня превращает издания «Малика» в излюбленные объекты собирательства. В 1926 г. издательство «Малик» приобрело права на все немецкие издания произведений Горького и до 1930 г. выпустило его «Собрание сочинений в отдельных изданиях», в том числе в переводах Августа Шольца, Артура Лютера, Эриха Бохме, Эриха Мюллера. Объём проекта составил 17 томов. Это было издание, осуществив которое, «Малик», в конечном счёте, превратило Горького для немецких читателей в *советского* писателя.

* * *

Отправной точкой этого краткого обзора явилось стремление рассмотреть феномен *издательства* как «места собрания современных духов»[61]. История издательств как неотъемлемая часть истории культуры обнаруживает именно в XX веке, если говорить о времени между двумя мировыми войнами, все основные признаки, свойственные этому контексту эпохи. Растущая поляризация литературной жизни модернизма в политическом и экономическом смысле в немецком пространстве становится оче-

видной при исследовании переводной литературы и ее образов, знакомству с которыми она способствовала. При этом издатели, редакторы и переводчики как посреднические инстанции оказываются, в сильной степени, подвержены воздействию законов рынка, на который воздействуют не только экономические интересы, о чём свидетельствует продажа роскошных изданий именно в 20-е гг., но, в той же степени, и дух времени. В Германии он выражался в книжной продукции и отражавшемся в ней читательском интересе после окончания Первой мировой войны, а затем – особенно сильно – после 1933 г. «Созидание духовного будущего нашего народа» становится теперь единственной издательской программой[62], а русских авторов причисляют к сторонникам презираемого «культурбольшевизма» и характеризуют как «литературу асфальта»[63]. Их судьба на немецком книжном рынке как представителей «вредной и нежелательной литературы» представлена в контексте «литературной политики “Третьего рейха”» следующим образом:

> В июле 1941 г. членам «Группы книжного рынка» была запрещена дальнейшая продажа всех произведений «русских авторов». Запрет, первоначально имевший силу «как для современной русской литературы, так и для литературы более раннего времени», был в начале октября 1941 г. смягчён в том смысле, что «классическая русская литература до 1914-го года издания» могла продаваться при условии согласия отдела литературы. То же имело силу и применительно к сочинениям, продажа которых «была желательной в силу пропагандистской необходимости». Министерство издало дополнительный запрет на исполнение «произведений русских авторов, как то: композиторов, писателей, драматургов и т. д., – без какого бы то ни было исключения». […] Напротив, запрет «антибольшевистской литературы», введённый в связи с пактом Гитлера–Сталина от 23.8.1939, был снова отменён[64].

Тот период взаимодействия русской и немецкой культур, который был вкратце рассмотрен в нашей статье на примере издательской деятельности между временем окончания Первой и до начала Второй мировой войны, остается одной из наиболее важных вех общего культурного диалога Востока и Запада в XX веке. При этом становится особенно заметной функция сохранения памяти культуры, которую выполняла именно переводная литература.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Gerd Koenen / Lew Kopelew* (Hrsg.). Deutschland und die Russische Revolution 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5A). – München: Fink, 1998. S. 827–934.

[2] *Fr. Dietert.* Der Russenkultus in der deutschen Literatur. – Monatsblätter für deutsche Literatur (1902/03), № 7. S. 161–166.

[3] См. это понятие в книге *Reinhard Wittmann.* Geschichte des deutschen Buchhandels. 2., durchgesehene und erweiterte Aufl. – München, 1999. S. 304.

[4] *Reinhard Piper.* Mein Leben als Verleger. Vormittag. Nachmittag. – Stuttgart und Hamburg, [1947/1950]. S. 282.

[5] *Josef Froberger.* Zur Einschätzung der russischen Literatur. I. Grundsätzliches. II. Beispiele und Anmerkungen (Dostojewski und Tolstoi). – Die Bücherwelt 1925, № 22. S. 338 f., 1926, № 23. S. 103.

[6] Russische Rundschau Jg. 1, H. 1 (Okt. 1925). S. 64, 70.

[7] Ibid. S. 65.

[8] Ср. подробное изложение в книге Виттмана (прим. 3). S. 329 ff. («Книжная торговля в Веймарской республике»).

[9] Ср. *Wittmann*, op. cit.. S. 369, 373.

[10] О предыстории ср. разделы «“Русские” захватывают Германию» и «Познать Россию через её поэтов». – *Lew Kopelew.* Am Vorabend des grossen Krieges [Einleitung]. – Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19./20. Jahrhundert: Von der Bismarckzeit bis zum Ersten Weltkrieg (=West-östliche Spiegelungen, Bd. 4A). Hrsg. von Mechthild Keller. – München 2000. S. 67–83; см. также *Karl-Heinz Korn.* Vermittler der Musen. Russische Literatur in Deutschland. – Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zur Reichsgründung (=West-östliche Spiegelungen, Bd. 3A). Hrsg. von Mechthild Keller. – München 1991. S. 247–286.

[11] Об издании Толстого в издательстве «Дидерихс» см. подробно *Edith Hanke.* Prophet des Unmodernen. *Leo N.* Tolstoi als Kulturkritiker in der deutschen Diskussion der Jahrhundertwende. – Tübingen 1993. S. 40–46 und 219–221; о Толстом в Германии в форме очерка ibid. S. 34–39 (с литературой), а также библиографию первых изданий переводов произведений Толстого на немецкий язык с вводной статьёй Анны Зегерс, Leipzig 1958. Ср. также *Edith Hanke.* «Wo ist der Ausweg?» Die Tolstoi-Ausgabe im Eugen Diederichs Verlag. – Romantik, Revolution und Reform. Der Eugen Diederichs Verlag im Epochenkontext 1900–1949. Hrsg. von Justus H. Ulbricht und Meike G. Werner. – Göttingen, 1999. S. 135–155. Об «истории издательств как истории культуры» ср. также *Irmgard Heidler.* Der Verleger Eugen Diederichs und seine Welt (1896–1930). – Wiesbaden, 1998, а также сборник Versammlungsort moderner Geister. Der Eugen-Diederichs-Verlag – Aufbruch ins Jahrhundert der Extreme. Hrsg. von Gangolf Hubinger. – München, 1996.

[12] О Лёвенфельде ср. *Helmut W. Schaller*. Raphael Löwenfeld (1854–1910). Sein Weg von der Slawischen Philologie in Breslau zum Theater in Berlin. – Festschrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Klaus Harer und Helmut Schaller. – München, 1995. S. 489–499.

[13] Ср., например, обзор в книге *Alfred Rammelmeyer.* Russische Literatur in Deutschland. – Deutsche Philologie im Aufriss. 2., überarbeitete Aufl. Hrsg. von Wolfgang Stammler. Bd. III. – Berlin, 1962, Sp. 429–480; сборник текстов Russische Literatur in Deutschland. Texte zur Rezeption von den Achtziger Jahren bis zur Jahrhundertwende. Mit einer Einführung und einer weiterführenden Bibliographie hrsg. von Sigfrid Hoefert. – Tübingen, 1974, а также многочисленные отдельные исследования, в качестве примера из исследований последнего времени следует назвать *Anja Tippner.* Alterität, Übersetzung und Kultur. Žechovs Prosa zwischen Russland und Deutschland. – Frankfurt a. M. u. a., 1997.

[14] *Hanke.* Prophet des Unmoderne. Op. cit.. S. 41 f. Ср. также *Eugen Diederichs.* Aus meinem Leben. Leipzig 1927, 2. Aufl. – Leipzig, 1938. S. 27ff.

[15] Ср. *Diederichs*. Op. cit. S. 50.

[16] Ср. *Hanke.* Op. cit. S. 40 (mit Literatur), а также *Hanke.* «Wo ist der Ausweg?».

[17] Ср., например, разделение полного собрания сочинений на немецком языке на «Социально-этические», «Теологические» и «Поэтические работы».

[18] По поводу этих и других упомянутых данных см. издательский каталог в альманахе Wille und Gestaltung auf das Jahr 1921 zum 25. Verlagsjubiläum. В каждом случае называются год выпуска первого издания (Jena 1921. S. 161 ff.). О переводчике Феофанове ср. *Carmen Sippl.* Slavica der Hermann-Bahr-Sammlung an der Universitätsbibliothek Salzburg. – Bern 2001, № 26.

[19] По поводу издания «Избранных произведений» Соловьёва в издательстве «Дер комменде таг» ср. издательское объявление в специальном номере «Россия» журнала «Монатсшрифт фюр ди нойэршайнунген дойчер ферлегер», изд. по поручению комитета Биржевого союза «Немецкого общества внешней книжной торговли» Августом фон Ловисом оф Менаром и Фридрихом Михаэлем, Leipzig 1923. S. 94. По поводу идентификации балтийской баронессы Энгельхардт с псевдонимом Харри Кёлер ср. *Fedor B.* Poljakov: Literarische Profile von Lev Kobylinskij – Ellis im Tessiner Exil. Forschungen – Texte – Kommentare. – Köln u. a., 2000. S. 18.

[20] Ср. *Piper.* Op. cit. S. 279–283; о сотрудничестве Мёллер ван ден Брука и Мережковского – S. 285 ff. По поводу предприятия в целом, а также осуществления перевода ср. подробно *Christoph Garstka*. Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostoevskijs

im Piper-Verlag 1906–1919. Eine Bestandsaufnahme samtlicher Vorbemerkungen und Einführungen von Arthur Moeller van den Bruck und Dmitrij S. Mereschkowskij unter Nutzung unveroffentlichter Briefe der Übersetzerin E.K. Rahsin. Mit ausführlicher Bibliographie. Geleitwort von Horst-Jurgen Gerigk. – Frankfurt a. M. u. a., 1998. Ср. также статью Кристофа Гарстки в этом томе.

[21] *Piper* (Ibid.). S. 285. Обязательства издательства по изданию Достоевского и Мережковского хорошо документированы в обоих альманахах 1914 и 1924 гг. Дальнейшие данные см. в 75 Jahre Piper. Bibliographie und Verlagsgeschichte 1904–1979. Hrsg. von Klaus Piper. – München und Zürich, 1979. Трилогия из романов Мережковского появилась уже вскоре после наступления нового века в переводе Карла фон Гутшова.

[22] По поводу этого издания ср. *Sippl*. Slavica der Hermann-Bahr-Sammlung, № 125.

[23] Almanach des Verlages R. Piper & Co. 1904–1914. – München, 1914. S. 206. Ср. также *Ernst Piper / Bettina Raab*. 90 Jahre Piper. Die Geschichte des Verlages von der Gründung bis heute. – München, und Zürich 1994. S. 45.

[24] По поводу ситуации вокруг авторских прав в отношениях между Россией и Германией ср. *Piper*. Op. cit.. S. 285; *Peter de Mendelssohn.* S. Fischer und sein Verlag. – Frankfurt a. M., 1970. S. 71ff.; *Erich Schulze.* Hundert Jahre Berner Konvention. – Frankfurt a. M., 1987; *Jutta Ernst*. Zwischen Kunst und Justiz: Die übersetzerische Vermittlung von Weltliteratur und ihre rechtlichen Rahmenbedingungen. – Literaturvermittler um die Jahrhundertwende: J. C.C. Bruns' Verlag, seine Autoren und Übersetzer. Hrsg. von Klaus Martens. – St. Ingbert, 1996. S. 29–38.

[25] Краткий очерк его биографии см. в статье: *Carmen Sippl.* Die Bibliothek des Übersetzers Alexander Eliasberg: Eine Spurensuche. – Imprimatur N.F. XVI (2001). S. 134–143. Ср. также: *Кармен Зиппл.* «Превосходный посредник». Томас Манн и Александр Элиасберг // Звезда (2004) № 9. С. 169–179; *Carmen Sippl.* Der Übersetzer Alexander Eliasberg und die russischen Literaten im Exil (Dmitrij Merežkovskij – Ivan Šmelev – Aleksej Remizov). – Adelbert J.M. Davids und Fedor B. Poljakov (Hrsg.), Die russische Diaspora in Europa im 20. Jahrhundert. Religiöses und kulturelles Leben. – Frankfurt am Main, 2008. S. 195–213 (Russian Culture in Europe, Vol. 4).

[26] Письмо Т. Манна Александру Элиасбергу от 26 марта 1914 г. цитируется по *Alois Hofman.* Thomas Mann a Rusko. – Prag, 1959. S. 114. Ср. об этом *Urs Heftrich.* Thomas Manns Weg zur slavischen Dämonie. Überlegungen zur Wirkung Dmitri Mereschkowskis. – Thomas Mann Jahrbuch 8 (1995). S. 71–91; *Sippl.* Die Bibliothek des Übersetzers Alexander Eliasberg; *Зиппл.* «Превосходный посредник».

[27] *Gerd Koenen.* Betrachtungen eines Unpolitischen. Thomas Mann über Russland und den Bolschewismus. – Gerd Koenen/Lew Kopelew (Hrsg.). Deutschland und die Russische Revolution 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5A). – München, 1998. S. 372 f. Ср. о соответствующем восприятии Т. Манна, в частности, *Urs Heftrich*, op. cit., *Hermann Kurzke.* Thomas Mann und die russische Revolution. Von den Betrachtungen eines Unpolitischen bis zu Goethe und Tolstoi. – Thomas Mann Jahrbuch 3 (1990). S. 86–94; *Sippl*. Die Bibliothek des Übersetzers Alexander Eliasberg.

[28] Brief vom 26. Oktober 1923, цит. по Hofman, op. cit.. S. 156.

[29] *Alexander Eliasberg.* Briefe über die neuere russische Literatur: A.N. Tolstoi. – Der Hippogryph 2 (1923). S. 9–12.

[30] Ср. данные в Bibliographie Verlag C.H. Beck 1913–1988. Biederstein Verlag 1946–1988. Verlag Franz Vahlen 1970–1988. Bearbeitet von Albert Heinrich. – München, 1988. S. 512.

[31] Правда, уже в 1921–1923 гг. в Мюнхене в издательстве «*Музарион*» вышло «Собрание рассказов» Лескова в трёх томах под редакцией и в переводе Александра Элиасберга (Чертогон и другие истории, 1921; Запечатленный ангел и другие истории, 1922; Несмертельный Голован и другие истории, 1923).

[32] О ранней истории издательства «К. Х. Бек» см. Verlagskatalog der C.H. Beck'schen Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München 1713 bis 1913. Mit einer geschichtlichen Einleitung von Oskar Beck. Hrsg. zur Feier des 150jahrigen Bestehens der Firma. – München, 1913. S. 9–148; о более поздней истории см. Festschrift zum zweihundertjährigen Bestehen des Verlages C.H. Beck 1763–1963. Hrsg. von Heinrich Beck. – München, 1963; Der Aquadukt 1763–1988, ein Almanach aus dem Verlag C.H. Beck im 225. Jahr seines Bestehens. – München, 1988. S. XIII–LV.

[33] О переводческой деятельности Хайзелера ср. *Fedor B. Poljakov / Carmen Sippl.* A.S. Puškin im Übersetzungswerk Henry von Heiselers (1875–1928). Ein europäischer Wirkungsraum der Petersburger

Kultur. – München, 1999 (S. 75–90 zu Reinhold von Walter); *Fedor B. Poljakov / Carmen Sippl.* Dramen der russischen Moderne in unbekannten Übersetzungen Henry von Heiselers. – München, 2000.

[34] *Festschrift.* S. 138.

[35] Ibid. Ср. также Bibliographie Verlag C.H. Beck 1913–1988. S. 124, 207 f., 211, 400 f., 512, 642. Подзаголовки трех томов таковы: Т. 1 «Россия, какой она была». Т. 2 «Россия, какой она себя представляет». Т. 3 «Россия, как она чувствует».

[36] *Arthur Luther*. [Rezension zu] Alexander Eliasberg, Russische Literaturgeschichte in Einzelporträts, München 1922. – Frankfurter Zeitung, 66. Jg., Nr. 242 (31. März 1922). S. 1. Лишь немного позже Лютер представил собственную «Историю русской литературы» («Geschichte der Russischen Literatur», Лейпциг, Библиографический институт, 1924).

[37] Das apokalyptische Russland. Bücher zur Einführung in das russische Wesen. – München: C.H. Beck, 1924; hier S. 11f.

[38] Хотя это издание былин и было согласовано в соответствии с договором в ноябре 1923 г., оно не вышло в виде книги. Публикация последовала только в 1986 г. в издательстве Leipziger Insel-Bücherei под названием Ilja und der Raüber Nachtigall. Ср.. Der Briefwechsel zwischen Oswald Spengler und Wolfgang E. Groeger über russische Literatur, Zeitgeschichte und soziale Fragen. Hrsg. von Xenia Werner. – Hamburg, 1987. S. 67 f. О переводчике Вольфганге Э. Грёгере ср. *Xenia Werner*. Der Übersetzer Wolfgang E. Groeger (1882–1950): ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte russischer Literatur in Deutschland. – Wiener Slavistisches Jahrbuch 30 (1984). S. 155–166; *Поляков Ф.Б.* Венок сонетов Вяч. Иванова «Любовь и Смерть» в переводе Вольфганга Грегера. – Vjačeslav Ivanov tra S. Scrittura e poesia. Вяч. Иванов между Святым Писанием и поэзией. Europa Orientalis XXI, 2002, № 1. С. 367–386.

[39] Об издательской программе издательства «С. Фишер» в первые годы ср. S. Fischer Verlag: von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar. Hrsg. von Bernhard Zeller. Ausstellung und Katalog von Friedrich Pfafflin und Ingrid Kussmaul. – Marbach, 1985. S. 31. В числе библиографий предлагаются: S. Fischer Verlag: vollständiges Verzeichnis aller Werke, Buchserien und Gesamtausgaben, mit Anmerkungen zur Verlagsgeschichte 1886–1956. Bearbeitet von Ernst Johann. – Frankfurt a. M., 1956; 100 Jahre S. Fischer Verlag 1886–1986: eine Bibliographie. Bearbeitet von Knut Beck. – Frankfurt a. M., 1986. По поводу сотрудничества с Августом Шольцем см. *Peter de Mendelssohn.* S. Fischer und sein Verlag. – Frankfurt a. M., 1970. S. 67–70.

[40] *Peter de Mendelssohn*. Op. cit.. S. 1038.

[41] *Hannsludwig Geiger*. Es war um die Jahrhundertwende. Gestalten im Banne des Buches: Albert Langen, Georg Müller. – München, 1953. S. 56f.

[42] *Ernestine Koch.* Albert Langen. Ein Verleger in München. – München und Wien, 1969. S. 147. Ср. также библиографию (ibid.). S. 187 ff. По поводу «русского сектора программы» ср. *Helga Abret.* Albert Langen. Ein europäischer Verleger. – München, 1993. S. 366–376, с особым вниманием к роли Корфица Хольма. Об этом переводчике ср. также *Sippl*. Slavica der Hermann-Bahr-Sammlung, № 90; Andreas Meyer. Die Verlagsfusion Langen-Müller. Zur Buchmarkt- und Kulturpolitik des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbands in der Endphase der Weimarer Republik. – Frankfurt a. M., 1989. S. 57.

[43] О жизни и труде фон Гюнтера ср. основополагающую работу: Rolf-Dieter Kluge. Johannes von Guenther als Übersetzer und Vermittler russischer Literatur. – Die Welt der Slaven XII, (1967), H. 1. S. 77–96; «Ein Leben im Ostwind». Eine Ausstellung aus dem Nachlass des Übersetzers und Schriftstellers Johannes von Guenther (1886–1973) mit dem Katalog seiner russischen Bibliothek. 9. Mai bis 14. Juni 1996, Universitätsbibliothek Tübingen. Hrsg. von Heinz Setzer u. a. – Tübingen, 1996, а также *Sippl.* Slavica der Hermann-Bahr-Sammlung, № 5; *Johannes von Guenther.* Woldemar Klein und Der Moskowitische Eros. Aus den unveröffentlichten Erinnerungen. Herausgegeben und kommentiert von Carmen Sippl und Fedor B. Poljakov. – Imprimatur N.F. XX (2007). S. 277–284; *Fedor B. Poljakov und Carmen Sippl.* Der Moskowitische Eros. Hintergründe eines literarischen Skandals. –Imprimatur N.F. XX (2007). S. 285–296.

[44] *Johannes von Guenther.* Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. – München, 1969. S. 176 f.; Подробнее об этом проекте см. *C. Sippl.* Henry von Heiseler – Johannes von Guenther – Reinhold von Walther – Arthur Luther: Rückblicke auf einen Dialog der Puškin-Übersetzer. – *Fedor B. Poljakov/Carmen Sippl.* A.S. Puškin im Übersetzungswerk Henry von Heiselers.

S. 71; *C. Sippl.* «München im Ostwind». Johannes von Guenther und der russisch-deutsche kulturelle Dialog. – Junge Slawistik in Österreich. Hrsg. von Wolfgang Stadler u. a. – Innsbruck, 2000. S. 92 f.

[45] Из этих изданий классиков позже были проданы издательству Ульштайн, в частности, Гоголь и Тургенев. Ср. *Meyer*, op. cit., 27.

[46] Geiger, op. cit.. S. 101.

[47] По поводу первого обзора см. десятилетний каталог издательства «Георг Мюллер» (1913 г.) Schriftsteller, Verleger und Publikum. Eine Rundfrage. В каталогах 20-х и 30-х гг. появляются лишь немногие из названных авторов; поворот к «немецким авторам – от консервативных до националистических» в издательской программе здесь уже совершился. Ср. *Meyer*, op. cit.. S. 49 и в ряде других мест.

[48] По поводу среды ср. *Reinhard Wittmann.* Hundert Jahre Buchkultur in München. – München, 1993.

[49] Из текста объявления «Русской библиотеки», которое можно найти в приложении к каждому тому; перепечатано в: *Carmen Sippl.* Russische Literatur in Verlagsprogrammen des deutschsprachigen Raumes (1917–1933). – Europa und die fremden Nachbarn. Vorlesungen über vergessene euroslawische Beziehungen (= Die Slawischen Sprachen 57). Hrsg. von Otto Kronsteiner. – Salzburg, 1998. S. 86.

[50] Названия указаны в обоих издательских альманахах (Obelisk-Almanach) 1929 и 1930 гг. О русской издательской программе в целом см. обзор, хотя и тенденциозный, в работе *Christa Schwarz.* Die Stellung der sowjetischen Belletristik im deutschen Verlagsschaffen 1917 bis 1933. – Beiträge zur Geschichte des Buchwesens. Bd. IV. – Leipzig, 1969. S. 21 ff.; о тематике см. также *Fritz Mierau.* Die Rezeption der sowjetischen Literatur in Deutschland in den Jahren 1920–24. – Zeitschrift für Slawistik 3 (1958), H. 4. S. 620–638. По поводу «Русской библиотеки» ср. также *Sippl.* «München im Ostwind». S. 93–96.

[51] О книжных иллюстрациях Масютина ср. *Xenia Werner*. Vasilij Masjutins Buchillustrationen im «Russischen Berlin». – *Thomas R. Beyer/Gottfried Kratz/XeniaWerner.* Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. – Berlin, 1987. S. 187–245; *Dies.* Wassili Masjutin in Riga, Moskau und Berlin. Sein Leben in Bildern und Dokumenten. – Berlin, 1989.

[52] *Festschrift.* S. 119.

[53] Ibid. S. 120.

[54] После Второй мировой войны Лютер вёл курсы «Новой русской истории литературы и культуры с особым вниманием к германо-российским отношениям»; последние годы жизни он провёл в Баден-Бадене. Ср. *Carmen Sippl*. Die «Russischen Briefe» Arthur Luthers in der Zeitschrift «Das Literarische Echo» (1900–1913). Momentaufnahmen der Kulturvermittlung. – Die euroslawischen Kulturbeziehungen (= Die Slawischen Sprachen 60). Hrsg. von Otto Kronsteiner. – Salzburg, 1999. S. 151–170; *Poljakov/Sippl*. A.S. Puškin im Übersetzungswerk. S. 91–97; *Carmen Sippl.* Zur russischen Bibliophilie Arthur Luthers «Moskauer Briefe» in der «Zeitschrift für Bücherfreunde» (1910–1914). – Imprimatur N.F. XVIII (2003). S. 313–325.

[55] Das deutsche Buch, 3. Jg. – Leipzig, 1923. S. 12.

[56] В рубриках «Общее», «История», «Русская революция», «Экономическая жизнь, социальные проблемы», «Культура и духовная жизнь», «Религия, церковь», «Языкознание», «История литературы», «Изобразительное искусство, музыка, театр, балет» и, наконец, «Произведения русских писателей»; Ibid. S. 57–63. Ср. в дополнение к этому работу Герда Кёнена, упомянутую в сноске 1, раздел «Gesamtbibliographie der deutschsprachigen Literatur über Russland und den Bolschewismus 1917–1924».

[57] *Geiger*, op. cit.. S. 101.

[58] Ср. *Schwarz*, op. cit.. S. 18f. О Краснове как представителе литературы – «если не совсем литература вне литературы, то литература около литературы» ср. *Глеб Струве.* Русская литература в изгнании. 2-е изд., исправленное и дополненное. – Париж, 1984. С. 125 и сл.

[59] Ср. *Heinrich Riggenbach.* Inventar des Nachlasses von Alja Rachmanowa (Galina von Hoyer). Werke, Briefe, Tagebücher. – Frauenfeld, 1998; *Carmen Sippl.* Porträt: Alja Rachmanowa (1898–1991). – SALZ – Zeitschrift für Literatur, Jg. 24/IV, Heft 96 (Juni 1999). S. 57–60.

[60] Основной материал предлагают Gesamtkatalog der Malik-Buchhandlung A.G. – Berlin, 1925, перепечатка оригинального издания: Лейпциг, 1976, на основе экземпляра из архива издательства «Малик», проф. Виланд Герцфельде, а также Der Malik-Verlag 1916–1947: Chronik eines Verlages.

Mit einer vollständigen Bibliographie aller im Malik-Verlag & Aurora-Verlag erschienenen Titel. Hrsg. von Jo Haüberg, Giuseppe de Siati und Thies Ziemke. – Kiel, 1986. К его посреднической роли ср. *H.-D. Müller*. Der Malik-Verlag als Vermittler der jungen Sowjetliteratur in Deutschland 1919–1933. – Zeitschrift für Slawistik 7 (1962). S. 720–738; *Schwarz*, op. cit.. S. 109–122, а также *Gerd Koenen.* Bilder mythischer Meister: zur Aufnahme der russischen Literatur in Deutschland nach Weltkrieg und Revolution. – *Koenen/Kopelew*, op. cit. S. 782 ff. Новейшие исследования по истории издательства «Малик» см. *Ulrich Faure.* Im Knotenpunkt des Weltverkehrs. Herzfelde, Heartfield, Grosz und der Malik-Verlag 1916–1947. – Berlin und Weimar, 1992; *Germaine Stucki-Volz.* Der Malik-Verlag und der Buchmarkt der Weimarer Republik. – Bern u. a., 1993.

[61] Таково название выставки об издателе Ойгене Дидерихсе и ее каталога, а также параллельно вышедшего тома по истории его издательства (München 1996); ср. прим. 11.

[62] 25 Jahre Georg Müller Verlag, München 1903–1928. – München, 1928. S. 13.

[63] *Wittmann*, op. cit.. S. 361.

[64] *Jan-Pieter Barbian.* Literaturpolitik im «Dritten Reich». Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder. – München, 1995. S. 564 f., с приведением соответствующих указаний отдела литературы. Ср. также *Dietrich Aigner*. Die Indizierung «schädlichen und unerwünschten Schrifttums» im «Dritten Reich». – Frankfurt a. M., 1971. Ср. перепечатку этого списка Vaduz 1979.

# Деятели искусства в эмиграции

*Ульрике Гольдшвеер*

## ЭМИГРАЦИЯ КАК ПОГРАНИЧНЫЙ ФЕНОМЕН
## Возрождение интереса к литературе «русского зарубежья»

С давних пор русская культура считается культурой полярных противоположностей, различающей черное и белое, но не воспринимающей серые тона. Тем самым, особое значение принадлежит границе как месту и разделения, и общности, месту отвержения и собирания некоей дани. Это проявляется и в эмигрантской литературе и обращении с ней – в историческом и содержательном отношении, а также в ее осмыслении с позиций истории литературы и в ее восстановлении в русском литературном каноне. Такая задача стала необходимой и решаемой в результате краха Советского государства.

### Историческая основа

Октябрьский переворот 1917 г. в России стал причиной одной из первых и величайших в XX в. волн беженцев. С 1918 г. по 1940 г. свою родину покинули приблизительно от одного до двух миллионов человек[1], в числе которых было немало видных деятелей культуры и известных политиков. Хотя именно они и вызывают наибольший интерес, если речь идет об эмигрантах первой волны, но данный факт не должен скрывать значительную неоднородность беженских масс: в них были представители всех образованных слоев населения, возрастных групп, народов многонациональной России, охватывавшие, к тому же, весь возможный спектр политических убеждений и принужденные к отъезду по самым разным причинам[2].

Но пути, ведшие из России, и цели тех, кто ее оставлял, были, в высшей степени, различными. Как писал Глеб Струве в первой и на протяжении многих лет единственной истории русской эмигрантской литературы 20-х гг., на земле практически не было места без русских эмигрантов[3]. Если столь обобщающее утверждение вроде этого и кажется преувеличением, то оно все же верно в особой мере для европейских столиц Берлина и Парижа, а также для прибалтийских центров и стран славянских языков на Балканах, как, впрочем, и для восточноазиатской точки исхода – Харбина в Маньчжурии. Многочисленные русские беженцы нашли во всех этих местах если и не обязательно новую родину, то все-таки временное убежище. Временное потому, что место, выбранное поначалу, не всегда было конечной точкой путешествия; многие эмигранты, по разным причинам, продолжали путь – из Берлина через Прагу в Париж и назад в Россию, как, например, Марина Цветаева, или из Берлина через Париж в США, как Владимир Набоков. Это лишь два из числа самых известных примеров.

Все это: численность беженцев, их неоднородный состав, различные пути, географический разброс, разные индивидуальные мотивации, – делает из эмиграции сложное явление, которое едва ли можно рассматривать «в общем и целом». Оправданным представляется, скорее, рассмотрение русского эмиграционного движения как конгломерата отдельных судеб, между которыми возникают точки соприкосновения. Они-то и позволяют говорить о течениях, тенденциях и настроениях, не теряя из виду отдельного человека с его судьбой, а значит, и не умаляя его значения.

Со времени появления книги Струве стало обычным в историографии эмигрантской литературы делить эмиграцию русских писателей на старшее и младшее поколения. Старшее поколение писателей-эмигрантов могло, оглядываясь назад, вспоминать еще дореволюционную карьеру, в то время как более молодое – только в изгнании обрело писательское призвание. Различия, а значит, и конфликты, лежат, однако, гораздо глубже. Старшее поколение было сильнее привязано к культуре (и к культу) Родины и воспринимало стремление младшего, несравненно более подверженного адаптации, к обретению собственной идентичности как самое настоящее предательство. Молодежь же чувствовала такое отношение как воспрепятствование возможностям своего развития[4]. Это привело в 30-е гг. к ожесточённым спорам вокруг вопроса о том, возможна ли вообще русская литература далеко от родины и каков должен быть ее облик. Речь шла о выражении глубокого кризиса литературы в изгнании, объяснявшегося, в зависимости от исходной позиции, отсутствием объединяющего течения, которое преодолело бы внутреннюю раздробленность литературы в изгнании и было в состоянии высказаться по поводу событий, происходивших в России, – или неспособностью литераторов осознать и использовать специфику эмигрантской ситуации[5]. Искать причины этого кризиса в одном лишь конфликте поколений означало бы подходить к проблеме слишком поверхностно, ибо при таком способе ее рассмотрения не были бы полностью приняты во внимание исторические условия, касающиеся разнообразных, часто обосновываемых лишь субъективными причинами изменений сознания, а также затруднительное положение русской эмиграции, в котором пребывали писатели (и не только они). Все это и составляло динамику феномена изгнания. Среди исследователей доминирует, однако, единодушие относительно того, что примерно в середине 20-х гг. уже имело место серьезное изменение настроений. А.Л. Афанасьев пытается учитывать эту позицию, избирая в своем введении к первой книге семитомной антологии эмигрантской литературы[6] структуру, которая, если ее обобщить, характеризуется четырьмя ключевыми словами:

1. Совместная оппозиция (до первой половины 20-х гг.),
2. Раздробление (с середины 20-х гг. до начала Второй мировой войны),
3. Ассимиляция, в особенности младшего поколения (40-е гг.), и – отчасти параллельно –
4. Угасание в результате смерти многих представителей старшего поколения.

Таким образом, с окончанием Второй мировой войны эмигранты первой волны умерли или оказались полностью ассимилированными и уступили место второй волне эмигрантов, большей частью, беженцев от Сталина.

Все эти фазы характеризуются, наряду с переменой настроения, и изменением внешних обстоятельств, имевших следствием перемещение центров. Если, например, в начале 20-х гг. Берлин был предпочтительной целью русских эмигрантов и не только из-за географической близости, то вскоре это изменилось. Сыграли свою

роль окончание инфляции, обеспечившей эмигрантам-обладателям валюты хорошие средства к жизни[7], и дипломатическое признание Германией Советской России: Рапалльский договор фактически стоил русским в изгнании дипломатической защиты и сделал их лицами без гражданства[8]. И эта тенденция к ухудшению условий, а тем самым к переселению из Берлина, сохранялась. Париж сменил Берлин в качестве столицы русской литературы[9]. Остальное доделали нарастание национал-социалистической угрозы в Германии и мировой экономический кризис. На протяжении 30-х гг., вплоть до начала войны, малые центры Европы, например, на Балканах или в Прибалтике, шаг за шагом оказывались под советским или фашистским влиянием и не могли предложить эмигрантам надежного убежища. В качестве последнего выхода представлялось бегство за океан, совершить которое, однако, удалось лишь немногим. К тому же, в США как классической стране иммиграции господствовали совершенно другие условия интеграции, нежели в Европе. Эмигранты превращались там в иммигрантов[10].

Изменение настроений касалось, прежде всего, возможности возвращения в Россию, а также позиции в отношении советского режима. Если первые годы изгнания были отмечены убеждением в том, что речь идет о временном явлении, и возвращение будет возможно уже вскоре, то не позднее середины 20-х гг. это настроение изменилось: возобладало покорное отношение к распространявшейся уверенности в том, что придется надолго устраиваться на чужбине. Если поначалу существовало еще относительное единство в совместной оппозиции к советскому режиму, в стремлении представлять *истинную Россию*[11], то после этого поворотного пункта единство растворилось во множестве групповых взглядов и интересов, что более не исключало возможности примирения с новым режимом (так, например, обстояло дело в движениях евразийцев, сменовеховцев и младороссов[12]).

Наряду с политическими причинами (например, дипломатическим признанием Советской России государствами Европы) настроению эмигрантов, проникнутому отчаянием и безнадежностью, способствовали тревожные сообщения с родины (достаточно назвать лишь некоторые из них: возобновление действия цензуры, высылка русских интеллигентов в 1922 г.[13], распродажа русского культурного наследия, разрушение памятников, исчезновение русской деревни в ходе коллективизации, все нараставшие притеснения русских писателей[14]). К тому же, чем дальше, тем больше ухудшалось экономическое положение многих переселенцев, о чем рассказывают многочисленные автобиографии, мемуары, а также литературные тексты – ведь запасы были израсходованы, а возможности работы для иностранцев ограничивались почти повсюду в ходе начавшегося мирового экономического кризиса.

Кроме того, отношения между изгнанниками-русскими и теми, кто оказал им гостеприимство, не всегда были гармоничны[15], что, конечно, объясняется, с одной стороны, пренебрежением местного населения к вновь прибывшим, отчасти по ксенофобским мотивам (на беженцев смотрели как на конкурентов в борьбе за рабочие места), с другой – потребностью русских эмигрантов отгородиться от мало интересовавшей их принимающей страны и попытаться в своих кварталах с помощью множества организаций воссоздать русскую культурную жизнь. К этим обстоятельствам я еще вернусь в связи с понятием границы.

При этом, самое позднее в 30-е гг., среди западноевропейской интеллигенции возрастает интерес к «социальному эксперименту» под названием Советский Союз –

явление, ставшее известным как «салонный большевизм»[16], было странным смешением псевдопрогрессивности и игнорирования реальной ситуации в Советском Союзе, на который тем временем наложил свой тяжелый отпечаток сталинизм. Этот феномен обособлял именно литераторов, о чем пишет Саймон Карлински:

> В 30-е годы западное интеллектуальное сообщество, не имевшее возражений против многочисленных успешных русских художников, композиторов и танцовщиков, активных на Западе, начало рассматривать существование изгнанной русской литературы в своей среде со смешанной враждебностью и нарочитым безразличием.… Русский писатель, предпочитавший жить за границей, нежели вносить свой вклад в славный эксперимент, развертывавшийся у него на родине, автоматически рассматривался как реакционный эксплуататор, вышедший из прошлого, и препятствие к прогрессу человечества в настоящем[17].

Подобный опыт накопила и писательница Нина Берберова[18]: «В то время во всем западном мире не было *ни одного* видного писателя, который был бы “за нас”, то есть который поднял бы голос против преследований интеллигенции в СССР, против репрессий, против советской цензуры, арестов, процессов, закрытия журналов, против железного закона социалистического реализма, за неповиновение которому шло физическое уничтожение русских писателей»[19].

Наконец, с нападением Германии на Советский Союз возникла дилемма, полностью расколовшая лояльность эмигрантов: быть за или против большевистской России означало одновременно быть против или за национал-социалистов[20].

Парадоксальным образом литература в изгнании пережила период расцвета – если говорить о разнообразии и количестве выходивших произведений, – как раз тогда, когда она, казалось, безостановочно катилась под гору в политическом и экономическом отношении, а эмигрантскую общину сотрясали резкие дискуссии вокруг возможности ее существования как таковой, которые, при ретроспективном взгляде, можно было рассматривать даже в качестве признака проявления ее живости. Так, присуждение в 1933 г. Нобелевской премии по литературе (в качестве кандидата на которую рассматривался и Максим Горький) Ивану Бунину, оценивалось как недвусмысленная позиция в пользу эмигрантской литературы[21].

Не следовало бы упускать из виду и то обстоятельство, что фактическое разделение русской литературы на эмигрантскую и советскую ветви, каждая из которых претендовала на приоритет, если не на гегемонию, не вело с неизбежностью к взаимному игнорированию произведений друг друга. Напротив, обе стороны очень внимательно друг к другу присматривались, и концепции примирения, как та, например, которую выдвигало евразийское движение, были временами очень популярны, но, в конечном счете, потерпели поражение, столкнувшись с реальными политическими условиями[22].

Собственное положение изгнания было в содержательном отношении отрефлексировано писателями весьма поздно. Не считая некоторых типичных мотивов (культа «русской березы», России подо льдом и снегом)[23] и поэтических образов отчуждения как от России, так и от непосредственного окружения (дым, туман)[24], повседневность изгнания, как представляется, лишь медленно проникает в спектр литературных тем[25] и вытесняет преобладающие жанры исторического романа и автобиографии[26].

## Возрождение интереса: исследование, архивная ситуация, словоупотребление

В Советском Союзе культура русской эмиграции долгое время рассматривалась в качестве чисто политического явления, и произведения писателей-изгнанников были известны лишь узкому кругу читателей. Но и на Западе исследование русской эмиграции как феномена оказывалось в тени исследований Советского Союза. Только с перестройкой, т.е. примерно с середины 80-х гг., этот аспект русской культуры смог «вернуться в Россию». В условиях посткоммунистического развития культура русского изгнания обещала закрыть ту брешь идентичности, которую оставила после себя ликвидация Советского Союза в 1991 г. В то же время, интерес к русской литературе в изгнании возрос и в западной славистике[27].

Самая большая проблема в научной оценке этого явления обнаруживается при взгляде на общеупотребительные справочники, созданные как на Западе, так и в России и содержащие в начале почти всегда перечни имен, организаций, журналов и т. п. длиной в несколько страниц. Чисто количественное осмысление литературы, созданной в изгнании, своего рода эксгумация вытесненных имен и текстов, далеко еще от завершения. Многие имена и отдельные судьбы, в особенности представителей молодого поколения, если не говорить о знаменитостях ранга Набокова или Бунина, все еще малоизвестны и ждут своего повторного открытия. Эта работа имеет, однако, решающее значение, ибо только она и сделает возможным изучение отдельных авторов и эмиграции как коллективного феномена. Следующей предпосылкой научного анализа текстов (методы, мотивы, философия) является, сверх того, отказ от траурного подхода, который еще, в большой степени, доминирует в историографии литературы изгнания. Это даст возможность абстрагироваться от сожаления, обвинения и чувства вины перед лицом печальных судеб отдельных авторов. Равным образом, и эта проблема не является незнакомой для истории русской литературы.

К тому же, архивная ситуация уж никак не может быть названа удовлетворительной и представляет собой еще одну проблему. Первоначально материалы об эмиграции предусмотрительно собирались в Праге, в так называемом «Пражском архиве», который чехословацкое правительство в 1945 г., по случаю 220-й годовщины основания Российской академии наук, передало в дар СССР. Там архив оказался разделен по различным учреждениям[28]. Вот что писал Карл Шлёгель еще в 1991 г. об этой безнадежной ситуации:

> Это [вкратце изображенная автором история архива. – *У.Г.*] означало, что шаг за шагом весь архив, планировавшийся как единое целое, оказался расчлененным на отдельные составные части, что весь фонд утратил свою целостность и лишился органичных отношений, присущих такой коллекции. Многое исчезло в региональных архивах или растворялось в более обширных фондах[29].

В последние годы с российской стороны отмечались усилия, имевшие целью объединение архивных фондов и завершившиеся в 1999 г. изданием «Путеводителя» по архивам[30]. В то же время были созданы несколько проектов, имевших целью осмысление культурного наследия эмиграции. Со временем и их результатами стали публикации[31].

Повторное открытие литературы эмиграции в России происходило поначалу посредством повторного или первого опубликования литературных текстов. Александр Галушкин подчеркивает, что после 1986 г., ввиду неповоротливости системы книжного производства, задача познакомить публику с писателями и произведениями, бывшими долгие годы забытыми или, вообще, неизвестными, встала сначала перед литературными журналами[32]. Это «возвращение домой» осуществлялось не без проблем; правилом были недостатки редакционной работы, вызванные давлением сроков и конкуренции[33]. Но такие недочеты не должны умалять заслуг всех упомянутых публикаций, сделавших определенные имена и названия известными более широкой публике. В то же время, соотношение между литературой изгнания и советской литературой, а также переоценка русского культурного наследия стали предметом общественного обсуждения, отчасти являющегося «дальним эхом» тех дискуссий, которые велись уже в 20-е и 30-е гг[34].

Тем временем, ликвидировались пробелы в биографиях, литературные тексты дополнялись большим числом справочников[35] и антологий[36], свидетельствующих о более дифференцированном занятии феноменом эмиграции с российской стороны, более того, делающих такое занятие вообще возможным. К тому же, они могут расцениваться как признак неизменного интереса к этой теме. Важные работы, появившиеся на Западе, переводились на русский язык или впервые издавались в России[37]. Проводились и проводятся конференции[38], а с течением времени создается и история литературы эмиграции[39], причем, поначалу имеет место концентрация на более известных именах (Алданов, Бунин, Набоков и др.). Работами российских исследователей дополняются западные источники[40], и, тем самым, они и в литературно-историческом смысле, так сказать, возвращают домой авторов-изгнанников – ведь сохранение их наследия находилось прежде, в большинстве случаев, в руках самих эмигрантов.

Это возвращение домой имело, однако, последствия для российского литературного канона, который оказался под вопросом из-за появления «новых» старых текстов. Если поначалу казалось, что произведения, запрещенные прежде, теперь, согласно идентификации «запрещенной литературы» с «хорошей литературой», были продвинуты до уровня новой классики[41], то сегодня открывается гораздо более дифференцированная картина. Литература изгнания в процессе (ре)конструкции возвращается в национально-русскую коллективную память, в российский канон, а история российской литературы переписывается заново. При этом речь идет об абсолютно необходимом процессе, ведь каноны, как правило, покоятся на двух опорах: с одной стороны, они являются выражением исторически возросшего культурного знания, с другой – сохраняются с помощью более или менее жестко действующих аппаратов принуждения. Конечно, последнее в особой степени применимо к тоталитарным обществам. Упразднение аппаратов принуждения ведет поначалу к дезориентации или преобразованию в новый, более многообещающий канон. О настоящем преобразовании[42], в нашем случае, пока не может быть речи, так как у эмигрантской литературы все же отсутствовало то «каноническое ядро», которое она, как целое, превратила бы в кандидата на внесение в канон. Интерес к этому мог возобладать только на время. Это обстоятельство выражается в дальнейшем осмыслении, которое, похоже, переходит к реабилитации достижений советской литературы и позволяет снова получить причитающееся ей якобы по праву. Это должно быть разъяснено на нижеследующих примерах.

Так, Е.П. Челышев пишет еще в 1993 г. во введении к истории литературы, изданной под редакцией Олега Михайлова, что «нельзя не испытывать чувства благодарности ко всем тем нашим соотечественникам и зарубежным ученым-русистам, кто сохранил веру в Россию, в ее историческое предназначение»[43]. В целом, здесь преобладает скорее подавленная интонация, для которой характерны сожаление о разрушении советской культуры, восхваление достижений эмиграции и их превращение в исходный пункт возможного обновления. Но за этим пафосом скрывается, видимо, опасение того, что достижения советской литературы могли бы кануть в забвение, а литература изгнания – дойти до уровня единственно законного представителя русской культуры XX в., и автор выступает за «строгий научный анализ», более обстоятельная характеристика которого остается, однако, за ним[44].

Владимир Агеносов, издавший в 1998 г. историю литературы, идет еще на шаг дальше: в его книге ставится, в частности, и пресловутый вопрос о двух русских культурах[45], и ответ на него дается в пользу культурного единства, но аргументация превращается в апологию социалистического реализма:

> Судьбы XX века, революции и человека в равной мере интересовали М. Шолохова, Л. Леонова, молодого К. Федина и П. Краснова, Р. Гуля, М. Алданова. […] Что же касается вопроса о художественном совершенстве, то здесь приоритет несомненно за советскими писателями.

И далее:

> Можно с уверенностью говорить, что советским писателям удалось показать активную преобразующую сторону русского национального характера, продолжив тем самым ту традицию русской литературы, что связана с героическим эпосом, песнями о Стеньке Разине, древнерусскими воинскими повестями, книгой А. Радищева, вольнолюбивыми стихами молодого А. Пушкина, поэзией Н. Некрасова, романом Н. Чернышевского, творчеством М. Горького. Лучшие произведения А. Твардовского и А. Фадеева, А. Малышкина и Н. Островского, Ф. Гладкова и В. Катаева, целой плеяды писателей военных лет не были данью конъюнктуре. Они отражали то героическое и высокодуховное состояние, в котором находился советский народ, несмотря на все трудности и невзгоды, выпавшие на его долю[46].

«Игровая», «смеховая», «экспериментальная» традиция русской литературы объявляется прискорбной жертвой извращений 30-х гг., и различие между советской и эмигрантской культурой исчерпывается выбором тем, так как для советской литературы были закрыты такие «аспекты национального характера, как созерцательность, размышления о жизни и смерти, о Боге». С помощью эмигрантской литературы удалось, кроме того, несмотря на железный занавес, не утратить связи с мировой литературой[47]. Если не отмахиваться от этих высказываний как от ошибок реакционного свойства, то данный пример красноречиво иллюстрирует проблемы идентичности, возникшие в результате преобразования канона.

Решение дилеммы двух литератур, по крайней мере, временное, интересным образом вырисовывается в словоупотреблении. Для литературоведения изгнания особенно характерно, что понятие *литература эмиграции*, имеющее исторически негативную направленность, заменяется термином *литература русского зарубежья*

(досл.: по ту сторону границы России. – *Прим. перев.*). Я избрала этот несколько усложненный перевод потому, что считаю образование понятия «по ту сторону границы» чрезвычайно важным. Это, среди прочего, является и следствием того обстоятельства, что в процессе повторного усвоения опыта русской эмиграции восприятие переместилось с политического феномена на культурный. Речь идет о тенденции, которую Шлёгель констатировал уже в 1991 г.[48] и которая подтверждается и по сей день.

В большинстве новых работ на вопрос о разделении русской культуры дается ответ, подтверждающий подход с позиций целостности[49]; призыв к междисциплинарному подходу[50] и научным проектам программ[51] слышен и в российском лагере. Но все это вызывает поначалу ряд вопросов о дефинициях: что, собственно, следует понимать под «литературой по ту сторону российской границы»?

Определения предложены, например, А.С. Федотовым в его докладе на конференции 1993 г., из которого можно узнать кое-что о различии между беженцами («люди, вынужденные покинуть свое место жительства вследствие социальных или военных бедствий»[52]) и эмигрантами (эмиграция – это «вынужденный или свободный выезд из своей страны в другую на постоянное жительство или на более или менее длительный срок по политическим, экономическим, религиозным или иным причинам»[53]). Но, главное, из него можно узнать о тонкостях различия между *российской эмиграцией* («все подданные России, вне зависимости от национальности, вероисповедания и причин, побудивших к отъезду»[54]), *российским зарубежьем* (это «аморфное выражение» – обозначение «не единого этнокультурного явления», оно относится к «совокупности всех выходцев из России и их потомков [! –*У.Г.*], не ассимилировавшихся до конца на новой родине»[55]), *русской эмиграцией* (свидетельствует, прежде всего, о «национальном составе» из «русских по крови или лиц других национальностей, ставших носителями русского менталитета и причислявших себя к русским») и, наконец, *русским зарубежьем*. Последнее – подходящее выражение для обозначения спорных явлений, ибо это, «во-первых, самооценка первой волны эмиграции»[56] и, во-вторых, отвечает «размаху и трагизму событий»[57]. Все остальные понятия: *Россия эмигрантская*, *Россия малая*, *зарубежная Россия*, *русский Париж,* – подвергаются критике как метафоры, служащие только «художественной выразительности», но не имеющие «строгого научного значения».

Хотя попытка разъяснения понятий вполне заслуживает похвалы, возникает все же интересная подборка определений, которые с различной весомостью кладут в основу анализа собственное описание, национальный состав, степень ассимиляции, причины отъезда и т. п. При этом, однако, речь идет о конгломерате отношений, который никоим образом не может считаться системой понятий, состоятельной в научном отношении. Вопрос о том, почему, например, понятие «русское зарубежье» особенно хорошо учитывает данный феномен, остается в значительной степени открытым. Поэтому и здесь следует поставить под сомнение «строгое научное значение», и попытки определения обнаруживают, наряду с их почти полной непереводимостью, беспомощность перед лицом необходимости найти язык, который в соответствующей форме включит в культурное наследие нечто прежде исключавшееся.

С проблемой определений тесно связана и другая – вопрос о том, что означает понятие «писатель-изгнанник». Касается ли это обозначения места возникновения текстов, местожительства автора или, может быть, его политических взглядов? При

этом несомненные случаи минимальны. Но что делать с перебиравшимися через границу, поздними эмигрантами, реэмигрантами? Может ли считаться литератором-изгнанником Марина Цветаева, большая часть произведений которой возникла до эмиграции, а прозаические тексты только после этого, и которая сначала эмигрировала, но, в конце концов, по причинам личного свойства, вернулась в Россию? А является ли частью эмигрантской литературы роман А.Н. Толстого «Аэлита», потому что он появился за границей, хотя его автор позже, при Сталине, стал одним из виднейших писателей[58]? Чем определяется принятие или непринятие в именной указатель литературы изгнания? Стоит подумать только о русском Берлине, который в начале 20-х гг. считался местом встречи русских писателей, придерживавшихся самых разных убеждений[59]. Здесь мы вернемся к вопросу об отдельной судьбе.

## Эмиграция как пограничный феномен

Понятие, вновь и вновь возникавшее в ходе дискуссии, – это понятие границы, что не особенно удивительно, ибо эмиграция представляет собой, прежде всего, физическое пересечение государственной границы. Полная значимость понятия границы проявится, однако, в отношении эмиграции только в том случае, если будут приняты во внимание следующие аспекты, охватывающие весь спектр человеческих отношений: от изгнания как (1) психологической пограничной ситуации, сталкивающей субъекта с экзистенциальными вопросами, через (2) функцию границы в качестве момента, образующего идентичность, как ценностная и значащая оппозиция между ограниченным и неограниченным, между собственным и чужим, до (3) значения границы в формировании понятий, дефиниции, которая всегда включает нечто одно и исключает нечто другое, что, как мы видели, в особой степени играет роль относительно приведения литературы изгнания в русский канон. «Граница – это … понятие, без которого мир не поддается мыслительному освоению»[60], – пишет Норберт Вокарт, пытаясь определить понятие границы, кажущееся таким простым. Граница – это место с двойной функцией: место, «где одно начинается, а другое прекращается»[61]; «логическое место, где… вещи имеют общий интерес»[62], точка пересечения между внутренним и внешним. Эта двойная функция имеет положительную и отрицательную стороны: граница, включая нечто, «конституирует, прежде всего, положение вещей, поддающееся идентификации»; обособляя же, «она описывает *недостаток* обособленной вещи»[63]. Следовательно, обособленное – в данном случае, литература эмиграции – на понятийном уровне остается чем-то недостаточным, по сравнению с литературой, возникшей на русской территории.

Это значит, что при историческом рассмотрении формирование и формулирование границ чрезвычайно важно для создания как понятий, так и идентичностей. Таким образом, ограниченность предстает свойством вещей, причем обстоятельство без ограничения просто немыслимо[64]. При этом, с античных времен ограниченное как нечто, имеющее «меру и форму», поддающееся обзору и предлагающее безопасность, всегда ценилось выше неограниченного[65].

Томас Зайфрид констатирует в статье, написанной в 1994 г.[66], что русская культура отличается особым сознанием границы («border–consciousness»), повышенным вниманием к различию между собственным и чужим, что обусловливалось истори-

ческим опытом, вечно делавшим ее жертвой вторжения. Признаки этого культа границы автор обнаруживает как в советской, так и в изгнаннической культуре. Советские труды по семиотике культуры (московско-тартусская школа), обращающей внимание на двойственность русской культуры, как представляется, подтверждают этот тезис[67]. Это сознание границы, присущее уже русской культуре, по мнению Зайфрида, не только интенсифицировалось в советское время, но и изменилось характерным образом в результате отождествления границ Советского государства с границами «Утопии на Земле»[68]. Граница, вполне реально обеспеченная военными средствами, означала, тем самым, и границу символическую – это факт, обретший кульминацию в условиях сталинистского формирования советской культуры[69]. Граница между Советским Союзом и Западом превратилась в границу между добром и злом, классовое противоречие между «пролетарским» (= хорошим) и «буржуазным» (= плохим) оказалось границей между Советским Союзом и остальным миром[70]: «…Советский Союз теперь должен был считаться островом значений (исторического, социального, духовного) в море несовершенства»[71]. Зайфрид находит и другие доказательства этой одержимости понятием границы в литературе, архитектуре и изобразительном искусстве[72].

В отношении литературы изгнания, Зайфрид констатирует отчасти более высокую и «свободнее сформированную» степень сознания границы или даже «опасения границы» (border-anxiety[73]), которое он, обращаясь к интересующему нас времени между двумя мировыми войнами, поясняет на примере романа Владимира Набокова «Подвиг» (1932)[74]. Мечте о возвращении на родину придан здесь вид возвращения в прошлое, что, по мнению Зайфрида, есть не только чувственное описание коллективной травмы, но и проект, придающий советской границе в результате ее нереальности семиотическое качество, ибо целью является не реальное, а мифологическое пространство, которому присущи черты потустороннего мира[75]. Набоков, осознание которым изгнаннического статуса выражалось в предпочтении таких мотивов, как рамы, окна и подобные внешние атрибуты[76], предпочитает здесь мотив зеркала, превращающий новую Россию в «мир за зеркалом» (зазеркалье)[77], – «фиксация фрустрации при взгляде в матовое стекло советского космоса» [78]:

> Зеркала в *«Подвиге»* являются, таким образом, в конечном счете, барьерами и имеют сходство с советской границей, отражая, отбрасывая что бы то ни было, направленное на них – свет, взгляды, стремления, ненашедшие удовлетворения.

И далее:

> […] непознаваемость столь тотальна, что то, что лежит позади, начинает рассматриваться с точки зрения последней непостижимости потустороннего – смерти[79].

Эта потусторонность Советской России подтверждается далее тем, что центральный персонаж просто исчезает: «Мартин исчезает в советскую территорию так же полностью и безмолвно, как в могилу…»[80].

В заключение я хотела бы расширить проблему специфически русского сознания границы непосредственно в связи с межвоенной эмиграцией, выведя ее на другие уровни. Сознание границы заключает в себе сознание невозможности обмануть собственное «я»; следовательно, в экзистенциальном смысле, не происходит переход

границы, так как самой ближайшей границей, которую человек обводит вокруг себя, является собственное тело. В нормальных условиях он обводит себя множеством следующих границ, отделяющих его семью, его группу, его нацию от всякий раз иных. В ситуации изгнания все эти границы сливаются воедино, в худшем случае, телесная граница превращается в абсолют, долженствующий включить все, что рождает идентичность, как иллюстрирует цитировавшееся в различных вариантах изречение «Я всегда несу мою Россию с собой»[81]. Эмигрант, покинувший свою родину, теряет поначалу безопасность того ограниченного, кто определяет свою идентичность, и должен создать себе какую-то компенсацию – в данном случае, убежденность в том, что он не оставил в действительности свою родину, а носит «подлинную русскую культуру» вокруг себя как защитный кокон.

Мы можем наблюдать этот процесс на примере болезненного пристрастия к организациям, типичного для русских в изгнании. Почти для каждого места, в котором находились русские эмигранты, можно назвать большое число политических, социальных, педагогических, научных и, не в последнюю очередь, культурных организаций. Вот что пишет об этом, например, Фриц Мирау:

> Стоит только открыть путеводитель издательства Грибен (Grieben) по русскому Берлину 1923 г. (том 197), увидеть почти тридцать профессиональных организаций, сословных объединений и организаций помощи, а еще учесть дополнительно политические организации и группировки монархистов, конституционных демократов, меньшевиков и эсеров, чтобы понять высокую степень организованности, достигнутую здесь на протяжении краткого времени. Порой в Берлине насчитывалось шесть русских банков, 87 русских издательств, три ежедневные газеты и двадцать русских книжных магазинов[82].

И такие цифры имеют силу не только для Берлина[83]. Они со всей очевидностью представляют отчаянную попытку справиться с потерей родины и корней, ставшими уделом эмигрантов, и являются симптомом глубокой неуверенности и отсутствия ориентации. Тот, кто был частью этой «общины», находился внутри надежных границ и мог, по крайней мере, на время, справиться со своей отчаянной ситуацией. Не подлежит сомнению, что это шло рука об руку с отгораживанием от принимающей страны, которая, как и прежде, фигурировала в качестве «чужбины», и, как минимум, затрудняло интеграцию. И это поддается документированию с помощью литературы. Например, в 1923 г. Лев Лунц пишет с позиции эмигранта поневоле[84], лояльность которого к Советской России вне всяких сомнений:

> Немцы – идиоты, Гарпагоны, бездарности, грубияны. Эту аттестацию я слышал от каждого русского берлинца. И удивлялся, но недолго. На второй день по приезде убедился, что русские с немцами вообще не встречаются, не разговаривают, не якшаются. Есть эмигранты, живущие 4–5 лет в Берлине и по-немецки, кроме слова «биттэ», ни с места. Потому что говорят только друг с другом, покупают в своих, русских магазинах, читают русские газеты. Единственный представитель германской нации, с которым эмигрант имеет дело – это квартирная хозяйка. Отсюда ненависть ко всему германскому.
>
> Это не анекдот. Берлинские квартирные хозяйки знамениты на всю Германию как фурии и мегеры. Это верно. Но ненависть к паршивым старым девам распространять на весь, как-никак, великий народ, достойно людей, за пять лет выучивших одно немецкое слово «биттэ».

> Они не видели ничего немецкого. Ни разу не были в немецком театре, в немецком музее, на фабрике. Не прочли ни одной немецкой книги. Я уж не говорю о том, чтобы они учились. «Нам – у слюнявых немцев учиться? Сами всякого научим». Правда, они снизошли – до немецкого кафе. Туда они ходят, объясняются с «обером» знаками и танцуют до упаду шимми. Да еще съездят в Потсдам, для того чтобы сказать: у нас в Царском Селе и Петербурге куда лучше[85].

Вот что говорит Лунц о типе русского «интеллигента»:

> Они мучительно тоскуют по родине, мучительно, до тошноты, ненавидят немцев, все немецкое, начиная с языка и кончая кухней. Живут только тем, что вспоминают родину[86].

Лунц, который из-за болезни поехал в 1923 г. к своим родителям в Гамбург и там неожиданно умер в 1924 г. в возрасте 23 лет от последствий эмболии сосудов головного мозга, пытается в этом рассказе создать типологию «вечного эмигранта», которого он оценивает как нечто среднее – ни как немца, ни как русского[87]. Он считал, что немецкие санатории переполнены русскими эмигрантами, которые вращаются только в своем кругу и с непониманием относятся к немецкой культуре[88]. Местных эмигранты прямо-таки вытесняют:

> Что ж я видел в санатории немецкого? Да ничего. Правда, прислуга в санатории была немецкая, сестры немецкие, даже один доктор немецкий, но они растворились в русской крикливой массе, спрятались, завяли[89].

Помимо различия между «классическими русскими интеллигентами», «политиками-эмигрантами» и «коммерсантами и спекулянтами»[90], Лунц встречает русского эмигранта, прежде всего, в качестве пациента. Это значит, что на семиотическом уровне эмиграция идентифицируется с болезнью, т. е. переходным состоянием, пограничной ситуацией между жизнью и смертью. Далее Лунц характеризует эмигрантов как корыстолюбивых, помешанных на функционировании своего тела, уродливых в физическом смысле или как собрание редкостей, экспонаты которого – различные виды сумасшествия. Этому очевидно вырождающемуся типу людей он противопоставляет немецкого смотрителя купален Фромма, к которому относится положительно и который как по внешнему виду, так и по складу характера соответствует идеалу нового социалистического человека (или не особенно отдален от национал-социалистического идеального типа):

> Здесь в санатории я увидел первого немца, рабочего, блестяще развитого и духовно, и физически, с большим умом и прекрасным телом, философа и спартанца в одно и то же время… Так вот она, Европа! Вот она, настоящая культура, настоящий человек, германец[91].

Тем самым, Лунц рисует картину, которую уж никак нельзя назвать объективной, которая полемична по отношению к эмиграции, но, что интересно, совпадает с современными ей изображениями, данными писателями-изгнанниками[92]. Мне представляется в данном случае характерной идентификация изгнания с промежуточным состоянием – между национальностями, между жизнью и смертью, между грубейшим материализмом и идеализмом самого облачного характера. Тем самым, пограничная ситуация снова превращается в тему рассмотрения.

* * *

Постулируемое различными сторонами обостренное сознание границы, свойственное русской культуре, констатируется в культуре эмигрантов на различных уровнях; история русских за границей оказывается скорее историей сохранения границ, нежели интеграции и культурного обмена. Это можно доказать как на уровне мотивов литературных текстов, так и исторически, рассматривая поведение русских эмигрантских общин за границей. Данный феномен находит свое самое недавнее выражение в интеграции эмигрантской литературы в русский литературный канон, в ходе которой возобладала формулировка «литература русского зарубежья», уже несущая в себе слово «рубеж», «граница»[93]. Таким образом, если исследовательская работа, с одной стороны, открыто покровительствует проекту возвращения эмигрантской литературы в русскую национальную культуру, осуществляет включение того, что было когда-то обособлено, в российскую коллективную память, то, с другой стороны, она сигнализирует на понятийном уровне, как и прежде, о чуждости и обособленности и описывает эту якобы органическую часть русской культуры как отягощенную недостатком изгнания. Тем не менее, уже, например, цитированный Владимир Агеносов приходит к выводу:

> Культура русской эмиграции – неотъемлемая часть русской национальной культуры. Сегодня сбывается мечта первых эмигрантов: их труды возвращаются на родину, их имена звучат в списке тех, кто обогатил русскую науку и культуру[94].

Широким жестом эмигрантская литература, с одной стороны, включается в предполагаемую «русскую национальную культуру» и воздается должное ее заслугам перед этой культурой, тогда как с другой – не остается сомнений в том, кому принадлежит приоритет. Эмигрантская литература, как и прежде, остается чем-то обособленным, чему великодушно предоставляется доступ на родину. Исполняется ли тем самым «мечта первых эмигрантов», живших в сознании, что именно они и являются носителями подлинной русской культуры, остается сомнительным.

По-видимому, эта формулировка является в данный момент единственной возможностью противодействовать краху хрупкой системы идентичностей в сфере литературного канона, в распоряжении которой находятся, как и прежде, все прежние самоочевидности. Окажется ли это переходным явлением, еще должно выясниться; речь идет, однако, о проблеме, и впредь заслуживающей внимания и наблюдения в интересах специфики русской культуры.

*Перевод с немецкого Ольги Никоновой*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Эта цифра взята из работы: *Wolfgang Kasack.* Die russische Schriftsteller-Emigration im 20. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte, den Autoren und ihren Werken (= Arbeiten und Texte zur Slavistik 62). – München, 1996. S. 11. Она соответствует в своей неопределенности данным, приведенным в других изложениях данной темы. Точную цифру вряд ли можно установить по различным причинам.

[2] Более точные данные названы, например, в работе Зденека Сладека применительно к Чехословакии 1921–1924 гг. К примеру, только около 56 % зарегистрированных эмигрантов были рус-

скими, и несколько более половины принадлежали к интеллигенции. *Zdenék Sládek*. Prag, das «russische Oxford». – Der grosse Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. Hrsg. von Karl Schlögel. – München, 1994. S. 218–233. S. 221 ff. Эта информация должна в данном случае служить лишь иллюстрацией.

[3] *Глеб Струве.* Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Нью-Йорк, 1956 (перепечатка Париж 1984). С. 16. Это обстоятельство впечатляющим образом иллюстрируется упомянутым сборником «Der grosse Exodus», вышедшим в под редакцией Карла Шлёгеля в 1994 г., в котором было воздано должное и менее известным центрам русской эмиграции (Константинополь; Балканы – Болгария и Югославия; Прибалтика – Таллинн, Рига; Хельсинки, Варшава и Прага, Рим, Харбин и Шанхай, Нью-Йорк). Джон Глэд перечисляет еще ряд географических названий; ср. *John Glad*. Russia Abroad – Writers, History, Politics. – Tenafly, NJ und Washington, 1999. S. 150–234.

[4] Ср. *Robert Harold Johnston*. Paris: Die Hauptstadt der russischen Diaspora. – Der grosse Exodus. S. 260–278; см. С. 275: «Более молодые представители русской Франции никоим образом не разделяли уверенности своих родителей и оказывались восприимчивее к искушениям, против которых старшее поколение было иммунным. Эти искушения порождались либо иконоборческими идеями послереволюционных движений, евразийством и, прежде всего, младороссами или окружавшей их привлекательной чуждой культурой». По словам А.Л. Афанасьева, молодежь рассматривала себя как «незамеченное поколение»; ср. *Афанасьев А.Л.* Одна или две русские литературы? – Литература русского зарубежья. Антология в семи томах. Сост. В.В. Лавров. Т. 3 (1931–1935). – М., 1997. С. 7.

[5] Ср. об этом в особенности: Струве. Русская литература в изгнании. С. 199 и сл. («Споры о зарубежной литературе»). Самыми видными участниками этой дискуссии были Георгий Адамович и Владислав Ходасевич, и она увенчалась полемикой, которую Струве (Указ. соч.. С. 212) резюмирует как «поэзию человечности» (Адамович) против «поэтического мастерства» (Ходасевич) или «Толстой против Пушкина». Струве со своей временнóй дистанции не разделяет сплошь пессимистического взгляда на возможности выживания эмигрантской литературы, так как острота конфликта поколений была сильно преувеличена и количество опубликованных текстов казалось столь незначительным только на фоне инфляционных показателей 20-х гг. Пессимизм Ходасевича был к тому же чем-то вроде выражения его личного творческого кризиса, а не результатом объективной оценки положения. Другая литература по этой теме: *Roger Hagglund.* The Adamovič-Xodasevič Polemics. In: Slavic and East European Journal 20 (1976), H. 3. S. 239–252. Ср. также *Афанасьев.* Одна или две русские литературы?. С. 5 и сл.

[6] *Афанасьев А.Л.* Неутоленная любовь. Вступительная статья. – Литература русского зарубежья. Т. 1. Кн. 1 (1920–1925). – М., 1990. С. 7 и сл.

[7] Политические и экономические проблемы часто шли рука об руку, ср., например, Russen in Berlin. Literatur, Malerei, Theater, Film. 1918–1933. Hrsg. von Fritz Mierau. – Leipzig, 1987. С. 260: «С заключением в апреле 1922 г. Рапалльского договора и его распространением на другие советские республики исчезли надежды эмигрантов на симпатии немцев стремлениям к реставрации. Окончание инфляции… лишило их экономической основы…. Тот, кто не вернулся в Советский Союз, отправился дальше – в Прагу, в Париж». В качестве причины переселения эмигрантов из Берлина финансовый кризис назван и у Johnston. Paris. S. 260f.

[8] *Karl Schlögel*. Berlin: «Stiefmutter unter den russischen Städten». In: Der grosse Exodus. S. 234–259; S. 239.

[9] Ср. *Johnston.* Paris. S. 262 f. Хотя фактически всегда практиковалась дискриминация нефранцузских рабочих, Париж, как казалось, предлагал лучшие перспективы. – По словам Афанасьева («Одна или две русские литературы?». С. 8, «Париж диктовал литературную моду для русской эмигрантской общины».

[10] Ср. об этом *Thomas R.* Beyer Jr. New York: Russen in der Neuen Welt. In: Der grosse Exodus. S. 346.

[11] Так, Зинаиде Гиппиус приписываются слова: «Мы не в изгнании – мы в послании», цит. в Литература русского зарубежья: 1920–1940. Ответ. ред. О.Н. Михайлов. 2 Т. М., 1993 и 1999; в данном случае Т. 1. С. 28.

[12] Представители «Смены вех» призывали к примирению с советским строем и возвращению эмигрантов. С 1922 по 1924 гг. они издавали в Берлине финансировавшуюся советскими властями

ежедневную газету «Накануне». Напротив, «евразийцы» интерпретировали русскую революцию как «творческий процесс, в котором своеобразие России – по ту сторону Запада и Востока – должно быть приведено к новому синтезу». Наконец, «младороссы» выступали за «модернизированный советский монархизм». Ср. *Karl Schlögel*. Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. Berlin, 1998. S. 90. Ср. также данные в работе *Glad*. S. 124, 126, 129.

[13] По поводу последствий и связанной с этим постановкой вопросов см., например, *Karl Schlögel*. Das «andere Rußland». Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion. In: Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Hrsg. von Dietrich Geyer. – Göttingen, 1991. S. 252 f., und Ders.: Berlin. S. 244.

[14] Ср. изображение этой проблемы у Афанасьева. – Неутоленная любовь. С. 31.

[15] По поводу Парижа ср., например, *Johnston.* Paris. С. 262 («Насмешка над «sales russes» (грязными русскими. – *Прим. перев.*); о невежественности русских в отношении принявшей их страны ср., например, Афанасьев: Неутоленная любовь. С. 17.

[16] Ср. также *Афанасьев*. Неутоленная любовь. С. 34 и сл. О «борьбе» эмигрантов с посетителями Советского Союза, которые выдвигали на передний план не реальность, а «социальный эксперимент» или способность русских переносить страдания, ср. *Robert H. Johnston*. «New Mecca, New Babylon»: Paris and the Russian Exiles 1920–1945. – Kingston, 1988. S. 128 ff.

[17] *Simon Karlinsky:* Foreword: who are the emigre writers? In: The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West 1922–1972. Hrsg. von Simon Karlinsky und Alfred Appel Jr. – Berkeley, Los Angeles und London 1973. S. 6f

[18] Нина Берберова (1901–1992) – писательница и литературный критик, эмигрировала в 1922 г. вместе с Владиславом Ходасевичем сначала в Берлин, а затем во Францию. В 1950 г. она уехала в США и преподавала в Пристонском университете. Берберова познакомилась почти со всеми известными писателями, в особенности в парижских эмигрантских кругах. Ее автобиография представляет собой обширную панораму этого времени, хотя и несущую значительный отпечаток личных восприятий. Ср. *Берберова Н.Н.* Курсив мой Автобиография. – Мюнхен: Финк, 1972; по-немецки книга вышла под названием Ich komme aus St. Petersburg. – Düsseldorf, 1990; последнее место издания в Германии Reinbek bei Hamburg 1994.

[19] *Берберова Н.* Курсив мой. – М., 1996. С. 270.

[20] Ср. изображение этой дилеммы в книге Афанасьева Неутоленная любовь. С. 32 и сл., а также работу о судьбе эмиграции во Второй мировой войне в книге Юрия Цурканова «Белая эмиграция во Второй мировой войне. Неудавшийся реванш». – М., 2001.

[21] Ср. *Струве*. Указ. соч.. С. 191 и сл. По поводу реакции на это в эмигрантской и советской печати ср. *Афанасьев*. Неутоленная любовь. С. 23, и *он же*. Одна или две русские литературы? – Литература русского зарубежья.. С. 5.

[22] В своей работе о советской цензуре Арлен Блюм очень подробно описал попытки советских органов взять под свой контроль эмигрантский издательства, а также критерии, в соответствии с которыми ввозилась с Запада русскоязычная литература. Ср. *Arlen Bljum:* Zensur in der UdSSR. Hinter den Kulissen des Wahrheitsministeriums 1917–1929 (= Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur, 13/I.). – Bochum, 1999. S. 205–239. Ср. также *Афанасьев*. Одна или две русские литературы?. С. 10. Грета Н. Злобина называет в своей статье The «Homecoming» of the First Wave Diaspora and Its Cultural Legacy (Slavic Review 60 [2001], H. 3. S. 517, сноска 25) еще один источник: Советское литературоведение и критика, 1917–1925. Библиографический указатель литературы на русском языке. Составлен А.С. Аникиной. Отв. ред. Ю.Д. Рыскин. 3 т. – Нью-Йорк, 1994.

[23] Ср. *Афанасьев*. Неутоленная любовь. С. 15 и сл.

[24] Ср. примеры из лирики Владислава Ходасевича, Георгия Иванова и Марины Цветаевой в работе: *Shoshanah Dietz.* The Bitter Air of Exile: Russian Emigres and the Berlin Experience. – The Literature of Emigration and Exile. Hrsg. von James S. Whitlark und Wendell Aycock. – Lubbock, Tex., 1992. S. 43–49.

[25] Так, Михаил Цетлин еще в 1927 г. пишет, что до сих пор отсутствуют тексты, описывающие жизнь в эмиграции, «борьбу за хлеб насущный». Ср. *Михаил Цетлин.* Эмигрантское. – Современные записки, 1927, № 32. С. 438. А Глеб Струве называет в качестве первого большого романа, тема которого – изгнание, книгу Нины Берберовой «Последние и первые» (1930 г.); *Струве.* Русская литература в изгнании. С. 202.

[26] Ср. *Агеносов В.В.* Литература русского зарубежья 1918–1996. – М., 1998. С. 9.

[27] Ср. *Schlögel.* Das «andere Rußland«. S. 240 ff., und Slobin- The «Homecoming«.

[28] Ср. *Schlögel.* Das «andere Rußland«. S. 249 ff. Автор ссылается на статью Т.Ф. Павловой о послевоенной судьбе Пражского архива: «Российский заграничный архив в Праге». – «Вопросы истории», 1990, № 6. С. 19–30.

[29] *Schlögel.* Das «andere Rußland». S. 251.

[30] *Павлова Т.Ф.* Фонды русского Заграничного исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель. – М., 1999.

[31] Ср. *Челышев Е.П.* Культурное наследие русской эмиграции. – Михайлов О.Н. (Ответ. ред.). Литература русского зарубежья. Т. 1. 1993. С. 10. Под тем же названием и с тем же автором в качестве ответственного редактора в 1994 г. вышла двухтомная работа «Культурное наследие русской эмиграции: 1917–1940». Отв. ред. Е.П. Челышев. 2 т. – М., 1994. Ср. также *Павлова*. Фонды…

[32] Ср. *Aleksandr Galuškin.* Die rückgewonnene Literatur. In: Russland, wohin eilst du? Perestrojka und Kultur (= Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur. T. 5/I). Hrsg. von Karl Eimermacher, Dirk Kretzschmar und Klaus Waschik. [2 Bde.] – Dortmund, 1996, Bd. 1. S. 403–409. – Галушкин проводит различие и между кругами читателей: 1. «Элитарные» читатели, которым «вновь обретенная литература» была уже известна, 2. Публицисты, выступавшие в качестве посредников и 3. Читатели, для которых тексты действительно были настоящим открытием (Ibid. S. 406 f.).

[33] Ibid. S. 408.

[34] Ср. *Slobin.* The «Homecoming». S. 514, а также S. 517–521.

[35] Тем временем, литература стала, с точки зрения объема, почти не поддающейся описанию. Не претендуя на полноту, приведу несколько названий: Ирина Курамзина (Сост.) С того берега: писатели русского зарубежья о России; произведения 20–30- гг.. 2 т. – М., 1994; Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940). Т. 1: Писатели русского зарубежья. Под ред. А.Н. Николюкина. – М., 1993 и сл.; Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический словарь. Под общ. ред. В.В. Шелохаева. – М., 1997; О муза русская, покинувшая дом… Поэзия русского зарубежья. Сост. Л. Киселева и А.В. Савин. – СПб., 1998; *Чуваков В.Н.* Незабытые могилы. Русское зарубежье: некрологи 1917–1997 гг. 6 т. – М,, 1999 и сл. (до сих пор вышло три тома); Вадим Крейд (Ред.): Словарь поэтов зарубежья. – СПб., 1999. – *Slobin.* The «Homecoming». S. 522, сноска 53, называет дополнительно следующие работы: *Алексеев А.Д.* Литература русского зарубежья: Книги 1917–1940 гг. Материалы к библиографии. – СПб., 1993, а также Русское зарубежье: Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940. Франция. Под общей редакцией Л.А. Мнухина и др. 4 т. – М., 1995–1997.

[36] Здесь в качестве примера можно назвать сборники текстов, подготовленные В.В. Лавровым. Литература русского зарубежья. Антология в семи томах. До настоящего времени вышли 4 т. – М., 1990–1998; Т. 1, часть 1 и 2 (1920–1925) 1990. Т. 2 (1926–1930) 1991. Т. 3 (1931–1935) 1997. Т. 4 (1936–1940) 1998; и *Буслакова Т.П.* Русский Париж. – М., 1998.

[37] Так, был опубликован перевод образцового произведения *Марка Раева* Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919–1939. – New York, 1990 под названием Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. – М., 1994. В расширенном и переработанном издании в 1996 г. в Москве и Париже вышла и книга Струве «Русская литература в изгнании».

[38] Ср., например, «Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры. Научная конференция. Москва, 13–15 апреля 1993 г., тезисы докладов». Отв. ред. Ю.С. Борисов. – М., 1993; в одном из докладов указывается на другие форумы, ср. *Челышев*. Культурное наследие (см. прим.31; 1993). С. 9.

[39] Например, *Михайлов О.Н.* Литература русского зарубежья, *Агеносов В.В.* Литература русского зарубежья; здесь рассматриваются все три волны, но первой уделяется больше всего места.

[40] Кроме все еще имеющей важное значение истории литературы Глеба Струве здесь, снова без претензии на законченность, следует назвать, прежде всего, работы прежних лет: Ljudmila A. Foster (Hrsg.): Bibliography of Russian Émigré Literature. 1918–1968. 2 Bde. – Boston, 1970; Русская литература в эмиграции. Сборник статей. Под ред. Н.П. Полторацкого. – Питтсбург, 1972; Русский Берлин 1921–1923 по материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверовском институте. Hrsg. von Lazar' S. Flejšman, Ričard Ch'juz и Ольгой Раевской-Хьюз. – Париж, 1983, а также *Raeff.* Russia Abroad. Уже после политического поворота появились следующие публикации: Словарь русских

зарубежных писателей. – Булгаков В.С.: Нью-Йорк, 1993, а также *Kasack*. Op. cit. Реконструкции «русского Берлина» посвящены в особенности работы Карла Шлёгеля, например, Russische Emigration in Deutschland 1918–1941. Hrsg. von Karl Schlögel. – Berlin, 1995, или его монография Berlin Ostbahnhof Europas, а также Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941. Hrsg. von Karl Schlögel, Katharina Kucher, Bernhard Suchy und Gregor Thum. – Berlin, 1999. Последняя книга содержит скрупулезное хронологическое перечисление событий и различных мероприятий в русском Берлине в период между двумя мировыми войнами. В числе новых публикаций *Thomas Urban.* Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre. – Berlin, 2003. Следовало бы, наконец, упомянуть и подготовленную Яном Паулем Хинрихсом в Лейденском университете и вышедшую в свет в Гааге серию публикаций в 6 томах Russian Emigre Literature in the Twentieth Century: Studies and Texts. [Link nicht mehr aktuell].

[41] *Galuškin* (см. прим.32). S. 407.

[42] Ср. *Thomas Luckmann:* Kanon und Konversion. – Kanon und Zensur. Hrsg. von Aleida und Jan Assmann. – München, 1987. S. 39 und 43. 43 *Челышев:* Культурное наследие…. С. 6.

[43] *Челышев*. Культурное наследие…. С. 6.

[44] Там же. С. 25.

[45] Ср. к истории этого вопроса в статье *Slobina* «The “Homecoming”». S. 21ff.

[46] *Агеносов.* С. 65 и сл.

[47] Там же. С. 66.

[48] *Schlögel:* Das «andere Rußland». S. 241.

[49] Ср. *Агеносов.* С. 65–98: «Одна или две русские культуры?»

[50] Ср. *Челышев*. Культурное наследие…. С. 9.

[51] Ср. *Хрисанфов В.И.* Культурная жизнь русского зарубежья 1920-х гг. Итоги и перспективы изучения. – Роль русского зарубежья. С. 12 и сл. В качестве важнейших сфер исследования назывались: 1. Обособление 20-х годов от общего рассмотрения первой волны эмиграции; 2. Различие между первым и вторым поколениями; 3. Принятие во внимание переплетения политики и культуры; 4. Исследование публицистики в эмиграции; 5. История институтов (в отношении культуры и образовательных задач); 6. Влияние эмигрантов на научно-технический прогресс принимающих стран.

[52] *Федотов А.С.* Российская эмиграция и русское зарубежье (к вопросу о дефинициях). – Роль русского зарубежья С. 5 (сноска).

[53] Там же; вряд ли определение может быть более обширным.

[54] Там же. С. 5 и сл.

[55] Там же. С. 6.

[56] Здесь у Федотова, к сожалению, отсутствует точное название источника для такого утверждения.

[57] Там же. С. 7.

[58] Алексей Николаевич Толстой (1883–1945) – по рождению аристократ, после революции эмигрировал и написал за границей несколько романов, в их числе утопию «Аэлита» (1922). В 1923 г. он вернулся в Советский Союз и выдвинулся там на роль одного из самых видных писателей. Его слава основывалась прежде всего на романе «Петр Первый», первая часть которого вышла в свет уже в 1929 г. и за который Толстой в 1941 г. получил Сталинскую премию. Этот роман вызывает споры и по сей день, так как он, с одной стороны, считается «советской классикой», рисующей неповторимую панораму петровской эпохи, с другой – читался и как восхваление Сталина. Ср. *Leon I. Tvarog:* Tolstoi, Aleksei Nikolaevich. – Handbook of Russian Literature. Hrsg. von Victor Terras. – New Haven und London, 1985. S. 475 f.

[59] Ср., например, его изображения в книгах Мирау Das russische Berlin и Шлёгеля Russische Emigration in Deutschland, Berlin Ostbahnhof Europas и Chronik russischen Lebens in Deutschland.

[60] *Norbert Wokart.* Differenzierungen im Begriff «Grenze». Zur Vielfalt eines scheinbar einfachen Begriffs. – Literatur der Grenze – Theorie der Grenze. Hrsg. von Richard Faber und Barbara Naumann. – Würzburg, 1995. S. 276.

[61] Ibid. S. 278.

[62] Ibid. S. 279.

[63] Ibid.; выделено мной. – *У.Г.*

[64] Ibid. S. 280 f.

[65] Ibid. S. 281 f., о понятии границы у греков; приписывание же христианским учением о спасении божественных качеств безграничному – вопрос веры, а не повседневного опыта, поэтому мы не рассматриваем этот аспект.

[66] *Thomas Seifrid.* Getting Across: Border-Consciousness in Soviet and Emigre Literature. – Slavic and East European Journal 38 (1994), H. 2. S. 245–260.

[67] Ibid. S. 246: [«в русском космосе действующее лицо было представлено Богом или дьяволом, но никогда не находилось между ними»]

[68] Ibid. S. 245. Конкретно это означает: «Ленин и Совнарком сделали основательный жест по очерчиванию границ утопии на земле, создав в соответствии с декретом от 28 мая 1918 г. пограничные войска РСФСР (поэтому 40 лет спустя эта дата стала официальным праздником – Днем пограничника), и Ленин подготовил почву для умонастроений советского народа в более поздние времена, подкрепляя свою теорию пролетарской революции в одной стране аргументом о том, что «социалистическое государство будет иметь свои границы». (Ibid. S. 246). В качестве источника Зайфрид приводит цитату из статьи «Часовые советских границ», опубликованную в «Правда» № 148 (14542) от 28 мая 1958. С. 6.

[69] Ibid. S. 246.

[70] Ibid. S. 247.

[71] Ibid. S. 246.

[72] Ibid. S. 247. Зайфрид парафразирует утверждение из книги Владимира Паперного «Культура Два» (Ann Arbor, 1985, первая публикация в России – Москва, 1996) о том, что архитектура времен сталинизма отличается, в частности, тем, что она обращает особое внимание на оформление входов и выходов – мест, в которых происходит переход границы. В качестве примера автор называет входы в метро. Говоря об изобразительном искусстве, он обобщает тезис Бориса Гройса о том, что советское искусство все в большей мере колонизировало не-музейную сферу; ср. *Boris Groys:* The Struggle Against the Museum, or the Display of Art in Totalitarian Space. – Museum Culture. Histories, Discourses, Spectacles. Hrsg. von *Daniel J.* Sherman. – Minneapolis und London, 1994. В качестве литературных примеров он приводит столь различные произведения, как романы Юрия Олеши «Зависть», Ильфа и Петрова «Золотой теленок», повести Андрея Платонова «Джан», Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Более обстоятельное рассмотрение увело бы в этих рамках слишком далеко.

[73] Ibid. S. 249.

[74] В качестве современного пандана фигурирует роман Саши Соколова «Палисандрия» (Ann Arbor 1985), показывающий сложное развитие этой темы, ср. Ibid. S. 252.

[75] В высшей степени сходный мотив, а именно воображаемое возвращение в Россию, наблюдается в рассказе И.А. Бунина (1870–1953) «Поздний час» (1938). Рассказчик обнаруживает вполне сохранившуюся, но безлюдную деревню, в которой разыскивает и находит могилу своей возлюбленной. *Иван Бунин.* Собрание сочинений в 9 томах. – М., 1965–1967; Т. 7. С. 37–43. Немецкое издание см. *Iwan Bunin:* Dunkle Alleen. Erzahlungen. 3. Aufl. – München, 1987. S. 71–78. Бунин входит в число наиболее известных писателей старшего поколения; он эмигрировал непосредственно после Октябрьской революции, уже обладая известностью.

[76] *Seifrid*, op. cit. S. 250.

[77] Seifrid (см. прим.66). S. 250.

[78] Ibid.

[79] Ibid.

[80] Ibid.

[81] Ср. *Афанасьев.* Неутоленная любовь. С. 10, там это высказывание парафразируется высказыванием, согласно которому речь идет не об «эмиграции русских, а об эмиграции России». – Ср. также название трехтомной автобиографии Романа Гуля «Я унес Россию. Апология эмиграции». – Нью-Йорк, 1981–1989.

[82] Mierau (Hrsg.). Russen in Berlin. S. 260 f. – Ср. также «списки адресов» в книге Шлёгеля: *Schlögel.* Berlin Ostbahnhof Europas. С. 84 и сл. (союзы и объединения). С. 99 и сл. (банки, предприятия, организации взаимопомощи) и С. 104 (издательства, книготорговля).

[83] О Париже как политическом центре изгнанников ср. *Johnston.* Paris. S. 264 и сл.; другие организации Ibid. S. 271 и сл.

[84] В качестве еще одного примера может служить Владимир Набоков. Ср. в этом томе Ульрика Гольдшвеер «Хронист русского Берлина» или сомнамбула в чуждом окружении. Владимир Набоков в Германии».

[85] *Lew Lunz.* Reise auf meinem Krankenbett. – Mierau (Hrsg.): Russen in Berlin. S. 157. Оригинал, опубликованный недавно – *Лев Лунц.* Путешествие на больничной койке [1923]. – «Звезда», 1995, № 8. С. 157–166. Первая публикация в эмигрантском журнале (!) «Новый журнал – The New Review», 1968, март, № 90. S. 39–57.

[86] *Лунц.* Путешествие… С. 160. Легкомысленный образ Советской России, написанный Лунцем, на фоне которого он рекомендует эмигрантам возвращение, не является в данном случае предметом обсуждения**.**

[87] См. *Лунц.* Путешествие… С. 159.

[88] Там же: «Все иностранцы при ближайшем рассмотрении русские или русские евреи» (С. 160).

[89] Там же. С. 164.

[90] Там же. С. 160.

[91] Там же. С. 166.

[92] Ср., например, описания, данные Набоковым в статье Гольдшвеер (см. прим. 84).

[93] Словом «зарубежье» обозначается редкий, впрочем, случай, при котором статус нахождения кого-либо или чего-либо за границами выражается одним словом; ср. *Seifrid.* Op. cit. S. 245.

[94] *Агеносов*. Указ. соч.. С. 66 и сл.

*Марина Литаврина*

# ТЕАТР ДЛЯ ДРУГИХ – ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕБЯ: русская театральная богема в Берлине двадцатых годов[1]

Забор афишей облицован
И в небе театральный шпиль:
Гастрольный город Кузнецова –
Und Polevitskaya-Gastspiel.
Ты слышишь? Для былых уланов[2]
Сигнал несется по рядам –
Поет торжественно Бакланов:
Курфюрстендамм, Курфюрстендамм!

*В. Белкин*[3]

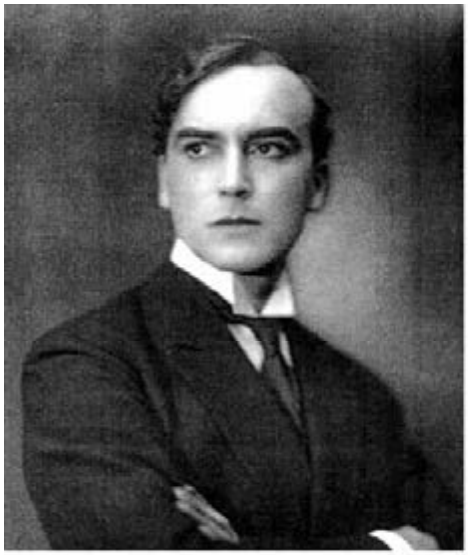
## Русский театральный Берлин и его «действующие лица»

«Русский Берлин» двадцатых годов – особое культурное явление, изучению которого был посвящен ряд капитальных трудов, рассматривавших этот феномен как комплексно[4], так и различные аспекты его: издательскую деятельность, художественную среду, политическую жизнь, театр[5]. При всем том, артистическая среда русского Берлина изучена куда меньше политической и литературной. Между тем речь идет о весьма значительной популяции. В целом, если говорить о численности русской колонии Берлина, при возможных поправках и погрешностях, большинство исследователей называет цифру примерно в 3.600.000 чел. к 1923 г.[6], – т. е. значительно больше, чем к тому времени в других европейских столицах. В данном случае *русский Берлин* будет рассматриваться как особое – помимо строго реального – «внегеографическое», на самом деле находящееся где-то *между* Берлином и Москвой, уникальное культурное пространство, возникшее в неком временнóм «промежутке» и аккумулировавшее огромные творческие силы. Берлин стал столицей русской интеллигенции серебряного века, и число деятелей искусств, приходившихся на единицу его площади, превышало все мыслимые цифры. Они рассматривали свое здешнее бытие как некое убежище в прекрасном, возникшее над историческим «разломом»… Езда на «остров Берлин» стала устремлением оставшихся в России художников, всеми – легальными и не очень – путями добивавшимися выезда. Распавшиеся части культурной цепи тяготели друг к другу – о существовании притяжения, особого «осмоса» между «советской» и эмигрантской литературой в этот период пишет Г. Струве[7].

Формированию уникального статуса Берлина двадцатых годов как европейской культурной столицы с явно *русской доминантой* способствовала и деятельность русских *артистов*, обосновавшихся здесь на рубеже десятых-двадцатых годов. Экономически немощная послевоенная Веймарская столица становится скатертью-

самобранкой для нагрянувших, бежавших от собственной разрухи и ломки, элитарных гостей. Неслучайно замечание мемуариста, своими глазами видевшего голодные обмороки немцев на улицах: «Почти все сытые говорили с акцентом и на чужих языках»[8]. Голод буквальный в жизни каждого из участников этого странного *пира во время чумы* то сменяется, то соседствует с *embarras de richesse* духа. Начинается период великой театральной миграции: Москва–Берлин и не обязательно обратно. Гастролей официальных – о которых мы говорить не будем – и *странных,* – сюда, из России, дабы продлить ситуацию междуцарствия, отложить момент неизбежного выбора, «отсидеться», уповая на ars longa и надеясь на то, что художник всегда – гражданин мира. Берлин двадцатых стал столицей российской богемы.

Напомним: период 1921–23 гг. был временем гастролей в Берлине приехавших из Советской России крупнейших театров: Государственного академического театра драмы из Петрограда, Московского Художественного театра под руководством Станиславского (ранее здесь побывала и пережила один из самых драматических моментов своей истории – раскол – «качаловская группа»[9], часть которой, оставшаяся за границей, затем образует так называемую Пражскую ветвь). Состоятся весьма успешные гастроли Камерного театра А.Я. Таирова, Третьей (Вахтанговской) студии, наконец, Первой студии МХАТ во главе с М.А. Чеховым.[10] Однако наряду с легальными советскими гастролерами сюда приезжает масса *мигрирующих*, еще не определивших своего положения трупп, их зовут часто «Wanderbühne» («бродячая труппа»), некоторые из которых уже имели *зарубежное формирование* и рекрутировали «невозвращенцев» (хотя некоторые через десяток лет вернутся из «странных гастролей»). Большинство из них – назовем хотя бы спектакли артистки театра Незлобина Лидии Потоцкой и режиссера Малого (Суворинского) театра Василия Шумского в 1919 г. в Берлине – демонстрировали свой русский гастрольный репертуар, еще никак не сообразуясь с условиями бытия в чужой культуре. Традиционные труппы, игравшие русскую бытовую пьесу, да еще на родном языке, как правило, имели весьма средний успех и – следствие языкового барьера – немногочисленного, в основном, колониального зрителя, отводившего такому театру пока ритуальное, эпизодическое место в своей жизни – афиши этих спектаклей помещались рядом с рекламами русских пансионов, ресторана «Яр» и т. д. Однако и труппа Потоцкой, о начале спектаклей которой газета «Голос России» известила уже летом 1919 г.[11], а затем «русская театральная антреприза» Марии Бран – коллективы вполне традиционные, получившие даже симптоматичный отклик на свое бытие в критике П. Бархана «Русская провинция в Берлине»[12] – пытаются обрести в Берлине легальные права существования. Об этом свидетельствуют архивные материалы еще малоизученного фонда III отделения Полицайпрезидентуры в Потсдамском архиве земли Бранденбург. В результате своих энергичных действий в период осени 1919 года большинство из них получает Konzessionen, т. е. разрешение на открытие в Берлине театрального предприятия. В это время разворачивается движение *«За русский театр в Берлине».* Адвокат Вальтер Шотте обращается к Полицайпрезиденту с просьбой дать данному объединению права юридического лица и уже в начале ноября получает положительный ответ.[13] Свидетельство профессиональной состоятельности, как правило, подкрепляется ссылкой на мнение немецких театральных авторитетов (в случае с Потоцкой и Шумским, это Макс Рейнгардт). И вот русский коллектив уже начинает давать официальные спектакли в помещении на Курфюрстенштрассе, 116 в помещении «Дома братских союзов» и играет там, прежде всего, русскую



*Владимир Георгиевич Гайдаров (1893–1976) – актер русской театральной труппы и немецкого немого кино.*

драму – Алексея Толстого, Горького, Леонида Андреева. Переписка д-ра Шотте и бумаги архива данной труппы, вообще, интересны тем, что в них приводятся некоторые любопытные данные. Так, например, для того времени весьма высокими представляются гонорары Шумского и Потоцкой, учитывая ситуацию в Германии, – 3000–4000 марок[14] (правда, статисты и другие служащие получали гораздо меньше). Рецензент «Берлинер цайтунг» Лео Райн, не считая, что спектакли стали большим открытием для немецкого зрителя – они подтвердили традиционно-натуралистическую ориентацию русского театра, – пишет: «Актеры оказались профессиональны и не лишены таланта и юмора»[15]. Вскоре изменилось и название «союза» – он был преобразован в «Общество русского театра». 10 сентября 1920 г. в Мраморном зале состоялось открытие Союза русских сценических деятелей в Германии, председателем которого был избран Осип Рунич; офис организации располагается на Уландштрассе, 14[16].

Создаются кассы помощи нуждающимся актерам, проводятся благотворительные «елки артистов», отмечаются юбилеи звезд. В начале января 1921 г. здесь возникает актерская биржа и собирается банк информации об актерах, проживающих в настоящее время за границей – первые такие адресные списки (где то и дело фигурируют берлинские, парижские, лондонские гостиницы) публикуются в русской прессе. Возникают русские театральные студии – одну из них собирается возглавить Юрий Озаровский (на деле же, проект, в основном, перенесется в Париж); своего рода «студия Художественного театра» задумывается Николаем Массалитиновым и его супругой Екатериной Краснопольской во время берлинской стоянки качаловцев. И летом 1922 г. в пригороде столицы Лихтерфельде открывается молодая студия, «драматические курсы дикции и сценических упражнений» – занятия носят регулярный характер, материалом студийных работ становится русская классика (вечер Достоевского, к примеру). Показы студийцев пройдут в Ренессанс-театре[17].

В это неустойчивое время наиболее организованные труппы, очевидно, больше учитывая конъюнктуру момента и желая привлечь как можно больше публики, как антреприза Мари Бран, получившая право открыть «русский сезон в Европе» в помещении «Театр Иостока» (Театр дес Вестенс) на Кантштрассе, 12[18], стремятся заполучить звезд российской сцены, оказавшихся к тому времени в зарубежье. Так, в труппе петербуржца Василя Вронского оказывается известный актер Степан Кузнецов, а также такой опытный мастер, как Исаак Э. Дуван-Торцов. Кузнецов в Берлине блеснул в своей коронной роли Хлестакова, сразу разрушив привычное ожидание русской тягучести и занудности – он, по словам одного из рецензентов-соотечественников «зачерпывал полной ложкой смеющуюся жизненную влагу» – «сам купался и других купал в переплесках и солнечных пятнах»[19].

«Русский Художественный Передвижной театр» (Гастшпильбюне) Владимира Гайдарова и Ольги Гзовской открывал свою сцену в помещении «Сообщества друзей» на Потсдамерштрассе, 9 в сентябре 1921 г. В труппу вошли уже имевшие известность Мария Егорова, Иван Булатов, Е. Вибер. Театр был создан на основе кружка, возникшего еще в Чехословакии, и на развалинах театральных берлинских начинаний Григория Ратова (основавшего Дом артиста) и Рихарда Болеславского, в т. ч. «Молодого театра», осиротевшего после его отъезда в США. Он имел другую, более европейскую ориентацию, стремился сохранить дух «Серебряного века» и ориентировался на богему. Гзовская уже к тому времени имела имя в Европе, прославилась своими «вечерами мелопластики», ее стильное и острое дарование завоевало своего зрителя и вдохновляло художников и скульпторов в Центральной Европе. В Берлине она решилась на дерзкий шаг – показ своей обновленной уайльдовской «Саломеи»[20], – спектакля, в котором одни находили отражение стиля Камерного театра, другие – просто какую-то сплошную «мозаику стилей» или дивертисмент. Задуманные в духе марджановских экспериментов коричневые декорации (художники Н.И. Исцеленов и М.А. Лагорио), венки модерна на голове главной героини, ее «строенный» костюм, грим тел, графический рисунок мизансцен соседствовали с отступлениями в натуралистический бытовой театр. Кукольность, «деланность», вычурность Саломеи контрастировала с жанровыми сценами, как выразился один из рецензентов, «бабскими истериками»[21].

Гзовская, заметим, – одна из немногих актрис, которая стремится сориентироваться на зарубежную публику, придав определенные акценты своим уже отделанным ролям. Она делает с Гайдаровым литературно-музыкальные композиции, цель которых – продемонстрировать все существующие направления в театре России, иногда в духе пародии[22]. Так, рецензент Наталья Потапенко замечала у нее стремление к «антропологическому портрету» в каждой роли – то «веселой датчанки», то «еврейской плакальщицы»[23]. Провокационно-кокетливо исполняла она свою коронную роль Мирандолины. В остальном же исполнители «Хозяйки гостиницы» – Асланов, Бакшеев, Гайдаров, – стремились во всем держаться рисунка спектакля Станиславского. В роли Иоканаана обратил на себя внимание Гайдаров, впечатлявший, в основном, своей физической красотой и техникой, – артистической воли в этой роли ему не хватало – которые заметила, как известно, кинорежиссура немецкого экспрессионизма. Гайдаров, вскоре ставший кинозвездой немецкого экрана (в некоторых рецензиях его называли даже «принцем красоты»[24]), и Гзовская будут возвращаться в Германию не раз, выступать в Мюнхене, имея вполне благожелательную местную прессу[25].

Вписаться в новую ситуацию будет стремиться и известная «героиня» русской сцены Елена Полевицкая. Это – одна из немногих русских звезд, которым немецкий театральный критик Херберт Йеринг посвятил специальный очерк в сборнике, освещавшем двадцатилетие немецкой сцены[26]. Пленявшая сначала всех своей «русскостью», мастер «виртуозной техники» (П. Марков)[27], талантливая исполнительница мелодраматических ролей (Влалимир Набоков хотел именно ей предназначить роль Мидии в постановке «Трагедии господина Морна»[28]), Полевицкая всегда тяготела и к общественной деятельности: участвовала в концертах с целью сбора средств голодающим России, выступала за организацию Союза сценических деятелей и интересовалась искусством Макса Рейнгардта (на сцене «Немецкого театра» состоялись ее первые выступления в Берлине весной 1921 г.) – впоследствии в Австрии она организует семинар его имени[29]. Полевицкая и ее супруг, режиссер, немец по национальности Иван Шмидт, будут стараться вписаться в театр Германии, о чем особенно свидетельствует ряд постановок Шмидта на немецком языке – «Импровизация в июне» и «Сирано де Бержерак». Однако они были раскритикованы немецкими рецензентами как неуклюжая русская попытка освоить новейшие веяния[30]. Спектаклям, по мнению критики, не хватало динамики и ритма[31]. Принесшими известность Шмидту окажутся постановки в Гроссешаушпильхаус в 1922–23 гг., где он будет ставить как Шницлера и Бернарда, так и Леонида Андреева – своего рода трагическую клоунаду «Тот, кто получает пощечины». Однако и в этих спектаклях Шмидта актерская техника выглядела устаревшей, игра оценивалась немецкой критикой как тяжеловесная и сентиментальная[32]. Шмидт трагически закончит свою жизнь в Прибалтике, а Полевицкая вернется в Россию в 1955 г., где на склоне лет не без труда продолжит педагогическую деятельность.

Однако вся эта бегло осмотренная ситуация еще не представляла собой собственно какого-то *нового*, зарубежного русского драматического театра, породив, однако, острую конкуренцию между труппами. Так, Юрий Офросимов, суммируя первые пестрые театральные сезоны русского Берлина, писал: «Берлин с самого начала эмиграции был тем котлом, в котором, не переставая, кипела, то оседая, то вздуваясь, *своя* (выделено мной – *М.Л.*) русская актерская жизнь. Здесь создавались большие начинания, давались оценки отдельным выступлениям – Берлин открывал дорогу в Европу и Америку и как магнит притягивал многих издалека – из лимитрофных государств, с Балкан и из Чехословакии»[33].

В Берлине можно было снискать неожиданный и «бешеный» успех или «кануть в новую неизвестность». Отсюда его репутация – и ярмарки талантов, и прелюдии к истории театра русской эмиграции. Ибо именно о том и о тех, кто окончательно осел в зарубежье – хотя оседлость актерской профессии вообще относительна – и кто сделал местом и содержанием своего творчества *эмиграцию*, перенеся на подмостки ее драму или комедию, кто пытался профессионально существовать в *отрыве*, уже не просто играя на берлинской сцене московские спектакли, но обретая новую нишу в чужой культуре, и сообразовываться с новым зрителем и новой культурной средой, пойдет речь. То есть о театре, который и принято называть «Эксильтеатр» (Театр изгнаний)[34], русскую вариацию которого мы наблюдаем в Берлине 20-х годов.

Несмотря на творческие и организационные трудности первых шагов русского театра в Берлине, быстро выяснилось при всей высокой творческой планке русского литературного и издательского Берлина и репутации новых русских художествен-

ных объединений и выставок в Берлине и Мюнхене 1910–20-х гг. – современный русский театр также вызывает активный спрос на «рынке русского искусства». А русское искусство, говорилось в одной из редакционных статей журнала «Театр и жизнь», – «то единственное, что дает русской эмиграции патент на благородство. Иностранцы часто иронически относятся к нашей политической бездарности, выбросившей нас из родного края на чужой берег, сочувствуют пренебрежительно нашей социальной беспомощности, презрительно смотрят на наши бесконечные внутренние дрязги – но когда перед нами явление русского искусства – в жесте, слове, звуке или красках, они невольно покорены и почтительно вспоминают о творческом первородстве России»[35].

Рассуждая о том, возможно ли, вообще, возродить русский профессиональный театр и в каких формах, сообщество театральных деятелей замечало: «Мы не мыслим, конечно, нормального театра и нормального творчества для русских театральных деятелей вне России»: строго говоря, театр «в полноценном качестве» возможен только там, на родине, «в стихии русской речи»[36]. И в зарубежье, все-таки, остается какая-то надежда на сохранение театра, пусть и в других формах: «ведь существовали же в России постоянные иноземные театры – французские, немецкие, итальянские? Почему же не быть за границей постоянному русскому театру, в любом европейском центре»[37].

Центров этих, как известно, будет несколько – Берлин, Прага, Париж… Следовательно, речь уже в самом начале процесса заходит о какой-то *особой модели* театра, – «не только для иностранцев», для показу им нашего искусства, но и для нас самих, для сотен тысяч русских беженцев…»[38]. Таким образом, формулируется как бы новая, двуединая задача театра – и для русских колонистов, и для местной, инокультурной среды.

Не только русские представители «галактики Гуттенберга» – издатели и писатели, художники и теософы – русская артистическая богема неотделима от всей этой своеобразной русско-берлинской атмосферы «ковчега искусств», когда порой, по меткому выражению Алексея Ремизова, жившего неподалеку от Альт Моабит, было порой просто непонятно: «то ли ты в Берлине, то ли ты в Москве»[39].

Формирование особого культурного пространства, которое ощущали осевшие в Берлине в районах Шарлоттенбург и Халензее представители русской богемы, ежевечерне посещавшие не только высокие собрания Дома искусств и Кафе Ландграф, но и злачные заведения Тауенцина («Ночь. Тауенцин. Кокаин. Это – Берлин» – сочиняет рифму Андрей Белый…) имело своим следствием ощущение некоего убежища, случайного приюта посреди военной и постреволюционной Европы. Актерская среда, привыкшая жить двойной, вернее, двойственной жизнью, могла быстрее адаптироваться и психологически акклиматизироваться в «русском бивуаке» вдруг выросшем посреди Берлина, где русская речь – писали и Белый, и Цветаева, – в эти дни порой звучала чаще, чем немецкая. Поэтому в обрисовке русского театрального Берлина помимо рассказа о театральных русских труппах, осевших здесь в начале 1920-х годов, в соответствии с нашей темой должен присутствовать и еще один аспект. Речь – об особой *театральности* берлинского существования русской художественной интеллигенции.

# Миражи русского «Серебряного века» в столице Веймарской Республики

С берлинской улицы вверху луна видна,
В берлинской улице ночная тень длинна,
Дома как демоны, меж демонами мрак,
Шеренги демонов и между них сквозняк.
Дневные помыслы, дневные души – прочь!
Дневные помыслы перешагнули в ночь.
Опустошенные на перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое тогда выходим мы –
Нечеловечий дух, нечеловечья речь…
В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,
И электрический над головами треск…

*В. Ходасевич*[40]

Артистическая богема стремилась приспособиться к новым предлагаемым обстоятельствам, занять свое место не только на новых подмостках, но и отвоевать себе нишу в повседневной жизни чужого города. Большинство представителей богемы, составляя некую *компактную художественную среду*, как говорилось, хотели продлить свое привычное российско-богемное существование. Образ этой жизни сложился в 1900–10-е годы, и в декорациях Тауенцина и Шарлоттенбурга им виделись «кубки метелей», «черные розы» и «синие плащи» серебряного века. Подобно литераторам и философам, создававшим свои общества и «дома», актеры чувствовали себя членами особого ордена посвященных, что вызывало у многих некое ощущение превосходства над местным обывателем. «Немецкий Берлин, – писала Нина Берберова, – был только фоном этих лет, чахлая Германия, чахлые деньги, чахлые кусты Тиргартена… Все мы – бессонные русские – иногда до утра бродили по этим улицам, где утром ходят в школы чахлые немецкие дети – те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте…»[41].

Ночная жизнь русского Берлина бурлила[42]. Артистическая русская богема – ее театр в Москве неслучайно назвался *«Летучая мышь»* – всегда ощущала себя, наверное, психологически комфортно именно в эту пору суток. А днем они прятались за свои «кулисы». Какие бы и чьи бы страницы писем или мемуаров мы ни открыли, везде ощущение некоего русского артистического «зазеркалья», особой насыщенной лицедейством, игрой и авантюрой всевозможных форм атмосферы. На улицах Берлина, в новых декорациях, разыгрывался какой-то странный спектакль русской интеллигенции, оказавшейся, по счастью или несчастью, в этот момент за бортом России. Вот Игорь Северянин: «Гайдаров, Гзовская, Нелидов… в Берлине были в роли гидов…»[43]. Пешие странствия по Берлину, в особенности, ночному, – обязательный ритуал… Набоков сказал в одном из своих романов о русском эмигранте как «не просто прохожем…», а «наглухо заколоченном мире, полном чудес и преступлений»[44]. Мешая сцену и жизнь в какое-то единое миражное пространство, каждый из них, если воспользоваться словами Пастернака, «шатался по городу и репетировал»[45]. Возможно – свою новую роль русского берлинца, возможно – затверженные строчки отыгранных еще в России пьес.

Российское актерство в любых условиях (в том числе, и в меняющейся Советской России, с ее нарастающим идеологическим контролем, бюрократией и цензурой) сохраняло родовые черты цеха: гаерство, эпатаж, раскрепощенность бытовых нравов, публичность интимных проявлений. С другой стороны, один из признаков цеховой принадлежности – театрализация поведения, которой отличались не только имажинисты кузнецких мостов и футуристы луна-парков, – получила некие особые *условия* для развития в берлинском эмигрантском пространстве. Из своей особенности, избранности, элитарности и чуждости, собранных в единый комплекс, можно было творить не только своеобразный театр *для себя и для других*, если выражаться языком Николая Евреинова, но и *оправдывать* свое эмигрантское существование: культурную инородность, оторванность и бесприютность «ауслендера». То есть, таким образом, «снимать», изживать типичные комплексы эмигранта (русского интеллигента – в особенности), о которых написаны специальные работы в последние десятилетия двадцатого века[46].

Но, тем самым, понятие «*эмигрант*» уже не просто ассоциируется с эпитетами «лишний», «чужой», словами «ностальгия» и «драма», но превращается в своего рода «*амплуа*», которое, при всех издержках, предполагает некое сознательное обыгрывание своей исторической и личностной ситуации «чужака». Для профессионалов – иногда весьма доходное. Отсюда переодевание, наряжение бывших князей в русские косоворотки или мундиры с газырями. Отсюда пряная театрально-русская экзотика «Максимов» и «Медведей». Как показывает история первой волны эмиграции, в этом смысле каждый эмигрант, – волей или неволей, в какой-то момент жизни, ради куска хлеба, или уже профессионально, – артист. Поэтому название знаменитой вещицы Алексея Ремизова «Крашеные рыла» в берлинских условиях имело особое звучание[47]. Любопытный эпизод связан в этом смысле с берлинским периодом Набокова – а заметим, его романы прямо-таки наводнены представителями богемы, балетными и кинематографическими статистами, писателями – в этом контексте названия романов «Дар» или «Посмотри на Арлекинов!» требуют особой интерпретации.

Живший с 1925 г., как он сам говорит об этом, «театральной надеждой», он не просто писал скетчи для кабаре «Синяя птица», но хотел, по свидетельству Сергея Бертенсона, «в любом качестве» попасть, как и многие русские, «в кинематограф», на съемочную площадку[48]. В одном из писем к матери от 13 марта 1925 г. он описывает свой день, начавшийся на съемках, а затем возвращение в гриме (он был трудносмываемым) *прямо по улицам Берлина домой* с белыми пятнами юпитеров в глазах»[49]. Выступал он на «театральных судах», однажды даже рядился Евреиновым[50]. И это не профессиональный артист, а одинокий король, Solus Rex русской эмиграции. Обращает на себя внимание и то, что Набоков – один из первых пишущих пьесу из жизни эмиграции в Берлине. В «Руле» (там же были напечатаны «Смерть» и «Дедушка») публикуется частью драматическая зарисовка «Человек из СССР», впоследствии сыгранная полулюбительской труппой Юрия Офросимова. (Роль владельца русского кабака здесь сыграл недавно прибывший в Берлин Георгий Жданов, будущий соратник Михаила Чехова[51].) В данном случае нас интересует не злободневный сюжет о красном шпионе, «товарище Кузнецове» (его играл Б. Алекин) – тоже, кстати, оборотне с «ролевым поведением». Здесь господствует развоплощенность, эпизодичность существования, сокрытие истинного лица за новой маской, характерная для исторических разломов смесь политическо-национальной символи-

ки и бойкая торговля ею. Можно сказать, каждый здесь торгует *русской клюквой* вразнос. Так, в третьем и четвертом действии[52] события происходят на съемочной площадке эмигрантской кинокомпании, где заканчивается «картина о русской революции». «Всюду разбросаны аляполватые карты России, валяется балалайка, проходят толпы мужчин в косоворотках и женщин в фартуках». У одной из героинь «шапка из каракуля со звездой»[53].

Чем не русское «дно» в берлинском исполнении бывших аристократов, где бывшие помещики (бароны) вперемежку с ворами и шпионами?! Не своего ли рода «*Опера нищих*»[54] или *Опера бывших* перед нами? По мере развития событий набоковская оценка этого театрализованного изгнания, зарабатывающего на жизнь демонстрацией «русскости» и ностальгии, ужесточится. Как бы галлюцинируя, герой «Машеньки», вспоминает как наваждение «грубо сколоченные ряды, сидения и барьеры лож, выкрашенные в зловеще лиловый цвет, ленивых рабочих… наводивших ослепительные жерла юпитеров на *целый полк* россиян (выделено мной – *М.Л.*), согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно содержания картины… Теперь внутренность того же холодного сарая превратилась в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа – театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содраганием стыда узнал самого себя среди этих людей, хлопающих по заказу, и вспомнил, как все должны были глядеть вперед, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек и до одури орал в микрофон»[55].

При всех издержках берлинской «ярмарки искусства», где все на продажу, были в этих новых предлагаемых обстоятельствах, среди театральных миражей русского Берлина, создания настоящего *профессионализма*. Удалось ли и, если да, то как, сохранить этот профессиональный русский театр в приличествующих ему жанрах и формах? Думается, что вовсе не случайно это оказалась такая форма театрального учреждения, которая могла бы художественно «снять» всю очерченную картину. Театр эмиграции возникает, прежде всего, на сцене, как их здесь называют, «Kleinkunstbühne» («кабаре»). К тому же, публичность актерской профессии возлагала на служителя Мельпомены особые функции культурного посредника. Ему предстояло преодолевать «окаменелости жанров» (выражение Василия Кандинского) и искать форму театра одновременно и для своих, и для чужих.

## Русские театры-кабаре в Берлине и выработка стиля эмигрантского театра-клуба

Если собственно драматические русскоязычные театры, осевшие в Берлине в 1921–1923 гг., как было показано, находились как бы в периоде *transition*, в своеобразном междуцарствиии, как эстетическом, так и чисто организационном, русские театры малых форм, в силу названных причин, переживали истинный расцвет, пользуясь, без преувеличения, огромной популярностью, как у берлинской, так и у русской публики. Среди множества аспектов, по которым можно так судить о русских *театрах-кабаре* в Берлине, выделим следующее. Задаваясь вопросом, который уже не раз ставился, «существовало ли эмигрантское искусство или, в нашем случае, эмиг-

рантский театр, имея в виду не только политическую приверженность инициаторов, но и содержательные и, главное, стилистические особенности творчества?»[56], – сразу скажем, что мы отвечаем на этот вопрос утвердительно и попытаемся аргументировать это. Во-первых, мир русского театра-кабаре в Берлине наиболее точно соответствовал термину «театр эмиграции». Именно на сцене русских театров-кабаре в Берлине началось театральное отображение, осмысление и дискуссия о русской *эмигрантской жизни* вообще.

Если исходить из критериев данного театрального жанра, предлагаемых его историком[57], то семь почти одновременно возникающих русских театров в Берлине нужно отнести к театрам миниатюр, театрам-кабаре. Были и «театральные пузыри», возникшие на поверхности русско-берлинской жизни, подобно упоминавшемуся «Коту Мурлыке» или «Шалашу русского актера»[58], и мы их не включаем в это число. Осветить деятельность всех здесь не представляется возможным. Заметим, к тому же, что это был расцвет и немецкого театра-кабаре, и в частности, рейнгардтовское «Schall und Rauch» (буквально – «Пустой звук») также будет приглашать к участию отдельных русских актеров или даже целые кабаретные номера, подобно знаменитому «хору братьев Зайцевых».

Итак, назовем эти театры: «Синяя птица» Якова Южного, «Ванька-встанька» под руководством Николая Агнивцева, «Карусель» Бориса Евелинова, «Театр Дуван-Торцова» и «Маски» Бориса Неволина, «Голубой сарафан» Г. Молдавцева и М. Максина, наконец, «Кикимора» Самуила Вермеля. Единовременное открытие этих театров (а случалось, они «перетекали» друг в друга из-за постоянной миграции актеров) привело к тому, что, по выражению берлинского летописца русской театральной жизни, «театральная русская зима 1922 г. по насыщенности мало отличалась от оживленных сезонов Санкт-Петербурга и Москвы»[59]. Э. Озаровский и Дон Аминадо, Южный и Вермель принесли в Берлин и дух стилистических исканий эпохи модерна в России, и атмосферу артистических богемных клубов. Лоло-Мунштейн культивировал в своих «Масках» тип «интимного» театра-клуба. Русские кабаре унесли в «отрыв» дух дерзких экспериментов Доктора Даппертутто в «Доме интермедий», Евреинова в «Кривом зеркале», хотя их художественный уровень был порой не столь высок. Улетит от «света большевизма» и найдет себе пристанище в Париже и США «Летучая мышь» Никиты Балиева.

Однако, в первую очередь, обратим внимание на те кабаре и программы театров малых форм русского Берлина, которые уже отражали жизнь *русской колонии* в «ссылке», обращаясь при этом как к «нашим за границей», так и берлинцам. Примером может служить одна из первых программ «Голубого сарафана» – «Москва в Берлине», «обозрение в двух действиях г-на Молдавцева»[60]. Звездами этого представления были Михаил Далматов в роли Петра I и Лидия Потехина в роли Екатерины II – однако, не интермедии из Российской истории имели главный успех у публики. (Равно как не был оригинален и И. Прохоров – в роли Пьеро «по Вертинскому»[61].) Молдавцев умело чередовал музыкально-танцевальные номера с «пародиями на цыганский хор» и небольшими «лубками» – от беззлобного «Ваньки-Таньки» (старой вещи на музыку Даргомыжского) до кусачего «Рубля и марки» и «Петра Великого и Троцкого». Посетители заведения на Ноллендорфплатц могли как «предаться дворянским воспоминаниям», так и позубоскалить по адресу большевистских властей на родине. Представление давалось как бы с позиций «русского берлинца»[62].

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH

RUSSISCHES THEATER
DER BLAUE VOGEL

DIREKTION: J. JUSHNY

PROGRAMM

5.
Kosaken
Dekorationen von Jadrichinsky / Volksmusik arrangiert von Popello-Dawidoff

1.
Katharina die Grosse
Dekorationen von Jordan / Worte von M. Dolinoff / Musik arrangiert von Popello-Dawidoff / Inszenierung und Regie von Jushny

*Руководитель театра «Синяя птица» Яков Южный и Федор Шаляпин. Справа: афиша гастрольного спектакля «Синяя птица» в Цюрихе. Символ театра – птица, расправляющая крылья, – сделан москвичкой, художницей ВХУТЕМАСа Еленой Лисснер-Бломберг, которая с 1921 года жила в Берлине*

Поэтому, когда мы говорим об особом успехе русских эмигрантских театров-кабаре – мы говорим о «сражении», выигранном в трудных условиях – чисто профессионально, хотя бы. С другой стороны, «русский берлинец» явственно требовал своей среды, своего театра. Явление же незнакомого *русского на подмостках* у немцев вызывало любопытство и стремление разгадать секрет притягательности лихого, удалого в своей саморастрате «Руссишес Ничего», как назвал компекс представлений о русских в головах берлинцев Юлиус Майер-Грефе[63].

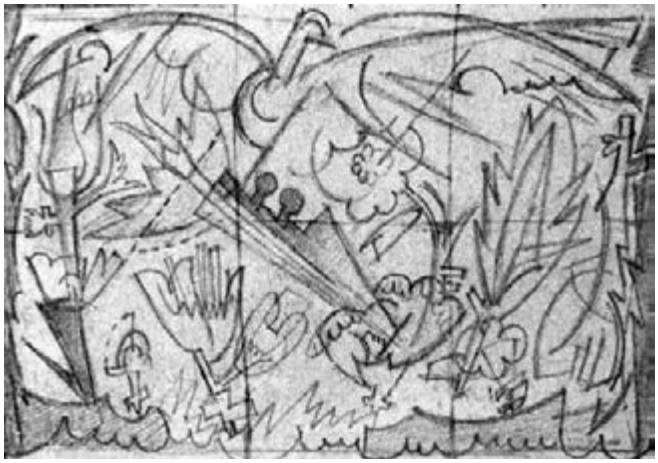
Как бы подводя итоги бурной театральной зимы 1922 г., в Доме искусств состоялся диспут на темы русского театра, о котором сообщила газета «Накануне»[64]. Докладчиками были Андрей Белый, Зинаида Венгерова и Алексей Толстой. Отмечая, в частности, что, как и в России, русские театры-кабаре в Берлине дают «великолепный душевный массаж», Толстой попытался определить причину успехов русских на театральном поприще, задаваясь вопросом, почему именно Россия хранит «священный огонь театра». Ответ он нашел такой: «В самом народе есть чувство театра, любовь к театральности. Русский мужик – по своей природе актер. У него издавна большая охота к зрелищам – обрядам, ряжениям, к хороводам, к скоморохам и прочим разбойникам…»[65]. Древние театральные представления, говорит он, носили выраженный «дивертисментный характер». Ракурс подобной дискуссии в Доме искусств позволяет под иным углом рассматривать и «русский дух» берлинских кабаре. Русский модернизм в искусстве театров-кабаре, во всем их стиле, начиная

с оформления, носил ярко-выраженное «национальное лицо» – зачем, почему? Возникает вопрос: бралось ли это *национальное* всерьез или пародировалось? Как далеко простиралась эта стилизация? Данные вопросы наиболее часто связываются с деятельностью самого известного и яркого театра-кабаре русского Берлина – «Синяя птица», воплотившего в себе определенный *тип* русского театра-кабаре «в ссылке» и имевшего определеннные отличия от предприятия Балиева в Париже и США.

Первые афиши театра «Синяя птица» на русском и немецком языках появились в начале декабря 1921 г. Морозными предрождественскими вечерами небольшой зал на Гольтц-штрассе, 9 был заполнен до отказа… «Кто была эта публика?» – задавался вопросом немецкий обозреватель. – «О нет, это не были сливки светского общества, как на “русских сезонах” в Париже…, не были это и избалованные свободной жизнью высокомерные представители художественной богемы…»[66]. Да, на открытии был бомонд Берлина, но это не была постоянная публика «Синей птицы»… Забегая вперед, надо сказать, что только за два года, к концу 1923-го, «Синяя птица» даст 2000 спектаклей и побывает на гастролях в 13 странах. За это время будет показано три смены программ, настоящими «бестселлерами» станут «Живой фарфор», «Катенька», «Рязанская пляска», «Бурлаки», «Американский джаз-бенд» и др. Не только «вечная Россия», повергавшая русскую публику в ностальгию, а немецкую – в умиление, но и сиюминутное, авантюрное, промелькнувшее на страницах газетной хроники или на экране, могло быть тут же перенесено и стать предметом «искусства малой сцены». И Южный не очень хвастал, когда говорил, что может любую современную кинематографическую мелодраму уложить в эстрадный номер.

Бесспорно одно: бывший актер Московского драматического театра Яков Южный начинал в Берлине новое театральное дело, а не открывал «филиал» московского театра миниатюр. В этом смысле его традиционная острота, с которой начинались первые спектакли: о том, что в его биографии записано «умер в 1918 г. в Москве», а «родился в 1921 г. в Берлине» – не такой уж пустяк. При открытии театра на сцену вышла вся труппа: 21 человек[67] вместе с директором театра спели «торжественную кантату». Вместо прежнего пугающе-загадочного слова «Ничего», которым измерялось немецкое познание русских, берлинцы стали узнавать с помощью «Синей птицы» этих странных людей, а одновременно и героев Достоевского, так точно раскрывшего в «Записках из Мертвого дома» этих русских – «которые живут долгими днями, трудовыми буднями, сберегая грош за грошом только для того, чтобы раз в году чисто по-русски забыть все и ринуться сюда, смывая все сбережения в потоке хмельного вина, – в бездну, в наслаждение, жуткое до боли, до экстаза, до забытья»[68].

Исключительную роль в создании особой атмосферы «Синей птицы» сыграли художники, в краткие сроки переделавшие и расписавшие интерьеры бывшего кинотеатра в районе Шенеберг: Павел Челищев, Ксения Богуславская (супруга художника Ивана Пуни), Андрей Худяков. Знаменитый символ театра, впоследствии украсивший афиши и программки, был создан художницей Еленой Лисснер-Бломберг, по заданию Южного, техникой аппликации и стал счастливой находкой.[69] Мотив «синей птицы», присутствующий в мифопоэтике разных народов, был взят не просто из метерлинковской сказки – сама художница подчеркивала его *русское* происхождение. Видела она в молодости и спектакль МХТ. Создатели театра старались, чтобы русские берлинцы, войдя в театр, попадали «к себе домой», а немцы – к русским «в гости»: вот крохотное фойе-сени, лубочная роспись, мебель карельской березы, дымковские игрушки на полках, расставленные как-то невзначай[70].



*Эскиз декораций для театра, сделанный Лисснер-Бломберг в 1921 году. Художница выиграла официально объявленный конкурс, и берлинская фирма Baruch выполнила эту работу*

Вечера и программы «Птицы» бывали тематическими: Татьянин день, Пасха, и т. д. Тогда немецкой публике суть происходящего объясняли программки, изначально печатавшиеся на двух языках. Со временем Южный вырабатывает особый язык – русско-немецкое эсперанто, или, как он говорил, «немецко-нижегородское наречие», для завсегдатаев уже не требовавшее никаких комментариев. На нем было построено абсолютное большинство знаменитых каламбуров Южного. В итоге, жупел русского языка был легко преодолен вместе с немецкой настороженностью – по характеру общения с залом «Синяя птица» не имела аналогов и соперников. Это был совершенно особый, доверительный стиль отношений. Однако истинную театральность номерам программ «Синей птицы» принесла режиссура Рихарда Болеславского, Александра Санина, Исаака Дувана. Необходим был и любимец публики – и он явился: «кумир блондинки и шатенки – Виктор Яковлевич Хенкин».

В отличие от самого хозяина – похохатывающего, круглоголового, похожего на бильярдный шар, «катающийся между сценой и залом», сам облик которого чем-то напоминал знакомую «маску» Балиева, – Хенкин выступал не только в роли конферансье, но имел целый ряд «гвоздевых номеров». Комизм почти всегда рождался из сочетания абсолютной серьезности исполнителя и ничтожности произносимого текста, построенного к тому же на кавказском, еврейском и др. акцентах. Типичный пример – коронный номер Хенкина – песенка кинто, где артист изображал «драматически разделенных» рекой ишака и его мать[71].

Не меньший успех выпал на долю другой звезды предприятия Южного – Юлии Бекефи, покорившей Берлин сразу и абсолютно, с первого появления на сцене. Коронным номером Бекефи была «Рязанская пляска», которой немецкий критик Макс Брод посвятил отдельную статью. В этой исполнительнице народного танца он увидел некий собирательный образ русской женщины: «Она выступает на сцену, качаясь в зыбком, медлительном ритме. Вот она – широкоплечая, здоровая деревенская красавица с колдующей улыбкой… И нам, чужим людям, становится ясной эта заостренная черта русской души из этой вот “Рязанской пляски” Юлии Бекефи, из этих, рожденных на просторе *качаний души* и *тела* (выделено мной – *М.Л.*) скорее, чем из долгих психологических изучений, из брошюр или каких-нибудь научных трудов и трактатов»[72].

J. JUSHNY's THEATER

DER BLAUE VOGEL

**Lieder-Texte**

Die Reihenfolge der Bilder wird von Direktor Jushny angesagt.

***„Blauer Vogel"-Ouverture.***

Musik von N. Gogotsky.

***Der König rief seinen Tambour.***

Musikalisches Drama.

Der König: N. Dobrinin. Die Königin: V. Arenzwari-Jushny. Die Marquise: E. Porfiriewa.
Der Marquis: K. Javorsky. Der Narr: W. Rumjantzeff.

Der König rief seinen Tambour. —
Der König rief seinen Tambour. —
„Trommle zusammen alle Damen!"
Und gleich die erste, die er sah,
Setzte sein Herz in Flammen.

„Sag mir, Marquis, wer ist dieses Weib?
Sag mir, Marquis, wer ist dies Weib?
Sieh Dir sie an genau!"
„Hier diese Dame, Majestät,
Ist meine eigne Frau —."

„Lieber Marquis, sei mir nicht bös,
Lieber Marquis, sei mir nicht bös,
Du sollst mich dankbar sehen!
Marschall von Frankreich sei fortan
Führer meiner Armeen!"

„Wohlan, adieu, Liebste, adieu,
Wohlan, adieu, Liebste, adieu — —
Oh, Du mein Glück, mein Sehnen!
Dien' meinem König, da er 's will — —
Ich geh' von Dir mit Tränen — —!"

**Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.**

*Текст песни «Синяя птица» на немецком языке*

К концу 1923 г. Южным было создано уже три программы, вместе насчитывающие около 40 номеров. Главенствующим был принцип «живой картины», когда перед глазами публики оживали художественные или житейские воспоминания, дававшие как бы калейдоскоп прошлой русской жизни. Так, выдающимся номером, поставленным Александром Саниным, были «Бурлаки» – ожившая иллюстрация репинской картины, сопровождавшаяся хоровым русским распевом. Одних деятелей немецкого театра она потрясала своей мощью, других – как Альфреда Полгара – настораживала: гиперреалистически явленный на фоне условного кабаретного «неба» мрачный сюжет русской волжской повседневности казался им сбоем вкуса, утяжелявшим программу[73]. Однако рядом с ним, как пишет Майер-Грефе, разыгрывалась стилизация старинной рыцарской французской баллады «Бить в барабан велел король…» (Le roi fait battre tambour), решенная Челищевым в кубистическо-экспрессионистском духе, где персонажи напоминали ожившие фигурки игральных карт и удивительно походили на придворных из мира «Эрика XIV» Вахтангова и Нивинского. В пестрых одеяниях оживших дымковских игрушек, в оперении «жар-птиц», вносивших в художественную палитру кабаре внятные элементы фовизма, в аляповатом наряде Петрушки доминировали знакомые цвета русского примитива – желтые, лиловые, оранжевые – обнаруживая преемственность эстетики кабаре с русскими балетами Дягилева в оформлении Льва Бакста. Немецкая критика (Майер-Грефе) не просто говорит о «сказочном модернизме» русского театра, но замечает даже, что «Синяя птица» по своей эстетике стоит между «мирискусниками» и тем «новым русским направлением», которое здесь уже известно по композициям Кандинского. И Оскар Би, и Эрнст Ангель говорят о смелых гротесках и стилизациях, доступных разве что фольклору, о «мире детства», в который неизбежно погружается зритель «Синей птицы»[74].

Значение предприятия Южного, прежде всего, в выработке особо популярного в эмиграции «русского стиля», опиравшегося на лучшие художественные достижения серебряного века, сочетавшего лубок (программки так и писали без перевода: Lubok) и восточную орнаментальность, элементы кубизма с тонкой стилизацией средневековой образности, знакомой русскому театру 1910-х гг. по мейерхольдовским постановкам, в том числе и «Trantis der Narr» Эрнста Хардта. Стиль лучших работ Южного аккумулировал художественный опыт русского зрелищного искусства, являя разом богатейшую его палитру в одном спектакле. Закрепляя в узнаваемых и будивших ассоциации картинах опыт ближайшего прошлого, он создавал столь необходимую русскому человеку в отрыве среду, ауру, «русскую нишу» в чужой культуре, где хотелось быть, играть, существовать.

Другой русский театр-кабаре – «Ванька-встанька» – был основан два месяца спустя известным поэтом-бардом Николаем Агнивцевым – одной из колоритнейших фигур русской эмиграции в Берлине. «Ванька-Встанька» также получал от Полицайпрезидентуры вид на жительство в Берлине и анкета-биография Агнивцева также была нами обнаружена в Главном архиве земли. Но Агнивцев не выдержал испытания отрывом, слишком тосковал и отважился вернуться в Советскую Россию, где остался еще менее востребованным, спился и закончил свою жизнь, как пишет Роман Гуль, под забором – «но забор был не чужой, не басурманский, а свой, расейский забор, – под ним, говорят, умирать гораздо приятнее»[75], – не без сарказма говорит он.

«Очень высокий, очень худющий, с некрасивым, но выразительным лицом.., он был воплощение бескрайней русской театральной богемы»[76], – такой портрет создает летописец, отмечая, что у Агнивцева был несомненный талант, «гипнотический, легкий и органический». Агнивцев был пьян мучительной ностальгией, и смех его всегда был смехом сквозь слезы. Он не был чужд самоиронии, за которую хватался, как за спасательный круг. «Внутренний пейзаж» Агнивцева в ссылке наилучшим образом передает стихотворение «План города Санкт-Петербурга», написанное, вероятно, в тяжкую минуту:

В Константинополе у турка
Валялся порван и загажен
План города Санкт-Петербурга
(«В квадратном дюйме – 300 сажен»).
И взрогнули воспоминанья!
И замер шаг! И взор мой влажен!
В моей тоске, как и на плане,
«В квадратном дюйме – 300 сажен»…[77]

Ясно, что под маской «Константинополя» мог выступать любой европейский город, в первую очередь – Берлин.

То, что Агнивцеву удавалось поэтически выразить тоску десятков тысяч людей, притягивало к нему русских колонистов, как магнит. По эскизам художника МХТ Н.А. Андреева было расписано одно из театральных помещений на Курфюрстендамм, на пересечении с Уландштрассе, где и стал обитать русский «Ванька-встанька». Название кабаре было «говорящим»: оно утверждало: какие бы удары судьбы ни сыпались на русского в отрыве, он всякий раз, как детская игрушка, поднимался и демонстрировал Западу завидную живучесть. Собственная психофизиология Агнивцева сыграла здесь немалую роль: из «острых углов своей души и тела» он создавал эти номера, заставлявшие зрителя приходить на одни и те же его программы вновь и вновь. У Агнивцева также две-три вещи поставил Болеславский, однако центром всего кабаре был он сам, человек-театр, человек-ч*увствилище*. Агнивцев – это далеко не то, что немцы нарекли «стиль примитив», никаких шаржей, карикатур – он был изыскан во всем, все в его заведении было первоклассным – и росписи художника, и вина, и исполнение виднейших балетных прим.

Агнивцев программно строил всю деятельность на культе «своего». Своим девизом он начертал: «Все свое и ничего чужого». Другими двумя заповедями были: «1) Тема театра – Россия; 2) Репертуар театра – жест, звук, краска»[78]. Каждый из элементов был отшлифован, случайные импровизации отвергались. Драматургия номеров продолжала заявленные контрасты: одинокий, бледный, обездоленный поэт посреди мира роскоши и сытости декламировал стансы – то свои, то Апухтина, то Блока. Миниатюры Агнивцева, в центре которых всегда стояли образы, общепонятные для всякого русского – «В старой Москве», «Санкт-Петербург», «Бахчисарайская луна». Номер, для которого Андреев написал панно-ковер, строился на стилизованном представлении поэта о востоке и сопровождался мелодекламацией самого Агнивцева и «лунным танцем» Евдокии Смирновой. Его репризы, стихи знали наизусть, и они служили своеобразным паролем в эмигрантской среде. А самой среде были также посвящены специальные номера – «Русь эмигрантская», «Хоровод виз»,

«Бродячие комедианты». Украшением второй программы Агнивцева стала поэма «Царевна-Несмеяна», решенная как представление русской сказки. Это направление работы Агнивцева было сходно тому, в котором создадут свои шедевры в Париже Иван Билибин (1876–1942 – сценограф) и Борис Билинский. Вот и здесь сотворили волшебную сказку, заворожившую зрителя причудливыми узорами русских сарафанов и переливами парчи на «исторически-точных» боярских кафтанах.

В итоге, всегда происходило так, что кабаре являли собой противоположность гастролям МХТ и выступлениям его актеров – выражая таким образом различный характер двух различных форм русского театра. Если в Москве 1910-х гг. «Летучая мышь» Никиты Балиева была *alter ego* МХТ Станиславского, т. е. своеобразным «антимиром», кривым зеркалом серьезного, то в Берлине, – хоть театру-кабаре и довелось «оттенять» гастроли МХАТа и прочие выступления его бывших и нынешних сотрудников, – ни «Синяя птица», ни «Ванька-встанька», ни «Кикимора» не ставили своей задачей *пародирование* конкретного театрального явления, авторитетного театра «с принципами» (например, МХТ, его стиль, его штампы). Альтернативность носила здесь, прежде всего, эстетический характер.

Бесконечно далеким от праздничного «лукоморья» Южного и меланхолии Агнивцева было кабаре Самуила Вермеля «Кикимора», сформировавшееся в Париже и осевшее в 1922 г. на солидный срок в Берлине. Вермель имел уже громкую репутацию футуриста, сподвижника Давида Бурлюка, опыт участия в поэтических объединениях «Центрифуга» и «Контрагенство муз». Он боготворил Велемира Хлебникова и провозглашал примат «самовитого слова», в сочинении неологизмов соревновался с Учителем. Из громких доберлинских и дореволюционных акций Вермеля следует назвать опыт создания театральной студии «Башня», название которой опять-таки обманчиво намекало на Вячеслава Иванова, но было гораздо ближе Николаю Евреинову или Мейерхольду рубежа 1910-х – начала 1920-х гг. От Евреинова Вермель взял принцип монодрамы, стилизовав ее под Маяковского (в роли поэта в данном случае выступал Василий Каменский), от Мейерхольда взял термин «гротеск», получивший в студии статус самостоятельного «предмета». Лавры Доктора Даппертутто (=Мейерхольда) не давали ему покоя – и он перекрестился в Челионати, персонажа из «Принцессы Брамбиллы» – одновременно сочувствуя гофманским увлечениям Александра Таирова. Собрав буквально «по нитке» все яркое в современном театре, он предполагал переплавить его в своей «Алхимии театра» – так назывался его манифест в Берлине, 1923 г. Как и все грандиозные проекты, замысел альманаха натолкнулся в эмиграции на серьезные препятствия и канул в Лету. Однако идея синтеза всех жанров под одной крышей не умерла. Самуила Вермеля удручала однообразность русских драматических трупп, которые ему удалось повстречать в Берлине и Париже. Он обсуждал эти проблемы с живописцем Василием Шухаевым, а затем, в Берлине – с Алексеем Ремизовым. (Влияние последнего и отразилось, вероятно, в названии кабаре).

Круг единомышленников Вермеля расширяется, он мыслит свою деятельность как межкультурную, привлекая актеров, критиков, художников к своим проектам: в том числе Би и Бархана, весьма критично относившегося к русским драматическим труппам. Вермель не рассматривает себя как некоего полпреда русской культуры, он – носитель эстетического эсперанто, помогающего ему быстро освоиться в европейской среде. Русская образность изначально воспринимается им в сильно стилизованном виде, ни о каких картинах *реальной* русской жизни, ни о традиционных

сказках и проч. не идет и речи. Из всего русского искусства Вермеля интересует круг образов, строго ограниченный поэтикой серебряного века. Наконец, в его театре-кабаре «Кикимора» *пьеса* преобладает над *дивертисментом*, – его театр показывает не что-нибудь, а «Покрывало Пьеретты» Шницлера, что безусловно носит программный для Вермеля характер.

Важным отличием начинания Вермеля была постановка чисто театральных задач, вне учета «среды и момента», вне контекста строения театра эмигрантской России. В этом плане, несмотря на отдельные блистательные находки и даже похвалу Артура Шницлера, присутствовашего на вермелевской премьере, – он не имел четкого адреса: по мнению русского критика А. Авдеева, Вермель местами соскользнул в оперетточность и, в лучшем случае, явил зрителю некое «soiree маскарада»[79], по мнению немецкой, – «представление не было вершиной искусства, хотя, благодрая национальности участников и было в нем что-то русское»[80]. Таким образом, несмотря на все недостатки частного спектакля, термин «русский театр», «русское исполнение» здесь становится неким знаковым понятием. Но как раз это менее всего было «запланировано» постановщиком спектакля Вермелем.

Подлинно ценным, с нашей точки зрения, в опыте Вермеля было не стремление реставрировать конкретные театральные эксперименты эпохи «модерн» (в качестве источника здесь просматривается таировский спектакль 1916 г., где участвовал сам Вермель), а уловить *невербальную,* в целом, динамику нового европейского театра XX в. и создать особый театр пантомимы, стоявший на границе с искусством нерассматриваемого здесь Русского романтического театра Бориса Романова. Вермелевская постановка была задумана как исключительно элитарная – и потому «прочитана» была именно теми представителями русской литературной и артистической богемы, которые непосредственно пережили духовный опыт символизма и ныне продлевали его в берлинской мизансцене антропософскими увлечениями и спиритическими сеансами. Неслучайно так диссонирует со сдержанными комплиментами русской и немецкой печати глубочайший духовный отклик, который зафиксировала в своем дневнике Нина Берберова. Этот отклик свидетельствует об особых духовных «подтекстах» и о внутренней иерархичности русского культурного Берлина, достаточно замкнутом характере его элиты. (Роман Гуль отмечает, что в свой берлинский период так и не смог попасть на ряд «закрытых» литературных акций.) Итак, Берберова вспоминала: «26-го вечером мы все (с Белым) были на «Покрывале Пьеретты» (пантомима Шницлера с Чабровым, гениальным Арлекином; через пять лет он стал монахом *католического* монастыря в Бельгии). Чабров был гениальным актером и мимом, иначе не могу его назвать, магия его и яркий, большой талант были исключительны. С ним вместе играла Федорова-вторая (впоследствии заболевшая душевной болезнью) и Самуил Вермель, игравший Пьеро. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля – ничто никогда так не врезалось в мою память, как это “Покрывало” – ни Михаил Чехов в “Эрике XIV”, ни Барро в Мольере, ни Цаккони в Шекспире, ни Павлова в “Умирающем лебеде”, ни Люба Велич в “Саломее”. Когда Чабров и Федорова-вторая танцевали польку во втором действии, а мертвый Пьеро появился на балконе… я впервые поняла (и навсегда), что такое настоящий театр, и у меня и сейчас проходит по спине холод, когда я вспоминаю шницлеровскую пантомиму в исполнении этих трех актеров. Такой театр входит в кровь зрителя, не метафорически, а буквально, что-то делает с ним, ме-

няет его, влияет на всю его дальнейшую жизнь и мысль, являясь ему как бы причастием»[81].

«Дальнейшая жизнь» в образно-лексической структуре отрывка предстает и как иная, миражная или загробная жизнь, или даже безумие, с которыми граничит этот опасный сеанс вызова мистического духа, вышедшего за пределы театрального представления.

Если вспомним, что в жанре кабаре в Германии в это время работают и Бертольд Брехт, и Эрвин Пискатор, на сценах, экранах, в рекламе царит Массари, тогда увидим: «Синяя птица» и «Ванька-встанька» не просто стали эпицентрами русской культурной жизни в Берлине. Не повторяя европейский стиль, оставаясь на самобытной почве, русские кабаре по уровню мастерства – хорам, танцам, разговорным интермедиям – по-своему ни в чем не уступают лидерам немецкой «Клайнкунстбюне»[82]. Впереди было еще девять лет жизни «Синей птицы», хоть и перешедшей затем уже полностью на немецкий язык. Русская «колониальная критика» торжествовала вместе с публикой и эпатировала местного обывателя: «В сердце Пруссии – два русских кабаре… Голодая и обжираясь, мирясь и ссорясь, стреляя и стреляясь, мы не разучились петь, плясать, лицедействовать. И сверкают брызги нашего шалого таланта среди плоско-культурных уравновешенностей, не понимающих нас, но заражающихся нами и потому все нам прощающих»[83].

Возрастала и конкуренция. В самом конце 1920-х в Берлин прибывают новые знаменитости русского театра – принимает предложение Макса Рейнгардта Михаил Чехов: с ноября 1928 г. он играет в постановках немецкого режиссера в Вене и Берлине. Весной 1929 г. его игра становится достоянием берлинской публики. Встретившая его на Курфюрстендамм Алиса Коонен была поражена его благополучным видом вписавшегося в артистическую богему Берлина человека: «… выйдя вечером на Курфюрстендамм, мы увидели идущего нам навстречу Михаила Чехова – в цилиндре и фрачной накидке. Удивительно было, с каким шиком и элегантностью шагал он в этом, казалось бы, неожиданном для него костюме»[84].

И опять – ощущение некоей театральности. А вскоре начинаются репетиции «Двенадцатой ночи» в Габиме; в апреле 1930 г. происходит встреча с приехавшим в Берлин Всеволодом Мейерхольдом. Прибытие актера со своим театром в Берлин станет важнейшей вехой в культурном общении двух столиц, завершившей десятилетие. Однако всё это вопросы, лежащие за рамками нашей темы, и достаточно описанные[85].

## Первые итоги театрального опыта «Русского Берлина». Актерство эмиграции на перепутье. *Руссен-мюдигкайт*[86]

Опыт по пересадке русской артистической богемы и самого театра в Берлин уже вскоре потребовал осмысления, к середине 20-х накопились проблемы и наступило время разочарований и даже кризиса. Понятия *театра* и *жизни* сошлись воедино и в названии журнала, который с 1921 г. дополнил пеструю картину русскоязычной прессы. Страницы «Театра и жизни» (потом журнал сменит название на более профессиональное: «Театр») позволяют реконструировать бытие театральных скитальцев. Упоминаем о нем и потому, что здесь сотрудничал целый ряд широко извест-

ных литераторов: Марк А. Алданов, Илья М. Василевский-не-Буква, барон Николай В. Дризен, Евгений А. Зноско-Боровский, Сергей К. Маковский, Владимир Набоков, Юрий И. Офросимов… Издание можно было приобрести во всех киосках, на вокзалах и в русском книжном магазине «Москва». Вновь прибывшие могли тут найти информацию о русских актерах и режиссерах, адреса театров, прописавшихся в Берлине, списки трупп, анонсы актерской биржи, рецензии на последние премьеры. «Театр и жизнь» стремился аккумулировать театральную мысль «в отрыве» и вскоре стал дискуссионным клубом.

По мнению участников дискуссии о русском театре и путях русского актера, ситуация «ссылки» – временна, вынужденна и, что важно, неблагоприятна. В середине 1920-х пафос риторических вопросов сменился трезвой интонацией и желанием смотреть на проблему серьезно, отвергая дешевый лубок а-ля рюс, «дилетантизм и квазиискусство». Обращает на себя внимание ряд позиций, постоянных для русского сознания. Русская интеллигенция и в отрыве не мыслила себя, своей «жизни» без «театра» – особого ритуала, коллективного действа, сродни посещению русской церкви[87]. Так, в очерке о Елене Полевицкой содержится характерное замечание: «Это ведь не был спектакль, театральное здание, очередная постановка… Все притихло, умолкло. И в душе у каждого вставали дальние образы. Одним своим голосом только, повадкой своею… вернула нас русская женщина в одно мгновение сразу к себе»[88].

Суждения подобного рода – свидетельство того, что: 1) ситуация ссылки резко обострила проблему национальной самобытности, самоопределения театральных деятелей; 2) вызвала к жизни новые расколы и объединения по эстетическим принципам; 3) русское актерство рассматривало свое пребывание за рубежом как некое «культурное посольство» – причем, пока не противопоставляло себя в этом смысле «оставшимся». Наиболее показательна в этом смысле ситуация с МХТ – имеются в виду «качаловская группа», возвратившаяся в СССР, и затем «Пражская ветвь», образовавшаяся вследствие раскола. (В середине 20-х труппа Германовой здесь с успехом покажет «Медею», обнаружившую связи с немецким экспрессионизмом[89].) Театральный разлом, – по мнению большинства деятелей, менее всего вина *самих* артистов. Факт рассеяния уже ставит театральное дело на грань существования. «Актер не может быть разбит, расчерчен на куски… А мы – эмиграция – это разрозненный, растянувшийся эшелон – шагаем по чужбине в осеннюю распутицу, виновные только в том, что любили родину. Поэтому, судя тех, кто на сцене, предлагается не забывать: “Они – это мы сами”»[90].

Консолидирующую роль русских спектаклей в Берлине отмечает и Макс Рейнгардт, и другие деятели немецкой сцены. К вопросу о «русской игре», распространяющемся «русском духе» обращаются не раз – речь о некоем особом отношении к театральной деятельности русских, таинстве, которое видит немецкий режиссер в русских спектаклях, говоря: «У русских мне чуется порою какое-то почти религиозное служение, смирение и полнота, напряженность души»[91]. Соединение в русском театре религиозности с новой «аналитичностью» находят и упоминавшиеся Йосеф Грегор и Рене Фюлоп-Миллер[92].

Юбилеи известных артистов в эмиграции превращаются в события общекультурного свойства. Так, двадцатилетие сценической деятельности Степана Кузнецова отмечается как «храмовый праздник сцены». В ходе его празднования в эстетической полемике сходятся авангардисты и традиционалисты, западники и почвенники.

По мнению некоторых, юбиляр достоин похвал за то, что «не изменил старым богам»: «Мимо него прошла манящая, пьянящая изысканность новых поисков, кокетливо позвала его за собой. Он – не пошел…»[93]. Одна из статей В. Амфитеатрова-Кадашева озаглавлена «Здесь и там» и представляет собой сопоставление театров обеих Россий – советской и зарубежной. Автор не без иронии пишет: «Про эмиграцию принято выражаться в двух стилях: Стиль № 1: громовые фанфары. Эмиграция – носительница русской культуры. Стиль № 2: жалобные сопелки. Эмиграция – безпастушное стадо…»[94].

Говоря об этих стилях как об очередных досадных русских крайностях, Амфитеатров все же считает, что наиболее правы «фанфаристы», ибо театр эмиграции отличает «внутренний лад, строй, традиция, порядок, ordre». Признает он, что «театр эмиграции совсем не такой победный», как советский театр начала 20-х годов[95]. Тем не менее скромный, повторяющий «зады» театр «здесь» не менее важен, чем дерзкий, ищущий театр «там»[96]. К дискуссии о театре в эмиграции и русском актере подключается все больше мастеров, как русского (здесь и там), так и немецкого театра: Мария Германова, Александр Моисси, Николай Евреинов, Николай Фореггер, Касьян Голейзовский, Федор Комиссаржевский и другие. В период 1922–23 гг. все отчетливее проявляется желание рисовать русский театр как некую *целостность*.

Первым из журналистов эмиграции, обобщивших опыт того, что творилось на большой «общерусской рампе» в Берлине, был Юрий Офросимов[97]. Автор и ироничен, и порой приходит к печальным выводам, но – что важно – он оценивает русский театр в ссылке – с позиций представителя русской культуры, лишенного пафоса «культуртрегерства» и эмигрантского ура-патриотизма. Его книга дала анализ русского театрального Берлина «снизу доверху» в период его расцвета (так, например, Пражская группа МХТ символизирует «верх». Однако их спектакли здесь – по духу мхатовцы, хотя и базируются в Праге, «скорее, берлинцы»[98] – редкие праздники серьезного театра). «Русская актерская жизнь в Берлине, – пишет он, – напоминает огромный проходной двор, какую-то колоссальную ярмарку искусства и лжеискусства… Всякий спектакль являлся предложением, но не всегда предложение соответствовало спросу»[99]. Сарказмом пропитан очерк Офросимова «При столиках», – притом, что в это время жанр театра-кабаре *соперничает по популярности* с «великим немым». Мастеру кабаретного жанра более всего необходимо «тонко чувствовать сегодня, что протекает за стенами театра», а не просто вариться в «русском соку», дабы не быть лишь добавлением к блинам и борщам. Отдавая дань режиссерскому искусству Южного, Санина, Болеславского, высоко ценя художников «Синей птицы» и отмечая успех «серьезных вещей» вроде «Бурлаков» (посмотрев их, Моисси написал в альбом театру, что подобное впечатление на него «производила разве что Девятая симфония Бетховена»), Офросимов считает: Южный пошел на поводу у легкой славы, обучая немецкую публику хором кричать: «Еще раз!». Не без иронии пишется о том, что «Синяя птица» задохнулась в собственном успехе, «бросила свое гнездо»: «Я.Д. Южный повторял в сотый раз свои классические остроты, так и ждалось, что разведет он, как Митиль, руками и спросит: “Господа, а не встречали ли вы нашей синей птицы?”»[100].

Еще одна затронутая струна отзывалась, наверное, в сердце каждого русского в Берлине. Речь идет о характере восприятия русского искусства *немецкой* публикой, о том самом «рынке», на котором русские мастера выставляли свой «товар». Достойна ли, другими словами, всей этой ярмарки талантов, парада остроумия, конку-

рентной борьбы за сценические площадки эта случайная и праздно-равнодушная берлинская публика, далекая от русских метаний? «…Здесь, в мирной обстановке, когда не спешишь ни на фронт, ни на Северный полюс и когда после выхода из театра на люднейшую берлинскую улицу чувствуешь вокруг себя такую тишь, такое провинциальное успокоение жизни – здесь хочется вспомнить один детский анекдот: – Мама, как называется этот город? – А что, девочка, он тебе очень понравился? – Нет, я хочу запомнить просто для того, чтобы, когда я вырасту, никогда сюда больше не приезжать»[101]. Русский интеллигентский максимализм не прощает немцам их занятости своими делами – да до того ли последним, когда через несколько месяцев рухнет экономика Веймарской республики и стоимость белой булочки за сорок пять пфеннингов возрастет здесь в тысячи раз. А вместе с этим вскорости рухнет и берлинское благополучие русского актерства, и многим придется менять адреса. А берлинский из них окажется далеко не худшим воспоминанием.

Другой бич, по мнению журналиста, – «русская душа» – штамп, то и дело мелькающий на страницах немецкой прессы. «Русскость» в меру таланта и сил представляют немецкой публике уже свои театры, одаривая публику «развесистой клюквой». Мода на *руссиш* (в оригинале по-немецки – *М.Л.*) тиражируется повсюду. В постановках пьес русского репертуара в театрах «Ам Курфюрстендамм», «Театер дер Шаушпиллер» студенты ходят в русских косоворотках, при словах «Москва звонит» бьют тарелки, а рядом с Тверским бульваром плавают парусники[102]. В постановке «Дней нашей жизни» все действующие лица поголовно *по-русски* пьяны… Появляется «Красный ужас»: балет, где *красный террорист* в *костюме Арлекина танцует вариации Сен-Санса*! (А может быть, это не просто накладки и издержки, если вспомнить о вышеупомянутой театральности русской берлинской жизни? О ряженых красных эмиссарах в Берлине? О шпионках из числа русских певиц эмиграции? И, наконец, кто самый радикальный советский режиссер, как не «красный Арлекин»?) Русский зритель страдает не от самой «клюквы» – «Обидно одно, что мы-то еще понимаем, в чем дело, но интерес таких пьес для немцев – конечно, все тот же штамп *русской души*»: «И когда соседи по креслам, зевнув, после первого же акта вздыхают: – Ах, узнаем этих русских, – им хочется крикнуть: да не мы это, Господи, не мы!»[103]. Эти бесконечные русские, со своею безмерною душою и безо всякого *орднунг*…

Задаваясь вопросом, почему улетела «синяя птица» русского актерского счастья (речь уже не о театре с подобном названием), – почему же не воплотилась эта прекрасная идея создания здесь постоянного русского драматического театра, Офросимов не склонен винить хозяев – ведь и «за» было очень много: и обширная русская колония, и первоклассные актерские единицы… Ответ он находит в психологии «беженства», отщепенства: «В Берлине беженец еще не осел – вдруг: пожалуйте в театр, да еще в какой-то новый!.. Еще хватало пойти по старой памяти: на художественников, на Александринку и московские студии, но… чтобы пойти глядеть что-то неизвестное?!»[104].

Но причина лежала не только в них, но и *в самом актере*. «Здесь, в эмиграции, как нигде разыгрывались актерские самолюбия, забывая о том, что Берлин – не русская провинция… Актеры… очень редко сходились в ансамбль»[105].. Были и трудности эмигрантского свойства: кочевали из конца в конец Берлина в поисках помещений беженские счастливцевы и несчастливцевы – хлебающими пустой чай в берлинских кафе встречал их автор очерка «История села Горюхина» во второй по-

ловине двадцатых… Актеры все еще, в большинстве, считали еще себя *мигрантами, а не э-мигрантами,* а потому и не стремились создать театр на *постоянной* основе.

Пытаясь найти новое место в чужой культуре, русская артистическая богема извлекала особые дивиденды из театральности своего бытия, обживая амплуа эмигранта, и делала трагикомедию своего существования в отрыве *предметом театра* – неслучайно именно здесь выходит в самом начале тридцатых сборник «Отрыв» с пьесой В. Хомицкого «Эмигрант Бунчук»[106]. В специфических декорациях русского Берлина уже начали обозначаться иные задачи театра, чем те, к которым привыкли театральные деятели на родине. Несомненно, что *коммуникативная, посредническая – и внутри русской диаспоры, и между своими и чужими* – роль русских театров в Берлине, ставших особыми культурными центрами, театрами-клубами и «приютами комедиантов», выходит на первый план. А с другой стороны, создавались ощутимые «культурные мосты». Здесь научились читать «культурные коды» русского искусства нового века, которые, несмотря на пропаганду и чрезвычайную политизацию обеих культур у себя дома, уже утвердились в сознании публики, не говоря уже об особом братстве и космополитическом единстве артистической богемы.

На параллелизм и даже синхронизм «эстетических переодеваний» немецкого и российского официального искусства эпохи тоталитаризма и представляющего ему оппозицию художественного сплочения в России и Германии уже обратили должное внимание исследователи обеих стран[107]. Русский, в том числе театральный, Берлин двадцатых годов определенно скорректировал как немецкие представления о русских и русском искусстве, так и о культурных границах своего.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Автор опирается на архивы Германии и России (см. ниже) и свои труды по данной теме: рукопись докторской диссертации (*Литаврина М.Г.* «Театр русского зарубежья как культурно-исторический феномен (русские драматические труппы и студии в Западной Европе и США: 1920–40 гг.» (М., 1997), статьи: «Образ эмигранта в драматургии эмиграции» – Сб. Российская интеллигенция на историческом переломе. Первая треть XX века. – СПб., 1994, Russian Emigrant Theatre in Europe. Wissenschaftskolleg zu Berlin / Jahrbuch 1993–1994. – Berlin, 1994.

[2] Uhlandstrasse – улица в центре Берлина, местонахождение многочисленных русских театров. Поклонников их Белкин называет с юмором «Уланам».

[3] Стихотворение Владимира Белкина «Берлин» опубликовано в журнале «Театр и жизнь» (Берлин), 1921, № 2. С. 10.

[4] *Раевская-Хьюз О., Хьюз Р., Флейшман Л.* Русский Берлин. 1921–1923 (По материалам архива Б. Николаевского в Гуверовском институте). – Париж, 1983.

[5] Это работы Т. Байера, К. Шлегеля, М. Бемиг, Ф. Мирау и других исследователей, изданные в самой Германии: *Thomas R. Beyer*. Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg = Russian Berlin: Publishers and Writers. – Berlin, 1987; *Karl Schlögel.* Der Grosse Exodus/ Die Russische Emigration und ihre Zentren. 1919–1941. – München, 1994; *Ders*. Berlin – Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. Berlin 1998; Fritz Mierau (Hg.): Russen in Berlin – und kein Ende? In: *Europa Orientalis*, 1992, Nr. 11|2. S. 360–375; см. ранее его же антологию: Russen in Berlin. Literatur. Malerei. Theater. Film. – Leipzig, 2. Auflage 1991; *Michaela Böhmig.* Das Russische Theater in Berlin. – München, 1990. Vgl. auch Thomas Urban: Vladimir Nabokov – Blaue Abende in Berlin. – Berlin, 1999 sowie *Ders.* Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre. – Berlin, 2003.

[6] Данная цифра приводится также в указ. публ.: *M. Böhmig:* Das Russische Theater. См об этом также: *Marc Raeff:* Russia Abroad. The Cultural History of the Russian Emigration. – NY-Oxford, 1990.

P. 202–203; *Hans-Erich Volkmann:* Die Russische Emigration in Deutschland 1919–1929. – Würzburg. 1966; *Robert C. Williams:* Culture in Exile. Russian Emigrés in Germany. 1881–1941 – Ithaca, 1972.

[7] См. подробнее в кн: *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Париж, 1984 (переиздание по: New York, 1956).

[8] Ср. *Шверубович В.В.* О старом Художественном театре. – М, 1990. С. 346; *Olga Tschechowa:* Meine Uhren gehen anders. – München und Berlin, 1973, цит. по рус. переводу: Мои часы идут иначе. – М., 1999. С. 114.

[9] Василий Иванович Качалов (1875–1948, настоящая фамилия Шверубович) – актер МХАТа.

[10] См.: *Колязин В.Ф.* Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия. Очерки истории русско-немецких художественных связей. – М., 1998.

[11] «Голос России». 23 августа 1919 г.

[12] *Pavel Barchan:* Russische Provinz in Berlin. Zum Beginn der Russischen Vorstellungen in Theater des Westens. – Berliner Tageblatt, 31. August 1920. Nr. 408.

[13] Brandenburgisches Landeshauptarchiv (Potsdam). Abteilung III: Polizeipräsidium Potsdam.

[14] Там же. Афиши спектаклей Л. Потоцкой и В. Шумского также обнаружены нами в «Theaterhistorische Sammlung Walter Unruh» im Archiv des Instituts für Theaterwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

[15] *Leo Rein:* Igla Surgutschew. Herbstliche Geigen (Russische Aufführung in Deutschen Theater) – Berliner Zeitung. 18.09.1919.

[16] Сообщено в: Театр и жизнь (Берлин), 1921, № 1–2. С. 8.

[17] См.: *Michaela Böhmig:* Das Russische Theater in Berlin. S. 90.

[18] Театр и жизнь (Берлин) 1921, № 1–2. С. 5.

[19] Там же, № 4. С. 20.

[20] О Саломее-Гзовской и ее показах в Европе см.: Ольга Гзовская и конец belle-epoque – Московский Художественный театр. Точки соприкосновения с Прагой. – Прага, 1998. С. 8–9.

[21] Архив В.Г. Гайдарова (Санкт-Петербург). Вырезки. Prager Presse, November, 19, 1922.

[22] *Г. Росимов (Ю. Офросимов).* К постановке «Саломеи» // «Жар-птица», 1921, № 2. С. 3.

[23] Архив В.Г. Гайдарова и О.В. Гзовской в ОР РНБ (Санкт-Петербург) Ф. 1000.

[24] См. напр. Filmwoche. Nr. 27, 1925. S. 6. //Sammlung Deutsche Kinemathek (Berlin). Ср. также: в Berliner Zeitung am Mittag, 1924, Nr. 99 (12.04.1926).

[25] *Потапенко Н.* Саломея – Гзовская. Русский сезон в Европе. – Театр и жизнь (Берлин), 1921, № 2. С. 7.

[26] Ср. рецензии в: «Göttinger Tageblatt» vom 30. April 1924 и в «Hamburger Abendblatt» vom 5. Mai 1924.

[27] *Марков П.А.* Еще о Полевицкой. – В: Книга воспоминаний. — М., 1983. С. 355–358.

[28] Примеч в кн.: *Набоков В.В.* Романы. – М., 1995. С. 30.

[29] ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (Москва). Ф. 252 (576), 467(380).

[30] См.: *Herbert Jhering:* Von Reinhardt bis Brecht. Vier Jahrzehnte Theater du Film 1919–1923. Bd.1. – Berlin (Ost), 1958. S. 257.

[31] Ср.: *Böhmig* (сн. 5). S. 68.

[32] См.: *Jhering* (сн. 30): «Herr Schmidt ist ein unpräziser, unräumlicher, unrhythmischer Regisseur. Er verwirrt und verschlechtert die Darsteller…».

[33] Театр и жизнь (Берлин), 1921, № 4. С. 2.

[34] Ср. с немецкой вторичной литературой, в особенности с исследованиями театра фашистских времен. Deutsches Exilarchiv 1933–1945. Katalog der Bücher und Broschüren. Theater. – Stuttgart, 1989; Sieben Jahre Freie Deutsche Bühne in Buenos-Aires. Ein Brevier. Hg. von Paul Walter Jacob. – Buenos Aires/Frf. A. M., 1981.

[35] *Маковский С.* Театр за рубежом – Театр и жизнь (Берлин) 1921, № 1/2. С. 1–2.

[36] Там же. С. 2.

[37] Там же.

[38] Там же.

[39] Ср. с главой: «Remisov, A.M.» в: Russkij Berlin 1921–1923 (см. сн. 4). S. 185.

[40] *Ходасевич В.* Собрание стихов. (1913–1939) Б. м. на обл. (Н. Берберова – München Buchdruck) 1961. С. 127.

[41] *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. – М., 1996. С. 202–203.

[42] См. напр.: *Гуль Р.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Ч.1. Россия в Германии. Нью-Йорк, 1980. С. 148–151. Использованы интервью с секретарем А. Белого поэтессой Верой Лурье (1901–1998), которые автор взяла в ее квартире в Берлин-Халензее в 1994 г.

[43] Стихи И. Северянина в архиве В.Г. Гайдарова. Благодарю Н.В. Гайдарову за предоставление.

[44] *Набоков В.В.* Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1. – М., 1990. С. 37.

[45] «Шатался по городу и репетировал» – строчка из стихотворения «Марбург» // Борис Пастернак. Собрание соч. в 5-и томах, здесь Т. 1. 1989. С. 106–107.

[46] См. *Paul Tabori:* The Anatomy of Exile. A semantic and historical study. – London, 1971. P. 168.

[47] *Ремизов Алексей.* Красные рыла //Театр и книга. – Берлин, 1922.

[48] См. примеч. И. Толстого в кн.: Набоков В. Пьесы. – М., 1990. С. 16.

[49] Письмо экспонировалось на выставке Berlin-Moskau | Москва-Берлин в 1995 г.

[50] Историю эту уже после смерти писателя публиковала «Русская мысль»: Набоков играет Евреинова. – «Русская мысль» (Париж) 1977, № 3184. 29 декабря.

[51] Руль (Берлин) 1927, № 1. – О своей актерской жизни в Берлине автору рассказал Георгий Жданов (Калифорния, 1995 г.)

[52] См. впоследствии полную публикацию пьесы сыном писателя Дмитрием Набоковым. *Vladimir Nabokov:* The man from the USSR and other plays. With two essays on the drama. – San Diego, 1984.

[53] *Набоков В.В.* Пьесы. – М., 1990. С. 284.

[54] Намек на «The Beggar's Opera» Джона Гэя, ставшей основой для Brecht/Weills «Dreigroschenoper» (1928). (Прим. ред.)

[55] *Набоков В.* Машенька. – Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1. – М., 1990. С. 49–50.

[56] *Бемиг М.* Берлин начала 20-х гг. – столица русского или эмигрантского театра? – В кн: Культурное наследие российской эмиграции. 1918–1940. Сб. – М., 1994. Т. 2. С. 344.

[57] *Тихвинская Л.* Кабаре и театры миниатюр в России: 1908–1917 гг. – М., 1995.

[58] В деятельности обоих учреждений участвовали вскоре уехавшие из Берлина Рихард Болеславский и Григорий Ратов.

[59] *Офросимов Ю.* Театральные фельетоны. – Берлин, 1926. С. 131.

[60] Афиши театра в Brandenburgisches Landeshauptarchiv/ Abteilung II, Potsdam.

[61] Знаменитый русский бард и актер Александр Вертинский выступал в 1910–20-х гг. в облике Пьеро (это его эстрадная *маска*, а не роль. См. эту маску – изображение Вертинского на эстраде: белый балахон, выбеленное лицо, «плачущая» мимика – на обложке его пластинки «Популярные песенки в исполнении А. Вертинского, фирма "Детлаф", 1917», – а также фото и изображения в кн.: *А. Вертинский.* За кулисами. – М., 1991.. С. 39 и воспроизведенный постер программы на 4-й стр. обл. этой кн.).

[62] Отклики прессы и программки спектаклей в коллекции Walter Unruh, Berlin.

[63] *Julius Meier-Graefe:* Die Russen in Berlin // Ganymed (Jahrbuch für die Kunst), Blätter der Marées-Gesellschaft, hg. von J. Meier-Graefe, Bd. 4, 1922. S. 295–297.

[64] Томас Урбан считает газету просоветской и секретно финансируемой из Москвы. См.: *Thomas Urban* (см. С. 5). – Berlin, 2003. S. 212. (*Прим. ред.*)

[65] «Накануне» 1922, № 13. С. 5. – Микрофиш в: Staatsbibliothek, Preußischer Kulturbesitz. Berlin.

[66] Материалы архива театра в коллекции Walter Unruh, Zeitungsausschnitte (см. сн. 14).

[67] Е. Авах, В. Аренцвари, Юлия Бекефи, Тамара Дуван, Г. Днестров, Е. Дубровский, Д. Гайвоковский, Г. Гаврилов, Гуго Гау-хамм, Мария Егорова, О. Валери, И. Микаева, Е. Порфирьева, М. Михайлов, И. Хаджи, Н. Хазизов, И. Шрок, Е. Ридан, А. Смирнов, Е. Виленский и режиссер-актер Иван Дуван-Торцов.

[68] Цит. по: *Joseph Gregor/René Fülöp-Miller:* Das Russische Theater. Sein Wesen und seine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Revolutionsperiode. – Zürich–Leipzig–Wien, 1928. S. 8.

[69] Elena Liessner-Blomberg oder die Geschichte vom Blauen Vogel. Hg. von Gerhard Wolf, Jürgen Rennert und Werner Schmidt. Berlin (Ost) 1978. S. 101. См. также E. Liessner-Blomberg 1897–1978. Eine Russin in Berlin. Ausstellungskatalog, hg. vom Staatlichen Museum Schwerin 2002 (*Прим. ред.*)

[70] Со временем этот «домашний очаг» становился похожим на витрину сувенирного магазина, что значимо в связи с началом «кризиса стиля» в «Синей птице». Позже немецкий конферансье

Ф. Шульц перенял руководство этим заведением, и уже к концу 20-х годов вся программа театра была на немецком языке, таким образом, потеряв свою первоначальную оригинальность.

[71] Ср.: *Гуль* (сн. 42). С. 138–139.

[72] Цит. по *Максу Броду:* Рязянская пляшка // Театр и жизнь 1922, № 7. С. 9.

[73] *Alfred Polgar:* Der blaue Vogel und die grauen Vögel. In: Die Weltbühne 1923, Nr. 35. S. 217–218. Фриц Мирау цитирует другую более доброжелательную рецензию Польгара о «Синей птице» в кн. Russen in Berlin. Literatur. Malerei. Theater (см. сн. 5). S. 343–344. (*Прим. ред.*)

[74] *Oscar Bie:* Von Russischer Kunst. In: Die Kunst für Alle, 1922–1923. S. 40; Ernst Angel: Emigranten-Kabarett. In: Das Kunstblatt 12 (1922). S. 539.

[75] *Гуль Р.* Я унес Россию. Ч.1. Россия в Германии. С. 139.

[76] Там же. С. 136.

[77] Там же.

[78] Материалы к «Ваньке-встаньке». Brandenburgisches Landeshauptarchiv. Potsdam, Abteilung II.

[79] *Авдеев А.* Покрывало Пьеретты // Театр (Берлин) 1922, № 14. С. 13.

[80] Berliner Tageblatt 1922, September 23.

[81] *Берберова Н.* Курсив мой. Автобиография. – М., 1996. С. 206–207.

[82] Лоренс Сенелик, который в своей работе изучает эволюцию жанров, замечает, что русские актеры кабаре с самого начала ориентировались на формы, перенятые у Германии, а не на французский «Chat Noir». Возможно, это также объясняется большой популярностью русского кабаре 20-х годов у немцев, хотя в Германии было много подобных театров. Ср.: *Сенелик Лоренс*. Борис Гейер и драматургия кабаре // Театр (Москва) 1993, № 5. С. 87–94.

[83] Театр (Берлин) 1922, № 5/6. С. 12

[84] *Коонен А.* Страницы жизни. – М., 1975. С. 330.

[85] См. напр. публ.: *В. Вернер.* Письма Михаила Чехова Василию Масютину. – Памятники культуры. – М., 1992. С. 115–142.

[86] «Усталость от русских» – этот термин использовал Фриц Мирау. См.: *Mierau:* Russen in Berlin. Literatur (см. сн. 5); ders.: Russen in Berlin – und kein Ende? (см. сн. 5).

[87] Театр и жизнь (Берлин) 1921, № 1–2.

[88] *Горный С.* О Е.А. Полевицкой. // Театр и жтзнь (Берлин), 1921, № 2. С. 4.

[89] *Alfred Kerr:* Euripides «Medea». Russengastspiel in Künstlertheater. In: Berliner Tageblatt vom 30. Dezember 1924.

[90] Театр и жизнь (Берлин), 1921, № 5. С. 6–7.

[91] Там же. С. 7.

[92] *Gregor/Fülöp-Miller:* Das Russische Theater (см. сн. 69), особенно раздел «Analytik Theater». S. 54.

[93] Храмовый праздник сцены. //Театр и жизнь. 1921, № 4. С. 1.

[94] *Кадашев В. (Амфитеатров).* Здесь и там //Театр (Берлин) 1922, № 12–13. С. 4.

[95] Там же.

[96] Театр (Берлин), 1923, № 5. С. 4.

[97] Назовем, прежде всего, его «Театральные фельетоны» (1926).

[98] *Офросимов Ю*. Пражская группа. МХТ – В кн: Театральные фельетоны. С. 101.

[99] Там же, ср. При столиках. С. 132.

[100] Там же. С. 129–130.

[101] Там же. С. 130.

[102] Там же. С. 208.

[103] Там же. С. 198.

[104] Там же. С. 158–159.

[105] Там же. С. 161.

[106] *Хомицкий В.* Эмигрант Бунчук // Отрыв. Театральный сб., Берлин, «Москва». 1938.

[107] Ср. *Irina Antonowa und Jörn Merkert:* Berlin/Москва – Moskau/Берлин. 1900–1950. Каталог выставки. – München–New York, 1995.

*Ульрике Гольдшвеер*

# «ХРОНИСТ РУССКОГО БЕРЛИНА» или «очарованный странник» среди чужих: Владимир Набоков в Германии

> Оглядываясь на эти годы вольного зарубежья, я вижу себя и тысячи других русских людей ведущими несколько странную, но не лишенную приятности жизнь в вещественной нищете и духовной неге, среди не играющих ровно никакой роли призрачных иностранцев, в чьих городах нам, изгнанникам, доводилось физически существовать. Туземцы эти были, как прозрачные, плоские фигуры из целлофана, и хотя мы пользовались их постройками, изобретениями, огородами, виноградниками, местами увеселения и т. д., между ними и нами не было и подобия тех человеческих отношений, которые у большинства эмигрантов были между собой. Но увы, призрачные нации, сквозь которые мы и русские музы беспечно скользили, вдруг отвратительно содрогались и отвердевали; студень превращался в бетон и ясно показывал нам, кто собственно бесплотный пленник и кто жирный хан. Наша безнадежная физическая зависимость от того или другого государства становилась особенно очевидной, когда приходилось добывать или продлевать какую-нибудь дурацкую визу, какую-нибудь шутовскую карт д'идантите, ибо тогда немедленно жадный бюрократический ад норовил засосать просителя, и он изнывал и чах, пока пухли его досье на полках у всяких консулов и полицейских чиновников. […] Американские мои друзья явно не верят мне, когда я рассказываю, что за пятнадцать лет жизни в Германии я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка[1].

Так пишет Владимир Набоков в 1966 г. в своей автобиографии[2] о взаимоотношениях эмигрантов и местного населения в Западной Европе в межвоенный период. Этот взгляд на положение вещей вновь и вновь встречается в его высказываниях о берлинском периоде: к немецкому окружению он совершенно равнодушен, он не мог сказать ни слова по-немецки и не прочитал ни одной немецкой книги. Несмотря на это или именно поэтому вновь и вновь образ Берлина и Германии, созданный Набоковым, становится предметом исследований, так как, в отличие от автора, его тексты не могут игнорировать географическое происхождение. Это также неудивительно. Писатель провел в Берлине 15 лет (с 1922 по 1937 г.) и написал там бóльшую часть своих русскоязычных произведений (восемь романов, 35 рассказов, многие стихотворения, драмы, эссе и др.). Именно утверждение Набокова о бессловесном сосуществовании гостей и хозяев ведет к противоречию, особенно тогда, когда учитывается склонность автора к самомистификациям.

К тому же, в случае с Набоковым речь идет об известнейшем русском эмигранте первой волны из «младшего поколения» писателей, которые в момент выезда из страны были еще достаточно молодыми. Их писательский профиль сформировался лишь на Западе, в процессе противостояния со старшим, душой оставшимся в России, поколением, которое начало свою карьеру еще до революции. Интернациональная слава Набокова и его значение для мировой литературы превращают писа-

теля и его произведения в излюбленный объект исследований не только на Западе, но и в России. Особенно это стало заметным на фоне возросшего в результате распада Советского Союза интереса к авторам первой эмигрантской волны[3] и их возвращению на родину. Едва ли найдется хоть одна книга по истории литературы или по истории эмигрантской культуры, в которой не уделялось бы значительное место Набокову.

Популярность автора еще раз подчеркивает тот факт, что в распоряжении исследователей его творчества в интернете находятся уже четыре сайта, которые могут служить серьезными источниками: Zembla (с 1996 г. – сайт «Международного общества Владимира Набокова»)[4], Waxwing[5], Antiterra[6] (Набоков в Германии) и домашняя страница музея Набокова в Санкт-Петербурге[7].

Этот интерес переносится и на взаимоотношения Набокова с Германией. За последние годы были изданы несколько монографий, в которых, на основе биографических и географических данных, исследуется берлинский период Набокова[8]. В музее Набокова в Санкт-Петербурге в октябре 1999 г., при поддержке института Гёте, немецкого генерального консульства и других именитых спонсоров, состоялась конференция на тему «Владимир Набоков и Германия»[9]. Далее мы попробуем пройти по тем следам, которые оставили в Германии тексты Набокова.

## Биографическая справка[10]

Владимир Владимирович Набоков родился 22 марта 1899 г. в городе Санкт-Петербурге в семье либерального политика Владимира Дмитриевича Набокова. Он получил либеральное и англофильское воспитание в зажиточном доме и рано почувствовал тягу к поэзии: уже в 1916 г. появился его первый сборник стихов. Политическая деятельность отца вынудила семью эмигрировать после Октябрьской революции; в марте 1919 г. семейство выехало из России через Севастополь и направилось в Константинополь. Владимир вместе со своим братом Сергеем отправился на учебу в Кембридж, в Тринити-колледж. В 1920 г. родители переехали в Берлин, где отец Набокова продолжил свою политическую работу, в том числе – как сотрудник журнала «Руль».

28 марта 1922 г. в жизни Набокова произошло трагическое событие: его отец стал жертвой покушения правого монархиста, месть которого, правда, предназначалось не ему, а политику-эмигранту Павлу Милюкову. Владимир в июне завершает свою учебу в Кембридже и переезжает к семье в Берлин. Там он живет у матери, до тех пор, пока в 1923 г. та не переселяется в Прагу, так как там у нее были виды на пенсию вдовы. Когда экономическое положение ухудшается, Набоков пробует себя в различных сферах деятельности. Все эти поиски нашли отражение в его литературных произведениях: частные уроки английского и французского, теннис, бокс, роли статиста в кино и проч. Постепенно он прогрессирует и как литератор: в 1922/23 гг. появляются переводы (в том числе русское издание «Алисы в стране Чудес» – «Аня в стране Чудес»), театральные пьесы и поэтические сборники под псевдонимом Владимир Сирин, который стал его «маркой» берлинских лет. Журнал «Руль», издававшийся близким другом его отца Иосифом Гессеном, стал для него надежным издательским местом, однако, и другие эмигрантские издания проявляли к нему интерес.

В апреле 1925 г. он женился на Вере Евсеевне Слоним[11], которая будет заботиться о нем вплоть до его смерти. Биограф Набокова Брайан Бойд пишет об этом:

> В действительности, ее служение литературе и Владимиру Набокову заключалось в том, что она была его женой, музой, идеальным читателем, его секретарем, машинисткой, редактором, корректором, переводчиком, библиографом, его агентом, делопроизводителем, адвокатом и шофером, его ассистентом, учителем и преподавателем-дублером[12].

Итак, все последующие годы она занималась различной «бумажной» работой, которая позволяла семье существовать, и обеспечивала мужу возможность писать. До рождения в 1934 г. в Берлине единственного сына Дмитрия, помимо многочисленных стихотворений, рассказов, эссе и драм, вышли четыре романа («Машенька», 1926, «Король, дама, валет», 1928, «Защита Лужина», 1929, «Подвиг», 1932), а также цикл «Возвращение Чорба» (1929). Жизнь в немецкой столице ознаменовалась многочисленными переездами[13] семьи из одной меблированной квартиры в другую и неудобствами статуса лица, не имеющего гражданства. От литературной жизни берлинской общины эмигрантов, как это следует из некоторых изысканий, Набоков дистанцировался.

Парадоксальным образом его успех как писателя растет по мере того, как ухудшается политическое положение: до 1937 г. появились следующие романы и сборники («Отчаяние», 1936, «Приглашение на казнь», 1938, «Соглядатай», 1938, «Дар», 1938). Писатель явно наблюдает изменение политической ситуации, но не воспринимает это всерьез. Лишь в 1937 г. семья решает переехать в Париж. Набоков покидает Германию, отправляясь в лекционное турне, его жена чуть позднее выезжает через Прагу. После нападения Германии на Польшу в 1939 г. становится ясно, что Париж будет лишь временным убежищем. В мае 1940 г. Набокову, буквально в последний момент, удается выехать в США. Все последующие годы Набоков преподает там русскую литературу (Уэлсли, Корнэлл, Гарвард) и профессионально занимается лепидоптерологией (изучением бабочек), которая была его вторым большим увлечением. Скандальный успех романа «Лолита» (опубликован в 1957 г. в Париже) делает автора окончательно независимым экономически. Если бы Набоковы в США (как это уже было в эмиграции в Европе) не чувствовали желания остаться где-нибудь на долгое время, они бы оказались на вершине благополучия. В 1959 г. они возвратились в Европу и обосновались в Монтрё на берегу Женевского озера. Там они жили в отеле «Монтрё Палас» до смерти Набокова в 1977 г., не выезжая ни в Россию, ни в Германию. Набоков похоронен на кладбище в Монтрё.

## Автобиографический контекст

Автобиография Владимира Набокова опубликована неоднократно в русском и английском вариантах. Эти издания тесно связаны с литературной работой. Антон Зергль так описывает эту связь:

> Необходимо различать, по меньшей мере, четыре варианта. Последнее, положенное в основу нового издания собрания сочинений Набокова в издательстве Ровольт (Rowohlt-Ver-

lag), соответствует *Speak, Memory,* изданному в 1966 г. Перед этим было русское издание 1954 г. «Другие берега». Истоки этого издания нужно искать в первой американской версии *Conclusive Evidence,* появившейся в 1951 г., которая – как первая публикация вообще – состояла из отдельных глав, возникших как законченные рассказы для различных журналов: «Mademoiselle O.», написанного в 1936 г. на французском языке для журнала «*Mesures»*, и других, созданных в Америке между 1947 и 1951 годами и опубликованных в журналах «*Harper's Bazar», «Partisan Review» и «The New Yorker».* Мемуары Набокова – это последовательно опубликованные 14 или 15 отдельных, завершенных рассказов. […] Стержнем всей конструкции автобиографии были такие произведения, как «Дар» или «*The Real Life of Sebastian Knight»*, позднее также «Ада» и «*Look at the Harlequins!»,* которые в гораздо большей степени отвечают законам жанра, чем фактическая автобиография[14].

Лишь в 1998 г. сын Набокова Дмитрий[15], который управляет наследством отца, передал для публикации следующую часть «Speak, Memory», которая с формальной точки зрения вновь выглядит как мистификация – как фиктивная рецензия текста, последнюю часть которого читатель уже видел. Примечательным, при этом всём, является, прежде всего, то, что литературная переработка мотива предшествовала автобиографической: «[…] поэтому автобиография "цитирует" аутентичный текст, который встречается в других произведениях Набокова: эпизод с Тамарой является аллюзией из "Машеньки", оксфордский эпизод […] – это цитата из "Подвига" […]»[16].

Это может служить показателем того, какая форма выражения имеет приоритет для автора. Так, автобиография Набокова может, в первую очередь, рассматриваться как «сведение счетов»[17] писателя, отныне отождествлявшего себя с американской литературой, с русскими произведениями. В качестве приближенного к реальности описания или как исторический источник, автобиография может быть использована лишь отчасти. Это важно и при анализе суждений Набокова о Германии или Берлине.

## Исследовательские приемы

Большинство работ по теме «Набоков и Германия» фокусируются, прежде всего, на биографических вопросах: почему кто-то проводит такое длительное время – в том числе, четыре года в условиях крайне рестрикционного режима – в стране, к которой он со всей очевидностью (во всяком случае, как можно судить на основе высказываний) не испытывает ни малейшей симпатии? И насколько правдивым является утверждение, что практически не было никаких контактов с немцами? В конце концов, многие из соотечественников Набокова покинули Берлин раньше. Некоторые – после валютной реформы, которая свела на нет выгоды эмигрантов от обладания валютой. Другие – после Рапалльского договора 1922 г. о дипломатическом признании Советской России, лишившего их иллюзии временности эмиграции[18]. С середины 20-х гг. центр русской эмиграции переместился в Париж. Но если его не удерживала в Берлине известная оживленная общественная жизнь местной эмигрантской общины[19], что же тогда заставило писателя остаться? Также правомерен и вопрос о том, почему, несмотря на то, что его жена была еврейкой, он четыре года колебался, прежде чем сделал выводы из наблюдений за нараставшим нацистским террором и покинул Германию[20]. Подобное поведение можно, по сути, объяснить лишь двумя

причинами: либо он не воспринимал все происходящее всерьез, либо он был равнодушен. Как мы покажем далее, неспособность Набокова или его нежелание интегрироваться распространялось не только на страну эмиграции, но и на русскую общину эмигрантов. Нужно ли искать причины этой сдержанности в общем мизантропическом мировоззрении? Или речь идет, больше, об уходе в собственноручно созданный, практически свободный от связи с реальностью художественный мир?

Исследования по теме «Набоков и Германия» позволяют, без претензии на полноту, выделить, по меньшей мере, два типичных подхода. Одни рисуют основанный на биографических материалах образ Набокова как «хрониста русского Берлина»[21]. Этот подход не придает большого значения картине Германии и в особенности Берлина, пронизанной негативными, почти ненавистными интонациями, как она вырисовывается из множества цитат, которые я не хотела бы здесь приводить, а подчеркивает дар тонкого наблюдателя и фактологическое богатство текстов[22]. Это восторженное отношение к деталям заслуживает похвалы (и, впрочем, является характерной чертой литературного творчества Набокова) и касается, прежде всего, урбанистических описаний. Другой подход ориентируется на анализ текстов и подчеркивает, с одной стороны, ключевое значение берлинских лет для литературного творчества Набокова, а с другой стороны, выдвигает на передний план «призрачность», «нереальность» и «абстрактность» берлинского окружения, которое, казалось бы, должно было серьезно повлиять на писателя.

Берлинская жинь, с этой точки зрения, представляется прозрачной пленкой, которая позволяет увидеть нечто другое, а именно, потерянную Россию, Санкт-Петербург, русское прохладное лето[23].

## Русское ли, немецкое ли: все отвратительно и вульгарно

Позитивные зарисовки берлинской городской среды, как уже упоминалось выше, бесспорны; немного по-другому выглядят у Набокова описания людей. Немец как таковой – отвратителен, недалек и пошл – в этом Набоков не сомнвается. Пошлость для него имеет, помимо эстетического, и этический компонент:

> У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства – пошлость. Пошлость – это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом «пошлость», мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд. Все подлинное, честное, прекрасное не может быть пошлым. Я утверждаю, что простой, не тронутый цивилизацией человек редко бывает пошляком, поскольку пошлость предполагает внешнюю сторону, фасад, внешний лоск[24].

Этот вид пошлости находит он и в Советском Союзе. Лекция, из которой взята эта цитата, вошла в книгу о Николае Гоголе, и в ней Набоков объявляет Германию родиной пошлости (при этом использует игру слов: на английском *poshlust* – страсть ко всему, что является гламурным):

> Среди наций, с которыми у нас всегда были близкие связи, Германия казалась нам страной, где пошлость не только не осмеяна, но стала одним из ведущих качеств национального духа, привычек, традиций и общей атмосферы, хотя благожелательные русские интеллигенты более романтического склада охотно, чересчур охотно принимали на веру легенду о величии немецкой философии и литературы; надо быть сверхрусским, чтобы почувствовать ужасную струю пошлости в «Фаусте» Гёте[25].

От обоих братьев-насильников в «Королькe» (1933)[26], через группу путешествующих в рассказе «Облако, озеро, башня» (1937)[27] и до купальщиков на берегу Ванзее в «берлинском романе» «Дар» (1938)[28] (назовем лишь некоторые произведения) Набоков использует при описании немецких обывателей гротеск, чтобы подчеркнуть свой этически-эстетический «приговор». Цитаты о бесформенных задницах, бледной коже, неопрятной одежде, грубых чертах лица, повседневных ужасах во множестве можно найти в текстах берлинского периода и часто цитируются в связи с этим. Однако, чаще всего упускают из вида, что соотечественники Набокова и его соратники по эмиграции выглядят в его описаниях ничуть не лучше: образчиком пошлости является немец, но она не считается качеством, присущим лишь ему. Намного чаще пошлость встречается в коллективе, который провозглашает ее чем-то хорошим, истинным и правильным. И здесь пошлость мутирует в «здравый смысл» (common sense). В интересах этого здравого смысла коллектив, согласно Набокову, всегда готов наказать индивидума, «особенного», за его отклонение от общепринятого:

> Полезно помнить, что ни в этой, более того – ни в одной комнате мира нет ни единого человека, кого в некой удачно выбранной точке исторического пространства-времени здравомыслящее большинство в своем праведном гневе не осудило бы на смерть. Окраска кредо, оттенок галстука, цвет глаз, мысли, манеры, говор где-нибудь во времени или в пространстве непременно наткнутся на роковую неприязнь толпы, которую бесит именно это. И чем ярче человек, чем необычней, тем ближе он к плахе[29].

Обе концепции (пошлости и здравого смысла), с точки зрения Набокова, – родственные явления, и оппозиция между вызывающим сочувствие «особенным» и пошлым коллективом снова и снова становится темой его произведений. Можно даже набраться смелости и утверждать, что образ человека, созданный мизантропом Набоковым, вызывает лишь две реакции, а именно, отвращение или сочувствие; последнее чувствуется всегда в том случае, если речь идет о людях, которые ему симпатичны (и, следовательно, должны быть симпатичны читателю). Характеры Набокова почти всегда – часть коллектива, отмеченного посредственностью и пошлостью, или жертвы этого коллектива, вызывающей сочувствие из-за бессилия или неспособности, что зависит от конкретного случая.

И все же амбивалентность описания «типичного немца» не была нигде столь явной, как в цитате из «Дара», где образ отвратительного немца доводится до абсурда за счет того, что он разоблачает себя и оказывается русским как раз тогда, когда перед читателем проходит настоящий каталог плохих немецких качеств (цитирую ради наглядности лишь с некоторыми сокращениями – *У.Г.*):

> Он ехал на урок […] и, как всегда, в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и к неуклюжей медлительности этого бездарнейшего из всех способов передвижения […],

> а главное – к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. Он рассудком знал, что среди них могут быть и настоящие, вполне человеческие особи, с бескорыстными страстями, чистыми печалями, даже с воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь, – но почему-то ему сдавалось, что все эти скользящие, холодные зрачки, посматривающие на него так, словно он провозил незаконное сокровище […], принадлежат лишь гнусным кумушкам и гнилым торгашам. Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом – пошл нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь, – и только угрюмый кондуктор […] внешне казался, если не человеком, то хоть бедным родственником человека. На второй остановке перед Федором Константиновичем сел сухощавый, в полупальто с лисьим воротником, в зеленой шляпе и потрепанных гетрах, мужчина, – севши, толкнул его коленом да углом толстого, с кожаной хваткой портфеля – и тем самым обратил его раздражение в какое-то ясное бешенство, так что он мгновенно сосредоточил на нем всю свою грешную ненависть (к жалкой, бедной, вымирающей нации) и отчетливо знал, за что ненавидит его: за этот низкий лоб, за эти бледные глаза; за фольмильх и экстраштарк, – подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного; за полишинелевый строй движений, – угрозу пальцем детям – не как у нас стойком стоящее напоминание о небесном Суде, а символ колеблющейся палки, – палец, а не перст; за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех; за толщину задов у обоего пола, – даже если в остальной своей части субъект и не толст; за отсутствие брезгливости; за видимость чистоты – блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат; за склонность к мелким гадостям, за аккуратность в гадостях, за мерзкий предмет, аккуратно нацепленный на решетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца; за жестокость во всем, самодовольную, как-же-иначную; за неожиданную восторженную услужливость, с которой человек пять прохожих помогают тебе подбирать оброненные гроши; за… Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него, – покуда тот не вынул из кармана номер васильевской «Газеты», равнодушно кашлянув с русской интонацией[30].

Индивидум становится представителем ненавистного коллектива; цель нападок Набокова – не немец как таковой, а определенные качества, которые стереотипы приписывают немцам.

## Против коллективного счастья

Большие русские общины в западноевропейских центрах эмиграции (в особенности Берлине и Париже) стали известны, прежде всего, благодаря множеству организаций (профессиональных объединений, издательств и др.)[31]. Наряду с защитой и убежищем, которые они предоставляли эмигрантам, такому писателю, как Набоков, которому коллектив был враждебен и подозрителен, как это описано выше, они давали богатую пищу для насмешек, были словно паркет для приятной вечеринки. Преимущества от общих интересов чреваты вырождением в организационную манию. Этот жесткое неприятие любой коллективной деятельности обрисовано в пя-

той части романа «Дар» таким образом, что напоминает сведение счетов Набокова с берлинской эмигрантской общиной и ее погоней за институциями[32]. В начале в пародийной манере описана лишь реакция знающей публики в форме равнодушных «а я знаю лучше»-рецензий на недавно (4-я часть романа[33]) опубликованную биографию Чернышевского, написанную главным героем. Но насмешка достигает своей крайней остроты в момент описания собрания русского эмигрантского союза писателей – «Общества русских писателей в Германии». Один знакомый вынуждает главного героя согласиться на избрание в правление, чтобы, наконец, «навести там порядок», что означает: сменить старые порядки на новые. Инициатор этого, правда, обрисован так, что ожидать улучшения не приходится.

Цель и состав этой организации на нескольких страницах деконструированы до неузнаваемости; так, союз писателей, оказывается, состоит большей частью из членов, которые не имеют ничего общего с литературой и чье красноречие оказывается, по большей части, пустой болтовней:

> Недовольство Ширина было направлено […] против остальных пяти членов правления – во-первых, потому, что ни один (как, впрочем, и две трети всего состава Союза) не имел профессионального касательства к перу, а, во-вторых, потому, что трое из них (в том числе казначей и товарищ председателя) были – если не прямыми мошенниками […], то во всяком случае, филомелами в своих стыдливых, но изобретательных делах[34].

Деятельность союза нацелена не столько на литературу, сколько на зарабатывание денег:

> Вот уже несколько времени, как началась довольно забавная (по мнению Федора Константиновича) и абсолютно неприличная (по терминологии Ширина) история с кассой Союза. Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена прошение о пособии или ссуде (различие между коими было приблизительно такое, как между арендой на девяносто девять лет и пожизненным владением), начиналась погоня за этой кассой, делавшейся при попытке ее нагнать до странности текучей и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления. Погоня затруднялось тем, что Васильев [председатель – *У.Г.*] давно с этими тремя членами не разговаривал, отказываясь даже сноситься с ними письменно, и последнее время выплачивал ссуды и пособия из собственных средств, предоставляя другим добывать деньги из Союза для возвращения ему. В конце концов деньги эти по кусочкам выцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взял в долг, так что призрачное состояние казны от этого не менялось. Члены Союза, особенно часто обращавшиеся за помощью, начинали заметно нервничать[35].

При описании самого собрания Набоков использует все степени гротеска. Отдельные члены союза характеризуются, прежде всего, через внешние, телесные признаки (физические недостатки, манеру еды), которые вновь помещаются в «поле» между сочувствием и отвращением. Снова и снова подчеркивается их отдаленность от литературы:

> За столиками расположились члены Союза. Чистые литераторы теснились вместе, и уже слышалось энергичное «псст, псст» Шахматова, которому подали не то, что он заказал.

В глубине, за длинным столом, сидело правление: грузный, чрезвычайно мрачный Васильев, с инженером Керном и Горяиновым одесную, и тремя другими ошуюю. Керн, занимавшийся, главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока, и бывший чиновник бывшего департамента Горяинов, прекрасно читавший «Горе от ума», а также диалог Иоанна с литовским послом (причем великолепно подделывал польский акцент), держались с тихим достоинством, давно, впрочем, предав своих трех неправедных коллег. Из этих Гурман (ударение на первом слоге) был толстый, лысый человек, с кофейным родимым пятном в полчерепа, большими покатыми плечами и презрительно-обиженным выражением на толстых лиловатых губах. Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников; главной же темой его личности, фабулой его существования, была спекуляция, – особенно он увлекался советскими векселями. Рядом с ним сидел маленький, но крепко-упругий присяжный поверенный, с выдающейся челюстью, волчьим огоньком в правом глазу (другой был от природы прищурен) и целым складом металла во рту, – человек бойкий, горячий, своего рода бретер, постоянно привлекавший людей к третейскому суду, причем об этом говорил (я его вызывал, он отказался) с чеканной суровостью испытанного дуэлянта. Второй приятель Гурмана, рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного, – чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте, – когда-то куда-то давал заметки по экономическим вопросам, – хотя злоязычный Лишневский даже и в этом ему отказывал, клянясь, что единственным его печатным произведением было письмо в редакцию одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем – его двойником, и наконец – им самим, словно тут действовал неотвратимый закон капельного притяжения и слияния[36].

Остальных присутствующих также можно «увидеть» глазами главного героя, причем эффект гротеска при характеристике людей достигается также за счет акцентуации телесных особенностей и телодвижений; общая незаинтересованность в теме собрания подчеркивается за счет подробного описания еды, которая сопровождает протокольные действия:

Когда выбран был и секретарь, профессор Краевич предложил почтить память двух скончавшихся членов Союза вставанием; во время этого пятисекундного оцепенения оглашенный кельнер окидывал глазами столики, забыв, кто ему заказал принесенный им на подносе бутерброд с ветчиной. […] «Алло! Хир!», – крикнул Шахматов, с трудом дождавшись того мгновения, когда, с грохотом облегчения, жизнь уселась опять, – и тогда кельнер, быстро подняв указательный палец (вспомнил), скользнул к нему и со звоном поставил тарелку на поддельный мрамор. Шахматов немедленно стал резать бутерброд, крестообразно держа нож и вилку; на краю тарелки желтая нашлепка горчицы подняла, как это обычно бывает, желтый свой рог. Покладисто-наполеоновское лицо Шахматова, с голубовато-стальной прядью, идущей косо к виску, особенно нравилось Федору Константиновичу в эти его гастрономические минуты. Рядом с ним сидел и пил чай с лимоном, сам очень лимонный, с печально приподнятыми бровями, сатирик из «Газеты», псевдоним которого, Фома Мур, содержал, по собственному его заверению, «целый французский роман, страничку английской литературы и немножко еврейского скептицизма». […] Из литераторов тут был еще Ростислав Странный, – страшноватый господин, с браслеткой на волосатой

кисти, – и пергаментная, с вороными волосами, поэтесса Анна Аптекарь, и театральный критик, – тощий, своеобразно тихий молодой человек, с каким-то неуловимо дагерротипным оттенком русских сороковых годов во всем облике, – и, конечно, добрейший Буш, отечески поглядывавший на Федора Константиновича, который, вполуха слушая отчет председателя Союза, теперь перешел взглядом от Буша, Лишневского, Ширина и других сочинителей к общей гуще присутствующих, среди которых было несколько журналистов, вроде старичка Ступишина, въедавшегося ложечкой в клин кофейного торта, и много репортеров, и одиноко сидевшая, неизвестно по какому признаку здесь находившаяся Любовь Марковна, в пугливо блестевшем пенсне, и вообще большое количество тех, которых Ширин пристрастно называл «пришлым элементом»: представительный адвокат Чарский, державший в белой, всегда дрожащей руке четвертую за это время папиросу; какой-то маленький бородатый мытарь, когда-то напечатавший некролог в бундистском журнальчике; нежный, бледный старик, на вкус напоминавший яблочную пастилу, с увлечением отправлявший должность регента церковного хора; громадный, загадочный толстяк, живший отшельником в сосновом лесу под Берлином, чуть ли не в пещере, и там составивший сборник советских анекдотов; отдельная группа скандалистов, самолюбивых неудачников; приятный молодой человек неизвестного состояния и назначения («чекист», просто и мрачно говорил Ширин); еще одна дама, – чья-то бывшая секретарша; ее муж – брат известного издателя; и все эти люди, начиная от безграмотного оборванца, с тяжелым, пьяным взглядом, пишущего обличительно-мистические стихи, которые еще ни одна газета не согласилась напечатать, и кончая отвратительно-маленьким, почти портативным присяжным поверенным Пышкиным, который произносил в разговоре с вами: «Я не дымаю» и «Сымасшествие», – словно устраивая своей фамилии некое алиби, – все они, по мнению Ширина, роняли достоинство Союза и подлежали немедленному изгнанию[37].

Внимание писателя со всей очевидностью направлено не на крем, который поглощает русская литературная община эмигрантов, а на кучку более или менее отвратительных или вызывающих сочувствие «хотел бы стать-писателей», охотно занимающихся интригами. Их интерес, как кажется, концентрируется не на русской литературе, а на вещах обыденных и элементарных, например, на еде. После того как старое правление распущено, собрание заканчивается суматохой, так как явно существуют различные конкурирующие партии и стратегии, которые хотели бы перетянуть одеяло на свою сторону. Скучающий и рассерженный главный герой покидает собрание. Обширная цитата делает очевидным: ирония Набокова направлена не столько против определенной национальности, сколько против конкретных качеств – пошлости, самонадеянности, посредственности, которые достойны осуждения как с эстетической, так и с этической точки зрения. Эти характеристики приписываются в равной степени и немцам, и русским, так что о какой-то выраженной враждебности по отношению к немцам не может быть и речи.

## Потребность в контроле и самомистификация

При внимательном чтении произведений Набокова, комментариев и литературно-критических трудов становится ясной тенденция к контролю текстов и их значения. Практически это достигается наблюдением за всеми изданиями, путем исправления

«неправильных» толкований, за счет дополнения комментариями, которые сами по себе, даже если они не предлагают обязательное толкование, исключают определенные интерпретационные подходы[38]. На уровне текста этой цели служит жесткий процесс формирования перспективы и главенства рассказчика. Для Набокова было, очевидно, крайне важно транслировать общественности определенный образ себя самого и своих произведений, потребность, которая после его смерти была воспринята его семьей. До сегодняшнего дня сохраняется строгий контроль за изданиями. Такие действия, конечно, влияют на верифицируемость высказываний Набокова, а именно, в двух направлениях: с одной стороны, это желание интерпретаторов разоблачить и опровергнуть его высказывания как самомистификации и, с другой стороны, это стремление оправдать взгляд писателя на вещи и оправдать его причины для занятий самомистификацией.

## Неизбежная шизофрения эмиграции

Ясное объяснение особенностей образа Германии, созданного Набоковым, можно найти в общих жизненных условиях эмиграции. Уже в 1971 г., то есть в то время, когда писатель еще был жив, Роберт Уильямс описывает Берлин как «грядку в его литературном саду»[39], добавляя в том же абзаце, что на это значение города четко указал сам Набоков[40]. В этой – насколько я знаю – самой ранней работе на тему «Набоков и Германия»[41] были заложены основы понимания, которое распространилось и на многие более поздние работы аналитического типа: именно это враждебно воспринимавшееся окружение (и это относится как к немецкой, так и к русской среде) было тем фактором, который мобилизовал креативную энергию Набокова, который сделал возможным создать внутренний, воображаемый мир, бесконечно далеко отстоящий от реального. Это был мир, который, правда, был наполнен деталями эмигрантской действительности, но все же полностью находился под контролем Набокова. Это противопоставление реального и воображаемого мира можно наблюдать в обоих упомянутых выше методологических подходах (Берлин Набокова как действительность хрониста и призрачный мир).

Уильямс объясняет этот факт указанием на шизофренический, во многих аспектах, характер эмиграции, который влиял и на Набокова. Этот характер проявлялся в различных областях, в особенности же в «отсутствии настоящего»: эмигрант находится в постоянном напряжении между воспоминанием о постепенно просветляющемся прошлом, которое предлагает ему определенное убежище перед лицом ежедневных лишений и унижений изгнания, и надеждой на неизвестное будущее, в котором все должно быть лучше (то есть так, как раньше)[42]. Дальнейшие несоответствия проявляются в противоречии между желанием по-прежнему оставаться русским гражданином (или даже быть одним из немногих представителей настоящей, но безвозвратно погибшей русской культуры[43]) и реальным статусом человека без гражданства[44]. Следующий важный фактор, который упоминает Уильямс, это диссонанс между *хорошим* образом Германии, созданным поэтами и философами, и *плохим* или *злым* образом, возникающим из эмигрантской действительности: «обывательское и буржуазное общество в высоких сапогах, которое занимается преимущественно ведением войны и питьем пива»[45]. Для Набокова, чье происхождение и

воспитание[46], как можно предположить, формировали германофильское мировоззрение, эмиграция была радикальной переоценкой всех убеждений: *доброй* Германии его детства, отправной точке многих путешествий на юг противостоял негативный образ обывательской повседневной Германии периода эмиграции; оставшаяся в воспоминаниях картина доброй России находит свое негативное отражение в политической возне и организационной мании берлинской эмигрантской общины[47].

Германофобия Набокова оказывается частью обширной психологической травмы эмиграции, на основе которой граница между русскими и немцами оказывается, в большей степени, границей между русскими и немцами *до* и *после* эмиграции. Для этого он использует свою силу воображения, которая с помощью гротеска в деталях описывает пошлое и подлое. Воображение же остается неуязвимым, так как полностью подчинено контролю своего творца.

## Реальность и призрачное существование: Россия сквозь «берлинские очки»

«Внушение берлинской реальности»[48], «Промежуточная империя и ускользающая действительность»[49] или «Тени эмиграции»[50], воскрешенные самим Набоковым «Голубые вечера в Берлине» («Blauen Abende in Berlin»)[51] – это типичные названия работ, которые посвящены ирреальности берлинской эмигрантской действительности. В них проблема реалий в набоковских описаниях Берлина, например, аутентичности названий улиц, географических и временных связей, все больше уходит на задний план; географическая связь всех этих деталей даже отрицается. Но если контекст не раскрывается сам по себе, а должен выявляться в результате трудоемкой работы, возникает вопрос, была ли какая-то связь, вообще, задумана автором, можно ли приписать ему намерение создать эту связь, и какие выводы можно сделать из ее отсутствия. Так, Аннелоре Энгель-Брауншмидт считает неадекватным способ «косвенных доказательств», как его с подлинно «криминалистическим чутьем» применяет, например, Дитер Циммер в своем комментарии к немецкому изданию романа «Дар», или как он проявляется в проверке временного плана Набокова из того же романа[52], проведенной Петерсоном. Роман – это не географическая или хронологическая загадка, которую нужно разгадать[53]. С тем же намерением Франк Гоблер пишет, что феномены, которые вызывают к жизни художественные комментарии Набокова, не подходят для того, чтобы реконструировать общую картину Германии, которую создает автор[54]. Но, если множественные детали немецких и в особенности берлинских пейзажей, характеры людей и национального своеобразия могут создать лишь расплывчатый образ Берлина, полный искажений и несоответствий, на что они тогда указывают? В своей статье, написанной в 1987 г., Филипп Зикер пытается понять образ Берлина, созданный Набоковым, как «аккумуляцию расплывающихся фрагментов и ускользающих образов, которые изредка принимают облик улиц, парков и зданий»[55].

Его важнейшим выводом является то, что эти осколки образа не подходят для того, чтобы создать связную картину Берлина, но открывают взгляд на нечто другое, а именно, на потерянную Россию. Набоковские описания Берлина имеют, таким образом, «теневую сторону» (что, по меньшей мере, делает относительной его роль

«хрониста»): за миром нагроможденных деталей, которым не хватает действительной географической и хронологически-исторической связи или присутствия (за счет чего эти тексты существенно отличаются от других описаний городов эпохи современности[56]), выступает второй, воспоминаемый, воображаемый мир. Недостаток связности вскрывается в работах, которые пытаются найти ее – тенденция, которую можно наблюдать в последние годы в трудах Шлегеля, Урбана и, не в последнюю очередь, у Циммера, где на основе текстов Набокова «расцветает» впечатляющая панорама Берлина, детали которой необходимо, однако, кропотливо разрабатывать – так как нет связующего стержня, который открыт читателю. Если же следовать за Зикером, то как раз эта бессвязность и придает описаниям особенность: мы получаем взгляд «в мятущееся, на редкость расплывчатое состояние души потерянного русского»[57], при котором город остается текстом, не поддающимся интерпретации, остается необъясненным, неразгаданным:

> Ускользающие внутренние связи Берлина – […] совершенно неподдающиеся расшифровке для набоковских эмигрантов, которые даже не пытаются перевести их на язык частных идиом[58].

Это, с одной стороны, усиливает тенденцию к характеристике частного и коллективного отчуждения и ведет, с другой стороны, к расплывчатости категорий «живой» versus «мертвый», «бодрствование» versus «сон», «реальность» versus «воображаемое»:

> Наиболее тревожный эффект этих произведений, в действительности, состоит в том, что Берлин существует как похожий на сон слайд, в равной мере, для здравомыслящего и безумного, как до, так и после смерти. Это царство, где психологические категории разрушаются, где фантазии, навязчивые идеи и галлюцинации часто неотличимы от здравого восприятия, и где обычные предметы и события неожиданно приобретают характер кошмаров. Когда человеческая деятельность сводится к игре теней, неодушевленные черты городского ландшафта оживают[59].

Таким образом, Берлин выступает в качестве кулисы или прозрачной пленки, которые позволяют вообразить потерянную Россию, фантазию, которая возникает всякий раз тогда, когда бледнеет реальное пространство – в темноте, в тумане, в снегу или в мечтах о них[60]. У Франка Гоблера описания города также рассматриваются как чистая функционализация: так, «в образе Берлина как рассказанной действительности – в семантике этого пространства, его перспективе, нарисованной рассказчиком, и людях – заключены как важные рассуждения, так и художественные принципы набоковского стиля»[61]. Эти принципы относятся ко времени (как к воспоминанию) и к рефлексии о художественном творчестве как таковом. Скрупулезно точное описание необходимо понимать не как передачу действительности, а как художественный процесс; Набоков понимает себя здесь как художника, который использует находящийся в его распоряжении материал, чтобы построить из него собственный мир. Похоже аргументирует и А. Энгель-Брауншмидт: целый ряд примеров из «Дара» позволяет проследить, как главный герой «прочитывает» Россию через Берлин[62], так что реальный город предоставляет в его распоряжение набор символов, которые при помощи «я» рассказчика приобретают особый смысл. Реалии

города инструментализируются, выходя за рамки простого описания, в данном случае, с упором на драматизацию процесса художественного творчества. Это подкрепляется, к тому же, выбором типичных мотивов: тени, прозрачность, немое кино как «царство теней».

Инструментализация повседневности как кулисы достаточно часто встречается у таких контролирующих свое творческое сознание писателей, как Набоков. Я хотела бы продемонстрировать это с помощью следующей цитаты, которая наглядно иллюстрирует его образ действий: начало и конец рассказа «Der neue Nachbar» («Королек», 1933), который, с одной стороны, является прототипом образа «ужасного немца», а с другой стороны, является символичным в характеристике способа, каким Набоков «конструирует» свои истории:

> Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль […]. Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано – у высокой кирпичной стены – целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы […][63].

В конце рассказа кулисы вновь открываются:

> Собранные предметы разбредаются опять, увы. Тополек бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом уплывает. Уплывает все. Распадается гармония и смысл. Мир снова томит меня своей пестрой пустотою[64].

## Заключение

> Среди общей этой тишины она проходила бесстрастная, скорее довольная, очарованная и ограниченная своею глухотой, в черном пальто, – и делала свои наблюдения и думала о разном[65].

Слабослышащая главная героиня рассказа «Оповещение» (1934), так же, как и сам Набоков, превращается в вынужденного «хрониста» тогда, когда она, как автор, регистрирует детали своего окружения и использует их как «кирпичики» для строительства альтернативного, воображаемого мира. Для Набокова-писателя этот процесс является основополагающим.

Оба охарактеризованные в статье методологических подхода имеют право на существование при работе с текстами Набокова; там, где центр тяжести переносится на реконструкцию биографического и географического контекста, метод отражает, как правило, интерес интерпретатора и читателя, который хотел бы путешествовать по следам автора и погрузиться в его личность. Набоков будет всячески препятствовать этому погружению. Скрупулезность в деталях кажется нарочитой, используемой для того, чтобы ввести читателя в заблуждение. Набоковский контроль включает в себя и чрезвычайное недоверие по отношению к интерпретаторам, которое он

недвусмысленно выразил при помощи персонажа Шарля Кинбота в романе «Pale Fire» (1957): в нем комментарий фиктивного издателя, который хотел бы рассказать свою собственную историю, захлестывает текст оригинала. Читателю тексты Набокова часто представляются неразрешимой загадкой. Так Джеймс Рэмбо назвал их в 1982 г. «неприступными для критики» (critic-proof), так как, «когда мы тщательно выискиваем всевозможные связи, и намеки, и игру слов, и разоблачаем их, тщательно истолковывая, именно тогда Набоков веселится – именно тогда чаще всего его критик превращается в часть аппарата рассказа»[66].

Поэтому главным является вопрос, имеет ли смысл читать набоковские тексты о Берлине как реалистические зарисовки эмигрантской действительности. Не грешим ли мы тем, что смешиваем искусство и действительность недопустимым образом? И да, и нет. Образ Германии, созданный Набоковым, при ближайшем рассмотрении оказывается намного дифференцированнее, чем это кажется с первого взгляда. Правда, можно поставить под сомнение, что автор пытался создать достоверное описание Германии; любая страна, ставшая местом эмиграции, могла бы выполнить свою функцию осколков картины для его произведений и его творческого развития. Из этой перспективы его нежелание признавать время, проведенное в Германии, важным этапом для творчества, необходимо воспринимать серьезно. Оно может быть обосновано приоритетом фиктивного перед «реальностью». Если мы хотим получить хоть сколько-нибудь приближенную к действительности картину русского Берлина 20-х гг. прошлого века, недостаточно привлечь для этого тексты одного автора, хотя бы и такие заманчивые. Набоков может, благодаря своему стилю и вниманию к деталям, внести важный вклад в создание этого образа. И все же мы должны, если мы выбираем этот подход, понимать фрагментарность текстов и не выстраивать связи там, где их нет. Даже при далеко идущей страсти к деталям и «собирательству» этого писателя, реалии русского Берлина в литературе остаются нереконструируемы, и Набоков сам признавался в этом:

> Мы все ближе и ближе подходим к реальности, по крайней мере, как мы это утверждаем; но мы никогда не сможем подойти достаточно близко, так как реальность – это бесконечная череда шагов, уровней восприятия, ложных оснований и, следовательно, неутолима, недосягаема[67].

*Перевод с немецкого Ольги Никоновой*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Vladimir Nabokov:* Erinnerung, sprich. Wiedersehen mit einer Autobiographie. Gesammelte Werke. Hrsg. von *Dieter E.* Zimmer. 23 Bde. Reinbek 1989ff.; hier Bd. 22. S. 375 und 377. Все немецкие переводы текстов Набокова основаны на английских изданиях, которые могут отличаться от русских. Цит. по русскому изданию: *Набоков В.В.* Другие берега // *Набоков В.В.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. С. 283–284.

[2] Существует множество изданий автобиографии. Эту проблему я рассмотрю ниже.

[3] См.: *Karl Schloegel:* Das «andere Rusland». Zur Wiederentdeckung der Emigrationsgeschichte in der Sowjetunion. In: Die Umwertung der sowjetischen Geschichte. Hrsg. von Dietrich Geyer. – Gottingen, 1991. S. 238–256.

[4] http://www.libraries.psu.edu/nabokov/zembla.htm. Все интернет-страницы были проверены на их доступность 19 апреля 2005 г.

[5] http://www.fulmerford.com/waxwing/nabokov.html.

[6] http://mitglied.lycos.de/antiterra/nabokov.html

[7] http://www.nabokovinmuseum.org.

[8] *Thomas Urban:* Vladimir Nabokov: Blaue Abende in Berlin. – Berlin? 1999; *Dieter E. Zimmer:* Nabokovs Berlin. – Berlin, 2001; о лирике Набокова, написанной в Германии см.: *ThomasUrban:* Berlin, Zuflucht russischer Literaten. Vladislav Chodasevii, Vladimir Nabokov, Nikolaj El'jaљev. In: Deutsche und Deutschland in der russischen Lyrik des fruhen 20. Jahrhunderts (= West-OstlicheSpiegelungen, Reihe B, Sonderband). Hrsg. von Dagmar Herrmann und Johanne Peters. Muenchen: Fink 1988. S. 59–94.

[9] Материалы конференции доступны на сайте музея: http://www.nabokovmuseum.org/NC2_S.htm на английском языке. Доклады еще не опубликованы.

[10] Эта часть основана на подробной двухтомной биографии Набокова, написанной Брианом Бойдсом (которая содержит также список имен и терминов). См.: *Brian Boyd:* Vladimir Nabokov: The Russian Years. – Princeton, NJ 1990, или The American Years. – Princeton, NJ 1991; первый том вышел также на немецком языке: *Vladimir Nabokov.* Die russischen Jahre 1899–1940. Biographie. – Reinbek, 1999. Существует и русский перевод: *Брайан Бойд.* Владимир Набоков. Русские годы. Биография. – СПб.–М., 2001. Подробная и актуальная информация, фотографии, библиографии и др. Находятся также на уже упоминавшихся страницах интернета Международного общества Набокова (Zembla), которые стоит посетить.

[11] Издана биография жены Набокова: *Stacy Schiff:* Vera (Mrs. Vladimir Nabokov). – New York, 1999; перевод на немецкий: Vera. Ein Leben mit Vladimir Nabokov. – Koeln, 1999. Характерно, что и здесь встреча с Владимиром Набоковым представлена как самое важное событие жизни, определившее все последующие годы.

[12] *Boyd:* The Russian Years (прим. 10). S. 215.

[13] Опубликовано в: *Urban:* Blaue Abende (прим. 8). S. 185–202; карту можно найти на S. 216f.

См. также план города у: *Zimmer:* Nabokovs Berlin (прим. 8). S. 142f., на нем нанесены также и другие важные места русского Берлина.

[14] *Anton Sergl:* Mein Rusland als verlorenes Paradies. Ruslandbilder in Vladimir Nabokovs Autobiographik. In: Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 44 (1997). S. 269–310; здесь: S. 304, прим. 6. По этой теме см.: *Elizabeth W. Bruss:* Vladimir Nabokov: Illusions of Reality and the Reality of Illusions. In: она же: Autobiographical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre. – Baltimore, 1976. S. 127ff.

[15] Первое издание на немецком: *Dieter E. Zimmer.* Schlussige Beweise. In: Die Zeit, Nr. 9 vom 25. Februar 1999. S. 45f.

[16] *Sergl* (прим. 14). S. 300f.

[17] Там же. S. 270. Сергль основывается здесь на: *Jane Grayson:* Nabokov Translated. AComparison of Nabokov's Russian and English Prose. – Oxford, 1977, *D. Barton Johnson:* Worlds in Regression. Some novels of Vladimir Nabokov. – Ann Arbor, 1985, und *John B. Foster:* Nabokov's Art of Memory and European Modernism. – Princeton, NJ, 1993.

[18] Эти причины называют многие, например: *Fritz Mierau.* Russen in Berlin. Literatur, Malerei, Theater, Film 1918–1933. Hrsg. von Fritz Mierau. – Leipzig, 1987. S. 260.

[19] См. об этом: *Karl Schloegel:* Berlin: «Stiefmutter unter den russischen Stadten». In: Der grose Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941. Hrsg. von Karl Schlogel. – Muenchen, 1994. S. 234–259; Russen in Berlin (ebd.), u. a. Все труды о «русском Берлине» подчеркивают снова и снова число и многообразие издательств, профессиональных союзов и других организаций – факт, которые, конечно, говорит против интеграции в немецкое окружение.

[20] Репрессий оказалось не избежать. Так, после прихода Гитлера к власти Вера Набокова потеряла работу в адвокатском бюро, так как оно было закрыто по расовым соображениям. См.: *Boyd:* The Russian Years (прим. 10). S. 400.

[21] Так название одной из глав у Урбана: *Urban:* Blaue Abende (прим. 8). S. 120–129.

[22] См.: *Karl Schloegel:* Berlin Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. – Berlin, 1998. S. 159–176; *Urban:* Blaue Abende (ebd.), а также комментарии Циммера к немецкому изданию (прим. 1). Фотографии см. у: *Zimmer:* Nabokovs Berlin (прим. 8).

[23] См., например: *Philipp T. Sicker:* Shadows of Exile in Nabokov's Berlin. In: Thought: A Review of Culture and Idea. Bronx, NY 62:246 (1987). S. 281–294; *Frank Gobler:* Vladimir Nabokov und Ber-

lin: Zwischenreich und fluchtige Wirklichkeit. In: Zeitschrift fur Slawistik 39 (1994), H. 4. S. 582–590; *Annelore Engel-Braunschmidt:* Die Suggestion der Berliner Realitat bei Vladimir Nabokov. In: Russische Emigration in Deutschland 1918–1941. Leben im europaischen Burgerkrieg. Hrsg. von Karl Schloegel. – Berlin, 1995. S. 367–378.

[24] *Vladimir Nabokov:* Philister und Philistertum. In: Ders.: Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der russischen Literatur. Nikolai Gogol, Iwan Turgenjew, Fjodor Dostojewski, Leo Tolstoi, Anton Tschechow, Maxim Gorki. Hrsg. von Fredson Bowers. – Frankfurt a. M., 1991. S. 407–412; здесь S. 411. В сборнике, изданном в 1980 г. в Нью-Йорке под названием «Lectures on Russian Literature» были опубликованы лекции Набокова, прочитанные в Стэнфорде, Уэсли и Корнэлле в 40-е и 50-е гг.

[25] *Vladimir Nabokov:* Nikolai Gogol. – Oxford, 1989. S. 68. Первое издание относится к 1944 г.

[26] *Vladimir Nabokov:* Der neue Nachbar. In: Gesammelte Werke (прим. 1), Bd. 13: Erzaehlungen I (1921–1934). – Reinbek, 1989. S. 643–659; например: «Но когда они оба облокачивались на железные перильца балкона, зады были у них точь-в-точь одинаковые – большие, торжествующие […]» (S. 645).

[27] *Vladimir Nabokov:* Wolke, Burg, See. In: GesammelteWerke (ebd.), Bd. 14: Erzahlungen II (1935–1951). – Reinbek, 1989. S. 105–118; z. B. «Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями». Цит. По: *Набоков В.В.* Облако, озеро, башня // *Набоков В.* Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. – М., 1989. С. 147.

[28] *Vladimir Nabokov:* Die Gabe. In: GesammelteWerke (ebd.), Bd. 5. – Reinbek, 1993. S. 547ff. «Серые, в наростах и вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, как свинья, пузо [….]». Цит. По: *Набоков В.В.* Дар // *Набоков В.В.* Собрание сочинений в четырех томах. – М., 1990. Т. 3. С. 302.

[29] *Vladimir Nabokov:* Die Literatur als Kunstform und der Alltagsverstand. In: Ders.: Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der europaischen Literatur. 2. Aufl. – Frankfurt a. M., 1992. S. 453–465; hier S. 455. Der Originaltitel lautet The Art of Literature and Common Sense. Цит. По: *Набоков В.* Искусство литературы и здравый смысл // *Набоков В.* Лекции по зарубежной литературе. Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, Кафка, Пруст, Стивенсон. – М., 1998. С. 466.

[30] Цит. по: *Набоков В.* Дар // *Набоков В.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 3. С. 72–74.

[31] См.: *Schloegel* (прим. 19).

[32] *Nabokov:* Die Gabe (wie Anm. 28). S. 489ff.

[33] В действительности эта часть из-за своего пародийного характера, в прицеле которого оказался памятник Чернышевскому, сначала не была опубликована. См.: *Boyd:* The Russian Years (прим. 10). S. 441f.

[34] Цит. по: *Набоков В.* Дар. С. 283.

[35] Там же. С. 283–284.

[36] Там же. С. 286–287.

[37] Там же. С. 288–289.

[38] «Запреты» – это психоаналитические и социально-критические способы прочтения. Примером может служить следующая цитата из набоковского предисловия к роману «Отчаяние»: «“Отчаяние”, впрочем, как и другие мои книги, не предназначено для того, чтобы давать общественные комментарии, и не содержит никакого “послания” между строк. […] Привлекательно обрисованный предмет или мечта о венском шницеле, которую, может быть, ретивый Фрейд-Юнгер тщится найти в оторванности от жизни моих “изделий”, при ближайшем рассмотрении оказывается издевательской иллюзией […]. Позвольте, на всякий случай, добавить, что знатоки литературных школ на этот раз могут отдохнуть и не утруждать себя поисками “влияния немецких импрессионистов”: я не знаю ни слова по-немецки и не читал импрессионистов, кто бы они ни были». См.: *Vladimir Nabokov:* Verzweiflung. Vorwort des Autors zur englischsprachigen Ausgabe (1965). In: Gesammelte Werke (wie Anm. 1), Bd. 3: Fruhe Romane 3. – Reinbek, 1997. S. 273–551; здесь S. 548f.

[39] См.: *Robert C. Williams:* Memory's Defense: The Real Life of Vladimir Nabokov's Berlin. In: The Yale Review (New Haven, CT) 60, Winter 1971, H. 2. S. 241–250; здесь S. 241.

[40] См. мою статью: *Ulrike Goldschweer:* Das Komplexe im Konstruierten. Der Beitrag der Chaos-Theorie fuer die Literaturwissenschaft am Beispiel der Erzaehlzyklen «Sogljadataj» (Vladimir Nabokov) und «Prepodavatel' simmetrii» (Andrej Bitov). – Bochum, 1998. S. 99–104, а также *Phyllis Roth:* Towards the Man behind the Mystification. In: Nabokov's Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life's

Work. Hrsg. von J.E. Rivers und Charles Nicol. – Austin, Tex., 1982. S. 43–49, и *James M. Rambeau:* Nabokov's Critical Strategy. In: Nabokov's Fifth Arc (ebd.). S. 22–34.

[41] Изучение «русского» писателя Набокова началось лишь в 60-е – 70-е гг. в ходе «ползучей американизации» русских произведений, то есть с переводом этих текстов на английский. См.: *Christopher Hullen:* Der Tod imWerk VladimirNabokovs. Terra Incognita. – Muenchen, 1990. S. 40.

[42] Williams (прим. 39). S. 242.

[43] См.: *Афанасьев А.Л.* Неутоленная любовь. Вступительная статья // Литература русского зарубежья. Антология в шести томах. Под ред. В.В. Лаврова. – М., 1990 и др. Т. 2. Кн. 1: (1920–1925). С. 5 и др.; здесь С. 13.

[44] *Williams* (прим. 39). S. 242.

[45] Там же. S. 243.

[46] Автор хорошо знал Германию с детства. См. у: *Zimmer:* Nabokovs Berlin (прим. 8). S. 7ff.

[47] *Williams* (прим. 39). S. 249.

[48] *Engel-Braunschmidt:* Die Suggestion der Berliner Realitat (прим. 23).

[49] *Gobler:* Vladimir Nabokov und Berlin: Zwischenreich und fluchtige Wirklichkeit (прим. 23).

[50] Sicker: Shadows of Exile (прим. 23).

[51] *Marina Turkevich Naumann:* Blue Evenings in Berlin: Nabokov's Short Stories of the 1920s. – New York, 1978; *Urban:* Blaue Abende (прим. 8). Набоков пишет: «Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России…». Цит. по: *Набоков В.В.* Другие берега // *Набоков В.В.* Собрание сочинений в четырех томах. – М., 1990. Т. 4. С. 286.

[52] *Engel-Braunschmidt* (прим. 23). S. 368ff.; цитата из Роналда Петерсона. См.: *Ronald E. Peterson:* Time in The Gift. In: The Vladimir Nabokov Research Newsletter 9 (1982). S. 36–42.

[53] *Engel-Braunschmidt* (там же). S. 372.

[54] *Gobler* (прим. 23). S. 585.

[55] *Sicker* (прим. 23). S. 282.

[56] Там же. S. 285.

[57] Там же. S. 282.

[58] Там же. S. 285.

[59] Там же. S. 287. Этот статус Берлин разделил с Санкт-Петербургом, как во взглядах Николая Гоголя, так и Андрея Белого (влияния, которые Набоков, конечно, отрицает), хотя набоковскому Берлину полностью несвойственны гипертрофированность исторических и культурных аспектов, что типично для Петербурга. По теме стереотипов мифа о Санкт-Петербурге см.: *Johannes Holthusen:* Petersburg als literarischer Mythos. In: Rusland in Vers und Prosa. Vortrage zur russischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. – Muenchen, 1973. S. 9–34, а также: Семиотика города и городской культуры – Петербург. Труды по знаковым системам. Т. 18. Под ред. Ю. Лотмана. – Тарту, 1984.

[60] *Sicker* (прим. 23). S. 290.

[61] *Gobler* (прим. 23). S. 585.

[62] *Engel-Braunschmidt* (прим. 23). S. 373.

[63] *Nabokov:* Der neue Nachbar (прим. 26). S. 643.

[64] Там же. S. 659.

[65] *Vladimir Nabokov:* Die Benachrichtigung. In: GesammelteWerke (wie Anm. 1), Bd. 13: Erzahlungen I (1921–1934). Reinbek 1989. S. 682. Цит. по: *Набоков В.В.* Оповещение // *Набоков В.В.* Собрание сочинений в четырех томах. – М., 1990. Т. 2. С. 341.

[66] *Rambeau* (прим. 40). S. 22–34.

[67] *Vladimir Nabokov:* Strong Opinions. New York 1973. S. 10. Deutsch in Gesammelten Werke (прим. 1), Bd. 20: Deutliche Worte: Interviews, Leserbriefe, Aufsatze.

# 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМИ И ИСКУССТВА В УСЛОВИЯХ ДИКТАТУРЫ

*Наталия Маргулис*

## РУССКИЙ КАК ТАКОВОЙ, НЕМЕЦ В СЕБЕ. Образы врага и друга в русской и немецкой литературе, посвященной гражданской войне 1936–1939 годов в Испании

Современные исследователи определяют Гражданскую войну в Испании (1936–1939) как эпохальное событие, а никак не внутреннюю проблему одной лишь Испании. В их понимании, этот конфликт был началом военного противостояния фашизма и коммунизма, а одновременно – держав, считавших их главными силами в истории XX века. С этой точки зрения, противники в гражданской войне скорее рассматривались как участники большой конфронтации между Немецким Рейхом и Советским Союзом, которая должна была возникнуть рано или поздно. Для немецко-российских культурных отношений этот эпизод также чрезвычайно важен, так как интеллигенция играла в этом политическом и идеологическом конфликте более активную и важную роль, чем прежде.

Одной из особенностей этой войны является большое число народов и партий, которые выступали на той или другой стороне конфликта, преследуя, при этом, собственные интересы и цели; по этой причине одни и те же факты и события могли быть восприняты, изображены и проинтерпретированы с разных точек зрения. Это находит свое отражение в русской и немецкой литературе об Испанской гражданской войне: левые авторы (например, из Третьего Рейха), писатели, которые сами участвовали в сражениях, и те, которые описывают события вдали от их места действия, предлагают читателю различные трактовки Испанской войны. Многосторонность литературы о гражданской войне делает ее идеальной площадкой для изучения таких понятий, как «друг» и «враг» – являющихся одними из центральных понятий в любом материале, написанном о войне.

Однако возникает вопрос: каким образом определяется позиция (литературного) персонажа в системе «врагов и друзей»? Являются ли (с точки зрения структуры и содержания) процессы определения этой позиции одинаковыми в различных идеологических системах? Определяется ли значение образов «друг» и «враг» в коммунистической (советской и немецкой) и фашистской пропагандистской литературе[1] одинаковыми признаками (облик, внешность и т. д.) или нет? Как подходят к этой проблематике писатели, не связанные напрямую с системой государственной пропаганды?

Будут ли русские[2] и немцы восприниматься в качестве друзей или в качестве врагов, в большой степени, зависит от того, какие нравственные характеристики приписываются нации и как они соотносятся с качествами, образующими те или иные стереотипы. Прежде всего, нужно выделить механизмы, с помощью которых возникают такие «штампы», как «друг», «враг» или «чужой народ». В своей статье «О семиосфере» Юрий Лотман говорит о необходимости для любой культуры, которая хочет постигнуть саму себя, создать «антикультуру», чтобы суметь выделиться на ее фоне и, таким образом, провести самоидентификацию:

> Осознать себя в культурно-семиотическом отношении значит осознать свою специфику, свою противопоставленность другим сферам. […] Поскольку граница – необходимая часть семиосферы, семиосфера нуждается в «неорганизованном» внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации[3].

Следуя за Лотманом и Роландом Познером, Дорис Мосбах констатирует: «При построении анти- и некультурной сферы семиотизируется, прежде всего, внекультурный феномен»[4]. И далее: «Антимиру, который […] всегда несет черты повседневного мира, а) либо придаются позитивные качества; б) либо придается отрицательный образ, который действует как противоположность (в двойном смысле) нашему положительному миру»[5]. Образ врага, при этом, конструируется на контрасте с определенной культурой (вариант «б» по Мосбаху), образ же друга основывается на частичном отождествлении с той или иной культурой (вариант «а»). Сложнее выглядит принцип построения концепции «чужого народа», которая в военной литературе неизбежно часто принимает признаки образа друга или врага. Сравнение изображений «хорошего» и «плохого» русского и немца в работах по Испанской войне может помочь при отделении идеологически обусловленного приписывания определенных качеств от изображения определенного национального характера вне зависимости от позиции в испанском конфликте. Сразу же после этого сравнения можно будет сделать вывод о существовании общего образа «русских» в немецкой и «немцев» в русской литературе по Испанской войне и о том, как этот образ используется и применяется различными идеологиями, различными авторами и в различных литературных жанрах[6].

Таким образом, речь пойдет не о литературно-исторической роли авторов, выступающих на разных сторонах конфликта, или их работ. Речь пойдет о значении и методах изображения аспектов «чужого» на протяжении одного временного отрезка в ситуации крайне обостренного столкновения.

## Образ русского как врага в литературе Третьего Рейха

Хотя участие Германии в Гражданской войне в Испании до конца 1939 года официально оставалось тайной, Испания стала востребованной темой в национал-социалистской литературе с самого начала конфликта. С 1937 года на книжном рынке, управляемом Гильдией писателей Рейха (Reichsschrifttumskammer), появился ряд работ, носивших пропагандистский характер, изображавших и истолковывавших

события в Испании с точки зрения фашистской идеологии или согласно целям нацистской внешней политики. В центре большей части этих сочинений возникает образ врага, который составляет смысловую и содержательную сущность произведения. Он соответствует общему принципу нацистской пропаганды, где образ врага создает модель «контрпропаганды». В качестве главных врагов здесь фигурируют Советский Союз и коммунизм («большевизм», и часто «еврейский большевизм»), который, якобы, на своем пути к мировому господству решил подчинить себе свободную Испанию. Вследствие этого, немецкое вмешательство в дела Испании изображается как миссия по спасению испанского народа. Для авторов изданных до 1939 года работ, таких как Двингер, Шлайер, Призе и других, это означало, что необходимо сконцентрироваться на столкновении с врагом и изобразить его жестокость и его преступления.

Одной из типичных особенностей литературы об Испанской гражданской войне, публиковавшейся в Рейхе, является высокая «претензия на правду» (хотя это определяется жанром). Согласно Георгу Пихлеру[7], в течение войны были опубликованы только девять художественных работ по этой теме. Остальные (около 60 публикаций) представляют собой политические пропагандистские труды; исторические научно-популярные книги, в которых Гражданская война рассматривается в контексте испанской и мировой истории; биографии главных участников этой войны; а также очерки непосредственных участников сражений, в том числе, позднее, солдат легиона «Кондор»; произведения смешанных жанров, такие как книга Иоганнеса Призе «Серп и молот над Испанией», в которой сделана попытка представить читателю универсальную философскую, историческую, политическую и эмоциональную интерпретацию событий Испанской войны, – все произведения, авторы которых более удачно приспосабливаются к пропаганде. Одним из признаков этих якобы «документальных» текстов является тот факт, что их «нехудожественность» относится только к форме, и авторы пытаются выдать за настоящее, в большей части, выдуманное ими содержание[8].

На протяжении рассматриваемого нами периода, концепции формирования образа врага в нацистской пропагандистской литературе оставались, в большей или меньшей степени, одинаковыми, при этом каждая группа текстов использовала собственные методы, для того чтобы донести этот образ до читателя. В данном контексте все жанры можно разделить на две группы: в текстах первой – изображаются сами русские (реальные или мнимые), в текстах второй – присутствует только «призрак» русских, дающий себя знать с помощью специальных символов, которые должны указать, кто прячется за действиями красных и кто является настоящим врагом. Так, в тексте Эдвина Эриха Двингера[9] можно встретить описание одной из разграбленных «красными испанцами» церквей: «На алтаре блистала красным цветом […] пятиконечная советская звезда с серпом и молотом – последний раз я видел ее восемнадцать лет назад, и здесь я встретил ее снова, в первый раз увидев скрывающуюся за ней угрозу»[10].

«Страх» перед врагом – это чувство, к которому чаще всего обращается национал-социалистская пропаганда, и, так как легче всего возникает страх перед неизвестным, «чужеродность» врага в пропагандистской литературе подчеркивается особенно – например, в биографии Франко, написанной Фрёмбгеном: «Чужая держава собиралась ограбить Испанию, превратить гордую страну богатых традиций в большевистскую колонию»[11]. В качестве внешнего показателя этой чужеродности

используется образ «азиатскости», который связывался с представлениями о России еще с XIX века[12]: «Следующее сражение […] разыгралось между дико угрожающим азиатским фронтом русской революции и национальным фронтом нашего воинственного поколения»[13]. Фрёмбген делает врага чужим в два этапа: сначала он приравнивает Испанию к неевропейским, довольно чужим мусульманским завоевателям, и сразу же после этого противопоставляет исламу этого нового врага, чтобы сделать образ абсолютно чужим:

> Враг […] ждал у французских ворот. Он напал на Испанию, что казалось ему стратегически более важным. На Испанию, оплот европейской культуры, ближе всего расположенный к Африке, Юго-Западу! Испания уже однажды должна была стать воротами для входа и прорыва на север Европы еще одного врага Запада – Ислама. Но какая большая разница! Полководец Мусы, наместника Кайруана, Тарик, боец Аллаха, который перешел морской пролив, по сей день носящий его имя в искаженной форме, который первым построил на скалах Гибралтара крепость, чтобы на серебряной арабской цельной крови в Андалузии росли цветущие сады, – и сегодня это войско, ворвавшееся с красным знаменем и советской звездой! Преступники, масоны, евреи, носители тления и разрушения во всем мире, посланные с целью отрицать и уничтожать[14].

При создании положительного образа ислама проводится частичное сравнение, которое позволяет заключить, что новый враг («большой азиат, Молох»[15]) является не только самым опасным среди его предшественников, но даже «чуждым всему миру».

Но чужеродности самой по себе недостаточно для того, чтобы ее носитель воспринимался как враг, которого будут бояться, ненавидеть и т. д. Это понятие должно быть наполнено и другими качествами, которые пробуждают подобные негативные чувства. Но, так как неизвестное еще не описано и не может вызывать какие-либо эмоции, для характеристики чужого врага берут признаки и ценности из определенной культурной системы и превращают их в свою противоположность. Таким образом, врага можно обозначить как «анти-я» – если «я» могу быть добрым, честным, интеллигентным и культурным, то враг, соответственно, должен быть злым, лукавым, тупым и диким. Именно так четырьмя самыми характерными чертами в изображении русских в нацистской литературе об Испанской войне становятся «жестокость», «коварство», «умственная ограниченность» и «враждебность культуре».

Так как под непосредственной угрозой находится не собственная, а испанская культура, враг должен быть, прежде всего, охарактеризован как «чуждый Испании». В то же время, целевой аудиторией пропаганды является немецкая публика, которая должна воспринимать русских в Испании и как собственного врага. Подобный результат достигается путем приписывания русским намерения захватить весь мир, при этом, у читателя возникает мысль: «Если мы не вмешаемся, то будем следующими». Тогда образ врага, с одной стороны, теряет свое единое, интернациональное, лицо, но, с другой стороны, приобретает индивидуальность.

Первым шагом вырабатывается «испанский характер», из которого потом, как его противоположность, выводится образ врага – этот механизм иллюстрирует отрывок из работы Феликса Шлайера:

> Испанец, за редким исключением, порядочен и даже добродушен, если знать к нему подход. Испанцы […] примитивны: не разум, а инстинкт руководит ими. Они действуют не по

> принципам, а в зависимости от сиюминутной ситуации. Как маленькие дети, они могут быть жалостливы и жестоки, когда как. […] Но на стороне красных преступления, обусловленные грубостью массы, с каждой неделей превращались в ужасную вакханалию убийств и грабежей, не только в Мадриде, но и во всех городах и селах «красной зоны». Здесь смерть стала порядком; это было уже не народной ненавистью, это соответствовало русским методам: большевизм заставлял терять людей свой человеческий облик[16].

В противоположность «спонтанности» и «наивности» как стереотипным представлениям об испанском характере[17], русским приписывалась «организованность» и «сознательность». В действительности, в отличие от немцев, созданный образ врага не должен был обладать этими чертами, так как «порядок» и «целеустремленность» являлись положительными качествами в национал-социалистской системе ценностей и составляли часть их собственного характера – им противопоставлялись как раз «русский хаос» и «слепая вера» вместо разума. Нацистская литература о Гражданской войне никогда не устраняла подобных противоречий, прежде всего, потому, что не могла отказаться ни от одной, ни от другой концепции: хаос необходим, чтобы сохранить апокалипсический образ мира, управляемого большевиками, а организованность указывает на силу и опасность врага, который орудует по всему миру, – в результате, идеология советской России должна была истолковываться как «организованный хаос».

В большинстве работ, изданных в Рейхе, «жестокость» врага выступает основной его характеристикой. Этот враг свиреп и не знает пощады – лучше умереть, чем попасть в его руки. Чтобы сделать такую картину правдоподобной, используются возможности отдельных жанров: авторы «научных» текстов изображают мнимые преступления русских как реальные факты и часто доказывают это цитатами (иногда – снова вымышленными) из вражеских изданий, таких, как советские газеты и пресловутые «Протоколы сионских мудрецов»[18]. В описании событий, базировавшемся на личном опыте автора, речь идет о безжалостности врага, а упоминание известных имен или данных должно добавлять правдивость повествованию:

> Мы у рохос [красных. – *Прим. пер.*]! […] Я подумал о генерале Кутепове, которого увезли из Парижа в Москву, о его мучениях на Лубянке… Они бы захотели узнать от меня тысячу вещей, такая ужасная судьба ожидала меня, что это невозможно себе представить[19]…

Садистская сущность врага проявляется в том, что он в своем насилии отдает предпочтение слабым – поэтому в нацистской литературе главными жертвами русских становятся мирные люди, женщины, дети и больные: «Единственное, на что они были способны – убивать тысячи безоружных мирных людей»[20].

> По приказанию еврея, женщины с их младенцами были посажены в тюрьму. Тем же вечером он поставил во дворе бочки с водой и утопил детей на глазах их матерей. Три женщины совершили самоубийство, две женщины потеряли рассудок[21].

К жестокости врага часто добавляется «произвол» – вызванный обстановкой всеобщего разрушения, он не принимает во внимание ни писаного, ни неписаного права. В то время как Гельмут Фюринг приводит в пример такое вопиющее нарушение военного права как стрельба по Красному Кресту[22], Шлайер рисует картину «террористского правосудия» противника:

> Были созданы «народные суды», в которых представители революционных комитетов и организаций произвольно осуждали людей, которые попадали к ним на основе показаний или личных инициатив каких-либо «членов». […] Очень немногие люди, попав в руки такого полуофициального «Чека», как его еще называли в Мадриде, сумели выйти оттуда живыми[23].

Описание испанского учреждения, носящего русское название «Чека», является примером тому, как и без включения русских в качестве героев в произведение, можно было показать читателю, что за всеми совершенными испанцами преступлениями стоял другой враг, а именно «опасный русский».

Как любая пропаганда, фашистская литература о Гражданской войне в Испании охотно использует цветовую символику. В небольшой палитре, состоящей чаще всего только из черного, белого и красного («И он снова показал на натянутый на оконный проем портрет Ленина, написанный черным и белым цветом на кроваво-красном полотне»[24]*),* «красный» говорит о присутствии врага («красные» – синоним «коммунистов», «большевиков» и т. д.), причем через этот цвет опять же должна передаваться жестокость, т. к. «красный» – символ крови, смерти, убийства:

> […] на латинские надписи на стенах […] был поставлен отпечаток советской звезды, красный цвет которой придавал ей бросающуюся в глаза схожесть с мокрыми пятнами, которые мне так часто приходилось видеть возле убитых, лежавших на земле[25].

> Его [Ленина] руки […] нельзя увидеть на этой картине. Но я предполагаю, что художник нарисовал их красными[26].

Наравне с жестокостью, значимым свойством врага является «коварство». Вместо того, чтобы вести честную и рыцарскую борьбу, русские пытались, как это показывает Фрёмбген, победить своего соперника манипуляцией и обманом, для чего они оплели всю Испанию целой сетью тайных агентов: «Враг […] приближался не в блестящих доспехах, требуя открытого геройского боя, он пробирался в страну почти невидимо, как ядовитый газ»[27]. В отношении союзников русские тоже не откровенны: их «самоотверженная» помощь оказывается коварным маневром, с помощью которого они смогут достигнуть абсолютного мирового господства и добиться обогащения. Для этой цели они используют любые средства: они даже готовы продать своим союзникам плохое оружие и дать фальшивые обещания:

> «Настоящий гроб на колесиках», – охарактеризовал один из товарищей это чудовище, мало похожее на танк. На двигателе стояли русские буквы. Конечно, эта машина была привезена из Советской России. Все то, что не могли использовать там, продавали испанцам за огромные деньги[28].

Особый интерес представляет тема испанского золота, так как с ней связаны советские поставки; последние производились только для того, чтобы «большевики могли присвоить себе запасы золота и серебра, а также произведения искусства, в качестве вознаграждения»[29].

Подобные характеристики отношения русских к врагам и союзникам также имели место в следующих примерах: Русские никогда не доверяют своим товарищам,

следят друг за другом и доносят друг на друга, чтобы предупредить возможное предательство с чужой стороны, – так это описал Хенрик Херсе в своей книге «Мадрид»:

> Здесь все кишит доносчиками. И это – проявление их собственной слабости. Один постепенно начинает зависеть от другого. Как? Присмотритесь: каждый видит в каждом генерала и шпионит за соседом. Отвратительно.

В отличие от предыдущих примеров, здесь характеристика врага и взаимоотношений людей, живущих на его стороне, строится не только на противоречии, но и на реальных политических фактах, а именно – «чистках» в Советском Союзе, которые повлияли и на советский курс политики в Испании. Об этих событиях чаще всего не говорилось напрямую – они являлись специальными символами; в рассказе Херсе испанский «ЧК» – не только символ жестокости и произвола советских русских, как это было у Шлайера, но и выражение их взаимной недоверчивости и повсеместного шпионажа, которые в результате образуют чрезвычайно запутанную систему контроля[30].

В литературе Третьего Рейха об Испанской гражданской войне присутствует широкий спектр метафор, использующихся для того, чтобы обозначить коварство врага. Кроме таких образов, как «сеть» и «тень», для характеристики невидимой и влиятельной заговорщической тактики, используются сравнения с опасной болезнью или ядом:

> Эта власть, которая, подобно тени, сохраняла свое призрачное существование во все эпохи, покрыла весь земной шар невидимой сетью интернационалов и союзов, которые давали друг другу отчаянные клятвы, подобно змее, ускользая от любого вмешательства в их дела, действуя в темноте, разделяясь, растворяясь, прокладывая пути для большого Азиата, Молоха, который однажды захочет остановиться среди дымящихся обломков и приведет весь мир к гибели[31].

Многие авторы прибегают к использованию сравнений с животными – с лисой, змеей или пауком, – которые в человеческом сознании обычно связываются с такими качествами, как хитрость и предательство:

> «… и весь пройденный нами путь» – в первом абзаце третьей части Протоколов сионских мудрецов – «готов уже сомкнуть свой цикл Символического Змия» – еще одно обозначение масонства – «каковым мы изображаем наш народ[32].

Сравнение противника со змеей относится к области религиозной символики и образно представляет «совращение» наивного создания, в роли которого здесь выступает испанский народ; такую же функцию выполняет сравнение противника с чертом и с сиреной[33].

Некоторые авторы, помимо знаков, пытаются придать обычным словам дополнительные коннотации. Так, у Херсе прилагательное «азиатский» является не только обозначением русских и одновременным указанием на их чужеродность, но используется также как символ коварства: «И его [Ленина] глаза, как у калмыков, маленькие, раскосые, хитрые»[34].

Однако коварство врага не свидетельствует о его уме, наоборот: «умственная ограниченность» является неотъемлемой частью образа врага. Несамостоятельность образа мыслей была приписана русскому национальному характеру еще задолго до нацистской эпохи: «Русские – полуазиаты. Их образ мыслей несамостоятелен, разум заменен слепой верой, а стремление изучать что-либо в них почти отсутствует»[35].

Тем не менее понятие «умственной ограниченности» получает в нацистской идеологии и литературе совершенно новое значение. Оно основывается на том, что способность к самостоятельному и критическому мышлению не принадлежит к канону фашистской добродетели. Способность судить о чем-либо подменена в фашистской идеологии верой в идею, и приверженность этой идее является единственным критерием оценки «ума». Поэтому испанцы, из-за своей неспособности понять и правильно оценить то новое и чужое, что принесли им их незваные гости из России[36], не осуждаются читателем, а вызывают сочувствие, подобно детям, которые по незнанию оказываются во власти неверных представлений[37]. Тогда довольно логично выглядит идея о том, что русские принесли свою идеологию, чтобы обмануть испанцев, а потом их погубить. Фюринг заставляет своих читателей поверить в то, что, несмотря на «хитрость» и материальное превосходство, отсутствие у русских «настоящей» идеи делало их глупыми и неумелыми:

> И снова нам кажется невозможным, что красные сдали и эту крепость без видимой борьбы. Да – потому что это зависит не только от ограждений из бетона и колючей проволоки – это зависит от людей, которые строили эти ограждения! Эти люди должны были бороться и умирать за свою идею. Но у Москвы нет таких целей, борьба и смерть за которые оправдывала бы себя. Грабеж и убийство не являются теми высокими целями, ради которых люди были бы готовы пожертвовать жизнью[38].

Шлайер на примере полпреда СССР в Испании Розенберга пытается показать, что у врага нет идеи, поэтому он даже не способен на аргументацию[39]. Херсе считает, что он вообще не в состоянии понять и сформулировать, за что должен бороться: «Идея? – защищается Унамуно. – Наша идея – это Ленин! Он олицетворяет идею, которой мы служим!»[40]. Идея здесь – только суеверие. Хотя в нацистской идеологии принято верить в какую-то идею, как и иметь религиозные убеждения, это обязательно должна быть правильная идея:

> Гальдос хочет молчать, но не может себя сдерживать и кричит «Ленин!» изображению наверху. Аларкон небрежно машет рукой. «Гальдос, кричите, сколько Вам хочется. Он все равно останется глухим, как все идолы. Он пуст внутри, и только трупы жертв лежат в его брюхе»[41].

Намного выразительнее неполноценность врага можно показать с помощью изображения такой его черты характера, как «враждебность культуре». Поэтому в фашистской литературе об Испанской войне гораздо больше, чем об «умственной ограниченности», говорится о «дикости» русских. Последняя черта оставляет свои следы во всех сферах жизни и поэтому становится в некоторых работах доминантой русского характера. «Нецивилизованность» в общении с людьми, которую Шлайер приписывает Розенбергу[42], быстро превращается в жестокость, «отсутствие моральных устоев» допускает коварство, «отсталость» от общего состояния развития вносит свою добавку в умственные (и военные) недостатки врага:

> Что касается помощи Советов, то мое старое убеждение остается прежним, будучи подкрепленным теперь полученными мной сведениями о характере русского человека: Чем лучше русская армия оснащена техникой, тем больше у нее источников ошибок![43]

Враждебность культуре выступает в двух ипостасях: как отсутствие собственной культуры и как агрессивность по отношению к другим культурам. Враг, ведомый собственными примитивными инстинктами, пытается своей варварской грубостью уничтожить все формы цивилизации, заменив их хаосом: «Они были олицетворением распущенности, полного беспорядка, конца всех закономерностей и всех форм»[44].

В газетных киосках больших городов в первом ряду были выставлены те издания, темой которых была свободная любовь и возбуждение половых инстинктов. Их целью было разрушение и уничтожение брака, семьи и единства испанского народа[45].

В то время как качества, образующие духовный и психологический образ врага, остаются во всех написанных в Рейхе работах о Гражданской войне в Испании, более или менее неизменными, меняются цели пропаганды – акцент теперь делается на силе врага, качестве его оружия и характере военного дела. Враг оказывается сильным, опасным, но одновременно – смешным и неумелым, причем нередко в одном и том же тексте:

> В Гражданскую войну СССР отправил огромное множество военных средств всех видов: начиная от тяжелых танков, пушек и бомбардировщиков, и заканчивая мундирами и пуговицами […][46].

> Мы снова едем вверх по улице. Позади Вильяреала в траншеях до сих пор осталась броневая защита. На нее-то мы и хотели взглянуть поближе еще раз! То, что мы смогли увидеть, проезжая мимо, при более внимательном осмотре подтвердилось. Броня из рук вон плоха. Только мешки с песком кое-как защищали солдат за укреплением от выстрелов пулеметов[47].

После Пакта о ненападении между Германией и СССР с августа 1939 года в изображении врага в нацистской прессе можно различить новые тенденции. Чтобы объяснить необходимость договора с противником, авторы вынуждены подчеркивать его силу:

> Перед нами, точно в направлении Мадрида, возникло множество маленьких черных точек. Сосчитать невозможно – их слишком много. Точки становились больше и больше. Как будто выровнены по линейке – в четком порядке, на одинаковой высоте. Черт побери, да это «русские паровые катки»![48]

В текстах, которые обращают особое внимание на совершенные врагом преступления, «русскость» остается на заднем плане. Ненависть теперь направлена единственно на евреев – вообще, а не русского происхождения. В воспоминаниях летчиков легиона «Кондор»[49], которые теперь, после публичного признания германского участия в Испанской гражданской войне, могли быть изданы, в описании войны и связанных с ней приключений постепенно исчезает агрессивность по отношению к врагу. На ее месте появляется чувство товарищества, точнее – постоянное профессиональное сообщничество. Эта перемена настроений часто упускается из виду при иссле-

довании литературы об испанском конфликте, между тем здесь, в отличие от немецкой литературы о Первой мировой войне, говорится о ненависти как исключительно важной примете нового образа врага[50].

В действительности, присутствует целый ряд работ, в которых ненависть к врагу играет малую роль: «Оставим врага, он заслуживает признания: и у них есть пара метких и ловких в полете парней; единственный их недостаток лишь в том, что свои умения они проявляли не на той стороне, их обманывали и запутывали, подстрекая к бессмысленной ненависти»[51]. Все же здесь заметна существенная разница со старым образом врага: если тогда враг воспринимался (также) как товарищ по несчастью, то теперь он скорее партнер в увлекательной игре и конкурент в спортивном состязании, к которому приравнивают войну, преуменьшая ее серьезность[52].

Особенность политической ситуации второй половины 1939 года заключалась в том, что «русские», продолжая считаться врагами Рейха, согласно содержанию Пакта Сталина–Гитлера, de facto были союзниками. Их изображение менялось постепенно, старые критерии оценки заменялись новыми, уже соответствуя собственному образу и образу «друга». Намного больше стали говорить о враге как о равном и сильном сопернике, который, так или иначе, вызывал уважение[53].

Новый образ русских в более поздних текстах Рейха об испанском конфликте не только оправдывал и поддерживал неожиданно образовавшийся союз с еще недавно ненавистным врагом, но и предварял новый этап развития национал-социалистской пропаганды перед запланированной фашистами глобальной атакой. Ярко выраженная тенденция к прославлению войны была значимым признаком этого развития, и концепция «временного союзника» позволила легко построить образ нового врага, против которого могла вестись интересная, увлекательная и честная война.

## Образ России и русских в литературе немецкой эмиграции

В произведениях немецких писателей в изгнании Испания в 1936–39 годах занимает еще большее место, чем в национал-социалистской литературе. Этот факт определяется не директивами пропаганды, а новой точкой зрения на задачи культуры, формулировке и признанию которых значительно содействовала Гражданская война в Испании. Одной из наиболее примечательных характеристик этой войны было необычайно активное участие антифашистски настроенной интеллигенции, которая видела в испанском конфликте последнюю возможность дать решающий бой фашизму. Интеллигенты ехали в Испанию для того, чтобы внести свой вклад в успешный исход борьбы. Большую их часть составляли немцы, в том числе такие писатели, как Людвиг Ренн, Вилли Бредель, Густав Реглер, Бодо Узе и др., для которых испанские события имели особое, личное значение: как им казалось, у них появлялся шанс отвоевать потерянную родину на чужой территории и превратить пережитое на своей земле поражение в победу. В то время как для одних авторов вступление в конфликт значило отказ от их профессии, т. к. они демонстративно меняли перо на автомат[54], для других участие в войне было связано с переоценкой роли культуры и, в особенности, литературы. Культура наделялась ими, прежде всего, политической функцией и способностью непосредственно изменять мир. Поэтому многие писатели – как боровшиеся на фронте, так и остававшиеся гражданскими

лицами – считали своей основной задачей изображение событий, происходивших в Испании, в своих произведениях, которые они считали «оружием» против фашизма. Состоявшийся в июле 1937 г. в Валенсии и осажденном Мадриде Второй Международный конгресс писателей в защиту мира и культуры стал форумом для этого понимания роли культуры. Бертольд Брехт спросил в своей речи:

> Способна ли культура сама постоять за себя? Может ли она сама наносить удары врагу? Она уже наносит их – стало быть, может! Эта борьба проходит различные этапы. Сначала отдельные деятели культуры стараются отмежеваться от злодеяний, которые творятся в их странах. Часто они делают это еще неосознанно, повинуясь голосу совести. Но называть вещи своими именами, то есть назвать варварство варварством, означает в данном случае начать борьбу, а для того чтобы успешно бороться, необходимо объединить свои силы. Объединяясь, деятели культуры переходят от протеста к призыву. Там, где не помогают жалобы, нужно призывать к активным действиям. И они указывают уже не только на преступления, но и на самих преступников, требуя для них суровой кары[55].

Высокое нравственное и гражданское обязательство, которое во время Испанской войны стало для многих писателей в изгнании главной целью их литературной деятельности, не могло автоматически гарантировать качество издаваемых книг. Тем не менее наряду с коммунистической пропагандистской литературой[56], находятся работы, в которых происходившие на войне события показаны во всей их противоречивости, так что произведения писателей-эмигрантов представляют гораздо более полное освещение этой темы, нежели нацистская литература. Это также касается образа России и русских.

Содержательной многоплановости литературы «в изгнании» соответствует широкий спектр документальных и художественных жанров: от дневников, исторических зарисовок и т. п. – до романов, повестей, рассказов, а также драматических и лирических произведений. Большое количество художественных текстов – характерная черта этой литературы, но при этом произведения настолько тесно связаны с реальностью, что это ослабляет в них вымышленную сторону[57]. Если сравнивать с национал-социалистской литературой, то здесь как раз можно наблюдать обратный феномен: в то время как в нацистских произведениях придуманное содержание (выдаваемое за реальные факты) скрывается за документальной формой, то у антифашистских писателей пережитая ими действительность смешивается с художественной составляющей, так что для читателя граница между реальным и нереальным снова размывается. Герои многих книг, в том числе русские, сильно напоминают настоящих известных людей, живущих за страницами произведений. Поэтому целесообразно рассмотреть различные образы «русских», сравнивая их изображения с существовавшими тогда реальными прототипами.

## Образ русского как друга в немецкой коммунистической пропаганде

Прежде всего, я бы хотела детально остановиться на тех работах, которые впервые были опубликованы в московских журналах «Das Wort»[58] и «Internationale Literatur, Deutsche Blätter»[59]. Сильная пропагандистская направленность этих текстов была

тесно связана с позицией таких авторов КПГ и Третьего Интернационала, как Иоганнес Бехер и Вилли Бредель (которые были редакторами названных журналов[60]) или Фридрих Вольф (долгое время работавший непосредственно в советской службе пропаганды); позже эта пропаганда стала играть новую роль в социалистической литературе ГДР. Огромную схожесть с текстами этих авторов можно увидеть в рассказе «Опилки» («Sägemehl»)[61] Франца Вайскопфа, в посвященных России фрагментах из двухтомника Вилли Бределя об Испанской войне[62] или в романе Бодо Узе «Лейтенант Бертрам» («Leutnant Bertram»). Во всех перечисленных произведениях присутствует целенаправленное восхваление Советского Союза и его граждан, поэтому они также будут рассматриваться мной как пропагандистские.

В литературе немецкой эмиграции образ русских имеет примерно то же значение, что и в литературе Рейха, т. к. ее коммунистический посыл пропагандирует определенную идеологию, основывающуюся на положительных ценностях и придающую наибольшее значение самоопределению реципиента. Русские выступают главными носителями и распространителями этой идеологии, поэтому воспринимаются и изображаются как друзья и единомышленники. Так возникает образ друга, заключающий в своем центре «русскую» составляющую.

При сравнении понятий «друг» и «враг» на интуитивном уровне приходит неоднозначная мысль, которую сложно объяснить: если сказать, что враг «злой и опасный», то этими простыми определениями можно выразить почти всю сущность комплекса представлений о нем; а если сказать, что друг «хороший и безобидный», этих качеств будет недостаточно для его идентификации. Отдельные характеристики, из которых может состоять образ друга, являются менее предопределенными, чем в случае образа врага, что предоставляет авторам большую гибкость и вариативность.

Образ друга должен обладать таким спектром качеств, которые позволили бы читателю оценить себя по схеме «такой, как я» или «не такой, как я». В немецкой литературе коммунистического содержания можно встретить две модели образа друга: в первой, чаще всего применяющейся как раз в отношении русских, изображается более физически, морально и идеологически сильный «большой брат», который «нам» помогает и от которого мы можем чему-то научиться; во второй показывается более слабый «маленький брат», который «в нас» нуждается и которому мы, со своей стороны, можем что-то передать. Второй случай – это как раз испанцы.

Сила «русских» в немецкой коммунистической пропаганде – это «сверхпризнак»: она является воплощением всех тех положительных качеств, которые отсутствуют в немецком характере, и составляет главную разницу между собственным образом и образом друга. Будучи количественным показателем, сила часто изображается с помощью толпы людей: «русские» борются за те же идеалы, в защиту которых выступают германские антифашисты, но если последние действуют в одиночку и находят свою дорогу в Испанию после длительных духовных поисков[63], «русские» действуют как сплоченное единство[64].

> *Люсия*: Но пойми, мама – все рабочие Советского Союза отдали нам четвертую часть своей заработной платы.
> *Боцман* (гордо): И также колхозники, рыбаки из северного Архангельска, сборщики хлопка из жаркого Узбекистана, ткачихи из Москвы и студентки из Тифлиса, сибирские крестьянки с маньчжурской границы, токари из Минска и моряки из Владивостока на Тихом океане – семь миллионов рублей было собрано за две недели[65].

Единство, которое представляет собой друг, тем не менее должно восприниматься не как однородная масса из идентичных частиц, а как союз самых различных индивидуальностей, объединенных общей идеей интернационализма. В соответствии с этим представлением, писателями постоянно подчеркиваются различия между отдельными представителями дружных народов СССР[66]. Они ограничиваются лишь внешними (географическими, профессиональными и т. д.) признаками, в то время как остальные черты характера (моральные, духовные и др.) остаются для советских людей одинаковыми. Таким образом, образ большого друга кажется не разделенным, а «разнообразным»: в то время как злой враг скрывается за тысячей масок, большой друг остается надежным во всех обличиях. Идеологическое сознание и «идеологическая зрелость», чувство ответственности, единство и дисциплина характеризуют «русских» *как таковых* в борьбе против фашизма и составляют их преимущество; тем или иным способом эти качества (порой иронично преувеличенные) упоминаются при любом описании русских:

> В Париже Борис, на основании своей политической силы и интеллигентности, оказывал партии важные услуги. […] Он непоколебимо защищал позицию партии и по-деловому, но и по-дружески указывал товарищам на их ошибки[67].

Качества, изображаемые писателями в изгнании как доминанта «русского характера», видятся им составными частями собственного национального характера[68] и дают возможность отождествления себя с другом, хотя нужно учитывать, что у «русских», получивших революционное воспитание, эти характеристики выражены более ярко[69]. Их идеологической зрелости и дисциплине противопоставляются общеизвестные испанские спонтанность и склонность к анархии как проявления слабости[70].

Коммунистическая идеология и интернациональная направленность пропаганды писателей-эмигрантов не допускают изображения «русских» друзьями только одного народа. Так, Вилли Бредель пишет:

> Люди в траншеях перед городом выпрыгивали из своих окопов, пренебрегая всякой опасностью, и приветствовали своих товарищей-летчиков криками «Viva Rusia! Viva la Unión Soviética!». Они догадывались, кто отправил им помощь в трудный час. В это мгновение они знали точно, что борются не одни, что свободные народы огромного Советского Союза были их лучшими, самыми надежными друзьями, что страна социализма не бросит борцов за свободу на произвол судьбы[71].

Вследствие этого, «типичные» признаки того или иного национального характера используются не как отправная точка для построения образа врага или друга, ориентированного на определенный народ, как это было в нацистской литературе, а как частицы, составляющие универсальный образ друга, сравнить себя с которым может представитель любого народа. При этом испанцев и русских уже объединяют широта натуры, веселый нрав и оптимизм[72], но немцы еще должны были учиться преодолевать свою меланхолию и печаль, мешающие им в борьбе:

> *Ганс*: Если бы я только знал хорошую веселую песню. У нас теперь в основном поют песни, наполовину грустные…

*Люсия*: Тогда спой только веселую половину!
*Ганс* (задумчиво): Еще три месяца назад я был в концлагере… видел, как погибали наши лучшие товарищи… Да можно ли тут петь?
*Боцман*: Тут нужно петь, товарищ. Когда белые банды Колчака и Деникина бесчинствовали в нашей стране, перед боем мы всегда пели и часто даже танцевали – и Чапаев во главе нас[73].

Оптимизм «русских» не должен быть подобен наивному и спонтанному оптимизму испанцев, он должен быть сознательным и он должен демонстрировать самообладание образцового бойца, как это показано у Бределя: «Борис в нашей компании проявлял себя как товарищ и политический борец. […] Его вера в нашу победу и его оптимизм были огромны»[74].

Еще одной чертой «русских» в литературе эмиграции является развитое культурное сознание, которое, конечно, характеризует не только эту нацию. Поэтому, в качестве особенности русского (советского) культурного сознания, подчеркивается тот факт, что «русские» не ограничиваются ролью наследников древней культурной традиции, а с помощью просветительской деятельности делают культуру доступной массам[75], тем самым, создавая новую революционную культуру пролетариата[76]. В то время, как героическое мужество «русских»[77], так же как и их культурность, являются качествами, которые формируют образ сильного друга вне зависимости от его национальности, указание на бдительность, завершающее картину, предстающую перед читателем, отражает непосредственную обстановку в Советском Союзе тех лет. Сталинские чистки и очевидное присутствие шпионов в Испании стали причиной мучительных размышлений об осторожности и доверии, а также сомнений в правильности советского политического курса, в многоплановых работах писателей в изгнании, в том числе Густава Реглера[78]. Тем не менее авторы пропагандистских произведений не забывают здесь о задаче сохранения бдительности, показывая кажущееся странным поведение как достоинство мудрого советского друга:

*Иностранный матрос*: […] Это просто удивительно: вы приехали сюда из всех стран: из Англии, из Италии, из Франции и даже из Германии… вас здесь, наверное, больше 200 человек!
*Ганс* (гордо): Больше 1000!
*Боцман* (подталкивает Ганса, призывая к осторожности, и начинает петь.)[79].

Так возникает образ с совершенными, почти сверхчеловеческими чертами характера. Чтобы еще больше усилить это впечатление, некоторые авторы даже прибегают к использованию религиозной символики, примерно как у Бехера в его эпических стихотворениях, где коммунистический лидер изображен как Бог: «И сказал человек миру: “Да будет свет!”»[80]; «Человек на востоке усмехнулся мне, // Словно дал свое благословение издалека»[81]. В финале второй, переработанной, версии уже цитированной драмы «Нева приходит» («Die Newa kommt») Фридрих Вольф показывает роль коммунистической идеологии в жизни современных людей: мать меняет изображение Мадонны на украшенную серпом и молотом коробку советских конфет[82].

Чтобы идеальность друга не вызывала отрицания у читателя, его человечность и доброта изображаются в образе божественного существа:

О, здесь услышал я вначале тоже слово,
Которое тот человек с далекого Востока говорил,
То голос был из домика
В баварском Целле. Взгляните на его лицо –
Как дружелюбно и как на мое похоже![83]

Друг добродушен, справедлив и благороден, он самоотверженно оказывает помощь угнетенным народам мира, чтобы они могли жить в таких же счастливых условиях, которых русские добились для себя уже давно: «Ваши братья и отцы сражаются в траншеях ради вас, чтобы когда-нибудь у вас была такая же прекрасная жизнь, как у советских детей!»[84]

Безгранично положительный образ «русских» присутствует во всей пропагандистской литературе об Испанской гражданской войне, изданной немецкими коммунистами. В их глазах, он представляет практически только граждан современного Советского государства. Русские эмигранты, который принимали участие в войне на стороне республиканцев, и те, которые поддерживали Франко, не упоминаются ни разу[85]. В этом немецкая литература писателей-антифашистов также отличается от советской пропаганды, которая – смотри «Испанский дневник» Кольцова или драму Афиногенова – с готовностью подхватывает актуальную дома тему борьбы против внутреннего врага и переносит ее теперь за границей на бывших солдат и офицеров Белой гвардии, которые в Испании воевали на стороне фашистского лагеря против бывших земляков[86].

В результате, образ «русских» в приукрашенной пропагандой антифашистской литературе похож, скорее, не на национальный характер, а на идеологически определенный тип. Даже один признак, как, например, «русский оптимизм», который мог бы привязать к себе стереотип пьющего, веселого, поющего песни русского, будет упорно рассматриваться исключительно как выражение определенного идеологического сознания. «Русские» здесь – не этническое единство, а, прежде всего, представители нового советского общества и носители коммунистической идеологии.

## Густав Реглер и его романы «Великий пример» и «Хуанита»

Большое количество произведений, появившихся во время Гражданской войны в Испании, является следствием сильной идеологизации литературы, на что, в свою очередь, повлияла сама война и новая точка зрения писателей на значение литературной деятельности. Но кроме этой, совершенно типичной для военной литературы, тенденции, в произведениях писателей в изгнании вырисовывается другая, противоположная, склонность к деидеологизации. Петер Монтеат объясняет это так: «Чрезвычайная жестокость войны, проявляемая ее участниками с обеих сторон, глубочайший раскол испанского народного фронта и поражение республики привели большую часть интеллигенции к разочарованию […]; свою роль также сыграли и другие события, такие как московские процессы и Пакт Гитлера–Сталина»[87]. Разочарование, не в последнюю очередь вызванное характером советской политики, заставило, прежде всего, двух немецких авторов в изгнании, Альфреда Канторовича и Густава Реглера, провести переоценку роли Советской России в испанском кон-

фликте. Особенно в работах последнего возник такой образ России и русских, который оказался диаметрально противоположным образу идеального друга в коммунистической пропагандистской литературе. Ниже, после рассмотрения романов Реглера «Великий пример» и «Хуанита», должны проявиться несколько главных черт этого дифференцированного образа.

### *«Великий пример»*

В написанном в 1937–38 годах романе о «небезопасности эпохи»[88] «Великий пример» автор задумывается над всеми до того времени неоспоримыми для любого приверженца коммунистической идеологии истинами и, вместе с тем, над существовавшим до сих пор образом России и образом ее представителей, воевавших в Испании. Он не дает с ходу новых и точных ответов на свои вопросы. «Все не так просто» (50), – так звучит главная мысль романа, которой многоголосый хор персонажей делится с читателем. Каждый произнесенный тезис, аргумент тотчас же сопровождается комментарием другого героя или самого повествователя, подвергающего сомнению или отвергающего первоначальное утверждение. Точно так же и образ России не дает, в итоге, никакой однозначности; рассмотрение большого количества перспектив предоставляет автору свободу в выборе и трактовке концептуальной линии романа. С одной стороны, Реглер пользуется уже известными идеологическими представлениями и клише о России, но с другой стороны, как только они появляются в тексте, они сразу же опровергаются или вызывают дискуссию о происхождении и цели таких стереотипов[89]. Это многообразие позиций, с которых в романе различными героями рассматривается один и тот же признак, в результате приводит к тому, что все встречающиеся в тексте высказывания, в том числе те, которые конструируют образ России, теряют силу своего убеждения и выглядят только как проверка необходимых предположений. К тому же, все характеры действующих лиц изображены не статично, а в своем развитии, и, в итоге, образ России, вырисовывающийся из их мнений, также не приобретает постоянной, закрепленной формы, а претерпевает изменения на протяжении всего хода произведения.

Аспекты «близости» и «связи» образуют фундамент для восприятия «русских» как друзей, с которыми можно себя сравнить (45 и далее), при этом возможность отождествления себя с «большим братом» считается большой честью (101). Особенно для «немцев», которые из-за нацистов чувствуют себя изгнанными с их собственной территории, Россия воплощает (также у Реглера) возможную вторую родину, которая скоро будет простираться на Испанию и на «все широкое, безграничное плоскогорье революции» (207). Но, когда в Испании узнают о московских чистках, близость России становится иллюзией, а чувство связи с ней превращается в раздражение и сомнение – поскольку потребность в безопасности, которую пообещала удовлетворить еще та, воображаемая, Россия, приводит к опасной ситуации:

> Но у него действительно не было твердой почвы под ногами, в этом плане, он не был военным комиссаром – он был лишь побитым, беспомощным интеллигентом, писателем, которого новая Россия любила и вдруг перестала понимать. Он считал, что республиканская Испания, та Россия и его бригада составляли единое целое, которое сохранится навсегда – и не мог представить себе это иначе. Предательство на той стороне было также предательством в его бригаде (179).

«Сила» и «уверенность в безопасности» являются двумя понятиями, которые в романе Реглера будут тесно связаны с представлениями о России: автор даже проводит параллель между прибытием русских самолетов и окончанием ангины (101). Совпавшее по времени выздоровление усиливает впечатление о безопасности, которую готова предоставить Россия своим союзникам. Завершающее этот эпизод сравнение русских самолетов с задорными птицами указывает, с одной стороны, на мужество летчиков, но, с другой стороны, показывает на надежду и тягу к жизни, возвращенную бойцам интернациональных бригад силой Советского Союза: Их пилоты выполняют функцию просветителей, преподнося «маленькому брату» победоносное революционное учение (126). Однако совершенно другим образом эта сила проявляется в аппарате власти и угнетения, который больше не принимает народные массы всерьез и агитирует, даже принуждает к машинальному повиновению:

> Они не понимают ровного обхождения с людьми […]. Это делается механически сверху […]. И как они могли об этом знать? Они пришли с Востока, где все беспрекословно подчиняются (123).

Говорится также и о манипуляциях, производимых дешевой пропагандой, средства которой пугающе похожи на методы национал-социалистов[90].

Размышляя о языке образов, используемом пропагандой, главный герой романа, комиссар XII интербригады Альберт, обращает особое внимание на те, связанные с болезнью и здоровьем, метафоры, которые в других отрывках романа являются символом исходящей от России безопасности (22):

> «Неожиданно наша страна обнаружила абсцесс на своем теле». Так пишет писатель из Москвы. «Жар распространился на большинство частей тела. Но теперь мы возьмем нож и вырежем абсцесс». Нашли неожиданно абсцесс? Альберт покачал головой. Как спорны все эти сравнения! (180).

Если годность символов, используемых превосходящей силой, ставится под сомнение, то фактор «силы» теряет свою связь с «доверием». А из этого уже следует, что «безопасность» отделяется от понятий «осторожности» и «бдительности» – на их место встают «подозрение» и «недоверие», которые снова принимают характер заболевания:

> «Я уже ни во что не верю. […] В Москве идут процессы против людей, которые еще полгода назад писали статьи, вдохновляющие людей на борьбу в Испании. […]» […] Генерал снова стал серьезным: «Так, теперь тебе нужно где-то остановиться и снова начать доверять». […] Альберт сказал: «Негде мне останавливаться; все будет контролироваться, даже если я от этого заболею». (178 и далее)

Главной метафорой произведения является именно небезопасность, которая находит свое выражение в образе тумана, блуждая в котором, все герои безуспешно пытаются найти своего настоящего друга и настоящего врага[91].

Чем более разобщенной предстает картина России в первом романе Реглера о Гражданской войне, тем в меньшей степени его русские герои способны образовать гомогенную массу из идентичных частей, которые должны делать образ «России» совершенным. «Русские» у Реглера – индивидуальности с различным происхожде-

нием (не только военные наставники из Советского Союза, но также русские эмигранты, бывшие офицеры Белой гвардии и их подчиненные, которых Реглер называет «белорусами») и с различным характером. Они вызывают самые разные чувства у других действующих лиц и имеют сложные связи с собственной родиной. Тем не менее сравнивая их с другими, нерусскими, персонажами, а также с изображениями их прототипов в других источниках, можно выделить ряд признаков, которые Реглер приписывает всем русским. Здесь он выделяет два различных типа проявления этих черт, которые в его следующем сочинении, «Хуаните», будут выглядеть совсем по-другому.

Во-первых, это тип советского чиновника, который объединяет в себе характеристики партийного работника и тайного агента. В первом романе Густава Реглера этот тип представляют второстепенные персонажи. Будучи «продуктом» новой Советской России, этот характер воплощает в себе как отрицательные, так и положительные аспекты безопасности: с одной стороны – самоуверенность и надежность, с другой – скрытность и недоверчивость:

> К ним пришел русский офицер, покинувший бригады сразу после сражения при Небеле. […] А. смеялся своими светлыми глазами. Почему он чувствовал себя увереннее именно здесь, глядя на маленького сильного человека перед штабом? (393)[92].

Дальше всем героям этого типа в качестве положительного качества будет приписываться «скромность», а в качестве отрицательного – «беднота чувств», следствием которой является излишняя сдержанность, корректность и осторожность[93].

Второй тип представляет генерал-адъютант, бывший «белорусский» священник Мишка, который надеялся с помощью своего участия в Испанской войне получить разрешение вернуться на родину[94]. Горячность его поведения и открытость его чувств и мыслей объясняются молодостью[95]. Конкретные качества, выступающие в роли индивидуальных черт характера – такие, как наивность, наглость и зазнайство – либо были выдуманы автором, либо были взяты у исторического прототипа Алексея Эйснера[96]. У Мишки были чувства, и он умел их показывать – значит, он мог быть «человечным» русским.

Мишку Реглер наделяет теми качествами, которые казались ему связанными с его русским происхождением, или теми, которые соответствуют стереотипным представлениям о русских и поэтому могут быть определены как «национальные» качества. Прежде всего, сюда входит русский патриотизм, где выражение любви к Отечеству[97] воспринимается как проявление особой «русской души». С этой точки зрения, типичными являются сильная тоска по Родине[98] и личное убеждение в неповторимости и превосходстве своего собственного народа: «Вы еще увидите, каким умом они обладают. Мы, русские, здесь еще натворим, – сорвался он» (90).

Другой заметный признак – это претензия на обладание особыми знаниями, которые якобы должны быть доступны только русским: «Мой Достоевский! Вы его не знаете» (187). Реглер проводит различие в этом пункте: в то время как уважение ума и образования признается частью русского характера[99], сам повествователь не разделяет убеждение о выдающемся интеллекте его русского героя: рассуждения Мишки о литературе и политике оказываются поверхностны и ошибочны, Мишка позволяет себе отдаваться эмоциям и показывает собственную неспособность к глубокому анализу[100]. Выписанный автором недостаток ясности и зрелости радикально отличают образ русского, олицетворенный в Мишке, от прежнего образа спокойного,

рационального русского, который был известен читателю по литературе пропагандистского характера. Реглер частично (и абсолютно сознательно) берет из прежнего образа черты характера советского чиновника; при этом его «работник» воплощает резкую противоположность «обычному» русскому.

«Псевдоинтеллект» Мишки выявляется неоднократными указаниями на его «грубые черты лица» (52, 90 и др.). Помимо этого, стоит заметить, что представление об определенной нецивилизованности русских, которая скрывается за их тонким культурным слоем, хотя и далеко от национал-социалистской идеологемы о русском варварстве, но, пожалуй, восходит к тому же самому стереотипу[101].

Сразу же после того, как связь Мишки с Россией теряется, потому что ему пришлось оставить мечту о возвращении (278), он превращается из русского в просто человека и может, наконец, найти в своей бригаде семью, к которой он стремился всю свою жизнь (335). Несмотря на признание существования национальной характеристики, эта перемена указывает на намерение автора раскрыть сильную зависимость человека от собственной национальности, представив ее как ограничение личности, которое должно быть преодолено. «В последнюю ночь мы все исключительно люди» (213), – таков итог романа. На гуманистическую идею, кажущуюся немного запутанной, Реглер намекает и в своем втором романе об испанском конфликте: в «Хуаните» автор изображает тотальную зависимость личности от идеологии и политики и пытается защитить человека от неизбежного крушения его мечты о личном счастье.

### *«Хуанита»*

В отличие от «Великого примера», второй роман об Испании, завершенный в апреле 1941 года, является не выражением сомнения автора в коммунизме, а выражением окончательного разочарования в этой идеологии и отказа от нее. «Русские» уже больше не друзья, а представители злой, темной силы, которая в борьбе с другой темной силой, фашизмом, задавливает Испанию. Построение их образа производится путем рассмотрения различных национальных, идеологических и личных перспектив; образ создается не только через отрицание, но и через отождествление. Героиня романа, испанская девушка Хуанита, демонстрирует неприятие, в равной степени, обеих сторон, как русских коммунистов, так и немецких фашистов[102], в то время как сами представители этих групп отождествляются друг с другом (307).

В «Хуаните» есть два противоположных русских персонажа – агент ГПУ Грегорович и журналист Михайлов, которого Реглер наделил чертами реальной личности – Михаила Кольцова. С испанской точки зрения, обоих характеризует чужеродность, распознаваемая уже по иностранному акценту. К этой чужеродности добавляются также азиатские черты[103], однако, согласно содержанию, она объясняется холодностью чувств, якобы свойственной «русским»:

> Инквизитор был родом из другой страны. Это выдавал не только его акцент, нет, скорее его взгляд, его холодный, презрительный взгляд и этот тон, которым он говорил о людях в консульстве […] (415).

Холодность чувств и ее непосредственное следствие – жестокость – являются результатом идеологической принадлежности. Приверженец определенной системы политических взглядов полностью находится во власти «идеи» и превращается в

безжалостную машину. Сталинизм предстает в «Хуаните» как антиутопическая бредовая идея (304 и далее), так как Реглер одновременно показывает, что бесчувственность не является исконной и примечательной чертой русского характера – представители фашистской Германии в романе такие же бесчувственные фанатики. В созвучии с главной мыслью произведения, согласно которой индивидуум не способен отклонить влияние государственной идеологии, холодность чувств становится постоянной характеристикой современного русского человека и с помощью рудиментарной климатической теории связывается с географической Россией:

> Что за ледяной холод исходил от этого Грегоровича! От него сердце прямо-таки замирало в груди, и слышно было, как оно холодно бьется, словно о сибирские тюремные решетки (411).

Аналогичным способом происходит «русификация» другого качества – жестокости; Реглер в своем чувстве конфронтации с пропагандой противника заходит так далеко, что создает квазирасовую теорию, чтобы объяснить «азиатское» происхождение «русских» характерных черт, одновременно подчеркивая отдаленность от европейского «Я» (герои-испанцы и немецкие читатели): «[Грегорович], казалось, и в самом деле был представителем той расы, которая в XII столетии спустилась вниз с алтайского нагорья, чтобы сровнять города с землей и уподобить себе чужие народы»[104]. Таким образом, азиатское в «Хуаните» включает в себя географические (Сибирь) и этнические (Монголия) компоненты, а «уравнительность», лежащая в основе идеологии коммунистов, у русских в крови.

В итоге, Реглер трактует решающий признак жестокости, который из «чужого» делает злого врага, двумя независимыми друг от друга способами: с одной стороны, жестокость предстает опорой азиатско-русского национального характера, с другой стороны, жестокость – результат полного подчинения политической идее и изменениям, которые произвела в человеке идеология. Только последняя теория подходит для дальнейшего сравнения национал-социализма и сталинизма, что подтверждается русскими героями романа[105]. Однако оба способа объяснения могут, оставаясь незамеченными, стоять рядом друг с другом, например, когда автор сравнивает идеологические компоненты с действием стихий. Их главный инструмент – пробуждение страха[106]. Примитивность и естественность русской силы выражается в описании сексуальности обоих русских: холодному садизму Грегоровича[107] соответствует слабость к женщинам Михайлова (680). Исходящее из идеологии насилие противопоставлено «человечности», которую, в качестве противодействующей силы, можно разглядеть уже в нервозной оживленности Михайлова (251, 254)[108]. Так, с применением всей вышеописанной простой, хотя и не всегда ясной, схемы, Реглер преодолевает скептицизм «Великого примера».

## Образ немцев в русской литературе об Испанской гражданской войне

Хотя русская интеллигенция тоже воспринимала войну в Испании как решающее событие для будущего Европы, в русской литературе конфликт не нашел такого живого отклика, как в немецкой. В то время как официальное участие Советского Сою-

за в политике невмешательства, проводимой Лигой Наций и западными державами, извне препятствовало развитию литературы о Гражданской войне в Испании, авторы немецких произведений (по крайней мере, не в изгнании) были ограничены внешней политикой государства изнутри. Кроме того, в отличие от Третьего Рейха, в Советском Союзе не было такого большого количества работ, которые описывали бы испанские события только с «мнимо» нейтральной позиции. Помимо «полуофициальных» авторов, таких как Михаил Кольцов, Илья Эренбург и Овадий Савич, работавших во время войны газетными корреспондентами в Испании и имевших негласное право сообщать о событиях на фронте, Александр Афиногенов, Всеволод Вишневский[109], Константин Паустовский и Андрей Платонов открыто обсуждали в своих произведениях тему Испании. При этом, пьеса Александра Афиногенова «Салют, Испания!», похоже, является единственным сочинением об испанском конфликте на русском языке, которое написано с исключительно пропагандистской интенцией, хотя в этом произведении нет ни одного немецкого персонажа.

Впрочем, элементы пропаганды могут быть найдены, прежде всего, в публицистике – например, в «Испанском дневнике» Кольцова или в репортажах Эренбурга[110]. Несмотря на то, что эти тексты нельзя полностью отнести к пропагандистской литературе, некоторые их фрагменты (в дальнейшем называемые пропагандистскими текстами) служат именно этим целям. На основании рассмотрения этих отрывков, можно определить главные тенденции советской пропаганды в период Испанской гражданской войны, которые влияют на возникновение образа немца в русской литературе об испанском конфликте. Так, советская пропаганда объединяет положительный и отрицательный принцип[111], что в результате дает довольно четко выписанный образ врага. А вот образ немца-друга в этих сочинениях – в соответствии с внешнеполитической ситуацией – напротив, не играет такой большой роли, как в работах немецких эмигрантов.

Идентификация врага проводится не по национальному, а по идеологическому признаку, хотя нацистская Германия как Германия современная признается во всех работах главным врагом России, Испании и всех свободных народов мира[112], все время настойчиво делается акцент, что теперь «“немец” – не просто немец»[113].

Образы «хорошего» и «плохого» немца отличаются друг от друга, прежде всего, присутствием ума, с одной стороны, и отсутствием или ограниченностью ума – с другой стороны. Необходимость изображения этого качества – наличия разума – в советских изданиях была продиктована идеологией, и поэтому данная характеристика стала главным критерием. У фашистов умственных способностей нет в принципе:

– Почему вы приехали сюда?
– Я солдат и подчиняюсь приказу.
– Неужели вы не задумывались, почему вас послали в Испанию?
Гюнтер Лонинг удивленно смотрит на меня.
– Германский солдат никогда не думает.
Ему двадцать два года. Его научили стрелять; думать его не научили[114].

Тенденция описания фашизма как идеологии и общественной формы, отнимающей у людей сознание, присутствует не только в пропагандистских текстах, но и во всей советской литературе об Испанской гражданской войне. В рассказе Андрея

Платонова «По небу полуночи» для нового поколения, испытавшего на себе влияние национал-социализма, характерен «радостный идиотизм»[115]. Однако если у Платонова люди, испытавшие на себе влияние фашизма, изображены жертвами[116], то в пропагандистских текстах неспособность думать является постоянной, главной характеристикой врага[117]. Авторы этих текстов пользуются общими стереотипами в собственной культурной системе: низкий лоб – признак отсутствия ума. «Пить пиво» также считается типичной немецкой привычкой:

> Рядом со мной – рослый парень. Низкий лоб, маловыразительные глаза, хорошая мускулатура. Это фельдфебель германской армии Гюнтер Лонинг. Он не энтузиаст, не фанатик. Он самый обыкновенный фельдфебель. В казармах Грейфсвальда он командовал: «Стройся!». Он пил пиво и кричал: «Хайль Гитлер!»»[118].

Характеризующая врага неспособность к мышлению выполняет ту же функцию, что и «умственная ограниченность» в нацистской литературе[119]. Тем не менее эпитеты «умный» и «умственно ограниченный» имеют различные смыслы в двух идеологических системах. Если для нацистских авторов они определяются наличием или отсутствием «правильной» идеи, то в советских текстах – способностью или неспособностью к самостоятельной оценке и анализу. Преувеличенное значение, которое приписывается духовному созреванию человека в социалистическом обществе, приводит к тому, что умственная слабость врага в советских произведениях об Испанской войне является не просто одним признаком из множества. Она становится главной характеристикой, более важной, чем все другие качества. В советской пропагандистской литературе враг всегда и однозначно оказывается побежденным. В «Смерти одного мифа»[120] Эренбург показывает читателю, что превосходство врага в количестве военной техники ничего не стоит из-за его умственной отсталости. Аргументация строится по тому же принципу, как, например, у Фрёмбгена и Херсе[121]. Единственное отличие состоит в том, что враг здесь оказывается несостоятельным не из-за несовершенства, а из-за недостатка разума и самодисциплины (как атрибута «правильного» сознания):

> Много раз мы присутствовали при боях, когда республиканские самолеты атаковали противника, вдвое более многочисленного. Конечно, немцы маневрируют не хуже республиканцев, но мужество не преподается в военных академиях: вопреки представлению большинства людей оно и не является прирожденным. Дело не в тех качествах, которые фея кладет в колыбель младенцу, дело – во внутренней дисциплине, в сознании, в совокупности чувств[122].

Как в документальных, так и в художественных текстах, Эренбург неоднократно включает в текст допросы арестованных фашистских летчиков, чтобы показать их трусливое и растерянное поведение как проявление моральной слабости. Они не знают, ни зачем они прибыли в Испанию, ни за что они должны воевать – следствием этого незнания становится отсутствие собственных нравственных ориентиров. «Хорошие» немцы, выступающие на стороне республиканцев, напротив, всегда изображены идейно зрелыми и сознательными, они видят врага насквозь и поэтому почти не проявляют к нему агрессии. «Хорошим» свойственно, скорее, любопытство и иногда даже сочувствие к врагу.

Недостаток ума у врага может выступать или в форме тупости, или в форме фанатичного безумия. Чрезвычайная жестокость, которая в советском и нацистском изображении проявляется, прежде всего, по отношению к слабым и невинным, также интерпретируется как следствие умственного отклонения. В одном случае жестокость – результат абсолютно безэмоциональных действий фашистских технократов[123], в другом – следствие садизма:

> Первое место в ряду «героев» и последнее в моем обзоре, по праву, принадлежит Курту Кетнеру. Родом из Бранденбурга. Сын архитектора. Бледное лицо, мутные блуждающие глаза. […] Он вытирает рукавом лоб, этот фанатик смерти, задыхается от ненависти. Я спрашиваю: «Вы бомбили испанские города?» Он смеется… Я сознаю всю ответственность этого рассказа, я ничего не добавляю. Он говорит: «Опять эти истории с “мухерес и ниньос” (он говорит по-немецки, но эти слова он нарочно произносит по-испански, смеясь, – “женщины и дети”)… Вздор! […] Недавно я видел после бомбежки дым, я это видел из окна. Это, наверное, снова дымились мухерес и ниньос?» …Он опять смеется. […] Его мутные глаза – глаза пьяного[124].

Цитирование врага, позволяющее разоблачить его путем собственного признания, – также часто применяющийся прием в советских пропагандистских произведениях.

«Плохие» немцы в советской литературе характеризуются своим «нерыцарским» поведением на войне. Михаил Кольцов критикует в «Испанском дневнике» новую литературу Третьего Рейха, которая только способствовала одичанию ее читателя[125]. В другом отрывке он говорит о коварстве врага в обращении с собственными союзниками, употребляя, при этом, эвфемизм «бережливость», чтобы, следуя сложившейся в России еще с XIX века традиции[126], придать подразумеваемому коварству вид «типичной» черты немецкого национального характера:

> На трупах марокканцев нашли бумажные германские деньги ассигнациями по сто тысяч марок, напечатанные в 1923 году. Реальная ценность такого «стотысячного» дензнака была в то время равна коробке спичек. Какие бережливые люди немцы! Они хранили где-то на складах горы этого бумажного мусора, чтобы через тринадцать лет цинично расплачиваться здесь с наемными убийцами, с несчастными, невежественными, обманутыми маврами![127].

«Враждебность культуре» и «невежество» также являются постоянными элементами образа врага у советских писателей. Аналогично, эти качества рассматриваются как следствие или как форма проявления неспособности и нежелания врага мыслить:

> Он [Курт Кетнер] кое-что читал. Это не только убийца, это к тому же пропагандист. Однако когда он берет в руки книгу, он знает заранее, что в ней написано. Он читал Гюго, потому что Гюго «показывает гниение французской нации». Он не читал Льва Толстого и не станет его читать: «Это воняет…». […] Я спросил Карлевского, человека с высшим образованием: «Вы читали Томаса Манна?» Он удивленно ответил: «Что это?» Ни один из пленных летчиков – это все дети зажиточного класса, люди с высшим образованием или студенты – ни один не знал даже имен Веласкеса, Гойи, Лопе де Вега, Кальдерона»[128].

В противоположность этому, подчеркивается культурность немецких антифашистов и особая роль немецкой интеллигенции в Испанской гражданской войне[129].

Отношение к чужой испанской культуре является еще одним критерием, по которому определяется принадлежность представителей немецкого народа к своему или вражескому лагерю. Если фашистская враждебность к культуре выражается в форме открытого расизма[130] или в закрытости по отношению к стране, где они находятся («Гюнтер Лонинг меланхолично вспоминает: «В Севилье имеется заведение с немецкой клиентурой и немецкой кухней…. Среди пальм лейтенанты и фельдфебели ели сосиски»[131]), то борющиеся на республиканской стороне «хорошие» немцы, наоборот, проявляют интерес и симпатию к испанским людям, их языку и культуре[132]. Все без исключения советские тексты о войне в Испании указывают на интернационализм как положительную черту немецкого характера.

Дальнейшие признаки в положительных и отрицательных изображениях немцев в советских произведениях об испанском конфликте обозначаются как «типичные» качества немецкого национального характера. Так, немецким героям часто свойственна беднота чувств или неспособность выражать эмоции[133]. Для фашистов же характерно полное отсутствие чувств – Эренбург даже сравнивает их с неживыми машинами:

> Трудно поверить, что это – живой человек, сын ганноверского портного, что он учился в реальном училище, что у него курчавые волосы. Все эти приметы случайны и ничтожны. Он только фельдфебель, и пулемет, у которого он стоял, куда живей, своевольней, человечней[134].

Педантичность, часто доминирующая в описании немецкого национального характера[135], – сопутствующее явление мнимой бедноты чувств немцев[136]. В качестве аллегории «немецкой обстоятельности» Кольцов использует почти гротескное описание идеальной микрокопии Третьего Рейха, созданной нацистами из немецкого посольства в Мадриде:

> Арестованные показали, что чиновники посольства, офицеры резерва Мейер и Алесс, сформировали из них настоящую боевую единицу. За каждым было закреплено оружие, военные функции и точное место. Немецкие командиры производили здесь учения и тревоги!
>
> Чтобы служить в полной мере копией «третьей империи», германское посольство устроило у себя и маленький концентрационный лагерь. Очень маленький, на одну персону. Посадили в него еврея. Старик Якоб Воос поставлял мясо к посольскому столу. Однажды он сказал на кухне, что сочувствует Испанской республике. Назавтра его задержали в посольстве, заперли в кладовке и продержали, под охраной двух испанских фашистов, без допроса, но с издевательствами и битьем, сорок три дня – до самой эвакуации. Чем не Дахау![137]

Хотя за «хорошими» немцами и признается наличие чувств, им сложно их показывать и использовать. Эрих Зуммер, герой рассказа Платонова, из-за государственного террора и принуждения к страху живет крайне осторожно, «потому что открытые чувства и мысли человека становились для него все более смертельно опасными»[138]. Такая же позиция у эренбурговского Вальтера является следствием чрезмерных

страданий, принесенных ему нацистским режимом. Это ожесточило персонажа: кроме прочего, он стал хорошим солдатом, но, с другой стороны, несчастливым человеком. Этот разлад несет угрозу разрушения его внутреннего мира.

Дисциплина, в первую очередь, у Эренбурга, принадлежит к «типичным немецким» чертам. Если, при этом, речь идет о «хорошем» немце, то дисциплина становится знаком духовной зрелости и главным достоинством солдата – товарищи Вальтера из других стран, в особенности, спонтанные испанцы, в течение общей борьбы должны еще научиться от него этому качеству. В характеристике врага, напротив, дисциплина либо показывается как слепое повиновение, скрывающее за собой неспособность врага к мышлению, либо как качество, связанное с другим человеческим недостатком, например, высокомерием.

«Дисциплина» и «чистоплотность», наряду с «бережливостью», «педантичностью» и «бесчувствием», принадлежат к традиционному образу немца и, чаще всего, наделяются иронической или негативной коннотацией[139], которая либо частично исчезает (см. «дисциплина»), либо остается (см. «чистоплотность»)[140].

*Перевод с немецкого Ивана Черемушкинского*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Точное определение пропаганды не может быть представлено. В этой работе будет говориться о пропаганде, если в тексте присутствует не только агитация в пользу определенной политической идеи (или системы идей), но когда, с одной стороны, эта агитация является задачей крупных государственных институтов, и с другой стороны, результат этого сознательного влияния очевиден. Установление значения термина «пропаганда» зависит, таким образом, от более или менее ярко выраженного мнения исследователя-литературоведа.

[2] Если в дальнейшем я употребляю слово «русские» вместо «советские» люди и говорю о «русской», а не «советской» литературе, то тем самым хочу подчеркнуть, что речь в моей статье идет исключительно об образе русских и, соответственно, русской литературы. Авторы из Третьего Рейха, а также немецкие писатели-эмигранты упоминают в своих текстах об Испанской войне преимущественно «русских» или «советских русских», когда они имеют ввиду представителей нового социалистического государства. Причиной тому является то, что именно русские рассматривались как главные носители коммунистической идеи, поэтому, когда определенные идеологические качества были «национализированы», они приписывались русскому (в нацистской литературе также еврейскому) национальному характеру. У тех авторов, которые в своих работах глубже затрагивают аспект многонациональности государства (Иоганнес Бехер, Фридрих Вольф), образ «homo sovieticus» отличается не национальными, а исключительно идеологическими характеристиками, которые для русских, как и для представителей других советских республик, должны были быть типичными.

[3] *Лотман Ю.М.* О семиосфере // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма. – Тарту, 1984. С. 5–23. Здесь С. 11.

[4] *Doris Mosbach:* Coming together? – Exotische Menschen als Zeichen in europäischer Anzeigen- und Plakatwerbung. In: Zeitschrift für Semiotik 16 (1994), H. 3–4. S. 217–253; hier S. 219: Познер принимает модель Лотмана и разделяет ее на четыре области, отличающиеся друг от друга значимостью и востребованностью действующих в них законов: а) внекультурную, в которую входят несемиотические сферы; б) некультурную, в которой не действуют принципы, характерные для той или иной культуры; а также в) периферическую; и г) центральную культурную сферу.

[5] Там же.

[6] Дальнейшее исследование ограничивается эпическим и драматическим литературными направлениями. Лирика, с ее особыми методами построения образов, не будет рассматриваться в данной работе.

[7] *Georg Pichler:* Der Spanische Bürgerkrieg (1936–1939) im deutschsprachigen Roman. Eine Darstellung. – Frankfurt a. M. u. a., 1991. S. 110 f.

[8] Примером таких технических приемов является работа Иоганнеса Призе: *Johannes Priese:* Hammer und Sichel über Spanien. In rotspanischen Kerkern. Selbsterlebnisse nach den Aufzeichnungen des vom «roten Volkstribunal» zum Tode verurteilt gewesenen griechisch-orthodoxen Geistlichen Wladimir Vicenik. – Leipzig, 1938. S. 59 ff. Призе приводит в своей работе длинную цитату, которая якобы принадлежит Ленину («Власть Советов не знает ни свободы, ни справедливости» и т. д.), но не указывает для нее никакого источника, что, таким образом, дает ему возможность присовокупить к ней Сталина. «И на этого Ленина ссылается советский диктатор Сталин в своем открытом письме, которое было опубликовано в “Правде” 15 января 1938 года».

[9] *Edwin Erich Dwinger:* Spanische Silhouetten. Tagebuch einer Frontreise. – Jena, 1937. У Эдвина Эриха Двингера (1898–1981) была русская мать, в 1915 году он попал в русский плен и принимал участие в кампании адмирала Колчака против большевиков, см. *Robert Wistrich:* Wer war wer im Dritten Reich? – Frankfurt/Main, 1. S. 74, а также статью Георга Вюрцера в этом томе.

[10] *Dwinger* (там же). S. 31; ср. *Henrik Herse:* Madrid. – Berlin, 1943. S. 72f.

[11] *Johann Froembgen:* Franco. Ein Leben für Spanien. – Leipzig, 1939. S. 121.

[12] Ср. Reinhard Rürup (Hrsg.): Der Krieg gegen die Sowjetunion. 1941–1945. Eine Dokumentation. – Berlin, 1991. S. 11.

[13] *Otto Schempp:* Das autoritäre Spanien. – Leipzig, 1937. S. 18.

[14] Ср. *Froembgen* (см. прим. 11). S. 121f.

[15] Там же. S. 123.

[16] *Felix Schlayer:* Diplomat im roten Madrid. – Berlin, 1938. S. 21f.

[17] В сознании немцев, типичным представителем таких качеств был Дон Кихот.

[18] См. *Priese* (прим. 8). S. 63f. «Протоколы сионских мудрецов» – фальсифицированный сборник текстов, представлявшийся публикаторами как документы всемирного еврейского заговора. Предположительно, он был издан в конце XIX века агентом русской тайной полиции Рачковским и сначала был распространен по территории России, потом – Германии, Великобритании и США, после чего – по всему миру. В Германии «Протоколы сионских мудрецов» стали одним из важнейших источников, на который опиралась фашистская идеология. Ср. *Johannes Baur:* Die Revolution und «Die Weisen von Zion». Zur Entwicklung des Rußlandbildes in der frühen NSDAP. In: Gerd Koenen/Lew Kopelew (Hrsg.): Deutschland und die russische Revolution 1917–1924 (= West-östliche Spiegelungen, Bd. 5A). – München: Fink, 1998. S. 165–190. Ср. также *Norman Cohn:* «Die Protokolle der Weisen von Zion». Der Mythos der jüdischen Weltverschwörung. Mit einer kommentierten Bibliographie von Michael Hagemeister. – Baden-Baden u. a., 1998.

[19] Этот сюжет Призе (см. прим. 8; ср. S. 123f., 133f., 137, 154–157) развивает и дальше, приписывая злодеяния врага героям, которые хотя и были выдуманы им, воспринимаются читателем как реальные персоны с настоящими именами. Эффект достигается за счет того, что вымышленные персонажи ставятся в один ряд с настоящими, известными участниками Испанской гражданской войны, такими как Розенберг или Эренбург, и выполняют схожие политические функции.

[20] *Priese* (см. прим. 8). S. 188; auch S. 204, и *Dwinger* (см. прим. 9). S. 30.

[21] *Priese.* S. 141.

[22] *Hellmut H. Führing:* Wir funken für Franco. Einer von der Legion Condor erzählt. 7. Aufl. – Gütersloh, 1941. S. 151f.

[23] *Schlayer* (см. прим. 16). S. 37f.

[24] *Herse* (см. прим. 10). S. 50.

[25] *Dwinger* (см. прим. 9). S. 38.

[26] *Herse* (см. прим. 10). S. 72.

[27] *Froembgen* (см. прим. 11). S. 122.

[28] *Führing* (см. прим. 22). S. 181; на S. 195 f. он показывает, как «большевики» использовали в преступных целях баскское стремление к независимости.

[29] Там же. S. 247.

[30] Ср. там же. S. 79.

[31] *Froembgen* (см. прим. 11). S. 123.

[32] *Priese* (см. прим. 8). S. 59.

[33] *Schlayer* (см. прим. 16). S. 196.

[34] Ср. *Froembgen* (см. прим. 11). S. 123, Führing (см. прим. 22). S. 196.

[35] *Rürup* (см. прим. 12). S. 15.

[36] *Froembgen* (см. прим. 11). S. 117: «Дель Вайо, поучающе поднимая руку, говорил: “Демократия – это мост, который мы перейдем без трудностей, чтобы оказаться на стороне большевизма”. Один товарищ его не понял. Кабальеро отпихнул его в сторону, проворчав: “Предписание из Москвы!” – “Тогда все в порядке”».

[37] Ср. *Herse* (см. прим. 10). S. 115f.

[38] *Führing* (см. прим. 22). S. 179f; ср. также *Herse* (см. прим. 10). S. 53f.

[39] Ср. *Schlayer* (см. прим. 16). S. 196f.

[40] *Herse*. S. 92.

[41] Там же. S. 50.

[42] Ср. *Schlayer* (см. прим. 16). S. 197: «Я беседовал с председателем в его рабочей комнате. Вдруг, без предупреждения, открылась дверь, и в комнату вошел человек в летнем пальто, шляпе. Бросив взгляд на нас, он сел, так и не сказав ни слова, ни приветствия, в мягкое кресло, оставив на себе пальто и шляпу, вытащил газету из чемодана и начал читать. У меня отвисла челюсть – это был русский полпред Розенберг!» Шлайер дает рассказать эту историю «нейтральной» персоне – «южноамериканскому коллеге». Используя такую форму повествования, он позволяет выразить политическому оппоненту еще более негативную оценку русских действий в испанском конфликте («Необходимо упомянуть разговор в первые дни октября с представителем одной из стран Центральной Америки, которая, благодаря своей политической позиции, была тесно связана с красным правительством». – Там же). Подобное цитирование врага выполняет в очерках с места событий и в художественных произведениях такую же функцию, как и цитаты из вражеской прессы в «квазинаучных» текстах.

[43] *Dwinger* (см. прим. 9). S. 99f.

[44] *Froembgen* (см. прим. 11). S. 188.

[45] *Priese* (см. прим. 8). S. 67; *Dwinger* (см. прим. 9). S. 30f. und 38. Двингер изображает разрушение церквей как выражение ненависти к культуре. Не все нацистские авторы отрицают наличие любой культуры в России: Вилли Веспер (*Will Vesper:* Im Flug durch Spanien. Erzählungen von einer Reise. – Gütersloh, 1943, vgl. S. 103 f.) противопоставляет советское варварство великой российской культуре прошлого. Представителями идеологии «крови и земли» он считает «евреев, русских, эмигрантов, оторванных от родины, и городских пролетариев» (S. 99), а «безбожников» он рассматривает как виноватых.

[46] *Josef Sarabia:* Spanien ist erwacht! Eine Darstellung der Ursachen des Bürgerkrieges, des Kampfes der nationalen Truppen und des Aufbaues des national-syndikalistischen Staates. – Wien und Leipzig, 1938. S. 211.

[47] *Führing* (см. прим. 22). S. 180.

[48] *Max Graf Hoyos:* Pedros y Pablos. Fliegen, Erleben, Kämpfen in Spanien. – München, 1939. S. 62f.

[49] Легион «Кондор» (нем. Legion Condor) – соединение военной авиации нацистской Германии, которое было отправлено для поддержки в испанской гражданской войне националистов Франсиско Франко.

[50] Ср. *Peter Monteath/Elke Nicolai:* Zur Spanienkriegsliteratur. Die Literatur des Dritten Reiches zum Spanischen Bürgerkrieg. Mit einer Bibliographie zur Internationalen Spanienkriegsliteratur. – Frankfurt a. M., Bern und New York, 1986. S. 30f: «Типичной для литературы об Испанской гражданской войне, равным образом для профашистской и прореспубликанской, является интенсивная ненависть к врагу, которая всегда находит свое выражение. Здесь залегает важное отличие от литературы о Первой мировой войне, в которой часто тон задает чувство сопереживания противнику. […] В литературе об испанском конфликте подобное чувство отсутствует в принципе. Обе стороны вели войну в безоговорочной ненависти, которая коренилась в идеологическом экстремизме и иногда в расизме. Эта сильная идеологическая составляющая определила позицию солдат по отношению к их сопернику, который теперь воспринимался не как человек, вызывающий сочувствие, а как заклятый враг».

[51] *Josef Fözö:* Freie Jagd von Madrid bis Moskau. Ein Fliegerleben mit Mölders. Hrsg. von Just Scheu. – Berlin, 1943. S. 94. Понятно, что эта военная пропаганда не отказывается от «злого» врага;

поэтому сразу же, как только показывается сочувствие к непосредственному сопернику, указывается на «злого врага», который обманывал, запутывал и подстрекал их к ненависти. И все равно важным является тот факт, что уже не каждый русский воспринимается как личный враг, в чьем характере обязательно подчеркивались бы «нечеловеческие» качества, и, в целом, не дается почти никакой оценки. Намного больше теперь говорится о русских (как до 1939 года о «доверчивых» испанцах), которых другие русские склоняли к ужасным преступлениям.

[52] *Hoyos. S.* 109f. Хойос превращает войну в приключение для настоящих молодых людей, где над многим можно посмеяться.

[53] Ср. *Hoyos* (см. прим. 48). S. 133, где говорится о «духе летчиков», который, будучи современной формой «рыцарского боевого духа», объединяет противников, переживающих схожие чувства.

[54] В этом, в числе прочих писателей, признался Людвиг Ренн (1889–1979), который сначала был офицером и в 1936–37 годах – шефом штаба XI Международной бригады в Испанской гражданской войне: «На фронте мы, писатели, отложили перо в сторону, так как не хотели больше писать истории – мы хотели сами делать историю». Цит. по: *Ludwig Renn:* Rede zum II. Internationalen Schriftstellerkongreß. In: Das Wort 2 (1937), H. 10. S. 78f.

[55] *Bertolt Brecht:* Rede zum II. Internationalen Schriftstellerkongreß. In: Das Wort 2 (1937), H. 10. S. 58f. На русском см.: Речь на Втором международном конгрессе писателей. Перевод Н. Португалова // Бертольт Брехт. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания. В пяти томах. Т. 1. Художник и общественная борьба. — М.: Искусство, 1965; или интернет-версия: http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_1_2. txt_with-big-pictures. html#35 (последний просмотр 23.06.2009).

[56] См. ниже анализ работ Киша, Вольфа, Бехера и др.

[57] Ср. *Pichler* (см. прим. 7). S. 146–150.

[58] «Das Wort» («Слово»), литературный ежемесячник, издававшийся в Москве с июля 1936 по март 1939 года.

[59] Об истории этих журналов см.: Angela Huss-Michel: Die Moskauer Zeitschriften «Internationale Literatur» und «Das Wort» während der Exil-Volksfront (1936–1939). Eine vergleichende Analyse. – Frankfurt a. M., New York und Paris, 1987. S. 9–68.

[60] Ср. там же. S. 9–27.

[61] F.*C. Weiskopf:* Das Sägemehl. In: Ders. Gesammelte Werke. 8 Bde. Berlin (Ost) 1960; hier Bd. 6: Anekdoten und Erzählungen. S. 49f.

[62] *Willi Bredel:* Zur Geschichte der XI. Internationalen Brigade. In: Ders.: Spanienkrieg. Hrsg. von Manfred Hahn. 2 Bde. 2. Aufl. – Berlin und Weimar, 1986.

[63] Поиск правды, который, в итоге, приводит борцов за свободу в Испанию, – противоположность рассказу Эгона Эрвина Киша «Die drei Kühe» («Три коровы») и стихотворению Иоганесса Бехера «Fahrt nach Teruel» («Поездка в Теруэл). Стихотворение будет рассмотрено как единственное поэтическое произведение в рамках этой статьи, поскольку оно находится на пересечении лирического и эпического литературного направления и определено самим автором как «эпическая поэзия».

[64] О тотальности пропаганды ср. *Daniel Weiss:* Alle vs. einer: Zur Scheidung von good guys und bad guys in der sowjetischen Propagandasprache. In: Slavistische Linguistik 1999. Referate des XXV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens Konstanz 7.–10. 9. 1999. Hrsg. von Walter Breu. – München, 2000. S. 235–275; здесь S. 239f.

[65] *Friedrich Wolf:* Die «Newa» kommt. In: Das Wort 2 (1937), H. 11. S. 110–117; hier S. 111.

[66] Ср. J*ohannes R. Becher:* Die Fahrt nach Teruel. In: Ders. Gesammelte Werke. Hrsg. vom Johannes R. Becher-Archiv der Deutschen Akademie der Künste Berlin.18 Bde. – Berlin und Weimar, 1966–1981; здесь Bd. 7: Epische Dichtungen (1968). S. 309–337, здесь S. 331.

[67] Ср. *Willi Bredel:* Zur Geschichte der XI. Internationalen Brigade (см. прим. 62); здесь Bd. 1. S. 166; на С. 280 стрелок Иван беспокоится за свой пулемет, как за самого себя; такую же преданность заданию проявляет Кюлькаммерманн у Вольфа (см. прим. 65). S. 110f.

[68] *Willi Bredel:* Begegnung am Ebro. In: Ders.: Spanienkrieg (см. прим. 62); здесь Bd. 2. S. 14, 56 u. a.

[69] Ср. *Friedrich Wolf:* Die «Newa» kommt. (см. прим. 65). S. 116.

[70] Ср. *Bredel:* Begegnung am Ebro (см. прим. 68). S. 64 ff, 68 ff, 97, 105 u. a.

[71] Ср. *Bredel:* Zur Geschichte (см. прим. 67). S. 24, ср. также Wolf. S. 111.

[72] Ср. *Wolf:* Wir sind mit euch. S. 349.

[73] Ср. *Wolf:* Die «Newa» kommt. (см. прим. 65). S. 112.

[74] Ср. *Bredel:* Zur Geschichte. S. 166.

[75] «Да, мы даже играли в театре… причем одну старую испанскую пьесу: “Fuente ovechuna”». Ср. *Wolf:* Wir sind mit euch. S. 112.

[76] Писатель Эрих Арендт сообщает: «В Мадриде юные солдаты исполнили несколько простых картин, которые тем не менее полны жизни и которые отражают страхи, заботы и проблемы фронта. Сцена […] начинает становиться инструментом политического воспитания масс. […] Хоровая декламация, современные песни, музыка и устные лозунги подчеркивают содержание драматической части. Русский театр Мейерхольда, Грановского, Таирова показал новые пути в устройстве театра». In: Spanien-Akte Arendt. Aufgefundene Texte Erich Arendts aus dem Spanienkrieg. Hrsg. von Silvia Schlenstedt. – Rostock, 1986. S. 21; ср. *Bredel:* Zur Geschichte. S. 89, о восприятии советских фильмов.

[77] Ср. *Bredel:* Zur Geschichte. S. 166f.

[78] Ср. *Gustav Regler:* Das große Beispiel. Roman einer Internationalen Brigade. Mit einem Vorwort von Ernest Hemingway. – Köln, 1976. S. 175–214; *Alfred Kantorowicz:* Spanisches Kriegstagebuch. – Frankfurt a. M., 1982. S. 114ff.

[79] *Wolf:* Wir sind mit euch. S. 114f.; ср. также S. 116.

[80] Ср. *Becher:* Die Fahrt nach Teruel (см. прим. 66). S. 333.

[81] Там же. S. 334.

[82] Ср. *Friedrich Wolf:* Wir sind mit euch. Drei Szenen. In: Ders.: Gesammelte Werke in 16 Bänden. Hrsg. von Else Wolf und Walther Pollatschak. – Berlin und Weimar, 1960–1968; здесь Bd. 7: Hörspiele, Laienspiele, Szenen (1965). S. 343–383; здесь S. 357.

[83] Ср. *Becher:* Die Fahrt nach Teruel. S. 333.

[84] Ср. *Bredel:* Zur Geschichte. S. 513.

[85] Национальность франкиста в рассказе Ф. Вайскопфа «Das Sägemehl» (см. прим. 61) остается неопределенной, несмотря на то что он встречался с русскими эмигрантами в Париже.

[86] Ср. *Кольцов М.Е.* Испания в огне. В 2 тт. – М.: Политиздат, 1987. – Т. 2. Испанский дневник. С. 218 и далее; *Афиногенов А.* Салют, Испания! Романтическая драма в двух частях, с эпилогом. — М., 1936. Также см. *Афиногенов А.* Избранное, тт. 1–2. – М., 1977. – Т. 1: Пьесы, статьи, выступления. С. 291, 318.

[87] Ср. *Monteath/Nicolai* (см. прим. 50). S. 13f.

[88] Ср. *Regler:* Das große Beispiel (см. прим. 78). S. 178. (В дальнейшем это издание цитируется с указанием номера страницы в тексте.)

[89] «“[…] знаешь статью? Где он [Бухарин] говорит, что Россия всегда будет в летаргии, что души ее народа инертны, рассеянны, пассивны, азиатски. Это было скрытое нападение на пятилетку. Я сразу же сказал это тогда в Париже”. – Альберт поднял глаза и направил свой застывший взгляд в глаза молодого человека: “Я не люблю, когда говорят “сразу”. Истины еще не были так дешевы» (184).

[90] «Текст газеты снова предстал перед его глазами. Какой вызывающий язык! […] Нужно ли говорить так с просвещенным народом? […] Речь идет о принципе, даже о двух принципах: о глубоком уважении к массам и о праве критики. Глубокое уважение к массам – Геббельс пренебрегает им и верит, что нужно опошлять для них весь мир. А мы? […] Нет ли у нас привычки говорить на языке анафемы, жаловаться на Succubus и Incubus?» (181 и далее).

[91] Ср. S. 180, 192–207 и др.

[92] О недоверчивости ср. S. 207.

[93] «Что мне кажется опасным в коммунистах, […] так это противоположность [анархистам]. Недостаточно стихийно и слишком скрытно. Тут все сходится. И происходит правильно. […] Каждый обращает внимание на себя самого. […] Комиссар за себя самого. Они не могут ни разу оступиться» (48).

[94] «Он ищет здесь потерянную Москву» (50).

[95] Ср. S. 50, 91, 185.

[96] Алексей Владимирович Эйснер (1905–1984) – поэт, переводчик, прозаик; после революции в России эмигрировал с отцом в Югославию, позже жил в Праге и Париже. В 1936 г. защищал Республику в Испании, был бойцом 12-й Интернациональной бригады. В 1940 г. вернулся в СССР, но вскоре был арестован. В 1956 году был реабилитирован. Тема Испании представлена в его кни-

гах: Двенадцатая Интернациональная. Повесть. – М.: Советский писатель, 1990; Человек с тремя именами. Повесть о Матэ Залке. – М.: Политиздат, 1986.

[97] «Мишка: Альберт ничего не знает, – думал он. – Да и как он может знать? Ведь кто понимает Россию? Только русский» (185).

[98] «Его глаза мечтательно глядели на занавешенное слуховое окно. [За ним] он видел […] Красную площадь и башни Кремля». (190, ср. также 338)

[99] Сам Мишка судит о себе и окружающих по их умственным достижениям (ср. S. 140 – его комментарий к речи Сталина).

[100] «Мишка теперь уже не различал героев романа 1890 года и подсудимых процессов 1937-го. Его охватила жажда к сравнению. […] Он забыл, что нигилист Верховенский говорил о балагане, а Радек только о гипнозе, он перепутал всё […]» (188).

[101] Ср. *Rürup* (см. прим. 12). S. 11. В «Волшебной горе» Иоахим описывает супружескую пару за «плохим» русским столом: «Да, они до известной степени варвары – словом, нецивилизованны […]». Ср.: *Манн Т.* Волшебная гора: Роман / Пер. с нем. В. Куреллы, В. Станевич. – СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 76.

[102] Ср. *Gustav Regler:* Juanita. In: Ders. Werke. Hrsg. von Gerhard Schmidt-Henkel und Ralph Schock. 15 Bde. – Basel und Frankfurt a. M., 1994ff.; здесь Bd. 5 (1998). S. 418. (В дальнейшем это издание цитируется с указанием номера страницы в тексте.)

[103] Ср. S. 637: «[…] пакт с русскими оказался бессмысленным; азиат был не таким сильным, каким казался вначале […]». Хотя признак «азиатский» в «Хуаните», согласно сложившимся традициям, должен выражать «русское», здесь он имеет общую функцию изображения «странного»: так, Михайлов, попав в конфликтную ситуацию со своим руководством, попадает также в «странный азиатский зал судебного заседания» (681).

[104] Ср. S. 411: «Помнится, сыновья Чингиз-хана выстроили когда-то вдоль городской стены сдавшийся на их милость турецкий гарнизон числом в 30.000 человек – якобы с тем, чтобы остричь их волосы так, как их носили в монгольском войске? За спиной каждого из легковерных, которые уже считали себя принятыми в войско, расположился воин с уравнивающей бритвой в руке, затем, по сигналу горна, разом были перерезаны 30.000 глоток».

[105] Ср. S. 307 и 413.

[106] «[Испанец] будет еще послушнее, когда станет нас уважать. Но уважение – это страх. Эта революция снова переоценивает человека. […] Революция – это просто одна большая полицейская акция» (307).

[107] Ср. S. 259, 262, 265, 309.

[108] S. 422: Михайлов заходит так далеко, что, действительно, готов протестовать против сталинского режима, однако, его неудача еще раз подтверждает идею о бессмысленности восстания «в одиночку».

[109] Вишневский опубликовал сценарий для документального фильма «Испания», однако, этот жанр все же не будет рассматриваться в работе.

[110] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 / Составители Попов В.В. и Фрезинский Б.Я. – М.: Издательство АПН, 1986.

[111] См. начало статьи.

[112] Примечательно, что особенное внимание разнице между фашистски и антифашистски настроенным немцем уделяется как раз в текстах пропаганды, которым обычно свойственно упрощенное изображение. В произведениях, претендующих на высокую литературу, эта разница не всегда присутствует: так, в рассказе Паустовского «Созвездие гончих псов» в описании врага, появляющегося во сне главного героя, используются стереотипные внешние черты, позволяющие сделать вывод о его принадлежности к немецкой национальности: «Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком». *Паустовский К.* Созвездие гончих псов // *Паустовский К.* Собрание сочинений. В 6-ти тт. – М., 1957–1958. – Т. 4. Маленькие повести. Рассказы. С. 113.

[113] Эта ситуация отличается от времени фашистского нападения на Советский Союз. Сразу после появления известной статьи Ильи Эренбурга «Убей немца!» слово «немец» в советской пропаганде станет синонимом слову «враг».

[114] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 138.

[115] *Платонов А.П.* Государственный житель. Проза. Ранние сочинения. Письма. – Минск, 1990; С. 567.

[116] «В благородство или в остаток человечности Клары Шлегель Эрих верил мало. Ей не от кого было научиться и привыкнуть к этим вещам, – ей, захваченной фашизмом в тринадцать лет от роду, а он не успел ее ничему научить, потому что только любил ее и считал это достаточным. Любовь же его была не чем другим, как только заботой о своей пользе и о своей радости, о своем наслаждении прекрасным существом, а не работой для спасения женщины-ребенка, наивной и неопытной, и уже теснимой жестокой враждебною силой в грустную долю постоянного робкого напряжения, где жалкий ум будет способен только молчать и слушаться, но не думать, и где ее сердце будет биться, чтобы происходило кровообращение в теле, но не сможет превратиться в душу…». Там же. С. 561.

[117] По-другому в лирике: в своем пропагандистском стихотворении «Война – войне» Николай Заболоцкий описывает «сознательного» врага: «Он враг сознательный. Всей силою ума / Он хочет разрушенья мирового»; ср.: *Платт К.Н.* А. Заболоцкий на страницах «Известий». К биографии поэта 1934–1936 годов // Новое литературное обозрение – 2000. № 44. С. 13. Подобные метафоры используются в национал-социалистском дискурсе, как это было показано в первой части статьи.

[118] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 137.

[119] См. выше в этой статье.

[120] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 314–320.

[121] См. выше в этой статье.

[122] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 319.

[123] Таким у Эренбурга изображен Гюнтер Лонинг: *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 137–138.

[124] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 269.

[125] Ср. *Кольцов М.Е.* Испанский дневник (см. прим. 86). С. 221.

[126] Ср. *Николай Гоголь.* Невский проспект // *Гоголь Н.* Петербургские повести. – М., 1981. С. 48; *Лев Толстой.* Детство // *Толстой Л.Н.* Собрание сочинений в 22-х тт. – М., 1978–1985. – Т. 1. Детство. Отрочество. Юность. С. 41; *Николай Лесков.* Железная воля // *Лесков Н.* Собрание сочинений в 11 тт. – М., 1956–1958. – Т. 6. С. 27.

[127] Ср. *Кольцов М.Е.* Испания в огне. В 2 тт. – М.: Политиздат, 1987. – Т. 1. Испанский дневник. С. 277.

[128] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 269. Кольцов также ссылается на враждебность культуры, свойственную врагу. Ср. *Кольцов М.Е.* Испанский дневник (см. прим. 86). С. 269.

[129] Ср. *Кольцов М.Е.* Испания в огне. В 2 тт. – М.: Политиздат, 1987. – Т. 1. Испанский дневник. С. 169; Т. 2. Испанский дневник. С. 54–58, 90–91, 153–154, 164, 166–174.

[130] Ср. *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939 (см. прим. 110). С. 268.

[131] Ср. там же. С. 138.

[132] Например, они пытаются выучить испанский, ср.: *Кольцов М.Е.* Испания в огне. Т. 1 (см. прим. 129). С. 267.

[133] Эта принципиальная черта характера закрепилась за «немцем» в русской литературе еще с XIX века. Ср. *Гоголь.* Невский проспект (см. прим. 128). С. 53; *Иван Гончаров.* Обломов // *Гончаров И.* Собрание сочинений в восьми томах. – М., 1952–1955. – Т. 4. С. 160.

[134] *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939. С. 139; ср. также С. 316. Одна сцена у Эренбурга, в которой немец гневно реагирует на оскорбление, благодаря комментарию обидчика, предстает исключением, закрепляющим правило: «Маноло сказал задумчиво: “Немец, и такой чувствительный…”». *Эренбург И.* Что человеку надо (см. прим. 124), С. 157.

[135] Ср. *Гоголь Н.* Невский проспект (см. прим. 128). С. 52.

[136] Ср. *Эренбург И.Г.* Испанские репортажи 1931–1939. С. 138.

[137] *Кольцов М.Е.* Испания в огне. Т. 1 (см. прим. 129). С. 283.

[138] *Платонов А.* (см. прим. 116). С. 560.

[139] Ср. *Лесков Н.* Железная воля (см. прим. 128). С. 21–25.

[140] Ср. *Эренбург И.* Что человеку надо (см. прим. 124). С. 43.

*Екатерина Хохлова*

# ОТ ДИАЛОГА К КОНФРОНТАЦИИ. Кино России и Германии между двумя войнами

В 1919 году, через год после подписания договора о мире, в Германии и России были сняты, среди прочих, два фильма, занявшие особое место в истории мирового кино. Каждый из этих фильмов – и «Кабинет доктора Калигари» немецкого режиссера Роберта Вине, и «Поликушка» русского режиссера Александра Санина – отражал те потрясения, которые происходили в коллективном сознании обеих наций, переживших одинаковые потрясения: войну, революцию и, как следствие, изоляцию со стороны мирового сообщества, крушение привычного уклада жизни и нестабильность внутри собственных стран.

В значительной степени именно «Кабинет доктора Калигари» и «Поликушка», наиболее ярко воплотившие, по образному выражению Зигфрида Кракауэра, драму «души, стоящей на роковом распутье тирании и хаоса»[1], стали фильмами, с которых после Первой мировой войны началось взаимное тяготение между немецкой и русской кинематографиями. Разделенные на четыре года, Германия и Россия вновь повернулись друг к другу, и кино, «искусству миллионов», было предназначено сыграть важную роль в новой консолидации двух крупнейших европейских держав.

Для немецкого и русского кино двадцатые годы были периодом самых интенсивных контактов, в установлении и развитии которых были заинтересованы и политики, и кинематографисты. Это время диалога, результаты которого проявились в широком обмене фильмами, в осуществлении совместных проектов, в укреплении личных связей между деятелями кино обеих стран. И хотя в тридцатые годы, с изменением политической ситуации, диалог двух культур был снова прерван и сменился их конфронтацией, накопленные благодаря взаимному сотрудничеству достижения не остались достоянием короткого отрезка истории. Ход развития немецкого и русского кино в последующие десятилетия был во многом определен всем найденным во время этого диалога, предпосылки для которого возникли еще до начала Первой мировой войны.

## Предшественники

В зарождении кинематографа в Германии и в России, несомненно, существовали принципиальные черты сходства. Процесс развития кино в этих странах начался практически одновременно, но позже, чем во Франции, Италии или Соединенных Штатах. Количество стационарных кинотеатров и в Берлине, и в Москве стало увеличиваться лишь в 1903–1904 годах, а с 1908 года начался интенсивный рост собственного кинопроизводства в обеих странах. В том же году Германия, а вслед за ней и Россия, первыми в Европе ввели цензуру на кинофильмы.

Уже с 1909 года развивавшаяся быстрыми темпами германская кинопромышленность оказывала существенное воздействие на становление российского кинодела. Это проявлялось, прежде всего, в экспорте кинопленки, съемочной и проекционной аппаратуры, а затем и немецких фильмов, число которых на российском кинорынке увеличивалось с каждым годом, и к началу Первой мировой войны германская кинематография лидировала среди партнеров России по кинобизнесу.

Существенную роль в развитии российской кинематографии сыграли жившие в России немцы. Основное число иностранцев, владевших кинотеатрами и прокатными фирмами, составляли германские подданные. Самые известные из них – Павел Тиман (Paul Thiemann) и Фридрих Рейнгардт (Friedrich Reinhardt), учредившие в 1909 году свой Торговый Дом. Они не только активно занимались ввозом в Россию иностранных, в том числе немецких, фильмов, но и производством, и вскоре их фирма стала второй по значимости в российской кинематографии[2].

Помимо чисто коммерческих связей в предпринимательской среде, между германскими и российскими кинематографистами существовали и творческие контакты. Самым примечательным явлением в этой области можно считать совместную продукцию петербургского товарищества «Танагра» и немецкого общества «Биоскоп». Благодаря сотрудничеству этих фирм в 1913/14 годах в Берлине была снята серия игровых фильмов с участием русских театральных и киноактеров. Среди них были такие корифеи русской сцены, как Константин Варламов, Владимир Давыдов, Юрий Юрьев, а также балерина Мариинского театра Елена Смирнова. Постановку четырех фильмов («Где Матильда?», «Роман русской балерины», «В руках сластолюбца», «Когда сердце должно замолчать») осуществляли два режиссера – Андрей Быстрицкий, с российской стороны, и Георг Якоби, – с немецкой. Еще два фильма из этой серии – «Глаза баядерки» и «Душегубец» – Якоби, ставший впоследствии одной из ярких фигур в кино Германии[3], поставил самостоятельно.

Премьеры всех картин проходили параллельно в Берлине и Петербурге, за исключением фильма «Дом без окон и дверей», который был создан одним из ведущих германских режиссеров Стелланом Рийе (Stellan Rye [1880–1914]) в 1914 году, но в России вышел на экраны лишь в апреле 1915 года. Главную роль в этой мистической драме, получившей в российском прокате название «Таверна сатаны», исполнял один из «королей русского экрана» Владимир Максимов. Известный историк кино Жорж Садуль называл этот фильм предтечей немецкого экспрессионизма[4].

## Первая мировая война

После объявления войны в России были введены повышенные пошлины на немецкие товары, что никак не повлияло на ввоз немецких фильмов – они по-прежнему шли в кинотеатрах, хотя, опасаясь общественного мнения, прокатчики выдавали их за датские или русские.

Ситуация изменилась коренным образом, после того как 8 мая 1915 года Совет министров принял постановление «О запрещении ввоза в Империю кинематографических лент германского производства»[5] и были даны соответствующие распоряжения таможенным учреждениям. Немецкие фильмы на три года исчезли с экранов российских кинотеатров.

Во время массовых погромов в Москве в конце мая 1915 года среди германских и австрийских подданных пострадали и те, кто имел отношение к кинематографу: принадлежавшие им фирмы и предприятия были закрыты, а сами они были интернированы. Благодаря находчивости одного из сотрудников, оператора Александра Левицкого, уцелела лишь фирма Тимана и Рейнгардта: Левицкий подменил на витрине название фирмы на патент компании «Бр. Пате» и повесил афишу фильма-агитки «Подвиг казака Кузьмы Крючкова». Увидев патент союзной Франции и афишу, изображавшую казака с насаженными на пику германскими уланами, погромщики прошли мимо[6]. После этого фирма изменила название на «Русскую золотую серию», однако, самих владельцев, Павла Тимана и Фридриха Рейнгардта, это не спасло: вслед за остальными немецкими поданными они были высланы из Москвы в Уфу.

Русский кинематограф, как и германский, откликнулся на войну производством военно-агитационных картин. За два с половиной года, помимо многочисленных выпусков кинохроники, в России было снято 84 игровых фильма на военную тему. Вот лишь некоторые из них: «Под пулями немецких варваров», «Прусские насильники», «В сетях германского шпионажа», «Черная книга немецких зверств», «Подвиг рядового Василия Рябова», «Слава нам, смерть врагам».

Уже из названий этих картин ясно, как изображались на экране противоборствующие стороны: немцы – как исчадья ада, потерявшие человеческий облик; русские – как отважные герои, борющиеся за свободу родины. Безусловно, подобные произведения сыграли свою роль в формировании стереотипа германской нации в массовом сознании российского кинозрителя тех лет. Тем более что среди этих фильмов были не только агитки-однодневки, но и большие постановочные картины, в создании которых участвовали крупнейшие мастера русского кинематографа, как, например, режиссеры Евгений Бауэр, Яков Протазанов, Владимир Гардин, и такие актеры, как Иван Мозжухин. Эта продукция оставалась в прокате до последнего года войны.

## Между Брестским миром и нэпом

С установлением советской власти ситуация на российском кинорынке оказалась очень сложной. С одной стороны, новая власть, прекрасно сознавая пропагандистские возможности кино, с первых месяцев своего существования пыталась подчинить себе все кинопроизводство и кинопрокат. Киноподотдел Наркомпроса был создан уже в декабре 1917 года. В марте 1918 он был преобразован в Кинокомитет, которому предоставлялось право полного контроля над кинопроизводством и исключительное право выдачи разрешений на всякую фото- и киносъемку. В июне того же года при Кинокомитете был образован отдел рецензий, осуществлявший контроль репертуара. 17 июля 1918 года было принято постановление «О цензуре над кинематографами»[7], по которому все ленты, как российские, так и заграничные, могли выйти в прокат только с разрешения Кинокомитета.

Однако запас фильмов, находившихся в распоряжении Кинокомитета, был ничтожно мал, а возможности для собственного кинопроизводства практически отсутствовали из-за нехватки пленки и съемочной аппаратуры. Естественно, что в создавшейся ситуации государство было вынуждено пойти на закупку необходимых

материалов заграницей, и первой страной, с которой возобновились контакты в этой области, стала Германия. Выбор страны был определен и политической ситуацией, складывающейся после заключения Брестского мира, и теми связями, которые существовали между российскими и немецкими кинематографистами до войны.

Переговоры о передаче в Германию ряда крупных заказов на поставку пленки и оборудования начались в июне 1918 года. В частности, только акционерному обществу «Эрнеман» в Дрездене был сделан заказ на миллион марок[8]. Большая партия пленки была закуплена у фирмы «Агфа», с которой российские кинопромышленники постоянно сотрудничали еще в предвоенные годы.

История получения одного из заказов дает представление о том, как велись дела не частными, а государственными предприятиями, куда часто набирались случайные люди, не имеющие никакого образования: несмотря на то, что российская сторона была крайне заинтересована в получении пленки, в результате проволочек и неправильного оформления документов заведующим техническим отделом Кинокомитета был фактически сорван заказ на закупку 50.000 метров пленки по низкой цене. Переговорами с немецкими фирмами по поручению Кинокомитета занималось Генеральное консульство в Берлине, одно из писем которого позволяет судить об уровне сотрудников советского госучреждения тех лет: «К сожалению, присланный Комитетом вышеупомянутый заказ (при отношении от 14 июня за № 383 для фирмы Перуц в Мюнхене) написан в высшей степени неразборчиво и неграмотно, ввиду чего Генеральное консульство препровождает его обратно и просит прислать в исправленном виде и написанным на пишущей машинке с точным наименованием предметов заказа».[9]

27 августа 1919 года Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения»[10]. Проведенная после этого национализация кинематографа не улучшила состояние дел. Периодически Совнарком выделял средства на закупку оборудования и пленки; так, 12 октября 1920 года была утверждена заявка киноотдела на сумму в один миллион рублей золотом, после чего было закуплено 5000 метров пленки «Агфа». Всего же за 1920 год было приобретено в Германии пять киноаппаратов и около 70.000 метров пленки. Но этого было слишком мало для нормального функционирования кинопроизводства, особенно если учесть, что перед войной Россия в год импортировала 8.000.000 метров пленки на 15 миллионов золотых рублей.

## Нэп: предпосылки для сотрудничества

Новая экономическая политика (нэп), принятая в марте 1921 года, изменила ситуацию и в сфере кино. В ноябре Совнарком разрешил сдавать в аренду ранее национализированные кинотеатры и другие кинопредприятия, чем воспользовались те частные предприниматели, которые не уехали из России после 1917 года. Еще через месяц, в декабре 1921, правительство лишило кино государственного финансирования и перевело его на хозрасчет. Кинематографисты были поставлены в такие условия, когда они должны были самостоятельно зарабатывать на жизнь и на производство фильмов.

Вместе с тем, партия и государство оставили за собой право идеологического руководства кинематографом. Одновременно с принятием нэпа X съезд партии принял резолюцию, в которой говорилось об использовании кино в агитационно-пропагандистской работе. В управлении кино было введено единоначалие. В начале марта 1922 года Ленин в беседе с наркомом просвещения Анатолием Луначарским назвал кино важнейшим из всех искусств для Советской России и продиктовал директивы по киноделу, в которых дал распоряжения по основным вопросам кинопроизводства. В мае на XI съезде партии кино вместе с бульварной литературой было названо проводником мелкобуржуазной идеологии, развращающей молодежь. В сентябре 1922 в постановлении Оргбюро ЦК РКП(б) о работе комиссии по обследованию ВФКО (Всероссийского фото-киноотдела, который был организован в сентябре 1919 года взамен Кинокомитета, – *Е.Х.*) было признано необходимым усилить партийную работу в кинематографии и цензуру кинофильмов.

Таким образом, с окончанием гражданской войны и введением в России нэпа кино оказалось в положении ножниц: с одной стороны, кинематографистам была предоставлена свобода производства и проката фильмов, с другой, на них постоянно осуществлялось давление со стороны партийных и руководящих органов. Однако и государственные, и частные киноорганизации находились в зависимости прежде всего от потребительского спроса.

Чтобы понять политику в сфере проката и государства, и частников, нужно учесть, что представлял из себя внутренний рынок в те годы. В конце 1922 года 22 миллиона проживали в городах, 114 миллионов в деревне, то есть 80 % населения России составляли сельские жители, большая часть из которых были неграмотными. При этом, на всю страну существовало всего 868 киноустановок – 687 в городах и 181 в деревне.

Сельский прокат практически не существовал, следовательно, ориентация шла, в основном, на городского зрителя, который, как и в предвоенные годы, предпочитал фильмы определенных жанров. В русском дореволюционном кино самым распространенным был жанр так называемой «психологической драмы», кроме того, большим успехом пользовались комедийные и приключенческие фильмы.

К 1922 году процент дореволюционных лент в прокате составлял незначительное количество. Имевшиеся копии были в плохом состоянии. Основную часть советской игровой кинопродукции представляли агитки, которые демонстрировались, главным образом, в рабочих клубах или в вагонах агитпоездов и не могли «сделать кассу» в условиях нэпа. За неимением художественных фильмов отечественного производства и недостатком средств на его восстановление государство было вынуждено поставить вопрос о сотрудничестве с зарубежными кинофирмами.

Мысль о привлечении иностранных концессионеров для создания в России производства кинопленки и съемочной аппаратуры была высказана в июне 1921 года заведующим ВФКО Петром Воеводиным, который одновременно предлагал разрешить вывоз заграницу кинокартин «буржуазного содержания» в обмен на пленку и картины научно-производственного характера[11].

В ноябре 1921 года заместитель наркома внешней торговли РСФСР Андрей Лежава в докладе «Кинематографическая промышленность в России», адресованном наркому внешней торговли Леониду Красину, отмечал: «Не входя в рассмотрение причин печального положения кинематографического дела в России, необходимо указать, что существование ВФКО в настоящем его виде совершенно недопустимо.

Его существование лишь создает иллюзию, что кинематографическое дело в России как будто бы есть и даже налаживается, между тем как на самом деле и, по общему отзыву, разрушение этой, некогда цветущей отрасли нашей промышленности, все более и более углубляется»[12]. Выход Лежава видел в необходимости сдать кинематограф в концессию иностранному капиталу.

Государственные служащие, выступавшие за привлечение иностранцев к совместной работе, считали необходимым установление тесных контактов, прежде всего, с германской кинематографией. Так, в июне 1922 года работник Наркомпроса Борис Зуль писал в докладной записке заведующему отделом агитационной пропаганды Центрального комитета партии Андрею Бубнову: «Даже приступить к нему (кинопроизводству – *Е.Х.*) мы не можем без помощи западноевропейской кинопромышленности…. Самым главным нашим ресурсом является несомненно прокат. Этим делом необходимо немедленно заинтересовать германскую кинопромышленность (кстати, в настоящее время первую в Европе) для привлечения ее к участию. На это весьма выгодное дело охотно пойдут немецкие кинопромышленники, и, таким образом, мы сумеем получить нужный нам товар либо в кредит (так сказать, под залог проката и за участие немецких предпринимателей в прокате), либо за деньги, которые получим при создании смешанных обществ кинопроката с участием немецких фирм… Не сомневаюсь, что германская кинопромышленность отлично поймет все преимущества, которые связаны будут с их работой в России совместно с государством-монополистом на необъятном русском рынке с его колоссальными оборотами»[13].

Ситуация, которая складывалась после войны в немецком кино, отчасти перекликалась с тем, что происходило в советской кинематографии. В мае 1920 года был издан закон, по которому государство приобретало контроль над кинопромышленностью. Вновь вступила в силу государственная цензура, отмененная после войны. Как и в Советской России, власти в Германии были убеждены в необходимости превратить кино в мощное оружие пропаганды.

Именно для этого еще в ноябре 1918 года был создан самый крупный германский киноконцерн УФА. Перед ним была поставлена задача делать фильмы, которые должны были служить целям национального воспитания и пропаганды правительственных директив. Быстро завоевав ведущие позиции на внутреннем кинорынке, УФА стремилась выйти и на мировой рынок, однако, как и другие немецкие кинофирмы, потерпела неудачу, поскольку после войны большинство стран бойкотировали немецкое кино. В этой ситуации Россия с ее огромным рынком и потребностью восстановить разрушенное кинопроизводство, действительно, могла стать самым выгодным партнером для Германии.

Из шестнадцати предложений о создании смешанных товариществ по кино, сделанных России в 1922 году со стороны зарубежных фирм, тринадцать исходили от Германии. Первым с предложением о сотрудничестве выступил киноконцерн УФА, затем крупное акционерное общество «Крупп Эрнеман». Были предложения и от уехавших из России предпринимателей, в частности от Павла Тимана, который называл себя «германским представителем “Русской Золотой Серии” в Берлине».

Сообщая в июле 1922 года наркому Анатолию Луначарскому о переговорах с немецкими фирмами, заведующий ВФКО Лев Либерман ссылался на принципиальное согласие Главного Комитета по делам о концессиях и акционерных обществах, в котором говорилось о необходимости «признать срочность предложения объеди-

нения русско-германской кинематографии»[14]. При этом, Либерман подчеркивал, что если Наркомпрос получит в каждом из организуемых предприятий 50 % выпускаемых акций и равное число голосов в правлении, то фотокинопромышленность в значительной степени окажется в руках государства. В противном случае, государству будет трудно осуществлять контроль над частными держателями акций, и, таким образом, оно потеряет самое сильное орудие агитации и пропаганды.

Однако государство так и не пошло на заключение соглашения с какой-либо из иностранных кинофирм. Если учесть, что в других областях промышленности создание совместных предприятий (в первую очередь, с Германией) было довольно распространенным явлением в двадцатые годы, отказ от сотрудничества в сфере кино можно объяснить только боязнью советской власти утратить идеологический контроль над совместными кинопостановками. И все же в условиях нэпа выход для создания советско-германского кинопредприятия был найден. Этим предприятием стала студия «Межрабпом-Русь».

## «Межрабпом-Русь»: годы сотрудничества

История возникновения единственного совместного кинопредприятия «Межрабпом-Русь» уже не раз описана[15], однако, к ней стоит вернуться, ибо до сих пор альянс организации «Международная рабочая помощь» и частной кинофирмы «Русь» вызывает разную трактовку у исследователей.

Хорошо известно, что Межрабпом был создан летом 1921 года в ответ на призыв Ленина помочь голодающим в России. Возглавил эту организацию Вилли Мюнценберг, который, по выражению автора его биографии Томаса Фридриха, в тот период «идеальным образом представлял тип ленинского профессионального революционера»[16]. Мюнценберг был прирожденным организатором и убежденным коммунистом, проявившим присущую ему инициативность сначала в качестве секретаря Международного социалистического интернационала молодежи, затем секретаря Коммунистического Интернационала Молодежи, а впоследствии и руководителя Межрабпома. Спустя семь десятилетий Кристофер Эндрю и Олег Гордиевский рассказали и о той стороне его деятельности, которая ранее была известна лишь узкому кругу посвященных, – работе в ОМС (отделе международных связей Коминтерна). По их мнению, Мюнценберг был «величайшим мастером организации работы передовых групп, создаваемых на деньги ОМС» и ставших впоследствии «важным инструментом осуществления советской разведкой “активных действий” (обработки)»[17]. Они рассказали о «клубах невинных», как Мюнценберг называл представителей буржуазной интеллигенции, участвовавших в различных, организованных им, кампаниях: «Хотя пропаганда занимала основное место в его деятельности, он с успехом использовал “клубы невинных” как прикрытие для шпионской сети ОМС, членами которой были некоторые представители той самой интеллигенции»[18].

В огромной пропагандистской империи, созданной «красным Гугенбергом», как называли Мюнценберга, кино занимало особое положение: как и «вождь мирового пролетариата» Владимир Ленин, его немецкий соратник прекрасно понимал возможности использования этого искусства в целях агитации и пропаганды. К кинопроизводству Межрабпом приступил с первых месяцев своего существования. Вна-

чале это были документальные фильмы, смонтированные из материалов, отснятых в районах Поволжья. Демонстрация двух лент, «Голод в Советской России» и «Вниз по течению голодной Волги», во многих странах Европы и Америки зимой 1921–22 года способствовала сбору средств в помощь голодающим. В сентябре 1922 года хозяйственно-коммерческие функции Межрабпома взяло на себя «Торгово-промышленное акционерное общество Международной рабочей помощи Советской России» («Ауфбау»), при котором был создан кинофотоотдел, занимавшийся поставками в Россию пленки, аппаратуры и фильмов.

Кинофотоотдел «Ауфбау» контактировал с различными советскими киноорганизациями, как государственными (ВФКО и Севзапкино), так и частными («Кино-Москва» и «Русь»), однако, из всех этих организаций только «Руси» Межрабпом предложил объединиться для создания совместного кинопроизводства. Вопрос, почему выбор пролетарской организации пал на частную фирму, встает всегда, когда заходит речь об истории этой студии.

Самой простой ответ – личные связи: в январе 1922 года «уполномоченным НКВТ по делам кинематографии и по вопросам, связанным с заключением договоров и организацией Акционерных Обществ и предприятий кинематографического дела за границей»[19] была назначена Мария Федоровна Андреева, возглавившая киноотдел советского торгпредства в Берлине. Сын Андреевой, режиссер и оператор Юрий Желябужский, был одним из пайщиков «Руси». Очень скоро факт родства был использован сотрудниками экономуправления ОГПУ для обвинения Андреевой в том, что она «употребила все свое влияние на то, чтобы связать частную кинофирму “Русь” с Межрабпомом и, тем самым, дать ей источник финансирования, одновременно систематически расстраивая все попытки Госкино заключить деловое соглашение с Межрабпомом»[20].

Для того, чтобы понять, насколько абсурдным было это обвинение и что на самом деле стояло за понятием «личные связи», надо представить себе, кем была Мария Андреева. Вот как ее характеризовал один из партийных работников: «Эта женщина, по рождению принадлежавшая к высшим классам, талантливая артистка Художественного театра из числа блестящего созвездия Станиславского, молодая и красивая, пришла в партию большевиков по велению сердца, целиком отдавшись служению своему народу… Она вела внешнеторговые операции с большим знанием дела, что было крайне важно и давало нам необходимые средства для решения практических задач первой пятилетки»[21].

Андреева была такой же убежденной коммунисткой, как Вилли Мюнценберг, она входила в ближний круг Ленина, была его доверенным лицом и именно по его рекомендации была отправлена в Берлин. Интересы партии были для нее важнее, чем интересы даже собственного сына и его фирмы. Объяснение альянса Межрабпома и частной фирмы и согласия на это со стороны Советской России кроется в одной фразе, сказанной Андреевой директору «Руси» Моисею Алейникову, который приехал летом 1922 года в Берлин для продажи фильмов и закупки пленки и аппаратуры: «Дело объясняется довольно просто: в операции с “Русью” государство ничего не может потерять»[22].

Сам Алейников назвал свою фирму «подходящим объектом для эксперимента»[23]. Образованная в 1915 году, «Русь» не входила в число крупных кинопредприятий до революции, но сумела сохранить производство даже в период «военного коммунизма». Во многом это произошло благодаря энергии Алейникова, который разработал

определенную стратегию для сохранения предприятия: незадолго до национализации кинематографа оно было зарегистрировано под названием «Художественный Коллектив “Русь”» как группа при Художественном театре[24]. Алейников привлек к работе в кино деятелей МХТ разных профессий – режиссеров, художников, актеров – и, по совету известного театроведа Николая Эфроса, возглавившего литературный отдел «Руси», избрал в качестве основного направления экранизацию русской классики. Так в 1919 году был снят фильм «Поликушка» по повести Льва Толстого с Иваном Москвиным в главной роли.

К моменту приезда Алейникова в Берлин «Русь» существовала уже как частная фирма, арендовавшая съемочный павильон в Москве, но не имевшая средств и материалов для производства новых фильмов. Расчет был на продажу немецким прокатчикам ранее снятых «Русью» картин, в первую очередь «Поликушки», в успехе которого Алейников не сомневался: произведения Льва Толстого в Германии знали и неоднократно экранизировали, помнили и первые гастроли Художественного театра в Берлине. Но как настоящий предприниматель Алейников знал, что успеху способствует реклама, а лучшей рекламой для фильма является хорошая пресса. И ему это удалось сделать с помощью «величайшего мастера организации» Вилли Мюнценберга, к которому Алейников обратился по рекомендации Марии Андреевой.

Воспользовавшись своими связями с интеллигенцией, Мюнценберг уговорил Альфреда Керра, известного театрального критика, сотрудника газеты «Берлинер Тагеблатт», посмотреть «Поликушку». После просмотра, устроенного в советском торгпредстве специально для Керра, тот обещал написать рецензию на фильм. Статья под названием «Фильм Станиславского» была напечатана в январе 1923 года, после осенних гастролей Художественного театра в Берлине, в которых участвовал и исполнитель главной роли Иван Москвин.

Во время очередной поездки Алейникова в Германию эта статья стала для «Руси» своего рода визитной карточкой, его называли «Поммером советской кинематографии»[25] и принимали в разных прокатных конторах. Но главным желанием Алейникова было «установить прямую связь с УФА, добиться согласия выпустить “Поликушку” на экраны ее первоклассных кинотеатров, таких, как “УФА-ам-Цоо” или “УФА-Тауэнциенпаласт”. Известно было, что каждому фильму, удостоенному премьеры в этих театрах, обеспечен сбыт на целый ряд стран Европы»[26].

Алейникову удалось добиться приема у самого Эриха Поммера. Можно предположить, что в организации этой встречи участвовали два человека – все тот же Вилли Мюнценберг и работавший в те годы на УФА Павел Тиман, который хорошо знал Алейникова с довоенных времен. В результате переговоров премьера «Поликушки» в кинотеатре «УФА-Тауэнциенпаласт» была назначена на 5 марта. В день премьеры во многих газетах появились хвалебные отзывы о фильме. На следующий день, 6 марта 1923 года, между Межрабпомом и Художественным Коллективом «Русь» был заключен договор, согласно которому «Русь» вошла в состав Акционерного общества «Международная Рабочая Помощь России» и стала именоваться «Производственный орган Межрабпома»[27].

Союз между Межрабпомом и «Русью» устраивал все стороны: Мюнценберг знал, что имеет дело с профессионалами, которые уже доказали способность работать четко и снимать фильмы, пользующиеся успехом; «Русь» получила от Межрабпома средства на восстановление студии, пленку и аппаратуру; советское государство, ничем не рискуя, могло рассчитывать на получение прибыли в виде налогов от возможных доходов «Руси».

Через полтора года с помощью Межрабпома «Русь» превратила арендованный ею полуразрушенный павильон в хорошо оборудованную студию, где успела за этот срок снять четыре полнометражных игровых фильма, в том числе супербоевик «Аэлита». Все эти фильмы вышли в прокат уже под маркой студии «Межрабпом-Русь» – договор о ее создании был подписан 1 августа 1924 года[28].

Заслуга столь быстрого расцвета студии, несомненно, во многом принадлежала Моисею Алейникову, по выражению которого кинопроизводство держалось на трех китах: пленка, транспорт и темпы. К этому надо добавить особое чутье Алейникова в отношении людей: на протяжении всех лет работы он делал все возможное для привлечения тех кинематографистов, которые, по его мнению, могли бы способствовать процветанию студии. Будучи в 1923 году в Берлине, он уговорил вернуться в Советскую Россию одного из самых известных режиссеров русского кино Якова Протазанова, который, начиная с «Аэлиты», стал одним из самых продуктивных деятелей «Межрабпом-Руси». В середине 1920-х Алейников принял на студию кинематографистов совсем иной, новаторской школы – выходцев из мастерской Льва Кулешова: Всеволода Пудовкина, Бориса Барнета, Леонида Оболенского, Владимира Фогеля, а затем убедил перейти на «Межрабпом-Русь» и Кулешова. Студия представляла собой особый мир, отличительной чертой которого было взаимопонимание. Один из иностранных корреспондентов писал, что сильнее всего его поразил необычайный патриотизм всех сотрудников, «трудолюбивых муравьев», как он их назвал, с гордостью произносивших: «Мы – работники “Межрабпом-Руси”»[29].

«Русский Голливуд», как называли студию в зарубежной печати, стремительно развивался: к февралю 1925 года капитал «Межрабпом-Руси» увеличился с первоначальной суммы в 5000 рублей (при заключении договора каждая из сторон внесла по 2500 рублей) до 200.000. Вырученные средства были пущены на развитие производства, улучшение технического оснащения, которое привозили из Германии, закупку иностранных фильмов, ибо их прокат тоже приносил прибыль: студия взяла в аренду несколько государственных кинотеатров в Москве и Ленинграде.

«Межрабпом-Русь» занималась не только игровым кино. Уже в мае 1924 года был открыт научно-производственный отдел, выпускавший самую разнообразную продукцию: хронику, рекламу, учебно-инструктивные и научно-популярные фильмы, которые, вслед за Германией, где был придуман этот термин, называли «культурфильмы». Производство культурфильмов было начато во многом благодаря успеху в Советской России германских картин этого жанра. Многие из них, например, «Опыты Штейнаха»[30], «Теория относительности», «Восхождение на Эверест», «Путь к силе и красоте», приносили в России, как и в Германии, доход наравне с художественными боевиками. В июле 1925 года на «Межрабпом-Руси» была создана лаборатория по производству анимационных фильмов.

И руководство Межрабпома, и руководство студии были заинтересованы в продвижении своих фильмов на Запад, в первую очередь, в Германию. До 1925 года единственной картиной, которую купила немецкая фирма «Трейман-Ларсен», стал фильм «Дворец и крепость» режиссера Александра Ивановского производства Севзапкино. Но в ноябре 1925 года «Межрабпом-Руси» удалось совершить настоящий прорыв на Запад: студия подписала договор с немецкой фирмой «Ллойд-кинофильм» о продаже на Германию, Польшу, Финляндию и Прибалтику тринадцати картин своего производства за общую сумму 53.000 долларов.

Успех, сопутствующий «Межрабпом-Руси», вызывал зависть в Советском Союзе у многих из тех, кто связан с кино. На слиянии с Межрабпомом настаивала организация «Пролеткино», созданная в феврале 1923 года для производства фильмов, «действительно отвечающих интересам пролетариата, могущих быть орудием борьбы за коммунизм»[31]. Уже в марте Пролеткино обратилось в Межрабпом с предложением объединиться. Пока шли переговоры с Мюнценбергом, Пролеткино неоднократно пыталось установить контакты с различными германскими кинофирмами. На объединении настаивали и Госкино[32], и Коминтерн, и Агитпроп, для решения вопроса была создана специальная комиссия, которая периодически принимала очередное постановление о необходимости слияния, но, в результате, объединения так и не произошло. Думается, решающим в этом вопросе для Мюнценберга оказался низкий художественный уровень продукции Пролеткино, а не ее тематика.

Непростые отношения, существовавшие между «Межрабпом-Русью» и советскими государственными организациями, еще больше осложнились после организации в декабре 1924 года Всероссийского фотокинематографического акционерного общества «Совкино», которому были переданы все права на прокат фильмов в СССР. В марте 1925 года Оргбюро ЦК РКП(б) приняло постановление об объединении экспортных и импортных операций в области кино, причем, Совкино поручалось создать для этой цели единый аппарат[33]. Из всех киноорганизаций только «Межрабпом-Руси» удалось отстоять право на самостоятельные экспорт и импорт фильмов при условии отчисления процентов от доходов в пользу Совкино.

Казалось бы, Совкино было заинтересовано в получении прибыли, но оно никогда не забывало о том, что имеет дело с наполовину частной организацией. В конфликтных ситуациях, которые возникали постоянно, руководство Межрабпома апеллировало к ЦК РКП(б), напоминая о том, что студия была создана для производства пропагандистских лент для крестьянских и рабочих масс, с обещанием ослабить влияние «Руси» в этом совместном предприятии.

Между тем, «Межрабпом-Русь» была единственной в стране студией, фильмы которой приносили прибыль[34]. Совкино же было вынуждено импортировать 80 % показываемых картин, что объяснялось не только нехваткой фильмов советского производства: зрители упорно предпочитали зарубежную, и, в первую очередь, германскую кинопродукцию[35].

## Немецкие фильмы в Советской России

Всего в двадцатые годы в СССР было показано около 600 немецких фильмов. В это число входили игровые, научно-популярные («культурфильмы») и этнографические картины. С 1923 по 1929 год германские фильмы почти неизменно оставались лидерами советского проката, лишь иногда уступая американским боевикам. Совкино объясняло преимущество германских картин тем, что они «в значительной мере поддаются обработке и имеют технические и художественные достоинства»[36]. Выражение «поддаются обработке» означало, что работник Совкино, называвшийся «редактор-монтажер», должен был с помощью перемонтажа, новых надписей или сокращения привести картину к такому виду, который бы устраивал цензора Главреперткома. Вот как Совкино характеризовало германскую кинопродукцию: «Эпоха

кризиса буржуазного культурного общества утончает филигранность работы творцов, давая им большую возможность в выборе красок, что, отражаясь на всем творчестве Германии, отразилось, естественно, и на кинотворчестве. Художественная ценность германского фильма сравнительно высока. Техническое оформление безукоризненно»[37].

Интересно, что перемонтажом немецких фильмов занимались режиссеры, творчество которых стало впоследствии достоянием истории кино. Ответственным за германские картины в Совкино был Георгий Васильев, позже один из авторов знаменитого «Чапаева». Он прекрасно разбирался в качестве продукции, о чем свидетельствует его оценка фильма «Последний человек» Фридриха Мурнау, одного из лучших произведений не только немецкого, но и мирового кино: «Картина является образчиком всего того, что может дать современная кинотехника. В ней применены и доведены до совершенства все новейшие достижения техники операторского искусства, освещения, декорирования, актерской игры и т. п. Все это позволяет не говорить о мелочах. Картину следует видеть – иначе о ней говорить бесполезно»[38]. Еще один шедевр германской кинематографии, «Доктор Мабузе, игрок» Фрица Ланга, перемонтировали Сергей Эйзенштейн и Эсфирь Шуб[39].

Однако ни «обработка», ни изменение названий[40] существенно не могли повлиять на то, что делало немецкие фильмы столь привлекательными для разных слоев населения в России. Массовый зритель приходил в восторг от трюков Гарри Пиля, улыбки Осси Освальд и таинственности Конрада Фейдта, экзотических приключений в «Индийской гробнице» и «Владычице мира», светских романов и роскошных костюмов в «Мадам Дюбарри» и «Анне Болейн». Уставшие от навязчиво-пропагандистских агиток первых послереволюционных лет, зрители с удовольствием шли смотреть те фильмы и тех актеров, которые напоминали им ленты и кумиров довоенной поры.

Поклонение немецким актерам было столь велико, что в конце концов государству в лице так называемой «общественности» пришлось устроить показательный суд над самым популярным из них, Гарри Пилем. Это действо состоялось в 1928 году, когда в советском кино уже появилась плеяда молодых актеров, завоевавших признание публики, и тем не менее никто из них, даже «звезда» «Межрабпом-Руси», комик Игорь Ильинский, не мог соперничать с немецким «королем трюков».

Несомненно влияние германского кино на советских кинематографистов двадцатых годов. В отличие от зрителей, которые сразу и безоговорочно приняли новую, послевоенную волну немецких фильмов, молодые кинематографисты-новаторы прошли через этап их отрицания. Они предъявляли германскому кино те же упреки, что и русской дореволюционной кинематографии или продукции «Межрабпом-Руси», – в излишней театральности, «надрывном» психологизме и отсутствии динамики.

Бурную дискуссию в кинематографической среде вызвал, например, фильм Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари», который долгое время оставался лидером советского проката. Признавая мастерство исполнителя главной роли Конрада Фейдта, советские режиссеры левого направления не приняли нарочитую условность формы картины, в целом. В то время они более стремились к воспроизведению на экране живой, стремительно меняющейся реальности, чем к анализу состояния мятущейся человеческой души.

Однако по мере «взросления» эти кинематографисты открывали для себя все новые грани мастерства в немецком кино и весьма продуктивно использовали полученные уроки в своем творчестве. Так, очевидно воздействие немецкого экспрессионизма на «ленинградскую школу», в первую очередь на ФЭКС[41], «каммершпиля» и «новой вещественности» – на Абрама Роома; немецкой актерской школы – на концепцию актера-натурщика Льва Кулешова, который называл Асту Нильсен и Конрада Фейдта в числе своих «великих учителей». Психологический анализ, образное видение реальности, умение работать с деталью, создание атмосферы в кадре и в картине, в целом, – все это пришло в лучшие советские фильмы двадцатых годов именно из немецкого кино.

Бывали случаи, когда советские режиссеры делали своего рода «римейки» немецких картин. В 1926 году на экраны СССР вышел фильм Карла Бёзе «Последний извозчик Берлина» (оригинальное название «Последние дрожки Берлина») с Лупу Пиком в главной роли. Через три года режиссер Георгий Тасин снял картину «Ночной извозчик», где актер Амвросий Бучма сыграл, в сущности, того же героя, но в условиях российской революционной действительности. Другой пример – документальный фильм «Москва», созданный в 1927 году Михаилом Кауфманом, братом Дзиги Вертова, вскоре после появления фильма Вальтера Руттмана «Берлин – симфония большого города».

## Взгляд критики

В самом сложном положении по отношению к оценке немецкого кино находилась советская пресса. С одной стороны, казалось, что пресса всячески поддерживает любые контакты в области кино. Во всех газетах и журналах регулярно публиковались подробные очерки о том, что происходит на киностудиях Германии, над чем работают ведущие режиссеры, какие прошли премьеры и в каких кинотеатрах, информация о том, какие советские фильмы выходят на немецкие экраны, кто из советских кинематографистов и по какому поводу выехал в Германию. Издательство «Кинопечать» выпускало книги немецких и русских авторов, большинство из которых ныне стали раритетами: например, «Техника кинотрюка» Гвидо Зебера с предисловием Сергея Эйзенштейна под редакцией Эдуарда Тиссэ и в переводе Владимира Нильсена, «Музыка и фильма. Пособие по киномузыке» Г. Эрдмана, Д. Бечче и Л. Брава, «Киноиндустрия Германии» Владимира Ерофеева. Интересно, что в конце книги Ерофеева, написанной в результате восьмимесячного пребывания автора в Германии, была помещена реклама тех немецких фирм, которые вели регулярную поставку кинотоваров в СССР. Специальная серия книг была посвящена немецким киноактерам – Конраду Фейдту, Эмилю Яннингсу, Вернеру Краусу, Гарри Лидтке, Хенни Портен, Асте Нильсен и многим другим, чьи имена были хорошо известны советским зрителям.

С другой стороны, несмотря на тесные контакты Германии и Советского Союза, ангажированные советские критики никогда не забывали подчеркнуть в своих рецензиях на немецкие фильмы, что речь идет о продукции высокого качества, но идеологически чуждой советскому зрителю. Отсюда следовали обвинения в «аполитичности», «нездоровых “психологических” уклонах», мистицизме и мещанстве.

Типичный пример такого рода рецензий – статья наркома просвещения Анатолия Луначарского о фильме режиссера Фридриха Мурнау и оператора Карла Фройнда «Восход солнца». Луначарский был потрясен этой картиной и не мог скрыть своих чувств: «Таких эффектов светописного характера я еще никогда на экране не видел. Каждый кадр представляет собой в подлинном смысле слова пейзажный шедевр. Но то же относится и к множеству других сторон картины. Показ большого города необычайно удачен. Самая техника кинорассказа доведена до высочайшей экономии и высочайшей выразительности». Но характерно, что после всех восторженных слов следует такой пассаж: «Разумеется, и здесь мелкотравчатость, разумеется, и здесь крохоборство, разумеется, и здесь некоторый церковно-протестантский привкус». Характерно и название статьи – «Новый шедевр мещанского кино»[42].

Аналогичные оценки в прессе получала почти вся продукция германо-советской киностудии «Межрабпом-Русь», за исключением очень небольшого числа фильмов, которые считались приоритетами советского кино. К ним относились, прежде всего, картины Всеволода Пудовкина «Мать», «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингис-хана», «Его призыв» и «Сорок первый» Якова Протазанова, позднее «Путевка в жизнь» Николая Экка и «Дезертир» Пудовкина. Все, что не соответствовало представлениям о новом, революционном кинематографе, подвергалось остракизму. Фильмы разных жанров и разных режиссеров обвиняли в одном и том же – в буржуазности, «сугубой беспартийности», стремлении «угодить загранице».

Этот шлейф упреков растянулся на многие десятилетия. Долгие годы историки кино рассматривали «Межрабпом-Русь» / «Межрабпом-фильм» не как целостное явление, а лишь как базу организации «Международная рабочая помощь для агитации и пропаганды в области кино». Производство подобных картин считали главным достоинством этой студии, рассматривая остальную продукцию как отголоски тенденций русского дореволюционного кинематографа. Похожую точку зрения можно встретить и у современных исследователей: «“Русь” сорвалась на шпагате между развлечением и идеологией, старыми стереотипами “русского” и пролетарским интернационализмом… Одновременно с упреками в буржуазности и “иностранности”, звучавшими дома, та же продукция студии воспринимается в Германии как источник подлинно “русского” пролетарского *искусства*. Эта двойственность запрограммирована политическим компромиссом, в котором студия не хочет признаться самой себе»[43].

Сейчас можно с уверенностью сказать, что за все годы существования советской кинематографии «Межрабпом-Русь» была единственной студией, для которой кино как искусство было важнее политики. Деятельность, осуществлявшаяся студией в этом направлении, была возможна во многом благодаря ее статусу совместного немецко-российского предприятия. Дело не только в том, что «Межрабпом-Русь» получала из Германии лучшее техническое оснащение. Главное, немецкое руководство студии, и, в первую очередь, Вилли Мюнценберг, никогда не препятствовало российской стороне в создании тех фильмов, которые она считала нужным выпускать.

Основное достоинство лучших картин «Межрабпом-Руси» – это глубокое проникновение в психологию личности. Независимо от жанра фильмов, их авторов прежде всего интересовала не масса, а индивидуум. В этом близость продукции студии к классическому искусству и литературе, недаром так много среди картин «Межрабпом-Руси» экранизации классики. Именно поэтому в Германии, стране высокой классической культуры, и воспринимали подобные фильмы как произведения подлинного искусства.

С расстояния, отделяющего нас от эпохи, когда создавались эти произведения, особенно очевидно, насколько оценки критики принадлежат тому времени. Вот как реагировала пресса на реорганизацию студии и превращение ее из «Межрабпом-Руси» в «Межрабпом-фильм»: «Многим казалось, что только такие вот “классические” фильмы с участием классических же добрых театральных актеров, сработанные по “русевскому” стандарту, могут быть с успехом вывезены из большевистской России в капиталистический мир. Но это казалось только до первого действительно советского продукта, каким был “Броненосец Потемкин”. Тогда капиталистическим глазам открылись новые стандарты, рядом с которыми “русевский” образец классической фильмы обнаружил необыкновенно пресные свои качества… То, что допустимо или, может быть, органично было для “Межрабпом-Руси”, то неприемлемо для “Межрабпом-фильма”. Руководители последнего должны поднять на высоту тематическую линию репертуара, укрепить новую кинематографическую традицию, вообще целиком понести на себе всю тяжесть стопроцентно советского киноорган. Чтобы навсегда было забыто имя “Руси”, которое своей замысловатой славянской вязью только связывало успешное продвижение по пути к достижениям, стоящим перед советской кинематографией»[44].

История выхода «Броненосца “Потемкин”» в мировое плавание, которая началась с его огромного успеха именно в Германии, подробно описана во множестве немецких и советских исследований[45]. Хорошо известны и восторженные отзывы современников – Вальтера Беньямина, Лиона Фейхтвангера, Эрнста Толлера, Томаса Манна, Макса Рейнгардта и многих других. Нисколько не преуменьшая значения этого фильма для истории не только кино, но и мировой культуры, в целом, надо все же признать факт, о котором не принято упоминать в исследованиях: на Западе, в том числе и в Германии, эта работа Сергея Эйзенштейна, как и революционные фильмы Всеволода Пудовкина и новаторские картины Дзиги Вертова, пользовалась успехом лишь в среде интеллектуалов. В 1928 году представитель торгпредства СССР в Германии писал в Москву:

«К сожалению, мы наблюдаем в Германии чрезвычайно печальное явление, что именно в рабочих районах наши революционные фильмы с высокохудожественным содержанием идут очень слабо, и, наоборот, в мелкобуржуазной интеллигентской среде и даже у толстосумой буржазии на Курфюрстендамм наш фильм держится хорошо, даже лучше американских фильм и приносит неплохие прибыли кинопрокатчикам. Рабочие районы лучше всего отзываются на трюковые фильмы немецкого изделия типа “Пат и Паташон”, и рядом с этим наш “Конец Санкт-Петербурга” делает сбор в размере 30 % против фильма чепухового содержания»[46].

Аналогичная ситуация существовала и в России, где о провале картин революционной тематики свидетельствуют цифры проката. «Для нас неожиданна полная коммерческая неудача “Матери” и “Конца Санкт-Петербурга” и полная удача восстановленной десятилетней “Пиковой дамы”», – признавался один из главных теоретиков ЛЕФа и одновременно сценарист и консультант «Межрабпом-Руси» Виктор Шкловский[47].

Это свидетельствует о том, что, как в Германии, так и в России, фильмами массового спроса в двадцатые годы оставались, прежде всего, развлекательные картины. В этом была еще одна причина того, почему картины «Межрабпом-Руси» пользовались успехом в обеих странах: их создатели мастерски владели умением привлечь зрителя крепкой драматургией и сильным актерским составом, способностью внести

индивидуальную окраску в трактовку любого жанра, будь то комедия, детектив или драма, что и делало фильмы развлекательными, но отнюдь не в ущерб содержанию.

«Межрабпом-Русь» сумела интегрировать свою продукцию, в целом, в мировой кинопроцесс, и это явилось выдающимся достижением Германии и России в области кино. Другим значительным результатом сотрудничества стали совместные кинопостановки.

## Совместные постановки

К середине 1920-х годов взаимный интерес между российской и германской кинематографиями достиг той стадии, когда осуществление совместных постановок стало близко к реальности. Безусловно, важную роль в этом сыграл тот огромный резонанс, который вызвал в Германии успех фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”». Интерес к «фильму русских», начавшийся с «Поликушки», выражали не только критики, литераторы и прокатчики, но и сами кинематографисты. После возвращения из Германии в 1926 году Эйзенштейн говорил, что германских киноработников очень интересует вопрос о возможности совместной работы с СССР.

Однако реальных результатов в этом удалось добиться только «Межрабпомфильму». Первый из двух фильмов производства «Межрабпом-фильма» и «Прометеуса», «Саламандра», вышел на экраны СССР в декабре 1928 года, но был запрещен в Германии. Это был тот редкий случай, когда студия приняла заведомо слабый сценарий, автором которого был Анатолий Луначарский. Именно сценарий вызвал запрет фильма и нападки немецкой прессы, но игра Бернхарда Гецке, Владимира Фогеля и Николая Хмелева, операторская работа Луи Форестье и декорации Владимира Егорова делают эту картину заметным явлением в истории кино.

Подлинным же шедевром стала следующая совместная работа «Межрабпомфильма» и «Прометеуса» – картина «Живой труп», снятая в 1929 году по пьесе Льва Толстого. Режиссером-постановщиком был Федор Оцеп, один из тех, кто стоял у основания фирмы «Русь» и прошел весь длинный и сложный путь ее развития. Для Оцепа эта картина как бы подытоживала его творчество в России: после съемок он остался в Германии. Главную роль исполнял Всеволод Пудовкин, который создал один из самых трагических и запоминающихся образов в кино.

Авторы фильма «Живой труп» сохранили идентичность пьесы, но, при этом, сумели извлечь из нее звучание, которое выходило за рамки времени и места действия. Такая трактовка пьесы Толстого, хорошо известной в Германии, где она неоднократно ставилась в театре и экранизировалась, вызвала восторженные отклики среди немцев и негодование в Советском Союзе. Фильм о трагедии личности, раздавленной обществом, никак не вписывался в год «великого перелома», тем более что он был сделан двумя пролетарскими киноорганизациями.

К сожалению, остальные замыслы совместных постановок так и остались неосуществленными. К их числу относится и замысел Эйзенштейна о постановке антиутопии «Стеклянный дом», зародившийся под воздействием архитектурных проектов Баухауза, и предложение об экранизации «Пышки» по Мопассану, которую должен был снимать в Германии Абрам Роом, приглашенный туда после успеха его фильма «Третья Мещанская» (шедшего в Германии под названием «Bett und Sofa»).

## От «Межрабпом-Руси» к «Межрабпом-фильму»: начало заката

Перемены во внутренней политике СССР повлекли за собой изменения в кино, в том числе в положении студии. По мере увеличения борьбы с частным капиталом доля акций «Руси» в совместном предприятии все сокращалась, в 1928 году студия была переименована в «Межрабпом-фильм», в начале 1930 году она полностью переходит под контроль Межрабпома.

В апреле 1930 на совещании ЦК Межрабпома в Берлине принимается решение о расширении «Межрабпом-фильма». В качестве главной задачи студии предлагается производство картин по интернациональной тематике. В мае новый директор «Межрабпомфильма», итальянский коммунист Франческо Мизиано, представляет художественному цеху студии список лиц из Германии, которых можно привлечь к работе. Среди них режиссеры Георг Пабст, Лупу Пик, Вильгельм Дитерле, Герхарт Лампрехт, сценаристы Карл Майер, Франц Шульц, Герман Костерлитц, актеры Вернер Краус, Бернхард Гецке, Александр Гранах, Генрих Георге и другие[48].

На студию приезжают Фридрих Вольф и Бела Балаш в качестве сценаристов, режиссеры Эрвин Пискатор, Йорис Ивенс, Ханс Рихтер, Густав фон Вангенхайм, Э. Штейгер, композитор Ханс Эйслер и художник Отто Нагель. Возникает множество проектов совместных постановок: Балаш пишет сценарий «Тисса горит» по роману Б. Иллеша, Рихтер – сценарий «Металл» о стачке немецких металлистов в Генигсдорфе, Вангенхайм – сценарий «Борцы» по материалам процесса в Лейпциге. Пискатор с группой актеров своего театра начинает съемки «Восстания рыбаков», Ивенс – документальной картины о Магнитострое, Штейгер приступает к работе над синхронной мультипликацией.

Поскольку дубляж фильмов еще не существовал, предполагалось, что каждая картина будет сделана в двух вариантах – немецком и русском. Это же касалось и картин, которые снимались на «Межрабпомфильме» советскими режиссерами. Так, в немецком варианте фильма «Горизонт» Льва Кулешова снималась группа актеров Пискатора.

Однако в реальности из всех проектов игровых картин были осуществлены только два – «Восстание рыбаков» и «Борцы». История постановки первой из них подробно описана в киноведческой литературе[49]. Эту историю, которая тянулась на протяжении трех с половиной лет от момента первого приезда Пискатора в Москву до премьеры фильма, можно назвать трагикомической: на Пискатора «Межрабпомфильм» делал основную ставку, не учтя, при этом, полное отсутствие опыта по работе в кино у знаменитого театрального режиссера, что привело к массе осложнений в процессе съемок. Но несмотря ни на что, фильм получился и представляет интерес не только как единственная киноработа Пискатора, но и как одно из выдающихся произведений начала тридцатых годов, когда с приходом звука менялась вся стилистика искусства кино.

После закрытия «Межрабпом-фильма» в июне 1936 года о совместном производстве фильмов уже не могло быть речи. Хотя сотрудничество немецких и советских кинематографистов прекратилось, деловые контакты в области кино между Германией и Россией продолжалось до конца тридцатых годов. Связано это было, в первую очередь, с тем, что практически вся съемочная и осветительная аппаратура, пленка или химикаты для ее производства по-прежнему закупались в Германии у многочисленных немецких фирм, которые оставались постоянными партнерами со-

ветских киноорганизаций. Поэтому каждый год Комитет по делам кинематографии отправлял в Германию специалистов для изучения новинок в области кино.

Вместе с тем, количество немецких, как и, вообще, зарубежных фильмов на экранах СССР резко уменьшилось уже в начале тридцатых годов. Так, в 1932 году в Советском Союзе было показано всего 27 звуковых заграничных картин, из них 21 американская и лишь 3 германских. Однако, несмотря на малое количество, выходившие в прокат немецкие фильмы по-прежнему пользовались огромной популярностью, как это было в середине тридцатых годов с картинами Германа Костерлица «Петер», «Маленькая мама» и «Катерина последняя».

В годы Второй мировой войны произошло то же самое, что было в годы первой мировой войны: немецкое кино исчезло с российских экранов, в Советском Союзе, как и в Германии, было снято много военно-агитационных фильмов. Естественно, прекратились и всяческие личные контакты между немецкими и советскими кинематографистами. Но с окончанием войны в Советском Союзе повторилась ситуация начала двадцатых годов: выпущенные в прокат немецкие трофейные фильмы снова оказались самыми любимыми у советских зрителей. Многим из этих фильмов поменяли названия, убрали титры, но это не помешало их успеху. «Индийская гробница», «Дядюшка Крюгер» (в советском прокате «Трансвааль в огне»), «Белый сон» (в советском прокате «Снежная фантазия»), «Женщина моих грез» (в советском прокате «Девушка моей мечты»), «Фридрих Шиллер» (в советском прокате «Призвание поэта») и многие другие картины превзошли по популярности все советские ленты послевоенных лет.

Отношения кинематографий Германии и России в первой половине XX века остаются уникальным явлением в истории мирового кино. Взаимное тяготение, существовавшее между этими странами в области кино, на протяжении нескольких десятилетий проявлялось по-разному в зависимости от политической ситуации, идеологических влияний, состояния экономики. Двадцатые годы, на которые приходится расцвет немецкого и советского кино, стали самым плодотворным периодом в этих отношениях. Это были годы не только тесных контактов, но в полном смысле годы сотрудничества, которое могло бы развиваться, если бы не перемены, наступившие в середине тридцатых годов. При тоталитарном режиме в Германии и России роль кино как самого важного из всех искусств заключалась не в том, чтобы объединять людей, а активно служить их противостоянию.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Зигфрид Кракауэр*. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. – М.: «Искусство», 1977. С. 83. (*Siegfried Kracauer.* From Caligari to Hitler. A psychlogical history of the German film. – New York, 1947.)

[2] О фирме П. Тимана, а также о русско-немецких связях в раннем русском кино см.: *Raschit Jangirow.* Deutsche Unternehmer im frühen russischen Film, in: Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolschewiki. – Berlin, 1995. S. 30–36.

[3] Начавший работу в кино в 1913 г. с совместной постановки комедии «Где Матильда?», в 1920-е гг. Георг Якоби (Jakoby) основал собственную фирму, где снял такие известные картины, как многосерийный приключенческий фильм «Человек без имени» (Mensch ohne Name) (1921) и историческую драму «Камо грядеши?» (Quo Vadis?) (1924). В 1930–50-е гг. ставил музыкальные фильмы с участием своей жены, кинозвезды Марики Рёкк. Один из этих фильмов, «Женщина мо-

их грез» (Die Frau meiner Träume) (1944), шедший в советском прокате под названием «Девушка моей мечты», стал самым кассовым фильмом в СССР сразу после окончания второй мировой войны.

[4] Жорж Садуль. Всеобщая история кино, т.2. – М.: «Искусство», 1958. С. 387–388.

[5] Отношение председателя Совета Министров И.Л. Горемыкина министру финансов П.Л. Барку «О запрещении ввоза в Империю кинематографических лент германского производства». 9 мая 1915 г. РГИА. Ф.1276. Оп. 11. Д. 275. Л. 1.

[6] *В.П. Михайлов.* Рассказы о кинематографе старой Москвы. – М.: «Материк», 1998.

[7] Постановление Президиума Московского Совета «О цензуре над кинематографами» от 17 июля 1918 г. «Известия ВЦИК», 21 июля 1918 г.

[8] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 263. Л. 55 об.

[9] Там же. Л. 57 об.

[10] Декрет Совета Народных Комиссаров «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения». «Известия ВЦИК», 2 сентября 1919 г.

[11] Распоряжение на письме заведующего Всероссийским фото-киноотделом Наркомпроса П.И. Воеводина. Самое важное из всех искусств. Ленин о кино. Сборник документов и материалов. – М.: «Искусство», 1973. С. 35–36.

[12] Кинематографическая промышленность в России. Доклад заместителя наркома внешней торговли РСФСР А.М. Лежавы наркому внешней торговли Л.Б. Красину. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 44. Л. 109–112.

[13] О кинематографическом деле. Записка члена РКП(б) Б.Г. Зуля А.С. Бубнову. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 259. Л. 16–17 об.

[14] Докладная записка заведующему ВФКО Л.А. Либермана наркому А.В. Луначарскому. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 259. Л. 33–34.

[15] См.: *Ю.А. Львунин.* Организация «Международная помощь» и советское кино (1921–1936 гг.). «Вестник Московского университета», 1971, № 4; *Екатерина Хохлова.* «Межрабпом-фильм». Между искусством и политикой. Каталог выставки «Берлин–Москва/Москва–Берлин», 1995; *Ekaterina Khokhlova.* L'histoire; in: Le studio Mejrabpom ou l'aventure du cinema prive au pays des bolcheviks. La Documentation française, 1996; *О.Л. Булгакова*. Пролетарская киноутопия на Масловке, или экспорт «Руси» в Берлин. «Киноведческие записки», 1997, № 33; *Günter Agde:* Zwischen Hoffnung und Illusion. Fimarbeit deutscher Emigranten in Moskau und die Produktionsfirma Meshrabpom-Film. I: Internationales Jahrbuch der Exilforschung, Bd. 21 Film und Fotografie (=edition text und kritik). – München, 2003. S. 62–84.

[16] *Томас Фридрих.* Вилли Мюнценберг (1889–1940). In: Berlin–Moskau 1900–1950. S. 331; от ред.: О Мюнценберге см. и Babette Gross: Willi Münzenberg. Eine politische Biografie. – Leipzig, 1991, особенно V (Propagandist für Sowjetrussland) и VI (Ein Antifaschist bricht mit Moskau). S. 228–487.

[17] *Кристофер Эндрю и Олег Гордиевский.* КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. «Nota Bene», 1992. С. 100.

[18] Там же. С. 101.

[19] Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М.Ф. Андреевой. – М.: «Искусство», 1963. С. 298.

[20] О деятельности кинобюро «Межрабпом-Русь» с кратким общим обзором кинодела. Докладная записка экономуправления ОГПУ. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 754. Л. 5–14.

[21] *П.С. Заславский.* Я узнал о ней в нарымской ссылке… В кн.: Мария Федоровна Андреева. – М.: «Искусство», 1963. С. 475–476.

[22] Воспоминания М.Н. Алейникова. В кн.: История отечественного кино. Документы. Мемуары. Письма. – М.: «Материк», 1996. С. 165.

[23] Там же. С. 158.

[24] Идея организации студии по производству художественных фильмов и кинотеатра при Художественном театре была предложена еще в 1916 г. Максимом Горьким и Марией Андреевой. Именно тогда начал работу в кино Юрий Желябужский, который, по совету Горького и Станиславского, прошел обучение на кинофабрике Павла Тимана. (См. об этом в кн.: *М.Н. Алейников.* Пути советского кино и МХАТ. – М.: Госкиноиздат, 1947. С. 48–50.)

[25] Эрих Поммер (1889–1966) – продюсер, один из основателей немецкой кинопромышленности, с 1923 г. генеральный директор киноконцерна УФА.

[26] Воспоминания М.Н. Алейникова. В кн.: История отечественного кино. С. 168.

[27] Удостоверение Российского Центрального отделения Межрабпома. РГАЛИ. Ф. 2734. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 1.

[28] Договор между «Ауфбау» и «Русью». РГАЛИ. Ф. 2734. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 1–2.

[29] О деятельности «Межрабпом-Руси». РГАЛИ. Ф. 2733. Оп. 1. Ед. хр. 464. Л. 29.

[30] Германский культурфильм «Опыты Штейнаха» вызывал особый интерес, поскольку тема «улучшения человеческой породы» была чрезвычайно популярна в начале двадцатых годов и на Западе, и в России. Опытам профессора Штейнаха по омоложению и аналогичным опытам в России посвящались доклады в различных научных обществах, публичные лекции и статьи в популярных журналах, эта тема нашла отражение и в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», ей же был посвящен написанный в 1923 году, но не поставленный сценарий Всеволода Пудовкина «Черный жемчуг» (см.: *Е.С. Хохлова.* Неизвестный сценарий Всеволода Пудовкина. – Киноведческие записки, 1993, № 17. С. 194–208).

[31] Переписка с кинобюро Межрабпома. РГАЛИ. Ф. 2237. Оп. 1, ед. хр. 326. Л. 40.

[32] В декабре 1922 г. ВФКО было преобразовано в Центральное государственное кинопредприятие (Госкино) с передачей ему монополии проката.

[33] Постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о расширении производства за счет отчислений Совкино от проката. «Известия ЦК РКП(б)», 1925, 23 марта.

[34] За девять месяцев проката «Медвежья свадьба» Константина Эггерта дала доход в 166.187 рублей, «Коллежский регистратор» Юрия Желябужского за год – 144.913, «Закройщик из Торжка» Якова Протазанова за год – 108.888 рублей, при том, что «Комбриг Иванов» (Пролеткино, режиссер Александр Разумный) за три года проката дал всего 12.627 рублей, «Красные партизаны» (Севзапкино, режиссер Вячеслав Висковский) за два года – 42.536, «В угаре нэпа» (Госкино, режиссер Борис Светозаров) за год – 28.401.

[35] О немецких фильмах в СССР 20-х гг. см.: *Н. Егорова.* Немецкие немые фильмы в советском прокате. Кино и время. Бюллетень Госфильмофонда, 1965, вып. 4; *Ulrich Gregor und Naum Klejman.* Deutscher und sowjetischer Film. Eine Dialog beider Filmkulturen, in: Berlin-Moskau 1900–1950: 1995; *Jekaterina Chochlowa.* Es gibt ein Land Film, die Bewohner sind Deutsche. Deutsche Filme in Sowjetrußland, in: Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Lande der Bolschewiki. – Berlin, 1995. S. 159–164.

[36] Отчет о деятельности Совкино. РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 1.

[37] Отчет о деятельности редакционно-монтажной коллегии Совкино РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 5.

[38] Проект художественно-идеологического плана Совкино по закупке, эксплуатации, прокату и переработке заграничной продукции. РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 1–12.

[39] См. *Jekaterina Chochlowa.* Eisensteins erste Arbeit für den Film – Die Ummontage des «Dr. Mabuse, der Spieler» von Fritz Lang, in: Eisenstein und Deutschland. Texte. Dokumente. Briefe. – Berlin, 1998.

[40] Изменение оригинальных названий зарубежных фильмов объяснялось двумя причинами: во-первых, стремлением привлечь зрителей, поэтому фильм Роберта Вине «Руки Орлака» (Orlacs Hände) был назван в советском прокате «Пляска нервов», «Голова Януса» (Der Januskopf) Фридриха Мурнау – «Ужас», «Ящик Пандоры» (Büchse der Pandora) Георга Пабста – «Лулу»; во-вторых, дать идеологическую характеристику картины – «Доктор Мабузе» был переименован в «Позолоченную гниль», «Надежда на счастье» Джемса Бауэра – в «На смерть обреченные», «Екатерина Великая» Райнгольда Шюнцеля – в «Благочестивую развратницу».

[41] Фабрика эксцентрического актера. Vgl. Dazu Bernadette Poliwoda: FEKS – Fabrik des exzentrischen Schauspielers. Vom Exzentrismus zur Poetik des Films in der frühen Sowjetkultur. – München, 1994; Oksana Bulgakova: FEKS. Die Fabrik des exzentrischen Schauspielers. – Berlin, 1996. Анот. редак.

[42] *А. Луначарский.* Новый шедевр мещанского кино. «Советский экран», 1928, № 3. С. 4.

[43] *О.Л. Булгакова.* Пролетарская киноутопия на Масловке, или экспорт «Руси» в Берлин. – «Киноведческие записки», 1997, № 33. С. 38–39.

[44] *К. Шутко.* Межрабпомфильм. «Советский экран», 1928, № 39. С. 3.

[45] См. в частности *Hans Rodenberg, Hermann Herlinghaus.* Sergej Eisenstein – Künstler der Revolution. – Berlin, 1960; *Werner Sudendorf.* Sergej Eisenstein – Materialen zu Leben und Werk. – Mün-

chen, 1975; *Helmut Kresse.* Panzerkreuzer Potemkin. Siegeslauf eines Films. – Berlin, 1979; «Броненосец “Потемкин”». – М., 1969; *Р. Юренев.* Сергей Эйзенштейн. Замыслы. Фильмы. Метод. Часть первая. – М., 1985.

[46] Письмо торгпреда СССР в Германии К.М. Бегге народному комиссару внешней и внутренней торговли А.И. Микояну. РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 3. Ед. хр. 11. Л. 101–102.

[47] *Виктор Шкловский*. К вопросу об изучении зрителя. «Советский экран», 1928, № 50. С. 6.

[48] Список лиц, привлекаемых к работе. РГАЛИ. Ф. 2698. Оп. 1. Ед. хр. 62. Л. 9.

[49] См. Н*орман Крузе.* Фильм Эрвина Пискатора «Восстание рыбаков». «Киноведческие записки», 1994/95, № 24. С. 120–137, а также: *О.Л. Булгакова.* Пролетарская киноутопия на Масловке, или экспорт «Руси» в Берлин. «Киноведческие записки», 1997, № 33.

*Владимир Колязин*

# ХЕРВАРТ ВАЛЬДЕН В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ.
## Документально-биографический очерк

ПЕРВЫЙ: Черт побери, так победил тут коммунизм или нет?
ВТОРОЙ: Победить-то победил. Только люди еще не созрели[1].

*Из: Токарный станок (Die Drehbank), 1-актная драма Х. Вальдена, 1939*

Россия была второй судьбой Херварта Вальдена (1878–1941). Кто еще писал о русском искусстве так светло, так емко, в стиле гимна, как он (в связи со спектаклями «Синяя птица» в Берлине): «Степь стелется над городом. Степь – не пустота, степь – это даль, простор. Глаза различают сквозь стены Синюю птицу, щебечущую над равниной так, что это пробуждает наши чувства… Здесь – единение слова, звука, цвета. Здесь – некое подобие вечной человечности. Здесь – искусство. Азия здесь играет, а Европа улыбается… В черно-коричнево-синих глазах – счастье. Счастье секунды, длящееся часами. О, моя Синяя птица, с размахом крыльев, как у взлетающей кометы!..»[2].

Нель Вальден вспоминала, что Россия и русский человек буквально гипнотизировали его и что он собирался поехать с ней в Россию еще накануне Первой мировой войны[3]. Как очень важную для себя писатель отмечал встречу с Максимом Горьким в Берлине в 1906 году. Исходной точкой увлечения Вальдена Россией считают его встречу с Шагалом, произошедшую в 1914 году у Аполлинера. Именно Шагал на первой своей выставке в Германии познакомил «лучшего своего пропагандиста» с будущим комиссаром Советов по вопросам просвещения и искусства – Анатолием Луначарским. Вальден один из первых в Германии начал выставлять и коллекционировать Шагала и многих других художников русского авангарда (Кандинского, Явленского, Архипенко, Якулова, Пуни, Гончарову, Богуславскую, Экстер, Веревкину…) Сколько вдохновенных страниц было посвящено им русскому театру в его журнале «Штурм» – Станиславскому, Таирову, своему большому другу Яше Южному! Любовь небесная к новому русскому искусству вскоре нашла подтверждение в любви земной к девушке Миле, родившейся в одном из старинных российских местечек и ставшей его новой женой. Так был разложен первоначальный пасьянс его второй судьбы.

Союз политики, искусства и любви вовсе не казался ему роковым, он был в революционную эпоху естественным и желанным для целого поколения европейцев. Впрочем, такой же дерзкий союз богемы и коммуны как символа антибуржуазного протеста еще и два десятилетия назад был так популярен среди молодежи Западной Европы. Это сегодня поворот к политике и коммунистическим идеалам такого жреца аполлонического культа, как Вальден, кажется необъяснимым, безумным и самоубийственным… Еще совсем недавно законы художественной логики были для него

*Одно из московских мест проживания Херварта Вальдена, гостиница «Метрополь»; на переднем плане памятник Карлу Марксу на Театральной Площади, высеченный из гранита в 1962 году Львом Кербелем с лозунгом коммунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

единственно императивными, «вневременными, как законы природы». Еще совсем недавно его целиком поглощали проблемы «темпа эфирных волн», «взаимного тяготения красок и форм». В его эстетической теории главенствовали принципы, диаметрально противоположные ленинским: «искусство непостижимо», «искусство нельзя связывать с жизнью… Образ абстракция», «искусство не хочет быть понятным, ибо оно в действительности свободно»[4]. В советские годы оракул экспрессионизма как будто бы пересаживается на конька соцреализма: «искусство должно быть понятно каждому», «содержание определяется только реальностью», эксперимент в искусстве отныне связывает с «коллективной волей прогрессивного человечества»[5].

Кризис социальных и духовных ценностей в Германии, упадок экспрессионизма и финансовый крах его галереи заставляли Вальдена все чаще обращать взоры на Восток. Создатель «Штурма» – колыбели всех модерн-«измов» – становится одним из руководителей берлинского комитета Общества друзей Советской России, куда он совершает 11 поездок[6]. В 1929 году вместе с Милой Фишман, служившей ему переводчицей, он объехал всю страну: Москва, Ленинград, Ростов на Дону, Сочи, Пятигорск, Кисловодск, Орджоникидзе, Военно-Грузинская дорога, Эривань, Тбилиси, Батуми, Сухуми, Гагра, Одесса, Киев, родина Милы – местечко Меджибош близ Проскурова… Его привлекают размах и монументальность социальных и культурных преобразований. Выходят его тринадцать статей в журнале «Штурм» о Советской России как царстве справедливости.

Жизненный проект Вальдена впечатляющ: своими выставками-открытиями он способствовал превращению Берлина в один из центров современного искусства. Одно только перечисление имен художников и литераторов, которых он открыл или приобщил к духу нового искусства, заняло бы несколько страниц. Убежденный, что Вальдену была ведома та духовная точка, изнутри которой художники и поэты творят свои произведения, его друг, живописец Баухауза Георг Муха относил его к пророкам[7]. Таким даром обладали только люди Ренессанса.

Однако никто, по словам того же Мухи, не был способен схватить суть этой противоречивой фигуры: он оставался все равно что «непрозрачным стеклышком». К 35 годам стал живой легендой: открыватель нового немецкого искусства,.. защитник

художников,.. создатель целой художественной империи (включающей галерею – музыкально-художественный салон, издательство, книготорговый дом, художественную школу, журнал, театр). На него обрушивались с нападками с самых разных сторон: типичный немецкий буржуа, который «на экспрессионизме немецких патриотов устроил… маленькую процветающую фирму»[8]. Его друзья Шагал и Кандинский собирались затевать против него судебный процесс, будучи недовольны вырученными Вальденом за их картины суммами. Ласло Мохоли-Надьи и некоторые дадаисты клеймили его как авантюриста и миллионера, для которого «искусство – лишь маска для обогащения» (на самом деле, коммерсантом он оказался никудышным и в разгар экономического кризиса вынужден был распродать по дешевке свою дивную коллекцию – Клее, Шагал… – чтобы не лишиться средств к существованию)[9].

Мы не рискуем предлагать некую разгадку тайны этого человека – тайна, она и останется тайной. Мы хотим исследовать вдохновенное заблуждение его жизни, связанное с приятием коммунизма и сталинской системы, в конечном итоге, сломавшее его, описать то, что до сих пор оставалось в тени – тернистый путь его на Голгофу, – пользуясь материалами российских архивов, которые еще совсем недавно были недоступными. Собрать почти совсем стертую половину жизни по крупицам, когда уничтожены важнейшие источники сведений эмигрантского бытия, дневники и письма – возможно ли?

История жизни и смерти Херварта Вальдена непостижима и страшна, как история нежной бабочки, порхнувшей в волшебный огонь.

## «Страна всемирно-исторической миссии»

Казалось бы, сумеречное существование в условиях советской эмиграции должно было ошеломить и оглушить его… Но этого не произошло. Вальден приехал в СССР немолодым человеком и социалистом со стойкими убеждениями. Жажда нового жречества, столь же сильного, как и в период служения экспрессионизму, с особой силой проявилась в книге путевых очерков «В стране большевиков», ныне прочно забытой. Между тем это социальная утопия плана «Города солнца» Кампанеллы, читать которую сегодня весьма поучительно.

Опубликованные сначала в Германии в журнале «Штурм» в 1930 году, очерки вскоре появились в России[10].

Пронизанная неподдельным восторгом, книга немецкого паломника превозносила русскую революцию, отбросившую идею постепенного прогресса и предложившую единственно возможный путь решения социальных проблем – экспроприацию собственников. В противовес большевизму, который на Западе обычно представляли себе в виде живого танка, извергающего пламя и ад, взору читателя представала «страна строительства, страна труда, страстного стремления к счастью человечества и осуществления этого счастья»[11]. Фабрики, где не увидишь старых машин, без надзирателей, без штрафов и шпионов, с добровольным подчинением рабочих дисциплине; деревни, где крестьяне добровольно вступают в союз с десятками и тысячами соседей; клубы как выражение развития пролетарской культуры гигантскими шагами, Красная Армия – великая, если не величайшая культурная школа; партия «до-

статочно чиста», чтобы признать свои ошибки, специальные комиссии удаляют из рядов партии «негодных людей»…

Современный читатель не может не увидеть в рационалистической утопии Вальдена своего рода анти-Оруэлла, последнего из возможных в 1930 году, когда призрак Сталина еще не восстал перед Европой в свой полный рост. Принятие сталинской утопии Вальденом может показаться нелепым фарсом лишь в том случае, если мы не примем во внимание предельную усталость европейского сознания от кризиса и анархии, всеобщее стремление выйти из хаоса путем создания нового порядка. «Жизнь человечества начинается в СССР» – главная мысль этой книги. О том, что «победа пролетариата в СССР гарантирована», он готов был убеждать каждого встречного. Тут впору вспомнить и меткий афоризм Людвига Бёрне: «Немец целомудрен и требует супружеской верности от каждого, кто обручился с идеей».

Но, очевидно, Вальдена более всего завораживала в советской действительности возможность получения нового эстетического объекта, противоположного анархическому объекту экспрессионизма. Он с удовольствием поддавался иллюзии и подмене действительного желаемым, ложно-утопическим, подмене, которая завела его в тупик и раздавила. Вальден никогда не был политиком, зато ортодоксом был прирожденным. В утопии реализовалась неудовлетворенная тоска экспрессиониста по целесообразию. СССР был для него знаком смены эстетического объекта, без которого художник не мыслит себя художником.

«Посещение Кисловодска может служить для европейского интеллигента прекрасным средством для того, чтобы изжить свой страх перед пролетариатом. (…) Курортная публика гуляет по парку, подходит к источнику и получает нарзан из рук девушек, одетых во все белое, ест мороженое, пишет открытки, а по вечерам можно отправиться в оперный… слушать Риголетто»[12].

Идея логики и целесообразия сквозит в его описаниях нового советского быта, оазисов коммунистического фаланстера, какими он изобразил дом отдыха им. Калинина, кисловодский курорт, энский авиаотряд, поднимающий культурный уровень «данного района», наконец, епархию ГПУ, исправительно-трудовые заведения, от образцовой колонии Дзержинского до Лефортовской тюрьмы. Судьба сыграла с ним дикую шутку. Прежде чем попасть в застенки ЧК в качестве шпиона, он должен был побывать там зарубежным туристом и описать все прелести исправтруда в этих «фабриках» нового сознания с библиотеками, книжными магазинами, радиофицированными камерами, свиданиями раз в неделю, вкусной едой и с обязательной культработой после 6 часов вечера… То, что в «дьявольском плане» большевиков приводило Оруэлла в цепенящий ужас, было принято Вальденом как социальная норма, способная преобразить массового человека. Вальден словно бы уловил модель мифологической агитки, которую советское кино будет эксплуатировать два десятилетия подряд. Заблуждения Вальдена были сродни мифологической слепоте Горького, освящавшей призрачный сталинский проект.

Эпизод с колонией-коммуной под патронатом Дзержинского написан прямо-таки в духе четвертого сна Веры Павловны. Советский ликбез, музыкальные концерты и спектакли, доклады и спорт преображают самых закоренелых преступников. Эка дело – отучить их от краж!

«Через полтора года около двадцати крестьянских девушек с согласия их родителей вышли замуж за колонистов. Колония увеличилась… Правительство предоставило делегатам, избранным колонией, право объезжать различные места заключения

*Херварт Вальден. Москва, 1940 г.*

и отбирать там подходящих, по их мнению людей. Началась постройка новых жилищ. Клуб начал приглашать на свои вечера артистов из Москвы и платить им за это»[13].

Разве мог Вальден тогда предположить, что сотни и тысячи таких же идеалистов, как он, очень скоро станут теми самыми «негодными людьми»?

Книга немецкого писателя-коммуниста не встретила, впрочем, одобрения со стороны партийных цензоров. Хотя они и отнесли Вальдена к числу буржуазных интеллигентов, «обрадованных Советским Союзом», но сурово указали, что он, «не владея марксистским методом, не мог по-настоящему понять, в чем причины успеха советской власти»: не дал картины классовой борьбы и борьбы с оппортунизмом, не осветил роли комсомола, профсоюзов, кооперации, ударников и юных пионеров… (список этих «не» был просто бесконечным). «Такая до крайности упрощенная картина диктатуры пролетариата, – писал в предисловии к книге некий Д. Заславский, – дает в действительности читателю совершенно извращенное представление о ней». То была лишь первая «проработка» незадачливого попутчика из Германии.

Вальден ехал в Россию не как миссионер – он ехал в страну «всемирно-исторической миссии», в которую он тоже уверовал. Но, безусловно, он обладал неким планом грандиозной деятельности и для Москвы, как в свое время для Берлина. Идеи из него сыпались, как из рога изобилия, одна художественная акция сменялась другой. Что же он успел сделать в Москве до дня своего ареста? Он искал здесь эстетическую платформу для нового рывка, но формы организации художественной жизни тут решительно отличались от ему привычных. Ему, конечно, недоставало молодости Эрвина Пискатора, но ведь и тот потерпел полный крах со своими экспе-

риментальными проектами. В СССР за десять лет Вальден не открыл ни одной выставки, не основал ни одного журнала, литературного салона или кружка.

Поначалу его направили в Библиографический институт ОГИЗа, где его привлек грандиозный проект издания Всемирной энциклопедии современных писателей, спустя пять месяцев перевели в Учпедгиз, а с 1933 года он стал заведовать кафедрой немецкого языка Московского педагогического института иностранных языков. Деятельность его тут ограничилась педагогикой, изданием школьных учебников, составлением антологий и хрестоматий для поволжских немцев, редкими выступлениями в немецкоязычной прессе.

Мы ничтожно мало знаем о его советском периоде, расспросить об этом давно уже некого, осталось только несколько скупых документов, запечатлевших отдельные эпизоды из его жизни. Ряд колоритных зарисовок содержится в воспоминаниях и дневниках австрийского писателя-эмигранта Гуго Гупперта – члена редколлегии журнала «Интернациональная литература».

Вальден жил в гостиничных аппартаментах «Европы» и «Ново-Московской», «Метрополя» и «Савоя», летом – на литфондовской даче для писателей-антифашистов в Болшево. Многие эмигранты-жители коммуналок втайне ему завидовали. В 1939 году за номер в «Савое» он платил 780 рублей, будучи «вынужден дочурку держать в колхозе и платить за нее 480 рублей»[14] (в то время как функционерам уровня Бехера все блага оплачивались из государственной казны).

Получив от Наркомпроса назначение в советский вуз, Вальден попытался и в своей педагогической практике провести новые принципы. В конце 1933 – начале 1934 гг. в заметках на имя директора Педагогического института, где кроме него обосновался австриец Фриц Платтен[15], он выступил с критикой системы преподавания немецкого языка и рядом предложений по ее изменению. Перспектива интернационального общества требовала замены зубрежки устной разговорной практикой. Не получив ответа, неуемный новатор напечатал критическую статью в газете «Zwei Welten (Цвай Вельтен)» и вдобавок написал письмо Кагановичу в комиссию партийного контроля.

1934-й оказался черной полосой в жизни писателя. В Москве изданная немецкая газета «Deutsche Zentral-Zeitung – DZZ (Дойче Централь-Цайтунг)» квалифицировала статью Вальдена как антимарксистскую и отвергающую диалектический материализм (автором заметки был Эрнст Фабри, сам угодивший в 1938 году на Лубянку). 20–25 апреля его вопрос разбирался на специальном заседании парткома института. Партком оценил статью и все прочие выступления Вальдена как проявления левацкой, мелкобуржуазной и смыкающейся с троцкизмом позиции. Директору предложили снять Вальдена с руководства кафедрой. Весь материал о Вальдене как члене КПГ было решено отправить в немецкую секцию Коминтерна. В августе дело немецкого педагога – в порядке апелляции – рассматривалось Бауманским райкомом партии, принявшим половинчатое решение: партком пожурили за нечуткость и невнимательное отношение к деловым практическим предложениям тов. Вальдена, а тов. Вальдену указали на оторванность от партийной жизни, «слабую ориентировку в условиях советского вуза» и незнание русского языка. И только в сентябре Комиссия партконтроля Московской области полностью реабилитировала Вальдена от политических обвинений и восстановила его в должности. Об этом велено было доложить публично на партийно-комсомольском собрании института[16]. Хотя «Песталоцци из Берлина» одержал на этот раз победу, урок послушания все-таки состоялся.

Постепенно ему пришлось сжиться с двойным существованием, суровой партийной этикой, ночными страхами, процедурой бесконечных чисток. Все это, с таким героическим пафосом описанное в брехтовском «Мероприятиии», стало плотью и кровью его новой жизни.

Участие эмиграции в советской художественной жизни уже с конца 20-х годов могло быть только ограниченным – и, конечно, не в силу незнания языка или какого-то культурного разрыва, а из-за ужесточающегося тотального контроля, допускавшего работу только в строго определенном идейном направлении и социально-культурной нише.

## Немецкие эмигранты в Москве

Постоянно смыкающееся пространство духовной жизни, почти что режим оседлости обрекали эмиграцию на неизбежный провинциализм. Если сравнить свободу передвижения по Москве середины 20-х, описанную Вальтером Беньямином в его «Московском дневнике», скажем, с дневником «публичного одиночества» Хедды Циннер в том же городе в 30-е годы[17], картина получится разительная. Беньямин перезнакомился с представителями буквально всех слоев новой России; Циннер, не раз бывая в Переделкино, почти не общалась с рускими писателями, по обыкновению готовыми принять немецких тоарищей-эмигрантов в свои объятия, передать им, по словам Осипа Брика на одной из встреч в 1936 году, свои «рукопожатия нерушимой солидарности». В соответствии с новыми установками вождя встречи иностранцев с какими-либо литераторами и художниками (а лучше всего с пролетарскими) должны были устраиваться организованно и с высших санкций. А в этом городе, совсем близко, творили Малевич, Татлин, Лабас, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Булгаков, Шостакович, которых многим эмигрантам так и не посчастливилось узнать… Немногие эмигранты решались переступить этот дикий, непостижимый барьер, посещать домашние кружки, наподобие кружка Бриков.

Тема двойственного, унизительного и позорного климата немецкой эмиграции в СССР долгое время была закрытой. Сегодня, пожалуй, только документы да редкие дневниковые записи свидетелей событий позволяют ощутить истинную участь эмигранта и масштаб его страхов. Факты говорят о том, что ни одна другая секция Коминтерна не поставила ГПУ столько «материала» о «двурушниках», как немецкая. Уже в начале тридцатых в эмигрантских организациях вошло в обычай вычищать «железной метлой» всех, кто отклонялся от партийной линии. Через два-три года все они усвоили: бдительность – новая форма классовой борьбы. «Случайное замечание, оброненное в беседе с беспартийным, могло стоить человеку головы»[18]. Именно этими словами за два месяца до собственного ареста охарактеризовал «атмосферу» 1936 года писатель-антифашист Эрнст Отвальт на четырехдневной чистке в немецкой секции Союза советских писателей.

Херварт Вальден тоже был членом названной секции, руководимой Александром Бартой, а после его ареста – Иоганнесом Р. Бехером, но предпочел стоять в стороне от ее бурной деятельности и, к его чести, каким-то образом смог избежать участия в этом наиболее позорном мероприятии (чего не удалось ни Лукачу, ни Бехеру, ни Бределю, ни Вольфу, ни Вангенхайму…).

Люди с легкостью начинали верить в предательство друзей и вскоре становились готовы выдавать других. Возник целый слой приспособленцев, готовых безоговорочно, по признанию Густава Вангенхайма, «говорить партии всю правду обо всем», чтобы только восстановить доверие властей к себе. Процессы 1936–1937 гг. оказались еще более жестоким уроком. Герберт Венер, на примере Хуго Хупперта, описывает механизм этой мясорубки: если кого-то арестовывали, на него валилось все, он «становился воплощением всех мерзостей, враждебности советам, групповщины и тайных связей с фашизмом»[19]. Эмиграция в условиях сталинщины оборачивалась крайними формами подозрительности, моральной нечистоплотности и групповщины. Изнурительная, нескончаемая борьба, за которой маячило колесо чисток и репрессий, становилась средством достижения эгоистических целей членов тех или иных «клик»; а по «кликам» были распределены все, даже помимо их желания. Так литература и искусство, по выражению Брехта, втаптывались в грязь.

И Вальден ушел с головой в педагогическую работу. Еще юношей во Флоренции он спасался от нищеты уроками немецкого языка, даваемыми «разным частным лицам». Нужно видеть его улыбку – улыбку человека, бесконечно счастливого своим жребием – на фотографиях, где он снят в окружении своих учеников и семинаристов. Были годы, когда у него выходило сразу по четыре-пять учебников. И все же полностью изолировать себя от холопствующей политической эмиграции, запачкавшейся по уши в чистках 1936–1937 годов, ему не удалось.

Сохранилась стенограмма одного из более поздних заседаний немецкой секции ССП, живописно характеризующая атмосферу постоянных подозрений, доносительства, мелочного политического интриганства в среде эмигрантов. В нем принимали участие Иоганнес Р. Бехер, Клара Блюм, Херварт Вальден, Андор Габор, Ольга Гальперн, Юлиус Гай, Франц Лешницер, Георг Лукач, Теодор Пливье, Адам Шаррер, Хедда Циннер, Фриц Эрпенбек. С ноября 1938 по октябрь 1939 года секция занималась проработкой молодой австрийской поэтессы Клары Блюм, заявившей о возврате к «мрачным временам 36 года»[20] и упорно не желающей покориться коллективному психозу. Сама склонная к аффекту, Клара окрестила бюро секции «камерой пыток», а коллег, послушно выполняющих волю партбюрократов, – бесхарактерными дураками. Приведем всего лишь небольшие пассажи из указанной стенограммы от 2 ноября 1938 года:

> БЛЮМ: Я хотела это уладить по-иному. Была у Лукача, говорила с ним об этом, внесла предложения.
>
> ГАБОР: Буржуазные методы дуэли здесь в СССР неуместны…
>
> ШАРРЕР: Такое поведение является, безусловно, классово-враждебным и от такой интеллигенции мы отказываемся… Это высказывание Клары Блюм означает, что вся ее интеллигентность и ее формальный талант являются лишь маской, за которой скрывается враждебная коммунизму идеология…
>
> ЛУКАЧ: Письмо Блюм служит дезорганизации. Если она будет продолжать в этом духе, она погубит себя, как писательница…
>
> ЛЕШНИЦЕР: Я согласен с тем, что говорил тов. Лукач. Вместо того, чтобы углубиться в себя, тов. Блюм постоянно становится в оппозицию. Работа нынешнего руководства немецкой секции заключается в том, чтобы преодолеть вредительскую работу прежнего руководства… После всего, что произошло, я не могу не отнестись к поведению тов. Блюм как к объективно вредному.

БЛЮМ: Этим ты все испортил…
БЕХЕР: Я хочу дружески обратить внимание тов. Блюм на то, что природный талант, каким она является, если его не воспитывать, неизбежно приведет к катастрофе…
БЛЮМ: Прошу меня оградить от того, чтобы тов. Гальперн на меня кричала!
ГАЙ: Я заявляю со всей ответственностью, что подобного бесстыдства я не встречал даже у Гуго Гупперта!
БЛЮМ: Ответом на это может быть только презрение.
ВАЛЬДЕН: До этого заседания я почти не знал тов. Блюм. Но в результате сегодняшнего заседания я ее узнал. Я того мнения, что немецкая секция абсолютно не может и не имеет права терпеть такое поведение тов. Блюм, безразлично, чем это поведение вызвано… Нельзя, чтобы ошибки прежнего руководства исправлялись таким образом: исправление этого прошлого не должно быть настолько далеко идущим. Выражение Блюм как «иностранец» и т. д. либо результат психопатии, либо такой политической наивности, которой совершенно нельзя дать оценку… Могу только одобрить все то, что бюро немецкой секции до сих пор сделало, и считаю, что нет никаких оснований для подобного поведения тов. Блюм…
ЭРПЕНБЕК: Если не возьмешь себя в руки, тогда это кончится или сумасшедшим домом или еще хуже…
ШАРРЕР: Учти, что все товарищи, весь пленум без исключения единого мнения.
БЛЮМ: Вы не являетесь для меня инстанцией. Моей инстанцией является НКВД[21].

Члены секции единогласно исключили строптивицу из своих рядов и рекомендовали исключить ее и из членов ССП (правление последнего, впрочем, решило отказаться от этой меры, полагая, что «общение с советскими писателями поможет ее перевоспитать»).

Как часто приходилось писателю напяливать на себя расхожую и постыдную маску литературного Робеспьера? Была ли это форма ограждения себя от постоянных эмигрантских склок? Во всяком случае, отрыв Вальдена от жизни писательской секции был особо отмечен в характеристике, направленной Бартой всесильному Ставскому в 1937 году для разбора ходатайств эмигрантских писателей о предоставлении отдельной жилплощади. Вальден так ее и не добился, проведя всю эмиграцию на чемоданах, кочуя из гостиницы в гостиницу.

## Дискуссия об экспрессионизме как репетиция культурной политики

Драма советского периода Вальдена в том, что он – в юности провозвестник и защитник всего авангардного в искусстве – был обречен пройти мимо позднего русского авангарда. Участие его в художественной практике в СССР, по существу, ограничилось выставкой немецкой архитектуры, проходившей в Москве, Ленинграде и Харькове в 1932 году. Почти неизвестным остался Вальден как художественный критик и публицист – в русской прессе он не выступал, а эмигрантские журналы «Internationale Literatur (Интернациональная литература)», «Neue Weltbühne (Нойе Вельтбюне – Новая сцена мира)», «Das Wort (Дас Ворт – Слово)», в которых у него вышло свыше ста статей и заметок о современной немецкой литературе, об идеологии фашизма, были известны только узкому кругу германоязычных читателей.

Между тем на страницах «Дас Ворт» Херварт Вальден принял участие в весьма знаменательной эмигрантской дискуссии 1937–1938 гг. «об основах и сути экспрессионизма», инициатором и единственным лидером которого он себя по-прежнему считал[22]. Рассчитана она была не на советскую аудиторию. Являясь крупной идеологической акцией, направленной на поддержку политики Народного фронта и освящение соцреализма, дискуссия эта, безусловно, проходила не без ведома Коминтерна и Союза писателей. Писатели-антифашисты рвались на защиту этого течения, заклейменного Гитлером в целой серии выставок «дегенеративного искусства» как проповедующего политическую анархию и марксизм. Споры вращались вокруг определения того, какие же тенденции доминируют в экспрессионизме – прогрессивные (такова была позиция задававшего тон дискуссии Клауса Манна) или реакционные (как настаивал Альфред Курелла, отождествлявший это художественное течение с фашизмом). Трудно сказать, была ли какая-то общая «установка» на обвинительный вердикт экспрессионизму как провозвестнику фашизма – во всяком случае, в компании Манна, Блоха, Фогелера, Балаша, Лукача его не получилось.

Ирония и трагизм мало кому понятной общей ситуации заключались в том, что одновременно в Москве начались репрессиии против целой группы немецких политэмигрантов и специалистов, обвиненных в создании фашистско-троцкистского подполья (именно в это время один за другим исчезли на Лубянке участники т. н. группы Волленберга[23], молодые актеры театра «Колонне Линкс», такие видные деятели общей русско-немецкой культурной нивы, как Сергей Третьяков, Ася Лацис). Иными словами, эстетические споры и призывы к сполчению сил в борьбе с фашизмом должны были служить прикрытием политического разбоя сталинщины. Современный исследователь этой серии статей в «Дас Ворт» не может избавиться от ощущения «внутренней несвободы их авторов» (З. Пышновская). Впрочем, участники дискуссии не могли понимать, что они играют совсем в другой пьесе.

Вальденовская статья «Вульгарный экспрессионизм» («Дас Ворт», 1938, 2) только внешне отличается от его ранних работ, своей слишком политизированной лексикой (впрочем, не до такой степени, как у Фриче или Лукача. Искусство теперь – не «форма откровения», а переход содержания в форму, содержание же определяется реальностью. Призывая своих коллег решительно выступить на защиту художественного авангарда от всевозможных его вульгаризаторов, Вальден уточнял, что он ныне понимает под авангардом «выразительные формы», символизирующие «коллективную волю прогрессивного общества». Иными словами, именно в СССР создается «стиль эпохи», и обязанность всего авангарда – «учиться в политическом и социальном смысле», объективно освещать социалистическое строительство в СССР[24]. Вальден теоретически соглашался с возможностью плавного перехода авангарда в соцреализм, и в этом смысле не был ничуть не оригинален.

Но за политической шелухой скрывалось и кое-что другое. Ведь в Вальдене слишком был живуч интуитивист и критик живого художественного процесса. Он принял многие догматические вещи, но сам от этого вовсе не стал догматиком и попугаем. Он не мог умолчать в своем полемическом эссе о реальных опасностях, подстерегающих авангард. Авангард для него несовместим с конъюнктурой. Утрата активизма, с его точки зрения, должна была обернуться гибелью течения. Ответственными за перерождение экспрессионизма (только так он расценивал новую вещественность) он считал художников, отказавшихся от революционных идеалов: мечта о порядке, стабильности и привилегиях «сразила экспрессионизм». Чистота стиля,

«органическое развитие цветовых форм» оставались для него идеалом. Но он каким-то чутьем ощущал силы, разрывающие авангард изнутри.

Размышляя вслед за Вальтером Беньямином над изменениями в искусстве в связи с технизацией производства и омассовлением, Вальден остановился на процессах «смены значений» и ряде опасных тенденций. В то время, как в одних странах художники все чаще обращаются к истокам, природным ритмам, в других отказываются от них, все более подчиняясь механическим формам жизни. Вспоминая плодотворное увлечение западноевропейского искусства ритмами негритянской музыки и жизнью аборигенов, критик полемически вопрошал: «Неужели источники хотят закрыть? Разве источники не природны? Разве ребенок не принадлежит природе? Разве не из ребенка вырастает человек? Поток – не из источника?»[25]. Поиск новых источников выразительных средств становится все более затрудненным, ибо лишь народы, которых миновала эксплуатация и механизация, сохранили органическую способность к новым формам, современный же художник практически не свободен от оков времени. Творить «вне времени, над временем» он не умеет, не может, да и не должен. Жестокая детерминированность творческого процесса в XX веке принималась Вальденом как данность, внутри которой обречен существовать авангард. И если, в отличие от художников при фашистском режиме, прогрессивный авангард хочет оставаться открытым миру и человеку, он обязан бороться за новые формы жизни, которые бы делали «реально слышими и видимыми содержание времени». Конечно, в своем наивном толковании материалистической диалектики и призыве к открытости авангарда Вальден резко расходился с теоретиками соцреализма.

Самая крамольная мысль содержалась где-то посреди статьи. Вальден, во-первых, констатировал враждебность пролетариата авангарду, во-вторых, обращал внимание на поразительное упрямство фашистов и коммунистов в отрицании авангардистского искусства, пусть даже причины этого отрицания были разными. Это уже целиком расходилось с доктриной. При достижении пролетариатом надлежащего уровня образованности, говорил критик, положение изменится. Искусство вообще «не должно быть привилегией какого-то одного класса или сословия». Сценарий развития авангарда Вальден хотел, конечно, видеть оптимистическим, но как долго придется ждать рывка «выразительных форм»?.. Можно было ожидать, что в советской прессе Вальдена спросят, почему нужно защищать авангард, а не реализм и отчего у немецкого товарища такое отсталое представление об умственных способностях пролетариата. Но таких откликов не появилось – советскую литературную общественность проблемы экспрессионизма волновали мало.

Тем не менее, 5 мая 1938 года в немецкую секцию Союза писателей на имя Бехера поступил настоящий литературный донос от весьма бдительного коллеги-эмигранта. Режиссер и публицист Эрнст Гельд писал в своей заметке: «Некоторые авторы (дискуссии в “Дас Ворт” – *В.К.*) попытались затушевать реакционное значение экспрессионизма и открыть ему заднюю дверь под другим платьем. Они не желают окончательно порвать со своим формалистским прошлым, ссылаясь на то, что они субъективно играли авангардистскую роль. (…) И прежде всего Херварт Вальден, являвшийся на протяжении двух десятилетий ведущей фигурой экспрессионистского направления. Вместо того чтобы попытаться критически переосмыслить собственное прошлое, Вальден выступил в дискуссии с самонадеянной и путаной защитой экспрессионизма, сознательно антимарксистской в плане рассмотрения проблем искусства (Вальден осмелился заявить, что все сказанное до сих пор марксистами об искусстве – это только общие фразы)»[26].

К счастью, «Дас Ворт» отказался печатать эту «заметку», подразумевавшую принятие неких мер по отношению к этому раскольнику.

Любимое дитя Вальдена клеймили на его глазах, расправляясь широкомасштабно (так что и после войны долго еще не затихали разговоры о реакционности экспрессионизма как течения антиреалистического). Летом 1938 года Альфред Курелла в своем докладе на «генеральном» собрании Немецкой секции обрушился с критикой в адрес «Дас Ворт», сделавшего в ходе дискуссии «ошибочный вывод, что антифашисты должны взять экспрессионизм под защиту». Ему вторил венгерский философ и литературовед Георг Лукач, согласно которому экспрессионисты (пускай они и были «предавангардом») «плыли» по течению буржуазного искусства своего времени»[27]. И в этой дискуссии Вальден продолжал упрямо повторять, что экспрессионизм – прогресс и высшая точка развития искусства.

Менее чем через год журнал «Дас Ворт» был закрыт без всяких предварительных консультаций с его редакторами Фейхтвангером, Брехтом и Бределем. Дискуссия об экспрессионизме была закончена уже в девятом выпуске (1938). Она не переросла в расправу, оставшись только репетицией будущих литературных расправ.

Орфическая модель свободного межкультурного общения, которую Вальден когда-то в пору триумфов кабаре «Синяя птица» в Берлине сформулировал в афоризме: «Азия здесь играет, а Европа улыбается», осталась далеко в прошлом. Пролетарская модель отбора прогрессивных национальных элементов у него на глазах оборачивалась примитивным изоляционизмом.

На советской почве крупнейший европейский галерист и критик постепенно замыкался в себе и терял масштаб: его ждала участь доцента иняза (сокр. – Институт иностранных языков), тихого, скромного лингвиста-этимолога и литератора-эмигранта, с которой он долго не хотел смиряться. По самый день ареста, 13 марта 1941 года, брал уроки русского языка. Интересовался жизнью немцев Республики Поволжья и активно сотрудничал с местным издательством в Энгельсе. Ввел в институте факультатив по немецким классикам. Лев Копелев, бывший его студентом, вспоминал через несколько десятилетий неформальный характер его семинаров по устной языковой практике[28] (кстати, частные уроки по той же методике Вальден давал наркому земледелия Яковлеву). У него вышло около десятка школьных учебников грамматики и пособий, адаптированных изданий классиков – немецких (Гете, Лессинг) и русских (Лермонтов, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Тургенев).

Вернувшись к литературным увлечениям юности, он написал несколько пьес, а две одноактных – «Цепи» и «Токарный станок» – даже отправил на конкурс в 1939 году под девизом «О бдительности», собирался писать пятиактную комедию «Учитель гимназии», написал один большой роман о Веймарской республике: «Нейтралитет» (рукопись его исчезла) и принялся за другой: «Республиканцы». Еще в его рабочих планах стоял учебник по стилистике[29].

Если чистки и проработки и отбили у него охоту к созданию здесь собственного объединения по образцу «Штурма», то тем более он дорожил возможностью участия в камерном русско-немецком литературном кружке у Бриков в Спасо-Песковском переулке, где бывали Виктор Шкловский, Николай Асеев, Семен Кирсанов, а из немцев – Эрих Вайнерт и Гуго Гупперт. В воспоминаниях последнего есть следующий пассаж: «(…) Благодаря мудрому старому Херварту, которому исполнилось уже 62 года, в бриковский круг (ведь Лиля свободно говорила по-немецки) вошло

целое поколение немецких поэтов: беседы без конца о Верфеле, Эренштайне, Штрамме, Хейнеке, Швиттерсе, Бенне, Цех и Вальтере Меринге»[30].

Его только однажды выпустили за границу – в 1932 году, на заседание ПЕН-клуба, и на этом поставили точку. Галерист и меценат Вальден оказался не нужен СССР, титан должен был, выражаясь языком Ильфа и Петрова, «переквалифицироваться» в просветители местного масштаба.

## Арест и допросы. Фабрикация обвинения

Итак, вместо того, чтобы оценивать написанное писателем «в стол» за его московский период, мы обречены только трагическим жестом указывать на его загубленное наследие, развеянное в прах вместе с целым столбом пепла литературного крематория Лубянки.

Московский архив Вальдена исчез бесследно. Если судить по материалам следственного дела, то 13 марта 1941 года при обыске в гостинице «Савой», начавшемся в 3 ч. 30 минут, было изъято рукописей – на 500 листах, писем – 288 штук, 20 блокнотов и записных книжек, рукописного и печатного материала на иностранном языке – на 175 листах, разных фотокарточек – 43 штуки. В Болшево гэбисты, изъяв среди прочего томик Чехова с пометками и 47 листов текстов, опечатали комнату с книгами Вальдена «на иностранном языке в количестве 600 штук». 21 марта сотрудниками 3 отдела НКГБ дополнительно было осмотрено оставленное писателем в гостинице «Метрополь»: книги и брошюры (7 ящиков), 4 пачки рукописей вместе с драгоценностями (кольца, цепочки, брошки); все это было вручено некоему Маркитанову, завскладом гостиницы «Метрополь», «для передачи гражданке Вальден». Однако о подобной передаче юная жена писателя Эллен Борк и дочь Зина (скрывшиеся в немецком посольстве и вскоре переправленные в Германию) и слыхом не слыхивали. Из упомянутых ящиков были отобраны и отправлены в спецотдел записные книжки, около 200 писем, 1000 страниц машинописных текстов[31].

Сегодня можно только гадать, что содержалось в этом архиве, который мог бы составить целый 5- или 6-томник, и какая судьба его постигла (в большинстве других подобных дел содержатся хотя бы справки «об уничтожении путем сожжения за ненадобностью»…).

Почему Вальден не попал в лубянские списки ни 36-го, ни 38-го годов, когда московское ГБ занималось усиленным выявлением фашистских агентов в среде немецких эмигрантов, а именно 41-го, военного года? А ведь, как мы помним, он был временами слишком строптив… Хедда Циннер приводит в своих воспоминаниях такую деталь: все эмигранты подчинились однажды поступившему приказу съехать из «Европы», один лишь Вальден отказался, не считаясь ни с какими последствиями. (…) На этот конвейер мог угодить практически любой. Появление случайности, совпадение случайностей лишь подтверждало действие общей закономерности, закона больших чисел: однажды запущенная машина чисток требовала топлива, топливо должно было поставляться изо всех без исключения социальных слоев. (…) С момента ареста жертвы кончалась ее индивидуальная жизнь и начиналось ее полное растворение в системе. Из актеров или марионеток системы они превращались лишь в ее функции[32].

*Отпечатки пальцев Херварта Вальдена, взятые во время предварительного заключения в марте 1941 г.*

В центре всех лубянских дел стоит *анти*биография как часть духовного и физического уничтожения жертвы.

В железном театре сталинской инквизиции все законы нормального бытия перевернуты. Личность безраздельно попадает здесь в сферу действия гэбешно-политической фикции, этого нового, небожественного происхождения рока. Поэтому из архивных дел мы неизбежно гораздо больше узнаем о системе, ее правилах и ее бюрократии, чем о самой полностью лишенной свободы жертве, миссия которой, в конечном счете, сводится к озвучению воли и страхов тиранической системы, стремящейся обеспечить себе вечную власть.

Каждый (и следователь-гэбист, и жертва) должен был сыграть здесь свою заранее установленную роль ради доказательства двух постулатов: что арестованный является политическим преступником или заговорщиком и что право системы распоряжаться судьбой отдельной личности неоспоримо и дожно быть подтверждено актом его смерти.

Не раз уже исследователями советской тоталитарной системы обращалось внимание на кощунственную узурпацию ГПУ-НКВД христианской этики: обвиняемый должен был принять активное участие в доказательстве собственной вины и, в сущности, сам на себя наложить высшую кару. Поэтому в лубянских делах на первый план выступает не дознание, а методика ломки личности и повержения ее на колени, поведение голого человека под давлением кулака беззакония. Пронизанные отвратительным садистским вуайеризмом псевдосудей, эти мерзкие документы дают нам, как правило, не то, что мы бы хотели и должны были знать о человеке…

Как видно из архивно-следственного дела № Р-31674, компромат на Вальдена уже давно имелся в НКВД, его аресту 13 марта предшествовала тщательная предварительная проработка. Он был арестован в номере гостиницы «Савой» спустя неделю после показаний инженера Акимова, приходившегося Вальдену свояком. Мила Фишман, та самая Мила, на всю жизнь соединившая Вальдена с Россией (умершая от туберкулеза в конце 1931 года), оказалась, – о, эта роковая случайность – сестрой

жены крупного авиаинженера и работника Наркомата авиапромышленности. За Георга Лукача, арестованного чуть позже, в июне, вступился перед Димитровым Бехер, в конце августа его выпустили. Ареста Вальдена и три месяца позже и писательницы Марии Остен (24 июня) словно бы никто и не заметил. Вскоре началась война, высокие функционеры ранга Пика и Ульбрихта были эвакуированы в южноуральскую Уфу в спальных вагонах, а Вальдена в середине июля переправили на продолжение допросов в Саратов.

Ведомству Берии и Кобулова (именно он подписывал ордер на арест и вел дело до конца), видимо, срочно требовался глубоко законспирированный шпион с крупным стажем. И вот кандидат на эту роль – педагог-эмигрант, который избежал всех чисткок, держался в стороне от кипучей борьбы группировок и тихо работал в своем институте. Близорукому, сильно исхудавшему в ходе следствия писателю, придумали шпионское прошлое, которому позавидовал бы и Джеймс Бонд (протоколы этой части занимают более 150 страниц).

Вальден якобы стал агентом германской разведки еще в первую империалистическую войну, причем одновременно Генштаба и Министерства иностранных дел, использовавших его литературные связи. В 1932 году, перед самым отъездом в СССР он якобы вторично был завербован неким Шаролем, с обязательством информировать «о положении дел в Коминтерне, ВКП(б), есть ли в СССР остатки буржуазных партий, сохранилась ли оппозиция и нет ли среди немцев Поволжья настроений в пользу капитализма». Якобы весной 1932 года в Берлине привлек своего родственника авиаинжнера Акимова к шпионской деятельности и руководил его работой по 1940-й год. Притом Вальден якобы не только получил от Акимова чертежи секретного советского авиамотора «М-34», которые он был в состоянии профессионально анализировать, но и как настоящий ас зафиксировал сам момент передачи на фототопленке. С 1933 по 40-й год конвейер по передаче советских авиасекретов работал непрерывно… Но поскольку получить сразу признание такого огромного шпионского стажа от литератора не представлялось возможным, решено было начать с 30-х годов, с линии Акимова, который уже был арестован и физически сломлен.

Поведение Вальдена на Лубянке отличалось особой прямотой и какой-то детской наивностью – вначале он просто не мог поверить, что кто-то посмеет обвинить его в «антисоветской работе» и решительно отверг предъявленное обвинение в шпионаже, а когда его сломали физически, столь же по-детски наивно, неумело хитря, стал сотрудничать в создании более умеренной версии.

Вальден, по словам близко знавших его людей, не сликом охотно рассказывал о прошлом (особенно мало биографических сведений о его юности). Лубянские прокураторы, выступившие в роли фальшивых Эккерманов, в течение апреля 41-го года, – чтобы дать ему разрядку перед новым штурмом – заставили стареющего писателя подробно рассказать всю свою биографию, начиная с его мечты стать композитором – а уж потом она была ими трансформирована в шпионском ключе.

Следователя Филиппова, напялившего маску вежливого и пытливого искусствоведа, интересовали мельчайшие биографические подробности: что побудило юношу Вальдена на бегство от родителей в Италию, как он там устроил свою жизнь, получил ли возможность учиться музыке и на какие средства существовал, с кем из немецких писателей в Берлине он находился в близких дружеских взаимотношениях, какие цели и задачи ставило перед собой общество «За искусство» и на какие деньги издавался журнал «Штурм», какие, когда и где организовывал выставки, с какими

НКВД СССР

13

## Анкета арестованного

| ВОПРОСЫ: | ОТВЕТЫ: |
|---|---|
| 1. Фамилия | Вальден. |
| 2. Имя и отчество | Херварт. Вильгельмович |
| 3. Год и место рождения | Родился в 1878 год<br>область (край) район<br>село гор. Берлин. |
| 4. Постоянное местожительство (адрес) | г. Москва<br>Гостиница совой ком № 202 |
| 5. Профессия и специальность | Писатель и преподователь. |
| 6. Последнее место службы и должность или род занятий | а) учреждение Московский педагогический<br>предприятие институт иностранных языков<br>б) должность доцент.<br>в) звание<br>г) в систему какого Наркомата, или другого руководящего органа входит учреждение (предприятие)<br>д) если не работает—когда уволен „ " 194 г. |
| Партийная принадлежность | а) в прошлом<br>б) в настоящее время член Компартии германии билет № |
| Национальность | Немец |
| Гражданство (при отсутствии паспорта, указать какой документ удостоверяет гражданство) | а) гражд. (подд.) Без гражданства<br>б) паспорт № кем выдан |

*Первая страница протокола допроса арестованного Херварта Вальдена от 13 марта 1941 г.*

партиями он был связан, как часто он бывал в СССР и какие перед собой, при этом, ставил цели… Писатель уж было подумал, что ГПУ осознало ошибку и желает лишний раз удостовериться в ней, и его рассказ становился все детальнее и пространнее (биографическая часть допроса вплоть до очной ставки, после которой либеральное отношение сменилось жестким, занимает в деле около ста страниц).

> В 1909 году президиумом кооператива немецких актеров я был приглашен на работу по реорганизации старого их органа «Нахрихтен» в новый современный литературный журнал. Я эту работу выполнил, став редактором нового журнала, названного «Дер нейе вег». Впоследствии у меня с рядом актеров из наиболее реакционной среды были споры по вопросам помещаемых мной прогрессивных по содержанию статей о современной литературе, а также и с другими сотрудниками. Я был уволен. За неправильность моего увольнения я подал в суд, где я был реабилитирован – так как в защиту моих интересов стала пресса и много известных литераторов.
> После этого я был приглашен в издательство как редактор нового журнала «Дас театер». Из этого издательства я снова был уволен за то, что я не желал помещать статьи, идущие вразрез с моими мнениями. Суд и в этом вопросе меня реабилитировал. В 1910 году я сам по своей инициативе стал издавать журнал «Штурм», на страницах которого я совместно со своими сотрудниками помещал рассказы, художественные произведения и другие статьи, посвященные литературе, музыке, театру и т. п.
> ВОПРОС: На какие деньги вы издавали названный журнал «Штурм»?
> ОТВЕТ: У меня были собственные деньги, полученные по суду с указанных мною выше издательств, которые я использовал на издательство своего журнала. Кроме того, я заключил договор с немецкой типографией «Хаузе», согласно которому я обязан был уплатить ей стоимость печатания моего журнала по истечении только шести месяцев. Это обстоятельство давало мне возможность печатать журнал… По своему направлению журнал являлся экспрессионистским. В 1931 году издательство журнала «Штурм» обанкротилось, так как оно не могло конкурировать с другими немецкими издательствами, имевшими более прочную материальную базу и денежные средства, а также и вследствие преступного отношения со стороны одного из моих служащих, который занимался фальсификацией векселей моего издательства[33].

Вальден рассказал своему лже-Эккерману о своих выставках, о своем триумфе и гонениях на него как на инициатора экспрессионистического течения, о своей аполитичности и пацифизме, об изменении взглядов под влиянием Октябрьской революции и изучения трудов классиков марксизма, о том, как странно, руководствуясь больше интуицией, он примкнул к социалистам и вступил в компартию Германии. Вступал как будто бы в масонскую ложу: тайные собрания малоизвестных людей, прием в партию в одном из берлинских ресторанов, партийная работа в виде докладов о литературе и искусстве, раскладывания листовок по почтовым ящикам и уплаты членских взносов на дому. Допрос 21 апреля был посвящен созданию Общества друзей СССР и деятельности Вальдена на посту его председателя. Его спросили, в каких газетах он помещал свои статьи о поездках в Союз. Вальден назвал около десятка источников.

> ВОПРОС: Указанные вами газеты и издательства являлись органами буржуазии и социал-демократических партий?

ОТВЕТ: Да, эти газеты являлись органами левой буржуазии и демократических партий Германии.
ВОПРОС: Следовательно, на страницах упомянутых вами газет вы писали статьи, заполненные всякими клеветническими измышлениями о Советском Союзе?
ОТВЕТ:… Я писал только восторженные статьи о положении в СССР, статьи, отражающие реальную действительность[34].

На этом исчерпался интерес следствия к другу СССР и литератору Вальдену, маска Эккермана была убрана и никогда больше не возникала снова.

Либеральному Филиппову, действовавшему методом мелкого словесного шантажа и не сдвинувшему упрямого немца с мертвой точки, пришлось потесниться. Для проведения очной ставки и выбивания «агентурных показаний» в конце апреля был вызван Лев Шварцман, по выражению Ю. Шенталинского, «пыточных дел мастер», набивший руку на «ломке» Бабеля, Кольцова, Косарева, Мейерхольда. Протокольная запись сохранила только ремарки обоих актеров этого мученического трагифарса. Страдающий близорукостью Вальден, как видно, совсем не чувствовал под собою ног, поставленный перед своим до пределов накачанным страхом свояком и четверкой гэбистов (но, скорее всего, что у него еще и очки отобрали).

ВОПРОС АКИМОВУ: Правду ли вы показываете, не оговариваете Вальдена?
ОТВЕТ: Я показываю правду (…) Из поведения Вальдена мне видно, что он просто не хочет об этом рассказывать.
ВОПРОС ВАЛЬДЕНУ: Что вы теперь можете сказать?
ОТВЕТ: Я решительно отрицаю показания Акимова, так как никакого отношения к шпионской работе и привлечению Акимова к сотрудничеству с германской разведкой не имел.
ВОПРОС ВАЛЬДЕНА АКИМОВУ: Я хочу, чтобы Акимов ответил, где и когда я его завербовал, или говорил с ним о шпионской работе в пользу германской разведки?
ОТВЕТ АКИМОВА: В третий раз повторяю, что Вальден оказал содействие в привлечении меня германской разведкой для шпионской работы, но сам меня не вербовал. Если следствие найдет нужным, я могу привести Вальдену подробности этого дела, но полагаю, что Вальден и сам эти подробности хорошо знает[35].

Воссоздать всю меру трагизма этой очной ставки, не сломившей его дух, но породившей страшные сомнения, не представляется возможным. Трудно также вообразить себе, что происходило в период между очной ставкой (24 апреля) и следующим допросом… Но 13 мая майор Шварцман получил от Вальдена частичное признание. Предусмотрительный майор протоколировал допросы на русском и на немецком языках. 14 мая писатель заявил, что он «принял твердое решение показать правду и ничего больше не намерен скрывать от следствия».

Его повалили разом, как старое кряжистое дерево и стали методично распиливать по частям…

3 июня Вальден уже повторял как по писаному: «Вращаясь в кругу знакомых мне писателей, журналистов и работников советских учреждений, я в порядке личного знакомства получал от них нужные мне и заслуживающие внимания сведения, а затем обрабатывал и передавал названным мной выше агентам немецкой разведки»[36]. В последующие два месяца до объявления обвинительного заключения следователи уже вместе с жертвой мелкими стежками дорисовывали фантастическую картину, по своей бредовости превосходившую первоначальный план.

Так, партнерами Вальдена вместо братьев Маннов, Рильке, Шницлера, Рихарда Штрауса, Густава Малера, Деблина и других литераторов и художников стали генконсул МИДа Тилл, советник полицей-президиума Геннинг, мифические вербовщики фон Кун и Шароль, связные и агенты Люттгер, Фабри, Вахтель, Штедлер… Даже в «Штурме» нашелся секретный сотрудник германского МИДа – поэт Адольф Кноблаух! Приемная дочь Вальдена Ирина[37] – ученица немецкой школы имени Карла Либкнехта – должна была стать связной между отцом и его агентом Акимовым. Само собой разумеется, все московские знакомые Вальдена были помещены в картотеку его связей как поставщики «шпионских информаций политического характера». При этом, большей частью, даже не уточнялось, какого же рода «информации» от них получал Вальден! Чем больше несообразностей и нагромождения лжи, тем бессмысленней становилась истина и ее поиски.

Замдиректора Библиографического института, журналист Йозеф Шнайдер (ко времени допроса уже окончивший свой земной путь в Магадане – то есть в ГУЛАГе) поставлял информацию о Коминтерне, как правило, за стаканом пива или вина. Случайный шведский знакомый писателя Курт Вахтель стал информатором по части подготовленности СССР к противовоздушной обороне. Бернгард Штедлер, рекомендованный Вальденом одному из московских издательств для перевода трудов Ленина на шведский язык, превратился в агента, сообщившего Вальдену о перестановке агентуры в связи с фашистским переворотом. Среди знакомых Вальдена по «Международной книге» (где печатался журнал «Дас Ворт») также обнаружились немецкие «агенты» Кобелик и Пельцер, через которых германская разведка, опасаясь провала Вальдена, якобы рекомендовала ему в 1938 году выехать из СССР в одну из нейтральных стран. Подбирались и к давнему другу Вальдена и Вальтера Беньямина переводчику-германисту Максимилиану Шику, шпионскую связь с которым арестованный категорически отрицал (Шик просто чудом избежал ареста).

По стилю, резко отличающемуся от спокойной повествовательной манеры речи Вальдена в первой, «биографической» части допроса, видно, что это – не аутентичные, а препарированные следователями материалы, подписанные затем под нажимом. Шварцман не сильно ломал себе голову, чтобы скрыть белые нитки, несостыковку частей, разительный контраст личной интонации беспомощной жертвы и идеологических клише палачей. Как позволяет предположить допрос от 14 мая, и самого Вальдена (как Третьякова, Мейерхольда и других) заставляли писать некие «шпионские исповеди», полные измышлений и самооговоров, которые затем обрабатывались и вмонтировались следователем в заготовки протоколов. Об этой обычной для Лубянки технике фабрикации обвинения написано много, и мы не станем чрезмерно муссировать эту тему, приведя только два примера.

1.

В Копенгагене в 1911 году я основал выставку картин, посредством которой установил связь с датскими журналистами. Тилл, надо полагать, знал о моих связях, так как предложил выехать в Данию, обещая оплатить дорогу и расходы за время моего пребывания в Копенгагеге. Одновременно он взял на себя оплату авторам за каждую статью – по 100 датских крон, но я от денег для себя отказался, заявив, что сама по себе эта поездка меня увлекает новизной впечатлений, а в средствах я не нуждаюсь.

Однако я возразил, что предусмотренная Тиллом сумма в 100 крон за статью – слишком незначительная плата, чтобы за нее можно было привлечь кого бы то ни было к благоже-

лательной для Германии пропаганде. Тилл в ответ сказал, что Германия располагает ограниченными средствами, так как все поглощает производство вооружения и настоял на моей поездке в Данию. Вскоре я был вызван в полицей-президиум гор. Берлин (В этом месте – вопрос следователя, *В.К.*). Полицейский советник Геннинг вручил паспорта для меня и моей жены, осведомившись при этом – не являюсь ли я руководителм выставки «Штурм». Получив утвердительный ответ, Геннинг в лестных выражениях отозвался о моей выставке, но с сожалением заметил, что при всей своей любви к искусству, лишен возможности быть ее частым посетителем, ввиду материальных затруднений. Польщенный его похвалой, я изъявил готовность предоставить Геннингу и его семье бесплатные билеты на право посещения выставки и мы на этом расстались, вежливо распрощавшись. (*Вопрос следователя*)[38].

2.

Фабри я знал как склочника и политикана, пользовавшегося дурной славой среди писателей и неохотно пошел на связь с ним; к тому же в «Дойче Централь Цайтунг» он выступил со статьей против применявшихся мною методов в педагогической работе… Фабри тут же меня предупредил, что Берлин платит сейчас мало, но я его успокоил, заявив, что я в деньгах не нуждаюсь, чем Фабри стался весьма доволен, так как явно был заинтересован в материальной стороне дела.

С 1938 года по день своего ареста шпионскую информацию я передавал Фабри по 4–5 раз в год, преимущественно в институте. Очевидно, из чувства благодарности за мой отказ в его пользу от денежного вознаграждения, Фабри разрешил информировать его устно и сам уже заносил на бумагу переданные мною сведения.

В январе или феврале 1939 года Фабри мне сообщил, что Берлин недоволен предоставляемой мной информацией, но я сослался на свой преклонный возраст и заявил, что я ограничен в своих связях.

Фабри предупредил, что если я не изменю характера своей работы, ко мне будут применены определенные меры воздействия, ввиду чего состояние тревоги не покидало меня по день моего ареста органами НКГБ СССР[39].

Две трети названных Вальденом «информаторов» были уже, что называется, вне опасности: Курт Вахтель уже был в Америке, Пауль Вайс, Эрнст Фабри, Лотар Вольф, Войнар, Кобелик арестованы, Яковлев («участник военного заговора», в котором ему отводилась роль «русского Муссолини») и Шнейдер репрессированы. Это была его тактика глухого сопротивления. На одном из последних допросов он вновь категорически отрицал версию суперагента, настаивая на случайном характере своей «шпионской связи» с Акимовым: только раз он передал в Германию его письмо. Но дороги назад уже не было, судьба Вальдена была решена. Самые главные признания уже были «запротоколированы» весьма предусмотрительным Шварцманом на русском и на немецком языках.

После перевода в Саратов следователи обещали заняться «проверкой показаний», что было, конечно, полным лицемерием. Некоторые идеи питомцев Дзержинского Вальден в своей книге о стране большевиков называл поистине гениальными, в том числе и то, что прокурор два раза в неделю обязан посещать заключенного. В продолжении своего «процесса» прокурора он видел всего один раз, на последнем допросе. Тот поинтересовался противоречиями в его показаниях – почему он момент вербовки один раз датирует 32, другой раз – 34-м годом.

С началом войны писатель и сам почувствовал, что его шансы резко ухудшились, и, против своего обыкновения, не написал ни одной апелляции ни на чье имя. Если о его последних днях сохранились хотя бы обрывочные сведения писателя Александра Вата, чудом выжившего солагерника Вальдена, которого дочь писателя разыскала на Майорке[40], то о его последних думах мы не знаем ничего.

Являлись ли к нему во сне его любимые картины, проносились ли в голове роем фигуры «Синей птицы» или костюмированных балов «Штурма»?

Мы знаем только то, что Вальден провел почти два с половиной месяца в лазарете Саратовской тюрьмы (с перерывами с 16 июля по 31 октября), следствие окончилось 15 августа, обвинительное заключение было принято 21-ого. Заключение это – полная фальшивка, основанная на показаниях инженера Акимова и показаниях, выбитых Шварцманом. Борис Акимов имел мужество на последующих допросах отказаться от навязанного ему бредового шпионского детектива, но это уже никого не интересовало (его расстреляли, по всей вероятности, на втором году войны). Липовые фигуры – венгр фон Кун, Шароль, Люттгер (или Литтгер?), Штедлер – так и остались липовыми. Фигура генконсула Тилла осталась загадкой даже для юристов Военной коллегии, реабилитировавших Вальдена в 1956 году (это имя вообще не упоминается в реабилитационном документе, хотя именно на якобы доказанном следствием факте вербовки Вальдена Тиллом базировалось обвинительное заключение и приговор!). Дипломат Фриц Август Тилл существовал на самом деле, был немецким посланником в Киеве в 1918 году, затем служил консулом в Японии, но какое касательство он мог иметь к Вальдену? Военный трибунал Приволжского военного округа в порядке подготовки заседал через два месяца – 26 октября, назначив закрытое слушание дела – «без участия сторон обвинения и без свидетелей». А через пять дней Герварт Вальден скончался в лазарете. Его истерзанное сердце просто не выдержало. Вероятно, известие о том, что его будет судить армейский трибунал, было выше всяческих его ожиданий и надежд.

«Проблема исполнения приговора разрешена в СССР в высшей степени человечно» (цитируем из той же книги репортажей писателя 1931 года).

Согласно акту медицинского освидетельствования, писатель умер «31 октября 1941 г. в 7 часов, причем оказалось следующее: среднего роста, телосложения правильного, питание резко понижено, кожные покровы бледные. Костно-мышечная система без повреждений. По данным истории болезни у заключенного имелся декомпенсированный миокардит.(…) Смерть наступила вследствие нарастания слабости сердечной мышцы и старческой дряхлости»[41].

Александр Ват случайно встретил Вальдена в толпе арестантов-призраков при переходе с Саратовского вокзала в тюрьму, безрезультатно пытался выйти с ним на контакт и от уборщицы лазарета узнал о смерти своего старого знакомого. Питание в тюрьме состояло, в основном, из тухлых селедочных голов. Ват не мог припомнить, чтобы Вальден при этой встрече был в очках.

Чем далее удаляло Вальдена от утопии земное тяготение, тем более банальный облик принимали и рок, и зло.

Увидевший в чудесных снах «взмах крыла летящей кометы» должен был увидеть и ее падение.

## Прощание с мифом

Мы не можем знать, как сменилось направление его мысли под давлением опыта Лубянки. Может ли прозрение быть более тяжким? Знаем только, что две такое разные половины его жизни не превратили его в двуликого Януса. Его взгляд на действительность к концу 30-х стал, конечно, гораздо строже. Последние годы в статьях для журнала «Дас Ворт» (под различными псевдонимами, в том числе и Вальтер Штурм) он анализировал авторитарный тип личности, сложившийся в Третьем рейхе. Он констатировал там полное отмирание этики под воздействием политики страхов, шпионажа, заговоров, диверсий, указывая на отрицательную роль «легкой музы», испытавшей при Геббельсе триумф. Для понимания же тоталитаристкого перерождения СССР глаза его, как и множества других эмигрантов, слишком долго были слепы. Они чувствовали, что этот мир, по выражению драматурга Юлиуса Гая, «сильнее их логики и их морали», но одна уже мысль о возможности параллелей между фашизмом и коммунизмом казалась им кощунственной.

И все же идеал сталинского социализма уже не представлялся Вальдену таким безмятежным и цельным, как прежде, слепящая сакральная оболочка с мифа Сталина слетела. Свидетельство тому – две избежавшие лубянского разгрома одноактные пьесы Вальдена «Цепи» и «Токарный станок», осевшие в фонде Иностранной комиссии ССП. Рецензенты Союза писателей нашли эти опусы «весьма спорными» в идейном отношении и не рекомендовали их вниманию жюри конкурса 1939-го года[42]. Тема бдительности показалась им раскрытой невнятно, да и слишком уж выпячивала тема аутсайдерства эмигранта в солнечном сталинском государстве…

Между тем две эти нарочито фрагментарные пьесы – свидетельство великолепного мастерства позднего Вальдена-драматурга, нащупавшего «золотую середину» между трагедийным бытописательством Хорвата и брехтовскими поучительными пьесами. Брехт, впрочем, бывал в СССР только наездами и не мог ощущать советский быт так пронзительно остро. Вальден, можно сказать, до известной степени предвосхитил поэтику социалистических трагедий Хайнера Мюллера, как лаконичным трагедийно-ироническим стилем, метко схваченной игрой речевыми клише эпохи, так и пониманием социализма как клубка абсурдных противоречий (разрубить которые под силу только воле партии).

В первой пьесе молодой немец-колхозник Фухс, преследуемый подозрениями односельчан в том, что он не порвал с цепями кулацкого прошлого своих родителей, просит совета у учителя: «Меня оклеветали. Мне не хотят поверить, что я честный попутчик». Герой замкнут в безвыходном кругу проблем болезненной ломки сознания (взлелеянный советской действительностью трагикомический типаж, знакомый нам по произведениям Эрдмана, Файко, Зощенко).

ФУХС: Чего вы хотите от меня? Почему подозреваете? За что вы вытолкнули меня? Разве я виноват, что у моей матери остались золотые цепочки?
УЧИТЕЛЬ: Скажите прямо. Вы порвали со своим прошлым?
КОМСОМОЛКА: Только цепи все равно тащит за собой.
ФУХС: Почему вы не снимете их с меня, вы, молодые. Почему вы преследуете меня, вы, молодые. Почему не поможете мне?
КОМСОМОЛКА: Молодежь всегда поможет. Поможет победить старое. Долой стариков, цепляющихся за свои цепочки!

Учителю нечего предложить Фухсу, кроме как альтернативу: либо совершить «убедительный поступок», либо принести «большую жертву»[43].

Во второй пьесе молодого немецкого специалиста, приехавшего помогать русским в восстановлении хозяйства, подозревают в порче дорогостоящего станка. Вот-вот призовут на помощь ГПУ, стоящее, конечно, на страже интересов социалистического производства, хотя на самом деле немец не виноват. Он настолько озлобляется, что оказывается не в состоянии оценить чувства русской девушки, влюбленной в него и стремящейся его выручить из беды.

Речами и поступками персонажей вальденовских драмолетт (Dramolett) движет не внутренняя воля, а некие высшие этические нормы, полностью контроллируемые государством. Они люди без собственной судьбы и без собственного языка, дети жестокого, напролом действующего общества, решившего в стремлении улучшить человеческую породу порвать с природными началами. Глубокие чувства (любовь, доброта, тяга к взаимопониманию) существуют как бы помимо, вопреки всей общественно-социальной организации, как в этом финальном диалоге:

ДЕВУШКА. Передай твоим немецким девушкам от меня привет, когда вернешься в Германию.
ПЕРВЫЙ. Погоди. Где были мои глаза. Какая ты красивая. Кроме того, я врал. От злости. Нет у меня никакой девушки в Германии.
ДЕВУШКА. Вчера я хотела погладить тебя, когда ты расплакался из-за станка.
ПЕРВЫЙ. Куда ты убегаешь. Останься. Я никуда не поеду, ты только останься.
ДЕВУШКА. Прощай, друг.
ПЕРВЫЙ. Останься, не сердись. Я был слеп.
ДЕВУШКА. Ты мне сделал очень больно. Я на тебя не сержусь. Мы вместе боролись за наше дело. Но нельзя быть слепым. Даже когда борешься.
ПЕРВЫЙ. Надя…
ДЕВУШКА. Я люблю тебя. Прощай[44].

Внимательный читатель мог почувствовать в этих коротких пьесах интонаций глубоко затаенной боли перекрещенца, который не в состоянии примириться с расхождением эфемерного идеала с действительностью. Немец-идеалист и тут, и там терпит крах, и не случайно его журит партийный секретарь: «Немецкие товарищи всегда хотят головой пробить стенку». В беспомощных рыданиях молодого рабочего у испорченного станка (символа замершего, нефункционирующего производства) можно слышать интонации самого автора, разрывающегося между давящей властью химер и постулатами героического идеализма.

Вальден, конечно, отнюдь не собирался создавать антисоциалистические гротески – наоборот, его драмолетты проникнуты верой в философию социализма, в возможность разумного изменения природы общества. Но он, подобно Брехту, также приходил к такому типу художественного обобщения, который отстранял объект изображения и представлял его в критическом свете. Такой логики литературная контора, которая отвергла пьесы Вальдена, была не в состоянии понять – двумя годами позже, например, она зарубила «Доброго человека из Сезуана» как пьесу «с заумью и загибами», философскую щутку, годящуюся разве только «для кукольного театра»[45].

Перед нами же – драматург, переросший собственный экспрессионизм, еще ощутимый в двух других пьесах эмиграции – «Кризис» и «Кулаки» – и вошедший в трагический реализм – каким, например, Георг Грос поражает в свой американский период. Короткие, недосказанные фразы, искусная техника диалога, подчеркивающая обрыв, унификацию и искажение человеческих связей, воссоздают образ странной, неведомо куда перемещающейся, полубезумной страны, где поверили в химер и живут химерами.

Язык вальденовских драмолетт исполнен особой, библейской простоты и прозрачности, несмотря на то, что все их реалии произросли на почве вульгарной сталинской политической революции. Ни одной фальшивой ноты, никакого утепления и излишней психологизации образов, как будто бы это был отчет какого-нибудь небесного посланника Всевышнему об увиденном в природе, подвергшегося новому акту «творения» в стране большевиков, где, как он однажды сказал, «человек побежден реальностью».

Так он писал, еще не зная, что это, в самом деле, будут его последние письмена.

Мастер Баухауз Георг Муха говорил, что на могильном камне своего друга он хотел бы сделать эпитафию: «Здесь лежит Херварт Вальден. Он верил в искусство, как в божественное существо»[46].

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В нем. Оригинале: «ERSTER: Zum Donnerwetter, ist hier nun Kommunismus, / oder nicht? / ZWEITER: Das schon. Aber die Leute sind nicht so weit».

[2] *Herwarth Walden:* Asien. In: Der Sturm 6 (1922). S. 81–83, Цит. по *Bernd Findeldey:* Die bessere der Welten. Herwarth Walden und die Sowjetunion – eine Textcollage (Лучший из миров. Херварт Вальден и Советский Союз). In: Irina Antonowa/Jörn Merkert (Hrsg.): Berlin – Moskau 1900–1950. – München, 1995 (русс. изд. 1996). S. 51–54, здесь С. 52.

[3] *Nell Walden:* Herwarth Walden – ein Lebensbild. – Berlin und Mainz, 1963. S. 60.

Нель Вальден-Рослунд – вторая жена писателя (по 1924 год). Шведская художница, автор одной из немногих монографий о раннем периоде Вальдена. По ее признанию, супругов разлучила политика. Писатель был четыре раза женат: сначала на немецкой поэтесе Эльзе Ласкер-Шюлер, подарившей Георгу Левину звучное имя Херварта Вальдена и название «Штурм» для его журнала (они развелись в 1911 году); третья его жена – россиянка Эмилия (Мила) Фишман, умершая от туберкулеза в 1931 году, последняя – переводчица Элен Борк (в браке с Вальденом с 1932 года).

[4] *Herwarth Walden:* Künstler, Volk und Kunst. In: Freya Mülhaupt (Hrsg.): Herwarth Walden 1878–1941 – Wegbereiter der Moderne. – Berlin, 1991. S. 76.

[5] *Herwarth Walden:* Vulgär-Expressionismus. In ebd. S. 94, 95 und 97.

[6] Общество друзей Советской России насчитывало в своих рядах 50 тысяч человек. Любопытные официальные сведения о Вальдене содержатся в справке комиссии партконтроля при ЦК ВКП(б), составленной во время слушания его дела в связи с его инициативой перестройки системы преподования немецкого языка в 1934 году: «Член КПГ с 1920 года, (…) по профессии писатель. Имеет свыше 50 печатных работ. С 1920 года до 1927 – пропагандист. С 1928 по 1931 – председатель Союза политэмигрантов “Свободный Балкан” в Берлине. С 1927 – председатель немецкой секции Общества друзей СССР в Берлине (…) Был одиннадцать раз в СССР как делегат Общества друзей СССР и писатель. Последний раз приехал в СССР в 1932 году с разрешения ЦК КПГ. С октября 1933 года работает в МИНЯ в качестве руководителя кафедры немецкого языка. В ВКП(б) еще не переведен. Подал заявление в августе 1932 года. Перевод задержался в связи с партчистской». См. РГАЛИ. Ф. 631 (Иностранная комиссия ССП). Оп. 13. Ед. хр. 66. Л. 1.

[7] См. *Mülhaupt:* Herwarth Walden 1878–1941 (сн. 4), текст на обложке.

[8] *Raoul Hausmann.* Der deutscher Spießer ärgert sich (Der Dada, Berlin 1919). Цит. по: *Freya Mülhaupt:* Herwarth Walden – Die Kunstwende. In: Ebd. S. 19–20.

[9] В письме Ласло Мохоли-Надьи Ивану Хевешу от 5 апреля 1920 г. Цит. по *Mülhaupt:* Herwarth Walden – Die Kunstwende. In: Ebd. S. 20 и 23, сн. 36. Вальдена чаще обвиняли в отсутствии коммерческого таланта. Фрейя Мюльхаупт указывает на то, что он имел обыкновение вкладывать вырученные деньги в новые, рискованные предприятия. Обширная коллекция Вальдена, возникшая в 10-е годы на деньги Нель Рослунд, была передана им под ее управление в 1919 году.

[10] *Герварт Вальден.* В стране большевиков. Предисловие Д. Заславского. Авторизованный перевод с нем. Гуровича. Редактор Оболдуев. – М.–Л.: ОГИЗ, Московский рабочий, 1931. 127 с.

[11] Цит. по *Herwarth Walden:* USSR 1927. In: Der Sturm 18 (1927/28). S. 73 и 75.

[12] *Вальден.* В стране большевиков (см. сн. 10). С. 47–49.

[13] Там же. – С. 75.

[14] Автобиография Вальдена, его письмо в Немецкую секцию, ходатайство о предоставлении комнаты, 1938/39 гг. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 12. Ед. хр. 145.

[15] Фридрих (Фриц) Платтен (1883–1942) – вошел в историю как человек, добившийся пропуска «пломбированного вагона» с Лениным из Цюриха, через охваченную войной Германию, в Петроград. С 1923 года живет в Советского Союзе, в 30-е годы был президентом Немецкого Клуба в Москве. Был арестован в 1938 году и расстрелян в ГУЛАГе в 1942 году. Реабилитирован в 1956 году. (*Прим. ред.*)

[16] Выписка из протокола № 57 заседания партколлегии Московской области от 4.9.1934 г. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 288. С. 8–24.

[17] *Walter Benjamin:* Moskauer Tagebuch. Aus der Handschrift hrsg. und mit Anmerkungen von Gary Smith. – Frankfurt a. M., 1980; по-русски «Московский дневник». – Москва 1997; *Hedda Zinner:* Selbstbefragung (Вопросы самому себе). – Berlin (Ost), 1989. Хедда Циннер (1907–1994) – актриса эмигрировавшая в Москву через Вену и Прагу в апреле 1935 года со своим мужем Фрицем Эрпенбеком, сотрудница немецкой редакции Московского радио и DZZ. Во время войны была эвакуирована в Уфу, в 1945 году вернулась в Германию. (*Прим. ред.*)

[18] Цит. по *Georg Lukács/Johannes R. Becher/Friedrich Wolf u. a.:* Die Säuberung. Moskau 1936: Stenogramm einer geschlossenen Parteiversammlung. Hrsg. von Reinhard Müller. – Reinbek, 1991. S. 322.

[19] *Herbert Wehner:* Zeugnis. Persönliche Notizen 1929–1942. – Halle und Leipzig, 1990. S. 212.

[20] Имеется в виду упомянутая выше чистка внутри секции, закрытый протокол которой разыскал в партархиве ЦК КПСС и опубликовал гамбургский социолог Райнхард Мюллер.

[21] РГАЛИ. Ф. 631 (Иностранная комиссия ССП). Оп. 13. Ед. хр. 66. Л. 1–2.

[22] «Дас Ворт» издавалась Брехтом и Фейхтвагнером; редакторами были Бредель и Эрпенбек. Подробнее о 19 статьях дискуссии об экспрессионизме, об их авторах и роли дебатов см.: *Gerhard Seidel:* Das Wort. Moskau 1936–1939. Bibliographie einer Zeitschrift. – Berlin und Weimar, 1975. Anm. d. Red.

[23] К т. н. «троцкистской» группе, названной в честь сбежавшего из Москвы бывшего военного эксперта Коммунистической Партии Германии Эриха Волленберга, к которой принадлежали актриса Карола Неер и ее муж, румынский инженер Анатоль Бекер – оба были арестованы и осуждены. Смертный приговор для Бекера был осуществлен в 1937 году, Неер скончалась в 1942 году в тюрьме Соль-Илецка.

[24] *Herwarth Walden:* Vulgär-Expressionismus (см. сн. 4). S. 97.

[25] Там же.

[26] Expressionismus-Diskussion in deutschen Sektion des Schriftstellerverbandes.– РГАЛИ. Ф. 631. Оп.12. Ед. хр. 158. Л. 18.

[27] Дискуссия, созданная антифашистскими писателями в Москве – Острая позиция против экспрессионизма. In: DZZ Moskau, 17.6.1938

[28] Лев Копелев при разговоре с автором летом 1992 года в Кельне.

[29] Переписка Немецкой секции ССП. // РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 2. Ед. хр. 83.

[30] *Hugo Huppert:* Ungeduld des Jahrhunderts. Erinnerungen an Majakowski. – Berlin (Ost), 1976. S. 182.

[31] Дело N Р-31674 по обвинению Вальдена Герварта Вильгельмовича. 348 с. // Центральный архив ФСБ РФ. Л. 18–33. Архивно-следственное дело Х. Вальдена почти полностью опубликовано

в мемориальном сборнике архивных документов «Верните мне свободу! Деятели литературы и искусства России и Германии – жертвы сталинского террора». Мемориальный сборник документов из архивов бывшего КГБ (Редактор-составитель В. Колязин). – М., 1997.

[32] *Hedda Zinner:* Selbstbefragung (см. сн. 17). С. 106.

[33] Протокол допроса Вальдена от 9 апреля 1941 г. // Там же. Л. 67–70.

[34] Там же. Л. 132–133.

[35] Там же. Л. 141–143.

[36] Там же. Л. 248.

[37] Дочь Вальдена и Эмилии Фишман. Жила в Москве у своих родственников Акимовых. Умерла в годы войны.

[38] Цит. по: *Колязин.* «Верните мне свободу!» (см. сн. 31). С. 201–203.

[39] Там же. С. 213–214.

[40] *Sina Walden:* Nachricht über meinen Vater // «Europäische Ideen», Heft 14/15 (= Exil in der Sowjetunion). – Berlin, 1976. S. 14–15. Ряд сведений дочь писателя Зина Вальден сообщила автору очерка во время встречи в Берлине в сентябре 1996 года.

[41] Дело N P-31674. Л. 300.

[42] Рецензии Б. Ефимова на пьесы Вальдена, представленные на конкурс одноактных пьес // РГАЛИ. Ф. 652. Оп. 7. Ед. хр. 467–468.

[43] *Ketten.* Schauspiel in einem Akt von Herwarth Walden. // Там же. Ф. 468. Л. 9.

[44] *Die Drehbank.* Drama in einem Akt von Herwarth Walden // Там же. Ф. 467. Л. 10.

[45] Отзывы Гнединой Н. и Рубина В. о произведениях Брехта. Май 1941 г. // РГАЛИ. Ф. 631 (Иностранная комиссия СП). Оп. 13. Ед. хр. 191. Л. 2–6.

[46] *Georg Muche:* Blickpunkt: Sturm, Dada, Bauhaus, Gegenwart. – München, 1961. S. 195.

*Петер Дицель*

# НЕМЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ЭНГЕЛЬСЕ. Эрвин Пискатор, Максим Валлентин и шельмование немецких эмигрантов как «буржуазных националистов»

История Немецкого государственного театра в городе Энгельс (АССР немцев Поволжья) осталась бы навсегда явлением провинциальным, если бы не грандиозный план германского режиссера Эрвина Пискатора[1]: в начале сезона 1936–1937 годов он задумал создать здесь ведущий театр немецкой эмиграции. Благодаря своим знаменитым постановкам 1920-х годов в Берлине, прежде всего, в театрах «Фольксбюне» и «Пискаторбюне» на Ноллендорфплац, он приобрел международную известность режиссера-авангардиста, которая сопровождала его и в советской эмиграции. Однако еще прежде, чем в Энгельсе, удалось сделать первые шаги по осуществлению проекта Пискатора, были устранены почти все первоначальные предпосылки его осуществления. Последующий ангажемент его коллеги по режиссуре Максима Валлентина[2] и еще некоторых других актеров-эмигрантов с самого начала рассматривался как нечто гораздо более скромное, и его сознательно понимали как «реалистическую» альтернативу. Но независимо от того, шла ли речь о большей или меньшей близости к практике, проявлялись ли в действительности большие масштабы, задававшиеся театральной моделью или имело место приспособление к местным условиям, характерное для Максима Валлентина, в конце концов, развитие событий в ужасные 1936–1937 гг., известные под названием «ежовщины»[3], довели любой план до абсурда.

По воле своих отцов-основателей, республика немцев Поволжья, провозглашенная в 1918 году «Трудовой коммуной немцев Поволжья», в 1924-м возведенная в статус автономной советской социалистической республики, должна была стать своего рода «образцовой республикой». На ее примере предполагалось дать всему миру историческое доказательство того, особенно воздействуя на Германию, что новая советская система может открыть перспективу и для народов, корни которых были на Западе[4]. Сегодня можно было бы иронически сказать, что речь шла, образно говоря, о «первом маленьком издании» ГДР, которое, однако, не оказалось несостоятельным, а было ликвидировано в 1941 г. по приказанию Сталина. Это имело следствием гигантское насильственное переселение, стоившее многих жертв. Хотя недоверие ко внукам немецких колонистов, прибывших в Поволжье в 1763 г. вслед за манифестом Екатерины II, сложилось довольно рано, – стоит подумать только о политике насильственной русификации после 1870 г. и о шельмовании по национальному признаку во время Первой мировой войны – с ростом опасности агрессии со стороны фашистской Германии эти предубеждения росли, превратившись в демагогическое злословие. Немцев в СССР изображали в виде «пятой колонны»[5].

*Эрвин Пискатор и Максим Валлентин (портретные снимки начала 30-х гг.)*

В начале 30-х годов республика немцев Поволжья могла продемонстрировать вполне значительные успехи, как экономические, так и, прежде всего, культурные, в том числе касающиеся политики в области образования. В атмосфере советских пятилеток, перегретой вдохновляющим стремлением к выполнению и перевыполнению плановых заданий, там возник утопический проект огромной волжской плотины. Он был связан с полной перестройкой столицы – города Энгельс всего лишь в нескольких километрах от его старого местонахождения, и архитектура города предполагалась современной, в духе Баухауза, вместо прежней традиционной деревянной застройки[6]. Частью этого проекта было и создание социалистического Голливуда на Черном море с ежегодным производством от 700 до 800 фильмов. Параметры такого проекта ставят под сомнение напрашивающийся упрек в том, что Пискатор, выдвигая свои требования, реализация которых была, конечно же, нелегким делом, просто утратил чувство меры. Если же внимательнее рассмотреть планировавшееся развитие в других сферах общественной жизни, то окажется, что проект Пискатора вполне сочетался с ними. Наряду с модернизацией сельского хозяйства – несмотря на временные явления спада как результат губительного голода, вызванного декретированной коллективизацией, – и быстрым ростом промышленности, особое внимание обращал на себя духовно-культурный прогресс. Существенными предпосылками такого развития были опубликованный в 1924 г. декрет об употреблении немецкого как официального языка и языка преподавания[7], введенное в 1930–1931 гг. обязательное школьное обучение и систематическое развитие школьной системы – до основания многочисленных средних специальных и высших учебных заведений. Неграмотность, составлявшая в 1918 г. почти 60 %, смогла быть снижена в 1933 г. до 1,6 %. Совершенно новой задачей оказалось развитие самостоятельного

Lesen Sie auf
den vorhergehen
Seiten unseren gr
Bildbericht Deut
Republik an
Wolga mit Beit
von Heinrich M
Hugo Huppert u
Fritz Brügel

So wird die Hauptstadt der „Republik der Wolgadeutschen". Die jetzige Stadt Engels wird 1947 nicht mehr bestehen, die Wolga wird sie bedecken — aber dann wird schon, einige Kilometer vom jetzigen Ort entfernt, das neue Engels dasein. (1)

# Eine funkelnagelneue Hauptstadt . . .

„Das Gebiet, auf dem die Hauptstadt unserer Republik, Engels, heute liegt, wird in wenigen Jahren unter Wasser sein, von der Wolga überflutet . . ." Der uns das sagt, ist Mitglied des Stadtsowjets und muß es also wissen. Und in der Tat, es ist alles schon vorbereitet, um die Hauptstadt der Republik neu aufzubauen. Durch die Errichtung eines Staudammes bei Komyschin wird der Wasserspiegel der mächtigen Wolga um 25 Meter über den Spiegel der Ostsee gehoben werden. Eine Folge davon wird die Überschwemmung des heutigen Engels sein. Die Stadt wird — einige Kilometer von ihrem heutigen Ort entfernt — auf dem höheren Wolgaufer neu erstehen. Der Plan ist bereits fertig. Er wird uns gezeigt . . . und wir erinnern uns dabei an die Pläne zu Dnjeprostroj zu Beginn der Arbeiten, damals standen wir auch vor Zeichnungen, Modellen und Strichen in der Steppe, wenige Jahre später war der riesige Staudamm da, überflutete der Dnjepr geräumte Dörfer, erhoben sich mächtige Fabriken auf früherem Ödland, leuchteten in neuerbauten Dörfern und Städten die ersten Glühlampen. So wird es auch hier sein.

Eine breite boulevardähnliche Hauptstraße inmitten von Grünanlagen, Theatern, Museen; an ihrem nordöstlichen Ende ein großer Platz, von dem sternartig mehrere breite Straßen abzweigen; dieser ist mit dem Bahnhof, dem Flughafen und dem Flußhafen verbunden. Im Südwesten die Regierungsgebäude und städtischen Anstalten. Die Wohnhäuser vier- und fünfstöckig. Am Wolgaufer, wo die Hauptstraße endet, wird ein großes Denkmal von Friedrich Engels stehen.

Das ist der Plan der neuen Stadt. 1947 wird sie fertig sein. Und nichts mehr wird an die alte Stadt, den früheren Marktflecken Pokrowsk, und an die alte Zeit erinnern.

Neue Geschäfte in der alten Stadt. Auch über sie den 1947 die Wasser der Wolga dahinbrausen. Aber baut trotzdem immer noch neue Fabriken, Gesch und Wohnhäuser, weil man den Engelsern nicht zum will, bis 1947 noch in den alten, unzulänglichen Hol sern zu wohnen und zu arbeiten.

Unten: Die alte Stadt Engels, der frühere Marktfle Pokrowsk. Eine Teilansicht.

Neue Fabriken im deutschen Bauernland an der Wolga. Das Engelser Fleischkombinat im Bau. (4)

*«Свободный немецкий народ на Волге» – пропагандистский репортаж в газете Die Volks-Illustrierte (Прага, 30 июня 1937 г.)*

национального театра, которое едва ли было возможным без заимствований в русско-советском и немецком литературном и сценическом наследии. Основанный в 1931 году Немецкий государственный театр располагал довольно современным зданием с приемлемой сценической техникой, включая вращающуюся сцену, и зрительным залом примерно на 800 мест. Куда более трудным оказался, как тогда говорили, «кадровый вопрос». Несколько актеров из числа поволжских немцев только что вышли из драмкружков или получили скудное образование в немецком отделении Днепропетровского театрального техникума. Поэтому уже во втором сезоне театра 1932–1933 гг. было приглашено несколько так называемых «имперских» актеров из Германии, большинство которых вскоре отказались от ангажемента из-за тяжелых условий жизни и труда и вернулись на родину.

Одним из немногих ранних взлетов в развитии театра была премьера адаптированной Фридрихом Вольфом пьесы Лопе де Вега «Борьба за овечий источник» («Фуэнте Овехуна») 7 ноября 1934 г. Пьесу поставил приглашенный из Москвы режиссер Ханс Лауфер. В своей редакции Вольф обратился к русскому переводу испанского оригинала, считавшемуся в Советском Союзе – начиная с легендарной постановки Котэ Марджанишвили (Марджанова) к 1 Мая 1919 г. в Киеве – своего рода «революционной классикой». Используя клич «Фуэнте Овехуна» (овечий источник), с которым крестьяне этого селения взяли на себя коллективную ответственность за казнь деспотического командора ордена Калатравы, попиравшего все традиционные права деревенского общинного представительства и бесчестившего жен и дочерей селян, Вольф словно обратился к актуальной ситуации Гражданской войны в Испании и к исторической традиции Крестьянской войны в Германии. Замечательным достижением было выступление Херты Йорш в роли главной героини Лауренсии. Она, как и Улла Виммлер[8], прежде занятая в «Юнге Фольксбюне» (Берлин), а также Карл Вайднер, прежде заведующий репертуаром в Лейпциге и член тамошнего «Коллектива молодых актеров», входили в число немногих, с самого начала оставшихся в СССР, актеров из Германии. Позже все трое были «разоблачены» как «враги народа» и арестованы.

17 декабря 1935 г. в статье под названием «Проблемы культуры» Вольф высказался в московской «Дойче Централь-Цайтунг»:

> Год назад по поручению «Немецкого государственнного театра» я обработал пьесу Лопе де Вега «Овечий источник»; она шла в Энгельсе одиннадцать раз. Затем я сформировал минимальный и максимальный план немецкого репертуара для молодых немецких актеров этого театра. К сожалению, я никогда больше не слышал ничего о попытке его реализации[9].

Лишь некоторое время спустя, в январе 1936 г., правительственные инстанции АССР немцев Поволжья установили контакт с Эрвином Пискатором, который тогда как раз находился в Энгельсе в качестве члена бригады сценаристов планировавшегося, но так никогда и не реализованного «Фильма правды» о немцах Поволжья – ответа на фашистский пропагандистский фильм «Страдания фризов», снятый на студии УФА в Берлине[10].

Пискатор давно уже выступал за создание высококлассного немецкого эмигрантского театра в Советском Союзе. При этом, он опирался в важных пунктах на проект «Международного театра», обсуждавшийся уже в 1931 г. в рамках «Международно-

го объединения революционных театров» (МОРТ). Этот театр должен был, с одной стороны, позаботиться о лучших возможностях для культурного развития иностранных рабочих и специалистов в Советском Союзе, а с другой – предоставить временное убежище тем революционным труппам рабочих театров Запада, которые в результате политической ситуации, складывавшейся в их странах, были вынуждены перейти на нелегальное положение или столкнулись с препятствиями в художественном развитии. Логично поэтому, что после фашистского переворота в Германии в поле зрения Пискатора оказались и преследуемые деятели искусства и литературы, в которых он видел непосредственных союзников. Так, в разработанной в апреле 1933 г., по поручению секретариата МОРТ Пискатором и Бернхардом Райхом[11] «Памятной записке о международном театре» отмечалось:

> В Париже, Праге, Вене, в Швейцарии и Дании сформировались значительные эмигрантские центры. Наряду с революционными пролетарскими силами в эмиграции находятся и представители демократической интеллигенции. Упомянем братьев Манн, Фейхтвангера, Арнольда Цвейга, Вальтера Меринга и т. д. Тем самым наша задача заключается в идеологическом объединении сил, распыленных в эмиграции и в продвижении демократических элементов к восприятию революционных взглядов. Ясно, что решаться эта задача должна на месте, но полностью она может быть решена только при условии существования пункта объединения для этой работы. Таким пунктом объединения распыленных сил эмиграции, культурным центром для этих сил должна стать Москва[12].

Пискатор немедленно начал агитировать в пользу своего проекта на самом высоком политическом уровне. Он получил совет от представителя КПГ при Исполкоме Коминтерна в Москве Фрица Геккерта обратиться к Максиму Горькому, который, со своей стороны, установил контакт с наркомом просвещения Бубновым[13]. Тем самым, все дело оказалось между мельничными жерновами разных партийных и правительственных инстанций и в типичной процедуре, когда сначала идет выражение интересов, за ним тянется бесконечная проработка, а в конце вопрос снова ставится под сомнение. Одним из немногих заинтересованных партнеров по дискуссии оказался для Пискатора, как ни странно, пресловуто грозный член Политбюро Каганович[14], в результате чего весь процесс переместился, так сказать, в «приемную» Сталина. В своем письме Кагановичу 15 марта 1934 г. Пискатор обобщил еще раз в «самой сжатой форме (…) преимущества» своего плана. Среди прочего он мог сослаться при этом на:

а) «необычайную международную ценность с пропагандистской точки зрения», которую будет иметь «во времена варварского фашизма сильный, стоящий на высоком художественном уровне немецкий театр», благодаря «одному лишь факту своего основания и существования»;

б) «культурный центр», который мог бы быть создан с помощью такого театра «для здешних немецких (ино[странных]) рабочих и специалистов, а также для культурного развития театрального и литературного движения», но прежде всего, – нужно обратить внимание на этот момент! – «в АССР немцев Поволжья, в Одесской области и т. д.»;

в) «живую связь с немецким языком и литературой», которую этот театр сумеет передать «советским гражданам, понимающим по-немецки и изучающим этот язык (рабочим, студентам, школьникам, лицам с высшим образованием»;

г) вклад, который этот театр мог внести в «сбережение наследства немецких классиков, прежде всего девятнадцатого века», а также, ставя «актуальные пьесы о фашизме», в лучшее понимание исторической и нынешней ситуации в Германии;

д) «функцию связующего звена» между «зарубежной революционной драматургией и советским искусством», которую он мог бы выполнять;

е) место, которое этот театр мог бы предоставить ставшей с течением времени «безродной немецкой революционной драматургии», или, иными словами, драматическому искусству;

ж) возможность для объединения, с помощью этого театра, «лучших актерских сил» эмиграции, до сих пор рассеянных по самым разным местам и изолированных друг от друга и их дальнейшее качественное развитие «в ожидании того дня, когда они смогут снова начать выступать и в Германии»;

з) синергический эффект, возникающий от взаимодополняющей работы театра, кино и радио (радиостанция Коминтерна)[15].

Хотя за это время и представился шанс реализации плана в Ленинграде, от него пришлось отказаться из-за проникнутых ограниченностью затаенных обид бывшего столичного города, которые были присущи учреждениям, важным для решения данных проблем. В Москве же Пискатор оказался в ситуации серьезной конкуренции с Густавом фон Вангенхаймом, деятельность которого также была направлена на создание большого немецкого антифашистского эмигрантского театра[16].

Объединив немецкий агитационный театр «Колонне Линкс», работавший в Советском Союзе уже с 1931 г., с несколькими членами руководившейся им прежде «Труппы 1931», а также рядом других актеров-эмигрантов, он создал новый, пока еще относительно небольшой эмигрантский театральный ансамбль. Этот ансамбль назывался Немецкий театр «Колонне Линкс» и впервые заявил о себе 25 февраля 1934 г., показав в Клубе иностранных рабочих программу из одноактных пьес, вышедших преимущественно из-под пера самогó Вангенхайма (в том числе «Герои в подвале» и современная редакция пьесы Гёте «Гражданин-генерал» под названием «Агенты»). Вангенхайм исходил поначалу из многоступенчатого плана и, привлекая менее яркие силы из других стран эмиграции, в значительной степени опирался на кадры, уже наличествовавшие в стране, проявляя, при этом, готовность к определенным потерям в художественном качестве. К тому же, размеры дотаций, на которые он рассчитывал, по меньшей мере, вначале (около 400.000 рублей), были существенно меньше, чем у Пискатора («дот[ация] как минимум 1 миллион р[ублей]»)[17], что предоставляло и бóльшие шансы на осуществление его проекта. Если еще в своем письме Горькому от 14 сентября 1934 г. Пискатор мог указать на то, что Каганович присоединился к его, Пискатора, «взглядам», в соответствии с которыми «только действительно высокохудожественный немецкий театр может достичь успеха и в финансовом отношении», обращаясь именно «к образованным русским слоям»[18], то уже вскоре после этого окончательное решение было принято в пользу Вангенхайма. Как сообщал последний, на заседании, назначенном на 5 октября того же года в Коминтерне (у Геккерта), представленный Пискатором «большой театральный план» был отвергнут как «не реализуемый в данный момент». Сам же Пискатор был назначен председателем МОРТа – на пост, открывавший перед ним серьезные творческие возможности. Приняв на себя эту новую ответственность, он должен был поддерживать теперь и «многообещающие стремления» Вангенхайма «к реализации немецкого театра»[19]. Но и здесь тоже не было продвижения. Постоянно менялись

полномочия, так что ни одна из принятых директив не стала обязательной и не находилось ни денег, ни помещений. В то время как Вангенхайм переключился на кино (фильм «Борцы»), Пискатор открыл для своего большого проекта эмигрантского театра более благоприятные, как ему казалось, возможности в АССР немцев Поволжья.

Что могло бы быть в Энгельсе иным, более обнадеживающим по сравнению с условиями, которые предлагала столица Москва?

В АССР немцев Поволжья проживало, как-никак, около 600 тыс. человек, примерно две трети которых были немцами; в столице, Энгельсе, насчитывалось около 60 тыс. жителей, из них на долю немцев приходилась примерно половина. Таким образом, здесь можно было найти куда более широкую, чем в Москве, аудиторию, для которой немецкий язык был родным. Далее, необходимость с помощью высокого в художественном отношении немецкого театра ускорить процесс культурного развития, формирования собственной русско-немецкой культуры меньшинства соответствовала широкой общественной потребности. Так, можно было рассчитывать на значительно более высокую степень настоятельно необходимой поддержки, со стороны государства, а также, благодаря статусу автономии, на лучшую дипломатическую защиту при возможных протестах, с германской стороны.

План Пискатора подкупает своей систематичностью. Конкретный анализ недостатков дополняется предложениями по их преодолению на основе сотрудничества. В предложениях, направленных руководству Коминтерна, говорилось:

> Повсюду отмечается, что культурная работа в Республике немцев Поволжья не продвигается должным темпом. С другой стороны, ряд писателей, актеров, режиссеров и т. д., эмигрировавших преимущественно из Германии и живущих в Советском Союзе, не могут найти работы по своему желанию и применению своих способностей. Связь этих двух явлений дала бы благоприятное решение. Во-первых, деятели искусств-эмигранты могли бы найти правильное применение, благодаря чему могла бы быть решена проблема культурного развития в АССР немцев Поволжья в соответствии с темпом развития и политическими потребностями… А третьим важным политическим фактором стало бы формирование кадров и развитие подготовительных стадий для политической и культурной работы в Германии[20].

Последнее, как уже упоминалось, было точкой зрения, фигурировавшей при разработке прежней концепции эмигрантского театра Пискатора. Напротив, новым был взгляд на явно ухудшившуюся тем временем трудовую ситуацию немецких эмигрантов в Советском Союзе.

Немецкий государственный театр в Энгельсе, в котором играли немецкая и русская труппы, должен был в объединенной форме быть поставлен под руководство Пискатора. Благодаря «привлечению новых сил», которые частично уже находились в Советском Союзе, а частично должны были быть обретены в других странах эмиграции, предполагалось, – так формулировалась программная установка – создать «немецкий театр высокого уровня». Наряду с представлениями в Энгельсе следовало «ежегодно устраивать четырех-пятимесячные гастроли в Москве, Ленинграде, Киеве и Харькове»[21].

Принятие на себя руководства Пискатор связывал с условием: одновременно с «перестройкой и развитием» театра должен был возникнуть «культурный центр,

комбинат культуры». Этот «комбинат» включал кинофабрику «производительностью четыре-пять фильмов в год», которую еще предстояло создать, а также «театральный техникум». Тем самым, должно было гарантироваться, не в последнюю очередь, «правильное», т. е. продуктивное, использование предусматривавшихся режиссером «высококвалифицированных актеров», что без финансовой перегрузки театра обеспечивало бы им «соответствующий доход»[22]. «Почему, – спрашивал Пискатор в другом варианте проекта, – в этом проекте столь важна связь с фильмом, почему она имеет столь принципиальное значение?» – и сам сразу же отвечал: потому, что фильм сбывается и продается во всесоюзном и всемирном масштабе, он гарантирует рентабельность всего комбината и позволяет театру привлекать выдающихся актеров, гонорары которых обеспечить одному театру будет не по силам[23].

В письме от 3 февраля 1936 г. сотруднику ЦК ВКП(б) Ангарову Пискатор еще раз обосновал эту связь:

> В немецком театре, единственном ведущем немецком театре в Советском Союзе, должны быть естественно сосредоточены лучшие актёрские силы. Но он не сможет обслуживать один только город Энгельс… Для того, чтобы суметь максимально использовать этих актёров, необходимо создать соответствующую базу. Поэтому я предложил построить на месте кинофабрику. (Решающим значением для кинофабрики является не здание, а творческие силы. Голливудской же фабрике в Крыму угрожает опасность остаться без актёров, так как последние будут сосредоточены, главным образом, в Москве и Ленинграде)[24].

Но именно производству кинофильмов, которого требовал Пискатор, и противостояли самые большие трудности. Так, Борис Шумяцкий, начальник Главного управления кинопромышленности, дал ему понять, что «теперь нельзя думать о том, чтобы выдавать деньги на маленькие кустарные предприятия» – теперь, «когда хотят построить на юге киногород», как раз тот самый советский Голливуд, о котором уже шла речь[25]. Для Пискатора это, правда, означало только, что не было правильного видения ни условий, ни политического значения проблемы. Условия же заключаются в том, что немецкие театральные силы сконцентрированы там, а не в городе нового Голливуда. Политическое значение заключается в том, что производителем является Автономная республика (немцев Поволжья).

Он добавлял:

> Театр и кино должны быть объединены в комбинат, причем они должна зависеть друг от друга и в отношении расходов и доходов. Кинофабрика должна при всяких обстоятельствах субсидировать театр, а театр должен квалифицировать свои силы и предоставлять их кинофабрике[26].

В то же время Пискатору пришлось отбиваться и от принятия на себя кинопроизводства «Межрабпом-фильма»[27], с которым он и без того после своих «Рыбаков» (фильм «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре») находился в постоянном конфликте. Конфликт этот обострялся еще и выступлением Пискатора за создание «комбината культуры» в Энгельсе, а также за основание международной компании по производству кинофильмов, которая находилась бы на Западе и финансировалась бы западными кредиторами. Производству антифашистских фильмов следовало придать более нейтральную уже по местонахождению этого процесса, лишенную идеологической за-

данности со стороны Москвы позицию, а, тем самым, и бóльшую эффективность в соответствии с политикой Народного фронта. Пискатор обоснованно опасался, что, если «Межрабпом построит фабрику на собственные средства и поставит техническую аппаратуру, то он будет претендовать также и на весь доход, и театру, таким образом, не останется ничего»[28].

Предложенная Пискатором концепция «комбината культуры» охватывала также и писателей. Те на свой лад, не в меньшей степени, чем работники театра, переживали последствия изгнания, так что следовало настоятельно рекомендовать – за немногими выдающимися исключениями – ощутимое улучшение условий их труда и жизни. В связи с этим Пискатор подчеркивал:

> Они найдут здесь близкие им темы, которые могут быть осмыслены применительно как к Советскому Союзу, так и к Германии. Они обрели бы здесь родную почву под ногами и их существование, лишенное корней, прекратилось бы. Их художественное творчество было бы вновь оплодотворено, а художественные результаты значительно повышены[29].

Наряду с работой в театре, участием в производстве фильмов и преподаванием в театральном техникуме им предоставлялось сотрудничество в основанном уже в 1923 г. и известном многочисленными публикациями Государственном издательстве АССР немцев Поволжья. Кроме того, следовало положить начало «изданию первоклассного международного литературного журнала»[30]. В своего рода письме-приглашении, разработанном Пискатором для коллег-актеров из Цюриха, сотрудничество с которыми он предусматривал, говорилось даже, что «такие писатели, как Пливье, Брехт, Вайнерт, Бехер, Отвальт (…) заявили о своей принципиальной готовности поселиться в Энгельсе»[31].

Понятно, что преимущества плана Пискатора могли «сработать» только при его комплексном осуществлении, т. е. всех частей плана. Отсутствие хотя бы одного компонента влекло за собой серьезное нарушение всей структуры. Только всесторонняя взаимосвязь и соответствующая политика в осуществлении ангажемента гарантировали желаемое художественное качество. Пискатор не допускал сомнений в том, что, «несмотря на свое локальное укоренение», такой вновь создаваемый культурный институт будет иметь интернациональный характер благодаря привлечению мастеров с именами, пользующимися международной известностью. Необходимо поэтому осуществление плана в его целостности, ибо, в случае неудачи реализации отдельных частей, работа других составляющих будет затруднена или невозможна[32].

Пискатор самокритично сформулировал аспекты, по которым следовало проверить весь проект, если с самого начала не рассматривать его международное измерение. В его рукописных примечаниях под заголовком *«Вопрос о потребностях»* сказано:

> Может быть, такой театр <u>действительно</u> неинтересен для Энгельса, слишком велик, обременителен и т. д. (EPP)

Решение о реализации проекта зависело не только от соответствующих инстанций АССР немцев Поволжья, обещавших Пискатору «всемерное содействие в реализации» его «проекта, рассматриваемого в виде целостного плана» и заявлявших о своей «готовности» «построить новый театр, новую кинофабрику и новый поселок

для сотрудников комбината культуры»[33]. Пискатор обратился, кроме Кагановича и других, даже к самому Сталину. В своем послании, адресованном «Центральному Комитету ВКП(б)/Иосифу Виссарионовичу Сталину» и направленном вместе с сопроводительным письмом от 27 января 1936 г. в «секретариат товарища Сталина»[34], он подробно излагал свою концепцию, текст которой в значительной степени совпадает с уже цитированными здесь предложениями в адрес руководства Коминтерна[35]. Сталин должен был иметь возможность использовать этот документ в назначенной на тот же день беседе с секретарем Саратовского обкома Криницким. Пискатор заканчивал свое письмо следующим образом:

> Я представляю вам этот план в надежде, что, если мнение ваше будет положительное, то реализация этого плана будет проводиться быстрым темпом.
> Что касается меня, то излишне подчеркивать, – это само собой разумеется – что я отдам все своим силы для осуществления поставленной передо мной задачи[36].

Как представляется, сложности проявились, наряду с вовлечением производства кинофильмов, прежде всего, в отношении бюджетного планирования. К примеру, Пискатору в уже цитировавшемся письме Ангарову от 3 февраля 1936 г. пришлось полемизировать против того, «что смета для Энгельса не может превышать суммы в 900.000 руб. Это значит, что самая высокая зарплата для пяти наиболее высококвалифицированных актёров составит 650 рублей в месяц. Совершенно ясно, – возражал Пискатор – что на такой оклад квалифицированные немецкие актёры … не поедут»[37].

Он обещал, например, Леонхарду Штеккелю: «Ваше жалованье составит около 1.500 рублей, тогда как Ваша жена будет получать особое жалованье, так что для Вас обоих оно составит от 2.000 до 2.500 рублей»[38]. А в его «детализации», приложенной к «Плану создания немецкого культурного центра в Энгельсе», были перечислены пять актерских должностей с ежемесячным жалованьем в 1.200, 1.000, 630 и 450 рублей, десять с 324 и семь с 216 рублями жалованья[39].

Но самый большой потенциал конфликта скрывался в предполагавшейся численности высококвалифицированных актеров-эмигрантов по сравнению с труппой, состоявшей из немцев Поволжья. В своих воспоминаниях «Наперегонки со временем» Бернхард Райх рассказывает о впечатлениях, которые оставила у него и у Пискатора совместно посещенная ими репетиция комедии Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно» во время обучения в Москве актеров из АССР немцев Поволжья:

> Сплошь новички, малое умение, недостаток очарования. Разве только закрыть оба глаза – тогда можно было бы занять двух из пяти актеров в небольших ролях. Произношение было хуже некуда; по всей республике едва набирался десяток людей, которые могли говорить на нормальном немецком языке, без диалектной окраски[40].

Кстати, о произношении. Драматург Андреас Закс, поволжский немец, заметил на сей счет: «Почти у всех немецких актеров-эмигрантов было гортанное «р», к которому немцы Поволжья питали и питают особую антипатию. Это, на мой взгляд, было единственным, что не нравилось зрителю»[41]. Пискатор же так оценивал в своих записках отношения между актерами из эмигрантов и поволжских немцев:

> Немцы, а именно, немецкие социалисты, антифашисты, создают театр, где говорят по-немецки, театр немецкой культуры. Само собой разумеется, что внутри этого театра не может быть разделения между представителями местного населения и иностранцами. (…) Тот, кто лучше работает, лучше играет, будет иметь и большее право на решающую роль. (EPP)

Декларированное им «свободное социал(истическое) соревнование»[42] между обеими группами происходило, разумеется, с учетом, в высшей степени, различных профессиональных предпосылок. При этом, желаемое международное влияние, а также сохранение и дальнейшее развитие методических и творческих стандартов, имевшихся в немецком театре уже до изгнания, не могли допустить ослабления критериев качества.

В списке с «характеристиками дирекции, художественного руководства, художников и актеров, которые могут быть использованы в Немецком театре в Энгельсе»[43], хранящемся в фонде Коминтерна, названы следующие имена: сам Пискатор в качестве руководителя, Бернхард Райх как заместитель Пискатора, а также Леон Купферман (администратор, занимавший ранее эту должность в труппе «Коллектив Пискатора» в Берлине). В числе актеров названы Карола Нейер, Александр Гранах и Эрнст Буш[44] (все трое уже жили в Советском Союзе), Йозеф Альмас (в прошлом работал в берлинском театре «Фольксбюне», затем был в изгнании в Моравской Остраве, а в рассматриваемое время занятый в кино в Москве) – кстати, с пометкой «принят», Хелене Вайгель, которой не нашлось возможностей работы рядом с Брехтом во время его скандинавского изгнания, а также из числа «видных» эмигрантов из театра «Цюрхер Шпильхаус» – Вольфганг Лангхофф (побывавший в национал-социалистском «превентивном заключении» и в концлагере Бёргермоор), Леонхард Штеккель и его жена, танцовщица Йо Михали, и Эрвин Кальзер. Другая диспозиция[45] включала, кроме того, еще Карла Парила и Герберта Бергхофа; правда, последний был сразу же вычеркнут снова, как, кстати – в отличие от первого списка – и Йозеф Альмас.

Наконец, в «Характеристиках, которые еще следует написать»[46], речь идет о так называемых «днепропетровцах», т. е. об отборе лучших сил ликвидированного незадолго перед тем Немецкого областного театра в Днепропетровске. В этом документе назывались имена Максима Валлентина, Германа Грайда, Герхарда Хинце, Фридриха Рихтера, а также его жены Эмми Франк, Курта Трепте и Лео Бибера. Кроме них были упомянуты бывшая танцовщица Ханни Шмиц-Роденберг, обратившая на себя внимание, в особенности, исполнением песен Брехта-Эйслера к спектаклю «Мать» из программы немецкого театра «Колонне Линкс» в Москве, и Беата Финк, жена Йозефа Альмаса. Интерес вызывали, далее, чешский немецкоязычный актер Фердинанд Харт, исполнитель героических ролей, и комик Отто Вальбург. Среди театральных художников «принимались во внимание» Тео Отто, Джон Хартфильд и Борис Эрдман (советский театральный художник и декоратор, владевший немецким языком). Прилагавшийся лист с пометкой *«Совершенно секретно»* в виде так называемого приложения отмечал по поводу Эрдмана, что его брат, драматург Николай Эрдман, «3 года назад был приговорен к временной ссылке». О Кароле Нейер сказано, что ее муж, румынский инженер немецкого происхождения Анатоль Беккер, «был арестован несколько недель назад. Причины нам неизвестны»[47]. Это произошло 12 мая 1936 г., а вскоре после этого, 25 июля 1936 г., последовал и арест

Каролы Нейер. После примерно полуторагодичного пребывания в предварительном заключении она была 16 июля 1937 г., якобы за выполнение поручений бежавшего в 1934 г. из Москвы и к тому времени жившего в Праге «троцкиста» Эриха Волленберга, приговорена к десяти годам тюрьмы. Она умерла в 1942 г. в Соль-Илецком лагере во время эпидемии тифа[48].

Но Пискатор как в своей переписке, так и в записях учитывал гораздо более широкий круг кандидатов.

Все немецкие эмигранты – актеры театра и кино, находившиеся тогда в Советском Союзе, сталкивались с большими проблемами получения ангажемента. Многие вполне серьезно задавались вопросом, возможна ли для них дальнейшая работа по профессии, а если да, то какая. Кроме Немецкого государственного театра в Энгельсе, единственной возможностью трудоустройства оставался Немецкий театр коллективистов в Одессе под художественным руководством Ильзе Беренд-Гроа[49], куда после ликвидации театра в Днепропетровске перебрались, кстати, уже упоминавшиеся Герхард Хинце и Лео Бибер, а также Эрвин Гешоннек. Правда, вскоре они были высланы оттуда. Немецкие актеры-эмигранты, занятые в кино, были уволены, самое позднее, в конце 1936 – начале 1937 гг.

Но и многие немецкие актеры, находившиеся в эмиграции в западноевропейских странах, все больше ощущали ненадежность почвы у них под ногами. Другие страдали – как часто происходило при репетиционном периоде всего лишь в несколько дней и едва ли не еженедельных премьерах новой пьесы в театре «Цюрхер Шпильхаус» – от неприемлемых условий труда или недостаточных возможностей художественного развития.

Так, Леонхард Штеккель писал Пискатору 10 сентября 1936 г.:

> Мы (моя жена и я) отдаем себе отчет в чудовищных трудностях. Мы понимаем, что надо отделиться от Европы, что нашей маленькой семье придется преодолеть настоящую гору переворотов. Но мы в принципе решились, несмотря на неподдающиеся сейчас расчету соображения, ехать туда.

Штекекелю казалось особенно важным «очень долгосрочное обязательство с хорошими договорами, так как мы», – чего ему обоснованно приходилось опасаться, – «ни в коем случае не сможем больше вернуться». Он надеялся, кроме того, на приезд актеров из «Цюрхер Шпильхаус» – Тео Отто, Эрвина Кальзера, а также Вольфганга Хайнца и его подруги Ангелики Арндт. Со своей стороны, он рекомендовал Пискатору еще Отто Валльбурга и возвратившегося из Германии в Вену Карла Парилу – «молодого, первоклассного, современного актера»[50]. Несколько по-иному, чем Штеккель, – колеблясь между неизбежной необходимостью прощаться и одновременным страхом перед началом нового – высказывался и Эрвин Кальзер:

> Я, собственно, могу сказать только то же самое. Так как я сознаю, что мы здесь строим «на песке», который ежедневно может унести ветер. И что наши мысли вновь и вновь – к тому же по многим причинам! – обращаются «туда». А о том, что тем не менее совсем нелегко сказать «прости» Западной Европе, где, собственно, находятся наши корни, мне нет необходимости говорить Вам – все мы это знаем. И все же моя готовность поехать туда и с Вами и другими, относящимися к одному сообществу, создавать немецкий театр, очень велика[51].

Даже Брехт, обычно весьма рационально обдумывавший предложения, которые ему делались, всерьез впал в мечтания: «Я нахожу великолепной создание большого экспериментального театра, в котором мы сможем снова начать и продолжить наши театральные исследования»[52].

Хотя Пискатор на это и не возражал, он позже все-таки уточнил в письме Отто Валльбургу: «Театр в Энгельсе не должен быть специальным театром, каким была моя сцена в Берлине, но нам, скорее, нужен репертуар, как хорошему городскому театру. Вот в программе и будут веселые пьесы и комедии»[53].

Он благоразумно не хотел в первый же сезон «отваживаться»[54] на постановку таких пьес, конечно, предъявляющих слишком высокие требования к публике в Энгельсе, как «Круглоголовые и остроголовые» Брехта.

Первоначально вступление Пискатора на пост директора планировалось на 15 июля 1936 г. Но, будучи президентом МОРТа, он должен был решать задачи, возникавшие перед ним на этом посту. 5 июля Пискатору предстояло отправиться в длительную поездку по Западной Европе. Среди прочего на международной конференции в Праге в конце августа следовало принять решение о мерах по дальнейшей реорганизации МОРТа. Меры эти предусматривали создание самостоятельной организации профессионального театра, отделенной от прежней основы рабочего театра. Задачей этой организации, в соответствии с идеей Народного фронта, должна была стать исключительно защита культуры от фашизма и реакции. Ее резиденцией предполагалось сделать не Москву, а Прагу. На состоявшемся в начале сентября Брюссельском всемирном конгрессе в защиту мира велись переговоры о включении акций МОРТа в движение за мир, в частности, в соответствии с идеей Пискатора, должны были устраиваться большие праздники мира на полях битв Первой мировой войны во Франции и Бельгии. (Кстати, его позднейшая инсценировка «Войны и мира» Толстого уходит корнями в этот замысел). Нет сомнений в том, что это была важная, в высшей степени обязывающая, с международной точки зрения, задача, избежать решения которой Пискатор не хотел и не мог. Если Бернхард Райх несколько позже упрекал его:

> Твои знакомые и друзья качают головой – мол, можно ли так поступать? А я убежден, что это очень повредит тебе. Надо было заранее подумать о том, можно ли делать одновременно две вещи вместо того, чтобы не замечать их несовместимость в самый разгар работы[55],

– то такая позиция могла казаться справедливой при взгляде из Энгельса, но не с учетом необходимости создавать организационные структуры, более открытые, с точки зрения политики союзов, и более эффективные в борьбе против фашизма.

Сначала Пискатор послал в Энгельс Бернхарда Райха, чтобы по завершении своей международной миссии последовать за ним в конце сентября – начале октября. И без того до конца декабря планировалось своего рода время до начала сезона, на протяжении которого в пьесах, разученных советскими режиссерами во время обучения в Москве («Двенадцатая ночь» Шекспира и «Семья Волковых» Давурина), определенные ведущие роли должны были быть замещены сначала актерами-эмигрантами, качество игры которых следовало улучшить, прежде всего, с точки зрения техники языка. Между тем Райх обнаружил в Энгельсе катастрофическую ситуацию и отсутствие денег, запутанность хозяйства, плохие условия труда и во-

пиющее недофинансирование театра. Он дал следующий отчет о состоянии дел Маргарите Лоде, жене Артура Пика, работавшей в московском секретариате МОРТа:

> Ситуация в Э(нгельсе) необычайно трудна. Например, на июль–август денег уже нет, и обеспечение денег на необходимые расходы будет стоить большого труда. Пискатор приказал установить в Энгельсе бюджет, не соответствующий действительности. Во-первых, израсходовано гораздо больше из дотации, чем указано. Во-вторых, расходы установлены на слишком низком уровне. Он, например, заявил там, что высококвалифицированного актера можно получить за 600 рублей, и они удивляются, если я называю другие суммы. […] Хозяйство театра в полной неразберихе. За 6 месяцев, на протяжении которых они [актеры] только учились, израсходованы 2/3 дотации[56].

Когда Райх 9 августа получил первое сообщение от Пискатора, он сигнализировал, прежде всего, о личных трудностях. К тому же, описывая принципиальную ситуацию, изложение которой не поддавалось открытой пересылке по почте, Райх опустил главное определяющее слово: «условия», писал он, лишь «très tragbar»[57] («очень (*фр.*) приемлемые»), предикативное прилагательное «schwer» («трудно») отсутствует. Пискатор так интерпретировал послание: «Très я все-таки перевел как “весьма”, т. е. все же лучше, чем ожидалось»[58]. Тем более сбило его с толку и просто шокировало лаконичное сообщение Райха, содержавшееся в рукописном дополнении: «Кстати, сегодня я подал заявление об увольнении. На полном серьезе»[59]. Сначала Пискатор подумал, что Райх недоволен своим жалованьем, и воззвал к чувству его политико-моральной ответственности. Но так как Райх в то же время указал на свое письмо Маргарите Лоде, включая просьбу передать письмо и Пискатору, действительные причины не могли оставаться скрытыми. Процесс увольнения Райха ускорился, когда он в середине августа неожиданно сильно заболел тропической малярией. Поэтому в ходе переговоров об ангажементе Пискатор указал и на этот риск – как в случае Леонхарда Штеккеля: «Весной Волга выходит из берегов, а возвращаясь, оставляет мертвые протоки и болота, в которых водятся малярийные комары. Борьба с ними становится каждый год активнее, а опасность меньше. Сегодня, во всяком случае, она еще существует»[60].

Рассчитывать на возвращение Райха в Энгельс до октября больше не приходилось. Своим заместителем он оставил приехавшего между тем Фридриха Рихтера, который, помимо главной роли в «Семье Волковых», взял на себя еще и роль Мальволио в «Двенадцатой ночи» и, вместе со своей женой Эмми Франк, преподавал фонетику актерам из поволжских немцев. Райх и Вехтер, председатель комитета по делам искусств АССР немцев Поволжья, побуждали Пискатора скорее вернуться. «Иначе все пойдет к черту», – нацарапал Райх от руки в письме, напечатанном на машинке[61]. В беседах автора этой статьи с Райхом в июне 1970 г. в Мурьяни под Ригой тот вновь и вновь подчеркивал, какое убеждающее воздействие исходило от Пискатора на его визави и как ему поэтому не хватало режиссера в трудных переговорах с правительственными учреждениями АССР немцев Поволжья. Между тем и Пискатор, как писал он сам, был «поставлен в известность» другой стороной о том, что ничего не одобрено, что никто не заботится о Рихтерах и сомнительно, что они вообще получат деньги, что и остальным не выплачено жалованье и т. п.

Он энергично требовал информации:

> К сожалению, ты в своем письме ничего не пишешь об этом. И о своих перспективах тоже ничего. Признаны ли договоры, которые мы заключили? Какой репертуар ты хотел реализовать? Какие репетиции теперь начинаются? Я ничего не знаю.

Даже если он, как предусматривалось, и приедет в начале октября, он сумеет сделать это только в том случае, «если дело в Э(нгельсе) имеет полную перспективу на успех. Если нет, то было бы просто позором прерывать переговоры, которые я веду здесь»[62]. В своем следующем письме от 1 октября 1936 г. Райху после своих уже цитированных резких жалоб на «несовместимость» миссии МОРТа с делами в Энгельсе[63], Пискатор прибег к еще более решительной аргументации:

> Ты ведь совершенно точно знаешь, что мне в одиночку театр не поднять. А двух-трех актеров, которых мы до сих пор заняли, ни в коем случае недостаточно для преобразования. Да еще и ты вместо того, чтобы информировать меня о действительном состоянии проблем, рассказать все как есть, постоянно требуешь моего возвращения. Я прошу тебя поскорее позвонить отцу Греты [Маргариты Лоде – свёкру, имеется в виду Вильгельм Пик.– *П.Д.*] и обсудить с ним дело[64].

Пик не оставил Пискатора в неведении. 8 октября 1936 г. он писал, что принятое им на себя «поручение относительно Энгельса пока не может быть выполнено, отчасти из-за несостоявшихся ремонтных работ, но отсутствуют и другие предпосылки для того, чтобы ты мог начать работу». Призыв Райха и Вехтера вернуться «вызван, очевидно, чрезмерной рьяностью». О личной близости между Пиком и Пискатором, работу которого вполне умел ценить председатель КПГ, свидетельствует тот факт, что он, учитывая роковое развитие политических событий в Советском Союзе, буквально заклинал режиссера: «Я навел самые серьезные справки и решительно против того, чтобы ты приезжал сюда в такой обстановке».

Пискатор оказался, однако, лишен сферы деятельности не только в Энгельсе, что он, так или иначе, даже предвидел, но и в МОРТе. Этого он не принимал в расчет ни в малейшей степени. «Имеются очень разные мнения о том, как дальше формировать работу в этой сфере, – аргументировал Пик, – так что было бы действительно безответственным расточительством твоего времени и твоих способностей, если бы тебе пришлось и дальше заниматься этой работой»[65]. А так как МОРТ был распущен лишь несколькими месяцами позже, в январе 1937 г., это имело отношение уже не столько к соображениям Пика на перспективу, сколько, скорее, к отказу от политики Народного фронта как таковой. Если решающее письмо Пика Пискатору датируется 8 октября, то соответствующее решение было, вероятно, принято уже значительно раньше.

4 сентября 1936 года Пик писал Ангарову: «Я совсем недавно говорил с тобой о деле Пискатора, и мы оба сочли, что разрешать ему возвращаться в Советский Союз нецелесообразно».

В это время приходилось еще опасаться, что Пискатор может последовать телеграмме Вехтера, запросить визу на возвращение и, как писал Пик, «снова вернуться сюда»:

> У меня на сей счет большие сомнения, так как политическая позиция Пискатора очень подозрительна, в особенности в том, что касается троцкистских связей и преступных дейст-

вий. Следовало бы очень серьезно разобраться в том, какое отношение имеет Пискатор к этим делам. Я не верю, что он очень уж хорошо выглядел бы в этом случае. Именно положение в Энгельсе дает тем больший повод не посылать Пискатора туда[66].

Вильгельма Пика еще укрепила в этом мнении Юлия Анненкова, тогдашний главный редактор московской немецкой газеты «Дойче Централь-Цайтунг». Пискатор обращался и к ней, чтобы конкретнее узнать о перспективах в Энгельсе и открыто изложил ей свои внутренние сомнения:

> […] так как и здесь наблюдалось очень хорошее движение – Брюссельский конгресс мира был большим успехом и будет иметь важные и серьезные последствия, которым я считал бы необходимым посвятить часть моей работы. Только если наша работа в Э(нгельсе) сможет действительно возыметь масштабы, которые мы себе представляли и о которых мы говорили, я смогу, и по мнению наших друзей, заняться этим[67].

8 сентября Анненкова проинформировала Вильгельма Пика о письме Отто Хеллера из Праги, в котором он сообщил ей, «что в связи с процессом против троцкистско-зиновьевских контрреволюционеров настроение Эрвина Пискатора политически абсолютно недопустимо». Она заканчивала словами: «Я думаю, факта политически вредного настроения достаточно, чтобы сделать соответствующее заключение по поводу Пискатора»[68]. «Подобное сообщение» было, скорее всего, представлено сыном Пика, который был ближайшим сотрудником Пискатора по делам МОРТа и его неоднократным спутником в поездках на Запад, как говорилось в совершенно секретном письме Мертенс, т. е. Греты Вильде, от 14 сентября 1936 г. в Отдел кадров [Исполкома Коминтерна. – *Прим. перев.*]. И в этом документе, вполне в соответствии с тем, что говорил отец Артура Пика Вильгельм, высказывалось соображение против выдачи Пискатору въездной визы, наряду с указанием на предложение Политбюро ЦК КПГ, в соответствии с которым Пискатор, «возможно, отправится в Голливуд, в чем и состоял его давний план»[69].

Первый показательный процесс против Каменева, Зиновьева и других, состоявшийся 19–24 августа 1936 года, поставил самого Вильгельма Пика в крайне затруднительное положение, ибо на этом процессе был приговорен к смертной казни как якобы потенциальный убийца Сталина по поручению Троцкого один из ближайших соратников Председателя КПГ Фриц Давид. Не ставя обвинения под сомнение, Пик в письме Вильгельму Флорину от 23 августа сообщил о широко задуманном «очень серьезном просвечивании всей нашей эмиграции». Предполагалось решить вопрос о том, «кто еще может остаться в эмиграции, а кто должен вернуться в страну», то есть в национал-социалистическую Германию. При этом принимались во внимание примерно «2/3 эмигрантов». Неопределенность их судьбы расценивалась как нечто куда менее серьезное, нежели «необходимая бдительность», требовавшаяся для того, чтобы, как утверждалось, «сделать невозможной такую преступную деятельность»[70]. Конечно, это «обезвреживание» спасло Пискатору жизнь. Оно не соответствовало характеру репрессий, практиковавшемуся Сталиным и сводившемуся к уничтожению людей, и заключалось лишь в смещении с поста. В то же время, это было политическое отлучение, исключение из движения, которому режиссер до тех пор отдавал все силы. Для этого нашлось особое обозначение, которое услышал Максим Валлентин, запросив от Коминтерна «четкой позиции по поводу Пискатора». Ему сказали: «Отцеплен»[71].

Райх, кстати, еще раз ненадолго поехал в Энгельс, где он 29 декабря 1936 г. руководил премьерой пьесы Фридриха Вольфа «Троянский конь». Срок премьеры был примерно на две недели раньше срока в московском ТЮЗе (Театре юного зрителя), который, собственно, и был заказчиком пьесы. «Это был большой успех для нас с Вольфом»[72], – сообщал Райх Пискатору, а Вольф, очевидец спектакля, писал Пискатору: «В Энгельсе были настоящие овации, напоминавшие о наших лучших годах в Берлине – в 1928–1931»[73]. С ним работали Эмми Франк и Фридрих Рихтер[74], Курт Трепте[75] и Ли Давид[76] – несколько опытных актеров-эмигрантов, рядом с которыми формировались равные по силам молодые кадры из поволжских немцев. Н. Стальский, влиятельный культурный функционер в АССР немцев Поволжья, так писал в своем общем обзоре сезона:

> Режиссер Райх создал постановку, проникнутую политической и художественной напряженностью. […] «Троянский конь» сохранится, несмотря на некоторые слабости постановки и пьесы (определенный схематизм, отсутствие фигуры коммунистического вождя, слабое изображение фашистского противника), как первый значительный успех театра[77].

С начала планирования своего проекта в Энгельсе Пискатор принимал во внимание возможность работы там также Максима Валлентина. В его пользу говорил, не в последнюю очередь, опыт художественного руководителя пусть и недолговечного, но, действительно, успешного Немецкого областного театра в Днепропетровске. Но именно этот опыт и превратил Валлентина из защитника концепции эмигрантского театра Пискатора в одного из ее антиподов. Что же произошло? По воле украинских органов власти, связавшихся с Пискатором как с председателем МОРТа, Немецкий областной театр в Днепропетровске должен был «быть первым немецким театром, систематически создаваемым в С(оветском)С(оюзе)»[78]. Пискатор отобрал для этого соответственно большое число квалифицированных кадров из эмигрантов, которых надлежало собрать из других стран изгнания, в особенности из Чехословакии. Театр начал свою работу с 1 мая 1935 г. Максим Валлентин убедился, однако, уже вскоре после его приезда в июне, что имевшихся финансовых средств вовсе не было достаточно. Когда после этого в тресте днепропетровских театров, в который входила и немецкая сцена, возник большой дефицит, распределенный по всем театрам, труппа оказалась перед необходимостью значительного сокращения своих кадров. Репертуар, ориентированный преимущественно на большие пьесы, занимающие целый вечер, был переориентирован на малую форму, т. е. одноактные пьесы, художественное чтение и песни. Выдвинутый сверху, провозглашенный на производственном собрании 29 апреля 1936 г. лозунг гласил: «Тот из иностранных товарищей, кто уйдет из театра, облегчит наше положение и реорганизацию»[79]. Валлентин, обративший на себя внимание в Днепропетровске, особенно своей инсценировкой пьесы Клейста «Разбитый кувшин», как многообещающий и талантливый режиссер, был одним из первых, кто последовал этому призыву. В конце концов, театр был полностью ликвидирован после всего лишь полутора лет работы. В своем заявлении о переводе в ВКП(б) (октябрь 1936 г.) Валлентин подытоживал:

> В Днепропетровске я столкнулся с деятельностью, крайне небрежно организованной нашими немецкими тов(арищами). Корни этого нездорового состояния не были мне сразу же ясны, и я, намереваясь таким образом устранить трудности, поддерживал сначала полити-

ку, в существенной мере эти трудности и вызвавшую. Эта поддержка выразилась в энергичном выступлении в пользу того, что было начато уже Пискатором, и в ошибочно широком привлечении, с моей стороны, зарубежных сил, что оказалось в политическом отношении чрезвычайно плохо. Самое же плохое заключалось в связанной с полным незнанием советской ситуации и отсутствием воли сначала оценить ее, объективно авантюристической политике, которая проводилась исключительно с иностранных точек зрения и имела следствием перегрузку области театральным предприятием, для которого сегодня еще нет экономическ(ого) и, возможно, никогда не будет политического базиса в СССР. По прошествии краткого времени я осознал эти опасности и сориентировал всю мою деятельность (правда, первоначально при сильном сопротивлении местного руководства треста и соответств(ующих) правит(ельственных) и партийных инстанций) на форсированную подготовку кадров[80].

Если у Пискатора на первом месте стояла антифашистская задача эмиграции, не оставляющая, при этом, за скобками интересы советских немцев, то у Валлентина исходная позиция оказалась обратной. Осуществлявшийся им кадровый подбор ограничивался немногими ведущими артистами, которые одновременно должны были обучать актеров и воспитывать труппу. Таким образом, и немногие слишком высокие, как утверждалось, гонорары, запрошенные Валлентином и воспрепятствовавшие совместным действиям в Энгельсе, к которым стремился Пискатор, могли быть, вероятно, показателем совершенно различных подходов обоих к делу привлечения, точнее, вовлечения эмигрантов в работу.

Сначала Валлентин получил только договор в качестве приглашенного режиссера на инсценировку «Норы». Премьера пьесы Ибсена состоялась 2 февраля 1937 г. и могла быть, бесспорно, признана успешной. Впечатляющие образы своих персонажей удалось создать особенно Ли Давид в главной роли, Фридриху Рихтеру (Хельмер), Курту Трепте в роли частного поверенного Крогстадта и Эмми Франк, игравшей няньку Анну-Марию. Лоренц Лохтхофен, критик выходившей в АССР немцев Поволжья газеты «Нахрихтен», говорил о «продуманной до мельчайших деталей ненавязчивой режиссуре» и о невиданной до сих пор в таком качестве в *Немецком государственном театре* «в высшей степени целостной в художественном отношении постановке»[81]. После этого удачного «вступления в должность» с Валлентином был заключен бессрочный трудовой договор, предусматривавший 4–5 инсценировок ежегодно.

В первом письме жене, остававшейся пока в Москве, Максим Валлентин, при всей немногословности, обусловленной безотрадностью этих мест, показал себя, по меньшей мере, неравнодушным к театру и его труппе:

Вполне приличный театр, экономически, по-видимому, здоровый. – Интриги как в худшем провинциальном балагане, но они могут исчезнуть, когда работа начнет нарастать. […]
Здесь большая и прекрасная сфера деятельности. Вчера вечером была смычка с Марксштадтским коллективом, Колхозно-совхозным театром: молодые, одаренные, жаждущие знаний. В ходе этого разговора показали себя и лучшие силы коллектива Государственного театра в Энгельсе. В общих чертах хорошее настроение […] – люди таковы, что с ними хочется работать. После расставания с несколькими плохими работниками и привлечения хорошей молодежи здесь сможет сформироваться кол(лектив), который работает с увлечением.

Зато он не избегает и отрицательных замечаний:

> Ах да, забыл: Энгельс ничего, если есть работа, и просто ужас, когда ее нет. Этим частично объясняются и интриги незанятых[82].

В следующем письме он даже подумал было, что есть основания констатировать с надеждой:

> […] Создается впечатление поступательного движения и более нормального применения моих спец[ифических] способностей. Я очень хотел бы пустить здесь корни. Здешняя перспектива – это жизнь. Думать, что здесь окажешься отцепленным – ошибка[83].

Следующим режиссерским проектом, который начал Максим Валлентин, была инсценировка комедии Мольера «Мнимый больной». Чтобы яснее представить социальные отношения, пьесу предполагалось дополнить несколькими интермедиями Сервантеса в духе народного театра и карнавала, а также вписывающимися в ее стилистику вставными танцевальными номерами. Последние были поставлены женой Валлентина Эдит, получившей хореографическое образование у Мэри Вигман. Однако отрепетировать успели примерно лишь две трети пьесы. Приказом № 69 от 26 августа 1937 г. Валлентин был уволен с 1 сентября «в связи с изменением репертуара и невозможностью его дальнейшего использования в будущем сезоне»[84]. Несколько позже были расторгнуты трудовые договоры с его женой, Куртом Трепте, а также Фридрихом Рихтером и Эмми Франк. Приказы об увольнении были подписаны Г. Ферманом, бывшим директором, которого в свое время вытеснил Бернхард Райх и который вновь оказался на старом месте.

Дело не ограничивалось объявленными увольнениями, которые шли рука об руку с целенаправленной кампанией дискредитации и клеветы. В то время как Максим Валлентин пытался в Москве организовать контрмеры, Эдит могла поначалу еще выжидать в Энгельсе, где ей, как ни странно, позволялось участвовать во всех собраниях, касавшихся отношения к немецким эмигрантам и дальнейших действий против них. Ее написанный почти без пропусков отчет позволяет почувствовать призрачный сценарий интриги, сознательно использовавшей общественный климат, в котором повседневностью стали государственный террор против свободного мнения и идеологическая манипуляция. Начался своего рода «показательный процесс» на уровне предприятия с последующим оповещением о его исходе по всей стране через печать, почти не оставлявший обвиняемым возможности оправдаться и опасно приближавший их к границе ГУЛАГа, а некоторых и ввергавший туда.

В чем были причины происходившего? Независимо от развивавшегося проекта Пискатора, правительственные инстанции АССР немцев Поволжья согласовали для труппы государственного театра проведения в Москве цикла курсов повышения квалификации на несколько лет. Практическое обучение у опытных советских режиссеров (в частности, В.А. Громова из театра Мейерхольда) дополнялось передачей широких политических и эстетических знаний. Хотя эти курсы и план Пискатора и должны были прийти к взаимопроникновению, дал себя знать противоположный результат. С одной стороны, работать приходилось с режиссерами, присягнувшими между тем почти полностью на верность системе Станиславского, возведенной в ранг доктрины[85]. Причем, происходило это в разгар так называемой «дискуссии

о формализме», достигшей одной из своих ранних кульминаций именно в театре – с опубликованием 28 января 1936 г. статьи против оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»[86], направленной, в равной степени, как против Мейерхольда, так и против всего театрального модернизма. С другой стороны, имелся выбор Пискатора в пользу Энгельса. Само собой напрашивавшееся художественно-методическое противоречие между Станиславским и Пискатором, в котором последний выступал защитником неортодоксального экспериментального политического театра, имело решающее значение для несовместимости мирного сосуществования обоих направлений в одном театре, даже при том, что Пискатор с большим уважением относился к Станиславскому. Но до такого рода обострения дело пока дойти не могло. Своеобразно перемещенные потенциалы конфликта заключались, скорее, в том, что ряд молодых актеров из числа поволжских немцев переоценили себя в результате участия в московских курсах и полагали, что теперь они располагают «самыми прогрессивными» художественными программными установками. Тем самым, они ловко вытесняли свой отнюдь не безосновательный реальный страх перед оттеснением более квалифицированными актерами-эмигрантами в задние ряды труппы. Например, Виктор Ланг был одним из злейших подстрекателей по отношению к изгнанникам. До их появления он «всегда играл героев, борющихся за общественные идеалы»[87], а теперь вдруг оказался с пустыми руками.

События в Энгельсе не были единичным случаем. Во всей стране совершался решительный психолого-пропагандистский поворот. Происходило плавание на волне нового советского патриотизма, шла ли речь о подвигах летчиков или полярных исследователей. Требовалась национальная идеология легитимации. Откат к построению социализма в собственной стране вместо провозглашавшейся прежде мировой революции (это как бы внутрисоветское «решение» в условиях необозримо долгого ожидания новой всемирной революционной ситуации при одновременном мощном окружении враждебным капиталистическим миром) требовал для того, чтобы продержаться, «совершенно особого народа». К тому же репрессии со стороны советских государственных органов, лишь с трудом поддававшиеся осмыслению в их депрессивных последствиях, требовали положительной возможности идентификации внутри собственной истории или современности. Эта возможность была, в конечном счете, приспособлена к нерасторжимому союзу между народом, партией и сталинским руководством[88]. Национальному меньшинству, находившемуся до тех пор, скорее, на обочине общества, – российским немцам – это внезапно дало шанс принадлежать к такому союзу и в идеологической самоидентификации «советского человека» быть полностью интегрированным в общую родину. На этом фоне по-новому вставал вопрос о влиянии и полезности эмигрантов: какие знания и умения, которыми не обладали советские люди, могли они передать? Они ведь не были советскими гражданами, не выросли в этой стране и не учились в ее школах. Их существовавший прежде нимб квалифицированных специалистов, в которых нуждались, молниеносно исчез. Они ощутили превосходство окружения над собой. Они пришли в социализм, где они, эмигранты, несмотря на, вероятно, добрую волю, а то и осознанную враждебность, оставались носителями буржуазного национализма. В соответствии с этим находились аргументы и формулировались лозунги, формировалось встречное движение – местный псевдопатриотизм против пролетарского интернационализма, «местные» против «иностранцев».

В качестве главных пунктов обвинения были найдены неприятие системы Станиславского, воспрепятствование участию в курсах в Москве, а также пренебрежение молодыми актерскими силами из числа немцев Поволжья. Так, Эдит Валлентин сообщала мужу в письме от 18 сентября 1937 г.:

> Тем временем состоялось открытое партийное собрание, на котором Ферман представил свою программу. […] Когда Фриц [Фридрих Рихтер] спросил его: «Так что же, 4 пьесы и без немецкого режиссера?», – последовал ответ: «Наш театр должен руководствоваться методом Станиславского, а этого не может сделать ни один немецкий режиссер». Ланг нападал на Фрица и Эмми [Франк] из-за их методов преподавания, а если они, по его словам, не изменятся, то и не смогут преподавать. Это не методы Станиславского. Были упомянуты и дискуссии из школы в Москве, где Курт [Курт Трепте], как говорили, выступал против Станиславского […]. Потом Ланг высказался против твоих антрактов в Мольере из-за формализма. А Ферман выступал против него – когда ставишь Мольера, все разрешено[89].

И сверх того она информировала Максима Валлентина об обвинениях, выдвинутых против него:

> Вехтер упрекал тебя в совместной работе, а почему в этой совместной работе не участвовал Ланг? Ланга-де ты вообще не привлекал. […] а еще диктовал рецензии Лохтхофену [критика «Норы»]. […] Ты якобы говорил: зачем нам ехать в Москву, нам не нужны русские учителя, мы хотим немецких преподавателей. Нет содействия кадрам. Ты специально взялся за Мольера, чтобы помешать Москве. Хауске надо было для этого написать оперу, а наши актеры, они все же не танцовщики, [должны были разучивать] большие вставные танцевальные номера. Ланга не привлекали как режиссера при постановке Мольера[90].

И уж тем более в Энгельсе не хотели принимать к сведению, что Максим Валлентин в находившемся по соседству Колхозно-совхозном театре Марксштадта, где он инсценировал бюргерскую трагедию Фридриха Геббеля «Мария Магдалина», провел также курс о методе Станиславского, а «уверенное и живое применение» преподавателем этого метода вызвало удивление и воодушевление[91]. Положительная оценка этого не вписывалась в концепцию изоляции. Сам же Валлентин окончательно отошел, тем самым, от своей режиссерской практики, следовавшей до тех пор скорее эпически-диалектическим принципам, и повернулся к Станиславскому, протагонистом которого, хотя и не лишенным критического настроя, он стал в послевоенном театре Восточной Германии, а затем ГДР.

Кампания шельмования приобрела новые масштабы с появлением статей в русскоязычной газете «Большевик», выходившей в Энгельсе, и 23 сентября 1937 г. в центральной газете «Советское искусство»[92]. Так как авторами статей были русские, то можно предположить, что речь шла о целенаправленной и заказной атаке, конечно, имевшей отношение к борьбе за власть, разворачивавшейся за фасадом немецко-поволжской автономии. Использовались уже выдвинутые обвинения, круг обвиняемых лиц и причастных учреждений расширялся за рамки театра, общая ответственность взваливалась на председателя комитета по делам искусств АССР немцев Поволжья Вехтера. На тех же, кто стал жертвами нападок, наклеивались в высшей степени опасные ярлыки – «буржуазные националисты» и «враги народа».

В одной из статей говорилось:

В Немецком государственном театре в Энгельсе существует группа приехавших из Германии «актеров», многие из которых оказались фашистскими шпионами. Они разлагали коллектив и раздували националистические настроения. Под защитой директора театра Фермана режиссер Валлентин, «актеры» Трепте и Рихтер и жена последнего Франк пропагандировали контрреволюционный национализм, характеризуя себя как «подлинных немецких мастеров».

Вехтер ничего не делал, чтобы очистить театр от враждебных буржуазно-националистических элементов. В труппу театра и на позиции художественного руководства по-прежнему проникали враги, нагло делавшие свое дело.

[…] Под защитой директора театра Фермана режиссер Валлентин и «актеры» Трепте, Рихтер, а также его жена Франк, пропагандировали контрреволюционный национализм, характеризуя себя самих как «подлинных немецких мастеров».

Рихтер и Франк, которые и по сей день работают в театре, не позволяли продвинуться здешним молодым актерам и считали их неспособными справиться с немецкой классикой. Преподавая молодым актерам фонетику, Рихтер контрабандой протаскивал контрреволюционные, троцкистские лозунги. В качестве учебного материала он использовал старый немецкий учебник, который просто распирало от буржуазно-националистического обскурантизма и контрреволюционной фашистской «теории» […]

Летом этого года актеры Немецкого государственнного театра поехали на учебу в Москву. Группа националистов и фашистских шпионов саботировала обучение у лучших мастеров советского театра, заявляя, что «опытным немецким актерам нечему учиться у советских мастеров». […]

[…]Ферман, еще и до сих пор находящийся в руководстве Немецкого государственнного театра, настойчиво поддерживает в составе труппы некую Йорш, тесно связанную с разоблаченными врагами народа.

[…] Разоблаченные ныне враги и буржуазные националисты постоянно пользовались покровительством Вехтера. С его ведома и позволения некий «режиссер» Райх при инсценировке пьесы «Троянский конь» протащил контрабандой на сцену фашистский гимн. Только возмущение публики и возражение общественности заставили Комитет по делам искусств пресечь исполнение фашистской песни[93].

(В порядке объяснения: учебник языка, которым пользовался Рихтер, был взятым взаймы давно изданный экземплярм, так как у него не нашлось другого. «Фашистский гимн» в поставленном Райхом «Троянском коне» касался театрально-музыкальной характеристики противоположной стороны, т. е. фашистов).

Кампания в печати обострила дискуссию в театре. С циркулировавшими среди общественности обвинениями против председателя комитета по делам искусств АССР немцев Поволжья Вехтера и его попытками вытащить голову из петли более сильное внимание критики привлек к себе и прежний план Пискатора. Вот некоторые выдержки из отчета об общем производственном собрании, состоявшемся 29 сентября 1937 г., также в изложении Эдит Валлентин:

*Ланг:* […] Пискатор хотел не национального, а «антифашистского» театра. […]

*Вехтер:* Беседа оказалась слабой, будто глубина статьи не была осознана. В театре у нас буржуазные националисты. […] Пискатор–Райх были только началом. Речь идет о подавлении местных кадров иностранцами. […] Изо дня в день меня бомбардировали предложениями о новых назначениях специалистов. Речь шла, следовательно, не о содействии местным кадрам, а об импорте. У вас нет сил[94].

При голосовании за резолюцию Ланг и Эрфурт, руководитель обкома профсоюза работников искусств, даже закричали вместе: «Что же нам, ждать, пока их не заберет НКВД!»[95]

Кстати, об НКВД. По данным профессора Томаса Валлентина, сына Максима Валлентина, режиссер связал себя в кругу близких ему людей «следующей осторожной языковой нормой», когда речь заходила о до сих пор невыясненном вопросе его ареста: «… не арестован, оставлен там (в Энгельсе). В Москве он пошел в НКВД и попросил об аресте. Офицер (М.В.: “вероятно, большевик”) подсказал ему лазейку»[96]. Применительно к ситуации в Энгельсе это могло означать, по меньшей мере, обстоятельный допрос. Когда он затем в Москве «добровольно» явился в НКВД, это был шаг, продиктованный отчаянием и намерением продвинуть выяснение своего дела. К тому времени его уже исключили из партии – «на основании статьи в “Большевике”»[97], и он, как и его жена, напрасно надеялись на реабилитацию Интернациональной контрольной комиссией Коминтерна, руки у которой были связаны, так как его дело находилось в компетенции советских органов.

Он признавал, покорившись обстоятельствам:

> Скажу, чтобы избежать ошибок: в позиции людишек по отношению ко мне [имелись в виду представители КПГ и Коминтерна. – *П.Д.*] ничего не изменилось к худшему. Напротив, мощная волна солидарности – но безрезультатная. Теперь я понимаю все, но нам трудно. Мы можем защищать эту страну только извне. Здесь мы им не нужны, мы им только мешаем[98].

Его жизнь изменилась коренным образом. Начались скитания человека, лишенного собственного жилья, ставшего ночлежником у других эмигрантов (часто он оставался в чужих квартирах лишь на ночь, чтобы не подвергать их жильцов дополнительной опасности). Не было никаких доходов, если не считать того, что приносила продажа и без того скудного личного имущества. В конце концов, Георгий Димитров и Герберт Венер в апреле или мае 1938 г. на высших «этажах» структуры Коминтерна добились реабилитации режиссера. После этого он работал диктором и редактором в немецкой редакции Московского радио. Эмми Франк, Фридрих Рихтер, а также Курт Трепте смогли, благодаря еще действительным документам на выезд, покинуть Советский Союз. Поступить так им советовали и в соответствующих структурах Коминтерна. Карл Вайднер был арестован вследствие обвинений, выдвинутых в Энгельсе, и считается пропавшим без вести. Судьба Херты Йорш неизвестна до сих пор. Из тех, кто группировался вокруг эмигрировавших деятелей театра, были арестованы также Лоренц Лохтхофен, сотрудник немецкоязычной газеты «Нахрихтен» в Энгельсе, автор положительной рецензии на инсценировку Валлентина «Норы». Он был приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря, которые пришлось отбывать в Воркуте. Срок заключения оказался продлен из-за войны. После реабилитации в 1958 г. он выехал в ГДР, где стал директором комбината конторских машин в Зёммерде и в качестве такового был избран даже в ЦК СЕПГ. Ханс Драх из тогдашнего Дома народного искусства в Энгельсе, актер и автор (в том числе поставленной в Немецком областном театре в Днепропетровске комической оперы с танцами «Где Эмилия?» и ряда запоминающихся стихотворений), а также Ханнс Вальтер Давид, композитор и руководитель немецко-поволжского государственного хора, были в 1940 г. отправлены из тюрьмы в Германию. Их, евреев, ожидала там циничным образом предвидимая верная смерть в концлагере.

*Здание Немецкого государственнного театра в Энгельсе в 30-е гг.*

Коллектив Немецкого государственного театра в Энгельсе снова остался «при своих». В статье в «Дойче Централь-Цайтунг» от 1 февраля 1938 г. Хуго Хупперт, ставший позже известным как переводчик Маяковского, слал своим коллегам-эмигрантам «дружеское посвящение»:

> После частой смены художественного руководства (и направления), после окончательного искоренения фашистских вредителей и комедиантов, оказавшихся врагами народа, которым маска театральной игры служила только желаемой личиной для сокрытия контрреволюционных козней – после всего этого театр видит свой путь предначертанным яснее, а перед собой безграничные возможности подъема[99].

Как писал Курт Трепте 12 сентября 1938 г. из страны своего нового изгнания, из Швеции, Фридриху Рихтеру, который снова поселился в Праге, группа актеров-немцев Поволжья во время следующего курса обучения в Москве разыскала, несмотря на запрет, Мисси Бёнш (Missia Bönsch), бывшего директора Немецкого областного театра в Днепропетровске, чтобы еще раз выразить ей свое сожаление по поводу происшедшего. «Только теперь, когда мы уехали, они поняли, как полезны мы могли бы им быть. Ланг потерпел крах, он лишен всех своих постов и ролей»[100]. Шанс продуктивного творческого сосуществования «своих» и «чужих» немцев оказался навсегда упущенным, еще прежде, чем им сумели всерьез воспользоваться.

*Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Пискатор, Эрвин (1893–1966) – актер, режиссер, руководитель театра. Политически революционизировался под влиянием пережитого на фронте во время Первой мировой войны (кружок дадаистов; в 1918 г. – вступление в КПГ); 1920 г. – один из основателей и художественный руко-

водитель «Пролетарского театра, сцены революционных рабочих Большого Берлина»; 1921 г. – секретарь «Объединения художников в помощь голодающим в России»; 1924–1925 гг. увенчавшиеся сенсационным успехом постановки ревю «Красная толкучка» и историко-хроникально-агитационного обозрения «Несмотря ни на что!» В 1924–1927 режиссер берлинского театра «Фольксбюне», правление которого, ориентированное на нейтралитет, отвергло, однако, его провокационные инсценировки (в том числе «Знамена» и «Бурный поток» Альфонса Паке, а также «Буря над Готландом» Эльма Велька). Его инсценировка «Разбойников» (1926 г.) в Государственном драматическом театре Берлина – оригинальная интерпретация классики. С помощью частного спонсора в 1927–1929 Пискатор получил собственный театр – 1-я и 2-я «Пискаторбюне» («Сцена Пискатора») на Ноллендорфплац; здесь происходит дальнейшее развитие его эпически-объективной драматургии и манеры игры (в том числе «Гопля, мы живем!» Эрнста Толлера, «Распутин, Романовы, война и народ, который восстал против них» по пьесе А.Н. Толстого и П.Е. Щеголева, «Похождения бравого солдата Швейка» по роману Ярослава Гашека и «Берлинский купец» Вальтера Меринга). После финансового краха 1929–1931 гг. новое начало в качестве создателя и руководителя революционной профессиональной театральной труппы («Коллектив Пискатора»); 1929 г. – программная работа «Политический театр» (в 1934 г. русский перевод). В 1931–1934 гг. – экранизация повести Анны Зегерс «Восстание рыбаков» на студии «Межрабпомфильм» в Москве (благодаря этому приезду, режиссер избежал ареста национал-социалистами); 1934 г. – назначение председателем Международного объединения революционных театров. 1936–1938 гг. – эмиграция во Франции, 1939–1951 гг. в США. Основание и руководство «Dramatic Workshop» («Драматической мастерской») в нью-йоркской «New School for Social Research» («Новой школе социальных исследований» в качестве широкомасштабного института театрального образования; из-за грозившего вызова в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности реэмиграция в ФРГ; после многих лет работы приглашенным режиссером в 1962–1966 гг. – художественный руководитель берлинского театра «Фрайе Фольксбюне», где он стал виднейшим новатором документального театра («Наместник» Рольфа Хоххута, «Дело Роберта Оппенгеймера» Хайнара Кипхардта и «Судебное разбирательство» Петера Вайса).

[2] Валлентин, Максим (1904–1987) – актер, режиссер, руководитель театра. Сын Рихарда Валлентина, в 1903 г. в первый раз поставившего в Берлине «На дне» Горького и тем способствовавшего выходу пьесы на европейскую сцену. После нескольких ангажементов в Берлине и Цюрихе – разрыв с буржуазным театром и обращение к рабочему театру; руководитель ведущей немецкой агитбригады «Красный рупор» (в том числе в 1929 г. гастроли в Советском Союзе). После первоначально безрезультатного ходатайства о разрешении на эмиграцию в Советский Союз в 1933–1935 гг. – в Праге; 1935–1936 гг. – художественный руководитель Немецкого областного театра в Днепропетровске; 1937 г. – режиссер в Немецком государственном театре в Энгельсе; с 1938 г. – диктор и редактор немецкой редакции Московского радио. По окончании войны возвращение в Германию; создание Немецкого театрального института в Веймаре и руководство им, впоследствии большие заслуги в процессе утверждения системы Станиславского в ГДР; 1952–1968 гг. – главный режиссер Театра им. Максима Горького в Берлине.

[3] Названа так по фамилии Н.И. Ежова (1895–1940), который в качестве нового народного комиссара внутренних дел в 1936 г. сменил впавшего в немилость Г.Г. Ягоду. При Ежове массовый террор дошел к 1938 г. до кульминации.

[4] Так, Эдгар Гросс, представитель республики немцев Поволжья при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете в Москве, писал: «Интерес к Немреспублике, как к автономному государственному образованию, на Западе растет. И от трудящихся самой Немреспублики и их руководителей зависит превращение ее в действительно образцовую, показательную крестьянскую республику, в которой западные крестьянские делегации на каждом шагу находили бы доказательства преимуществ и выгод советской системы и для культурного западного крестьянства». *Эдгар Гросс.* Авт. Соц. Сов. Респ. Немцев Поволжья. – Покровск: Немгосиздат, 1926. С. 118. В том же ключе была выдержана и редакционная статья газеты «Дойче Централь-Цайтунг Москау» (Deutsche Zentral-Zeitung Moskau (DZZ)» от 17 декабря 1935 г.: «Республика на Волге – первая в истории немецкая Советская республика. На ее борьбе и ее делах будет учиться и из них будет делать выводы угнетенный братский народ в Германии».

[5] «Репрессивные меры против немцев, живших в СССР, обрели свой целенаправленный и урегулированный характер уже с решением ЦК ВКП(б) от 4 ноября 1934 г. “О работе среди немецко-

го населения". В нем говорилось, что "антисоветские элементы усилили свою деятельность среди немцев, а местные парторганизации и органы НКВД реагировали на это крайне слабо, более того, по сути дела, содействовали ей, ошибочно полагая, что интернационалистская политика партии и государства требует снисхождения по отношению к немцам или представителям других национальностей, проживающим в СССР и нарушающим элементарную лояльность по отношению к советской власти"». – *Oleg Dehl:* Verratene Ideale. Zur Geschichte deutscher Emigranten in der Sowjetunion in den 30er Jahren. – B., 2000. S. 90f. «Приобретавший истерические черты массовый поиск "врагов народа", "фашистов" и "шпионов" не пощадил и немецких эмигрантов. Особого масштаба он достиг в АССР немцев Поволжья. С января до декабря 1935 г. в этой республике проходила активная кампания по выполнению требований, сформулированных в секретном письме ЦК: до 15 января 1935 г. были "разоблачены" уже 187 представителя "фашистских элементов", в том числе немецких политэмигрантов».(Ibid. S. 94.)

[6] Ср. «Eine funkelnagelneue Hauptstadt…» – Die Volks-Illustrierte (Prag), № 26/1937.

[7] С 1870 г. русский язык был предписан в качестве официального, и в преобладавших церковных школах имели право преподавать только учителя, сдавшие учительский экзамен на русском языке. Это влекло за собой на практике применение русского как всеобщего языка обучения (только в результате революции 1905 г. такая односторонняя интерпретация была смягчена).

[8] По поводу имени «Виммлер» имеется неясность. В критической статье о постановке пьесы Юрия Никулина «Вступай в ряды, пролетарий» (первоначальное название «Армия мира») в связи с открытием в Энгельсе зимнего сезона 1932 г. она была названа как Улла Виммлер наряду с другими актерами из Германии – Адольфом Фишером, Гербертом Приганном и Карлом Вайднером, ср. [Alfred] Schnittke/[Johannes] Schaufler: «Reihe dich ein, Prolet». – Nachrichten (Engels) vom 14. November 1932. Напротив, в списке исключенных из КПГ речь идет об Элизабет Виммлер: «Она актриса, работала в Немецком театре в Энгельсе и была здесь арестована в январе 1937 г.». Указанное ею членство в КПГ с 1932 г. не было в связи с этим подтверждено отделом кадров (Заседание Политбюро Центрального Комитета КПГ 1 октября 1936 г.). Ср. Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, Kommunistische Partei Deutschlands, RY 1/I 2/3/82, Bl. 128a.

[9] Friedrich Wolf: Kulturprobleme. In: Deutsche Zentral-Zeitung (DZZ), Moskau, 17. Dezember 1935.

[10] Подробнее об этом см. в статье Гюнтера Агде в данном томе.

[11] Райх, Бернхард (1894–1972) – режиссер, теоретик театра и критик. В 1916 г. защита диссертации на соискание степени доктора права; первые инсценировки в Вене, 1920–1923 гг. в Немецком театре в Берлине, в 1923–1924 гг. в мюнхенском театре «Каммершпиле», где началось его сотрудничество с Бертольтом Брехтом. 1926 г. – по приглашению *Всесоюзного общества культурной связи* с заграницей (ВОКС) приезжает в Москву; работа, в частности, доцентом в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада (1927–1929 гг.) и ГИТИСе (1931–1933 гг.), а также ученым секретарем театральной секции Коммунистической академии (1929–1931). Член группы «Пролетарский театр». 1934–1936 гг. – руководитель пресс-бюро Международного объединения революционных театров, которое возглавлял Эрвин Пискатор. 1928 – инсценировка «Фриц Бауэр» Наталии Сац и В. Селиховой в Московском детском театре, а в 1936 г. «Троянского коня» Фридриха Вольфа в Немецком государственном театре в Энгельсе. В 1943 г. приговорен к 10 годам ссылки; в 50-е годы вместе со своей женой Асей (Анной) Лацис в театре Валмиеры (Латвия). Ср. *Bernhard Reich:* Im Wettlauf mit der Zeit. Erinnerungen aus 5 Jahrzehnten deutscher Theatergeschichte. – Berlin (Ost), 1970; *Бернгард Райх.* Вена – Берлин – Москва – Берлин. – М., 1972. Протоколы допросов см. в: «Верните мне свободу!» Деятели литературы и искусства России и Германии – жертвы сталинского террора. Мемориальный сборник документов из архива бывшего КГБ. Ред.-сост.: В. Ф. Колязин, В.А. Гончаров. – М., 1997. С. 304–320.

[12] РГАСПИ (Российский государственный архив социально-политической истории). Ф. 540. Оп. 1. Д. 43. Л. 158–153.

[13] Письмо Эрвина Пискатора Фрицу Геккерту, 23 августа 1933 г.; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 205. Д. 1565. Л. 63.

[14] Ситуацию, в которой проходила такая встреча, Бернхард Райх, ее свидетель, описывает в своей книге Im Wettlauf mit der Zeit. S. 347 f.

[15] Письмо Эрвина Пискатора Лазарю Моисеевичу Кагановичу, 15 марта 1934 г. – РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 631. Оп. 14. Д. 401. Л. 24.

[16] Густав фон Вангенхайм (1895–1975) – актер, режиссер, руководитель театра и драматург. После ранения и контузии во время Первой мировой войны возникла отмеченная влиянием экспрессионизма его дебютная пьеса «Мужчина Федор» («Der Mann Fjodor») (1918 г., премия «Молодой Германии»); наряду с буржуазной театральной и кинокарьерой ранние работы для КПГ (тексты для хоровой декламации «Хор труда»», «7000», «Помните»). Автор текстов и режиссер «Труппы 1931», одного из ведущих профессиональных театральных коллективов Веймарской республики, с которым он, в частности, разработал свои диалектические театральные монтажи «Мышеловка» и «Вот где собака зарыта». В 1933 г. – эмиграция в Париж, затем приглашение на должность создававшегося «Немецкого театра “Колонне линкс”» в Москве; сценарий и режиссура фильма «Борцы», созданного в 1935–1936 гг. на студии «Межрабпом-фильм». В 1939 г. – постановка его драмы «Нарушители мира» в Ростове, Москве и Одессе, другие пьесы писались в стол. С началом войны пропагандистская деятельность для Красной Армии; 1941–1943 гг. – в эвакуации в Ташкенте; редактор радиостанции «Дойче Фольксзендер» и член Национального комитета «Свободная Германия». 1945 г. – возвращение в Берлин, до 1947 г. – первый послевоенный главный режиссер Немецкого театра (Берлин), автор многочисленных пьес на современные темы и фильмов студии ДЕФА.

[17] Лично товарищу Геккерту. Отчет товарища Вангенхайма о проведенной до сих пор работе по подготовке Немецкого театра в Москве. РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 49. Копия в Gustav-von-Wangenheim-Archiv der Stiftung Archiv der Akademie der Künste (Berlin), Mappe 441.

[18] Письмо Эрвина Пискатора Максиму Горькому, 14 сентября 1934 г.; РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 401. Л. 3.

[19] См. прим. 17.

[20] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 37–40; перепечатано в «hier brauchen sie uns nicht». Maxim Vallentin und das deutschsprachige Exiltheater in der Sowjetunion 1935–1937. Briefe und Dokumente. Hrsg. von Peter Diezel. Berlin 2000. S. 255–258.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Plan fur die Gründung einer deutschen Kulturbasis in Engels. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 28; см. также «hier brauchen sie uns nicht«. S. 259 f.

[24] Письмо Эрвина Пискатора Ангарову. 3 февраля 1936 г. – РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 417. Л. 6 и сл.

[25] Там же.

[26] Там же.

[27] Акционерное общество «Межрабпом-фильм», созданное в 1928 г. в результате слияния отдела кино «Международной рабочей помощи» с советским коллективом «Русь», с 1930 г. все более ориентировалось на производство фильмов международной тематики, не обладая для этого необходимой организаторской и художественной компетенцией. Исключением были только фильмы Бориса Барнета «Окраина», Пискатора «Восстание рыбаков» и Вангенхайма «Борцы». В 1936 г. советские власти распорядились о ликвидации московской киностудии «Межрабпом-фильма» и ее передаче студии «Союздетфильм» при одновременном присвоении инвестированного капитала «Международной рабочей помощи» и аннулировании существовавших договоров (в том числе с немецкими актерами-эмигрантами).

[28] Письмо Пискатора Ангарову, 3 февраля 1936 г.. С. 7

[29] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 37–40.

[30] Ibid.

[31] Рукописные примечания к проекту «Энгельс» – без места, без даты, в Erwin Piscator Papers, Morris Library, Special Collections 31, Southern Illinois University, Carbondale. [В дальнейшем ссылка на хранящиеся в библиотеке материалы Пискатора дается в сокращении как EPP.]

[32] Plan für die Gründung einer deutschen Kulturbasis in Engels. – РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 28; см. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 259 f.

[33] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 37–40.

[34] В секретариат Сталина, письмо Пискатора от 27 января 1936 (по поручению секретариата). – РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 417. Л. 5.

[35] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18.

[36] [Письмо Эрвина Пискатора] Иосифу Виссарионовичу Сталину, 26 января 1936. – РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Д. 417. Л. 4. Без отправителя, но благодаря сопроводительному письму и содержанию письма как автор безошибочно идентифицируется Пискатор.

[37] Пискатор – Ангарову, 3 февраля 1936 г.

[38] Brief von Erwin Piscator an Leonard Steckel, 14. September 1936 (EPP).

[39] Plan für die Gründung einer deutschen Kulturbasis in Engels. Л. 28.

[40] *Reich.* Op. cit.. S. 351.

[41] Неопубликованное письмо Андреаса Закса Петеру Дицелю, 1 августа 1970 г.

[42] Там же.

[43] РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 113. Л. 196–195.

[44] Все трое принадлежали равным образом к художественной элите того немецкого театра, который существовал, в частности, в Берлине до 1933 г. и занимали – особенно это касается Гранаха и Буша – ярко выраженную левую позицию; Нейер зарекомендовала себя, по меньшей мере, как одна из будущих выдающихся исполнительниц в пьесах Брехта. Для всех троих Советский Союз был уже второй станцией на пути изгнанничества. Каролу Нейер, скорее, ее новый муж, немецко-румынский инженер Анатоль Беккер, торопил приехать из Праги в Москву; Гранах, в частности, в театре Каминского в Варшаве сыграл на идиш главную роль в новейшей тогда пьесе Вольфа «Профессор Мамлок». Густав фон Вангенхайм приглашал обоих в Москву как протагонистов для ждавшего расширения немецкого театра «Колонне линкс». Хотя Буш и после прихода нацистов к власти мог продолжать успешную деятельность политического певца в Нидерландах и Бельгии и выступать (кроме того, в нескольких западноевропейских городах, он сталкивался тем не менее с определенными ограничениями, которых, как обоснованно полагал, ему не приходилось бы опасаться в Советском Союзе). Благодаря большим выступлениям в московских клубах и концертных залах, в Ленинграде, а также в Республике немцев Поволжья, радиопередачам и записям пластинок относительно краткое время его пребывания в Советском Союзе – с октября 1935 по начало февраля 1937 гг. (затем он присоединился к защитникам Испанской республики) – превратилось в самую продуктивную фазу его эмиграции. Гранах играл сначала важные роли в Еврейском театре в Киеве, а также в фильме «Последний табор» студии «Межрабпом-фильм» (режиссеры Евгений Шнейдер и Моисей Гольдблат), прежде чем он, снова оказавшись безработным, решился на отъезд из Советского Союза. Между этими событиями произошел его арест в ноябре 1937 г., а освобожден он был, вероятно, только благодаря найденному у него письму Лиона Фейхтвангера (затем эмиграция в США). За исключением нескольких небольших выступлений, Кароле Нейер после провала планов Вангенхайма практически не удалось найти ни одной достойной ее художественной задачи.

[45] Liste der Regisseure und Schauspieler, die für ein deutsches Theater in Engels in Frage kommen. – РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 113. Л. 193–194.

[46] РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 112. Л. 75.

[47] Там же. Л. 76.

[48] По поводу ареста и осуждения Каролы Нейер см. *Reinhard Muller:* Menschenfalle Moskau. Exil und stalinistische Verfolgung. – Hamburg, 2001. S. 187–195, 314–335, а также *Колязин В.Ф.* Указ. соч. С. 22–30; относительно условий заключения и смерти см. *Peter Diezel:* Hilda Duty – Zellengefahrtin von Carola Neher. In: Exil. Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse 2 (1992). S. 25–42.

[49] Ильзе Беренд-Гроа/Фогараши (1885–1972) – актриса, режиссер и руководитель театра. 1905–1912 гг. в Королевском театре (Кассель); 1921–1928 гг. основатель и руководитель «Пролеткульта Кассель» (ансамбли хоровой декламации, живые картины, 1925 г. – спектакль на открытой сцене в Эйслебене по пьесе Берты Ласк, 1927 «Газовая война против Советской России» того же автора). В 1932 г. в планировавшемся Международном рабочем театре в Москве, изучение режиссуры, в 1935–1939 гг. художественный руководитель Немецкого театра коллективистов в Одессе. После брака с венгерским философом Белой Фогараши в 1945 г. переселение в Будапешт. Автобиографические воспоминания: Der neue Thespiskarren. – Berlin (Ost), 1955.

[50] Brief von Leonard Steckel an Erwin Piscator, 10. September 1936 г. (EPP).

[51] Brief von Erwin Piscator an Erwin Kalser, 25. September 1936 г. (EPP).

[52] Undatierter Brief von Bertolt Brecht an Erwin Piscator (Juli 1936) (EPP). См. также *Bertolt Brecht.* Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. – Berlin und Weimar, 1998; hier Bd. 28 (Briefe 1). S. 557 f.

[53] Brief von Erwin Piscator an Otto Wallburg, 27. Oktober 1936 (EPP).

[54] Brief von Erwin Piscator an Bertolt Brecht, 3. Juli 1936; Bertolt-Brecht-Archiv der Stiftung Archiv der Akademie der Künste.

[55] Brief von Bernhard Reich an Erwin Piscator, 27. September 1936 (EPP).

[56] Brief von Bernhard Reich an Margarete Lode, 1. August 1936. – РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 112. Л. 69; См. также»hier brauchen sie uns nicht» (прим. 20). S. 263f.

[57] Brief von Bernhard Reich an Erwin Piscator, 9. August 1936 (EPP).

[58] Brief Brief von Erwin Piscator an Bernhard Reich, 15. August 1936 (EPP).

[59] Reich an Piscator, 9. August 1936 (EPP).

[60] Piscator an Steckel, 14. September 1936 (EPP).

[61] Brief von Bernhard Reich an Erwin Piscator, 28. August 1936 (EPP).

[62] Brief von Erwin Piscator an Bernhard Reich, 14. September 1936 (EPP).

[63] Brief von Erwin Piscator an Bernhard Reich, 1. Oktober 1936 (EPP).

[64] Reich an Piscator, 27. September 1936 (EPP).

[65] Brief von Wilhelm Pieck an Erwin Piscator, 8. Oktober 1936 (EPP); то же в РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 41. Этот важный документ был, наряду с другим материалом из фонда Пискатора в библиотеке Morris Library, впервые использован в книге *Hermann Haarmann/Lothar Schrimer/Dagmar Walach:* Das «Engels» Projekt. Ein antifaschistisches Theater deutscher Emigranten в СССР(1936–1941). – Worms, 1975.

[66] Brief von Wilhelm Pieck an Angarow, 4. September 1936; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 11. Д. 18. Л. 42.

[67] Brief von Erwin Piscator an Julija Ilinična Annenkova (Gitelson), 14. September 1936 (EPP).

[68] Brief von Julija Ilinična Annenkova (Gitelson) an Wilhelm Pieck, 8. September 1936. – РГАСПИ. Ф. 495. Ор. 205. Д. 1575. Л. 69. 31 мая 1937 г. сама Анненкова, происходившая из еврейской семьи в Латвии, была арестована, несколько позже приговорена к пяти годам исправительно-трудового лагеря, где она, по сообщению управления Северо-восточных лагерей, умерла в 1939 г.; по другим данным, она предпочла самоубийство, «так как не могла вынести разлуку с десятилетним сыном, который оказался предоставленным самому себе» (*Oleg Dehl.* Op. cit.. S. 299).

[69] Письмо Мертенс (т. е. Греты Вильде) в Отдел кадров, 14. September 1936. – Ibid. Л. 73. Так как Вильде сама была референтом Отдела кадров немецкой секции, можно предположить, что она адресовала письмо Отделу кадров (Исполкома. – *Прим. перев.*) Коминтерна. В октябре 1937 г. была арестована и приговорена к восьми годам лагерей.

[70] Brief von Wilhelm Pieck an Wilhelm Florin, 23. August 1936; abgedruckt in In den Fängen des NKWD. Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR. Berlin 1991. S. 275–283.

[71] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, 25. September 1937; Maxim-Vallentin-Archiv der Stiftung Archiv der Akademie der Künste, далее указание на этот архив сокращается как MVA; См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 218.

[72] Brief von Bernhard Reich an Erwin Piscator, 15. Januar 1937 (EPP).

[73] Brief von Friedrich Wolf an Erwin Piscator, 17. Januar 1937 (EPP).

[74] Эмми (Эми) Франк (1896–1980) и Фридрих Рихтер (1895–1978), настоящее имя Ханс Рудольф Розенберг (изменил фамилию на Рихтер в начале 30-х годов из-за нараставшего в Германии антисемитизма) – супружеская пара, актеры. Оба работали в 1924–1928 гг. в Дюссельдорфском драматическом театре «Шаушпильхаус», в 1930–1932 гг. члены-учредители революционного профессионального коллектива «Западная труппа», 1933 г. – арест и высылка в ЧСР (супруги были гражданами Чехословакии). С конца 1935 до середины 1936 гг. в Днепропетровском немецком областном театре, затем в Немецком государственном театре в Энгельсе. После увольнения и шельмования в 1937 г. переезд в Прагу, в 1939 г. нелегально добрались через Польшу до Великобритании (там работали и на английских сценах). 1948 г. – возвращение в Берлин (Восточный), исполнение ведущих ролей в Немецком театре.

[75] Курт Трепте (1902–1990) – актер, режиссер, руководитель театра. 1930–1931 гг. участник «Коллектива Пискатора»; член-учредитель «Труппы 1931» (в том числе главная роль служащего Фляйссига (Fleißig (нем.) – прилежный. *Прим. перев.*) в популярной пьесе «Мышеловка»). После краткого пребывания в эмиграции приезд в Москву в начале 1934 г. (немецкий театр «Колонне линкс»), 1935–1936 гг. – Немецкий областной театр в Днепропетровске, затем Немецкий государственный театр в Энгельсе. После увольнения и шельмования – выезд в Швецию: один из основа-

телей труппы «Фрайе бюне Стокгольм». В 1946 г. возвращение в (Восточный) Берлин, позже, в частности, художественный руководитель городского театра в Кведлинбурге и Гарцского горного театра в г. Тале; старейшина исследования в ГДР эмигрантского театра.

[76] Ли Давид/Нольден (род. 1900–?) – актриса. В 1935 г. вместе со своим мужем, немецким композитором и дирижером еврейского происхождения Хансом Вальтером Давидом эмигрировала в Советский Союз. В 1936–1937 гг. Немецкий государственный театр в Энгельсе; после ареста мужа (руководителя Государственного немецко-поволжского хора) высылка; в 1938 г. Брюссель, затем Лондон (ревю и кабаре). 1959 г. – возвращение в Германию (ФРГ).

[77] *N. Stalski:* Das deutsche Staatstheater im Aufstieg. In: DZZ vom 10. Juni 1937, см. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 270.

[78] Письмо Эрвина Пискатора Менделю Марковичу Хатаевичу. 27 ноября 1935. – РГАСПИ. Ф. 540. Оп. 1. Д. 100. Л. 110; см. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 118.

[79] Protokoll der Produktionsversammlung des deutschen Gebietstheaters Dnjepropetrowsk am 29. April 1936; MVA, См. также»hier brauchen sie uns nicht». S. 130.

[80] Из дополнительно представленных Максимом Валлентином «данных» по его «политическому развитию» для «перевода в ВКП(б)», Москва, 1 октября 1936; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 148.

[81] *L. Lochthofen:* Nora – ein Puppenheim. (О премьере пьесы Ибсена в Немецком государственном театре). In: Nachrichten, Engels vom 27. Februar 1937; См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 276.

[82] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, 7. Januar 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht» (wie Anm. 20). S. 158ff.

[83] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, 13. Januar1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 167f.

[84] Приказ № 69 по Немецкому государственному театру от 26 августа 1937 г.; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 287.

[85] Станиславский, Константин Сергеевич (1863–1938) – актер, режиссер, руководитель и теоретик театра. Выдающийся реформатор как русского, так и мирового театра, первым разработавший развернутый метод актерского действия. В середине 30-х гг. его система, прежде всего сокращенная до психотехники переживания и еще не включающая явствующую из позднейшей работы так называемую «четвертую стену», которая отделяет актера от публики, была возведена советской бюрократией от культуры в ранг единственной формы выражения «советского театра». Это означало, в высшей степени, насильственное обращение с советским театром и сужение его возможностей, тогда как до тех пор он характеризовался богатым эстетическим разнообразием. Сказанное касается бывшего ученика Станиславского Всеволода Мейерхольда, театр которого был закрыт в 1938 г. Самого же Мейерхольда в 1939 г. арестовали и в 1940 г. расстреляли.

[86] Так называлась повесть Н.С. Лескова и написанная на ее основе опера Шостаковича (либретто Александра Прайса), премьера которой состоялась 22 января 1934 г. в Ленинградском малом оперном театре. Только 2-я редакция, переработанная композитором, называется «Катерина Измайлова». – *Прим. перев.*

[87] Brief von Edith Vallentin an Maxim Vallentin, 30. September 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht» (wie Anm. 20). S. 232.

[88] Ср. об этом *Petra Stykow:* Slawophile und Westler: die unendliche Diskussion. In: Michael Brie/Ewald Bohlke: Rußland wieder im Dunkeln. Ein Jahrhundert wird besichtigt. – Berlin, 1992. S. 107–146; hier S. 116ff.

[89] Brief von Edith Vallentin an Maxim Vallentin, 16. September 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 204.

[90] Brief von Edith Vallentin an Maxim Vallentin, 28. September 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 225f.

[91] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, 10. Juni 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 197.

[92] *В. Григорьев.* Приспешник буржуазных националистов. – «Советское искусство», 23 сентября 1937 г.

[93] *Н. Ветров.* Буржуазные националисты под крылышком комитета по делам искусств. – «Советское искусство», 23 сентября 1937 г., см. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 282f.

[94] Brief von Edith Vallentin an Maxim Vallentin, 30. September 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 232f.

[95] Brief von Edith Vallentin an Maxim Vallentin, 1. Oktober 1937; MVA, См. также «hier brauchen sie uns nicht». S. 241.

[96] Неопубликованеное письмо Томаса Валлентина Петеру Дицелю, 14 октября 1998 г.

[97] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, 29. September 1937; MVA «hier brauchen sie uns nicht». S. 229.

[98] Brief von Maxim Vallentin an Edith Vallentin, o. D. [14. Dezember 1937]; MVA, «hier brauchen sie uns nicht». S. 244.

[99] *Hugo Huppert:* Vom Theater der Sowjetdeutschen. In: DZZ vom 1. Februar 1938.

[100] Brief von Curt Trepte an Friedrich Richter, 12. September 1938; Curt-Trepte-Archiv der Stiftung Archiv der Akademie der Künste.

*Карола Тишлер*

# РАДИО В ОКОВАХ. Немецкое радиовещание из Москвы: от революционного воодушевления к государственной регламентации (1929–1941)

«Радио в оковах» – в 1932 г. под таким заголовком была опубликована брошюра коммуниста Ганса Кале. Речь шла о том, что у компартии отсутствуют возможности выхода в германский эфир, и единственной возможностью является Московское радио, которое вещало на немецком языке, начиная с 1929 г. Но располагала ли КПГ реальными возможностями участвовать в организации передач из Москвы? Надежды, которые возлагали немецкие коммунисты на Московское радио, во многом оказались иллюзорными. Существовало немало сдерживающих факторов, в том числе: необходимость соблюдения дипломатических условностей, недостаточная компетентность сотрудников, трудности в формировании программ, репрессии в годы Большого террора, внешнеполитическая ориентация СССР после заключения советско-германского пакта о ненападении и договора о дружбе и границах. И все же те, кто отвечал за вещание на немецком языке, пытались – вопреки указанным обстоятельствам – использовать радио как инструмент классовой борьбы. Об этих усилиях, об их результатах, о возникавших трудностях и пойдет речь в данной статье.

## Начало советского радиовещания и выхода в эфир передач на немецком языке

Первый в России радиопередатчик, созданный А.С. Поповым, начал работать 7 мая 1895 г. Но диапазон действия аппарата был весьма ограниченным, достигал всего 640 метров и только спустя два года был увеличен до 35 километров. В Советском Союзе 7 мая было объявлено Днем радио. Заслуга передачи в радиоэфире человеческого голоса принадлежала в России инженеру М.А. Бонч-Бруевичу[1], реализовавшему свое изобретение в 1919 г. в Нижнем Новгороде.

Но должно было произойти два события, чтобы Ленин, как это следует из воспоминаний современников, обратил внимание на возможности радиопередач. Во-первых, мятеж левых эсэров в июле 1918 г., когда им удалось захватить на время московский телеграф и отрезать Кремль от средств связи. Во-вторых, революционные события в Германии в октябре–ноябре того же года, о которых Ленин и его соратники узнали из радиопередач из Берлина[2]. Почти сразу же был издан декрет о передаче всех радиоустановок Наркомату почт и телеграфов РСФСР (Наркомпочтель), что привело к национализации частной лаборатории в Нижнем Новгороде и назначению Бонч-Бруевича ее руководителем[3].

Была предпринята первая попытка установления двусторонней радиосвязи между Москвой и Берлином. После того, как осенью 1920 г. в Нижнем Новгороде было установлено необходимое оборудование, в Берлин был направлен сотрудник названного наркомата Аким Николаев[4]. Он получил возможность использовать для эксперимента правительственную радиостанцию в Гельтове под Берлином. Кроме директора фирмы «Телефункен» Георга Арко[5] и нескольких советских инженеров на сеансе радиосвязи присутствовали чиновники германского министерства связи. В своих воспоминаниях Николаев описывает это событие следующим образом:

> Итак, в шесть часов мы должны были по радио услышать Москву. Проходят пять, шесть, десять секунд. Тишина. […] Время идет, но радиосвязи нет.. Замечаю иронические улыбки на лицах инженеров. […]. Значит, наш опыт не удался? Мы попали впросак? Часы показывают несколько минут после шести, и, наконец, мы слышим четкий голос на немецком языке: «Алло, алло, говорит радиостанция из Москвы». […]. Меня поздравляют с успехом. Дикция дикторов была столь ясной, что я мог различить голоса своих товарищей. Так в 1920 г. был установлен рекорд дальности радиосвязи[6].

О причинах задержки в обмене радиосигналами один из участников впоследствии вспоминал:

> За полчаса до назначенного времени мы вдруг поняли, что у нас нет текста для радиопередачи. Об этом спросил переводчик, прибывший из наркомата: «Что, собственно, надо переводить?». Все участники предстоящего эксперимента попытались превратиться в коллективного поэта. Но каждый представленный нам текст почему-то напоминал известное письмо запорожцев турецкому султану. Из-за дискуссий мы на пять минут опоздали к началу передачи[7].

Но прошло еще девять лет, пока из Москвы была осуществлена первая регулярная передача на немецком языке. Радио не получило еще распространения на территории Советской России, но инженеры и техники напряженно работали над проблемой дальней радиосвязи. В августе 1922 г. на расстоянии двух тысяч километров от Москвы можно было услышать передачи радиостанции имени Коминтерна. Они исходили от 12-киловаттного передатчика, установленного на Вознесенской улице (ныне улица Радио) недалеко от Курского вокзала[8]. С осени 1924 г. в СССР существовали постоянные программы радиопередач.

Уже эксперимент 1920 г. показал, что Советский Союз принадлежит к числу наиболее развитых стран в области радиотехники. К этому побуждали громадные территориальные масштабы страны. За вводом в строй 12-киловаттного передатчика последовала установка 24-киловаттного агрегата. В 1924 г. в СССР действовало 10 передающих станций, в 1928 г. – 65. Их суммарная мощность возросла с 16,7 до 162,6 киловатт[9]. Но рост числа радиостанций не соответствовал уровню производства соответствующего оборудования. Не хватало материалов и квалифицированного персонала. Выход был найден в развитии проводной радиосвязи[10]. «Радиофикация», к осуществлению которой наследники Ленина стремились столь же энергично, как он сам, должна была служить росту культурного уровня населения, преодолению отсталости села и осуществлению политики большевистской партии на всех уровнях.

В 20-е гг. осуществлялись по-настоящему интенсивные контакты с немецкими специалистами в области радиосвязи. В 1923 г. лабораторию в Нижнем Новгороде посетил Георг Арко. В 1929 г. в Москву прибыла официальная делегация немецких радиоинженеров. Поводом для этого послужило торжественное открытие нового здания Центрального телеграфа на Тверской улице и начало работы 100-киловаттного передатчика в Щелково под Москвой. В переговорах с советской стороной участвовали руководитель технического отдела германского министерства связи Август Круков, директор имперского общества радиосвязи Генрих Гизеке, представители концернов «Телефункен» и «Сименс». Были достигнуты договоренности об установлении постоянной телефонной связи между Москвой и Берлином[11], а также об обмене радиопрограммами (преимущественно музыкальными)[12].

В приветствии по этому поводу руководитель немецкой делегации Кюсген выразил пожелание дальнейшего развития германско-советского сотрудничества в области техники связи. Но этого не произошло. Через месяц Советский Союз начал осуществлять иностранное вещание, следствием чего являлись многочисленные недоразумения между двумя странами. Новый 100-киловаттный передатчик вступил в эксплуатацию в мае 1929 г. Он получил название «ВЦСПС» (Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов). Другая московская радиостанция (известная под названием «Малый Коминтерн») получила 12-киловаттный передатчик, вскоре замененный 40-киловаттным передающим устройством на улице Шаболовка – знаменитой «Шуховской башней». Еще одна из московских станций получила имя А.С. Попова. Названия, связанные с именами Коминтерна и ВЦСПС, не могли ничего сказать об их фактической принадлежности. Они не принадлежали ни профсоюзам, ни Коммунистическому Интернационалу, даже если указанные организации могли в той или иной форме оказывать влияние на их программы[13]. Широко распространенное в Германии ошибочное восприятие их названий было только на руку советской стороне.

Радиостанция ВЦСПС, уже по причине значительной мощности, могла использоваться для передач на заграницу, что было только вопросом времени. С одной стороны, это был вопрос идеологии, провозглашавшей особую пролетарскую миссию СССР, с другой стороны – вопрос преодоления еще существовавшей изоляции от остального мира. В сентябре 1926 г. заместитель отдела агитации Коминтерна, представитель КПГ Альфред Курелла направил Центральному Комитету ВКП(б) предложение об организации радиопередач на немецком и английском языках. Этот вопрос был поставлен Коминтерном уже тремя месяцами ранее, во время всеобщей стачки в Великобритании, но тогда результатом стал отказ. Инициатива Куреллы была направлена на рассмотрение Наркоминдела[14], и боязнь дипломатических осложнений взяла верх над аргументацией Коминтерна.

Дабы избежать конфликта с заграницей, советская сторона прибегла к трюку. С февраля 1928 г. станция Коминтерна раз в две недели по воскресеньям вела вещание на искусственном международном языке идо[15]. Вопреки опасениям Наркоминдела, полтора года спустя начались передачи на иностранных языках. 7 ноября 1929 г. станция имени ВЦСПС провела передачу на немецком языке. Это и было началом советского радиовещания на заграницу[16]. Через короткое время были осуществлены трансляции на французском и английском языках. Германский передатчик работал сначала вечером в субботу и утром в понедельник, через год – четыре раза в неделю: в субботу, воскресенье, понедельник и среду[17].

*Сотрудники радиостанции имени Коминтерна на фоне «Шуховской башни». Фотомонтаж из журнала «Arbeiter-Illustrierte-Zeitung»*

Кто руководил иностранным вещанием в его первые годы? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. И дело здесь не только в состоянии источников, но, прежде всего, в отсутствии стабильных административных структур. Существовали ответственные государственные инстанции (Наркомпочтель), партийный аппарат, Коминтерн, профсоюзы. Ситуация была упорядочена только после решения Политбюро от декабря 1932 г. Был образован Всесоюзный комитет радиофикации и радиовещания (ВРК), находившийся вне компетенции названного наркомата.

*«12 апреля 1933 г., Свердловск. Радиопередача, в которой участвуют инженер-строитель Мареш (Чехословакия) и австрийские специалисты: техник Елинек, инженер Фокнер, психотехник Феликс, австрийская коммунистка товарищ Лауфер, немецкий рабочий-металлист Йозеф Зиринг. Они призывают иностранцев, работающих на Урале, следовать своему примеру – всеми силами поддерживать Советский Союз в ходе весеннего сева». (Фото и текст из архива)*

*Роза Фрумкина. Фото 1924 г. (предположительно)*

*Эрнст Буш (1900–1980) во время одной из передач Московского радио. В 1935 г. известный актер и певец был приглашен в СССР для участия в съемках кинофильма «Борцы»*

В первое время существовала редакция по иновещанию в составе четырех человек: Роза Фрумкина (руководитель), Иконников, Федор Ротштейн, Илья Чернин[18]. Главную роль играла Фрумкина. В подготовке программ, по ее свидетельству, участвовали иностранные коммунисты, обучавшиеся в Ленинской школе Коминтерна.

Роза Наумовна Фрумкина родилась в 1983 г. в Минске, в 1898 г. вступила в еврейско-польский рабочий Союз (Бунд). С 1907 г. вела политическую работу в Германии, Франции, Швейцарии и России. До 1917 г. была учительницей. В 1920 г. вступила в компартию, работала в Коминтерне с 1924 г. После создания Радиокомитета продолжала руководить иновещанием[19].

Немцы, постоянно или временно находившиеся в Москве, участвовали в подготовке текстов и в прямых радиопередачах. Среди них: Эгон Эрвин Киш, Эрнст Буш, Вильгельм Пик, Альфонс Гольдшмидт, а также Александр Маас, который в течение пяти лет работал в качестве диктора и актера в компании «Вестдойчер рундфунк АГ». Осенью 1931 г. Фрумкина привлекла Мааса к деятельности иновещания в качестве специалиста по акустике и организации передач[20].

Однако и после начала трансляций на иностранных языках организационная структура соответствующих редакций продолжала находиться в эмбриональном состоянии. Руководство Коминтерна и его партий уделяло явно недостаточное внимание делам вещания на заграницу. Редакция прилагала большие усилия для того, чтобы получить печатные материалы для выхода в эфир. Серьезным препятствием явилась предназначенная Наркоминделу директива ЦК, которая запрещала ведение пропагандистской деятельности по каналам иновещания. Представитель Агитпропа

ЦК ВКП(б) Шутко указывал: «Мнение ЦК – раз мы несем ответственность за передачу, то мы вынуждены были дать НКИД такую директиву. Не имеет смысла устанавливать здесь, что и как можно передавать. Они [буржуазные государства] ищут повода, мы не должны им его давать»[21].

И все же «чрезмерная скромность» не отвечала наступательным намерениям Коминтерна. Серафима Гопнер, представлявшая отдел пропаганды Коминтерна, в 1931 г. высказывалась следующим образом: «За границей не дошли до того, чтобы различать между агитацией и информацией, они бунтуют против самого факта передачи. Надо взвешивать все выгоды этой работы. Если избегать недовольства со стороны буржуазных правительств, то ни о чем нельзя говорить. а мы должны использовать все возможности, особенно в этом году»[22]. Все это было отзвуком дискуссий между различными советскими ведомствами, и эти дискуссии корреспондировали с оценками немецкой стороны, которые свидетельствовали о нежелании воспринимать передачи «агитационного характера»[23]. Но эти оценки изменились в 1931 г.

## Германско-советская война в эфире. Год 1931

Противоречия между Германией и Советским Союзом, которые возникли из-за передач московского радио и достигли апогея в 1931 г., поначалу не играли существенной роли (например, в ходе визита в Москву делегации немецких радиотехников). На основе имеющихся источников можно придти к выводу, что указанное противоборство в последние годы Веймарской республики оказалось более значимым, чем в период нацистской диктатуры. В 1933–1939 гг. протесты германской стороны, связанные с радиовещанием из Москвы, имели явно второстепенное значение для дипломатических отношений двух государств. Напротив, в 1930–1931 гг. конфликты вокруг московских радиопередач приобретали преувеличенную значимость. Скандалы имели такие масштабы, что в тогдашних газетах писали о германско-советской войне в эфире[24]. Что привело к конфликту, каким образом он был исчерпан?

В январе 1930 г. министру внутренних дел Пруссии было направлено указание имперского министерства внутренних дел: установить наблюдение за передачами московского радио. Однако качество приема в Берлине и в его окрестностях, как следовало из оценок «Рабочего радиосоюза», было неважным. Для устойчивого приема требовалась особая аппаратура. Имперское министерство в феврале 1930 г. пришло к выводу, что передачи из Москвы доступны лишь узкому кругу лиц[25]. Но радиокомиссар имперского министерства почт пришел к иному заключению. В марте 1930 г. он констатировал, что число слушателей московского эфира достаточно велико и что рабочие с успехом приспосабливают для этой цели имеющиеся у них приемники[26]. 16 апреля 1930 г. в имперском министерстве внутренних дел состоялось совещание, в котором приняли участие сотрудники министерства почт, министерства иностранных дел, ряда министерств Пруссии, а также отдела печати имперского правительства. Все участники согласились с тем, что московские передачи являются опасностью для порядка и спокойствия в Германии и что следует принять надлежащие контрмеры. Внешнеполитическое ведомство намеревалось поднять этот

*Обложка брошюры, изданной «Свободным германским радиосоюзом» и озаглавленной «Как я принимаю радио Москвы» (1931 г.)*

вопрос в переговорах с советскими представителями. Было предложено, чтобы Всемирный союз электросвязи оказал давление на Москву, потребовав прекратить иностранное вещание. Предложение организовать работу глушителей было отвергнуто, поскольку таковые могли действовать только в локальном масштабе. Установка глушителей могла помешать связи в воздушном пространстве. К тому же она противоречила установкам Всемирного союза электросвязи[27]. Проблемы воздействия московских передач на германскую публику играли, при этом, не очень значимую роль. Кроме того, в московском радиоэфире возникла некая пауза, так что казалось, что вопрос решится сам собой.

Германское требование, направленное Всемирному союзу электросвязи, осталось без последствий. На ежегодном собрании союза, которое проходило в Лозанне в мае 1930 г., председательствующий обещал передать германский протест советским представителям. Но он прекрасно понимал, что шансов добиться успеха крайне мало. К тому же отсутствовало стремление осложнять только-только складывавшиеся контакты Всемирного союза электросвязи с советским радио[28]. Столь же неудачными оказались демарши имперского министерства иностранных дел. В 1930 г. в СССР проживали два миллиона граждан немецкой национальности, и советские дипломаты указывали, что именно для них и ведутся соответствующие передачи. Наркоминдел указал немецкой стороне, что радиоэфир организован профсоюзами – неправительственными организациями, которые не подчинены указаниям сверху.

О московских радиопередачах шли дебаты не только на межгосударственном уровне. Они стали предметом обсуждения внутри страны. КПГ, не допущенная к германскому радиопространству, видела в передачах из Советского Союза способ отражения собственной политики, направленной не только против буржуазных и национально-консервативных партий, но и против социал-демократии[29]. На страницах своих периодических изданий, прежде всего, на страницах журнала «Arbeiter-Sender», коммунисты публиковали программы и волновое расписание московских радиопередатчиков, равно как и технические указания по переоборудованию обычных приемников, протестовали против антисоветских кампаний буржуазной прессы. Получили распространение коллективные приемники, которые располагались в част-

ных квартирах или в трактирах, постоянными посетителями которых были представители левых партий. Депутат рейхстага коммунист Торглер в 1931 г. энергично выступал в защиту передач московского радио. «Вы можете угрожать нам, – говорил он, обращаюсь к имперскому министру почт, – но я заявляю: пока вы используете радио как инструмент вашего класса и вашего правительства, вы не можете помешать нам слушать трансляции из Москвы, которые представляют вашу политику такой, какова она есть, а не такой, как вам бы хотелось»[30].

С самого начала по Московскому радио звучали призывы к слушателям направлять свои письма с пожеланиями и критическими замечаниями. На основе географии полученных писем в Москве могли уточнить возможности радиоприема в различных регионах Германии. На рубеже 1930 и 1931 гг. на радио ежемесячно поступало около 200 писем немецких слушателей – больше, чем из других государств. Только из Великобритании почта была более масштабной. В условиях массовой безработицы в каждом третьем письме из Германии содержались вопросы о возможностях трудоустройства в СССР[31].

Представители различных социальных слоев Германии неоднократно обращались к правительству по поводу радиотрансляций из Москвы. Руководство Объединения немецких работодателей сообщало министру внутренних дел Йозефу Вирту:

> 13 марта в 8–30 вечера началась передача. Сначала запели «Интернационал». После этого на немецком языке прозвучал доклад о мировоззрении пролетариата, о Марксе и Энгельсе как гениальных продолжателях классической германской философии и французского социализма. Мы обращаем Ваше внимание на заключительную фразу: «Религия есть опиум для народа, но о данной теме мы поговорим в следующей передаче». 23 марта в Крефельде и в других городах церковные врата были вымазаны красной краской. Здесь же надписи: «Религия есть опиум для народа». Несомненно, существует взаимосвязь между антирелигиозной пропагандой, ведущейся из Советской России, и ее непосредственным воздействием на Германию[32].

Били тревогу и церковные круги, особенно после последовавшей 25 декабря 1931 г. передачи «Экскурсия в антирелигиозный музей»[33].

Недовольство правящих кругов Веймарской республики получило четкое выражение в марте 1931 г., когда под председательством канцлера Генриха Брюнинга было проведено совещание, специально посвященное радиопередачам из СССР. Все участники совещания, в том числе канцлер, министр иностранных дел Курциус, министр внутренних дел Вирт, министр почт Шетцель, были согласны с тезисом о вредоносности советского влияния, но были отнюдь не убеждены в необходимости ответных мер. Вирт говорил о негативной реакции общества на возможное включение глушителей, а представитель прусского МВД предостерегал от правовых коллизий, которые могли возникнуть в этом случае. Решение оказалось компромиссным: применение в отдельных случаях средств глушения, новые протесты, обращенные к советскому правительству, появление в эфире собственных радиопередач в качестве контрпропаганды[34].

Разработанные германским радио передачи о Советском Союзе вышли в эфир в мае 1931 г. По рекомендации имперского и прусского правительств, были подготовлены выступления известных в Германии личностей, которые подвергали критике ситуацию в СССР. Было решено организовать аналогичные передачи на русском

языке – силами многочисленных русских эмигрантов в Германии. Но до реализации таких планов дело не дошло – ни до, ни после 1933 г. Лишь во время войны гитлеровцами были осуществлены радиотрансляции на русском языке для советского населения. Почему же власти Веймарской Германии ограничились выходом в эфир немецкоязычных антисоветских передач? Если не брать в расчет технические трудности, то, с точки зрения германских интересов, важнее было не столько разжигать оппозиционные настроения в СССР, сколько противостоять просоветским силам внутри Германии.

Немецкие контртрансляции выходили в эфир под серийным названием «Картины сегодняшней России» нерегулярно (от пяти до одного раза в месяц), как правило, в 20 часов. Продолжительность каждой из передач – до 30 минут. Шесть раз выступали по германскому радио супруги Герберт и Эльзбет Вайхман – социал-демократы, которые в 1931 г. совершили поездку в СССР и тогда же опубликовали книгу «Повседневность Советской России». Темы передач супругов Вайхман: «Улицы, дома и люди», «Обыденная жизнь», «Коллективизация человека», «Женщина и семья», «Ребенок и воспитание». Три вечера подряд с темой «Аграрная революция в России» выступал Отто Аухаген. Среди авторов передач: Феликс Штёссингер, Георг Клейнов, Мартин Фрейтаг, Курт Хенчель, Рейнгольд фон Вальтер, Феликс Дассель, Вальдемар Гуриан, Бертрам Шмитт, Освальд Цинау, Оскар Менхен-Хельфен.

Ответом стали энергичные протесты в прессе КПГ. В открытом письме (июль 1931 г.), адресованном компании «Дойче велле» и подписанном Иоганнесом Бехером, Эрнстом Глезером, Отто Хеллером, Людвигом Ренном, Анной Зегерс и Францом Вайскопфом, говорилось:

> В последнее время вы щедро предоставляете эфир людям, которые распространяют заведомую ложь о Советском Союзе. Г-н Штёссингер никогда не был в СССР и использовал в своем сообщении материалы, которые давно уже были отвергнуты даже буржуазными критиками советских порядков. Поскольку вы при любом удобном случае подчеркиваете свою “надпартийность”, мы требуем, чтовы вы дали возможность авторам этого письма изложить в эфире свои оценки Советского Союза. В отличие от г-на Штёссингера, все мы посетили СССР и являемся свидетелями того, что там происходит. Мы хорошо знаем, как там решаются проблемы социалистического строительства[35].

Сразу же после первой передачи Вайхмана с официальным протестом выступил заместитель наркома иностранных дел и бывший полпред СССР в Германии Николай Крестинский. Представитель германского МИДа писал в отчете о беседе с Крестинским, излагая доводы последнего: «Вайхман, являясь чиновником высокого ранга, получил дипломатическую визу для поездки в Россию. В своих выступлениях он подчеркивает свое официальное положение, что, по мнению русского правительства, является вмешательством во внутренние дела и примером некорректного поведения»[36]. Крестинский отклонил обвинения о вмешательстве советской стороны в германские дела.

Аргументация о том, что московские передачи предназначены для российских немцев, а радиостанции принадлежат общественным организациям, использовалась Наркоминделом только на внешнеполитической арене. В правящих кругах СССР нередко возникали дискуссии по поводу нареканий, поступавших из Германии. Ссылаясь на директиву ЦК ВКП(б), НКИД пытался оказывать воздействие на ре-

дакцию международного радиовещания, которая решительно отвергала попытки ограничений своей деятельности.

В декабре 1931 г. на заседании в отделе агитации Коминтерна с участием руководителей Наркоминдела возник открытый конфликт. «Наши передачи носят различный характер, – отмечала Роза Фрумкина. – В период развязанной за границей кампании о принудительном труде в СССР мы пытались давать репортажи о наших местах заключения, о нашей политике в этом вопросе. Но во время конгресса II Интернационала мы вынуждены были молчать» [37]. Более резко высказался Науман, представлявший КПГ[38]:

> Политика Наркоминдела состоит в том, что мы идем на уступки буржуазии, не получая ничего взамен. Мы не можем передавать в эфир то, что мы хотим. Мы не можем говорить о социалистическом строительстве, о диктатуре пролетариата, нам запрещают разоблачать клевету и вести контрпропаганду[39].

Фрумкина настаивала на правильности своих установок: «Товарищ Уманский[40], однажды мы (я открою небольшой секрет) попытались пискнуть и включили в воскресную передачу фрагмент из речи Молотова. И никаких запросов с Вашей стороны не последовало. Я очень лояльна в отношениях с Вами, я хорошо знаю все эти игры. По всем необходимым поводам я обращалась за советом в Наркоминдел. В мае нам было запрещено передавать беседу с иностранной рабочей делегацией. Теперь мы получили разрешение. В чем же причина запрета?»[41].

Германская аудитория московских радиопередач была достаточно широкой[42]. Но качество приема оставляло желать лучшего. В летние месяцы слышимость была хуже, нежели зимой. Помехи объяснялись различными атмосферными явлениями. Временами в Берлине подвергали критике то, что в Москве полагали несущественным, и, напротив, не обращали внимания на революционные лозунги. В 1932 г. и позднее передачи московского радио неоднократно вызывали протесты германского МИДа. Но напряженность, характерная для 1931 г., все же убавилась. Напротив, как показывали трения между Наркоминделом и Коминтерном, советское правительство уже в это время рассматривало Коминтерн как подконтрольную организацию, явно жертвуя – во имя приемлемых дипломатических отношений – устремлениями к поддержке пролетариата капиталистических стран. «Нами управляют, как малыми детьми. От нас снова хотят отказаться», – признавал один из выступавших на упомянутом заседании[43]. После 1933 г. были прекращены немецкоязычные передачи о соцстроительстве в СССР. Исходя из пожеланий радиослушателей последнего периода существования Веймарской республики, можно было ожидать, что после установления нацистской диктатуры московские трансляции станут более эффективными, чем прежде. Но этого не произошло.

## Программы и организационная структура Ино-радио в начале 30-х гг.

Подробный анализ немецкоязычных программ Московского радио остается невыполнимой задачей, поскольку мы располагаем далеко не всеми текстами передач. Вплоть до начала войны все передачи шли в прямом эфире. Звукозаписывающая ап-

паратура в Москве отсутствовала, в Германии применялась далеко не всегда. Тексты передач обнаруживаются либо в личных архивных фондах их авторов, либо в качестве записей, появившихся в результате прослушивания немецкими спецслужбами[44]. Наибольшее число указанных текстов относится к времени «германско-советской войны в эфире» (1931 г.) и к периоду Второй мировой войны.

Главным элементом радиопрограмм являлись выступления на заданные темы. Музыкальные трансляции происходили по особым случаям. Поскольку эфир не был ежедневным, определенную часть времени занимали новости в форме обзоров событий за неделю или же обзоров прессы. Связь с слушателями осуществлялась через рубрику «почтовый ящик», означавшую ответы на вопросы о Советском Союзе, чтение писем и пожеланий, которые были присланы в редакцию. Но в течение 30-х гг. этот раздел программы утрачивал свое значение. В рамках иновещания формы, привычные для СССР, не могли использоваться в полной мере. Это относится к репортажам с мест, к интервью или радиомитингам. Опыты в этом направлении предпринимались во время визитов иностранных рабочих делегаций или во время праздничных демонстраций 1 мая или 7 ноября. Незадолго до захвата власти нацистами проводились эксперименты с прямыми включениями между Берлином и Москвой. Была осуществлена (при участии Германского арктического общества) прямая телефонная и радиосвязь между ученым-полярником, зимовавшим на земле Франца-Иосифа, и его матерью[45]. После 1933 г. подобные эксперименты были прекращены.

Основное место в программах иновещания занимала самооценка ситуации в Советском Союзе. Перечень передач, проходивших в эфир в феврале 1931 г., содержал обстоятельные сообщениия по следующим темам: «Агрессивная политика царской России»; «Советская женщина: вопросы и ответы»; «Подготовка рабочих кадров в СССР»; «Специалисты из рядов пролетариата»; «Положение незрячих инвалидов в Советском Союзе»; «История революционных движений народов СССР»; «Жизнь на трассе Турксиба»; «Слёт рабочих и крестьянских корреспондентов»; «Письма из Республики немцев Поволжья»; «Культурная функция Красной Армии»; «Концерт в честь Дня Красной Армии»; «Женщины в промышленности»; «Положение интеллигенции в СССР»[46]. В график февральских передач 1931 г. был включен цикл лекций по вопросам марксизма-ленинизма. Но отсутствовали конкретные сюжеты о ситуации в Германии.

После 1933 г. в программах также доминировали темы о внутреннем положении Советского Союза. Внешнеполитические проблемы ограничивались описанием усилий по заключению пакта о коллективной безопасности. Трудно установить, происходил ли переход от продолжительных сообщений к более кратким комментариям и прямым выступлениям перед микрофоном[47]. Скорее всего, преобладала обратная тенденция, доказательством чего может служить программа на октябрь 1936 г. Если не учитывать цикла выступлений о немецкой поэзии, только одна из передач прямо относилась к положению в Германии – не о современности, но о Гамбургском восстании КПГ в 1923 г.[48]. Можно назвать это исключением, но графики передач других периодов не дают принципиально иной картины. Из 140 сюжетов января 1939 г. только 15 касались Германии. Темы: «Концлагерь “Бухенвальд”», «Январские бои 1919 г. в Берлине», «Биографии Карла Либкнехта и Розы Люксембург», «Ленин о Либкнехте и Люксембург», «Материалы о формировании единого фронта в Германии». Сюжет о январских боях был повторен дважды, сюжет о едином фронте – девять раз[49].

*Георг Штиби (1901–1982). Снимок 1938 г.*

В соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б), принятом в декабре 1932 г, с 31 января 1933 г. начал действовать Всесоюзный Радиокомитет. Председатель[50], заместитель председателя и члены ВРК назначались решением Совнаркома. В задачи нового органа входили организация и планирование радиопередач и развитие радиосети в стране. В рамках Радиокомитета действовали три отдела: по радиофикации, по руководству центральным радио и по руководству местными радиостанциями. К компетенции последнего отдела был отнесен сектор иновещания[51].

И в русском, и в эмигрантско-немецком речевом обиходе этот сектор именовался «Ино-радио». О его российских сотрудниках нам известно чрезвычайно мало. Главой сектора была назначена Роза Фрумкина. О кадрах немецкоязычной редакции сохранились сведения, относящиеся к периоду после 1935 г. В течение двух лет руководство сектора сменилось семь или восемь раз. После захвата власти Гитлером в Москву устремились немецкие эмигранты. Многие из них участвовали в деятельности Ино-радио. Кроме постоянных сотрудников редакция могла приглашать авторов, не состоявших в штате. Писатели-эмигранты работали на гонорарной основе. Постоянными сотрудниками были дикторы, машинистки, переводчики, технический персонал.

Участие Коминтерна в деятельности Ино-радио носило многообразный характер: подбор кадров иностранных сотрудников, воздействие на содержание и оформление передач. Радио превращалось в важнейшее средство информации о Советском Союзе в тех условиях, когда Советский Союз находился в изоляции от всего мира.

Несмотря на приток в СССР немцев-эмигрантов, существенных перемен в делах Ино-радио не произошло. Коминтерн неоднократно высказывал критические замечания по поводу состояния радиопропаганды, германскую партию укоряли за отсутствие интереса к работе на радио, за слабую активность в структурах иностранных редакций. Раздавались упреки по поводу недостаточного уровня радиопередач и

ошибок в составлении программ. Одна из резолюций Коминтерна констатировала, что в коммунистическом движении имеет место явная недооценка роли радио[52]. В 1935 г. Георг Штиби был назначен руководителем германской редакции Московского радио. Опыт его журналистской работы в Германии и в России был весьма значительным. Однако в 1936 г. по заданию партии он был направлен в Испанию[53].

В 1936 г. Коминтерн поручил немецкому коммунисту Фрицу Апельту организацию собственной службы прослушивания эфира. Год назад Апельт уже находился в Москве как сотрудник реорганизованного (в соответствии с решениями VII конгресса) отдела печати и пропаганды Коминтерна[54]. В его задачу входила подготовка материалов, предназначенных для немецкоязычной прессы капиталистических стран, а также репортажей для московского радио. Он приобрел ценный опыт радиоконтроля, что и послужило причиной его нового назначения[55]. В его распоряжение было предоставлено армейское коротковолновое приемное устройство, установленное в одном из пригородов Москвы. Совместно с Иреной Фалькон (отвечавшей за прослушивание испаноязычных радиостанций) Апельт в течение ночи просушивал зарубежный эфир. Эта информация являлась основой содержания ежедневного бюллетеня, предназначенного для руководства Коммунистического Интернационала. После победы Франко эта работа была свернута и возобновлена после начала Второй мировой войны[56].

## Ино-радио в период сталинского террора

Радиокомитет не остался в стороне от последствий Большого террора. Но, возможно, комитету все же, в какой-то мере, повезло в связи с тем, что он был выведен из системы Народного комиссариата связи (до 1932 г. – Наркомпочтель). Ни один наркомат не пережил столько смен руководства в 30-е годы: сначала нарком А.И. Рыков (отставленный председатель Совнаркома), затем его преемники: Г.Г. Ягода (смещенный с должности наркома внутренних дел), И.А. Халепский, М.Д. Берман (прежний начальник ГУЛАГа), В.В. Ярцев… В мае 1939 г. наркомом связи был назначен И.Т. Пересыпкин, исполнявший эту должность до июля 1944 г.[57].

Роковую роль для ВРК сыграли результаты проверки, осуществленной в 1935 г. Комиссией партийного контроля при ЦК ВКП(б). На основе материалов комиссии, НКВД инсценировал подготовку т. н «процесса Радиокомитета», что прямо означало репрессии против ряда его руководителей. Председатель Радиокомитета П.М. Керженцев получил строгое взыскание, но пережил террор[58]. В 1936 г. он был снят с должности председателя Радиокомитета, с 1938 г. руководил Всесоюзным комитетом по делам искусств, являлся заместителем главного редактора Большой советской энциклопедии. Преемником Керженцева в Радиокомитете стал К.А. Мальцев[59].

Летом 1936 г. была арестована Роза Фрумкина, а вместе с ней несколько ее сотрудников. «Фрумкина и другие, – говорил на общем собрании комитета Мальцев, – проникли на наше радио и достаточно долго, используя нашу политическую слепоту, плели свои интриги»[60]. Их обвиняли в том, что они якобы являлись агентами иностранных разведок. Аргументы: опечатки в текстах политических передач; цитаты из иностранных источников как звенья фашистской пропаганды; определенные музыкальные фрагменты в качестве сигналов к диверсионным актам… В стандартной

Radio 197 21

Radio - Zentrale -Moskau - Soljanka 12

Moskau, den 19. Oktober 1935

4-1

An
Genossen Gottwaldt
Komintern

Werter Genosse Gottwaldt!

Heute ist uns von dem Gen. Tschernin telefonisch mitgeteilt worden, dass bereits beschlossen worden sei, den Redakteur der deutschen Abteilung des Radio. Gen. Stibi, von seiner jetzigen Funktion wegzunehmen und ihn in die Abteilung des Gen. Tschernin, die - unseres Wissens - Ihnen unterstellt ist, zu beschäftigen. Wir Unterzeichneten protestieren gegen diesen Beschluss und ersuchen - falls er tatsächlich schon endgültig gefasst sein wollte - um seine Rückgängigmachung. Wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass ein solcher Personalwechsel die Arbeit des Radio nachteilig beeinflusst. Es liegt im Interesse des Radio, das zweifellos eine unserer wichtigsten propagandistischen Waffen ist, die Kontinuität der Arbeit nicht durch ständige Umbesetzungen und Neubesetzungen zu stören und die weitere Entwicklung dieser Sache zu hemmen. Wir glauben, dass Sie für unsere Einwände Verständnis haben werden und ersuchen deshalb nochmals, von der von Gen. Tschernin mitgeteilten Umbesetzung Abstand zu nehmen.

Mit komm. Gruss

Die Leiterin der internationalen Sendungen
R Frumkina

der Redakteur der deutschen Abteilung
Stibi

*Письмо Розы Фрумкиной, адресованное Клементу Готвальду. 19 октября 1935 г.*

по тем временам резолюции по докладу Мальцева утверждалась решимость «до конца разоблачить пробравшихся на радио врагов народа, создать такие условия, при которых будут исключены вылазки японско-германско-троцкистской агентуры»[61]. Одна из пострадавших, Хильда Дьюти, которая работала в радиокомитете в 1935–1937 гг., вспоминала спустя несколько десятилетий:

> Роза Фрумкина, наша тогдашняя начальница, была родом из Польши, в прошлом являлась членом Бунда, сразу после революции вступила в компартию. Еврейка. Очень интересная женщина, толковая и человечная. Ее арестовали как раз передо мной, в 1936 г. Для нашей редакции пришли черные времена. Каждый подозревал каждого. Меня сначала уволили. Причина? Я была больна, находилась дома, но меня вызвали на службу – нужно переводить и печатать срочный материал. В тексте было какое-то выражение, сейчас уже не вспомню, которое легко было перепутать. Четыре раза я перевела его правильно, в одном случае ошиблась. Прошло четыре недели, и меня уволили[62].

Но для ареста можно было отыскать другие мотивы (просьба о командировке в Испанию, знакомство с арестованным Хайнцем Нойманом). Так выглядела кампания по повышению бдительности в Радиокомитете. Дьюти провела десять лет в лагере. В 1960 г. она покинула Советский Союз и поселилась в ГДР.

Фонштейн, преемник Фрумкиной, продержался на посту руководителя Инорадио около года. В сентябре 1937 г. его уволили. До сих пор неизвестно, был ли он арестован. Ему были инкриминированы ложные высказывания о своих сотрудниках. В одном случае его оценка относилась к Луизе Шрёдер, которая позднее сама попала под подозрение[63]. Среди арестованных немецких сотрудников иностранной редакции были (в скобках дата ареста) Георг Кауфман (1936 г.), Фриц Деттнер (до сентября 1937 г.), Эрна Кольбе (сентябрь 1937 г.), Пауль Швенк (1937 г.), Герман Хорстман (февраль 1938 г.), Габриэль Левин (февраль 1938 г.), Фридрих Фосс (февраль 1938 г.)[64]. На работу были приняты Ганс Мале, Ханна Вилльман, Генрих Грайф, Лотта Лёбингер и (на должность руководителя редакции) Зепп Шваб.

К периоду Большого террора относится значительное число документов, в которых содержатся острые оценки деятельности Ино-радио. Анализ указанных источников показывает, что не все сотрудники немецкой редакции безоговорочно принимали происходившее, что для них кампания по усилению бдительности означала порой стимул к искренней критике, и их искренние нелицеприятные высказывания не всегда автоматически вели к арестам. Именно об этом свидетельствует пример Георга Штиби.

В октябре 1936 г. шеф немецкой редакции Штиби направил в секретариат ИККИ, Эрколи (Пальмиро Тольятти), письмо с жалобой. Поводом для обращения послужил конфликт, разгоревшийся с вновь назначенным начальником Главлита (цензурное ведомство) Рабиновичем. Последний потребовал предварительно «представлять в цензуру» все тексты радиопередач[65]. Штиби подготовил для эфира собственный текст под названием «Свобода совести и вероисповеданий в СССР». Ссылаясь на статью 124-ю проекта новой союзной конституции[66], Штиби утверждал, что все советские граждане, независимо от их вероисповедания, равны перед законом, в то время как в буржуазных обществах представители одной какой-либо религиозной конфессии получают особые права в ущерб правам других граждан. В нацистской Германии, продолжал Штиби, развернут террор против всех инакомыслящих, жерт-

вами которого стали названные им по именам католические священники[67]. Рабинович запретил трансляцию, наложив резолюцию: «Католики нам не нужны, нам нужны революционные рабочие»[68]. Аналогичная ситуация сложилась, когда Вилли Кропп подготовил и представил в цензуру текст о восстании горняков в Астурии (Испания). Рабинович тут же потребовал вычеркнуть фразу о переходе многих католических священнослужителей на сторону Народного фронта. Из текста передачи о праве на образование, по требованию главного цензора был выброшен фрагмент о преследованиях духовных лиц во время Парижской коммуны. Ссылаясь на директивы VII конгресса Коминтерна о политике народного фронта, Штиби обвинял Рабиновича в сектантстве. Помимо столкновений по религиозным вопросам, он приводил другие примеры и приходил к следующему заключению:

> Неурядицы, которые возникли в результате политических ошибок тов. Рабиновича, привели к исключительно серьезным осложнениям во всей работе редакции. Если в рукописях не обнаруживалось политических промахов, то придирки касались смехотворных мелочей, отдельных слов, дефектов в переводе и т. д. В таких условиях нельзя и помышлять об успешной работе, которая соответствовала бы важности нашего дела[69].

После совещаний (31 октября и 2 ноября 1936 г.), которые начальник радиокомитета Мальцев провел с сотрудниками Ино-радио, резко возросла напряженность в немецкой редакции. Мальцев потребовал, чтобы все передачи базировались на переводах статей из советской прессы. В эфир не должны были выходить авторские тексты. Работа журналистов объявлялась нежелательной. Штиби занял противоположную позицию. Как он писал, вновь адресуясь к Эрколи, решения VII конгресса настоятельно требуют уделять особое внимание национальным особенностям каждой страны, что делает необходимой подготовку специальных авторских материалов. Штиби не был против трансляций на основе советской печати, но он считал их обязательными, прежде всего, по отношению к внешнеполитическим проблемам. Популяризация Советского Союза, по убеждению Штиби, была главной задачей радиовещания, и ее необходимо было нацеливать на слушателей каждой страны. Поэтому он решительно выступал против установки Мальцева, за расширение круга собственных квалифицированных авторов[70].

Фонштейн (также в письме к Эрколи в феврале 1937 г.) сетовал на нехватку работников Ино-радио. В подготовке передач на девяти языках (немецком, английском, французском, испанском, голландском, шведском, чешском, португальском и венгерском) участвовало, не считая дикторов, 48 штатных сотрудников. Фонштейн считал, что их мало – и еще меньше надежных и проверенных. Только четверо из них являлись членами ВКП(б)[71]. Членство в иностранных компартиях не принималось во внимание. Однако Фонштейн сам был частично виновен в дефиците кадров: после ареста Фрумкиной он уволил немало работников иновещания. Нехватку последних он стремился возместить преимущественно членами партии. В составе испанской редакции в течение четырех месяцев действовал только один сотрудник – редактор, переводчик, корреспондент и машинистка в одном лице. Этот товарищ работал 17 часов в сутки; когда у него случался выходной, испаноязычные трансляции отменялись.

Ситуация в немецкой редакции выглядела получше. Хотя пост руководителя после отъезда Штиби в Испанию оказался вакантным, редакция располагала 11 работ-

никами. Помимо уже упомянутых (и арестованных в 1937 г.) Фрица Деттнера и Хильды Дьюти, это были Курт Хайсс, Штемпель, Аннет Гольдштейн, Яхина, Эмилия Франке, Шрайбер, Шапиро, Женни Пипеншток и одна машинистка. Немецкие передачи считались важнейшими среди всех трансляций Ино-радио. Фонштейн жаловался не только на нехватку работников. Недоставало редакционных помещений, которые располагались в двух различных местах: во Дворце труда на Солянке и в здании Радиокомитета на улице Горького. Заработная плата была невысокой.

И все же критические замечания Штиби принципиально отличались от жалоб Фонштейна. Если в центре внимания первого находилось глубинное содержание программ, второй видел недостатки лишь внешнего характера, состоявшие в недостаточном использовании советской печати. Именно так можно понять фрагмент из письма Фонштейна: «За четыре месяца работы мне удалось значительно поднять удельный вес политических передач». И далее: «Такие значительные события, как VIII Чрезвычайный съезд Советов, принявший Сталинскую Конституцию, судебный процесс в Кемерово, процесс троцкистского центра, вызвали громадный интерес слушателей московского радио». Возможно, Фонштейн отнес бы Штиби с его иными представлениями о задачах редакции, к тем, кого он обвинял в «восстановлении методов Фрумкиной»[72], и непременно лишил бы работы. Наверное, Штиби ясно понимал несовместимость своих воззрений с установками нового руководства и именно поэтому искал для себя новое поле деятельности.

Самуйлович, отвечавший за вопросы радио в отделе печати Коминтерна, по поручению Георгия Димитрова, составил для Эрколи краткую докладную записку по поводу отчета Фонштейна. В документе содержался перечень мер по улучшению иностранного вещания, в том числе назначение руководителей германской, американской, французской и испанской редакций, повышение окладов, предоставление новых помещений[73].

После отъезда Штиби пост главы немецкой редакции оставался вакантным. В этих условиях руководство Коминтерна считало необходимым уделять больше внимания деятельности Ино-радио. Был подготовлен документ «О немецких передачах Московского радио»[74], в котором вновь осуждалось механическое воспроизведение статей из советских печатных органов. Эти материалы, говорилось в документе, написаны для граждан социалистического государства. Многое вокруг них представляется им само собой разумеющимся, но немцы, несколько лет живущие в условиях фашистской диктатуры, не имеют об этом никакого представления. Буквальный перевод с русского на немецкий неизбежно приводит к неточностям, вызывает непонимание у слушателей, а также имеет следствием то, что новости доходят до Германии с большим опозданием и что слушатели не могут на них реагировать. Один из примеров:

> Без сомнения, смерть тов. Орджоникидзе являлась событием, которое должно было затронуть немецких радиослушателей. Трудно возразить против того, что 19 февраля 1937 г. из двухчасовой немецкой трансляции каждый час давался 30-минутный рассказ о жизни, деятельности и заслугах тов. Орджоникидзе – в форме, учитывающей уровень понимания немецких слушателей. Следующие полчаса вещания следовало бы использовать для освещения других проблем. Но вместо этого в эфире шел буквальный и подробный перевод всего номера «Правды» с полным перечислением текстов всех соболезнований и сообщения похоронной комиссии. В течение двух часов – никаких других политических материа-

лов. Статья «Правды» об Орджоникидзе совершенно не подходила для немцев, поскольку в ней говорилось о том, о чем они не знают и знать не могут[75].

Вальтер Ульбрихт, который в это время высказал некоторые замечания о работе Ино-радио, подобным же образом критиковал буквальное воспроизведение газетных статей: «Наверное, некоторые товарищи полагают, что подобные методы необходимы во имя повышения бдительности и избежания политических ошибок. Но это явное упрощение. Мы выступаем за то, чтобы важнейшие статьи “Правды” шли в эфир. Но при этом надо иметь в виду, что прочитанная газетная статья слушается и запоминается хуже, чем живая речь»[76]. Ульбрихт выступал за трансляцию текстов, специально написанных для радио. Поэтому, предлагал он, следовало бы вернуться к таким отвергнутым формам, как ответы на вопросы, репортажи, дискуссии, радиоспектакли[77]. В качестве авторов могли бы выступить известные зарубежные писатели, но для этого необходимо создать валютный фонд для оплаты гонораров. Желательно, по мнению Ульбрихта, учитывать дифференцированный состав слушателей, проводить специальные передачи для женщин, молодежи, крестьян и т. д.

В начале 1937 г. в аппарате Коминтерна были подготовлены и другие документы подобного содержания, посвященные недостаткам иновещания[78]. Руководство КИ выражало недовольство в связи с тем, что Ино-радио не учитывало запросы отдельных стран, ограничиваясь непонятной декламацией о политике Советского Союза. Но эту линию проводил вовсе не Фонштейн. Его позиция была и оставалась непрочной. ЦК ВКП(б) не утверждал его в должности руководителя Ино-радио, его политическое прошлое вызывало вопросы[79]. Вероятнее всего, Фонштейна должны были сместить. Более важным представлялось вмешательство в содержание программ руководства Главлита (Рабинович) и Радиокомитета (Мальцев). И отсутствие необходимых помещений, и малая зарплата, и жесткая регламентация вещания – все это было важным показателем того, что советские государственные органы не признавали важности международной деятельности радио.

Коминтерн, понимая это, приходил к выводу о необходимости усилить воздействие на процесс иностранного вещания, на его действенность. В соответствии с постановлением секретариата Исполкома Коминтерна (ИККИ) от 3 августа 1937 г. была создана радиокомиссия при отделе печати и пропаганды. Кроме Самуйловича, и ранее отвечавшего за эти дела, в состав комиссии вошли Ф. Фюрнберг (Австрия)[80], Б. Геминдер (Чехословакия)[81] и И. Жолдак (СССР). Было также решено делегировать в комиссию по одному представителю от компартий, на чьих языках велось вещание, для сбора материалов и контроля над передачами. Руководить этой работой было поручено Герберту Венеру[82]. Лидеры Коминтерна были убеждены в том, что материалы советской прессы нуждаются в переработке и приспособлению к особенностям отдельных государств, а также в том, что желательна дифференциация в содержании передач на фашистские и буржуазно-демократические государства. Комиссия должна была, согласно изложенным установкам, оказывать воздействие на подбор сотрудников Ино-радио, на работу с письмами слушателей и их пропагандистское использование, на всю систему использования возможностей радио в пропагандистской деятельности Коминтерна за пределами СССР. Для осуществления этих задач комиссия должна была разработать предложения и передать их отдельным компартиям[83].

Комиссия, работавшая под руководством Фюрнберга, выполнила поручение секретариата ИККИ и сформулировала предложения, изложенные в декабре 1937 г. в

виде письма Димитрова секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву. В документе весьма тактично было сказано о том, что в капиталистических странах предпринимаются большие усилия по использованию радио в своих целях. Сообщалось, что Италия уже начала трансляцию русскоязычных передач и что этому примеру могут последовать другие страны – прежде всего, Германия. Далее авторы документа логично перешли к недочетам в работе Ино-радио: к нехватке передающих мощностей и финансовых средств, к дефициту квалифицированных кадров. Подтвердив оценки такого рода, Димитров употребил весь свой авторитет генерального секретаря Коминтерна[84]. Ответственным руководителем германской редакции был назначен Зепп Шваб. После отъезда Штиби эту должность исполнял Эрих Биркенхауэр, но он был уволен в связи с партийным расследованием, которое велось по делу Герберта Венера. В ходе следствия они выдвигали взаимные обвинения друг против друга[85].

Шваб родился в 1897 г. в Мюнхене в бедной семье, являлся членом КПГ со времени ее основания, в 20-е гг. несколько раз подвергался тюремному заключению в Германии. В 1930 г. ему грозил новый приговор, и, по решению партии, он был направлен в Москву, где стал референтом по германским делам Среднеевропейского лендерсекретариата Коминтерна, где работал под началом Вильгельма Кнорина[86]. После VII конгресса и последовавшей затем реорганизации органов Коминтерна он стал сотрудником секретариата Эрколи, а на Брюссельской конференции КПГ (октябрь 1935 г.) был избран членом ЦК. С этого времени от отвечал за нелегальную деятельность компартии Германии в Северо-Западной Европе. Назначение Шваба в германскую редакцию последовало в июне 1937 г. Он являлся ее руководителем вплоть до конца войны[87].

При участии Шваба и его заместителя Карла Рааба Коминтерну, наконец, удалось оказывать влияние на кадровую политику Ино-радио. Рааб родился в Берлине в 1906 г., член КПГ с 1927 г. Он обучался банковскому делу, служил в качестве бухгалтера в одном из филиалов Дрезденского банка, а после увольнения – в книжном издательстве КПГ. В 1931 г., будучи делегирован в Москву, он участвовал в первомайской демонстрации на Красной площади и стал после этого участником кампаний по пропаганде достижений СССР. После захвата власти нацистами Рааб ушел в подполье под именем Карла Шперлинга, а в январе 1935 г. было принято решение направить его на учебу в Москву – в Ленинскую школу Коминтерна, до начала занятий в которой он посещал лекции в Коммунистическом университете национальных меньшинств Запада. После окончания Ленинской школы Рааб получил назначение на Ино-радио, где и трудился под псевдонимом Артур Фидлер. Он вспоминал впоследствии: «Моя дипломная работа в Ленинской школе была посвящена прогрессивным и революционным традициям германской истории и литературы как средству борьбы за свержение диктатуры Гитлера. По решению товарищей Георгия Димитрова и Вильгельма Пика, 1 сентября 1937 г. я был направлен на Московское радио, где являлся заместителем главного редактора германской редакции до апреля 1945 г. В течение семи лет был организатором репортажей, музыкальных и театральных передач, которые были посвящены антифашистской борьбе и строительству социализма в Советском Союзе»[88].

Созданию стабильного коллектива Ино-радио препятствовали как нелегкие материальные условия, так и нестабильная ситуация в период Большого террора. Высокая текучесть кадров существовала и до массовых арестов, но в ходе террора эта тенденция резко усилилась. В конце 1938 г. аресты перестали быть массовыми. В пись-

ме Вальтера Ульбрихта в отдел кадров Коминтерна (декабрь 1938 г.) среди работников германской редакции названы: Зепп Шваб, П. Эпштейн, В. Кахан, Ганс Клемм, Кэте Рюдигер, Фриц Зингер, Луиза Шрёдер, И. Ковальк, Лотта Лёбингер, Ханна Вилльман и Элла Хенрион[89]. На качестве передач отражались не только политическая регламентация, но и постоянная смена сотрудников.

С 1 сентября 1939 г. в Германии было запрещено законом принимать иностранные радиопередачи. В соответствии со специальным распоряжением от 4 сентября 1933 г. коллективное прослушивание трансляций Московского радио каралось арестом и заключением в концлагерь. Распоряжение было отменено в апреле 1938 г., поскольку за год до этого на основе официального письма имперского министерства юстиции всем прокурорам было предписано рассматривать указанные деяния как государственную измену. В 1937 г. несколько гамбургских радиослушателей были приговорены к срокам заключения от двух до шести лет. Прессе было дано указание широко распространить информацию о приговоре[90]. Подобные приговоры выносились и в последующие годы. Однако Гитлер отклонил подготовленный Геббельсом проект закона «о прослушивании коммунистических радиостанций»[91].

Нацистские власти делали все, чтобы помешать приему московских передач. Попытки повсеместного изъятия у членов КПГ радиоприемников и удаления из них длинноволновых диапазонов закончились неудачей. Начиная с 1933 г., периодическим изданиям не позволялось публиковать программы Московского радио. Заводам, выпускавшим приемники, было запрещено указывать на шкале индикаторы Москвы. Вводились в действие глушители. Запрет на прослушивание начавшихся в сентябре 1938 г. немецкоязычных трансляций Би-Би-Си был введен в 1939 г. После развязывания Второй мировой войны нацисты рассматривали все иностранные радиостанции в качестве угрозы для своей информационной политики. Но во время действия пакта о ненападения между СССР и Германией такая опасность являлась минимальной.

## Московское радио в 1939–1941 гг.

Уже весной 1939 г. появились первые признаки германско-советского сближения. В мае наркоминдел Литвинов был отправлен в отставку, этот пост занял Молотов. Зарубежные наблюдатели отмечали, что германская пресса прекратила нападки на Советский Союз. Реакция советских средств массовой информации оказалась аналогичной. Советник по делам печати в германском МИДе Браун фон Штумм в беседе с Георгием Астаховым, который временно исполнял должность полпреда, выразил по этому поводу удовлетворение, обратив особое внимание на последние передачи Московского радио[92]. Скорее всего, этот сигнал был услышан. На заседании руководства КПГ в конце мая 1939 г. Венер жаловался на ограничения, наложенные на содержание немецкоязычных передач. Международные темы были объявлены нежелательными, в репортажах запрещены сопоставления Советского Союза с Германией, а Главлит работал так медленно, что в эфир могли выходить только устаревшие материалы[93].

Функционеры КПГ не могли безоговорочно согласиться с тем, что изменения во внешнеполитической обстановке требуют изменений в характере радиопередач.

Реализация требуемых самоограничений привела к тому, что трансляции Ино-радио были деполитизированы и утратили всякую актуальность. Невнятность характера высказываний передач была заметна даже в сравнении с оценками советской прессы и радиопередач на русском языке. Отвечая на упреки, председатель Радиокомитета заметил, что в Германии не слушают русского радио. Но такой ответ не мог удовлетворить немецких коммунистов[94].

18 августа 1939 г. в штаб-квартире гестапо была завершена подготовка очередного доклада «Советско-русские радиопередачи антигерманского характера». В документе объемом в 41 страницу рассматривались немецкоязычные (частью и русскоязычные) трансляции первой половины августа[95]. После подписания пакта Молотова-Риббентропа анализ такого рода становился явно излишним. Советское руководство молниеносно приспособило печать и радио к новой ситуации. Германский посол в Москве Вернер фон Шуленбург в отчете от 16 сентября 1939 г. обратил внимание МИДа на позицию Московского радио. По мнению посла, это особенно проявилось в передачах о Гёте и Вагнере. В последних известиях отсутствовали нападки на Германию. Пересказывались статьи из советской прессы, в которых делался акцент на новую внешнеполитическую обстановку[96]. Но в Берлине выводы посла разделялись не полностью. Там полагали, что если печать СССР действительно дружественно настроена по отношению к Германии, то радиопередачи «по-прежнему предлагают субстанцию, состоящую из информационных материалов (частично некорректных) и колкостей, направленных против нас»[97]. Послу вменялось в обязанность довести такую оценку германских властей до сведения советской стороны и при возможных переменах на радио выразить Москве свое удовлетворение. Хотя Шуленбург и не разделял мнение МИДа, он передал содержание телеграммы начальнику отдела печати Наркоминдела. В ответ поступило предложение о предварительном просмотре в германском посольстве текстов передач Московского радио о событиях в Германии[98].

Столь быстрая перестройка пропаганды коснулась не только иновещания, но и средств информации, предназначенных для внутренних целей. Советские люди, многие годы боровшиеся с фашизмом, были обескуражены таким поворотом в пропаганде. Лекторов по международной тематике забрасывали вопросами, особенно в первые недели после заключения пакта Сталина-Гитлера. Сотрудники германского посольства посещали лекции о международном положении (например, открытые лекции в парке имени Горького) и составляли соответствующие донесения. При этом воспроизводились не только готовые ответы о политике правительства, но и вопросы из публики, отражавшие сомнения советских граждан. В одном из отчетов описывалась следующая ситуация: «Один из слушателей сказал о том, что сейчас, во время начавшейся войны, проливается кровь пролетариев и что советское правительство должно как-то выразить свою позицию, хотя бы в форме соответствующих лозунгов. Тогда с места раздался голос: “Но это – дело Коминтерна”. Лектор подхватил реплику и подчеркнул, что здесь речь не идет о задачах правительства. Он тут же указал на советскую позицию в японо-китайском конфликте и утихомирил несогласных словами о том, что Коминтерн не останется безучастным»[99].

Но в какой мере был дееспособен Коминтерн? Смена курса в передачах Ино-радио (которая казалась недостаточной для германского правительства) вызвала подавленность среди сотрудников отдела печати Коминтерна и германской редакции Московского радио. В сентябре и октябре 1939 г. сотрудничество Ино-радио с Коминтерном почти прекратилось. Герберт Венер вспоминал об этом:

Порученная мне работа по подготовке радиопередач вскоре натолкнулась на препятствия, преодолеть которые оказалось невозможно. Каждую неделю я приносил в редакцию текст, который должен был быть поставлен в программу, переведен на несколько языков и подготовлен для эфира. На этот раз проблемой передачи являлась экспансионистская политика нацистов. Через несколько дней после захвата Данцига я подготовил текст по этой тематике. Но передача не состоялась. Руководитель иновещания, некто Колмаков[100], сказал мне, что мои передачи не могут транслироваться. Причина? У немецких слушателей может возникнуть впечатление о том, что Советский Союз проводит линию в вопросе о Данциге, аналогичную с линией английского империализма. Антифашизм любой ценой легко может превратиться в провокацию. Впредь мое «сотрудничество» с Ино-радио ограничилось тем, что я каждые два дня приносил в редакцию – не более, чем для информации – материалы из зарубежных газет, в которых говорилось об антинацистских митингах и движениях. Кроме того, я был занят стилистической правкой ежедневных обзоров советской прессы, подготовленных руководителем отдела печати Коминтерна. Но и здесь мы поскользнулись. Мой начальник и я однажды были вызваны к Мануильскому, который объявил нам, что Колмаков и председатель Радиокомитета написали на нас донос и направили его Берия. Нас обвиняли в том, что при изложении важного правительственного документа мы неверно указали должность Молотова, что равносильно принижению его значимости. Я не очень-то сдержанно заявил Мануильскому, что Колмаков, которого я охарактеризовал в связи с его оценкой антифашизма, уже давно пытается пресечь наше, и без того ограниченное, влияние на иностранное вещание. Возможно, Коминтерну следует прекратить это бессмысленное дело. Мои слова о высказывании Колмакова об антифашизме и провокации возмутили Мануильского, и он обещал разобраться. Единственный результат беседы: доносу не был дан ход[101].

Согласно интерпретации Венера, его работа на радио представляла последний рубеж антифашизма. Но в условиях действия пакта и начавшейся Второй мировой войны должна была менять характер своей работы и комиссия Коминтерна по вопросам радиовещания. Главная задача состояла теперь в прослушивании иностранного эфира. В 1939 г. ежедневно прослушивались 30 радиостанций, о чем составлялся соответствующий обзор. Число передач, которые фиксировались в таких обзорах, возросло от 248 в августе до 438 в декабре 1939 г. Соответственно, выросло и число сотрудников. К делу прослушивания были привлечены лица, не работавшие прежде в отделе печати Коминтерна[102]. В 1940 г. прослушивание ежемесячно охватывало уже от 600 до 700 радиопередач. Ежедневно составлялись отчеты о трансляциях из Берлина, Лондона, Рима, Анкары, Токио, Будапешта, Бухареста, Белграда, из Швейцарии. Сотрудничество с редакциями Ино-радио ограничивалось (кроме крайне редких передач) предназначенными для заграницы обзорами о положении в СССР. Чрезвычайно важным оказался опыт анализа содержания передач и методов работы иностранных станций, приобретенный в ходе регулярного прослушивания, опыт, который мог пригодиться в дальнейшей деятельности Ино-радио[103].

К этому добавилось еще одно обстоятельство. В 1939 г. была осуществлена еще одна (вторая после 1936 г.) реорганизация отдела печати и пропаганды Коминтерна. ВКП(б) делегировала в аппарат отдела нескольких молодых русских партработников. В задачу обновленного отдела пропаганды входила теперь учеба сотрудников Коминтерна и находящихся в СССР членов зарубежных компартий. По мнению Венера, отдел, главой которого был назначен Михаил Иовчук, «превратился – благода-

ря тесным контактам с русскими функционерами – в самое влиятельное подразделение аппарата Коминтерна»[104]. Венер констатировал:

> Молодые русские партработники, получившие высшее образование, не знали подлинной ситуации в рабочем движении. У них ранее не было возможности заниматься этими проблемами. Поэтому они занимали совсем иные позиции, нежели прежние русские кадры, работавшие в аппарате Коминтерна. Сотрудников пугали длинные и агрессивные доклады Иовчука[105], в которых он обличал позиции своих коллег, их недостаточное овладение учением Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина. Он, наряду с другими, был той самой новой метлой, которая должна была вычистить все международное рабочее движение и навязать ему исключительно то, что они понимали под доктриной, обозначенной четырьмя именами[106].

Для Коминтерна деятельность Ино-радио представлялась полностью неудовлетворительной. В середине 1940 г. была предпринята новая попытка изменить ситуацию, попытка превратить Ино-радио в рупор Коминтерна. Была образована комиссия и сформулированы новые задачи. В состав комиссии вошли Ян Шверма (председатель), Беджрих Геминдер, Фридль Фюрнберг и Герберт Венер. Перечень задач: сотрудничество с руководством Ино-радио в утверждении еженедельных и ежемесячных программ вещания, планомерная подготовка материалов, политические консультации для сотрудников иностранных редакций, учет пожеланий слушателей и совместная выработка ответных шагов, помощь в решении кадровых вопросов, когда это касается иностранцев. Указанные меры дополнялись предложением о проведении еженедельных совместных заседаний комиссии с руководством Ино-радио. Поскольку четыре члена комиссии не могли контролировать работу всех иностранных редакций, ИККИ принял решение о выделении своего представителя в каждую из редакций. В германской редакции такую роль должен был играть Вальтер Ульбрихт. ИККИ предполагал получать регулярную информацию о ходе совместной работы[107].

Для выхода из ограничений, которые накладывала на содержание передач сложная международная обстановка, Коминтерн избрал своеобразный путь. Д.З. Мануильский обратился к секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову с просьбой дать согласие на проведение широкой кампании пропаганды марксизма-ленинизма. Поскольку в условиях войны чрезвычайно затруднена рассылка информационных материалов, радио, утверждал Мануильский, является практически единственным средством распространения в международном рабочем классе учения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Хотя Ино-радио время от времени проводило (в связи с историческими датами) отдельные передачи по теоретическим вопросам, они не носили систематического характера и не учитывали уровня иностранных слушателей. Мануильский обозначил пять тематических циклов, направленность которых не затрагивала внешнеполитических интересов Советского Союза: 1) Конституция СССР и биография Сталина; 2) Фрагменты из произведений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, а также из вышедшего в 1938 г. и ставшего каноническим «Краткого курса истории ВКП(б)»; 3) Вопросы всемирной истории; 4) Вопросы социалистического строительства в СССР; 5) Консультации по вопросам истории ВКП(б), философии, достижений науки в Советском Союзе. Передачи об истории Коминтерна, его стратегии

и тактике Мануильский считал неуместными. К своему письму он приложил развернутые тематические планы[108].

Не существует данных о том, как редакция Ино-радио восприняла попытку расширить влияние Коминтерна. Но она определенно выступала против чересчур энергичной регламентации своей работы. Венер, будучи старательным исполнителем, указывал в своем отчете (сентябрь 1940 г.): «Несмотря на определенный прогресс, передачи Московского радио на иностранных языках страдают серьезными недостатками»[109]. Зная о предыдущих критических оценках иновещания, следовало бы спросить, в чем же заключался этот прогресс. Венер вновь обозначал те же самые недостатки: схематичное воспроизведение статей из советской печати, слабое разъяснение специфических для СССР явлений и понятий, отсутствие учета подачи материалов для радио, трансляция устаревших новостей. Новизна отчета Венера состояла в том, что в нем подробно говорилось об опыте деятельности радио в других странах, прежде всего, в Германии и в Англии, что, без сомнения, являлось результатом работы по прослушиванию эфира. «Английское радио, – отмечалось в документе, – активно применяет выступления у микрофона, дискуссии, интервью. С беседами выступают известные личности […]. Формы трансляций разнообразны, как только это возможно. Например, беседа по актуальным вопросам во время футбольного матча или во время поездки в метро, обзоры вышедших книг и кинофильмов»[110]. Аналогичные наблюдения касались германского радиовещания. Венер не выступал за прямое заимствование опыта других стран, но – за использование современных действенных методик подачи материалов, за увеличение удельного веса музыкальных и спортивных трансляций, поскольку они могут привлечь радиослушателей к другим программам.

Трактовка своей деятельности со стороны Радиокомитета выглядела совсем иначе. Отчет за 1940 г. все же содержал указания на недостатки иновещания, связанные, с одной стороны, со слабостью технической базы, что приводило к срыву графиков передач, и, с другой, – с кадровым дефицитом. В штате числилось всего 37 сотрудников, и не все из них являлись членами ВКП(б). И все же: по сравнению с 1939 г., число членов партии удвоилось. В отчете констатировались успехи иновещания: передачи на 14 языках, около 2 тысяч обзоров, репортажей, интервью по вопросам социалистического строительства в СССР, 200 выступлений представителей советской науки, литературы и искусства, 6500 музыкальных передач (ежедневно не менее семи концертов). Вразрез с суждениями Венера, обращалось внимание на актуальность передач, на их адаптацию к интересам слушателей, в том числе при помощи радиофильмов и радиопьес[111].

Поскольку в конце 1940 или в начале 1941 г. ЦК ВКП(б) планировал обсудить проблемы радиовещания, Мануильский использовал эту возможность для подготовки подробных докладных записок о состоянии иновещания, адресованных секретарю ЦК А.А. Жданову и начальнику управления пропаганды ЦК Г.Ф. Александрову[112]. Мануильский во многом опирался на уже упоминавшийся отчет Венера от сентября 1940 г. Однако в своих оценках работы Радиокомитета Мануильский указывал на необходимость улучшения качества передач и модернизации технической базы. Ино-радио использовало передающие устройства, работавшие на внутренний эфир. Это приводило к тому, что вещание на иностранных языках осуществлялось в поздние вечерние часы, что вызывало многократные нарекания. Вывод: Ино-радио

должно располагать собственным передатчиком, что приведет к качественному улучшению его работы.

Несмотря на все изъяны, все же в 1940 г. в иновещании произошли определенные перемены к лучшему. Если советский полпред в Великобритании И.М. Майский в январе 1940 г. резко критиковал англоязычные передачи Московского радио, то впоследствии он неоднократно указывал на позитивные подвижки[113]. Несомненно, возросла актуальность передач. Если в начале 1940 г. международные обзоры опирались исключительно на сообщения ТАСС (у ВРК до войны не было собственных корреспондентов за рубежом), то постепенно информационная база расширилась. Ино-радио организовало собственную службу прослушивания зарубежного эфира и сформировало т. н. «русскую редакцию», состоявшую из специалистов, занимающихся вопросами промышленности, сельского хозяйства, литературы и искусства, обзорами советской прессы и теоретическими проблемами. Новая редакция должна была стать мозговым центром Ино-радио[114]. Ее руководителем стал В.Г. Мулин, который впоследствии, в 1945–1949 гг., занимал пост начальника подразделения радиопропаганды в управлении пропаганды Советской военной администрации в Германии.

К началу 1941 г. в штатах Ино-радио числился 151 сотрудник, подбор которых осуществлялся совместно с отделом кадров ИККИ. Только меньшая их часть состояла в ВКП(б)[115]. Членами братских партий являлись 63 и беспартийными 51. По мнению Колмакова, этот аппарат необходимо вывести из структуры Радиокомитета и непосредственно подчинить политическому руководству. Это предложение в мае 1941 г. было направлено секретарю ЦК ВКП(б) А.С. Щербакову[116]. Колмаков стремился укрепить свои позиции и улучшить материальное положение подчиненных, которое, по сравнению с другими подобными учреждениями, выглядело достаточно скромно. Он надеялся на оперативную поддержку политического руководства, на вывод Ино-радио из подчинения Радиокомитета. Впрочем, это не противоречило планам председателя радиокомитета Г.И. Стукова[117], который в мае 1941 г. сообщил секретарям ЦК А.С Щербакову, А.А. Жданову, А.А. Андрееву и Г.М. Маленкову о зарубежном опыте: германский министр народного просвещения и пропаганды Геббельс, как и британский министр информации Дафф Купер проводят регулярные инструктивные совещания с руководителями прессы и радио. «Таким образом, – отмечал Стуков, – ответственные сотрудники английского и германского радио постоянно находятся в курсе политических дел и твердо знают, о чем можно и нужно вести первоочередные передачи. К сожалению, у нас подобная система отсутствует, и я вынужден вариться в собственном соку»[118]. Что касалось отделения Ино-радио от Радиокомитета, то надежды Колмакова были связаны с планами реорганизации ТАСС, что могло предполагать принятие новых решений о функциях и административном переподчинении Ино-радио. Германская агрессия против Советского Союза потребовала полной трансформации всех сторон информационной политики. Центральный политический инструктаж средств массовой информации был введен незамедлительно – независимо от пожеланий Колмакова и Стукова и потребностей сотрудников радио.

* * *

Значение Московского радио для немецких слушателей состояло не столько в информационной ценности его передач и, разумеется, не в их художественной значи-

мости, сколько в политической направленности трансляций. Этот вывод относится ко всему рассматриваемому периоду. Только во время войны ситуация изменилась. Советские сообщения о ходе военных действий представляли альтернативу германской пропаганде, а чтение поименных списков немецких военнопленных в СССР служило важнейшим средством информации для миллионов родственников.

О явно недостаточном художественном уровне трансляций Ино-радио свидетельствуют многие самокритичные отзывы, в частности отчет Герберта Венера (1940 г.), в котором говорилось, что оформление передач серьезно отстает от достижений английского и германского радио. Причины этого многообразны, в том числе дефицит кадрового и технического обеспечения – явный признак того, что внимание к радиопропаганде находилось на периферии советской внешней политики. Что касается немецкой редакции, то для участия в ее работе не удалось привлечь квалифицированных специалистов. Исключением был Александр Маас, но он в 1933 г. покинул Советский Союз. К работе Московского радио не был привлечен Фридрих Вольф, который в годы Веймарской республики приобрел опыт сотрудничества с новым средством массовой информации. У приступавших к работе на радио немецких эмигрантов из числа деятелей искусства отсутствовали контакты с публикой, они были оторваны от методик трансляций, существовавших за рубежом. Решающая роль в формировании программ радиопередач Московского радио принадлежала партийным функционерам. Содержание радиопрограмм не отличалось от содержания партийной печати. К этому добавлялась регламентация всей деятельности радио, ставшая несоразмерной в годы Большого террора. О художественной форме трансляций не могло быть и речи, поскольку в эфир выходили лишь переводы статей из советской прессы.

В рассмотренных выше документах неоднократно высказывалось недовольство недостаточной информационной ценностью немецкоязычных передач. Но за содержание программ отвечали по преимуществу советские сотрудники, по крайней мере, до 1935 г. Они не могли вникнуть в потребности немецких слушателей. Однако ситуация не улучшилась и после того, как на радио были приняты немецкие эмигранты. Во второй половине 30-х гг. со стороны Коминтерна выражалось недовольство тем, что передачи не адаптированы к интересам немецкой публики. Это касалось тем, которые, большей частью, находились вне зоны внимания немцев. Но зачастую это обстоятельство не играло чересчур большой роли для слушателей в Германии. Члены КПГ были убеждены, что все, что происходило в СССР, имело основополагающее значение для немецкого пролетариата. Критические голоса были исключением, но все-таки были, о чем свидетельствует отрывок из письма на Московское радио: «Вам не следовало бы создавать такой же культ вождя, какой уже существует в Германии. Понятие “вождь” приобрело у нас после 1933 г. горький привкус. Никто не сможет выиграть с помощью гипертрофированного культа»[119].

Но почему же Московское радио имело столь важное значение для части населения Германии? В обстановке, когда немецкое общество было полностью унифицировано, голос Москвы являлся воплощением другого мира, принципы которого не могут быть воплощены в Германии. В той мере, в какой СССР был позитивной моделью для участников Сопротивления, в такой же мере Германия стала для трудящихся Советского Союза воплощением негативных начал. Антифашистская деятельность в рамках Ино-радио была для многих немецких эмигрантов единственным полем деятельности – при всех ограничениях, при всем отрицательном опыте, при-

обретенном в «братской стране». И борьба против нацистской диктатуры была бы для немецких коммунистов еще труднее, если бы не существовало другого мира – Советского Союза.

*Перевод с немецкого Александра Борозняка*

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бонч-Бруевич М.А.* (1888–1940) – член-корреспондент АН СССР. Под его руководством в 1922 г. в Москве была создана самая мощная в мире радиостанция.

[2] *Nikolajew A.* Wie sich Vladimir Iljitsch um Erfindungen und Erfinder kümmerte // Die ersten Schritte. Erinnerungen an Lenins Wirken beim sozialistischen Aufbau. – Berlin, 1982.

[3] О начальной фазе истории советского радио см.: *Глейзер М.* Радио и телевидение в СССР. Даты и факты (1917–1986). М., 1989; *Горяева Т.М.* Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920–1930-х годах. – М., 2000; *Frei J.* Presse, Rundfunk und Fernsehen in der UdSSR // Neue deutsche Presse. 1967. H. 12.; *Roth P.* Der sowjetische Rundfunk 1918–1945 // Rundfunk und Fernsehen. 1974, H. 2; *Igrinow J.* Fakten aus der Frühzeit des sowjetischen Rundfunks // Beiträge zur Geschichte des Rundfunks. 1983. H. 2. S. 24–40; *Plaggenborg S.* Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrußland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus. – Köln, 1996.

[4] *Николаев А.М.* (1887–1937) – член РСДРП, участник революционных событий 1905–1907 и 1917 гг., в 1918–1924 гг. сотрудник наркомата почт и телеграфов, с 1925 торгпред в Норвегии, с 1931 г. член президиума Госплана.

[5] Граф Георг фон Арко (1869–1940) – известен под именем «Красный граф». Выпускник Бреславльского и Берлинского университетов. с 1898 сотрудник концерна АЭГ, с 1903 г. технический директор концерна Телефункен, один из основателей «Общества друзей новой России».

[6] *Николаев А.М.* Указ. соч. С.

[7] *Ostrjakow P.* Eine Zeitung ohne Papier und ohne «Entfernungen» // Die ersten Schritte. Erinnerungen an Lenins Wirken beim sozialistischen Aufbau. S. 199.

[8] Ibid. S. 207.

[9] *Roth P.* Op. cit. S. 195.

[10] Ibid. S. 198.

[11] Арко в Советском Союзе //. Радио-слушатель. 1929. № 1. С 1. Graf Arco. Das neue Postzentralamt in Moskau // Das neue Rußland. 1929. H. 5/6.

[12] Международный обмен программами // Радио-слушатель. 1929. № 1. С. 5. регулярный обмен программами начался летом 1932 г. (Deutscher Programmaustausch mit Sowjet-Rußland // Funk. 1932. H. 12. S. 46).

[13] *Ostrogorskij V.* Wie wurde der KOMINTERN-Sender zu einem Weltbegriff? // Beiträge zur Geschichte des Rundfunks. 1982. H. 2. S. 79.

[14] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 60. Д. 804. Л. 100.

[15] Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 720. Оп. 1. Д. 88. Л. 9.

[16] *Острогорский В.* Правда против лжи. Московское радио в немецком эфире. 1917–1980 гг. – М., 1982; *Diller A.* Ideologie-Pfeile im Äther. Vor 50 Jahren: Erste deutschsprachige Programme aus Moskau // Kirche und Rundfunk. 1979. H. 93; *Tischler C.*, Mühl-*Benninghaus W.* «Achtung, hier ist Moskau!». Der deutschsprachige Rundfunk aus der Sowjetunion 1929–1945 // humboldt-spektrum. 1996. H. 3.

[17] Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin (PAAA). R 83859.

[18] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 74. Д. 65. Л. 107. Данных об Иконникове не обнаружено. *Ротштейн Ф.А.* (1871–1953) – один из создателей компартии Великобритании. После возвращения в Россию сотрудник Наркомата по иностранным делам, в 1921–1923 гг. полпред в Персии, в 1923–1931 гг. редактор журнала «Международная жизнь», академик АН СССР. *Чернин И.И.* (1893–1937) – сотрудник Коминтерна, пал жертвой сталинских репрессий.

[19] Биографические данные о Фрумкиной см.: РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 65а. Д. 441. Была арестована в 1936 г. и расстреляна до 1940 г.

[20] *Gurdus N.* Die deutsche Abteilung des Moskauer Rundfunks // Der deutsche Rundfunk. 1932. H. 47. По данным Гурдуса, Гольдшмидт в качестве преемника Киша фактически являлся руководителем германского отдела; Archiv der Akademie der Künste Berlin. Nachlaß Friedrich Wolf. Nr. 55; РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 706. Л. 129.

[21] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 706. Л. 129.

[22] Там же. Л. 130.

[23] PAAA. R 83859.

[24] Gewaltige Senderneubauten in Rußland – Der Ätherkrieg droht // Die Sendung. 1931. H. 3. S. 42; *Gurdus N.* Kriegsgefahr im Aether // Der Deutsche Rundfunk. 1931. H. 9; Berliner Börsen-Zeitung. 16. V. 1931, См. также: *Mick Ch.* Sowjetische Propaganda, Fünfjahrplan und deutsche Rußlandpolitik 1928–1932. – Stuttgart, 1995.

[25] РГВА. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 89. Л. 28.

[26] Там же. Л. 30.

[27] Там же. Л. 39.

[28] Там же. Л. 100.

[29] *Dahl P.* Arbeitersender und Volksempfänger. Proletarische Radio-Bewegung und bürgerlicher Rundfunk bis 1945. – Frankfurt a. M., 1978.

[30] Verhandlungen des Reichstags. Stenographische Berichte. V. Wahlperiode. Bd. 445. – Berlin, 1931. S. 1697.

[31] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 753. Л. 39.

[32] РГВА. Ф. 1363. Оп. 1. Д. 89. Л. 41.

[33] Krieg der Bischöfe gegen die Sowjetsender // Arbeiter-Sender. 1932. H. 3.

[34] Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Die Kabinette Brüning. Bd. 2. – Boppard a. Rh.,1982. S. 997–998.

[35] Die Welt am Abend. 24. VII.1931.

[36] РГВА. Ф. 720. Оп. 1. Д. 88 Л. 155.

[37] Там же. Ф. 495. Оп. 30. Д. 710. Л. 116.

[38] Возможно, речь идет о Р. Наумане (1899–1978), который прибыл в Россию в 1920 г., вступил в РКП(б), закончил Институт красной профессуры, преподавал политическую экономию, с 1943 г. являлся лектором антифашистской школы. После возвращения в Германию профессор университета им. Гумбольдта, член ЦК СЕПГ.

[39] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 710. Л. 130.

[40] Уманский К.А. (1902–1945) – в 1931–1936 гг. руководитель отдела печати Наркоминдела, в 1931–1936 гг. советник полпреда, полпред в США, в 1943–1945 гг. посол в Мексике, погиб в авиационной катастрофе.

[41] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 710. Л. 143.

[42] За прослушивание эфира были ответственны в Германии имперское министерство почты и управление разведки рейхсвера. После 1935 г эти задачи были переданы пяти различным ведомствам (Bundesarchiv/Militärarchiv. RW 6/174).

[43] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 710. Л. 125.

[44] См.: Inventar der Quellen zum deutschsprachigen Rundfunk in der Sowjetunion (1929–1945). Bestände in deutschen und ausländischen Archiven und Bibliotheken. – Potsdam, 1997.

[45] *Острогорский В.* Указ. соч. С. 41.

[46] Bundesarchiv/Militärarchiv. R 1501/St 10/62–3. S. 368.

[47] *Острогорский В.* Указ. соч. С. 51.

[48] РГВА. Ф. 501. Оп. 3. Д. 352. Л. 286.

[49] Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen im Bundesarchiv (SAPMO Barch) RY 5/ I 6/3/284. S. 4–10.

[50] В течение последующих трех лет эту должность исполнял П. М. Керженцев (1881–1940) – член РСДРП с 1904 г., после революции на работе в «Известиях» и в РОСТА, в Наркоминделе, в 1936–1938 гг. председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР.

[51] Радио в СССР. Отчет VII Съезду Советов. – М., 1934. С. 11–12.

[52] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1050. Л. 2–4.

[53] *Штиби Г.* (1901–1982) – член КПГ с 1922 г. С 1926 г. сотрудник ряда газет КПГ, в 1932 г. корреспондент газеты «Rote Fahne» в Москве. Участник войны в Испании, редактор радиостанции «Дойчес фрайхайтсендер». После войны в Испании и заключения во французском лагере Ле Верне эмигрировал в Мексику, где он принадлежал к руководству местной организации КПГ. В 1946 г. вернулся в Германию, был главным редактором ряда газет ГДР, в том числе «Нойес Дойчланд». Умер в 1982 г.

[54] Отдел возглавлял П. Тольятти, руководителем сектора печати (который ведал деятельностью Ино-радио) являлся И. И. Чернин.

[55] Апельт был не единственным, кто по поручению Коминтерна просушивал радиопередачи иностранных государств. Эту работу выполняла также И. Шиллинг, в частности во время процесса Димитрова в Лейпциге. (Запись беседы автора с проф. Шиллинг 1 декабря 1995 г.)

[56] SAPMO Barch. SgY 30/ 0013–1. Bl. 9–93. Апельт сообщал, что организация службы прослушивания находилась под руководством Г. Венера, в записях которого говорится: «Как только в 1938 г. в моем распоряжении оказался радиоприемник, я смог дополнять обзоры прессы данными из радиопередач. Отдел печати приобрел несколько приемников (во время войны их было пять) и постепенно перешел к систематическому прослушиванию иностранного радиовещания» (*Wehner H.* Zeugnis. Persönliche Notizen 1929–1942. Bergisch Gladbach, 1985. S. 262.)

[57] *Коржихина Т.П.* Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 г.– декабрь 1991 г. – М., 1994. С. 400.

[58] *Gorjajeva T.* Unterwerfung und Gleichschaltung des Rundfunks in der UdSSR // Im Dschungel der Macht. Intellektuelle Professionen unter Stalin und Hitler. – Göttingen, 2000. C. 210–211.

[59] В 20-е гг. Мальцев был заместителем начальника Агитпропа ЦК ВКП(б). Скончался в 1963 г.

[60] Цит. по: *Ostrogorski W.* Schweres Schicksal. Repressionen im Moskauer Rundfunk der dreißiger Jahre // In: Radio-Hören. 1992. H. 4. S. 49. Не поддаются проверке данные о том, что перед своим арестом Фрумкина уничтожила многие материалы Ино-радио (Ф. 495. Оп. 12. Д. 135. Л. 19).

[61] *Ostrogorski W.* Op. cit. S. 49.

[62] *Diezel P.* Hilda Duty – Zellengefährtin von Carola Neher // Exil. 1992. H. 2. S. 26.

[63] *Ostrogorski W.* Op. cit. S. 50.

[64] См.: In den Fängen des NKWD. Deutsche Opfer des stalinistischen Terrors in der UdSSR. Berlin, 1991. Острогорский называет следующие имена арестованных немецких сотрудников: Барбара Шварц, Эрих Вюрц, Александр Гроссман, Хелена Йохансон, Герда Штерн-Франкфуртер, Эмилия Франке. (*Ostrogorski W.* Op. cit. S. 51). Нелли Хельд сообщает, что в помещении редакции был арестован Вальтер Гроссе (Ohne Scham. Lebensbericht der Nelly Held. Berlin, 1990. S. 96).

[65] О постепенном, начиная с 20-х гг., введении цензуры на советском радио см.: *Gorjajeva T.* Op. cit.

[66] В статье говорилось о гарантиях свободы совести для граждан СССР, об отделении церкви от государства и школы от церкви, о свободе осуществления как религиозных культов, так и антирелигиозной пропаганды.

[67] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 12. Д. 135. Л. 7–13; Ф. 495. Оп. 83. Д. 243. Л. 10–12.

[68]. Ф. 495. Оп. 12. Д. 135. Л. 3.

[69] Там же. Л. 5.

[70] РГАСПИ. Ф. 495. Оп.12. Д. 135. Л. 14.

[71] Там же. Л. 19–20.

[72] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 12. Д. 135. Л. 19.

[73] Там же. Л. 171. Самуйлович К.А. (1899–?) – в 1936–1941 гг. сотрудница отдела печати КИ, в 1941–1943 гг. в редакции журнала «Коммунистический Интернационал», затем в ТАСС.

[74] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 292. Д. 93. Л. 2–4. По мнению Р. Мюллера, автором данного неподписанного документа являлся Венер (*Müller R.* Die Akte Wehner. Moskau 1937 bis 1941. – Berlin, 1993. S. 217). Возможно, авторство принадлежит Ульбрихту или Фюрнбергу.

[75] *Müller R.* Op. cit. S. 219.

[76] РГАСПИ Ф. 495. Оп. 292. Д. 93. Л. 9.

[77] Начиная с 1937 г. публичные дискуссии на радио были запрещены. См.: *Gorjajeva T.* Op. cit. S. 210.

[78] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 292. Д. 93. Л. 7. В отношении авторства этого документа, (приписываемого Венеру) также существуют серьезные сомнения.

[79] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 12. Д. 135. Л. 31.

[80] Фюрнберг Ф. (1902–1978) – в 1926–1932 гг. секретарь Коммунистического Интернационала Молодежи, в 1936 г. эмигрировал в СССР. в 1938–1943 гг. представитель компартии Австрии в Коминтерне.

[81] Геминдер Б. (1901–1952) – в 1924–1926 и в 1934–1935 гг. в аппарате Коминтерна, руководитель отдела печати КИ, в 1943–1945 руководитель Института 205, в 1945–1951 гг. секретарь ЦК КПЧ, в 1952 г. в связи с процессом Сланского приговорен к смертной казни.

[82] К делам руководства Ино-радио был причастен и Ульбрихт. (SAPMO Barch. RY 1/I 2/3/429. S. 10–14).

[83] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 810. Л. 3.

[84] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 259. Л. 59.

[85] *Wehner H.* Op. cit. S. 233.

[86] SAPMO Barch. SgY 30/0877. S. 10.

[87] После возвращения в Германию З. Шваб занимал должности главного редактора газеты «Neues Deutschland», руководителя киностудии ДЕФА и государственной комиссии по кинематографии, в 1954–1956 гг. посол в Венгрии, в 1956–1965 гг. зам. министра иностранных дел ГДР. Скончался в 1977 г.

[88] SAPMO Barch. SgY 30/1233–1. S. 157. См. также: *Raab K.* Kultur und Kunst in deutschsprachigen Sendungen von Radio Moskau 1937 bis 1945 // Beiträge zur Geschichte des Rundfunks. 1983. H. 2. С октября 1941 по март 1942 г. Рааб, будучи в Куйбышеве, исполнял обязанности главного редактора, поскольку Шваб оставался в Москве. По возвращении в Германию (в составе одной из первых групп ЦК КПГ в мае 1945 г.) находился на различных постах в ГДР в качестве редактора, затем в аппарате ЦК СЕПГ. Скончался в 1992 г.

[89] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 293. Д. 121. Л. 5. Установить точные имена некоторых сотрудников не представляется возможным. В документе не упомянуты Карл Рааб, Ганс Мале, Вальтер Фишер, Генрих Грайф.

[90] Archiv für Funkrecht. 1937. H.6. S. 257–263.

[91] Подробнее см.: *Hensle M.* «Rundfunkverbrechen». Das Hören von «Feindsendern» im Nationalsozialismus. – Berlin, 2003.

[92] Akten der deutschen auswärtigen Politik (ADAP). *Serie D.* Bd. VI. S. 381.

[93] SAPMO Barch. NY 4036/522–2. S. 1.

[94] SAPMO Barch. NY 4036/496. S. 26–27.

[95] РГВА. Ф. 500. Оп. 4. Д. 340. Л. 21.

[96] PAAA R. 122924/9.

[97] PAAA Bo M P 2g, o. P.

[98] PAAA. Bo M P 2g

[99] PAAA. R 104357–2, 21588–21589.

[100] Биографические сведения о Колмакове отсутствуют. Он не был непосредственным преемником Фонштейна, после которого делами Ино-радио короткое время руководила Иванова, уволенная по обвинению в том, что она набирала на работу беспартийных иностранцев (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 9. Л. 51–53).

[101] *Wehner H.* Op. cit. S. 267.

[102] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 809. Л. 49. Среди сотрудников службы прослушивания КИ Венер называет немца Вилли Лейтнера, австрийца Фридриха Хексмана и швейцарца Зиги Баматтера (*Wehner H.* Op. cit. S. 270).

[103] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 809. Л. 127; Ф. 495 Оп. 83. Д. 243. Л. 7.

[104] *Wehner H.* Op. cit. S. 263.

[105] *Иовчук М.Т.* (1908–1990) – с ноября 1939 по сентябрь 1941 г. руководитель отдела пропаганды Коминтерна.

[106] *Wehner H.* Op. cit. S. 264.

[107] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 18. Д. 1320. Л. 222, 224, 301.

[108] РГАСПИ. Ф. 495. Оп.10а. Д. 421. Л. 5.

[109] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 83. Д. 236. Л. 25.

[110] Там же. Л. 30.

[111] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6903. Оп. 1. Д. 55. Л. 15.

[112] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 11. Л. 64, 46.

[113] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 31. Л. 156.

[114] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 31. Л. 153. Кроме русской редакции, в этот период действовали редакции германская, французская, итальянская, испанская, шведская, финская, венгерская, чешская, английская, американская, румынская, болгарская, сербская, китайская. Работали также редакция международной политики и музыкальная редакция.

[115] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 31. Л. 150. В различных документах назывались различные данные о числе сотрудников Ино-радио. Членство в ВКП(б) было обязательным для утверждения в должности ответственного редактора.

[116] Должны были осуществляться передачи на турецком, иранском, японском и арабском языках, а также на языке урду. Наркомату связи было предписано вести передачи из Одессы, Симферополя, Тбилиси и Ашхабада (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 74. Л. 26).

[117] Стуков Г.И. (1902–1942) – в 1939–1941 гг. председатель Радиокомитета при СНК СССР, погиб на фронте.

[118] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 73. Л. 17. f. 17.

[119] РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 1104. Л. 44.

# 4. ПЕРЕЛОМ

*Владимир Невежин*

## РЕАКЦИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА на Пакт Риббентропа–Молотова и трансформация образа нацистской Германии в СССР (1939–1941 гг.)

23 августа 1939 г. в Москве был подписан пакт о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом. Руководители внешнеполитических политических ведомств обеих стран Иоахим фон Риббентроп и Вячеслав Михайлович Молотов поставили свои подписи не только под текстом этого договора, но и под секретным дополнительным протоколом к нему, предусматривавшим разделение «сфер государственных интересов» обеих держав в Восточной Европе. Было официально положено начало кратковременному периоду сближения СССР и Третьего Рейха, сопровождавшемуся декларациями о «дружественных отношениях». Он завершился 22 июня 1941 г., когда Гитлер развязал агрессию против Советского Союза.

Этот этап в истории отношений СССР с нацистской Германией, несмотря на непродолжительность по времени, был по-своему уникальным. Сталинское руководство предприняло тогда беспрецедентные шаги по налаживанию сотрудничества с Третьим Рейхом в политической, экономической и военной областях. Оно не оставило без внимания и политико-пропагандистскую сферу, перед которой была поставлена задача по идеологическому обеспечению этого процесса.

В связи с этим несомненный интерес представляет изучение вопроса о том, какова была роль советской политической элиты и пропагандистских структур большевистского режима в создании «желательного» (исходя из менявшейся политической конъюнктуры) образа Германии. Его исследование затруднялось в советский период по ряду причин объективного характера (в СССР вплоть до конца 80-х гг. существовало табу на тематику, связанную с событиями 1939–1941 гг., практически не было доступа к необходимым историческим источникам). На исходе 90-х гг. ситуация несколько изменилась. В частности, исследователи получили возможность всесторонней разработки названной темы, опираясь как на неопубликованные архивные материалы, так и на некоторые документальные публикации, а также на мемуарную литературу, дневники участников и очевидцев событий.

### От «полного недоумения» до психологического шока: первоначальная реакция на пакт в советском обществе

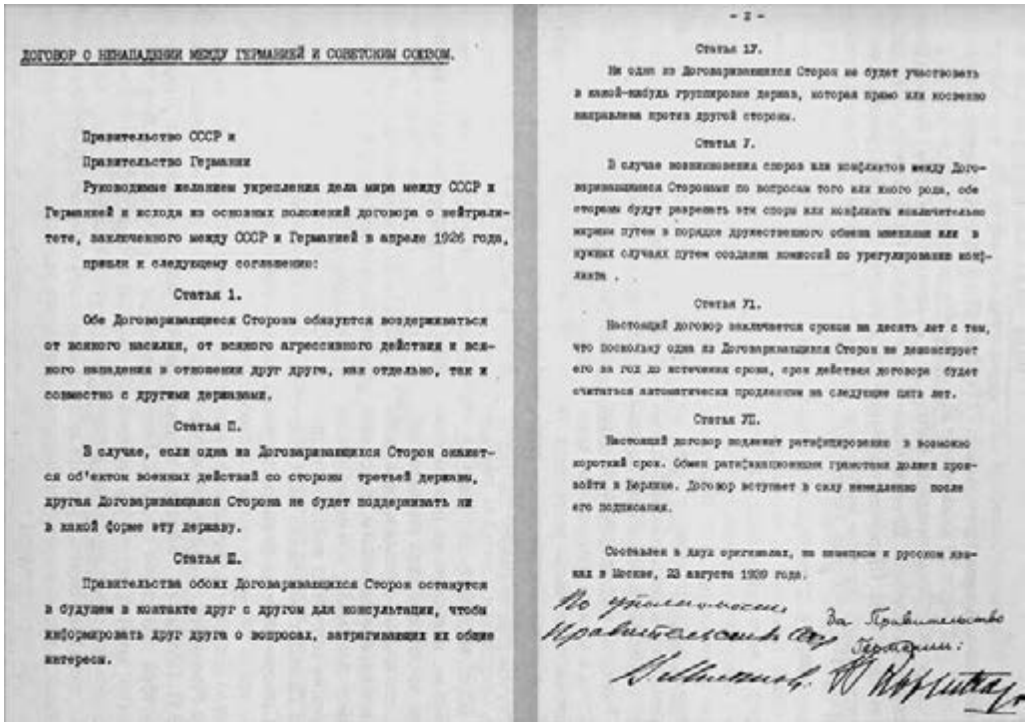
Со второй половины 30-х гг. Советский Союз и нацистская Германия выступали на международной арене как антагонисты (на этапе гражданской войны в Испании, накануне и в первые месяцы после подписания Мюнхенского договора 1938 г., в период

*Народный комиссар иностранных дел Молотов подписывает в Москве пакт о ненападении*

чехословацкого кризиса). Национал-социализм трактовался большевистской пропагандой как явление крайне враждебное. В книге «Краткий курс истории ВКП(б)» (1938), выполнявшей «функцию настольной Библии того времени», содержалась резко отрицательная характеристика гитлеровской партии. В антифашистскую кампанию оказались вовлеченными наряду с Коммунистическим Интернационалом практически все средства массовой информации, она активно велась политико-пропагандистским аппаратом ЦК ВКП(б) и РККА при активном участии видных представителей интеллигенции. Большими тиражами публиковались произведения немецких эмигрантов-антифашистов, многие из которых нашли убежище в Москве. По их сценариям в СССР ставились кинофильмы и спектакли[1].

Результатом подобной обработки общественного мнения явилось то, что большинство советских людей рассматривали свою родину в качестве главного оплота в борьбе против фашизма. Не шокировало даже то, что репрессированные в 1936–1938 гг. видные большевики, представители высшего командного и политического состава Красной Армии причислялись к фашистским шпионам. Дети в СССР играли в коммунистов и фашистов, а в тирах мишенями порой служили фигуры в коричневых рубашках со свастикой[2]. Как отмечал современник событий, советские газетные и журнальные статьи, карикатуры, кинофильмы представляли фашиста не иначе как кровожадного зверя[3].

Тотчас после подписания Договора о ненападении 23 августа 1939 г. большевистское руководство поспешило выступить с соответствующими разъяснениями, которые носили на самом деле директивный характер. Уже 24 августа в передовой статье газеты «Правда», написанной Сталиным, утверждалось: «Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и политической системе не должно и не может служить препятствием для установления добрососедских отношений между обеими странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития и расцвета»[4].



ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ.

Правительство СССР и

Правительство Германии

Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года,

пришли к следующему соглашению:

Статья 1.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга, или отдельно, или совместно с другими державами.

Статья II.

В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется об'ектом военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

Статья III.

Правительства обоих Договаривающихся Сторон останутся в будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга о вопросах, затрагивающих их общие интересы.

- 2 -

Статья IV.

Ни один из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой стороны.

Статья V.

В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта.

Статья VI.

Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на следующие пять лет.

Статья VII.

Настоящий договор подлежит ратификации в возможно короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. Договор вступает в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию Правительства СССР: За Правительство Германии:

*Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года, на русском языке. Опубликован в 2002 году историко-документальным департаментом МИДа России*

Между тем договор о ненападении с Германией вызвал в общественном сознании неоднозначную реакцию. Нельзя не признать, что порой звучало одобрение выбранного советским руководством «нового курса» в отношении Германии. В частности, в среде рабочих и служащих Ленинграда имели место следующие суждения. Заключение договора о ненападении от 23 августа 1939 г. было правильным делом, поскольку по сравнению, например, с английской «продажной и двусмысленной политикой», внешнеполитическая линия Германии якобы более «ясна», а поэтому «легче будет ориентировать свою жизнь и свое поведение». Этот дипломатический акт, как представлялось, означал, что советское руководство заставило посчитаться с СССР «самую агрессивную страну – Германию». Среди тех, кто положительно оценивал значение договора от 23 августа 1939 г., бытовало убеждение, что его подписание будет иметь следствием серьезный удар по интересам Англии и Франции, подорвет позиции союзницы Японии как союзницы Германии по Антикоминтерновскому пакту [5].

Представляется, что подобного рода высказывания, прозвучавшие на открытых собраниях рабочих и служащих, скорее всего, не были искренними и имели целью лишний раз продемонстрировать лояльность режиму.

Они заглушались хором голосов, однозначно свидетельствовавших о негативной реакции на резкий внешнеполитический поворот в отношении Германии. Чувства, которые обуревали многих граждан в СССР после получения ими известий о подпи-

сании в Москве советско-германского договора о ненападении, современник и очевидец событий Вольфганг Леонгард характеризовал не иначе как настоящий психологический шок[6]. Воспитанные преимущественно в духе здорового антифашизма, советские люди сохраняли в сознании негативные характеристики нацистской партии, распространявшиеся пропагандистскими структурами, воспринимали Германию исключительно как крайне агрессивную державу.

В создавшихся условиях передовая статья газеты «Правда» от 24 августа 1939 г. с изложением официальной советской точки зрения на пакт явилась своеобразной «лакмусовой бумажкой», «испытанием на прочность» приверженности советских людей новому внешнеполитическому курсу, избранному Сталиным.

Как показывают доступные источники, представители различных слоев советского общества с большим недоверием отнеслись к вышеупомянутой публикации в «Правде». Особенно болезненно (в прямом и переносном смысле) воспринималась она в интеллектуальной среде. Так, известный своими антифашистскими публикациями Илья Эренбург, который находился тогда в Париже, ознакомившись со статьей от 24 августа 1939 г., впал… в болезненное состояние: в течение восьми месяцев не мог ничего есть и потерял около 20 кг в весе.

Его коллега Всеволод Вишневский, член оборонной комиссии Союза советских писателей, в 20-х числах августа 1939 г. пребывал в длительной командировке на Дальнем Востоке и фактически был лишен доступа к объективной информации о советско-германских переговорах[7]. Но 27 августа, проанализировав сводки Телеграфного агентства СССР (ТАСС), где содержались, в частности, формулировки (со ссылкой на германские газеты) о насчитывавшей столетия дружбе русских и немцев, антифашистски настроенный писатель и драматург задавался риторическим вопросом: «а 8 веков борьбы России и Германии на Востоке?». Он не мог уяснить: каким образом относиться к прежней идейно-философской и политической оценке фашизма, блока агрессоров, превалировавшей в советской пропаганде?[8]

Аналогичным образом воспринял утверждения о налаживании дружественных отношений с Германией писатель Константин Симонов, так же, как и В.В. Вишневский находившийся во второй половине августа 1939 г. в длительной служебной командировке на Дальнем Востоке. Вспоминая спустя четыре десятилетия о собственном отношении к визиту Риббентропа в Москву и подписании договора о ненападении между СССР и Германией, Симонов утверждал, что оба события явились для него и для окружающих своеобразной психологической встряской. Особенно непонятными они представлялись с учетом активной поддержки, которая была оказана СССР республиканской Испании в 1936–1939 гг. в ее борьбе против германо-итальянского нашествия. Характеризуя общественные настроения, преобладавшие после получения известия от пакте от 23 августа 1939 г., Симонов подчеркивал: «Что-то перевернулось в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта»[9].

Созвучной подобным настроениям, но выраженной в более резкой форме, оказалась реакция на передовую статью газеты «Правды» от 24 августа 1939 г. Л.В. Шапориной, жены известного советского композитора Ю. Шапорина (1887–1966). У нее, в частности, вызвало чувство протеста утверждение о дружбе между народами СССР и Германии, загнанной в тупик «врагами». Шапорина сделала следующую запись в дневнике по этому поводу: «Что это? Кто эти враги? А еще теплые тела

убитых Испании, Чехословакии? Сволочи. Я не могу – меня переполняет такая невероятная злоба, ненависть, презрение, – а что можно сделать?»[10].

После публикации в «Правде» 24 августа 1939 г. вышеупомянутой передовой статьи типичными стали высказывания рабочих и служащих, в которых выражалось сомнение в надежности пакта о ненападении с Германией, недоверие германскому руководству и убеждение в неизбежности продолжения ею агрессивной политики: «Гитлер ненадежный человек, ему ничего не составляет впоследствии разорвать этот договор (о ненападении – *В.Н.*)». Некоторые люди смотрели на пакт Риббентропа–Молотова «как на очередную аферу Германии», которая через два года вновь начнет «свою агрессивную политику» в отношении СССР. В общественном сознании присутствовало убеждение: после его заключения не следует думать, что «фашисты с этого момента перестают быть нашими врагами». Наконец, люди высказывали недоверие в искренность намерений как германской, так и советской сторон, ранее жестоко враждовавших между собой. Чутье подсказывало: «Тут что-то кроется неладное. Этому договору (от 23 августа 1939 г. – *В.Н.*) нельзя верить ни на грош»[11].

Пакт Риббентропа–Молотова расценивался в общественном сознании и как победа германской дипломатии, фактическое одобрение политики советским руководством Гитлера, развязывания ему рук на Западе, еще большего укрепления позиций нацистской Германии. Подписав его, утверждал, например, один ленинградский инженер, немцы «извлекли для себя максимальные выгоды» и развязали руки «для достижения агрессивных целей». Таким образом, германское руководство сделало «политически блестящий ход», демонстрируя мирные устремления и одновременно делая все для «успокоения общественного мнения».

Коммерческий директор ленинградской фабрики «Скороход» в частной беседе отметил наличие не только чувства удивления, но и возмущения, особенно среди молодежи, проявленной со стороны советского руководства «демонстрацией дружбы с погромщиками», т. е. с нацистами. Ведь, по его мнению, молодежь «учили ненавидеть фашизм и вдруг Сталин встал рядом с погромщиками»[12].

Вместе с вышеупомянутой передовой статьей о пакте в «Правде» был помещен на первой полосе фотоснимок, запечатлевший Сталина, Молотова, Риббентропа и сотрудника МИДа Германии Гауса в кульминационный момент переговоров. Илья Эренбург в своих мемуарах отметил, что все изображенные на этом снимке «удовлетворенно улыбались»[13]. Шапорина отреагировала на это фото с искренним негодованием: «Фотография “Правды” чего стоит: направо грубые, разъевшиеся морды Сталина и Молотова, а слева, скрестив по-наполеоновски руки, тонко, уверенно улыбается фон Риббентроп. Да, дожили. Торжество коммунизма! Урок всем векам и народам куда приводит “рабоче-крестьянское правительство”!»[14].

Подобного рода негативная реакция проявлялась и со стороны «простых людей». Мастер одной из ленинградских фабрик заявил, что факт публикации этого снимка «выходит за пределы доступного понимания». Он призывал всмотреться в фотографию, ибо у немцев на ней вид торжествующий, а у Сталина и Молотова – «заискивающий»[15].

Вслед за подписанием договора о ненападении с Германией тяжелые времена настали для партийных работников, пропагандистов и агитаторов местного масштаба, которые во многом на свой страх и риск должны были разъяснять людям суть столь неожиданного внешнеполитического поворота, совершенного сталинским руководством. Ведь в течение недели (вплоть до выступления В.М. Молотова на Сессии

Верховного Совета СССР 31 августа 1939 г.) основным официальным источником, из которого они и их «подопечные» могли почерпнуть информацию на сей счет, была вышеупомянутая передовая статья в газете «Правда».

Местные агитаторы и пропагандисты низового звена в создавшейся ситуации были вынуждены прямо апеллировать в «высокие» партийные инстанции, обращаясь за разъяснениями по поводу резкого поворота в отношениях с гитлеровской Германией. Один из таких агитаторов, избравший псевдоним «Земляк», вскоре после 23 августа 1939 г. направил письмо секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову. В письме, в частности, обращалось внимание на противоречие между прежними сталинскими установками, данными на XVIII съезде ВКП(б) (март 1939 г.) и в других выступлениях Сталина, подхваченных большевистской пропагандой, и новыми, непонятными для «низов» веяниями в отношении Германии и ее режима.

В частности, «Земляк» напомнил слова Сталина на XVIII съезде о «германских завоевательных устремлениях», а также о сталинской характеристике Германии как одной из «самых агрессивных стран». Анонимный корреспондент Жданова язвительно подчеркивал: теперь, т. е. после подписания договора от 23 августа 1939 г., «видите ли, поджигатели войны в Европе – Англия и Франция», а германский народ якобы «традиционно с нами связан». В данном случае прямо декларировалось недоумение по поводу газетных публикаций, инспирированных выступлениями В.М. Молотова 31 августа. В письме «Земляка» имелась риторическая фраза: «Спрашивается, как нам, работникам мест, отвечать (*вернее, лгать*) рабочим и колхозникам? *Ответа не находим»* (курсив мой – *В.Н.*)[16].

В состоянии растерянности пребывали и активисты ВЛКСМ и Коммунистического Интернационала Молодежи (КИМ), о чем имеются объективные свидетельства в дневнике-воспоминаниях О.И. Чечеткиной, являвшейся с 1937 г. членом делегации ВЛКСМ в Исполкоме КИМа. Чечеткина узнала о подписании договора о ненападении между СССР и Германией в поезде, на пути в Москву из Ташкента, где выступала с докладами и беседами на международные темы. По ее свидетельству, эта весть взволновала пассажиров: во всех вагонах тут же возникли яростные споры. Вопросы следовали один за одним: Как расценивать договор о ненападении? Не предадут ли СССР немцы? Нет ли предательства европейского пролетариата с советской стороны? Чечеткина отмечала: «Как и всегда бывает между русскими, споры были жаркими и бескомпромиссными»[17].

Представителям партийных органов трудно было понять и «переварить» такое событие, как пакт Риббентропа–Молотова, разъяснять суть происходившего другим. По признанию тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиты Хрущева, нелегко оказалось при всем понимании ситуации совмещать доказательства выгоды для СССР договора 23 августа 1939 г. с констатацией вынужденности его заключения[18].

Неслучайно, большого накала достигали страсти на партийных собраниях местных организаций ВКП(б), где поднимался коренной вопрос: «Как расценивать договор о ненападении между СССР и Германией?». Так, на собрании партактива г. Мичуринска (Тамбовская область) были высказаны сомнения относительно надежности этого договора. У его участников напрочь отсутствовала вера в прочность и долговечность «дружественных отношений» с Германией. Они, в частности, интересовались: «Как совместить нынешнюю политику Гитлера и его книгу “Моя борь-

ба?”. Не может ли получиться так, что мы своими дружественными отношениями с Германией, особенно в торговле, укрепим ее для нападения на СССР?»[19].

В спецсообщении Управления НКВД по Ленинградской области об откликах на заключение советско-германского договора о ненападении подчеркивалось, что в ряде случаев агитаторы («беседчики»), будучи недостаточно подготовлены, не удовлетворяли своими ответами интерес присутствующих. Так, «разъяснения», далеко не исчерпывающие существа дела, были даны партийными агитаторами при ответах на такие, например, вопросы: «Насколько искренне желание германского правительства отказаться от нападения на СССР и нет ли здесь какого трюка?»; «Как могло получиться, что основной очаг войны, центр агрессии и вдруг заключает договор о ненападении. Как будет реагировать рабочий класс Германии, если мы заключим договор о ненападении с фашистским правительством?»[20].

Не имея возможности удовлетворить законное любопытство активистов–агитаторов, большевистские функционеры местного масштаба прибегали к «весомому», на их взгляд, аргументу: «Не верить германо-советскому договору о ненападении нет оснований, так как он заключен в *присутствии товарища Сталина*» (курсив мой – *В.Н.*)[21].

Как и партийный актив гражданских ведомств, командный и политический состав РККА с трудом ориентировался в сложившейся ситуации. Командиры и политработники, в частности, заявляли: «Сейчас вообще не знаешь, что писать и как писать, нас раньше воспитывали в антифашистском духе, а сейчас наоборот». Подобного рода претензии адресовались сталинскому руководству: «Агитацию и пропаганду против фашизма нельзя проводить, т. к. *наше правительство не видит никаких разногласий с фашизмом*» (курсив мой – *В.Н.*)[22].

Между тем на политических занятиях красноармейцы высказывали сомнение: не противоречит ли договор о ненападении с Германией… «учению Ленина?»[23]. Объявленная «дружба с германским народом» была «необъяснима и малопонятна для красноармейцев», которые воспринимали немцев как потенциальных военных противников[24].

Однако, давая «добро» на пропагандистские декларации в духе «дружественного сближения» с прежде враждебной Германией, Сталин мог быть уверенным, что открыто заявить о неодобрении этой акции никто в Советском Союзе не посмеет. К этому времени большевистский вождь уже имел крепкий, «очищенный» репрессиями и страхом «тыл»: советское общество было «очищено» от «сомнительных» мыслей и от ставшего опасным «благородства»[25].

И даже внутреннее неприятие начавшейся пропагандистской кампании в духе «дружбы с германским народом» не служило помехой для проявлений конформизма. 15 ноября 1939 г. Михаил Пришвин заметил в дневнике: «По-прежнему у нас не говорят люди между собой о политике, но она так велика, что вошла внутрь каждого, и каждый про себя является политиком, живет внутри великих событий»[26]. Быть «политиком про себя» вынуждала действительность сталинского режима с его перманентными репрессиями. Атмосфера недоверия приводила порой к тому, что даже в разговорах с близкими и друзьями люди боялись высказываться слишком откровенно. Политика сближения с нацистской Германией была выбрана Сталиным, и, как полагало подавляющее большинство, открыто противопоставлять ей свое личное мнение было просто опасно. Господствовала вера, что вождь не может совершать ошибок [27].

## Политический театр: Сталин, советская политэлита и перемена климата в ситуации вокруг пакта

*С советской стороны у истоков договора о ненападении, как известно, стояли Сталин и Молотов. Сталин принимал участие в выработке окончательного варианта текста этого пакта и секретного дополнительного протокола к нему. Он активно поддерживал беседу и исчерпывающе отвечал на все вопросы Риббентропа, прибывшего с визитом в Москву для подписания договора о ненападении. Молотов же, хотя и был также причастен к работе по согласованию с германской стороной вышеупомянутых документов, выступал в роли своеобразного статиста. Он отказался от сталинского предложения вести диалог с личным представителем фюрера.*

Но согласно официальной трактовке событий, первоначально изложенной в советских средствах массовой информации, роли Сталина и Молотова были «распределены» иначе. Так, в передовой статье газеты «Правда» от 24 августа 1939 г., подчеркивалось, что беседа в Кремле велась между Молотовым, Риббентропом и Шуленбургом «в присутствии тов. Сталина»[28]. Личный вклад большевистского лидера в достижение договоренности с нацистской Германией как бы принижался.

Понять логику подобных сталинских действий, в какой-то степени, позволяют воспоминания функционеров, имевших возможность встречаться со Сталиным в рабочей обстановке. Они подчеркивали, что Молотов практически постоянно присутствовал в сталинском кабинете в Кремле[29]. По мнению Микояна, «декорацию с присутствием Молотова» Сталин производил, чтобы «создать представление»: важные вопросы решаются не в одиночку; у него есть «правая рука», собственная тень – Молотов, с которым вождь постоянно советуется[30].

Итак, выдвигая Молотова на первый план и оставаясь как бы сам в тени в деле выбора «нового» курса во взаимоотношениях с Германией, И.В. Сталин действовал по уже установившемуся «сценарию» взаимоотношений с главой советского правительства. В данном случае проявилось и еще одно характерное качество большевистского лидера, о котором упоминали впоследствии сталинские соратники: вождь «не всегда раскрывал себя». Он не имел обыкновения посвящать даже приближенных в свои планы. И соратникам оставалось в этих условиях лишь догадываться о планах и замыслах Сталина…[31].

Сталин, скорее всего, понимал: известие о достижении взаимопонимания на переговорах с личным представителем фюрера может быть неоднозначно воспринято антифашистски настроенными людьми как в СССР, так и за его пределами. Но, будучи искушенным политиком, он в данном случае, очевидно, отдавал приоритет государственным интересам СССР, а настроения в обществе и идеологические постулаты рассматривал как явления второстепенные, лишь мешавшие делу налаживания отношений с Германией.

31 августа 1939 г. вопрос о ратификации договора о ненападении с Германией обсуждался на внеочередной сессии Верховного Совета СССР. Сталин предпочел, чтобы с докладом по данному вопросу на сессии выступил Молотов. С формально-юридической точки зрения этот выбор был вполне обоснованным. Ведь Молотов тогда возглавлял не только советское правительство, но и внешнеполитическое ведомство. В его выступлениях «озвучивались» основные указания по перестройке советской пропаганды, начавшейся после пакта о ненападении с Германией.

В своем выступлении на Сессии Верховного Совета СССР Молотов почти слово в слово повторил тезис о начале эры дружественных отношений с этой страной, впервые появившийся в передовой статье газеты «Правда» от 24 августа 1939 г. Затем он прозрачно намекнул на необходимость свертывания антифашистской и антигерманской пропаганды, подчеркнув, что в СССР «были некоторые близорукие люди», которые якобы увлекались «упрощенной антифашистской агитацией»[32].

Подобного рода высказывания Молотова прозвучали как своеобразное предупреждение тем, кому было присуще «непонимание» сущности курса большевистского руководства на сближения с нацистами. Эренбург, работавший в 1939 г. в Париже, не без иронии отмечал по этому поводу в мемуарах: «Слова Молотова о “близоруких антифашистах” меня… резанули. В ту зиму (1939–1940 гг. – *В.Н.*) мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя “близоруким” я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом»[33].

В декабре 1939 г., когда Сталин отмечал свое шестидесятилетие, состоялся обмен приветственными телеграммами между ним, Гитлером и Риббентропом. Фюрер, в частности, высказал пожелания «доброго здоровья» большевистскому лидеру и «счастливого будущего народам дружественного Советского Союза» и не забыл упомянуть о начавшемся повороте в отношениях между СССР и Германией, «создавших основу для длительной дружбы между ними». В ответном сталинском послании утверждалось: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»[34].

Подобные сталинские «дружественные» излияния, делавшиеся от имени всего советского народа, вызывали раздражение и недоумение.

Сталин лишь в вышеупомянутой телеграмме на имя Риббентропа от 25 декабря 1939 г. открыто затронул вопрос о советско-германской «дружбе». В своих весьма немногочисленных публичных выступлениях в период, начиная с пакта о ненападении и вплоть до 5 мая 1941 г., большевистский лидер не развивал тему отношений с Германией, предоставив Молотову возможность импровизировать по данному поводу. Это позволяло Сталину «оставаться в тени», что способствовало появлению слухов о наличии «прогерманского течения» в советском руководстве, которое якобы возглавлял Молотов[35].

Сам Молотов, как бы подтверждая подобного рода слухи, в докладе о внешней политике Советского Союза, сделанном на заседании Верховного Совета СССР 1 августа 1940 г., заявил, что «в основе сложившихся добрососедских и дружественных советско-германских отношений лежат не случайные соображения конъюнктурного характера, а коренные государственные интересы как СССР, так и Германии»[36].

Между тем в результате визита советской делегации во главе с Молотовым в Берлин 12–13 ноября 1940 г., выяснилось, что уже трудно ожидать от Германии каких-то дружественных акций. В беседе с Молотовым, живущим в Москве лидером болгарской партии Георгием Димитровым и заместителем наркома иностранных дел Владимиром Деканозовым 25 ноября 1940 г. И.В. Сталин прямо заявил: «Наши отношения с немцами вежливые, но между нами есть серьезные трения». В тот же день Генеральный секретарь Исполкома Коминтерна Димитров имел разговор с главой советского правительства. Димитров констатировал, что Коминтерн ведет «курс на разложение немецких оккупационных войск в разных странах». Подчеркнув

*Во время своего визита в Берлин 12–14 ноября 1940 года, Молотов дважды встречался с Гитлером в ведомстве рейхсканцлера*

намерение Секретариата ИККИ «еще более усилить» эту работу, Димитров поинтересовался у Молотова: не помешают ли подобные действия внешней политике СССР? Последний ответил довольно недвусмысленно: «Конечно, это надо делать. Мы не были бы коммунистами, если бы не вели такой курс. Только делать это *надо бесшумно»* (курсив наш – *В.Н.*)[37].

Весной 1941 г. отношения между СССР и Германией еще более ухудшились. Германия напрямую затронула советские интересы на Балканах, введя свои войска в Болгарию, напав и нанеся поражение Югославии, с которой у Советского Союза был подписан дружественный договор. Все активнее распространялись слухи о близости германо-советской войны. Сталин решил лично дать оценку ситуации, для чего использовал выступления перед выпускниками военных академий в Кремле 5 мая 1941 г. Эти сталинские выступления носили антигерманскую направленность. За ними последовали указания по перестройке пропаганды в целях непосредственной подготовки ее к наступательной войне против Гитлера.

## Бессильное сомнение и приказанное: способы воздействия на общественное мнение в СССР

Как уже отмечалось, уже спустя неделю после подписания пакта Риббентропа–Молотова выяснилось наличие негативного отношения представителей различных слоев советского общества к начавшемуся изменению внешнеполитического курса Сталина. В то же время подобное «недопонимание» обстоятельств, приведших к советско-германскому сближению, неспособность агитаторов и пропагандистов доступно объяснить смысл происходившего, заставляло квалифицировать «толкования» некоторых людей на сей счет как «антисоветские». Например, по сведениям УНКВД Ленинградской области, некий «инженер-химик» не без иронии заявил, в частности, в приватной беседе: «… как же теперь наши историки будут себя чувствовать, ведь они кричали о псах-рыцарях, о ледовом побоище, об Александре Нев-

ском и т. д., а теперь придется кричать о столетней и даже столетиях дружбы [с Германией – *В.Н.*]. Ведь если бы года два назад об этом заговорили, то в лучшем случае бы посадили, а то и вовсе расстреляли»[38].

Нескрываемый сарказм и ирония сквозили в вопросах, адресованных вышеупомянутому агитатору из г. Красный Луч К.А. Гудок-Еремееву, которые затрагивали тему сближения с Германией и свертывания антифашистской пропаганды в стране. Среди них были и такие: «Почему тт. Молотов и Сталин пошли на соглашение с Гитлером?»; «На самом ли деле Гитлер любит СССР, или двурушничает…?»; «Почему и отчего наша печать не ругает фашистов с осени 1939 года?» и, наконец: «Почему наши газеты теперь не ругают Геббельса, или он стал большевик?»[39].

В телеграмме германского посла в Москве фон Шуленбурга в МИД Третьего рейха от 6 сентября 1939 г. подчеркивалось, что особенно сомнительными представлялись «заявления официальных агитаторов о том, что Германия больше не является агрессором»[40].

В создавшихся условиях идеологическое указание В.М. Молотова, прозвучавшее 31 августа 1939 г., стало обязательным для всех средств массовой информации СССР. Слово «фашист» исчезло из советской печати окончательно. В Библиотеке иностранной литературы (Москва), которая еще в феврале 1939 г. проводила выставку антифашистских изданий[41], появились нацистские газеты[42].

Примечательно, что руководство «Интернациональной литературы», журнала, считавшегося традиционно антифашистским, в конкретных условиях советско-нацистского сближения сочло возможным сосредоточить внимание на воспроизведении на своих страницах позитивных откликов о советской литературе и искусстве, появлявшихся в германской периодике. Для решения данной задачи оно имело необходимые материалы (газеты, журналы и другие печатные издания), регулярно получаемые из Германии. В 1940 г. на страницах «Интернациональной литературы» стали появляться заметки об издании на немецком языке в Третьем рейхе произведений русской классической литературы, о постановках пьес дореволюционных драматургов, опер русских композиторов. В 1941 г. публикации такого рода были продолжены, причем наряду с ними печатались и материалы, естественно, предварительно прошедшие цензуру, собственно о культурной жизни в нацистской Германии[43].

После заключения Договора о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. прежние антифашистские лозунги еще активнее стали предаваться забвению. 31 октября 1939 г. Молотов публично заявил, что можно признавать или не признавать нацистскую идеологию, однако, «не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война “за уничтожение гитлеризма”»[44].

Критика нацистского режима в большевистских средствах массовой информации должна была сойти на нет. Из продажи постепенно стала изыматься антифашистская литература. Перестали демонстрироваться фильмы и спектакли, поставленные по произведениям немецких эмигрантов, которые жили в Москве[45].

Исчерпывающий ответ на коренной вопрос «что писать и как писать» относительно Германии дал сам Сталин. Он резко пресек попытки редколлегии газеты «Красная звезда» публиковать информацию о Германии, противоречившую новой официальной точке зрения на взаимоотношения с этой страной и в разговоре с начальником Политуправления Красной Армии (ПУРККА) Львом Мехлисом обязал немедленно прекратить публикацию материалов с критикой фашизма. Стало рас-

пространяться убеждение, что вообще «с Германией воевать не придется». С теми, кто придерживался противоположной точки зрения, проводилась «разъяснительная» работа, как требовали того ЦК ВКП(б) и ПУРККА, после чего «они осознавали свои заблуждения»[46].

Цензура в этот момент, как и ранее, оказалась одним из действенных методов манипулирования массовым сознанием. Пока затруднительно представить официальные документы, в которых были бы письменно зафиксированы указания представителей политической элиты руководителям органов цензуры, связанные с интерпретацией «в нужном свете» советско-германских отношений на этапе действия пакта Риббентропа–Молотова. Однако, судя по доступным на сегодняшний день источникам, люди, возглавлявшие Главлит, вполне отдавали себе отчет в том, как именно следует трактовать эти события и, исходя из «нового курса» во взаимоотношениях с Германией, подавать в печатных изданиях ее образ. Об этом можно судить, например, на основании Отчета о работе Главлита от 3 апреля 1940 г. за подписью Уполномоченного СНК СССР по охране военных тайн в печати и Начальника Главлита РСФСР Н.Г. Садчикова. В документе прямо указывалось, что советская цензура, «охраняя государственные и военные тайны и осуществляя политико-идеологический контроль в печати», учитывала в 1939 г. в своей деятельности новую специфику взаимоотношений с Германией[47].

Для достижения необходимого эффекта печатных материалов использовалась, прежде всего, публикация статей, брошюр и книг, которые являлись как бы прямой иллюстрацией политико-идеологических постулатов, навязывавшихся «сверху». Однако применялся и другой, более специфический способ цензурного контроля, а именно: запрет на публикацию тех из них, которые являлись нежелательными с точки зрения политической конъюнктуры. Так, в ленинградском журнале «Литературный современник» (1939. № 7–8) готовилась к печати статья известного историка Евгения Тарле с характерным названием «Фашистская фальсификация исторической науки в Германии», но ее выход в свет был приостановлен цензуром[48].

Даже в центральном печатном органе ЦК ВКП(б) – журнале «Большевик» – органы цензуры заставили исправить часть тиража из-за «неверного» освещения отношений Германии и СССР. За резкую критику фашизма были вообще изъяты из обращения книги С.М. Вишнева «Как вооружались фашистские поджигатели войны» (1939), Эрнста Тельмана «Боевые речи и статьи» (1935)[49].

2 октября 1940 г. начальник Главлита Н.Г. Садчиков направил заместителю начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) список книг, подлежавших, по его мнению, изъятию из продажи и из библиотек. В него, в частности, были включены имевшие антифашистское звучание работы Эрнста Отвальта «Путь Гитлера к власти» (М., 1933) и Н. Корнева «Третья империя в лицах» (М., 1937)[50].

И не только это. Рвение цензоров в деле поиска «негатива» в печатных материалах германской тематики, казалось, не имело пределов. Например, цензор Ленгорлита сумел усмотреть «резкие выражения» антифашистского характера в тексте готовившегося к печати сборника трудов участников научной конференции по… типизации технологических процессов[51]. Мало того, даже в книге антирелигиозного содержания, которая до этого вышла в свет в Краснодаре, органы цензуры обнаружили на одной из страниц текст, «противоречивший» отношениям СССР и Германии. Текст был исправлен и после перепечатки страницы вышеупомянутую книгу опубликовали вновь[52].

В архиве журнала «Знамя» сохранились письма, направлявшиеся членам редколлегии авторами, чьи произведения не принимались к публикации, в том числе – исходя из качественно нового состояния взаимоотношений с Германией. Сотрудник журнала Андрей Тарасенков 26 ноября 1939 г. сообщал писателю Евгению Хазину: «Я думаю, что Вы сами понимаете невозможность печатать в нынешнее время Вашу рукопись о русско-прусской войне. Это сейчас совсем не уместная тема». 10 октября аналогичный ответ был направлен И.Л. Кремлеву-Свэн (1897–1971), избравшему в качестве сюжета для своего рассказа «Дед» гипотетическую германо-советскую войну 1940 г. При этом, по версии автора рассказа, Красная Армия, разбив немцев, занимала территорию Германии в районе р. Неман. Тарасенков аргументировал свой отказ тем, что произведение не может быть опубликованным в «Знамени» по «внелитературным причинам»[53].

Создавшиеся условия заставляли более оперативно адаптироваться сотрудников (политических редакторов) Главного управления по контролю за репертуаром и зрелищами (ГУРК) Комитета по делам искусств при СНК СССР. Деятели ГУРК (писатель Михаил Булгаков называл их «людьми с идеологическими глазами») воспринимали официальный курс на сближение с Германией как сигнал к усилению контроля с их стороны за тем, чтобы «нежелательные» произведения не омрачали начавшего советско-германского сближения. В июне 1939 г. в ГУРК был направлен текст пьесы В. Азовского (Гавриша) «Двойным ударом». Заголовок ее явно вытекал из сталинского утверждения, провозглашенного на XVIII съезде ВКП(б), что СССР готов «ответить двойным ударом на удар поджигателей войны»[54]. Один из политических редакторов ГУРК определил тему пьесы следующим образом: «будущая война СССР с фашистской Германией и героизм советских людей». Но за время, пока текст находился в Главреперткоме, внешнеполитическая обстановка изменилась. Произведение Азовского (Гавриша) не одобрили по вполне понятным причинам: была объявлена «дружба» с Германией. После авторской доработки пьеса вновь поступила в ГУРК. Политический редактор ГУРК 29 августа 1939 г. дал о ней следующее авторитетное заключение: «Сама тематика, рисующая будущую войну с Германией, в данное время политически нежелательна».

После заявления Молотова от 31 октября 1939 г., в котором прозвучала тирада о «коротком ударе» советских и германских войск, нацеленном против Польши[55], Азовский (Гавриш) попытался провести через ГУРК свое новое детище под названием «Коротким ударом». Однако, по сути, была предложена прежняя пьеса, а посему 14 февраля 1940 г. Главрепертком отверг и этот вариант[56].

В сложившейся ситуации щекотливым оказалось положение эмигрантов-антифашистов, проживавших в Москве. Члены немецкой секции Союза советских писателей в отчете о своей работе подчеркивали, что с августа 1939 г. «по не зависящим от них обстоятельствам» должны были перестроить свое творчество[57]. Активно сотрудничавшие в журнале «Интернациональная литература» Иоганнес Р. Бехер, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель уже не могли свободно высказывать свои антифашистские настроения на страницах этого издания. Вайнерт сосредоточился на переводах на немецкий язык стихотворений Михаила Лермонтова и Тараса Шевченко. Бредель взялся за написание романа о прошлом рабочего класса Германии[58].

В то же время Альфред Курелла расценил ситуацию как вполне благоприятную для реализации своего замысла, изложенного в записке, которую он направил руководству Союза советских писателей (ССП) 4 сентября 1939 года. Курелла предлагал

обширный план популяризации пропагандистского лозунга развития и расцвета дружбы между советским и германским народами, провозглашенного Молотовым. Для воплощения в жизнь своего плана драматург считал необходимым использовать, прежде всего, радиопередачи. При отборе материала для этих радиопередач он рекомендовал «одинаково решительно отбросить как всякие упрощенные антифашистские установки, так и уступки фашистскому толкованию культурного наследства германского народа». Курелла хотел использовать в передачах советского радио не только произведения далекого прошлого, но и литературу Германии первой трети XX в. Он предлагал также изучить возможность ознакомления советских радиослушателей, помимо литературного наследия далекого прошлого, с творчеством авторов, работавших «в современной Германии». Речь шла, в частности, об опере Рихарда Штрауса «День мира» (1938 г.), которая, по мнению Куреллы, представляла «значительный художественный интерес», а также об использовании в радиопередачах «современной немецкой лирики»[59].

В другом письме, адресованном в Иностранную комиссию ССП (11 января 1940 г.), отмечалось, что немецкие писатели-переводчики в Москве работают с целью ознакомления германской публики с русской и советской поэзией. При общей установке на «культурное сближение» СССР и Германии эта деятельность рассматривалась им как очень важная. Курелла просил обратить внимание правления Союза советских писателей на политическое значение и необходимость привлечения членов немецкой секции к переводам такого рода произведений на язык Гете и Гегеля, на язык 80-миллионного «дружественного нам немецкого народа»[60].

В конце июля 1940 г. в Москву из Парижа вернулся Эренбург. Встревоженный происходившими на Западе трагическими событиями, связанными с поражением и капитуляцией Франции, он сохранял убеждение, что Германия вскоре нападет на СССР. Между тем советская пресса продолжала восхвалять советско-германскую «дружбу». Писатель обратился в Народный комиссариат иностранных дел, намереваясь поделиться собственными впечатлениями от увиденного во Франции, рассказать о морально-политическом облике германских солдат. Эренбург был принят заместителем наркома Соломоном Лозовским. Однако тогда была необходима «информация, подтверждающая правильность выбранной политики», а не наоборот: «наверху» не хотели слышать ничего, что омрачало бы советско-германскую «дружбу»[61].

## Идеологический фактор и власть фактов: нацистский режим и его политический курс в советском изменении перспектив

Советско-германское сближение, начавшееся после подписания Пакта о ненападении, повлекло за собой смену приоритетов в оценках советской пропагандой, дававшихся политике нацистского режима и образов его лидеров.

В августе–сентябре 1940 г. исполнился год со времени подписания советско-германских договоренностей о ненападении, а также о дружбе и границе. Эти события были отмечены серией публикаций в советской печати. Так, еще в июне 1940 г. заместителю директора Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР

А.Ф. Бордадыну поручили написать статью о германском хозяйстве, но, при этом, строго-настрого предупредили: «ничего плохого о Германии писать нельзя, ибо приближается годовщина договора».

Работая над статьей, Бордадын целиком и полностью полагался на политическую проницательность директора Института академика Евгения Варги (1879–1964), сталинского «экономического советника». Именно от Варги и получил Бордадын задание подготовить вышеупомянутую публикацию. В свою очередь, директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР неизменно согласовывал собственные «теоретические выводы» «в вышестоящих организациях».

Вполне доверяя авторитету своего непосредственного начальника, Бордадын подготовил рукопись статьи о военном хозяйстве Германии, опираясь на имевшиеся материалы Института, а также на германскую прессу. С этой рукописью ознакомился Варга. Последовал его письменный отзыв, в котором, в частности, статья оценивалась как «неплохая». Рукопись статьи Бордадына, исходя из указанных замечаний, подверглась редактированию вначале со стороны Варги, а затем – в отделе печати народного комиссариата иностранных дел. В результате, из нее оказались вычеркнутыми выводы, касавшиеся слабых сторон экономики Германии. Автору же казалось, что раз статья получила положительный отзыв Варги и была одобрена Народным комиссариатом иностранных дел, ничего политически неправильного в ней быть не может…[62].

Между тем триумфальные успехи германской армии порождали в общественном сознании разнообразные чувства и ассоциации. Писатель Всеволод Вишневский, которого трудно заподозрить в германофильстве, был изумлен мощью гитлеровской военной машины. 18 июня 1940 г. он записывал в дневнике: «Германия подминает, всасывает страну за страной… Немцы упоены… Тяжело думать, что их организация м[ожет] б[ыть] действительно выше всех организаций в мире. Именно организация: машинность, дисциплина, слепое повиновение, автоматизм, немножко мифов, мистики… Немцы, нацизм – это ответ Европы на Версаль и большевизм. Странное сочетание, – странное, но грандиозное, сильное. Когда в 3 месяца с карты мира смахнуто 5 европейских стран, есть над чем подумать. А мы думали и изучали это явление недостаточно»[63].

Писатель Валентин Пикуль, в предвоенные годы учащийся одной из школ Молотовска (Северодвинска), вспоминал, как вместе с отцом присутствовал на лекции, где лектор политпросвещения «почти упоенно восхвалял гитлеровскую машину Германии»[64]. Постепенно возникла тенденция (в частности, среди молодежи) упрощенного, но вполне однозначного восприятия германских военных успехов на Западе. Летом 1940 г. достоянием секретаря комитета ВЛКСМ ИФЛИ А.Н. Шелепина стал дневник студента-ифлийца, откровенно восхищавшегося немцами, «которые в короткий срок расколотили такую великую державу, как Франция»[65].

Эренбург, стремившийся донести до читателя информацию о причинах поражения Франции, столкнулся с большими трудностями. Он намеревался показать с помощью своих публикаций в центральной прессе, что быстрый разгром этой страны объяснялся не чудодейственной силой вермахта, а моральной слабостью правящего французского режима. Но в иностранном отделе газеты «Известия» писателю заявили, что публиковать его статьи не будут. Тогда Эренбург обратился в газету «Труд». Заведующий иностранным отделом газеты З.С. Шейнис объяснил, что не следует «ничего писать о немцах», а «ругать французских предателей» дозволяется[66]. В ко-

торый раз местные агитаторы и пропагандисты оказывались в трудном положении, когда им приходилось освещать международные события, связанные с экспансионистской политикой Гитлера. Действительно, что мог ответить, например, малограмотный агитатор на следующие вопросы, обращенные к нему рабочими одной из транспортных артелей: «Можно ли Гитлера сравнить с Наполеоном? И в самом ли деле Гитлер военный стратег?..»[67].

Вишневский впоследствии, весной 1941 г., анализируя общественные настроения, отмечал, что некоторые люди, переоценивали мощь Германии, рассуждая о немцах таким образом: «ох, и сила, ох, и ловкие»[68].

Лишним подтверждением правоты данного суждения писателя и драматурга может служить следующий факт. В центре города Ростова-на-Дону была вывешена огромная карта Европы, украшенная флажками с нацистской символикой. С помощью этих флажков ежедневно отмечалось продвижение германских войск в весенней кампании 1941 г. Ежедневно у карты собирались группы людей, оживленно обсуждавших события на фронте войны Германии против ее противников. Комментарии по поводу каждого нового успеха вермахта сводились к следующему: «он, немец, хитрый», против него, якобы «никто идти не может», а сам он «пройдет куда угодно». Не исключено, что карта Европы, вывешенная в центре Ростова-на-Дону, принадлежала ростовскому отделению ТАСС…[69].

Однако с осени 1940 г., когда взаимоотношения СССР с Германией стали осложняться, советская культурная дипломатия все активнее стала использоваться в качестве орудия идеологического противоборства с немцами, хотя и приглушенного в условиях действия пакта о ненападении и договора о дружбе и границе. Завуалированную антигерманскую направленность носили секретные материалы Коминтерна. Так, в директивах Секретариата ИККИ руководству Компартии Австрии от 16 октября 1940 г. содержалась резко негативная характеристика действий Германии[70]. В 10-ом номере журнала «Исторический вестник» за 1940 г. цензором была задержана статья А. Манусевича «К истории Версальских договоров», поскольку, «излагая исторические факты, автор сопровождал их комментариями в духе полного сочувствия Германии. Из этих комментариев можно было сделать вывод о справедливости всех притязаний Германии»[71].

4 января 1941 г. председатель правления Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) Владимир Кеменов обратился с пространной докладной запиской на имя секретаря ЦК ВКП(б) Георгия Маленкова. В документе были сформулированы основные задачи советской культурной дипломатии. Кеменов изложил свое понимание ее роли в условиях усиливающейся идеологической конфронтации между СССР и Германией. Он отметил наличие тысяч статей, написанных за годы начавшейся войны в Германии с целью обличения «английского империализма», «плутократических разбойников и эксплуататоров», которые критиковали «теорию и практику английского империализма». «Разумеется, – писал далее Кеменов, – все это переходит в бесстыдную демагогию, как только немцы начинают излагать “социальные цели” войны, обещая земной рай в “перестроенной” Европе для трудящихся». Риторика Кеменова по содержанию сходна с пассажем из секретной инструкции Секретариата ИККИ Австрийской компартии (октябрь 1940 г.): «Ради этого рая и ведется [немцами – *Авт.*] “революционная” война, которая якобы дает народам “освобождение от господства международного капитала”» [72].

Подобное сходство в формулировках, применявшихся в закрытых материалах ВОКСа и Коминтерна, наводит на мысль, что эти формулировки могли быть спущены «сверху».

8 января 1941 г. читатели «Труда» обнаружили в газете перепечатанные из «Пост меридиеэм» (США) материалы писателя Лиона Фейхтвангера. Они поступили в иностранный отдел «Труда» по звонку из секретариата Сталина. Сотрудники отдела были в замешательстве, ибо Фейхтвангер в условиях действия советско-германских договоренностей 1939 г. оказался в СССР в числе «нежелательных» авторов.

Как можно объяснить этот, казалось бы, противоречивый маневр? Публикация Фейхтвангера должна была оказать давление на нацистское руководство, потому что в то время в Москве проходили переговоры, которые вел нарком внешней торговли Анастас Микоян и высокопоставленный чиновник МИДа Третьего рейха К.Ю. Шнурре. Немцы пытались навязать советской стороне невыгодные условия соглашения. Тогда «наверху» решили «подбросить им горькую пилюлю». Публикация статей Фейхтвангера в «Труде» вызвала ярость нацистского руководства. Немцы были вынуждены смягчить свои требования. И тогда советская сторона пошла на попятную. 9 января 1941 г. в «Труде» без объяснений прекратилась публикация статей Фейхтвангера[73].

Специальная комиссия УПА ЦК ВКП(б) в январе 1941 г., подвергавшая проверке печатную продукцию журнала «Интернациональная литература», в первую очередь, обратила внимание на ее немецкоязычное издание. Выяснилось, что за 1940 г. в нем были помещены публикации 85-ти немецких и лишь 30-ти советских авторов, что вызвало порицание.

17 января 1941 г. представители руководства УПА ЦК ВКП(б) Георгий Александров, А.А. Пузин, Н.Г. Пальгунов и Дмитрий Поликарпов направили секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову докладную записку «О работе ТАСС». Наряду с недостатками чисто организационного порядка, выявленными в деятельности Телеграфного Агентства Советского Союза, авторы докладной обратили внимание и на следующее упущение. До лета 1940 г. «Вестник иностранной военной и военно-технической информации ТАСС» публиковал вместе с материалами немецких авторов перепечатки из английских, французских и американских периодических изданий с критическим анализом вооруженных сил Третьего рейха. С лета 1940 г., как отмечали сотрудники УПА ЦК ВКП(б), в названном издании стали превалировать немецкие пропагандистские статьи об «абсолютной непобедимости» вермахта. В них говорилось о хорошем вооружении германской армии, ее передовой тактике, превозносилось «моральное превосходство германского солдата и полководческое искусство Гитлера». В одной из такого рода статей утверждалось, что благодаря действиям люфтваффе была прорвана «линия Мажино» во Франции. Ряд материалов, перепечатанных «Вестником иностранной военной и военно-технической информации ТАСС» из немецкой периодики, сводился, как считали в Управлении пропаганды и агитации, к доказательству «блестящего снабжения германской армии»[74].

А между тем уже в марте–апреле 1941 г. руководство ТАСС начало непосредственную подготовку к пропагандистской войне против ведомства Геббельса. Были собраны соответствующие материалы (выдержки из книги «Майн кампф» Гитлера, статьи о нацистском произволе в Польше и Югославии и т. д. и т. п.). В составе ТАСС возникла (пока еще в большой тайне) новая редакция пропаганды во главе

с Яковым Хавинсоном (1901–1989). Однако официально эта редакция развернула свою работу лишь после 22 июня 1941 г.[75].

Антигерманские мотивы ранней весной 1941 г. просматривались лишь в закрытых пропагандистских материалах, которые предназначались для крайне ограниченного круга лиц. Явных признаков более широкого поворота к антифашистской пропаганде еще не наблюдалось. 29 марта 1941 г. Димитров имел беседу с Молотовым. Был поднят вопрос о приближающейся 55-летней годовщине руководителя германских коммунистов Тельмана, который был заключен нацистами в тюрьму. Молотов выразил сомнение в целесообразности развертывания какой-либо пропагандистской кампании по поводу этой годовщины, поскольку, по его словам, СССР продолжал «вести невраждебную политику в отношении немцев»[76]. Ясно, что в данном случае была изложена сталинская позиция.

После сталинских выступлений перед выпускниками военных академий РККА 5 мая 1941 г., где прозвучали антигерманские мотивы, со стороны ЦК ВКП(б) последовали указания руководителям средств массовой информации по подготовке соответствующих пропагандистских материалов.

31 мая 1941 г. председатель Комитета по радиовещанию и радиофикации при СНК СССР Г.И. Стуков обратился с докладной запиской на имя Жданова. Из ее текста следует, в частности, что Стуков, несмотря на сетования по поводу своей «неосведомленности», уже имел какую-то информацию относительно антигерманской и антифашистской направленности разворачивавшейся в СССР пропагандистской кампании. Он, например, указывал на недостатки в подаче информации ТАССом, от которого, не имея собственных корреспондентов за рубежом, зависело советское радио. По мнению Стукова, ТАСС обходил «полнейшим молчанием положение в Италии и Германии, а также в оккупированных Гитлером странах». В результате информация принимала, писал Стуков, «однобокий, объективно прогерманский характер». Между тем, умело составленные обзоры печати нейтральных и невоюющих стран (Швеции, Швейцарии, Финляндии, Турции), а также материалы германских средств массовой информации позволили бы, как считал председатель Всесоюзного радиокомитета, очень многое «рассказать миллионам советских и заграничных радиослушателей о положении трудящихся Европы», что не противоречило бы политике нейтралитета, провозглашенной СССР[77].

17 мая 1941 г. секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов направил в ЦК ВКП(б) на имя Александра Щербакова письмо, в котором сообщил об издании очередного сборника из серии «Спорт за рубежом», подготовленного Комитетом по делам физкультуры и спорта. По мнению Михайлова, составители издания фактически «предоставили советский орган пропаганде германофильских идей, всяческому восхвалению постановки физического воспитания Германии». Он считал, что виновные за выпуск упомянутого сборника должны понести строгую партийную ответственность. Дальнейшую же публикацию сборников из серии «Спорт за рубежом» секретарь ЦК ВЛКСМ посчитал нецелесообразной[78].

Сотрудники УПА по поручению Щербакова ознакомились со сборниками «Спорт за рубежом» и нашли, что редколлегия «допустила грубую ошибку», предоставив его страницы «для пропаганды буржуазных идей в области физкультуры и спорта». В частности, по мнению Пузина, названное информационное издание было заполнено преимущественно «немецкими пропагандистскими статьями, восхваляющими “образцовую”, “первоклассную” систему постановки физкультурной ра-

боты в Германии». Особое неудовольствие у представителей УПА вызвали, например, следующие пассажи из сборника «Спорт за рубежом»: «В Германии правильно оценили большое значение физического воспитания, как одного из средств допризывной военной подготовки населения. Последовавшая после войны [1914–1918 гг. – *Авт.*] перестройка спортивного движения в Германии была проведена именно на этой основе».

Пузин вслед за Михайловым, подчеркивал, что в статьях, помещенных в упомянутых сборниках, «восхвалялась» физическая подготовка немецкого солдата. «Политической близорукостью» назвал Пузин публикацию в сборниках «Спорт за рубежом» материалов, позитивно характеризовавших развитие в Германии лыжного спорта, высоко оценивавших вклад в его становление национал-социалистической организации «Kraft durch Freude» («Сила через радость»)[79].

Институт мирового хозяйства также попал в заголовки. Еще 11 апреля 1941 г. сотрудники УПА Поликарпов и А.И. Маханов рапортовали Жданову, что по его поручению ознакомились с его работой. Наряду с другими недостатками они отметили, что в печатном органе Института журнале «Мировое хозяйство и мировая политика», где была помещена уже упоминавшаяся статья А.Ф. Бордадына «Организация военного хозяйства в Германии», якобы восхвалялась «фашистская четырехлетка»[80]. Но после сталинских выступлений 5 мая 1941 г. и начала пропагандистской антигерманской кампании, в ходе которой, в частности, делался упор на слабость тыла Германии, ее экономических возможностей, «дело» Института Варги приняло новый оборот.

Бордадына, чья статья о военном хозяйстве Германии, как уже указывалось, была приурочена к годовщине пакта о ненападении и инициирована «сверху», «сделали центральным “апологетом капиталистической Германии”», «главной теоретической опасностью», чтобы, по словам самого «виновника», «отвлечь огонь от тех, кто действительно переоценивает и приукрашивает военную экономику Германии…»[81]. В «обновленном» заключении и приложенном к нему проекте постановления ЦК ВКП(б) «О работе Института мирового хозяйства и мировой политики»[82], говорилось уже о «серьезных политических ошибках и извращениях», а в числе основных виновников создавшегося положения наряду с Варгой и некоторыми другими сотрудниками Института был назван Бордадын. В этом варианте проекта постановления ЦК ВКП(б) подчеркивалось, что в ряде книг и статей, написанных в 1939–1941 гг., всячески превозносилось и восхвалялось военное и экономическое могущество Германии. Бордадын и заведующий немецким сектором Института, философ венгерского проиххождения Бэла С. Фогараши якобы использовали «пропагандистские материалы буржуазной печати и буржуазной статистики о военно-экономической мощи и плановости хозяйства Германии», более того – популяризировали «распространяемую фашистской пропагандой легенду о непобедимости Германии».

Бордадын и Фогараши, писали сотрудники УПА, «в своих работах перепевают демагогическую болтовню фашистских руководителей и фашистской печати о плановом, организованном характере германской экономики». Оба автора обвинялись в том, что доказывали наличие в Германии «социальной справедливости» в распределении продовольствия и проводили мысль о всемерной заботе нацистского руководства о рабочем классе.

Обрушившись с уничтожающей критикой на Фогараши и Бордадына, Поликарпов и Маханов «не забыли» упомянуть и директора Института мирового хозяйства и

мировой политики АН СССР: «Восхваление капиталистической экономики и военно-хозяйственной мощи Германии… не случайная ошибка отдельных работников… В письменном отзыве о статье Бордадына т. Варга дал ей положительную оценку и даже рекомендовал ее к помещению в заграничных изданиях Коминтерна». Оказалось, что Е.С. Варга в своих работах «также преувеличивал военно-экономическую мощь Германии», а его позиция в этом вопросе якобы «полностью совпадала с позицией Бордадына и Фогараши»[83].

16 июня 1941 г. Секретариат ЦК ВКП(б) принял постановление о работе Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР. В постановлении отмечалось, что Институт занял «теоретически ошибочную и политически вредную позицию» в оценке важнейших вопросов современной мировой политики и мирового хозяйства. В ряде книг и статей его сотрудников якобы «преувеличивалась» военное и экономическое могущество Германии. Через базовый журнал «Мировое хозяйство и мировая политика» они «популяризировали распространяемый фашистской пропагандой миф об идеальной организации и непобедимости германской армии, о якобы организованном, плановом ведении германского хозяйства», писали об улучшении продовольственного снабжения немцев, «приукрашивали» положение германского рабочего класса и крестьянства. В этой обстановке директор Института Варга, по оценке ЦК ВКП(б), не только не пресекал «появления в печати теоретически и политически вредных статей и брошюр», но и сам «содействовал их появлению».

Решительно осуждая «антинаучные установки» Института мировой политики и мирового хозяйства АН СССР, Секретариат ЦК ВКП(б) предложил его директору исключить всякую возможность повторения вновь подобных ошибок в работе руководимого им научного учреждения. Управлению пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) должно было в декадный срок представить программу реорганизации Института, наименование которого было признано «неправильным и не научным». Ответственный секретарь журнала «Мировое хозяйство и мировая экономика», а также заместитель директора Бордадын и заведующий немецким сектором Фогараши отстранялись от работы.

Из плана статей для журнала «Мировое хозяйство и мировая политика» на вторую половину 1941 г. (за подписью Варги) следовало, что предполагалось рассмотреть проблемы коммуникаций и развития военной техники, акцентируя внимание на лишении Германии своих стратегических преимуществ и, в полном соответствии со сталинским указанием от 5 мая 1941 г., о потере ею «технического лидерства», «моральном износе» вооружения германской армии. Кроме того, намечалось освещение следующей темы: ограбление немцами оккупированных стран. Варга упоминал и о готовившемся втором издании работы Фогараши «Германия»[84].

* * *

С начала гитлеровской агрессии 22 июня 1941 г. германский фашизм превратился из потенциального в реального военного противника СССР, поэтому линия пропаганды до 23 августа 1939 года велась абсолютно верно. Кроме того, непосредственно перед немецким нападением Сталин со своим политическим чутьем успел позаботиться о переломе в настроении – с «прогерманской» позиции снова состоялся переход на «антигерманскую».

При ощущаемой общественным сознанием двойственности и бессмысленности пакта Молотова–Риббентропа, период с 1939 по 1941 годы был для Советского Союза пусть и короткой, но реальной возможностью сделать вдох перед неизбежным вооруженным конфликтом с гитлеровской Германией.

## ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. *Куманев В.А.* Деятели культуры против войны и фашизма. Исторический опыт 20–30-х годов. – М., 1987. С. 206–234.

[2] *Симонов К.* Глазами человека моего поколения. – М., 1988. С. 67; *Леонгард Вольфганг.* Шок от пакта между Гитлером и Сталиным: Воспоминания современников из СССР, Западной Европы и США. – Лондон, 1989. С. 62.

[3] См.: Российский государственный архив социально–политической истории (РГАСПИ). Ф. 77. Оп.1. Д. 883. Л. 56.

[4] Правда. 1939. 24 авг.

[5] Международное положение глазами ленинградцев. 1941–1945. – СПб., 1996. С. 4–5.

[6] *Леонгард В.* Указ. соч (см. сн. 2).

[7] Записная книжка В.В. Вишневского, 28 августа 1939. – РГАЛИ. Ф. 1038. Оп.1. Д. 2076. Л. 41.

[8] Там же. Л. 39 об.; 40 об.

[9] *Симонов К.* Указ. соч. (см. сн.2) С. 78.

[10] Отдел рукописей библиотеки Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Ф. 1086. Д. 5. Л. 69.

[11] Международное положение глазами ленинградцев…С. 6.

[12] Там же. С. 8–9.

[13] *Эренбург И.Г.* Указ. соч. С. 202.

[14] Отдел рукописей библиотеки Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург). Ф. 1086. Д. 5 Л. 70.

[15] Международное положение глазами ленинградцев…С. 9.

[16] РГАСПИ. Ф. 77. Оп.1. Д. 883. Л. 56.

[17] РГАСПИ. Личный фонд О.И. Чечеткиной. Дневник–воспоминание. КИМ. 1937–1941 гг. Тетрадь 1. Л. 12. Автор выражает искреннюю признательность Н.Ю. Кулешовой за предоставленную возможность ознакомиться с этим материалом.

[18] *Хрущев Н.С.* Время. Люди. Власть. Воспоминания в 4-х томах. Здесь Т. 1. С. 228.

[19] *Никулин В.В.* Советско–германский пакт 1939 года и население (Социально–политический аспект) // Актуальные вопросы истории Великой Отечественной войны. Материалы Пятнадцатой Всероссийской заочной научной конференции). – СПб., 1999. С. 5.

[20] Международное положение глазами ленинградцев… С. 4.

[21] *Никулин В.В.* указ. соч. С. 6.

[22] *Волкогонов Д.А.* Триумф и трагедия: Политический портрет И.В. Сталина. В 2–х кн. Кн. 2. Ч. 1. – М., 1989. С. 132.

[23] Пропагандист и агитатор РККА. 1940. № 3. С. 42.

[24] *Носик Борис.* Этот странный парижский процесс. – М., 1991. С. 108.

[25] *Орлова Р.Д.* Воспоминания о непрошедшем времени. – М., 1993. С. 233.

[26] *Пришвин М.М.* Дневники. – М., 1990. С. 277–278.

[27] *Орлова Р.Д.* Указ. соч. С. 233; *Симонов К.М.* Указ. соч. С. 82; *Леонгард В.* Указ. соч. С. 60, 62.

[28] Правда. 1939. 24 августа.

[29] *Куманев Г.А.* Рядом со Сталиным. – М., 1999. С. 26; *Кузнецов Н.Г.* Крутые повороты: Из записок адмирала. – М., 1995. С. 93.

[30] *Куманев Г.А.* Указ. соч. С. 26.

[31] Там же. С. 72.

[32] Правда. 1939. 1 сент.

[33] *Эренбург И.Г.* Указ. соч. С. 204.
[34] Правда. 1939. 25 дек.
[35] *Вернадский В.И.* Дневник 1939 года // Дружба народов. 1992. № 11–12. С. 186, 189.
[36] Правда. 1940. 2 авг.
[37] *Димитров Г.* Дневник (9 марта 1933 – 6 февраля 1949). – София, 1997. С. 202–203.
[38] Международное положение глазами ленинградцев…С. 4, 8, 9, 10, 11.
[39] РГАСПИ. Ф. 17. Оп.125. Д. 46. Л. 5, 7, 8.
[40] Оглашению подлежит. Док. № 41.
[41] Культурная жизнь в СССР 1928–1941: Хроника. – М., 1976. С. 653.
[42] *Леонгард В.* Указ. соч. С. 77.
[43] Интернациональная литература. 1940. № 3–4. С. 289, 345; № 5–6. С. 344–345; № 7–8. С. 321–322; № 9–10. С. 274–275; № 11–12. С. 343; 1941. № 1. С. 203; № 2. С. 192–196; № 3. С. 188; № 6. С. 199.
[44] Правда. 1939. 1 окт.
[45] *Леонгард В.* Указ. соч. С. 73.
[46] *Волкогонов Д.А.* Указ. соч. С. 131, 132.
[47] История советской политической цензуры. Документы и комментарии. Отв. ред. Т.М. Горяева. – М., 1997. С. 319.
[48] *Arlen Bljum* (Hrsg.): Цензура в СССР. Документы 1917–1991 (= Dokumente und Analysen zur russischen und sowjetischen Kultur Bd. 13/ II. hrsg. von Karl Eimermacher und Klaus Waschik. Bochum, 1999. С. 286, прим.1.
[49] *Зеленов В.М.* Главлит и историческая наука в 20–30-е годы // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 33.
[50] Цензура в СССР…Док.№ 242. С. 291.
[51] Там же. Док.№ 238. С. 285.
[52] История советской политической цензуры… С. 321.
[53] РГАЛИ. Ф. 618. Оп.2. Д. 1101. Л. 114, 115, 159.
[54] XVIII съезд ВКП(б). Стенограмма. – М., 1939. С. 15.
[55] Правда. 1939. 1 нояб.
[56] РГАЛИ. Ф. 656. Оп.3. Д. 11. Л. 3,4.
[57] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 12. Д. 83. Л. 67.
[58] *Мотылева Т.* Духовная драма Бехера // Иностранная литература.1988. № 11. С. 218.
[59] РГАЛИ. Ф. 631. Оп.11. Д. 425. Л. 7–9.
[60] РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 12. Д. 83. Оп. 11. Д. 425. Л. 1–2.
[61] *Эренбург И.Г.* Указ. соч. С. 222.
[62] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 279. Л. 121–122.
[63] РГАЛИ. Ф. 1038. Оп.1. Д. 2077. Л. 69–69 об..
[64] *Пикуль В.* Барбаросса. Роман–размышление // Наш современник. 1991. № 2. С. 43.
[65] *Шарапов Ю.П.*. К началу Второй мировой войны (рукопись). Архив автора. Л. 3.
[66] *Эренбург И.Г.* Указ. соч. С. 223–224.
[67] РГАСПИ. Ф. 17. Оп.125. Д. 46. Л. 9.
[68] РГАЛИ. Ф. 1038. Оп.1. Д. 2079. Л. 24.
[69] РГАСПИ. Ф. 17. Оп.125. Д. 29. Л. 27.
[70] Коминтерн и Вторая мировая война. Кн. 1. – М., 1995. Док. № 122.
[71] *Зеленов В.М.* Указ. соч. С. 33.
[72] РГАСПИ. Ф. 17. Оп.125. Д. 76. Л. 23–24; Ср.: Коминтерн и Вторая мировая война. Кн. 1. Док. № 122.
[73] *Шейнис З.С.* Перед нашествием: Из записной книжки 1939–1941 годов // Новая и новейшая история. 1990. № 1. С. 106.
[74] РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 94. Л. 4.
[75] *Краминов Д.Ф.* В орбите войны: Записки советского корреспондента за рубежом. 1939–1945 годы. – М., 1980. С. 169.
[76] *Димитров Г.* Указ. соч. С. 223.
[77] РГАСПИ. Оп. 117. Д. 291. Л. 99–103; Оп. 125. Д. 73. Л. 17–21.

[78] Там же. Д. 63. Л. 143–147.
[79] Там же. Оп. 117. Д. 282. Л. 133–134.
[80] Там же. Оп. 117. Д. 279. Л. 93–94.
[81] Там же. Л. 121.
[82] Письмо Поликарпова и Маханова на имя секретарей ЦК А. Андреева (1895–1971), Жданова, Маленкова и Щербакова от 12 мая 1941.
[83] Там же. Оп. 116. Д. 83. Л. 5.
[84] Там же. Оп. 117. Д. 288. Л. 13, 14, 17, 18.

# УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

## А


Абакумов Виктор Семенович (1908–1954) – 253, 254
Абрамович Рафаиль – 81, 118, 222, 224–226, 229
Аввакум Петрович (1628–1682), протопоп – 505
Агеносов Владимир – 651, 657
Агнивцев Николай Яковлевич (1888–1932) – 673, 678–680
Аденауэр Конрад (1876–1967) – 255
Адорно Теодор (1903–1969) – 301
Акимов Борис (?–1942?) – 563, 773, 774, 777–780
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) – 425, 471
Аксельрод Павел Борисович (1850–1928) – 222, 224, 227, 229
Алейников Моисей Никифорович (1885–1964) – 746–748
Алданов Марк [Ландау Марк Александрович] (1886–1957) – 635, 650, 651, 683
Алекин Б. – 671
Александр I (1771–1825), царь с 1801 г. – 628
Александр Невский (1220–1263), князь – 560, 858
Александров Георгий [Григорий] Федорович (1908–1961) – 254, 840, 864
Алигьери, см. Данте Алигьери
Алкснис Яков Иванович (1897–1938) – 192, 194
Аллерханд Вальтер – 276
Аллилуева Надежда Сергеевна (1901–1932) – 19
Алпатов Михаил Владимирович (1902–1986) – 241
Альберс Ганс (1892–1960) – 365
Альбрехт Карл [Лёв Карл Маттеус] – 111, 286, 528, 535, 537
Альмас Йозеф (1883–1948) – 796
Альтман Натан Исаевич (1889–1970) – 240
Амфитеатров-Кадашов Владимир Александрович (?–1942?) – 684
Анаксагор (ок. 500–428 до н.э.) – 441
Ангаров Алексей Иванович (1898–1939?) – 793, 795, 800
Ангель Эрнст – 678
Андерсен Ганс Христиан (1805–1875) – 409
Андреас-Саломе Лу (1861–1937) – 795
Андреев Андрей Андреевич (1895–1971) – 835, 841
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – 633, 666, 668
Андреев Николай Андреевич (1873–1932) – 679
Андреева [Юрковская] Мария Федоровна (1868–1953) – 746
Анзорге Конрад (1862–1930) – 602
Анненкова [Гительсон] Юлия Ильинична (?–1939?) – 364, 801
Апельт Фриц (1893–1972) – 829
Аполлинер (1880–1918) – 760
Апухтин Алексей Николаевич (1841–1893) – 679
Ардов Т. [Тардов Владимир Геннадьевич] (1879–после 1913) – 443
Арендт Ханна (1906–1975) – 13
Аристотель (384–322 до н.э.) – 466, 467, 488
Арко, Георг фон (1869–1940) – 818, 819
Арманд Инесса [Елизавета Федоровна] (1874–1920) – 197
Арндт Ангелика – 797
Арним, Ахим фон (1781–1831) – 409
Арсеньев Владимир (1872–1930) – 532
Архимед (287–212 до н.э.) – 119
Архипенко Александр (1887–1964) – 760
Арцибашев Михаил Петрович (1878–1927) – 633
Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – 771
Асланов Николай – 667
Аспазия (5-й в. до н.э.) – 441
Астахов Георгий – 836
Аттила (?–453) – 93
Аухаген Отто (1869–1945) – 825
Афанасьев Анатолий – 646
Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) – 563, 722, 728
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) – 766


## Б


Бабель Исаак Эммануилович (1894–1940) – 247, 638, 777
Бабеф Франсуа (1760–1797) – 247
Базаров [Руднев] Владимир Александрович (1879–1939) – 462, 464
Байрон Джорд (1788–1824) – 402, 427, 438, 453
Бакст Лев Самойлович (1866–1924) – 678
Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – 453
Бакшеев Петр – 667
Балаш Бела (1884–1949) – 522, 523, 552, 554, 555, 564, 755, 769
Балиев Никита Федорович (1876–1936) – 673, 675, 676, 680
Баллюзек Владимир Владимирович (1881–1957) – 543, 562, 563
Бальзак Оноре де (1799–1850) – 596
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – 628
Бар Герман (1863–1934) – 628
Баранов Петр (1892–1933) – 175, 177, 178, 185
Барбус Генри (1873–1935) – 21
Барлах Эрнст (1870–1938) – 612–616
Барнет Борис Васильевич (1902–1965) – 748
Барро – 681
Барская [Чардинина] Маргарита Александровна (1901–1937) – 547, 551, 564
Барта Александр (?–1939?) – 364, 766, 768

Бартель Макс (1893–1975) – 205, 381, 404
Бархан Павел – 665, 680
Бассалыго Дмитрий Николаевич (1884–?) – 544, 562
Баумгарт – 608, 609, 611
Бауэр Евгений Францевич (1865–1917) – 741
Бауэр Отто (1881–1938) – 222, 229
Бахтин Михаил Михайлович (1895–1975) – 481–487, 489, 490
Бебель Август (1840–1913) – 83
Бёзе Карл – 751
Бейлис Мендель – 420
Бек Йозеф (1894–1944) – 99
Бек Карл Генрих – 626, 629–631, 635
Бекефи Юлия – 676
Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – 502, 617, 630
Белкин Владимир – 664
Бёлль Генрих (1917–1985) – 235, 256, 874
Белый Андрей [Бугаев Борис Николаевич] (1880–1934) – 239, 469, 633, 669, 674, 681, 756
Бёме Якоб (1574–1624) – 506
Бенеке Фридрих (1798–1854) – 436
Бенн Готфрид (1886–1956) – 772
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) – 635
Бенуа де Мор (12-й в.) – 247
Бёнш Миссиа – 809
Беньямин Вальтер (1892–1940) – 263, 529, 753, 766, 770, 778
Беранж Л. – 577
Берберова Нина (1901–1992) – 648, 670, 681
Бергенгрюн Вернер – 607
Бергер Артур (1892–1981) – 558, 559, 561, 564, 565
Бергман-Михель Элла – 529, 533, 537
Бергхоф Герберт – 796
Бердяев Николай Александрович (1887–1948) – 460, 462–465, 469–471, 474–476, 496, 500, 501, 503, 505, 621, 631
Беренд-Груа [Фограси] Эльзе (1885–1972) – 797
Берзин Ян Антонович (1889–1938) – 190–192
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) – 314, 774, 838
Берковский Наум Яковлевич (1901–1972) – 246, 397
Берман Матвей Давидович (1898–1939) – 829
Бернард Тристан [Пауль] (1866–1947) – 668
Бёрне Людвиг (1786–1837) – 763
Бертенсон Сергей Львович (1885–1962) – 671
Бессалько Павел Карпович (1887–1920) – 394
Бетховен, Людвиг ванн (1770–1827) – 124, 684
Бехер Йоханнес (1891–1958) – 295, 304, 308, 309, 313, 318, 319, 324–326, 328, 529, 719, 721, 765–767, 770, 774, 794, 825, 860
Би Оскар (1866–1923) – 678, 680, 836
Бибер Лео – 796, 797
Бидструп Херлуф (1912–?) – 95
Билибин Иван Яковлевич (1876–1942) – 680
Билинский Борис – 680
Биншток Григорий Осипович (1884–1954) – 223
Бирбаум Отто Юлиус (1865–1910) – 628
Бисмарк, Отто фон (1815–1898) – 58, 108, 113, 128, 145, 155, 161, 208, 418, 432, 438, 441, 444–446, 451
Бистрам, Родерих фон – 49
Блиох Яков Моисеевич (1895–1957) – 526–529, 535, 537
Блок Александр Александрович (1880–1921) – 420, 506, 508, 509, 679, 698
Бломберг, Вернер фон (1878–1946), генерал-майор – 192, 674, 675
Блох Эрнст (1885–1977) – 769
Блюм Альбрехт Виктор – 528, 535, 537, 767, 768
Блюм Клара (1904–1971) – 767, 768
Блюхер Василий Константинович (1890–1938), генерал – 24
Бобров Сергей Павлович (1889–1971) – 462, 563, 564
Богуславская Ксения Леонидовна (1892–1972) – 675, 760
Болеславский Рихард Валентинович (1887–1937) – 667, 676, 679, 684
Болтянский Григорий Моисеевич (1885–1953) – 520
Большинцов Мануэл Владимирович (1902–1954) – 560, 565
Бонч-Бруевич Михаил Александрович (1888–1940) – 817
Бордадын А.Ф. – 862, 866, 867
Борк Эллен – 772
Борн Джордж – 394
Ботмер, Карл фон – 118, 119
Бохме Эрих – 638
Брандлер Генрих (1881–1967) – 212, 213
Брауде Евгений – 461
Браун Ганс – 273
Браун фон Штумм – 836
Бредель Вилли (1901–1964) – 293, 304, 308, 316, 318, 319, 717, 719–721, 766, 771, 860
Брекер Арно (1900–1991) – 29
Брентано, Клеменс фон (1778–1842) – 409
Брехт Бертольд (1898–1956) – 19, 53, 250, 256, 297, 306, 318, 326, 529, 544, 558, 560, 682, 718, 767, 771, 781, 782, 794, 796, 798
Бриан Аристида (1862–1932) – 159
Брик Лилия Юрьевна (1891–1978) – 766, 771
Брик Осип Максимович (1888–1945) – 551, 766
Брод Макс (1884–1968) – 676
Брокдорф-Ранцау, Ульрих фон (1869–1928) – 120–123, 128–146, 148, 155, 158–161, 208, 209
Бруно Джордано (1548–1600) – 450
Брюнинг Генрих (1885–1970) – 93, 149, 824
Брюнинг Эльфрида (р. 1910) – 300
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – 628, 633, 635
Бубер Мартин (1878–1965) – 488, 489, 494
Бубер-Нойманн Маргарита (1901–1989) – 297, 325
Бубнов Андрей Сергеевич (1883–1940) – 744, 790
Бубнов Николай – 631
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), маршал – 327
Букшпан Яков Маркович (1887–1939) – 462, 464, 465, 471, 473, 474
Булатов Иван – 562, 667
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) – 472, 511, 766, 860
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – 471, 501

Бунаков-Фондаминский Илья Исидорович (1880–1942) – 513
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) – 495, 628, 632, 648–650
Бурлюк Давид Давидович (1882–1967) – 680
Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – 52, 198, 210, 212, 215, 216, 228, 251, 351, 473
Бучма Амвросий Максимилианович (1891–1957) – 563, 751
Буш Эрнст (1900–1980) – 17, 364, 372, 395, 406, 699, 796, 821
Быстрицкий Андрей – 740
Бэкон Френсис (1561–1626) – 438, 439
Бюлов, Бернхард фон (1849–1929) – 149, 154

# В

Ваганян В. – 462, 463
Вагнер Рихард (1813–1883) – 377, 437–439, 453, 573, 837
Вайс Пауль – 534, 779
Вайскопф Франц Карл (1900–1955) – 302–305, 323, 324, 719, 825
Валлентин Максим (1904–1987) – 319, 786, 787, 796, 801–804, 806–808
Валлентин Томас – 807
Валлентин Эдит (1903–?) – 808
Валери Пауль (1871–1945) – 245
Вальбург Отто – 796
Вальден Нелль – 760
Вальден Херварт (1878–1941) – 241, 298, 309, 310, 760–774, 776–783
Вальрот – 137, 142, 143, 145
Вальтер, Гебхард фон – 156
Вальтер, Райнхольд фон (1882–1965) – 626, 629, 630
Вангенхайм, Густав фон (1895–1975) – 319, 324, 370, 550, 564, 755, 766, 791, 792
Вангенхайм, Инге фон (1912–1993) – 297, 321, 322
Варга Евгений Самойлович (1879–1964) – 210, 862, 866, 867
Варламов Константин Александрович (1848–1915) – 740
Василевский Илья Маркович (1882–1938) – 683
Васильев Георгий Николаевич (1899–1946) – 750
Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) – 697, 698
Васильев Федосей – 429
Васильева Зинаида – 629
Вассерман Якоб (1873–1934) – 403
Ват Александр (1900–1967) – 780
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) – 678
Вахтель Курт – 778, 779
Вебер Макс (1864–1920) – 39, 41, 434, 497
Вега, Лопе де (1562–1635) – 730, 789
Вегенер Пауль – 365
Вейдемейер Йозеф (1818–1866) – 71, 77
Вейдль Владимир Васильевич (1895–1979) – 495
Веласкес, Диего Родригез де Сильва (1599–1660) – 730
Велич Любовь (1913–?) – 681
Венгерова Зинаида Афанасьевна – 674
Венер Герберт (1906–1990) – 30, 297, 307, 767, 808, 834–840, 842
Веревкина, Марианна фон (1860–1938) – 760
Вермель Самуил – 673, 680, 681
Верн Жюль (1828–1905) – 405
Вернер Элизабет (1838–1918) – 404
Вертинский Александр (1889–1957) – 673
Вертов Дзига (1896–1954) – 520, 521, 525, 528–537, 751, 753
Верфель Франц (1890–1945) – 772
Вессель Хорст (1907–1930) – 250
Вехтер – 799, 800, 806, 807
Вигман Мари (1886–1973) – 804
Виго Жан (1905–1934) – 533
Вильберг – 186, 187
Вильгельм II (1859–1941), германский император – 93, 158, 211, 404, 627
Вильде Грета (1903–1943/44) – 801
Виммлер Улла (?–1937?) – 789
Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) – 498
Виндер Людвиг (1889–1946) – 403
Вине Роберт (1873?–1938) – 739, 750
Винницкий Андрей – 534
Виприх О. – 174
Вирт Йозеф (1879–1956) – 132, 208, 824
Витфогель Карл Август (1896–1988) – 544, 558
Вишнев С.М. – 859
Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951) – 12, 20, 310, 311, 728, 851, 862, 863
Власов Андрей Андреевич (1901–1946) – 569
Воеводин Петр (1884–1964) – 743
Войнар – 779
Войнич Этель Лилиан (1864–1960) – 394
Войтинский Владимир – 223
Волленберг Эрих (1892–1973) – 198, 206, 214, 215, 769, 797
Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) – 237, 472, 505
Волошинов Валентин – 483, 484
Волынский Аким Львович (1863–1926) – 628
Вольтер (1694–1778) – 279, 556
Вольф Кете – 311
Вольф Лотар – 779
Вольф Лукас – 311
Вольф Фридрих (1888–1953) – 293, 294, 304, 310–312, 323, 324, 558, 564, 719, 721, 755, 766, 789, 802, 842
Вольф Эльзе (1898–?) – 311
Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923) – 523
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – 177, 178, 190, 192
Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – 445
Вундт Вильгельм Макс (1832–1920) – 421
Вышеславцев Борис Петрович (1877–1954) – 462, 464, 476, 477
Вышинский Андрей Януаревич (1883–1954) – 17, 215, 310, 314

# Г

Габор Андор (1884–1953) – 308, 318, 767
Гайдаров Владимир Георгиевич (1893–1976) – 667, 670
Галилей Галилео (1564–1642) – 430, 450
Гальдер Франц (1884–1972), генерал – 156
Гальперн Ольга – 767, 768
Гаманн Иоганн Георг (1730–1788) – 505
Гардин Владимир Ростиславович (1877–1965) – 562, 563, 741
Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888) – 633
Гауптман Герхард (1862–1946) – 395, 398
Гаус Фридрих (1881–1955) – 154, 852
Гаусс Карл-Маркус – 609, 610
Гауф Вильгельм (1802–1827) – 409
Гашек Ярослав (1883–1923) – 247, 377
Геббель Фридрих (1813–1863) – 806
Геббельс Йозеф (1897–1945) – 44, 100, 253, 510, 606, 781, 836, 841, 858, 864
Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770–1831) – 100, 109, 247, 424–426, 442, 450, 451, 453, 466, 471, 500, 502, 506, 507, 861
Гейм Штефан [Гельмут Флиг Грегор Хольм] (1913–2002) – 197
Гейне Генрих (1797–1856) – 100, 198, 199, 253, 396, 397, 405, 439, 453
Гельд Эрнст (1903–1954) – 770
Гельмгольц, Герман фон (1821–1894) – 441
Гельц Макс (1889–1933) – 404
Геминдер Бедрих (1901–1952) – 834, 839
Геннинг – 778, 779
Георге Генрих [Шульц Георг Генрих] (1893–1946) – 755
Георге Стефан (1868–1933) – 630
Гербель Николай – 397
Гердер, Иоганн Готфрид фон (1744–1803) – 505, 602
Геринг Герман (1893–1946) – 29, 59, 95, 100
Германова [Крассовская] Мария Николаевна (1884–1940) – 683, 684
Гертнер Рольф [Йозеф] – 522
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – 471, 502, 507, 514
Гесс Рудольф (1894–1987) – 24
Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) – 691
Гессен Сергей Иосифович (1887–1951) – 495, 501
Гёте, Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) – 108, 141, 199, 419, 426, 430, 438–440, 449, 451–453, 470, 508, 556, 691, 695, 791, 837
Гешоннек Эрвин (р. 1906) – 797
Гизеке Генрих – 819
Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – 224, 445
Гиммлер Генрих (1900–1945) – 569, 586
Гинденбург, Пауль фон (1847–1934) – 19, 58, 90, 93, 144, 185
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) – 599, 628
Гитлер Адольф (1889–1945) – 9, 11, 14, 19–22, 24, 25, 39, 40, 47, 58, 60, 93–96, 98–100, 151–158, 160–162, 193, 213, 235, 248–251, 256, 285, 306, 312, 317, 324, 326, 496, 509, 510, 541, 547, 549, 550, 558, 560, 561, 568–570, 606, 639, 717, 722, 729, 769, 828, 835–837, 848, 852, 853, 856–859, 863–865
Гладков Федор Васильевич (1883–1958) – 564, 651
Глезер Эрнст (1902–1963) – 302, 303, 825
Гнедин Евгений Александрович (1898–1983) – 86, 92
Гобино, Йозеф Артур Комте де (1816–1882) – 600
Гог Грегор (1891–1945) – 550, 564
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – 272, 419, 428, 436, 439, 453, 629, 633, 635, 694, 771
Гойя, Франциско де (1746–1828) – 730
Голек Венцель [Гёре Пауль] (1864–1928) – 404
Голлербах Эрих (1895–1942) – 424, 426, 450
Головня Анатолий Дмитриевич (1900–1982) – 551, 554, 563, 564
Гольдшмидт Альфонс (1879–1940) – 120, 821
Гольдштейн Аннет – 833
Гомер (8-й в. до н.э.) – 452, 453
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – 397, 426
Гончарова Наталья Сергеевна (1881–1962) – 760
Гопнер Серафима Ильинична (1880–1960) – 822
Горбунов Н.П. – 503
Горданов Вячеслав Вячеславович (1902–1983) – 553, 562, 563
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – 112, 113
Горький Максим [Пешков Алексей Максимович] (1868–1936) – 215, 257, 321, 394, 472, 477, 627, 633, 637, 638, 648, 651, 666, 760, 763, 790, 791, 833, 837
Готвальд Клемент (1896–1953) – 322
Гофман Франц Адольф (1858–1930) – 394–396
Гофман Э.Т.А. (1776–1822) – 397, 409, 499
Грайд Герман – 796
Грайф Генрих (1907–1946) – 372, 564, 831
Гранах Александр (1890–1945) – 372, 550, 564, 755, 796
Граф Оскар Мария (1894–1967) – 304, 305
Грёгер Вольфганг – 631, 635
Грегор Йозеф (1888–1960) – 394, 404, 550, 569, 683
Грёнер Вильгельм (1867–1939), генерал – 208
Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) – 396, 426
Гризар Эрих (1898–1955) – 404, 405
Грильпарцер Франц (1792–1872) – 200
Гримм Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859) – 394, 408, 409
Грирсон Джон (1898–1972) – 534, 535
Громан Владимир Густавович (1874–1932?) – 226
Громов В.А. – 565, 804
Громов Михаил Михайлович (1899–1985) – 27, 28
Гросс Георг (1893–1959) – 241, 242, 248, 580, 638
Гроссман Василий Семенович (1905–1964) – 252, 562
Гротеволь Отто (1894–1964) – 61–63
Грубе Август Вильгельм (1816–1884) – 423, 424
Грюнфельд Юдифь – 223
Гуль Роман Борисович (1896–1986) – 651, 678, 681
Гумбольдт, Александр фон (1769–1859) – 422, 426

Гумбольдт, Вильгельм фон (1767–1835) – 426, 441
Гурвич В. – 399
Гуриан Вальдемар – 825
Гусев Виктор – 548, 564
Гуссерль Эдмунд (1859–1938) – 482, 483, 485, 487, 497, 501, 506
Гюго Виктор (1802–1885) – 394, 453, 730
Гюнтер Ганс (1899–1938) – 26, 297–299, 318, 326
Гюнтер, Йоханнес фон (1886–1973) – 626, 629, 630, 633–635, 638

# Д

Давид (Нольден) Ли (1900–?) – 801–803
Давид Ганс Вальтер (1893–1942) – 808
Давурин А.Д. [Урин Давид Исаакович] – 798
Давыдов Владимир – 740
Дагер Луи Жак (1787–1851) – 12
Далин Давид Юльевич (1889–1962) – 223, 225
Далматов Михаил – 673
Даль Владимир Иванович (1801–1872) – 33, 445
Дамериус Гельмут (1905–1985) – 297, 299, 320, 321
Дан Лидия Осиповна (1878–1963) – 223, 224
Дан Федор (1871–1947) – 221–223, 228, 229
Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – 425, 465, 471
Данилин Сергей Александрович (1901–1978) – 27
Данте Алигьери (1265–1321) – 452, 453
Дарвин Чарльз (1809–1882) – 47
Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) – 673
Дассель Феликс – 825
Дауэс Чарльз Гейтс (1865–1951) – 92, 137, 159, 522
Двингер Эдвин Эрих (1898–1981) – 568–588, 710
Деборин [Иоффе] Абрам Моисеевич (1881–1963) – 462–464, 471
Деканозов Владимир Георгиевич (1898–1953) – 157, 158, 856
Декарт Рене (1596–1650) – 488, 508
Демуцкий Даниил Порфирьевич (1893–1954) – 553
Дени [Денисов] Виктор Николаевич (1893–1946) – 87, 90, 94
Денике Юрий [Декер Георг] (1887–1964) – 223
Деникин Антон Иванович (1872–1947) – 118, 221, 721
Денинг Адольф (1907–?) – 358, 360, 362, 373, 379
Дёрн Гизела – 283
Деттнер Фриц [Тис Фридрих] (1898–1937) – 831, 833
Дживаньоли [Джованьоли] Раффаэло (1838–1915) – 394
Джойс Джеймс (1882–1941) – 247
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) – 178, 181, 200, 763, 779
Дидерихс Евгений (1867–1930) – 576, 626, 627
Димитров Георгий Михайлович (1882–1949) – 309, 314, 316, 317, 322, 328, 550, 774, 808, 833, 835, 856, 857, 865
Диоклетиан Гай Авгелий (ок. 240–316) – 422
Дирксен, Герберт фон (1882–1955) – 145–152, 160, 161
Дитерле Вильгельм (1893–1972) – 755
Дитрих Марлен (1901–1992) – 14, 19, 179, 568
Довженко Александр Петрович (1894–1956) – 525, 528, 531, 549, 553
Дойблер Теодор (1876–1934) – 612, 614
Дойчер Исаак (1907–1967) – 208
Доманевская Ольга – 223
Дон Аминадо [Сполянский Аминад Петрович] (1888–1957) – 673
Дор Густав (1832–1883) – 410
Дорнье Клод (1884–1969) – 177, 182
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – 23, 247, 402, 422, 423, 427, 430, 439, 443, 444, 450, 464, 471–475, 482, 484, 487, 489, 503, 554, 573, 576, 577, 596–622, 625–629, 631–633, 635, 637, 666, 675, 725
Драх Ганс – 808
Дрейфус Альфред (1859–1935) – 420
Дрексель Йозеф – 45
Дуван-Торцов Исаак – 667, 673
Дудов Слатан (1903–1963) – 19, 537
Дьюти Хильда (1910–?) – 831, 833
Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – 678

# Е

Евелинов Борис – 673
Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) – 671, 673, 680, 684
Егоров Александр Ильич (1883–1939) – 193
Егоров Владимир – 564, 754
Егорова Е. – 562
Егорова Мария – 667
Ежов Николай Иванович (1895–1940) – 24
Екатерина II (1729–1796) – 342, 422, 673, 786
Екельчик Юрий Израилевич (1907–1956) – 553, 564
Ерофеев Владимир Алексеевич (1898–1940) – 525, 529, 530, 532, 535, 751
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) – 239, 245
Ефимов Борис Ефимович (1900–2008) – 24, 85, 86, 92, 93, 96–98, 100, 328
Ешонек Ханс (1899–1943) – 190

# Ж

Жаков Олег Петрович (1905–?) – 561, 564, 565
Жан-Поль [Рихтер Пауль Фридрих] (1763–1825) – 25, 485
Жданов Андрей Александрович (1896–1948) – 839–841, 853, 865, 866
Жданов Георгий – 671
Желябужский Юрий Андреевич (1888–1955) – 520, 746
Жемчужникова Полина – 17
Жид Андре (1869–1951) – 53
Жолдак Иван – 834
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – 426, 453

# З

Заксенберг Готхард (1891–1961) – 170, 175, 178, 181
Замятин Евгений Иванович (1884–1937) – 244
Зандер Лев – 373, 512, 513
Заславский Давид Иосифович (1880–1965) – 764
Захер-Мазох, Леопольд фон (1836–1895) – 394
Зебер Гвидо – 751
Зегерс Анна (1900–1983) – 251, 256, 295, 324, 373, 550, 558, 825
Зелигман Пауль – 529, 536
Зибург Фридрих (1893–1964) – 270
Зиммель Георг (1858–1918) – 488, 497
Зингер Фриц – 836
Зиновьев Григорий Евсеевич (1883–1936) – 212, 213, 215, 216, 226, 228, 801
Золя Эмиль (1840–1902) – 394, 400, 619
Зонтхаймер Курт (р. 1928) – 45
Зоргенфрей В. – 399
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) – 397, 781

# И

Ибсен Генрих (1828–1906) – 499, 619, 803
Иван IV Грозный (1530–1584) – 434, 553
Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – 397
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – 680
Иванов М. – 564
Иванов-Барков Е. – 562
Ивановский Александр Викторович (1881–1968) – 748
Ивенс Йорис (1898–1989) – 533, 536, 755
Иконников – 821
Иллеш Бела (1895–1974) – 755
Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987) – 750
Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) – 772
Иовчук Михаил Трифонович (1908–1990) – 838, 839
Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) – 118
Исцеленов Николай Иванович (1891–1981) – 667
Йорш Герта – 789, 807, 808

# К

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989) – 397
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – 253, 343, 347, 349, 353, 765, 790, 791, 795
Кале Ганс (1899–1947) – 817
Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – 121, 122, 343, 347, 362, 763
Кальвин Йоханнес (1509–1564) – 418, 432, 433
Кальдерон де ля Барка Педро (1600–1681) – 730
Каменев Лев Борисович (1883–1936) – 212, 215, 216, 226, 228, 397, 801
Каменева Ольга Давидовна – 263
Каменский Василий Васильевич (1884–1961) – 680
Кампанелла Томас (1568–1639) – 53, 762
Кандинский Василий (1866–1944) – 309, 672, 678, 760, 762
Кант Иммануил (1724–1804) – 100, 424–426, 430, 437, 438, 450, 453, 466, 467, 475, 500, 501, 504, 506–508
Канторович Альфред (1899–1979) – 312, 722
Капп Вольфганг (1858–1922) – 44
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – 430, 439
Карахан Лев (1889–1937) – 118
Карл Великий (747–814), король франков и римский император – 442
Катаев Валентин Петрович (1897–1986) – 651
Каутский Карл (1854–1938) – 77, 90, 92–94, 116, 117, 222, 227–230
Кауфман Георг [Хольм Петер] (1899–1936) – 831
Кауфман Михаил Абрамович (1897–1980) – 531, 533, 534, 751
Кафка Франц (1883–1924) – 495
Кахан В. – 836
Кёлер Гарри – 627
Келлерман Бернард (1879–1951) – 394, 396, 398–400
Кеменов Владимир – 863
Кёнен Герд (р. 1944) – 625
Керенский Александр Федорович (1881–1970) – 89, 449
Керн Рудольф – 364, 698
Керр Альфред – 747
Керрик Лесс [Элизабет] (1886–1966) – 599, 601, 602, 606–612, 614–622, 627
Керрик Люси [Мёллер ванн ден Брук] (1877–1965) – 599, 601, 602, 608
Кёстлер Артур (1905–1983) – 501
Кёстринг Эрнст Август, генерал – 156
Киндлер Гельмут (р. 1912) – 257
Киперман Яков – 397, 401, 402
Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – 426
Киров Сергей Миронович (1886–1934) – 305, 312
Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) – 771
Кирш Райнер (р. 1934) – 299
Киш Эгон Эрвин (1885–1948) – 263, 404, 821
Клее Пауль (1879–1940) – 309, 762
Клейнов Георг (1873–1936) – 825
Клейст, Генрих фон (1777–1811) – 49, 200, 802
Клемм Ганс – 836
Клёрес Ганс – 619
Клингер Макс (1857–1920) – 612
Клюге Эрнст – 896
Книф Иоганн (1880–1919) – 200
Кноблаух Альфонс – 778
Кнорин Вильгельм Георгиевич [Кнориныш Тишлер] (1890–1938) – 835
Кобелик – 778, 779
Кобулов Богдан Захарович (1904–1953) – 774
Ковальк И. – 836
Коваль-Самборский Иван Иванович (1893–1962) – 558, 559, 564
Козинцева-Эренбург Любовь Михайловна (1899–1970) – 241, 244
Кокошка Оскар (1886–1980) – 309
Коллонтай Александра Михайловна (1872–1952) – 19
Колмаков – 838, 841

Колчак Александр Васильевич (1874–1920), адмирал – 221, 721
Кольвиц Кете (1867–1945) – 553
Кольцов Михаил Ефимович (1898–1942) – 14, 251, 327, 328, 583, 722, 726, 728, 730, 731, 777
Кон Феликс Яковлевич (1864–1941) – 85, 86
Конради Морис – 523
Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974) – 682
Копалин Илья – 534
Копелев Лев Зиновьевич (1912–1997) – 256, 310, 771
Король С.Г. – 187, 191
Корпус Лили (1901–1978) – 308
Корреджо (ок. 1489–1534) – 432
Кортвих Вернер – 374
Косарев Александр Васильевич (1903–1939) – 777
Кракауэр Зигфрид (1889–1966) – 529, 534, 535, 739
Крамер Франц Альберт – 271, 273, 274
Кранах Лукас (1472–1553) – 242
Красин Леонид (1870–1926) – 121, 132, 169, 179, 743
Краснов Петр Николаевич (1869–1947) – 391, 638, 651
Краснопольская Екатерина Филимоновна (1898–1980) – 666
Краус Вернер (1884–1959) – 536, 751, 755
Кремлев-Свен И.Л. (1897–1971) – 860
Крестинский Николай Николаевич (1883–1938) – 150, 152, 825
Кретцер Макс (1854–1941) – 394
Криницкий – 795
Кропп Вилли (1899–1961) – 832
Кроч Франц – 275, 276, 278
Крупп фон Болен унд Хальбах Густав (1870–1950) – 501, 744
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) – 405, 408, 508
Крюков Август – 564, 565
Кузмин Михаил Алексеевич (1875–1936) – 111, 112
Кузнецов Степан [Павел?] (1878–1968) – 664, 667, 671, 683
Куйбышев Валериан Владимирович (1888–1935) – 123, 190, 315
Кук Томас (1808–1892) – 264
Кукрыниксы: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), Крылов Порфирий Никитич (1902–1990), Соколов Николай Александрович (1903–1991) – 97, 198
Кулешов Лев Владимирович (1899–1970) – 541, 542, 748, 751, 755, 899
Куликовский Вячеслав – 392
Куммер Людвиг и Эльфрида – 271, 275, 278
Кун Бела (1886–1939) – 322, 778, 780
Куно Вильгельм (1876–1933) – 212
Купер Дуфф – 841
Куприн Александр Иванович (1870–1938) – 633
Купферман Леон – 796
Курелла Альфред (1895–1975) – 294, 297, 316, 769, 771, 819, 860, 861
Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813), генерал-майор – 551
Кучин Георгий – 222, 223
Кюпперс София (1891–1978) – 530
Кюсген – 819

# Л

Лабас Александр Аркадьевич (1900–1983) – 766
Лагерлёф Сельма (1858–1940) – 409
Лагорио [Исцеленова] Мария Александровна (1893–1979) – 667
Лазарев Виктор – 462
Лампрехт Герхард (1897–1974) – 755
Ланг Виктор – 805–809
Ланг Фриц (1890–1976) – 750
Ланген Альберт (1869–1909) – 626, 632, 633
Лангхоф Вольфганг (1901–1966) – 558
Ландсберг Отто (1869–1957) – 130
Ланиа Лео (1896–1961) – 371, 528, 537
Ласс Вернер – 40
Лассаль Фердинанд (1825–1864) – 45, 424, 448, 449, 451
Лауфер Ганс – 789
Лацис Анна (1891–1979) – 297, 316, 529, 769
Лебедев Николай – 535
Лебедев Петр – 170
Лебедев-Шмидтхоф Владимир – 551, 563
Леви Пауль (1883–1930) – 201
Левин Габриэль [Бауэр Эрнст] (1906–?) – 831
Левицкий Александр Андреевич (1885–1965) – 741
Ледерер Эмиль (1882–1939) – 55
Лежава Андрей Матвеевич (1870–1937) – 743, 744
Лекок Ричард (р. 1921) – 534
Ленбах, Францфон (1836–1904) – 432
Ленин [Ульянов] Владимир Ильич (1870–1924) – 20, 22, 43, 44, 48–51, 58–61, 70, 77–82, 115–118, 160, 184, 185, 197–199, 201–203, 207, 209, 210, 212, 214, 215, 221, 225–227, 298, 351, 355, 463, 498, 501–505, 520–523, 545, 582, 584, 585, 713–715, 742, 743, 745, 746, 778, 817, 818, 827, 839, 854
Ленц Фридрих – 59
Лео Жан-Пьер – 25
Леонов Леонид Максимович (1899–1994) – 651
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – 425, 427, 465, 471, 475
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – 423, 439, 440, 635, 771, 860
Лесков Николай Семенович (1831–1895) – 629, 630, 633
Лессинг Готхольд Ефраим (1729–1781) – 199, 426, 510, 771
Либерман Лев – 744, 745
Либкнехт Вильгельм (1826–1900) – 404
Либкнехт Карл (1871–1919) – 111, 114, 201, 250, 320, 405, 524, 778, 827
Ливен Лотте – 372
Лидин Владимир Германович (1894–1979) – 243
Лидтке Гарри – 751
Линдберг Чарльз (1902–1974) – 14, 28, 53
Лисицкий Эль [Лазарь Маркович] (1890–1941) – 240, 309, 530, 531
Лисснер-Бломберг Елена (1897–1978) – 674, 675

Литвинов Александр Аркадьевич (1898–1977) – 525, 532
Литвинов Максим Максимович (1876/71–1951/56) – 94, 123, 147, 148, 151–153, 160, 836
Лите К. – 184
Лит-Томсен, Герман фон дер (1867–1942), полковник – 183, 185
Лоде Грета (1902–1952) – 799, 800
Лодс Жан – 533
Лозовский Соломон Абрамович (1878–1952) – 861
Лоло [Мунштейн] Леонид Григорьевич (1867–1947) – 673
Лондон Джек (1876–1916) – 32, 115, 117, 144, 159, 243, 247, 252, 268, 394, 400, 523, 838
Лопе де Вега (1562–1635) – 730, 789
Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) – 496
Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) – 423, 709, 894, 896, 899
Лохтхофен Лоренц (1907–1989) – 311, 803, 806, 808
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – 86, 114, 397, 472, 477, 498, 562, 597, 743, 744, 752, 754, 760
Лунц Лев Натанович (1901–1924) – 655, 656
Льдов К. – 406, 407
Людвиг Эмиль (1881–1948) – 150
Людендорф Эрих (1865–1937), генерал – 60, 90
Люксембург Роза (1870–1919) – 200, 201, 204, 205, 207, 524, 827
Лютер Артур (1876–1955) – 625, 626, 630, 631, 637, 638
Лютер Мартин (1483–1546) – 426, 433, 438, 442

# М

Маас Александр – 821, 842
Майенбург, Рут фон [Эльфрид Эйслер] (1895–1961) – 297
Майер Карл – 755
Майер-Грефе Юлиус (1867–1935) – 674, 678
Майский Иван Михайлович (1884–1975) – 841
Макаренко Антон (1888–1939) – 53
Маковский Сергей Константинович (1877–1962) – 683
Максимов Владимир Васильевич – 671, 740
Максин М. – 673
Мале Ганс (1911–1999) – 831
Маленков Георгий Максимович (1902–1988) – 841, 863, 864
Малер Густав (1860–1911) – 778
Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938) – 651
Мальмгрен Финн (1895–1928) – 179
Мальцев К.А. – 829, 831, 832, 834
Малютин Иван Андреевич (1891–1932) – 88
Мамонтов Константин Константинович – 185
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1928) – 460, 463, 476, 596, 766
Манн Генрих (1871–1950) – 251, 324, 394, 395, 398, 399, 790
Манн Катя (1883–1980) – 632
Манн Клаус (1906–1949) – 305, 306, 769
Манн Томас (1875–1955) – 251, 398, 399, 466, 468, 507, 628, 629, 730, 753, 790
Мануильский Дмитрий Захарович (1883–1959) – 314, 838–840
Манусевич А. – 863
Марджанишвили Коте – 789
Маринетти Филиппо Томасио (1876–1944) – 447
Марк Франц (1880–1916) – 309, 405, 430, 635, 683
Маркс Вильгельм (1863–1946) – 90, 94
Маркс Карл (1818–1883) – 47, 49, 61, 70–73, 75–82, 94, 100, 197, 306, 307, 355, 449, 450, 504, 510, 620, 824, 839
Мартов Юлий Осипович (1873–1923) – 81, 117, 222–228
Мархлевский Юлиан Бальтазар (1886–1929) – 200, 524
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) – 407
Масарик Томаш (1850–1937) – 627
Маслюков Алексей – 552, 564
Массари Фрици (1882–1969) – 682
Мацуев Н.И. – 395, 399, 400
Мачерет Александр Вениаминович (1896–1979) – 556, 558, 559, 564
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – 15, 239, 306, 308, 323, 551, 638, 680, 809
Меженинов Сергей Александрович (1890–1937) – 194
Мейендорф, Петер фон (1796–1863) – 106, 113, 118
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940) – 250, 680, 682, 777, 778, 804, 805
Меланхтон Филипп (1497–1560) – 433
Мёллер ван ден Брук Артур (1876–1925) – 43–46, 51, 60, 596, 598–612, 614–616, 618, 619, 621, 626, 627
Мендельсон-Бартольди Феликс (1909–1947) – 96
Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874–1934) – 181
Менхен-Хелфен Оскар [Отто?] – 825
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) – 427, 474, 596, 599, 600, 607, 616, 626–630
Мериме Проспер (1803–1870) – 392, 546
Меринг Вальтер (1896–1991) – 772, 790
Метерлинк Морис (1862–1949) – 421
Метцнер Эрно – 537
Мехлис Лев Захарович – 858
Мечников Илья Ильич (1845–1916) – 471
Мизиано Франческо (?–1936) – 755
Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – 855, 864
Милль Джон Стюарт (1806–1873) – 426
Мильтон Джон (1608–1674) – 438, 439, 453
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – 495, 691
Минский Николай Максимович (1855–1937) – 628
Мирбах-Харф, Вильгельм фон (1871–1918) – 118, 119, 122
Мирбт Рудольф (1896–1974) – 266, 272, 273, 276, 278, 279, 284
Митрофанов-Демелич Вера – 597
Миттельбергер, фон, генерал-майор – 192
Михайлов Евгений – 553
Михайлов Н.А. – 865, 866
Михайлов Олег – 651

Мозжухин Иван Ильич (1889–1939) – 741
Моисси Александр (1880–1935) – 684
Молдавцев Г. – 673
Молотов Вячеслав Михайлович (1890–1986) – 17, 35, 97, 156, 158, 314, 347–349, 560, 826, 836–838, 848, 852, 853, 855–861, 865, 868
Мольер (1622–1673) – 681, 804, 806
Моор [Орлов] Дмитрий Стахиевич (1883–1946) – 87–89
Мопассан, Ги де (1850–1893) – 754
Мор М. – 191, 400
Москвин Иван Михайлович (1874–1946) – 563, 747
Московин Андрей – 553
Моцарт Вольфганг Амадеус (1756–1791) – 107, 108, 112, 113, 124, 125
Музеус Карл Август (1735–1787) – 409
Муклевич Ромуальд Адамович (1890–1938) – 186
Мулин Владимир Георгиевич – 841
Мурнау Фридрих (1888–1931) – 750, 752
Муссолини Бенито [Дуче] (1883–1945) – 21, 59, 87, 99, 779
Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953) – 30, 33
Мюллер Адам – 47
Мюллер Георг – 602, 626, 632, 633, 635
Мюллер Герман (1876–1931) – 148
Мюллер Райнхард (р. 1944) – 299, 317
Мюллер Хайнер (1929–1996) – 42, 781
Мюллер Эрих (1897–1980) – 630, 638
Мюнценберг Вилли (1889–1940) – 518, 519, 522, 523, 528, 745–747, 749, 752

# Н

Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) – 645, 649, 650, 654, 668, 670, 671, 683, 690–697, 699–704
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) – 691
Набоков Дмитрий Владимирович (р. 1934) – 693
Набоков Сергей Владимирович – 691
Нагель Отто (1894–1967) – 755
Надольный Рудольф (1873–1953) – 146, 152–155, 161
Наживин Иван – 635
Нансен Фритьоф (1861–1930) – 24
Наполеон I (1769–1821) – 96, 156, 162, 211, 542, 544, 863
Нарышкина Александра Николаевна – 115
Науман Роберт (1899–1978) – 826
Неволин Борис – 673
Неер Карола (1900–1942) – 372
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/78) – 651
Нелидов – 670
Немоляев Владимир Викторович (1902–?) – 551, 564
Нерон Клавдий (37–68) – 400, 422
Неруда Пабло (1904–1973) – 252
Нивинский Игнатий Игнатьевич (1881–1933) – 678
Никитин Федор Михайлович (1900–?) – 543, 563
Никиш Эрнст (1889–1967) – 39–42, 44–46, 48–50, 54–63
Николаев Аким Максимович (1887–1937) – 818
Николаевский Борис Иванович (1887–1966) – 116, 221, 223
Николай II (1868–1918) – 530
Николас Вальтраут (1897–?) – 297
Нильсен Владимир Семенович (1905–1938) – 751
Ницше Фридрих (1844–1900) – 108, 426, 427, 439, 447, 467, 468, 470, 476, 483, 493, 511, 599, 601, 602, 619, 629
Нобиль Умберто (1885–1978) – 179, 532
Новалис (1772–1801) – 506, 896
Нойман Хайнц (1902–1937) – 831
Нори Джек – 364
Ньепс Йозеф (1765–1833) – 12
Ньютон Исаак (1643–1727) – 430, 439

# О

Оболенский Леонид Леонидович (1902–1991) – 748
Обст Эрих (1886–1981) – 263, 435
Одоевский Владимир Федорович (1804–1869) – 635
Ойленберг Герберт (1876–1949) – 601
Олеша Юрий Карлович (1899–1960) – 564
Ольберг Пауль – 227
Орджоникидзе Георгий Константинович (1886–1937) – 761, 833, 834
Ортега-и-Гассет Хосе (1883–1955) – 506
Оруэлл Джордж (1903–1950) – 502, 763
Освальд Осси – 750
Осоргин Михаил Алндреевич (1878–1941) – 635
Остен Мария (1909–1942) – 309, 327, 328, 364, 410, 774
Островский Николай Алексеевич (1904–1936) – 26, 651
Отто Тео (1904–1968) – 564
Офросимов Юрий Викторович – 668, 671, 683–685
Оцеп Федор Александрович (1895–1949) – 754

# П

Пабст Георг Вильгельм (1885–1967) – 246, 247, 558, 755
Павлов Иван Петрович (1849–1936) – 525
Павлова Анна Павловна (1881–1931) – 681
Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986) – 26–28
Папен, Франц фон (1879–1969) – 93, 150, 151
Парето Вильфредо (1848–1923) – 56
Парила Карл (1905–1996) – 796, 797
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – 111, 239, 670, 766
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – 728
Певас Петер – 537
Пеги Шарль (1873–1914) – 237
Пересыпкин Иван (1904–1978) – 829
Перикл (490–429 до н.э.) – 58, 63, 441
Перро Шарль (1628–1703) – 409
Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1827) – 765
Петр I (1672–1725) – 422, 551, 604, 620, 673
Петров Владимир Михайлович (1896–1966) – 551, 553, 562–564

Петров Евгений [Катаев Евгений Петрович] (1903–1942) – 772
Пий XII (1876–1958) – 96
Пик Артур (1899–1970) – 799, 801
Пик Вильгельм (1876–1960) – 62, 299, 311, 314, 322, 328, 774, 800, 801, 821, 835
Пик Лупу (1886–1931) – 751, 755
Пикуль Валентин Савич (1928–1990) – 862
Пилсудский Йозеф Клеменс (1867–1935) – 87, 200, 202, 215
Пиль Гарри (1892–1963) – 537, 750
Пипер Райнхард (1879–1953) – 596, 597, 599, 601, 607–610, 612–614, 616, 617, 625–628, 893
Пискатор Эрвин (1893–1966) – 319, 362, 366–368, 370–374, 377, 380, 382, 536, 550, 551, 564, 682, 755, 764, 786, 787, 789–805, 807
Платонов Андрей Платонович (1899–1951) – 728, 729, 731
Платтен Фриц (1883–1942) – 765
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – 117, 477
Пливер Теодор (1892–1955) – 371
Полевицкая Елена – 668, 683
Полонская Елизавета Григорьевна (1890–1969) – 236, 250, 564
Поммер Эрих (1889–1966) – 747
Попов Александр Степанович (1859–1906) – 462, 817, 819, 898
Попп Адельхайд (1869–1939) – 410
Портен Генни (1890–1960) – 751
Посельский Яков – 534
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) – 283, 545, 753, 754
Потехина Лидия – 673
Потоцкая Лидия – 665, 666
Призе Йоханнес (1896–1966) – 710
Пристли Джон (1894–1984) – 252
Пришвин Михаил (1873–1954) – 477, 633, 635, 854
Прокофьев – 327
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) – 240
Протазанов Яков Александрович (1881–1945) – 522, 543, 741, 748, 752
Прохоров И. – 673
Прудон Пьер Йозеф (1809–1865) – 463
Пруст Марсель (1871–1922) – 245
Пуанкаре Раймонд (1860–1936) – 88, 89
Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) – 17, 525, 531, 533, 544, 547, 551, 554, 560, 561, 563, 565, 748, 752–754
Пуни Иван Альбертович (1892–1956) – 675, 760
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – 32, 113, 341, 395, 422, 423, 427, 439, 494, 501, 620, 629, 633, 635, 636, 651
Пырьев Иван Александрович (1901–1968) – 547, 548, 554, 564
Пятаков Георгий [Юрий] Леонидович (1890–1937) – 24

# Р

Рааб Карл (1906–1992) – 835
Рабинович – 831, 832, 834
Рабинович Иосиф (1837–1899) – 420
Радек Карл Бернгардович (1885–1939) – 24, 44, 118, 169, 197–216
Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – 651
Радонежский Сергий – 453
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) – 505, 596, 607, 609, 622, 627, 651
Разумный Александр Ефимович (1891–1972) – 520, 558, 564
Райн Лео – 666
Райс Лотте – 311
Райт Бэйзил (1907–1987) – 534
Райх Бернард (1894–1972) – 297, 316, 790, 795, 796, 798–800, 802, 804, 807
Ранке, Леопольд фон (1795–1886) – 108
Ранцау, Эрнст фон – 120–123, 128–146, 148, 155, 158–161, 208, 209
Расп Фриц (1891–1976) – 246
Распе Рудольф Эрих (1737–1794) – 409, 410
Распутин Григорий Ефимович (1864/65–1916) – 631
Ратенау Вальтер (1867–1922) – 128, 205, 208
Ратов Григорий – 667
Рафаэль Санти (1483–1520) – 430, 453, 626
Рахманова Аля [фон Хойер Галина Николаевна] (1898–1991) – 638
Реглер Густав (1898–1963) – 297, 301, 305, 317, 325, 717, 721–727
Рейнгардт Макс (1873–1943) – 665, 668, 682, 683, 753
Рейнгардт Фридрих – 740, 741
Рейснер Лариса (1895–1926) – 206, 544
Рёкк Марика (1913–2004) – 36
Рек-Малечевен Фриц – 580
Ремарк Эрих Мария (1898–1970) – 17, 248, 324, 401, 510, 576, 577
Рёмер Йозеф – 45, 209
Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – 629, 632, 635, 669, 671, 680
Ренн Людвиг (1889–1979) – 248, 255, 272, 510, 717, 825
Риббентроп, Иоахим фон (1883–1946) – 24, 97, 560, 837, 848, 851–853, 855–857, 859, 868
Рильке Райнер Мария (1875–1926) – 778
Рифеншталь Лени (1902–2003) – 14
Рихтер [Розенталь] Фридрих – 796, 799, 802–804, 806–809
Рихтер Ганс (1888–1976) – 531, 533, 537, 755
Рихтер Труде (1899–1989) – 297, 299
Роан Карл Антон, принц – 277, 281, 282
Роденберг [Розенберг] Ганс (1895–1978) – 294, 297, 372, 796
Родченко Александр Михайлович (1891–1956) – 14, 15, 36, 240, 241, 520
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – 417–454
Розанов Матвей Никанорович (1858–1936) – 397
Розенберг Альфред (1893–1946) – 153, 250, 306, 606
Розенберг Кете (1883–1960) – 632
Розенгольц Аркадий Павлович (1889–1938) – 169–171, 173, 175, 181, 194
Романов Борис Александрович (1889–1957) – 681
Романов Константин Константинович (1858–1915) – 633

Ромберг, Гисберт фон – 204
Ромм Михаил Ильич (1901–1971) – 548, 562, 564
Роом Абрам Матвеевич (1894–1976) – 553, 565, 751, 754
Росселини Роберто (1906–1977) – 559
Рот Йозеф (1894–1939) – 245, 246, 263
Ротов Константин Петрович (1902–1959) – 95
Ротштейн Федор Аронович (1871–1953) – 821
Рубинер Фрида (1879–1952) – 294
Рудаков Константин Иванович (1891–1949) – 397
Рудольф А. [Ласло Рауль] – 60
Рудольф Альберт – 404
Рузвельт Франклин Делано (1882–1945) – 19, 20
Рунич Осип – 666
Рутман Вальтер (1887–1941) – 529
Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – 140, 226, 228, 829
Рындина Лидия – 391
Рюдигер Кете – 836

# С

Саблер [Десятовский] Владимир Карлович (1845–1929) – 445
Савинков Борис Викторович (1879–1925) – 237
Савиньи, Фридрих Карл фон (1779–1861) – 109, 426
Савич Альгуста Яковлевна (1904–1991) – 248, 249
Савич Овадий Герцович (1896–1967) – 239, 248, 249, 728
Савченко Игорь Андреевич (1906–1950) – 549
Садуль Жорж (1904–1967) – 740
Садчиков Н.Г. – 859
Салазар Салланде – 119
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) – 771
Самаров Грегор [Мединг Оскар] (1829–1903) – 394, 404
Самуйлович Клара Абрамовна (1899–?) – 833, 834
Санин [Шонберг] Александр Акимович (1869–1956) – 676, 678, 684, 739
Сарбах Вилли – 29
Сартр Жан-Поль (1905–1980) – 485
Сведенборг, Эмануэль фон (1688–1772) – 506
Северянин Игорь (1887–1941) – 670
Сен-Санс Камиль (1835–1921) – 685
Сен-Симон Клод (1760–1825) – 463
Сент-Экзюпери, Антуан де (1900–1944) – 53
Сервантес, Мигель де (1547–1616) – 392, 804
Серова Валентина – 32
Симонов Константин Михайлович (1915–1979) – 851
Синклер Аптон (1878–1968) – 247, 394, 400
Слоним [Набокова] Вера Евсеевна – 404, 692
Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972) – 397
Смирнова Евдокия – 679
Смирнова Елена Александровна (1888–1934) – 740
Сократ (ок. 470–399) – 441, 450
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – 424–426, 439, 465, 472, 487, 496, 498, 499, 511
Сологуб Федор (1863–1927) – 472, 628, 629, 633, 635
Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – 497
Спиноза, Барух де (1632–1677) – 96
Ставский [Кирпичников Владимир Петрович] (1900–1943) – 768
Сталин [Джугашвили] Иосиф Виссарионович (1879–1953) – 11, 19–25, 27, 28, 46, 48, 49, 52, 56–60, 62, 63, 94, 144, 149, 150, 155–158, 162, 189, 195, 198, 202, 212–216, 228, 229, 251, 253, 254, 256, 285, 293, 295, 298, 301, 305, 314, 323–326, 328, 355, 360, 362, 379, 383, 510, 557, 585, 587, 639, 646, 653, 717, 722, 763, 781, 786, 790, 795, 801, 837, 839, 849, 851–858, 864, 867
Стальский Николай – 802
Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938) – 437, 665, 667, 680, 746, 747, 760, 804–806
Станкевич Николай Владимирович (1813–1840) – 425
Стаханов Алексей Григорьевич (1906–1977) – 27–29
Степанова Лидия – 534
Степун Федор – 462, 464–469, 476, 493–514
Стиннес Хуго (1870–1924) – 89, 90, 184, 185
Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – 425, 426, 465
Стриндберг Август (1849–1912) – 619
Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – 107, 114, 450, 645, 646, 664
Стуков Г.И. (1902–1942) – 841, 865
Суслова Аполлинария Прокофьевна (1839–1918) – 431
Сяо Ева (1911–2001) – 311

# Т

Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) – 239, 242, 665, 680, 760
Тарасенков Андрей (1909–1956) – 399, 860
Тарик Ибн Сияд – 711
Тарле Евгений Викторович (1875–1955) – 859
Тасин Георгий Николаевич (1895–1956) – 563, 751
Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) – 766
Таубе, Отто фон (1879–?) – 631
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) – 651
Тельман Эрнст (1886–1944) – 859, 865
Тилл – 778–780
Тиллих Пауль (1886–1965) – 494
Тилле О. – 564
Тиман Павел – 740, 741, 744, 747
Тимошенко Семен Алексеевич (1899–1958) – 541, 542
Толлер Эрнст (1893–1939) – 245, 246, 250, 305, 404, 753
Толстой Алексей Константинович (1817–1875) – 396
Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) – 251, 653, 666, 674
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – 110, 377, 427–429, 439, 464, 471, 472, 474, 503, 508, 530, 597, 600, 601, 603, 608, 619, 620, 626, 627, 629, 632–635, 637, 730, 747, 754, 798

Томский [Ефремов] Михаил Павлович (1880–1936) – 226
Томсон А.М. – 194
Торак Йозеф (1889–1942) – 29
Торглер Курт (1919–1937) – 824
Траутман Оскар – 148
Трёгер Карл – 45
Трентиньян Жан-Луи (р. 1930) – 25
Трепов Федор (1812–1889), генерал – 115
Трепте Курт (1902–1990) – 796, 802–804, 806–809
Третьяков Сергей Михайлович (1892–1939) – 544, 553, 769, 778
Третьякова Ольга Викторовна – 544, 562
Троцкий Лев Давидович (1879–1940) – 23, 24, 42, 46, 48, 117, 118, 120, 121, 133, 134, 169, 170, 175, 198, 202, 208, 212–215, 227, 228, 263, 393, 520, 673, 801
Трубецкой Сергей Николаевич (1890–1938) – 488
Тувим Юлиан (1894–1953) – 239, 250
Туй Эмиль (1894–1930) – 188
Туполев Андрей Николаевич (1888–1972) – 176, 177, 179, 191
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – 471, 472, 494, 597, 620, 633, 635, 637, 771, 897
Турек Людвиг (1889–1975) – 250, 272
Турин Виктор Александрович (1895–1945) – 532–534, 537
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937), маршал – 194, 215, 327
Тухольский Курт (1890–1935) – 247
Тютчев Федор Иванович (1803–1873) – 396

# У

Узе Бодо – 717, 719
Ульбрихт Вальтер (1893–1973) – 294, 774, 834, 836, 839
Уманский Константин Александрович (1902–1945) – 255, 564, 826
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938) – 189, 190, 194, 503
Уэллс Герберт (1866–1946) – 94, 466

# Ф

Фабри Эрнст (1891–1966) – 307, 327, 765, 778, 779
Фадеев Александр Александрович (1901–1956) – 10, 651
Файко Алексей Михайлович (1893–?) – 781
Файнингер Лионель (1871–1956) – 309
Фалькон Ирина – 829
Федин Константин Александрович (1892–1977) – 397, 545, 638, 651
Федорова Татьяна Викторовна – 29–31
Федорченко София Захаровна (1880–1959) – 635
Федотов Георгий Петрович (1886–1951) – 493, 495, 496, 505, 508, 509, 512, 513, 652
Фейхтвангер Лион (1884–1958) – 318, 324, 400, 550, 558, 753, 771, 790, 864
Фельд Ганс – 535
Фельдман Борис Миронович (1890–1937) – 194
Феофанов Михаил – 627
Ферман Х[айнц] (1903–1943) – 804, 806, 807
Фет [Шеншин] Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – 396, 426
Фибиг Мартин, генерал – 184
Филиппов Т.Ф. – 774, 777
Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) – 599, 628
Филофей (16-й в.) – 442
Финк Беате – 796
Фихте Йоханн Готлиб (1762–1814) – 438, 450, 451, 505
Фишер – 169
Фишер Г. – 183
Фишер Рут [Эльфрид Эйслер] (1895–1961) – 199
Фишер Самуэль (1859–1934) – 626, 632
Фишер Эрнст [Петер Виден] (1899–1972) – 215, 297, 322
Фишман Эмилия (?–1931) – 761, 773
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – 419, 448, 471, 499, 500
Флорин Вильгельм (1894–1944) – 801
Фогелер Генрих (1872–1942) – 301, 315, 769
Фогель Владимир Петрович (1896–1984) – 562, 748, 754
Фонштейн – 831–834
Фореггер [Грайфентурн] Николай Михайлович – 684
Форестье Луи Петрович (1892–1954) – 562, 563, 754
Фосс Фридрих (Фриц) (1903–1938?) – 372, 831
Фрай Бруно – 46
Франк Леонард (1882–1961) – 241, 401, 402
Франк Семен Людвигович (1877–1950) – 462–464, 467, 469–471, 476, 477, 481, 482, 487–490, 496, 503, 507
Франк Эмми (1896–1980) – 796, 799, 802–804, 806–808
Франке Эмилия (1904–?) – 564, 833
Франко Баамонд Франциско (1892–1975) – 32, 87, 99, 311, 710, 722, 829
Францоз Карл-Эмиль (1848–1904) – 406
Фрейд Зигмунд (1856–1939) – 403, 599
Фрёмбген Йоханн (1902–?) – 710, 711, 713, 729
Фрешер Евений – 362, 366
Фрид Фердинанд – 41, 294
Фридлендер Отто (1897–1954) – 277
Фриче Владимир Максимович (1870–1929) – 769
Фройнд Карл (1890–1969) – 266, 752
Фромм Эрих (1900–1980) – 41, 656
Фрумкина Роза Наумовна (1883–?) – 821, 826, 828, 829, 831–833
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) – 173, 253
Фюлоп-Мюллер Рене (1891–1963) – 683
Фюринг Гельмут – 712, 715
Фюрнберг Фридль [Зигфрид] (1902–1978) – 834, 839

# Х

Хавинсон Яков (1901–1989) – 865
Хазенор Г. – 184
Хазин Евгений Яковлевич (1893–1974) – 860

Хайдеггер Мартин (1889–1976) – 496
Хайнеманн Густав (1899–1976) – 63
Хайнц Вольфганг [Хирш Давид] (1900–1984) – 580, 797
Хамп Пьер [Бурильон Генри] (1876–1962) – 404
Ханютин Юрий Миронович (1929–1978) – 27
Харден [Витковский] Максимилиан (1862–1927) – 205
Хардт Эрнст (1876–1947) – 678
Хармс Даниил Иванович (1906–1942) – 406, 407
Харнак Арвид (1901–1942) – 55
Харт Фердинанд – 796
Хартфилд Джон [Херцфельд Гельмут] (1891–1968) – 302
Хаузер Генрих – 537
Хауска Ганс (1901–1965) – 895
Хейнкель – 186, 187, 190, 194
Хекер Теодор (1879–1945) – 494
Хеллер Отто (1897–1945) – 801, 825
Хёллеринг Франц (1896–1968) – 528
Хенкин Виктор Яковлевич (1881–1944) – 676
Хенрион Элла – 836
Хентиг, Вернер Отто фон – 134
Хенчель Курт – 825
Хёрнле Эдвин (1883–1952) – 522, 523
Херцфельде Виланд (1896–1988) – 304, 305
Хильгер Густав (?–1965) – 142, 156, 157, 199, 215
Хинце Герхард – 796, 797
Хлебников Велимир (1885–1922) – 420, 680
Хмелев Николай Павлович (1901–1945) – 562, 754
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – 239, 670
Хольм Корфиц (1872–1942) – 632, 633
Хомицкий В. – 686
Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – 471
Хорват, Одон фон (1901–1938) – 781
Хорстман Герман (1893–1938) – 831
Хохбаум Вернер (1889–1946) – 537
Хруничев Михаил Васильевич (1901–1961) – 179
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – 23, 853
Худяков Андрей – 563, 564, 675
Хупперт Гуго (1902–1982) – 294, 297, 306–308, 321, 324, 327, 767, 809

# Ц

Цаккони – 681
Цвейг Арнольд (1887–1968) – 256, 790
Цвейг Стефан (1881–1942) – 401–403, 617
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) – 239, 645, 653, 669
Цергибель Карл Фридрих (1878–1961) – 92
Церер Ганс (1899–1966) – 40
Цертелев Дмитрий – 425
Цеткин Клара (1857–1933) – 197, 522
Цеткин Константин (1885–1980) – 201
Цех – 772
Циммерман, Эрнст Август Вильгельм фон (1743–1815) – 424
Цинау Освальд – 825
Циннер Хедда (1907–1994) – 297, 298, 317, 766, 767, 772
Цур Мюллен Герминия (1883–1951) – 410

# Ч

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – 426, 494, 499, 508, 509
Чабров Алексей Александрович – 681
Чайковский Петр Ильич (1840–1893) – 620
Чапаев Василий Иванович (1887–1919) – 721, 750
Челищев Павел (1898–1957) – 675, 678
Чемберлен Хьюстон Стюарт (1855–1927) – 87, 90, 246, 600
Червяков Евгений Вениаминович (1899–1942) – 545, 546, 562
Черемных Михаил Михайлович (1890–1962) – 87, 92
Чернин Илья Исаакович (1893–1937) – 821
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – 425, 429, 499, 651, 697, 771
Чех-Йохберг Эрих – 280, 283
Чехов Антон Павлович (1860–1904) – 494, 627, 633, 635, 637, 772
Чехов Михаил Александрович (1891–1955) – 665, 671, 681, 682
Чечеткина О.И. – 853
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904) – 106, 107, 110, 112
Чичерин Василий Николаевич (1829–1882) – 106–110
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – 106–125, 128, 133, 134, 136, 139–141, 145, 147, 159, 160, 202, 208, 209, 212, 613
Чичерин Николай Васильевич – 107, 108, 124, 125
Чичерина Александра Алексеевна – 106,107, 110
Чичерина Жоржина Егоровна – 106,107, 109
Чичерина Софья Васильевна (1867–1918) – 106,107
Чкалов Валерий Павлович (1904–1938) – 27, 28
Чуковский Корней Иванович (1882–1969) – 407, 409, 410
Чумиков Владимир – 627
Чухновский Борис Григорьевич (1898–1975) – 173, 179

# Ш-Щ

Шагал Марк (1887–1985) – 309, 760, 762
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982) – 638
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – 674
Шапиро Пауль (1923–1936) – 833
Шапорин Юрий Александрович (1887–1966) – 563, 851, 852
Шапорина Л.В. – 851, 852
Шарнхорст, Герхард Давид фон (1755–1813), генерал-лейтенант – 211
Шаррер Адам (1883–1948) – 327, 371, 767
Шваб Густав (1792–1850) – 409
Шваб Зепп (1897–1977) – 831, 835, 836
Шварц Александр – 424
Шварц Л. – 564

Шварц Соломон – 221, 223
Шварцман Лев, майор – 777–780
Шварцмюллер Франц-Ксавер (1910–?) – 314
Швенк Пауль (1880–1960) – 831
Шверма Ян (?–1944) – 839
Швиттерс Курт (1887–1948) – 772
Шевченко Тарас (1814–1861) – 860
Шейдеман Филипп (1865–1939) – 90
Шейнис Зиновий – 862
Шекспир Уильям (1564–1616) – 396, 438, 439, 452, 453, 681, 795, 798
Шелер Макс (1874–1928) – 481–484, 488, 490
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775–1854) – 424–426, 438, 450, 451, 453
Шенталинский Виталий – 777
Шетцель Георг (1874–1934) – 824
Шефер Пауль (1883–1963) – 358
Шик Максимилиан – 778
Шиллер Фридрих (1759–1805) – 394–398, 426, 439, 452, 756
Шифрин Александр [Макс Вернер] (1901–1950) – 223
Шкуро Андрей Григорьевич (1887–1947) – 185
Шлагетер Лео (1894–1923) – 44, 211
Шлайер Феликс – 710–712, 714, 715
Шлегель, Карл Вильгельм Фридрих фон (1772–1829) – 497, 499, 702
Шлезингер Мориц – 137, 145
Шлейхер, Курт фон (1882–1934), генерал – 151
Шмелинг Макс (1905–2005) – 14
Шмидт Иван – 668
Шмидт Карло – 63
Шмидт Отто Юльевич – 26
Шмидтсдорф Бруно (1908–1938) – 372
Шмитт Бертрам – 825
Шнайдер Йозеф (1882–1939) – 778
Шнейдеров Владимир Адольфович (1900–1973) – 531
Шнурре К. – 864
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – 651
Шольц Август (1857–1923) – 626, 632, 638
Шонгер Губерт (1897–1978) – 525
Шопенгауэр Артур (1788–1860) – 108, 424–426
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – 766, 805
Шотте Вальтер – 665, 666
Шпенглер Освальд (1880–1936) – 39, 43, 47, 49, 243, 460–477, 494, 503, 506, 511, 618–621, 631
Шпет Густав Густавович (1879–1937) – 487
Шпильгаген Фридрих (1829–1911) – 404, 448
Шрайбер [Карл?] – 833
Шрёдер Луиза – 831, 836
Шрёдер Ральф (1927–2001) – 257
Штар Вальтер, майор – 185, 186, 191
Штейн Александр (1881–1948) – 222, 225
Штейнер Рудольф (1861–1925) – 504
Штемпель Гюнтер (1908–1981) – 833
Штеффин Маргарете (1908–1941) – 306
Штрассер Алекс – 537
Штрассер Грегор (1892–1934) – 569
Штрассер Отто (1897–1974) – 40, 41, 44, 46, 47, 59, 60, 569
Штраус Рихард (1864–1949) – 778, 861
Штреземан Густав (1878–1929) – 45, 89, 90, 136, 138–143, 145, 159
Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович (1897–1977) – 569
Шуб Эсфирь Ильинична (1894–1954) – 530, 531, 534, 750
Шуберт, Карл Теодор фон, полковник – 138–140, 142, 172
Шуленбург, Фридрих фон дер (1875–1944) – 146, 154–158, 161, 162, 569, 837, 855, 858
Шульц Франц – 528, 755
Шуман Роберт (1810–1856) – 429
Шумский Василий – 565, 665, 666
Шумяцкий Борис (1886–1938) – 383, 793
Шутко – 563, 822
Шухаев Василий – 680
Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) – 841, 865

# Э

Эбелинг Ганс – 40, 55
Эберт Фридрих (1871–1925) – 90, 130
Эбнер Фердинанд (1882–1931) – 488
Эйдельман Яков – 400
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) – 525, 533, 560, 750, 751, 753, 754, 899
Эйнштейн Альберт (1889–1955) – 47, 96, 206, 529
Эйнштейн Карл (1885–1940) – 240, 241
Эйслер Ганс (1898–1962) – 755, 796
Эйснер Алексей (1905–1984) – 725
Эйфель Жан (1908–1982) – 95
Экк [Ивакин] Николай Владимирович (1902–1976) – 370, 752
Элиасберг Александр (1878–1924) – 609, 626–631, 634, 635
Элюар Поль (1895–1952) – 242
Энгельс Фридрих (1820–1895) – 70–82, 306, 307, 311, 314, 319, 355, 366, 371, 373, 771, 786, 787, 789, 792–809, 824, 839
Энценсбергер Ханс Магнус (р. 1929) – 256
Эпп, Франц Риттер фон (1868–1946), генерал – 44, 45
Эпштейн П. – 836
Эрдман Борис Робертович – 796
Эрдман Г. – 751
Эрдман Николай Робертович (1900–1970) – 17, 781
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – 235–257, 307, 638, 728, 729, 731, 732, 851, 852, 856, 861, 862
Эренбург Ирина Ильинична (1911–1997) – 235
Эрколи, см. Тоглиатти Пальмиро – 831–833, 835
Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967) – 543
Эрн Владимир Францевич (1881–1917) – 300, 464, 472, 500, 501, 831
Эрпенбек Фриц (1897–1975) – 297, 298, 308, 324, 767
Этцдорф, Хассо фон – 156
Эфрос Николай Ефимович (1867–1923) – 747

# Ю

Югов Арон – 221, 223, 227, 228
Южный Яков (1883–1938) – 673–676, 678, 680, 684, 760
Юмашев Андрей – 27
Юнг Франц (1888–1963) – 55, 92, 147, 404, 405, 789
Юнгер Эрнст (1895–1998) – 39–44, 47–55, 57–59, 61, 200, 510, 577
Юнкерс Гуго (1859–1935) – 168, 170–183, 187, 189, 192, 194
Юрьев Борис (1889–1957) – 177
Юрьев Юрий – 740
Юст Артур Вилли (1896–?) – 273
Ютци Фил (1894–1945) – 19, 537

# Я

Явленский, Алексей фон (1864–1941) – 760
Ягода Генрих Георгиевич (1891–1938) – 347–349, 829
Якоби Георг (1882–1964) – 740
Якобсен Петер Йенс – 400
Якобсон Роман Осипович (1896–1982) – 239, 249
Яковлев Я.А. (1896–1938) – 563, 771, 779
Якулов Георгий Богданович (1884–1928) – 760
Ян Фридрих Людвиг (1778–1852) – 190, 505, 839
Яннингс Эмиль (1884–1950) – 751
Яновский Юрий (1902–1954) – 544, 562
Ярцев В.В. – 829
Яхина – 833
Ященко Александр Семенович (1877–1934) – 238, 239, 249

# СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Агде Гюнтер** (Agde Günter), доктор философии. В 1975–1990 гг. научный сотрудник Академии искусств ГДР, Восточный Берлин. Публикации по теме исторического кино, в т.ч.: Flimmernde Versprechen, Geschichte des deutschen Werbefilms im Kino. Berlin 1998 (Мелькающее обещание. Истории немецкого агитационного фильма в кино. – Берлин, 1998); Kahlschlag. Das 11. Plenum des ZK der SED 1965, Studien und Dokumente. Berlin 2000 (Рубка. XI пленум ЦК СЕПГ 1965 г., исследования и документы. – Берлин, 2000); Kämpfer. Biographie eines Films und seiner Macher. Berlin 2001 (Борцы. Биография одного фильма и его создателей. – Берлин, 2001).

**Вурцер Георг** (Wurzer Georg), историк, независимый публицист. Основные направления исследований: военнопленные, Первая мировая война, Эдвин Эрих Двингер, сталинизм, Афганская война, теория истории. Публикации: Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen in Russland im Ersten Weltkrieg. Der Erlebnisbericht Edwin Erich Dwingers. in: Overmans, Rüdiger (Hrsg.): In der Hand des Feindes. Kriegsgefangenschaft von der Antike bis zum Zweiten Weltkrieg. Köln, Weimar, Wien 1999 (Воспоминания Эдвина Эриха Двингера // В руке врага. Военнопленные с времен античности до Второй мировой войны. – Кельн, Ваймар, Вена, 1999); Les prisonniers de guerre en Russie pendant la Première Guerrre Mondiale. In: 14–18. Aujourd'hui. Today. Heute (4), Cahors 2001.

**Гарстка Кристоф** (Garstka Christoph), доктор философии, германист и славист. Основные направления исследований: русская культурная и интеллектуальная история XIX и XX веков, взаимосвязь политики и литературы в Восточной Европе, еврейский быт в литературе России и Польши (1850–1990), немецко-польские и немецко-русские литературные переклички на рубеже XIX—XX вв. Публикации: Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag 1906–1919. Frankfurt a.M. u.a. 1998 [= Heidelberger Publikationen zur Slavistik: … Literaturwiss. Reihe, Bd. 9] (Артур Меллер ван ден Брук и первое немецкое полное собрание сочинений Достоевского в издательстве Пипер 1906–1919 // Гейдельбергские публикации по славистике... Литературоведческая серия, Т. 9. – Франкфурт-на-Майне, 1998.); Die Farbe des Bösen. Bemerkungen zum jüdischen Thema in Gedichten von Boris Sluckij bis Aleksandr Galiħ. In: «Die nationalsozialistische Rassen- und Vernichtungspolitik: Formen künstlerischer Erinnerung. Osteuropa – Literatur, Film, Kunst und Musik». Heidelberg 2003 (Цвет зла. Еврейская тема в стихотворениях – от Бориса Слуцкого до Александра Галича // Национал-социалистическая расовая и разрушающая политика: формы художественного воспоминания. Восточная Европа – литература, кино, искусство и музыка. – Гейдельберг, 2003).

**Глухова Людмила**, ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Более 50 публикаций, в т.ч.: Шведская литература в

библиотечных фондах и в чтении ее населением России (2002); Судьба культуры чтения в русской провинции (2003); Чтение исторической беллетристики в библиотеках России // Чтение в библиотеках России. Вып. 2 (2000).

**Голубев Александр**, историк. С 1998 г. руководитель Центра изучения отечественной культуры в Институте российской истории РАН. Публикации: Россия и запад. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века. – М., 1998; Взгляд на землю обетованную: из истории советской культурной дипломатии. – М., 2004.

**Гольдшвеер Ульрике** (Goldschweer Ulrike), доктор философии, в 1996–2001 гг. научный сотрудник института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме, в 2004 г. получение доцентуры за работу о мотиве музея в русской литературе.

**Грюбель Райнер** (Grübel Rainer), профессор, доктор славистского литературоведения. Монографии: Sirenen und Kometen. Axiologie und Geschichte der literarischern Motive Haarstern und Wasserfrau in slavischen und anderen europäischen Literaturen (= Slavische Texte und Abhandlungen; 10) Frankfurt a.M. 1995 (Сирены и кометы. Аксиология и история литературных мотивов кометы и сирены в славянской и европейской литературе // Славянские тексты и сочинения, № 10. – Франкфурт-на-Майне, 1995); Literaturaxiologie. Zur Theorie und Geschichte des ästhetischen Wertes in slavischen Literaturen. (= Opera slavica NF 40). Wiesbaden 2001 (Литературоаксиология. О теории и истории эстетических ценностей в славянской литературе // Opera slavica № 40. – Висбаден, 2001); An den Grenzen der Moderne. Das Denken und Schreiben Vasilij Rozanovs. München 2003 (На границах с современностью. Мышление и сочинения Василия Розанова. – Мюнхен, 2003). Hrsg. zus. mit W. Kroll und H.E. Seidel Jurij M. Lotman: Die Struktur des künstlerischen Textes. Frankfurt a.M. 1973 (Юрий Лотман. Структура художественного текста. / Под ред. Р. Грюбеля, В. Кролля и Х. Е. Зайделя. – Франкфурт-на-Майне, 1973); Michail M. Bachtin: Die Ästhetik des Wortes. Frankfurt a.M. 1979 (Михаил Бахтин. Эстетика слова. – Франкфурт-на-Майне, 1979); Русская литература и религия. / В соавторстве с Георгием Одиноковым. // Филологические искания, Вып. I. – Новосибирск, 1996.

**Дицель Петер** (Diezel Peter), доктор философии, театровед. В 1969–1993 гг. научный сотрудник Академии искусств ГДР, Восточный Берлин. Публикации: Exiltheater in der Sowjetunion 1932–1937. Berlin 1978 (Театр эмиграции в Советском Союзе 1932–1937. – Берлин, 1978); (Koautor): Exil in der UdSSR. Leipzig 1989 (соавтор: Ссылка в СССР. – Лейпциг, 1989); (Hrsg.): «Wenn wir zu spielen scheinen». Studien und Dokumente zum Internationalen Revolutionären Theaterbund. Bern, u.a. 1993 (редактор: Когда мы делаем вид, что играем. Исследования и документы о международном революционном театральном союзе. – Берн, 1993); Theater im sowjetischen Exil. In: Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933-45, hrsg. von Frithjof Trapp u.a., Bd. 1, München 1999 (Театр в изгнании в Советском Союзе // Справочник по немецкоязычному театру в изгнании 1933–45 / Под ред. Фридхофа Траппа и др., Т. 1. – Мюнхен, 1999); «hier brauchen sie uns nicht». Maxim

Vallentin und das deutschsprachige Exiltheater in der Sowjetunion 1935–1937. Briefe und Dokumente. Berlin 2000 (Здесь мы вам не нужны. Максим Валлентин и немецкоязычный театр в изгнании в Советском Союзе 1935–1937. Письма и документы. – Берлин, 2000); Hans Hauska.Von Stalin zu Hitler. Berlin 2003 (Ханс Хауска. От Сталина к Гитлеру. – Берлин, 2003).

**Зур Эльке** (Suhr Elke), публицист, в 1989 г. научный сотрудник Ольденбургского университета. Публикации: Carl von Ossietzky. Eine Biografie. Köln 1988 (Карл фон Оссецкий. Биография. – Кельн, 1988); Fernsehfeature Permoha. Ein Dorf in der Ukraine. WDR 2002 (Телефильм Перемога. Деревня в Украине. WDR 2002); Lenin, Liebe, Lust und Leidenschaft. Eine Erotik der Macht. Deutschlandfunk 2005 (Ленин, любовь, желание и страсть. Эротика власти. – Дойчландфунк [Радио Германии], 2005).

**Кантор Владимир**, профессор, доктор философских наук и член Союза писателей России. В 1992 г. получил премию Генриха Белля. Основные направления исследований: философия русской истории и культуры. Автор и редактор художественных и научных публикаций, в т.ч.: Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. – М., 1978; В поисках личности: опыт русской классики. – М., 1994; «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. – М., 1997; Феномен русского европейца. – М., 1999; Rusijaje evropska zemlja. – Beograd, 2001; Русский европеец как явление культуры. – М., 2001.

**Колязин Владимир**, театральный критик, с 1978 г. старший научный сотрудник НИИ искусствознания в Москве. Руководитель российского общества по изучению современного немецкого искусства (общество Брехта). Куратор выставок (в т.ч. «Берлин–Москва») и переводчик (в т.ч., Хайнера Мюллера и Бото Штраусса). Публикации: «Верните мне свободу!». Документы из архивов КГБ. В соавторстве с В.А. Гончаровым. – М., 1997; Таиров, Мейерхольд и Германия. Брехт, Пискатор и Россия. Очерки немецко-российских отношений деятелей искусства. – М., 1998; От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего Средневековья. – М.: Наука, 2002.

**Линке Хорст Гюнтер** (Linke Horst Günther), доктор, с 1982 г. профессор истории Восточной Европы в Боннском университете. Основные направления исследований: немецко-российские отношения в 19-м и 20-м веке. Публикации: Das zaristische Rußland und der Erste Weltkrieg. Diplomatie und Kriegsziele 1914 bis 1917. München 1982 (Царская Россия и Первая мировая война. Дипломатия и цели войны 1914–1917. – Мюнхен, 1982); В духе парижской хартии. // Россия и Германия в годы войны и мира (1941–1995). / Под ред. Д. Проектора, О. Прудкова. – М., 1995; Der Weg nach Rapallo. Strategie und Taktik der deutschen und sowjetischen Außenpolitik, in: HZ, 264 – 1997 (Путь к Рапалло. Стратегия и тактика германской и советской внешней политики. // HZ, 264 – 1997); Quellen zu den deutsch-russischen/sowjetischen Beziehungen 1801–1991, 3 Bde. Darmstadt 1998–2001 (Источники по немецко-российским/советским отношениям 1801–1991. В 3-х т. – Дармштадт, 1998–2001).

**Литаврина Марина**, театровед, с 1985 г. доктор наук, профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ) и исторического факультета МГУ. Монографии: Американские сады Аллы Назимовой. – М., 1995; Русский театральный Париж. – СПб., 2003; статьи о деятельности современного русского театра в: Who's Who in Contemporary World Theatre (London, Routledge 1999, 2000, 2002); La Mouette de Tchekhov (1986) et Evenement de Nabokov (1938), ou la similitude paradoxale. // СЛОВО. Вып. 22–23. Le Theatre Russe entre re ve et realite. Pouchkine: dans le sillage du bicentenaire. – Париж, 1999; Russian Harlequin in Search of the Chief Thing. // Le Marchere di Proteo. Progetto culturale «Caleidoscopio». – Мессина, 1997.

**Марголит Евгений**, кинокритик и историк. С 1989 г. научный сотрудник Института киноведения. Публикации: Советское кино: этапы становления и развития. – М., 1988; Изъятое кино. / В соавторстве с Вячеславом Шмыровым. – М., 1995; История русского и советского кино. / В соавторстве с Оксаной Булгаковой, Евой Биндер и Мирословом Сегеда. – Мюнхен, 1998; Искусство СССР от Октябрьской революции до падения Берлинской стены. – Т. 3: Киноплакаты. / В соавторстве с Ниной Бабуриной. – Милан, 2001. Член редколлегии и автор статей энциклопедий: Первый век кино. – М., 1996; Новейшая история российского кино. 1985–2001. В 7 т. – СПб., 2002–2005. Член редколлегии и автор журнала «Киноведческие записки». В настоящее время работает с Наумом Клейманом над созданием 12-серийного документального фильма «Антология российского кино».

**Маргулис Наталия**, научный сотрудник института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме. Публикации: Слово наше – это сила и оружие. Литература и пропаганда в «испанском конфликте» // Культура и власть в условиях коммуникационной революции 20-го века. – М., 2002; «Wieso ein Deutscher – ein Spanier ist er!». Nationale Stereotype und ideologische Bilder in Beispielen der russischen Literatur zum Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. In: Stereotyp und Geschichtsmythos in Kunst und Sprache. Frankfurt am Main 2005 (Какой немец – он испанец! Национальные стереотипы и идеологические образы на примере русских изданий об Испанской гражданской войне 1936–1939 гг. // Стереотип и миф истории в искусстве и языке. – Франкфурт-на-Майне, 2005).

**Мёллер Дитрих** (Möller Dietrich), журналист. В 1992–1996 гг. заместитель главного редактора Немецкого радио в Кельне. Публикации: Revolutionär, Intrigant, Diplomat. Karl Radek in Deutschland. Köln 1976 (Революционер, интриган, дипломат. Карл Радек в Германии. – Кельн, 1976).

**Невежин Владимир**, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Принимал участие в научных конференциях в Польше, Италии, Дании, Германии, Израиле, Финляндии, Англии. Публикации: Синдром наступательной войны. – М., 1997; Тосты Сталина – М., 2002.

**Сиппл Кармен** (Sippl Carmen), доктор философии. В 1998–2000 гг. стипендиат Германского исследовательского общества, автор исследований по теме: Мюнхен в восточном ветре: переводчики и книги как посредники русской культуры XX века. Автор публикаций о русских и чешских писателях в изгнании.

**Соболев Дмитрий**, доктор технических наук. Руководитель рабочей группы по истории воздухоплавания в Институте истории естественных наук и техники РАН. Публикации: Самолеты особых схем. – М., 1985; Немецкие следы в советской истории воздухоплавания. – 2000; История самолетов мира. – М., 2001.

**Тиме Галина**, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института русской литературы «Пушкинский дом» РАН в Санкт-Петербурге. В 1993 г. обладательница премии министерства культуры Баден-Вюртемберга. Принимала участие в проекте Единство в многообразии (Путешествия между тремя столицами. Взгляды с другой стороны). Монографии: Источник русской драматургии в 80–90-е годы XIX в. – Ленинград, 1991; Немецкое литературно-философское мышление в контексте работ Ивана Тургенева. – 1997; Иван Тургенев и русская литература. – 2000.

**Тишлер Карола** (Tischler Carola), доктор философии, в 1995–1999 гг. научный сотрудник проектов Гумбольдтского университета в Берлине. Публикации по темам немецкой ссылки в СССР, германо-советских отношений и советской истории, в т.ч.: Kalter Krieg im Kino? Das Bild des Amerikaners in sowjetischen Spielfilmen nach 1945. In: Bernhard Chiari / Matthias Rogg / Wolfgang Schmidt (Hrsgg.): Krieg und Militär im Film des 20. Jahrhunderts, München 2003 (Холодная война в кино? Образ американцев в советских художественных фильмах после 1945 г. // Война в фильмах 20-го века / Под ред. Бернарда Хиари, Матиаса Рогга, Вольфганга Шмидта. – Мюнхен, 2003); Zwischen Nacht und Tag. Erich Weinerts sowjetische Exilzeit im DDR-Spielfilm der 70er Jahre. In: Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 21/2003 (Между ночью и днем. Советская ссылка Эриха Вайнерта в художественных фильмах ГДР 70-х годов // Исследование ссылки. Международный ежегодник, Т. 21/2003).

**Тоде Томас** (Tode Thomas), кинематографист, куратор тематических ретроспектив и свободный публицист. Основные направления исследований: киноэссеистика, документальное и авангардное кино 1920-х – 1930-х гг., советское кино. Собственная фильмография: в т.ч.: «Im Land der Kinoveteranen». Filmexpedition zu Dziga Vertov («В стране ветеранов кино». Киноэкспедиция к Дзиге Вертову) 1996. Под его редакцией вышли «Johan van der Keuken: Abenteuer eines Auges». Basel – Frankfurt a.M., 1992 (Йохан ван дер Койкен: приключения одного наблюдателя. Базель – Франкфурт-на-Майне, 1992); Dziga Vertov. Tagebücher / Arbeitshefte. Konstanz, 2000 (Дзига Вертов. Дневники и рабочие тетради. Констанц, 2000).

**Томас Людмила**, профессор, историк. В 1964–1990 гг. работница Академии наук ГДР, в 1992–2001 гг. декан факультета истории Восточной Европы в Гумбольдтском университете в Берлине. Публикации: Geschichte Sibiriens von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin 1984 (История Сибири от истоков до современности. – Берлин, 1984); Streben nach Weltmachtpositionen. Rußlands Handelsflotte 1856–1917. Berlin 1995 (Стремление к мировому господству. Торговый флот России 1856–1917. – Берлин, 1995); (mit Dietmar Wulff) Deutsch-russische Beziehungen. Ihre welthistorische Dimension. Berlin 1992 (Немецко-российские отношения. Их отражение в мировой истории. В соавторстве с Дитмаром Вульфом. – Берлин, 1992); (mit Viktor Knoll) Zwischen Tradition und Revolution. Determinanten und Strukturen russischer

Außenpolitik 1917–1941 (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa 59). Stuttgart 2000. (Между традицией и революцией. Детерминанты и строение русской внешней политики 1917–1941. В соавторстве с Виктором Кноллем // Источники и исследования истории Восточной Европы, Вып. 59. – Штутгарт, 2000.

**Туровская Майя**, доктор искусствоведения, кинокритик, культуролог, историк кино. Организатор выставки «Берлин–Москва, Москва–Берлин 1900–1950» в 1995 г. Публикации: Театральный бинокль. – М., 2003; Blow up. – М., 2003; Andrej Tarkowskij. Film als Poesie – Poesie als Film. Bonn 1981 (Андрей Тарковский. Фильм как поэзия – поэзия как фильм. В соавторстве с Феличитой Аллардт-Костиц. – Бонн, 1981); На границе искусств: Брехт и кино. – М., 1984. Соавтор сценария фильма «Обыкновенный фашизм» (Мосфильм, 1965).

**Филиппова Татьяна**, кандидат исторических наук, зам. главного редактора Российского исторического журнала «Родина». Ответственный редактор специальных выпусков, посвященных темам «Россия и Турция», «Россия и Кавказ», «Россия и Иран», «Россия и Китай», «Россия и Германия в XX веке». Принимала участие в проектах АИРО-XXI, фонда Конрада Аденауэра, фонда Фридриха Науманна и Американского Совета Научных Сообществ (ACLS). Публикации: (монография) Родословная российской свободы. Очерки истории либерализма, высшая школа / В соавторстве с С.С. Секиринским. – М., 1993; главы в монографиях «Русские либералы». Международные отношения. – М., 1998, Российские консерваторы. – М., 1999; Россия: государственный приоритет и национальный интерес. – М., 2000; Новый мир истории России. Форум российских и японских историков. – М., 2001; Старые и новые образы в современных учебниках истории. – М., 2003..

**Фрезинский Борис**, литературовед, публицист, доцент Санкт-Петербургского Государственного университета. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. С 60-х годов множество публикаций об Эренбурге: Хроника жизнедеятельности И. Эренбурга. В соавторстве с В. Поповым – В 3-х т., 1993–2001; Судьба Серапионовых братьев. – СПб., 2003; Собрание сочинений Ильи Эренбурга в восьми томах. – М., 1991–2000. В 1997 г. принимал участие в оформлении выставки об Эренбурге в музее Берлин-Карлсхорст.

**Хаардт Александр** (Haardt Alexander), с 1996 г. профессор философии нового времени в Рурском университете в Бохуме. В 1998–2000 гг. президент Немецкого общества феноменологического исследования. Основные направления исследований: классики философии нового времени, герменевтика, феноменология, эстетика, теории субъективности, русская философия в 19–20 вв. Редактор: S.L. Frank: Das Unergründliche. Freiburg/München 1995 (С.Л. Франк. Непостижимое. – Фрайбург–Мюнхен, 1995); соредактор Gustav G. Schpet: Die Hermeneutik und ihre Probleme. Moskau 1918. Freiburg/München 1993 (Густав Шпет. Герменевтика и ее проблемы. [М., 1918] – Фрайбург–Мюнхен, 1993).

**Хартман Анне** (Hartmann Anne), доктор философии, научный сотрудник института русской и советской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме. В настоящее время свободный публицист. Основные направления исследова-

ний: немецкоязычная и русская литература XIX–XX вв., прежде всего, литература и история советской зоны оккупации и ГДР; трансформация высшей школы в России; немецкие деятели культуры в эмиграции; история культуры России и Советского Союза. Публикации: (zus. mit Eggeling W.) Sowjetische Präsenz im kulturellen Leben der SBZ und frühen DDR 1945–1953. Berlin, 1998 (Советское присутствие в культурной жизни советской зоны оккупации и в первые годы существования ГДР. 1945–1953. / В соавторстве с В. Эггелингом. Берлин, 1998); (Übers. Aus dem Franz.) Heller L., Niqueux M. Geschichte der Utopie in Rußland. Hrsg. von Hagemeister M. Bietigheim – Bissingen, 2003 (Эллер Л., Никё М. История утопических учений в России. Пер. с франц. Под ред. М. Хагемайстера – Битиххайм–Биссинген, 2003); Lyrik im Transit aus der DDR // Barner W. (Hrsg.) Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. Erw. Aufl. München, 2004 (Лирика транзитом из ГДР // История немецкой литературы с 1945 г. до наших дней. / Под ред. В. Барнера Дополненное издание. – Мюнхен, 2004).

**Хееке Матиас** (Heeke Matthias), доктор, в 2000–2001 гг. научный сотрудник института православной церкви Мюнстерского университета, с 2004 г. штудиенреферендар. Публикации: Добровольно в Сибирь. Путешествия немцев в Сибирь 1921–1933. // Немцы на Урале и в Сибири. – Екатеринбург, 2001; Reisen zu den Sowjets. Münster u. a. 2003 (Путешествия в Советы. – Мюнстер, 2003).

**Хохлова Екатерина**, директор библиотеки киноискусства имени Сергея Эйзенштейна, киновед. Публикации по истории советского фильма, в т.ч.: Stalinism and Soviet Cinema. – London 1991; (редактор) Из наследия Льва Кулешова. – М., 1974; Luchechov et les siens. – Locarno, 1990.

**Шёлер Ули** (Uli Schöler), доктор политических наук, с 2003 г. приват-доцент Института им. Отто Зура в Берлинском университете. С 1994 г. член редакции журнала «Нойе Гезелльшафт / Франкфуртер Хефте» (Новое общество / Франкфуртские выпуски), с 2002 г. министериальдиригент, с апреля 2004 г. руководитель отделения «Международные отношения» в Бундестаге. Основные направления исследований: теория и политика общественных движений, история Советского Союза, парламентаризм, политика и карикатура. Публикации: Otto Bauer und Sowjetrußland. Mit einem Interview mit Wolfgang Abendroth. Berlin 1987 (Отто Бауэр и Советская Россия. С интервью Вольфганга Абендрота. – Берлин, 1987); «Despotischer Sozialismus» oder «Staatssklaverei»? Die theoretische Verarbeitung der sowjetrussischen Entwicklung in der Sozialdemokratie Deutschlands und Österreichs (1917–1929). Hamburg/Münster 1991. 2 Bde. (Деспотический социализм или государственное рабство? Советско-русское развитие в социал-демократии Германии и Австрии (1917–1929). В 2-х т. – Гамбург–Мюнстер, 1991) ; Ein Gespenst verschwand in Europa. Über Marx und die sozialistische Idee nach dem Scheitern des sowjetischen Staatssozialismus. Berlin/Bonn 1999 (Призрак растворился в Европе. О Марксе и социалистической идее после развала советской социалистической системы. – Берлин–Бонн, 1999); соредактор: Wolfgang Abendroth. Wissenschaftlicher Politiker. Opladen 2001 (Вольфганг Абендрот. Научный политик. – Опладен, 2001).

# ИЛЛЮСТРАЦИИ

Даются уже упоминавшиеся в тексте и представленные ниже источники и обладатели прав, которые могли быть установлены. Другие иллюстрации в томе без ссылки взяты из архивов авторов или были предоставлены нам из личных, оставшихся неизвестными, собраний.

## Архивы

Archiv der Hamburg-Süd, Hamburg (267 – верхние илл.).
Bayerische Staatsbibliothek, München (13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34).
Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen im SAMPO (Barch), Berlin (828).
Filmmuseum Berlin (ehemals Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin) (666).
Institut für Marxismus-Leninismus beim Zk der SED-IML, Berlin (Ost), später Institut der Geschichte der Arbeiterbewegung – IfGA (787 слева).
Stiftung Archiv der Akademie der Künste (SAdK), Berlin (294, 378, 809).
Willy Scharnow-Institut für Tourismus, historisches Archiv, Berlin (267 нижние илл.).
Архив музея им. Хруничева, Москва (173).
Центральный архив Федеральной службы Российской Федерации – ФСБ РФ, Москва (773, 775).
Российский государственный архив социальной политической истории – РГАСПИ (820 внизу, 821 слева, 830).
Российский государственный военный архив – РГВА, Москва (184).

### *Личные архивы*

Агде Гюнтер, Берлин (383).
Аймермахер Карл, Берлин (614 справа).
Собрание архива Вальтера Унру, Берлин (677).
Фольперт Астрид, Берлин (761).
Собрание Бориса Фрезинского, Санкт-Петербург (234, 245, 255).
Зуев Владимир, Нижний Тагил (461, 473).
Тоде Томас, Гамбург [сканирование: Перингер] (519, 521, 524, 526, 527, 528, 531, 533, 536).
Чичерина Наталья, Москва (107).

## Печатные источники

### *Периодика*

Родина, № 10, 2002. С. 69 (327, 548).
Вестник Европы, № 3, 2001 (614 слева).

*Книги, каталоги*

Akten zur deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Ergänzungsband zu den Serien A-E. Gesamtverzeichnis, Porträtphotos und Daten zur Dienstverwendung. Anhänge. – Göttingen, 1995. S. 424, 431, 481, 505 (146)

Der Briefwechsel zwischen Oswald Spengler und Wolfgang E. W. Groeger über russische Literatur, Zeitgeschichte und soziale Fragen. Hrsg. von Xenia Werner. – Hamburg: Helmut Bruske Verlag, 1987 (636 внизу).

Elena Liessner-Blomberg 1897–1978. Eine Russin in Berlin, Ausstellungskatalog des Staatlichen Museums Schwerin 2002, S. 50 (676).

*Freya Mülhaupt* (Hrsg.): Herwarth Walden 1878–1941. Wegbereiter der Moderne. Katalog Berlinische Galerie. – Berlin, 1991, S. 14 (764).

*Fritz Mierau.* Russen in Berlin. – Leipzig Philipp Reclam jun, 1987. S. 237 (198).

*George Grosz.* Ausstellungskatalog der Nationalgalerie Berlin, hrsg. von Peter-Klaus Schuster. – Berlin: ARS NICOLAI, 1994. S. 168 (554).

*I. Gorochow, L. Samjatin, I. Semskow.* G.W. Tschitscherin. Ein Diplomat Leninscher Schule. – Berlin (Ost). S. 228, 232 (109, 124).

*Klaus Jarmatz, Simone Barck, Peter Diezel.* Exil in der UdSSR. – Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 1979 (302, 559).

*Oksana Bulgakowa* (Hrsg.): Die ungewöhnlichen Abenteuer des Dr. Mabuse im Land der Bolschewiki. – Berlin 1995. S. 223 (550).

*Б. Ефимов.* Сорок лет. Записки художника-сатирика. – М., 1961 (97, 98 справа).

Фашистские интервенты в Испании. Карикатуры Б. Ефимова. – М., 1935. С. 25 (98).

Красный квадрат. Каталог, под ред. РОО «Открытая Россия» и галереи «Русское поле». – М., 2004 (304, 307).

Очерки истории Министерства иностранных дел России. Т. 2. – М., 2002. С. 256, 257 (849, 850).

Политические рисунки Дени. – М.–Л., 1926. С. 51 (91).

Жизнь замечательных людей: Чичерин. – М.: Молодая гвардия, 1967. С. 65, 160 (121).

На обложке использован кадр из фильма «Рваные башмаки» Маргариты Барской (Межрабпом-фильм, 1933). Этот фильм состоит из несколько эпизодов жизни детей на Западе, которые сталкиваются с ежедневными вопросами взрослых: стачка и шупо (полицейские), штрейкбрехеры и безработные; во время одной из демонстраций был убит мальчик… Использованный кадр из фильма – немецкий юноша в костюме гитлерюгенда – вызывает ассоциация с советскими атрибутами того времени: галстук гитлерюгенда похож на пионерский галстук, очки прячут лицо почти взрослого человека, чем-то напоминающего наркома Берию. Это, взятое из произведения искусства, русско-немецкое отражение является знаковым примером времени между войнами, особенно 30-х гг., обнаруживающим двойственность смыслов, символов и знаков в буднях двух диктатур. Статьи немецких и русских ученых, представленные в этом томе, описывают эти и иные сравнения событий и людей не только в кинематографе, но и в театре, литературе, философии, в туризме, печати, политике и экономике.

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ В XX ВЕКЕ
Том 2
Бурные прорывы и разбитые надежды.
Русские и немцы в межвоенные годы

*Под редакцией*
*Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова, Астрид Фольперт*

Западно-восточные отражения. Новый ряд

**Том 1**
Обольщение властью.
Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах

1. Настроения и опыт войны. 2. Пропагандистские конструкты. 3. Наука и искусство. 4. Быт на войне. 5. Преступления

*Авторы:* Карл Аймермахер, Юрий Басистов, Клаус Вашик, Геннадий Бордюгов, Людмила Гатагова, Татьяна Горяева, Нина Вашкау, Дагмар Германн / Астрид Фольперт, Владимир Есаков, Нея Зоркая, Елена Левина, Ольга Либова, Дмитрий Люкшин, Ирина Кознова, Борис Колоницкий, Сергей Константинов, Лариса Коровина, Виктор Кригер, Лотар Майер, Василий Молодяков, Владимир Невежин, Дмитрий Олейников, Николай Плотников / Модест Колеров, Евгений Сергеев, Борис Соколов, Соня Рихтер, Карола Тишлер, Владимир Федюк, Татьяна Филиппова, Татьяна Чумаченко, Эльке Шерстяной, Томас Шнайдер, Карлхайнц Шнайдер-Янессен, Йохен Шуберт, Герд Р. Юбершер, Петер Ян, Иохен Янссен.

**Том 2**
Бурные прорывы и разбитые надежды.
Русские и немцы в межвоенные годы

**Том 3**
Оттепель, похолодание и управляемый диалог.
Русские и немцы после 1945 года

Пролог. 1. Обращение с наследием войны: Советский Союз, ГДР, ФРГ. Миграция и репатриация. Следствия и осмысление войны. Посредники в немецко-русском диалоге. 2. Двойственность немецко-советских перспектив: взаимное наблюдение и анализ. Противостояние и подчинение в холодной войне. Утопия и утрата утопий. 3. Топография межкультурной ориентации: личные и профессиональные контакты. Культурный обмен под контролем: музыка, кино, телевидение, литература как альтернативные пространства встречи. Эпилог

*Авторы:* Карл Аймермахер, Александр Борозняк, Хольгер Бёнинг, Владимир Бухараев, Франк Вагнер, Мартин Уле-Веттлер, Зоя Водопьянова, Дитмар Дальманн, Йенс Фитье Дварс, Дьердь Далос, Александр Епифанов, Нея Зоркая, Николаус Катцер, Владимир Колязин, Геннадий Костырченко, Сергей Кувшинов / Дмитрий Соболев, Елена Левина, Ольга Либова / Людмила Глухова, Валентин Михалкович, Владимир Невежин, Анна Новикова, Елена Петрушанская, Михаил Прозуменщиков, Хайнрих Ратке, Катрин Пипер, Иоганнес Рашка, Борис Соколов, Наталья Тимофеева, Майя Туровская, Галина Ульянова, Томас Урбан, Алексей Филитов / Зоя Водопьянова, Йорг Уве Фишер, Эрика Фогт, Астрид Фольперт, Александр Хайнерт, Анне Хартманн, Ральф Шенк.

ISBN 5-91022-116-7
9 785910 221165

Научно-исследовательский центр АИРО-XXI
E-mail: andmak@airo-xxi.ru
www.airo-xxi.ru

Подписано в печать с оригинал-макета 07.12.2009
Формат 70×100/16. Усл. изд. л. 112,0
Тираж 1000 экз. Зак.